This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Hrebinka, Ie. P.

СОЧИНЕНІЯ

Е. П. ГРЕБЕНКИ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

№ 21167

Южно-Русское Книгоиздательство
Ф. А. ІОГАНСОНА.
КІЕВЪ—ПЕТЕРБУРГЪ—ХАРЬКОВЪ.

PG3337
H6
1902
v.2

Дозволено цензурою. Кіевъ, 30 января 1902 года.

КІЕВЪ,
Типографія И. И. Чоколова, Фундуклеевская улица, домъ № 22-й.
1903.

ИГРОКЪ.

РАЗСКАЗЪ.

При шумѣ музыки и пляски,
При дикомъ шопотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы безумные людей,
Приличьемъ стянутыя маски.

М. Лермонтовъ.

Въ Петербургѣ есть длинная улица съ каменными домами по обѣимъ сторонамъ. Въ одинъ очень благопристойный домъ на этой улицѣ, на одну прекрасную квартиру собрались гости посидѣть вечеркомъ у премилаго человѣка: не то надворнаго, не то коллежскаго совѣтника. Хозяинъ, маленькій, кругленькій толстякъ, съ лысиною на головѣ въ полтину серебра, не болѣе, былъ, какъ я уже сказалъ, премилый человѣкъ, разсказывалъ очень забавно анекдоты о пошехонцахъ, говорилъ удачно русскіе каламбуры, занятые изъ Александринскаго театра, даже иногда собственные, и отъ души смѣялся своимъ остротамъ. Всѣ знакомые заглазно называли его: „душа компаніи“, а въ глаза: Иванъ Агапопитовичъ. Начальники и въ глаза, и въ бумагахъ тоже давали ему это имя.

Жена Ивана Агапопитовича, Силезія Санназаровна была прелестная женщина; тоненькая, узенькая, вѣчно съ опущенными глазками, со вздохомъ на устахъ, съ головою немного наклоненною къ лѣвому плечу, съ двумя длинными русыми локонами, висѣвшими небрежно отъ висковъ вдоль тоненькой шейки.

О гостяхъ я умалчиваю. Могли ли быть у Ивана Агапопитовича нехорошіе гости?!

Былъ вечеръ. Лампы горѣли по стѣнамъ, а на столѣ, передъ диваномъ, горѣлъ кенкетъ. Изъ третьей комнаты долеталъ звонъ чайныхъ чашекъ и довольно тихо хлопнула раскупоренная бутылка. Въ углу Силезія Санназаровна любезничала съ пріѣзжимъ кавалеристомъ; какой-то важный старикъ въ вицмундирѣ, сидя на диванѣ передъ лампою, безпощадно ругалъ карболеинъ; Иванъ Агапопитовичъ, прохаживаясь дробными шагами по комнатѣ, весело потиралъ руки и думалъ: „чѣмъ у меня не вечеръ? есть люди, нужные мнѣ по службѣ, есть капиталисты, есть офицеры—народъ необходимый для дамскаго общества; есть даже литераторъ!.. Хоть мнѣ и не совѣтуютъ водиться съ этими людьми: за хлѣбъ за соль, говорятъ, литераторъ плюнетъ тебѣ въ самую душу...да чортъ его побери!.. все-таки оно лучше. Славныя декораціи у меня сегодня!“.

Гости зѣвали.

Чай немного развлекъ общество; а между-тѣмъ въ сосѣдней комнатѣ:

Столы зеленые раскрыты
Зовутъ задорныхъ игроковъ.

— Полно, господа, терять золотое время, сказалъ хозяинъ:—не перекинуть ли?

— Не худо бы перекинуть, говорили гости, подымаясь со стульевъ.

— Ваше превосходительство, въ вистикъ прикажете?

— Да партіи-то, кажется, нѣтъ, любезнѣйшій Иванъ Агапопитовичъ.

— Помилуйте! играть съ вами всякій почтетъ за особенное счастіе, можно сказать... Вотъ Елена Михайловна, вы, ваше превосходительство, Меналкъ Ѳеокритовичъ...

Только трое насъ...

— Помилуйте! вотъ... да вотъ Василій Андреичъ!.. смѣю рекомендовать: молодой человѣкъ, подающій большія надежды.

— Благодарю за честь, сказалъ Василій Андреевичъ, низко кланяясь.

— Ничего, молодой человѣкъ, благосклонно прибавилъ его превосходительство.

— Покорно благодарю: я не играю.

— Какъ, вы не играете?! Василій Андреевичъ! что вы? что вы? съ ужасомъ закричалъ хозяинъ.

— Не играю, Иванъ Агапопитовичъ.

— Полноте шутить! да я васъ самъ, что называется, собственноручно видѣлъ играющимъ.

Гости улыбнулись остротѣ хозяина.

— Я прежде игралъ, а теперь пересталъ; мнѣ нѣтъ счастья: всегда проигрываю.

— Придетъ же этакая блажь! слушать смѣшно. Садитесь, я ручаюсь, что вы выиграете; только посчастливится быть партнеромъ его превосходительства, сразу запишите трипель.

— Ну, это еще въ рукѣ Божіей, скромно замѣтилъ генералъ.

— Согласенъ, ваше превосходительство; но по крайней мѣрѣ сразу будете въ девяти: это весьма возможно, при вашемъ искусствѣ въ коммерческихъ играхъ, при постоянномъ, внимательномъ занятіи...

— Не слушайте его! перебила Елена Михайловна: давно уже сказано: „въ девяти нѣтъ пули“. Вотъ со мной сядете играть, такъ за большое не ручаюсь, а въ одну сядемъ *въ окряхъ*.

— Французская королева долго сидѣла *въ окряхъ*, замѣтилъ Меналкъ Ѳеокритовичъ.

— Къ чему спорить! можно сѣсть en trois; я, пожалуй, сяду вмѣсто молодого человѣксаъ гольцманомъ, сказалъ генералъ, значительно ударяя на слово гольцманъ.

— Какъ вы милостивы, ваше превосходительство! почти со слезами сказалъ хозяинъ:—я очень умѣю цѣнить ваше снисхожденіе; я очень виноватъ... Этотъ экономъ не пріѣхалъ; знаете, экономъ казеннаго заведенія... онъ всегда играетъ въ какую угодно: хоть въ тысячную. Достойный человѣкъ, а не пріѣхалъ!..

— Ничего, ничего, успокойтесь: я иногда люблю даже забавляться просто en deux.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство... А вы, господа, прошу за преферансъ. Золотой капитанъ! по пятачку въ преферансъ угодно?

— Играю, отвѣчалъ титулярный совѣтникъ въ рыжемъ парикѣ.

— И прекрасно! такъ вотъ вы, да я, да Проклъ Гурьевичъ, да серебряный капитанъ—вотъ и партія!

— Для серебрянаго-то капитана дорогонько, замѣтилъ сѣдой титулярный совѣтникъ.

— Экое себялюбіе! закричалъ хозяинъ:—слышите, ваше превосходительство: серебряный капитанъ боится на серебро играть?!..

— Эге!.. проворчалъ генералъ, собирая карты.

Василій Андреевичъ ушелъ въ кабинетъ и сѣлъ въ углу въ глубокое вольтеровское кресло; къ нему долетали шуточки, поговорки и приговорки игравшихъ.

— Безъ одной! говорилъ, вздыхая, серебряный капитанъ:—подкузьмили вы меня!

— Да что вамъ! Да вы въ малинѣ! говорили его товарищи.

— Помилуйте, господа! какая тутъ малина!?

— Въ малинѣ, въ малинѣ! кричалъ чей-то голосъ.

— Не прикажете ли портеру, ваше превосходительство? спрашивалъ хозяинъ.

— Два леве и два онера! щебетала Елена Михайловна.

— Сущія пѣвчія птицы! проворчалъ Василій Андреевичъ и, вытянувъ спокойно ноги во всю длину комнаты, началъ философствовать о суетѣ міра, точно какъ философствуютъ всѣ люди съ пустымъ карманомъ.

Легкій шорохъ пробудилъ Василія Андреевича отъ глубины его умозрѣній; въ комнату вошла Силезія Санназаровна, шумя огромными складками своего длиннаго гродеаплеваго платья. Рядомъ съ нею шелъ кавалеристъ.

— Такъ вы рѣшительно не вѣруете въ симпатію? говорила Силезія Санназаровна, жеманно опускаясь на диванъ.

— По крайней мѣрѣ не вѣрилъ до нынѣшняго вечера, отвѣчалъ кавалеристъ, ловко закручивая усы.

Силезія Санназаровна немного смутилась, тихонько вздохнула, повернула раза два на своемъ пальчикѣ черное черепаховое колечко, и вдругъ, быстро поднявъ головку, спросила:—А! вы здѣсь, Василій Андреевичъ! Что вы не играете?

— Я рѣшительно оставилъ угру.

— Что же вы станете дѣлать на свѣтѣ?

— Самъ еще не знаю; но играть не буду: вѣчно проигрываю.

— Фи! какой вы мужчина! двѣ, три неудачи—и вы лишаете себя почти лучшаго удовольствія жизни... Стоитъ только быть твердымъ: мнѣ кажется, мужчина съ достаточною твердостью всего можетъ достигнуть.

Силезія Санназаровна бросила взглядъ на кавалериста.

— Я навсегда отказываюсь отъ карточной

игры и этимъ хочу показать мою твердую волю.

— Такъ играйте въ другую игру, гдѣ нельзя проиграться.

— Напримѣръ, Силезія Санназаровна?

— Напримѣръ... играйте... хоть на скрипкѣ; тутъ, кажется, трудно проиграться.

Силезія Санназаровна лукаво улыбнулась.

— Я съ вами совершенно согласенъ, замѣтилъ кавалеристъ:—это самая безопасная игра.

— Разумѣется, сказала хозяйка:—этимъ можно доставить удовольствіе и себѣ, и другимъ.

„Я здѣсь лишній“ подумалъ Василій Андреевичъ, взялъ шляпу и потихонько ушелъ домой.

Василій Андреевичъ былъ молодой человѣкъ, какихъ очень много въ Петербургѣ, родился и воспитывался въ дальней провинціи, имѣлъ кучу братцевъ, сестрицъ и отца, исполненнаго идей добраго стараго времени, почти не имѣлъ никакого состоянія, служилъ уже четвертый годъ въ какомъ-то департаментѣ, жилъ однимъ жалованьемъ. Но у Василія Андреевича впереди были блистательныя надежды.

Во-первыхъ, въ Москвѣ жилъ въ собственномъ домѣ старый холостякъ дядя и крестный отецъ Василья Андреевича; онъ, въ каждомъ письмѣ жалуясь на подагру, намекалъ любезному племяннику о возможности наслѣдовать *оный* домъ.

Во-вторыхъ, въ департаментѣ штатный чиновникъ Каблучковъ, при которомъ Василій Андреевичъ былъ помощникомъ, очень подозрительно кашлялъ, видимо угасалъ и наконецъ слегъ въ постель. Доктора говорили: „не вставать болѣе штатному чиновнику.“ Самъ начальникъ отдѣленія говорилъ Василію Андреевичу: „Вы весьма можете занять мѣсто Каблучкова; будьте благонадежны.“ Товарищи говорили: „Василій Андреевичъ, какъ получите мѣсто—за вами вечерокъ.“

Въ-третьихъ, Василій Андреевичъ, по обычаю всѣхъ людей, у которыхъ еще довольно-быстро кровь переливается въ жилахъ, былъ влюбленъ, и влюбленъ не безнадежно. „Владычица души его,“ дочь начальника отдѣленія, живая брюнетка, была къ нему внимательна, отличала его передъ другими. Даже самъ начальникъ отдѣленія, кажется, не только замѣчалъ эту любовь, но даже ей покровительствовалъ.

Съ такими надеждами можно еще жить на бѣломъ свѣтѣ.

Но это все были надежды!.. Доктора увѣряютъ, что иные подагрики живутъ по два вѣка; дочка начальника отдѣленія еще дѣвушка, и вольна отдать свою руку кому ей прикажутъ; а мѣсто Каблучкова... Тутъ невольно приходилъ на память Василью Андреевичу одинъ случай съ начальникомъ отдѣленія.

Шелъ начальникъ отдѣленія по улицѣ и глубоко задумался—о чемъ? одному Богу вѣдомо! Откуда ни взялись изъ подворотни двѣ собачонки, залаяли, завизжали, и давай его дергать за полы шинели. Начальникъ отдѣленія поклонился на обѣ стороны, самымъ ласковымъ голосомъ сказалъ: „будьте благонадежны“, закутался покрѣпче въ шинель и пошелъ далѣе.

Имѣя виды на дочь своего начальника, Василій Андреевичъ питалъ въ себѣ дерзкую мысль когда-нибудь вечеромъ пригласить его на преферансъ въ свою квартиру; но для этого потребовались нѣкоторыя улучшенія: покупка нѣсколькихъ креселъ съ эластическими подушками (на другихъ стульяхъ начальникъ не любилъ сидѣть) и новаго ломбернаго стола. Какъ ни думалъ Василій Андреевичъ, а денегъ не хватало, и онъ рѣшился, первый разъ въ три года, попросить у своего отца сотни двѣ ассигнаціями. Въ надеждѣ на будущія блага, дня за три до начала нашего разсказа, онъ проигралъ все свое мѣсячное жалованье, а въ самый день, кончившійся извѣстнымъ намъ вечеромъ у Ивана Агапопитовича, получилъ отъ отца пестрый ситцевый халатъ и письмо слѣдующаго содержанія:

„Любезный сынъ мой,
Василій Андреевичъ!

„Удивляюсь я, куда ты дѣваешь деньги, получая въ годъ тысячу двѣсти рублевъ жалованья. Это сумма не бездѣльная, можно бы и отложить что-нибудь на черный день, а ты еще у меня вздумалъ просить!.. Ты, вѣдь, знаешь сколько васъ у меня наплодилось! Дай тому, другому, и давать будетъ нечего; а тутъ неурожай—хлѣба нѣтъ; вотъ у сосѣдки Бульбулькиной все село опухло. А ты, братъ, вѣрно, въ столицѣ тово... или тебя мясники, да всякіе купцы обсчитываютъ да обвѣшиваютъ. Съ этими бездѣльниками надо торговаться и смотрѣть въ оба. Посылаю тебѣ очень красивый халатъ; ты на такомъ мѣстѣ, что, чай, нерѣдко просителей принимаешь, а въ этомъ халатѣ хоть кого принять нестыдно; только ты съ этимъ народомъ не очень нѣжничай: они народъ грубый; съ ними церемониться нечего—такъ будешь совершеннымъ чело-

вѣкомъ и отцу поможешь. Вотъ тебѣ мой родительскій совѣтъ и благословеніе.

Твой отецъ, Андрей".

Василій Андреевичъ прочелъ письмо, сосчиталъ всѣ свои деньги: ихъ оказалось четыре рубля семьдесятъ три копейки, вздохнулъ и машинально отправился на вечеръ къ Ивану Агапопитовичу.

Съ самаго дѣтскаго возраста Василій Андреевичъ занимался скрипичною игрою; въ пансіонѣ, гдѣ воспитывался, онъ игралъ вторую скрипку, когда во время торжественныхъ случаевъ изъ воспитанниковъ составляли хоръ пѣвчихъ и музыкантовъ. Родители юныхъ музыкантовъ плакали отъ восторга, цѣловали своихъ птенцовъ, и дарили разными домашними произведеніями музыкальнаго учителя Карла Ивановича Фисмоля. Фисмоль вѣжливо раскланивался и, осыпая нѣжныхъ родителей любезностями, обыкновенно говаривалъ отцу Василья Андреевича: „Вашъ сынъ, это—маленькій Себастіанъ Бахъ, это - молодой Глукъ, немножко Моцартъ, немножко Бетховенъ, и больше ничего". Дома, во время вакацій, Василій Андреевичъ часто наигрывалъ на скрипкѣ вальсы, кадрили и мазурки; сосѣдки танцовали до упаду подъ эту игру; благодарностямъ конца не было.

Василій Андреевичъ привезъ съ собою въ Петербургъ скрипку и на другой день, осматривая городъ, купилъ на сорокъ рублей нотъ, разъигралъ ихъ и чрезъ три дня пошелъ въ тотъ же магазинъ перемѣнить; разыгранныя ноты взяли и дали новыхъ на тридцать рублей; скоро и эти были перемѣнены; перемѣненныя опять мѣнялись, и наконецъ, недѣли черезъ три, остался въ рукахъ аматера одинъ какой-то галопадъ. Василій Андреевичъ разыгралъ галопадъ и подумалъ: „Дрянная штука, даже аппликатуры мало, а пришлась въ сорокъ рублей!" Между тѣмъ онъ получилъ мѣсто; явились новыя служебныя заботы, новые пріятели, которые не только не производили его въ Моцарты и Бетховены, но даже никогда не просили и поиграть, хоть часто спрашивали чаю и трубокъ. Скрипка была положена въ ящикъ; вмѣсто смычка Василій Андреевичъ вооружился картами, вошелъ въ колею обыкновенной жизни и тихо, ровно покатился по нея въ общемъ водоворотѣ мелкаго служащаго міра.

Послѣ этого понятно, отчего совѣтъ Силезіи Санназаровны играть на скрипкѣ не только не удивилъ, не огорчилъ Василья Андреевича, но еще казался ему пророческимъ голосомъ судьбы, посланнымъ пробудить въ немъ уснувшій талантъ.

„Вѣдь правду говорила Силезія Санназаровна", думалъ Василій Андреевичъ, подходя къ своей квартирѣ: игра на скрипкѣ и не убыточна, и пріятна; мнѣ грѣшно, что я оставилъ ее. Разумѣется, здѣсь никто не произведетъ меня въ Моцарты за мѣшокъ гороху или за барана. Я и далекъ отъ этого, а все же у меня есть талантъ. Да и дочка начальника отдѣленія любитъ музыку, вотъ двѣ недѣли все только и слышишь: „ахъ, Липинскій! ахъ, чудо! ахъ, прелесть!" Пусть себѣ Паганини первый скрипачъ—спорить не стану; все же таки я игрывалъ его варьяціи, можетъ-быть не такъ, какъ самъ авторъ—на то онъ и авторъ—а все же игралъ: этого отъ меня никто не отниметъ. Не помню, гдѣ-то я читалъ изреченіе Бюффона, что трудъ есть геній... Кто знаетъ, что бы вышло, если-бъ я до сихъ поръ, вмѣсто картъ, занимался музыкою—а? что бы изъ того вышло? Во-первыхъ, я бы не проигрался въ преферансъ—это вѣрно! во-вторыхъ... да кто его знаетъ, что бы вышло? Чѣмъ лучше меня заѣзжіе нѣмцы, что пилятъ по струнамъ цѣлый постъ въ залѣ Энгельгардта? и собираютъ же денежки... истинно собираютъ. Можетъ-быть, въ этомъ вся моя будущность... Принимать просителей въ халатѣ и грубо принимать ихъ я предоставляю сверстникамъ моего батюшки: это ихъ дѣло; мнѣ уже совѣсть не позволитъ, хоть оно, можетъ-быть, и пріятно и полезно, да совѣстно... а игра—дѣло другое... Я же дворянинъ, и тутъ выгода, и служба пойдетъ своимъ порядкомъ, а можетъ-быть, наслѣдство придетъ кстати, а тамъ и женюсь. *Она* такъ любитъ музыку! пріятно заслужить ея похвалу!.."

Василій Андреевичъ дернулъ колокольчикъ у своей двери, весело отдалъ шинель старому своему слугѣ Фарафонту, въ минуту смѣнилъ вицмундиръ халатомъ, вытащилъ изъ подъ кровати запыленный скрипичный ящикъ и бережно вынулъ изъ него скрипку. Видно было, что давно ничья рука не дотрогивалась до этого инструмента: подставка стояла косо, басокъ былъ спущенъ, квинта оборвана.

Какое-то грустное чувство, въ родѣ упрека совѣсти, налегло на душу Василья Андреевича, когда онъ взглянулъ на забытую скрипку, доставлявшую ему нѣкогда столько удовольствій. Подъ скрипкою лежалъ листокъ нотъ, пожелтѣвшій отъ времени, съ надписью: Sonata C-dur. Violino Secondo (*будущему* великому артисту Васѣ Андреевичу, въ знакъ утѣшенія отъ maestro Fismol)". Эти ноты были писаны собственною рукою Фисмоля, были когда-то

играны Васильемъ Андреевичемъ, заслужили ему рукоплесканія невзыскательной публики и горячія объятія родителей.

„И гдѣ теперь этотъ фанатикъ музыки, Фисмоль? Все ли онъ, тощій, высокій, сѣдой, съ очками на носу, съ смычкомъ въ рукахъ, твердитъ мальчикамъ: на четвертой *d*, подъ пятой *e*, на пятой *f* и такъ далѣе? Все ли онъ по-прежнему гоняется за славою композитора, которая нѣкогда, въ дни юности, свела его съ родныхъ цвѣтущихъ горъ Тироля, заставила бѣгать за собою по бѣлу-свѣту, завела на холодныя русскія поляны и бросила въ какой-то пансіонъ учить ребятъ нотной азбукѣ? Все ли онъ, дряхлый старикъ, надѣется поймать эту неуловимую мечту юности, быстро спѣша ко гробу?... Глупъ ли онъ, или судьба, въ насмѣшку, гнала, его, тѣснила обстоятельствами и безжалостно обрывала въ цвѣту его надежды?... Быть можетъ, онъ мнѣ пророчилъ истину, а я такъ безсовѣстно обманулъ его!“

Такъ, или почти такъ, думалъ Василій Андреевичъ, глядя на ноты и навязывая квинту на скрипку.

Скрипка настроена, смычокъ въ рукахъ, только осталось его немного потереть канифолью. Василій Андреевичъ отыскалъ въ ящикѣ канифоль; она была завернута въ какую-то исписанную бумажку. Василій Андреевичъ теперь только замѣтилъ, что это былъ лоскутокъ письма его покойной матери, писаннаго къ нему еще въ пансіонъ. Буквы почти стерлись отъ канифоли, но еще можно было прочитать: „Ты занимаешься музыкою, милый Вася, это мнѣ очень пріятно: музыка облегчаетъ душу человѣка, утѣшаетъ въ горѣ и...“ больше ничего не могъ разобрать Василій Андреевичъ и, вздохнувъ, сказалъ: „Да, это ея рука, это она писала; покойница была умная и добрая женщина! Миръ праху ея!...“ Потомъ заигралъ любимую пѣсенку покойной своей матушки. При звукахъ этой пѣсенки, воскресало для него дѣтство, веселое, беззаботное, окруженное ласками обожавшей его женщины... Рука играла, глаза были влажны, душа наполнилась спокойствіемъ, озарялась тихимъ, кроткимъ свѣтомъ; въ ней отражалось прошедшее, какъ на чистомъ, гладкомъ озерѣ свѣтъ молодой луны. Но вотъ вспомнилъ Василій Андреевичъ свою юность; звуки скрипки сдѣлались живѣе, перешли въ котильонъ; передъ Васильемъ Андреевичемъ потянулась цѣлая вереница деревенскихъ баловъ и вечеровъ, цѣлый рой молоденькихъ сосѣдокъ, толпа провинціальныхъ сосѣдей въ разныхъ фракахъ, въ цвѣтныхъ жилетахъ, съ усами и безъ усовъ, съ каблуками и безъ каблуковъ... Василій Андреевичъ улыбался и игралъ, съ котильона перешелъ на мазурку, съ мазурки на другую, съ другой на третью и кончилъ, когда-то славнымъ вальсомъ прусской королевы. Свѣча страшно нагорѣла; Фарафонтъ храпѣлъ за перегородкой; на башнѣ ударилъ часъ. Василій Андреевичъ легъ въ постель, совершенно довольный собою, почти счастливый, и скоро заснулъ богатырскимъ сномъ. Какъ подумаешь, кто изъ насъ не бывалъ въ свое время Васильемъ Андреевичемъ?

Кажется, счастливо уснулъ человѣкъ, а и тутъ не дали ему покоя сновидѣнія. Приснилось Василью Андреевичу, что онъ сидитъ въ департаментскомъ вицмундирѣ на скамейкѣ своего провинціальнаго пансіона; кругомъ мальчишки, старые товарищи въ нанковыхъ курточкахъ, шумъ, визгъ... одинъ говоритъ такъ страшно, такимъ голосомъ, будто съ каждымъ словомъ лопается у него во рту квинта; двое дерутся за булку, не линейками, какъ обыкновенно, а какими-то звуками; звуки, разбиваясь, сыплются по полу staccato.

„Это непріятно“, подумалъ Василій Андреевичъ; „этакъ, пожалуй, скоро и ходить нельзя будетъ отъ этого гороху“... и сказалъ школьникамъ:

— Полно вамъ, господа, сорить въ классѣ: учитель придетъ, всѣ будемъ отвѣчать.

— Молчи, крыса! не твое дѣло! закричали шалуны.

— Я, господа, не крыса, это всѣ видятъ: крыса бѣгаетъ на четырехъ ногахъ, а я на двухъ. Перестаньте, господа, я вамъ дамъ свою булку.

— Давай свою булку! гдѣ твоя булка?

— Вотъ моя булка, и, вынувъ изъ кармана булку, Василій Андреевичъ положилъ на скамью.

— Ха-ха-ха! такъ это твоя булка?!

— Это моя булка.

— Ѣшь самъ ее, бумажная душа. У-у!...

Посмотрѣлъ Василій Андреевичъ на булку и видитъ, точно это не булка, а галопадъ изъ „Озера Волшебницъ“. Развернулъ ноты—тамъ настоящее озеро съ водою, съ рощами; волшебницы купаются, ныряютъ въ свѣтлой водѣ; у самой воды большой пѣтухъ играетъ на котрабасѣ казачка и какой-то лысый толстякъ, въ синемъ фракѣ, пляшетъ безъ-устали. Чуть начнетъ Василій Андреевичъ разсматривать очень пристально какую-нибудь хорошенькую волшебницу, толстый плясунъ, какъ синяя тѣнь, снуетъ передъ глазами.

— Да перестаньте, милостивый государь, танцовать! вы мнѣ мѣшаете, сказалъ Василій Андреевичъ.

— Ого! насмѣшливо отвѣчалъ плясунъ: — поддай-ка, Филька, пару!

Пѣтухъ улыбнулся и началъ отхватывать носомъ престрашное *пиччикато*; синій фракъ пошелъ въ-присядку.

— Ни будочника нѣтъ, ничего, подумалъ Василій Андреевичъ:—пускай дуракъ танцуетъ.

Вотъ показалась изъ воды головка, за нею шейка, по шейкѣ вились два длинные мокрые локона. Ба! Да это, кажется, Силезія Санназаровна? именно она! нехудо бы разсмотрѣть въ тонкость: дама знакомая.—А тутъ плясунъ пуще прежняго такъ и виляетъ передъ глазами. Василій Андреевичъ не выдержалъ, да какъ дастъ тумака синему танцору.

— Покорно благодарю, ваше благородіе, сказалъ танцоръ.

— Что вы сдѣлали! закричала Силезія Санназаровна:—вы убили Моцарта!... Безумный молодой человѣкъ!

Силезія Санназаровна стояла передъ синимъ фракомъ уже не въ прежнемъ видѣ волшебницы, а въ гроденаплевомъ платьѣ, очень скромно сшитомъ; даже на шейку надѣла тюлевый *модести*.

— Извините, я не зналъ... это нечаянно... такъ, руки расходились.

— Ничего-съ, это пройдетъ, отвѣчалъ Моцартъ.

— Дай Богъ! сказала Силезія Санназаровна. Честь имѣю рекомендовать моего ученика, Василія Андреевича.

— Очень пріятно. Въ какомъ департаментѣ изволите служить? спросилъ Моцартъ.

— Нѣтъ, онъ мой ученикъ, дико закричалъ пѣтухъ, подымая кверху смычокъ:— развѣ ты не узналъ меня?

— Карлъ Ивановичъ! Фисмоль! А я, право, думалъ, что вы пѣтухъ.

— Молодой человѣкъ! развѣ пѣтухи такъ играютъ на контрабасѣ?...

— Да, да, и мнѣ казалось немного страннымъ.

— То-то же; но, праведное небо! что я вижу! на челѣ твоемъ печать позора, ты рабъ мазурокъ и кадрилей, ты сдѣлался музыкальнымъ гаеромъ, шутомъ! ты звуками своей скрипки тѣшилъ самокъ рода человѣческаго, заставляя ихъ безумно прыгать въ нелѣпыхъ танцахъ!... Такъ это плоды трудовъ моихъ! такъ это музыка!... Такъ вотъ мои надежды!... А я, глупецъ, думалъ, что не умру въ тебѣ, что люди еще долго будутъ чувствовать Фисмоля на свѣтѣ! Ты будешь безъ обѣда, съ тебя снимутъ сапоги, не пустятъ въ отпускъ. Покайся, молодой человѣкъ!... изучай сонаты и фуги, пойми, перечувствуй, усвой всѣ сорокъ капризовъ Крейцера, а не то, да поразитъ тебя праведный смычокъ.

Фисмоль взмахнулъ смычкомъ; Василій Андреевичъ вздрогнулъ и—проснулся. На дворѣ было свѣтло; на столикѣ въ передней весело кипѣлъ самоваръ, а Фарафонтъ, стоя у кровати, говорилъ: Чай готовъ, ваше благородіе, что прикажете взять въ булочной?

— Возьми Фисмоль.

— Что-съ?

— Плюху, братецъ, или сухарей на десять копеекъ, да скорѣе.

Когда вышелъ Фарафонтъ, Василій Андреевичъ стеръ съ лица холодный потъ, вздохнулъ свободно и отъ души перекрестился, что онъ уже не школьникъ.

Василій Андреевичъ провелъ цѣлый день на службѣ въ департаментѣ, занимался прилежно дѣлами, но сонъ не выходилъ у него изъ головы. Онъ думалъ, что, можетъ быть, точно современемъ сдѣлается великимъ музыкантомъ; что сновидѣніе имѣло глубокій смыслъ; что, играя мелкія штуки, онъ видимо отстанетъ отъ серьезной музыки. Вслѣдствіе подобныхъ разсужденій Василій Андреевичъ передъ выходомъ изъ департамента занялъ у казначея въ счетъ жалованья двадцать пять рублей и, возвратясь въ квартиру, вмѣстѣ съ казенными бумагами принесъ подъ-мышкой скрипичную школу Роде, Крейцера и Балió и толстую тетрадь самыхъ трудныхъ этюдовъ...

Василій Андреевичъ жилъ въ казенной квартирѣ, состоявшей изъ маленькой, темной передней, гдѣ жилъ слуга, отставной солдатъ Фарафонтъ, и еще одной комнаты въ два окна, изъ которыхъ видъ былъ прямо на березовыя дрова, сложенныя на дворѣ въ четыреугольникъ, и на крышу. Въ углу комнаты стояли ширмы, а за ширмами кровать; налѣво, за стѣною, жилъ старикъ столоначальникъ, бывшій когда-то, гдѣ-то профессоромъ; направо, за стѣною, департаментскій казначей, внизу экзекуторъ, вверху былъ чердакъ, безъ постоянныхъ жителей: на немъ ночевали мыши, голуби, кошки—словомъ, всѣ, кому нравилось тамошнее мѣстоположеніе, климатъ, удобство для жизни и прочее.

Часу въ десятомъ вечера Василій Андреевичъ, стоя у стола въ одномъ жилетѣ, наигрывалъ какой-то трудный пассажъ, состоявшій изъ двухъ самыхъ безбожныхъ трелей; дребезжанье звуковъ до того было сильно и рѣзко, что пламя на свѣчкѣ дрожало, будто въ лихорадкѣ, и мѣдный ключъ

отъ сахарницы шевелился на кругломъ столикѣ, словно живой. Василій Андреевичъ игралъ неутомимо; уже тысячный разъ повторилъ онъ трудный пассажъ, а трели никакъ не выигрывались! Наконецъ, переставивъ пальцы какимъ-то новымъ способомъ, онъ потянулъ смычкомъ—и даже самъ изумился дикости и вою огласившему комнату. Въ это время дверь съ шумомъ отворилась и въ комнату вбѣжалъ столоначальникъ, сѣдой старикъ въ зеленомъ халатѣ, подпоясанномъ красною тесемкою.

— Что вы дѣлаете? закричалъ онъ, разводя въ стороны руками.

— Играю, отвѣчалъ Василій Андреевичъ, и снова принялся за трель.

— Да перестаньте, ради Бога! вѣдь это невыносимо! лучше быть сосѣдомъ кузнеца или слесаря... я вамъ не позволю себя мучить.

— Вы все еще думаете, что взыскиваете со школьниковъ; я такой же чиновникъ, какъ и вы, милостивый государь; прошу мнѣ не мѣшать заниматься.

— Вы мнѣ сами мѣшаете; вотъ уже двѣ недѣли какъ ничего не могу дѣлать отъ этой дурацкой скрипки.

— Во-первыхъ, скрипка не дурацкая, а моя, во-вторыхъ, лучше играть на скрипкѣ, нежели перекладывать въ глупые стихи „Исторію Россійскаго Государства“.

— Это значитъ, мои стихи глупы? Вы знаете, милостивый государь, что это личность, это пахнетъ уголовной палатой. Я на васъ буду жаловаться, вы у меня отнимаете будущность—да; вотъ уже двѣ недѣли бьюсь надъ удѣльной системой и, благодаря вамъ, не могу кончить, стихи неидутъ! вы мнѣ разстраиваете мысли: такъ я никогда не кончу стихотворной исторіи.

— Напрасно трудитесь: ее никто не прочитаетъ.

— Не прочитаетъ чурбанъ, болванъ не прочитаетъ, да, слава Богу, свѣтъ не изъ однихъ чурбановъ; а вашу пискотню какой болванъ станетъ слушать—хотѣлъ бы я посмотрѣть!

— А, напротивъ, нѣкоторые слушаютъ, и даже сердятся.

— Только не я, милостивый государь, не я; это ужъ слишкомъ; я стану жаловаться начальству.

Столоначальникъ вышелъ, повторяя за дверью:

Это ужъ слишкомъ! это ужъ слишкомъ! У меня есть начальство... есть начальство!...

Василій Андреевичъ опять принялся за трель.

Въ передней послышалось сопѣніе и тяжелыми шагами ввалился въ комнату сосѣдъ-казначей. Его огромное, толстое туловище было одѣто въ широкій гороховый сюртукъ съ боковыми карманами.

— А! мое почтеніе, Иванъ Иванычъ! сказалъ Василій Андреевичъ.

— Здравствуйте, любезный! Уфъ! позвольте присѣсть, усталъ.

— Сдѣлайте одолженіе. Откуда это вы?

— Изъ своей комнаты; нарочно къ вамъ.

— Покорно благодарю.

Казначей усѣлся, вздохнулъ раза два, понюхалъ табаку и сказалъ:—А я вотъ къ вамъ нарочно съ просьбою: нельзя ли вамъ бросить вотъ эту музыку?

— Что вы, Иванъ Иванычъ! неужели и вамъ не нравится музыка?

— Нѣтъ, я не такой человѣкъ: по мнѣ, дрова ли рубятъ, играетъ ли кто на чемъ, дрожки ли ѣдутъ—мнѣ все-равно: это меня не пропекаетъ; а есть другое обстоятельство... непріятное обстоятельство.

— Что же такое?

— Оно и пустяки, а непріятное обстоятельство... вотъ видите... вы знаете мою Бибишку?...

— Какъ же! это прекрасная собачка...

— И очень умная, прибавьте. Ну, вотъ какъ вы начинаете играть, она и давай выть; я уже ее и платкомъ носовымъ стегалъ и картузомъ билъ — не унимается; воетъ да и только!

— А вы не любите собачьяго вою?

— Нѣтъ, мнѣ и это ничего, у меня не такая натура, а примѣта, говорятъ, нехорошая.

— Неужели вы вѣрите примѣтамъ?

— Нехорошая примѣта, право, нехорошая. Помню, какъ сегодня, покойникъ-отецъ былъ боленъ, и лѣлую зиму выла собака, а лѣтомъ онъ умеръ. Нѣтъ, лучше не играйте; вамъ это—удовольствіе, занятіе, а мнѣ можетъ быть худо.... перестаньте, пожалуйста.

— Да, какъ же, Иванъ Иванычъ, вѣдь я...

— Скучно вамъ? займитесь чѣмъ-нибудь другимъ: клейте что нибудь изъ картона, или что другое... Мало ли есть занятій!

— Но отчего же я не могу играть? вѣдь я хозяинъ у себя на квартирѣ?

— Какъ хотите: вамъ хочется играть, а мнѣ еще хочется пожить на свѣтѣ. Я васъ предостерегаю: если моя Бибишка не перестанетъ выть, я возьму свои мѣры. Спокойной вамъ ночи.

— Прощайте.

Казначей ушелъ, немного обиженный. Василій Андреевичъ принялся снова за трель.

Минутъ черезъ десять вбѣжалъ экзекуторъ въ вицмундирѣ.

— Помилуйте, Василій Андреичъ, что вы дѣлаете!

— Играю.

— Вы рѣшительно не даете покою всему казенному дому!

— Я дома не трогаю.

— На васъ безпрестанныя жалобы, сейчасъ были у меня ваши сосѣди: житья, говорятъ, нѣтъ.

— Не бросить же мнѣ заниматься пріятнымъ искусствомъ оттого, что одинъ не справится въ стихахъ съ русской исторіей, а другой боится сабачьяго вою?

— Положимъ такъ; но согласитесь, что моя жена не исторія въ стихахъ и не Бибишка казначейская, а вы и ей не даете покою. Я о себѣ не говорю; весь департаментъ знаетъ мою ревностную службу: я бѣгаю отъ ранняго утра до полночи, какъ почтовая лошадь, все бьюсь изъ-за казеннаго интереса, все смотрю гдѣ бы что лучше приладить, гдѣ бы что выгадать для казны—всѣ это знаютъ, и вы сами это скажете—неправда ли?

— Правда.

— Ну, вотъ видите, такъ гдѣ мнѣ прислушиваться до всего; а жена моя, бѣдная, что выноситъ, сидя дома! Такія, говоритъ, раздирательныя штуки выкидываетъ Василій Андреевичъ: грудь, говоритъ, даже заболѣла. Купи, говоритъ, у Имзени эстляндскаго шоколаду; въ нашемъ климатѣ, чего добраго, какъ-разъ угодишь въ чахотку...

— Пожалуй, я сегодня не буду больше играть, оттого, что усталъ, наигрался вволю, да и боюсь, чтобъ кто не пришелъ еще съ чердака мѣшать мнѣ, а завтра, если захочется играть, такъ не стану ни у кого спрашиваться: я, слава Богу, человѣкъ, служу какъ и всѣ, хоть, можетъ быть, и меньше бѣгаю по лѣстницамъ; знаю очень хорошо, что играть на скрипкѣ у себя дома, для своего удовольствія, пьесы дозволенныя законъ не запрещаетъ, и стану играть сколько захочу—понимаете?

— Понимаю, ворчалъ экзекуторъ, выходя изъ комнаты.

Спустя недѣли три послѣ этого вечера въ одинъ изъ неслишкомъ свѣтлыхъ переулковъ, передъ высокимъ каменнымъ домомъ стоялъ ломовой извозчикъ съ роспусками, нагруженными разнымъ хламомъ: тутъ во всѣ стороны торчали ножки стульевъ и кровати; между ними красовался самоваръ, печально качалась вѣтка зеленой герани; изъ-подъ ширмы выглядывалъ чубукъ и что-то завернутое въ пестрое одѣяло. Рѣзкій вѣтеръ гналъ по небу мрачныя тучи, обдававшія улицу добрымъ дождикомъ; старикъ-слуга, отставной солдатъ, повременамъ выходилъ изъ дома, бралъ что-нибудь у извозчика и опять скрывался надолго въ темную, низенькую дверь. У роспусковъ стоялъ молодой человѣкъ, раскрывъ надъ головою огромный парусинный зонтикъ; прохожіе шли по узенькому, мокрому тротуару, заглядывали подъ зонтикъ и пропадали далѣе.

— Ба! это вы, Василій Андреичъ? закричалъ одинъ прохожій, заглянувъ подъ зонтикъ молодого человѣка.

— Я, Иванъ Агапопитовичъ.

— Зачѣмъ же вы мокнете на дождикѣ? ужъ вѣрно какое-нибудь рандеву – ась? Охъ, вы, молодые люди!...

— Нимало. Вы видите, я переѣзжаю съ квартиры.

— Какъ? а казенная-то?

— Понадобились кой-какія передѣлки, улучшенія въ домѣ, такъ нельзя же оставаться.

— Плохо, молодой человѣкъ! плохо!

— Что же тутъ плохого? на вольной гораздо спокойнѣе. Я думаю, вы пожалуете когда-нибудь ко мнѣ въ этотъ домъ, въ четвертомъ этажѣ, № 36-й.

— Заверну когда-нибудь; а все-таки плохо. До свиданія.

— До свиданія.

Иванъ Агапопитовичъ ушелъ, ворча: „Плохо, плохо; знаю я эти поправки, эти улучшенія...“

Настала зима. Василій Андреевичъ свелъ знакомство съ артистами-аматерами, нашелъ по себѣ невзыскательную секунду, гаковаго же альта и віолончель, часто по вечерамъ поилъ ихъ чаемъ и игралъ съ ними квартетъ. Не знаю, хорошо ли они играли, но играли храбро, отчаянно, несмотря ни на какія трудности. Это онъ называлъ собственными музыкальными вечерами.

Часу въ пятомъ вечера Василій Андреевичъ скорыми шагами ходилъ по комнатѣ; то самодовольно потиралъ руки, то печально задумывался; вдругъ двери съ шумомъ растворились и въ комнату вбѣжала секунда—панъ Цвириньковскій, альтъ —герръ Овершлагъ и басъ—студентъ Алеша: другого имени ему не было, и врядъли кто зналъ его фамилію...

— Чудесная новость! чудесная новость! кричали ему разными голосами.

— И у меня есть новость, господа, отвѣчалъ Василій Андреевичъ:—я надѣюсь...

— Да ужъ вѣрно у тебя не квартетъ Бетховена—правда? говорилъ студентъ.

— Правда.

— Ну, и конечно, не слушайте его; господа, его новость дрянь противъ нашей.— Здѣсь, братецъ, самый трудный квартетъ Бетховена, отъ котораго нѣмцы чуть съума не сошли.

— Смѣю вамъ доложить, что за этотъ

квартетъ нѣмцы назвали Бетховена сумасшедшимъ, говорилъ Цвириньковскій.

— Не сумасшедшимъ, а помѣшаннымъ, замѣтилъ Овершлагъ.

— Одинъ дьяволъ, почтеннѣйшій Овершлагъ, а дѣло въ томъ, что квартетъ засѣлъ, словно смертный грѣхъ, въ мозгу у нѣмцевъ. И этотъ квартетъ здѣсь, закричалъ студентъ, торжественно бросая на столъ толстую трубку нотъ. Давай, Вася, скорѣе инструменты, да свѣчей побольше: мы его сразу спустимъ; у насъ не Германія!

— Эхъ, господа! я не знаю чего бы не далъ за удовольствіе поиграть съ вами такую рѣдкую вещь; но мнѣ надобно скоро ѣхать; въ шесть часовъ я долженъ непремѣнно...

— Ого! да еще пять квартетовъ можно проиграть до этого времени. Гдѣ твои часы? сказалъ студентъ.

— Въ другой комнатѣ.

— А вотъ посмотримъ; вѣрны они?

— Сегодня свѣрялъ нарочно.

— Еще четвертаго половина, говорилъ студентъ, возвращаясь съ часами въ рукахъ:—пятаго половина—часъ, шестаго половина—два... да еще, братецъ, два часа съ половиною можно поиграть.

— Что это? сказалъ удивленный Василій Андреевичъ:—кажется недавно было пятаго четверть!...

— Хорошъ же ты!... цѣлымъ часомъ впередъ смотрѣлъ.

— Если такъ, то еще успѣемъ.

Въ минуту былъ раскрытъ ломберный столъ, поставлены пюльпитры, на нихъ ноты, подлѣ нихъ свѣчи; друзья пріударили въ смычки, и великое созданіе Бетховена огласило комнатку четвертаго этажа въ темномъ переулкѣ. Господа аматёры играли храбро; но квартетъ подвигался очень тихо впередъ; послѣ двухъ тактовъ, довольно еще сносныхъ, въ третьемъ непремѣнно выходила нестерпимая дичь; такъ переигрывали по десяти разъ и, наконецъ, оставляя, соглашаясь единодушно, что тутъ покойникъ нагородилъ немного чепухи, причемъ герръ Овершлагъ значительно улыбался и прибавлялъ: „нѣмцы не совсѣмъ виноваты“. Василій Андреевичъ все поглядывалъ на часы, и только еще половина квартера была проиграна, какъ онъ торжественно положилъ скрипку и объявилъ, что уже около шести часовъ и ему непремѣнно нужно ѣхать.

— Ну, братъ, поздравляю, кричалъ студентъ, хохоча гомеровскимъ смѣхомъ:—поздравляю! Теперь ты можешь спокойно остаться дома и доиграть съ нами квартетъ...

— Что это значитъ? спросилъ Василій Андреевичъ встревоженнымъ голосомъ.

— А то значитъ, что твоя дульцинея, прождавъ тебя лишній часъ, отправилась восвояси; я, вѣдь, твои часы перевелъ часомъ назадъ. И студентъ принялся хохотать.

— Чтобъ тебя чортъ побралъ съ твоею дульцинеею! вскричалъ Василій Андреевичъ, вскакивая со стула, будто укушенный ядовитою змѣею, схватилъ шляпу, накинулъ шинель и стремглавъ бросился бѣжать по лѣстницѣ съ четвертаго этажа.

— Ужъ не Бетховенъ ли такъ на нихъ подѣйствовалъ? сказалъ, лукаво улыбаясь, Цвириньковскій, когда уже неслышно стало на лѣстницѣ шаговъ Василья Андреевича.

— Экъ юркнулъ! словно отъ долговъ, прибавилъ студентъ, вынимая изъ кармана папироску.—Гдѣ этотъ дуракъ Фарафонтъ? хоть бы чаю намъ далъ.

— Ваша правда, замѣтилъ нѣмецъ.

Между-тѣмъ Василій Андреевичъ взялъ перваго встрѣтившагося извощика и гналъ его что есть силы къ почтамту. У почтамта попался ему на встрѣчу Фарафонтъ.

— А что, Фарафонтъ?

— Плохо ваше благородіе! уѣхали.

— Давно?

— Съ полчаса будетъ.

— Да какъ же это можно! да вотъ я имъ разскажу!

— Тамъ никого нѣтъ, ваше благородіе, почтовая карета уѣхала и контору заперли, а мнѣ отдали ваши бумаги и чемоданъ; сказали: „коли хочетъ, пускай догоняетъ“.

— Хорошо, давай сюда чемоданъ и бумаги. Извощикъ, пошелъ въ Ямскую!

Заплативъ очень дорого за тройку до Средней Рогатки, Василій Андреевичъ ѣхалъ не очень быстро, приказывалъ ѣхать шибче—ямщикъ не слушалъ; ругнулъ ямщика—тотъ отвѣчалъ, что договорился свезти его на Среднюю Рогатку, а не слушать брань, и что онъ возилъ графовъ и князей. Василій Андреевичъ обѣщалъ полтину серебра на водку; ямщикъ отвѣчалъ, что ему тройка самому дороже стоитъ, и несходно за полтину серебра загнать ее. Сокращая время подобными разговорами, наконецъ пріѣхали на Среднюю Рогатку, когда тамъ уже забыли объ отъѣздѣ почтовой кареты. Василій Андреевичъ былъ въ отчаяніи, хотѣлъ гнаться за нею до слѣдующей станціи, но какой-то писарь отсовѣтовалъ, говоря, что почтовая карета—экипажъ казенный, ѣдетъ безъ замедленія и догнать ее очень трудно и дорого, а вы лучше возьмите перекладную и поѣзжайте съ Богомъ.

— Ну, давай перекладную, да поскорѣе! —закричалъ Василій Андреевичъ.

— Очень хорошо. Пожалуйте вашу подорожную.

— Какую подорожную? у меня нѣтъ подорожной.

— Если нѣтъ, такъ мы не можемъ дать лошадей.

— Что жъ я буду дѣлать?

— Не могу знать; какъ вамъ угодно; а если вамъ угодно, я поищу ямщиковъ: авось кто возьмется свезти васъ за двойные прогоны.

— Спасибо, братъ: вы меня этакъ ограбите; здѣсь возьмутъ двойные, тамъ тройные, а тамъ четверные, и я гдѣ-нибудь посреди дороги буду сидѣть безъ гроша. Спасибо, я возьму лучше подорожную.

— Какъ вамъ угодно.

Писарь вышелъ, и вошелъ ямщикъ.

— Ты зачѣмъ? сердито спросилъ Василій Андреевичъ.

— А какъ же-съ, ваше благородіе, на водочку пожалуйте.

— Ахъ ты, борода этакая! еще на водку смѣешь просить?! взялъ втрое, ѣхалъ тараканьимъ шагомъ, да еще на водку!... Я бы цѣлковый далъ тебѣ, еслибъ ты догналъ карету, а теперь вотъ что получишь!

При этомъ Василій Андреевичъ поднесъ ко рту ладонь, дунулъ на нее и началъ ходить по комнатѣ.

— Вольно вамъ было не сказать, ваше высокородіе: „вотъ, молъ, догони, дуракъ, карету“; ужъ я бы не пожалѣлъ гнѣдковъ: для такого барина можно постараться... Что же ваше высокоблагородіе, хочь гривенничекъ на чай!...

— Убирайся!... А не хочешь ли, я назадъ съ тобою поѣду?

— Прибавить-то надо, баринъ!

— Еще прибавить!

— Да какъ же-съ, лошади томленыя, дорога сами изволили видѣть какая, а кладь тяжелая. И то я такъ беру, потому-что обратно ѣду; здѣшніе вдвое дороже не повезутъ.

Дѣло кончилось тѣмъ, что Василій Андреевичъ за ту же цѣну, съ прибавкою четвертака на водку, пріѣхалъ въ Петербургъ, разругалъ Фарафонта, швырнулъ подъ столъ квартетъ Бетховена и цѣлую ночь не могъ спать отъ досады.

И точно было чего досадовать Василью Андреевичу: дня за три до этого несчастнаго вечера онъ получилъ письмо отъ своего пріятеля изъ Москвы съ извѣстіемъ, что почтеннѣйшій дяденька, имѣющій собственный домъ, сильно боленъ и что доктора предрекаютъ ему жить не болѣе недѣли. Василій Андреевичъ, какъ сердобольный племянникъ, выхлопоталъ себѣ отпускъ на двѣ недѣли, взялъ билетъ въ почтовую карету; но, какъ мы уже знаемъ, проигралъ на скрипкѣ отъѣздъ кареты и долженъ былъ оставаться въ Петербургѣ, Богъ знаетъ еще сколько времени, междутѣмъ какъ дядюшка лежитъ больной безъ родственной помощи; а ему оставалось жить, по разсчету, не болѣе двухъ-трехъ дней. Отъ подобныхъ обстоятельствъ не всегда спится спокойно человѣку.

Рано поутру былъ Василій Андреевичъ на ногахъ, обѣгалъ половину города и едва нашелъ мѣсто въ дилижансѣ, который долженъ отправиться въ четыре часа того же дня.

„Ну, еще слава Богу“, думалъ Василій Андреевичъ, садясь въ дилижансъ: „что мнѣ попался хорошій, поспѣшный дилижансъ. Кондукторъ говоритъ, будто это все-равно что почтовая карета, и мы будемъ на третьи сутки въ Москвѣ.

Настали третьи сутки, а дилижансъ былъ еще далеко отъ Москвы. Онъ выѣхалъ только изъ Петербурга парадно, на шестеркѣ, а съ первой станціи началъ брать по четыре лошади; дорога была скверная, вездѣ то ухабы, то раскаты; на Валдайскихъ горахъ раза четыре подъ-гору останавливались лошади и пассажиры выходили изъ экипажа; на какой-то станціи ямщики заспорили объ очереди, долго бросали жеребій, а потомъ часа три судились у старосты. Притомъ, по несчастью, въ дилижансѣ этомъ ѣхалъ богатый англичанинъ, который обѣдалъ, ужиналъ, завтракалъ и два раза въ день пилъ чай удивительно-медленно, будто у себя дома; кондукторъ, Богъ знаетъ по какимъ причинамъ, нимало не замѣчалъ этой медленности, не торопилъ его. А время все шло!... Наконецъ, на пятыя сутки пріѣхали въ Москву. Василій Андреевичъ поскакалъ на извощикѣ къ приходу Никиты или Спиридонія.

Въ передней у дядюшки никого не было; на порогѣ двери, растворенной во внутренніе покои, стоялъ московскій франтъ, молодой человѣкъ, съ усами, съ эспаньолкою, одѣтый въ безмѣрно-короткій сюртукъ; на головѣ круглая шляпа, на рукахъ желтыя перчатки, въ рукахъ чудовищная трость à la Balzac.

— Позвольте васъ побезпокоить моимъ вопросомъ... началъ Василій Андреевичъ.

— Что вамъ угодно, милостивый государь? отвѣчалъ франтъ, ни мало не перемѣняя своего положенія.

— Дома ли дядюшка?

— Какой?

— Мой дядюшка, хозяинъ этого дома.

— Я хозяинъ этого дома, милостивый государь.

— Извините, вѣрно я ошибся: удивительное сходство... Назадъ тому четыре года, кажется, я былъ здѣсь. Вѣдь это домъ коллежскаго совѣтника С...

— А!... Вы опоздали! вчера похоронили прежняго хозяина, и это мой домъ; я Леонтодонъ Тараксаки, къ вашимъ услугамъ. Человѣкъ, подай шубу. Хороша погода?

— Изрядная, жалкимъ голосомъ отвѣчалъ Василій Андреевичъ:—но смѣю спросить, дядюшка...

— Благодаря Бога у меня нѣтъ племянниковъ.

— Нѣтъ... но... мнѣ бы хотѣлось узнать...

— Если у васъ есть дѣло, приходите послѣ; видите, теперь мнѣ некогда: я иду гулять.

Надѣвая шубу, франтъ безмолвно подвигался къ Василью Андреевичу; Василій Андреевичъ безмолвно отступалъ— такъ они оба очутились на крыльцѣ. Франтъ пошелъ по улицѣ, а Василій Андреевичъ съ изумленіемъ началъ перечитывать надпись надъ воротами дядюшкинаго дома: „Домъ иностранца Леонтодона Тараксаки". Долго, можетъ-быть, онъ упражнялся бы въ этомъ совершенно безгрѣшномъ занятіи, еслибъ прямо изъ воротъ, носъ къ носу, не вышелъ на него человѣкъ въ синихъ очкахъ, въ тепломъ картузѣ, въ какихъ-то шумѣвшихъ и хлопавшихъ теплыхъ колошахъ и въ плащѣ, съ поднятымъ кверху воротникомъ.

— Милостивый государь, сказалъ Василій Андреевичъ, осматривая съ ногъ до головы страннаго человѣка:— позвольте васъ побезпокоить моимъ вопросомъ.

— Извольте, отвѣчалъ странный человѣкъ, и остановился.

— Мнѣ бы очень хотѣлось знать, кто это Леонтодонъ Тараксаки?

— Это очень просто: леонтодонъ тараксакумъ, по-русски—одуванчикъ.

— Понимаю, то-есть, надувало, сказалъ, иронически улыбаясь, Василій Андреевичъ.

— Надувало? говорилъ, размышляя, странный человѣкъ;— нѣтъ, это названіе сюда не входитъ; такого не слышалъ, развѣ гдѣ въ далекой провинціи. Правда, иногда и здѣсь въ просторѣчіи называютъ его цикоріемъ, но это совершенно несправедливо. Леонтодонъ тараксакумъ недолжно смѣшивать съ цикоріемъ, употребляемымъ многими вмѣсто кофе; это просто одуванчикъ, растеніе, изъ листьевъ котораго, съ примѣсью соли, уксусу и масла, иногда съ малымъ количествомъ перцу, приготовляется довольно вкусный салатъ. Оставя въ покоѣ Турнфора и Жюсье, въ которыхъ я не очень вѣрую, думаю—и вы также, милостивый государь, и слѣдуя системѣ Линнея, оно будетъ принадлежать къ...

— Покорнѣйше васъ благодарю. Но мнѣ хотѣлось бы знать не о растеніи, а о хозяинѣ этого дома, въ которомъ, кажется, и вы живете.

Странный человѣкъ немного обидѣлся невниманіемъ къ его ботанической рѣчи и сухо отвѣчалъ:—Господинъ Тараксаки молодой воспитанникъ умершаго хозяина этого дома, получилъ домъ по духовному завѣщанію—объ этомъ нечего спрашивать: это всѣ знаютъ, дворникъ знаетъ.

— И вы точно это знаете?

— Я думаю, когда и я подписался свидѣтелемъ на завѣщаніи.

Странный человѣкъ пошелъ своею дорогою, а Василій Андреевичъ своею. Его мысли, спутанныя, уничтоженныя неожиданною встрѣчею съ франтомъ, приходили въ порядокъ; теперь только онъ вспомнилъ, что Тараксаки—фамилія ему не во все незнакомая, что еще въ дѣтствѣ, вмѣстѣ съ отцомъ, онъ когда-то заѣзжалъ къ дядюшкѣ; что тогда еще у дядюшки не было своего дома, онъ жилъ на небогатой квартирѣ и занимался высыпкою полотна подъ шоссе; что тогда у него на квартирѣ постоянно разливала чай черноокая дѣвушка, мамзель Тараксаки; что отецъ никогда не подходилъ къ ручкѣ мамзель Тараксаки и называлъ ее, втихомолку, бѣсомъ съ Кузнецкаго моста; что, ѣдучи въ Петербургъ, года четыре тому назадъ, онъ, Василій Андреевичъ, видалъ у дядюшки какого-то оборваннаго мальчика, сорванца лѣтъ пятнадцати, который, вмѣсто пансіона, ходилъ съ книжкою по городу, пугалъ голубей, игралъ въ орлянку и надувалъ извозчиковъ; что дядюшка, часто расплачиваясь за проказы мальчика, вздыхая, говаривалъ: „укоротитъ мнѣ вѣку этотъ Лёвка: сущій огонь; ничего не напасешься на него: вчера сшили сапоги—сегодня уже пальцы вылѣзли; вчера купилъ ему шляпу —сегодня уже бѣгаетъ въ солдатской фуражкѣ", и тому подобное.

Наконецъ, вспомнилъ Василій Андреевичъ, что въ послѣднее время мамзель Тараксаки управляла домомъ дядюшки, что этотъ домъ былъ благопріобрѣтенный, махнулъ рукой и поѣхалъ обратно въ Петербургъ, ругая дорогою скрипку, Бетховена и студента.

Насталъ постъ. Жители Петербурга, нашаркавшись въ кадриляхъ и степенно нагулявшись въ шляпахъ на маскарадахъ во время масляницы, отдыхали; на театрахъ, вмѣсто драмъ и оперъ, начали показывать живыя картины; въ частныхъ до-

махъ вѣчные танцы подъ фортепьяно смѣнились музыкальными вечерами. Но артистовъ такъ мало въ Петербургѣ, ихъ такъ трудно залучить къ себѣ въ домъ; притомъ они такъ капризны, а любителей музыкальныхъ вечеровъ очень много. Что прикажете дѣлать? Петербуржцы народъ разсчетливый; и тутъ не сробѣли: они приняlись вербовать аматёровъ и составили изъ нихъ свои дешевые дуэты, квартеты и квинтеты. Это бываетъ почти такъ:

Положимъ, N.N. играетъ, играетъ на чемъ-нибудь: на скрипкѣ, на кларнетѣ, на рожкѣ—это все-равно, лишь бы игралъ. На послѣднихъ дняхъ масляницы N.N. на бечерѣ у своихъ знакомыхъ; хозяева особенно внимательны къ N.N.; хозяйка, если она молода и недурна, или хозяйская дочка заводитъ съ N.N. рѣчь о скукѣ предстоящаго поста, о томъ, что она въ отчаяніи, нѣкоторымъ образомъ разлучаясь такъ надолго съ своими добрыми пріятелями и, наконецъ, будто спохватясь, говоритъ:— впрочемъ, мнѣ пришла прекрасная мысль. Знаете, м-сьё N.N., у меня къ вамъ есть просьба?

— Ожидаю приказанія, обыкновенно отвѣчаетъ N.N.

— Кромѣ шутокъ. Не составить ли намъ музыкальные вечера—не правда ли? Ахъ, какъ бы это было весело!... Вы не откажете намъ въ этомъ удовольствіи?

— Ваше желаніе для меня—законъ, почти всегда отвѣчаетъ N.N.; но что я могу сдѣлать?

— Все. Я знаю, вы музыкантъ и, судя по вашему уму, по вашимъ прекраснымъ чувствамъ, должны играть прелестно.

— Но...

— Безъ всякихъ *но*.

— Положимъ, что я играю, все же я одинъ не составлю музыкальнаго вечера.

— Какъ вы недогадливы, м-сьё N.N., говоритъ хозяйка съ улыбкой, грозя хорошенькимъ пальчикомъ:—неужели у васъ нѣтъ знакомыхъ, которые занимаются музыкой? Пригласите ихъ къ намъ: вѣрьте, что ваши знакомые всегда для насъ будутъ такъ же дороги, какъ и вы.

N.N. говоритъ еще нѣсколько пріятныхъ фразъ; хозяйка тоже, и, вслѣдствіе этого разговора, „въ одинъ прекрасный вечеръ“ на второй недѣлѣ поста, N.N. приводитъ къ заботливой хозяйкѣ двухъ-трехъ артистовъ - аматёровъ, иногда довольностранной наружности; за ними приносятъ ящики съ инструментами, нотныя тетради —и вы часто, волею или неволею, выслушиваете квартетъ ничѣмъ не хуже крыловскаго. Многіе изъ насъ, господа, вѣрно бывали жертвою этой аматёрской пытки и храбро высиживали музыкальные вечера—иной, чтобъ посмотрѣть *на нее*, другой—чтобъ тутъ встрѣтиться съ важнымъ человѣкомъ, третій—чтобъ поужинать, четвертый—изъ снисхожденія, пятый—для поддержанія связей, шестой—разъигрывая роль диллетанта, а нѣкоторые—Богъ ихъ прости!—чтобъ убить время. Послѣднихъ я вовсе не понимаю.

Съ окончаніемъ поста исчезаютъ изъ гостиной музыканты, пріятели N.N., и до слѣдующаго поста о нихъ даже на вспомнятъ. Если вамъ иногда случается видѣть въ извѣстное время въ порядочныхъ домахъ людей, которыхъ нигдѣ не встрѣчаете въ обществѣ, немного-робкихъ, немного не на своемъ мѣстѣ—это вѣрно аматёры, бѣдные труженики, играющіе дома, чтобъ прогнать хоть на минуту горе своей жизни, чтобъ отдохнуть отъ тяжкихъ трудовъ, дающихъ имъ насущный хлѣбъ—и призванные въ порядочную гостиную для декорацій, которыя вынесутъ по окончаніи спектакля, призванные для того, чтобъ знакомые мадамъ N. говорили: „у мадамъ N. по четвергамъ музыкальные вечера“.

Такой уже обычай въ Петербургѣ, такой разумный крещеный людъ въ Петербургѣ.

На одномъ изъ подобныхъ музыкальныхъ вечеровъ, у одного очень важнаго человѣка, былъ Василій Андреевичъ, былъ панъ Цвириньковскій и еще какихъ-то два нѣмца-аматёра. Въ дальнихъ комнатахъ большая половина гостей играла въ карты, въ залѣ аматёры играли квартетъ. Молодыя дѣвушки веселымъ, ласковымъ роемъ окружали музыкантовъ, шептались, улыбались, глядя на лысину нѣмца, игравшаго на альтѣ; какой-то франтъ надъ самымъ ухомъ пана Цвириньковскаго говорилъ французскіе каламбуры; но, несмотря на всѣ эти маленькія помѣхи, даже несмотря, что во время самаго чувствительнаго адажіо кто-то довольно-громко чихнулъ—квартетъ сошелъ хорошо; многіе аплодировали.

Хозяйка рѣшилась, кажется, уничтожить своихъ гостей музыкою и принялась упрашивать одну розовенькую дѣвушку, въ бѣломъ платьѣ, чтобъ она сыграла сонату, именно ту сонату, которую играла при выпускѣ изъ института. Дѣвушка краснѣла, отговаривалась, сказала, что нѣтъ нотъ; за нотами хотѣли тотчасъ же послать; сказала, что ей совѣстно, что будутъ надъ нею смѣяться; ей отвѣчали, что пустяки: вы, дескать, у добрыхъ пріятелей; наконецъ, ухватилась за послѣднее: объявила, что безъ акомпанимента играть не можетъ; и на выпускѣ играли съ акомпанементомъ музыкальнаго учителя; но и

это не помогло: принесли ноты, усадили дѣвушку за рояль, привели со скрипкою Василія Андреевича, который храбро игралъ съ-разу всякія ноты, и соната началась. Многіе, оставя карточные столики, пришли слушать молодую піанистку.

Дуэтъ шелъ хорошо, въ такту; дѣвица въ бѣломъ платьѣ начинала оправляться отъ смущенія и бѣгала довольно быстро по клавишамъ своими маленькими пальчиками, что заслужило всеобщее одобреніе.

— Хорошо, хорошо! отрывисто говорилъ кто-то въ полголоса, подлѣ Василія Андреевича.

Василью Андреевичу въ этомъ мѣстѣ пришлась пауза въ цѣлый тактъ; онъ, пользуясь свободною секундою, быстро взглянулъ на своего сосѣда и низко поклонился ему, не отодвигая скрипки отъ подбородка. Сосѣдъ былъ самъ директоръ департамента, гдѣ служилъ Василій Андреевичъ. Директоръ снисходительно кивнулъ головою и ласково показалъ ему пальцемъ на ноты. Василій Андреевичъ ударилъ смычкомъ по струнамъ — страшная музыкальная нелѣпость раздалась по комнатѣ. Василій Андреевичъ сразу смекнулъ, что во время должнаго поклона, вмѣсто одного, пропустилъ нѣсколько тактовъ, хотѣлъ поправиться, но еще болѣе сбился и сбилъ съ толку молодую пьянистку; она покраснѣла до ушей, заплакала и убѣжала.

— Я виноватъ, сударыня, проговорилъ ей вслѣдъ Василій Андреевичъ.

— Разумѣется, не кто другой. А вамъ охота, сударь, не умѣя играть, акомпанировать порядочнымъ дѣвицамъ, сказалъ сухо директоръ, уходя къ карточному столу.

— Жаль, что вы такъ скомпрометировали дочь вашего директора, какъ я замѣчаю по вашему вицъ-мундиру, сказалъ какой-то человѣкъ въ черномъ фракѣ.

— Это дочь его превосходительства? съ ужасомъ спросилъ Василій Андреевичъ.

— Да, *онъ* только четвертаго дня вышли изъ института. Хорошій же вы чиновникъ, когда этого не знаете!

Если бы, кажется, половина вселенной обрушилась на Василія Андреевича, онъ меньше былъ бы пораженъ, уничтоженъ этимъ, нежели несчастнымъ дуэтомъ съ директорской дочкой. Онъ опрометью схватилъ скрипку, шляпу, торопливо надѣлъ шинель и, оставя осиротѣлую секунду и альта съ басомъ, бросился бѣгомъ домой. Глубокая печаль и вѣтеръ сильно подѣйствовали на Василія Андреевича: у него разболѣлась голова, онъ кашлялъ всю ночь, на другой день не могъ идти въ департаментъ, окуталъ шею краснымъ шерстянымъ шарфомъ, послалъ въ департаментъ записку о болѣзни, и остался дома.

Подъ-вечеръ пришелъ къ Василью Андреевичу юноша, чиновникъ съ пухлыми, розовыми щеками, въ вицмундирѣ съ суконнымъ воротникомъ. Василій Андреевичъ ласково привѣтствовалъ, называя его Андреемъ Васильевичемъ, и спросилъ:— Что новаго?

— Новостей много, Василій Андреичъ, говорилъ, усмѣхаясь, Андрей Васильевичъ: —я и подумалъ, дай зайду къ нашему помощнику, да и зашелъ прямо, не обѣдавши; думалъ, вамъ скучно.

— Это правда. Разсказывайте.

— Позвольте, Василій Андреичъ, нѣтъ ли у васъ трубочки? Съ самаго утра не курилъ...

— Возьмите тамъ, на окнѣ.

— Знаете, очень пріятно, Василій Андреичъ, затянуться, долго не куривши, да и полезно передъ обѣдомъ: не такъ ѣсть хочется, говорилъ молодой чиновникъ, набивая трубку.

— Да разсказывайте, какіе у васъ тамъ новости? Пріятныя?

— Не очень.

— Что? была кому распеканція?...

— Нѣтъ, особенной никому, а такъ по мелочамъ кое-кому досталось, а главная новость... да вы, вѣрно, слышали, Василій Андреичъ?

— Право нѣтъ, отъ кого жъ было мнѣ слышать? Сижу дома.

— Вчера Каблучковъ приказалъ долго жить.

— Неужели! Впрочемъ, этого надо было ожидать: такая у него была немочь—царство ему небесное! Что же начальникъ отдѣленія?

— Сейчасъ понесъ директору бумагу объ утвержденіи васъ на мѣсто Каблучкова...

— Вотъ видите!.. и охота же было такъ спѣшить! Иной подумаетъ, что я ему не даю покоя. Все-равно, у директора пролежитъ съ русскій мѣсяцъ.

— Нѣтъ, сегодня же и подписалъ.

— Вотъ какъ! Такъ вы меня пришли поздравить? Экой вы проказникъ!... а еще говорите, печальныя новости.

— Въ томъ-то и бѣда, что васъ не утвердилъ, а утвердилъ помощника изъ другаго отдѣленія, какого-то Поклончикова, что-ли! Это у васъ Жукова табакъ или Богосова?

— Да какъ же это можно? да этого быть не можетъ; да вы, вѣрно, шутите, Андрей Васильичъ!

— И мы всѣ удивились! Подслушалъ я, какъ начальникъ отдѣленія говорилъ секретарю, отведя его къ окошку:—Не знаю, говоритъ, за что его превосходительство

чувствуетъ неблагорасположеніе къ Василью Андреичу: я, говоритъ, подалъ о немъ бумагу, а онъ говоритъ: „Это Василій Андреичъ—аматёръ?“—„Такъ точно, ваше превосходительство“, отвѣчалъ я.—„Да“, сказалъ онъ, „это чиновникъ хорошій, но Поклончиковъ лучше его будетъ на мѣстѣ Каблучкова; я знаю Поклончикова и по службѣ, и въ обществѣ: онъ бываетъ въ хорошихъ домахъ; прекрасный молодой человѣкъ“.—Да, говоритъ, и утвердилъ его.

— И лучше, сказалъ Василій Андреевичъ дрожащимъ голосомъ:—по-крайней-мѣрѣ я теперь совершенно спокоенъ; кто на мѣстѣ, тотъ и отвѣчаетъ за дѣла, а мое дѣло сторона.

Какъ ни преслѣдуетъ человѣка судьба, какъ ни гнетутъ его обстоятельства, всегда въ его сердцѣ остается мѣсто для надежды; въ самый черный день жизни человѣка, вдали привѣтно блеститъ для него эта свѣтлая звѣздочка, о ней мечтаетъ онъ и несетъ тяжелое настоящее для невѣрнаго будущаго—и счастливъ. Василій Андреевичъ провелъ эту вочь гораздо спокойнѣе, нежели можно предполагать: его ласкала и согрѣвала любовь; въ любви онъ нашелъ противоядіе всѣмъ другимъ отравамъ своей жизни. „Что же“, думалъ онъ, ложась въ постель, „я лишился наслѣдства, да она меня любитъ; она мнѣ недавно сказала: „не забывайте насъ!“ и какимъ голосомъ сказала это!... Да, она меня любитъ; чортъ побери наслѣдство, я готовъ ѣсть хлѣбъ и пить воду, лишь-бы она меня любила... Ну, я потерялъ мѣсто. Богъ съ нимъ! Мѣсто не одно на свѣтѣ; не только свѣту, что въ окнѣ: свѣтъ не клиномъ сошелся!... За то я знаю, что ея отецъ ко мнѣ расположенъ, онъ самъ хлопоталъ о моемъ повышеніи: это я и давно замѣчалъ... Что жъ? смѣлѣе, Василій Андреичъ: она тебя любитъ, отецъ не откажетъ, да я за это готовъ служить цѣлый вѣкъ канцеляристомъ на послѣднемъ окладѣ... На что мнѣ чины?· на что мѣсто, когда она меня любитъ?... ничего не нужно!... А впрочемъ, для зятя начальника отдѣленія, найдется мѣсто, а современемъ и повыше и еще повыше! Чѣмъ же я хуже другихъ? Поживу —заслужу... буду имѣть свои дрожки... Весело поѣхать въ Александринскій театръ въ ложу съ женою... Что скажетъ Мартыновъ каламбуръ, я и толкну жену, а она на меня и посмотритъ... И откуда у этого Каратыгина такой голосъ?...“ Такъ разсуждая, Василій Андреевичъ заснулъ пріятнымъ сномъ.

Смѣйтесь, господа, надъ бѣднякомъ, если вы не бывали никогда въ подобномъ положеніи.

Если мы безнаказанно позволяемъ натуралистамъ называть себя двурукими животными, такъ должны согласиться, что имѣемъ хоть въ малой степени принадлежность животныхъ—инстинктъ; пожалуй, облагородьте это словомъ предчувствія, а все-таки оно есть въ природѣ человѣка: на это тысячи примѣровъ и писанныхъ, и печатныхъ. Всякій изъ насъ испыталъ это въ жизни; довелось перечувствовать это ощущеніе и Василью Андреевичу.

Онъ вышелъ изъ квартиры очень веселый: его приводила въ восторгъ мысль, что идетъ на вечеръ къ начальнику отдѣленія, гдѣ увидитъ *ее*, станетъ говорить, танцовать съ *нею*. Онъ едва не прыгалъ по троттуару; нѣсколько разъ принимался насвистывать веселую арію—словомъ, былъ счастливъ; но чѣмъ ближе подходилъ къ квартирѣ начальника отдѣленія, тѣмъ дѣлался серьезнѣе; какая-то безотчетная грусть налегла на душу, какая-то непонятная робость овладѣла имъ: ему сдѣлалось даже страшно, когда онъ протянулъ руку къ колокольчику завѣтной двери; онъ простоялъ нѣсколько минутъ въ мучительной нерѣшимости; хотѣлъ-было вернуться и вдругъ, зажмуря глаза, съ-размаху бросился къ колокольчику, будто на непріятельскую батарею. Колокольчикъ грустно еще звенѣлъ, когда Василій Андреевичъ вошелъ въ переднюю, да звучалъ такъ грустно, будто плакалъ. Самъ Василій Андреевичъ готовъ былъ заплакать; у него навернулись на глазахъ слезы, да, къ счастью, онъ подумалъ: „неужели мнѣ, губернскому секретарю, плакать отъ колокольчика? на что это похоже!“ Принужденно улыбнулся и началъ раскланиваться съ гостями.

Гостей было уже довольно: все знакомыя лица; дѣвушки стояли у экрана *ея* работы, и *она* тамъ стояла; человѣкъ въ полувоенной одеждѣ разсказывалъ, какое имѣютъ значеніе на Востокѣ цвѣты, вышитые на экранѣ; онъ бредилъ Востокомъ послѣ своей поѣздки въ Крымъ по казенной надобности. Василій Андреевичъ отдалъ поклонъ группѣ у экрана; дѣвушки отвѣчали поклономъ; полувоенный человѣкъ тоже; одна *она* не замѣтила его и, наклонясь къ экрану, спросила:—А этотъ цвѣтокъ?

— Это анютины глазки?

— Да, кажется.

— Они означаютъ, что твои очи льютъ благодать, какъ голубая чаша неба, опрокинутая надъ міроздaніемъ.

Въ это время Василій Андреевичъ почтительно поклонился проходившему мимо хозяину. Начальникъ отдѣленія довольно-сухо подалъ ему два пальца, едва кивнулъ головою и, быстро отворотясь, привѣтствовалъ входившаго въ комнату Поклончикова восклицаніемъ: „А! дорогой гость, милости просимъ! Положите вашу шляпу!“

Поклончиковъ подошелъ къ экрану, раскланялся; ему отвѣчали тѣмъ же; дочка начальника отдѣленія премило присѣла передъ нимъ: она уже не разсматривала экрана.

Начались танцы. Василій Андреевичъ робко подошелъ къ *ней* и просилъ на французскую кадриль.

— Ахъ, здравствуйте! я васъ и не замѣтила, сказала она ласково, но такъ странно, что у Василья Андреевича сердце замерло отъ печали.

— Я васъ прошу на кадриль.

— Извините, я ангажирована.

Кадриль танцовала она съ Поклончиковымъ, говорила съ нимъ безъ умолку и бросала на него самые пламенные, косвенные взгляды.

„Точь-въ-точь, на меня, во время бѣно!“ думалъ Василій Андреевичъ: „экое зелье!“

Послѣ кадрили Василій Андреевичъ подошелъ къ *ней* и спросилъ:—Вы, вѣрно, уже танцуете мазурку?

— Да, отвѣчала она, простодушно глядя на Василья Андреевича.

— Съ Поклончиковымъ?

— Да. Къ чему этотъ вопросъ?

— Такъ, ничего-съ.

Въ этотъ вечеръ Василій Андреевичъ постарѣлъ десятью годами.

Въ четыре часа пришелъ Василій Андреевичъ изъ должности, пообѣдалъ какимъ-то горячимъ составомъ, который Фарафонтъ принесъ отъ кухмистера подъ именемъ супа, разсѣянно съѣлъ свиную котлетку, выкурилъ трубку, прошелся раза два по комнатѣ и сталъ глядѣть въ окно, потихоньку насвистывая извѣстную пѣсенку:

Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?

Съ полчаса свистѣлъ Василій Андреевичъ, потомъ присѣлъ къ столу, подперъ лѣвою рукою голову, взялъ карандашъ и началъ дѣлать на листѣ бумаги коротенькіе штрихи справа налѣво /////, приговаривая за каждымъ штрихомъ *идутъ*, и перекрестивалъ ихъ слѣва направо ××× приговаривая *ѣдутъ*. Часъ-отъ-часу штрихи дѣлались скорѣе и въ комнатѣ довольно явственно раздавалось быстрое: идутъ, идутъ, идутъ, идутъ, ѣдутъ, ѣдутъ, ѣдутъ, ѣдутъ... Бѣлый листъ бумаги превращался въ кусокъ сѣтчатаго ситца или тюля. Ударило шесть часовъ. Василій Андреевичъ все-еще напѣвалъ: идутъ, ѣдутъ.

— Совершенная правда! Подъ крыльцо пріѣхалъ, а по лѣстницѣ пришелъ, сказалъ надъ Василіемъ Андреевичемъ громкій голосъ, и вслѣдъ за тѣмъ раздался хохотъ.

— Боже мой! Иванъ Агапопитовичъ! Я васъ и не замѣтилъ, говорилъ, смѣшавшись, Василій Андреевичъ, и проворно швырнулъ подъ столъ листъ бумаги.

— Что это вы за каракули такіе пишете?

— Это такъ, отъ скуки, для препровожденія времени.

— Хорошее препровожденіе времени! Да этакъ, съ позволенія сказать, можно угодить на седьмую версту.

— Помилуйте!

— Нѣтъ, не *помилуйте*, молодой человѣкъ; у васъ что-то недоброе на умѣ; посмотрите на себя: на васъ лица нѣтъ! Что съ вами?

— Право, ничего.

— Э-эхъ! не говорите мнѣ этого; я не даромъ жилъ на свѣтѣ, ко всему присмотрѣлся.

Василій Андреевичъ, желавшій съ кѣмъ-нибудь подѣлиться своими чувствами, разсказалъ откровенно всѣ свои неудачи и огорченія.

— И только-то? спросилъ Иванъ Агапопитовичъ:—есть отъ чего съ ума сходить!.. По-моему здѣсь только и важнаго: дядюшкинъ домикъ, да вѣдь мертвыхъ изъ гроба не воротишь. Плюньте на наслѣдство, да наровите состроить свой домикъ, а мѣсто —пустяки: послужите—дослужитесь, только бросьте вашу скрипку; довольно уже вы на ней проиграли; играли бы лучше въ преферансъ и мѣсто бы отъ васъ не ушло, и то, и другое, и третье...

— Какъ?

— Да вѣдь Поклончиковъ у меня за преферансомъ сошелся съ его превосходительствомъ и понравился ему, и въ ходъ пошелъ—видите?

— Его превосходительство у васъ бываетъ?

— А почему ему не бывать у меня? Вы оставили насъ совершенно, ничего и не знаете. Пріѣзжайте-ка: все поправимъ. Все пустое!... право, пустое!...

— А...

— Ну, что, а? А *она*, дескать? она пустѣе всего! Стоитъ ли вамъ хлопотать изъ-

за этого мыльнаго пузыря? Стоитъ ли вамъ сохнуть по дѣвушкѣ, которая не васъ любила, а ваше будущее наслѣдство и мѣсто, которая, съ позволенія сказать, бросается на шею всякому, на чей счетъ надѣется современемъ наряжаться, кукла куклою, да ѣздить въ театръ. Забудьте ее. Мы вамъ не такую персону сыщемъ, если вамъ пришла въ голову блажь непремѣнно жениться.

— Отчего же блажь?

— Блажь, батюшка, блажь, говорилъ Иванъ Агапопитовичъ грустнымъ голосомъ: —вы теперь свободны, какъ вольный вѣтеръ; а тогда не то; женитесь—перемѣнитесь, истинно говоритъ пословица. Не вѣрьте женатымъ краснобаямъ, которые поютъ, какъ зяблики, о своемъ счастіи, которые всякому молодцу говорятъ: „женитесь, женитесь! Что за чудная жизнь женатаго человѣка! Ничего искать не надобно, все у тебя подъ рукою: придешь со службы—щи у тебя на столѣ, бѣлье чистое, и не знаешь, откуда это, ни о чемъ не заботишься! Женитесь!...“ Врутъ, бездѣльники, повѣрьте мнѣ, врутъ; я самъ женатый человѣкъ; моя Силезія—грѣхъ сказать—примѣрная супруга, я совершенно счастливъ съ нею, а все-таки скажу вамъ: не женитесь, Василій Андреичъ!... Ну, бросьте вашу печаль, не смотрите сентябремъ, смѣйтеся надъ судьбою, тогда она не станетъ смѣяться надъ вами, да поѣдемъ ко мнѣ: у меня здѣсь свои дрожки, проведемъ вечерокъ, поиграемъ въ картишки—а?

— Я въ такомъ положеніи, что не могу пуститься въ игру.,.

— Денегъ мало—правда? и этому пособимъ. Бросьте вашу скрипку, она вамъ надѣлала много бѣды; продайте ее и деньги будутъ на первый разъ. Что, не рѣшаетесь? Опять будете пилить по струнамъ?

— Боже меня сохрани!..,

— О чемъ же думать? Скрипка ваша недурна?

— Даже хорошая.

— Ну, я куплю ее: меня просилъ одинъ знакомый. Хотите за нее пятьдесятъ рублей?

„Скрипка хорошая“, подумалъ Василій Андреевичъ: „батюшка за нее заплатилъ по случаю полтораста рублей, ну, да для добраго Ивана Агапопитовича можно уступить“ и громко сказалъ:—Извольте.

Василій Андреевичъ получилъ деньги и приказалъ Фарафонту отнесть скрипку къ Ивану Агапопитовичу и уѣхалъ играть въ преферансъ.

Недавно, у извѣстнаго музыканта я видѣлъ скрипку Василія Андреевича; музыкантъ заплатилъ за нее Ивану Агапопитовичу, кажется, восемьсотъ рублей: хвалится, что купилъ очень дешево и говоритъ, что Иванъ Агапопитовичъ долженъ быть дуракъ.

На семейныхъ вечерахъ, въ клубѣ Соединеннаго Общества, вы увидите, если захотите, Василія Андреевича: онъ отстроилъ себѣ порядочное брюшко, у него уже у самого лысина въ полтину серебра и какой-то орденъ на шеѣ; онъ играетъ въ преферансъ по гривенику, и ему почтительно кланяется прежній начальникъ отдѣленія, уволенный отъ службы по болѣзни.

1844 г.

КАЛИФЪ НА ЧАСЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Утѣшься: Индія осталася за нами!

Н. Хмельницкій.

I.

Всѣмъ извѣстно, что Москва славится калачами и квасомъ, Калуга—тѣстомъ, Валдай—колокольчиками и баранками, Астрахань—арбузами, Казань—мыломъ, Арзамасъ—гусями, Пошехонье—наивнымъ простодушіемъ, Ярославль—полотнами и огородами, Кіевъ—конфектами и проч.—это всѣмъ извѣстно, принято въ народѣ за аксіому; и если въ Астрахани уродится невкусный арбузъ, или въ Ярославлѣ плохой огородникъ, то это будетъ исключеніе по пословицѣ: *въ семьѣ не безъ урода.* Но, можетъ-быть, не всѣ знаютъ, что въ одномъ Неизвѣстномъ уѣздѣ постоянно живутъ оригиналы, что Неизвѣстный уѣздъ славится оригиналами, какъ Валдай баранками. Многіе *великіе* путешественники, проскакавъ Неизвѣстный уѣздъ, сильно задумывались надъ его оригинальностью. Иные приписывали ее климату, другіе—мѣстоположенію, третьи- особенному благорастворенію воздуха, кто—плодамъ земнымъ, кто—цивилизаціи, а нѣкоторые—случаю. Во всякомъ случаѣ, Неизвѣстный уѣздъ мѣсто примѣчательное и можетъ смѣло стать въ ряду всѣхъ поименованныхъ мною мѣстъ, которыя такъ пріятно разнообразятъ наше обширное отечество.

Лѣтописи Неизвѣстнаго уѣзда, почти отъ Рюрика до нашихъ временъ, украшаются непрерывнымъ рядомъ оригиналовъ. Еще не изгладился въ памяти отцовъ нашихъ помѣщикъ Неизвѣстнаго уѣзда графъ Нулинъ; еще живы и свѣжи преданія о великолѣпныхъ спектакляхъ на обширномъ домашнемъ театрѣ въ его деревнѣ Промотаевкѣ. У графа было шесть тысячъ душъ одинъ сынъ—воспѣтый впослѣдствіе нашимъ великимъ Пушкинымъ—и страсть сильная, неодолимая, родъ недуга, къ театру. Графъ Нулинъ жилъ для театра, во всѣхъ предметахъ подозрѣвалъ какую-нибудь хорошую сторону, годную для сцены; часто кучеръ исчезалъ съ графскихъ козелъ и чрезъ мѣсяцъ являлся Эдипомъ; часто какая-нибудь красноногая Матрена была, словно вѣтромъ, уносима съ покосовъ и красовалась на сценѣ русалкою или сильфидою; часто даже дерево, по волѣ графа, было срубаемо въ саду и съ листьями, съ плодами переносилось за кулисы для какой-нибудь новой декораціи. Графъ нарочно держалъ при своемъ дворѣ живописца, который долженъ былъ списывать съ натуры любимыя графомъ группы въ балетахъ и портреты его домашнихъ артистовъ обоего пола въ лучшихъ роляхъ. Огромая галерея была занята этими картинами. Графъ самъ дрессировалъ обріеву собаку, которая превосходно играла свою роль, звонила у двери, носила фонарь, и даже, для какой-то сценической продѣлки, началъ-было воспитывать двухъ черныхъ кошекъ; но смерть прервала это занятіе Нулина—и кошки убѣжали на чердакъ. Графа похоронили, сынъ его былъ заграницей, должники налетѣли на Промотаево; скоро оно было продано съ молотка; амуры, герои и граціи принялись кто за соху, кто за самопрядку. Теперь въ графскомъ домѣ какая-то фабрика, въ театрѣ варятъ пиво, и сосѣди почти забыли великолѣпнаго помѣщика; только иногда, какъ дальнее эхо его шумной жизни, гдѣ-нибудь въ лѣсу деревен-

ская баба, собирая грибы, затянетъ хриплымъ голосомъ:

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой...

или какой-нибудь рыжій мужикъ, съ окладистою сѣдоватою бородою, вдругъ гаркнетъ:

Россійскіе князья, бояре, воеводы!

страшно закатитъ подъ лобъ бѣлки, размахнетъ руками.... и мужики раздвигаются передъ нимъ, бабы жмутся въ уголъ, и забѣжавшій погрѣться мальчишка боязливо снимаетъ у двери шапку.

Похоронивъ графа, обитатели Неизвѣстнаго уѣзда невольно, безотчетно стали переглядываться между собою, какъ будто спрашивали другъ у друга: что мы теперь станемъ дѣлать? Они чувствовали вокругъ себя и въ себѣ какую-то пустоту, которой сами не могли растолковать; имъ нуженъ былъ оригиналъ и благодѣтельная судьба не замедлила утѣшить Неизвѣстный уѣздъ: она послала ему Ивана Ивановича Тараканова.

Исторія Ивана Ивановича Тараканова, отъ дѣтства до пріѣзда его на постоянное жительство въ помѣстье, составила бы цѣлый романъ, который я разсказывать теперь не стану. Иванъ Ивановичъ пріѣхалъ полгода спустя послѣ смерти оригинальнаго графа въ Неизвѣстный уѣздъ, гдѣ у него было родовыхъ восемьсотъ душъ, пріѣхалъ съ женою и кучею дѣтей, и сразу замѣнилъ собою вакантное мѣсто оригинала.

Весь Неизвѣстный уѣздъ восхищался Иваномъ Ивановичемъ; всѣ повторяли его разсказы. Иванъ Ивановичъ былъ отъявленный лгунъ.

Есть на свѣтѣ множество лгуновъ, которые всѣ болѣе или менѣе входятъ въ три извѣстные разряда: 1) лгуны изъ какихъ-нибудь видовъ; сюда принадлежатъ: а) хвастунишки-юноши, или розовые лгуны, натуры мелкія, желающія казаться въ возможно лучшемъ свѣтѣ, хвастающія небывалыми выигрышами, побѣдами, знакомствами и т. п. b) лгуны черные, наводящіе тѣнь на всѣ предметы, которые имъ мѣшаютъ или останавливаютъ на извѣстномъ пути; 2) лгуны-фантазеры, любезные лгуны, украшающіе вымыслами какое-нибудь истинное событіе для удовольствія своего и своихъ ближнихъ; они неопредѣленнаго хамелеоноваго цвѣта съ искрою— это лгуны сверкающіе и 3) лгуны-композиторы, великолѣпные лгуны, радужные, восточные лгуны, лгущіе безъ всякой цѣли, безъ всякаго основанія, лгуны по призванію, по вдохновенію; въ ихъ головахъ вдругъ, изъ ничего, какъ въ аравійской пустынѣ, возникаютъ великолѣпные миражи, строятся воздушные замки, расцвѣтаютъ поля, выростаютъ лѣса, шумятъ водопады, и это такъ живо, такъ правдоподобно, что сами лгуны увлекаются своимъ миражемъ и, въ простотѣ сердца, вѣрятъ ему прежде нежели вздумаютъ передать кому-нибудь свое видѣніе. Отъ этого у подобныхъ лгуновъ всегда открытая, убѣждающая физіономія; отъ этого они, не робѣя, разсказываютъ изумительныя нелѣпости, и не сердятся, а досадуютъ, когда имъ не вѣрятъ.

Иванъ Ивановичъ принадлежитъ къ третьему разряду: онъ былъ радужный лгунъ, лгунъ-композиторъ. Вскорѣ по пріѣздѣ на родину, онъ созвалъ своихъ сосѣдей обѣдать и тутъ же разсказалъ имъ какую-то гелиматью. Сосѣди, изъ вѣжливости, а болѣе отъ того, что были гораздо бѣднѣе Тараканова, согласились съ нимъ совершенно. Таракановъ подумалъ: „у меня сосѣди народъ неглупый“ и началъ ихъ приглашать къ себѣ чаще, сталъ лгать сильнѣе. Сосѣди думали: „да вретъ же нашъ Таракановъ; а намъ какое дѣло? кормитъ хорошо, пусть-себѣ вретъ на здоровье!“... Ѣздили къ нему часто, слушали неправдоподобную чепуху и соглашались съ нею. Такъ прошло двадцать лѣтъ. Необузданная, ничѣмъ неудерживаемая фантазія Ивана Ивановича до того усилилась, до того овладѣла имъ, что не было нелѣпости, которая бы не могла придти ему къ голову и не получила тамъ права гражданства.

Въ такомъ состояніи находился Иванъ Ивановичъ Таракановъ, когда случилось съ нимъ маленькое происшествіе, которое я вамъ хочу передать здѣсь.

II.

Въ уѣздномъ городѣ Неизвѣстнаго уѣзда съ утра было замѣтно необыкновенное движеніе: въ церкви, во время обѣдни, какой-то чиновникъ, при шпагѣ, въ мундирѣ, подходилъ къ городничему, къ градскому главѣ и къ другимъ уѣзднымъ аристократамъ, каждому кланялся и говорилъ что-то вполголоса; каждый, въ свою очередь, тѣмъ же тономъ о чемъ-то спрашивалъ чиновника, а тотъ, улыбаясь, отвѣчалъ довольно громко: „какъ же, будетъ!“ Всѣ граждане города Неизвѣстнаго были одѣты по-праздничному, а между тѣмъ не

было никакого праздника. Чиновникъ въ мундирѣ вышелъ изъ церкви раньше и торопливо шмыгнулъ въ ворота какого-то одноэтажнаго деревянаго домика; немного спустя вошелъ туда городничій, за нимъ казначей, за казначеемъ глава, тамъ еще кто-то, и еще, и еще; цѣлая вереница людей тянулась изъ церкви по улицѣ и уходила въ ворота деревянаго домика. Въ это время въ концѣ улицы показалась коляска; въ ней сидѣлъ толстый человѣкъ съ усами, въ сѣромъ сюртукѣ, въ бѣломъ картузѣ, съ зеленымъ козырькомъ, а рядомъ съ нимъ другой человѣкъ, сухой, черноглазый, въ зеленомъ сюртукѣ съ свѣтлыми мѣдными пуговицами; на одной изъ нихъ висѣлъ красный сафьянный кисетъ съ табакомъ. Коляска ѣхала шагомъ; сидѣвшіе въ коляскѣ разговаривали.

— Притомились, Ѳедька, наши гнѣдки — а? притомились? спрашивалъ сѣрый сюртукъ.

— Притомились, баринъ, отвѣчалъ зеленый сюртукъ.

— А пыли-то сколько на нихъ — а?

— Хоть гречиху сѣй!

— А что же? вѣдь можно. Мы разъ въ походѣ цѣлую недѣлю ѣли крес-салатъ съ лошадей; аптекарь-нѣмецъ далъ сѣмянъ, мы и посѣяли; въ одну ночь, братецъ, словно мохомъ обросли лошади, позеленѣли! вотъ намъ и пища, а хлѣба не спрашивай. Охъ! было время тяжелое!...

— Вѣстимо, баринъ.

— А что это за народъ идетъ, вотъ въ тѣ ворота — а? какъ ты думаешь, Ѳедька?

— Не могу знать.

— А я такъ знаю: должно быть хоронятъ городничаго.

— Стало-быть, они умѣрши?

— Долженъ умереть: на прошлой недѣлѣ у него былъ такой красной носъ; да, онъ непремѣнно умеръ — царство ему небесное!..

Коляска поровнялась съ воротами; у воротъ стоялъ чиновникъ въ мундирѣ, при шпагѣ.

— Это, кажись, баринъ, учитель здѣшняго училища, сказалъ зеленый сюртукъ.

— Ба! сказалъ сѣрый сюртукъ: — стой! Глашатай Кузьмичъ Буква! вы ли это?

— Я, Иванъ Иванычъ, говорилъ, подбѣгая къ коляскѣ, учитель.

— И вы на печальной церемоніи! Да, жаль покойника! Какъ онъ? когда - а?...

— Что вы изволите?... то-есть...

— То-есть, шарахнулся-то?

— О комъ вы изволите говорить?

— А вы кого хороните? разумѣется, о городничемъ. Бѣда съ вами, учеными; пока что поймутъ...

— Извините, право, не понимаю. Господинъ городничій живъ, и точно находится здѣсь; но по причинѣ радости: у насъ сегодня годичное испытаніе въ школѣ...

— Вотъ что! А мнѣ сказали Богъ знаетъ что! Трогай, Стёпка!

— Позвольте, говорилъ учитель: — имѣть честь просить васъ почтить своимъ присутствіемъ и просвѣщеннымъ вниманіемъ наше торжество.

— А закуска будетъ?

— Какъ же, будетъ!

— Пожалуй; да я въ сюртукѣ, въ пыли.

— Это ничего не составляетъ; дорого ваше вниманіе.

— Стёпка, поворачивай на дворъ!

Едва успѣлъ Иванъ Ивановичъ раскланяться съ знакомыми и усѣсться въ кресло, обитое кожею, какъ дверь изъ сосѣдней комнаты отворилась, вышелъ на середину комнаты мальчикъ, лѣтъ десяти, умытый, причесанный, въ немного-коротковатыхъ брюкахъ; поклонился собранію, приложилъ къ сердцу правую руку, лѣвую вытянулъ во всю длину, и звонкою, быстрою скороговоркою проговорилъ рѣчь. Сначала можно было разобрать: „почтеннѣйшіе посѣтители“ потомъ: „въ сей торжественный день, когда...“ а далѣе ничего нельзя было понять. Напрасно раза три принимался Буква махать изъ-за двери торопливому ученику: ученикъ не унимался, и только перевелъ духъ, когда выстрѣлилъ бѣглымъ огнемъ въ публику всѣ громкія слова своей рѣчи. Послѣ этого началось испытаніе учениковъ въ разныхъ предметахъ; потомъ раздавали похвальные листы, украшенные вѣнками, при чемъ родители плакали отъ радости, а наконецъ пошли завтракать...

За завтракомъ Иванъ Ивановичъ былъ довольно задумчивъ, будто нехотя съѣлъ нѣсколько ломтей всякой всячины и, набивъ ротъ кулебякою, схватилъ Букву за пуговицу, отвелъ его къ окну и серьезно спросилъ удушливымъ голосомъ: „Скажите, пожалуйста, о какихъ это князьяхъ Таракановыхъ болтали вотъ сегодня ваши мальчики?...

— Не понимаю, Иванъ Иванычъ...

— Ахъ вы, ученые! ничего не понимаете!

— Извольте потрудиться прежде скушать, а потомъ...

Иванъ Ивановичъ проглотилъ кулебяку и повторилъ явственно свой вопросъ.

— Мы говорили о князьяхъ тьму-тараканскихъ, экзаменуя изъ россійской исторіи.

И Глашатай Кузьмичъ проговорилъ пѣлый коробъ предположеній и догадокъ о Тмутаракани.

— Да не врете ли вы? сомнительно спросилъ Иванъ Ивановичъ: — Тутъ есть дѣло для меня важное...

— Помилуйте! стану ли я врать? Это напечатано.

— А покажите.

Чрезъ пять минутъ Буква принесъ книжку и началъ водить по строчкамъ пальцемъ, приговаривая:

— Вотъ видите, вотъ видите.

— Вижу, вижу, почтеннѣйшій, и не можете представить, какъ вамъ благодаренъ, что вы мнѣ открыли моихъ предковъ.

— Стало быть... вы?

— Да, Глашатай Иванычъ, князья Тараканскіе или Таракановы—настоящіе мои предки. У меня на этотъ счетъ пропасть бумагъ, и бумаги все важныя; нашъ родъ, изволите видѣть, идетъ издалека... Я все, знаете, молчалъ да высматривалъ... А теперь вамъ очень благодаренъ.... объ этомъ я подумаю. Когда уже въ печати есть, и ребятишки разсказываютъ, значитъ, не тайна.—Что вы не купили себѣ лошадки?

— Нѣтъ еще, Иванъ Иванычъ, все съ капиталомъ собираюсь.

— И не покупайте; у меня есть соврасый лошачокъ, очень пригодный для ѣзды; пріѣзжайте ко мнѣ, я вамъ подарю.

Возвратясь домой передъ вечеромъ, Иванъ Ивановичъ спросилъ у перваго встрѣчнаго слуги:

— Дома княгиня?

— Какая-съ?

— Дуракъ! дома барыня?

— Никакъ нѣтъ-съ, еще не изволили пріѣзжать отъ Башмаковыхъ.

— И давно такъ бы отвѣчалъ, сказалъ Иванъ Ивановичъ изумленному слугѣ, и прошелъ прямо къ себѣ въ кабинетъ.

„Такъ вотъ оно что!“ думалъ Иванъ Ивановичъ, расхаживая мѣрными шагами по кабинету. „Я ужь давно подозрѣвалъ въ себѣ что-то этакое не простое, высокое, и не зналъ, что оно такое, а это просто заговаривала во мнѣ княжеская кровь!... И какъ я прежде не догадался?... Бывало, какъ посравнишь себя съ другими —все дрянь, просто дрянь противъ меня! И говорить-то я лучше съумѣю другого, и выдумать что, и написать, и спѣть противъ меня никто не споетъ, да и красивѣе я всѣхъ въ околодкѣ... Подумаешь: и тотъ сосѣдъ дуракъ, и другой дуракъ, и третій дуракъ, а водишься съ ними потому, что нѣтъ лучшихъ... Какъ ни хитри, а кровь все-таки свое беретъ: такъ тебя и тянетъ выше... Странное дѣло! какъ увижу князя или графа—вотъ такъ и тянетъ къ нему, вотъ такъ взялъ бы да и обнялъ его, голубчика, да и сказалъ-бы: „здравствуй, братъ! каково живешь? мы, вѣдь, свои, понимаемъ другъ друга, а прочіе, такъ-себѣ.“ А вотъ оно почему... любопытная штука! Чортъ знаетъ, какъ это сложилось, а вышло хорошо.“—Эй, Ѳедька!

— Что прикажете?

— Я, братецъ, этакъ, тово... ты ничего не слыхалъ въ городѣ?

— Слышалъ-съ.

— Слышалъ? Что такое?

— Говорили, у казначея родилась дочка.

— Глупости, братецъ, совсѣмъ не то; ты все глупости слушаешь... а этакъ ты ничего не слыхалъ про меня?

— Какъ же-съ, всѣ васъ хвалятъ, говорятъ: „дай Богъ ему здоровья, славный баринъ, людей своихъ жалуетъ,“ говорятъ, право, ей-богу...

— И не то еще заговорятъ! А, этакъ, нигдѣ не говорятъ о княжествѣ, напримѣръ, о князьяхъ, такъ, понимаешь...

— Какъ же-съ, говорятъ-съ.

— Неужели говорятъ, что я князь?

— Нѣтъ-съ, оно не прямо-съ, а обнаковенно, стороною поговариваютъ...Меня, вотъ, одинъ спрашиваетъ: „гдѣ, молъ, твой баринъ?“ я ему показалъ на васъ, а онъ: „ого-го!“ говоритъ, „какимъ княземъ выглядитъ!“ Ей-богу-съ...

— Такъ, такъ; это ужъ кто-нибудь разболталъ!.. Вотъ видишь, Ѳедька, въ городѣ получены бумаги, что я, дескать, княжескаго рода—понимаешь? и предки всѣ мои тамъ есть, даже напечатаны въ книгахъ... Вотъ по этому-то случаю и въ мундиры они сегодня нарядились, и собраніе сдѣлали, и меня, видишь, пригласили; да тамъ, этакъ, знаешь, инкогнито и объявили...

— Ахъ, батюшка, князь Иванъ Иванычъ! ваше сіятельство! пожалуйте поцѣловать вашу ручку для этакой радости.

— Ты, Ѳедька, всегда былъ мнѣ вѣрнымъ слугой... важно сказалъ Тараканов, медленно протягивая слугѣ руку.

— И ручка-то у васъ княжеская, сіятельная! приговаривалъ Ѳедька, цѣлуя руку:— побѣгу, сейчасъ разблаговѣщу всей дворнѣ, всему селу, пускай бѣгутъ съ поздравленіемъ.

— Тише, тише, Ѳедька! пока еще это дѣло секретное—понимаешь? никому ни слова, будто я себѣ, такъ, простой человѣкъ, понимаешь? Даже до поры, до времени не смѣй меня называть сіятельствомъ.

— Не лишайте вашей милости! позвольте называть васъ какъ слѣдуетъ, по закону.

— Нельзя; здѣсь, когда я одинъ, пожалуй, можешь называть меня, и то во уваженіе твоей долговременной службы... а тамъ нельзя: изъ этого можетъ возникнуть политическое дѣло—слышишь?

— Слушаю-съ, ваше сіятельство.

— Теперь можешь идти.

Ѳедька вышелъ, а Таракановъ долго еще ходилъ и думалъ: „Боже мой! въ какія странныя обстоятельства ставитъ иногда судьба человѣка, вышедшаго изъ круга обыкновенныхъ людей!“

III.

Спустя нѣсколько дней послѣ годичнаго испытанія въ школѣ пріѣхалъ къ Ивану Ивановичу Глашатай Кузьмичъ Буква, на нанятыхъ лошадяхъ, объяснилъ, какъ-то кстати, за обѣдомъ, между жаркимъ и пирожнымъ, что у него лошади нанятыя, что очень дорого нанимать лошадей. Таракановъ согласился, разсказалъ какой-то случай, гдѣ ему довелось, будучи курьеромъ за границею, платить цѣлую станцію за каждый оборотъ колеса по червонцу, и предложилъ Буквѣ скушать *безе*; Буква съѣлъ безе, и очень основательно началъ подозрѣвать, что Иванъ Ивановичъ не хочетъ разстаться съ саврасымъ лошакомъ, подареннымъ въ порывѣ радости. Чрезъ недѣлю Буква опять пріѣхалъ и рѣшительно объявилъ свои требованія на саврасаго лошака.

— Э-эхъ, любезнѣйшій Глашатай Кузьмичъ! что же вы мнѣ прежде не сказали? а то я думалъ вамъ уже и не надобно, да и продалъ его, не дальше какъ третьяго дня продалъ!.. Ну, что будете дѣлать? продалъ, да и только!..

— Я не смѣлъ васъ безпокоить въ бытность мою у васъ, но полагалъ...

— То-то вы, ученые люди! вѣчно или не понимаете, или перемудрите! Ну, что вы полагали? Стану я помнить о всѣхъ лошакахъ! Сказать-было во время—и конецъ.

— Извините; оно, конечно, вамъ нельзя всего упомнить...

— Сами знаете, любезнѣйшій! Впрочемъ, это дѣло можно будетъ поправить. У меня есть саврасая кобыла...

— Покорнѣйше благодарю, перебилъ учитель:— хоть я и не люблю ѣздить на кобылахъ, однако, изъ личнаго уваженія къ вамъ, рѣшаюсь...

— Погодите, погодите! перебилъ въ свою очередь Тараковъ:— не перебивайте моихъ рѣчей. Кто вамъ сказалъ, что я вамъ хочу подарить саврасую кобылу? Я за мильонъ не отдамъ этой кобылы. Еслибъ мой отецъ воскресъ, я бы и ему ни отдалъ саврасой кобылы: это кладъ, рѣдкость, драгоцѣнность! Знаете ли, что эта кобыла по прямой линіи пра-правнука... нѣтъ, виноватъ, пра-пра-пра-пра-правнука извѣстной кобылы Мухаммеда—Альборакъ? Да, милостивый государь! хоть она и не больно казиста, а какой крови—а? Кровь много значитъ, я это по себѣ знаю... А вотъ-что я сдѣлаю для васъ: повремените немного; первый лошакъ отъ этой кобылы—вашъ, рѣшительно вашъ, позвольте васъ поздравить! Вы знаете, я никогда не лгу.

— Это всѣ знаютъ, печально отвѣчалъ Буква.

Или разсерженный учитель выдалъ тайну княжескаго происхожденія Тараканова, или Ѳедька разболталъ, или самъ Иванъ Ивановичъ проговорился въ минуту вдохновенія—неизвѣстно, но скоро весь уѣздъ заговорилъ объ этомъ. Многіе заговаривали съ Тараканомъ стороною о Тьмутараканскомъ княжествѣ, многіе, похрабрѣе, поздравляли его съ новымъ достоинствомъ. Иванъ Ивановичъ всѣмъ отвѣчалъ одно: „Извините, господа; это дѣло еще нерѣшенное... Разумѣется, мои предки происходятъ оттуда, съ Востока: но знаете, безъ ясныхъ доказательствъ трудно... можно извлечь на себя неудовольствіе... У моего прадѣда сгорѣли всѣ грамматы на восточныхъ языкахъ... а теперь одинъ мой искренній пріятель хлопочетъ тамъ, въ Петербургѣ, въ высшихъ судебныхъ инстанціяхъ... что тамъ они рѣшатъ—не знаю, а до рѣшенія я ничего не смѣю говорить...

Въ этомъ случаѣ Иванъ Ивановичъ сказалъ немного правды; онъ точно писалъ въ Петербургъ къ одному мелкому чиновнику, сыну своего приходскаго священника, слѣдующее письмо:

„Милостивый государь!

„По достовѣрнымъ бумагамъ, находя-
„щимся у меня, я узналъ, что родъ мой
„происходитъ по прямой линіи отъ князей
„Тараканновыхъ; нельзя ли, милостивый го-
„сударь, поискать въ герольдіи, или гдѣ
„слѣдуетъ, свѣдѣній о князьяхъ Тараканo-
„выхъ и сообщить мнѣ по первой почтѣ,
„а между прочимъ узнать, можно ли мнѣ
„просить о возвращеніи княжескаго достоин-
„ства, утраченнаго моими предками отъ
„разныхъ смутъ и пожаровъ, и можно ли
„надѣяться получить оное. Приложенные
„присемъ сто рублей ассигнаціями употре-
„бите для экипажа во время вашихъ разъ-
„ѣздовъ по моему дѣлу, и задарите ими
„всѣхъ, отъ кого зависитъ мое дѣло, а на
„остальные не откажите выслать съ попут-
„чикомъ бочонокъ голландскихъ сельдей и
„какую-нибудь небольшую земледѣльческую

„машину, или пистолетъ съ особенной ме„ханикой.

„Имѣю честь быть

„къ вамъ благорасположенный слуга

*„Иванъ Тараканов*ъ".

IV.

Въ одномъ городѣ, лежащемъ недалеко отъ Неизвѣстнаго уѣзда, была ярмарка, замѣчательная въ Россіи. Народъ всѣхъ состояній и всѣхъ націй толпился по улицѣ; шарманщики и фигляры тянулись вдоль троттуаровъ, оглашая воздухъ нестройными звуками бубновъ и треугольниковъ; комедіанты трубили, показываясь между облаками пыли въ своихъ яркихъ, фантастическихъ костюмахъ; лошади ржали; кричали кучера, визжали форейторы, стучали экипажи—словомъ, была ярмарка.

Иванъ Ивановичъ усталый, измученный, въ сѣромъ сюртукѣ, безъ галстуха, сидѣлъ у растворенаго окна своей квартиры и глядѣлъ на пыльную улицу; подлѣ него стоялъ Глашатай Кузьмичъ, разсказывая, по какому случаю попалъ онъ на ярмарку, какъ Ѳедосья Карповна подвезла его въ своемъ экипажѣ, какъ поссорилась съ нимъ, и тому подобное.

— Это напоминаетъ мнѣ случай, началъ Иванъ Ивановичъ...

— Купите, баринъ, халаты! раздалось подъ окномъ.

Подъ окномъ стоялъ татаринъ въ пестромъ халатѣ, въ пестрой ярмолкѣ, въ красныхъ сапогахъ; на рукахъ у него было навѣшано съ дюжину халатовъ всѣхъ цвѣтовъ, въ другой рукѣ онъ держалъ что-то четвероугольное, завернутое въ холстъ.

— Убирайся къ чорту! сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— Э, баринъ! купи; у тебя нѣтъ халатъ; на сюртукъ жарко.

— А это что у тебя? спросилъ Буква.

— Это не вамъ товаръ, это намъ дорогъ.

— Да что же такое?

— Это картина, наша картина, намъ дорогъ.

— Покажи.

Татаринъ развернулъ холстъ и показалъ старый, запыленный портретъ въ золотой полинялой рамѣ. Это было изображеніе какого-то лица въ восточномъ костюмѣ, въ чалмѣ.

— Это нашъ стара князь, сказалъ татаринъ.

— Любопытно! прибавилъ Буква. — Позвольте ему, Иванъ Иванычъ, войти въ комнату.

— Пожалуй; да къ чему это?

— Боже мой! говорилъ Буква смущеннымъ голосомъ, пока татаринъ проходилъ дворомъ:—вѣрите ли вы? этотъ портретъ немного похожъ на васъ, Иванъ Иванычъ.

— На меня? это чучело? съ ума вы сошли!..

— Нѣтъ, право, что-то есть общаго... разумѣется, восточная одежда, и я даже думаю...

Тутъ вошелъ татаринъ и перебилъ разговоръ. Глашатай Кузьмичъ взялъ портретъ, долго его разсматривалъ, кидая по временамъ косые взгляды на Ивана Ивановича, потомъ вынулъ изъ кармана носовой клѣтчатый платокъ, стеръ съ портрета пыль и значительнымъ взглядомъ подозвалъ къ себѣ Ивана Ивановича.

Когда Иванъ Ивановичъ подошелъ къ портрету, Глашатай Кузьмичъ едва примѣтнымъ движеніемъ большого пальца указалъ на надпись портрета. Съ трудомъ Иванъ Ивановичъ прочелъ ее, еще разъ прочелъ и, молча, съ изумленіемъ глядѣлъ на Глашатая Кузьмича. Глашатай Кузьмичъ дѣлалъ то же.

Минутъ пять продолжалось молчаніе.

— А что вы думаете объ этомъ? наконецъ спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Я думаю, отвѣчалъ, мигая, учитель, что работа скверная; впрочемъ, если вамъ нравится лицо, то, пожалуй, купите для шутки.

— Разумѣется, сказалъ, мигая въ свою очередь, Иванъ Ивановичъ:—для курьеза почему не купить? Хочешь, бритая голова, за эту дрянь полтину серебра?

Татаринъ и слушать не хотѣлъ, увѣрялъ, что это портретъ одного знаменитаго ихъ татарскаго князя, и что стоитъ ему завести портретъ за Оренбургъ въ киргизскія степи, чтобъ получить за него тысячу барановъ... Тараканов называлъ татарина дуракомъ, выгонялъ его вонъ; татаринъ хладнокровно удалялся; его останавливали, торговались и, наконецъ, портретъ остался за сто цѣлковыхъ въ рукахъ Ивана Ивановича.

Когда татаринъ, получа деньги, вышелъ изъ комнаты, Тараканов благоговѣйно поцѣловалъ портретъ, приговаривая:

— „Такъ вотъ мой знаменитый предокъ! вотъ корень нашего рода! Благословляю судьбу мою! Глашатай Кузьмичъ! не правда ли, между нами есть родственное сходство?

— И большое.

— Спасибо вамъ: вамъ я обязанъ такимъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ.

И Иванъ Ивановичъ началъ уже громко читать надпись на портретѣ:

Ханъ-Гирей Кипчакъ-Тараканъ, впослѣдствіе князь Георгій Таракановъ. Москва, 1444 года.

— А? каково? въ Москвѣ 1444 года! Вѣдь, это лѣтъ триста будетъ, Глашатай Кузьмичъ!

— Больше будетъ, Иванъ Иванычъ.

— Да, больше! Вѣдь это четыреста лѣтъ княжества—а?

— Да.

— Разумѣется, да! чортъ возьми. Ахъ ты, мой предокъ, Егорушка, какой же ты черномазый! Отчего онъ черномазый? отчего онъ черномазый, Глашатай Кузьмичъ? а?

— Восточнаго происхожденія.

— Да, восточнаго. Отчего же тамъ всѣ такіе черномазые?—отъ солнца?

— Отъ солнца и отъ пищи.

— Вотъ это уже вздоръ!

— Почему же? Въ походахъ вашъ сіятельный предокъ могъ употреблять грубую пищу, даже разные степные злаки, что огрубляетъ природу.

— Это правда: и у насъ, въ полку, былъ случай...

Тутъ Таракановъ началъ разсказывать фантазію о томъ, какъ одинъ солдатъ почернѣлъ отъ пищи, словно уголь, въ три дня...

V.

Съ великимъ торжествомъ везъ Иванъ Ивановичъ въ свою деревню портретъ сіятельнаго предка; онъ посадилъ, или лучше сказать, поставилъ его рядомъ съ собою въ коляскѣ, съ правой стороны, а Ѳедьку услалъ на запятки. На каждомъ ухабѣ Иванъ Ивановичъ бережно поддерживалъ драгоцѣнный портретъ, всю дорогу любовно смотрѣлъ на него, осторожно стиралъ пыль и съ бранью гонялъ мухъ и оводовъ, которые было вздумали садиться отдыхать на носъ и окладистую бороду князя Кипчакъ-Таракана. Пріѣздъ домой былъ днемъ радости и ликованія для всей дворни Ивана Ивановича; на дворъ выкатили бочонокъ пива, и кто развѣ не хотѣлъ, тотъ только не пилъ этого пива; а Ѳедька всѣмъ и каждому разсказывалъ, что баринъ отыскалъ писаннаго предка, что предокъ былъ князь, и баринъ теперь уже не баринъ, а князь, ваше сіятельство.

Между тѣмъ Иванъ Ивановичъ поставилъ портретъ у себя въ кабинетѣ, въ переднемъ углу, нацѣпилъ на раму цвѣточную гирлянду и приказалъ всѣмъ своимъ людямъ, входя въ комнату, кланяться лику знаменитаго предка. На другой день форейторы и, такъ сказать, люди для порученій, развозили сосѣдямъ Ивана Ивановича карточки, писанныя красными чернилами; онѣ были слѣдующаго содержанія:

„Иванъ Ивановичъ Таракановъ, по слу„чаю отысканія документовъ, поясняющихъ „его высокое происхожденіе, проситъ по„жаловать съ фамиліею къ обѣденному „столу, имѣющему быть въ день тезоиме„нитства супруги его въ слѣдующій чет„вертокъ, 21-го числа сего мѣсяца“.

Съ утра 21-го числа начали съѣзжаться гости къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, уводилъ каждаго гостя къ себѣ въ кабинетъ, показывалъ ему своего дорогого предка и объяснялъ всю будущую процедуру, которою онъ, Иванъ Ивановичъ, достигнетъ наконецъ, княжескаго достоинства. Сосѣди одобряли эту пропедуру, говорили, что документъ яснѣе дня, обнимали хозяина, нѣкоторые даже называли „его сіятельствомъ“ и поздравляли съ несомнѣннымъ успѣхомъ.

Въ два часа ливрейный лакей громко прокричалъ: „кушанье готово!“ Гости отправились въ залу. Тамъ, въ концѣ комнаты, на возвышеніи, уже стоялъ портретъ хана Кипчакъ-Таракана, попросту: князя Георгія Тараканова, обвѣшанный цвѣтами и лентами всѣхъ цвѣтовъ, находящихся въ гербѣ Тараканова. Гости усѣлись за длиннымъ столомъ, въ главѣ котораго красовался портретъ; домашній оркестръ Ивана Ивановича заигралъ увертюру изъ „Двухъ Слѣпыхъ“; лакеи понесли блюда съ ветчиной—ножи застучали по тарелкамъ. Въ это время вошелъ въ залу Глашатай Кузьмичъ Буква, а за нимъ какой-то старичокъ, сѣдой, въ бѣломъ галстухѣ.

— Позвольте принесть мое извиненіе въ позднемъ пріѣздѣ, говорилъ, кланяясь хозяину, Буква.—Это случилось по причинѣ внезапнаго прибытія изъ губерніи моего дядюшки, котораго имѣю честь вамъ представить — директоръ тамошней гимназіи Алексѣй Семенычъ Брррррр...р...р...р...овъ.

— Очень пріятно, Алексѣй Семенычъ; я вамъ весьма благодаренъ за честь, которую...

— Я былъ хорошо знакомъ съ вашимъ покойнымъ батюшкой—давно это, еще въ молодости! и вотъ почему мнѣ было пріятно взглянуть на этотъ домъ и познакомиться съ сыномъ стараго пріятеля.

— Тѣмъ для меня лестнѣе; прошу садиться, безъ церемоніи...

Гостей усадили; обѣдъ пошелъ своимъ порядкомъ: тамъ двое спорили, не зная хорошенько о чемъ; иной ѣлъ болѣе, а другой болѣе пилъ; одинъ кричалъ громко, и его никто не слушалъ; далѣе, двое разговаривали подъ шумокъ вполголоса, а

двое подслушивали ихъ. Долговязый лакей, разнося медокъ, монотонно спрашивалъ: „не прикажете ли медку?“—словомъ, былъ настоящій обѣдъ. Передъ жаркимъ захлопали пробки и мигомъ наполнились бокалы шипучимъ виномъ, носящимъ имя *шампанскаго*. Загремѣли стулья, гости поднялись съ мѣстъ и одногласно начали поздравлять хозяина. Когда первый крикъ радости поутихъ, Алексѣй Семеновичъ, не садясь, держа непочатый бокалъ въ рукѣ, сказалъ твердымъ голосомъ:

— Извините меня, Иванъ Ивановичъ, мы, старики, любимъ дѣлать все основательно. Съ чѣмъ прикажете поздравить—вашу супругу со днемъ рожденія? такъ, кажется, мнѣ сказывалъ Глашатай, или, можетъ, вы празднуете какое повышеніе?

— И то и другое, почтеннѣйшій Алексѣй Семенычъ. Прошу садиться. Я вамъ сейчасъ разскажу въ чемъ дѣло. Давно уже я зналъ, что происхожу отъ древняго княжескаго рода...

— Я никогда не слыхалъ этого отъ вашего батюшки.

— Это правда; подобному хладнокровію моихъ предковъ я обязанъ, что теперь уже потерялъ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей на отысканіе должнаго мнѣ по закону. Наконецъ, послѣ многихъ справокъ въ герольдіи, мнѣ вотъ пишетъ одно значительное лицо—не угодно ли прочитать: *Пришлите, Иванъ Ивановичъ, вѣрные и точные документы, подтверждающіе ваше княжеское происхожденіе, и будьте увѣрены, что получите должное.* Извольте видѣть, дѣло остановилось за документами. Теперь документы найдены и завтра отправляются въ герольдію.

— Найдены?

— Точно такъ: отысканъ мною подлинный портретъ моего предка, князя Кипчакъ-Таракана, названнаго въ крещеніи Георгіемъ Тараканомъ. Завтра же я отправляю его въ герольдію.

— Портретъ?

— Да, портретъ. Не удивляйтесь: на немъ написанъ годъ крещенія моего предка. Герольдія отнесется въ Москву: былъ ли въ такомъ-то году крещенъ такой-то князь Георгій? изъ Москвы отвѣтятъ: былъ. Вотъ и дѣло объяснится... Да вы не видали еще этого портрета? Посмотрите на него. Завтра, хоть бы и хотѣли, не увидите.

И хозяинъ потащилъ гостя черезъ всю комнату къ портрету.

— Я подозрѣваю, что это портретъ не настоящій; это поддѣлка.

— Милостивый государь, вы смѣете думать?

— Смѣю даже говорить, потому что въ 1444 году у насъ не писали арабскихъ цифръ.

— Бѣда съ учеными! Вы полагаете, въ 1444 году всѣ были дураки, оттого, что насъ не было.

— Наконецъ, я даже нахожу очень знакомыми черты лица этого портрета... продолжалъ Алексѣй Семеновичъ.

„И я! и я! и я!“ отозвалось за столомъ нѣсколько стариковъ.

— Неудивительно: между мною и портретомъ есть родственное сходство, сказалъ надменно Иванъ Ивановичъ.

— Нѣтъ, позвольте, продолжалъ Алексѣй Семеновичъ:—я еще въ молодости, давно, лѣтъ двадцать пять тому назадъ, видѣлъ это лицо или на театрѣ, или въ галлереѣ графа Нулина...

— Если бъ не ваши лѣта, милостивый государь, внушающія къ вамъ уваженіе, то за подобныя рѣчи...

— Впрочемъ, это легко узнать, продолжалъ неотвязный Алексѣй Семеновичъ:—покойный графъ всегда отмѣчалъ своею рукою на оборотѣ первой рамы имя и фамилію артиста, съ котораго списанъ былъ портретъ.

„Правда! правда!“ подтвердили нѣсколько голосовъ: „мы это знаемъ, мы видѣли, мы слышали“.

— Въ такомъ случаѣ, дядюшка, сказалъ Глашатай Кузьмичъ:—выньте портретъ изъ золотой рамы, и вы убѣдитесь въ своей ошибкѣ.

— Въ такомъ случаѣ, важно провозгласилъ Иванъ Ивановичъ:—я спокоенъ. Эй! люди! народъ! Вынуть сейчасъ, тутъ же, при мнѣ, портретъ изъ рамы. Увидимъ...

Портретъ вынули. На оборотѣ, на бѣлой деревяной рамѣ ясно, четко было написано чернилами: „Портретъ моего до„машняго артиста Сеньки Филонова, въ „роли Калифа Багдадскаго“.

„Подлецъ татаринъ!...“ вскрикнулъ Иванъ Ивановичъ, ударивъ себя по лбу рукою.

Буква улыбнулся.

— Прикажете убрать портретъ, ваше сіятельство? спросилъ Ѳедька.

— Болванъ! какое тутъ сіятельство?!

1844 г.

СТРАННАЯ ПЕРЕПЕЛКА.

РАЗСКАЗЪ.

Далеко отъ Петербурга есть прелестный уѣздный городокъ А**. Многіе, очень многіе въ Россіи, вѣрно, его знаютъ; онъ стоитъ на большой петербургской дорогѣ... забылъ подъ какимъ градусомъ широты и долготы, но, твердо помню, что ближе къ Черному, нежели къ Балтійскому морю Въ этомъ городкѣ, по выраженію мѣстнаго ученаго, „климатъ благорастворенный и плодамъ земнымъ способствующій, растительность богатая и разнообразная, почва земли благодарная, вознаграждающая сторицею трудъ землепашца; пѣніе пернатыхъ, населяющихъ рощи, звучно, сладостно и пріятно; нравы жителей кротки и благодушны". Читая этотъ отзывъ, съ трудомъ вѣришь въ непогрѣшительность ученаго, сомнѣваешься въ дѣйствительномъ существованіи подобнаго остатка древней Аркадіи, думаешь, что уѣздный городокъ А** прекрасный миѳъ, созданный досужей фантазіей ученаго человѣка въ часы поэтическихъ мечтаній объ утопіи; а между тѣмъ, этотъ городокъ дѣйствительно существуетъ, и дѣйствительно очень хорошенькій. Разумѣется, вы не отыщите въ немъ ни огромныхъ домовъ, ни торцовой мостовой, ни блестящихъ магазиновъ, ни театровъ, ни гранитныхъ набережныхъ, ни великолѣпныхъ церквей, и если вы въ этомъ только находите красоту города, то городокъ А** вамъ не понравится.

А** стоитъ на большой, но несудоходной рѣкѣ, усѣянной небольшими, зелеными островами, на которыхъ красиво группируются вѣтвистыя деревья; въ городѣ улицы широкія—и направо садъ, и налѣво садъ; въ садахъ бѣлѣютъ одноэтажные домики; весь городъ—одинъ большой садъ; къ городу, съ одной стороны, прилегаетъ рѣчка, а съ остальныхъ трехъ, къ самымъ садамъ, подходятъ поля, засѣянныя хлѣбомъ. Въ А** воздухъ всегда чистъ и пріятенъ; весной на улицахъ вѣетъ душистый вѣтеръ отъ цвѣтущихъ деревьевъ; осенью весь городъ пахнетъ фруктовымъ магазиномъ. Всѣ жители въ А**, начиная отъ высшихъ до сторожа, сидящаго въ будкѣ при въѣздѣ, очень тихи, общежительны, домовиты и привѣтливы: смотрѣть совѣстно, съ какимъ добродушіемъ старый инвалидъ снимаетъ шапку и кланяется вамъ изъ будки, когда вы, справедливо негодуя на пыль и знойную погоду, готовы разбранить его для облегченія своей досады.

Должно сказать къ чести нравовъ жителей А**, что въ немъ изстари не было ни одного публичнаго заведенія, кромѣ кабака—но кабакъ есть необходимость—и недавно только завелся трактиръ для проѣзжающихъ, и то по сильному настоянію послѣднихъ.

Прежде проѣзжающіе обѣдали у смотрителя станціи, неприхотливо, но сытно, платили съ персоны по гривеннику и, уѣзжая далѣе, кричали по большимъ дорогамъ, что А**—сущая деревня, что въ немъ нѣтъ даже трактира. И вотъ явилась рыжая борода, не то изъ Курской, не то изъ Орловской губерніи, недалеко отъ почтовой станціи наняла небольшой домикъ, долго возилась въ немъ, стучала, суетилась, и, наконецъ, къ неописанному соблазну всего города, *въ одно прекрасное утро* вывѣсила надъ дверью дома картину съ надписью: *Публічніи, Трахтиръ*. На картинѣ были изображены два человѣка, играющіе въ билліардъ, одинъ изъ нихъ въ голубомъ сюртукѣ; надъ бильярдомъ, словно висѣли на воздухѣ, чайникъ, графинчикъ, рюмка и пирожокъ.

Цѣлое утро стояла толпа передъ кар-

тиной. Замужнія женщины громко ругали рыжую бороду, говоря, что она хочетъ отнять у нихъ супруговъ; какой-то уѣздный острякъ говорилъ довольно громко: „Да когда же они станутъ драться? Вотъ цѣлый часъ стою, и они стоятъ поднявши палки, а не дерутся!“

Пришелъ одинъ почтенный обыватель, принялъ голубой сюртукъ на свой счетъ и просилъ бороду перекрасить сюртукъ на вывѣскѣ, грозя, въ противномъ случаѣ, жалобой начальству.

Трактирщикъ перекрасилъ голубой сюртукъ въ розовый, а все-таки вывѣска осталась къ соблазну мирныхъ жителей. Съ этого дня проѣзжіе уже обѣдали въ трактирѣ, платили по два рубля съ персоны, кушали жиденькій супъ, да котлетки подъ рѣпой, и пили кислое вино – послѣ котораго обыкновенно мучитъ человѣка сутки трое злой недугъ — и вездѣ по дорогамъ развозили новость, что А** просвѣтился, что въ А** есть трактиръ съ билліардомъ, и французскія вина.

Въ А** чистота нравовъ доходила до невѣроятности; всѣ немного-значительные чиновники и всѣ простые жители, перешедшіе двадцатилѣтній возрастъ, были женаты и ревностно воспитывали дѣтей, которыми Богъ награждалъ ихъ. Правда, былъ одинъ человѣкъ, лѣтъ за сорокъ, уѣздный судья, который жилъ въ А** холостякомъ; но и тотъ уже года два какъ женился на премиленькой дѣвушкѣ, Ольгѣ Петровнѣ, самой тихой, самой скромной дѣвушкѣ изъ всего города.

Чиновники А** жили мирно, дружно: сегодня соберутся у судьи, завтра у исправника, послѣзавтра у казначея, тамъ у почмейстера, тамъ у землемѣра, и такъ далѣе. Кушаютъ чай, играютъ въ карты. разсуждаютъ; порой, вечеромъ, въ саду, затянутъ пѣсенку хоровую, но стройную, чинную, напримѣръ: „Въ темномъ лѣсѣ“, или другую подобную, поужинаютъ чѣмъ Богъ послалъ, и разойдутся спать. Завтра та же исторія. Скажите, не Аркадія ли это?

Была весна. Солнышко пригрѣло добрый городокъ А**; острова на рѣкѣ зазеленѣли; сады цвѣли. Молодой чиновникъ уѣзднаго суда, Петръ Петровичъ, нагулялся вечеромъ вдоволь по городу, раскланялся со всѣми начальниками, видѣлъ въ окнѣ дѣвицу Пикулину, надышался чистымъ весеннимъ воздухомъ, который такъ пріятенъ въ началѣ весны, и, совершенно счастливый, упоенный блаженствомъ хорошей погоды и самодовольствія, отказался отъ ужина и легъ мечтать на скромной кровати, разумѣется, предварительно скинувъ съ себя картузъ, сюртукъ, жилетъ и прочее.

„Боже мой!“ подумалъ Петръ Петровичъ: „какой хорошій А**! что за воздухъ! на рѣкѣ кричатъ утки, свистятъ кулики... Начальники прекрасные, образованные... Сады цвѣтутъ удивительно... И Пикуликъ недуренъ, этакой канальченокъ розовый, полненькій, въ локончикахъ; просто картинка, какъ въ рамочкахъ. Сегодня стояла въ окошкѣ, а косыночка такъ вотъ тутъ и шевелится... Славно бы на ней жениться!... Что же? мнѣ двадцать два года, по службѣ я иду что называется на рысяхъ; судья мнѣ очень ласково кланяется, засѣдатели подаютъ руки... жалованья—легко сказать: я получаю четыреста рублей... прекрасно!... Квартира со столомъ сто-восемьдесятъ рублей, а остальныя двѣсти-двадцать рублей дѣвать куда не знаешь. При счастьи скоро буду секретаремъ... непремѣнно буду! У насъ народъ все образованный... Я получаю „Живописное Обозрѣніе“; его читаютъ члены и разсуждаютъ со мной... оно бездѣлица, а хорошо! Да и чѣмъ же Пикулина мнѣ не партія? У ея отца есть домишко; да онъ купецъ—вотъ оно куда выходитъ!—А хорошенькая!... У!...“

И долго такъ мечталъ Петръ Петровичъ. Уже его мечтанія принимали неясные образы. Купецъ Пикулинъ раскрылъ передъ нимъ „Живописное Обозрѣніе“ и политипажи зашевелились на страницахъ, приняли настоящій видъ предметовъ.

Вотъ передъ Петромъ Петровичемъ Гавръ-де-Грасъ: шумятъ морскія волны; по волнамъ плаваютъ звѣри утконосы, и допотопный человѣкъ ловитъ палату депутатовъ; на набережной стоитъ домъ купца Пикулина, въ окно глядитъ хозяйская дочка, поправляетъ локоны и кланяется; изъ другого окна кланяется судья; по ирландской Дорогѣ-Великановъ гуляютъ засѣдатели и протягиваютъ ему руки...

Вдругъ сильный шумъ, крикъ и стукотня прервали сладкія грезы Петра Петровича; онъ вздрогнулъ и началъ прислушиваться; за стѣной, въ комнатѣ, смежной съ его квартирой, ходили люди, вносили вещи; кто-то говорилъ громко, рѣзко, приказывалъ и бранился такъ, что стѣны дрожали. Долго сидѣлъ на кровати Петръ Петровичъ, недоумѣвая, что бы это значило; наконецъ накинулъ халатъ и вышелъ узнать причину шума. Въ сѣняхъ ему часто попадались незнакомые люди, которые бѣгали, торопились, будто на пожарѣ, и ничего не отвѣчали на его самые вѣжливые вопросы; къ счастью, Петръ Петровичъ увидѣлъ на крыльцѣ хозяйку, дувшую что есть силы въ самоваръ; искры летѣли изъ самоварной трубы и освѣщали ея жирное лицо.

— Что это такое? Что за несчастье? спросилъ у хозяйки Петръ Петровичъ.

— Ничего, батюшка, Петръ Петровичъ; а и вы не спите?...

— Какъ же уснуть? Что здѣсь такое?

— Ничего; постой, батюшка. Спите, не безпокойтесь, намъ не впервину; я знаю этого господина: онъ у насъ стоялъ третьяго года... добрый человѣкъ!...

О чемъ же онъ кричитъ?

— Это такъ, батюшка, извѣстное дѣло, на первый разъ, для острастки...

— Однако...

— Спите спокойно; онъ еще не опознался на мѣстѣ; оглядится; я его лучше знаю: человѣкъ знакомый.

— Онъ такой сердитый!...

— Предобрый, только и бываетъ сердитъ, когда голоденъ; накушается сейчасъ перестанетъ.

Успокоенный Петръ Петровичъ воротился въ свою комнату, но не могъ заснуть почти до свѣта.

Назавтра постоялецъ утихъ совершенно; только и слышно, что выколачиваетъ о полъ или о стѣну трубку. „Это еще ничего“ подумалъ Петръ Петровичъ; придя изъ должности, пообѣдалъ и хотѣлъ немного отдохнуть.

Вдругъ за стѣною послышалась какая-то пріятная мелодія, не то, чтобъ музыка, не то, чтобъ и свистъ, не то, чтобъ и пискъ, а что-то престранное, какая-то трель, вродѣ нѣжнаго птичьяго голоса, только съ тактомъ въ двѣ четверти, какъ вторая фигура французской кадрили, или блаженной памяти экоссэзъ.

Не до сна Петру Петровичу; онъ сѣлъ на своей кровати, приложа голову къ заколоченной двери, ведущей въ комнату его сосѣда, долго слушалъ и задалъ себѣ вопросъ: что бы это такое было?

„Правда, была въ „Живописномъ Обозрѣніи“ напечатана соловьиная пѣсня:

Тіу, тіу, ли-ли, ли-ли,
Пи-пи, ки-ки, чи-чи!

но это не то, рѣшительно не то! Еслибъ у меня за стѣной жилъ школьникъ, я подумалъ бы, что онъ сдѣлалъ изъ пера пищикъ, и опустя его въ воду, пищитъ для пріятнаго препровожденія времени; но мой сосѣдъ въ лѣтахъ; нѣтъ, тутъ должно скрываться что-нибудь полезное, хоть и пріятное“, думалъ Петръ Петровичъ, а за стѣной раздавалась прежняя мелодія.

Петръ Петровичъ вышелъ въ сѣни; въ сѣняхъ сидѣлъ денщикъ, курилъ маленькую трубку, и пристально смотрѣлъ на свой немного разорванный сапогъ.

— Послушай, любезный, началъ Петръ Петровичъ:—твой баринъ дома?

— Какой баринъ? сказалъ денщикъ, не отводя глазъ отъ сапога.

— Да твой...

— Его высокоблагородіе у себя, отвѣчалъ денщикъ, царапая указательнымъ пальцемъ по разорванному сапогу.—Вишь, какъ разнесло! Къ вечеру совсѣмъ будетъ дырка....

— Послушай, любезный, кто же это тамъ свиститъ у твоего барина?

— Никто не свиститъ.

— Нѣтъ, братецъ, свиститъ.

— Коли свиститъ, такъ *онъ самъ*. Экъ распоролось!..

— Какъ же это онъ свиститъ?

Денщикъ поднялъ голову и въ оба глаза посмотрѣлъ на Петра Петровича.

— Да, продолжалъ Петръ Петровичъ:— оно не то, чтобы свиститъ, а почти лищитъ и присвистываетъ и дѣлаетъ трельки, дробненько, зернышками, этакъ, знаешь, сюсюркаетъ!...

— Какъ, то-есть, сюсюркаетъ? безсмысленно спросилъ денщикъ.

— Да вотъ, слушай!...

Въ это время, изъ сосѣдней комнаты раздалась чуть слышно прежняя мелодія.

— Это ничего-съ, это ихъ высокоблагородіе пробуютъ перепелиную дудочку.

И денщикъ, оставя въ покоѣ сапогъ, началъ разсказывать по-своему устройство перепелиной дудочки и сѣти, но на самомъ интересномъ мѣстѣ разсказа дверь изъ комнаты отворилась и на порогѣ явился хозяинъ. Онъ былъ ростомъ вершковъ семи, очень широкъ въ плечахъ, съ открытымъ лицомъ, съ большими черными усами.

— Трошка! ты вѣчно сведешь знакомство со всякимъ народомъ, а послѣ и пьянствуешь! сказалъ онъ денщику.

— Извините, милостивый государь, я не народъ, замѣтилъ Петръ Петровичъ:—я коллежскій регистраторъ; я имѣю честь служить въ здѣшнемъ уѣздномъ судѣ; я занимаю смежную съ вами комнату.

— Извините меня, почтенный сосѣдъ, сказалъ господинъ:—я, право, думалъ... всякаго народу бываетъ; вы же такъ, въ одной жилеткѣ... извините... а у меня Трошка, куда бъ ни пришелъ, уже на другой день обзаведется друзьями.

— Да я, ваше высокоблагородіе, и не смотрѣлъ на нихъ, сами навязались...

— Молчи, болванъ!.. Не угодно ли, сосѣдушка, зайдти ко мнѣ на трубку табаку? безъ церемоніи. Видите, я и самъ безъ сюртука: время жаркое. Прошу покорно.

— А я вотъ разспрашивалъ вашего человѣка, сказалъ Петръ Петровичъ, входя въ сосѣднюю квартиру:— о перепелиной ловлѣ.

Проѣзжій господинъ посмотрѣлъ двусмысленно на Петра Петровича и сказалъ:— о какой?

— Видите, я услышалъ у васъ за стѣной незнакомую музыку, не могъ понять ее и пошелъ спросить вашего человѣка, что это такое. Онъ мнѣ и сказалъ, что это перепелиная дудочка.

— Развѣ вы никогда ее не видали?

— Никогда. Съ ружьемъ я большой охотникъ, а съ дудочкою никогда не охотился. Должно быть пріятно?

— Очень. Такъ вы здѣшній житель?

— Какъ же-съ, я и родился здѣсь. А гдѣ ваша дудочка?..

— Вонъ на окнѣ лежитъ. И мнѣ тоже здѣсь почти весь городъ знакомъ: я тутъ года три, кажется, назадъ стоялъ. Ну что вашъ землемѣръ?

— Ничего, отвѣчалъ Петръ Петровичъ, пробуя дудочку:—живетъ помаленьку.

— Съ женой ссорится?

— А вы и это знаете? Теперь ужъ пересталъ, устарѣлъ; жена, говоритъ, посѣдаетъ.

— А вашъ докторъ все ходитъ на охоту?

— Ходитъ, а больше лошадей объѣзжаетъ; это, говоритъ, прибыльнѣе!

— А судья?..

— Женился.

— Женился? Давно ли? на комъ?

— Года два будетъ; на Ольгѣ Петровнѣ.

— На Ольгѣ Петровнѣ? Быть не можетъ!

— Съ какой стати я стану лгать? помилуйте!..

Проѣзжій господинъ началъ задумчиво ходить по комнатѣ. Петръ Петровичъ раскурилъ трубку.

— Вы нездоровы? спросилъ Петръ Петровичъ.—Пошлите въ богоугодное заведеніе за каплями; хотите, я напишу записочку: намъ отпускаютъ всякія капли.

— Благодарю покорно, я здоровъ... Я такъ, немного подумалъ о вашемъ судьѣ; какъ это онъ женился?

— Какъ обыкновенно; перевѣнчался съ Ольгой Петровной...

— И ничего?

— Какъ ничего?

— Живутъ хорошо?

— Прекрасно; судья не нахвалится супругой; это, говоритъ, ангелъ—не женщина.

— Странно!..

— Отчего же странно?

— Да такъ; мнѣ, вѣдь, вашъ судья хорошій пріятель, даже другъ, можно сказать; и онъ мнѣ говорилъ, что до смерти не женится, знаете, послѣ исторіи съ Клубничкиной...

— Извините, я никогда не слыхалъ этой исторіи.

— Неужели? Правда, вы тогда были еще очень молоды, не могли, понять, если и слышали; да и случилось это не въ городѣ, а въ уѣздѣ... Я самъ, лѣтъ десять назадъ, случайно попалъ на эту исторію. Видите, тогда вашъ судья не былъ еще судьей и жилъ въ уѣздѣ, да и влюбился поуши въ одну свою сосѣдку, дѣвицу Клубничкину...

— Слыхалъ я эту фамилію; точно, есть у насъ въ уѣздѣ.

— Вѣрно есть, когда я разсказываю!

— Извините, я только такъ замѣтилъ.

— Ничего-съ. Клубничкина только-что пріѣхала тогда изъ Москвы, изъ пансіона, и просто была, я вамъ скажу, розовый бутончикъ: полненькая, веселенькая, говорила чисто-московскимъ нарѣчіемъ, что твоя малиновка; глазенки вотъ такъ и бѣгаютъ, какъ у суслика. Вашъ судья человѣкъ хорошій...

— Предостойнѣйшій!..

— Былъ тогда помоложе, не очень глупъ, не бѣденъ; вотъ и понравился Клубничкиной; у нихъ и дѣло пошло было на ладъ... это случилось, какъ теперь помню, зимой; я былъ въ нашемъ уѣздѣ за ремонтомъ. Въ уѣздѣ тогда стояла артиллерія. Вашъ богатый помѣщикъ, М***, давалъ, по случаю своихъ имянинъ, балъ; гостей съѣхалось множество; почти всѣ окружные помѣщики съ семействами пріѣхали, и вашъ теперешній судья пріѣхалъ, пріѣхала и его нареченная невѣста: было насъ, ремонтеровъ, человѣка четыре, явились и артиллеристы и привезли въ честь имянинника фейерверкъ. Всѣ военные были одѣты лихо, какъ съ иголочки, напомадились, распрыскались духами, подчернили, нафабрили усы. День прошелъ хорошо, пообѣдали, я вамъ скажу, отлично; уже сумерки, и всѣ гости вышли изъ столовой въ большую залу. Въ саду, передъ окнами залы, была площадка; на площадкѣ суетились артиллеристы около фейерверка; въ залѣ горѣло только четыре свѣчки; люстры и лампъ еще не зажигали. Гости столпились у оконъ, придвинувъ къ нимъ стулья; впереди сѣли почетныя дамы, старушки; за ними сидѣли и стояли дѣвушки и молодыя дамы, за дѣвушками—мужчины, и всѣ, глядя въ окна на темный садъ. говорили, смѣялись, шутили, любезничали. Вотъ, немного погодя, пришелъ офицеръ и говоритъ начальнику: „все готово“. „Зажигать!“ сказалъ начальникъ.—Тутъ я вамъ скажу, дамы ахнули; Александра Митрофановна задула всѣ свѣчи, и въ залѣ стало просто темно, хоть глазъ выколи.

— Это наша, здѣшняя Александра Митрофановна?

— Да, вотъ что горланитъ по лавкамъ на ярмаркахъ.

— Видите, мы ее называемъ солдатъ въ юбкѣ.

— Напрасно.

— Нѣтъ, вѣдь это такъ, между собой, втихомолку. Знаете, она языкомъ хоть кому бѣды надѣлаетъ.

— Да я ее не боюсь, прахъ ее возьми! Вотъ, короче сказать, мы съ полчаса стояли въ темной залѣ! фейерверкъ не удался; вспыхнетъ что-нибудь, да и погаснетъ сейчасъ; одна ракета поднялась, полетѣла въ сторону, увязла на дубу, тамъ и лопнула. Этой мы отхлопали честь. Еще загорѣлось какое-то колесо, повернулось раза четыре— и погасло; и этому колесу хлопали, а больше нечему было и хлопать. „Что это значитъ?“ спросилъ начальникъ. „Погода нехорошая“ отвѣчалъ ему артиллеристъ: „шелъ снѣжокъ, говоритъ, съ дождикомъ: отсырѣли припасы“. — „Такъ перестаньте же тамъ возиться и насъ не мучьте. Я вижу, что ничего не будетъ,“ сказалъ, вздыхая, начальникъ.

Не успѣлъ онъ окончить, какъ растворилась дверь изъ сосѣдней комнаты и вбѣжала въ залу Александра Митрофановна, держа въ рукахъ двѣ свѣчки, да, я вамъ скажу, какъ закричитъ: „Все кончено, все кончено, а посмотрите, барышни, какъ я васъ застала! Какъ вы тутъ сидѣли и стояли въ потемкахъ?...“ и начала присвѣчивать почти, съ позволенія сказать, въ самое лицо каждой персонѣ!... Что тутъ за комедія была, братецъ ты мой!... Барышни кричатъ, закрываются, гонятъ вонъ Александру Митрофановну, а та все бѣгаетъ отъ одной къ другой со свѣчами, прибѣжала и къ цѣвицѣ Клубничкиной, да какъ ахнетъ!...—„О чемъ вы кричите?“ спросила ее Клубничкина, да такъ, я вамъ скажу, скромно, благопристойно. Александра Митрофановна давай хохотать...

— Всѣ посмотрѣли на Клубничкину, да такъ и померли со смѣху... И теперь не могу вспомнить безъ смѣху, помора была!..

— Сидитъ, изволите видѣть, Клубничкина и на всѣхъ смотритъ, я вамъ скажу, такъ невинно, какъ годовалый ребенокъ глядитъ на своего крестнаго папеньку, а у ней на самомъ-то яблочкѣ, вотъ тутъ, на щечкѣ, словно отпечатаны черные усы!... Какъ ни толкуй, а, видимо, братецъ ты мой, что въ темнотѣ какъ-то нечаянно прилипли усы къ щечкѣ; черная фабра-то на ней и осталась. Вашъ судья, поблѣднѣлъ, глядя на свою невѣсту, и уѣхалъ съ бала. Клубничкина тоже уѣхала. Такъ это и кончилось, и судья не женился.

— Вотъ исторія! воскликнулъ Петръ Петровичъ:—въ первый разъ я слышу! скажите, пожалуйста!...

— Что же ты, братецъ, не женился? спросилъ я его, какъ-то года два спустя послѣ этого.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ:—благодарю Бога, что спасъ меня отъ Клубничкиной; съ моимъ характеромъ, я бы, говоритъ, надѣлалъ бы тутъ много бѣдъ. Никогда не женюсь, когда Клубничкина, сама невинность, говоритъ, голову бы далъ на отсѣченіе.... а и та, чуть погасили свѣчи, уже отпечаталась, словно въ типографіи!... Такъ нѣтъ, говоритъ, никому не вѣрю...

— А Ольгѣ Петровнѣ повѣрилъ, замѣтилъ Петръ Петровичъ:—ну, да и тихая она такая!

— И даже, я вамъ скажу, продолжалъ проѣзжій господинъ:—забожился, и рукой махнулъ.- -Вотъ, какая была исторія... А теперь женился?... Господи твоя воля!... Однако, надобно его навѣстить; человѣкъ знакомый, пріятель, другъ даже, можно сказать. Гдѣ онъ живетъ?

— Нашъ судья?

— Да.

— На самомъ концѣ города; его послѣдній домъ у Безколесной заставы.

— Вы ужъ меня, пожалуйста, проводите.

— Съ удовольствіемъ.

— Только прежде напьемся у меня чаю. Я люблю всегда чай пить у себя дома: въ гостяхъ иногда то сахару положатъ мало, то хлѣба отпустятъ ползолотника, а послѣ домашняго чаю пить въ гостяхъ, хоть трава не расти, хитри тамъ-себѣ, выкидывай какія хочешь штуки. Не правда ли?

— Совершенная правда.

— Эй, Трошка! Трошка!

— Чего изволите?

— Что ты не откликаешься? вѣрно ужъ опять тамъ съ какою-нибудь дрянью связался!.. Самоваръ! живо!

Новые знакомцы напились чаю, и Петръ Петровичъ повелъ сосѣда къ дому судьи.

Домъ судьи, какъ мы уже знаемъ, былъ у самой Безколесной заставы; за домомъ росъ большой тѣнистый садъ, окопанный канавой; за садомъ безконечное поле, засѣянное рожью.

— Вотъ и Безколесная застава, замѣтилъ Петръ Петровичъ. Это ея древнее названіе. Говорятъ, тутъ встарину былъ престрашный ухабъ поперекъ дороги, и рѣдко колесо выскакивало въ цѣлости изъ ухаба. Кто чуть пошибче переѣдетъ заставу, ужъ и сидитъ здѣсь безъ колеса или безъ двухъ.

— Вотъ что! а засыпать ухаба нельзя было?

— Не то чтобъ нельзя, его засыпали вча-

стую, говорятъ старики, да мѣсто покатое; пошелъ дождикъ—вода и вымоетъ попрежнему рытвину.

— А теперь не вымываетъ?

— Нѣтъ и теперь вымываетъ. А вотъ мы уже и у воротъ судьи. Идите прямо черезъ дворъ на крыльцо, только не берите слишкомъ вправо, тамъ, у амбара, привязана злая собака.

— А вы же куда?

— Домой.

— Зайдемте вмѣстѣ.

— Нѣтъ, помилуйте, я человѣкъ подчиненный, какъ можно! безъ приглашенія я не смѣю входить, развѣ по службѣ. Прощайте.

— Ну, прощайте.

Сосѣдъ пошелъ къ судьѣ, а Петръ Петровичъ домой, разсуждая, что пріѣзжій господинъ очень хорошій человѣкъ, что онъ не такъ страшенъ, какъ казался сначала, и что даже его дружескія отношенія къ судьѣ могутъ ему, Петру Петровичу, быть очень полезны. Вечеръ былъ прекрасный, и Петръ Петровичъ. пройдя два раза мимо оконъ купца Пикулина, воротился домой, заснулъ богатырскимъ сномъ и не слышалъ прихода своего сосѣда.

Время шло въ А** своимъ порядкомъ. Петръ Петровичъ ходилъ въ должность; сосѣдъ его по вечерамъ отправлялся на охоту за перепелками.

„Вотъ я съ ружьемъ охочусь, часто думалъ Петръ Петровичъ, „а съ дудочкою за перепелками никогда не хаживалъ. Правда, пріѣзжій мало приноситъ дичи, однако часто ходитъ, значитъ, оно тамъ весело; иначе, какая бы его нечистая сила заставила бродить почти каждый вечеръ по полямъ... Придетъ—смѣхъ на него посмотрѣть—весь мокрый отъ росы, платье въ пыли, въ грязи, на локтяхъ и на колѣнкахъ отъ травы зеленыя пятна... да еще и придетъ ни съ чѣмъ... а на завтра опять тащится!..

Вслѣдствіе подобныхъ разсужденій, Петръ Петровичъ не давалъ сосѣду покоя и все просился съ нимъ на охоту: „мнѣ, говорилъ, хоть бы разъ посмотрѣть, какъ тамъ оно дѣлается“.

Сосѣдъ, наконецъ, согласился, и они отправились за городъ.

— Пойдемъ за Безколесную заставу: тамъ такъ и кричатъ перепела, сказаль Петръ Петровичъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ сосѣдъ:—тамъ рожь очень высока, ничего не сдѣлаемъ; а пойдемъ на другой конецъ города, на тѣхъ поляхъ лучше.

Солнце только-что зашло, какъ пріѣзжій господинъ и Петръ Петровичъ вышли за городъ. Быстро набѣгали на небо лѣтнія южныя сумерки; шумъ въ городкѣ затихалъ; на западѣ еще слегка краснѣло небо, а ужъ въ вышинѣ блѣдно засверкали двѣ-три звѣздочки! далеко въ степи загремѣлъ перепелъ, ему отозвался другой... тамъ третій...

— Пора, прошепталъ пріѣзжій господинъ, и началъ раскидывать на травѣ сѣтку.

Раскинувъ сѣть, онъ легъ въ траву, уложилъ подлѣ себя Петра Петровича и, наказавъ ему не шевелиться, громко ударилъ въ дудочку. Вмигъ всѣ перепела замолчали; опять отозвалась дудочка, только немного потише—со всѣхъ сторонъ, въ свою очередь, отозвались на это голоса перепела; ихъ громкіе голоса звучали все ближе; все тише и тише отзывалась дудочка, и вотъ трава зашевелилась, зашелестѣла, и перепела начали шнырять почти передъ глазами нашихъ охотниковъ, будто что-нибудь заботливо отыскивая; дудочка почти умолкла; изрѣдка она издавала чуть-слышную, самую нѣжную трель, или свистъ, похожій на вздохъ, и замолкала.

Петръ Петровичъ лежалъ какъ въ лихорадкѣ; ему въ первый разъ въ жизни довелось видѣть такую нецеремонную дичь; его руки такъ и дрожали, такъ и протягивались схватить какого-нибудь мимо-бѣгущаго франта-перепела, но, помня строгій наказъ своего товарища, онъ не шевелился. Наконецъ, испытаніе перешло всякую мѣру; одинъ изъ самыхъ отчаянныхъ крикуновъ, пѣвецъ неимовѣрно-громкій, гордо сталъ передъ самымъ носомъ Петра Петровича и началъ орать во всю перепелиную глотку. Петръ Петровичъ не выдержалъ, да какъ щелкнетъ зубами на перепела, хотѣлъ, какъ онъ говоритъ, схватить его ртомъ. Въ секунду исчезъ перепелъ, только мелькнула передъ глазами Петра Петровича какая-то черная струйка да послышался во тьмѣ быстрый порхъ — и справа и слѣва сильно со всѣхъ сторонъ зашумѣли, запорхали перепелки, и наши охотники остались одни; передъ ними—темное поле, покрытое травой, надъ ними—синее небо, усѣянное звѣздами.

— Эхъ, что вы надѣлали! сказалъ сосѣдъ недовольнымъ голосомъ.

— Извините, ей-богу, не выдержалъ; руками то я шевелить не смѣлъ, по вашему приказу, а зубами думалъ схвачу: всего, вѣдь, онъ былъ отъ моего носа на два пальца—какъ тутъ не схватить?...

— Иногда подъ самымъ носомъ бываетъ что-нибудь, да и тутъ не схватишь, братецъ ты мой!... только щелкнешь зубами... Эхъ, было бъ не торопиться, выждать немного, пока бы они не подошли подъ сѣт-

ку, да тогда и спугнуть: не съ пустой торбой вернулись бы домой.

Сосѣдъ свернулъ сѣтку, положилъ дудочку въ карманъ и возвратился въ городъ, подтрунивая надъ Петромъ Петровичемъ.

Съ этой ночи, чуть бывало, заикнется Петръ Петровичъ: „возьмите меня съ собою на перепелиную охоту", сосѣдъ всегда отвѣчалъ: „нѣтъ, братъ, сердись не сердись, а право не возьму; ты мнѣ мѣшаешь; если бы не ты, я бы тогда принесъ полную суму перепелокъ!"

Петръ Петровичъ оставался дома, но не могъ забыть пріятной ночи, проведенной имъ подъ открытымъ небомъ, когда со всѣхъ сторонъ откликались на дудочку перепела, и, забывъ природную робость, шли къ человѣку—своему врагу; онъ живо помнилъ, какъ трепетно билось, замирало его сердце, когда перепелъ быстро пробѣгалъ передъ нимъ, красиво распустивъ свои крылышки, какъ пробовалъ клювомъ рукавъ его демикатоноваго сюртука, или, вскочивъ къ нему на спину, бѣгалъ по ней, подпрыгивалъ и надъ самымъ ухомъ оглушительно пѣлъ свою громкую пѣсню; какъ онъ, Петръ Петровичъ, едва переводя дыханіе, лежалъ словно убитый — словомъ, всѣ сильныя ощущенія, испытанныя имъ на этой охотѣ, всѣ сомнѣнія и тревоги, часто дѣлающія изъ обыкновенныхъ людей самыхъ страстныхъ охотниковъ, и, не поймавъ на вѣку ни одной перепелки, бывъ всего только одинъ разъ на охотѣ, онъ сдѣлался уже записнымъ любителемъ.

Въ эту же весну, на Вознесенье или на Троицу, была въ А** ярмарка. Всѣ жители спѣшили закупить себѣ что нужно, и хвастали другъ передъ другомъ своими покупками. Петръ Петровичъ тоже не потерялъ времени, не отсталъ отъ земляковъ: купилъ себѣ перепелиную сѣть и дудочку, только никому не показывалъ, не хвасталъ своей покупкой; ему хотѣлось втихомолку набить руку въ этой охотѣ, наловчиться и послѣ изумить сосѣда своими успѣхами.

Насталъ вечеръ; сосѣдъ собрался на охоту, и Петръ Петровичъ собрался.

„Какъ бы намъ не встрѣтиться!" подумалъ Петръ Петровичъ, и началъ слѣдить за сосѣдомъ. Сосѣдъ пошелъ за Безколесную заставу. Увидя это, Петръ Петровичъ бѣгомъ пустился на другой конецъ города, вышелъ въ поле, раскинулъ сѣтку, легъ и началъ свистѣть въ дудочку. Перепела сначала отзывались, даже подходили довольно близко; но вѣрно Петръ Петровичъ какъ-нибудь сфальшивилъ на дудочкѣ, и они отлетѣли очень далеко, только изрѣдка отзывались.

„Экіе дураки!" сказалъ Петръ Петровичъ, пролежавъ почти за полночь въ травѣ: „словно трусливыя собаки лаютъ издалека на медвѣдя! Въ другой разъ авось удастся!" И онъ грустно пошелъ домой.

Другой вечеръ прошелъ не успѣшнѣе, третій—тоже.

„Что бы это значило?" подумалъ Петръ Петровичъ: „неужели я не умѣю свистать въ эту дудочку? кажется, и сосѣдъ такъ свиститъ, а къ нему летятъ глупыя птицы!... Нѣтъ, вѣрно, здѣсь уже онѣ проучены порядкомъ; сосѣдъ тутъ часто охотился; вѣрно, не одна побывала подъ сѣткой и, вырвавшись, не только сама не пойдетъ на дудочку, да и своимъ товарищамъ скажетъ: „не ходите, братцы, это не птица свиститъ, это человѣкъ вретъ по-нашему, по-птичьему; ничему не вѣрьте, что онъ ни разсказываетъ вамъ, что ни обѣщаетъ—все вретъ, онъ только заманитъ васъ въ сѣтку, да и поминай какъ звали—всѣхъ съѣстъ!" Вотъ по этому случаю и не летятъ ко мнѣ перепелки; и самъ сосѣдъ, кажется, знаетъ, что тутъ мало поживы; все уходитъ за Безколесную заставу, а мнѣ говоритъ: *тамъ ничего нѣтъ*. Понимаю! хитритъ, для себя бережетъ. Да мы сами не промахъ; пойдемъ и мы за безколесную заставу, только бы васъ тамъ не было".

Дня два спустя, *въ одинъ прекрасный вечеръ*, пріѣзжій господинъ взялъ сѣтку, дудочку, положилъ въ карманъ трубку, на пуговицу прицѣпилъ кисетъ съ табакомъ и вышелъ за ворота, а навстрѣчу ему скачетъ верхомъ слуга, поровнялся съ нимъ, слѣзъ съ лошади и отдалъ ему какой-то пакетъ. Господинъ прочиталъ пакетъ, поморщился, посмотрѣлъ на слугу недовольными глазами, проворчалъ: „хорошо, сейчасъ буду", и вернулся на квартиру.

Минутъ чрезъ десять пріѣзжій господинъ уѣхалъ куда-то верхомъ на своей лошади.

Трошка вышелъ на крыльцо; въ лѣвой рукѣ мѣдная пуговица, въ правой щетка.

— Вишь какъ блеститъ, говорилъ Трошка:—чего ему еще надобно? пуговицы, говоритъ, грязны!... просто напасть!... Экая веселая! словно молодецъ послѣ пятой чарки, ей-богу!... Чего ему хочется!...

Трошка пристально поглядѣлъ на пуговицу, потомъ повернулъ ее раза три, вытянувъ лѣвую руку во всю длину, проворчалъ: „Чего ему лучше этого?" и, сердито плюнувъ на пуговицу, началъ ее немилосердно тереть жесткою щеткой, припѣвая вполголоса, подъ тактъ:

Стой баба не ворчи,
Вотъ тебѣ калачи!

Калачи на печи,
Чи, чи, чи, чи, чи, чи, чи...

— А что, баринъ уѣхалъ? спросилъ Петръ Петровичъ, выйдя на крыльцо.

— Уѣхавши, отвѣчалъ Трошка, продолжая тереть щеткой пуговицу.—Калачи на печи...

— Далеко?

— Верстъ десять...— Ну, чего ему хочется? блеститъ словно золотая. Чи, чи, чи, чи, чи...

— Такъ онъ сегодня не будетъ?

— Сказывалъ--нѣтъ, а къ завтраму, говорилъ, къ обѣду приготовь ботвинью, да чтобъ раковъ было побольше, да квасъ позаористѣе; стало-быть, къ обѣду будетъ.

Окончивъ эту большую рѣчь, Трошка утеръ лицо рукавомъ и опять принялся тереть пуговицу, приговаривая въ тактъ извѣстную свою пѣсенку.

Обрадованный Петръ Петровичъ схватилъ сѣтку, дудочку и черезъ четверть часа былъ уже за Безколесной заставой.

За заставой волновалась колосистая рожь; легкій вечерній вѣтерокъ изрѣдка пробѣгалъ по ней; обширное поле плавно колыхалось, переливалось сѣрозелеными волнами, тихо шумя своими молодыми, зелеными колосьями. Порой изъ этого гармоническаго шума громко вырѣзывался голосъ степного перепела.

„Э, голубчикъ, вотъ ты гдѣ!“ проворчалъ Петръ Петровичъ и, пройдя шаговъ сотню по опушкѣ нивы, у самаго сада судьи своротилъ въ рожь, раскинулъ сѣтку и улегся въ густой ржи, будто утонулъ въ зеленомъ морѣ.

Солнце уже зашло; сумерки были тихія, теплыя, прекрасныя; перепела отзывались кругомъ; сердце Петра Петровича радостно забилось; онъ громко пріударилъ въ дудочку; дудочка свистѣла, трелила, перепела пѣли все ближе и ближе...

„Да и отплачу же я сосѣду за скрытность: всю дичь выловлю да еще завтра самъ разскажу ему“, подумалъ Петръ Петровичъ и съ большимъ жаромъ принялся скликать перепеловъ.

Вдругъ перепелиные голоса умолкли. Петръ Петровичъ изумился, раза четыре ударилъ въ дудочку, и на его призывъ въ силу отозвался одинъ какой-то храбрый голосъ, и то далеко, словно за версту. Петръ Петровичъ началъ разсуждать, глядя въ землю; надъ нимъ послышался шелестъ, будто вѣтерокъ всколыхалъ ниву; потомъ зашелестѣло еще сильнѣе, и какая-то черная тѣнь простерлась надъ Петромъ Петровичемъ. Быстро поворотилъ онъ кверху голову и—прямо ему въ глаза сверкнули чужіе глаза, человѣчьи глаза... густыя душистыя кудри разсыпались по его лицу и нѣжныя губки жарко, страстно поцѣловали его.

Цѣлующій предметъ такъ былъ близко отъ глазъ Петра Петровича, что несмотря на сумерки, ни на нечаянность поцѣлуя, Петръ Петровичъ узналъ незнакомку и съ изумленіемъ прошепталъ: „Боже мой! Ольга Петровна, вы ли это?...“

Будто отъ ядовитой змѣи отпрыгнула Ольга Петровна отъ Петра Петровича и быстро исчезла; порой ея головка выказывалась изъ густой ржи все далѣе и далѣе, и скрылась въ темнотѣ горизонта, окаймленнаго садомъ.

Съ полчаса сидѣлъ во ржи Петръ Петровичъ, забывъ и сѣтку, и дудочку, и перепеловъ—такъ онъ былъ пораженъ нечаянностью своего открытія. Вдругъ въ его головѣ сверкнула мысль: „Что, если сосѣдъ вздумаетъ навѣстить рожь и прискачетъ сюда? Что, если онъ застанетъ другого охотника на своемъ мѣстѣ?...“ и Петръ Петровичъ съ ужасомъ припоминалъ себѣ атлетическія формы сосѣда, его жилистыя руки, и, схвативъ наскоро сѣть, запихнувъ дудочку въ карманъ, онъ, словно угорѣлый, бросился домой, не замѣтилъ даже Безколесной заставы, и только вздохнулъ свободно, когда легъ у себя дома на кровати, повторяя втихомолку: „Господи Боже! ну кто бы могъ это подумать?!... Вотъ тебѣ и скромница!“

Всю ночь не могъ уснуть Петръ Петровичъ; мысль, что онъ, недумано, негадано, замѣшался въ интригу между сосѣдомъ и Ольгой Петровной, не давала ему покоя. „Нехудо бы сказать судьѣ“, думалъ онъ, но послѣ разсудилъ, что у него нѣтъ никакихъ доказательствъ, да и понравятся ли судьѣ подробности разсказа? и съ какой точки посмотритъ онъ на этотъ разсказъ? Лучше не говорить! А если судья узнаетъ про эти шашни? А если узнаетъ, что и я зналъ ихъ? Быть бѣдѣ... большой бѣдѣ!... Что прикажешь дѣлать?...

Цѣлое присутствіе, на другой день, казалось Петру Петровичу, судья глядѣлъ на него какъ-то мрачно, недоброжелательно. Петръ Петровичъ потупилъ глаза, смущался передъ своимъ начальникомъ, будто человѣкъ Богъ-знаетъ какъ виноватый. Всѣ это замѣтили.

— Что съ вами? спросилъ секрѣтарь.

— Ничего, отвѣчалъ Петръ Петровичъ.

— Вы находитесь въ смущеніи...

— Нездоровъ-немного.

— Примите покой, чтобъ не потерпѣть ощутительныхъ слѣдствій, замѣтилъ секретарь.

А когда судья пошелъ домой раньше обыкновеннаго, говоря засѣдателю, что бѣдная его Оленька немного нездорова: гуляя вчера вечеромъ по саду, вѣрно простудилась и сегодня все жалуется на голову, и потому онъ спѣшитъ утѣшить ее своимъ присутствіемъ, то Петру Петровичу такъ стало жалко добраго судьи, что онъ не выдержалъ и подбѣжалъ къ судьѣ, рѣшась разсказать все и сложить съ души тяжелое бремя тайны.

— Что вамъ угодно? спросилъ судья.

Петръ Петровичъ покраснѣлъ и замолчалъ.

— Вы, кажется, что-то хотѣли сказать мнѣ?

— Ничего-съ... Куда прикажете записать бумагу?...

— Какую?

— Прошеніе А. на Б.

— Куда и всѣ записываются, въ досадѣ отвѣчалъ судья. — Вы меня Богъ-знаетъ чѣмъ безпокоите, а меня ждетъ мой ангелъ, моя Оленька!

Петръ Петровичъ хотѣлъ быть пріятнымъ чиновникомъ, улыбнуться — и скорчилъ какую-то жалкую гримасу.

Жилъ въ то время въ А** одинъ старичокъ, титулярный совѣтникъ; долго служилъ онъ и въ А**, и въ губерніи, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, и въ Иркутскѣ, и въ Тифлисѣ, скитался по свѣту, какъ Вѣчный Жидъ, и наконецъ пріѣхалъ опять въ А**, чтобъ сложить на родной землѣ свои кости, купилъ себѣ въ предмѣстьи города маленькій домъ съ садикомъ, разсаживалъ, щепилъ и колеровалъ въ саду всякія деревья, цвѣты и кустарники, обзавелся ульемъ пчелъ, на которомъ написалъ латинскій стихъ, кажется, изъ „Георгикъ“ Виргилія.

Старичокъ жилъ когда-то дружно съ отцомъ Петра Петровича, не вмѣшивался ни въ какія сплетни добраго города А** и очень любилъ Петра Петровича.

Петръ Петровичъ, мучимый своей тайной, пошелъ къ старичку, разсказалъ ему вчерашнее приключеніе и просилъ совѣта.

— Плохо! сказалъ старичокъ, немного подумавъ:—плохо, Петръ Петровичъ! Вы говорите, васъ мучитъ совѣсть, вамъ неловко смотрѣть на судью—это пустое, это еще не бѣда; это показываетъ, что вы еще молодой человѣкъ, что у васъ еще рыцарскія понятія о свѣтѣ и людяхъ; опытъ—великое дѣло. Присмотритесь—и судья перестанетъ смущать васъ. А вотъ что худо: ваша карьера совершенно потеряна... Не смотрите на меня такъ странно: я не колдунъ, я все-таки скажу вамъ, что вамъ въ А** нечего ожидать теперь, кромѣ непріятностей. Я, вѣдь, тертый калачъ; служилъ я и на жару, и на холодѣ, и въ средней температурѣ... повѣрьте мнѣ!.. Ольга Петровна не забудетъ, не проститъ вамъ своего поцѣлуя; она съ вами разсчитается; заплатите вы за него и безсонными трудовыми ночами, и спокойствіемъ, и состояніемъ, и, можетъ-быть, своей будущностью...

— Боже мой! что же мнѣ дѣлать?

— Уѣзжайте куда-нибудь.

— Но мнѣ ѣхать невозможно!

— А почему такъ? Знаю: сердечная зазнобушка!.. О Пикулиной перестаньте и думать; женщины... да говорить о нихъ много не стану: мало еще вамъ примѣра Ольги Петровны? Да, притомъ, неужели вы думаете, Александра Митрофановна оставитъ васъ въ покоѣ? неужели вы думаете отъ нея скрыть ваше приключеніе на перепелиной охотѣ? У этой бабы чутье удивительное; она лучше гончей собаки носомъ слышитъ всевозможныя сцены и случаи, и пользуется ими съ любовью; эта ходячая, или, вѣрнѣе, возимая на чужихъ лошадяхъ, газета, непремѣнно узнаетъ все, сама освидѣтельствуетъ даже то мѣсто, гдѣ васъ поцѣловали, а Пикулину такъ вооружитъ противъ васъ, что она станетъ отворачиваться даже отъ вашего портрета... Мой совѣтъ: поѣзжайте въ Петербургъ... здѣсь дорога проѣзжая, часто случаются оказіи... Только поторопитесь, пока Александра Митрофановна ничего еще не разнюхала...

Не прошло и недѣли послѣ этого разговора, какъ въ *одно прекрасное утро* почтовая тройка унесла въ облакѣ пыли Петра Петровича изъ А**. Проѣзжая мимо дома Пикулина, Петръ Петровичъ взглянулъ на завѣтное окно: въ немъ стояла дѣвица Пикулина, медленно, грустно кивала ему головой и плакала; сердце Петра Петровича сжалось; онъ протеръ глаза перчаткой, оглянулся—изъ окна вѣетъ знакомый ему бѣлый платочекъ; еще разъ оглянулся—ужъ не видать ни платка, ни дома, ни даже Безколесной заставы, только позади въ пыльной атмосферѣ темнѣетъ густой зеленый садъ уѣзднаго судьи; но тройка скачетъ быстро, все далѣе и далѣе, садъ и весь городокъ А** скрылся за горизонтъ. Впереди степь да полосатыя версты; позади степь; однозвучно звѣнитъ колокольчикъ, однозвучно мурлыкаетъ пѣсню ямщикъ... Заплакалъ Петръ Петровичъ!

Петръ Петровичъ ужъ въ Петербургѣ, служитъ неусыпно день и ночь, получаетъ тѣ же четыреста рублей и живетъ на Петербургской сторонѣ. Иногда, загрустивъ о своемъ родномъ А**, онъ въ теплую погоду поѣдетъ на Крестовскій подышать чистымъ воздухомъ и поглазѣть на даровую комедію. Станетъ жарко—онъ подой-

детъ къ бабѣ, торгующей дешевыми апельсинами, робко спроситъ: что стоитъ?

— Десятокъ? спроситъ, въ свою очередь, баба.

— Нѣтъ, одинъ.

— Давай, баринъ, пятнадцать копѣекъ.

— Дорого!

— Ну, двѣнадцать—своя цѣна.

— Не дамъ.

— Такъ давай гривну, да отваливай.

— Пятакъ, если хочешь.

— Видали такихъ! самимъ дороже...

И Петръ Петровичъ отходитъ, говоря: „Боже мой! какъ жарко“, и утираетъ лицо ситцевымъ клѣтчатымъ платочкомъ.

1844 г.

ЗЛОЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Если вы любите сильныя страсти, мелодраматическія положенія, хитросплетенныя завязки, ужасы, порывы, неистовую любовь, проклятія и стоны, то не читайте моего разсказа: въ немъ нѣтъ ничего подобнаго. Здѣсь вы не найдете даже и мелочныхъ огорченій жизни; я даже не стану разсказывать вамъ, какъ у моего пріятеля украли изъ кармана платокъ, какъ одинъ помѣщикъ кормитъ всѣхъ и каждаго завтраками, къ общему восторгу всего города, и, для контраста, какъ одинъ дѣловой человѣкъ тоже кормитъ всѣхъ и каждаго завтраками, къ общему неудовольствію того же города. Нѣтъ; я вамъ разскажу самый простой случай изъ нашей жизни; можетъ-быть, и вы были свидѣтелемъ, если не этого самаго, то сотни другихъ совершенно ему подобныхъ. Мало этого: въ моемъ разсказѣ нѣтъ ни одной знаменитости — ни Шиллера, ни Бальзака, ни Каліостро, ни Наполеона, нѣтъ ни одного непризнаннаго поэта или художника. Теперь я все сказалъ, что у меня лежало на душѣ; послѣ этого вы вольны читать, вольны—нѣтъ.

Въ городѣ Вишнеградѣ жилъ-былъ нѣкогда одинъ значительный чиновникъ, холостой, старикъ, но человѣкъ добрый и честный; онъ занималъ важное мѣсто, но жилъ однимъ жалованьемъ, и когда умеръ, то едва могли похоронить его прилично, и то продавъ весь гардеробъ и библіотеку покойника.

Лѣтъ двадцать назадъ, онъ еще былъ живъ и занималъ въ Вишнеградѣ важное мѣсто; у старика жила пожилая женщина съ маленькимъ сыномъ; этотъ сынъ приходился роднымъ племянникомъ старику— значительному чиновнику, потому-что пожилая женщина была замужемъ за покойнымъ братомъ значительнаго чиновника. Пожилая женщина была своя въ домѣ: разливала чай и являлась при гостяхъ въ темномъ ситцевомъ платьѣ, въ чепчикѣ съ коричневыми лентами; ея сынъ ходилъ учиться въ гимназію.

Лѣтъ двадцать назадъ, пріѣхалъ въ Вишнеградъ богатый помѣщикъ изъ отдаленной губерніи, человѣкъ небольшаго роста, достаточно-толстый, съ огромными золотыми часами, съ пучкомъ печатокъ у часовъ, висящихъ на золотой цѣпочкѣ; онъ скоро познакомился почти со всѣмъ Вишнеградомъ, игралъ въ бостонъ и вистъ, пріятно улыбался, кормилъ вкусными обѣдами, и всегда ѣздилъ шестеркой въ каретѣ съ двумя гайдуками, красиво-дрожавшими на запяткахъ. Помѣщикъ пріѣхалъ въ Вишнеградъ получить богатое наслѣдство.

Въ морозное декабрьское утро тихо скрипнула калитка у воротъ квартиры значительнаго чиновника; изъ калитки вышла пожилая женщина, неся въ рукахъ большую связку, осторожно осмотрѣлась и скорыми шагами пошла по улицѣ; вдругъ изъза угла прямо противъ нея показалась тройка; въ саняхъ сидѣлъ помѣщикъ, закутанный въ черную медвѣжью шубу.

— Боже мой! вы ли это? закричалъ по-

мѣщикъ, поровнявшись съ пожилой женщиной.

— Я, отвѣчала пожилая женщина, повидимому очень-смущенная встрѣчей.—Куда вы ѣдете?

— Прямо къ вамъ, то-есть къ вашему братцу.

— Что такъ рано?

— Э! сударыня, вашего братца если не поймаешь до свѣта, такъ и о дѣлѣ съ нимъ не успѣешь поговорить: у него всегда люди. Видите, я даже инкогнито, въ саняхъ... А что, онъ уже всталъ?

— Нѣтъ еще. Прощайте.

— Ну, я и подожду, коли не всталъ. Да куда же вы, сударыня?

— Я, такъ иду, по дѣлу, надобно... Прощайте!

— Нѣтъ, нѣтъ, тутъ что-то кроется! Ейбогу, я васъ такъ не отпущу. Что вы несете?

— Ничего. Какое вамъ дѣло? Поѣзжайте-себѣ!

— Хорошо, я поѣду, а ваша связка не уйдетъ отъ меня. Знаю я, сударыня, это какое-нибудь благотвореніе, и вы скрываете отъ меня. Хорошо, все разспрошу у вашего братца!... Досвиданія.

— Нѣтъ, погодите, торопливо сказала пожилая женщина:—если вы добрый и благородный человѣкъ, то не говорите ни слова о нашей встрѣчѣ.

— Это отчего? спросилъ помѣщикъ, глядя пристально на пожилую женщину.

— Оттого, что вы меня можете разссорить съ моимъ благодѣтелемъ, съ моимъ братомъ.

Помѣщикъ двусмысленно улыбнулся и спросилъ:

— Кому же это посылаетъ посылочку такъ рано вашъ братецъ, да еще съ такой тайной?... Мы его стороной поразспросимъ объ этомъ!

— Послушайте, сказала въ-полголоса пожилая женщина:—это моя тайна; вы человѣкъ благородный и оправдаете меня. Я вамъ признаюсь: мой сынъ принятъ въ одно изъ казенныхъ учебныхъ заведеній въ Петербургѣ, и мнѣ пишутъ, чтобъ я поторопилась его доставить, а не то пройдетъ срокъ и его вакансію займетъ другой. Я должна ѣхать, ѣхать немедля, скоро; а Петербургъ отъ насъ очень-далеко, на прогоны у меня нѣтъ денегъ, и я должна продать кое-что...

— Продать? что же вы продаете?...

— Не кричите такъ, Бога ради!... Я несу къ знакомому купцу свою лисью шубу; онъ мнѣ обѣщалъ за нее дать двѣсти рублей: этого мнѣ станетъ на дорогу, и я, можетъ-быть, завтра уѣду...

— Въ чемъ же вы поѣдете, если продадите вашу шубу? Теперь зима, морозы жестокіе.

— Вотъ въ этой, что на мнѣ; станетъ холодно — мы, люди бѣдные, не побрезгаемъ и овчинымъ тулупомъ прикрыться...

— Неужели вашъ братецъ откажетъ вамъ въ прогонахъ? Я всегда думалъ, онъ васъ такъ любитъ!

— Не думайте о немъ худого; это добрѣйшій человѣкъ! да я скорѣй все продамъ съ себя, чѣмъ попрошу у него денегъ. Мало ли мы ему и такъ стоимъ! мало ли онъ для насъ дѣлаетъ! а за что? — за то, что его братъ былъ женатъ на мнѣ... Я знаю, теперь у него нѣтъ денегъ и сказала ему, что давно приберегла себѣ прогоны... Вотъ почему я прошу васъ не говорить ему ничего: онъ, когда узнаетъ, разсердится на меня... огорчится... а онъ такой добрый! такъ много для насъ дѣлаетъ!... Нѣтъ, ради Бога, не говорите ему!... Вы не скажете?...

— Не скажу, только съ условіемъ: не продавайте вашей шубы.

— Откуда же я возьму денегъ?

— Займите у меня.

— Благодарю васъ за участіе, а денегъ у васъ я не возьму взаймы, ни за что не возьму! Занимая, надобно отдавать. Богъ-знаетъ, смогу ли еще хоть до смерти уплатить... Нѣтъ, спасибо!...

— Послушайте, сударыня, сказалъ помѣщикъ рѣшительнымъ тономъ, вынимая изъ бумажника двухсотенную ассигнацію: —вы бѣдны, я богатъ, вы нуждаетесь въ деньгахъ не на прихоти, а на необходимое — я ихъ имѣю съ излишкомъ; для васъ двѣсти рублей теперь значатъ много, для меня—ничего. Возьмите ихъ отъ меня взаймы; когда разбогатѣете, тогда мнѣ отдадите. Возьмите же!...

— Ни за что!... Я продамъ шубу, и у меня будутъ деньги.

— Вы продадите шубу за безцѣнокъ, а послѣ станете мерзнуть въ дорогѣ; этого я не позволю... Вы возьмете у меня деньги.

— Не возьму.

— Если вы меня обидите отказомъ, я сейчасъ ѣду къ вашему братцу и разскажу, что вы ходите по городу, продаете шубы... мараете его имя... Ужъ я знаю, что скажу на васъ...

— Вы не скажете!

— Вотъ вамъ Богъ свидѣтель, скажу! Вы меня обижаете, и я васъ не пощажу. Прощайте.

— Послушайде! Но если я вамъ не отдамъ ихъ скоро?

— Когда будутъ, тогда и отдадите, сказалъ помѣщикъ, насильно втискивая въ руку пожилой женщинѣ двухсотенную ассигнацію,

бросился въ сани и ускакалъ къ дому значительнаго чиновника.

„Боже мой, такъ есть еще на свѣтѣ добрые люди!“ сказала пожилая женщина, отирая платкомъ глаза, спрятала ассигнацію и скорыми шагами пошла домой.

II.

Очень странно составляются репутаціи на бѣломъ свѣтѣ. Иной цѣлый вѣкъ работаетъ за четверыхъ да никому не разсказываетъ объ этомъ; притомъ, у него физіономія веселая, беззаботная — и всѣ говорятъ о немъ: „добрый малый, а пустой человѣкъ“; другой никогда ничего не дѣлаетъ, только всѣмъ жалуется на свою горькую участь, на тяжелую, трудную жизнь, да ходитъ важно, глядитъ на свѣтъ мрачно, задумчиво — и пользуется репутаціей умнаго, дѣловаго человѣка. Сколько злыхъ людей, отъявленныхъ бездѣльниковъ (съ позволенія сказать) пользуется именемъ добрыхъ людей, и сколько благородныхъ натуръ, людей благонамѣренныхъ, добрыхъ, въ основаніи, ни за-что ни прочто называютъ въ свѣтѣ злыми! и даже представятъ вамъ много фактовъ, по которымъ съ-виду ваши добряки покажутся вамъ самимъ маленькими Неронами, карманными чудовищами. Отчего же это?

Былъ здѣсь, въ Петербургѣ, одинъ молодой человѣкъ, котораго всѣ знакомые называли злымъ человѣкомъ, насмѣшникомъ; между-тѣмъ, онъ никогда никому не дѣлалъ зла, былъ добрымъ христіаниномъ, служилъ честно, добросовѣстно, никогда не выѣзжалъ на спинѣ своихъ сослуживцевъ и даже любилъ всегда говорить правду. Улыбался ли *онъ*, глядя на притворные стоны и обмороки молодой жены надъ гробомъ стараго мужа, оставившаго ей богатое наслѣдство—сотни указательныхъ перстовъ протягивались *къ нему*, сотни устъ шептали: „посмотрите, посмотрите: и здѣсь смѣется! радъ чужому горю. Злой человѣкъ!...“ Задумывался ли онъ, глядя на невѣсту, проданную жаднымъ родителемъ золотому скелету—сосѣдка толкала локтемъ сосѣдку, выразительно показывала на *него* глазами и шептала: „посмотрите, какъ загрустилъ: завидуетъ чужому счастію. Злой человѣкъ!“

Онъ всегда ходилъ въ черномъ галстухѣ; итакъ, будемъ мы его называть „молодымъ человѣкомъ въ черномъ галстухѣ“.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ собрался ѣхать въ отпускъ, въ деревню, и зашелъ проститься къ своему сослуживцу Григорію Ильичу. Григорій Ильичъ занималъ порядочное мѣсто, получалъ тысячи двѣ жалованья и скромно жилъ съ своей старушкой-матушкой, которая очень-рѣдко показывалась гостямъ.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ засталъ въ гостиной Григорья Ильича, его матушку и еще какого то гостя. Григорій Ильичъ очень обрадовался и представилъ молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ своей матушкѣ. Матушка тоже обрадовалась и сказала: „Я, вотъ ужъ годъ, какъ слышу, что вы посѣщаете моего сына и все собиралась васъ увидѣть“.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ хотѣлъ-было сказать то же, да посовѣстился и молча поклонился старухѣ, а потомъ гостю; гость тоже поклонился и сказалъ что-то сквозь зубы. Я думаю, онъ и самъ не знаетъ, что сказалъ.

За чаемъ, старуха разговорилась, начала разспрашивать молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ, куда онъ поѣдетъ, въ какую губернію, на долго ли, на почтовыхъ или на долгихъ, и тому подобное.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ отвѣчалъ, что поѣдетъ на почтовихъ, мѣсяца на три, въ Умѣренную губернію.

— Ахъ, батюшка! вскрикнула старуха: —да тамъ золотое дно, а не край; тамъ и люди живутъ все предобрые.

— Кому везетъ, тому вездѣ золотое дно, а люди въ Умѣренной губерніи, какъ и вездѣ, есть всякіе.

— Я говорю не даромъ; не слыхали ли вы въ этой губерніи фамиліи Степнякъ?

— И очень...

— Одинъ помѣщикъ изъ этой фамиліи получилъ наслѣдство въ Вишнеградской губерніи, давно уже...

— Знаю: пятьсотъ душъ подъ Вишнеградомъ.

— Онъ, онъ, онъ! А что вы о немъ скажете?

— Пустой человѣкъ!...

— Такъ вы его не знаете!

— Онъ мнѣ дядя: я его хорошо знаю.

Лицо у гостя вытянулось; онъ посмотрѣлъ на всѣхъ, будто спрашивая: „да законно ли такъ отзываться о дядюшкѣ?“

— Все-таки вы его не знаете, хоть онъ вамъ и дядюшка; онъ такъ, кажется, съ виду и балагуръ, и прикрасить что-нибудь въ разговорѣ, а въ душѣ ангелъ, не человѣкъ! Никогда не забуду, какъ онъ меня выручилъ изъ бѣды; и утромъ, и вечеромъ за него молю Бога; не будь онъ, можетъ-быть, мой Гриша не былъ бы теперь человѣкомъ, или я бы не жила на свѣтѣ—право, такъ!...

И старуха разсказала исторію о своемъ отъѣздѣ въ Петербургъ изъ Вишнеграда,

которую я уже передалъ вамъ въ первой главѣ.

— Вотъ теперь, продолжала старуха: — мой Гриша получаетъ, слава Богу, порядочное жалованье, и мы только оправимся, сейчасъ соберемъ двѣсти рублей и отправимъ вашему дядюшкѣ. Жаль, что теперь этого нельзя сдѣлать; живемъ изъ жалованья, немного задолжали, а то бы отправили съ вами. Знаете, долгъ тяготитъ, на душѣ лежитъ!...

— Не безпокойтесь! замѣтилъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ:—если вамъ мой дядюшка далъ деньги съ условіемъ отдать, когда у васъ будутъ лишнія, такъ вы себя не стѣсняйте: ему онѣ ничего не значатъ: у него тысяча душъ, да, я думаю, онъ и забылъ уже объ этихъ деньгахъ.

— Все-равно, а я пошлю; теперь мы задолжали; на слѣдующій годъ Гриша получитъ чинъ: вычтутъ за мѣсяцъ, да еще кое-что изъ теплаго платья нужно сдѣлать —опять будемъ жить день за день, а черезъ годъ непремѣнно возьму у васъ адресъ и отправлю долгъ.

Молодой человѣкъ задумался и скоро ушелъ, во всю дороду разсуждая самъ съ собою и упрекая себя за то, какъ онъ могъ думать худо о дядюшкѣ и говорить, что онъ пустой человѣкъ.

А знакомый чиновникъ, оставшись одинъ, сказалъ Григорью Ильичу и его матушкѣ:

— Не нравится мнѣ этотъ молодой человѣкъ: какъ можно такъ говорить о добрѣйшемъ человѣкѣ!... По моему, хоть бы онъ былъ и въ правду съ грѣшкомъ, лучше смолчать: каковъ ни есть, а все дядюшка!...

III.

Пріѣхавъ въ деревню, молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ отдохнулъ только одинъ день съ дороги и поѣхалъ къ своему дядюшкѣ, Степняку. Отецъ и мать молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ не могли понять, откуда взялась такая любовь ихъ сына къ дядюшкѣ.

Когда вошелъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ въ залу Степняка, Степнякъ сидѣлъ въ углу на диванѣ; передъ нимъ, на столѣ, стояли банки разной величины съ вареньемъ; на столѣ стоялъ письменный приборъ, лежала шнуровая книга, ножницы и листъ бумаги; у стола стояли двѣ красивыя, здоровыя горничныя — одна въ красномъ сарафанѣ, смуглянка, съ черными бровями, съ черными быстрыми глазами; другая—голубоглазая, бѣлокурая, въ платьицѣ шоколаднаго цвѣта. У дверей человѣкъ пятнадцать доморощенныхъ музыкантовъ бойко играли увертюру изъ „Фенеллы“.

Старикъ Степнякъ приказывалъ черноокой горничной взвѣшивать каждую банку съ вареньемъ, вырѣзывалъ билетики, записывалъ на нихъ вѣсъ варенья, напримѣръ: „банка № 7-й полубѣлаго стекла, варенье сахарное, клубника гишпанская безпримѣрная, вѣсу съ банкой три фунта пять лотовъ и четыре золотника, 1842 года, іюня 12 дня“. Потомъ наклеивалъ билетъ на банку, записывалъ ее въ шнуровую книгу, передавалъ голубоокой для сохраненія.

— А, любезный племянникъ, здорово! закричалъ Степнякъ, привѣтствуя входившаго въ комнату молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ:—давно ли изъ Питера? А я, вотъ видишь, занимаюсь сладенькимъ; люблю аккуратность; вотъ спроси хоть у Сашки.

Черноглазая улыбнулась и потупила глаза.

— Ну, разскажи-ка, братъ, что тамъ, у васъ, новаго, въ столицѣ—а?...—Убирайтесь вы теперь съ вареньемъ! Полно глазѣть на пріѣзжаго франта; что вы его такъ ѣдите глазами? Вотъ я васъ!...

Дѣвки ушли, бросивъ два-три косвенные взгляда на пріѣзжаго. Оркестръ понатужился, заревѣлъ сильнѣе прежняго и умолкъ.

— Каково отхватываютъ? спросилъ Степнякъ.

— Громко!

— Это и мнѣ не очень по нраву, а вѣдь хорошо, и знаешь, все новѣйшія пьесы; вотъ и эту играли для пробы, знаешь, изъ Москвы прислали самую новѣйшую... Степка! а Степка! какую-бишь это штуку играли?

— „Фенеллу“, отвѣчалъ капельмейстеръ.

— Хорошо, братъ; только она у васъ какъ-то дурацки начинается; вдругъ, еще и не прислушаешься хорошенько, какъ грянетъ, словно сарай обрушился, словно на потолокъ кто-нибудь телѣгу камньевъ вывалилъ; это негодится. Ты ее какъ-нибудь, Степка, передѣлай по-своему: сначала не худо на этихъ, на тоненькихъ пискуликахъ пройтись, а тамъ ужъ и покрѣпче можно. Понимаешь?

— Слушаю-съ.

— Теперь сыграйте мнѣ мой любимый вальсъ Ипсилантія. Ну, что же у васъ новенькаго?

— Ничего особеннаго, отвѣчалъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ. — А вотъ,

дядюшка, новость, за что я пріѣхалъ благодарить васъ; вы доставили мнѣ нѣсколько минутъ истиннаго наслажденія.

— Шутишь, братъ! кажется, я тебѣ не присылалъ ничего этакого...

— Не обо мнѣ рѣчь, дядюшка... А васъ благословляетъ одна добрая старушка въ Петербургѣ, которой вы когда-то помогли... Она разсказывала эту исторію, не зная, что я вашъ родственникъ, и, можете представить, какъ мнѣ было это пріятно!...

— Никогда не помогалъ никакой старушкѣ; напраслина, братецъ!

— Полноте скрываться, я все знаю.

— Ей-богу, какъ живу на свѣтѣ, ни одной старухѣ ни гроша не давалъ, и даже, признаться, не очень ихъ жалую: онѣ народъ некрасивый и прекапризный.

— Ну, это было лѣтъ двадцать назадъ; она еще не была старухой.

— А! другое дѣло. Кто, братецъ, молодъ не бывалъ! Кто же бы это такой?

— Помните, въ Вишнеградѣ, когда вы получали наслѣдство, вы дали прогоны сестрѣ значительнаго чиновника.

— Да-да-да! я и забылъ-было. Это опять совсѣмъ другое дѣло... Знаешь, братъ, я имѣлъ дѣла; ея братъ былъ мнѣ нуженъ, взятокъ онъ не бралъ: надобно же было какъ-нибудь расположить его къ себѣ.

— Перестаньте, дядюшка, скрываться; вы сдѣлали доброе дѣло да еще оправдываетесь... Хотѣлъ бы я, чтобъ вы видѣли, съ какимъ чувствомъ говоритъ о васъ эта старуха, какъ она благословляетъ васъ, утираетъ слезы признательности... Вѣрите, дядюшка— извините меня, я и не подозрѣвалъ—вы всегда такъ странно разсуждаете... Я ошибочно понималъ васъ. Простите.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ съ чувствомъ пожалъ руку дядюшкѣ.

— Глупости, братецъ, полно! сказалъ Степнякъ.—Такъ ты знаешь эту женщину?

— Я служу вмѣстѣ съ ея сыномъ.

— Вотъ что! Онъ порядочный малый? получаетъ хорошее жалованье?

— Тысячи двѣ.

— Браво!... Вотъ что, подумаешь, значитъ служить; живи-себѣ и получай жалованье; не то что нашъ братъ: и паши, и сѣй, и продавай, и корми крестьянъ, а въ итогѣ ровно ничего!... Придетъ неурожай, скотскій падежъ — еще и въ долги залѣзешь...

— Пожалуйте, баринъ, ключъ отъ уголья; самоваръ пора ставить, сказалъ лакей, одѣтый въ ливрею съ галунами.

— На, возьми, отвѣчалъ Степнякъ: — да смотри у меня, не очень много жги.

— Развѣ здѣсь такъ дороги угольа? спросилъ Степняка молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ.

— Да, дѣло степное, дровъ мало, а эти бездѣльники сейчасъ снесутъ кузнецу... Наша жизнь трудная... Что тамъ еще нужно?

— Генеральша NN прислала вамъ коробочку вишень, сказалъ, возвратясь, тотъ же ливрейный лакей: — привезъ форейторъ, говоритъ: барыня говорила „своего саду“ и приказала кланяться.

— Спасибо, спасибо; хорошо! А ключъ ты тамъ бросилъ, болванъ? Ступай на свое мѣсто... Спасибо; вотъ удружила ея превосходительство!

— У васъ развѣ нѣтъ своихъ вишень?

— Пропасть, братецъ, воробьи не клюютъ, да память дорога; а ея превосходительство меня помнитъ—вотъ что вышло! „своего, говоритъ, саду“. Степка, на цѣлковый, отдай форейтору на водку, да скажи, что я кланяюсь и очень благодарю ея превосходительство. Слышишь? очень кланяюсь.

— Слушаю-съ.

Капельмейстеръ взялъ цѣлковый и, прихрамывая, вышелъ изъ залы.

—Чудный у меня человѣкъ Степка, да охромѣлъ... Слышалъ я и Липинскаго и Дрейшока — оба дрянь противъ Степки! Грусть беретъ, что онъ хромаетъ.

— Отчего?

— Захромалъ отъ усердія ко мнѣ, единственно отъ усердія... Вотъ видишь, у меня всѣ музыканты въ свободное время занимаются ремесломъ: почти всѣ на винокурнѣ; только вотъ одинъ, что играетъ на контрбасѣ, коновалъ, и искусный коновалъ; за нимъ часто присылаетъ вотъ моя сосѣдка... Прочіе — кто у кадей, кто у печекъ занимаются, а капельмейстеръ Степка главный винокуръ. Вотъ прошлую зиму какая-то жадная собака повадилась на заводѣ объѣдать вокругъ котла хлѣбную замазку; съ вечера обмажутъ всѣ швы, всѣ щели тѣстомъ—къ свѣту ничего нѣтъ: все объѣдено. Степка и засѣлъ у котла: „я, говоритъ, поймаю собаку, а вы, братцы, возьмите дубье да отваляемъ ее—пускай барскаго добра не ѣстъ“. Погасили огни; въ винокурнѣ стало темно, какъ въ сапогѣ. Степка надѣлъ рукавицы и сѣлъ у котла; немного погодя, говоритъ, послышалъ шорохъ, потомъ сопъ, а потомъ стало слышно, что ѣстъ кто-то обмазку: все ближе и подошла собака къ самому Степкѣ; онъ хвать ее за уши да и гаркнулъ: „сюда, ребята, сюда, держи!...“ Сбѣжались ребята съ дубьемъ и говорятъ: „надобно огня вздуть, невидно, гдѣ собака“.—„Бей скорѣе!“ закричалъ Степка: „пока огонь; она вырвется; мочи нѣтъ держать—такая сильная“.—

„Чтобъ не задѣть васъ, Степанъ Иванычъ“, сказалъ кларнетъ. — „Бей на голосъ!“ закричалъ Степка. „Слышишь ли голосъ? Бери правѣе, да и дуй, тутъ она“.—Кларнетъ какъ хватитъ, да прямо по ногѣ Степку; Степка закричалъ и пустилъ собаку. Собака ушла, а Степкѣ ногу перешибли; три мѣсяца не ходилъ, и теперь все еще прихрамываетъ. Вотъ какая исторія!... Такъ ваша старушка еще помнитъ меня?

— Какъ же, помнитъ: всякій день, говоритъ, за васъ Богу молится.

— Ну, слава Богу! я думалъ, забыла меня въ столицѣ... Такъ она вотъ такъ при всѣхъ разсказывала?

— Былъ я, ея сынъ да еще какой-то чиновникъ изъ министерства.

— Изъ министерства? Спасибо ей и вамъ спасибо!... А я вотъ недавно убилъ быка... для домашняго обихода. Сегодня васъ попотчую отличной говядиной...

Подобнымъ образомъ поговорили дядюшка съ племянникомъ, напились чаю, попробовали говядины, и племянникъ уѣхалъ домой, не зная, что и подумать о дядюшкѣ.

IV.

Съ мѣсяцъ уже какъ возвратился изъ деревни въ Петербургъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ. Была осень довольно-глубокая; по небу тяжело ходили снѣговыя тучи. Восьмой день петербуржцы не видѣли солнца, и этотъ восьмой день былъ морозный; экипажи сильно гремѣли по мерзлой мостовой, холодная пыль изъ-подъ колесъ неслась столбомъ и крутилась въ воздухѣ. Въ подобные дни, какъ и въ дождливые, очень хорошо спится. Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ пообѣдалъ, раскурилъ сигару и хотѣлъ-было лечь спать, но зазвенѣлъ у двери колокольчикъ; минуту спустя, слуга принесъ письмо.

Молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ съ изумленіемъ прочелъ письмо, внимательно посмотрѣлъ на подпись, будто не вѣря глазамъ своимъ, еще разъ прочелъ, измялъ его въ рукѣ съ негодованіемъ и бросилъ подъ столъ.

Вѣрно письмо было непріятное, потому-что молодой человѣкъ не могъ уснуть: онъ былъ чѣмъ-то взволнованъ, долго ходилъ по комнатѣ, пожимая плечами, горько улыбался и, наконецъ, надѣвъ теплый сюртукъ, вышелъ бродить по улицамъ, кажется, безъ цѣли, безъ намѣренія. Гдѣ-то, въ переулкѣ, поймалъ его сослуживецъ, Григорій Ильичъ, сынъ извѣстной намъ старухи, и затащилъ къ себя напиться чаю. Старуха была именинница; а какъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ обѣдалъ поздно, гости же къ старухѣ сходились рано, то онъ и засталъ уже человѣкъ пять разныхъ вицмундировъ. Хозяйка очень обрадовалась новому гостю и благодарила, что онъ не забылъ ея именнинъ.

— Я вовсе не зналъ объ этомъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ: — и очень благодаренъ вашему сыну, что онъ меня позвалъ.

— Да, матушка, замѣтилъ Гриша:—я шелъ отъ начальника, который меня сегодня такъ нечаянно изволилъ потребовать, встрѣтилъ ихъ и пригласилъ, не говоря о вашихъ именнинахъ, чтобъ сдѣлать сюрпризъ.

— Охъ, ты у меня вѣчно на сюрпризахъ! Вѣрите ли, онъ мнѣ и родился почти сюрпризомъ: я и не ожидала, а онъ родился.

— Скажите!... а! видите! гм!... замѣтили гости.

— Право, продолжала старуха. — А что начальникъ?

— Ничего, отвѣчалъ Гриша: — „Я, говоритъ, звалъ затѣмъ, чтобъ сказать вамъ, чтобъ вы никуда не отлучались изъ дому сегодня: въ случаѣ какое дѣло будетъ“.— Я поклонился и сказалъ: — Слушаю, ваше превосходительство; больше ничего не будетъ? — „Ничего“ сказалъ онъ мнѣ: „прощайте“. Я поклонился и пошелъ домой, да вотъ и встрѣтился съ ними.

— И прекрасно! сказала старуха:—милости просимъ! Что за предобрѣйшій у тебя начальникъ! ангельская душа!... А вы давно изъ деревни?

— Съ мѣсяцъ, отвѣчалъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ.

— Всѣ у васъ тамъ здоровы?

— Слава Богу.

— И слава Богу! А вашъ добрѣйшій дядюшка Степнякъ?

— Живетъ.

— И слава Богу!... ангельская душа!... Садитесь; будьте гостемъ. Акулина, давай поскорѣе самоваръ!

Хозяйка начала хлопотать объ угощеніи; молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ сѣлъ; возлѣ него сидѣлъ, вытянувъ ноги во всю комнату, должно быть, важный человѣкъ, высокаго роста, съ орденомъ на шеѣ. Прочіе вицмундиры разговаривали въ-полголоса о добротѣ души Макара Ивановича и о добротѣ двойнаго трико, почтительно посматрива яна высокаго человѣка.

Высокій человѣкъ не судилъ ни о трико, ни о Макарѣ Ивановичѣ, а вздумалъ удостоить разговоромъ новаго гостя и, медленно понюхавъ табаку, глядя въ землю, спросилъ густымъ басомъ:

— А въ которую губернію вы ѣздили?

— Въ Умѣренную, отвѣчалъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ.

— А!... Въ какой уѣздъ?

— Въ такой-то.

— Гм! по дѣламъ службы?

— Нѣтъ.

— По домашнимъ обстоятельствамъ?

— Точно-такъ.

— Вы здѣсь на службѣ?

— Да.

— Въ какомъ департаментѣ?

— Въ такомъ-то.

— Занимаете штатное мѣсто?

— Да.

— Смѣю спросить, какое?

— Такое-то.

Вѣрно, мѣсто, занимаемое молодымъ человѣкомъ въ черномъ галстухѣ, показалось высокому человѣку очень мелкимъ, потому-что онъ болѣе ничего не спрашивалъ, совершенно прекратилъ свой допросъ и, не подымая глазъ, громко сказалъ:

— А вы, милостивый государь, бываете у Макара Ивановича?

— Довольно-часто имѣю эту честь, отвѣчалъ одинъ вицмундиръ:— даже третьягодня, смѣю доложить вашему превосходительству, только-что мы вышли изъ департамента...

— У него цвѣтетъ, говорятъ, рѣдкій цвѣтокъ.

— Точно такъ, ваше превосходительство, въ горшечкахъ рѣдкостнѣйшая резеда, запахъ, можно сказать...

— Я не объ резедѣ говорю, милостивый государь...

— Извините, ваше превосходительство, я ослышался.

— У него—мнѣ говорили вотъ тайный совѣтникъ А. и статскій совѣтникъ Б,— цвѣтетъ удивительный цвѣтокъ въ родѣ благоуханнаго букета и съ виду очень похожій на кавалерственную звѣзду...

— Не видалъ-съ, ваше превосходительство.

— Вѣроятно, онъ не въ пріемной, а тамъ гдѣ-нибудь подалѣе... Мнѣ говорила одна придворная дама, что и за границей рѣдко такихъ цвѣтовъ... А вотъ въ проѣздъ черезъ Карлсбадъ, гдѣ я пилъ шпрудель, я видѣлъ много замѣчательныхъ растеній, такъ-называемыхъ экзотикъ... Я—совѣстно сказать—чуть не заплакалъ отъ удовольствія, нюхая подобныя вещи.

Такъ поговорили добрые люди съ часъ, пока отпили чай, потомъ сѣли играть въ преферансъ, потомъ подали ужинъ.

За ужиномъ, когда налили въ бокалы шампанское и высокій человѣкъ предложилъ тостъ за здоровье хозяйки-именинницы, старуха закричала: „Нѣтъ, погодите, сдѣлаемъ честь одному благодѣтельному человѣку.“

— Какъ вамъ угодно, сказалъ высокій человѣкъ, поставилъ бокалъ и спокойно опустился въ кресло, будто чего ожидая.

— Выпьемъ за здоровье ихъ дядюшки, господина помѣщика Степняка, продолжала старуха.

Высокій человѣкъ посмотрѣлъ на хозяйку такими глазами, которые ясно говорили: „такъ это не мое здоровье вы намѣрены пить?“

— Не удивляйтесь, мои почтеннѣйшіе гости: Степнякъ выручилъ меня когда-то изъ бѣды...

И старуха со слезами разсказала извѣстное вамъ приключеніе въ Вишнеградѣ, когда Степнякъ далъ ей прогоны до Петербурга.

— Удивительный человѣкъ! сказалъ, возвыся голосъ, высокій человѣкъ:—дать деньги, не надѣясь никогда получить ихъ обратно—это заслуга.

Всѣ гости заохали, заахали и дружно опорожнили бокалы во здравіе Степняка.

Молодому человѣку въ черномъ галстухѣ сдѣлалось какъ-то неловко; онъ протянулъ руку къ бокалу, поднесъ его ко рту и опять поставилъ, горько улыбаясь.

— Что же вы не пьете здоровье дядюшки? спросила его хозяйка.

— Благодарю, бормоталъ молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ: - я... не пью вина, я...

— Однако вы пили прежде, замѣтилъ высокій человѣкъ.

— Да; но теперь не могу: я пилъ много.

— Нѣтъ, вы, кажется, не любите вашего дядюшки, сказала хозяйка.

— Онъ будетъ здоровъ и безъ моего бокала.

— У васъ, милостивый государь, должны быть съ дядюшкой какія-нибудь фамильныя неудовольствія, замѣтилъ высокій человѣкъ:—а это худо; счеты счетами, а доброе дѣло должно находить сочувствіе въ благородныхъ сердцахъ.

— Я никому не обязанъ давать отчетъ въ моемъ поведеніи; но пить болѣе не могу. Степнякъ и безъ меня будетъ здоровъ.

Ужинъ кончился, и молодой человѣкъ въ черномъ галстухѣ сейчасъ же ушелъ домой.

Гости долго еще просидѣли у именинницы, судили, рядили о поступкѣ молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ, называли его злымъ человѣкомъ, насмѣшникомъ.

— А вы что о немъ думаете? спросила хозяйка у высокаго человѣка.

— По-моему—извините за выраженіе, су-

дарыня:—онъ грубіянъ и самая безчувственная скотина!

Гости преклонили головы передъ этимъ рѣшительнымъ приговоромъ.

Молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ очень ласково встрѣтила на квартирѣ его лягавая собака, визжала, прыгала: очень было видно, что она хотѣла кушать и начала выполнять передъ своимъ хозяиномъ разныя штуки, за которыя ей обыкновенно давали съѣстнаго. Она и лаяла, и ползала, и прикидывалась издохшей, и приводила за полу слугу въ кабинетъ молодаго человѣка въ черномъ галстухѣ; но видя, что онъ не замѣчаетъ ея продѣлокъ и задумчиво сидитъ въ креслѣ, бросилась подъ столъ, схватила какую-то измятую бумажку и, ставъ передними лапами на кресло, ласково вытянула къ своему хозяину морду съ поноской.

Молодой человѣкъ узналъ письмо, которое онъ получилъ въ тотъ день и бросилъ за окно.

Разорванное письмо, не знаю какъ, попало въ руки одного моего знакомаго, великаго охотника до рукописей вообще и писемъ въ особенности. Вотъ оно отъ слова до слова:

„Любезный племянникъ!

„Въ бытность твою дома ты сказалъ „мнѣ, что старуха NN, взявшая у меня въ „18... году взаймы двѣсти рублей государ„ственными ассигнаціями, лично призна„лась тебѣ въ оном долгѣ въ присутствіи „какого-то чиновника министерства; а по„сему прошу тебя, явись къ ней и истре„буй означенныя деньги, хоть безъ про„центовъ; въ случаѣ ея запирательства, „можешь сослаться на вышеозначеннаго „чиновника: онъ можетъ лично объ этомъ „сказать министру.—А на означенныя день„ги вышли мнѣ съ оказіей баночку макас„сарскаго масла и возьми билетъ въ поль„скую лоттерею; да нельзя ли десятка два „какихъ-нибудь новомодныхъ шляпъ для „моихъ музыкантовъ. Я недавно купилъ „двѣсти душъ въ*** ой губерніи и туда „сейчасъ уѣзжаю.—Времена у насъ худыя, „хлѣбъ не уродился, сѣна мало, одна на„дежда на милосердаго Бога въ нашихъ „тяжкихъ обстоятельствахъ.—Кланяйся N. N.N.N.N.N.

„Любящій тебя дядя

Степнякъ“.

P. S. „Постарайся уладить дѣло съ „бабою; я тебя отблагодарю современемъ. „Ей теперь, получая столько жалованья, „можно бы и проценты заплатить.“

1844 г.

БЫЛЬ НЕ БЫЛЬ И НЕ СКАЗКА.

РАЗСКАЗЪ.

I.

НАЧАЛО.

— Бросьте ее въ болото, вашу Анну Ивановну, съ ея дѣломъ, со всѣмъ, любезнѣйшій Ѳедоръ Иванычъ!

— Дѣльцо-то интересное, Павелъ Марковичъ...

— Повѣрите ли, что оно мнѣ и вотъ тутъ сидитъ, и вотъ тутъ стало, и вотъ этакая голова!..

При этомъ Павелъ Марковичъ сначала показалъ рукою на свою грудь, послѣ на горло и, наконецъ, поднялъ обѣ руки надъ головою, будто несъ что-то очень тяжелое на головѣ.

— Ваша правда, замѣтилъ Ѳедоръ Ивановичъ; а все-таки надобно же что-нибудь говорить, знаете, такъ, для препровожденія времени...

— Это правда. А знаете ли, что я думаю?..

— Не знаю, Павелъ Марковичъ.

— Пойдемъ-ка слушать соловья.

— Пожалуй, пойдемъ. У васъ, говорятъ, отличный соловей.

— Восхитительный!... А вы слышали о моемъ соловьѣ?... Развѣ говорятъ о немъ?

— Какъ же! Сегодня мы съ часикъ убили времени, въ почтовой конторѣ, говоря о разныхъ птицахъ... Почтмейстеръ не нахвалится вашимъ соловьемъ. Это, говоритъ, просто второй Паганини... Знаете, изъ газетъ вычиталъ.

— То-то онъ, каждый вечеръ, этакъ, попоздиѣе, ходитъ мимо моего сада съ тросточкой; а я уже подумывалъ и то и другое: человѣкъ, думаю, молодой, овдовѣлъ недавно, а у меня дворня порядочная, при женѣ дѣвушки этакъ и въ гребешочкахъ ходятъ и въ фартучкахъ...

— Э! нѣтъ, почтмейстеръ человѣкъ благочестивый.

— Благочестивый, грѣхъ сказать. Ну, пойдемте, Ѳедоръ Ивановичъ.

— Пойдемте, Павелъ Марковичъ.

Это было весною, часу въ девятомъ, а можетъ-быть, и въ десятомъ вечера. И было далеко отъ Петербурга, въ губернскомъ городѣ... Вотъ и раздумье беретъ: какую ни поставь букву, добрые люди приберутъ къ буквѣ губернскій городъ, скажутъ, что это личность—городъ обидится. А надобно назвать городъ, и въ сказкахъ называютъ города по имени, а у меня не сказка, хоть и не быль.

Въ этомъ городѣ послѣ дождика мостовая бываетъ какого-то коричневаго цвѣта, у архитектора коричневыя дрожки, одна важная дама ѣздитъ въ коричневомъ бурнусѣ и въ коричневомъ капотѣ, многіе чиновники носятъ коричневые фраки и курятъ коричневаго цвѣта табакъ, который даже немного пахнетъ корицею; красныя крыши на домахъ отъ времени сдѣлались коричневыми и въ городѣ очень много гнѣдыхъ лошадей, которыя, какъ извѣстно всякому, имѣютъ большую претензію на коричневый цвѣтъ. По этимъ причинамъ, кажется, не грѣша противъ совѣсти, можно назвать *оный* губернскій городъ—Коричневымъ.

Итакъ, два пріятеля, чиновники губернскаго правленія Коричневаго города, вышли въ садъ слушать соловья.

Вы не думайте, чтобы соловей былъ собственность Павла Марковича и висѣлъ въ саду въ клѣткѣ,—нѣтъ, онъ принадлежалъ столько же Павлу Марковичу, какъ и Ѳедору Ивановичу, а только пѣлъ въ саду у перваго; но Павелъ Марковичъ рѣшительно считалъ его своимъ и готовъ былъ разссориться съ цѣлымъ свѣтомъ,

еслибъ свѣту нечего было дѣлать и онъ сталъ увѣрять, что соловей поетъ такъ же, какъ всѣ другіе.

Погода была тихая, прекрасная; садъ цвѣлъ, въ Коричневомъ утихала ѣзда; соловей громко пѣлъ въ густой черемухѣ.

— Слышите, слышите, Ѳедоръ Ивановичъ?

— Слышу, Павелъ Марковичъ.

— Да не кричите такъ! вы, съ позволенія сказать, орёте такъ на соловья, какъ на вашего пріятеля въ казначействѣ. Птица испугается... слышите, слышите, экъ дробитъ! словно пальчиками кто перебираетъ у него въ горлѣ.

— Слышу.

— Удивительная птица!

— Удивительная.

— Восхитительная!

— Восхитительная.

— Однако... постойте, постойте, Ѳедоръ Ивановичъ... слышите... онъ, чортъ его знаетъ, какъ выкричался... замѣчаете, какъ баситъ... право баситъ!...

— Что же тутъ удивительнаго? Вѣрно, изъ мужскаго пола.

— Постойте.

Соловей вдругъ умолкъ; но въ саду раздавалась трель, довольно-грубая для соловья, будто кто выдѣлывалъ ее на скрипичномъ баскѣ. Трель постепенно затихала, новые звуки смѣняли ее сильнѣе и сильнѣе: далеко, въ концѣ сада, кто-то игралъ на скрипкѣ извѣстный во *время-оно* бемольный вальсъ г-на Рачинскаго.

— У васъ кто-то играетъ на скрипкѣ, замѣтилъ Ѳедоръ Ивановичъ.

— Нѣтъ, не у меня, а въ саду его превосходительства; онъ изволилъ нанять себѣ домъ купца Подметкина.

Вотъ счастливое сосѣдство! одинъ заборъ раздѣляетъ васъ отъ начальника.... Нѣтъ, Павелъ Марковичъ, признайтесь, вамъ везетъ.

— Что жъ тутъ такого? Я служу честно... жалобъ на меня нѣтъ... люблю благочестіе... Разумѣется, почетное сосѣдство... да и то надо вспомнить: близь чести—близь смерти.

— И то правда! Такъ это его превосходительство такъ нарѣзываетъ?

— Богъ знаетъ что вамъ въ голову плыветъ!... Гдѣ бы этакому лицу заниматься скрипкою? Человѣкъ важный, въ Петербургѣ происходилъ чинами весь свой вѣкъ: было ли ему время для скрипки? А все-таки любопытно знать, кто это такой смѣльчакъ? играетъ бойко. Подойдемте къ забору.

— Подойдемте, это любопытно.

Пріятели тихо подошли къ досчатому забору и начали осторожно смотрѣть въ щелку: въ саду его превосходительства было довольно-темно; въ концѣ аллеи, между зеленью бѣлѣлъ домъ; въ окнахъ не было свѣта: скрипка играла попрежнему, только не вальсъ, а варьяціи того же Рачинскаго на пѣсню: *Чтмъ тебя я огорчила.*

— Пойдемте домой, Павелъ Марковичъ, какого нечистаго мы здѣсь увидимъ? Перекусимъ чего-нибудь, да я и домой, шепталъ Ѳедоръ Ивановичъ.

— Тс!...

Павелъ Марковичъ дернулъ за полу своего пріятеля и потихонько кашлянулъ.

— Гм! отозвалось за заборомъ.

Павелъ Марковичъ толкнулъ Ѳедора Ивановича, высунулъ на сторону языкъ и поднялъ кверху указательный палецъ. Ѳедоръ Ивановичъ кивнулъ головою.

— Это вы?... началъ говорить тоненькій голосокъ за заборомъ.

— Я, я, *мы*, Прасковья... отвѣчалъ Павелъ Марковичъ.

— Ахъ! я думала...

— Что ты думала?

— Ничего; я думала: это, вѣрно, сосѣдъ Павелъ Марковичъ слушаетъ музыку...

— Да, да, это мы съ Ѳедоромъ Ивановичемъ гуляли по саду да остановились немножко отдохнуть... А что тамъ у васъ, какъ?... все благополучно?

— Все слава Богу. Я вотъ это собираю зорю хозяину для настойки.

— Хорошая настойка изъ зори, если прибавить немного мяты, хорошая. А что тамъ у насъ, новый жилецъ, что ли?

— Да, переѣхали третьягодня...

— Гм! и ничего этакъ?

— Ничего, такой добрый...

— Разумѣется!... онъ, кажется, человѣкъ неженатый?

— Вы лучше меня знаете, а для меня все-равно, что мнѣ въ немъ? только, что хорошо играетъ на скрипкѣ...

— Такъ это онъ играетъ?

— А кто же? извѣстно онъ.

— Вотъ штука!...

— Куда ему, Павелъ Марковичъ, заниматься скрипкой! насмѣшливо замѣтилъ Ѳедоръ Ивановичъ.

— Вотъ вы, пожалуй, еще изъ этого и исторію выведете, Ѳедоръ Ивановичъ! Тѣмъ болѣе чести, что такой важный человѣкъ занимается для отдыха такимъ пріятнымъ искусствомъ. Я даже своего Васю хочу учить играть на скрипкѣ. Это самый благородный инструментъ... Ну, послушай, милая Прасковья, такъ онъ того?...

— Прасковья! раздался въ саду визгливый голосъ жены Подметкина:—Прасковья, гдѣ ты—а? а Прасковья?

— Здѣсь, матушка! закричала Прасковья, отбѣгая отъ забора.

— Проклятая самоварница! ворчалъ Павелъ Марковичъ, идя домой:—раскричалась будто барыня какая, будто съ нея кожу деруть; не дала ни о чемъ разспросить толкомъ.

— Да, можно бы узнать кое-что насчетъ и платья, и гардероба, и привычекъ, и прочее.

— Разумѣется!.. Славно играетъ его превосходительство! отличная игра!

— А вы еще и вѣрить не хотѣли.

— Я? полноте, Ѳедоръ Ивановичъ: я только изумился, любезный другъ, способностямъ человѣческимъ.

Съ этого дня для десятилѣтняго Васи, сынка Павла Марковича, ко многимъ другимъ мученіямъ, то есть: грамматикѣ, ариѳметикѣ, географіи и исторіи Кайданова, прибавилось новое—игра на скрипкѣ. Чуть, бывало, отецъ увидитъ Васю, сейчасъ и кричитъ: „А ты уже тутъ, оселъ? а гдѣ твоя скрипка? Пошелъ играть! Этакая дурацкая порода, не приведи Господи!“

И Вася сквозь слезы начиналъ немилосердно пилить смычкомъ по струнамъ разбитой скрипки. Отъ этой операціи домашніе затыкали уши хлопчатой бумагой, собаки выли на дворѣ и на улицѣ, всѣ воробьи слетѣли съ двора Павла Марковича, даже моль пропала въ комнатахъ. Одинъ только Павелъ Марковичъ твердо переносилъ сыновнюю игру и, подмигивая на Васю лѣвымъ глазомъ, говаривалъ пріятелямъ: *съ талантомъ, бестія*

II.

нѣсколько словъ о его превосходительствѣ.

Давно, очень давно жилъ на Васильевскомъ острову старикъ-нѣмецъ—не знаю ни его чина, ни имени, а фамилія ему была Гутентагъ. Онъ былъ вдовъ, старъ, сѣдъ, курилъ постоянно кнастеръ и хвалился прилежаніемъ и аккуратностью своего сына, маленькаго Гутентага. Маленькій Гутентагъ былъ лѣтъ восьмнадцати, но былъ маленькаго роста, какимъ остался и до старости. Въ школѣ всѣ его любили и ставили въ примѣръ. У Гутентага руки были постоянно вымыты, ногти обрѣзаны, тетрадки облинованы, на платьѣ ни пушинки.

— Вотъ вамъ, господа, примѣръ, часто говаривалъ школьникамъ высокій, тощій учитель:—смотрите на Гутентага; вотъ человѣкъ: всегда занятъ; у него есть и ниточки, и иголочки; всегда убѣгаетъ лѣности и прилѣпляется къ труду, и даже въ часы досуга, когда вы предаетесь матери пороковъ—праздности, онъ возьметъ скрипочку и разъигрываетъ что-нибудь пріятное и полезное. Идите ко мнѣ, Гутентагъ, я васъ поцѣлую: вы подаете большія надежды...

Старикъ Гутентагъ умеръ, а молодой Гутентагъ, окончивъ школу, поступилъ на службу въ департаментъ. Въ департаментѣ очень полюбили маленькаго Гутентага. Да нельзя было и не любить его: тихъ, скроменъ; придетъ на службу, поклонится, сядетъ—и пишетъ; кто возится съ „Пчелою“, кто съ новостями прошедшаго танц-класса, кто съ чѣмъ, а Гутентагъ все надъ казенными бумагами; всѣ разошлись, и онъ идетъ домой; но прежде сложитъ бумаги, оботретъ перья, запретъ ящикъ и положитъ ключъ въ карманъ.

Но нѣтъ на свѣтѣ совершенства. И у Гутентага была своя слабость—неодолимое влеченіе къ *прекрасному полу*. При взглядѣ на женщину, отъ десяти до пятидесяти лѣтъ включительно, Гутентагъ чувствовалъ себя какъ-то неловко; его морозило, и пекло, и тянуло Богъ знаетъ на какія пролазы. Прошу послѣ этого вѣрить скромникамъ! Къ нему очень пристали стихи Ломоносова:

Весьма необычайно дѣло,
Чтобъ всѣми кто дарами цвѣлъ,
Тотъ крѣпкое имѣетъ тѣло,
Но духъ въ немъ слабъ и умъ не зрѣлъ;
Въ иномъ блистаетъ умъ небесный,
Но домъ себѣ имѣетъ тѣсный...

Влюбчивости, которая заключалась въ маленькомъ тѣлѣ Гутентага, было бы достаточно для пяти рослыхъ гренадеровъ.

У знакомаго фортепьяннаго мастера былъ на вечерѣ Гутентагъ, танцовалъ очень много, и послѣ вальса съ Миною Карловною, хозяйскою дочерью, какъ-то невзначай поцѣловалъ ее въ бѣленькую шейку—не выдержалъ. Здѣсь были братъ, сватъ, зять, дядя и шуринъ Мины Карловны; они тоже не выдержали и приступили къ Гутентагу съ разными довольно-грозными вопросами; въ другой комнатѣ тетка, невѣстка, двѣ золовки и двѣ двоюродныя сестрицы поздравляли Мину Карловну съ побѣдою.

Вслѣдствіе этого вечера Гутентагъ женился на Минѣ Карловнѣ.

Женатый Гутентагъ служилъ такъ же хорошо, какъ и холостой: его повышали, давали чины и награды, начальники крестили у него дѣтей—и его жизнь протекла мирно, спокойно, двадцать-пять лѣтъ раздѣляемая между департаментомъ и Васильевскимъ

евскимъ островомъ, кромѣ изгнанія Миною Карловною двухъ-трехъ горничныхъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, о чемъ и Гутентагъ, какъ человѣкъ добраго сердца, всегда отъ души соболѣзновалъ. Два сына Гутентага служили, третій оканчивалъ курсъ, а самъ онъ почти не перемѣнился, только посѣдѣлъ немного, а все по-прежнему былъ малъ, любилъ женщинъ, служилъ аккуратно и игралъ на скрипкѣ. Въ это время Мина Карловна простудилась, слегла въ постель, и умерла черезъ недѣлю.

Гутентагъ, хоть и женился единственно по вспышкѣ своего темперамента, однако его благословенная натура скоро свыклась съ женою, какъ съ должностью, и онъ успокоился; потому неудивительно, что Гутентага крѣпко опечалила утрата Мины Карловны. Онъ два дня послѣ похоронъ не былъ въ департаментѣ, на третій пошелъ и немного утѣшился, узнавъ, что его произвели въ статскіе совѣтники.

Между-тѣмъ третій сынъ его вышелъ изъ училища и опредѣлился на службу, а въ департаментѣ возникъ довольно-трудный вопросъ: куда дѣвать стараго Гутентага? Чинъ у него большой и самъ онъ человѣкъ хорошій, а все ему нѣтъ мѣста въ департаментѣ. Куда его дѣвать? Къ счастью, открылось въ Коричневомъ городѣ вакансія важнаго мѣста; по чину Гутентагъ могъ занять его—и послали Гутентага на важное мѣсто въ Коричневый городъ.

Гутентагъ обнялъ сыновей, наказалъ имъ служить аккуратно, неслишкомъ много умничать, а еще менѣе говорить, и уѣхалъ.

За недѣлю передъ извѣстнымъ разговоромъ нашихъ знакомыхъ, Павла Марковича и Ѳедора Ивановича, всѣ чиновники Коричневаго города встрѣчали важнаго человѣка, Гутентага. Гутентагъ на ихъ глаза показался маленькимъ, сѣдымъ старичкомъ, съ коротко-выстриженными волосами, зачесанными кверху, съ немного-кривыми ножками, съ четыреугольнымъ лицомъ, изрѣзаннымъ глубокими морщинами, съ крестомъ на шеѣ и длинною золотою цѣпочкою у часовъ... Всѣ коричневые чиновники, не знаю почему, называли его: ваше превосходительство. Онъ жилъ дня четыре въ гостинницѣ и, нанявъ у куща Подметкина домъ, переѣхалъ къ нему на квартиру.—Теперь вы знаете Гутентага?

III.

ГУТЕНТАГУ ХОРОШО.

Многіе, очень многіе жестоко ошибаются, воображая нашихъ провинціаловъ какими-то медвѣдями. Люди, невыѣзжавшіе изъ столицы, судятъ о провинціи по комедіи Фонвизина „Недоросль“ и глубоко убѣждены, что за Павловскомъ и Гатчиною вся православная земля наша населена Простаковыми, Скотиниными и Митрофанушками; а между-тѣмъ посмотрѣли бы вы провинціальныя собранія, балы, особливо въ губернскихъ городахъ: вы бы изумились, увидя, что тамъ—

> Все такъ прилажено, и тальи всѣ такъ
> же узки .

Тамъ вы услышите и вальсы Ланнера и Лабицкаго, и кадрили Лядова; тамъ вы найдете паркетные полы, карселевскія лампы, эластическіе диваны; тамъ мужчины отлично играютъ въ преферансъ, дамы безъ умолку лепечутъ по французски (что, благодаря просвѣщенію, теперь выводится понемногу въ Петербургѣ)—словомъ, провинція—дагерротипный снимокъ со столицы.

Подобный балъ былъ у самаго важнѣйшаго человѣка къ Коричневой губерніи, по случаю пріѣзда важнаго человѣка, Гутентага.

Домъ былъ освѣщенъ великолѣпно, даже у подъѣзда горѣли плошки и разноцвѣтные китайскіе фонарики; лѣстница благоухала цвѣтами; музыка гремѣла; въ залѣ по свѣтло-вылощенному паркету скользили коричневые франты, офицеры и коричневыя дамы, въ другихъ комнатахъ пожилые коричневцы сидѣли за картами; лакеи, въ башмакахъ и бѣлыхъ перчаткахъ, разносили оршадъ и мороженое. Гутентагъ игралъ за однимъ столомъ съ важнѣйшимъ человѣкомъ Коричневой губерніи.

Танцовали шестую фигуру французской кадрили. Вдругъ тактъ музыки сдѣлался живѣе, звуки рѣзвѣе, шаловливѣе, веселѣе; кадриль окончилась галопомъ, пары скрещивались, разбѣгались по залѣ.

— Восемь въ червяхъ, сказалъ Гутентагъ, глядя внимательно въ свои карты.

— Пасъ! почти вздохнувши, сказалъ совѣтникъ губернскаго правленія.

— А я... началъ важнѣйшій человѣкъ...

— Извините, ваше превосходительство, закричалъ уланскій ремонтеръ, врываясь съ дамой въ игорную комнату, и прогалопировалъ мимо стола, за нимъ пролетѣло еще нѣсколько паръ...

— Экой пострѣлъ! замѣтилъ важнѣйшій человѣкъ:—а я повистую.

— Что же вы не играете? спросилъ Гутентага важнѣйшій человѣкъ.

Но Гутентагу было не до преферанса: галопадная кавалькада, пробѣжавъ всѣ возможныя комнаты, опять возвращалась преж-

нимъ путемъ въ залу. Въ головѣ летучаго отряда несся ремонтеръ: стройно вытянувъ носокъ лакированнаго сапога, онъ какъ-то гармонически склонялъ къ нему плечо, сверкавшее эполетомъ, а между-тѣмъ лукаво искосилъ глаза вправо и глядѣлъ съ наслажденіемъ на бѣлый, нѣжный бюстъ своей дамы, которая, простодушно склонясь къ нему головкою, какъ тѣнь скользила съ нимъ по паркету. Она была высока, стройна; темно-каштановые, почти черные волосы еще болѣе оттѣняли нѣжную бѣлизну ея лица и шеи; она была одѣта въ бѣлое, полувоздушное платье; пышный пучокъ легкихъ, курчавыхъ, алыхъ ленточекъ прихотливымъ каскадомъ падалъ съ ея головнаго убора на матовыя плечи.

Вотъ пара все ближе и ближе. Гутентагъ впился глазами въ бѣлую даму; полулежа на рукѣ своего кавалера, она невинно улыбалась, какъ ребенокъ, который видитъ во снѣ пріятныя грезы, и вдругъ у самаго стола подняла свои длинныя рѣсницы, взглянула на Гутентага и — скрылась.

Кровь бросилась въ голову Гутентага; юношескія лѣта, казалось, воскресли со всѣми своими чарами и обаяніями; въ глазахъ потемнѣло.

— Кто эта дама? спросилъ онъ страннымъ, дрожащимъ голосомъ.

— Это наша помѣщица, Анна Ивановна, отвѣчалъ важнѣйшій человѣкъ. — Да ходите же, пожалуйста!

— Сію минуту, ваше превосходительство.

Гутентагъ проигралъ восемь въ червяхъ.

Кончилась пулька. Гутентагъ проигралъ пульку, отговорился отъ проферанса головною болью и пошелъ въ залу.

Натянувъ бѣлыя лайковыя перчатки, Гутентагъ съ чувствомъ своего достоинства гордо прошелся по комнатѣ и съ улыбкою, невыносимо-отвратительною у старыхъ волокитъ, остановился передъ Анной Ивановной, которая разговарнвала съ ремонтеромъ, очень невинно свивая и развивая пальчикомъ алую ленточку своего головнаго убора, между-тѣмъ какъ уланъ подымалъ плечи, шевелилъ усами, сверкалъ взглядами—словомъ, игралъ роль человѣка, одушевленнаго сильными страстями, могучею душою.

До-сихъ-поръ еще есть люди, которые воображаютъ, что сильныя страсти выражаются многословно, краснорѣчиво, кудряво, размашисто...

— Вы очень хорошо галопируете, сказалъ Гутентагъ, обращаясь къ Аннѣ Ивановнѣ.

Анна Ивановна привѣтливо улыбнулась.

— Я вамъ говорю, ваше превосходительство, началъ ремонтеръ:—что скоро дамы перещеголяютъ насъ въ наѣздничествѣ.

— Вы здѣшняя помѣщица? продолжалъ Гутентагъ, будто не дослышавъ рѣчей кавалериста.

— Да, отвѣчала Анна Ивановна.

Уланъ отошелъ въ сторону съ видомъ человѣка, жестоко оскорбленнаго.

— И я нахожу, говорилъ Гутентагъ, что вы оживляете собою коричневое общество.

— Вы думаете? спросила Анна Ивановна, простодушно взглянувъ на Гутентага.

— Не только думаю, но даже буду спорить съ кѣмъ вамъ угодно, что вы составляете украшеніе общества.

— Это похоже на лесть, ваше превосходительство.

— Всякая лесть въ отношеніи къ вамъ дѣлается непреложною истиной. Позвольте имѣть счастье танцовать съ вами слѣдующую кадриль?

Въ кадрили Гутентагъ былъ невыразимо-любезенъ; его маленькіе глазки сверкали недобрымъ огнемъ; самые приторные комплименты, самые изысканныя нѣжности добраго восьмнадцатаго вѣка сыпались на Анну Ивановну. Анна Ивановна съ невыразимымъ удовольствіемъ слушала всю эту дичь, улыбалась, опускала глазки, краснѣла, точь-въ-точь институтка, танцующая въ первый разъ съ мужчиной.

Кадриль кончилась. Гутентагъ просилъ Анну Ивановну на мазурку.

— Очень рада, отвѣчала Анна Ивановна: —но... у меня такая дурная память, кажется, я дала слово... позвольте... Ecoutez, monsieur Trombon! я съ вами танцую мазурку?.... И Анна Ивановна выразительно посмотрѣла на ремонтера.

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ уланъ и ловко поклонился, прихлопнувъ шпорами.

— Такъ вы меня извините, сказала Анна Ивановна, обращаясь къ Гутентагу.

— Сударыня, законы бала, какъ и другіе законы, имѣютъ...

— Впрочемъ, вы будете танцовать мазурку?

— Если вы прикажете.

— Къ чему это? Я васъ прошу; мнѣ будетъ очень жаль, если мазурка лишится прекраснаго танцора.

Гутентагъ поклонился и ангажировалъ какую-то старушку, въ лентахъ и розахъ.

— Вы, кажется, любите розы? спросила Гутентага Анна Ивановна.

— Иногда.

— Какъ, иногда?

— Значитъ, вы предпочитаете...

— Всѣмъ цвѣткамъ стройную, бѣлую лилію, сказалъ Гутентагъ, страстно сверк-

нувъ глазками по стройному стану Анны Ивановны.

Мазурка была самая веселая: коричневые жители плясали отъ-души. Гутентагъ рѣшительно потерялъ голову; онъ скакалъ, прыгалъ на коротенькихъ ножкахъ, вертѣлся какъ сѣренькій попугайчикъ. Впрочемъ, нельзя его и осуждать за это, ему дулъ самый попутный вѣтеръ: подводитъ къ нему мужчина двухъ дамъ—одна лилія, другая незабудка. Гутентагъ выбралъ лилію и это была Анна Ивановна!... Одна дама выбрала его и ремонтера и просила назначить качества.

— Я буду—основательность, сказалъ Гутентагъ.

— А я—фіялка, сказалъ ремонтеръ.

Дама подвела ихъ къ Аннѣ Ивановнѣ; Анна Ивановна выбрала основательность и такъ посмотрѣла на Гутентага, что онъ сдѣлалъ антраша и заскакалъ по залѣ, какъ волчокъ, пущенный рукою школьника.

Поздно окончился балъ. Гости разъѣхались. Гутентагъ посадилъ въ карету Анну Ивановну, поклонился ей и самъ уѣхалъ домой, взволнованный, очарованный, влюбленный до безумія. Бываютъ же этакія натуры!...

IV.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ АННѢ ИВАНОВНѢ.

Я люблю скромную, душистую фіалку, когда она цвѣтетъ на родимомъ лугу или въ родной рощѣ. Какъ пріятенъ ея цвѣтъ и запахъ между дикими травами, въ сосѣдствѣ простенькихъ анемововъ и ранункуловъ! Но мнѣ жалко, когда прихотливая рука человѣка унесетъ ее изъ родимой рощи, посадитъ въ роскошную фарфоровую вазу и поставитъ на богато-драпированное шелкомъ и золотомъ окно.

Невыносимо-грустно видѣть въ блестящихъ аристократическихъ покояхъ такъ называемыхъ воспитанницъ! Я всегда смотрю на бѣдную дѣвочку, какъ на жертву людской прихоти: взятая отъ бѣдныхъ родителей, почти изъ хижины, бѣдняжка свыкается съ роскошью; ея ножки привыкаютъ къ мягкимъ коврамъ и скользкому паркету; ея физическія чувства свыкаются со всѣмъ изящнымъ, такъ упоительно ласкающимъ жизнь человѣка; она окружена всѣми удобствами, всѣми утонченностями роскоши и богатства; она въ итальянской оперѣ съ ея сіятельствомъ; она слушаетъ Листа и Блаза; она говоритъ съ людьми, вышедшими изъ ряда, съ людьми, отмѣченными необыкновенными мыслями или чувствомъ—и гордится, что понимаетъ ихъ; на шумномъ гуляньи мчитъ ее орловская четверня въ блестящей вѣнской коляскѣ между рядами скромныхъ нѣшеходовъ, изъ которыхъ передъ многими ея отецъ почтительно снялъ бы шляпу... Ея жизнь, какъ чудное сновидѣніе; но какъ горько пробудиться послѣ такого сна!... Лучше бы никогда не просыпаться.

Живетъ человѣкъ слѣпой отъ рожденія. Не видѣлъ онъ никогда ни Божьяго солнца, ни свѣтлой зелени полей, ни голубаго неба—и счастливъ человѣкъ въ своемъ невѣдѣніи, и веселъ человѣкъ. Но пришелъ докторъ-благотворитель и захотѣлъ сдѣлать добро своему ближнему; онъ снялъ толстую кору съ глазъ слѣпаго; онъ показалъ ему новый міръ—и тихо, въ молчаніи преклонилъ колѣни прозрѣвшій; въ душѣ его развился восторгъ радости; его грудь наполнило святое чувство, доступное поэтамъ въ минуту вдохновенія; онъ вкусилъ небесной радости. Слишкомъ сильно было это чувство для прозрѣвшаго, слезы полились изъ глазъ его—и снова ослѣпъ онъ. И, Боже мой! какъ стала горька жизнь этого человѣка! пропала прежняя добрая, беззаботная улыбка: онъ позналъ благо и утратилъ его; грустныя думы осѣнили чело ослѣпшаго, онъ скучалъ, тосковалъ по далекой недоступной лазури, которая такъ привѣтно наклонилась надъ нимъ, обняла его и—исчезла невозвратно...

Ваше сіятельство! если вы увидите далеко въ провинціи красиваго ребенка-дѣвочку, не берите ее къ себѣ для воспитанія, не вводите ее въ ваши золоченыя палаты, не заставляйте ее дышать вашимъ столичнымъ воздухомъ! Вы живете въ другомъ свѣтѣ, въ блестящемъ, сверкающемъ, радужномъ. Горе, если бѣдный ребенокъ привыкнетъ къ нему!...

Анна Ивановна была (по выраженію И. Панаева) дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей; отецъ ея служилъ чуть-ли не помощникомъ архиваріуса въ коричневомъ губернскомъ правленіи, а послѣ управлялъ небольшимъ помѣстьемъ одной очень богатой графини. Графиня была очень добрая женщина, взяла къ себѣ маленькую Анюточку и увезла ее въ Петербургъ. Черезъ десять лѣтъ Анюточка выросла, похорошѣла, сдѣлалась Анною Ивановной; часто съ удивленіемъ франты лорнировали ея стройный станъ, когда она съ графиней гуляла по Невскому; не одна театральная трубка, вмѣсто сцены, обращалась на ложу бельэтажа, гдѣ сидѣла Анна Ивановна; многіе корнеты и прапорщики вздыхали по ней, покручивая свои крохотные усики; многіе штаб-офицеры освѣдомлялись о ея

приданомъ; даже одинъ стихотворецъ сочинилъ и гдѣ-то напечаталъ очень обязательное посланіе „Къ ней“, гдѣ сравнивалъ ее съ солнцемъ, а себя—съ подсолнечникомъ; а знакомый ему чиновникъ, прочитавъ посланіе, такъ былъ тронутъ, что вырѣзалъ у себя на печаткѣ въ серединѣ цвѣточекъ съ подписью tourne sol, а въ уголку—маленькое солнышко.

Анна Ивановна пѣла, рѣзвилась, ни о чемъ не думала—и вдругъ сильно задумалась: ея благодѣтельница-графиня умерла нечаянно, неожиданно, сразу, отъ апоплексическаго удара. Было о чемъ подумать Аннѣ Ивановнѣ: она осталась одна, рѣшительно одна въ шумномъ городѣ, безъ денегъ, безъ покровительства.

Къ счастью, отецъ ея, собравъ послѣднія деньги, пріѣхалъ въ Петербургъ и увезъ дочку въ Коричневый городъ. Коричневые франты воспламенились при видѣ петербургской *барышни;* многіе изъ нихъ, добрые люди, предлагали ей свои сердца и руки вмѣстѣ съ маленькими своими достатками. Для скромнаго помощника-архиваріуса подобные люди казались даромъ неба, а дочка ему отвѣчала: „Помилуйте, папаша! что это за люди? Двухъ словъ сказать не имѣютъ; да какъ я буду жить съ ними, да что я стану дѣлать въ деревнѣ? да развѣ я воспитана!...“

„Дѣлай, какъ знаешь“ вздыхая, отвѣчалъ отецъ, и отказывалъ женихамъ.

Не мое дѣло мѣшаться въ чужія дѣла, а, можетъ быть, была и права Анна Ивановна.

Въ Коричневой губерніи жилъ одинъ старый холостякъ, мучимый шестидесятью годами неслишкомъ воздержной жизни и подагрою. Не знаю почему, ему вздумалось подъ старость жениться и, несмотря на его тысячу душъ, всѣ, такъ называемыя, столбовыя невѣсты рѣшительно ему отказывали. Онъ какъ-то въ церкви увидѣлъ Анну Ивановну, и, узнавъ, что она бѣдная дѣвушка, рѣшился отомстить коричневымъ знаменитостямъ и предложилъ Аннѣ Ивановнѣ свою руку. Къ великому изумленію всѣхъ, знавшихъ разборчивую Анну Ивановну, къ удивленію даже самого отца ея, она согласилась: вышла замужъ за стараго подагрика, управляла имъ, какъ ребенкомъ, и, спустя полгода послѣ свадьбы, схоронила его, горько оплакивая свою потерю.

Старикъ записалъ Аннѣ Ивановнѣ все свое имѣніе; Анна Ивановна стала богатою вдовой. Дальніе родственники покойнаго завели съ нею процессъ, хотѣли отнять у нея все. Въ ожиданіи, пока все отнимутъ, Анна Ивановна пользовалась настоящимъ, имѣла блестящій экипажъ, петербургскіе наряды, и на балахъ кружила головы коричневымъ жителямъ, а между ними и пріѣзжему важному человѣку Гутентагу.

V.

ГУТЕНТАГУ ОЧЕНЬ ХОРОШО.

И вотъ зашевелились, заболтали, зазвонили языки; новость свѣжая, животрепещущая, современная переходила изъ устъ въ уста, какъ беттель въ индійской бесѣдѣ:

— Вы слышали, Павелъ Марковичъ?...

— Охъ, слышалъ, Ѳедоръ Ивановичъ; лучше бы и не слышать. Я вамъ говорилъ всегда, что Анна Ивановна, чортъ ее знаетъ, имѣетъ у себя какое-то приворотное зелье, что ли: совершенно опутала важнаго человѣка!... Я только удивляюсь его превосходительству, чему онъ обрадовался?... Я думаю, человѣку въ такихъ чинахъ и отличіяхъ, тамъ, въ Петербургѣ, нипочемъ и не этакія невѣсты, анъ нѣтъ, здѣсь грѣхъ попуталъ!...

— А дѣло-то Анны Ивановны?...

— Это-то и бѣситъ! Вы не повѣрите, какъ его превосходительство все повернулъ по своему! Какъ будто простой чиновникъ читаетъ всѣ бумаги отъ первой строки до послѣдней, и тутъ, говоритъ, наврано, и здѣсь подскоблено, и тутъ запутано. Бѣдные наслѣдники! страшно сказать: дѣло ихъ *почти* правое; *хожденіе* по дѣлу было съ ихъ стороны самое исправное, внимательно, а вѣрите ли? проиграютъ! Противъ воды не поплывешь!...

— Плохо, плохо! Я понимаю: тутъ есть интересъ и собственно его превосходительства.

— Въ томъ то и дѣло!

— Признаюсь, пріятно получить во владѣніе и жену этакую, такъ сказать, маргариточку, и тысячу душъ.

— По моему, будь она хоть ромашка, а приложеніе то чувствительное...

— Да, да, да, Павелъ Марковичъ!

— Да, Ѳедоръ Ивановичъ: знатное было въ рукахъ дѣльцо, а ускользнуло, какъ живой угорь

— Да, матушка, Елена Филипповна, умѣетъ пріѣзжая, петербургская то обдѣлывать свои дѣла. Подумаешь, дрянь такая была дѣвочка, давно ли? а пріѣхала изъ столицы и узнавать никого не хочетъ, башмаки съ заплатками, а горда!... Нашелся же одинъ старый дуракъ, хоть и юнкеръ

въ отставкѣ, и сдѣлалъ ее богатою, а теперь знать беретъ!...

— Да, Ѳекла Кузьминична; а теперь станетъ генеральшею... У моего мужа, у Лёшеньки, все, бывало, стоитъ ея отецъ въ передней...

— И карету, говорятъ, заказалъ Гутентагъ къ вѣнчанью...

— И бѣлье мадамъ Пабель шьетъ, все голландское, тонкое. Я заѣзжала нарочно смотрѣть съ дочкою Варютою: уже помѣчено красными вензелями А. и Г., а кругомъ вѣночки и стрѣлы. Варюта даже покраснѣла, какъ увидѣла.

— Важнаго человѣка опустила!...

— Да и онъ то что? только что важный человѣкъ, а самъ пугало гороховое. Моя Варя небогата, а я бы ее за него не выдала: и старь, и малъ, и кривоножка...

— Да и она то что? только что высока. Велика Ѳедора, да дура!.... Куда, ваша Варюта король противъ нея!

— Э, родная! Гутентагъ себѣ на умѣ, небойсь, не сунулся къ намъ: знаетъ, что отъѣхалъ бы съ носомъ; онъ и подбился къ этакой шарлатанкѣ, прости Господи...

— Такъ, такъ. А на свадьбѣ вы будете?

— Кажись, хоть и не хочется. Вѣдь, это такъ говорится съ вами по пріятельски, а мы еще дружны съ Анною Ивановной.

— Вѣстимо, служба службой, а дружба дружбой.

— Разомъ два удара! Любовь моя презрѣна, честь оскорблена, а главное: кто заплатитъ долги мои по ремонту? Дѣло шло очень хорошо, и эта старая архивная крыса все испортила!... О, женщины!.. Коварный полъ!...

Ремонтеръ взялъ какой-то чувствительный романъ и, бросаясь на диванъ, началъ читать громко: „Сударыня, говорилъ ротмистръ Лидинъ Греминой: любовь измѣнчива, какъ майскій вѣтерокъ; вѣтерокъ играетъ на озерѣ, очерчивая легкіе силуэты на жидкомъ хрусталѣ непостоянной влаги и летитъ далѣе, на шумное море, широкое, какъ вѣчность, безпредѣльное, какъ отчаяніе, холодное, какъ ласки дѣвы измѣнницы! У, какимъ ураганомъ шумитъ онъ, вздымаетъ косматыя волны, чешетъ сѣдые гребни пѣны и брызжетъ въ небо горькою водою-- слезами отчаянія!... Это — душа моя. Ecoutez madame! Гигантскія усилія— пустяки для характеровъ могучихъ; а я могучъ!... Невыносимые удары молота, громаднаго молота, не разрушаютъ твердаго булата, но куютъ изъ него благородное оружіе. Сильныя потери, лишенія, облагораживаютъ духъ человѣка! человѣкъ, претерпѣвшій измѣну, долженъ быть благороденъ...“

„Великая истина!“ сказалъ ремонтеръ, потягиваясь на диванѣ.—Ванька!

— Что прикажете, ваше благородіе?

— Экъ ревнулъ, какъ изъ бочки! пошелъ вонъ, дуракъ.

— Слушаю-съ.

Денщикъ вышелъ

— Ванька!

— Что...

— Молчать!... Подай трубку.

Ванька подалъ трубку.

— Зачѣмъ стоишь, болванъ?!... Экая образина!

Ванька вышелъ.

— Ванька!

Ванька вернулся.

— Ну, что ты молчишь? двухъ словъ сказать не умѣешь!...

— Да я, ваше...

— Молчать!... Наказаніе со скотомъ! И гдѣ родилась этакая образина?...

— Въ Костромской губеніи, ваше благородіе.

„О люди! и это человѣкъ?... Какая разница между образованнымъ человѣкомъ, понимающимъ свое достоинство, и подобнымъ!...“—Слушай: поди сейчасъ туда... и принеси... да, принеси... Ну, что стоишь!

Ванька побѣжалъ со всѣхъ ногъ.

— Ванька! Ванька! куда ты?... куда ты бѣжишь?...

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Куда ты бѣжалъ?

— Куда послали-съ.

— Куда жъ тебя послали?

— Виноватъ, ваше благородіе, второпяхъ позабылъ-съ

— Пошелъ, дуракъ, принеси мои пистолеты.

— Слушаю-съ.

— Да, я покажу ей, что значитъ сильная любовь человѣка образованнаго: пускай взглянетъ на мой трупъ—и терзается, неблагодарная!...

Денщикъ принесъ пистолеты. Ремонтеръ осмотрѣлъ ихъ, продулъ, насыпалъ на полку пороху и задумался... Потомъ прошепталъ: „А, можетъ быть, Ѳедя поможетъ мнѣ въ этомъ дѣлѣ: онъ человѣкъ богатый, займетъ денегъ, а тамъ... авось сойдетъ!...“ Потомъ положилъ пистолеты на столъ, говоря: „Именно такъ; я, живой, буду ей лучшимъ укоромъ, пусть глядитъ на меня живаго и мучится!...“—Ванька!

— Что прикажете?

— Дуракъ! какіе ты мнѣ принесъ пистолеты? какъ они вычищены? Вотъ я тебя! возьми ихъ, вычисти.

Ванька вышелъ, но скоро опять возвратился.

— Кто тебя звалъ? пошелъ!

— Письмо къ вамъ.

— А ты не можешь сказать, что письмо? Подай его сюда!

Ремонтеръ прочелъ письмо, улыбнулся, еще разъ прочелъ и, захохотавъ, проговорилъ: „Ай-да барыня!... ай-да молодецъ!... сущій чортъ въ хорошенькомъ переплетѣ!...“—Ванька!...

— Что прикажете?

— Давно прислали это письмо?

— Сейчасъ, ваше благородіе...

— А ты его не могъ принести сію минуту? Болванъ! убирайся!

Въ очаровательномъ полусвѣтѣ будуара, на мягкомъ диванѣ почти лежала Анна Ивановна. Гутентагъ сидѣлъ подлѣ дивана на низенькомъ табуретѣ.

— Такъ завтра рѣшительно? спросила Анна Ивановна.

— Завтра въ полдень вамъ объявятъ рѣшеніе, и вы остаетесь полною владѣтельницею всего вашего имущества, какъ были всегда обладательницею всѣхъ сердецъ...

— Я не знаю, чѣмъ благодарить васъ...

— Вы очень знаете, прелестное существо!... неужели вы забыли мои просьбы, мои рыданія?...

— Помню, помню. Быть по-вашему; я цѣню ваше постоянство...

— Договаривайте!...

— Завтра въ шесть часовъ мы вѣнчаемся.

Гутентагъ, упавъ на колѣни, жадно цѣловалъ бѣлыя ручки Анны Ивановны. Анна Ивановна немного покраснѣла.

VI.

КОНЕЦЪ.

Въ мундирѣ, въ бѣломъ галстухѣ, торжественно вывелъ изъ церкви маленькій Гутентагъ свою стройную супругу, красавицу Анну Ивановну. Лакей, въ богатой ливреѣ, отворилъ дверцы щегольской кареты, Анна Ивановна порхнула въ нее. Ужъ Гутентагъ занесъ-было на подножку и свою маленькую ногу, вдругъ лакей довольно-невѣжливо оттолкнулъ его, захлопнулъ дверцы и карета умчалась. Когда карета стала передъ домомъ Анны Ивановны, ремонтеръ не допустилъ лакея отворить дверцы и самъ повелъ блистательную хозяйку подъ-ручку по лѣстницѣ. Это видѣли многіе коричневцы.

Когда карета скрылась, Гутентагъ сталъ будто пораженный громомъ, потомъ сѣлъ на первыя дрожки и поѣхалъ къ дому своей супруги.

— Нельзя, сказалъ довольно-грубо толстый лакей Гутентагу, когда онъ хотѣлъ отворить дверь.

— Почему?

— Не смѣю принимать: барыня нездорова.

— Да вѣдь я вашъ баринъ.

— Гм! сказалъ лакей, насмѣшливо посмотрѣвъ на Гутентага, спрятался въ переднюю и защелкнулъ изнутри замокъ.

Напрасно Гутентагъ кричалъ, стучался, дергалъ дверь—отвѣта не было.

Черезъ четверть часа выбѣжала изъподъ воротъ какая-то босоногая дѣвчонка и подала Гутентагу письмо. Я не знаю содержанія письма, но оно должно быть очень непріятное, потому-что Гутентагъ, прочитавъ его, страшно улыбнулся и пошелъ домой, повѣсивъ голову.

На завтра всѣ коричневцы узнали, что статская совѣтница Анна Иванова Гутентагъ уѣхала ночью въ Петербургъ.

Статскій совѣтникъ Гутентагъ остался въ Коричневомъ городѣ, приказалъ обить свои комнаты чернымъ сукномъ, завѣсилъ окна черными сторами, одѣлся весь въ черное, сидѣлъ въ темнотѣ, и даже ничего не ѣлъ, кромѣ чернаго хлѣба, черныхъ бобовъ и черной рѣдьки; въ его домѣ была гробовая тишина.

Такъ прошло съ недѣлю. Никто не видалъ Гутентага, никто не слышалъ про Гутентага, будто умеръ Гутентагъ!

Но въ одинъ вечеръ вдругъ распахнулось окно въ комнатѣ Гутентага и понеслись изъ него печальные звуки скрипки. Шедшая по улицѣ простая баба остановилась у окна и заплакала.

— О чемъ ты плачешь, матушка? спросила ее молодая дѣвушка.

— Послушай, милая, такъ и беретъ за сердце, словно хороню своего покойнаго сынка, слышь, какъ плачетъ, прощается.

— Послушай, матушка, это словно мой женихъ, Ваня, шелъ въ рекруты, до прощался со мною... ей-богу, такъ выговаривалъ. И дѣвушка залилась слезами.

И не было другихъ слушателей игры Гутентага, кромѣ этихъ двухъ бабъ, а Гутентагъ игралъ удивительно! Онъ игралъ не композиціи извѣстныхъ мастеровъ, не высокія созданія геніевъ музыки, которыхъ часто искажаютъ люди, не понимая ихъ глубокаго смысла—нѣтъ, онъ игралъ, самъ не зная что такое: его душа, переполненная горестью, выливалась въ чудныхъ зву-

кахъ; игралъ на скрипкѣ не статскій совѣтникъ Гутентагъ, не маленькій человѣкъ Гутентагъ съ кривыми ножками, это игралъ внутренній, невидимый человѣкъ, душа играла, часть божества, заключенная въ человѣкѣ, тосковала о своей земной неволѣ, вопила, стенала невѣдомыми звуками, которыми говорятъ не здѣсь, и которые мы понимаемъ инстинктивно... Звуки дѣлались все тише и тише, и громкія рыданія смѣнили ихъ.

„Страшное что-то дѣлается съ этимъ бариномъ“ сказали бабы, перекрестились и пошли своей дорогою.

На другой день, къ удивленію всѣхъ коричневцевъ, вышелъ Гутентагъ, блѣдный, тощій, пошелъ прямо къ важнѣйшему человѣку и—подалъ въ отставку.

„Умно дѣлаетъ“ говорили коричневые чиновники: „какъ ему здѣсь жить, послѣ такого аффронта!“

И вотъ опять Гутентагъ въ Петербургѣ, живетъ на родномъ Васильевскомъ острову, съ дѣтьми своими, въ самой скромной квартирѣ, въ 317-й линіи, часто гуляетъ по Большому проспекту и до-сихъпоръ любитъ акомпанировать на скрипкѣ молоденькимъ дамамъ, при чемъ всегда однимъ глазомъ смотритъ въ ноты, слѣдитъ за кудрявыми бемолями и діэзами, а другимъ изъ-подъ круглыхъ черепаховыхъ очковъ очень лукаво поглядываетъ на бѣленькія ручки, летающія по клавишамъ или, тамъ, на что придется.

Такая натура у человѣка!

Вы часто можете встрѣтить Гутентага здѣсь, въ Петербургѣ: онъ ходитъ всегда пѣшкомъ, въ коричневомъ поношенномъ сюртукѣ, въ неприглаженной шляпѣ, съ умильной физіономіей.

Въ одной изъ самыхъ многолюдныхъ улицъ Петербурга есть большой каменный домъ, съ чугуннымъ балкономъ, съ зеркальными окнами, съ торцовою мостовою у подъѣзда, гдѣ часто останавливаются и красивыя коляска и карета. Въ бельэтажѣ живетъ хозяйка. Тамъ стоятъ въ окнахъ индійскіе цвѣты; стѣны увѣшаны дорогими картинами; по вечерамъ великолѣпное освѣщеніе отъ оконъ ложится по улицѣ длинными яркими полосами и привлекаетъ праздное вниманіе не одного зѣваки. На воротахъ прибита дощечка съ надписью: „Домъ статской совѣтницы Гутентагъ. Свободенъ отъ постоя“.

1844 г.

ПІИТА.

ПОВѢСТЬ.

Лакей восклицаетъ:
„Помилуйте же,
Вѣдь супъ остываетъ
И жареное!“

Изъ стихот. поэта, подающаго большія надежды.

Прекрасно, молодой человѣкъ, продолжайте упражняться въ поэзіи: вы имѣете большой талантъ.

Обыкновенная фраза.

Многими болѣзнями наказалъ насъ Богъ за грѣхи наши: то въ жаркій лѣтній полдень, на югѣ, человѣкъ мерзнетъ отъ лихорадки, то въ крещенскій морозъ, у Ледовитаго моря, проситъ онъ льду и холоду и нелѣпо философствуетъ въ горячкѣ; то толстѣетъ отъ того, что ему ѣсть нечего, то сохнетъ и чахнетъ отъ того, что много кушаетъ. Впрочемъ, всѣ болѣзни человѣчества, болѣе или менѣе, извѣстны; умные люди присмотрѣлись къ нимъ, раздѣлили ихъ на роды и на виды, дали каждой латинскую кличку и лечатъ—кто водой, кто воздухомъ, кто холодомъ — словомъ, кто чѣмъ горазъ. Но между всѣми извѣстными недугами, носящими латинскія клички, ни одинъ такъ жестоко не мучитъ, не терзаетъ, не дѣлаетъ столько вреда своей жертвѣ, какъ *поэзія*. Поэзія хуже чумы и холеры, потому-что эти послѣднія быстро уничтожаютъ человѣка, а первая и долго и тяжко мучитъ его, пока не уничтожитъ въ конецъ.

Я не говорю здѣсь о высшемъ вдохновеніи, называемомъ поэзіей, которое послано въ печальный нашъ міръ для утѣшенія нашего, и которое осѣняетъ весьма немногихъ избранныхъ—это другой вопросъ и вопросъ важный; нѣтъ, я собственно хочу разсмотрѣть болѣзнь поэзію, мучившую предковъ нашихъ, мучащую наше поколѣніе и, вѣроятно, будущую мучитъ потомковъ... Причины, порождающія болѣзнь поэзію, неизвѣстны, какъ источники Нила, мѣсторожденіе аэролитовъ и тому подобное, хотя ипотезъ, по этому случаю, состроено множество. Иные говорятъ, причина болѣзни поэзіи врожденная глупость, другіе —лѣность и праздполюбіе, третьи - -избытокъ силъ и непомѣрный жаръ крови, а нѣкоторые — излишество самолюбія. Если уже непремѣнно должно пристать къ какой-нибудь ипотезѣ, то я пристаю къ послѣдней.

Человѣкъ, одержимый поэзіей, бываетъ самаго неровнаго характера, но вообще чрезвычайно раздражителенъ; онъ постоянно разочарованъ; воображаетъ, что у него кровь не течетъ въ жилахъ своимъ порядкомъ, какъ у всѣхъ людей, но кипитъ и клокочетъ; что сильныя страсти бушуютъ въ душѣ его и что его сердце тотъ же Везувій въ маленькомъ размѣрѣ. Онъ то влюбленъ, какъ перепелъ, то ненавидитъ женщинъ; его настольная книга, его кодексъ—сочиненія Марлинскаго.

Бѣдный больной считаетъ себя поэтомъ, а прочій міръ—*толпой*, бездушной толпой, прозаической толпой, грязной толпой и даже безумной толпой. Вообще, онъ щедръ на

эпитеты. Если онъ заговоритъ съ толпой, то выражается тономъ директора, готовъ спорить со всѣми и, въ случаѣ противорѣчія, способенъ наговорить разныхъ колкостей; но если споръ приметъ серьезный оборотъ, то больной уклоняется, а пошумитъ объ этомъ послѣ, съ пріятелями. Если онъ молчитъ въ обществѣ, то всегда принимаетъ позу мыслящаго человѣка и повременамъ зло улыбается, стараясь, чтобъ замѣтила толпа эту карающую улыбку. Часто онъ пишетъ въ альбомы уѣздныхъ дѣвицъ стихи:

Дѣти прозы и картофеля,
Я съ улыбкой Мефистофеля,
Презираю вашъ разгаръ...
Нѣтъ вамъ дѣла, что страдаю я;
Вы смѣетесь—подавляю я
Сердца пламенный пожаръ!

Впрочемъ, больной, перенося пожары и разрушенія сердца, не лишается аппетита, любитъ хорошо поѣсть—свое ли, чужое ли—все-равно, и не прочь отъ добраго вина. Часто у него съ языка срываются стихи Пушкина:

Еще бокаловъ жажда проситъ
Залить горячій жаръ котлетъ.

И вообще, направленіе его подходитъ къ разряду *кутилъ*. Въ разговорѣ больнаго часто встрѣчается мѣстоименіе *я;* нерѣдко онъ смотритъ пристально и долго на портретъ какаго-нибудь знаменитаго писателя, а послѣ еще долѣе- въ зеркало, и всегда отходитъ отъ зеркала самодовольно улыбаясь. О наружности своей онъ сильно заботится, и потому или франтитъ на-пропалую, или поддѣлывается подъ неряху, нечесеннаго, хотя между неумытыми и нечесаными con amore его сейчасъ можно отличить какъ стекло между брильянтами.

Часто больной проситъ кого-нибудь изъ *толпы* прослушать свое новое произведеніе и сказать о немъ *чистосердечное мнѣніе*, и горе избранному, если онъ вадумаетъ хоть одну ошибку указать въ произведеніи больного! больной считаетъ это личнымъ оскорбленіемъ и до гроба не проститъ этого оскорбленія. Но для чего онъ проситъ *чистосердечнаго мнѣнія?* Онъ хотѣлъ удивить *дитя толпы* своимъ геніальнымъ твореніемъ и только ждалъ восторженныхъ похвалъ, и потому, слушая прозаическое замѣчаніе *непризваннаго*, онъ презрительно улыбается, пожимаетъ плечами, иногда скажетъ: „виноватъ, мы смотримъ на этотъ предметъ съ разныхъ точекъ“, иногда что-нибудь погрубѣе; самый скромный больной проворчитъ: „да, я объ этомъ подумаю“; можетъ-быть, даже насильно улыбнется, но никогда не проститъ дерзкому критику, и въ душѣ считаетъ его злѣйшимъ врагомъ. Однако надобно сказать правду, что болѣзнь поэзія понемногу утихаетъ или, лучше сказать, переходитъ въ другія формы, болѣе тонкія, нѣжныя, неуловимыя. О нихъ я поговорю когда-нибудь особо; и подобныхъ больныхъ рѣдко уже можно встрѣтить въ столицѣ; любопытный долженъ поискать ихъ въ провинціяхъ между оберофицерами, или въ учебныхъ заведеніяхъ. Вообще, больные этого разряда—страшные либералы на словахъ; мечтаютъ объ утопіи, когда весь міръ станетъ заучивать ихъ стихи, и сильно донкихотствуютъ во славу красоты и благородства. При всей своей нелѣпости, эти больные видимо подчинились духу вѣка; проявленіе недуга въ нихъ благообразнѣе прежнихъ лѣтъ; видимо, что болѣзнь слабѣетъ отъ времени, какъ и всѣ болѣзни; но при началѣ своемъ въ прошедшемъ столѣтіи она проявлялась совершенно въ другихъ формахъ.

Встарину больные поэзіей назывались піитами. Они не кутили, какъ теперешніе, по большей части уединенно *пили горькую*, на основаніи нелѣпаго преданія, что вдохновеніе должно воспламенять и согрѣвать хмелемъ; что хмель и вдохновеніе совершенно равносильны для произведенія изящнаго. У каждаго піиты, добраго стараго времени, былъ свой *меценатъ*, передъ которымъ онъ сгибался, сравнивалъ его въ своихъ виршахъ, то съ Марсомъ, то съ Нептуномъ, то съ Аристотелемъ, то съ Алкивіадомъ, обѣдывалъ у него, писалъ стихи въ именины его и дѣтей его и, получая подарки, не стыдясь, цѣловалъ его ручку.

Піиты хвастались другъ передъ другомъ и передъ цѣлымъ свѣтомъ милостями своихъ меценатовъ, даже одеждою, перешедшею на нихъ съ меценатскаго плеча. Вообще, больныхъ этого рода оставляло чувство человѣческаго достоинства; они унижались, ползали; но не думайте, чтобъ это уничтожало основную причину ихъ болѣзни—самолюбіе; нѣтъ, оно кипѣло въ нихъ, ихъ мучило, оно то и заставляло ихъ тереться около сильныхъ людей; оно гнуло ихъ къ землѣ, нашептывая: „присѣдай! выше выскочишь!...“

Благодаря просвѣщенію и направленію нашего времени, подобные піиты перевелись на русской землѣ, они исчезли вмѣстѣ съ бездушными полупьяными подъячими, носившими всегда въ карманѣ засаленнаго фризоваго сюртука чернильницу, перо и гербовую бумагу для ябедъ, съ безграмотными буянами офицерами, которые каждую

квартиру считали непріятельской землей и статскаго человѣка—личнымъ врагомъ своимъ—словомъ, со всѣми чудаками добраго, но чувственнаго XVIII вѣка.

Скоро придетъ время, когда никто не станетъ вѣрить въ существованіе подобныхъ людей; самое справедливое описаніе будутъ принимать за каррикатуру, а между тѣмъ это правда. Еще недавно я зналъ одного піиту прошлаго времени, который какъ-то запоздалъ было, зажился на свѣтѣ до нашихъ дней. Какъ теперь гляжу на него: длинный, худощавый человѣкъ съ лысиной во всю голову, вѣчно одѣтый въ сюртукѣ, доходящемъ до земли; ходилъ онъ по улицѣ всегда гордо, мѣрными шагами; въ разговорѣ плавно разводилъ руками и часто подымалъ къ небу указательный перстъ; но, при появленіи какого-нибудь значительнаго лица, вдругъ его станъ изгибался, уста растягивались приторною улыбкой до ушей и осклабляли зубы. Отчего это и для чего—я не могъ понять,

Піиту называли Аполлосъ Ивановичъ Кантовъ. Многіе любители корнесловія сильно призадумывались надъ этой фамиліей русскаго человѣка съ чисто русскимъ окончаніемъ, сильно смахивавшаго на нѣмецкаго философа *Канта*. Одинъ старикъ, отъ нечего дѣлать, не-милосердно бившій мухъ и писавшій біографію Кантова, толковалъ, что эта фамилія происходитъ дѣйствительно отъ Канта, съ которымъ предки піиты были въ самомъ близкомъ родствѣ; другой, ровесникъ біографа, спорилъ съ нимъ, доказывалъ нелѣпость его корня самою натурой Кантова, рѣшительно противоположной нѣмецкой натурѣ, его способностью съѣдать огромное количество кислой капусты съ хрѣномъ, рѣдьки съ квасомъ, гречневой каши съ конопляннымъ масломъ и тому подобныхъ снадобій, невыносимыхъ для нѣмецкаго желудка, и выпивать стаканъ виннаго спирту, оставаясь совершенно невредимымъ; а весьма благоразумно выводилъ фамилію Кантова отъ кантиковъ, то есть выпушекъ на платьѣ, полагая, что одинъ изъ предковъ піиты, весьма могъ быть даже изобрѣтателемъ этого украшенія на одеждахъ. Третій, хотя уступающій двумъ первымъ лѣтами, но превышающій своимъ саномъ, обширностью и глубиною мыслей, весьма остроумно замѣтилъ, что предположеніе втораго гораздо ближе перваго къ истинѣ, и было бы совершенно справедливо, еслибъ самое слово кантъ, или кантикъ не было производнымъ отъ каната или канатика, то есть снурочка, въ чемъ всякой невѣрующій можетъ убѣдиться, наблюдая разительное сходство между кантикомъ и снуркомъ, такъ что одинъ изъ этихъ предметовъ можетъ замѣнять другой равносильно, обманывая даже самый зоркій глазъ; слѣдовательно фамилія Кантова происходитъ отъ каната и есть чисто-русская фамилія, тѣмъ болѣе, что родина Кантова страна, изобильная пенькою, льномъ и проч.

Такъ ужъ созданъ свѣтъ: гдѣ умные люди начнутъ о чемъ-нибудь разсуждать, явится бездна противорѣчій. И всѣ, кажется, умны, и всѣ по одиночкѣ правы!... Не-уже ли... Но я вамъ разскажу лучше коротенькую біографію Аполлоса Ивановича: сами рѣшите, кто изъ почтенныхъ корнесословъ быть правъ.

Перенесемся лѣтъ пятьдесятъ назадъ. Въ большой комнатѣ, вымощенной кирпичомъ, сидѣло за изломанными, изрѣзанными, черными скамейками человѣкъ шестьдесятъ ребятишекъ, немного дикаго вида, одѣтыхъ въ тиковые халаты, въ разноцвѣтные пестрые фризовые сюртуки, шинели и хламиды съ разновидными, разнокалиберными пуговицами, съ полами, доходившими до пятъ; вообще, казалось, главнымъ условіемъ одеждъ были: не чистота, не покрой, не опрятность, а единственно длиннота, такъ что любой мальчикъ, взятый на выдержку, состоялъ изъ головы и полъ и былъ очень похожъ на ночную бабочку. Несмотря на многолюдство толпы, въ комнатѣ не было ни крику, ни говору, ничего такого, что на школьномъ нарѣчіи называется *шумомъ*; только въ тишинѣ раздавался однообразный скрипъ или царапанье, будто нѣсколько мышей дружно грызли орѣхи; скрипъ происходилъ отъ шестидесяти рукъ, вооруженныхъ перьями, царапавшихъ немилосердно на бумагѣ греческія каракули, называемыя азбукой, а тишина происходила отъ присутствія высокаго, тощаго, узкаго человѣка, на которомъ длинный сюртукъ синяго сукна сидѣлъ словно на палкѣ; въ рукахъ узкаго человѣка была длинная толстая линейка, свободно гулявшая на шестидесяти головахъ, одѣтыхъ въ халаты и хламиды. Этотъ человѣкъ былъ учитель младшаго класса... ой семинаріи, именуемаго *инфима;* шестьдесятъ мальчишекъ, въ длинныхъ одеждахъ, были его слушатели, ученики.

Ученики прилежно царапали по-гречески, поглядывая исподлобья на учителя, Учитель ходилъ по классу широкими шагами, какъ журавль по скошенному болоту, размахивалъ линейкою и ворчалъ отъ времени до времени латинскіе стихи и пословицы; иногда онъ подходилъ къ скамьямъ, которыя называлъ *партіями*, съ высоты своего величія бросалъ орлиный взглядъ

на чью-нибудь тетрадь и отрывисто говорилъ: *„bene!“* или, ничего не говоря, въ знакъ неудовольствія, опускалъ на голову виновнаго линейку и молча отходилъ.

Лекція шла подобнымъ образомъ. Ученики скрипѣли перьями, учитель ходилъ; вдругъ онъ остановился предъ окномъ, выходившемъ на крыльцо, и, поднявъ кверху указательный перстъ, торжественнымъ голосомъ прочелъ стихъ изъ „Энеиды“ Виргилія:

Quis procul ille auteur ramis insignis olivae?

Ученики подняли головы и посмотрѣли на учителя; учитель устремилъ вопрошавшій взоръ на дверь, которая тихо отворилась, и въ нее вошла не тѣнь Августа, а тѣло сельскаго понамаря, ведшаго за собою трехъ мальчишекъ: двухъ бѣлокурыхъ и одного черномазаго.

— Что есть причиною твоего прибытія? спросилъ величественно учитель.

— По приказанію начальства, мальчишекъ привезъ въ науку, отвѣчалъ понамарь, низко кланяясь.

— Bene! bene! Нынѣшнія календы моя нива не многоколосна есть... Мало овощъ въ моемъ стадѣ... Bene! ты принесъ свою лепту на умственный алтарь просвѣщенія... Какъ солнце, освѣщая тьму нощную, разгоняетъ мракъ, такъ и ученіе освѣщаетъ душу, озаряя и разгоняя... Гм!... Великая истина!... А какихъ лѣтъ твои отроки?

— Они не всѣ мои; вотъ этотъ мой, а эти (понамарь показалъ на двухъ бѣлокурыхъ) дѣти нашего покойнаго дьячка; мнѣ приказано ихъ довести сюда.

— Bene! А какое титло фамильное было у дьячка?

— Мы люди простые, куда намъ до этого?...

— Однако же его звали какъ-нибудь?

— Какъ же, звали Иваномъ.

— Іоанномъ, недурно! а для отличія, то есть диференціи отъ другихъ Іоанновъ?

— Покойникъ былъ Иванъ Петровъ.

— Такъ сіи отроки суть Петровы? простая фамилія, неблагозвучная!

— Нѣтъ, это уже дѣти Ивана Петрова, такъ имъ кличка не Петровы, а, стало быть, Ивановы; вотъ примѣромъ, я Иванъ, а мой сынишка выходитъ Ивановъ.

— И сей Ивановъ?! и сіи Ивановы?! Вавилонское смѣшеніе!... о барбары! и всѣ на одинъ образецъ, то есть exemplar! Аудиторъ!

Съ десятокъ школьниковъ поднялись съ мѣстъ.

— Болваны! фаты! стультусы! закричалъ учитель:—я говорю въ единственномъ, то есть призываю индивидуума, а вы являетесь во множественномъ, дѣйствуете массою!... Аудиторъ аудиторовъ, тебя требую!

Школьники усѣлись; только на крайней скамейкѣ, вытянувшись, стоялъ мальчикъ, лѣтъ шестнадцати, въ длинной хламидѣ съ воротникомъ до того высокимъ, что изъ него глядѣла голова словно узкаго темничнаго окна. Это былъ аристократъ класса, аудиторъ аудиторовъ.

— Во-первыхъ, сказалъ учитель, обращаясь къ стоявшему школьнику:—запиши всѣхъ, безпризывно вставшихъ, своевольныхъ отроковъ *въ которые шумѣли...*

— Вы спрашивали аудитора, а они всѣ аудиторы.. началъ было аудиторъ аудиторовъ.

— Молчать!.. храбрость въ ученомъ мужѣ есть порокъ, равносильный лѣности, а лѣность... что такое лѣность?

— Мать всѣхъ пороковъ.

— Ergo, запиши себя прежде всѣхъ *въ которые шумѣли*; во-вторыхъ, запиши туда же вышесказанныхъ мной, а въ третьихъ, внеси въ общій классный списокъ сихъ отроковъ... какъ ихъ зовутъ?...

— Моего или дьячковыхъ? спросилъ понамарь.

— Дьячковыхъ: они запишутся выше твоего сына, ибо отецъ ихъ былъ по рангу выше тебя, а въ трудномъ дѣлѣ образованія ума и сердца чинопочитаніе строго соблюдается.

— Ихъ зовутъ: одного Петръ, а другаго Павелъ.

— Итакъ, внеси въ списокъ Петра и Павла... Ива... сколько у меня въ классѣ Ивановыхъ?

— Четырнадцать человѣкъ, отвѣчалъ аудиторъ аудиторовъ...

— Четырнадцать!... это мой предшественникъ допустилъ до такого однообразія! У меня этого не будетъ—нѣтъ!

— Понамарь! какъ зовутъ ваше село?

— Буркино.

— Итакъ, аудиторъ, пиши: Петръ и Павелъ Буркины... или нѣтъ, Буркины слишкомъ храбрая фамилія для ученаго человѣка; бурка, сколько мнѣ извѣстно, украшаетъ рамена воинственныхъ наѣздниковъ, да и оба Буркины—выйдетъ однообразіе... Нѣтъ, неловко. Приблизься ко мнѣ, ты, съ розовыми щеками, который повыше; какъ тебя зовутъ?

— Павелъ, запищалъ мальчикъ.

— Хорошо, вотъ мы тебя назовемъ по подобію. Аудиторъ, пиши: Павелъ Розановъ.

— У насъ уже есть Розановъ, замѣтилъ аудиторъ аудиторовъ.

— А, умно замѣчено! Такъ пиши, для разнообразія: Павелъ Розанскій, а его брата запиши: Петръ Клоранскій: оно будетъ и

разнообразно и родственно, ибо роза, не взирая, что она есть роза, а въ существѣ есть все-таки цвѣтокъ, то есть flos генитивусъ floris. Такъ будетъ, bene!... Теперь покончимъ и твоего...

— Сдѣлайте божескую милость... сказалъ, кланяясь, понамарь.

— Твой, вѣдь, тоже Ивановъ?

— Извѣстно, мы люди простые, куда намъ!...

— Male! не пристало мудрецу быть безъ имени, когда всякая тварь имѣетъ приличное наименованіе... По физіономіи твоей, puer niger—черный отрокъ—можно бы назвать Черновъ или Черницкій, да у насъ есть такія клички... Не поешь ли ты?

— Пою, отвѣчалъ робко понамаренокъ.

— Bene! Спой же что либо пріятное, audax puer—смѣлый отрокъ—не робѣй, я позволяю.

И мальчишка, глотая слезы, запѣлъ дрожащимъ голомъ:

Ахъ ты, сельскій пѣтухъ,
Деревенскій пѣтухъ,
Зачѣмъ рано встаешь?
Голосисто поешь?
Ты мнѣ спать не даешь

— Satis, satis! изрядный голосъ! пѣсня только мужицкая, неблагородная, неученыя слова у этой пѣсни. Какъ поучишься, самъ станешь презирать мужицкія пѣсни. Да ничего, голосъ у тебя изрядный; для соловья, правда, слабъ, а для чижа громокъ; онъ болѣе подходитъ къ пѣснопѣнію дрозда... именно дрозда. Ты будешь отнынѣ Дроздовъ. Аудиторъ аудиторовъ! запиши сего строка. А какъ имя?

— Аполлосъ, отвѣчалъ понамарь.

— Благозвучное имя!... Аудиторъ аудиторовъ, помедли, не записывай: для сего имени, напоминающаго намъ баснословнаго бога пѣнтики, Дроздовъ будетъ грубо; слѣдуетъ прибрать понѣжнѣе... я произведу ему фамилію правильную, отъ изъявительнаго наклоненія, настоящаго времени, единственнаго числа, перваго лица, какого-либо приличнаго глагола, прибавивъ къ оному, для народности, славянское окончаніе *въ*.

Понамарь поклонился.

— Итакъ, продолжалъ учитель:—да будетъ твоя фамилія, Аполлосъ, отъ глагола *canto*—пою. Аудиторъ! внеси въ списки сего отрока: *Аполлосъ Кантовъ*... Да будетъ изъ него сообразно имени и фамиліи, великій пѣита, да удостоится онъ вниманія людей сановныхъ... да огласитъ пѣснословіемъ чертоги меценатовъ!...

— Много благодарны; мы этого не стоимъ. Куда намъ! началъ было понамарь.

— Ничего. Изъ соленой воды океана вышла Венера... Пѣита можетъ родиться не только въ чертогахъ, но и подъ кровлею хижины: oratores fiunt poetae nascuntur!... иди съ миромъ, а отроки останутся для назиданія.

Понамарь вышелъ; мальчишки сѣли на скамейку, едва вѣря чуднымъ кличкамъ, которыми ихъ заклеймилъ мудрый наставникъ.

Въ добрый ли часъ длинный учитель далъ Аполлосу поэтическую фамилію и предсказалъ ему успѣхъ въ пѣитикѣ, или его соблазнила латинская поговорка *poetae nascuntur*, и онъ вообразилъ, что родился поэтомъ—это неизвѣстно, однако въ головѣ Кантова засѣла мысль и постепенно развивалась, современемъ написать оду какому-нибудь меценату и на его счетъ блаженствовать въ жизни. Еще въ классѣ грамматики онъ часто писалъ втихомолку вирши, ошибался въ спряженіяхъ, нерѣдко вовсе оставлялъ уроки, за что терпѣлъ всякія истязанія; иногда по пѣитическимъ рукамъ Аполлоса даже разгуливала линейка учителя, но пѣитъ переносилъ терпѣливо эти, такъ называемыя, *пали*, и, опуская распухшіе красные пальцы подъ скамейку, начиналъ *скандировать* стихи, то есть считать по пальцамъ стопы. Это онъ дѣлалъ нарочно, изъ подражанія Виргилію, который, по разсказамъ учителя, былъ великій пѣита съ отроческихъ лѣтъ и слагалъ пресладкіе стихи, но не хотѣлъ учиться, что очень не нравилось его матери; и когда мать наказывала означеннаго Виргилія лозою за стихоплетство, то оно просился и причалъ стихами:

Престань, престань, любезна мать;
Не стану впредь стиховъ слагать!

Такова, дескать, была его благословенная натура. Такъ уже родился человѣкъ: его бьютъ, а онъ на зло кричитъ риемами.

Находясь въ *Синтаксисѣ*, Аполлосъ не только не покидалъ своего пѣитическаго направленія, но еще болѣе усилилъ его, и даже въ одно прекрасное утро рѣшился приподнять немного непроницаемую завѣсу, скрывавшую до того времени, какъ онъ выражался, глубокимъ мракомъ неизвѣстности его учебныя занятія, то есть, показалъ свою виршу учителю. Учитель долго читалъ ее, считалъ по пальцамъ стопы, распѣвалъ въ полголоса и наконецъ сказалъ: „Bene! много пѣитическаго жару и лирическаго безпорядку Скандація не вездѣ вѣрна; впрочемъ, это пустяки: licentia poetica, пѣитическая вольность, подобное допускаетъ; а главная ошибка—слогъ простъ и низокъ: слѣдуетъ

прибавить поболѣе украшеній да, для возвышенія, обыкновенныя слова замѣнить славянскими: руку—десницей, голову—главой, плечи—раменами и такъ далѣе". О смыслѣ учитель ничего не замѣтилъ. Впрочемъ, эти стихи, утраченные для потомства, были только ученическій опытъ и, вѣроятно, остались для домашняго обихода; а первое произведеніе—въ которомъ отразился духъ питы и которое онъ рѣшился пустить въ публику, которое доставило ему и рукоплесканіе людей постороннихъ и существенную награду—написано Аполлосомъ Кантовымъ въ то время, когда онъ былъ уже риторомъ.

Знаете ли вы, что такое были во время оно въ семинаріяхъ риторы? Это былъ народъ буйный, самовольный, первый въ дракахъ съ гимназистами, вѣчными врагами семинаріи, и въ кулачныхъ бояхъ съ цеховыми; риторы были здоровы, краснощеки, начинали курить трубки съ коротенькими чубуками, весьма пригодными для помѣщенія въ карманѣ, носили усы, стрѣляли за городомъ голубей и даже позволяли себѣ имѣть короткіе сюртуки, то есть недоходящіе до полу четверть аршина и болѣе. Ученики нашихъ классовъ: инфимы, грамматики и синтаксисы,—всегда находились въ страхѣ подъ неумолимымъ надзоромъ *спекторовъ*: философовъ и богослововъ. Философы и богословы, какъ высшіе ученики, или студенты, составляя сословіе спекторовъ, для примѣра подчиненнымъ, важничали; риторы, вырвавшись изъ подъ спекторства, сами еще не могли начальствовать и жили двугодичный курсъ риторики, какъ живетъ первый день матросъ, ступившій на твердую землю послѣ долгаго плаванія. Хотя, впослѣдствіе, эти самые риторы, переходя въ философію, остепеняются, начинаютъ сильно заниматься, теряютъ здоровый цвѣтъ лица, вѣчно чихаютъ, кашляютъ, жалуются на грудь и разные недуги; если курятъ, то изъ длинныхъ голубыхъ чубуковъ, пьютъ грудныя травки и декокты, носятъ полуботфорты и сюртуки до земли, и даже, по временамъ, начинаютъ ханжить—словомъ, риторы были точь въ точь старинные поручики, о которыхъ современники сложили поговорку:

Прапорщикъ побоится,
Капитанъ постыдится,
А поручикъ на все рѣшится.

Деревня Буркино, въ которой жилъ понамарь, отецъ Аполлоса Кантова, принадлежала помѣщику, отставному корнету Петру Петровичу Жареныхъ. Петръ Петровичъ былъ женатъ, имѣлъ, какъ водится, кучу дѣтей, и старшаго сына, Игнашу, воспитывалъ въ Петербургѣ. Игнаша былъ мальчикъ геніальный, опередилъ свой вѣкъ, понялъ, что въ наукахъ весьма много лишняго и началъ ихъ сокращать по-своему. Начальники не понимали Игнаши, дѣлали ему много непріятностей, а онъ все шелъ своей дорогой, и уже совершенно было сократилъ въ конецъ „Краткую Исторію" Кайданова, какъ его попросили оставить училище. Вслѣдствіе этого, *въ одинъ прекрасный день* явился Игнаша домой, въ коротенькомъ статскомъ сюртукѣ, въ фуражкѣ съ кисточкой, съ хлыстикомъ въ рукахъ, и, обнимая старика и старуху Жареныхъ, объявилъ имъ, что въ столицѣ учиться невозможно, что тамъ—все протекціи, что идутъ въ ходъ богатые да знатные, и безъ покровителей нельзя выучить даже таблицу умноженія.

Родители поплакали, расцѣловали сына и извѣстили сосѣдей, что Игнаша кончилъ курсъ наукъ въ столицѣ. Игнаша говорилъ, что намѣренъ посвятить жизнь свою, до послѣдней капли крови, на пользу отечества, и скоро уѣдетъ служить юнкеромъ на Кавказъ, а между-тѣмъ пользовался въ деревнѣ своимъ пріятнымъ независимымъ состояніемъ. Въ это время пріѣхалъ, на каникулы, къ своему отцу риторъ Аполлосъ Кантовъ, скоро познакомился съ Игнашей и сдѣлался для него почти необходимымъ человѣкомъ; иначе и быть не могло: Кантовъ, какъ старожилъ, зналъ всѣ тропинки, всѣ захолустья и всѣ хроники Буркина; зналъ, гдѣ водится какая дичь, чѣмъ ее можно приманить, и всегда навѣрное предсказывалъ Игнашѣ успѣхъ или неудачу, какой бы ни было охоты. Молодой барченокъ полюбилъ разгульнаго ритора; риторъ воспользовался расположеніемъ Игнаши, въ которомъ онъ уже видѣлъ будущаго мецената, и въ день его рожденія и ангела прочелъ громогласно, при собраніи многочисленныхъ гостей-сосѣдей, свои стихи:

ВЪ ДЕНЬ АНГЕЛА

Игнатію Петровичу

Жареныхъ.

Уже исполнилось
Девятнадцать лѣтъ!
Красой незримой
Одаренъ, какъ цвѣтъ;
Родителями любимый—
Сомнѣнья нѣтъ,
И подданными чтимый!

Но это видимый предметъ!
Не скроешь безъ причины
Наукъ, почерпнутыхъ изъ нѣдръ

Глубокія пучины!...
Вы счастливы на вѣкъ:
Достоинство получили...

Воспитаны среди риторовъ
Подъ сводомъ Вышняго десницы,
Искусныхъ знанія методовъ
Россійскія столицы,
И предковъ выбранныхъ законовъ
Вблизи царя, царицы;
Довольны знанія природой,
Подобны мудрыя пѣницы...

Съ родителями безцѣнными
Въ новый годъ
Вамъ счастія желаю,
Я - и весь народъ.

Аполлосъ Кантовъ.

Эти стихи были прочтены самимъ авторомъ во время обѣда, послѣ перваго бокала шипучаго цимлянскаго, и прочтены, какъ говорилъ Кантовъ, съ приличной интонаціею и декламаціею; и точно, Кантовъ то распѣвалъ стихи, то вскрикивалъ; глаза его безпрестанно переносились съ листа бумаги въ потолокъ; лѣвая рука, дрожа, держала листъ, на которомъ были написаны стихи, а правая, словно одинокое крыло изломанной вѣтряной мельницы, круговращалась то быстро, то медленно, то вдругъ останавливалась, подъятая къ небу; самъ Кантовъ стоялъ гордо, величественно, и только при самомъ послѣднемъ стихѣ поклонился очень низко. Извѣстное дѣло, что послѣ сытнаго обѣда люди бываютъ гораздо добрѣе, а послѣ шипучаго вина получаютъ наклонность къ поэзіи, и потому не удивительно, что стихи Аполлоса Ивановича заслужили громкія рукоплесканія; даже уѣздный землемѣръ подошелъ къ автору, обнялъ его, хотѣлъ что-то сказать— и заплакалъ; засѣдатель по питейной части, какой-то отставной поручикъ, громко сказалъ:

— Спасибо! вотъ, что называется удружилъ!... Люблю я стихи. Этакъ бывало:

Мы сѣли въ обшивни, покрытыя ковромъ,
И—пристяжная вмигъ согнулася кольцомъ...

— Т-съ!... сказалъ ему сосѣдъ, сильно толкая въ бокъ локтемъ.

— Ну, что же? заворчалъ въ полголоса засѣдатель:—тутъ ничего, право, ничего... Къ чему толкаться, я самъ знаю... И пересталъ декламировать.

— Прекрасно, государь мой! важно сказалъ Кантову уѣздный судья:—вы, можно сказать, дѣлаете честь нашему уѣзду; я васъ буду имѣть въ виду... и, можетъ-быть, при проѣздѣ *значительнаго лица*, вы намъ понадобитесь... Кто знаетъ, можетъ быть... это, вѣдь, дарованіе небесъ, не всякій способенъ— да!

Что касается стариковъ Жареныхъ, они были въ восторгѣ. Петръ Петровичъ далъ піитѣ рубль серебра и рюмку цимлянскаго. Правда, старухѣ Жареныхъ сначала показалось большой дерзостью, что понамарёнокъ смѣетъ ея Игнашѣ говорить ты.

— Вы не безпокойтесь, сударыня, насчетъ этого, замѣтилъ ей уѣздный учитель:— это въ высокомъ слогѣ вездѣ такъ употребляется; самымъ великимъ вельможамъ говорятъ *ты* въ стихахъ; даже ода „Богъ“ Державина начинается:

О Ты, пространствомъ... и проч...

— Скажите! однако, подъ конецъ, кажется, онъ уже называетъ Игнашу *вы*?

— Совершенно справедливо вы изволили замѣтить; это происходитъ отъ юности піиты: онъ еще не совершенно вошелъ въ тонъ и отдалъ жертву приличію; но настоящіе, опытные піиты ничего, кромѣ *ты*, не употребляютъ.

— Они, должно-быть, опасные люди, сказала старая Жареныхъ и послала Кантову слоеный пирожокъ.

Аполлосъ Ивановичъ Кантовъ въ торжествѣ возвратился домой и разсказалъ о своемъ *тріумфѣ* отцу и матушкѣ; матушка прослезилась; понамарь повторилъ нѣсколько разъ: „Великій еси Господи и чудны дѣла Твоя!...“ А ты, сынъ мой, цѣлковый припрячь, да купи себѣ книгъ или чего тамъ нужно для ученья.

Но на другой же день цѣлковый Аполлоса Ивановича былъ истраченъ на покупку у кочующаго купца Коробочкина разноцвѣтныхъ снурочковъ, ленточекъ и разныхъ бездѣлушекъ, изъ которыхъ піита и Игнаша начали строить силки и приманки для ловли всякой дичи. Охота пуще неволи! говоритъ пословица. Притомъ же Петръ Петровичъ, душевно любя Игнашу, не далъ ему ни гроша денегъ. Барченку было очень пріятно получить отъ Кантова новыя средства для успѣшной охоты, а Кантову еще пріятнѣе было раздѣлить бездѣлушки съ лицомъ, которое онъ считалъ своимъ пріятелемъ и, на основаніи этой пріязни, видѣлъ въ немъ своего будущаго мецената.

Вскорѣ послѣ этого Кантовъ уѣхалъ въ семинарію слушать курсъ риторики, а Игнаша Жареныхъ не уѣхалъ на Кавказъ: онъ записался въ канцелярію предводителя, или сдѣлался смотрителемъ хлѣбныхъ магазиновъ—не могу сказать утвердительно— только считался на службѣ, а жилъ дома, объѣзжая рысаковъ и волочась за сосѣдками. Спустя три года, Кантовъ, пріѣхавъ

на родину уже философомъ, нашелъ въ Буркинѣ большія перемѣны; стариковъ Жареныхъ уже не было: они покоились рядомъ на сельскомъ кладбищѣ. Игнатій Петровичъ уже былъ женатъ, потолстѣлъ, погрубѣлъ, отростилъ усы, и, постоянно облеченный въ цвѣтную венгерку, съ различными снурками и кисточками, и вооруженный хлыстомъ, управлялъ самовластно Буркинымъ. Да и самъ Аполлосъ Ивановичъ много перемѣнился; два года риторическаго курса сильно подѣйствовали на его желѣзное здоровье: онъ сталъ худъ, желтъ, немного плѣшивъ, всегда носилъ въ карманѣ разныя стклянички съ лекарствами, кашлялъ, пилъ декоктъ и курилъ табакъ изъ трубки съ длиннымъ чубукомъ, только не голубаго цвѣта, а, по піитической вольности, розоваго; носилъ постоянно узкіе брюки, сапоги, полуботфорты, сюртукъ длинный, и лѣто и зиму подбитый ватой, и картузъ складной, кожаный, въ видѣ пирога.

Аполлосъ Ивановичъ измѣнился также и нравственно; онъ сталъ почти меланхоликомъ, любилъ гулять одинъ, закутавшись въ ветхую, сѣрую шинелишку; онъ мѣрными шагами, какъ тощій листъ, задумчиво ходилъ по окрестностямъ и глубокомысленно глядѣлъ въ землю, или, поднявъ очи горѣ, *созерцалъ бѣги небесные* и удалялся въ лѣсную чащу, не для охотничьихъ поисковъ, но для пристойнаго бесѣдованія съ музами. Онъ уже вкусилъ сладостей риторики, погрузился въ глубокую пучину *изобрѣтенія мыслей*, постигъ прелести языка фигуральнаго и сдѣлался великимъ мастеромъ метафоръ, синекдохъ, инерболъ и другихъ украшеній человѣческаго языка. Стихи Аполлоса Ивановича сдѣлались болѣе классическими, и хотя потеряли немного первоначальнаго лирическаго безпорядка, за то вошли въ строгую форму метра и облагородились славянизмами.

Аполлосъ Ивановичъ, пріѣхавъ домой, узналъ, что наканунѣ было великое торжество въ селѣ Буркинѣ: Игнатій Петровичъ крестилъ своего сына-первенца, котораго назвали Викторомъ; что гостей было видимо-невидимо; много веселились, пускали ночью ракеты и прочее.

Пріятно улыбнулся нашъ піита, выслушавъ это извѣстіе, задумался, началъ что-то ворчать себѣ подъ-носъ, взялъ листъ бумаги и карандашъ, надѣлъ картузъ и ушелъ въ лѣсъ. Напрасно ждали его старики къ обѣду: онъ явился вечеромъ, сказалъ, что сытъ духовно, сѣлъ переписывать на бѣлый листъ бумаги стихи, сочиненные въ лѣсу, и, окончивъ эту работу, отправился въ барскій дворъ, прямо, какъ онъ говорилъ, къ своему благопріятелю Игнатію.

У Игнатія Петровича были двое гостей, оставшіеся отъ крестинъ: одинъ—помѣщикъ, бѣлокурый мальчикъ, лѣтъ восьмнадцати, который корчилъ взрослаго, говорилъ насильственнымъ басомъ, сильно затягивался и безпрестанно поглаживалъ указательнымъ пальцомъ лѣвой руки верхнюю губу, едва покрытую коротенькимъ, нѣжнымъ пушкомъ; другой—какой-то праздношатающійся отставной, съ огромными усами, висѣвшими на грудь; онъ былъ нѣкогда брюнетъ, но, отъ частой сѣдины, перешелъ въ масть сѣраго дрозда. Усачъ называлъ мальчика Сережей, а Сережа усача—Ѳедей.

Игнатій Петровичъ, Сережа и Ѳедя сидѣли въ кабинетѣ за карточнымъ столомъ; передъ каждымъ стаканъ пуншу; въ рукахъ карты, въ зубахъ трубки; свѣчи нагорѣли.

— Убита! сказалъ Игнатій Петровичъ.

— Я это зналъ: дамы всегда мнѣ измѣняютъ, замѣтилъ мальчикъ, стараясь казаться хладнокровнымъ; но голосъ его дрожалъ.

— Ой ли, Сережа? спросилъ усачъ, улыбаясь.

— Ты самъ знаешь, Ѳедя.

— Да, карточныя, бумажныя—не спорю, за то, братъ, въ другихъ ты—мое почтеніе! донъ-Жуанъ!

— А провалъ ихъ возьми!... наскучили, сказалъ Сережа, самодовольно улыбаясь, затянулся и закашлялся.

Въ это время вошелъ Аполлосъ Ивановичъ и, словно привидѣніе, длинный, безмолвный, блѣдный, сталъ у двери.

— Что, братецъ, тебѣ надобно? грубо спросилъ Игнатій Петровичъ.

— Я... смѣю напомнить, прибылъ... то-есть явился... съ прошедшимъ, высокоторжественнымъ... то-есть многорадостнымъ днемъ... поздравить... и... если найдется приличнымъ...

— Да кто ты? лицо, кажись, знакомое... сказалъ Игнатій Петровичъ, приподнимая со стола повыше свѣчку.

— Здѣшняго мѣстнаго понамаря сынъ, философъ Аполлосъ Кантовъ.

— А!... Что, братецъ, я тебя давно не видѣлъ?

— Три вакаціи сряду я не навѣщалъ домашняго крова, ибо въ часы досуговъ занимался образованіемъ юношества у сосѣднихъ, то-есть смежныхъ съ городомъ, окрестныхъ владѣтелей, то-есть помѣщиковъ.

— А! а теперь пріѣхалъ?

— Явился.

— Хорошо, гуляй-себѣ, отдыхай.

Кантовъ, стоя у двери, переминался.

— Что же тебѣ надобно? спросилъ Игнатій Петровичъ.

— Гм! началъ Кантовъ громкимъ голосомъ, выступя шагъ впередъ:—когда я держалъ путь въ сію ликующую радостію весь, то былъ пораженъ восторгомъ, облетавшимъ грады и села сопредѣльныя, оглашающимъ горы и стогны звукомъ о рожденіи вашего первороднаго сына!... піитическій восторгъ посѣтилъ меня, и я слабыми перстами коснулся сладостныхъ струнъ лиры... излилъ на бумагу утѣшительные звуки и—дерзаю повергнуть ихъ къ стопамъ вашимъ, уже единожды одобренный меценатскимъ покровительствомъ въ домѣ семъ.

Поклонясь, онъ вынулъ изъ кармана сложенный листъ бумаги, развернулъ его, кашлянулъ и началъ читать:

ДИѲИРАМБЪ.

На рождение и крещение перворожднаго сына помѣщика Игнатія Петровича Жареныхъ: Виктора, что знаменуетъ повѣдитель.

Великъ вселенныя, о Боже! нашъ зиждитель
И небу и земли единъ ты есть строитель.
Какъ къ океану всѣ катятся малы рѣки,
Такъ всѣ въ руцѣ твоей, о Боже! человѣки...
Отверзъ утробу Ты, изшелъ младенецъ вонъ;
Рекъ слово—вдругъ пустилъ плачевный тонъ.
Утѣха, какъ звѣзда, отцу днесь возсіяла
И нѣжны слезы мать, узрѣвши, утирала...
И въ радости сердца обоихъ трепетали,
Къ тебѣ, о Боже нашъ! молитвы возсылали:
„О Викторъ! ты нашъ сынъ!“ съ веселіемъ кричали:
„Лѣтъ тысячу живи“, стрократно повторяли.
И Альфа дней пошла въ теченіи временъ
Его незлобивъ духъ, тихъ, кротокъ, какъ Овенъ.
О Викторъ! имя есть россійско—побѣдитель:
Отъ нынѣ мужай, и будь войскамъ ты повелитель,
Чтобъ слава дней твоихъ касалась небесъ.
Украси жизнь свою и тѣмъ скончай конецъ.

Аполлосъ Ивановичъ прочиталъ стихи, поклонился и положилъ ихъ на столикъ передъ игравшими.

— Спасибо за желаніе, сухо сказалъ Игнатій Петровичъ, отодвигая въ сторону стихи.—Я хочу, чтобъ мой Викторъ былъ военнымъ... Атанде! убита!...

— Опять моя! сказалъ мальчикъ очень трогательнымъ голосомъ и, скрывая свое замѣшательство, сильно потянулъ изъ трубки. Трубка погасла.

— Плохо, Сережа, замѣтилъ усачъ.

— Коси малину!... по мнѣ, все трынъ-трава, были бы добрые друзья—вотъ что важно, Ѳедя.

— И благородные, прибавь — вотъ что! понимаешь? честь и благородство, этого какъ-нибудь не того...

Сережа значительно кивнулъ головой и, откинувшись назадъ во всю длину кресла, старался зажечь трубку на свѣчкѣ, стоявшей на противоположномъ концѣ стола; но чубукъ былъ длиненъ, и, несмотря на всѣ усилія Сережи, трубка постоянно уходила на полъ аршина далѣе отъ огня.

— Помоги, Ѳедя!..

— Сейчасъ, другъ мой!

Ѳедя хладнокровно оторвалъ половину стиховъ Кантова и зажегъ ими трубку своего пріятеля.

Глухое восклицаніе вырвалось изъ груди піиты.

— А ты здѣсь еще? что съ тобой? спросилъ Игнатій Петровичъ.

— Мои стихи... вотъ они изволили... предать пламени...

— Пустяки, братецъ!... на что они тебѣ? а мнѣ и подавно, благо что пригодились доброму пріятелю...

— Но, смѣю...

— Не безпокойся, мы ихъ слышали, на что же они больше? не печатать же стать твои вирши! Ступай-себѣ, спасибо!..

— Да, да, не безпокойся... замѣтилъ Ѳедя.

— Не безпокойся, братецъ, прибавилъ Сережа, когда уже Кантовъ перешагнулъ за дверь.

— Что это за грубіянъ? спросилъ Ѳедя: —онъ, кажется, недоволенъ, что я сжегъ его чепуху.

— Мнѣ очень ему хотѣлось сказать: не ву горячe па! сказалъ Сережа.—Кто онъ такой?

— Это, просто, господа, ученый дуракъ, нищій, животное, которое садится не въ свои сани... Онъ думалъ, что написалъ чортъ его знаетъ что такое—я даже не разобралъ хорошенько—такъ вотъ и попадетъ ко мнѣ въ пріятели, вотъ я такъ и разнѣжусь и расплачусь, и расцѣлую его опойковую рожу... не на такого наскочилъ...

— Онъ дворянинъ? спросилъ Сережа.

— Сынъ здѣшняго понамаря.

Сережа протяжно свистнулъ.

— Тутъ нечего было и спрашивать, очень основательно замѣтилъ Ѳедя.—Эта сволочь очень нахальна. Эй, малой!... человѣкъ! дай рому и сахару!

„Нѣтъ“, говорилъ Аполлосъ Ивановичъ, „не мечите бисера передъ... передъ

помѣщиками; не понимаютъ, ничего не понимаютъ: нектаръ піитики для нихъ недоступенъ есть; сердца ихѣ черствы, уши не обрѣзаны; червонный тузъ, или борзая собака слаще имъ хорея и дактиля; для амфибрахія душа ихъ закрывается, а для рысака раскрывается; они готовы отдать всѣ четыре *пеона* за черкесскій поясокъ, ихъ Геликонъ—скирда сѣна, ихъ кастальскія струи—наливка... ихъ музы и граціи—толстыя Акульки, Машки, Дуньки... ихъ піитика—мужицкая пѣсня... ихъ Аркадія—Буркино!..."

Эти рѣчи говорилъ, въ пылу негодованія, Аполлосъ Ивановичъ у себя дома; въ избѣ никого не было, кромѣ отца да матушки, да еще сидѣлъ пріятель ихъ и кумъ, прикащикъ.

На завтра съ Аполлосомъ Ивановичемъ случилось очень непріятное происшествіе, послѣ котораго отецъ его и матушка переѣхали въ другое село, продавъ за безцѣнокъ свое бѣдное недвижимое имущество.

Въ чемъ заключалось происшествіе—я утвердительно сказать не могу, только знаю, что рано утромъ вошелъ въ избу понамаря Игнатій Петровичъ съ двумя своими пріятелями и съ полдесяткомъ псарей, конюховъ и всякой дворни; въ избѣ поднялся крикъ и шумъ... Возвращаясь домой, Игнатій Петровичъ былъ красенъ и грозно махалъ хлыстомъ, приговаривая: „Такъ васъ учи, мерзавцевъ!... смѣлъ ругать меня, скверный виршоплетъ... да еще и моихъ пріятелей!... будешь помнить!... Прикащикъ! скажи этой сволочи, чтобъ сейчасъ же убирались изъ моего села... я себѣ другого сыщу, мнѣ такихъ грубіяновъ ненадобно!...

Понамарь съ женой переѣхалъ въ другое село. Аполлосъ Ивановичъ, величественно отряхнувъ прахъ отъ ногъ своихъ у соломенной будки, стоявшей при выѣздѣ изъ Буркина, отправился въ семинарію: „ибо каникулярное время протекло", говорилъ онъ.

Въ семинаріи выпускные студенты вздумали, на прощанье, поднесть серебряный кубокъ одному своему учителю, котораго они очень любили; составилась складчина; собрали бѣдняки рублей около сотни ассигнаціями и заказали мѣстному часовому мастеру сдѣлать серебряную чару, или чашу, какъ они выражались. Чаша сдѣлана; оставалось вырѣзать надпись.

— Я вырѣжу надпись, важно сказалъ часовой мастеръ:—вырѣжу какими угодно словами, хоть гражданскими, хоть иными, только дайте ее. Дайте сюда вашу надпись, остальное мое дѣло.

Сказать легко: дайте надпись! а каково было студентамъ? Прибирали разныя приличныя изреченія и по-латыни и по-гречески; но часовой мастеръ рѣшительно отказался, говоря: „и за сто рублей буквы не стану рѣзать, не понимая, что оно такое значитъ; можетъ-быть, она на чей-нибудь счетъ выйдетъ: тотъ обидится; вы будете въ сторонѣ, а я человѣкъ маленькій, долго ли меня раздавить? По русски, другое дѣло, прочитаю и вырѣжу".

Но писать по-русски въ то время на Руси ученымъ людямъ было чрезвычайно трудно. Они, бѣдные, бились, бились, спорили, кричали... всякому хотѣлось быть авторомъ надписи, и всякую надпись товарищи уничтожали строгимъ критическимъ анализомъ, доказывая, что она нелѣпа.

А между тѣмъ экзаменъ конченъ и приближался день выпуска; наконецъ, рѣшили попросить Кантова сочинить надпись; онъ, дескать, знаетъ піитику, да и младшаго класса: никому изъ насъ не будетъ завидно; всякій имѣетъ право сказать: мы поднесли чашу Н. Н., дѣлали ее собственнымъ иждивеніемъ на наши капиталы, а надпись заказали сдѣлать одному человѣку, извѣстному своимъ піитическимъ восторгомъ, подающему большія надежды, ибо среди насъ, хотя и были ученыя головы, однако не оказалось піиты.

Кантовъ возгордился порученіемъ высшаго класса; цѣлую ночь сидѣлъ надъ сочиненіемъ, изгрызъ три пера, исписалъ нѣсколько листовъ бумаги и наутро принесъ изумленнымъ товарищамъ надпись въ 612 стиховъ звучныхъ, длинныхъ — словомъ, александрійскихъ.

— Удивительно, весьма изрядно! будто глава изъ нѣкоей піимы, подобно страницѣ несравненной „Владиміріады", закричали хоромъ студенты, читая надпись кантову: —но какъ вырѣзать ее на чаркѣ весьма небольшаго объема?

— Посредствомъ микроскопа, или другой зрительной трубы, скромно замѣтилъ Кантовъ.

У часовыхъ дѣлъ мастера не оказалось микроскопа, да и самъ онъ не брался рѣзать много буквъ. „Строчки двѣ вырѣжу" сказалъ онъ рѣшительнымъ голосомъ, „а больше не берусь: ужъ мнѣ наскучило возиться съ вашей чаркой; оно даже, какъ разсудить хорошенько-то, и не мое дѣло; для *васъ* я рѣшился, только изъ уваженія, а на барышъ рукой махнулъ."

Кантовъ долго бился надъ сокращеніемъ надписи, но все она не выходила менѣе сорока-пяти строчекъ.

— Не могу! наконецъ объявилъ піита студентамъ:—лишь возьмусь за перо, стихи

такъ и текутъ!... Не могу сдержать ихъ стремленія—такая у меня піитическая натура!

— Попробуйте въ прозѣ.

— Да не будетъ ли это униженіе піитики? замѣтилъ Аполлосъ Ивановичъ; однако, понукаемый студентами, мысленно извинился передъ Аполлономъ и девятью музами, просидѣлъ еще цѣлую ночь и принесъ надпись, которая была единогласно одобрена, и часовой мастеръ, благословясь, вырѣзалъ на чаркѣ:

Симъ подношеніемъ удостойте принять благодарность, въ юныхъ сердцахъ воскуренную.

Въ одинъ изъ великихъ дней, когда Аполлосъ Ивановичъ занимался сочиненіемъ надписи, начальникъ семинаріи повстрѣчалъ его и спросилъ, отчего онъ такъ блѣденъ.

— Очень занятъ, скромно отвѣчалъ Аполлосъ Ивановичъ.

— Теперь годичное испытаніе миновалось и хотя repetitio est mater studiorum, однако можно и отдохнуть немного: не все репетировать зады—можно и поотдохнуть малую толику...

— Я занимаюсь, можно выразиться, святою обязанностію: сочиняю надпись для великолѣпной чаши, назначенной въ презентъ нашими юными сердцами одному нашему благодѣтельному начальнику, человѣку ученѣйшему, просвѣщеннѣйшему, умнѣйшему...

— Браво! Кому же это?

— Для вящаго сюрприза это мы содержимъ въ тайнѣ.

— Уважаю ваши тайны, отвѣчалъ начальникъ съ благосклонной улыбкой и, снисходительно поклонясь, пошелъ далѣе. А между-тѣмъ во всю дорогу думалъ: „какіе добродѣтельные у меня воспитанники! хотятъ оставить послѣ себя память подаркомъ. Кому же болѣе, какъ не мнѣ, этотъ сюрпризъ? Говоритъ: „ученѣйшему, умнѣйшему, образованнѣйшему человѣку“, разумѣется, со мной въ этомъ никто и спорить не станетъ! Страшное дурачье кругомъ меня, какъ приглядишься; одинъ *я* только и умѣю съ ними ладить... Трудно начальствовать! Притомъ же, говоритъ: „благодѣтельному начальнику“. Это ясно!... Спасибо, что умѣли оцѣнить меня!... Я ли имъ не благодѣтель? А желательно бы знать, что это за вещица? должно-быть, драгоцѣнная...“

Пріятно провелъ начальникъ конецъ этого дня. Съ вечера долго не могъ уснуть, мечтая о подаркѣ и придумывая рѣчь, въ которой бы можно было, не унижая своего величія, достойно отблагодарить студентовъ за признательность, драгоцѣннѣйшую металловъ и адамантовъ... И всю ночь снились начальнику олимпійскія игры, гдѣ ему безпрестанно присуждали награды за наградами, да все такія цѣнныя награды!...

— А теперь перейдемъ въ Посейдоновъ священный лѣсъ, сказалъ ему какой-то старикъ.

— Зачѣмъ?

— Сейчасъ начнутся истмійскія игры.

— Много благодаренъ! На этихъ играхъ, если я не ошибаюсь, раздаютъ вѣнки изъ сухой петрушки; а я, признаюсь, хотя и предпочитаю честь, то-есть, признательность или благоволеніе металламъ и адамантамъ, однако не могу терпѣть запаха петрушки.

— Помилуйте! вы человѣкъ ученѣйшій, умнѣйшій, даже добродѣтельнѣйшій, смѣю сказать; вся Греція признала васъ благодѣтельнымъ начальникомъ, и потому для васъ непремѣнно сдѣлается исключеніе.

— Весьма благодаренъ, это дѣлаетъ честь грекамъ.

— Помилуйте, греки извѣстно какой народъ!... Напримѣръ, запахъ золота вамъ непротивенъ?

— Ничего!

— Такъ я прикажу сейчасъ приготовить для васъ вѣнокъ изъ чистаго золота; только извините, чтобъ не нарушить закона; у насъ, видите, законъ прежде всего: я прикажу золотымъ листочкамъ дать форму листовъ петрушки—вамъ эта форма не противна?

— Нѣтъ; а цвѣточки будутъ?

— Какъ же, будутъ, такіе бѣленькіе, въ родѣ петрушки.

— А изъ чего цвѣточки будутъ?

— Вы увидите—останетесь довольны.

— Хорошо; если сдѣлаете удобно, пристойно и для казны...

Въ этомъ мѣстѣ начальникъ чихнулъ сквозь сонъ и былъ, какъ видно, близокъ къ пробужденію; даже ему померещилась черная борода какого-то подрядчика, въ синемъ кафтанѣ... Но скоро сонъ опять взялъ свое; подряды для казны забыты, борода и синій кафтанъ исчезли, и опять древній старичокъ стоитъ передъ начальникомъ и, при плескахъ народа, возлагаетъ на главу его вѣнокъ: дробные золотые листочки переливаются, горятъ въ лучахъ солнца, крупные алмазы на цвѣточкахъ такъ и сверкаютъ...

„Благородные сыны Эллады, высокіе греки!“ началъ увѣнчанный, сложа на груди руки: „въ сей день, когда мои заслуги, при плескахъ мильоновъ сердецъ...“ и вдругъ подумалъ: а что дадутъ, если продать эту штуку? заикнулся, смѣшался, хо-

четъ продолжать, языкъ не ворочается: недовольные греки требуютъ рѣчи, сердито сверкаютъ глазами, нѣкоторые даже показываютъ языки и строятъ носы... „Дуракъ, братецъ!“ сказалъ старикъ: „не стоишь награды“.—„У!...“ закричали греки, злобно кивая носами. Холодный потъ проступилъ на лбу начальника и онъ проснулся, очень довольный, что дешево отдѣлался отъ рѣчи, и, огорченный потерей драгоцѣннаго вѣнка, однако утѣшился, думая: „сонъ—мечта, то-есть иллюзія, а мы сегодня, вѣроятно, получимъ существенное!“

Можете судить, каково было разочарованіе начальника, когда и существенная награда ушла отъ него, какъ и вѣнокъ на греческихъ играхъ, когда, къ вечеру, чарка была уже въ рукахъ того учителя, которому студенты ее назначили.

Студенты, сдѣлавшіе подарокъ учителю, окончили курсъ и разъѣхались. Учитель, получившій подарокъ, тоже мѣсяца черезъ три перешелъ на службу въ другое вѣдомство, по какимъ-то непріятностямъ съ начальникомъ; остался одинъ только Кантовъ, который ежедневно напоминалъ собой начальнику непріятное разочарованіе. Кантову житья не было. Гдѣ бы что ни случилось неблаговидное, всегда Кантова тамъ замѣшаютъ, хотя самъ онъ не могъ дать себѣ отчета, какъ это дѣлалось, хотя часто онъ даже и не слыхалъ о происшествіи, въ которомъ онъ, какъ выходило, или былъ зачинщикомъ или самымъ усерднымъ дѣятелемъ.

— Кантовъ грубіянъ, Кантовъ дерзкій храбрецъ, Кантовъ двуличенъ, мечъ обоюдоизощренный; Кантовъ только и занимается пустыми виршами, неприносящими пользы обществу, но растлѣвающими нравы; Кантовъ язва, чума для юношества; надъ Кантовымъ должно показать примѣръ строгаго правосудія! Другихъ рѣчей о Кантовѣ никто никогда не слышалъ отъ начальника.

Бѣдный піита недоумѣвалъ, откуда и за что на него свалилась такая напасть.

„Сердились бы на меня въ риторическій періодъ моей жизни, я бы ничего: тогда за мной водились кое-какія поползновенія—я самъ это знаю. Кто Богу не грѣшенъ?... и словомъ, и дѣломъ, бывало, пройдешься по косновенному пути; а теперь я философъ, живу истинно по-философски, весьма уважая всѣхъ, и себя не менѣе, не только въ поступкахъ, но даже въ одеждѣ и въ поступи сохраняю надлежащее величіе и вмѣстѣ съ тѣмъ должное смиреніе и приличный страхъ къ начальству, а на меня возстали сильные земли!..“ Такъ часто думалъ Аполлосъ Ивановичъ, грустилъ о своей тяжелой участи и писалъ элегіи. Добрые пріятели брали элегіи у Кантова и переносили ихъ начальнику, а тотъ находилъ въ нихъ—на удивленіе самому автору—буйный смыслъ, юношество развращающій, и ропотъ, человѣка унижающій.

Кантовъ приходилъ въ отчаяніе; онъ еще не зналъ, что человѣкъ—животное, одаренное умомъ,—если захочетъ, можетъ перетолковать въ другую сторону самую полезную, самую святую мысль. На то онъ животное разумное.

Къ счастью, учитель, получившій чарку съ надписью Кантова, въ другомъ вѣдомствѣ былъ сдѣланъ начальникомъ какого-то маленькаго учебнаго заведенія, и, узнавъ о плачевномъ состояніи Кантова, посовѣтовалъ ему бросить ученіе и самому сдѣлаться учителемъ. Сказано—сдѣлано; и Кантовъ, подъ начальствомъ учителя, получившаго чарку, началъ преподавать россійскую азбуку.

Новый начальникъ былъ доволенъ Кантовымъ. Кантовъ былъ въ восторгѣ отъ своего новаго начальника, называлъ его благодѣтелемъ, писалъ къ нему эпиталамы и мадригалы, получалъ исправно жалованье и въ волю дралъ уши и давалъ *пали шумному отрочеству* — такъ онъ называлъ своихъ учениковъ. Чего бы, кажется, болѣе? Но бѣсъ піитики, какъ и всякій другой бѣсъ, всегда сердится на счастье человѣка: ему стало завидно благополучію Аполлоса Ивановича; онъ не дремалъ и въ тишинѣ собиралъ тучи надъ головою бѣднаго піиты.

Уѣздный городъ, въ которомъ Аполлосъ Ивановичъ просвѣщалъ человѣчество подъ надзоромъ своего благодѣтеля, былъ отъявленное захолустье въ обширной Россійской имперіи, изобилующей всяческими захолустьями. Торговля этого городка была очень ограничена; получаемые товары были большею частью сырыя произведенія природы: лыки, мука и клюква, а отпускаемые болѣе состояли въ издѣліяхъ туземной мануфактуры: въ лаптяхъ, баранкахъ и проч. Во всемъ городѣ красовалась только одна деревяная церковь; торчало нѣсколько деревяныхъ одноэтажныхъ домовъ какой-то сонной архитектуры, нѣсколько лавочекъ, у заставы пестрая будка—и все тутъ. Жители его прозябали мирно, вдали отъ суетъ и большихъ дорогъ, словно сочныя водоросли въ тинистомъ прудѣ; только почта, пріѣзжая разъ въ недѣлю, гремѣла колокольчикомъ и на четверть часа нарушала покой города—словомъ, городокъ до того былъ тихъ и однообразенъ, что Аполлосъ Ивановичъ, осмотрясь кругомъ хоро-

шенько, даже не могъ изъ среды жителей избрать себѣ мецената и произвелъ въ меценаты *заурядъ* своего начальника, благодѣтеля, хотя въ душѣ считалъ его неспособнымъ къ меценатству. „Для этого высокаго назначенія потребенъ и санъ, и кони, и колесницы, и блага земныя", часто думалъ онъ, „а *онъ*, что за меценатъ? благодѣтелемъ еще можетъ быть, но не болѣе... Онымъ людямъ, вельможамъ, подобаетъ сіе титло..."

И вдругъ городокъ Захолустье переполошился, встревожился: явился въ немъ современный интересъ, чего не бывало съ 1812 года; всѣ заговорили, засуетились; въ полиціи бѣготня, въ судахъ движеніе, въ больницѣ моютъ окна, передъ училищемъ сметаютъ соръ, починиваютъ крыльцо у ратуши—ждутъ *значительное лицо*. Это значительное лицо не было ревизоръ, даже не было начальникъ, а было, просто, значительное лицо—и ничего болѣе; оно имѣло въ уѣздѣ маленькаго городка большое имѣніе, ѣхало въ деревню прожить лѣто и, волей не волей, должно было переѣхать черезъ маленькій городокъ Захолустье.

Но отчего переполошился маленькій городокъ? спросите вы. Это, извините, общая слабость всѣхъ захолустій; они рады случаю немного потревожиться законнымъ образомъ: подобная тревога доставляетъ имъ неописанныя удовольствія; чиновники рады блеснуть передъ чернью своими мундирами и тѣмъ показать ей свое достоинство, а неслужащіе рады, просто, зрѣлищу. Одинъ практическій человѣкъ объяснялъ подобныя тревоги простой русской пословицей: *пуганая ворона и куста боится*.

У Аполлоса Ивановича зародилась мысль написать привѣтственный диѳирамбъ значительному лицу, попасть къ нему въ милость и современемъ образовать изъ него мецената. Онъ отправился къ своему начальнику.

— А я вотъ это къ вамъ, мой благодѣтель, сказалъ Аполлосъ Ивановичъ, кланяясь начальнику.

— Душевно радъ, отвѣчалъ начальникъ.

— И пришелъ къ вамъ за совѣтомъ.

— А что тамъ такое? не жениться ли хочешь?

— Боже упаси! А вотъ, вы мнѣ и отецъ, и благодѣтель, не откажите въ совѣтѣ: я хочу, то-есть, дерзаю, написать привѣтствіе ожидаемому нами знаменитому гостю...

— Хорошая мысль; да кстати ли оно будетъ?

— По здравому моему размышленію, оно не только кстати, но даже безъ него и обойтись почти невозможно, въ отношеніи начальства.

— Какъ такъ?

— Изволите видѣть, между многими высокими должностями нашего именитаго и сановнаго гостя значится, что онъ членъ какого-то женскаго учебнаго заведенія, ergo, его просвѣщенное вниманіе также глядитъ неусыпнымъ окомъ и на образованіе; мы же суть хотя и ничтожные, но свѣтильники, и нѣкоимъ образомъ подчинены именитому лицу; а къ вящшему счастію, въ моемъ даже классѣ имѣются четыре просвѣщающіяся дѣвицы изъ здѣшнихъ мѣщанъ.

— Коли такъ, то благословляю на полезный трудъ. Только, пожалуйста, сначала сдѣлай планъ и покажи мнѣ: знаешь, тутъ, вѣдь, надобно поступать тонко; одно какое-нибудь слово поѣдетъ въ сторону—и бѣда: ты будешь въ сторонѣ, а мнѣ носъ!... Какъ вы, скажутъ, допустили? да за чѣмъ вы смотрѣли? да то, да другое!... Нѣтъ, ужъ, пожалуйста, покажи планъ... а то, вѣдь, вы, піиты, народъ горячій!...

— Успѣю ли я? сказалъ обиженнымъ голосомъ Аполлосъ Ивановичъ.

— Вотъ ты уже надулся! этакой пень, можно сказать! мало я тебя, будучи учителемъ, дралъ за уши! вѣдь тебѣ же добра желаю.

— Боже упаси, чтобъ я на васъ, моего благодѣтеля, смѣлъ сердиться! я спросилъ только.

— Успѣешь: гостя мы ждемъ не раньше, какъ черезъ пять или шесть дней—такъ я слышалъ отъ городничаго.

На другой день рано утромъ явился Аполлосъ Ивановичъ къ своему начальнику съ планомъ диѳирамба. Начальникъ только-что всталъ съ постели, сидя въ халатѣ, курилъ трубку и предложилъ Кантову покурить.

— Нѣтъ уже, чувствительнѣйше благодаренъ, отвѣчалъ піитъ:—за предложеніе; но мое дѣло спѣшное, звуки такъ и просятся наружу, на просторъ; позвольте объявить ихъ предъ вами, да я и пойду, благословясь, на трудъ.

— Ладно, читай, братецъ.

Кантовъ откашлялся и началъ:

„Диѳирамбъ привѣтственный!...

— Это мнѣ не нравится, сурово замѣтилъ начальникъ. Ты, братецъ, благодѣянія не помнишь: тебя заѣли бы, еслибъ не я, а ты ослушничаешь, чего добраго и меня въ бѣду введешь. Вѣдь, дѣло не шуточное: одно слово, одно выраженіе нетонкое, одна комма или семиколумъ не на мѣстѣ—и все фу!... При этомъ начальникъ

очень выразительно подулъ себѣ на ладонь.

— Не понимаю, благодѣтель! робко сказалъ Аполлосъ Ивановичъ, глядя въ оба глаза на начальника.

— А понять-то, кажется, немудрено: ты сглупишь, а я пропалъ; вѣдайся тогда съ тобой! Грѣхъ тебѣ, братецъ. Я говорилъ, чтобы ты написалъ предварительно планъ; мы бы его прочли, обсудили, тогда и писалъ бы съ Богомъ; такъ нѣтъ, дай-ка самъ напишу, я, дескать, умнѣе всѣхъ! А что вышло? Теперь я не хочу, не позволяю тебѣ читать этой гили: мнѣ онъ ненравится, твой диѳирамбъ; онъ нехорошъ, даже, можетъ-быть, вреденъ—да!... Какъ вы хотите, милостивый государь, я не позволяю—жалуйтесь! идите, идите!...

— Куда пойду я, червь ползающій! Боже упаси меня, ничтожнаго, жаловаться на моего благодѣтеля! и въ сновидѣніи подобное мнѣ не представлялось, и диѳирамба я не писалъ.

— Какъ? ты самъ читалъ сейчасъ!

— Это планъ, мой благодѣтель. Благоволите выслушать.

— Экой чудакъ, ну, и сказалъ бы *планъ*, а то читаетъ: *диѳирамбъ*, я и подумалъ Богъ знаетъ что!... Согласись, на моемъ мѣстѣ надобно быть осмотрительнымъ. Вотъ, какъ переполошилъ меня!... Стыдно, братъ, тебѣ такъ шутить со старымъ своимъ наставникомъ.

— Извините, я не думалъ... я..

— Ну, полно, читай!

— Теперь я буду читать: „планъ диѳирамба".

— Разумѣется. Вотъ карандашъ, переправь заглавіе; да и еще что можетъ случиться.

„Планъ диѳирамба привѣтственнаго, по случаю радостнаго проѣзда одной значительной особы черезъ городъ Великое Захолустье".—*Первая строфа* изъ амфибрахіевъ шестистопныхъ, пятистопныхъ и четырехстопныхъ.

Воскликните музы! ударьте въ согласныя
струны на лирѣ!
Веселіе, радость, восторги воспойте въ
сей день!
Пусть гласы питомцевъ и долу несутся и
въ горнемъ эѳирѣ,
Тамъ, гдѣ исчезаетъ смущеній всѣхъ су-
мракъ и тѣнь.
Взыграйте питомцы, привѣтствуйте гостя,
блюстителя знаній!
Се, полный отеческихъ здѣсь попеченій,
онъ намъ предстоитъ
И всяка забота чистѣйшимъ въ немъ сча-
стіемъ нашимъ горитъ:
Излейте предъ нимъ пламеносныхъ здѣсь
гласъ благодарныхъ взываній!...

Хоръ.

Имъ зиждется счастія нашего рай:
Тѣмъ каждый изъ насъ веселись и играй!

— Хорошо, замѣтилъ начальникъ; да это, кажется, уже не „планъ", а просто стихи?!

— Первая строфа для образца написана, отвѣчалъ Кантовъ.—Какъ вамъ понравится; передѣлать ее, или урѣзать, или что выкинуть, или прибавить—все можно.

— Нѣтъ, оставь такъ, хорошо написано; мнѣ нравится, что нигдѣ нѣтъ ни имени, ни отчества, ни фамиліи—словомъ, никакой личности: особа не можетъ обидѣться, а между-тѣмъ все благопристойно и все сказано хорошо; это я пропускаю. Продолжай.

— *Вторая строфа*—изъ четырехстопныхъ, ямбическихъ, въ десять стиховъ, изъ обращенія къ рѣкамъ, съ описаніемъ ихъ благодѣяній, питающихъ животворными водами луга, поля, лѣса и человѣка.

— Живетъ!... Впрочемъ, человѣка лучше бы поставить сначала, а послѣ тамъ поля, лѣса и прочее; человѣкъ, вѣдь, познатнѣе лѣсовъ, да и стихи-то будешь читать не полямъ, а человѣку, такъ не худо бы его почтить.

— По правиламъ риторики я отношу сильнѣйшее на конецъ...

— Вздоръ! риторика пишетъ такъ, а въ свѣтѣ совсѣмъ все дѣлается напротивъ—замѣть это. Ну, далѣе!

— *Третья строфа:*

Питомцы, хвалитесь и счастіе пойте,
И гласъ благодарности къ пѣнью устройте!
Мы чистыя воды познаній здѣсь пьемъ,
И въ чистыхъ познаніяхъ счастье найдемъ.

Четвертая строфа—изъ...

— Погоди, братецъ. Тамъ у тебя, кажется, былъ хоръ?

— Былъ.

— Кто же его споетъ? вѣдь тебѣ неприлично.

— Я полагаю составить изъ образовывающихся отроковъ, если позволите...

— Оно, конечно, можно; да смогутъ ли они?

— Ничего, у нихъ такіе звонкіе голоса—я знаю по опыту...

— Не о голосахъ дѣло, а смогутъ ли? тутъ нужна и музыка и прочее...

— Я ихъ пріуготовлю; будьте покойны, они станутъ пѣть на голосъ: *Славься симъ*, если позволите.

— Разрѣшаю.

— *Четвертая строфа*—изъ четырехстопныхъ, ямбическихъ, въ десять стиховъ,

изъ обращенія къ рощамъ, къ цвѣтоноснымъ лугамъ, къ долинамъ и вообще къ красотамъ природы, коими она благотворитъ, радуя и восхищая. *Пятая строфа:*

Питомцы хвалитесь и счастіе пойте,
И гласъ благодарности къ пѣнью устройте!
Цвѣты украшеній въ наукахъ мы рвемъ,
И въ семъ украшеніи счастье найдемъ.

— Это, братъ, ты немного у Ломоносова похитилъ — помнишь:

Науки юношей питаютъ,
Въ счастливой жизни *украшаютъ*...

Видишь, *украшаютъ*, понимаешь? немного нечисто для этакого важнаго лица! Далѣе?

— *Шестая строфа* четырехстопными, ямбическими въ десять стиховъ, изъ обращенія къ горамъ, скрывающимъ въ себѣ или дающимъ драгоцѣнное золото и чрезъ то благодѣющимъ...

— Хорошо: *благодѣющимъ*! это тонкая похвала благодѣтельному лицу.

— *Седьмая строфа*:

Питомцы хвалитесь и счастіе пойте,
И гласъ благодарности къ пѣнью устройте!
Мы золото чисто въ наукахъ беремъ.
И въ золотѣ знаній все счастье найдемъ.

Восьмая строфа—ямбами же, въ четыре стопы, въ десять стиховъ, изъ обращенія къ солнцу, съ живѣйшимъ изображеніемъ благодѣяній, даруемыхъ свѣтомъ злато-огненныхъ лучей его. *Девятая строфа*:

Питомцы хвалитесь и счастіе пойте,
И гласъ благодарности къ пѣнью устройте!
Свѣтъ животворящій здѣсь знаній мы
пьемъ,
И въ свѣтѣ познаній тѣхъ счастье найдемъ.

— Хорошо, чувствительно! а главное, безъ личностей: никто не обидится, а это первое въ сочиненіяхъ.

— *Десятая строфа*—также изъ четырехстопныхъ, ямбическихъ, въ десять стиховъ, изъ обращенія къ гармоніи или стройности вселенной, благотворящей храненіемъ всѣхъ вещей въ жизни и въ порядкѣ.

— Да, и порядокъ—дѣло хорошее; ты ничего не забылъ. Хорошо, братъ, Кантовъ!

— Старался, елико могъ. *Одинадцатая строфа*:

Питомцы хвалитесь и счастіе пойте,
И гласъ благодарности къ пѣнью устройте!
Здѣсь въ чувствахъ сердецъ знаній стройность мы пьемъ
И въ стройности чувствій тѣхъ счастье найдемъ.

Здѣсь послѣдніе стихи можно выразить и такимъ образомъ:

Здѣсь жизнь мы на стройности знаній
снуемъ
И жизни въ гармоніи счастье найдемъ...

и я не знаю, которые стихи оставить.

— Они, сказалъ начальникъ, подумавъ немного:—они равносильно хороши, какъ тѣ, такъ и другіе; впрочемъ, оставьте первые: они какъ-то звучнѣе.

— Слушаю. *Двѣнадцатая строфа*,—повторяется вся первая и при концѣ хоръ восклицаетъ:

Имъ зиждется счастія нашего рай:
Тѣмъ каждый изъ насъ веселись и играй!

— Тутъ и конецъ? спросилъ начальникъ.

— Конецъ.

— Прекрасно: и коротко, и ясно! Признаюсь, я не ожидалъ отъ тебя этого; много тутъ у тебя было этакого, піитическаго, да все такъ прикрыто, что и не догадаешься!... Теперь, братецъ, пиши съ Богомъ по этому плану; обрати особенное вниманіе на мои замѣчанія—и все будетъ отлично!

— Благодарности моей нѣтъ предѣловъ, мой благодѣтель!

— Вотъ тутъ еще бы нехудо, въ самомъ концѣ, послѣ хора мальчишекъ, поднесть нашему гостю букетъ цвѣтовъ.

— Для чего? смѣю спросить.

— Такъ, видишь, водится; вѣдь все въ газетахъ читаемъ: въ столицѣ и тому дали букетъ, и другому цвѣты поднесли, все людямъ съ талантами.

— А развѣ проѣзжающая особа одарена какимъ особеннымъ талантомъ?

— Заподлинно не знаю, а должно быть такъ, есть какой-нибудь талантъ, когда *они* сдѣлались значительнымъ лицомъ.

— Такъ я прикажу моимъ отрокамъ нащипать, ко всерадостному дню, ромашки, гвоздики, мяты и иныхъ благовонныхъ злаковъ...

— Нѣтъ, я раздумалъ: ненадобно всего брать на себя; мы *его* утѣшимъ стихами—и довольно; можетъ-статься, цвѣты ему поднесутъ отъ полиціи или отъ ратуши; я скажу объ этомъ, кому слѣдуетъ; а то, чего добраго, изъ-за цвѣтовъ наживемъ непріятелей; пусть и другіе выслуживаются, надобно и другимъ дать ходъ.

Наконецъ, Великое Захолустье дождалось радостнаго дня: загремѣлъ колокольчикъ и шестерка усталыхъ почтовыхъ лошадей, въ облакѣ пыли, принесла на станцію двумѣстную почтовую карету; въ ка-

ретѣ сидѣло давно ожидаемое важное лицо. Городъ взволновался; воздухъ загремѣлъ отъ торжественныхъ звуковъ; народъ, въ праздничныхъ платьяхъ, высыпалъ на улицу; должностные напялили мундиры. Важное лицо спокойно дремало въ каретѣ, закутавшись въ халатъ на сѣрыхъ бѣлкахъ, и вдрогнуло, когда городничій, подойдя къ опущенному окну, заговорилъ скороговоркой какія-то форменныя рѣчи.

— А! благодарю васъ, сказало лицо городничему, глядя съ изумленіемъ на толпы народа, окружившія карету.—Что у васъ сегодня, праздникъ?

— Никакъ-съ нѣтъ! Вчера изволило быть преполовеніе...

— А! преполовеніе двудневный праздникъ или трехдневный?

— Никакъ-съ нѣтъ. Смѣю доложить, однодневный. Вчерашняго числа былъ и прошелъ благополучно: ни пьянства, ни буйныхъ поступковъ не замѣчено...

— Зачѣмъ же сегодня гуляетъ народъ, да еще, кажется, въ праздничныхъ нарядахъ?

— Это по случаю пріѣзда вашего....ва, весь городъ въ торжествѣ; мѣстныя начальства просятъ позволенія представиться; купечество и мѣщанство бьютъ челомъ: хлѣбомъ-солью...

Нужно удивляться, съ какою легкостью русскій человѣкъ входитъ въ важную роль, экспромтомъ, и никогда не пропуститъ случая поважничать. Проѣзжее лицо, выслушавъ городничаго, взглянуло направо, налѣво, увидѣло весь народъ, увидѣло градскаго главу, державшаго на подносѣ аршинный пряникъ, и прочее, и вдругъ приняло самую серьезную физіономію, будто чего разсердилось, такъ-что городничій невольно взглянулъ себѣ на грудь: нѣтъ ли тамъ чего неприличнаго?—важнымъ тономъ сказало: „хорошо, повремените немного, я сейчасъ буду готовъ“, и, позвавъ своего человѣка, ушло на станцію. Черезъ полчаса допущены были къ пріѣзжему лицу всѣ знаменитости Великаго Захолустья и глава съ пряникомъ. Они нашли своего гостя совершенно преобразованнымъ: вмѣсто сѣраго халата, на плечахъ его красовался фракъ съ свѣтлыми пуговицами и разными почетными отличіями; говорилъ онъ растянуто и очень важно, безпрестанно нюхая табакъ изъ золотой табакерки, и часто заставлялъ одно и то же повторять себѣ по два и по три раза. Наконецъ, голодъ взялъ перевѣсъ надъ тщеславіемъ, и лицо рѣшилось ѣхать, чтобъ поскорѣе поспѣть къ себѣ въ деревню, къ обѣду, гдѣ его давно уже дожидали.

Уже лошади были впряжены; ямщики, въ новыхъ армякахъ, сидѣли на своихъ мѣстахъ; лакей откинулъ подножку, станціонный смотритель отворилъ дверцы кареты и стоялъ подлѣ нихъ съ самомъ почтительномъ положеніи; уже лицо сопровождаемое мѣстными властями, появилось на порогѣ крыльца... вдругъ на крыльцо взошелъ Кантовъ, низко поклонился и торжественно сказалъ: „Ваше....во! позвольте держать слово?“

Значительное лицо взглянуло на форменную одежду Кантова и сказало снисходительно: „держите!“

— Воскликните музы! ударьте въ согласныя струны на лирѣ!

звучнымъ голосомъ закричалъ Аполлосъ Ивановичъ, радуясь, что, кромѣ мецената, его слушаютъ и граждане Великаго Захолустья, точь-въ-точь Цицерона на форумѣ римскомъ. Окончивъ первую строфу, Кантовъ вопросительно взглянулъ на толпу мальчишекъ, стоявшихъ справа, внизу, возлѣ крыльца, махнулъ на нихъ, но мальчишки молчали, пряча головы другъ за друга. Въ это время *лицо*, понукаемое, вѣроятно, голодомъ, шагнуло уже два шага впередъ.

— Позвольте, ваше....ство! съ отчаяніемъ закричалъ Кантовъ, выразительнымъ жестомъ десницы останавливая *лицо*.

— Извольте, нетерпѣливо отвѣчало *лицо*.

— На семъ мѣстѣ долженствуетъ быть хоръ, составленный изъ юныхъ сердецъ, любящихъ просвѣщеніе; но отроки безмолвствуютъ, ослѣпленные блескомъ вашимъ... а болѣе блескомъ добродѣтелей вашихъ, сіяющихъ паче солнца! Итакъ, цервую продолжать:

Имъ зиждется счастія нашего рай:
Тѣмъ каждый изъ насъ веселись и играй!

И Кантовъ началъ читать свой диѳирамбъ...

ПИСЬМО ОТЪ ДРУГА,

живущаго въ городѣ Великомъ Захолустьѣ, къ другу, живущему въ Маломъ Захолустьѣ.

Милостивый Государь,

Почтеннѣйшій другъ!

Во-первыхъ, извините, что я не писалъ прежде къ вамъ о пріятномъ событіи, о которомъ буду къ вамъ писать сегодня; это происходитъ не отъ лѣности моей или не-

уваженія къ вамъ—чего Боже сохрани и подумать! а истинно потому, что событіе случилось со мною четвертаго дня и во время это почта не отходила, ибо она отходитъ одинъ разъ въ недѣлю. Итакъ, *поздравьте* меня *на мѣстѣ*, а въ случаѣ пріѣзда вашего къ намъ, въ Великое Захолустье, прошу ко мнѣ безъ церемоніи заѣзжать на квартиру въ казенный домъ, ибо я при мѣстѣ имѣю казенную квартиру. Вотъ какъ наши косятъ малину!... А помните, бывало, смотритель говоритъ въ училищѣ, показывая на меня и на васъ: „Вы оба дураки, въ васъ пути не будетъ!.. васъ на одну...“ чортъ знаетъ, что, бывало, говоритъ, а вышло напротивъ: вотъ вы уже губернскій секретарь, какъ у насъ въ городѣ распространились слухи, а я тоже уже заказалъ себѣ мундиръ—знай нашихъ!... Пусть мы себѣ и дураки!... не правда ли? мѣсто я занялъ Кантова, а онъ потерялъ мѣсто оттого, что у него умъ зашелъ за разумъ, а дѣло было просто: у насъ была благодать на нашъ городъ, отчего всѣ жители ждутъ большихъ наградъ (можетъ-быть и я получу отличіе); проѣзжало чѣрезъ городъ значительное лицо, такое важное, что я даже плакалъ, глядя на него отъ умиленія... а Кантовъ сыгралъ съ нимъ штуку, думалъ, что свой братъ, и началъ ему читать оскорбительные стихи. Значительное лицо слушало его сначала, казалось, съ удовольствіемъ, даже изволило улыбаться, а потомъ, видно, какъ разобралъ дѣло, сталъ хмуриться, морщиться, переступать съ ноги на ногу, а Кантовъ все читаетъ да читаетъ, съ часъ читалъ, кончилъ и поклонился. Значительное лицо ни слова. Подумаешь, какъ великіе люди умѣютъ владѣть собою!... Только, садясь въ карету, спросилъ вполголоса начальника Кантова:

— Онъ немного помѣшанъ?

— Почти такъ, ваше....ство, отвѣчалъ начальникъ.

Когда уѣхало лицо, начальникъ накинулся ругать Кантова и всѣ на него напали, стали читать стихи и отгадывать, за что знаменитый гость разсердился; да сейчасъ же и нашли, что Кантовъ вездѣ вмѣсто *они* или *о нихъ*, говоря о лицѣ, писалъ *онъ*, *о немъ*. Тутъ начальникъ справедливо назвалъ Кантова либераломъ и карабинеромъ и приказалъ ему выйти въ отставку. А Александра Ивановна, бывшая при проѣздѣ лица, для почета и порядка, сейчасъ послала за мной и говоритъ: „Что вы не служите? пора вамъ перестать собакъ бить по городу, проситесь на мѣсто Кантова“. Я было заикнулся, а она мнѣ резонъ: „вѣдь вы, говоритъ, не глупѣе Кантова, съ мѣстомъ управитесь“.—„Это можетъ быть, сказалъ я, да протекціи у меня нѣтъ, а у насъ, въ Великомъ Захолустьѣ, и умереть не умрешь безъ протекціи“. А она мнѣ говоритъ: „не безпокойтесь: я женщина добродѣтельная, люблю помогать бѣдности; выучите моего воспитанника Ѳомку грамотѣ, такъ я сейчасъ поѣду къ начальнику и буду просить за васъ; посмотрю, какъ онъ дамѣ, въ моемъ чинѣ, посмѣетъ отказать!“ „Ладно, сказалъ я, Ѳомку выучу на славу!“ Вотъ поѣхала она къ начальнику, и до тѣхъ поръ не вышла изъ комнаты, пока онъ меня не опредѣлилъ. Итакъ, поздравьте меня; а Кантовъ ѣдетъ къ одному здѣшнему помѣщику въ деревню учителемъ. Вотъ какъ идутъ наши! Увѣдомьте, пожалуйста, почтеннѣйшій другъ, при случаѣ, давно ли можно поздравить васъ съ монаршею милостью — губернскимъ секретаремъ, или вѣсти сіи невѣрны? но я вѣрю, ибо гласъ народа—гласъ Божій; а весь нашъ городъ только и говоритъ о вашемъ производствѣ. Если мнѣ будетъ какая награда по случаю проѣзда означеннаго лица, то я васъ сейчасъ же увѣдомлю, а вы сообщите подъ рукой Ѳедосьѣ Тихоновнѣ; авось она станетъ смотрѣть на меня ласковѣе и сдѣлается мягче къ стрѣламъ Амура; тогда, можетъ быть, я васъ попрошу и вѣнецъ подержать—это я и сплю и вижу!...

Честь имѣю пребыть съ неимовѣрнымъ почтеніемъ вашимъ покорнѣйшимъ слугою

вашъ другъ“...

Кантовъ, по словамъ его, удалился, подобно Виргилію, въ буколическую весь, для бесѣдованія съ музами полей и рощей, а просто сказать—онъ уѣхалъ въ сельцо Букино, учить дѣтей помѣщика Букина. Правда, многіе изъ жителей Великаго Захолустья остерегали Букина: „не берите къ себѣ въ домъ Аполлоса Ивановича: онъ дуракъ“; другіе прибавляли: „и еще человѣкъ безъ всякой нравственности: дерзнулъ сдѣлать афронтъ важному лицу весь городъ осрамилъ! Не вводите такого человѣка въ семейство!“

— Э! полноте, господа!... мнѣ афронта не сдѣлаетъ, я его поверну по-военному; у меня, знай корова свое стойло—вотъ мое правило...

— Это такъ, вы человѣкъ характерный, да глупъ-то онъ...

— Все-таки умнѣе моихъ пострѣлятъ: пусть ихъ учитъ чему знаетъ; учился же онъ чему-нибудь? а я дешевле учителя не найду; при томъ же, я страхъ не люблю этихъ всезнаекъ, астрономовъ этихъ, что звѣзды съ неба хватаютъ: какъ-разъ оплететъ тебя, за гривну продастъ, а ты только похлопаешь ушами....

И Букинъ увезъ піиту въ Букино.

Аполлосъ Ивановичъ зажилъ въ Букинѣ спокойно: хладнокровно дралъ за уши ребятишекъ, еще хладнокровнѣе слушалъ грубости ихъ батюшки, обѣдалъ на концѣ стола, словно зачумленный, спалъ на чердакѣ и, размышляя о своей участи, началъ писать дидактическую піиму подъ заглавіемъ: *Разумъ и рокъ*.

Въ это время въ Петербургѣ, на табачной фабрикѣ, какой-то мальчикъ началъ продавать на сторону хозяйскій табакъ въ полцѣны и, вѣроятно, боясь наказанія за свое добросердечіе, не показывалъ этихъ денегъ хозяину, а употреблялъ на свои нужды. Хозяинъ узналъ о такой торговлѣ, надѣлалъ мальчику непріятностей и сослалъ его съ фабрики. Мальчикъ былъ грамотенъ, боекъ, ни отъ чего не краснѣлъ, могъ говорить полчаса безъ устали страшную безсмыслицу и при этомъ постоянно божился: съ такими способностями долго ли человѣку найти мѣсто? Такъ и случилось: не прошло недѣли, какъ мальчикъ уже стоялъ за прилавкомъ богатаго книжнаго магазина и клялся и божился, стараясь продать старую книгу по цѣнѣ, напечатанной на оберткѣ.

Хозяинъ книжнаго магазина спалъ, ѣлъ устрицы, пилъ шампанское съ пріятелями, которые Богъ знаетъ откуда къ нему явились, и объѣзжалъ рысаковъ, а въ свободное время занимался осушкою болотъ и охотой за жаворонками; въ магазинѣ онъ только являлся изрѣдка, и то такъ, для почета. Вся торговля лежала на прикащикахъ. Неудивительно, что мальчикъ съ табачной фабрики, прослужа годъ, вдругъ захотѣлъ самъ сдѣлаться хозяиномъ. При разсчетѣ, со всѣми натяжками со стороны хозяина, хозяинъ оказался должнымъ мальчику около тысячи рублей, и, по недостатку денегъ, выдалъ ему на двѣ тысячи книгъ. И вотъ, далеко гдѣ-то, около Сѣнной, въ подвалѣ явилась новая книжная лавочка; объявленія о ней на саженной бумагѣ, аршинными литерами разошлись по городу при афишкахъ и разсѣялись по имперіи при журналахъ. О хозяинѣ этой лавочки заговорили, что онъ капиталистъ; услыша это, добрые люди *приняли въ немъ участіе*, то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ назвали его честнѣйшимъ, безкорыстнѣйшимъ, просвѣщеннѣйшимъ и проч...

Кантовъ, живя въ домѣ Букина, сдѣлался человѣкомъ для особыхъ порученій и часто былъ посылаемъ на почту, коли что нужно было отдать или получить съ роспискою; онъ, дескать, грамотный, пусть съѣздитъ, чтобъ человѣка не отрывать отъ работы.

Въ одну изъ своихъ поѣздокъ на почту, Кантовъ засталъ почтмейстера, читавшаго на почтѣ разные журналы; въ уѣздѣ ихъ получалось довольно.—Отъ любопытства заглянулъ онъ и самъ, и прямо увидѣлъ объявленіе о новой книжной лавочкѣ, названной, для приличія, магазиномъ.

— Ого! сказалъ Кантовъ.

— А что? спросилъ почтмейстеръ.

— Объявленіе, да какое! должно быть ученый человѣкъ...

— Да, и должно быть богачъ, мошенникъ.

— Отчего жъ богатъ, и мошенникъ?

— Мошенникъ-то у меня присловье, это такъ, я всегда говорю это слово, говоря о торговцахъ, даже въ глаза: это ихъ не обижаетъ, только ухмыляются... А богатъ-то онъ долженъ быть; въ Петербургѣ на пять рублей не заведешь магазина!... я слышалъ, тамъ—ой какъ все кусается!... за квартиру, можетъ быть, сотъ пять платитъ, да кушанье, да прочее, а тоьаръ... А вашему брату, сочинителямъ, вѣдь, говорятъ, что слово скажетъ—и подай грошъ!...

— Такъ вы думаете, онъ богатъ?...

— Всенепремѣннѣйше! иначе о немъ такъ бы не писали. Тамъ народъ умный, себѣ на умѣ; сдѣлаетъ все для тебя—и ему сдѣлай!... ужъ я слышалъ!... Пусть мы, такъ себѣ, провинціалы, а все-таки люди, и живемъ между людьми.

— Совершенная правда, замѣтилъ Кантовъ задумчиво, раскланялся съ почтмейстеромъ и уѣхалъ; всю дорогу странныя мысли толпились въ головѣ его.

„А что“, думалъ піита, „если бъ я послалъ просвѣщенному этому книгопродавцу мою піиму? вѣдь она совершенно кончена; здѣсь ее не поймутъ, еще, чего добраго, Букинъ раскуритъ ею трубку—отъ помѣщика это станется: ужъ я терпѣлъ отъ нихъ на вѣку!... А послать ее—другое дѣло; человѣкъ просвѣщенный сейчасъ пойметъ ее, обсудитъ и оцѣнитъ. А не худо бы теперь получить денегъ!... право, не худо бы!... хоть бы тысячъ десять. Говорятъ, Пушкинъ беретъ по червонцу за строчку, а посмотришь—пустяки, нѣтъ соку, ума, вовсе безъ троповъ; да Богъ съ нимъ! его такой *рокъ*, то есть судьба. Я съ удовольствіемъ помирюсь на десяти тысячахъ; хоть у меня 16 тысячъ стиховъ, пускай и издатели попользуются, не все себѣ... Я еще къ осени напишу другую піиму...

Подобныя мысли мучили Кантова съ недѣлю; наконецъ онъ, не выдержалъ, переписалъ два отрывка изъ своей поэмы, каждый въ тысячу стиховъ, и отправилъ въ новооткрытый магазинъ новаго книгопродавца, при самомъ вѣжливомъ письмѣ.

1-й отрывокъ былъ изъ самаго начала поэмы, гдѣ піита представлялъ состояніе первобытнаго человѣка, который:

Блуждалъ онъ, точно какъ безъ пастыря овечка,
Не зная на землѣ ни мѣста, ни мѣстечка!

А 2-й—изъ средины поэмы, изображающей низверженіе язычества въ Римѣ. Этотъ отрывокъ заключался стихами, приводившими въ неописанный восторгъ самого автора:

Юпитеръ Капитольскъ, что красовался въ храмѣ,
Поверженъ, палъ, лежитъ иль въ Тибрѣ, или въ ямѣ...

Письмо было написано тоже стихами, только не александрійскими, а болѣе или менѣе басенными, какъ говорилъ Кантовъ; въ немъ излагалась просьба о напечатаніи отрывковъ за приличную плату и о скорѣйшей высылкѣ денегъ, дабы авторъ, получа ихъ, могъ самъ ѣхать въ Петербургъ и лично заняться печатаніемъ своей поэмы.

Тогда (въ заключеніе восклицалъ онъ):

Стихи мои, ликуя, зазвучатъ,
Какъ оные серебрянные звуки,
Что льются черезъ ваши руки,
Литературный меценатъ!...

Прошло полгода, о стихахъ Кантова ни слуху, ни духу. Задумался нашъ піита и написалъ уже къ просвѣщенному книгопродавцу письмо прозой, прося его непремѣнно отвѣчать, ибо, дескать, мой талантъ пропадетъ въ глуши, гдѣ только и дѣла, что говорятъ про табакъ да про свиную щетину. Для вѣрности, въ письмо онъ вложилъ пятирублевую ассигнацію, прося употребить ее на письмо, и началъ безпрестанно справляться на почтѣ: нѣтъ ли на его имя писемъ изъ Петербурга.

— Что тамъ тебя такъ безпокоитъ, Аполлосъ? часто говаривалъ помѣщикъ:—какого ты чорта ждешь изъ Питера? Ужъ не въ министры ли думаешь опредѣлиться?

— Такъ, отвѣчалъ піита, у меня есть тамъ школьные товарищи.

— Сколько лѣтъ ты у меня живешь, а я прежде и не слыхивалъ о нихъ!

— Не приходилось.

— Странно, братъ! тутъ что-то недоброе. Ты со мной не очень хитри, я, вѣдь, прямой человѣкъ; ты меня знаешь, душа у меня добрая, на распашку... чуть что не такъ, не по-моему, такой содомъ подыму, что и своихъ не узнаешь...

До содома было недалеко. Недѣлю спустя послѣ этого дружескаго разговора, Букинъ пріѣхалъ изъ города въ состояніи близкомъ къ бѣшенству... Страшная брань сыпалась на бѣднаго піиту, а за что—никто понять не могъ; между общими мѣстами, удобоприменяемыми ко всякому, слышались выраженія: злоумышленникъ!... моимъ табакомъ торговать!... мою щетину продавать! безъ моего вѣдома!... а еще лѣзетъ въ благородные!... дрянь этакая, голь перекатная!... самозванецъ и т. д.

Въ заключеніе Букинъ выгналъ піиту изъ дома и бросилъ ему въ глаза какую-то бумагу, прибавя:

— Вотъ оно, возьми его, съѣшь, коли не подавишься! Богъ меня надоумилъ распечатать его! Не бросай, возьми, оно тебѣ принадлежитъ; я не хочу твоего добра, а ты моего не трогай! Филька! отобрать отъ него новые сапоги и сюртукъ.

Выйдя на большую дорогу, Аполлосъ Ивановичъ вздохнулъ свободно и прочиталъ письмо, брошенное ему помѣщикомъ при прощаньи... Оно было отъ просвѣщеннаго книгопродавца:

Ваше Благородіе

Милостивый Государь

Аполлосъ Ивановичъ!

По жѣланію Вашему, сімъ честь имею изведстить на счетъ стиховъ вашихъ, что они вовся нейдутъ, и всѣ стихи нейдутъ нониче совсѣмъ, и торговля плохая на книги; а на счетъ другаго товара, если имѣется у васъ табакъ или Свиная щетина, то можно торговлю преизводить Повыгодняе, особливо табакомъ. Я въ намѣреніи оставить книжную Торговлю и заняться этой частью, она же мнѣ не Безъизвѣстна; такъ вы потрудітесь прислать образчики; мы это дѣло можемъ уладить, только нуженъ Капіталъ.

Вашего Благородія

покорнѣйшій слуга

N.N.

„Козни! зависть!“ прошепталъ Аполлосъ Ивановичъ: „нашему брату нигдѣ ходу не даютъ... Рѣшено, надо самому явиться, надобно...“

Кантовъ бодро всталъ; глаза его блестѣли огнемъ горячки; онъ пошелъ твердыми шагами, рѣшительною поступью, какъ человѣкъ, который не намѣренъ отступать, пошелъ все далѣе и далѣе... Куда?—прямо въ Петербургъ!

Коротко ли, долго ли, весело ли, скучно ли шелъ Кантовъ—не знаю, только онъ наконецъ пришелъ въ Петербургъ въ изорванныхъ сапогахъ, въ платьѣ съ заплатами; набожно перекрестился Спасу на Сѣнной и началъ тутъ же отыскивать магазинъ книгопродавца-мецената, по адресу, выписанному когда-то изъ газетъ.

Но—увы! магазина на означенномъ мѣстѣ не было, и въ-силу бѣдный піита могъ допроситься отъ дворниковъ, что книжная лавчонка, какъ они говорили, давно уже запечатана и продана съ молотка; а хозяинъ ея, баютъ, вырвался и служитъ гдѣ то на сальномъ буянѣ или на свѣчномъ заводѣ. Пошелъ Кантовъ осматривать книжныя лавки, но вездѣ его принимали довольно грубо; только одинъ книгопродавецъ, очень ласково улыбаясь, сказалъ скороговоркой Кантову, едва показавшемуся на порогѣ магазина: „послѣ, послѣ, теперь некогда; приходи въ субботу". Кантовъ пришелъ въ субботу. Книгопродавецъ, попрежнему улыбаясь, сунулъ ему въ руку грошъ...

Беззащитный, безпомощный, одинокій, грустно сидѣлъ Кантовъ на лавочкѣ Адмиралтейскаго бульвара, а кругомъ его было шумное, свѣтлое утро; экипажи гремѣли на площади; люди шли мимо его по бульвару такіе благоприличные, разодѣтые, словно графы да князья, княгини да графини, и всѣ мимо да мимо...

„Торгаши! жрецы Ваала", прошепталъ піита, презрительно улыбнулся и подошелъ къ Невѣ.

Здѣсь, перегнувшись черезъ перила моста, онъ внимательно смотрѣлъ въ свѣтлыя струи Невы, и чѣмъ долѣе смотрѣлъ въ нее, тѣмъ обаятельнѣе становилось зрѣлище: прозрачныя волны катились, бѣжали, весело сталкивались и съ невыразимо-сладостнымъ плескомъ и ропотомъ исчезали, а глубже, подъ волнами, казалось, такъ безмятежно стояла чистая вода; зрѣніе піиты становилось острѣе, пучина раздвигалась передъ нимъ, и въ глубинѣ онъ ясно видѣлъ гладкое песчаное дно, на немъ тысячи блестящихъ камешковъ. цвѣтныхъ раковинъ; они сверкали, переливались радугой, а отъ пучины вѣяло прохладой, а бѣдному Кантову было жарко: внутренняя горячка палила его, голова кружилась; онъ все болѣе и болѣе свѣшивался за перила, руки его судорожно вытягивались къ водѣ... Вдругъ раздался благовѣстъ у Исаакія... Нашъ бѣднякъ вздрогнулъ, снялъ шапку, перекрестился, протеръ себѣ глаза, еще разъ перекрестился и быстро пошелъ опять на бульваръ, опять сѣлъ на знакомую ему скамейку, и опять передъ нимъ шли люди, и опять проходили мимо...

Но на этотъ разъ Кантовъ глядѣлъ какъ-то спокойнѣе, началъ всматриваться въ физіономію проходившихъ, въ надеждѣ отыскать кого-нибудь изъ своихъ старыхъ товарищей, которые, какъ онъ слышалъ, уже давно служили въ Петербургѣ, и какъ нѣтъ той нелѣпости, которая, благодаря случаю, не могла бы исполниться, то, къ удивленію самого піиты, онъ въ одномъ изъ проходящихъ узналъ Розанскаго, того самого, съ которымъ онъ, во время оно, былъ привезенъ въ семинарію.

Не стану описывать встрѣчи Розанскаго, уже начальника отдѣленія, съ Кантовымъ; ихъ перваго разговора, можетъ-быть, очень комическаго, а можетъ быть и трагическаго; но дѣло въ томъ, что, мѣсяцъ спустя послѣ этого, Кантовъ сидѣлъ на той же скамеечкѣ, на бульварѣ, уже въ вицъ-мундирѣ, круглой шляпѣ и порядочныхъ сапогахъ.

Розанскій опредѣлилъ Кантова на вакансію чиновника для письма, съ жалованьемъ 750 руб. въ годъ, въ отдѣленіе, которымъ начальствовалъ, взялъ съ бѣднаго піиты слово не писать стиховъ, а лучше купить *новѣйшую россійскую пропись* и позаняться почеркомъ. Кантовъ, казалось, вовсе излечился отъ своей болѣзни и чинно, скромно переписывалъ отношенія, какъ прилично сорокалѣтнему писцу... Голодъ чего не сдѣлаетъ! Но когда физическія силы піиты поправились, опять началъ къ нему являться бѣсъ піитики и сладко шепталъ: „лѣнивецъ! ты дремлешь, а вотъ вокругъ тебя совершаются событія, никѣмъ невоспѣтыя, и то, и другое, и третье... напиши-ка оду, поднеси-ка ее... авось, найдется меценатъ, авось..."

„Охъ!..." стоналъ Аполлосъ Ивановичъ, закрывая глаза и затыкая уши: „много вытерпѣлъ я за свой талантъ... прошло время піитики, сиротствуетъ она... Убирайся въ болото, окаянное видѣніе!..."

Видѣніе не отставало и шептало піитѣ соблазнительныя рѣчи.

Спустя полгода, Кантовъ опять писалъ стихи, только съ величайшею осторожностью: писалъ въ полночь, предварительно заперевъ дверь, заткнувъ замочную скважину и занавѣсивъ шинелью и платками окно своей квартиры.

Сначала піита пряталъ свои произведенія за три замка, а потомъ началъ носить ихъ всегда съ собой въ боковомъ карманѣ вицъ-мундира, бережно завернувъ въ листъ бѣлой голландской бумаги.

„Оно и безопаснѣе" думалъ Аполлосъ Ивановичъ: „у меня въ карманѣ никто ихъ

ие увидитъ, а можетъ быть пригодится на всякой случай, неравно найду *человѣка*... Охъ! не даромъ Діогенъ искалъ человѣка днемъ со свѣчой..."

Прошло около года службы Кантова; приближалось свѣтлое Христово воскресеніе; въ департаментѣ начали собираться кучками чиновники и поговаривали о предстоявшемъ раздѣлѣ остаточной суммы; многіе пророчили Кантову по крайней мѣрѣ полтараста руб. ассигнаціями... Кто толковалъ о новомъ жилетѣ, кто—о легкомъ пальто, даже самъ Аполлосъ Ивановичъ увлекся духомъ времени и пріискалъ себѣ, по случаю, и почти приторговалъ, отличный красный фуляровый платокъ, съ каймой померанцоваго цвѣта. Между тѣмъ пришелъ праздникъ. Въ первый день праздника, утромъ, въ раздумьи стоялъ Аполлосъ Ивановичъ на набережной у сената; его занималъ вопросъ: „ѣхать или не ѣхать на Васильевскій островъ?"

По Невѣ шелъ довольно сильный ледъ и перевозъ былъ труденъ, ѣхать нехорошо. На островѣ жило одно значительное лицо министерства, въ которомъ служилъ Кантовъ: надобно поздравить лицо съ радостнымъ днемъ. Не ѣхать— еще хуже!...

— Милостивый государь, господинъ чиновникъ... раздался на рѣкѣ чей-то голосъ.

Кантовъ посмотрѣлъ внизъ: тамъ, въ яликѣ сидѣлъ человѣкъ, закутавшись въ шинель.

— Что вамъ угодно? спросилъ Кантовъ.

— Если вы хотите переѣхать на островъ, то садитесь въ мой яликъ; вдвоемъ ѣхать и пріятнѣе, и безопаснѣе.

Кантовъ сѣлъ въ яликъ. Поѣхали.

— Вы, вѣроятно, ѣдете поздравить *такое-то лицо?* спросилъ незнакомецъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ Кантовъ; а вы почему это узнали?

— По вашей одеждѣ. Вы, вѣдь, такого-то министерства?

— Точно такъ, такого-то министерства и такого-то департамента.

— А! сказалъ незнакомецъ, и замолчалъ.

Ледъ шелъ все сильнѣе и сильнѣе; яликъ отнесло ниже академіи, а еще онъ былъ на полширины рѣки отъ берега. Незнакомецъ зѣвнулъ и замѣтилъ, что въ этомъ путешесгвіи много поэзіи. При этомъ замѣчаніи Кантовъ встрепенулся, словно бракованный военный конь, услышавшій знакомый звукъ бранной трубы...

— А вы любите поэзію? спросилъ бѣдный піита дрожавшимъ голосомъ.

— Образованный человѣкъ долженъ любить ее...

— Если такъ, то позвольте... Я, кажется, не отниму у васъ времени... и время такое, и дѣлать совершенно нечего...

И Кантовъ торопливо полѣзъ въ свой боковой карманъ...

— Что съ вами? что тамъ у васъ? спросилъ незнакомецъ.

— Здѣсь у меня плоды моихъ досуговъ, говорилъ Кантовъ, развертывая трепещущими руками изъ листа бумаги тетрадку своихъ стиховъ:—если удостоите вашего благосклоннаго вниманія...

— Читайте, если вамъ не холодно...

— Священный огнь согрѣваетъ меня при видѣ человѣка, понимающаго сладость піитики!... На первый разъ, позвольте вамъ доложить небольшой мадригалъ теперешнему празднику, потомъ тріолетъ на вскрытіе Невы, потомъ...

— Извольте.

Кантовъ, дрожа отъ холода, прочелъ мадригалъ, тріолетъ, акростихъ, десять рондо и около ста четырнадцати сонетовъ. Незнакомецъ сначала смѣялся, потомъ хмурился и наконецъ началъ оглядываться на всѣ стороны; но кругомъ шелъ сильный ледъ, берегъ былъ далеко, яликъ несло къ горному институту. И на каждый вопросъ піиты: позвольте еще это? незнакомецъ отвѣчалъ голосомъ отчаянія: *извольте!* Наконецъ, пристали къ берегу въ Чекушахъ; незнакомецъ, словно изъ огня, выпрыгнулъ изъ ялика и пустился бѣжать.

— Милостивый государь, погодите!... кричалъ Кантовъ, догоняя незнакомца.

— Что вамъ еще отъ меня угодно?

— Сдѣлайте одолженіе, не оставьте меня вашимъ лестнымъ знакомствомъ; я служу въ такомъ-то департаментѣ, тамъ же и живу, на казенной квартирѣ: заходите ко мнѣ почитать; спросите тамъ Аполлоса Ивановича Кантова.

— Много благодаренъ...

— Нѣтъ, я вамъ много благодаренъ: вы первый поняли и благодушно оцѣнили труды мои; я было очерствѣлъ между этими чернильными душами.

Тутъ Кантовъ ругнулъ препорядочно весь свой департаментъ.

На ооминой недѣлѣ, придя въ департаментъ, Кантовъ узналъ много новостей: что начальникъ ихъ департамента въ первый день Пасхи повышенъ чиномъ и переведенъ на важнѣйшее мѣсто, а въ департаментъ опредѣленъ другой; что остаточную сумму раздѣлили; что уже есть росписаніе, но что въ немъ нѣтъ его, Кантова, а главное, что начальникъ отдѣленія Розанскій очень сердитъ и уже два раза выходилъ и сурово спрашивалъ: гдѣ Кантовъ? Кантовъ пошелъ къ Розанскому.

— Войдите вы въ мое положеніе, сказалъ начальникъ отдѣленія навстрѣчу Кантову:— мнѣ жаль васъ, но войдите въ мое положеніе... Я говорилъ, что бредни, глупые вирши не доведутъ васъ къ добру. При томъ же это дерзость мучить почтенную особу, мало этого, благодѣтеля, скажу безъ преувеличенія; и еще ей ругать своихъ товарищей и начальниковъ!... Знаете, чѣмъ это пахнетъ?...

— Я никого не мучилъ... развѣ во снѣ.

— Что вы бредите? Вы на перевозѣ мучили новаго нашего начальника своими стихами!... Хорошъ пріемъ, да еще и брань!... а я васъ еще рекомендовалъ!... не въ пору, что называется, расчувствовался!... Что обо мнѣ подумаютъ?... Войдите въ мое положеніе!...

Не успѣли порядочно зазеленѣть липки на Адмиралтейскомъ бульварѣ, какъ уже сидѣлъ тамъ, на скамейкѣ, Аполлосъ Ивановичъ, очень благопристойно одѣтый, только на его фракѣ, вмѣсто форменныхъ, красовались простыя шелковыя пуговицы.

Это было давно.

А не очень давно случилось мнѣ быть въ Петербургѣ у одного богатаго купца на обѣдѣ. Мало тамъ было бородъ, много фраковъ, а еще больше мундировъ. Когда начали пить шампанское, явилась здоровая румяная кормилица, въ красномъ сарафанѣ, въ золотомъ кокошникѣ, и вынесла на рукахъ ребенка; ребенокъ безсмысленно глядѣлъ на пестрое общество и хныкалъ; общество, напѣнивъ бокалы, провозгласило здоровье именинницы—это была дочь хозяина, ребенокъ одного года. Хозяинъ важно раскланивался, ребенокъ кричалъ, гости шумѣли. Вдругъ изъ двери, ведшей въ переднюю, раздался голосъ: „Позвольте держать слово?“

— А! Иванычъ, закричалъ хозяинъ:— добро пожаловать, милости просимъ.

Высокій, лысый старикъ, стоявшій у двери, продолжительно кашлянулъ, какой-то рѣзкой діезой, точь-въ-точь подъячій, хотящій попросить у васъ взятку, и, вынувъ изъ-за пазухи своего долгополаго нанковаго сюртука листъ бумаги, началъ читать:

НА РОЖДЕНІЕ БЛАГОЛѢПНОЙ ДОЧЕРИ ИМЕНИТАГО ЧЕЛОВѢКА, НАШЕГО МЕЦЕНАТА N.N., ИЗЪЯВИВШАГО ЖЕЛАНІЕ, ДАБЫ ПІИТЪ ИЗОБРАЗИЛЪ ВЪ НЕМЪ ВЕСЬ ЕГО ХАРАКТЕРЪ.

Добромыслу,
Твердомыслу
Доброхоту!...

Въ трехъ сихъ реченьяхъ
Весь твой характеръ
Ясно открытъ.

Можно прибавить:
Любишь ученыхъ,
Имъ но не льстишь.

Честь въ томъ и слава!
Въ мірѣ подлунномъ
Все суета...

И долго читалъ старикъ, размахивая руками, эти стихи, которыхъ я не помню до конца, но знаю, что далѣе и далѣе они все болѣе отходили отъ здраваго смысла и кончались самой высокопарной галиматьей. Гости захлопали, разумѣется, руками.

Хозяинъ далъ піитъ рюмку вина, какую-то монету, и піитъ отправился въ переднюю.

— Кто это? спросилъ я, послѣ обѣда, одного молодого человѣка самой неукоризненной наружности.

— О, это знаменитый поэтъ! отвѣчалъ онъ, Аполлосъ Ивановичъ Кантовъ, Онъ вездѣ на купеческихъ свадьбахъ, крестинахъ, именинахъ и другихъ торжествахъ, является и читаетъ стихи—пресмѣшной человѣкъ!—И юноша началъ хохотать.

— Вы не повѣрите, продолжалъ молодой человѣкъ, отдохнувъ отъ смѣха:- какой это потѣшный старикъ; вотъ увидите. Аполлосъ Иванычъ! Аполлосъ Иванычъ!...

Кантовъ робко вышелъ.

— Спойте-ка намъ пѣсенку.

— Много особъ здѣсь именитыхъ... серьезно замѣтилъ піитъ, искоса поглядывая на общество:— чтобъ иногда... знаете...

— Понимаю! чтобъ не вытолкали васъ, какъ третьяго дня?... Нѣтъ, не бойтесь, я отвѣчаю...

— Сумнительно.

— Э! полноте! я вамъ принесу пуншу.

— Пожалуй!... а по какой части спѣть?

— Ну, спойте хоть по нашей части, по математикѣ.

И Кантовъ запѣлъ на голосъ: „Я цыганка молодая:“

Логариѳмы
Намъ не риѳмы,
Понимать не можемъ ихъ мы,—
Люшеньки люли!...

Кантовъ пѣлъ; окружавшіе его смѣялись до упаду... Я не былъ расположенъ смѣяться и ушелъ; въ растворенное окно долетали ко мнѣ на улицу звуки пѣсни этого несчастнаго старика...

Впослѣдствіе я отыскалъ Кантова, и изъ его разсказовъ составилъ эту біографію.

1844.

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Онъ добрый человѣкъ, и Богъ ему судья.

Иванъ Ивановичъ слылъ между знакомыми за добраго малаго; ни съ кѣмъ не ссорился, не спорилъ, служилъ исправно, еще исправнѣе отдавалъ визиты по праздникамъ, соблюдая строгое приличіе въ одеждѣ и даже въ прическѣ; употреблялъ устрицъ, хотя не былъ до нихъ большой охотникъ, ѣлъ селедки безъ уксуса, любилъ хересъ и оперу, ни у кого не занималъ денегъ, курилъ богосовскія папиросы и посѣщалъ всѣ бенефисы Александринскаго театра. Согласитесь, какъ не назвать его добрымъ малымъ?

У Ивана Ивановича было въ провинціи порядочное состояніе. жилъ старикъ-отецъ и матушка и благоденствовала толпа тетушекъ и кузинъ, любившихъ его самого, а еще болѣе его блестящую форменную одежду.

Зная душевныя качества Ивана Ивановича, прибавьте къ этому его наружность: благообразное лицо вѣчно-румяное, благосклонную улыбку, свѣтлорусые волосы, приглаженные помадой à la vanille, немного толстыя, пухленькія губки, голубые глаза, всегда подернутые маслянистою влагою—и вы будете имѣть довольно подробное понятіе о *геро*ѣ моего разсказа.

Въ сентябрѣ 184. года, Иванъ Ивановичъ взялъ отпускъ на четыре мѣсяца и поѣхалъ на родину отдохнуть и, какъ выразился онъ, пожуировать, но болѣе, чтобъ блеснуть новымъ своимъ чиномъ. Впрочемъ, матушка увѣряла всѣхъ сосѣдокъ, что ея Ваня пріѣхалъ единственно для нея; что онъ ее очень любитъ; что онъ единственный сынъ въ мірѣ; что ее Богъ благословилъ, и тому подобное. А отецъ говорилъ: „не вѣрьте ей: вретъ старуха; Ваня почтительный сынъ, любитъ ее, да только онъ для меня пріѣхалъ, онъ мнѣ самъ это сказалъ; да и по истинѣ сказать, о чемъ взрослому парню толковать съ бабой? не учиться же ему огурцы солить?!... А со мною ему потолковать пріятно и полезно: много опыта имѣлъ я на вѣку; чего я не перенесъ, когда блокировали Замостье!.. да и въ мирное время чего не испыталъ я!—стоитъ только поразсказать“.

И старикъ пускался въ безконечные разсказы, которые были очень интересны только для него самого.

— А я знаю, шептала въ это время Ивану Ивановичу на ухо его тетушка, дѣвушка лѣтъ сорока пяти:—а я знаю, зачѣмъ вы пріѣхали, хоть побожиться такъ знаю.

— Неужели?!

— Знаю. Вотъ сейчасъ начну—хотите?

— Начинайте.

— Вы пріѣхали, какъ бы сказать... пріѣхали для С.

— Для С.?

— Да, отгадала? при этомъ тетушка состроила самодовольную гримасу.

— Не понимаю, тетушка.

— Ахъ, проказникъ! видишь, какъ прикидывается!.. пожалуй, я скажу яснѣе: что начинается съ буквы С?... Ага! покраснѣлъ...

— Самоваръ?

— Фи! съ какой стати! другое.

— Самоѣдъ, стекло... свинецъ... стаканъ.

— Помилуй! женскаго рода.

— А!... ну, такъ свѣча или слива?

— Ахъ, ты меня уморишь, Жанъ! Я говорю дѣло, а ты смѣешся... не шутя, женское имя скажи на С.

— Софья?

— Нѣтъ.

— Серафима?

— Нѣтъ, нѣтъ какой недогадливый! Виновата, виновата! извини, дружочекъ! Боже мой! я и сама перепутала... не *С*, не та буква, совсѣмъ не та буква, не *С*, съ *А* начинается... Господи! какая я вѣтренница! мнѣ, бывало, и въ пансіонѣ за это доставалось.

Старуха закашлялась.

— Говорите, тетушка, безъ загадокъ. Я, право, не мастеръ отгадывать и шарадъ не люблю.

— А я люблю шарады. Бывало, когда у насъ стоялъ полкъ, спроситъ какой-нибудь кавалеръ, что это, сударыня:

Мое первое въ Италіи протекаетъ,
Второе меня сожигаетъ,
А цѣлое домы разрушаетъ!...

Я всегда первая закричу: пожаръ!... Понимаешь? *По*—рѣка въ Италіи, *жаръ*—въ человѣкѣ, а цѣлое пожаръ... хоть какой домъ разрушитъ.

— Понимаю. А все-таки не знаю, зачѣмъ, по-вашему, я пріѣхалъ.

— Экой упрямый! весь въ матушку! Да скажи какое нибудь имя на А.

— Анастасья! Акулина!

— Ай, нѣтъ, сто разъ нѣтъ!... Слушай же, ну, скажу, А... Але... Ну, договаривай!... Александра!... А что, неправда?

— Какая?...

— Господи! Александра Петровна, наша Сашенька Буслаева—помнишь? съ которой ты игралъ еще въ дѣтствѣ...

— А! Она вышла изъ пансіона?

— Какъ же. А ты небойсь и не слышалъ?

— Право, нѣтъ, тетушка; а что она, хорошенькая?

— Прехорошенькая! милашечка! я ее отлично знаю: я по сосѣдству часто ѣзжу къ нимъ въ баню—чудо что за невѣста; какъ стройна, а какъ говоритъ пофранцузски!... а какъ богато одѣвается! да и пять сотъ душъ имѣютъ свою цѣну; вѣдь за ней, другъ мой, пятьсотъ душъ!

— Гм! сказалъ Иванъ Ивановичъ и поцѣловалъ руку тетушки.

Тетушка была въ восторгѣ.

Тетушка Ивана Ивановича смолоду была очень мечтательна и чувствительна, чему много помогли романы прошлаго вѣка; она искала себѣ идеальнаго мужа по образцу Малекъ-Аделя съ братіей; а какъ *таковыхъ* въ нашемъ XIX вѣкѣ не оказалось, то она осталась дѣвушкой и, потерявъ всякую надежду на супружеское счастіе, получила сильную наклонность женить другихъ: сводила молодыхъ людей, увѣряла ихъ, что они влюблены другъ въ друга, переносила ихъ письма, устроивала свиданія, рискуя при подобныхъ случаяхъ получить большія непріятности отъ *жестокихъ родителей*, и все это единственно для того, чтобъ переженить ихъ... то-есть не родителей, а молодыхъ людей. Сначала утѣшало тетушку чувство, что она доставляла величайшее, по ея мнѣнію, и неописанное блаженство, соединяя узами брака любящіяся сердца, и готова была влюбить всякаго мужчину во всякую дѣвушку, лишь бы они оба были хорошенькіе; но, мало-по-малу привыкая къ дѣйствительной жизни и замѣчая, что микстура изъ любви, сухарей и ключеной воды очень скоро прискучаетъ, начала принимать въ соображеніе и состояніе жениха и приданое невѣсты.

Кажется, послѣдняя причина сильно побуждала тетушку женить племянника на Сашенькѣ Буслаевой.

Тетушка поставила на-своемъ; свезла Ивана Ивановича въ домъ Буслаевыхъ и въ тотъ же день стала нашептывать Александрѣ Петровнѣ, что племянникъ влюбленъ въ нее по-уши.

Ивану Ивановичу показалась Александра Петровна такъ-себѣ, ни дурной, ни хорошей, ни умной, ни глупой. „Дюжинная барышня, подумалъ онъ, какъ женевскіе часы съ золотымъ ободочкомъ: перемѣшай, такъ не узнаешь, гдѣ твои, гдѣ чужіе. Впрочемъ, невѣста богатая, антипатіи къ ней не чувствую, и, коли дѣло пойдетъ на ладъ, пожалуй, жениться можно“,

Отцу и матушкѣ Ивана Ивановича было очень пріятно, когда тетушка объявила имъ, что ихъ сынъ влюбленъ въ Александру Петровну и Александра Петровна души не слышитъ по ихъ сынѣ.

— Почему же? сказалъ отецъ:—мнѣ любо слышать, что ты, Ваня, влюбился съ разборомъ; Александра Петровна у насъ въ уѣздѣ, да почти что и въ губерніи, первая невѣста: состояніе отличное, земли наши граничатъ, можно современемъ усилить плодоперемѣнную систему...

— И ткачи удивительные у нихъ въ имѣніи, замѣтила матушка.

— Это тетушка шутитъ, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ:—она смѣется надо мной!...

Съ посмѣха люди бываютъ, говоритъ *пословица*, замѣтилъ отецъ.—Да я не вижу тутъ ничего необыкновеннаго: ты человѣкъ благородный, служишь на виду въ столицѣ, облеченъ въ благородное званіе; *она* дѣвушка достойная, и рождена хорошо, и воспитанна и обстановлена прекрасными аксессуарами. Это дѣло возможное!...

— Да не вѣрьте ему! закричала тетушка: — я человѣкъ опытный и сейчасъ замѣчу гдѣ, что и какъ: сейчасъ видно! Онъ на нее посмотритъ—такъ и покраснѣетъ, *она* на него посмотритъ—такъ и вспыхнетъ!— я замѣтила! Правду поэты говорятъ:

Кто любитъ сильно, тотъ молчитъ:
Любовь глазами говоритъ!...

И цѣлый вечеръ увѣряла Ивана Ивановича тетушка, что онъ влюбленъ въ Александру Петровну, а Александра Петровна влюблена въ него еще болѣе, и что, если, чего Боже сохрани! они не женятся, то бѣдная дѣвушка съ тоски и отчаянія какъ разъ угодитъ въ прудъ; совѣтовала не терять времени жениться и увезти жену въ Петербургъ, причемъ обѣщала сама ѣхать въ Петербургъ—завѣдывать хозяйствомъ Ивана Ивановича, чтобъ Александру Петровну, доскать, не стѣсняла проза жизни, какъ то: разливаніе чая и прочее...

Когда разошлись спать, отецъ Ивана Ивановича сказалъ женѣ своей: „Что ни говори, старуха, а сестра отличная женщина: вишь какъ хлопочетъ о счастіи нашего Вани!“

А тетушка заперла на ключъ дверь своей спальни, упала на колѣни передъ образомъ и долго и жарко молилась; потомъ отворила свою шкатулку, выдвинула потайной ящичекъ, достала изъ него свернутую, уже пожелтѣвшую, розовою бумажку, развернула ее, робко оглянулась кругомъ и быстро прижала къ губамъ своимъ что-то лежавшее въ этой бумажкѣ. Чрезъ минуту послышался въ комнатѣ тихій поцѣлуй, потомъ глубокій вздохъ, и бумажка, бережно свернутая, опять положена на мѣсто, только на ней сверкала свѣжая слеза.

Заперевъ шкатулку, тетушка задумалась. „А можетъ быть!“ прошептала она: „я почти надѣюсь!“ И задумчивость отлетѣла отъ тетушки, и тетушка весело легла въ постель.

Лѣтъ двадцать назадъ, когда тетушка еще была и нестара и не дурна, кочевалъ въ ихъ уѣздѣ заѣзжій ремонтеръ, гвардейскій корнетъ. Тетушка находила въ немъ только одинъ недостатокъ, что онъ сильно курилъ трубку и не любилъ розовой помады, тогда-какъ всякому извѣстно, что роза есть цвѣтокъ самый любовный, за то во всѣхъ отношеніяхъ находила корнета человѣкомъ достойнымъ всего хорошаго на бѣломъ свѣтѣ, даже руки ея.

Тетушка всегда ахала передъ ремонтеромъ, ремонтеръ всегда охалъ передъ тетушкой; они очень подружились, и тетушка каждый день, каждую минуту ждала, что корнетъ попроситъ ея руки и сердца, и мысленно сочиняла чувствительную рѣчь, въ которой тонко намекала, что ея сердце можно пріобрѣсть на двухъ условіяхъ: первое—не курить трубку, и второе – вымазать голову розовой помадой; но рѣчь не состоялась: ремонтеръ уѣхалъ въ столицу, и только оставилъ тетушкѣ въ залогъ *вѣчной дружбы* локонъ своихъ волосъ. Этотъ-то локонъ цѣловала тетушка ложась спать, этого-то ремонтера думала она отыскать на сѣверѣ, припомнить ему прошедшее и —соединить съ нимъ судьбу свою. Вотъ о чемъ тетушка такъ жарко молилась! вотъ почему она такъ желала женить племянника на богатой невѣстѣ и ѣхать съ нимъ въ Петербургъ. Бѣдные люди!...

Иванъ Ивановичъ уснулъ съ мыслью, что жениться на Александрѣ Петровнѣ довольно выгодно. Всю ночь ему снился Большой театръ: за кулисами пѣли итальянцы, а на сценѣ танцовали балетъ *Воспитанница Амура*. Иванъ Ивановичъ очень пристально смотрѣлъ на стройныя ножки танцовщицъ вообще и на ножки дѣвицы Фіялкиной въ особенности. Послѣ того ему пригрезилось, будто онъ идетъ по какой-то площади, а начальникъ говоритъ ему:—не стыдно ли вамъ, милостивый государь? боитесь ли вы Бога?!..

— Что прикажете? спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Посмотрите, у васъ кривыя ноги!

Иванъ Ивановичъ вытянулъ ногу, посмотрѣлъ на нее и сказалъ:—когда эти ноги нехороши, какія же вамъ надобно?

— Вы грубите! закричалъ начальникъ:— ваши ноги дрянь! вотъ ножки у дѣвицы Фіялкиной! сходите въ театръ, посмотрите.

— Я сейчасъ оттуда, и знаю очень хорошо дѣвицу Фіялкину... она моя... короткая знакомая.

— А! развѣ такъ! Это дѣлаетъ вамъ честь.

Подобныя сновидѣнія не оставляли его до утра.

Срокъ отпуска приближался; Александра Петровна рѣшительно влюбилась въ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ рѣшительно волочился за Александрой Петровной и, къ удивленію всѣхъ, не дѣлалъ предложенія.

Тетушка сильно хлопотала: то, передавая ноты какого-нибудь романса отъ племянника Александрѣ Петровнѣ, нарочно подчеркивала карандашикомъ самыя нѣжныя слова и выраженія; то, вызвавшись доставить племяннику отъ Буслаевыхъ какую-нибудь книгу, ставила ногтемъ крестики на словахъ *вѣрность*, *любовь*, *вѣчность*, *Иванъ*, и тому подобное, и кричала на весь уѣздъ, что ея племянникъ женится на сосѣдкѣ Буслаевой, что они ѣдутъ въ Санктпетербургъ и берутъ ее съ собою для порядка.

А Иванъ Ивановичъ все не дѣлалъ предложенія! Въ немъ пробудилось какое-то человѣческое чувство: ему было какъ-то совѣстно жениться на дѣвушкѣ, къ которой онъ не чувствовалъ ни малѣйшей привязанности; ему было жаль чего-то, хоть онъ самъ не зналъ хорошенько—себя или ее, и часто уже готовое признаніе замирало на устахъ его и часто, оставаясь въ гостиной наединѣ съ Александрой Петровной, онъ задумывался и на робкій вопросъ ея: „о чемъ вы задумались?“ вопросъ, ведущій Богъ знаетъ къ какому отвѣту, онъ, принужденно улыбаясь, отвѣчалъ: *такъ!...*

Наконецъ, послѣ новаго года, недѣли за двѣ до отъѣзда, понукаемый тетушкой и своими родителями, Иванъ Ивановичъ попросилъ руки Александры Петровны.

Ивана Ивановича сговорили; пили шампанское, желали всякаго счастія и положили: ѣхать Ивану Ивановичу въ Петербургъ, выхлопотать позволеніе начальства, закупить къ свадьбѣ разныхъ нарядовъ и послѣ великаго поста явиться опять въ отпускъ, сыграть свадьбу и увезти молодую жену въ Петербургъ. Скоро Иванъ Ивановичъ уѣхалъ, поцѣловавъ, на прощанье, Александру Петровну, по праву жениха, въ губки, и всю дорогу почти до Витебска думалъ, что онъ дуракъ, боялся Богъ знаетъ чего, что Александра Петровна дастъ ему способъ жить въ Петербургѣ лучше многихъ товарищей, и что хотя она не красавица, однако дѣвушка молоденькая, свѣжая, и цѣловать ее очень пріятно.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, Иванъ Ивановичъ явился начальству и началъ хлопотать объ отпускѣ. Ему отвѣчали ни да, ни нѣтъ, притуманивали отвѣты словно дельфійскіе оракулы—на что, должно отдать справедливость, петербуржцы великіе мастера—и откладывали рѣшительный отвѣтъ день ото дня. Мѣсяцъ спустя послѣ своего пріѣзда, Иванъ Ивановичъ написалъ слѣдующее письмо:

„Дражайшіе родители!

„Я пріѣхалъ въ Петербургъ, благодаря Бога, благополучно и безъ особенныхъ приключеній, только до первой станціи меня жестоко давила въ бокъ щпага, но тутъ мы ее уложили подальше и прикрыли сѣномъ и ковромъ, да еще въ Шковѣ, на станціи поваръ, съ виду очень похожій на нѣмца, накормилъ меня гадкими котлетами съ лукомъ, очего у меня была жога до самой Орши. Степка не былъ пьянъ во всю дорогу. Теперь поговоримъ о дѣлѣ. Мое начальство, наконецъ, рѣшительно объявило, что меня не пустятъ весной въ отпускъ, говорятъ: мало товарищей, на службу нужно, а совѣтуютъ подождать до осени. Это меня немного опечалило. Впрочемъ, кланяйтесь Александрѣ Петровнѣ и скажите ей, что я очень ее помню, что ея образъ никогда не изгладится изъ сердца, любящаго и уважающаго васъ, покорнѣйшаго слуги и сына—

Ивана.

Отправивъ это письмо, Иванъ Ивановичъ вздохнулъ свободнѣе и поѣхалъ въ балаганы смотрѣть какое-то *чудо силы*, о которомъ одна газета очень кричала и которое чудо видѣть считалось обязанностью всякаго порядочнаго человѣка.

Получивъ письмо, родители Ивана Ивановича сильно призадумались; тетушка заплакала отъ огорченія; но скоро оправилась и поскакала къ Буслаевымъ объявить печальную новость. Александра Петровна, какъ слѣдуетъ, упала въ обморокъ.

— Другъ мой Сашенька, говорила тетушка, когда Сашенька пришла въ себя:—не грусти; я была бы рада, еслибъ со мной случилось такое обстоятельство: оно только открыло намъ всю любовь Жана. Еслибъ ты прочитала, что онъ пишетъ о тебѣ — это ужасъ! пишетъ: „я въ отчаяніи, я, говоритъ, и то себѣ готовъ сдѣлать и другое съ печали...“ Не прошу себѣ, что забыла взять письмо, я такая вѣтренница; мнѣ и въ пансіонѣ часто за это доставалось... Ахъ, ma chère Сашенька! какъ ты счастлива! какъ *онъ* тебя любитъ! Пишетъ: „скажите Александрѣ Петровнѣ, что я только и живу ею, что образъ ея, пишетъ, никогда не выходитъ изъ моего сердца...“ удивительно какъ пишетъ! Никогда не забуду, что я не взяла съ собой письма! Пріѣдете, сами увидите, мой ангелъ... „Я, пишетъ, умру, если долгая разлука охладитъ ко мнѣ чувства моей радости Александры Петровны.“ Удивительно! Жаль, что я забыла письмо!

Тетушка немного соврала; она взяла письмо съ собою, читала его дорогой раза четыре и, назвавъ Ивана Ивановича дуракомъ, безчувственнымъ человѣкомъ и Марсомъ

кровожаднымъ, разорвала письмо на мелкія части и пустила его по воздухъ.

II.

Петербургъ хорошъ—это истина неоспоримая, аксіома, услыша которую, всякій только кивнетъ головой, будто увидитъ стараго знакомаго, будто услышитъ фразу: *учиться полезно* или *прилежаніе награждается, а лѣность наказывается*. Петербургъ хорошъ—я не спорю; но на мой вкусъ Васильевскій островъ лучше Петербурга; даже потому, что онъ близко отъ Петербурга; стоитъ перейти Исакіевскій мостъ, и вы въ Петербургѣ, въ центрѣ города, а между-тѣмъ на острову нѣтъ такого шума, нѣтъ такой сжатой населенности, нѣтъ узкихъ улицъ, обставленныхъ высокими, громадными домами: на острову особенно-хорошо лѣтомъ, когда цвѣтутъ и зеленѣютъ сады, разливая кругомъ свѣжесть и прохладу, и особенно хорошъ Большой проспектъ, гдѣ пѣшеходы, вмѣсто жосткихъ троттуаровъ, ходятъ по зеленымъ аллеямъ душистыхъ тополей.

Весной, чуть подымается солнышко и разгонитъ утренній туманъ, Большой проспектъ оживаетъ: по его аллеямъ, чисто выметеннымъ, тщательно усыпаннымъ пескомъ, тянутся къ андреевскому рынку повара и нѣмецкія кухарки, чопорныя, въ шляпкахъ, въ чистыхъ передникахъ; правда, иногда между ними, свистя, пронесется забулдыга денщикъ въ розорванной курткѣ, съ неумытой рожей, съ фуражкой, надѣтой на одно ухо, и съ корзинкой въ рукахъ, которою онъ расталкиваетъ проходящихъ; но это комета въ правильной системѣ жителей Васильевскаго острова.

Часу въ восьмомъ проспектъ покрывается студентами, спѣшащими въ университетъ и гимназистами 4-й гимназіи, но этотъ народъ скоро исчезаетъ, а на его мѣсто являются солидныя тетушки, сестрицы, служанки, ведущія въ пансіоны маленькихъ дѣвочекъ и мальчиковъ; иногда дѣвочки и мальчики, постарше, идутъ сами. Это большею частью дѣти иностранцевъ, одѣтыя просто и опрятно, съ портфелями подъ-мышкой, или съ сумочкой черезъ плечо. Далѣе... но я не пишу физіологіи Васильевскаго острова и потому обращаюсь съ Ивану Ивановичу.

Иванъ Ивановичъ на вечерѣ у одного извѣстнаго обжоры объѣлся какой-то рѣдкой рыбы и захворалъ. Докторъ потѣшился надъ нимъ съ недѣльку, поилъ его разнымъ снадобьемъ и видя, что натура у паціента крѣпкая, приказалъ оставить всѣ лекарства, а совѣтовалъ вставать рано поутру, выпивать стаканъ зельтерской воды и потомъ часа два гулять на чистомъ воздухѣ, „а я“, прибавилъ онъ, уѣзжая: „буду навѣдываться къ вамъ черезъ день и слѣдить за ходомъ вашей болѣзни“. Не зная медицины, я полагаю, что докторъ былъ умный человѣкъ.

Только послѣднее въ рѣчи доктора не понравилось Ивану Ивановичу.

„И зачѣмъ онъ будетъ ѣздить?“ подумалъ Иванъ Ивановичъ: „за что я ему стану давать черезъ день по пяти рублей? Хотъ бы поилъ какою гадостью или мучилъ чѣмъ-нибудь, а зельтерскую воду я и самъ съумѣю выпить, и наблюдать за ея дѣйствіемъ право не стоитъ. Впрочемъ, лекарство недурное, особливо если прибавить въ него немного шампанскаго“.

Зельтерская вода куплена — и вотъ регулярно каждое утро съ семи часовъ начало попадаться навстѣчу поварамъ и кухаркамъ на Большомъ проспектѣ Васильевскаго острова новое лицо, въ шинели съ бобровымъ воротникомъ, въ фуражкѣ. Это лицо былъ Иванъ Ивановичъ; онъ гулялъ по Большому проспекту оттого, что жилъ на Васильевскомъ острову.

Это было въ началѣ апрѣля; по ночамъ еще примораживало; зелени еще не было, но въ воздухѣ уже вѣяло весной; утромъ такъ было пріятно, легко дышать человѣку. Когда пригрѣвало солнце, то у андреевской церкви понемногу собирались мамки и няньки съ ребятами; сюда одна привозила ручную колясочку, другая приносила деревяную лошадку, третья—гармонику, и дѣти разныхъ родителей, вовсе незнакомыхъ между собой, знакомились, дѣлились игрушками, играли вмѣстѣ.

Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ любящій природу, гуляющій по приказу, а всего болѣе какъ человѣкъ, которому рѣшительно нечего дѣлать, дѣлалъ различныя наблюденія, весьма забавныя для праздная человѣка, изучалъ разныя походки, физіономіи, привычки всѣхъ половъ и возрастовъ, покрой платья, цвѣтъ глазъ и волосъ туземцевъ и т. п. — словомъ, осматривалъ Васильевскій островъ, будто какой новооткрытый островъ на Тихомъ океанѣ.

Такъ прошла недѣля. Встрѣчая безпрестанно однѣ и тѣ же лица, Иванъ Ивановичъ уже начиналъ скучать прогулкой по Большому проспекту и серьезно подумывалъ, не перенести ли ему кругъ своихъ дѣйствій на набережную, какъ въ одно утро его поразило новое, доселѣ имъ невиданное лицо, идущее по проспекту. Кто хорошо знаетъ моего Ивана Ивановича, тотъ очень удивится, если я скажу, что это лицо было ребенокъ. „Ребенокъ! закричитъ добрый

пріятель Ивана Ивановича: „ребенокъ могъ занять этого лихаго? Быть можетъ! Иванъ Ивановичъ не изъ числа крахмальныхъ людей, которые позволяютъ таскать себя за уши ребятишкамъ!... скажите вы: отличная лягавая собака, или добрая лошадь или, наконецъ, рѣдкій попугай, говорящій на трехъ-четырехъ языкахъ,—я бы повѣрилъ; но ребенокъ...“

А между-тѣмъ ребенокъ сильно заинтересовалъ Ивана Ивановича. Этотъ ребенокъ была дѣвушка съ виду лѣтъ двѣнадцати; она шла одна по проспекту довольно быстрыми шагами; на ней было коротенькое ватное пальто шоколаднаго цвѣта, стянутое чернымъ шелковымъ пояскомъ, бѣлые шаравары и черные ботинки; на головѣ легкая шляпка въ родѣ тирольской, изъподъ шляпки сыпались по плечамъ густыя шелковистыя кудри; черезъ плечо у этой дѣвушки висѣла небольшая, шитая гарусомъ, сумка съ книгами.

Весело шла дѣвушка по Большому проспекту, легко, чуть касаясь до земли своими маленькими ножками; пышные локоны роскошно волновались вокругъ ея шляпы отъ скорой походки. Иванъ Ивановичъ сталъ по серединѣ проспекта, прямо на встрѣчу дѣвушкѣ, и безпечно разсматривалъ прекрасное дѣтское личико этого ребенка, разрумяненное свѣжестью утра. Увидя прямо на дорогѣ человѣка, который, казалось, не хотѣлъ сойти съ мѣста, дѣвушка подняла на него свои прекрасные черные глазки, улыбнулась и хотѣла своротить въ сторону; но въ этомъ взглядѣ, въ улыбкѣ и вообще во всемъ лицѣ дѣвушки было такъ много чистой, невинной красоты, что Иванъ Ивановичъ, несмотря на свою матеріальность невольно посторонился и приподнялъ фуражку. Дѣвушка сдѣлала книксенъ, еще разъ улыбнулась и въ нѣсколько прыжковъ исчезла въ толпѣ, а Иванъ Ивановичъ еще нѣсколько минутъ простоялъ на одномъ мѣстѣ, глядя въ слѣдъ за убѣгающимъ ребенкомъ; ему на сердце налегла какая то святая тишина; его осѣнило странное, доселѣ не испытанное имъ чувство безмятежной радости, душевнаго спокойствія...

— Ваше благородіе, къ празднику... начала ему говорить, кланяясь, какая то салопница.

Иванъ Ивановичъ машинально опустилъ руки въ карманъ, вынулъ кошелекъ, отдалъ его изумленной старухѣ и весело пошелъ домой, словно самъ получилъ какой подарокъ.

Послѣ Иванъ Ивановичъ часто самъ удивлялся своей щедрости и не могъ дать себѣ отчета: за что онъ отдалъ кошелекъ оборванной старухѣ, которая непремѣнно пропила его, да еще не на благородныхъ напиткахъ, а на гадкой сивухѣ.

Какъ бы ни былъ человѣкъ матеріаленъ, уже тѣмъ онъ отличается отъ лошади или коровы, что изящное, хотя на секунду, можетъ пробудить въ немъ человѣческое чувство.

На завтра Иванъ Ивановичъ уже поджидалъ на проспектѣ свою знакомую незнакомку и раскланялся съ ней; она опять присѣла, улыбнулась и исчезла.

Послѣзавтра Иванъ Ивановичъ спросилъ дѣвушку:

— Кажется, вы здѣсь каждое утро ходите?

Дѣвочка еще разъ присѣла и отвѣчала: *да*.

— Отчего же вы ходите однѣ? сказалъ Иванъ Ивановичъ и пошелъ рядомъ съ дѣвочкой.

— Мнѣ сказала маменька, что я уже большая, здѣсь мнѣ недалеко итти.

— Куда же вы такъ спѣшите?

— Въ пансіонъ къ мадамъ Шпекъ. Вы знаете мадамъ Шпекъ?

— Нѣтъ.

— Ахъ, жаль!

— Отчего жаль?

— Она такая добрая, такъ насъ любитъ; она обѣщала выучить меня вышивать вотъ этакія сумочки.

И дѣвушка, улыбаясь, начала разсматривать свою сумку.

— Точно такія? спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Да, и вотъ такія голубенькія незабудки и розанчики, и вотъ этакіе листочки— все!

— А какъ васъ зовутъ?

— Меня зовутъ Лотхенъ. А васъ?

— Я—Иванъ Ивановичъ.

— Ахъ, какъ это хорошо!

— Отчего хорошо?

— Такъ, и моего папеньку зовутъ Иванъ Ивановичъ, а я его люблю, и онъ меня любитъ.

— Васъ нельзя не любить: вы такая хорошенькая.

Лотхенъ задумалась.

— О чемъ вы скучаете?

— О васъ, мнѣ досадно, мнѣ жаль васъ.

— Меня?!...

— Да, жаль, что вы нехорошій человѣкъ, а вы такъ ласково смотрите...

— Кто вамъ сказалъ?

— Никто, да вы меня въ глаза хвалите ни за что, такъ, просто, а это, говоритъ маменька, только злые люди дѣлаютъ; вы не знаете, какъ я учусь, какъ веду себя, а меня хвалите...

Марья Ѳедоровна пришла и Мина Карловна, всѣ закричали: *выросла! выросла!* Вотъ и папенька взялъ длинный чубукъ, смѣрялъ меня и сказалъ: „да, точно выросла!“

— Можетъ быть, теперь вы со мной и ходить и говорить не захотите?

— Отчего?

— Можетъ быть, вамъ скажутъ, неприлично...

— Вотъ пустяки! Вы такой добрый!... Правда, говорила мнѣ маменька на прошлой недѣлѣ, въ день моего рожденія... Вѣдь на прошлой недѣлѣ былъ день моего рожденія, у насъ были гости; былъ супъ съ потрохами и пирогъ съ угремъ; мнѣ маменька подарила ящичекъ съ приборомъ, тамъ есть и ножницы, и наперстокъ, и булавочки...

— Что маменька вамъ говорила?

— Ахъ, да! говорила: „ты уже не ребенокъ, ты уже большая: веди себя хорошо, ни съ кѣмъ не разговаривай на улицахъ; много есть злыхъ людей, какъ разъ тебя обидятъ!...“ Говорила, что ребенку люди много прощаютъ, а я уже не ребенокъ, мнѣ четырнадцать лѣтъ... Еще говорила, что и собаки дѣтей не трогаютъ, а взрослыхъ кусаютъ...

— Вамъ четырнадцать лѣтъ?

— Да. Что вы на меня такъ смотрите?

Иванъ Ивановичъ началъ смотрѣть на Лотхенъ такъ, будто онъ ее въ первый разъ увидѣлъ. Передъ нимъ стоялъ не прежній безпечный ребенокъ, а молоденькая, милая дѣвушка, еще съ неустановившимися формами, но стройная, граціозная, гибкая, какъ стебель тростника; она, улыбаясь, посмотрѣла на Ивана Ивановича и сказала:

— Да говорите, зачѣмъ вы на меня такъ смотрите?

— Оттого, что вы... Вы не разсердитесь, Лотхенъ?

— Говорите, не разсержусь.

— Оттого, что вы прелестны.

На этотъ разъ Лотхенъ не разсердилась, только потупила глазки, и легкій румянецъ вспыхнулъ на ея щекахъ, покрытыхъ еще немного болѣзненною блѣдностью.

Съ этого дня опять Иванъ Ивановичъ провожалъ Лотхенъ въ пансіонъ, опять дѣлалъ ей переводы, опять все пошло по старому, только характеръ его, или состояніе духа весьма измѣнилось.

Ивана Ивановича никто не накормилъ гадкимъ обѣдомъ; ему въ сигарѣ не попался кусокъ пера или клокъ шерсти; его никто не обыгралъ; онъ не опоздалъ съ визитомъ къ важному человѣку, даже по службѣ никто не сдѣлалъ ему выговора, а между тѣмъ Иванъ Ивановичъ былъ, какъ говорится, не въ духѣ: все было не по немъ, все его раздражало; казалось, какая-то мысль засѣла въ его спокойной головѣ и не давала ему покоя.

„Что съ нимъ сдѣлалось?“ бывало ворчитъ Степка, выходя изъ комнаты барина и потирая високъ обшлагомъ своей куртки: „ни съ того, ни съ сего, ни съ другого окатилъ такой затрещиной, что мое почтеніе! до-сихъ-поръ въ лѣвомъ глазѣ искра ходитъ“.

— Ну, вотъ посмотрите, добрые люди, иногда говорилъ Степка челяди на хозяйской кухнѣ: — ну, посмотрите, чѣмъ это не чай? „нѣтъ, говоритъ, вѣтромъ пахнетъ“.

— Кто такой говоритъ?...

— Да мой, его благородіе!... Вотъ, сударыня, хозяйка, вы нѣмка, вы во всемъ толкъ знаете, скажите на милость, пахнетъ ли чай вѣтромъ или собакой?....

Нѣмка увѣряла, что чай пахнетъ чаемъ.

— Послѣ этого не знаю что и думать о его благородіи!... Вѣрите ли, иногда цѣлую ночь ходитъ по комнатѣ, думаетъ, думаетъ, ходитъ, ходитъ — жаль станетъ смотрѣть на него, махнешь рукой и ляжешь спать.

IV.

— Какъ мнѣ сегодня смѣшно, говорила Ивану Ивановичу Лотхенъ, идя въ пансіонъ.

— Отчего?

— Я сегодня старшая въ домѣ, хозяйка!

— Вотъ какъ!

— Да, бѣдная Мина Карловна заболѣла, и маменька пошла къ ней, въ Коломну, на весь день.

— А папенька?

— Папенька уѣхалъ по дѣламъ въ Ромбовъ, и дай Богъ чтобъ вернулся къ вечеру.

— И вы однѣ дома?

— Нѣтъ, какъ можно! есть кухарка, Янъ, работники... да я хозяйка! Мамаша сказала мнѣ: „вотъ тебѣ ключи, Лотхенъ, будь хозяйкой безъ меня, пріучайся, ты уже не дитя...“ Ахъ, какъ это весело! я сама сяду за столъ! у меня ключи отъ всего, отъ сахару, отъ корицы, отъ всего отъ всего, вотъ тутъ.

И Лотхенъ весело захлопала ручкой по карману своего передника. Ключи зазвенѣли, она захохотала.

— Такъ мы съ вами изъ пансіона пойдемъ потише: вамъ торопиться нечего, никто не станетъ васъ ждать дома.

— Это я и сама думала.

Иванъ Ивановичъ слегка улыбнулся.

Когда Лотхенъ ушла въ пансіонъ, Иванъ Ивановичъ возвратился домой и около двѣ-

часовъ Иванъ Ивановичъ встрѣтилъ Лотхенъ вопросомъ:—А что переводъ?

— Чудесный! отвѣчала Лотхенъ съ дѣтской радостью:—да какъ вы поддѣлались подъ мою руку: никто не узналъ!... а все-таки было три ошибки, да это ничего: у самой дочери мадамъ Шпекъ было двѣ, а она у насъ первая.

— Я знаю ваши ошибки, первая: было лишнее *е*; вторая: *е* не поставлено, а третья: прибавлено къ слову лишнее *е*—не такъ ли?

— А вы отчего знаете?

— Я нарочно ихъ сдѣлалъ.

— Для чего?

— Какой вы ребенокъ! Если бъ вы сразу сдѣлали безъ ошибокъ, сейчасъ бы догадались, что это не вы; а двѣ, три легонькія ошибки вамъ не повредили, между тѣмъ одурачили вашихъ наставниковъ.

— Ахъ, какой вы умный! мнѣ бы это въ голову не пришло!

— Вы только меня слушайте—все будетъ хорошо.

— А развѣ я васъ не слушаю? Вы на меня сердиты.

— Нисколько. Послушайте, если вамъ еще зададутъ переводъ, вы опять отдайте его мнѣ. Я вамъ всѣ переводы стану дѣлать.

— Ахъ, какой вы добрый! Какъ на меня будетъ сердиться Юльхенъ; она такая злая, сегодня даже плакала, что у нея было больше моего ошибокъ.

Иванъ Ивановичъ дѣлалъ для Лотхенъ переводы; къ празднику Лотхенъ сшили хорошенькое, голубенькое платьице. Между тѣмъ май приближался къ концу, Ивану Ивановичу должно было оставить городъ на цѣлое лѣто. Лотхенъ не шутя заплакала; она очень привыкла къ *доброму* Ивану Ивановичу, а тутъ еще на-дняхъ будетъ въ пансіонѣ экзаменъ — кругомъ бѣда! Иванъ Ивановичъ пожалъ маленькую ручку Лотхенъ и уѣхалъ.

III.

Изъ города Петербурга начали выѣзжать люди съ женами, съ дѣтьми, съ имуществомъ, ѣхали день и ночь на возахъ и на лодкахъ, будто уходили отъ страшнаго непріятеля, и наконецъ перестали. Въ городѣ то бывало нестерпимо жарко, то дулъ по улицамъ вѣтеръ холодный, сырой, словно изъ ледника, и черезъ день шелъ дождикъ, иногда лилъ какъ изъ ведра, а иногда садился какой-то изморозью и туманомъ.

На всѣхъ мостахъ явились солдатки, продающія дешевые апельсины; по всѣмъ улицамъ шныряли разнощики, оглашая воздухъ дикими воплями; *пельцины, лимоны хорошіи.* Вскорѣ эти вопли сдѣлались слабѣе, и къ нимъ примѣшался крикъ: *огурцы зелены*; потомъ этотъ крикъ замѣнила пѣсня: *а... клубника садова*; къ ней не замедлилъ явиться припѣвъ: *малина садовая* и наконецъ поразилъ петербуржцевъ монотонный возгласъ: *дыни милоны*!... Клубника вздорожала, малина стала очень дешева, на мостахъ у солдатокъ, вмѣсто гнилыхъ апельсиновъ, появилась желтая рѣпа: по этимъ признакамъ всѣ догадались, что добрый городъ Петербургъ перенесъ благополучно лѣто; дачники потянулись обратно въ городъ; на дворѣ стоялъ августъ.

Иванъ Ивановичъ возвратился въ Петербургъ; онъ почти три мѣсяца не видалъ Лотхенъ, и въ восемь часовъ утра нетерпѣливо ходилъ по Большому проспекту; глядѣлъ въ даль—не видать Лотхенъ; направо—не видать, налѣво—не видать! ужъ не больна ли она?

— Иванъ Ивановичъ! и Лотхенъ повисла на шеѣ Ивана Ивановича.

— Лотхенъ! говорилъ изумленный Иванъ Ивановичъ:—Боже мой, да какъ вы перемѣнились! я бы васъ не узналъ, вы стали совсѣмъ взрослая дѣвушка.

Лотхенъ немного покраснѣла и опустила глазки.

— Вы очень выросли, говорилъ Ивамъ Ивановичъ, глядя съ изумленіемъ на Лотхенъ.

— Это мнѣ всѣ говорятъ, а мнѣ кажется, я все одинакова, только прежнія платья стали коротки.

Подобныя странныя явленія очень часто бываютъ въ жизни дѣвушекъ: иногда они въ мѣсяцъ или два совершенно измѣняются, выростаютъ почти баснословно и послѣ нѣсколько лѣтъ опять остаются въ одномъ положеніи.

— Я послѣ болѣзни такъ выросла... замѣтила Лотхенъ.

— Вы были больны!

— И очень. Какъ вы уѣхали, я все просила Бога чтобъ заболѣть: мнѣ было страшно экзамена; кто бы мнѣ сдѣлалъ на экзаменъ переводы? Я все плакала, жаловалась на голову, а она у меня и вправду разболѣлась... три недѣли я лежала въ постели, и докторъ къ намъ ѣздилъ, знаете, племянникъ сапожника Меера? и экзаменъ безъ меня отошелъ. Говорятъ: мадамъ Шпекъ очень жалѣла обо мнѣ и листъ мнѣ похвальный прислала... А какъ я начала прохаживаться по комнатѣ, такъ всѣ и закричали: „Посмотрите, какъ Лотхенъ выросла!“... Папенька сначала не вѣрилъ, говорилъ, что маменькѣ такъ кажется, да

пойду къ вамъ... всѣ узнаютъ, что вы мнѣ дѣлаете переводы.

— Помилуйте, кто узнаетъ? У меня въ домѣ только живетъ кузнецъ да бородатый лавочникъ и оба, божусь вамъ, не знаютъ ни слова по-французски. Вѣдь тутъ два шага; въ четверть часа все кончимъ.

И Иванъ Ивановичъ потащилъ Лотхенъ къ себѣ на квартиру.

— Какая у васъ прекрасная комнатка! закричала Лотхенъ, войдя въ квартиру Ивана Ивановича: какой коверъ, а какой розанъ цвѣтетъ у васъ на окошкѣ! душистый! прелесть!..

Лотхенъ наклонилась къ цвѣтку, нюхала его и, улыбаясь, глядѣла на его румяные лепестки. Иванъ Ивановичъ не сводилъ глазъ съ Лотхенъ.

— Послушайте, когда я буду уходить домой, вы мнѣ дадите этотъ розанъ?

— Извольте.

— Дѣлайте же скорѣе переводъ, не глядите на меня; мнѣ пора домой, да и вамъ на службу...

— Сейчасъ, давайте вашу тетрадь. А вы еще не завтракали сегодня?

— Нѣтъ!

— Такъ вотъ вамъ хлѣбъ, масло и чудесный сыръ, настоящій швейцарскій; позавтракайте, пока я сдѣлаю переводъ.

Иванъ Ивановичъ сѣлъ писать, безпрестанно поглядывая на Лотхенъ, а она спокойно сняла шляпу и сѣла у стола завтракать.

— А что, Иванъ Ивановичъ, скоро?

— Сейчасъ. Кушайте.

— Я сыта. Кончайте скорѣе, домой пора. Сыръ вашъ чудесный, только солонъ, пить хочется; нѣтъ ли у васъ воды?

— Воды нѣтъ; человѣкъ ушолъ куда-то и принести некому, а если хотите квасу...

— Онъ не очень кислый?

— Нѣтъ, сладкій, чудесный, фруктовый квасъ...

— Ахъ, какой прекрасный! Я отъ-роду не пила такого, только очень рѣзокъ.

— Ничего, это кажется сначала. Дайте и мнѣ стаканъ, вѣдь вы сегодня хозяйка; похозяйничайте и у меня.

— Ахъ, какъ это весело! пейте! Я бы все пила такой квасъ!..

— Не пейте болѣе, вы, кажется, цѣлый стаканъ выпили.

— Да; а развѣ онъ вреденъ?

— Нѣтъ, да холоденъ, чтобы вы не простудились.

— Ничего; мнѣ такъ жарко, я открою окно.

— Не открывайте!.. ну, запустите хоть штору, вотъ такъ. О, какъ я боюсь вѣтру!

— Вотъ еще!.. Ахъ, какъ у васъ весело! Бросьте переводъ, послушайте, я вамъ спою пѣсню:

Ну, Карлуша, не робѣй,
Какъ за умъ возьмешься...

Папенька не любитъ этой пѣсни, ну, да я не дома, вамъ спою... вы не разсердитесь?..

Лотхенъ болтала всякій вздоръ, пѣла, представляла *Яна*, какъ онъ ходитъ и говоритъ; она разгорѣлась, глаза ея сверкали страннымъ весельемъ: бѣдняжку ошеломило шампанское!

— Вотъ и переводъ готовъ, сказалъ Иванъ Ивановичъ, садясь на диванчикъ.

— Готовъ? Ну, спасибо, я пойду,.. Нѣтъ, знаете, я еще немного погуляю у васъ: мнѣ такъ весело. Скажите, отчего мнѣ у васъ такъ весело?

— Не знаю.

— А я знаю. Оттого, что вы добрый человѣкъ, и я люблю васъ.

— Вы меня любите?

— А какъ же, и очень люблю.

Лотхенъ подошла къ Ивану Ивановичу; Иванъ Ивановичъ обнялъ ея станъ рукою и страстно смотрѣлъ въ очи.

— Что вы на меня такъ смотрите?

— Ничего, Лотхенъ, я припоминаю свою сестру. Какъ она похожа на тебя!.. Я люблю тебя, какъ сестру.

— Добрый Иванъ Ивановичъ! И она поцѣловала его. . . . . .

. . . . . .

Сильный стукъ вывелъ ихъ изъ забытья. Часовая стрѣлка показываетъ три часа; на полу лежитъ разбитый горшокъ съ розаномъ: вѣтеръ пахнулъ въ окно, задѣлъ шторой за горшокъ и сбросилъ его на землю.

— Ахъ, мой розанъ! мой бѣдный розанъ! закричала Лотхенъ и бросилась къ цвѣтку. Но розанъ погибъ невозвратно; онъ, сброшенный буйнымъ вѣтромъ, упалъ на землю и лепестки его, измятые, оборванные валяются въ пыли.

Лотхенъ сѣла на полу и заплакала.

— Полно, Лотхенъ, плакать, сказалъ Иванъ Ивановичъ:—*тебѣ* пора домой; вѣдь уже три часа и мнѣ пора на службу.

— Три часа!.. Что со мной дѣлается?.. голова болитъ... я вся нездорова... я бы на васъ крѣпко разсердилась, если бы могла на васъ сердиться... Не провожайте только меня: мнѣ будетъ совѣстно на свѣтъ смотрѣть; я теперь боюсь всего... мнѣ чего-то страшно... Ахъ, если бъ маменька заночевала въ Коломнѣ!.. Да не приходите послѣ завтра на проспектъ... мнѣ на васъ смотрѣть совѣстно. Прощайте!

— Степанъ, хочешь въ закладъ, что эта мамзелька идетъ отъ твоего барина, гово-

рилъ Егоръ дворникъ Степкѣ, встрѣтя въ воротахъ Лотхенъ.

— Вона! замѣтилъ Степка—моего благородія и духу здѣсь нѣту.

— Обронить что-то изволили, сударыня, а сударыня! продолжалъ Егоръ, иронически посмѣиваясь.

Лотхенъ оглянулась, опустила руки въ карманъ своего передника, сдѣлала нѣсколько шаговъ, потомъ вдругъ остановилась, подумала и быстро побѣжала назадъ ..

— А что, Степка? смотри-ка, куда полетѣла—а?

— Къ намъ, проклятая, къ намъ!.. Вотъ те и дѣдушка именинникъ! Вотъ оно что! и Степка тихонько засвистѣлъ, покачивая головой.

Иванъ Ивановичъ уже надѣлъ халатъ и, закуривъ папироску, самодовольно раскинулся на диванѣ, когда дверь тихо отворилась, и вошла Лотхенъ, блѣдная, испуганная.

— Что съ тобой?

— Я у васъ выронила ключи изъ передника, изъ кармана.

— Вотъ они, лежатъ на диванѣ, возьми.

Лотхенъ взяла ключи и заплакала. А давно ли она такъ весело звенѣла ими въ своемъ карманѣ!

— Ступай, Лотхенъ, вѣдь ты опоздаешь; тебѣ достанется, надѣлаешь исторій.

— А вы что нейдете на службу? вамъ бѣда будетъ...

— Не бойсь.

— Придете послѣзавтра на проспектъ, разскажете мнѣ, какъ вы отдѣлаетесь отъ службы. Хоть мнѣ и совѣстно, всѣ люди смѣются надо мной, да приходите...

— Приду, приду.

Когда Лотхенъ выходила на улицу, Степанъ съ дворникомъ все еще стояли подъ воротами, и послѣдній, подмигивая на Лотхенъ, въ полголоса напѣвалъ:

Что на барынѣ чепецъ,
Любитъ барыню купецъ;
Что на барынѣ обручикъ,
Любитъ барыню поручикъ...

Послѣзавтра Иванъ Ивановичъ явился на проспектъ и разсказалъ Лотхенъ сказку, что онъ дежурилъ очень счастливо, хоть и опоздалъ, однако начальство ничего не сказало. Лотхенъ сказала, что по ней очень безпокоились дома и хотѣли уже идти въ пансіонъ, но что она увѣрила, будто, идя, потеряла ключи и проискала ихъ долго— и просила Ивана Ивановича никогда не провожать ее, потому-что на нихъ всѣ люди смотрятъ.

Впрочемъ, Иванъ Ивановичъ каждый день въ двѣнадцать часовъ являлся на проспектъ, но уже не рядомъ съ Лотхенъ, не шутилъ съ ней, и она не смѣялась простодушно при встрѣчѣ съ нимъ, но краснѣла и потупляла глаза въ землю; иногда она, будто нечаянно, сталкивалась съ Иваномъ Ивановичемъ и мѣнялась съ нимъ двумятремя словами; иногда Иванъ Ивановичъ шелъ впереди Лотхенъ, оглядывался и сворачивалъ съ проспекта въ линію къ себѣ на квартиру; слѣдомъ за нимъ по этой же дорогѣ быстро проходила Лотхенъ, оставалась у Ивана Ивановича не болѣе четверти часа и спѣшила домой; иногда, когда ни отца, ни матери не бывало дома, она сиживала у Ивана Ивановича и по часу; впрочемъ это случалось очень рѣдко.

Между тѣмъ Иванъ Ивановичъ получилъ отъ своего отца письмо:

Любезный сынъ

Иванъ Ивановичъ!

Спѣшу писать къ тебѣ, чтобъ ты попустому не тратился и не торопился отпускомъ, ибо Буслаевы ѣдутъ сами въ Петербургъ: старикъ хочетъ заложить одну деревушку и на эти деньги прикупить смежныя земли у Шатукина—дѣло доброе; да кстати тамъ кое-что искупить и для твоей невѣсты. Они ѣдутъ по первой санной дорогѣ; такъ ты напрасно не убыточься, даже, въ случаѣ нужды, я согласенъ, чтобъ вы тамъ и обвѣнчались,—я даю мое родительское благословеніе; въ случаѣ, служба можетъ потерпѣть отъ твоего отсутствія, то оставайся въ столицѣ; старайся по возможности быть полезнымъ отечеству, сего желаетъ любящій тебя отецъ

Иванъ.

Иванъ Ивановичъ очень былъ радъ этому письму и рѣшилъ, что отецъ его никогда не писалъ такъ умно, развѣ когда высылалъ деньги.

Пришла зима; вечера стали длинные; выпала и санная дорога; Иванъ Ивановичъ день-ото-дня ждалъ своей невѣсты и, отъ скуки, свистѣлъ какой-то новый маршъ, какъ вбѣжала въ комнату Лотхенъ и, не говоря ни слова, рыдая, бросилась ему на шею. Первый разъ еще Лотхенъ явилась къ Ивану Ивановичу вечеромъ.

— Лотхенъ, Лотхенъ! что съ тобой? что это значитъ?

— Спасите меня! шептала она, отчаянно метаясь во всѣ стороны:—спасите меня, я несчастна!...

— Да что съ тобой? говори толкомъ.

— Отецъ и мать уѣхали, а я побѣжала къ вамъ все разсказать... Охъ! что я вытерпѣла сегодня... какъ *она* разспрашивала меня, какъ на меня страшно смотрѣлъ отецъ... Я ничего не сказала, я клялась... грѣхъ мнѣ, я клялась напрасно...

— Я ничего ни понимаю...

— *Ты* не понимаешь!.. послушай... я... я... понимаешь?.. да!.. да!.. всѣ замѣчаютъ это... Меня сегодня спрашивали, отчего я толстѣю... Я клялась, что невинна. Мать плакала, отецъ сердился... онъ сказалъ, что попроситъ доктора... тогда—я пропала!.. Слезы заглушили голосъ бѣдной дѣвушки.

— Что же я буду дѣлать? сказалъ Иванъ Ивановичъ:—штука нехорошая!.. Жаль мнѣ тебя, Лотхенъ! пошалила немножко, а тутъ и бѣда! Ну, кто могъ надѣяться... кто бы подумалъ, что этакой ребенокъ... Ума не приложу...

Иванъ Ивановичъ началъ ходить по комнатѣ, и вѣрно долго проходилъ бы такъ, безъ всякой пользы для Лотхенъ—потому-что практически дознана многими учеными мужами безполезность подобной прогулки—еслибъ не вошелъ Степка съ запиской въ рукахъ.

— Отъ кого? спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Отъ Буслаевыхъ, человѣкъ пришелъ.

— Они пріѣхали?

— Говоритъ, пріѣхали. Письмо принесъ, знаете, Трофимъ, дворецкій; говоритъ, въ силу нашелъ, а остановились, говоритъ, въ гостинницѣ Парижъ...

— Молчи, убирайся!

— И тетушка, говоритъ, здѣсь, вмѣстѣ *пріѣхавши.*

— Убирайся, говорятъ тебѣ.

— Слушаю, ваше благородіе.

Иванъ Ивановичъ прочелъ письмо и глубоко задумался. Лотхенъ сквозь слезы глядѣла на него. Мало-по-малу лицо его приняло выраженіе покоя и даже удовольствія; онъ потеръ руки, поцѣловалъ Лотхенъ и сказалъ ей:

— Не плачь, все будетъ хорошо, даже очень хорошо. Ступай, молись Богу, да ни въ чемъ никому не признавайся, а я все улажу. Эй, Степка, давай одѣваться.

— Слушаю-съ.

— Прощай, Лотхенъ! Да гдѣ, ты говорила, живетъ твой отецъ?

— Въ 115-й линіи, № 0000.

— Ну, хорошо, теперь ступай, да смотри, если я пріѣду зачѣмъ къ твоему отцу и ты меня увидишь, то ни слова, будто ты меня первый разъ въ жизни увидишь. Не бойся, все будетъ хорошо... А ты потерпи денька два-три, да покрѣпче шнуруйся.

Лотхенъ ушла. Иванъ Ивановичъ записалъ адресъ ея отца, одѣлся и поѣхалъ въ Парижъ къ своей невѣстѣ, думая всю дорогу: „Скверная штука! пожалуй, чего добраго, этотъ нѣмецъ еще надѣлаетъ кучу непріятностей, надо поторопиться... А какая разница, подумаешь, между этой милашкой Лотхенъ и моей сантиментальной невѣстой, прямой уѣздной барышней... уфъ! А дѣлать нечего, будемъ пострастнѣе, поинтереснѣе...“

Съ этими мыслями вошелъ Иванъ Ивановичъ въ комнату Буслаевыхъ, гдѣ всѣ сидѣли за чаемъ.

— Иванъ Ивановичъ!

— Жанъ!... Боже мой!...

— Племянникъ!

— Тетушка! Александра Петровна!... вы ли? раздалось залпомъ въ тѣсной комнатѣ, и начались обниманья, слезы радости. Пріятная минута!

V

Два дня спустя послѣ радостнаго свиданія Ивана Ивановича съ невѣстой, по Невскому проспекту, часу въ первомъ, шелъ молодой человѣкъ, котораго, во избѣжаніе всякихъ личностей, назову *первымъ*, а навстрѣчу ему шелъ тоже молодой человѣкъ, котораго, пожалуй, назовемъ *вторымъ*. Они оба были очень опрятно одѣты. Первый по платью былъ очень похожъ на Ивана Ивановича. Впрочемъ, несмотря на различіе одежды, и Первый и Второй принадлежали къ извѣстной сектѣ, подъ именемъ моншеровъ.

— Bon jour! закричалъ Первый Второму.

— A bon jour, mon cher! съ восторгомъ отвѣчалъ Второй.

Они пожали другъ другу руки съ большимъ чувствомъ.

— Что, mon cher, какъ твои дѣла—а? спросилъ Первый.

— Чудесно! Вчера былъ въ Александринскомъ... чудо, братъ, какъ вызывали!... у!... чортъ возьми, и не помню... прелесть!...

— Ну, а она-то, она—а?

— Она была просто сюперъ, манификъ, я тебѣ скажу, просто вотъ...

При этомъ Второй сложилъ всѣ кончики пальцевъ лѣвой руки и поцѣловалъ ихъ.

— Ну, а Мартыновъ смѣшилъ,—а? вѣдь онъ продувная штука!

— Просто, mon cher, талантъ! Что онъ съѣлъ вчера на сценѣ — смотрѣть было страшно.... экое завидное брюхо!... какъ въ чемоданъ все укладываетъ... удивительно...

— Да, вѣдь, онъ часто фокусничаетъ, mon cher.

— Нѣтъ, нѣтъ, mon cher! я не спускалъ

съ него бинокля: ѣстъ, просто ѣстъ, этакой гурманъ!

— А не худо бы и намъ перекусить, mon cher. Не хочешь ли, завернемъ къ Ивлеру; у меня есть поразсказать тебѣ пропасть кое-чего, сказалъ Первый.

— Пожалуй, часъ адмиральскій, отвѣчалъ Второй.

Придя въ кондиторскую, Первый спросилъ двѣ порціи бифстексу съ трюфлями и бутылку шампанскаго.

— Ого! замѣтилъ Второй: — ты кутишь!

— Люблю, братъ, шампаньонъ: славное, знаешь, этакое вино рѣзвое; оно—помнишь стишки, что мы въ классѣ списывали, когда, бывало, учитель географіи распинается надъ Бельгіей, помнишь—

Какъ дикій конь, не терпитъ плѣна,
Рветъ пробку рѣзвою волной;
И брызжетъ радостная пѣна,
Подобье жизни молодой...

А, вѣдь, хорошо сказано.

— Славно, à propos, о стихахъ: какіе, братецъ, стихи написалъ Сеня къ *Ней*, знаешь?... Чортъ знаетъ, съ чѣмъ не сравнилъ ее! А, мы, братецъ, списали ихъ, да и на сцену съ цвѣтами.

— Взяла?

— Взяла. Прочитаетъ—быть исторіи. Сеня ей не Иванъ Ивановичъ; хоть онъ и твой товарищъ, и добрый малый, да безъ энергіи, mon cher, безъ энергіи!....

— Стой, стой! à propos, знаешь ли ты, онъ женится; я и забылъ тебѣ сказать.

— Кто? Иванъ Ивановичъ?

— Да; отличную партію дѣлаетъ: беретъ пребогатую.

— Быть не можетъ!

— Я, вотъ, полчаса назадъ съ нимъ встрѣтился, деньги мнѣ показывалъ, десять тысячъ въ бумажникѣ показывалъ; говоритъ: тесть далъ на свадебныя издержки. Я его зазывалъ завтракать—вѣдь, ты знаешь, съ нимъ пріятно поѣсть, онъ *бонвиванъ* — не захотѣлъ, отказался: дѣла, говоритъ, пропасть.

— Да, онъ *виверъ*, объ этомъ никто не споритъ. Что же это онъ, купчиху подобралъ къ рукамъ?

— Куда братъ! дочь помѣщика, его сосѣда; говоритъ, просто ange, не дѣвушка, и душъ пропасть, и денегъ куча; а отецъ, видно, лѣсной медвѣдь, знаешь, этакой провинціальный увалень.

— Такъ за Иваномъ Ивановичемъ пирушка; ужъ это лежитъ на насъ, на его товарищахъ, заставить его раскачнуться.

— Это, mon cher, мы обдѣлаемъ; да Иванъ Ивановичъ и самъ добрый малый, знаетъ приличія... Что же ты не пьешь? эрфиксъ вылетитъ.

— Доброе вино, замѣтилъ Второй.—А мы вчера цѣлую ночь просидѣли у Балабулькина; маконъ былъ порядочный.

— Надоѣлъ мнѣ, mon cher, этотъ бургоньонъ, презрительно сказалъ Первый:— по моему или по хересамъ прохаживаться или вотъ по этому. Признаюсь, эта вдовушка для меня лучше всѣхъ дѣвицъ на свѣтѣ. Помнишь стихи:

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
Въ бутылкѣ мерзлой для поэта
На столъ тотчасъ принесено!...

— Вотъ это, братецъ, поэзія—понимаешь? *благословенное вино!* Чортъ возьми, mon cher, послѣ Пушкина нѣтъ у насъ поэзіи... А! m-r Коко!... команъ са-ва-тиль?... И первый подбѣжалъ къ человѣку, проходившему черезъ комнату, очень похожему на обезьяну, въ синемъ фракѣ, поздоровался и вышелъ съ нимъ подъ-руку; пройдя другую комнату, онъ раскланялся съ синимъ фракомъ, надѣлъ шинель и ушелъ изъ кондиторской.

Второй окончилъ свой бокалъ, посидѣлъ еще съ полчаса и, не видя товарища, пошелъ его отыскивать. Наведя справки, онъ проворчалъ: „Продувная штука! позавтракалъ на мой счетъ!“

Второй расплатился и вышелъ, думая: „Славный малый Первый, да естественный плутъ: какъ ни берегись его—надуетъ!“

Въ это время когда первый моншеръ пригласилъ себя завтракать на счетъ второго, на Васильевскомъ островѣ въ 115 линіи, передъ квартирой шорника, отца Лотхенъ, остановились щегольскія сани; изъ нихъ выскочилъ молодой баринъ въ шинели съ бобровымъ воротникомъ, вошелъ въ мастерскую и началъ заказывать себѣ богатую упряжь. Аккуратный нѣмецъ разспрашивалъ все въ тонкость, какъ и что нужно дѣлать; баринъ не могъ хорошенько всего растолковать, тѣмъ болѣе, что новая упряжь должна была быть подстать старой... Возникли разныя недоумѣнія насчетъ кисточекъ и ремешковъ.

— Самое лучшее, еслибъ кто-нибудь поѣхалъ ко мнѣ посмотрѣть мою старую упряжь, сказалъ баринъ:—это здѣсь, близко. Я не смѣю васъ безпокоить, мейнгеръ, а вотъ пошлите вашего подмастерья; онъ, кажется, малый сметливый; я живу недалеко, здѣсь, на островѣ.

— У насъ много работы, началъ было хозяинъ.

— Помилуйте, всего два шага; я его те-

перь возьму съ собой и сейчасъ же пришлю на своей лошади...

Хозяинъ согласился; подмастерье, рыжій чухонецъ, напялилъ на плечи весьма потертый синій сюртукъ, накинулъ какую-то гороховую шинель съ зеленымъ воротникомъ, надѣлъ полубѣлый картузъ и черезъ пять минутъ въ этомъ нарядѣ уже стоялъ у двери въ квартирѣ молодого барина.

Баринъ, въ которомъ вѣрно вы узнали Ивана Ивановича, закурилъ папироску, развалился на диванѣ и крикнулъ:— эй, Степка!

— Что прикажете?

— Принеси сейчасъ старый хомутъ.

— И шлею, замѣтилъ подмастерье.

— Хорошо, и шлею, слышишь?

— Слушаю, ваше благородіе.

И Степка вышелъ, сильно прихлопнувъ за собою дверь.

— Хлопотливо, чортъ возьми, жениться, началъ Иванъ Ивановичъ:— дѣлай себѣ и новую упряжь, и то, и другое... Садись, братецъ, посиди, пока принесутъ старый хомутъ. А мнѣ твоя физіономія очень нравится, продолжалъ Иванъ Ивановичъ:—я какъ-будто гдѣ-то тебя видѣлъ; ты, должно быть, добрый малый; ты изъ нѣмцевъ?

— Изъ Финляндіи.

— А! изъ Выборга, вѣрно.

— Изъ Або.

— Изъ Або? а! Видѣлъ я картинку: *Або до пожара*; славный былъ городъ, судя по картинкѣ, а теперь каковъ?

— Ничего.

— Это хорошо. Что же и ты, я думаю, тамъ, въ Або женишься скоро—а?... есть зазноба?

— Денегъ нѣтъ; нельзя жениться нашему брату безъ денегъ.

— Правда, правда. А какъ тебя зовутъ?

— Янъ.

— Ну, Янъ, а скоро ты наживешь денегъ?

— Нескоро: наша работа трудная, худая.

— А какъ наживешь, этакъ тысячъ десятокъ, женишься?

— Хоть бы пять, такъ женюсь, открою свою мастерскую; а пяти тысячъ на первый разъ довольно.

— Правда; вѣдь хорошо имѣть свою мастерскую: самъ себѣ хозяинъ, никому не кланяешься, заработалъ что, такъ знаешь, что для себя, а не для другого.

Янъ, улыбаясь, почесался въ затылкѣ.

— На комъ же ты женишься, когда соберешь деньги?

— Денегъ-то не соберешь скоро, отвѣчалъ Янъ, тяжело вздыхая: — такъ и старость придетъ!.. а жениться можно всегда: мало ли есть бабъ на свѣтѣ! были бы деньги, за бабой дѣло не станетъ.

Иванъ Ивановичъ всталъ съ дивана, прошелся по комнатѣ, быстро повернулся къ Яну и, глядя ему прямо въ глаза, сказалъ:

— Послушай, Янъ, я вижу, что ты добрый человѣкъ; хочешь быть хозяиномъ?

— Полно шутить, баринъ, отвѣчалъ Янъ:— мнѣ некогда.

— Я не шучу; ты не теряй своего счастья. Хочешь? я тебя спрашиваю.

— Какъ не хотѣть!

— Умный отвѣтъ; но для этого ты долженъ жениться.

Янъ почесался.

— Тебѣ дадутъ пять тысячъ на обзаведеніе и тысячу рублей на свадьбу—хочешь, я тебѣ это доставлю?

— Будьте благодѣтелемъ.

— Только ты долженъ непремѣнно послѣзавтра жениться.

— Хоть сейчасъ.

— Невѣста твоя хорошенькая.

— Мнѣ все-равно.

— Только... Иванъ Ивановичъ началъ что-то говорить Яну вполголоса.

Янъ молчалъ.

— Согласенъ? что же молчишь? Нехочешь, такъ говори скорѣе, много найдется охотниковъ быть хозяиномъ...

Слезы проступили на глазахъ Яна; онъ переминался, казалось, будто глоталъ что-то, потомъ взглянулъ на свой истертый сюртукъ, пощипалъ оборванный рукавъ шинели, вздохнулъ и сказалъ: „согласенъ!“

— Молодецъ! я не обманулся въ тебѣ, по лицу отгадалъ, что ты славный малый... Для перваго раза я тебѣ закажу упряжь.

— Очень радъ работѣ, сказалъ Янъ, кланяясь.

— Теперь ступай.

— А ваша старая?

— Теперь не нужно; я, вѣдь, тебѣ закажу, тогда и посмотришь, а хозяину скажи, что хочешь, скажи... Ну, выдумай, что хочешь... ты малый умный!

— Трудно выдумать!

— Ну, скажи, что у меня упряжь очень дорогая и по той цѣнѣ, что я давалъ, вамъ дѣлать несходно.—Часа черезъ два я пришлю къ тебѣ письмо; ты скажи хозяину, что пріѣхали къ тебѣ земляки изъ Або и привезли наслѣдство послѣ тетушки или дядюшки, или послѣ кого—самъ знаешь, и уйди куда хочешь, а вечеромъ воротись и скажи ему, что ты получаешь наслѣдство, уже не будешь подмастерьемъ и самъ обзаведешься мастерской, а завтра въ первомъ часу приходи ко мнѣ получить и деньги, и невѣсту...

На другой день, въ 12 часовъ, Лот-

хенъ изъ пансіона зашла къ Ивану Ивановичу.

Иванъ Ивановичъ поцѣловалъ ее и началъ говорить:

— Долго думалъ я, Лотхенъ, какъ поправить твою ошибку; какъ ни верти, а тебѣ прійдется выйти замужъ, и выйти поскорѣе, чтобъ скрыть отъ родителей стыдъ твой. Да, душа моя, рѣшись, хоть это мнѣ и дорого будетъ стоить, но я для тебя сдѣлаю.

— Иванъ Ивановичъ, вы на мнѣ женитесь! о, я буду счастлива!... Какъ я буду любить васъ! Знаете, и я объ этомъ думала, да боялась сказать вамъ. Вы мой безцѣнный!... я не стою васъ!...

Лотхенъ бросилась цѣловать руки Ивана Ивановича.

— Богъ съ тобой, Лотхенъ, говорилъ онъ, вырывая руки:— ты, кажется, съума сошла... я не могу на тебѣ жениться... что ты?

— Отчего?...

Лотхенъ посмотрѣла изумленными глазами на Ивана Ивановича.

— Отчего!... извѣстно отчего: ты... я... какъ бы тебѣ сказать.... ни наше званіе, ни... ну, ничто несходно... какъ можно? ни за что мнѣ нельзя, хоть я и хотѣлъ бы... а ты должна выйти замужъ поскорѣе, только не за меня.

— Я ни за кого не выйду, когда такъ.

— Подумай, что послѣ будетъ; вѣдь тебѣ скрываться долго нельзя; отецъ узнаетъ, они проклянутъ тебя, они умрутъ съ печали, ты будешь причиною ихъ смерти... подумай!

Лотхенъ плакала.

— И то правда, сказала Лотхенъ, помолчавъ немного: — я должна выйти замужъ, и когда *вы* мнѣ говорите: выйди за другого, то я выйду за другого, а не за васъ, хоть бы вы и захотѣли этого теперь! теперь я не люблю васъ больше: теперь вы для меня хуже... хуже не знаю чего, хуже нечесанаго, рябого, гадкаго Яна.

И лицо Лотхенъ приняло строгое выраженіе. Иванъ Ивановичъ улыбнулся.

Въ это время дверь отворилась, вошелъ Янъ. Лотхенъ вскрикнула и прижалась къ Ивану Ивановичу; Янъ стоялъ, разиня ротъ.

— Подойди сюда, сказалъ Иванъ Ивановичъ:—вотъ твоя невѣста; она тебя давно любитъ и желаетъ выйти за тебя замужъ.

Лотхенъ жалобно взглянула на Ивана Ивановича, но сейчасъ оправилась, подошла къ Яну и сказала: „да, Янъ, я выйду за тебя; проси у моего папеньки благословенія... ты добрый человѣкъ, я буду любить тебя“. И ни одна слезинка не навернулась на глаза ея; она стояла подлѣ Яна, блѣдная, дрожащая и гордо смотрѣла на Ивана Ивановича.

— Согласится ли хозяинъ? началъ Янъ.

— Дуракъ, прервалъ его Иванъ Ивановичъ:— ты теперь самъ хозяинъ: проси, онъ согласится съ радостью; вѣдь Лотхенъ согласна; не ему жить съ тобой; а если вздумаетъ упрямиться, скажи напрямки, что ты давно ее любишь и что нехудо, для его же чести, поторопиться свадьбой; и Лотхенъ это скажетъ. Ты скажешь, Лотхенъ?

Лотхенъ утвердительно кивнула головою.

— Вотъ тебѣ, Янъ, твое наслѣдство; пересчитай, тутъ всего шесть тысячъ рублей...

— Не бери ихъ, Янъ, ненужно этихъ денегъ! закричала Лотхенъ.

— Нельзя, сказалъ Янъ, улыбаясь:—на хозяйство нужно. И, низко поклонясь, вышелъ изъ комнаты съ Лотхенъ.

„Уфъ! какъ гора съ плечъ свалилась“ сказалъ Иванъ Ивановичъ, проводивъ гостей глазами до воротъ. „А славная дѣвочка эта Лотхенъ, такой бутончикъ. Чортъ возьми, идетъ словно кошечка, будто какая благородная... Жаль ее... впрочемъ, я сдѣлалъ, что могъ, пусть живутъ на здоровье!“

— Лотхенъ, ты будешь моей женой? спросилъ Янъ, когда они вышли на улицу.

— Да, отвѣчала Лотхенъ.

— И ты меня любишь?

— Буду, сколько могу.

— А этого барина ты любишь?

— Ненавижу.

Что сказалъ отецъ Лотхенъ на предложеніе Яна, сердился ли онъ, или радовался предложенію—мнѣ неизвѣстно; но черезъ два дня послѣ этого, вечеромъ въ 1-й линіи въ церкви Екатерины вѣнчался Янъ съ Лотхенъ. Янъ былъ выбритъ, умытъ, втиснутъ въ новый фракъ и причесанъ; онъ подъ вѣнцомъ безпрестанно улыбался. Лотхенъ была блѣдна, не улыбалась и не плакала. Кругомъ добрые нѣмцы удивлялись счастью Яна. Иванъ Ивановичъ самъ смотрѣлъ эту церемонію, и еще весело сказалъ одному чопорному своему сосѣду, стоявшему въ огромныхъ накрахмаленныхъ воротничкахъ: „Экой счастливецъ! вотъ у меня не умираетъ ни одна тетушка“, на что сосѣдъ отвѣчалъ самымъ поучительнымъ голосомъ: „Грѣхъ говорить такія рѣчи“.

На другой день послѣ свадьбы было напечатано въ газетахъ слѣдующее объявленіе:

1000 РУБЛЕЙ НАГРАДЫ.

„Вчерашняго числа оброненъ на дорогѣ отъ Морской къ Аничкину мосту бу-

мажникъ зеленаго сафьяна, въ коемъ прейсъ-курантъ винамъ изъ погреба Гордона, серебряная зубочистка и *десять тысячъ рублей* государственными ассигнаціями. Нашедшаго просятъ доставить въ гостинницу Парижъ въ № 000, за что получитъ *тысячу* рублей награжденія".

Бумажникъ, разумѣется, никто не находилъ, о чемъ сильно печалился старикъ Буслаевъ, а Иванъ Ивановичъ чуть не заболѣлъ съ тоски, но поправился, женился и съѣздилъ въ отпускъ съ женой.

Теперь онъ въ Петербургѣ; вышелъ въ отставку, купилъ домъ, носитъ усы и испаньолку, хорошо обѣдаетъ и живетъ помаленьку подъ именемъ добраго человѣка. Недавно я его видѣлъ въ обществѣ; шелъ разговоръ о праздности.

— О нашей черни и говорить нечего, громко сказалъ Иванъ Ивановичъ:— противъ моего дома черезъ улицу питейный домъ; я всякое утро до часу сижу у окна, гляжу на улицу и удивляюсь, сколько празднолюбцовъ шатается и заходитъ въ этотъ домъ! Чего отъ нихъ ожидать добраго? Вѣдь справедливо говорятъ, что праздность есть мать пороковъ.

Александра Петровна пополнѣла, часто капризничаетъ, часто болѣетъ, имѣетъ домашняго друга, очень милаго молодого человѣка, часто посѣщаетъ маскарады; впрочемъ, ее втравила въ эту забаву тетушка, которая, прикрывъ свое поношенное лицо маской, мистифируетъ весь свѣтъ, отыскивая ремонтера-корнета.

Янъ завелъ свою мастерскую на Васильевскомъ островѣ въ 215 линіи. У Лотхенъ есть ребенокъ, котораго она очень любитъ, часто цѣлуетъ и часто плачетъ надъ нимъ. Она живетъ безстрастно, однообразно, какъ стѣнные часы; постоянно задумчива, ничто ее не смущаетъ, не радуетъ, ничто не измѣняетъ ледяного спокойствія ея лица; только когда мимо окошка иногда проходитъ баринъ въ платьѣ, похожемъ на платье Ивана Ивиновича, легкая судорога пробѣжитъ по лицу Лотхенъ, и она быстро отворачивается, будто увидѣла ядовитое насѣкомое.

1844 г.

Чужая голова—темный лѣсъ.

РАЗСКАЗЪ.

Если вы разъ проѣзжали городъ Б*, то вѣрно его помните. Онъ хоть и стоитъ на большой дорогѣ, однако мало измѣнилъ свои первобытныя формы; въ немъ еще много домовъ, напоминающихъ терема, вышки и переходы, рѣзные, настекленные, много еще ходитъ женщинъ подъ азіатскими покрывалами, много разныхъ обычаевъ, напоминающихъ времена, по крайней мѣрѣ, царя Алексѣя Михайловича; но если вамъ эти отличія города Б* не бросились въ глаза, то вѣрно вы никогда не забудете ведущей къ нему дороги, особливо если ѣхали лѣтомъ. Отъ послѣдней станціи до города 20¼ верстъ; за это количество, по крайней мѣрѣ, берутъ съ васъ прогоны, хотя на верстахъ написано только 18, а ямщики считаютъ 25—на какомъ основаніи? сами не знаютъ. Отъ станціи ¼ версты идетъ прекрасная дорога по твердому, глинистому грунту, который только весной и осенью, да еще лѣтомъ, во время дождей, растворяется въ непроходимую, липкую грязь. Далѣе, верстъ около десяти, идетъ дорога лиственнымъ лѣсомъ; вашъ экипажъ безпрестанно прыгаетъ по корнямъ, ползущимъ поперекъ дороги, и вдругъ, верстахъ въ десяти отъ города, только-что вы проѣдете красный постоялый дворъ, съ зеленымъ рѣзнымъ пѣтухомъ на кровлѣ, вашъ экипажъ перестаетъ прыгать и мягко катится, словно по подушкѣ; васъ обдаетъ бальзамическій смолистый воздухъ; вамъ любо; но не радуйтесь! вы въѣхали въ сосновый боръ; ямщики кричатъ, суетятся, хлопаютъ арапниками—ничто не помогаетъ: усталыя лошади въ силу бредутъ, какъ по водѣ, по сыпучему песку, и этакъ дорога тянется до самой городской заставы Б*. Если день жаркій, и вы, притомъ, нетерпѣливы, то ѣзда становится своего рода пыткой: лошади останавливаются, мелкая песчаная пыль ѣстъ ваши глаза, удушливый, смолистый воздухъ давитъ вашу грудь; впереди тянется длинная безконечная просѣка, направо сосны, налѣво сосны, подъ ногами песокъ, надъ головой длинная полоса голубого неба. Утомительно! скучно! Спать бы хорошо; но если вы и способны вздремнуть подъ хлопанье и вопли ямщиковъ, то явятся рои кровожадныхъ насѣкомыхъ и непремѣнно разбудятъ васъ, будто говоря: „не спи, наслаждайся природой“. И точно, вамъ поневолѣ придется или ботанизировать, то-есть, идя стороной дороги, срывать тощіе цвѣточки, сравнивать ихъ, подбирать подъ цвѣтъ и бросать, или щипать ягоды, если онѣ найдутся, или собирать грибы и наконецъ *пріѣхать* въ Б* усталымъ, измученнымъ. Надѣюсь, кто разъ проѣзжалъ Б*, тотъ его непремѣнно помнитъ. Итакъ, если вы помните Б*, помните его дремучій сосновый боръ и сыпучую дорогу, которая началась отъ зеленаго пѣтуха на кровлѣ, то я вамъ разскажу одно приключеніе, которое случилось въ этомъ бору—не теперь, не въ сороковыхъ годахъ, но и не такъ давно.

Постоялый дворъ, съ зеленымъ пѣтухомъ на кровлѣ, принадлежалъ мѣщанину города Б*, Ивану Ѳедоровичу. Иванъ Ѳедоровичъ былъ человѣкъ пожилой, съ длинной бородой по поясъ, съ лысиной отъ праваго уха до лѣваго, немного грамотенъ, немного плутоватъ, какъ всякій содержатель постоялаго двора на большой дорогѣ; впрочемъ, онъ отъ природы имѣлъ доброе сердце и былъ человѣкъ набожный. Съ проѣзжаго барина онъ, бывало, возьметъ и за квартиру, и за дрова, что сгорятъ у него въ печкѣ, и еще прикинетъ грошъ другой за огонь, то есть за искру, которою подожжетъ дрова, и всегда говаривалъ:

„Это Богъ послалъ за грѣхи наши! Съ кого же взять нашему брату, какъ не съ барина?“

Бывало, знакомые извозчики остановятся у Ивана Ѳедоровича ночевать. Иванъ Ѳедоровичъ привѣтливо встрѣтитъ ихъ, накормитъ, напоитъ и уложитъ въ теплой избѣ спать, приговаривая:

— Спи, ребята! а кони съѣдятъ сѣно, я ужо самъ задамъ овса.

— Ладно, ладно, говорили извозчики:— мы знаемъ тебя, Иванъ Ѳедоровичъ; лучше насъ накормишь.

Извозчики спали, а Иванъ Ѳедоровичъ засыпалъ конямъ гнилого овса, думая: „люди знакомые, провѣрять не станутъ“.

Если бъ вы вздумали замѣтить ему, что это дѣло нечистое, онъ бы очень хладнокровно отвѣтилъ:

— Нельзя, батюшка, наше дѣло торговое; нелегко хлѣбъ достается, а имъ ничего, почихаютъ гнѣдки версту-другую, еще лучше корму возьмутся; а намъ куда дѣвать гнилой овесъ?

— Зачѣмъ покупать гнилой овесъ?

— Богъ избавилъ отъ такого грѣха; заплатилъ за него цѣну какъ за свѣжій; самого надулъ Онуфрій Евдокимовичъ. Богъ ему судья: показалъ просу такую, а взялъ деньги да овесъ доставилъ этакой... сбывай, какъ хочешь; а съ него взятки гладки: шуринъ исправника, въ колескѣ ѣздитъ, съ форейторомъ.

За то ни одинъ нищій не отходилъ отъ порога Ивана Ѳедоровича безъ подаянія; послѣдній коровай, бывало, передѣлитъ съ неимущимъ. Такова была натура старика Ивана Ѳедоровича.

У Ивана Ѳедоровича была жена почти ему ровесница, Аксинья Марковна. Жилъ онъ съ нею лѣтъ сорокъ; дѣтей у нихъ было многое множество, да всѣ перемерли, то отъ оспы, то отъ обжоги, то отъ угару на масляницѣ; остался только на утѣшеніе старости Ивана Ѳедоровича одинъ-однимъ сынъ Ваня, дѣтина лѣтъ двадцати, свѣжій, здоровый; его не брала ни оспа, ни угаръ, ни другія немочи.

Старикъ Иванъ Ѳедоровичъ и его жена, какъ говорится, души не слышали въ своемъ Ванѣ. Онъ былъ для нихъ все утѣшеніе и подпора старости; для него они жили, для него собирали добро, имъ радовались и просили Бога, чтобъ помогъ оженить Ваню, да понянчить внуковъ, тогда бы, дескать, и умереть нестрашно.

И вотъ на радость имъ Ваня полюбилъ Аленушку, дѣвушку румяную, пригожую, небѣдную и хорошихъ родителей, дочку содержателя постоялаго двора на той же дорогѣ, верстахъ въ пяти отъ Ивана Ѳедоровича, туда подальше къ станціи. Ваню сговорили съ Аленушкой и назначили быть свадьбѣ недѣлю спустя послѣ ярмарки въ Б*.

Наканунѣ ярмарки день былъ жаркій, лѣтній. Солнце стало клониться къ закату; шумъ поутихъ; изъ воротъ постоялаго дома, у котораго на кровлѣ сидѣлъ зеленый пѣтухъ, выѣхалъ самый неудобный въ мірѣ экипажъ, именуемый: русская телѣга; переднія колеса въ сажень, заднія въ полъ-аршина. Благодаря этому художественному устройству, ноги жертвы, ѣхавшей въ подобномъ экипажѣ, всегда находились выше головы. Выѣхавшая изъ воротъ телѣга была запряжена одной лошадью; спереди, на облучкѣ, торчали борода, шляпа и кнутъ, въ телѣгѣ было навалено множество чего-то краснаго, голубаго и ярко-желтаго. Иванъ Ѳедоровичъ съ женой и сыномъ вышли за ворота.

— Просимъ прощенія! сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, кланяясь телѣгѣ.

И вдругъ все красное, синее и желтое зашевелилось и запищало:

— Прощайте, Иванъ Ѳедорычъ! прощайте, Аксинья Марковна, прощайте, Иванъ Иванычъ!

Телѣга была биткомъ набита бабами.

— Прощай, сватъ Иванъ Ѳедорычъ! сказала борода, взмахнувъ кнутомъ. И телѣга двинулась въ путь.

— Съ Богомъ, сватъ Акимычъ! отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ, кланяясь.

Борода была—отецъ Алейшки, а въ телѣгѣ сидѣла сама Аленушка, ея мать, сестра да двѣ или три тетки.

— Не забудь, Иванъ Иванычъ, купить краснаго кумачу на сарафанъ: просила Аленушка,—кричала съ повозки мать.

— Ладно, ладно, кричалъ Ваня, мотая кудрями.

— Каленыхъ орѣховъ для Аленушки, кричали издали тетушки.

Еще... скую ковражку... шка! чуть слышно отдавался голосъ другой тетушки.

Ваня безъ словъ кивалъ головой и махалъ руками, изъ телѣги ему тоже махали бѣлымъ платкомъ; но вотъ телѣга скрылась изъ виду, дорога опустѣла, только вдали, словно точка, виднѣлся какой-то прохожій; онъ шелъ къ постоялому двору.

— Ну, Ваня, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, входя въ избу:—теперь хоть и съ Богомъ: жаръ прошелъ, къ ночи будешь въ городѣ.

— Ты бы далъ ему Савраску, замѣтила Аксинья Марковна.

— Во-на! сами, матушка, знаемъ, что дѣлаемъ. Савраскѣ вчера кровь кидали... натужить сегодня по песку не приходится... А ему, что, Ванѣ? парень молодой; затя-

нетъ пѣсню дома, не успѣетъ кончить, а ужъ и городъ передъ носомъ... далеко ли тутъ? Встарину, говорятъ, мальчишки бѣгали къ бабушкѣ за семь верстъ киселя хлебать, а онъ у насъ не мальчишка, вишь какой!..

Старуха, улыбаясь, посмотрѣла на сына.

— Слушай, Ваня, вотъ тебѣ сотенная ассигнація, ступай въ городъ, переночуешь хоть у станціоннаго, кланяйся ему отъ насъ и на свадьбу проси, да, можетъ статься, будутъ у него обратныя, такъ завтра на нихъ и самъ подъѣдешь и покупки привезешь, а не то найди знакомаго и съ нимъ пріѣдешь. Тебя не учить стать. Одѣвайся-ка, да съ Богомъ.

— Не потеряй, Ваня, денегъ! сто рублей не шутка, замѣтила Аксинья Марковна:— положи ихъ въ мошну да надѣнь на шею.

Ваня сталъ одѣваться въ дорогу, а въ избу вошелъ человѣкъ небольшого роста, широкоплечій, рыжая бородка клиномъ, на головѣ узкая, высокая шляпа, почти безъ полей, въ рукахъ длинная палка, за спиной коробка.

— Хозяйка! можно водицы испить? сказалъ незнакомецъ.

— Для чего... да вотъ въ кувшинѣ квасъ есть: милости просимъ.

Незнакомецъ спустилъ съ плечъ коробку, поставилъ къ стѣнѣ палку, снялъ шляпу, перекрестясь напился и, отдавая кувшинъ, сказалъ:

— Спасибо, матушка! Жаркій денекъ выдался...

— На здоровье, батюшка!

— А издалека? спросилъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Московскіе... по селамъ ходилъ съ товаромъ, а сегодня верстъ двадцать прошелъ.

— Товаръ-то по краснорядной части, али бакалейной?

— Всякій былъ: и ситцы, и платочки, и перецъ, и сережки, и перстеньки; а теперь все распродалъ, вотъ иду въ городъ на ярмарку свѣжаго закупить, что ни-на-есть помоднѣе, пофасонистѣе. Не прикажите ли вамъ занести чего?

— Спасибо, мы вотъ сами сынишку отправляемъ въ городъ.

— Доброе дѣло, такъ мнѣ и попутчикъ будетъ...

— Ладно, ладно, и мнѣ будетъ веселѣе, сказалъ Ваня:—а я уже и готовъ. Ну, прощайте, батюшка и матушка. Я завтра вернусь къ обѣду.

— Прощай, Ваня, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ:—да не покупай краснаго товару у Курочкина: онъ человѣкъ добрый, и пріятель хорошій, да товаръ держитъ лежалый, ломитъ въ три-дорога, а торговаться съ нимъ по дружбѣ негодится. Лучше бери у Захлябузина: онъ насъ не знаетъ, такъ надуть побоится.

— Прощай, Ваня, сказала Аксинья Марковна;—попроси тетку Михайловну, чтобы сама выбрала кумачъ для Аленушки: мы наше бабье дѣло лучше знаемъ... да вернись къ обѣду!

Ваня ушелъ съ кочующимъ торговцемъ-коробочникомъ, когда уже длиннѣе и длиннѣе вытягивались по песчаной дорогѣ тѣни отъ сосенъ; и вотъ скоро солнце спустилось за деревья, верхи высокихъ деревъ горѣли словно золоченые, а въ бору разстилался легкій сумракъ. Жаркій дневной воздухъ, напитанный запахомъ смолы, смѣнился прохладой, благоующей какими-то вечерними цвѣтами; ночныя насѣкомыя зажужжали въ воздухѣ; надъ дорогой пестрый дятелъ долбилъ высокую сосну и звонкое эхо далеко разносило по лѣсу его стукъ, который смѣшивался вдали съ крикомъ какой-то птицы, очень похожимъ и на свистъ и на мяуканье. Ваня и самъ запѣлъ пѣсню, и товарищъ, идя рядомъ, ему подтягивалъ въ полголоса рѣзкимъ тенороомъ, а ночь все подходила ближе и ближе, накидывая на окрестности свои мрачныя тѣни. Вотъ уже на постояломъ дворѣ Ивана Ѳедоровича засверкалъ въ окнахъ привѣтливый огонекъ. Немного спустя, пріѣхалъ къ Ивану Ѳедоровичу ночевать какой-то помѣщикъ, ѣхавшій на ярмарку; долго онъ пилъ чай, колотилъ своего слугу, потомъ ѣлъ жареную курицу, наконецъ и онъ усталъ, заснулъ, и все кругомъ спало. Полная луна высоко шла по небу. Настала пора чудная, обаятельная, пора покоя и сладострастной мечты, пора преступленій и суевѣрнаго страха, пора свиданій тайныхъ, гдѣ человѣкъ передъ человѣкомъ, лицомъ къ лицу, дрожитъ и замираетъ, или отъ восторга, не смѣя вѣрить своему блаженству, своему счастью, или отъ ужаса, не смѣя вѣрить страшному, неотвратимому злу, которое выросло передъ нимъ, какъ привидѣніе, и грозно, неумолимо глядитъ на свою жертву—словомъ, настала глубокая ночь.

На завтра ждали старики Ваню къ обѣду, ждали къ ужину—Ваня не приходилъ. „Ужъ не заболѣлъ ли?“ подумали они и грустно легли спать. На утро нѣтъ Вани. Вотъ ѣдетъ изъ города знакомый человѣкъ, пріѣхалъ, поставилъ лошадь у забора, вошелъ въ комнату. Старики съ вопросомъ, не видалъ ли въ городѣ ихъ сына? Знакомый отвѣчаетъ: не видалъ. Отдохнулъ, выпилъ кружку пива и уѣхалъ. Странно! Б* городъ небольшой... знакомый,

говоритъ, покупалъ красные товары у купца Захлябузина; тамъ и Ваня долженъ покупать: у Захлябузина только и есть хорошіе товары по сходной цѣнѣ. Отчего же Ваня не встрѣтился съ знакомымъ? Къ обѣду проѣхало еще человѣкъ пять знакомыхъ, и никто, говорятъ, не видѣлъ Вани.

„Эка притча!“ подумалъ Иванъ Ѳедоровичъ: „куда бы дѣваться парню? Въ разныя художества онъ у меня, кажись, не ударяется, не то, чтобы чарка... или прочее... Солдатчины передъ нимъ нѣтъ, одиночка, не попадетъ въ очередь... Благо бы нагрубилъ какому проѣзжающему, большому барину, да ушелъ въ лѣсъ, пока тотъ попростынетъ. Кажись, и этого не бывало?.. Притча да и только“.

Старуха плакала.

— Полно плакать, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ:—слезами не поможешь. Саврасый оправился, ѣхать можно, семъ-ка я самъ смахаю въ городъ, да поразспрошу хорошенько, не угодилъ ли малый въ полицію?..

— За что ему, сердечному, сидѣть въ полиціи: онъ и водой не замутитъ.

— Разсказывай! Бабій умъ!.. За что въ полицію попалъ?.. Просто, такъ, шелъ да и попалъ. Бѣда не по дереву ходитъ, а по людямъ; попасть-то легко, а поди-ко его выручи!..

Иванъ Ѳедоровичъ запрегъ саврасаго въ телѣгу, взялъ въ карманъ рублей десять мелочи, про всякій случай, и поѣхалъ въ Б*.

Поздно вечеромъ вернулся Иванъ Ѳедоровичъ изъ города; жена ждала его.

— А что? робко спросила она.

— Ничего! печально отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

Старуха зарыдала; Иванъ Ѳедоровичъ отеръ кулакомъ глаза.

Такъ прошло дня три; кто бы ни ѣхалъ изъ города, всѣмъ одинъ вопросъ: не видали? не слыхали? И у всѣхъ одинъ отвѣтъ: не видали, неслыхали.

На четвертый день прибѣжалъ изъ полиціи хожалый или дневальный—Богъ его знаетъ кто, оборванный мужичокъ, весь въ поту, въ пыли, усталый, запыхался, и спрашиваетъ: кто хозяинъ?

— Мы-съ, отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Меня прислалъ писарь Ѳедотъ...

— Ѳедотъ Михайловичъ, что ли?

— Да, Михайловичъ... сказалъ: „бѣги, молъ, скорѣе, вотъ туда да туда, къ самому хозяину Ивану Ѳедоровичу, да скажи радостиую вѣсточку, что ихъ сынъ отыскался“.

— Отыскался! вскрикнулъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Отыскался! закричала Аксинья Марковна.

— Отыскался, отыскался, отыскался, повторялъ хожалый скороговоркою.

— Гдѣ же онъ?

— Отыскался, здѣсь, здѣсь находится, тутъ!

— Гдѣ тутъ?

— Гдѣ онъ, мой соколикъ? кричала старуха.

— Писарь сказалъ: „здѣсь находится, тутъ, отыскался“, стало-быть въ полиціи.

— Въ полиціи?

— Да, въ полиціи, говоритъ, здѣсь въ полиціи, „ступай, говоритъ, скорѣе, скажи, что сынъ, молъ, отыскался, Иванъ Иванычъ, говоритъ здѣсь, въ полиціи“.

— Слава Богу! сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, набожно перекрестясь.

— Ахъ, онъ, бѣдненькій, таки угодилъ въ полицію: подъ карауломъ никакъ?

— Молчи, жена, слава Богу нашелся, а то Богъ вѣдаетъ, какія мысли налегали... Что же, онъ тамъ давно сидитъ?

— Этого ужъ не вѣдаю.

— И не знаешь за какое дѣло? и за что? и какъ?

— Не вѣдаю; мнѣ сказалъ писарь: „ступай, молъ, поскорѣе, да скажи, что отыскался, молъ, сынъ, Иванъ Ивановичъ... есть тутъ, въ полиціи...“

— Ну, братъ, спасибо, удружилъ! Вотъ тебѣ гривенникъ на водку; отдохни маленько, да мы тебя подвеземъ въ городъ.

— Ждать не приходится, назадъ побѣгу: писарь велѣлъ не мѣшкать, неравно старшой спроситъ... Вы пескомъ шагомъ поѣдете, а я сторонкою да бочкомъ, да черезъ канавки—мигомъ добѣгу.

— Дѣлай, какъ знаешь. Прощай.

— Да еще писарь наказывалъ, нельзя ли продать табаку съ полфунта; въ городѣ, говоритъ, не такой.

— Возьми фунтъ, скажи: фунтомъ кланяюсь за добрыя вѣсти,—поступилъ, дескать, попріятельски.

Хожалый ушелъ. Иванъ Ѳедоровичъ проворно началъ запрягать саврасаго въ телѣгу, а Аксинья Марковна стала бѣгать по избѣ, суетиться изъ угла въ уголъ; то коровай ситника возьметъ, а положитъ булку, да рыбы вяленой, да вязанку баранковъ, и все свяжетъ въ узелъ, то опять развяжетъ и прибавитъ туда десятокъ яблокъ, кусокъ мыла... приговаривая:

„Ахъ, онъ, мой соколикъ, проголодался, чай. Что его занесло туда, моего ненаглядnаго? О-охъ!..

Иванъ Ѳедоровичъ выѣхалъ изъ воротъ на телѣгѣ; изъ дома вышла Аксинья

Марковна; платокъ на головѣ по-дорожному, подъ мышками связки, въ рукахъ узелки...

— А ты куда? спросилъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Извѣстно, съ тобою, въ городъ, къ Ванѣ.

— Что ты, жена? Бабье ли дѣло ходить по полиціямъ?

— Нѣтъ, ужъ не отстану. Вотъ какъ соскучилась, душа болитъ по Ванѣ. Я ему повезу и покушать чего, и бѣлье перемѣнить: вѣдь онъ у меня одинъ, что синь-порохъ въ глазу... Что мы безъ него на старости? сироты несчастныя!

— Ну, ну, быть по твоему. Садись проворнѣй!

Съ легкостью молодой дѣвушки, вспрыгнула старуха на телѣжку, перекрестилась; Иванъ Ѳедоровичъ взмахнулъ кнутомъ, и саврасый потянулъ телѣгу по сыпучему песку мѣрнымъ шагомъ.

Въ городѣ Б* полиція, и земскій судъ, и острогъ—все это заключается въ одномъ длинномъ низенькомъ деревяномъ домѣ, почернѣвшемъ отъ времени; къ этому дому прямо подъѣхала телѣга Ивана Ѳедоровича. Иванъ Ѳедоровичъ слѣзъ съ телѣги, съ своей супругой, нанялъ за пятакъ мѣди какого-то отставного солдата постеречь лошадь и подошелъ къ крыльцу. На крыльцѣ стоялъ человѣкъ въ засаленномъ нанковомъ сюртукѣ съ продранными локтями и привѣтствовалъ Ивана Ѳедоровича восклицаніемъ: „а!“

— Наше вамъ почтеніе, Ѳедотъ Михайлычъ, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ засаленному человѣку:—много благодарны за вѣсточку.

— Какъ же, какъ же, вѣдь надо услужить благопріятелю. Тутъ вашъ сынишка... попалъ сюда. Я сейчасъ дневальнаго... бѣги молъ... на свою шею послалъ.

— Много благодарны! Можно видѣть Ваню?

— Можно. Идите за мной.

— Что, его намъ можно будетъ взять? спросила Аксинья Марковна.

— Вотъ этого не знаю, говорилъ писарь, ведя ихъ по темному корридору:—впрочемъ, если попросить, я полагаю, отдать вамъ согласятся.

— Я поручительство хоть какое поставлю чиновное... началъ было Иванъ Ѳедоровичъ.

— Какое поручительство! перебилъ писарь:—зачѣмъ тутъ поручительство! просто можно отдать.

— Будьте благодѣтелемъ... ужъ мы не постоимъ... Да какъ же это онъ попалъ сюда? скажите на милость.

— Сегодня, на разсвѣтѣ, привезли изъ лѣсу... вотъ тутъ недалеко, подъ городомъ лежалъ.

— Больной, али хмѣльной?

— Какое... говорилъ писарь, отворяя дверь въ небольшую мрачную комнату.

— Ай!.. и старики остановились на порогѣ, словно каменные.

Передъ ними лежалъ трупъ Вани... Но я не стану описывать этой страшноотвратительной картины. Трупъ Вани нашли въ лѣсу бабы, собиравшія бруснику, почти подъ городомъ, недалеко отъ большой дороги; горло перерѣзано, голова избита, поясъ снятъ, а синій чекмень и другое платье оставлено, только изорвано. Мертвое тѣло привезли въ городъ, завели дѣло, нарядили слѣдствіе, взяли допросы съ кого только можно было, но убійцу не отъискали. Остался въ сильномъ подозрѣніи рыжій коробочникъ. Гдѣ онъ, кто онъ, откуда онъ—никто не зналъ. Во время ярмарки многіе купцы видѣли его: онъ покупалъ у нихъ товаръ, не сильно торговавался; въ одно утро нагрузилъ свою коробку всякими галантерейностями и исчезъ.

Иванъ Ѳедоровичъ съ супругой похоронили сына, и въ нѣсколько дней постарѣли нѣсколькими годами. Горе не молодитъ, говоритъ пословица, а горе стариковъ было сильное. Аксинья Марковна мало ѣла, мало спала, все плакала, стенала, вопила; сердце надрывалось, со стороны ее слушая. Иванъ Ѳедоровичъ не плакалъ; онъ молчалъ угрюмо, часто задумывался, иногда, глядя на небо, крестился и читалъ вполголоса молитвы.

Несчастнѣе всѣхъ была Аленушка: она разомъ потеряла и жениха, за котораго такъ ей хотѣлось выйти замужъ, и лишилась краснаго сарафана, который ей давно уже даже снился, а скупой отецъ не хотѣлъ покупать. Она плакала неутѣшно три дня и три ночи, похваляясь броситься въ колодецъ, да отецъ сказалъ ей: „Я изъ тебя дурь-то выгоню! Только ты мнѣ подойди къ колодцу... будешь помнить!“—и въ силу, въ силу, при началѣ осени, позволила уговорить себя выйти замужъ за отставнаго унтеръ-офицера, высокаго молодца, съ двумя медалями и крестикомъ.

— Ахъ, она противная! закричала Аксинья Марковна, узнавъ о свадьбѣ Аленушки:—вишь какъ любила! Умеръ женихъ, извели моего Ваню, моего соколика ненагляднаго, а она черезъ пять недѣль и замужъ вышла... вѣдь за другого вышла. Хоть годокъ бы поплакала, да поскучала... Дрянь дѣвчонка, змѣя этакая грѣховодная! Божья благодать, что покойникъ на ней не женился!

Уже зимой попался на глаза Ивану Ѳедоровичу кушакъ Вани; кушакъ былъ на проѣзжавшемъ. Иванъ Ѳедоровичъ при-

сталъ къ проѣзжавшему: кто онъ? откуда? гдѣ взялъ кушакъ?

— Я человѣкъ извѣстный, отвѣчалъ проѣзжавшій — крѣпостной *такого-то* помѣщика; меня въ городѣ всѣ знаютъ, и землемѣръ, и засѣдатели, и откупщикъ; живу я верстахъ въ тридцати отъ города въ деревнѣ N* управляющимъ, а поясъ я купилъ лѣтомъ на Спасовъ день, у разносчика коробочника.

— А каковъ онъ былъ собой—не помнишь?

— Какъ не помнить! больно неказистъ, приземистый, рябая рожа, словно пряничная форма, рыжая борода клинушкомъ сошлась.

— Клинушкомъ сошлась?

— Клинушкомъ.

— Такъ и есть!.. Это онъ... сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Онъ окаянный! завопила Аксинья Марковна:—онъ извелъ моего Ваню! Какъ теперь гляжу, какъ онъ уводилъ моего голубчика, вонъ по той дорогѣ, прямо въ лѣсъ, какъ овцу велъ подъ ножъ, а я, старая дура, еще имъ путь-дорогу перекрестила! Поѣзжай Иванъ Ѳедоровичъ въ городъ, кланяйся, да проси, пусть его изловятъ!..

Поѣхалъ Иванъ Ѳедоровичъ въ городъ, волей-неволей поѣхалъ съ нимъ и проѣзжавшій, разсказалъ, что зналъ, записали разсказанное куда слѣдуетъ, и опять все утихло.

Прошелъ годъ. Было лѣто; была въ Б* ярмарка; много народу ѣхало въ городъ и изъ города, много телѣгъ останавливалось на постояломъ дворѣ; весело глядѣлъ на нихъ зеленый пѣтухъ съ кровли, весело, бывало, глядѣлъ на нихъ и самъ хозяинъ, Иванъ Ѳедоровичъ, а теперь онъ былъ скученъ, мраченъ, словно даромъ, по приказу, кормилъ и поилъ всѣхъ изъ своего кармана. Выпроводивъ послѣднихъ гостей со двора, онъ сѣлъ у воротъ на лавочку; Аксинья Марковна сѣла подлѣ него, и оба задумались. Чужая голова—темный лѣсъ, говорятъ люди... Богъ вѣдаетъ, о чемъ думали старики; можетъ быть, они вспомнили, что въ это время потеряли сына, что на эту самую ярмарку пошелъ онъ и пошелъ навѣки изъ отцовскаго дома, а можетъ быть, ихъ растрогала послѣдняя телѣга, отъѣхавшая отъ ихъ двора. Телѣга сама по себѣ предметъ вовсе не трогательный; а дѣло вотъ въ чемъ: въ этой телѣгѣ ѣхала Аленушка съ мужемъ; они остановились на нѣсколько минутъ у воротъ и попросили топора починить колесо. Пока унтеръ-офицеръ возился около колеса, Аксинья Марковна не вытерпѣла, подошла къ телѣгѣ посмотрѣть на Аленушку; Аленушка сидѣла полная, здоровая, румяная, такая же, какъ и въ прошлое лѣто, только потолстѣла немного; спустивъ сорочку, она кормила грудью ребенка.

— Твой, Аленушка? спросила Аксинья Марковна.

— Мой, бабушка.

— Бабушка... прошептала старуха печально, кивая головой.—Какъ зовутъ?

— Ваня, робко отвѣчала Аленушка.

— Божья милость!.. сказала Аксинья Марковна дрожащимъ голосомъ, тихо перекрестила ребенка и—зарыдала. Аленушка тоже заплакала.

Смѣхъ и слезы, говорятъ, прилипчивы.

Скоро колесо было исправлено, телѣга уѣхала, старуха сѣла подлѣ Ивана Ѳедоровича на лавочкѣ и задумалась.

Вдругъ Иванъ Ѳедоровичъ вздрогнулъ.

— Жена! сказалъ онъ:—есть у насъ что перекусить?

— На что тебѣ? развѣ голоденъ?

— Не слышишь? *несчастные* идутъ!

Точно, въ лѣсу отдавалось бряцанье, вдали показалась пыль, изъ нея вырѣзывались и сверкали на солнцѣ штыки, впереди ѣхалъ казакъ съ пикой.

— Ахти! вскрикнула Аксинья Марковна:—да сколько ихъ, а у меня, кромѣ двухъ пироговъ да молока, ничего нѣтъ.

— Давай ихъ сюда, пироги и молоко: Богъ велитъ накормить *несчастныхъ*.

— Извѣстное дѣло. Сейчасъ вынесу,—и старуха ушла за молокомъ и пирогами.

Между тѣмъ толпа въ стройномъ порядкѣ приближалась къ постоялому двору. Это была партія ссыльныхъ, которыхъ русскій народъ такъ добродушно называетъ *несчастными*. Они шли скованные попарно; на спинѣ ихъ одеждъ была нашита роковая заплата.

Иванъ Ѳедоровичъ попросилъ у конвойнаго ефрейтора позволенія угостить несчастныхъ молокомъ и пирогами. Сдѣлали привалъ; ружья въ козлахъ; преступники бросились на землю. Аксинья Марковна вынесла на деревянной тарелкѣ нѣсколько пироговъ, за ней баба несла два большіе кувшина молока.

— Милости просимъ, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ:—покушайте на здоровье во имя Спасителя. Жена, угощай!

Аксинья Марковна подошла къ первому преступнику, который ничкомъ лежалъ на землѣ, и сказала ему:

— Перекуси пирожка да прихлебни молочка, коли усталъ, сердечный, вскрикнула и уронила пироги...

Преступникъ поднялъ голову: это была та самая скулистая знакомая голова съ рыжей бородой клиномъ, это былъ знакомый купецъ-коробочникъ.

Съ ужасомъ Иванъ Ѳедоровичъ самъ отступилъ немного отъ преступника.

— Будь проклятъ!.. завопила Аксинья Марковна, отворачиваясь отъ преступника.

— Молчи жена! строго сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, зажимая ей ротъ рукою:—не намъ судить его! Богъ наказалъ его, онъ уже несчастный. Помолись лучше за его душу.

— Чтобъ я молилась за него?

— Да, помолимся вмѣстѣ, а теперь накорми его. „Любите враговъ вашихъ“, сказалъ Христосъ: грѣхъ, жена, не слушать Его.

И, дрожа отъ страха, Аксинья Марковна подала рыжему пирогъ и кринку молока.

Когда ссыльные ушли, Иванъ Ѳедоровичъ крѣпко обнялъ старуху. Они опять сѣли у воротъ, но были спокойнѣе, даже, можно безъ преувеличенія сказать, стали веселѣе.

Отчего бы это?

Чужая голова—темный лѣсъ, скажете вы.

Можетъ быть и такъ.

1845 г.

ЛѢСНИЧІЙ.

ДВѢ БАРЫШНИ.

I.

Тысяча восемьсотъ нѣкотораго года въ концѣ мая, передъ вечеромъ, была въ отдаленной губерніи прекрасная погода; въ этотъ день около полудня прошелъ тихій весенній дождикъ; пыль улеглась, въ освѣженномъ воздухѣ благоухали цвѣты и травы, и молодая зелень деревъ сквозилась, искрилась, сверкала въ косвенныхъ лучахъ солнца; направо и налѣво отъ большой дороги, обсаженной вѣтвистыми вербами, пестрѣли цвѣтистые луга и волновались зеленыя нивы, на деревьяхъ радостно пѣли и щебетали птицы, вверху звенѣли жаворонки, въ молодомъ посѣвѣ гремѣлъ перепелъ и отрывисто кричалъ коростель, быстро перебѣгая по росистой зелени. Все жило по своему!... Любитель природы долженъ непременно проѣхать отдаленную губернію въ это время, чтобъ вполнѣ увлечься мечтами о сельской утопіи; ранѣе онъ засталъ бы тутъ неопрятнаго мужика, тощую рабочую лошадку, и соху, и борону, и тяжкій трудъ—вещи не для всякаго поэтическія; позже: люди скосятъ цвѣтущіе луга, сожнутъ нивы — кругомъ станетъ пусто, скучно... но въ концѣ мая весенніхъ работъ уже нѣтъ, а лѣтнія еще не начались; тогда пышныя декораціи покрываютъ землю, скрывая темныя закулисныя тайны; природа глядитъ такъ празднично, свѣтло, весело, какъ дѣвушка, надѣвшая нарядъ, какъ юноша, сорвавшій въ первый разъ поцѣлуй съ алыхъ губокъ *своей* красавицы.

День вечерѣлъ; картина была истинно прекрасная. По большой дорогѣ ѣхала красивая дорожная карета; сильныя почтовыя лошади, будто играя, легко везли ее, по временамъ прыская и высоко выбрасывая изъ подъ копытъ влажную землю; ямщикъ присвистывалъ и покрикивалъ на лошадей, нерѣдко называя ихъ своими дѣтками; колокольчикъ заливался...

— Что, скоро ли? спросила ямщика прехорошенькаая брюнетка, выглядывая въ окно изъ кареты.

— А вотъ, скоро, матушка сударыня.

— Еще не видать?

— Нѣтъ еще

— Ступай скорѣй, я тебѣ дамъ на водку.

— Сейчасъ, бѣлая барыня! Вотъ какъ поѣдемъ!

— Ахъ, Боже мой! кажется, не доживу!... и брюнетка, со слезами на глазахъ, прижалась въ уголъ кареты.

Ямщикъ повелъ кнутомъ надъ лошадьми, еще разъ назвалъ ихъ милыми дѣтьми и весело запѣлъ:

Ахъ вы, сашки канашки мои!
Размѣняйте бумажки мои!...

Карета быстрѣе покатилась по гладкой дорогѣ, то скрываясь за темныя вербы, то

сверкая на солнцѣ свѣтлыми окнами и бронзовыми фонарями.

Пока рѣзво бѣгутъ кони и ямщикъ поетъ про свои бумажки, пока ѣдетъ карета по столбовой дорогѣ, не хотите ли заглянуть въ нее? Тамъ вы увидите, кромѣ хорошенькой брюнетки, еще молоденькую дѣвушку блондинку, которую вы никакъ не назовете красавицей, но и дурной тоже не назовете, и еще старую дѣву, съ лицомъ желтымъ, съ длиннымъ носомъ и съ огромнымъ ридикюлемъ въ костлявыхъ рукахъ.

Молоденькія дѣвушки были дочери старухи помѣщицы... положимъ, Петровой, потому что ее звали Анной Петровной, и ѣхали домой изъ института, а сопутница ихъ, Агафья Савична, была Богъ ее знаетъ, что такое!... Она родилась и состарѣлась въ уѣздѣ, гдѣ лежало село Петровой, Покровское, вездѣ являлась на свадьбахъ и похоронахъ, гадала на картахъ, сплетничала и услуживала; теперь она взялась, какъ говорится, по дружбѣ, съѣздить и привезти изъ института дочерей Анны Петровны.

Виноватъ! брюнетку звали Вѣрочкой, а блондинку—Любовью. Теперь, кажется, все.

А карета ѣдетъ, да ѣдетъ; вотъ она повернула направо съ большой дороги; вотъ вдали показалась рѣчка, за рѣчкой на крутой горѣ раскинулось большое село; на первомъ планѣ рисовался огромный двухъэтажный домъ, съ красной крышей, и возлѣ каменная церковь; золотой крестъ ея горѣлъ высоко на блестящемъ шпицѣ, обитомъ бѣлымъ желѣзомъ.

— Агафья Савична! неужели это Покровское? разомъ спросили обѣ дѣвушки.

— Да, мои сударыни, Покровское; вотъ переѣдемъ мостъ и будемъ дома, отвѣчала старая дѣва.

— Ахъ, какъ это весело! Какое оно хорошенькое! закричала Вѣрочка, хлопая въ ладони.

— Да, имѣніе богатое: будетъ на чемъ жить, будетъ изъ чего одѣваться; одного серебра...

— Ахъ, вотъ и роща, куда мы ходили съ няней собирать ягоды! Помнишь, Любинька?

— И очень.

— А вотъ и мельница! помнишь, Люба?

— Помню.

— Ахъ, какая ты несносная: опять философствуешь! Посмотри, вотъ рѣчка, а вотъ и онъ идетъ по берегу: какой хорошенькій!

— Никого не вижу, замѣтила Агафья Савична:—кто тамъ такой?...

— Боже мой! гусь! живой гусь, настоящій гусь.

— Богъ знаетъ что; я думала, кавалеръ какой! Теперь уже вамъ, Вѣра Ивановна, неловко заниматься гусемъ: эта птица мужицкая. А вы что невеселы, Любовь Ивановна? Вотъ ваша сестрица уже себѣ и *предметъ* нашли.

— Оставьте меня!

— О чемъ же вы грустите, моя безцѣнная Любовь Ивановна? У васъ слезы на глазахъ.

— Она философка, оставьте ее, пусть мечтаетъ!

— Почему не помечтать, если есть *предметъ*; а философія негодится: можно получить меланхолію—повѣрьте мнѣ, я человѣкъ опытный. Не грустите! О чемъ вы задумались?

— Я думаю о маменькѣ, думаю, что уже до гроба не буду чувствовать болѣе счастливой минуты...

— Ахъ, посмотрите, Агафья Савична, смотри, Люба, сколько крестьянъ! Вотъ они намъ кланяются; мы точно въѣзжаемъ въ свое герцогство!

Агафья Савична хотѣла сдѣлать какое-то замѣчаніе, но карета остановилась передъ крыльцомъ; на крыльцѣ стояла старушка Анна Петровна, окруженная многочисленной дворней; десятки рукъ торопливо открыла дверцы кареты и почти по воздуху перенесли молодыхъ барышень въ объятія матушки.

— Вотъ вамъ ваши канарейки, матушка Анна Петровна! говорила Агафья Савична: —вырвались изъ клѣтки. Ужъ какія барышни! на весь уѣздъ невѣсты...

Но Анна Петровна не слышала словъ ея, не замѣтила старой дѣвы: она обнимала то ту, то другую дочь и, глядя на нихъ, плакала отъ радости. Агафья Савична какъ-то неловко стояла, словно стулъ, оставленный посреди танцовальной залы.

Шесть лѣтъ не видала Анна Петровна своихъ дочерей—неудивительно, что онѣ на глаза ея очень перемѣнились: изъ дѣтей стали дѣвушками, выросли, похорошѣли... Вѣрочка обнимала маменьку, цѣловала ее, называла самыми нѣжными именами, и плакала, и смѣялась и болтала всякій вздоръ.

— Охъ, ты моя баловница! говорила старушка, нѣжно цѣлуя прекрасную головку, Вѣрочки:—ты до сихъ-поръ ребенокъ, хоть и выросла... А ты, Любочка, что стоишь какъ чужая? Подойди ко мнѣ, или тебѣ совѣстно обнять меня—старуху!

— Нѣтъ, маменька, она васъ любитъ, очень любитъ, перебила Вѣрочка: —да оставьте ее, у нея такой нравъ холодный: вотъ и Агафья Савична вамъ скажетъ.

— Ахъ, Агафья Савична! извините, душа моя, я васъ и не замѣтила, сказала Анна Петровна:—видите, какая радость...

— И, полноте, Анна Петровна, извѣстное дѣло—свиданіе послѣ долгой разлуки: тутъ забывается приличіе...

— Правда, душа моя, много вамъ благодарна за радость; вотъ ужъ вы доставили радость! Помните, и на картахъ мнѣ все выходило цѣлую зиму свиданіе и радость... Очень вамъ благодарна! Обнимайте же меня, дѣточки!

Поживя дня два у Анны Петровны, Агафья Савична поѣхала по уѣзду. Знакомыя дѣвушки разспрашивали Агафью Савичну о Петровыхъ; первымъ вопросомъ было: хороши ли онѣ, вторымъ, третьимъ, и сотымъ: много ли у нихъ гардеробу, какія платья, какія мантильи и воротнички, какіе браслеты...

— Ну, что, мать моя, спрашивали, въ свою очередь, уѣздныя матушки:—привезли вы намъ бонтонныхъ созданій?

— Бонтонныя, нечего сказать!

— Чай, все по-французски такъ и рѣжутъ.

— Боже упаси!

— А что онѣ, каковы? такъ, понимаете?

— Еще Вѣра Ивановна, нечего грѣха таить, съ сердцемъ...

— Не говорите, знаю я ее съ дѣтства: такая капризная была, мою Маврушу, бывало, такъ обижаетъ...

— Ну, да, такъ говорится. Вѣра то еще ничего, а Любовь Ивановна... Богъ ей судья!...

— А что?

— Безчувственное созданіе!...

— Скажите! и наказалъ Богъ Анну Петровну; очень жаль! мы съ нею съ дѣтства друзья. Слышишь, Мавруша, Любочка то, говорятъ, дерево деревомъ! Вотъ и воспитана въ столицѣ!...

— Ради Бога, не разглашайте, говорила Агафья Савична:—это я вамъ такъ сказала, по дружбѣ.

— Не безпокойтесь: мнѣ сказать, все равно, что въ могилу схоронить секретъ. Жаль, очень жаль Анны Петровны!...

II.

ЛѢСНИЧІЙ.

„Каждый день мы видимъ публику, а не умѣемъ ее назвать по-русски; каждый день мы ходимъ по каменнымъ тропинкамъ, сдѣланымъ для пѣшеходовъ, и не знаемъ того, что подъ ногами; вы сами, имѣя множество дарованій природныхъ или пріобрѣтенныхъ, не иначе ихъ называете, какъ французскимъ словомъ *талантъ*. Не входя въ глубину метафизики, которой я не понимаю, и въ обширность учебныхъ техническихъ изреченій, о которыхъ я слыхалъ, у насъ нѣтъ собственнаго слова къ изъясненію genie, то есть, превосходнаго ума; даже *религія* называется чужимъ именемъ.

. . . . . .

„Французы же говорятъ, что въ нашемъ серебрѣ и золотѣ гораздо больше звонкости, нежели въ языкѣ, и что, для внятнаго произнесенія нѣкоторыхъ словъ, самыхъ употребительныхъ, надобно удавиться или свихнуть языкъ.

. . . . . .

„Я надѣюсь, что вы теперь сами отгадаете, почему во время французскихъ представленій бываетъ больше каретъ, нежели во время русскихъ, и не принудите меня открывать всѣмъ извѣстныя причины“.

Это было напечатано болѣе пятидесяти лѣтъ назадъ: въ 1792 году, въ журналѣ *Зритель*, который издавалъ нашъ остроумный баснописецъ И. А. Крыловъ. Много времени прошло отъ напечатанія этихъ строчекъ, много воды утекло, много людей перемерло, а еще больше родилось, но мало измѣнилась наша *французомонія*, особливо въ провинціяхъ. Первое условіе маломальски образованной дѣвушки состоитъ въ болтаньи по французски, танцованьи и бренчаньи на фортепьяно, хотя послѣднее считается менѣе важнымъ и составляетъ какъ бы роскошь образованія ума и сердца, и обыкновенно, по выходѣ замужъ, бросается, какъ вещь уже вовсе ненужная, какъ истоптанные башмаки, какъ шуба въ лѣтніе мѣсяцы. Первые же два *таланта*, сроднясь съ дѣвушкой, не оставляются почти во всю жизнь; въ преклонныхъ лѣтахъ она еще часто пляшетъ... часто на смертномъ одрѣ прощается съ дѣтьми и внуками по-французски!

Если дѣвушка недурна собой – въ далекой губерніи все ей прощали: и строптивость, и капризы, и неуваженіе къ старшимъ, явно говорящія о тираніи, которой способна она подвергнуть своего мужа, и мечтательность, обѣщающую въ будущемъ бѣдному супругу обильную жатву вздоховъ, слезъ и мнимыхъ несчастій, которыя все-таки ведутъ къ чахоткѣ... Будь эта дѣвушка даже плохая хозяйка, бойся она запаха бульона и жаренаго мяса и предпочитай ему запахъ блонды и страусовыхъ перьевъ—словомъ, имѣй качества, способныя легко и удобно довести имѣніе до продажи съ публичнаго торга—все это простятъ ей, объ этомъ поговорятъ какъ о злѣ исправимомъ—и только; но никогда не простятъ ей незнанія французскаго языка; болтающія по-французски станутъ обѣгать ее въ обществахъ, какъ существо другой

касты, какъ бѣднаго парію убѣгаетъ надменный браминъ... Вамъ смѣшно? а это истина, горькая истина! Таковъ народъ далекой губерніи.

Не удивительно, что всѣ *барышни* уѣзда, въ которомъ жила Петрова съ дочерьми, говорили по-французски; какъ онѣ говорили—это другой вопросъ, но говорили бѣгло, много, неутомимо, такъ-что, попавъ нечаянно на балъ далекаго уѣзда, вы бы подумали, что вокругъ васъ всѣ дамы иностранки, незнающія ни слова по-русски, которыя изъ любезности стараются говорить съ вами по-французски—и вы, ради ихъ снисходительности къ вамъ, будете снисходительны къ фразамъ: ну завонъ вено а дузъ ёръ; же лю ле жвифъ этернель... и прочее. Въ этомъ уѣздѣ жилъ лѣтъ двадцать какой-то отсталый французъ великой арміи Наполеона, и нѣмка, знавшая по-французски; они кочевали отъ помѣщика къ помѣщику, разумѣется, не вмѣстѣ. Французъ ловко стрѣлялъ, кричалъ соловьемъ и поросенкомъ, пѣлъ разныя веселыя пѣсни, между которыми одна очень нравилась всему уѣзду: пѣсня о какомъ-то господинѣ, который за четверть часа до смерти былъ еще живъ, и умеръ, положивъ голову на желѣзную наковальню, хотя гораздо спокойнѣе могъ бы умереть на пуховой постели. Нѣмка вязала тамбуромъ, отлично шила въ гладь и дѣлала вкусные форшмаки изъ селедокъ; при такихъ достоинствахъ и француза, и нѣмку наперехватъ брали изъ дома въ домъ, и они между стрѣльбой и форшмаками учили молодое поколѣніе французскому языку.

Извините за отступленіе.

Вѣра и Любовь Ивановны скоро по пріѣздѣ познакомились съ уѣздными барышнями. Уѣздныя барышни сначала косились на нихъ, принимали все на свой счетъ; но мало-по-малу довѣрчивость юности взяла верхъ надъ предубѣжденіемъ; онѣ познакомились короче, даже подружились съ Вѣрой Ивановной. Сначала всѣ было бросились къ Любови Ивановнѣ. Любовь Ивановна съ перваго взгляда лучше была создана для дружбы, то-есть, не была красавица и была очень тиха, а подобныя качества въ женской дружбѣ неоцѣнимы, гдѣ часто бываетъ другъ для эффекта, для противоположности. Но *скрытность*, какъ выражались барышни, Любови Ивановны всѣхъ отъ себя отталкивала; она не хотѣла никому сказать ни одного задушевнаго секрета и сама всѣ тайны принимала какъ вещи обыкновенныя... Сверхъ-того Любовь Ивановна говорила по-нѣмецки—да, не шутя! и даже предпочитала этотъ гусиный языкъ французскому. „Да что она? да развѣ она лучше насъ? да это просто выскочка; и мы знаемъ, и у насъ жила нѣмка, да кто станетъ говорить по-нѣмецки? въ Петербургѣ, говорятъ, всѣ кухарки говорятъ по-нѣмецки!“ Такъ кричали дѣвицы всего уѣзда. Ихъ любопытство крѣпко обижалось и тревожилось, когда Любовь Ивановна говорила съ уѣздной нѣмкой при нихъ, и онѣ ничего не понимали, а особливо, если нѣмка говорила которой-нибудь: „ви не сердитесь, пожалуста! я не виновата... ви сами не хотѣла учиться... а нѣмецкій очень хорошій языкъ есть“.

А Вѣрочка была весела, жива, слушала тайны ахая и охая, сама врала вздоръ подругамъ. Еще въ пансіонѣ *ненавидѣла* она нѣмецкаго учителя и не училась по-нѣмецки, и, несмотря на свой великій недостатокъ, на ослѣпительную красоту, сдѣлалась другомъ почти всѣхъ уѣздныхъ барышень.

Многія матушки толковали страсть Любовь Ивановны къ нѣмецкому языку ловкою хитростью завлечь въ сѣти Карла Адамовича и выйти за него замужъ.

А кто такой Карлъ Адамовичъ? спрóсите вы. Карлъ Адамовичъ Шторхъ былъ одинъ изъ тѣхъ величавыхъ, бѣлокурыхъ русскихъ нѣмцевъ, съ голубыми глазами и открытою физіономіей, при взглядѣ на которыхъ, безъ всякихъ справокъ съ генеалогіей, вѣришь ихъ рыцарскому происхожденію. Біографія Шторха немногосложна. Онъ родился отъ родителей, имѣвшихъ очень большое родословное дерево и весьма малую мызу, съ трудомъ удовлетворявшую самымъ ограниченнымъ ихъ нуждамъ; подъ старость дѣла ихъ до того запутались, что они должны были продать свое бѣдное достояніе и съ печали умерли. Карлъ Адамовичъ, оставшись сиротой, несмотря на свою молодость, почувствовалъ, что ему въ жизни остается одна дорога—трудиться, и пѣшкомъ отправился въ Дерптъ. Преподавая за дешевую цѣну частные уроки, Карлъ Адамовичъ существовалъ и самъ учился въ университетѣ, гдѣ вышелъ однимъ изъ первыхъ, потомъ обошелъ пѣшкомъ всю Германію и, возвратясь оттуда, явился въ Петербургъ въ качествѣ *искателя мѣста*. Несмотря на благородныя, открытыя черты лица, несмотря на превосходные аттестаты разныхъ университетовъ, даже на самое образованіе, которое проявлялось въ рѣчахъ молодого человѣка, онъ нигдѣ не находилъ мѣста и очень обрадовался, когда знакомый ему по университету графъ Б*** предложилъ ѣхать лѣсничимъ въ далекую губернію, въ уѣздъ, гдѣ жила Петрова.

Появленіе новаго лица въ уѣздѣ надѣлало суматохи; люди, привыкшіе видѣть

на мѣстѣ лѣсничаго какого-нибудь стараго поручика, обремененнаго сѣдинами и семействомъ, вѣчно продающаго въ три-дорога казенные орѣхи и вѣчно жалующагося на худое житье, изумились, найдя въ Карлѣ Адамовичѣ молодого человѣка съ прекрасными манерами, одѣтаго по послѣдней модѣ, говорящаго по-французски.

„Это что-то не спроста“ поговаривали нѣкоторые: „ему бы съ такимъ воспитаніемъ служить въ столицѣ, или по особымъ порученіямъ при губернаторѣ. Не ревизоръ ли какой?“

Но когда узнали, что Карлъ Адамовичъ ѣздилъ часто въ имѣніе графа Б***, которое лежало въ этомъ же уѣздѣ недалеко отъ Покровскаго, и ревизуетъ управляющаго, что графъ писалъ изъ Петербурга слушаться Карла Адамовича, какъ самого его, и что Карлъ Адамовичъ не беретъ никакого жалованья, ни провизіи, а смотритъ такъ, изъ дружбы къ графу, тогда толкамъ и конца не было... Кто подозрѣвалъ въ немъ, попрежнему, шпіона, кто считалъ его иностраннымъ графомъ, бросившимъ отечество, до поры до времени, изъ политическихъ видовъ, а нѣкоторыя дамы смѣло увѣряли, что Карлъ Адамовичъ побочный сынъ стараго графа; что имъ эта связь графа за границей была давно извѣстна; что покойная графиня, лѣтъ двадцать назадъ, когда посѣщала свое имѣніе, выразилась на этотъ счетъ довольно-ясно, и по этому поводу графъ былъ печаленъ цѣлый день, даже не кушалъ за столомъ яичницы, которую онъ очень любилъ.

По той ли, по другой ли причинѣ, только Карлъ Адамовичъ пользовался отличнымъ уваженіемъ мужчинъ; своимъ манерамъ, росту, выразительнымъ глазамъ и французскому языку онъ былъ обязанъ самымъ милымъ расположеніемъ прекраснаго пола—и вообще его считали завиднымъ женихомъ, особливо послѣ молвы, распущенной, отъ скуки, Агафьей Савичной, что у него сто тысячъ въ ломбардѣ.

Карлъ Адамовичъ, бывая часто въ имѣніи графа Б***, лежавшемъ въ двухъ верстахъ отъ Покровскаго, познакомился съ Анной Петровной и ея дочерьми и нерѣдко навѣщалъ Покровское. Тамъ ему было отрадно, удалясь отъ уѣздныхъ отдохнуть въ обществѣ милыхъ, образованныхъ дѣвушекъ. Онъ пѣлъ съ ними дуэты, рисовалъ имъ съ натуры виды Покровскаго, разсказывалъ разные эпизоды изъ своего путешествія—и время шло весело, пріятно, утѣшительно. А уѣздныя матушки блѣднѣли отъ злости... нарочно пріѣзжали смотрѣть, за кѣмъ онъ *волочится*, и рѣшительно терялись въ догадкáхъ: Шторхъ былъ одинаковъ съ обѣими дочерьми Анны Петровны, равно волочился какъ за той, такъ и за другой, хотя Вѣра, казалось, была *неравнодушна* къ нѣмцу, какъ выражались онѣ. Это любопытство возросло еще болѣе, когда занемогла не на шутку Анна Петровна, и Карлъ Адамовичъ поскакалъ на почтовыхъ въ губернскій городъ за извѣстнымъ докторомъ.

— Да это ни на что не похоже, говорила Агафья Савична:—мать больна, а эти дѣвочки, прости Господи, позволяютъ холостому человѣку, вовсе неродственнику, ѣздить за лекарями! Мать на смертномъ одрѣ, а онѣ, прости Господи, шалыгановъ принимаютъ! Моя нога не ступитъ въ домъ къ нимъ.

— И моя.

— И моя... и моя...

Хоромъ повторили цѣломудренныя барыни.

Однако онѣ не сдержали слово и скоро всѣ собрались въ Покровское на похороны Анны Петровны. Агафья Савична даже осталась жить въ Покровскомъ. Предводитель посовѣтовалъ сиротамъ принять къ себѣ въ домъ пожилую даму хорошихъ правилъ, хоть, напримѣръ, Агафью Савичну.

Для поясненія нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ обстоятельствъ моего разсказа, прочитайте письмо одной дѣвушки, сосѣдки Петровыхъ, къ своей пансіонской подругѣ:

„Напрасно, mon ange, Наденька, ты мнѣ намекаешь на гадкаго Шторха; двѣ-три шалости прошлаго лѣта, которыхъ ты была свидѣтельницей, заплодили въ твоей головѣ Богъ знаетъ какія мысли... Согласись, могла ли я серьезно чувствовать что-нибудь къ нѣмцу, Богъ знаетъ откуда!... Грѣшно тебѣ такъ думать обо мнѣ! Да и онъ, какъ говоритъ моя maman, ищетъ не добродѣтели, а состоянія. Онъ теперь рѣшительно ухаживаетъ за Вѣрочкой Петровой. Ты помнишь эту муху въ молокѣ? Я удивилась; говорю, что онъ нашелъ въ ней? а маменька отвѣчала: „она наслѣдница трехсотъ душъ—вотъ и все“, а онъ человѣкъ торговый, безъ сердца. Маменька говоритъ сущую правду: я сама это видѣла своими глазами. Представь, Анна Петровна умерла, разсталась съ тюлевымъ чепчикомъ и желтыми бантами! Мы были у нея недавно на похоронахъ. Ахъ, ma chère, какъ я плакала! ты знаешь мою натуру — не могу удержаться, а Любочка, помнишь, гордая такая, хотя бы слезу уронила; подошла прощаться, поцѣловала мертвую, выпрямилась во весь ростъ да такъ свысока поглядѣла на насъ, что мы не утерпѣли: „ахъ, безчувственная!“ раздалось

со всѣхъ сторонъ. Что жъ ты думаешь? она посмотрѣла на насъ и улыбнулась—вѣришь ли? при гробѣ матери улыбнулась. Гдѣ тутъ приличіе?... Хотя бы при людяхъ показала печаль, а то смѣется. За то Вѣрочка такъ и разливалась въ слезахъ, обморокъ за обморокомъ... и вотъ тутъ-то намъ открылись глаза: всѣ увидѣли отношеніе нѣмца къ Вѣрочкѣ... и ты еще меня упрекаешь! Нѣтъ, мой ангельчикъ, когда пошло на секреты, я тебѣ скажу... Нѣтъ!...

Кто *онъ*—не знаю, не скажу я!..

Онъ прехорошенькій, усики какъ бархатъ, талія какъ у тебя, Надя; а какъ мило картавитъ! словомъ, *онъ* прапорщикъ драгунскаго полка, который недавно пришелъ къ намъ на квартиры... *онъ*—душка! Хотя маменька и говоритъ мнѣ: „ты не очень съ нимъ... изъ прапорщика рѣдко выходитъ женихъ“; но я, наперекоръ всему, буду любить его, какъ княгиня Вѣра своего моряка—помнишь, на фрегатѣ *Надежда?* Ты знаешь меня, я могу поставить на своемъ. Жизнь или смерть!... Пиши ко мнѣ, душа моя, утѣшь любящаго твоего друга

Anette“.

III.

ПОЛКОВНИКЪ.

Былъ зимній вечеръ; длинно тянулась самая скучная пора, отъ обѣда до чая. Въ гостиной Петровыхъ передъ пылавшимъ каминомъ сидѣли Вѣрочка, Любинька и Агафья Савична; дѣвушки что-то работали, Агафья Савична вязала изъ гаруса какую-то косыночку или колпакъ; весело трещали въ каминѣ дрова, обливая дрожавшимъ свѣтомъ комнату и собесѣдницъ и сверкая на стальныхъ спицахъ Агафьи Савичны, а за окномъ шумѣла мятель, изрѣдка звучно посыпая стекла мерзлымъ снѣгомъ и дергая ставень; казалось, кто-то зябнетъ на дворѣ и стонетъ, и просится въ теплую комнату.

— Такъ вы обо мнѣ худо думали? спросила Вѣрочка Агафью Савичну, разсѣянно вдѣвая въ иглу красную нитку.

— Ахъ, праведное небо! вы никакъ, Вѣра Ивановна, хотите дубовый листочекъ зашить алымъ цвѣтомъ?

— Это пустяки, отвѣчала, немного покраснѣвъ, Вѣрочка и бросила на полъ нитку:—это такъ, попалась...

— Разумѣется, попалась, а вы, мое пламенное сердце, и не видѣли, что она красная. Правду говоритъ одинъ романсъ...

— Что?

Охъ, болитъ!
Что болитъ?
Болитъ, болитъ сердце.
А по комъ?
Все по немъ,
Все по миленькомъ моемъ!...

— Вздоръ говоритъ вашъ гадкій романсъ.

— Полноте прикидываться! Вотъ еслибъ Любовь Ивановна сказала, я бы повѣрила, а вы, нѣтъ, вы любите безгранично—я васъ знаю...

— Ахъ, какая вы недобрая, Агафья Савична!

— Я? за что, мой ангелъ?

— Сначала за то, что вы трогаете Любиньку, а потомъ...

— А потомъ, что говорю *о немъ?*

— Пожалуй и это, а главное, что вы Богъ знаетъ что говорите, а не отвѣчаете на мой вопросъ.

— Вотъ ужъ и не помню о чемъ, Богъ свидѣтель, не помню, говорила Агафья Савична, дѣлая самую размышляющую физіономію.

— Я васъ спрашивала: вы обо мнѣ худо прежде думали?

— Помилуйте!

— Вы же сами сказали...

— Ахъ! грѣхъ вамъ, Вѣра Ивановна, такъ толковать мои слова. Я говорила не то, чтобы худо о васъ думала, а знаете, немного было странно... и многіе говорили... не я одна... ѣздитъ въ домъ молодой человѣкъ... ни кому не говорятъ ничего... помолвки не было формальной... знаете, не то, чтобы Боже сохрани! я смѣла думать что-либо, а странно... Ну, когда я была при смерти покойницы Анны Петровны—царство ей небесное—когда она призвала Карла Адамовича и благословила васъ, тогда у меня какъ завѣса упала съ глазъ... Какъ теперь гляжу, говорила покойница: „будьте, дѣти, счастливы!... съ твоимъ ангельскимъ сердцемъ ты осчастливишь Карла Адамовича“. И подлинно счастливецъ! Тутъ Агафья Савична достала платокъ и отерла глаза.

Любинька сдѣлала то же. Вѣрочка сидѣла въ забытьи, склонивъ немного голову на правое плечо.

На столовыхъ часахъ пробило семь.

— Семь!... сказала Вѣрочка, и на лицѣ ея выразилось нетерпѣніе.

— Не приказать ли самоваръ ставить? спросила Агафья Савична.

— Нѣтъ еще, подождемъ, еще рано.

— Да онъ не будетъ: слышите, какая мятель?

— Разумѣется, замѣтила Любочка: — грѣхъ требовать, чтобъ человѣкъ рисковалъ жизнью.

— Пустяки! что это за мятель! буря въ стаканѣ воды.

— Какъ я вижу, вы очень похожи,—сказала Агафья Савична,—на одну красавицу, не помню въ какомъ романѣ, которая бросила платокъ между львовъ, чтобъ заставить своего рыцаря поднять его.

— Ваша правда: Вѣрочка большой эгоистъ.

— Извинительно, Любовь Ивановна, продолжала Агафья Савична:—любовь не свой братъ, это, я вамъ скажу, чувство удивительное! такъ душа и замираетъ, даже въ ушахъ звенитъ—повѣрьте мнѣ! А Вѣра Ивановна такого нѣжнаго темперамента: всякая бездѣлица ихъ безпокоитъ. Вы этого не поймете. Да не грустите, Вѣра Ивановна, онъ пріѣдетъ, непремѣнно пріѣдетъ; ставлю мое сердце противъ орѣха-свистуна, что пріѣдетъ. Я только пошутила, а въ душѣ твердо увѣрена въ свиданіи. Когда я сегодня зажгла у себя свѣчку, она треснула и полетѣла искра—быть гостю, подумала я, пришла сюда, сѣла у камина, вдругъ дрова тресиули и выскочила пребольшая искра...

— И вы этому вѣрите?

— Кто этому не вѣритъ? только вотъ что странно: искра полетѣла прямо къ Любови Ивановнѣ и упала подлѣ самаго ея капота: значитъ, предметъ для нихъ интересный...

Не успѣла Агафья Савична кончить своего монолога, какъ лежавшая у ногъ болонка подняла голову, заворчала и бросилась въ переднюю, оглашая длинный рядъ комнатъ звонкимъ лаемъ. Обѣ сестры вздрогнули; на лицѣ Вѣрочки вспыхнулъ румянецъ.

— А что? я вѣдь говорила, улыбаясь, сказала Агафья Савична; но болонка уже радостно визжала, прыгая по гостиной: въ дверь входилъ Карлъ Адамовичъ.

Съ пріѣздомъ гостя все въ домѣ оживилось; подали самоваръ, Агафья Савична застучала чашками, зазвенѣла языкомъ; во всѣхъ комнатахъ пробудилось движеніе, заходили люди, зажгли болѣе свѣчей: видно было, что гость былъ интересный.

Карлъ Адамовичъ извинился, что пріѣхалъ такъ поздно.

— А мы все-таки васъ дожидались, закричала Агафья Савична: — такъ вотъ искры со свѣчей и летятъ, я и говорю: будетъ, непремѣнно будетъ.

— Меня задержалъ одинъ полковникъ здѣшняго полка. Онъ, какъ человѣкъ вамъ незнакомый и притомъ холостякъ, не рѣшился самъ ѣхать къ вамъ, а просилъ меня передать его просьбу.

— Понимаемъ! сказала Агафья Савична, значительно посмотрѣвъ на Любиньку.

— Что же это за странная просьба? спросила Вѣрочка.

— Солдаты его полка, стоящіе въ вашей деревнѣ, узнали, что гдѣ-то, недалеко въ лѣсу, вашъ мужикъ нашелъ берлогу медвѣдя, и донесли объ этомъ полковнику; полковникъ, страстный охотникъ, и сейчасъ бы отправился за медвѣдемъ, но не хочетъ этого сдѣлать безъ вашего позволенія, такъ-какъ ему придется охотиться въ вашихъ лѣсахъ.

Вѣрочка и Любинька съ радостью позволили полковнику убить медвѣдя; но Агафья Савична держала крѣпкую оппозицію, такъ что можно было подозрѣвать ее если не въ кумовствѣ, то по-крайней-мѣрѣ въ самой тѣсной дружбѣ съ косматымъ мишкой. Она говорила, что это дѣло нешуточное; что полковникъ не звѣрь какой; что Петровы дѣвушки благородныя и живутъ, какъ слѣдуетъ, съ пожилой *родственницей*; что полковникъ можетъ самъ явиться и попросить о чемъ хочетъ, а не переговариваться, какъ принцъ, черезъ посланниковъ.

— Да къ чему это? спрашивали ее.

— Къ лучшему, непремѣнно къ лучшему, Повѣрьте, что я умѣю жить въ свѣтѣ; не даромъ самъ предводитель рекомендовалъ меня: ужъ я видала этихъ охотниковъ! Имъ нуженъ не медвѣдь, а предлогъ... Отъ искры пожаръ загорается, а сегодня не даромъ летѣли искры въ *другую* сторону.

И Агафья Савична значительно повела глазами на Любиньку.

Всѣ смѣялись краснорѣчивой выходкѣ Агафьи Савичны и рѣшились позвать завтра къ обѣду полковника.

— Вотъ это дѣло! А хорошъ собой полковникъ? спросила Агафья Савична.

— Очень недуренъ, отвѣчалъ Карлъ Адамовичъ.

— Какъ я рада! не даромъ летѣли искры.

— Если вы радуетесь за себя, сказала Любинька:—то и я вмѣстѣ съ вами радуюсь; а если хлопочете обо мнѣ, то напрасно.

— Отчего, мой ангелъ?

— Оттого... оттого, что я никогда не выйду замужъ, отвѣчала Любинька громкимъ, взволнованнымъ голосомъ и быстро вышла изъ комнаты.

— Знаемъ мы васъ! торжественно замѣтила Агафья Савична. Теперь февраль, мѣсяца черезъ два, то-есть, весной кончится трауръ и, дастъ Богъ, мы отпразднуемъ двѣ свадьбы. Увидите, если я лгу! Ужъ я знаю вашу братью, дѣвушекъ; которая говоритъ: „никогда замужъ не пойду“, это и есть самая охотница; не глядитъ на мужчинъ—значитъ влюблена; глядѣть, дескать, не на кого, всѣ никуда не годятся передъ любимымъ предметомъ... только старается говорить погромче, да потверже... значитъ, боится заплакать... вотъ хоть поглядѣть...

И Агафья Савична вышла изъ комнаты, бросивъ на Вѣрочку и Карла Адамовича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые можно толковать въ какую угодно сторону.

Спустя, можетъ-быть, менѣе, а можетъ быть болѣе четверти часа, когда она вошла въ комнату, то уже застала Карла Адамовича готоваго къ отъѣзду; онъ стоялъ со шляпою въ одной рукѣ, а въ другой держалъ бѣленькую ручку Вѣрочки и съ любовью глядѣлъ въ ея черныя очи.

— Ты рискуешь собой: на дворѣ такъ холодно—говорила Вѣрочка и страстно глядѣла на красиваго жениха своего. Казалось, она поглощала его глазами, казалось упивалась пластическимъ зрѣлищемъ стройныхъ, мужественныхъ формъ человѣка, котораго скоро надѣялась имѣть своимъ повелителемъ и—невольникомъ. Что-то чудное выражалось въ глазахъ Вѣрочки; тутъ было все, кромѣ святой любви... А *она* любила *его* такъ страстно!...

— До свиданія.

— Ну, до свиданія. Завтра мы ждемъ васъ съ полковникомъ къ обѣду.

— До свиданія.

Карлъ Адамовичъ все еще стоялъ, держа въ рукѣ ручку Вѣрочки, Вѣрочка все также страстно глядѣла на него.

— Да полноте нѣжничать, сказала Агафья Савична:—совершенные Лолотта и Фанфанъ... совершенныя зелененькія птички, вотъ что жили у нашего предводителя, инсипорабль, что-ли... Прощайтесь, да и по домамъ; скоро придетъ время, что не станете разлучаться ни на минуту.

Вѣрочка судорожно сжала руку лѣсничаго; онъ прильнулъ губами къ ея ручкѣ и уѣхалъ.

— А что, Любовь Ивановна? спросилъ онъ уже въ передней у провожавшей его Агафьи Савичны.

— Ничего; я вамъ говорила, что будутъ слезы; кажется, расплакалась, а теперь жалуется на голову.

— Это такъ.

— Ничего, привозите къ намъ завтра полковника.

На другой день явился полковникъ съ Карломъ Адамовичемъ къ обѣду. Петровы старались его обласкать, особливо Вѣрочка сильно хлопотала для Любочки, какъ выражалась она.

Сначала полковникъ чувствовалъ себя какъ-то неловко, но, обласканный дѣвушками, скоро освоился, началъ любезничать, острить, и за столомъ уже командовалъ лакеями, былъ какъ дома.

— Люблю военныхъ: армейская душа! восклицала Агафья Савична, выбѣгая по временамъ въ дѣвичью;—вотъ человѣкъ: весь нараспашку!

Узнавъ отъ Вѣрочки, что она съ сестрой любитъ смотрѣть на ученье, полковникъ обязательно предложилъ это зрѣлище и обѣщалъ два раза всякій день учить солдатъ на площади передъ ихъ окнами. Любинька замѣтила, что это будетъ для солдатъ слишкомъ тягостно; полковникъ увѣрялъ, что его солдаты любятъ учиться, какъ дѣвушки танцовать; но, изъ угожденія къ дамамъ, готовъ ихъ учить каждый день только по разу. Дѣвушки еще спорили, отстаивали солдатъ, полковникъ горячился, доказывалъ и кончилъ обѣщаніями дѣлать ученье съ музыкою два раза въ недѣлю противъ оконъ—какъ онъ выразился —прекраснаго пола.

Стараясь занимать гостя, Вѣра Ивановна завела разговоръ о медвѣдѣ, котораго собирался полковникъ добыть живого или мертваго. Тутъ онъ былъ въ своей тарелкѣ, сыпалъ техническими охотничьими словами, вовсе непонятными для большей части мужчинъ, не только для женщинъ, и кончилъ свою восторженную рѣчь словами:—Ахъ, если бъ вы знали, сударыня, какъ это потѣшно!

— И нестрашно? спросила Любочка.

— Ни малѣйше!

— Такъ и мы поѣдемъ смотрѣть, весело закричала Вѣра.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, сказалъ полковникъ.

— Это будетъ прекрасное partie de plaisir! Я посмотрю. какъ вы, полковникъ, побѣжите отъ медвѣдя.

— Сударыня! еслибъ вы были мужчина, я бы потребовалъ у васъ отвѣта, какъ честный и благородный человѣкъ, а теперь я кланяюсь.

— Боже мой! да какой вы рыцарь! это мнѣ нравится.

Медвѣжья охота сдѣлалась общимъ

интересомъ; начали говорить о ней серьезно; даже сама Агафья Савична изъявила желаніе въ ней участвовать, „хотя я и слыхала, что медвѣди гоняются за женщинами“ сказала она въ заключеніе.

— Будьте благонадежны, сударыня, замѣтилъ, громко смѣясь, полковникъ:—головой ручаюсь, за вами не погонятся.

— Что же, я развѣ колдунья какая, или фея, или благодѣтельная волшебница?

— Совсѣмъ не то, сударыня.—Какъ вы думаете, Карлъ Адамовичъ, вѣдь не погонится? правда, не погонится?

— Я полагаю, отвѣчалъ Карлъ Адамовичъ: даже медвѣдь уважитъ лѣта и добродѣтели Агафьи Савичны.

— Ну, да, да, да. Это и я хотѣлъ сказать.

Наконецъ, рѣшили, при первой хорошей порошѣ собраться охотникамъ въ Покровское и оттуда, вмѣстѣ съ дамами, ѣхать въ лѣсъ, гдѣ и обойдутъ медвѣдя. Это уже уладили вечеромъ за чаемъ, послѣ котораго полковникъ уѣхалъ вмѣстѣ съ Карломъ Адамовичемъ.

Хотите знать наружность полковника? Онъ былъ здоровый мужчина, лѣтъ подъ сорокъ, вершковъ десяти росту, съ широкими плечами, съ атлетическими формами тѣла, съ высокой, дюжей грудью, изъ которой всегда вылетаютъ громовые, басовые звуки. Полковникъ былъ брюнетъ; черные усы и густые бакенбарды оттѣняли его смуглое лицо; подъ широкими бровями сверкали матеріальной силой каріе глаза; манеры его были немного связаны; ходилъ онъ по комнатѣ тяжелыми шагами, заставляя дрожать мебель; садился, какъ-то сразу опускаясь, будто падая на диванъ или кресла, любилъ въ разговорѣ кстати трехнуть плечомъ и имѣлъ привычку, часто взявъ хозяина подъ-руку, уводить его куда-нибудь, ни мало не заботясь о гостѣ, съ которымъ разговаривалъ хозяинъ и который оставался посреди разговора въ самомъ незавидномъ положеніи. Въ разговорѣ онъ любилъ иногда изысканныя слова и часто искажалъ смыслъ фразы, стараясь ее выразить не простонародно—словомъ, полковникъ, казалось, могъ быть идоломъ для женщины, уже испытавшей свѣтъ, извѣдавшей всѣ его радости и огорченія, и былъ способенъ запугать собой всякую неопытную дѣвушку.

Знаю, что портретъ мой слабъ, но вы по немъ можете имѣть, хоть приблизительно, понятіе о полковникѣ.

— Не забывайте же, полковникъ, мы будемъ вмѣстѣ стрѣлять медвѣдей.

— Скорѣе забуду названіе моего полка, цвѣтъ моего мундира...

— Не проспите пороши...

— Первая пороша—я сажусь на своего Моренго, буду имѣть ночлегъ у Карла Адамовича и чуть свѣтъ явлюсь сюда, какъ честный и благородный человѣкъ, или заколю шпорами Моренго.

IV.

МЕДВѢДЬ.

„Славное дѣло—пороша“, говаривалъ полковникъ Василій Кузьмичъ, и, пожалуй, проскучавъ въ деревнѣ нѣсколько недѣль безъ всякаго развлеченія, скажешь поневолѣ съ Василіемъ Кузьмичемъ: *славное дѣло!* Пороша возбуждаетъ въ охотникѣ чрезвычайно пріятное чувство, немного похожее на приглашеніе къ обѣду, сдѣланное вамъ, мой слушающій читатель, отъ вашего начальника или на обѣщаніе занять вамъ денегъ; только пороша еще болѣе наполняетъ душу радостью, надеждой и сладкимъ волненіемъ. Надобно быть охотникомъ, чтобъ вполнѣ оцѣнить благодатную пору, когда тихій, рѣдный снѣгъ, идя всю ночь, къ свѣту перестанетъ, и безвѣтренный, неморозный день ярко свѣтитъ всю природу, покрытую легкимъ, пушистымъ покрываломъ, красивымъ, пышнымъ, но губительнымъ для бѣдныхъ звѣрей; на мягкой поверхности этого предательскаго снѣга отпечатывается малѣйшій слѣдъ; вздумалъ бѣдный заяцъ воспользоваться предразсвѣтной порой и покушать овса на гумнѣ вашемъ—легкіе узоры его лапокъ по гладкому снѣгу, въ родѣ бѣлаго шитья на бѣломъ бархатѣ, вѣрно изобличаютъ слѣдъ бѣднаго зайца и прямо доводятъ васъ до его убѣжища; вздумаетъ ли лисица понавѣдаться, порядка ради, на птичій дворъ—пороша выдастъ и ее.

Я люблю смотрѣть во время пороши на поляны между лѣсами: какихъ узоровъ тутъ вы не увидите!... и будто человѣчьи ступни медвѣдя и лапчатые слѣды волка и, словно веревочку изъ точекъ, остающихся отъ лапокъ лисицы, и цвѣтообразные скачки зайца... Тамъ вы увидите красивые крестовидные слѣдки отъ ножекъ куропатки, въ другомъ мѣстѣ вьются, пересѣкаются, исчезаютъ гдѣ-нибудь въ кустахъ слѣды какого-то невѣдомаго звѣрька, мышь ли это, хорекъ ли—Богъ его вѣдаетъ, но все говоритъ вамъ о жизни, которая кипѣла ночью на этой, повидимому, пустой, холодной полянѣ... Вы глядите на эти недавніе слѣды, какъ на слѣды богатаго пира, съ котораго недавно разъѣха-

лись гости; и если вы охотникъ—слѣдите въ добрый часъ эти свѣжіе слѣды: они приведутъ васъ къ мѣсту, гдѣ отдыхаютъ дѣятели этого пира, и вашему ружью будетъ работа и вашему самолюбію—удовлетвореніе.

Очень скоро послѣ посѣщенія Покровскаго Васильемъ Кузьмичомъ, упала пороша. Полковникъ, по сказанному, какъ по писанному, явился рано утромъ въ Покровское, съ лѣсничимъ Карломъ Адамовичемъ и съ нѣсколькими десятками солдатъ, стрѣлковъ и загонщиковъ.

Послѣ легкаго завтрака, безъ котораго хозяйки не соглашались отпустить охотниковъ и который Василій Кузьмичъ довольно выразительно проклиналъ, называя бабьими выдумками и роскошью, несвойственною военному чловѣку, всѣ выѣхали прямо въ лѣсъ. Впереди, верхомъ на рыжей косматой кобылкѣ, очень похожей на большую собаку изъ породы брусбартъ, ѣхалъ мужикъ-проводникъ, знавшій медвѣжью берлогу. Онъ былъ въ мѣховой шапкѣ съ ушами, въ лаптяхъ и сидѣлъ на лошади безъ сѣдла, перекинувъ черезъ ея спину двѣ веревочныя петли, куда, какъ въ стремена, всовывалъ свои ступни. За нимъ на большихъ розвальняхъ, запряженныхъ тройкой и покрытыхъ богатымъ ковромъ, ѣхали Любочка, Агафья Савична и полковникъ, который всю дорогу училъ кучера править и, взявъ въ собственныя свои руки возжу лѣвой пристяжной, безпрестанно стегалъ ею бѣдную лошадь, то отпускалъ ее, то вдругъ осаживалъ, показывая свою силу; за розвальнями, въ легкихъ санкахъ на одномъ рысакѣ, ѣхала Вѣрочка, разумѣется, съ Карломъ Адамовичемъ; за ними тянулось нѣсколько саней съ охотниками, съ загонщиками и собаками.

Подъѣхавъ недалеко къ мѣсту, гдѣ находилась берлога медвѣдя, провожатый обернулся и, словно сибирскій шаманъ, молча преглупо повелъ рукой по воздуху. Всѣ остановились въ торжественной тишинѣ, заговорили шопотомъ, между которымъ по временамъ глухо басилъ подавляемый голосъ Василья Кузьмича, будто шмель, пойманный подъ стаканомъ. Тихо начали расходиться охотники, осторожно осматривали свои ружья, кто подсыпалъ на полку пороху, кто поправлялъ кремень, кто надѣвалъ пистонъ; у всѣхъ на лицахъ было замѣтно тревожное ожиданіе.

— Ахъ, какъ это весело! вскрикивала Вѣра Ивановна, глядя на общую суматоху: —не правда ли?

— Матушка, Вѣра Ивановна, сдѣлайте одолженіе, не шутите, басилъ въ полголоса полковникъ.

Наконецъ, люди были разставлены по мѣстамъ, обошли медвѣдя и скрылись въ лѣсу; собакъ увели и лѣсничій съ полковникомъ тоже ушли въ лѣсъ, прося дамъ не поскучать и не отходить отъ табора, то-есть, отъ саней, пока не позовутъ, обѣщая сейчасъ дать знать, когда будетъ можно безопасно поглядѣть на медвѣдя.

Прошло съ четверть часа, въ лѣсу было все спокойно; изрѣдка раздавались лай и визжанье собаки, изрѣдка голосъ, ободрявшій собаку, и опять все умолкало.

— Нестерпимо-скучно! сказала съ досадой Вѣрочка:—я не думала, чтобъ мужчины могли изобрѣсть себѣ такую гадкую забаву; здѣсь скучнѣе, нежели, бывало, въ математическомъ классѣ! Хоть бы посмотрѣть...

— Куда ты, Вѣрочка?

— Куда вы, Вѣра Ивановна? закричали въ одинъ голосъ Любочка и Агафья Савична.

— Ахъ, Боже мой! туда, куда и всѣ пошли.

И Вѣрочка, откинувъ отъ своей бархатной шляпки вуаль и подобравъ немного свой теплый капотъ, быстро побѣжала по тропинкѣ въ лѣсъ.

— Боже мой! куда ты? куда вы? безразсудная! и тому подобныя восклицанія полетѣли вслѣдъ за Вѣрочкой.

Уже Агафья Савична, собравъ кучеровъ, хотѣла было идти съ Любочкой за Вѣрой Ивановой—глядятъ, а веселое лицо ея, освѣженное морозомъ и обрамленное изумрудно-зелеными полями шляпки, смѣется изъ-за ближняго куста.

— Ахъ, Боже мой! закричала Агафья Савична:—праведное небо! какъ вы насъ напугали! Мы думали, Богъ вѣсть что!

— Что меня скушалъ медвѣдь? Не удастся ему, гадкому... И она захохотала.

— Ты все шутишь, Вѣрочка.

— А ты все философствуешь, другъ мой, Любочка, и не могла подумать, что мнѣ не очень пріятно сдѣлаться завтракомъ для косматаго, необразованнаго медвѣдя, и что вѣрно я не рѣшусь пойти прямо ему въ пасть.

— Но, вѣдь, можетъ быть...

— Ничего не можетъ быть тамъ, гдѣ такое множество *рыцарей* защищаетъ даму отъ медвѣдя... А мнѣ очень скучно сидѣть на одномъ мѣстѣ и даже не имѣть удовольствія считать звѣзды отъ того, что ихъ невидно... До свиданія!

И опять она убѣжала въ лѣсъ. Немного спустя, она явилась съ вѣткой можжевельника, облѣпленнаго ягодами, сказала, что медвѣдь прислалъ Агафьѣ Савичнѣ, въ знакъ своего душевнаго расположенія, эти

вкусныя ягоды, и снова ушла. Теперь она уже рѣшилась пройти далѣе; ее занимали разные звѣриные слѣды, испещрявшіе лѣсъ во всѣхъ направленіяхъ, и она шла тропинкой все глубже въ лѣсъ; вотъ надъ ея головой застучалъ дятелъ, такой пестрый, съ красной головкой; она посмотрѣла на него съ любопытствомъ, и онъ посмотрѣлъ на нее, кажется, не безъ удивленія, и полетѣлъ; она впередъ, а тропинка скрылась передъ нею въ чащѣ ельника; на ельникѣ снѣгъ лежитъ большими пластами и подъ снѣгомъ между корнями и вѣтвями черно, мрачно...

„Я, кажется, зашла далеко“ подумала Вѣра Ивановна, стала прислушиваться— не слыхать рѣчей изъ табора, хотѣла бѣжать назадъ, а назади сильно залаяли собаки, закричали люди, все ближе и ближе; послышался выстрѣлъ, за нимъ другой, и страшный ревъ пролетѣлъ по лѣсу; испуганная Вѣрочка бросилась въ чащу ельника— вдругъ чаща словно ожила, зашевелилась, съ вѣтвей повалилъ на землю снѣгъ, взвилась облаками бѣлая пыль и посредн этихъ декорацій явился страшный медвѣдь; изъ его раскрытой пасти съ брызгами крови и пѣны вылетало свирѣпое хрипѣнье... оскаливъ зубы и ставъ на заднія лапы, онъ протянулъ къ бѣдной дѣвушкѣ переднія, изъ которыхъ одна, раздробленная пулей, моталась во всѣ стороны и кропила снѣгъ кровью.

Видя надъ собой кровавую лапу чудовища, Вѣрочка, отчаянная, взвизгнула и упала безъ чувотвъ на мягкій снѣгъ.

Лѣсничій только-что выстрѣлилъ по медвѣдю оба заряда изъ своего двухстволь-наго ружья и былъ безоруженъ; но, услыша отчаянный вопль Вѣрочки, онъ понялъ все, какъ изступленный, бросился на голосъ и сильно вонзилъ короткій охотничій ножъ въ шею животнаго, которое, наклонясь надъ полумертвой дѣвушкой, жарко дышало ей въ лицо. Уязвленный медвѣдь быстро обернулся, одной здоровой лапой прижалъ къ груди своего противника и началась страшная борьба...

Когда Вѣра Ивановна пришла въ себя, она уже лежала въ своей комнатѣ на мягкой постели; солнечные лучи, пробиваясь сквозь опущенные занавѣсы, разливали по комнатѣ веселый полусвѣтъ; цвѣтущіе гіацинты и жонкили благоухали на окнахъ; Любочка и Агафья Савична стояли у постели; у дверей стояла горничная.

— Какой страшный сонъ! говорила Вѣрочка, протирая глаза и медленно оглядывая комнату.—Господи! да тутъ цѣлый дворъ: вы сторожите мое пробужденіе, какъ испанской королевы.

— Ахъ, королева вы моя!... у меня и души не было—такъ перепугалась...

— Да, да... Боже мой! такъ это не сонъ... точно... помню... и блѣдная, опустясь на подушки, Вѣрочка едва слышно прошептала:—а гдѣ же *онъ*... мнѣ казалось... Неужели это правда?...

— *Онъ* живъ, сестрица, не безпокойся...

— Да, живъ вашъ женихъ, спасибо полковнику; не будь полковникъ, не говорить бы теперь вамъ со мною, да и Карлу Адамовичу не видать бы божьяго небосклона. Ужъ хватъ Василій Кузьмичъ! Вы не повѣрите! говорятъ, какъ прибѣжалъ къ медвѣдю, какъ заревѣлъ на него, такъ всѣ думали, что еще медвѣдь нашелся... А Карлъ Адамовичъ все съ медвѣдемъ борется. Онъ, подлинно, храбрецъ, видитъ, что плохо вашему предмету, взялъ да какъ выстрѣлилъ прямо въ голову медвѣдю, тотъ и повалился и выпустилъ Карла Адамовича... Встаньте-ка, моя ненаглядная, да поблагодарите вашего избавителя... Праведное небо, что за молодецъ!

— Гдѣ же *онъ*, что съ нимъ дѣлается? не раненъ ли?

— Ничего, Вѣрочка, успокойся; онъ немного оцарапанъ, но все пустяки; его положили въ зеленой комнатѣ; тамъ все есть... я была сама... не безпокойся.

— Ну, mercі, моя философка. Такъ это все пустая тревога! весело сказала Вѣрочка: станемъ одѣваться и постараемся достойно отблагодарить рыцаря-избавителя.

— Вамъ все шутки, замѣтила Агафья Савична:—а была бы не пустая тревога безъ Василія Кузьмича! Какъ я увидѣла, что онъ несетъ васъ къ санкамъ, такъ у меня въ глазахъ и потемнѣло, вдругъ нашелъ вертежъ: куда ни гляжу, все вертежъ, такъ и вертится кругомъ.

— Какъ, онъ меня несъ? спросила испуганнымъ голосомъ Вѣрочка и покраснѣла, какъ вишня:—несъ на рукахъ? быть не можетъ!

— Я вамъ говорю, моя красавица, несъ, какъ ребенка; положилъ на сани и говоритъ мнѣ: „Сударыня, я въ жизнь мою не имѣлъ сладостнѣе бремени!“ За словомъ и тутъ въ карманъ не полѣзъ.

— Невѣжа! какъ онъ смѣлъ! говорила сквозь слезы Вѣрочка;—я не выйду къ нему... я его знать не хочу... Нѣтъ, вы шутите... какъ онъ могъ?

— Очень просто, этакой силачъ; взялъ васъ, какъ ребенка, такъ осторожно, одной рукой подъ спинку, другой подъ голову, и принесъ, какъ перышко.

— Ахъ, стыдъ какой! ни за что къ нему не выйду!

— А по-моему, такъ вамъ надобно бы

лично отблагодарить его за спасеніе жизни вашей и вашего суженаго, да еще дать какой-нибудь сувениръ, хоть локонъ волосъ, или что другое...

— Ну, ужъ сувенира онъ отъ меня не дождется, а поблагодарить я должна—вы правы. Гдѣ Любочка? Ужъ не съ полковникомъ ли?

— Не безпокойтесь, она вѣрно у Карла Адамовича. Странная дѣвушка! никогда не сдѣлаетъ хорошей партіи. Вотъ и состояніе есть и все, а вести себя не умѣетъ! Гдѣ бы увиваться около этакого почетнаго человѣка да ставить ему розовыя сѣти,—она на него и не взглянетъ, а все хлопочетъ около раненаго.

— Добрая душа! А развѣ *онъ* опасно раненъ? скажите мнѣ, не скрывайте отъ меня милочка!

— Пустое, говорю вамъ: царапина; *онъ* теперь уснулъ—и только. Одѣвайтесь-ка, да выходите въ гостиную, хоть для пользы вашей сестрицы.

— Да, да, выйду!... Ахъ, Боже мой! онъ меня несъ на рукахъ!... и еще строилъ комплименты!... Дѣлать нечего! Прикажите, миленькая Агафья Савична, горничной давать мнѣ одѣваться.

И Вѣрочка долго и тщательно занялась своимъ туалетомъ.

„Такъ онъ меня несъ на рукахъ!“ шептала она, краснѣя, и, скидывая простенькую кокеточку, надѣвала другую понарядиѣе. „Какая дерзость!“ снова шептала она и вынимала изъ туалета какую-нибудь бездѣлушку, которая, по ея мнѣнію, отлично шла ей къ лицу.

Наконецъ Вѣрочка явилась въ гостиную, неописанно-мило опустивъ глаза въ землю и краснѣя на каждомъ шагу; въ ней было такъ много томной нѣги, она была такъ хороша, такъ женственна, что полковникъ, взглянувъ на нее, отъ удовольствія улыбнулся и потеръ руки.

— Я пришла васъ благодарить, какъ общаго спасителя, сказала Вѣра Ивановна, протягивая полковнику руку.

— Сударыня, сказалъ полковникъ, пожимая нѣжную ручку Вѣрѣ Ивановнѣ: это нашъ долгъ,—и громко хлопнулъ шпорами.

— Ужъ именно, Василій Кузьмичъ, вы нашъ общій благодѣтель, прибавила Агафья Савична: —безъ васъ намъ пришлось бы плохо...

— Да, признательно сказать, порядочно поизмялъ миша Карла Адамовича...

— Что вы говорите?! мнѣ сказала Агафья Савична: пустяки.

— Какіе пустяки! Еслибъ не кинули крови, такъ поскакалъ бы на тотъ свѣтъ охотиться.

— Ахъ, Боже мой! а вы сказали...

— Не сердитесь, Вѣра Ивановна, я сказала для вашего спокойствія, чтобы не потревожить ваши нервы. Если Богу что угодно, онъ все сдѣлаетъ, а не захочетъ—ничего не будетъ. Кого повѣсятъ, тотъ не утонетъ. А вамъ нечего изнурять свои силы.

Но Вѣра Ивановна давно уже не слушала этого монолога; она проворно бѣжала по корридору, остановилась на секунду у двери, осторожно отворила ее и вошла въ зеленую комнату; почти на порогѣ ее встрѣтила Любочка многозначительнымъ „тс!“

— Ты здѣсь, моя добрая, сказала шопотомъ Вѣрочка:—мнѣ бы тутъ быть, да меня обманули... Ну, что онъ?

— Очень худъ!... бѣдный!...

— Ахъ, Боже мой! что мнѣ дѣлать?

— Молиться.

— Я буду молиться!... да что онъ?

— Уснулъ, слава Богу.

— Уснулъ?

— Да.

— Я посмотрю.

— Не тревожь его.

— Не бойся, я легче вѣтра пройду.

И тихо, неслышно, притаивъ дыханье, подошла она къ постели больнаго, осторожно приподняла легкій флеръ, покрывавшій лицо его, и вдругъ отшатнулась, будто невидимая сила оттолкнула ее, будто она увидѣла подъ флеромъ ядовитую змѣю Пошатываясь, неровными шагами отступила она отъ кровати и, странно, безсмысленно поднявъ брови и расширивъ зрачки, поглядѣла на сестру.

— Что съ тобой? спросила Любинька.

Не говоря ни слова, блѣдная, трепещущая, съ ужасомъ взглянула Вѣра на кровать, оперлась на сестру и показала рукой на дверь.

Едва Любинька вывела сестру въ корридоръ, какъ она безъ чувствъ опустилась на землю.

И точно, трудно было узнать въ лицѣ, которое сейчасъ увидѣла Вѣра Ивановна, ея красиваго жениха—такіе страшные слѣды оставили на немъ когти медвѣдя. Описывать язвы, раны и всякія *болѣсти* человѣческія теперь не въ модѣ и неприлично, кромѣ медицинскаго журнала, да я и не охотникъ, даже вовсе выбросилъ бы эту сцену, еслибъ *сочинялъ*, а не описывалъ истинное происшествіе. Если угодно, сами можете представить себѣ человѣческое лицо, по которому, гуляя, медвѣжья лапа выцарапала одинъ глазъ и до того исказила всѣ черты, что дѣвушка, довольнобойкая, при взглядѣ на него, падаетъ въ обморокъ.

V.

СТИХИ.

Пришла весна; природа пробудилась и скинула свой грустный, зимній нарядъ. Наши знакомыя, Вѣрочка и Любочка, тоже перемѣнили свои черныя платья на цвѣтныя: срокъ траура кончился. Карлъ Адамовичъ выздоровѣлъ совершенно. Кажется, должно бы веселиться, а въ Покровскомъ было, напротивъ, гораздо скучнѣе, нежели зимой; тамъ будто чего-то недоставало. По-прежнему зеленѣли рощи и луга, цвѣты цвѣли, по нимъ роемъ вились и порхали пестрыя бабочки, попрежнему пѣли птицы; Агафья Савична болтала всякую всячину на своемъ странномъ нарѣчіи; даже общество увеличилось еще однимъ членомъ—полковникомъ; онъ очень часто навѣщалъ Покровское, и весь уѣздъ признавалъ его женихомъ Любочки, кромѣ ея самой.

Многія очень солидныя дамы подсылали къ дворовымъ людямъ Петровыхъ узнать стороной, шьется ли, дескать, приданое и для Любови Ивановны?

— Никакъ нѣтъ, отвѣчали посланные:—говорятъ, шьютъ приданое только для Вѣры Ивановны.

— Болванъ! отвѣчала обыкновенно барыня посланному:—ничего порядочно разузнать не умѣешь. Наказаніе Божіе съ этими неблагодарными! Корми ихъ, пои, одѣвай—и вотъ ихъ вся благодарность! А еще называются христіанами! ни какой добродѣтели нѣтъ! Жидъ лучше все чувствуетъ. Пошелъ вонъ!

Посланный, поклонясь, уходилъ, а барыня разсказывала другой барынѣ:—Посылала я Стешку въ Покровское узнать, что тамъ дѣлается, да ничего не узналъ, напрасно только потревожилась. Съ нашими ослами ничего путнаго не сдѣлаешь.

— Это правда, святая истина, отвѣчала другая барыня:—наши дураки ни къ чему негодятся, а Петровы, сказать между нами, самый скрытный народъ, и вся ихъ дворня, словно съ заклеенными губами, ничего не выболтаетъ! А какъ вамъ кажется, вѣдь полковникъ женится на Любочкѣ?

— Непремѣнно, это яснѣе солнца; онъ влюбленъ въ нее по уши! опутала дурака!

— Отъ кого вы слышали?...

— Да ужъ я знаю; мнѣ одна *вѣрная особа* сказала, совершенно опутали. Впрочемъ, по Сенькѣ шапка. Моя Анета говоритъ: „ни за что бы не пошла за него замужъ; онъ, просто, картежникъ, старый подлипала". Послушали бы вы, что разсказываетъ про него прапорщикъ, вотъ, что у насъ на постоѣ.

— Скажите!... Ну, такъ и жалѣть не о чемъ; сойдется пара бездушныхъ.

Такъ говорили въ уѣздѣ, а между тѣмъ въ домѣ Петровыхъ не было прежняго веселья; тамъ всѣ словно носили на душѣ какую-то тягость, не смѣя другъ съ другомъ подѣлиться этой тягостью. А дѣло было довольно просто:

1) Полковникъ сильно волочился за Вѣрой Ивановной. Его постоянное желаніе было жениться *непремѣнно на богатой* и, выйдя въ отставку, *зажить* на женниномъ имѣніи припѣваючи, съ рысаками, съ собаками и съ кучей прихлебателей, которые бы раздѣляли съ нимъ пищу, питье и веселье, но ни въ чемъ ему не прекословили; если при богатствѣ попадется жена хорошенькая, то еще лучше. Четвертый десятокъ лѣтъ, подходящій къ концу, торопилъ полковника выполнить свое желаніе поскорѣе, а тутъ разомъ двѣ невѣсты на глазахъ: Вѣра Ивановна имѣла состояніе, могшее прокормить сотни собакъ, рысаковъ и невзыскательныхъ пріятелей, и притомъ была очень хороша но она была невѣстой и любила своего Карла Адамовича. Слѣдовало вести аттаку на Любовь Ивановну; а Любовь Ивановна не красавица и, не взирая на свое имя, была, по его словамъ, ледъ—не женщина, по которой стрѣлы Амура скользили, какъ мелкая дробь по дикому гусю. Согласитесь, что, волочиться за одной сестрой и видѣть необходимость жениться на другой, да и то еще не навѣрно, очень скучно, и Василій Кузьмичъ не могъ быть постоянно веселымъ.

2) Карлъ Адамовичъ, изуродованный медвѣдемъ, хотя остался прежнимъ въ душѣ, но лицомъ много измѣнился; онъ самъ, глядя въ зеркало, не узнавалъ себя и трепеталъ за любовь Вѣры Ивановны, тѣмъ болѣе, что онъ ее любилъ страстно и боялся, чтобъ она не вышла за него изъ великодушія, не желая связывать ее бракомъ съ нелюбимымъ человѣкомъ, и самъ не желая имѣть жену, которая чувствовала бы отвращеніе къ его лицу, и слѣдовательно была способна только любить физическія достоинства человѣка. Его возмущало многое: Вѣра Ивановна стала слишкомъ къ нему внимательна послѣ его болѣзни, что очень походило на сожалѣніе или на маску, закрывающую истинныя чувства. Уже прошелъ срокъ траура, а она ни разу не напомнила о днѣ ихъ брака, хотя прежде только и рѣчи было объ этомъ. И наконецъ, приходя иногда нечаянно въ комнату, гдѣ сидѣла Вѣра Ивановна съ полковникомъ, онъ заставалъ ее странно смотрящею на Василія Кузьмича. Василій Кузьмичъ въ это время самодовольно покручи-

валъ усы или, вытянувъ свою стройную ногу во всю гостиную, небрежно поглаживалъ ее, и говорилъ съ Карломъ Адамовичемъ тономъ покровителя. И Карлу Адамовичу нечего было веселиться.

3) Вѣра Ивановна не могла безъ содраганія смотрѣть на изуродованное лицо Карла Адамовича, но, изъ сожалѣнія къ нему, скрывала это. Часто она въ умѣ своемъ допускала сравненіе Карла Адамовича съ полковникомъ; а коли дошло дѣло до сравненія, „плоха любовь“, говорятъ *знатоки* въ этомъ чувствѣ—и мечта горькаго воображенія въ ущербъ лѣсничему представляла слишкомъ очаровательно мужественныя, атлетическія формы полковника... и Богъ знаетъ, какія мысли приходили тогда къ пылкой, чувственной дѣвушкѣ... И томно улыбалась она и краснѣла отъ этой мечты, и сверкавшіе молодостью глазки покрывались легкимъ туманомъ... Но, придя въ себя, она рыдала, блѣдная, падала на колѣни передъ образомъ и молила святую Заступницу укрѣпить ее на подвигъ добра и наставить на путь чести; просила силъ и воли—выполнить завѣщаніе матери и свое слово, данное человѣку, когда-то любимому, и всякая молитва ея оканчивалась почти воплемъ: „Боже мой! развѣ я виновата, что теперь не могу любить его какъ прежде!?“ Послѣ такихъ ночей Вѣра Ивановна не могла проводить дней очень весело.

4) Любовь Ивановна, всегда серьезная и холодная, теперь стала еще мрачнѣе, недоступнѣе, часто уединялась и писала свой дневникъ, который завела еще въ пансіонѣ. Ей нельзя было веселиться, видя кругомъ скучныя лица.

Только Агафья Савична была всегда одинакова: врала безъ устали, гадала на картахъ, предсказывала всѣмъ исполненіе желанія, интересъ и марьяжъ, и понукала барышень ѣздить на ученье, лишь только раздавалась на площади призывная труба; глядѣла, какъ Василій Кузьмичъ рисовался на лошади и хвалила его словно по подряду. За то и полковникъ былъ внимателенъ къ Агафьѣ Савичнѣ, называлъ ее сударыней-тетушкой, въ именины подарилъ на платье десять аршинъ ситцу съ широкими разводами и букетами, а въ день Свѣтлаго Христова Воскресенья похристосовался съ нею, вмѣсто яичка, золотымъ перстнемъ, съ огромной незабудкой изъ бирюзы, которую называлъ „перудзе“, выучивъ, во время оно, это восточное названіе отъ какого-то армянина на Кавказѣ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ всѣ эти люди дулись другъ на друга или ссорились; напротивъ, они часто бывали вмѣстѣ, обѣдывали, пили чай, разговаривали, даже шутили, любезничали; но ихъ разговоры, шутки и любезности не были оживлены; въ нихъ недоставало души, общей настроенности, при которой иногда является возможность хохотать непритворно отъ бездѣлицы, вовсе несмѣшной; ихъ разговоры похожи были на подмоченныя фосфорныя спички, которыя отъ тренія вспыхиваютъ и тутъ же погасаютъ.

Разъ какъ-то они сидѣли вечеромъ за чаемъ. Агафья Савична, разливавшая чай, уставъ болтать, спокойно сидѣла, сложа руки и шевеля лентами на чепчикѣ, который она, уважая свое дѣвическое достоинство, дѣлала на иной складъ, нежели дамскіе чепчики, съ какими-то бантами въ видѣ роговъ. Любовь Ивановна вязала что-то тамбуромъ и, казалось, вся была погружена въ работу; Вѣра Ивановна, сидя въ раздумьи, играла свѣжей розой, по временамъ вдыхала ея ароматъ и обрывала листочки своими розовыми губками; Карлъ Адамовичъ благоговѣйно смотрѣлъ на нее; полковникъ курилъ, пускалъ изъ дыму кольца, ни на кого не смотрѣлъ и, кажется, ничего не думалъ.

Молчаніе.

— Тихій ангелъ пролетѣлъ, сказала, прокашлявшись, Агафья Савична.

— Да, глубокомысленно замѣтилъ полковникъ.

Молчаніе.

— Сударыня! а сударыня!... сказалъ полковникъ.

— Вы ко мнѣ говорите? спросила Агафья Савична.

— Нѣтъ, я говорю Вѣрѣ Ивановнѣ.

— Что вамъ угодно?

— Я хотѣлъ сказать, что ни одинъ звѣрь не ѣстъ такого звѣря, какъ самъ.

— Что вы хотите сказать?

— То-есть, собака не ѣстъ собаки, волкъ —волка, а человѣкъ ѣстъ человѣка.

— Говорятъ и пишутъ, да я не хочу вѣрить.

— А это правда. Вы сами самоѣдка.

— Это почему?

— Вы изволите кушать розу — понимаете?...

Молчаніе.

— Вы вѣрно любите поэзію? спросила Любинька.

— А вы отчего такъ думаете?

— Вы такъ поэтически сравнили мою сестру съ розой.

— Да, вы, вѣрно, любите стихи, сказала, немного смѣшавшись, Вѣра Ивановна.

— Да, стихи люблю хорошіе, а поэтовъ не люблю, они люди немного того... Былъ у насъ въ полку одинъ поэтъ изъ писа-

рей; бывало, ко всякому празднику махнетъ что-нибудь и разноситъ по начальникамъ. Согласитесь, оно пріятно: свой человѣкъ пишетъ. Вотъ и дастъ ему кто цѣлковый, кто полтинникъ; могъ бы отлично жить при жалованьи, анъ нѣтъ, все въ кабакъ, да послѣ недѣли двѣ къ дѣлу не годится. Говорятъ, и всѣ они таковы... а стихи бываютъ хорошіе.

— Скажите какіе-нибудь; вѣрно вы помните, сказала Любовь Ивановна, у которой была страсть ставить полковника въ затруднительное положеніе.

— Извольте, отвѣчалъ Василій Кузьмичъ: —напримѣръ, еслибъ я говорилъ стихи брюнеткѣ-красавицѣ, я бы сказалъ:

А извивъ живого стана
Азіятская змѣя!...

или

Я въ карты играю до утра,
Раскинувшись на легкой буркѣ,
Или вокругъ костра
Танцую кое съ кѣмъ мазурки.

— Отчего же эти стихи брюнеткѣ? спросила Любинька.

— Ужъ они приходятся! это говорится о брюнеткѣ—повѣрьте! „Мы сами съ усами“, говоритъ пословица. Первые стихи чисто къ брюнеткѣ, этакой огненной, восточной, что называется... и полковникъ повелъ глазами на Вѣру Ивановну;—а вторые такъ себѣ, для всѣхъ, только стихи хорошіе.

— Съ кѣмъ же вокругъ костра вы танцуете мазурку? спросила Любинька.

— Съ кѣмъ придется... послѣ узнаете. Теперь, какъ честный и благородный человѣкъ, сказать не могу: можетъ быть, послѣ самъ объясню вамъ—посмѣемся!...

— Я хоть мало знаю русскихъ стиховъ, однако, какъ нарочно, еще въ школѣ затвердилъ одни презамысловатые — пари держу, что они вамъ прійдутся по вкусу. И лѣсничій, вырвавъ изъ записной книжки страничку, написалъ карандашемъ стихи и подалъ полковнику:

Мы съ пылкой юности срываемъ лишь цвѣточки,
И нѣтъ намъ на пути ни, ни...
За то же въ старости сѣдой,
Что шагъ, то;

— Да здѣсь нѣтъ стиховъ! какъ честный и благородный человѣкъ, не вижу ни одной риѳмы. Это какая-то шарада! Карлъ Адамовичъ, дюжина шампанскаго, если тутъ есть стихи...

— Читайте все, и знаки читайте.

— Все ничего не выходитъ.

— Читайте вторую строку:

И нѣтъ намъ на пути ни запятой, ни точки...

а четвертую:

Что шагъ, то точка съ запятой...

— Славная штука! ученая вещь! закричалъ Василій Кузьмичъ, громко захохотавъ:—за мной цѣлая дюжина. Я ихъ оставлю у себя:

Мы въ пылкой юности срываемъ лишь цвѣточки,
И нѣтъ намъ на пути ни запятой, ни точки;
За то же въ старости сѣдой,
Что шагъ, то точка съ запятой!

Удивительно!... выпьемъ кремань!

— Я не пью кремань.

— Напрасно, это одно только шампанское мужественное; оно одно выходитъ изъ ряда прочаго кваса... только надобно пить его стакономъ и умѣть наливать—увидите!...

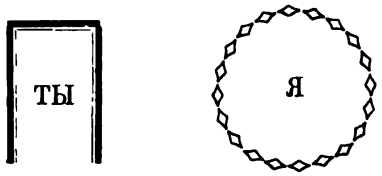
Полковникъ сталъ просить дѣвушекъ, чтобъ и онѣ что-нибудь *вспомнили въ стихахъ*. Любовь Ивановна объявила наотрѣзъ, что она, совершенно противоположно имъ, любитъ поэтовъ и не любитъ стиховъ; а Вѣра Ивановна сказала, что только и помнитъ одно мѣсто „Полтавы“, дышащее истиной, и съ жаромъ продекламировала:

Не только первый пухъ ланитъ,
Да русы кудри молодыя,
Порой и старца строгій видъ,
Рубцы чела, власы сѣдые,
Въ воображенье красоты
Влагаютъ страстныя мечты.

Вѣроятно Вѣра Ивановна была въ припадкѣ грезъ, о которыхъ я недавно говорилъ, или желая досадить лѣсничему, который улыбался двусмысленно, слушая декламацію полковника, и написалъ ему дѣтскіе стихи, намекающіе, какъ ей казалось, на лѣта Василья Кузмича.

— Позвольте, сударыня, мнѣ пришли на умъ стихи отличные; я ихъ часто слыхивалъ на Волыни; они, то-есть, не стихи, а тоже этакая штука, вродѣ шарады... вотъ позвольте...

И полковникъ, взявъ карандашъ, нацарапалъ на бумажкѣ:



— Праведное небо! закричала Агафья Савична: —ты въ покоѣ, я въ цѣпяхъ—это я знаю!...

— Только это долженъ я читать: „ты въ покоѣ, я въ цѣпяхъ!“ произнесъ онъ патетическимъ голосомъ, глядя на Вѣру Ивановну.

— Это и я могу прочитать, сказала, простодушно, глядя на полковника, Вѣра Ивановна:—ты въ покоѣ, я въ цѣпяхъ! и покраснѣла.

Послѣ этихъ *стиховъ* Карлъ Адамовичъ всталъ и ушелъ въ садъ; Любинька съ сожалѣніемъ, глазами полными слезъ, поглядѣла вслѣдъ ему; полковникъ сталъ развязнѣе, веселѣе, самодовольнѣе. Вѣра Ивановна сидѣла, какъ уличенная преступница.

Въ саду былъ прекрасный весенній вечеръ: цвѣтущія деревья благоухали; въ чащѣ кустовъ пѣлъ соловей; отъ рѣки повѣвало свѣжестью, въ темной травѣ фосфорнымъ огнемъ свѣтились свѣтляки, а на чистомъ небѣ молодой мѣсяцъ, словно серебряный челнокъ, сверкалъ и плылъ надъ высокими вершинами пирамидальныхъ тополей.

Но Карла Адамовича не трогали красоты спокойной природы! Въ душѣ его была страшная тревога, и хотя онъ всегда привыкъ подчинять свои чувства разсудку, однако съ ужасомъ замѣчалъ, что, вопреки этому строгому вождю, готовъ былъ надѣлать глупостей. Бѣдный лѣсничій мало зналъ свѣтъ или, лучше сказать, женщинъ; его сильно тревожило поведеніе Вѣры Ивановны. „Боже мой!“ думалъ онъ, „неужели она любитъ *этого* человѣка?... неужели она изъ-за его здороваго лица рѣшилась забыть всѣ клятвы, всѣ свои прежнія мечты, убить всѣ прежнія вѣрованія и насмѣяться надъ моей чистой любовью?... неужели.... только нѣтъ, я смутно помню во время моей болѣзни ея тихій шопотъ, ея попеченія, даже часто ночью я душой чуялъ ея присутствіе... на глазахъ моихъ лежала повязка, но я чуялъ присутствіе любимой женщины... даже одинъ разъ къ горящему лбу моему легко прикоснулись ея губки, и трепетный поцѣлуй разлился по всему моему тѣлу неописанное блаженство!... я сдернулъ повязку съ лица, но видѣніе исчезло, мелькнувъ бѣлой тѣнью изъ комнаты, и страшная боль отъ растревоженныхъ ранъ была мнѣ наказаніемъ за мое дерзкое любопытство... Развѣ это не любовь, чистая, робкая... А я тогда былъ не красивѣе теперешняго. Такъ неужели *она* кокетничаетъ *съ нимъ*? неужели она, шутя, тревожитъ миръ души этого простого, но добраго Василья Кузьмича? Но женщина, которая играетъ и шутитъ святыней, для меня презрительна; лучше бы она *его* любила: тутъ было бы болѣе человѣческаго чувства. Я спрошу ее... но не оскорбится ли это чистое существо?“...

И Карлъ Адамовичъ самъ пугался своихъ выводовъ, своихъ заключеній; логика его сильно колебалась. Онъ чувствовалъ, что у него уходитъ умъ за разумъ, сознавалъ на опытѣ, что всѣ, самыя прекрасныя, самыя философскія, самыя утѣшительныя правила, написанныя умными людьми, оказываются негодными въ практическомъ примѣненіи: и хотя онъ былъ человѣкъ не изъ числа *вулканическихъ героевъ*, однако нѣсколько разъ съ отчаяньемъ бралъ себя за голову, вздыхалъ отъ глубины души и неровными шагами блуждалъ по темнымъ аллеямъ сада, пока не позвали къ ужину.

За ужиномъ Вѣра Ивановна была необыкновенно ласкова съ Карломъ Адамовичемъ, а полковникъ любезничалъ съ Любовью Ивановной; даже Любовь Ивановна, на удивленье всѣмъ, очень мило шутила и смѣялась съ полковникомъ. Агафья Савична, какъ индійскій идолъ, сидя на концѣ стола, въ огромномъ чепчикѣ, блистала радостью, глядя на общество, и изрѣдка *произносила* какія-то загадочныя, пиѳическія фразы.

Засыпая, лѣсничій, самъ не зная почему, припоминалъ всѣ сравненія, которыми ученые, философы и поэты соблаговолили удостоить женщинъ. Хамелеонъ, флюгеръ, сладкогласная сирена и тому подобныя любезности проходили въ его воображеніи другъ за другомъ, пока благодѣтельный сонъ не прогналъ прочь эти нелѣпости, и самъ лично не представилъ ему лубочную картину, висѣвшую на покровской почтовой станціи; на картинкѣ была изображена сколько возможно красивая женщина, одѣтая въ золотое платье, съ птичьимъ хохолкомъ на головѣ; внизу изъ-подъ ея платья выглядывали кошачьи лапки и змѣиный хвостикъ, а еще ниже тянулась подпись:

Райская птица сиренъ:
Гласъ ея очень силенъ...

— Вотъ это штука, говорилъ сонъ, по крайней мѣрѣ справедливая.

— Не вѣрьте ему, сказалъ смотритель станціи; это только такъ, для проѣзжающихъ. Я честный человѣкъ и за рубль серебра не позволю себя обидѣть; а коли пошло на правду, такъ это московская картина, дрянь; хоть я и самъ русскій человѣкъ, а люблю правду; а вотъ нѣмецкая... поискуснѣе.

И онъ обернулъ картину наизнанку: тамъ была представлена жатва, солнце заходило, жнецы возвращались домой съ лѣснями; впереди шелъ скрипачъ, за нимъ мужчина, во фракѣ, велъ подъ руку даму въ соломеной шляпкѣ, передъ ними скакала полдюжина дѣтей, полныхъ, розовыхъ, беззаботныхъ: съ боку ученый пудель несъ огромный узелъ, должно полагать, завязанные въ салфеткѣ бутерброды, сзади валила толпа крестьянъ и крестьянокъ въ лентахъ, въ цвѣтахъ, съ косами и граблями.

„Да, это точно нѣмецкая картинка“, подумалъ Карлъ Адамовичъ. Птица сиренъ, хамелеоны и всѣ чудища, напугавшія его исчезли, словно ночныя тѣни отъ лучей солнца; ему стало тепло, спокойно, легко до самого пробужденія.

VI.

ДНЕВНИКЪ.

„... Вотъ я и дома! Сколько лѣтъ я ждала этой минуты! сколько разъ, обижаемая, сама не знаю за что моими подругами, я тихо молилась Богу и просила его поскорѣе перенесть меня изъ пансіона къ маменькѣ; на груди ея, мнѣ казалось, я найду защиту... Вотъ я и здѣсь, и опять на меня нашло какое-то чувство странное, упрямо меня преслѣдующее... ужъ не его ли называютъ наши крестьяне такъ выразительно столбнякомъ... Во всю дорогу, я мечтала о томъ, какъ брошусь въ объятія милой, доброй маменьки; она передо-мной, Вѣрочка горячо обнимаетъ ее, а у меня руки не подымаются; въ головѣ шумитъ, на сердцѣ тяжело, кажется, такъ и зарыдала бы, и легче стало бы, а слезы не идутъ, глаза сухи... Невыносимо!... Теперь въ тишинѣ я выплакалась—мнѣ легче, и все-таки не лучше для меня; маменька замѣтно недовольна моей, какъ она говоритъ, холодностью, а я готова умереть за нее, готова броситься за нее въ быструю рѣчку, хоть не умѣю плавать...

„Съ пансіономъ я разсталась довольно холодно; тамъ не было души, которая бы меня любила. Хоть я никому зла не дѣлала и не желала, а меня всегда ставили въ примѣръ грубости и дикости, оттого, что я не умѣла быть куклой, вѣчно присѣдать и улыбаться каждому. Сама начальница, умная женщина, была на меня сердита за то, что я не пошла танцевать съ ея родственникомъ (котораго всѣ въ пансіонѣ называли дамскимъ адъютантомъ). Никто не любилъ танцевать съ этимъ маленькимъ человѣкомъ, въ большихъ очкахъ, пресмѣшнымъ прыгуномъ и хвастуномъ; и когда меня спросила начальница, почему я не захотѣла танцевать съ нимъ, я ей отвѣчала: „онъ, маманъ, прыгаетъ на всѣхъ нашихъ вечеринкахъ и все говоритъ одно и то же; съ нимъ танцевать скучно“—за это меня прозвали вольнодумкой. А меня всѣ онѣ учили быть откровенной!...

„При выпускѣ всѣ рыдали, я не плакала: мнѣ было не о чемъ плакать—и за то меня обвинили! Богъ имъ судья! „Старайся не подражать вотъ этой“, говорила вполголоса, показывая на меня, одна классная дама, лѣтъ пятидесяти, маленькой розовой дѣвочкѣ, только что поступившей въ пансіонъ: „надобно презирать этакихъ неблагодарныхъ, безчувственныхъ“. Въ это время слезы покатились изъ глазъ моихъ—не отъ словъ *дамы*, а мнѣ стало жаль малютки, что съ этихъ лѣтъ ее учатъ не любить людей... но я уже сѣла въ карету. „Ага!“ сказала Агафья Савична, отирая свои красныя глаза: „наконецъ, и вы то расчувствовались“. Я замолчала, но хотѣла бы спросить по совѣсти, о чемъ она сама плакала. Эта Агафья Савична—пренесносное твореньe! Ея приторная и притворная чувствительность мнѣ не давала покоя во всю дорогу. И гдѣ маменька?

„Были гости. Страшная скука! Одинъ мужчина разсказывалъ про какого-то зайца, другой увѣрялъ, что онъ убилъ зайца; сильно спорили, горячились, наговорили другъ другу грубостей. Я очень испугалась; маменька говоритъ: „ничего, это пустяки, это часто случается...“ Да какъ кричатъ они! Кажется, говорить обыкновенными голосами не умѣютъ. Вѣрочка ихъ дурачила—грѣхъ ей. Она говоритъ; ей весело, когда они поссорятся, и очень бываютъ похожи на пѣтуховъ; а у меня души не было. Слава Богу, уѣхали благополучно.

„Я теперь больше не удивляюсь рѣчамъ Агафьи Савичны: почти всѣ дамы и дѣвушки говорятъ такимъ языкомъ, какою

то смѣсью крестьянскихъ словъ съ книжными прошлаго вѣка. По-французски говорятъ больше, но Господи, какія глупости!... Меня въ жаръ бросаетъ, когда вспомню, какія тайны повѣряютъ мнѣ здѣшнія барышни!... Скучно...

„Опять были гости. Маменька очень любитъ гостей и все лучшее оставляетъ для нихъ. Было много, были прежніе два охотника, только не ссорились; они пріѣхали въ одномъ экипажѣ, а кричали попрежнему, только весело, хвастая здоровьемъ; было много мужчинъ, было нѣсколько дамъ съ дочерьми, которыя очень на меня сердились за то, что я говорила по-нѣмецки съ лѣсничимъ. А почему мнѣ было не говорить съ нимъ? онъ нѣмецъ и одинъ изъ всего общества могъ говорить безъ крику. Сегодня онъ первый разъ былъ у насъ и обѣщалъ навѣщать маменьку почаще—я очень рада: съ нимъ о чемъ угодно можно говорить; еще лучше его слушать: онъ говоритъ очень пріятно и съ такою милой манерой... Меня къ вечеру всѣ *барышни* поздравили съ побѣдой надъ Карломъ Адамовичемъ—такъ зовутъ лѣсничаго. Вѣдь подобное поздравленіе немного безсовѣстно. Скажи съ человѣкомъ пять словъ — уже и влюбленъ, или онъ, или ты!... А чего добраго, будь на моемъ мѣстѣ *онъ*: можетъ быть, и забрали бы что-нибудь себѣ въ голову. Я нарочно его разглядывала послѣ поздравленія, и вижу, что онъ премилый мужчина...

„. . . . . .

Карлъ Адамовичъ у насъ бываетъ часто, и дни и вечера съ нимъ идутъ незамѣтно; онъ такъ хорошо разсказываетъ о своихъ путешествіяхъ, такъ занимательно, что вѣкъ бы его слушала! Сегодня онъ читалъ, по моей просьбѣ, нѣсколько пьесъ изъ Шиллера—и для меня открылся новый міръ; я всегда любила нѣмецкій языкъ и Шиллера, но никогда не подозрѣвала въ немъ столько гармоніи, столько души... Я слушала все нѣсколько разъ читанное мной прежде; но пьесы показались мнѣ совершенно новыми. Вѣрочка плохо понимаетъ по-нѣмецки — и надулась на меня, зачѣмъ я просила лѣсничаго декламировать Шиллера. Она права: ей должно быть скучно. Жаль мнѣ ее!

„Мнѣ всегда твердили въ пансіонѣ: „ты любишь нѣмецкій языкъ, ты выйдешь за нѣмца". Не знаю, почему мнѣ теперь часто приходитъ на мысль это нелѣпое предсказаніе. Я всегда покраснѣю, какъ вспомню его, а тутъ еще часто спрашиваютъ: „что васъ потревожило?" И какое кому дѣло знать чужія тревоги? вѣдь никто не станетъ помогать вамъ, никто не раздѣлитъ вашей тревоги—это тяжело; развѣ осмѣютъ—это легче и дешевле.

. . . . . .

Сегодня я задумала заговорить, по обыкновенію, съ Карломъ Адамовичемъ понѣмецки; онъ мнѣ отвѣчалъ по-русски, и это повторялось нѣсколько разъ. „Отчего вы не говорите по-нѣмецки?" спросила я. „Развѣ вы не знаете, что ваша сестрица не любитъ этого языка?" отвѣчалъ онъ мнѣ вполголоса. Странный человѣкъ! его вѣжливость къ сестрѣ очень хороша, да не грубость ли ко мнѣ?... Онъ могъ бы Вѣрочкѣ сказать: „ваша сестрица такъ любитъ нѣмецкій языкъ" — и говоритъ хотя немного со мной, а то ни одного слова! Странно!

„Теперь все кончено!... А я, въ безуміи, думала, что судьба перестала гнать меня, думала, что для меня настанетъ свѣтлая заря, что я нашла человѣка, меня понимающаго, человѣка съ душой, съ умомъ... А онъ отворачивается отъ меня, *онъ* любитъ ее, сестру мою! Давно я темно предчувствовала это, но боялась самой себѣ сознаться. Теперь все ясно. Вѣрочка сама мнѣ во всемъ призналась, сама довѣрчиво разсказала свою прекрасную тайну, отъ которой замерло мое сердце, и плакала отъ полноты чувства, на груди моей. Могла ли я раздѣлять ея радость? Я въ какомъ-то безпамятствѣ глядѣла на нее. „Грѣхъ тебѣ, Любочка", сказала мнѣ сестра: „ты не радуешься моему счастью. Полно философствовать, отъ философіи легко замерзнуть". И опять меня обвиняютъ! да еще сестра! Развѣ я могла радоваться? Когда-то, еще ребенку, мнѣ принесли прекрасную лазоревку; я ее взяла въ руки, вышла на крыльцо и передъ солнцемъ любовалась чудными отливами ея перьевъ. Вдругъ она выпорхнула изъ рукъ моихъ, взвилась кверху и улетѣла, и съ ней вмѣстѣ улетѣли всѣ мои мечты, всѣ планы на милую птичку... невыносимый холодъ сжалъ мою грудь, и я, глядя на улетавшую лазоревку, горько зарыдала. Тотъ же холодъ давитъ меня и теперь,

только я не могу рыдать. За что я такая несчастная?

„*Онъ* меня не любитъ—это не въ его волѣ и не въ моей; но я рада, что *онъ* любитъ сестру. Вѣрочка немного быстра, но доброе существо, и *онъ* составитъ ея счастье. Дай имъ Богъ всего на свѣтѣ! Какъ я рада, что онъ ничего не знаетъ о моихъ чувствахъ, что я ни словомъ, ни взглядомъ не обнаружила ихъ! впрочемъ, я и сама себя плохо понимала. Теперь я могу смотрѣть ему въ глаза—и я смотрю; а чего мнѣ это стоитъ!... кто объ этомъ спрашиваетъ? Было бы приличіе...

. . . . . .

. . . . . .

„Наконецъ, Вѣрочка призналась маменькѣ, Карлъ Адамовичъ тоже; старуха расплакалась, благословила ихъ и была весела цѣлый вечеръ. „А я, признаться“ сказала она *ему* за вечернимъ чаемъ „даже замѣчала, что вы не даромъ ѣздите къ намъ, да все въ простотѣ думала: вы ѣздите за моей нѣмкой-Любочкой“. Эта рѣчь всѣхъ смутила, а я, не помню, какъ сидѣла и куда была готова забѣжать въ то время отъ чайнаго столика. Черезъ три дня, въ будущее воскресенье, маменька хочетъ созвать сосѣдей и объявить имъ помолвку Вѣрочки.

„Вчера маменька была очень весела и здорова, а сегодня ей худо: слегла въ постель; теперь некогда.

„Маменькѣ хуже; гостей не станутъ звать въ воскресенье... послали за докторомъ.

„Карлъ Адамовичъ самъ поѣхалъ на почтовыхъ за докторомъ въ губернскій городъ. Нашего доктора не нашли.

„Пріѣхалъ докторъ и сказалъ, что теперь время весеннее и такія болѣзни, какъ у маменьки, излечиваются трудно. Дай Богъ, чтобъ онъ солгалъ!

„Долго, очень долго я не писала моего дневника; много дней горькихъ, тяжелыхъ прошло съ-тѣхъ-поръ. Мы похоронило нашу добрую матушку. Бѣдная! какъ она страдала!... Вѣрочка не могла смотрѣть на нее... Я одна *вытерпѣла всѣ ея муки*, каждый вздохъ ея отзывался въ моемъ сердцѣ... и вдругъ эта страшная агонія прекратилась, перестала страдать родная, навѣки успокоилась. Странное дѣло! мнѣ тогда стало почти радостно, легкое усмиряющее чувство овладѣло мною; я радовалась покою матушки, радовалась, что Богъ избавилъ ея душу отъ страшной пытки, терзанія немощнаго тѣла... Мнѣ кажется, люди плачутъ надъ мертвыми изъ эгоизма, жалѣя о себѣ, что они лишились въ умершемъ или подпоры, или собесѣдника, или чего-нибудь подобнаго, а покойникъ самъ-по-себѣ счастливецъ: онъ выше насъ; онъ презираетъ всѣ наши отношенія богатства, почести и другія игрушки этой жизни. Счастливая маменька, спи тихимъ сномъ до радостнаго свиданія! На похоронахъ мнѣ было противно, какъ рыдали нѣкоторые люди, при жизни готовые утопить покойницу; какъ *нѣжныя* дѣвушки тутъ, при гробѣ матери, осуждали шопотомъ отношенія сестры моей къ Карлу Адамовичу и лицемѣрно плакали... Я подошла проститься: лицо покойницы выражало тишину и величавое спокойствіе, чуждое живымъ; мнѣ чудилось, будто она улыбалась мнѣ при звукахъ священнаго гимна, обѣщавшаго жизнь вѣчную... святой трепетъ пробѣжалъ по мнѣ, и слезы высохли на глазахъ... и, Господи прости имъ, люди и тутъ стали осуждать меня, отступили отъ меня, какъ отъ зачумленной.

„Говорятъ, будто я улыбалась, глядя на людей; я не помню. но если улыбалась —для нихъ же хуже!...

. . . . . .

. . . . . .

„Агафья Савична мнѣ безпрестанно намекаетъ на этого полковника—несносная! Мнѣ кажется, онъ очень похожъ на Скалозуба. Впрочемъ, нельзя судить о человѣкѣ, видя его только одинъ разъ въ жизни. Съ *нимъ* я, слава Богу, говорю хладнокровно; мнѣ смѣшна прежняя моя фантазія... не

ужели *я* могла *влюбиться?* И какое это пошлое слово!...

. . . . . .

„Нѣтъ, *я его* не разлюбила; теперь только чувствую всю силу, всю глубину этой страсти!... она, подобно огню подъ золой, тлѣла невидимо; стоило только дохнуть вѣтру, чтобъ взвилось высоко яркое пламя и благотворно согрѣло окрестности, или безпощадно испепелило ихъ... Принесъ полковникъ изъ лѣсу полумертвую сестру и принесли, вслѣдъ за ними, охотники *его* почти безъ дыханія, раздавленнаго, изуродованнаго... и я забыла все, и сестру, и дѣвическую скромность, и приличіе, и бросилась къ *нему*, словно съ нимъ теряла все мое счастіе... Говорятъ, онъ теперь страшенъ, но для меня онъ милѣе прежняго; я не вижу этихъ ранъ, отъ которыхъ Вѣрочка упала въ обморокъ; я вижу только его одного, страждущаго отъ своего великодушія, отъ любви. Да, онъ истинно любитъ, онъ хотѣлъ за Вѣрочку задушить медвѣдя руками... Сильная любовь всегда безразсудна. Счастливая Вѣрочка! Всю ночь я не смыкала глазъ у изголовья его постели; онъ страшно бредилъ, часто призывалъ Вѣрочку — и я была счастлива: мнѣ пріятно было слышать звуки его голоса, пріятно было ему прислуживать, безмездно, безъ надежды на взаимность... Нѣтъ, это, какъ я понимаю, любовь, моя святая соименница... Сегодня утромъ Агафья Савична очень важно сказала мнѣ: „вы давича сдѣлали сами себѣ большой афронтъ!... да и теперь еще афронтъ продолжается: хоть Карлъ Адамовичъ и женихъ вашей сестрицы, да еще не мужъ, даже еслибъ и мужъ былъ, все вамъ непристойно... У насъ, въ уѣздѣ, часто случались подобныя исторіи... скорѣе бы Вѣрѣ Ивановнѣ..." „Что жъ Вѣрочка не придетъ?" спросила я. „А развѣ вы не видѣли послѣдствій ея пагубнаго посѣщенія, какъ она онамедни пришла въ безчувствіе? У нихъ слабые нервы, они очень чувствительны..." и много кое-чего говорила она и о предводителѣ, и о материнской попечительности, и о полковникѣ. Я не слушала: онъ въ это время дышалъ такъ тяжело!... А у насъ нѣтъ порядочнаго доктора!... „Что же вы ничего не говорите?" спросила меня Агафья Савична. Я попросила ее оставить меня въ покоѣ, и, когда выздоровѣетъ Карлъ Адамовичъ, не говорить ни слова обо мнѣ. „Праведное небо! какая дикая!" прошептала она, выходя изъ комнаты.

„Сегодня ему лучше, а мнѣ грустнѣе; скоро онъ придетъ въ чувство—и мнѣ неловко будетъ просиживать у него дни и ночи.

. . . . . .

„Прошедшую ночь я сидѣла у его изголовья; все было тихо, только однообразно стучалъ маятникъ. Чудные образы вились передо мною, выростали и уходили при полусвѣтѣ матовой лампы; мнѣ казалось, въ маятникѣ стучатъ шаги невидимаго существа, влекущаго насъ безостановочно по пустому полю здѣшней жизни въ лучшій міръ, у котораго ворота— могила... Благо, если этотъ длинный путь пройдешь объ руку съ *человѣкомъ*; а если потащишься одиноко?... И чистая, святая грусть объяла мою душу. Я подошла къ нему, къ моему страдальцу, наклонилась къ его благородному челу и — прости меня Боже! — поцѣловала *его*. Я не краснѣю при мысли объ этомъ: ангелы Божіи были свидѣтели чистоты моего поцѣлуя... И вдругъ *онъ* пошевелился—всѣ мечты мои разсѣялись, вмигъ пробудился во мнѣ ложный стыдъ и страхъ, и я быстро убѣжала. Этотъ поцѣлуй, кажется, былъ прощальнымъ съ моимъ тихимъ, но безграничнымъ наслажденіемъ. *Онъ* сегодня, говорятъ, пришелъ въ себя совершенно. Господи! что если *онъ* замѣтилъ мой поцѣлуй! что *онъ* обо мнѣ подумаетъ? Я боюсь только одного *его*...

„Три дня какъ я не вижу его—и скучно, утомительно однообразно тянутся дни... Настанетъ вечеръ, обрадуешься, будто станціи послѣ тяжелой песчаной дороги... а ночь тянется еще безконечнѣе съ своими грезами, то отвратительно страшными, то упоительно-прекрасными, свѣтлыми, отрадными... послѣднія еще хуже: послѣ нихъ существенность кажется еще мрачнѣе... Часто я спрашиваю себя: что будетъ дальше? и нѣмѣю передъ своимъ вопросомъ. Мнѣ кажется иногда, что я должна бѣжать отсюда и гдѣ-нибудь, въ монастырѣ, похоронить мое безуміе. Но кто поручится, что я не оскверню святыни монастыря моими земными помыслами? и легче ли будетъ душѣ моей, когда тайный голосъ станетъ шептать мнѣ: „лицемѣрка! подъ скромной одеждой въ тебѣ кипить цѣлая буря зем-

ныхъ страстей!“ А уединеніе, я знаю себя, еще болѣе разовьетъ мои мученія. Нѣтъ, я должна остаться здѣсь; одинъ взглядъ его успокоитъ мое волненіе, навѣетъ на душу миръ и тишину. Наша жизнь—битва: малодушный убѣгаетъ отъ нея и прячется въ монастырскія стѣны, а я имѣю твердую волю; я женщина и, можетъ-быть, порой испугаюсь паука, лягушки или кошки, вспрыгнувшей нечаянно на окно—это въ натурѣ женщины; но никогда не испугаюсь самой себя, своихъ печалей и страданій: я съумѣю бороться съ ними — это въ *моей* натурѣ. Итакъ, надобно жить и смѣло выпить до дна свою чашу, которую Провидѣніе мнѣ назначило... На это его святая воля, и грѣхъ уклоняться отъ нея.

. . . . . .

„Нѣсколько недѣль прошло невыносимо тягостныхъ... *Онъ* внѣ всякой опасности; но его нельзя было видѣть, не нарушая *приличія*... На мѣстѣ Вѣры, я бы не посмотрѣла на это, а она не навѣщала *его*; какъ же я могла это сдѣлать? Наконецъ, онъ вышелъ, блѣдный, худой, ни подобія прежняго! Съ перваго взгляда я замѣтила, что онъ ничего не знаетъ о моемъ поцѣлуѣ— и мнѣ стало легко. Когда *онъ* пожалъ мнѣ руку—сердце мое такъ сжалось, что я готова была зарыдать, не знаю отчего. Вѣрочка съ *нимъ* обошлась мило, внимательно, но какъ то холодно; мнѣ кажется, или моя безумная страсть сдѣлала меня слишкомъ взыскательной, или—боюсь подумать —она его не любитъ!...

„Сегодня былъ полковникъ; онъ мнѣ нестерпимъ!... У насъ какъ то въ домѣ все не ладится; не придумаю, отчего?

„Скорѣй бы женился Карлъ Адамовичъ, кажется, все бы пошло лучше; онъ такъ любитъ Вѣрочку, а она... Прости мнѣ, Боже! откуда берутся такія черныя подозрѣнія... Какой несносный полковникъ!... Лучше, когда бы его здѣсь не было...

. . . . . .

„Вѣра, другъ мой, сестра моя! ты ли это? такъ мои невольныя догадки—страшная истина?!... Нѣтъ, я не вѣрю глазамъ своимъ, не вѣрю своимъ ушамъ... Можно ли даже сравнивать съ кѣмъ нибудь *его*— пылкаго, благороднаго человѣка съ умомъ и душою; но смѣть предпочесть ему эту размалеванную куклу, искусственнаго автомата—просто дерзость или сумасшествіе... Мужчины справедливы, упрекая насъ въ легкости. *Онъ* имѣетъ полное право упрекать сестру мою... Бѣдная Вѣра, какъ мнѣ жаль тебя! какое благо ты отъ себя отталкиваешь, подобно капризному ребенку! Не хочу вѣрить, а между тѣмъ это правда; я даже слышала звукъ предательскаго поцѣлуя... я краснѣю, вспоминая, какъ. .

. . . . . .

Далѣе не знаю, что прочелъ лѣсничій, только его руки, дрожавшія отъ внутренняго волненія, тихо опустились, и голова упала на грудь.

Какъ этотъ дневникъ Любови Ивановны попалъ въ руки лѣсничаго—я навѣрно не знаю и не могу объяснить вамъ; а въ догадки входить не стану, потому что не люблю ничего туманнаго, кромѣ отдаленныхъ плановъ на хорошихъ пейзажахъ. Дѣло въ томъ, что Карлъ Адамовичъ прочиталъ дневникъ со всѣми его мелочными подробностями, въ которыхъ такъ вѣрно отражалась душа дѣвушки(*), прочиталъ до страницы, гдѣ нашелъ свой приговоръ, и не могъ читать далѣе: буквы, какъ муравьи, зашевелились, ползали по бумагѣ, двоились, вытягивались, приняли радужный отливъ и вдругъ скрылись въ туманѣ. Лѣсничій сидѣлъ и тихо плакалъ.

Грустно, а иногда досадно смотрѣть, какъ плачетъ женщина; но тяжело видѣть плачущаго мужчину.

Какъ убитый, сидѣлъ Карлъ Адамовичъ, кажется, не замѣчая слезъ, бѣжавшихъ по блѣднымъ щекамъ его. Что думалъ онъ и что перечувствовалъ въ нѣсколько минутъ—Богъ его знаетъ! только тяжелое дыханіе, колебавшее грудь его, свидѣтельствовало о внутренней борьбѣ, можетъ быть, на жизнь и смерть этого человѣка.

Вдругъ онъ рѣшительно всталъ, будто очнулся отъ глубокаго сна; его щеки заиграли румянцемъ, глаза высохли и глядѣли твердою, спокойной рѣшимостью; онъ вышелъ изъ комнаты...

— Сударыня! рѣшите мою участь, говорилъ полковникъ, ловко закручивая усъ.

— Я вамъ сказала: „не могу“, печально отвѣчала Вѣра Ивановна, разсѣянно тро-

---

(*) Я, боясь наскучить подробностями, можетъ быть, не для всѣхъ занимательными, многое пропустилъ, а выписалъ только главное, что близко къ моему разсказу.

гая правой рукой клавиши рояля.

— То-есть, не хотите.

— Напротивъ, не могу!

— Вы дѣвушка свободная, можете дѣлать все, что вамъ угодно. Зачѣмъ вамъ выходить за человѣка, который, по моему сужденію, не стоитъ вашего башмака.

— Перестаньте! какой вы злой! Для васъ я не все бы рѣшилась... но мое слово... а воля матушки... а что скажутъ люди?... нѣтъ, страшно!...

— Стыдно вамъ робѣть отъ пустяковъ; вы, право, ребенокъ! Вѣра Ивановна, рѣшите мою судьбу! или *да*, или *нѣтъ*, но отъ послѣдняго я завтра же полечу на Кавказъ. Какъ честный и благородный человѣкъ говорю вамъ: не играйте моей жизнію...

Ставъ на одно колѣно, онъ взялъ руку Вѣры Ивановны и прижалъ къ своимъ губамъ.

— Ай!... вскрикнула Вѣра Ивановна, увидя входившаго лѣсничаго.

— Ничего. Живите, полковникъ,—сказалъ онъ, улыбаясь.

VII.

ПРОЗА.

Недѣли черезъ двѣ послѣ этого въ Покровскомъ было двѣ свадьбы: Вѣра Иванова вѣнчалась съ полковникомъ, а Любовь Ивановна съ лѣсничимъ.

Весь уѣздъ заговорилъ объ этомъ происшествіи; тревога была полная, блистательная.

— Развѣ я—не я, чтобъ не уладила! торжественнно кричала Агафья Савична.

— Никто не споритъ; вы мастеръ своего дѣла, ей всѣ замѣчали.

— Мы и прежде это знали, кричали уѣздныя барыни:—не даромъ Любочка подъѣзжала къ нѣмцу съ нѣмецкимъ языкомъ; иногда, бывало, слушать совѣстно!...

— Вѣра Ивановна, говорили барышни:—еще сдѣлала себѣ сносную партію, хотя, правду сказать, у ея муженька усы какъ щетина, а Любочка... вышла за урода! фи!...

Василій Кузьмичъ вышелъ въ отставку, пожилъ года два въ Покровскомъ, какъ самъ зналъ, выстрѣлялъ и выловилъ всю дичь въ околоткѣ, перессорился со всѣмъ уѣздомъ и заскучалъ. Вѣра Ивановна со второй недѣли замужества загрустила еще болѣе своего мужа. Скука не свой братъ, отъ нея надобно бѣжать куда нибудь подальше. Рѣшили: продать имѣніе и уѣхать за границу.

Отъ этого проэкта Вѣра Ивановна немного повеселѣла, и во снѣ и на яву ей грезились альпійскія розы, дрезденская галлерея, гробница Шиллера, голубая пещера, швейцарскія коровы, и фернейскій замокъ, и боромейскіе острова, и лазарони, смуглый, загорѣлый, небрежно раскинувшійся на берегу моря, въ жаркой атмосферѣ юга...

— Тамъ, говорятъ, славные трактиры, ловкія прислужницы, шампанское гораздо дешевле, а на водахъ можно найти выгодную игру—думалъ Василій Кузьмичъ.

И скоро, продавъ имѣніе, они въ красивой каретѣ уѣхали за границу.

— А лѣсничій?

Пожалуй, я вамъ разскажу и о немъ, если это васъ занимаетъ. Карлъ Адамовичъ жилъ въ Покровскомъ счастливо, то есть, какъ можетъ жить человѣкъ въ здѣшнемъ мірѣ, гдѣ на одну радость приходится сотня печалей. Онъ часто на яву осуществлялъ картину сельскаго покоя и веселія, которую ему когда то показалъ во снѣ станціонный смотритель. Когда я познакомился съ Карломъ Адамовичемъ, у него уже было трое дѣтей; старшая дочь почти невѣста, очаровательно томная блондинка; ее звали Вѣрочкой и ее воспитывала, образовала, за ней ухаживала, какъ гувернантка, знакомая намъ тетушка Вѣра Ивановна, та самая, которая уѣхала за границу въ каретѣ съ мужемъ... Оттуда она воротилась безъ мужа, убитаго гдѣ то на дуэли, но прежде убившаго все ея состояніе, въ нанятой въ долгъ жидовской бричкѣ, въ лохмотьяхъ. Это ужъ была не та блестящая Вѣра Ивановна: страданія бросили раннюю сѣдину въ ея черные волосы, провели по лицу глубокія морщины и согнали съ него окончательно свѣжій, огневой румянецъ, такъ ярко нѣкогда игравшій на ея полныхъ щекахъ. И грустно мнѣ было глядѣть на Вѣру Ивановну, вспоминая прошедшее и радостно глядя на настоящее.

1845 г.

Черта изъ частной жизни Боченочка.

Желалъ бы я знать, что сказалъ бы Лафатеръ о помѣщикѣ Боченочкѣ, глядя на его физіономію?

Боченочекъ былъ старичокъ небольшаго роста, имѣлъ порядочное брюшко, огромную голову и коротенькія, толстыя ножки, которыя очень странно двигались, почти не сгибаясь въ колѣняхъ; голова его, очень похожая на продолговатую тыкву, была совершенно лысая, и только на вискахъ и на затылкѣ украшалась небольшими клочками рѣдкихъ волосъ. Боченочекъ не былъ красавецъ, но стоило только поговорить съ нимъ полчаса, чтобы забыть вовсе его физическіе недостатки, чтобъ всей душой полюбить это въ совершенствѣ доброе существо—такая сердечная теплота была въ его рѣчахъ, во взорахъ, въ добродушной улыбкѣ; она, разливаясь по лицу Боченочка, давала ему выраженіе духовной красоты, часто затемняющей собою блистательную, но бездушную красоту тѣла.

Боченочекъ былъ некрасивъ, но весь уѣздъ его любилъ и уважалъ; его сосѣди, между которыми были отъявленные ябедники, боялись заводить съ нимъ тяжбы, хотя часто скучали отъ бездѣйствія и твердо знали, что Боченочекъ готовъ потерять свое, лишь бы избавиться отъ ссоры, лишь бы не дышать непріятнымъ воздухомъ купища Ѳемиды.

Крестьяне Боченочка, говоря о немъ, всегда благоговѣйно снимали шапки и, кстати и некстати, желали ему всего лучшаго на этомъ и на томъ свѣтѣ.

Жилъ Боченочекъ, весь свой вѣкъ былъ рыцаремъ добра и снисхожденія, умеръ—и о немъ никто не знаетъ, никто не вѣдаетъ, хотя много есть людей, обязанныхъ ему и спокойствіемъ семействъ и состояніемъ, и жизнь. Въ другомъ мѣстѣ о немъ распубликовали бы въ газетахъ, дали бы ему какую-нибудь монтіонову премію и т. п., а мы молчимъ. Странно!

Не отъ сильной ли натуры нашей происходитъ подобное равнодушіе? Слабый ребенокъ хвастаетъ, когда ему удастся поднять пятифунтовую гирю, и всѣмъ разсказываетъ о своемъ подвигѣ; а взрослый труженикъ таскаетъ съ утра до ночи на своей спинѣ десятки пудовъ—и молчитъ!.. или... Но оставимъ ипотезы!

Боченочекъ—миръ праху его!—жилъ и умеръ во время оно, въ Малороссіи; у него было нѣсколько сотъ душъ крестьянъ, большой рубленый дубовый домъ съ обширнымъ садомъ, въ которомъ, правда, не красовались пышныя даліи и рододендроны, не благоухали дорогія гординіи, но было много плодовъ, много ягодъ, много густой тѣни, такъ пріятной въ жаркій день, много мяты, кануферу и другихъ душистыхъ травъ, а весной цвѣло много розъ и фіялокъ. Боченочекъ очень любилъ розы и душистыя травы; послѣдними въ продолженіи всего лѣта онъ посыпалъ полы своихъ комнатъ, что, освѣжая воздухъ, чрезвычайно успокоительно дѣйствуетъ на человѣка.

Боченочекъ любилъ хорошо покушать и угостить пріѣзжаго. Въ жаркіе дни постоянно носилъ халатъ изъ бѣлаго холста, всегда аккуратно подвязывая его чернымъ шелковымъ снурочкомъ; въ экстренныхъ только случаяхъ онъ перемѣнялъ былый халатъ на сюртукъ изъ сѣрой шерстяной, очень легкой матеріи, которую изобрѣтательная Москва заклеймила названіемъ получеркесина.

— Странное дѣло! говаривалъ Боченочекъ своему слугѣ, снимая сюртукъ и надѣвая опять халатъ:—для чего я мучилъ себя въ этомъ сюртукѣ?

[illegible] ... [illegible] Иванъ.
[illegible] ... [illegible] рыния.
[illegible] ... [illegible]
[illegible] свѣтъ.
[illegible] свѣтѣ! [illegible] ... [illegible] чистыи [illegible] ... [illegible] ... [illegible].
[illegible] мало.
[illegible] маленнь, [illegible] ... [illegible] получить [illegible] свѣтъ.
[illegible]
[illegible] ... [illegible] ими! [illegible] ... [illegible] случится.

[illegible] можно [illegible] разсказать [illegible] ... [illegible] Боченочка, въ которыхъ [illegible] ... [illegible] появляется [illegible] ... [illegible] мнѣние, доброта и любовь [illegible] ... [illegible] самой простой [illegible] человѣку быть высоко-образован[illegible] ... [illegible] признаться, что [illegible] ... [illegible] или казалъ [illegible] помощь [illegible] дѣйствія Боченочка [illegible] ... [illegible] ... [illegible] не [illegible] мягчить сердца [illegible] ... [illegible] человѣка оскорбляется [illegible] ... [illegible] инстинктивно чувствуя свои недостат[illegible] ... [illegible] не хотя самому себѣ въ нихъ [illegible] ... [illegible] тревожное воображение [illegible] вѣчно настороже противъ [illegible] ... [illegible] Слѣдовательно. Я пока разскажу вамъ только одинъ случай изъ жизни [illegible] ... [illegible] случай, коли хотите [illegible] ... [illegible] истинный въ немъ видѣнъ Боченочекъ [illegible] ... [illegible] онъ былъ добрый человѣкъ.

Утромъ весною Боченочекъ [illegible] барабанный бой и вышелъ за ворота [illegible] смотрѣть, что тамъ дѣлается; вышелъ [illegible] ... [illegible] въ бѣломъ балахонѣ [illegible] ... [illegible] черным снуркомъ, голову [illegible] ... [illegible] картузомъ съ длиннымъ [illegible].

Мимо воротъ Боченочка [illegible] ... [illegible] село. Барабанъ гремѣлъ на [illegible] ... [illegible] ближе и ближе къ дому [illegible] ... [illegible] наконецъ [illegible] ... [illegible] Боченочка, и [illegible] ... [illegible] увидѣлъ какую-то пѣхоту [illegible] ... [illegible] которая прошла мимо его [illegible] ... [illegible]

[illegible] устали, бѣдные! сказалъ [illegible] ... [illegible] нѣрно [illegible] ... [illegible] И, [illegible] ... [illegible] пріѣхалъ на [illegible] ... [illegible]

[illegible] потомъ, прибѣжалъ изъ села [illegible] ... [illegible] что москали будутъ [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] замѣтилъ Боченочекъ:— [illegible] ... [illegible] пусть отдохнутъ до[illegible] ... [illegible] по квартирамъ [illegible] ... [illegible] хорошенько приняли.

— [illegible] ... [illegible] примутъ какъ [illegible] ... [illegible] почесыва[illegible] ... [illegible] квартиры разводить [illegible] ... [illegible] по квартирамъ.

— [illegible] ... [illegible] Только [illegible] ... [illegible] ихъ не такъ [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] всѣ разбѣжа[illegible] ... [illegible] будто имъ что [illegible] ... [illegible] туда и туда...

— [illegible] ... [illegible] лучше [illegible] ... [illegible] царскую службу. [illegible] ... [illegible] и мнѣ пора обѣдать.

[illegible] ... [illegible] обѣдалъ очень ра[illegible] ... [illegible] въ комнатѣ, [illegible] ... [illegible] и читалъ „Москов[illegible] ... [illegible] деревья, вытяги[illegible] ... [illegible] въ [illegible] окна, не [illegible] ... [illegible] солнечныхъ лучей, [illegible] ... [illegible] перебиралъ [illegible] ... [illegible] порой врывал[illegible] ... [illegible] свѣжестью и аро[illegible] ... [illegible] разбросанныхъ [illegible] ... [illegible] нарушалъ шелестъ [illegible] ... [illegible] перевернутыхъ на [illegible] ... [illegible] или какой[illegible] ... [illegible] по вѣткѣ, [illegible] ... [illegible] срывался, па[illegible] ... [illegible] глухимъ жуж[illegible] ... [illegible] и опять все ста[illegible] ... [illegible] за порогѣ комнаты [illegible] ... [illegible] фигура, [illegible] ... [illegible] въ короткой [illegible] ... [illegible] поясомъ; го[illegible] ... [illegible] губъ, борода бри[illegible] ... [illegible] что былъ му[illegible] ... [illegible] прошелъ онъ по по[illegible] ... [illegible] травой, и почтитель[illegible] ... [illegible] дожидаясь, пока Боченочекъ [illegible] ... [illegible] Несмотря на [illegible] ... [illegible] по легкому движенію [illegible] ... [illegible] съ какимъ онъ [illegible] ... [illegible] видно было, [illegible] ... [illegible] встревоженъ. Боченочекъ [illegible] ... [illegible] казалось, погрузи[illegible] ... [illegible] ихъ. Мужикъ тихонько [illegible]

— [illegible] Боченочекъ, повернувъ [illegible] ... [illegible] — здравствуй, Прокопъ!

— [illegible] ... [illegible]!

— [illegible] ... [illegible] нужно?

— [illegible] ... [illegible] а просто сказать [illegible] ... [illegible] на свѣтѣ не приходится.

— [illegible] ... [illegible] Прокопъ! что такое?

— [illegible] такое, что [illegible] разсказать [illegible] ... [illegible] дѣло, совсѣмъ скверное... а

не хотѣлось, да пришелъ, разсудите меня... Власть ваша, а разсудите...

— Съ кѣмъ?

— Съ москалемъ. Наказалъ меня Богъ этимъ москалемъ: такое нехорошее твореніе, что вспомнишь, такъ плюнуть хочется...

— Не ругайся, Прокопъ, не хорошо.

— Простите, власть ваша, нельзя не ругаться... вы не повѣрите, тамъ такое дѣлаетъ, да такое слово сказалъ... Мужикъ махнулъ рукой.

— За что же вы поссорились?

— Да Богъ съ нимъ! Мы не ссорились, онъ одинъ ссорился. Пришелъ, чтобъ ему...

— Не ругайся, Прокопъ!

— Нѣтъ, я не ругаюсь, а такъ, къ слову пришлось... пришелъ онъ, а мы уже доѣдаемъ обѣдъ, и кричитъ: „Давай ѣсть!“ Мы ему поклонъ, усадили подъ образа и начали кормить. Извѣстно, уже маловато было кушанья; онъ съѣлъ и все кричитъ: „давай еще!“ Мы ему поклонъ да говоримъ: „нечего больше, все съѣли“. Онъ разсердился, пошелъ осмотрѣлъ всѣ горшки, ничего не нашелъ. „Ну, говоритъ, хорошо, будете меня помнить“. Взялъ барабанъ, да какъ началъ на немъ гремѣть, да трещать... Боже упаси! и барабанъ-то невеликъ струментъ, а кричитъ, словно въ немъ сотня бабъ сидитъ да ругается. Дѣти въ плачъ, жена оглохла, птицъ всѣхъ изъ двора повыгналъ! Я уже его и просилъ и молилъ: „сдѣлайте милость, господа служба, перестаньте стучать, угомонитесь!“—и слушать не хочетъ...

— Нехорошо.

— Это еще ничего, это еще цвѣтъ, а вотъ тутъ ягоды созрѣютъ, вотъ будетъ скверно... Какъ же мнѣ не ругать его? тутъ уже вышло такое, что и разсказывать не приходится...

— Что же такое?

— Простите, тутъ и я виноватъ немного, да я самъ не зналъ, что оно такъ кончится. Надо было пригрозить москалю: „перестань, молъ, а то я пойду своему пану скажу“, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „мнѣ никто не запретитъ учиться барабанить, а пана твоего я не видалъ, такъ и не боюсь“.— „Не правда, сказалъ я, ты видѣлъ моего пана сегодня: когда вы шли мимо дома, онъ стоялъ у воротъ“.

— Такъ это твой панъ? спросилъ москаль.

— Это, сказалъ я. Тутъ онъ уже такое сказалъ, что я и говорить не смѣю.

— Говори!

— Сказалъ... простите... твой панъ погань.

— Поганый?

— Да, поганый.

— Такъ и сказалъ?

— Такъ и сказалъ: „поганый“, ей-богу сказалъ, вотъ хоть земли съѣсть кусокъ, такъ правда; вотъ эту траву стану ѣсть, какъ баранъ, если не правда.

Говоря это, Прокопъ поднялъ съ земли стебель мяты и началъ его жевать.

— Не ѣшь сѣна, Прокопъ, я вѣрю; отъ москаля станется.

— Уже и сталось!.. Такъ мнѣ было чудно слушать. Вы не повѣрите, сначала хотѣлъ было прибить москаля, а послѣ подумалъ: пойду къ вамъ—вы лучше разсудите. Не оставьте меня при этакой обидѣ; какъ мнѣ тутъ быть?

— А вотъ постой... Такъ онъ тебѣ сказалъ, что я поганый?

— Ей-богу сказалъ!

— Гей! хлопецъ! Иванъ!

Иванъ явился.

— А принеси мнѣ, Иване, зеркало.

Иванъ принесъ большое зеркало въ золоченой четвероугольной рамѣ.

Боченочекъ взялъ зеркало въ обѣ руки и, держа передъ собою, долго смотрѣлся въ него, потомъ сказалъ Прокопу:

— Какъ я вижу, Прокопъ, то у меня голова нехороша.

— Богъ съ вами, пане! чѣмъ она нехороша—голова настоящая, какъ слѣдуетъ.

— Нѣтъ, не ври, это грѣхъ; вѣдь онъ длинная да высокая, какъ бабій кувшинъ съ молокомъ—не такъ ли?

— Пускай Богъ сохранитъ, то кувшинъ, а то голова—дѣло совсѣмъ другой масти, хоть она и длинна немного.

— Постой, вотъ ты самъ говоришь, что длинна, продолжалъ Боченочекъ, пристально разсматривая себя въ зеркало:—кромѣ того, на этой длинной головѣ и волосъ нѣтъ. Что за краса въ головѣ, когда она похожа на колѣно?

— Волосъ маловато, ваша правда...

— Не маловато, а вовсе нѣтъ; да и зубовъ у меня всего только полдесятка—не такъ ли?

— Не безпокойтесь, пане, одинъ добрый зубъ стоитъ десяти негодныхъ.

— Не затирай моей рѣчи, Прокопъ; у меня мало зубовъ, да и тѣ никуда не годятся. Глаза у меня зеленые, словно у лягушки—правда зеленые?

Прокопъ молча поклонился.

— То-то и есть, самъ видишь, что правда, продолжалъ Боченочекъ, опять всматриваясь въ зеркало:—да хоть бы лицомъ я взялъ, и этого нѣтъ; что у меня за лицо? желтое, въ морщинахъ, словно печеное яблоко—не такъ ли? говори по правдѣ!

— Вы лучше знаете. Мы люди простые, неграмотные, куда намъ во всемъ толкъ знать!..

— У тебя есть глаза, ты видишь, вѣдь мое лицо желтое? много на немъ морщинъ?..

— Есть, Богъ благословилъ.

— Вотъ же, что я тебѣ скажу, говорилъ Боченочекъ, положивъ зеркало на столъ:— вѣдь москаль правду сказалъ; самъ вижу, что я поганый; и ты, коли честный человѣкъ, ты согласишься со мною—не правда ли?

— Да оно правда, какъ я вижу.

— За что жъ ты разсердился на москаля, когда онъ сказалъ правду?

— Да какъ же не сердиться, коли онъ такъ просто взялъ да и назвалъ васъ поганымъ?

— Онъ правду сказалъ, а за правду сердиться нечего. Ты ему сказалъ, что пойдешь ко мнѣ жаловаться?

— Сказалъ.

— Поди же, возьми у Ивана бутылку наливки и отнеси отъ меня москалю, скажи: я прислалъ за правду, за науку; я въ зеркало никогда не смотрѣлся и до этого часа думалъ, будто я красавецъ, а теперь, спасибо ему, разсмотрѣлъ себя хорошенько и вижу, что москаль правъ; онъ добрый, честный человѣкъ, я точно поганый, очень поганый!...

— Какъ вамъ угодно, власть ваша, только хоть бы онъ барабанить пересталъ... дѣти плачутъ...

— И на это есть средство. Ты говоришь онъ учится?

— Говоритъ онъ: *учусь*, да это придирка, такъ...

— А въ книжкѣ есть написано: *набитое брюхо къ ученію глухо*. Вотъ ты накорми москаля хорошо, свари варениковъ пожирнѣе, да курицу ему зажарь: онъ поѣстъ— и пріутихнетъ, вѣрно, перестанетъ учиться... скорѣй соснетъ, вотъ ты его и проведешь. Поди ка попробуй, сдѣлай такъ.

— Попробую; спасибо вамъ, пане, за совѣтъ!

Назавтра Боченочекъ повстрѣчалъ Прокопа на работѣ.

— А что, Прокопъ, ушли москали?

— Слава Богу!

— А что твой постоялецъ, пересталъ барабанить?

— Пересталъ, дай Богъ вамъ здоровья; какъ покушалъ, такъ сразу и уснулъ: передъ ужиномъ проснулся—мы опять ему варениковъ, онъ опять уснулъ... Только и слышали отъ него рѣчей, что за ужиномъ васъ хвалилъ.

— Хвалилъ?

— Сильно хвалилъ; слушать было весело; говоритъ, что и въ Нѣмещинѣ и въ Турещинѣ былъ, а такого добраго пана не видывалъ... это, говоритъ, не панъ у васъ, а...

— Полно, полно! мало ли чего сытый человѣкъ не вретъ! Вотъ такъ ихъ всегда надо учить, Прокопе!

1846.

РАЗСКАЗЪ.

— Нѣтъ, что ни говорите, господа, а я совершенно согласенъ съ этимъ... забылъ его имя,—съ древнимъ мудрецомъ, который сказалъ, что всякаго поэта слѣдуетъ увѣнчать и выпроводить вонъ изъ города: пусть себѣ поетъ да празднословитъ въ чистомъ полѣ и не смущаетъ рабочаго народа, рѣшительно сказалъ толстый откупщикъ.

— Что вы, Макаръ Михайловичъ! закричали на него собесѣдники: — съ вашимъ умомъ, съ вашимъ образованіемъ и вы говорите такія рѣчи! Помилуйте, вы шутите!

— Благодарю, господа, за комплименты, хоть я и не барышня; но, шутки въ сторону, я говорю мое убѣжденіе, мало этого, я говорю въ обширномъ смыслѣ о всѣхъ вообще этихъ людяхъ, которыхъ называютъ въ газетахъ *жрецами искусства*, о писателяхъ, о живописцахъ, ваятеляхъ... архитекторы еще другое дѣло: тутъ есть польза.

Этотъ разговоръ состоялся зимой 1844 г. въ добромъ городѣ Петербургѣ, въ небольшой гостиной. Собесѣдниковъ было человѣкъ пять; въ карты не играли, говорили, какъ легко было замѣтить, не о преферансѣ, не о наградахъ, не о Кастелланѣ, а объ изящныхъ искусствахъ. Откупщикъ былъ не въ духѣ.

— Отчего вы такъ предубѣждены противъ, какъ вы говорите, *жрецовъ изящнаго?* смѣясь, замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ.

Отчего? странный вопросъ! отвѣчалъ откупщикъ.—Лучше я васъ спрошу: отчего вы защищаете ихъ? Пустой народъ!... настоящіе жрецы: ѣдятъ чужой хлѣбъ — и только.

Тутъ ораторъ, повидимому очень утѣшенный своей остротой—не остротой, каламбуромъ—не каламбуромъ, остановился, улыбаясь, повелъ кругомъ глазами и продолжалъ:

— Да, рѣшительно пустой народъ, кругомъ должники общества, а чѣмъ отплачиваютъ ему? исправляютъ, говорятъ, нравы! Нѣтъ, теперь мы стали умны для этого. Въ театрѣ посмѣемся надъ скупымъ, а все-таки не станемъ раскидывать деньги на стороны; человѣкъ прочитаетъ про взяточника, даже, положимъ, почувствуетъ къ нему омерзеніе, а все-таки, если онъ взяточникъ—не выдержитъ, возьметъ... Просто, пустой народъ—писатели, пустой!

— А живописцы?

— Живописцы! почти съ ужасомъ закричалъ откупщикъ:—а живописцы еще хуже. Писатель что-нибудь скажетъ полезное, хоть иногда ошибкой, а живописецъ... Да это просто народъ, которому имя трудно прибрать. Вотъ уже безполезнѣйшій человѣкъ—живописецъ! Хотѣлъ бы я видѣть человѣка, обязаннаго чѣмъ-нибудь живописцу?

— А я такъ знаю.

— Да, конечно, живописецъ могъ быть человѣкъ съ состояніемъ или въ связяхъ, ну, онъ и помогъ, положимъ, кому-нибудь, но я не о томъ говорю. Вы покажите мнѣ человѣка, которому оказалъ бы услугу живописецъ собственно живописью—понимаете вы меня?

— Понимаю и постараюсь вамъ показать такого человѣка.

— Любопытно, любопытно! Гдѣ же онъ, этотъ фениксъ? гдѣ этотъ феноменъ? давайте его сюда! кричалъ самодовольно откупщикъ.

— Извольте, если этого вамъ хочется. Этотъ фениксъ и феноменъ — я, къ вашимъ услугамъ.

— Вы?

— Да, я; а живописецъ, составившій счастье всей моей жизни, давшій мнѣ почувствовать тысячу удовольствій чистыхъ, духов-

ныхъ, этотъ живописецъ—знаменитый нашъ Брюловъ.

— Извините меня, я не полагалъ... впрочемъ, это должно быть очень занимательная исторія.

— Она можетъ быть занимательна для меня...

— Однако... вѣдь онъ вамъ не давалъ денегъ?

— Ни гроша.

— Но былъ полезенъ совѣтами, связями...

— И этого не было; даже я не зналъ, не видѣлъ Брюлова, а между тѣмъ считалъ его своимъ благодѣтелемъ.

— Вы меня заинтересовали, право! Разскажите намъ ваше приключеніе.

— Съ удовольствіемъ; но для этого я долженъ начать немного издалека.

— То-есть отъ яицъ Леды?

— Почти такъ.

— Дѣлать нечего, вашъ разсказъ такъ для меня любопытенъ, что я готовъ слушать.

— И мы также, замѣтили гости, сдвигаясь въ кружокъ около разсказчика.

— Я не помню матери, началъ молодой человѣкъ:—по смерти отца я остался сиротою по десятому году. Онъ былъ управителемъ въ имѣніи А... Мы жили хорошо; отецъ любилъ меня, я любилъ отца да еще любилъ собачку Жучку: она была очень привязана къ намъ обоимъ. Какъ сегодня помню, весной, когда все цвѣло и пѣло, я игралъ съ Жучкой въ саду. „Полно тебѣ, баловникъ, возиться съ собаками!“ сказалъ мнѣ грубый голосъ: „скоро перестанешь... Теперь тебя некому баловать.“ Я поднялъ голову и увидѣлъ подлѣ себя грубую фигуру черномазаго приказчика, который такъ почтительно всегда стоялъ у порога въ комнатѣ батюшки и кланялся въ поясъ, слушая его приказанія. Я удивился тону приказчика и сказалъ: „Не мѣшай мнѣ, а не то пожалуюсь батюшкѣ.“—„Вишь какое пышное отродье! да знать я васъ не хочу...“ вслѣдъ за этимъ приказчикъ пребольно выдралъ меня за уши и спокойно пошелъ своей дорогой. Съ воплемъ бросился я къ нашему дому, оскорбленный, уничтоженный оскорбленіемъ. Прибѣжалъ въ комнату—пусто, въ другую—тоже, въ третьей куча народа, всѣ толпятся около чего-то, ничего не видно, только слышно: „Нѣтъ, ужъ ему не вѣковать. совсѣмъ холоденъ; опечатайте его пожитки, вѣдь онъ не сдалъ отчета по имѣнію...“ Вслѣдъ за этимъ толпа раздвинулась, изъ нея вышелъ писарь. Я юркнулъ въ толпу и очутился лицомъ къ лицу съ моимъ батюшкой; онъ лежалъ мертвый въ сѣромъ нанковомъ сюртукѣ—такъ его привезли съ поля, гдѣ съ нимъ сдѣлался ударъ. Я забылъ и приказчика и выдранныя уши, и молча, въ оба глаза смотрѣлъ на отца; это зрѣлище было такъ неожиданно, такъ поразительно, что мнѣ казалось, будто я сплю и вижу страшное сновидѣніе. „Что же ты, глупенькій, не плачешь?“ сказала мнѣ какая-то старушка, показывая рукой на трупъ отца: „вѣдь ты теперь круглый сирота; тебя только тотъ не станетъ обижать, кто не захочетъ“. Слова ли старухи растрогали меня, или мои выдранныя уши разболѣлись, или, наконецъ, я понялъ свою потерю—въ этомъ не могу дать себѣ отчета, но только я, рыдая, упалъ на холодную грудь моего батюшки. Жучка всю ночь выла подъ окномъ. Назавтра похоронили батюшку, и я остался одинъ на бѣломъ свѣтѣ; всѣ наши комнаты опечатали, я пошелъ спать въ кухню. Въ кухнѣ было много народа, много постелей, но я вездѣ былъ лишній; изъ одного угла меня гоняли въ другой. Мнѣ стало тяжело, и я вышелъ на чистый воздухъ. Была прекрасная, теплая, южная ночь; звѣзды весело сверкали на темносинемъ небѣ, въ саду пѣлъ соловей; недалеко на широкомъ дворѣ какой-то парень плясалъ трепака подъ балалайку, и веселая толпа бабъ хохотала вокругъ него. Мнѣ стало грустно, я плакалъ. Жучка побѣжала передо мной, и шелъ я за Жучкой, не зная куда, пока не очутился на могилѣ батюшки. Я прилегъ на мягкую, свѣжую землю, долго плакалъ и уснулъ. Всю ночь свѣтлыя видѣнія носились передо мной, одно веселѣе, утѣшительнѣе другого. Я проснулся и не вѣрилъ глазамъ своимъ; чудная, великолѣпная картина открылась передо мной. Былъ тихій, торжественный часъ весенняго утра: востокъ пламенѣлъ тысячью огнисто-золотыхъ отливовъ; полупрозрачныя утреннія облака легко летѣли одно надъ другимъ все выше и выше и терялись въ свѣтлой лазури, сверкая розовыми огнями. Кругомъ меня была тишина и утренняя прохлада; надо мной тихо пѣла какая-то птичка, будто боясь своимъ голосомъ разрушить общую гармонію... Боже мой! какъ тогда мнѣ показался прекрасенъ Божій міръ!... Облака мнѣ казались ступенями, по которымъ идутъ души на небо: я твердо вѣровалъ, что душа моего отца витаетъ тамъ, высоко, высоко и улыбается мнѣ оттуда... Я рвался душой въ это безграничное пространство—и съ этой минуты полюбилъ природу, безсознательно, но горячо. Я забылъ свое горе и плакалъ отъ умиленія; я былъ увѣренъ, что отцу моему хорошо... Но взошло солнце, облака разсѣялись; насталъ день—пробудился народъ: все зашумѣло, засту-

чало, заговорило; птичка умолкла, облака улетѣли куда-то далеко, а съ ними вмѣстѣ и мои мечтанія, и мой душевный покой... День съ своими заботами пробудилъ и во мнѣ животное чувство голода. Въ дворъ я итти боялся: тамъ некому было приласкать меня, а обидѣть могъ всякій; и безъ цѣли вздумалъ, итти на рынокъ нашего мѣстечка. Сталъ кликать Жучку; она не идетъ за мной и пристально разсматриваетъ огромный бычачій рогъ, положа на него обѣ лапы. Думая заманить Жучку, я взялъ рогъ и пошелъ съ кладбища; Жучка шла за мной до воротъ, въ воротахъ остановилась, долго смотрѣла на меня и опять вернулась на могилу. День въ мѣстечкѣ былъ торговый, много народа ѣхало на зеленую площадь, раскинутую противъ церкви, гдѣ уже слышенъ былъ шумъ и крикъ торговли, безъ чего, какъ извѣстно, у насъ ни продать, ни купить ни пары сапоговъ, ни куска хлѣба. Не ѣвши почти цѣлыя сутки, я, въ изнеможеніи, сѣлъ на ступеняхъ церковной паперти и жадно смотрѣлъ на крестьянъ, которые весело завтракали, кто дыней, кто кускомъ чернаго хлѣба; всѣ шли мимо меня и ни одинъ человѣкъ не предложилъ мнѣ куска хлѣба. Тогда это для меня казалось очень удивительно; я уже рѣшился было попросить, да, признаюсь вамъ, языкъ не ворочался; и вотъ подходитъ ко мнѣ человѣкъ, обвѣшанный съ ногъ до головы разными гребешками; онъ благосклонно, съ участіемъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ: „Эй хлопецъ! что ты хочешь за рогъ?“ Тогда только я замѣтилъ, что у меня въ рукахъ остался рогъ, которымъ я манилъ съ кладбища Жучку. Первымъ побужденіемъ было отдать рогъ незнакомцу; но меня остановила мысль, что, можетъ быть, я могу, продавъ рогъ, позавтракать, и совѣстясь запросить за него цѣну, я спросилъ, самъ не знаю почему: „а для чего онъ тебѣ?“—„Ты видишь, я гребеньщикъ, надѣлаю изъ него вотъ этакихъ гребешковъ. Что тебѣ дать за него?“—„Что дадите, я буду доволенъ.“—„Молодецъ!“ сказалъ гребеньщикъ, далъ мнѣ двѣ мѣдныя монеты, погладилъ меня по головѣ и ушелъ. А я со всѣхъ ногъ бросился къ старухѣ, продававшей баранки, отдалъ ей монеты и позавтракалъ. Можетъ быть, вы думаете, что я ищу въ моемъ разсказѣ мелодраматическихъ эффектовъ...

— Извините, замѣтилъ откупщикъ, а почти что такъ... могила отца, этотъ, съ позволенія сказать, кстати найденный рогъ...

— Между тѣмъ здѣсь нѣтъ ни слова выдуманнаго. Правду говорятъ: самая невѣроятная исторія есть истинная.

— Ваша правда; но я тутъ не вижу ничего, этакого о художествахъ; даже ремесло гребеньщика считаю полезнымъ ремесломъ, но ни чуть не изящнымъ.

— Согласенъ, замѣтилъ молодой человѣкъ: — но я нарочно разсказалъ вамъ первый шагъ мой на широкое раздолье свѣта, гдѣ такъ много скачетъ каретъ и тянется пѣшеходовъ и, рано или поздно, всѣ приходятъ къ одной цѣли—къ могилѣ. Моя жизнь была несладка. Я не стану томить васъ описаніемъ моей юности; довольно знать, что меня, нищаго сироту, призрѣлъ одинъ баринъ: кормилъ меня, ругалъ, когда бывалъ голоденъ, попрекалъ на каждомъ шагу и, въ качествѣ не то слуги, не то компаньона, привезъ въ Петербургъ, когда пріѣхалъ закладывать имѣніе, чтобъ на эти деньги устроить выварку сахару изъ арбузныхъ корокъ. Мой благодѣтель любилъ всегда, какъ онъ выражался, потолковать о предметѣ. Напримѣръ, бывало, онъ увидитъ какого нибудь пѣтуха и сейчасъ обратится ко мнѣ съ вопросомъ: „Послушай, братецъ, вѣдь этотъ пѣтухъ великъ?“ — „Неочень.“—„Какъ, не очень? ты, братъ, вѣчно врешь; какъ не очень? да онъ больше гуся — не правда ли?“ — „Кажется.“ — „Нѣтъ, именно, больше—а? больше?“— „Больше.“ —„Ну да, больше! Экіе бываютъ, чортъ возьми, пѣтухи! Не забудь этого разсказать Авдотьѣ Ивановнѣ“. Этой страсти толковать о предметахъ я обязанъ, что мой благодѣтель возилъ меня съ собой вездѣ, куда только влекло его досужее любопытство. Мы съ нимъ перетолковали подобнымъ образомъ обо всемъ: о пирожкахъ въ кондиторской Излера, о шарманщикахъ, о Крестовскомъ островѣ, о желѣзной дорогѣ, о монументахъ и какъ то, когда истощился запасъ любопытныхъ предметовъ, поѣхали смотрѣть академію художествъ. Въ это время я былъ человѣкъ безъ всякаго значенія, такъ, животное, кушающее чужой хлѣбъ, и, несмотря на всю горесть своего положенія, я не зналъ, что съ собой дѣлать? куда дѣваться? По моему рожденію я не могъ вступить въ службу; работать ничему не выучился съ малолѣтства; да, по правдѣ сказать, не чувствовалъ ни къ чему никакой охоты. Вотъ мы пріѣхали въ академію: какой то радостный трепетъ пробѣгалъ по моимъ жиламъ, когда мы поднялись по широкой лѣстницѣ, уставленной рѣдкими статуями, и вошли въ круглую залу. Я былъ совершенно счастливъ; съ восторгомъ смотрѣлъ на изящныя произведенія и невпопадъ *толковалъ* съ моимъ благодѣтелемъ о картинахъ; но не достанетъ словъ разсказать вамъ то чувство,

которое овладѣло мною, когда я подошелъ къ картинѣ Брюлова „Вознесеніе Богоматери“: я слѣдилъ глазами за тихо восходящей въ небеса Богоматерью, и вмѣстѣ съ тѣмъ душа моя рвалась все выше и выше туда, въ далекія облака, которыя свивались изъ миріадъ безплотныхъ силъ живущихъ, сиотрящихъ, ликующихъ... и вдругъ, не знаю почему, въ моей памяти воскресло первое утро одиночества, встрѣченное мною на могилѣ отца; живописныя облака двигались передо мной; казалось, отъ нихъ вѣяло утѣшеніемъ и надеждой будущаго, и —я заплакалъ... Мнѣ кажется, еслибы я въ это время увидѣлъ Брюлова, я бы преклонился передъ нимъ благоговѣйно, съ трепетомъ, съ сознаніемъ своего ничтожества... „А какъ ты, братъ, думаешь, на кого похоже вотъ это кудрявое личико?“ спросилъ меня мой благодѣтель, указывая пальцемъ на картину. — „Не знаю“, отвѣчалъ я. — „Эге! а я такъ знаю: на моего Ванюшу— не правда ли?“ Я какъ то неловко отвѣчалъ на выходку барина; онъ назвалъ меня грубіяномъ, неблагодарнымъ; у насъ вышла размолвка, и я оставилъ его съ твердымъ намѣреніемъ сдѣлать живописцемъ. Не стану вамъ описывать моей плачевной участи, не стану утомлять васъ разсказами о грубыхъ, оскорбительныхъ отказахъ многихъ стариковъ, которые считаются *жрецами искусства*, можетъ быть, потому, что долго живутъ и широко разглагольствуютъ объ изящномъ. Богъ съ ними! Я работалъ, тяжко работалъ для пропитанія, а все остальное время занимался рисованьемъ. Сначала мои занятія шли трудно, тяжело, утомляли тѣло и душу, и я часто начиналъ сомнѣваться въ моемъ призваніи; но мнѣ всегда въ моей тѣсной каморкѣ снились чудные сны: блестящее небо, полчища облаковъ легкихъ, прозрачныхъ, сіяющихъ, и эти облака оживали въ сонмы ангеловъ, поющихъ славу Божію, и видѣніе становилось торжественнѣе, святѣе... словно оживала передо мной картина Брюлова, поразившая меня. И я просыпался бодрый, свѣжій, крѣпкій для трудовъ дневныхъ... Такъ прошло нѣсколько лѣтъ: мой трудъ вознагражденъ, и вотъ я, благодаря Бога, художникъ; люблю мое художество, какъ самого себя—и счастливъ, и спокоенъ. А что было бы со мной, еслибъ я не увидѣлъ картины Брюлова? страшно и подумать! Можетъ быть, до сихъ поръ я пресмыкался бы изъ за куска хлѣба передъ человѣкомъ, котораго презиралъ, потакалъ бы ему въ нелѣпыхъ сужденіяхъ, кормилъ бы его собакъ и хлопалъ бы арапникомъ въ случаѣ, если гостямъ захотѣлось бы отъ скуки посмотрѣть рысака съ конюшни моего патрона. А теперь?... Я часто сравниваю мою судьбу настоящую съ прошедшей и всегда спѣшу въ Казанскую церковь, гдѣ, преклоня колѣни, тепло молюсь предъ святой картиной, давшей мнѣ все...

Молодой художникъ умолкъ; его глаза наполнились слезами.

— Это такъ, замѣтилъ откупщикъ:—но мало бываетъ восторговъ души; для счастія человѣка иногда нужно что нибудь и матеріяльнѣе.

— Понимаю: вы говорите о деньгахъ...

— Совершенно такъ.

— Объ этомъ я не думаю; за одинъ портретъ самолюбіе людей мнѣ платитъ столько, что я безбѣдно могу существовать полгода и заниматься для себя художествомъ; притомъ же я не прихотливъ – и живу счастливо, словомъ—я свободный художникъ.

— Оно такъ, я съ вами почти согласенъ,— сказалъ откупщикъ и задумался.

1846 г.

Газетное объявленіе.

(Листокъ изъ хроники добраго города Петербурга).

I.

Я не намѣренъ писать физіологіи газетныхъ объявленій, хотя нѣкоторые практическіе философы привели ихъ въ прекрасную систему, составили роды, виды и подраздѣленія, и, какъ люди умные, соединяя полезное съ пріятнымъ, не только извлекаютъ изъ нихъ выгоду, но и доставляютъ истинное удовольствіе многимъ читателямъ. Кто не помнитъ мистическихъ объявленій о сиренѣ, о лошадкѣ Коко, превосходившее смысломъ *всякое животное*, объ искусственныхъ зубахъ, которые вдесятеро лучше созданныхъ природою, о камешкѣ для бритья, превосходящемъ лучшія заграничныя бритвы?... Кто изъ многочисленныхъ больныхъ петербужцевъ не читалъ, едва вѣря своимъ глазамъ:

„Нѣтъ болѣе геморроя!“ (Цѣна съ пересылкою 1 р. с.).

Книгопродавецъ N.N.

Да, физіологія газетныхъ объявленій составитъ когда-нибудь интересную статью; но теперь я оставляю въ покоѣ ихъ краснорѣчіе и убѣдительность, и разскажу одинъ изъ тысячи случаевъ, самый насущный, самый обыкновенный, ежедневный случай, въ которомъ нѣтъ ни крови, ни видимаго убійства или отравленія, даже не будетъ слезъ и упрековъ, выраженныхъ возвышеннымъ слогомъ. Петербургъ — образованный городъ, знаетъ приличія.

Хотите? — слушайте.

Въ добромъ городѣ Петербургѣ, на широкой улицѣ стоитъ высокій каменный домъ; въ этомъ домѣ есть парадная лѣстница, ведущая во второй этажъ прямо къ двери въ квартиру одного хорошаго человѣка. Въ квартирѣ хорошаго человѣка все хорошо и благопристойно: есть зеркала, и кушетки, и козетки, и разныя кресла гамбсовой работы; есть ковры, блестящіе, словно клеенка, и мягкіе — будто разноцвѣтный узорочный мохъ разостлался подъ ногами; есть много бронзы и фарфоровыхъ бездѣлушекъ; есть тропическія растенія и душистые цвѣты. Попугай, въ красивой клѣткѣ, отлично говоритъ три французскія фразы; въ хрустальной граненой вазѣ плещутся и сверкаютъ пара золотыхъ рыбокъ; на стѣнахъ висятъ картины извѣстныхъ мастеровъ, даже въ гостиной есть круглый столикъ мозаической работы, привезенный хозяиномъ изъ Италіи. По всему видно, что хозяинъ хорошій человѣкъ — не отъ того, что онъ имѣетъ состояніе, а потому-что, имѣя, умѣетъ имъ пользоваться. Иной отдалъ бы деньги въ ростъ или держалъ бы ихъ въ сундукѣ, разъигрывая роль кащея; другой, напротивъ, пропилъ бы, прокутилъ бы безпутно... Мало ли примѣровъ! А хорошій человѣкъ пользуется благами съ толкомъ, чувствомъ, разстановкой.

Кабинетъ хорошаго человѣка убранъ какъ слѣдуетъ: и портреты знаменитостей, особенно французскихъ, и бюсты, и разныя машинки, и отличный каминъ, и чудесныя сигары. Сидя въ этомъ кабинетѣ, вы внутренно сознаетесь, что хозяинъ человѣкъ хорошій: все у него прилично, все кстати, еслибы не одна вещь... Да, это правда, — одна вещь была чрезвычайно странна. Въ этомъ кабинетѣ виситъ картина не картина, а въ

родѣ картины за стекломъ: въ великолѣпно-золоченой рамѣ виднѣется послѣдняя страница отъ стараго листка „Полицейской Газеты“.

Тутъ вы можете прочитать объявленія всѣхъ родовъ и видовъ; послѣ слѣдуетъ вычисленіе пьесъ, данныхъ вчера на театрахъ, потомъ такса на говядину, биржевыя извѣстія, пріѣхавшіе, выѣхавшіе, а въ заключеніе—уѣзжаетъ за границу какая-то великобританская подданная, дѣвица Милькольмгалъ съ двумя дѣтьми. Перечтите хоть десятокъ разъ эту страницу, вы не найдете въ ней ничего на столько замѣчательнаго, чтобъ поставить за стекло и снабдить драгоцѣнной рамкой. Объявленія какъ объявленія, цѣны на говядину не чудовищны, акціи ходкія въ цѣнѣ какъ слѣдуетъ; пріѣхавшіе и выѣхавшіе, правда, хоть и есть генералы, да только извѣстные однимъ ихъ подчиненнымъ; правда, у великобританской подданной фамилія трудноватая, да мало ли есть фамилій труднѣе! Развѣ показалось хозяину странно, что дѣвушка везетъ съ собой двухъ дѣтей? Только и это быть не можетъ: хорошій человѣкъ—современный человѣкъ; его не удивитъ подобное дѣло; да и кто можетъ запретить дѣвицѣ вывозить за границу дѣтей?

Разъ какъ то, послѣ обѣда, у хорошаго человѣка мнѣ было дѣлать нечего, и я, раскуривъ сигару, усѣлся противъ картины, или листка газеты, представляющаго собой картину; чѣмъ болѣе я глядѣлъ, вчитывался въ этотъ омутъ разнохарактерныхъ строчекъ, тѣмъ болѣе терялъ надежду узнать ея назначеніе. Не для украшенія же виситъ она и не для справокъ...

— Не вы первый заглядываетесь на эту штуку, сказалъ мнѣ хорошій человѣкъ.— Что, любопытно?

— Не то, чтобы любопытно, а странно.

— Согласенъ—странно, а таки и любопытно отчасти.

— Да, отчасти.

— Разумѣется, отчасти. Стоитъ ли такая дрянь, чтобы сильно заниматься ею? Это не планета новая, не современный вопросъ... это, просто, касается меня, собственно моей особы. Вотъ я вамъ разскажу... Да возьмите другую сигару: эта совершенно погасла, и раскуривать потухшую сигару очень непріятно. Я вамъ разскажу изъ эгоизма: мнѣ самому разсказывать весело.

Хорошій человѣкъ былъ невеликъ ростомъ, толстъ, имѣлъ лѣтъ пятьдесятъ, а можетъ, и болѣе, открытое лицо, вѣчно довольное, и самыя пріятныя манеры; любилъ смотрѣться въ зеркало, завиваться, отлично покушать и накормить знакомыхъ—словомъ, былъ въ полномъ смыслѣ хорошій человѣкъ. Одна была у него странность: любилъ разсказывать разныя приключенія собственно про свою особу, и въ разсказѣ часто отрѣшался отъ своей личности хорошаго человѣка и корчилъ изъ себя героя или удальца. Впрочемъ, съ нимъ здѣсь никогда никто не спорилъ. Петербургъ умѣетъ жить.

— Вы, вѣроятно, знаете, началъ хозяинъ:—что мой отецъ былъ человѣкъ богатый. Меня воспитывали отлично и мы жили на славу уѣзда и въ досаду старика, моего дядюшки, страшнаго скупца. Послѣ отца я наслѣдовалъ все имѣніе и, разумѣется, долги. Они были велики, да я и своихъ прибавилъ, будучи въ корнетскомъ чинѣ, и какъ ни бился послѣ, какъ ни улучшалъ земледѣлія и промышлености, даже нарочно для этого ѣздилъ два раза за границу, а въ итогѣ все росли да росли страшныя цифры. „Плохо!“ подумалъ я, и поѣхалъ въ Петербургъ. Это было въ 18... году. Здѣсь я вступилъ въ общество воздухоплаванія, взялъ половину акцій и былъ выбранъ въ президенты общества. Я сказалъ приличную рѣчь и сдѣлалъ отличный обѣдъ, на которомъ мы *разсчитали*, что барышъ будетъ сто на сто... И я преспокойно раскуривалъ сигары разными письмами изъ провинцій отъ моихъ должниковъ, надѣясь къ концу года все уплатить имъ съ лихвой, а между тѣмъ готовился къ другой рѣчи; но судьба не позволила мнѣ сказать этой рѣчи: наше предпріятіе лопнуло; аферистъ, затѣявшій его, скрылся со всею наличностью, и я остался ровно ни съ чѣмъ, кромѣ темныхъ надеждъ на холостяка, стараго дядю.

Очень непріятное положеніе человѣка жить въ Петербургѣ безъ денегъ, особливо человѣка съ хорошими отношеніями, знакомствами, бывшаго президентомъ... и тому подобное. Я оглянулся кругомъ—плохо! А тутъ началъ являться почти ежедневно портной, за нимъ каретникъ, за каретникомъ мебельщикъ, за мебельщикомъ торчала беззубая борода изъ милютиныхъ лавокъ, а тамъ къ концу выростало еще пять-шесть рожъ прегадкихъ, преподозрительныхъ. Я и до сихъ-поръ не знаю, съ дровяныхъ ли дворовъ, или откуда лѣзла эта сволочь.

Оно, конечно, сволочь; человѣку порядочному не слѣдуетъ обращать на нихъ вниманія, а все-таки, бывало, подумаешь: „я человѣкъ отставной, неслужащій... Скверно, чортъ возьми!“ да и призадумаешься. А денегъ рѣшительно взять не откудова. Пошелъ къ одному пріятелю-литератору, и говорю ему: „Дай, братъ, денегъ; вотъ не съ чѣмъ въ деревню уѣхать“.—„Съ большимъ удовольствіемъ!“ закричалъ онъ. „Вы

нашъ Амфитріонъ, грѣхъ не помочь вамъ. Хотите, напишу статью?"—„Нѣтъ ужъ, пожалуйста... это будетъ долго; да на статьѣ не уѣдешь далеко, я думаю: а нельзя ли одолжить чистоганчика; пріѣду—сейчасъ вышлю, хоть и вексель сейчасъ дамъ".—„Фи! къ чему вексель? Вотъ мой бумажникъ: раздѣлимъ его пополамъ". Онъ вынулъ изъ бумажника двадцать цѣлковыхъ и подалъ мнѣ десять.

Плохо! Пошелъ я къ двумъ-тремъ дѣловымъ людямъ—тѣ и по десяти цѣлковыхъ не предложили. Хоть въ Неву бросайся. Пришелъ домой; на лѣстницѣ словно Трою осаждаютъ: все мои враги. Я мимо нихъ, никого не велѣлъ пускать и спросилъ у человѣка: что новаго?

— Приходилъ портной.

— Дуракъ! это не новость.

— Изъ каретнаго ряда...

— И это мимо. Писемъ не было?

— Никакъ нѣтъ. А вотъ газету прислали.

И человѣкъ подалъ мнѣ нумеръ „Полицейской Газеты".

Не знаю, замѣтили ли вы, что когда человѣкъ сильно взволнованъ радостью, или растревоженъ печалью, то ему очень трудно не только правильно мыслить, но даже читать что-нибудь порядочное. Я это испыталъ на себѣ. При сильномъ волненіи души самое лучшее—читать что-нибудь отрывистое, гдѣ бы мало было послѣдовательности, гдѣ бы предметъ, поражая душу, быстро исчезалъ, оставляя мѣсто другимъ равносильнымъ впечатлѣніямъ. Подобное чтеніе представляютъ *пріѣхавшіе* и *выѣхавшіе*; особливо, если вы хотите и не можете выѣхать изъ добраго города Петербурга, то извѣстіе о послѣднихъ наполняетъ вашу душу вмѣстѣ и тихою грустью о счастливцахъ и неясною надеждою, и вы задаете себѣ вопросъ: выѣзжаютъ же люди, надо и себя попробовать. А рѣшимость—половина дѣла.

Пробѣгая, кажется, въ десятый разъ фамилію пріѣхавшихъ, я вдругъ остановился, будто увидѣлъ кого знакомаго. Еще читаю: изъ ...ской губерніи статскій совѣтникъ ...овъ. Боже мой! да ...овъ мнѣ человѣкъ знакомый; онъ сосѣдъ моему отцу и хотя слылъ въ уѣздѣ большимъ плутомъ, а все-таки водилъ со всѣми хлѣбъ-соль; даже многіе любили его. Да, впрочемъ, еще и плутъ ли онъ? Онъ изъ бѣдныхъ людей нашего уѣзда, долго служилъ на разныхъ границахъ имперіи и, выйдя въ отставку, купилъ въ уѣздѣ 150 душъ. Вотъ всѣ и заорали: „плутъ, дескать! набилъ, дескать, карманъ, да и живетъ бариномъ, а его матушка сама на рынкѣ булки продавала!" Во всякомъ случаѣ, ...овъ плутъ или нѣтъ, я ѣду къ нему; онъ знаетъ меня и всѣ мои отношенія; онъ недавно изъ ...ской губерніи, вѣрно не успѣлъ еще прожиться и дастъ мнѣ взаймы на проѣздъ. Подмано—сдѣлано, и я скоро уже сидѣлъ въ гостиницѣ Демута въ № 180000, въ порядочной гостиной.

...овъ принялъ меня, сверхъ ожиданія мило, любезно, предупредительно; познакомилъ съ своей дочкой—Любинькой, которая здѣсь намъ разливала чай, и поздравилъ съ полученіемъ наслѣдства.

— Неужели?.. спросилъ я.

— Да, вашъ дядюшка въ настоящее время уже не существуетъ: его ударилъ параличъ наканунѣ нашего выѣзда, и докторъ говорилъ, что нѣтъ никакой надежды.

— Ахъ, Боже мой!.. надо поспѣшить...

— Помилуйте! замѣтилъ ...овъ:—вы человѣкъ солидный, неужели захотите разыгрывать роль водевильнаго племянника? Что вы не любили дядюшку—это всѣ знаютъ; да, признаться, его и полюбить было трудно. Что вы наслѣдуете послѣ него всѣ деревни и видимо-невидимое число ломбардныхъ билетовъ—и это всѣ знаютъ. Зачѣмъ же вамъ скакать? дѣлать сцены?.. Вашъ дядюшка былъ человѣкъ аккуратный, у него всѣ счеты въ порядкѣ: похитить что-нибудь трудно; а если что можно похитить, такъ и при васъ похитятъ, да еще свободнѣе; скажутъ: самъ баринъ былъ.

— Вашими устами говоритъ сама опытность; но мнѣ бы нужно было ѣхать по разнымъ обстоятельствамъ...

— А я не совѣтую: обстоятельства могутъ измѣниться.

И точно, обстоятельства скоро измѣнились. Назавтра я получилъ извѣстіе о смерти дядюшки, и какимъ-то чародѣйствомъ все у меня въ домѣ измѣнилось: грубіянъ портной, спустя полчаса послѣ полученія мною письма, не болѣе, уже явился съ новымъ, какъ онъ говорилъ, выборомъ отличнаго трико и новѣйшихъ жилетовъ; каретникъ и прочая грубая сволочь опять стали кланяться въ поясъ и убрались по дровянымъ дворамъ; опять передо мною стали являться лица веселыя, съ улыбками; знакомые съ истиннымъ участіемъ начали освѣдомляться о моемъ здоровьѣ, будто за это имъ платилъ медицинскій факультетъ огромное жалованье... Хорошо получить наслѣдство отъ богатаго дядюшки!

Скоро я замѣтилъ, что и со мной самимъ совершается что-то странное. Куда бы ни ѣхалъ, непремѣнно заѣду въ Конюшенную улицу, прямо къ Демуту въ № 180000. Застану всѣхъ дома—мнѣ цѣлый день весело; застану одного ...ова—скучно; застану одну дочку ...ова—опять весело.

Немного погодя, стала ужъ мнѣ и сниться Любинька; стану было думать—нѣтъ, нигдѣ не встрѣчалъ такой душки, такого ангела. На что въ Вѣнѣ нѣмки свѣженькія, розовыя, нѣжныя... куда имъ противъ Любиньки! на что француженки веселый народъ, а Любинька веселѣе ихъ; на что итальянки живы, а Любинька живѣе. Я человѣкъ бывалый, въ женщинахъ знаю толкъ, изъѣздилъ всю Европу, кромѣ развѣ какихъ испанскихъ закоулковъ, а такой дѣвушки не видывалъ; а главное, что родная землячка можетъ мнѣ соотвѣтствовать.

Какъ увидѣлъ я, что дѣло плохо, что ни думано, ни гадано, приходится не спать ночей отъ бабы, я и разсудилъ: „зачѣмъ терять время? лѣта уходятъ; довольно я помыкалъ по свѣту; давай женюсь, пока еще молодецъ!“

Была не была! сдѣлано предложеніе. Отецъ сказалъ: „Очень радъ, считаю за честь, но принуждать не стану; какъ дочь хочетъ“. Дочь сказала: „Какъ угодно папенькѣ“.—„Ну, такъ Богъ благословитъ!“ закричалъ ...овъ. „Шампанскаго!“ Насъ обручили, выпили шампанскаго, и чрезъ двѣ недѣли я былъ счастливѣйшимъ человѣкомъ: былъ мужемъ моей Любиньки. Въ день свадьбы я довѣсилъ за стекло въ кабинетѣ тотъ самый листокъ газеты, въ которомъ я вычиталъ о пріѣздѣ статскаго совѣтника ...ова изъ ...ской губерніи. И онъ до сихъ поръ виситъ, какъ причина моего счастія.

— Положимъ, продолжалъ хорошій человѣкъ, немного подумавъ:—я получилъ бы наслѣдство—въ этомъ газета нисколько не виновата; да встрѣтился ли бы я съ ...овымъ въ Петербургѣ, въ этомъ морѣ-городѣ? Тутъ ужъ, воля ваша, а дѣло газеты. Не прочитай я объявленія, я не узналъ бы моей Любиньки, я не былъ бы счастливѣйшимъ человѣкомъ. Знаете, поэзія—пустая вещь; это, въ нѣкоторомъ родѣ, то же шампанское: нравится въ извѣстныя лѣта и скоро опротивѣетъ; послѣ пьемъ его для приличія—это мое мнѣніе. Я до поэзіи не охотникъ, но часто повторяю стихи Пушкина:

Не только первый пухъ ланитъ,
Да русы кудри молодыя,
Порой и старца строгій видъ
. . . . . .
Въ воображенье красоты
Влагаютъ страстныя мечты..

Помните? Чудные стихи! и сколько въ нихъ правды! Это вѣрно; это, какъ говоритъ нашъ докторъ, probatum est. Нѣтъ, такая, какъ моя, супружеская любовь освящаетъ человѣка; въ ней ничего нѣтъ подобнаго съ другою любовью—вы понимаете? Та любовь какъ бы сказать...

Тутъ легко раздвинулась драпировка кабинетной двери и въ комнату словно впорхнула жена хорошаго человѣка. Она была точно красавица: стройна, воздушна; ея лицо, осѣненное легкими свѣтлорусыми кудрями, сіяло какою-то прозрачной бѣлизной и казалось живымъ снимкомъ небожителей, которыми такъ часто мы любуемся въ картинахъ великихъ мастеровъ, и это лицо, прекрасное, кроткое, простодушное, дѣтски улыбалось міру и глядѣло съ такою добротой!..

— А мы только о тебѣ говорили, Любинька.

— Если онъ хвалитъ меня, не вѣрьте ему; если жаловался на меня—вѣрьте: я очень зла.

— Ахъ, ты мой демонъ, Любинька!.. и посмотрѣть на нее, такъ видно, что она сущее зло! И хорошій человѣкъ съ чувствомъ прижалъ къ губамъ ручку жены.

— Милый папаша!.. добрый мой!.. и жена, въ свою очередь, граціозно наклонясь кудрявой головкой, поцѣловала мужа.—Что, мы сегодня поѣдемъ къ Валеткинымъ?

— Какъ хочешь, душенька.

— Нѣтъ ужъ, какъ ты хочешь. Правда, мы у нихъ давно не были, еще, чего добраго, надуются... Впрочемъ, мнѣ все равно. Ты хочешь—и я хочу, не хочешь—и я также. Прощай.

— Куда же ты? посиди съ нами.

— Я пришла на минуточку: узнать, какъ ты себя чувствуешь послѣ обѣда.

— Отлично, другъ мой, легко и пріятно. Новые трюфели очень ароматны, до сихъ поръ на языкѣ отзываются... Вообще, я совершенно счастливъ; не безпокойся...

— Очень рада. Пойду одѣваться.

— Такъ мы поѣдемъ?

— Какъ хочешь, папаша; я одѣнусь на всякій случай.

— Ну ладно, ладно.

Еще раздался поцѣлуй, и жена хорошаго человѣка исчезла изъ комнаты такъ же легко-воздушно, какъ и вошла въ нее.

— И вотъ ужъ третій годъ я живу такъ счастливо! сказалъ хорошій человѣкъ, глядя на волновавшійся драпри, за которымъ скрылась его супруга.—Да вѣрите ли, иногда мнѣ приходитъ на мысль вопросъ: да за что она меня такъ любитъ?

Хорошій человѣкъ точно человѣкъ хорошій; но, каюсь, идучи домой отъ хорошаго человѣка, я нѣсколько разъ повторялъ: да за что она его такъ любитъ?

II.

Если вы жили хоть сутки между людьми, то вѣрно встрѣчали непріятнаго человѣка. Непріятный человѣкъ иногда бываетъ даже очень благообразенъ, иногда хорошо воспитанъ, а все таки въ немъ есть что-то непріятное, отталкивающее. Я полагаю, это свойство происходитъ отъ врожденной способности непріятнаго человѣка никогда ни о комъ хорошо не говорить. Тутъ самый прямой выводъ раздражаетъ наше самолюбіе и вооружаетъ противъ непріятнаго человѣка. Если онъ говоритъ худо объ А при Б, а о Б.—при А, слѣдовательно онъ не преминетъ въ моемъ отсутствіи отдѣлать меня, какъ отдѣлывалъ А. и Б. въ моемъ присутствіи. Послѣ такого вывода трудно полюбить непріятнаго человѣка.

Впрочемъ, эти люди вездѣ приняты въ обществѣ; имъ жмутъ руки, ихъ награждаютъ, кормятъ обѣдами, даже нѣкоторые оказываютъ имъ особые знаки наружнаго почтенія, потому что боятся ихъ. „Это порченые плоды цивилизаціи“, говорятъ иные: „это тѣни въ картинѣ нашего быта“, замѣчаютъ другіе. Такъ ли, не такъ, а этихъ порченыхъ плодовъ, этихъ тѣней болѣе, нежели здоровыхъ и свѣта.

Непріятные люди разсѣяны по всему свѣту: ихъ встрѣтите и въ столицѣ, и въ губернскомъ, и въ уѣздномъ городѣ; они обитаютъ и въ селахъ, и въ мѣстечкахъ, и въ пустынѣ; ѣздятъ на лошадяхъ, волахъ, оленяхъ и собакахъ; плаваютъ на корабляхъ и ходятъ пѣшкомъ. Гдѣ собралось два человѣка, тутъ уже можно подозрѣвать одного непріятнаго.

Какъ-то вечеромъ ко мнѣ зашелъ непріятный человѣкъ и очень обязательно спросилъ: не собираюсь ли я куда? На дворѣ шумѣла мятель и полудождь съ полуснѣгомъ страшно хлесталъ въ окна. Изъ двухъ золъ я выбралъ меньшее и сказалъ, что рѣшительно никуда не ѣду.

— И прекрасно! замѣтилъ непріятный человѣкъ:— мы посидимъ вечерокъ, потолкуемъ. Я всегда люблю быть у васъ: по крайней мѣрѣ передашь свои чувства, выскажешь мысли—это не то, что у графа Игрекъ: цѣлый вечеръ врутъ каламбуры и разсуждаютъ о скачкахъ. Кажется: лучшіе ихъ друзья—лошади!

Обругавъ графа и всѣхъ его лошадей, непріятный человѣкъ задѣлъ какого-то князя, у котораго, по его словамъ, больше титуловъ, гордости и предковъ, нежели ума, денегъ и брюкъ; потомъ разсказалъ про какого-то чиновника, выподличавшаго себѣ мѣсто; потомъ про офицера, объигравшаго своего пріятеля, у котораго кухарка обзавелась разомъ двумя любовниками, а послѣ напалъ на меня: почему я не сочувствую его разсказамъ, почему я не слушаю ихъ со вниманіемъ, не дѣлаю своихъ замѣчаній, и тому подобное. Наскучивъ его болтовней, я наотрѣзъ сказалъ, что считаю его разсказы за сплетни, нестоющія вниманія.

— Помилуйте! да это nouvelles de jour— самыя свѣжія новости. Это наша современность. А если вы хотите, я вамъ разскажу истинную исторію, только она стара; года два-три будетъ; я самъ почти былъ ея свидѣтелемъ, живя на слѣдствіи въ...ской губерніи. Тамъ жилъ помѣщикъ, довольно богатый; кажется, его фамилія была ...овъ.

— ...овъ?

— Да, именно, ...овъ. Развѣ вы его знаете?

— Кажется, слышалъ.

— Тѣмъ лучше; значитъ, вы знаете, что онъ былъ человѣкъ, что называется, себѣ на умѣ: хитрый, вкрадчивый, а гдѣ слѣдуетъ и дерзкій. Его любимая поговорка была: „гдѣ не возьметъ волчій ротъ, тамъ лисьимъ хвостомъ захватимъ“. Онъ награбилъ себѣ состояніе, женился тоже на деньгахъ, замучилъ жену, свелъ воедино капиталы и зажилъ въ ...ской губерніи съ единственною дочерью. По смерти жены, ...овъ не женился, но всячески старался о воспитаніи дочери, и съ самаго ранняго дѣтства держалъ при ней по двѣ и по три гувернантки разныхъ націй, разныхъ цвѣтовъ и характеровъ, даже разныхъ лѣтъ, отъ 16 до 30-ти.—...овъ, имѣя порядочное состояніе, хорошо обѣдалъ, навѣщалъ въ именины сосѣдей и всегда поздравлялъ съ новымъ годомъ предводителя, за что пользовался отличнымъ уваженіемъ всего уѣзда. Между тѣмъ дочь ...ова, Любинька, подросла и стала прехорошенькою блондинкой. Женихи, зная ея состояніе, слетались со всей губерніи, словно мухи къ меду, словно воробьи на просыпанную крупу. Любинька болтала на многихъ языкахъ, хотя ни на одномъ не говорила порядочно; знала даже нѣсколько фразъ по-польски отъ своей учительницы вязанья, живой брюнетки, Тэрезы; танцовала, играла на фортепьяно, пѣла какъ малиновка; а какія имѣла манеры!.. Да и было у кого ихъ перенять: ...овъ не сталъ бы держать и часа наставницу безъ хорошихъ манеръ или неумѣющую со вкусомъ одѣваться. „По-моему“, говаривалъ ...овъ, „всякая наставница должна быть со вкусомъ, имѣть отличныя манеры; она должна заниматься безъ усилія, безъ видимаго труда, но наставлять тихо, пріятно, какъ бы играя, шутя. Вообще, ...овъ, долго служа при образованныхъ лю-

дяхъ, перенялъ самъ манеру выражаться цвѣтисто и убѣдительно.

Около подобной барышни женихи толпились роемъ, а тутъ еще пришелъ и кавалерійскій полкъ. Хотя въ кавалерійскомъ полку всегда мало охотниковъ до женитьбы, за то въ ...ской губерніи есть преданіе, что всѣ офицеры въ кавалеріи страшные богачи. И дѣвушки высокаго полета въ уѣздѣ очень радуются приходу кавалеристовъ, какъ людей, могущихъ женитьбою не только не унизить, но даже возвысить ихъ.

Пѣхотинцы страшные охотники жениться; ихъ прельщаетъ все, не только пара черныхъ глазъ, или полныя груди, даже покойная бричка на рессорахъ, мальчикъ съ горничной, собственный кучеръ, или даже пятьсотъ рублей ассигнаціями приданаго. За то вѣра въ ихъ богатство теперь поколебалась и приходу пѣхотинцевъ въ ...скую губернію радуются только дочки самыхъ мелкихъ помѣщиковъ, зажиточныхъ управляющихъ и поповны.

Домъ помѣщика ...ова сдѣлался притономъ всѣхъ полковыхъ кавалеровъ; одними интересовался отецъ, любившій чины и ордена: это были заслуженные штабъ-офицеры, чуть-ли не каждый съ пурлами ритомъ на шеѣ; другими интересовалась дочь, называвшая штабъ-офицеровъ старымъ хламомъ: это были молоденькіе, краснощекіе корнеты и немногіе поручики съ бархатными усиками; а третьи сами интересовались домомъ ...ова, надѣясь на выгодную партію, на хорошій обѣдъ, на веселую компанію, и Богъ ихъ вѣдаетъ еще на что. Этотъ классъ былъ самый многочисленный.

Старикъ ...овъ выбралъ изъ среды своей партіи жениха для дочери заслуженнаго подполковника, который, кромѣ разныхъ крестовъ, имѣлъ полдюжины людей, огромные усы и темную надежду командовать современемъ полкомъ. Дочь и слушать не хотѣла о подполковникѣ.

Съ своей стороны Любинька выбрала изъ людей по сердцу себѣ жениха, полкового квартирмейстера ...ина. ...инъ былъ *душа компаніи*, балясникъ, балагуръ и страшный танцоръ; свои усы онъ очень красиво завивалъ и мазалъ какою-то отличною мазью, прыскался постоянно какими-то *упоительными* духами, ѣздилъ на лихой тройкѣ съ погремушками, кистями и бубенчиками и носилъ въ карманахъ фуляры самыхъ яркихъ цвѣтовъ.

Отецъ и слушать не хотѣлъ о квартирмейстерѣ и называлъ его—разумѣется за глаза — пустоводомъ, волчкомъ-головой и мальчишкой.

Сначала ...овъ говорилъ подполковнику: „Не безпокойтесь: вы человѣкъ отличной нравственности, рѣдкой храбрости и любимы начальствомъ — я не предпочту вамъ какого-нибудь фанфарона“; а послѣ началъ призадумываться; а еще послѣ сталъ разсуждать, что поручикъ не первый чинъ, что къ поручику уже не примѣняется извѣстная поговорка „о курицѣ нептицѣ“; что и самъ Суворовъ, вѣроятно, былъ поручикомъ; главное, были бы деньги. Подобныя разсужденія усилились съ тѣхъ поръ, какъ Любинька сказала, что пойдетъ или въ могилу, или подъ вѣнецъ съ квартирмейстеромъ, какъ онъ узналъ стороною, что квартирмейстеръ показываетъ добрымъ людямъ сувениры и записочки его дочки, а главное, что въ полку всѣ считали квартирмейстера богачомъ. „Остепенится, дурь пропадетъ, авось будетъ порядочнымъ человѣкомъ; а коли дѣло зашло далеко—ждать нечего“, подумалъ ...овъ, да и обручилъ дочку съ ...инымъ.

Съ недѣлю были они обручены и гуляли вдвоемъ въ саду, Богъ вѣдаетъ, по какимъ бесѣдкамъ, и при постороннихъ любезничали просто на законномъ основаніи. Я ихъ самъ видѣлъ: что твои голуби! такъ и глядятъ другъ на дружку, словно маленькіе зеленые попугайчики.

Разъ какъ то собралось къ ...ову множество гостей и передъ вечеромъ, сидя на крыльцѣ, пили чай. Обрученные были въ саду.

Вдругъ залаяли собаки и бросились къ воротамъ, а въ ворота въѣхала шагомъ, на парѣ клячъ, большая крытая рогожаная кибитка; на козлахъ сидѣлъ ямщикъ въ синей рубахѣ, на крышѣ кибитки торчала зеленая вѣтка сосны, а въ кибиткѣ между узелками и подушками что-то шевелилось безъ образа и лица, нѣчто въ родѣ клубка изъ разныхъ тряпокъ. Остановясь у воротъ, извощикъ слѣзъ съ козелъ и, почесываясь, подошелъ къ кибиткѣ; по движенію рукъ видно было, что онъ съ кѣмъ-то разговариваетъ. Послали узнать, кто пріѣхалъ.

Прибѣжалъ казачокъ и, махая чайнымъ подносомъ, объявилъ, что какая-то вдова однодворца изъ Курской губерніи спрашиваетъ: это ли дворъ ...ова? а сама она теперь ѣдетъ съ богомолья изъ Кіева.

— Что же ты ей сказалъ? спросилъ ...овъ.

— Сказалъ, что это тотъ самый дворъ.

— А она тебѣ?

— Она мнѣ говоритъ: „ладно, голубчикъ; я сама сейчасъ приду къ твоему барину“.

— А что она, хорошенькая? спросилъ сѣдой майоръ.

— Ничего-съ, отвѣчалъ казачокъ и сдѣлалъ прекислую гримасу.

— Должно быть, старинное *знакомство*, замѣтилъ подполковникъ, обращаясь къ хозяину.

— Ничего не понимаю! отвѣчалъ ...овъ, немного смѣшавшись.—Развѣ на погорѣлое просить, или что подобное, а другихъ отношеній быть не можетъ. Я даже и переѣздомъ не былъ въ Курской губерніи, да и съ однодворцами никогда не якшался.

— И видно, что невоенный человѣкъ; а по нашему...

Тутъ полковникъ началъ излагать свою теорію жизни, но его никто не слушалъ: всѣ съ любопытствомъ глядѣли на чудный загадочный экипажъ.

Извощикъ, поговоря съ сѣдокомъ, отошелъ и началъ распрягать лошадей, а таинственная кибитка задернулась огромною цыновкою, которая, по временамъ, колыхалась и вздувалась; видно было, что лицо, скрытое за цыновкой, находилось въ сильномъ безпокойномъ движеніи. Наконецъ извощикъ распрягъ лошадей и какъ-то хитро поднялъ и привязалъ кверху оглобли кибитки, въ родѣ классическихъ рукъ *страдальца, вопіющаго о правосудіи.* Немного погодя, высунулась на свѣтъ Божій изъ-подъ цыновки человѣчья нога въ синемъ шерстяномъ чулкѣ, вслѣдъ за ногой показались двѣ руки, державшія красный башмакъ, и принялись напяливать башмакъ на ногу.

Скоро обутая нога скрылась и тѣмъ же порядкомъ показалась другая, и, продѣлавъ ту же операцію съ башмакомъ, уползла подъ цыновку. Теперь всѣ убѣдились, что дама за занавѣской дѣлаетъ дорожный туалетъ. Между тѣмъ извощикъ, устроивъ оглобли, взявъ за повода своихъ клячъ, подошелъ къ занавѣскѣ, поговорилъ съ таинственною незнакомкой, потомъ, почесывая кнутомъ въ затылкѣ, махнулъ рукой и повелъ клячъ изъ двора.

— Борисъ! а Борисъ! погоди, мошенникъ! звонко раздалось изъ кибитки.

Но Борисъ шелъ преспокойно; только коренная, потянувъ поводъ, оглянулась къ кибиткѣ, будто хотѣла сказать: „я, матушка, не причиною: Борисъ ведетъ меня противъ воли".

— Да они расположились, какъ дома! замѣтилъ, улыбаясь, подполковникъ.

— Презабавная исторія! подхватили гости.

— Преинтересная! сказалъ ...овъ. Однакожъ, ее оставили; чего добраго, собаки пощиплютъ ее. Эй, Филька! ступай, приведи эту бабу.

Филька, вооруженный подносомъ, побѣжалъ къ кибиткѣ, изъ которой вывалилась жирная баба въ ярко-зеленомъ шушунѣ, въ красныхъ башмакахъ. Плечи ея покрывалъ желтый *купѣческій* платокъ съ разводами; голова была повязана шелковымъ фіолетовымъ платкомъ съ золотыми цвѣточками.

Тихо, еле двигаясь, шла незнакомка черезъ дворъ; собаки такъ и порывались къ ней, но казачокъ Филька храбро отгонялъ ихъ подносомъ.

— Какая писаная! сказалъ ...овъ, глядя на бабу.

— Изъ платка вышла бы славная попона для моего парадира, сказалъ подполковникъ.

— Да это райская птица! закричалъ корнетъ.

Ротмистръ началъ было напѣвать въ полголоса извѣстную пѣсню:

Сидитъ птица пава,
Кричитъ: не пропала
Солдатская слава!..

Но не кончилъ: сама *птица пава* явилась на крыльцѣ, окинула всѣхъ неробкими глазами и звонко-бойкою рѣчью начала спрашивать:

— Да гдѣ же хозяинъ--ась?

— Я, матушка, Что тебѣ надо?

— Оченно рада, ваше высокородіе, али превосходительство... извини, не умѣю величать, какъ слѣдуетъ.

— Безъ чиновъ, матушка...

— Такъ и Богъ велѣлъ, батюшка; извини, мы люди простые. Вотъ была въ Кіевѣ, святымъ угодникамъ поклонилась, а обратно, дай, говорю, заѣду въ вашъ уѣздъ, хоть и не по пути маленько. Борисъ поворчалъ, да я ему полтинникъ лишній въ зубы—онъ и поперхнулся, а все-таки говорю, заѣду, тутъ не чужіе люди...

— Да это объѣденье! шепталъ подполковникъ.

— Гдѣ Любинька? спросилъ ...овъ. Филька, сбѣгай, проси ихъ къ чаю. Вотъ я тебѣ, матушка, свою дочку покажу, а ты у насъ чайку откушаешь.

— Ужъ вѣстимо, батюшка, и не выѣду безъ чаю. Я вотъ цѣлый день *не ѣмши*, все къ вамъ торопилась изъ города... А у тебя дочка на возрастѣ?

— Какъ же, матушка!

— Ну, такъ за добраго человѣка выдать пора. Охъ дѣти! все съ ними хлопочи: то кашей корми, то мой, то носъ утирай, пока выростетъ—другія хлопоты. Вотъ хоть бы и у меня сынокъ... неча молвить, благословилъ Господь, а все хлопоты.

— Гдѣ же твой сынокъ?

— Да недалече, хоть и не видно. Онъ у меня вотъ какой, не кто-нибудь, а благородіе...

— Благородіе!

— Неотмѣнное... А смолоду всѣ, бывало, говорятъ: „Эй, матушка Аксеновна, не сносить головы твоему мальцу, копать ему золото!“ Въ училище отдала, въ лавку посадила—всѣ орѣхи переѣлъ, всѣ винныя ягоды дѣвкамъ раздарилъ. Извѣстно, дѣло молодое. Ужъ я ли его испытывала: и кулаками, и полѣномъ доставалось—не беретъ! Только и отдохнула, какъ пошелъ въ солдаты...

— Въ солдаты! За что?

— По своей охотѣ, самохотно пошелъ въ уланскій полкъ, что былъ у насъ на постоѣ, пошелъ вольноопредѣляющимъ. Послужилъ съ годокъ почитай дома, да и потащился куда-то далеко съ полкомъ, а тутъ слышно война съ полякомъ, а онъ мнѣ ни слова не пишетъ, года два ничего не слыхала. Ужъ я и Скорбящей свѣчу, и Миколѣ свѣчу, а Ивану Воину двѣ свѣчки... а вышло, не даромъ молилась: получаю письмо. Пишетъ мой Ваня, что онъ уже офицеромъ, перебилъ гдѣ-то силу поляковъ—и чинъ дали. Я деньжонокъ сотни двѣ послала, а послѣ опять не было писемъ, долго, да опять написалъ: „пришлите, молъ, денегъ, произвели въ поручики, да въ другой полкъ назначили: не та, говоритъ, совсѣмъ форма...“

— Въ какой полкъ? спросилъ полковникъ.

— Да кажись, что въ вашъ, кормилецъ, сказала баба, самодовольно улыбаясь. Въ Кіевѣ узнала, что вы тутъ стоите, да нарочно заѣхала, хоть крюку дала.

— Въ нашемъ? закричали хоромъ офицеры. Кто же это?

— Что всполошились, ваши благородія! Развѣ сынокъ никогда не говорилъ обо мнѣ? развѣ не знаете Ивана Ивановича ...ина? Я была въ городѣ въ канцеляріи: мнѣ сказали, что Ваня здѣсь женится, вотъ я и пріѣхала.

Сколько было лицъ, столько явилось разныхъ преоригинальныхъ выраженій: кто усмѣхался, кто пожималъ плечами, кто подмигивалъ сосѣду; полковникъ потиралъ руки, какъ человѣкъ, только-что выпившій рюмку пріятной водки, ...овъ безсмысленно глядѣлъ на бабу въ оба глаза.

Въ это время вбѣжала на крыльцо Любинька; ее велъ подъ-руку женихъ.

— Я слышала, папа, что у насъ премилая гостья... начала Любинька; но голосъ гостьи покрылъ ея рѣчь.

— Вотъ онъ, мой ненаглядный! кричала курская одиодворка, бросаясь на встрѣчу поручику ...ину.

Оторопѣлый поручикъ стоялъ какъ вкопанный; между тѣмъ баба, обхвативъ его одною рукою, глядѣла слезящими глазами ему въ лицо, а другой искала чего-то у себя за пазухой, приговаривая: „Вотъ, Ваня, не зная, пріѣхала на радость, и крестъ тебѣ купила, и образокъ Ивана Воина, а вотъ довелось благословить тебя!“ и, вытянувъ изъ-за пазухи эмалевый образокъ и кипарисный крестикъ, надѣтый на розовую тесемку, баба, цѣлуя, начала надѣвать на шею поручику.

— Что ты! что ты! Богъ съ тобой! шепталъ поручикъ, тихо отстраняя руку бабы съ крестомъ.

— Мое благословеніе, Ваня! нарочито въ Кіевѣ купила... Ужъ не обасурманился ли ты?

— Я тебя не знаю.

— Полно, Ваня! ты хоть и оброслъ усищами, а я тебя узнала; погляди на меня: вотъ тутъ я тебя долго носила. Вотъ этой грудью кормила годъ и три мѣсяца... а ты и забылъ уже! Посмотри-ка на меня, Ваня: вѣдь это я, твоя родная.

— Она сумасшедшая! дерзко сказалъ оправившійся поручикъ. Кто съигралъ эту штуку? Господа! на все есть мѣра!

— Я сумасшедшая? громко сказала одиодворка. Что ты, сынъ мой! Иванъ Ивановичъ, не шути! Не посмотрю на твое благородіе, да вотъ какъ отдѣлаю! У меня есть бумаги, кто я такая, и лавчонка своя есть въ городишкѣ, и домишко—кланяться никому не стану, и паспортъ есть за пазухой, и письма твои есть,—пускай читаютъ, какъ ты, чертенокъ, денегъ просилъ... А а еще, дура, возила его письма, да кого ни повстрѣчаю грамотнаго: „Прочитай, батюшка, это мой сынокъ пишетъ“. Читаетъ грамотный человѣкъ, а я ревмя реву, что твоя корова за теленкомъ: „Когда-то Господь приведетъ увидѣть соколика? посмотрѣть на его благородіе?“ А вотъ и привелъ! Охъ, наказалъ меня Богъ твоимъ благородіемъ!

И старуха упала на полъ, горько рыдая.

На другой день ...овъ рѣшительно отказалъ ...ину въ рукѣ дочери, и даже просилъ забыть, какъ отворяются у него двери.

Къ вечеру прислалъ ...инъ письмо; ...овъ, прочитавъ письмо, сильно разсердился, ушелъ въ кабинетъ и позвалъ къ себѣ дочь. О чемъ они толковали—неизвѣстно, хотя нѣкоторые слуги, по привычкѣ, и прикладывали ухи къ замочной дырочкѣ кабинетной двери, но ничего не слышали, кромѣ словъ: „стыдъ! срамъ! надо было думать о послѣдствіяхъ!... что если?... ты уложишь меня въ могилу?...“ и тому подобное.

Всю ночь не спали въ домѣ ...ова, укладывали экипажъ и къ свѣту помѣщикъ съ дочерью уѣхалъ, Богъ вѣдаетъ куда. Но скоро мы узнали, что онъ уѣхалъ въ Петербургъ и, какъ человѣкъ осторожный, живо успѣлъ сбыть дочку, да еще за хорошаго человѣка. Опуталъ дурака, хорошаго человѣка! Вотъ какія бываютъ исторіи въ ...ской губерніи!

— Смотрите, не плодъ ли это фантазіи уѣздныхъ сплетень?

— За кого же вы меня принимаете? спросилъ непріятный человѣкъ.—Я самъ былъ свидѣтелемъ послѣдней сцены, которую вамъ разсказалъ, и сейчасъ бы узналъ однодворку; а Любиньку я видалъ здѣсь, въ Петербургѣ: она замужемъ за хорошимъ человѣкомъ, ѣздитъ въ красивой каретѣ и живетъ на широкой улицѣ въ высокомъ домѣ.

— Позвольте вамъ замѣтить, что я знаю лично хорошаго человѣка и знаю жену его.

— Тѣмъ лучше! Скажите сами, какова парочка?

— Они живутъ какъ голуби!

— Вѣрю, вѣрю! кричалъ непріятный человѣкъ, страшно хохоча: не даромъ ...инъ у нихъ, говорятъ, свой въ домѣ.

— Вздоръ!

— Какъ вздоръ! Я его знаю, онъ здѣсь; я еще прожилъ въ ...ской губерніи нѣсколько мѣсяцевъ; при мнѣ ...инъ получилъ чинъ штабъ-ротмистра и долженъ былъ оставить мѣсто квартирмейстра: начетовъ на немъ явилась бездна, за начетами слѣдовали непріятности, и онъ вышелъ въ отставку, продавъ все, что было. Годъ спустя, я его встрѣтилъ сущимъ *венгерцомъ*: съ огромными рыжими усами до груди; онъ жилъ въ трактирѣ въ нумерѣ, и Богъ вѣдаетъ, чѣмъ занимался; говорятъ, игрой; а эту зиму онъ гуляетъ здѣсь, разумѣется, безъ венгерки, а въ сѣромъ пальто съ толстою тростью въ рукахъ. И говорятъ, сталъ другомъ дома хорошаго человѣка. Впрочемъ, оно въ порядкѣ вещей: не женись дуракъ хорошій человѣкъ въ пятьдесятъ лѣтъ на молоденькой дѣвушкѣ! Вы не видали его тамъ?

— Кого?

— ...ина.

— Можетъ быть; да я неохотникъ узнавать фамиліи всякаго встрѣчнаго; впрочемъ, помню физіономію съ рыжими усами, какого-то Ивана Ивановича; его, кажется, очень жалуетъ хорошій человѣкъ, а жена терпѣть не можетъ, всегда отъ него отворачивается.

— Ну-ну-ну! такъ и есть! это онъ! Такъ поздравьте отъ меня хорошаго человѣка.

— Поздравьте сами!

— Непремѣнно поздравилъ бы, да незнакомъ къ несчастью.

Когда ушелъ непріятный человѣкъ, мнѣ стало тяжело, неловко, кого-то было жаль, а кого—самъ не могъ дать себѣ отчета; казалось, что жаль-было непріятнаго человѣка.

III.

На послѣднихъ дняхъ масляницы огромная зала была арко освѣщена; музыка играла чудесные вальсы Шрауса и Ланнера; подъ звуки музыки длинными рядами, будто погребальное шествіе, плавно, чинно двигалась толпа мужчинъ, въ черныхъ фракахъ, и дамъ, въ черныхъ капуцинахъ съ личиками, закрытыми черными полумасками—словомъ, былъ публичный маскарадъ; жители добраго города Петербурга веселились. Грѣшный человѣкъ, братски и я раздѣлялъ веселье согражданъ, пріѣхалъ въ маскарадъ, сталъ у колонны и глядѣлъ на однообразную черную толпу, между которою такъ красиво, пестро и весело сверкали военные мундиры... Не знаю, долго ли бы еще я любовался этой картиной, но кто-то легонько тронулъ меня за плечо; оглядываюсь—передо мною непріятный человѣкъ, улыбается и подмигиваетъ въ сторону, говоря:

— Что вы *на него* смотрите?

— На кого?

— На нашего селадона, на Донъ-Жуана, на Ивана Ивановича съ рыжими усами.

— Развѣ онъ здѣсь? Я и не замѣтилъ.

— Полно скрытничать! Пойдемте, онъ здѣсь, и я голову позакладую, если не здѣсь съ нимъ *она*—понимаете? ваша нѣжная голубка, примѣрная супруга... Посмотрите, какъ они шепчутся!

Въ это время прошелъ мимо насъ Иванъ Ивановичъ ...инъ, ведя подъ-руку черную маску, и—можетъ быть, на меня было такъ сильно вліяніе непріятнаго человѣка—мнѣ показалось, будто подъ чернымъ капуциномъ скрывалось знакомое лицо; походка и ростъ незнакомки сильно напомнили мнѣ жену хорошаго человѣка, и даже мнѣ показалось, она узнала меня, шепнула что-то на ухо Ивану Ивановичу и торопливо увлекла его въ толпу.

— Ну что, узнали? она?

Я хорошо зналъ языкъ непріятнаго человѣка, зналъ, что онъ готовъ сейчасъ же составить какую-нибудь нечистую исторію и меня привести въ свидѣтели—и умолчалъ о моихъ догадкахъ, тѣмъ болѣе, что отъ догадки до истины гораздо далѣе, не-

жели отъ земли до планеты Леверье, а маскарадъ – отецъ всѣхъ догадокъ и недоразумѣній; здѣсь почти всегда, что кажется бѣло, выходитъ въ натурѣ чернѣе сажи, а черное бѣлѣе снѣга. На то маскарадъ! Кто изъ васъ не разочаровывался въ маскарадѣ?

— Я вижу, вы расположены къ Ивану Ивановичу; такъ знайте же, что ему недолго кутить и обманывать добрыхъ людей: я знаю изъ вѣрныхъ рукъ, что его завтра же посадятъ въ тюрьму.

– За то, что волочится за женщинами?

— Нѣтъ, за это не посадятъ, а за долги. Одинъ мой знакомый стоитъ съ нимъ въ гостинницѣ и говоритъ, что шутки плохи: ...инъ страшно задолжалъ, а вчера проигрался; все спустилъ наличное, даже вещи, колечки, бронзу, шубу— словомъ, все спустилъ; а сегодня, узнавъ объ этомъ, хозяинъ счетъ принесъ: „или плати, говоритъ, или худо будетъ“ ...инъ отпросился до завтра, а теперь разгуливаетъ себѣ съ маской.

На первый день поста повстрѣчался мнѣ на улицѣ опять непріятный человѣкъ; я хотѣлъ-было свернуть въ сторону, но онъ увидѣлъ меня и закричалъ:

— А вашъ protégé, должно быть, колдунъ: вѣдь вывернулся! Вѣрно ему нечистая сила помогла, а вывернулся! Вмѣсто тюрьмы переѣхалъ въ лучшій нумеръ.

— Какой protégé?

— Да вашъ Иванъ Ивановичъ. Всѣ думали, въ тюрьму угодитъ, а онъ всѣмъ заплатилъ, да еще и выругалъ!... Говорятъ, страшно выругалъ.

Дня черезъ три былъ я у хорошаго человѣка. Хорошій человѣкъ созвалъ нѣсколько знакомыхъ пробовать только-что привезенную необыкновенную рыбную колбасу; въ ней было и мясо стерляди и осетровое, и какія-то рыбьи печонки и рыбій жиръ, и икра, и фисташки, и трюфели, и Богъ знаетъ, чего тамъ не было! Разговоръ колебался между колбасою и брильянтовымъ браслетомъ. Этотъ браслетъ потеряла жена хорошаго человѣка на балѣ или на дорогѣ съ бала благороднаго собранія; браслетъ былъ изъ солитеровъ и запла̀ченъ хорошимъ человѣкомъ передъ свадьбой три тысячи серебромъ. Многіе замѣчали, что трудно отыскать такую вещь, когда она потеряна; иные прибавляли, что подобныя цѣнныя потери бываютъ словно заколдованный кладъ, что и видишь ихъ, да въ руки къ тебѣ не попадутъ! И вообще жалѣли о браслетѣ.

— Браслетъ—пустяки, сказалъ хорошій человѣкъ:—да мнѣ жаль бѣдной Любиньки: страшно груститъ по немъ. Я обѣщалъ купить другой, получше, да у нея одинъ отвѣтъ: „тотъ мнѣ былъ дорогъ, какъ предсвадебный подарокъ, дорогъ по пріятному воспоминанію...“ Какъ ни говорите, господа, а память сердца иногда цѣнитъ дорого самыя бездѣлки.

— Совершенная правда, замѣтили гости.

— Я знаю подъ Воронежомъ одну барыню, сказалъ Иванъ Ивановичъ, прихлебывая изъ стакана вино:—которая потеряла обручальное кольцо, стала грустить—грустить, да и маршъ въ чахотку.

— Очень можетъ быть, продолжалъ хорошій человѣкъ;—но о своемъ браслетѣ я не отчаяваюсь: у меня еще есть средство; вотъ оно... и, торжественно раскрывъ нумеръ „Полицейской Газеты“, онъ указалъ на крупную строчку:

Триста рублей серебромъ награжденія, а подъ низомъ описаны примѣты потерянаго браслета и адресъ хорошаго человѣка.

— Да, награжденіе огромное!

— Иначе не отыщешь, продолжалъ хорошій человѣкъ:—надо, чтобъ награжденіе превышало цѣнность вещи, не настоящую, но цѣнность ея при косвенной продажѣ— понимаете?... Это я разсудилъ третьягодня, самъ написалъ объявленіе и самъ свезъ; а вотъ сегодня первый разъ тиснули. Того-и-гляди, что принесутъ браслетъ. Я жду... Я какъ-то вѣрю въ газетныя объявленія: они мнѣ всегда благопріятствовали. Вотъ будетъ штука! Утѣшу Любочку, а она ничего не знаетъ—это для нея сюрпризъ...

Можетъ-быть, долго еще говорилъ бы хорошій человѣкъ, потому-что предметъ былъ для него интересный, да и вообще онъ любилъ пооораторствовать послѣ завтрака, но человѣкъ доложилъ о приходѣ какого-то незнакомца.

— Проси! весело закричалъ хозяинъ.

Въ комнату вошелъ сѣдой, очень опрятно одѣтый нѣмецъ, съ большими серебряными очками на носу, и вѣжливо спросилъ:

—Кто здѣсь хозяинъ?

— Я, милостивый государь.

— Вы публиковали въ газетахъ о потерянномъ браслетѣ?

— Съ тремя стами цѣлковыхъ награжденія?

— Точно такъ.

— Я, я, я!... А что, вѣрно вы нашли, ночтеннѣйшій?—а? говорите же!

Нѣмецъ, не торопясь, заложилъ руку за пазуху, вытащилъ зеленый сафьянный футляръ, аккуратно раскрылъ его и спросилъ:

— Эту вещь вы ищете?

— Эту, эту, почтеннѣйшій! Эй, человѣкъ! Что васъ никогда никого нѣтъ?... Бѣги поскорѣе къ барынѣ, и скажи... Нѣтъ, ничего не говори, а проси сюда поскорѣе, какъ есть, пускай идетъ въ утреннемъ нарядѣ, только скорѣе; у барина, молъ, есть сюрпризъ—слышишь?

— Слушаю-съ.

— Очень вамъ благодаренъ! Вы получите съ признательностью обѣщанное награжденіе...

— Если эта вещь ваша, то вы мнѣ заплатите двѣ тысячи рублей серебромъ, воротите мои деньги. Я честный нѣмецъ, не кто-нибудь, и чужаго не хочу, и своего не отдамъ.

— Объяснитесь, пожалуйста, тутъ есть какое-то недоразумѣніе...

— Есть непремѣнно. Какъ только мнѣ прочитали объявленіе, я сейчасъ сказалъ это и поѣхалъ сюда, хоть у меня и много работы; но я честный нѣмецъ, я пріѣхалъ изъ Берлина уже сорокъ лѣтъ; двадцать лѣтъ имѣю мастерскую въ Длинной улицѣ, и всегда оставался честнымъ человѣкомъ... Мы нѣмцы...

— Да гдѣ же вы взяли браслетъ, скажите, Бога ради?

— Я его купилъ у себя въ мастерской у дамы...

— У дамы?...

— Въ послѣдній день карнавала пріѣхала ко мнѣ дама, привезла этотъ браслетъ, сказала, что онъ ей наскучилъ, и просила меня оцѣнить его и взять, если мнѣ нужно. Я честный нѣмецъ—не кто-нибудь—сразу сказалъ, что вещь стоитъ двѣ тысячи цѣлковыхъ...

— Я заплатилъ за него три!...

— Весьма можетъ быть: работа нѣмецкая очень дорога, а я цѣнилъ только камни. Дама сказала: „Хорошо, давайте деньги“. Я, видя, что дама не торгуется, сталъ остороженъ: нашему брату, ювелиру, должно быть очень осторожну. Я, пока искалъ деньги, послалъ мальчика взять себѣ хорошаго извощика, а другаго мальчика послалъ за сосѣдомъ-переплетчикомъ. Переплетчикъ пришелъ и сталъ торговать бирюзовыя сережки; въ это время я получилъ отъ дамы браслетъ и отдалъ ей двѣ тысячи серебромъ. У меня есть на это свидѣтель переплетчикъ; а когда дама уѣхала, я сѣлъ на извощика, и вслѣдъ за каретой доѣхалъ до этого дома. Тутъ дама пошла наверхъ, а я разспросилъ у дворника, чья голубая карета и гнѣдыя лошади, и кто эта дама...

— Голубая карета и гнѣдыя лошади?..

— Точно такъ! Узнавъ, что здѣсь не могъ быть обманъ, я вернулся домой и былъ спокоенъ до сегодняшняго объявленія...

— Но вы разсказываете невѣроятныя вещи...

— Вотъ я и здѣсь, папаша! какъ листъ передъ травой!... говорила Любинька, впорхнувъ въ комнату. Здравствуйте, господа!... Гдѣ же твой сюрпризъ?...

И Любинька поцѣловала мужа. Теперь она была еще лучше прежняго, въ легкомъ утреннемъ капотѣ, гдѣ нѣжная лазурь шелка переливалась съ золотомъ словно на перьяхъ колибри, съ лицомъ, оттѣненнымъ легкими свѣтлорусыми кудрями. Сіяющая радостью, съ очаровательною улыбкою, она стояла передъ нами, позавтракавшими матеріалистами, будто воздушное видѣнье.

— Гдѣ же сюрпризъ?...

— Вѣдь браслетъ нашелся!... сказалъ нетвердымъ голосомъ хорошій человѣкъ...

— Нашелся? Пустяки! Ты вѣчно шутишь.

— Извините, сыдарыня, скромно сказалъ нѣмецъ:—развѣ вы не изволили узнать меня? Вѣдь вы мнѣ продали эту вещь?...

— Я?... я?... Ахъ, мейнъ геръ! вы, кажется, не выспались послѣ вашей масляницы!... И Любинька захохотала такъ невинно, такъ весело, что даже мнѣ сдѣлалось легко на душѣ...

— Извините, я честный нѣмецъ, я не кто-нибудь, и лгать не стану. У меня есть свидѣтель: вы мнѣ продали браслетъ, вы получили деньги и уѣхали въ голубой каретѣ на гнѣдыхъ лошадяхъ прямо сюда, а деньги отдали человѣку съ рыжими усами —всѣ деньги, до послѣдняго рубля, а онъ ихъ положилъ въ красный бумажникъ со стальнымъ замочкомъ... Да вотъ, вотъ и тотъ господинъ! кричалъ нѣмецъ, указывая на Ивана Ивановича, который съ особеннымъ прилежаніемъ курилъ сигару и окружалъ свое лицо облаками дыма.

Хорошій человѣкъ слегка поблѣднѣлъ, чуть примѣтно сдвинулъ брови, но сейчасъ опомнился и опять сталъ хорошимъ человѣкомъ и весело закричалъ на гостей: „Куда вы, господа?“

Точно, гости, предчувствуя домашнюю сцену, взялись за шляпы и тихо пробирались къ дверямъ. Случись подобное происшествіе въ провинціи, гостей бы не выпросилъ за дверь, но въ Петербургѣ народъ себѣ на умѣ: здѣсь люди знаютъ, что мѣшаться въ семейныя дѣла все равно, что положить палецъ между отворенною дверью и косякомъ: ни двери, ни косяку ничего не сдѣлается, а палецъ пострадаетъ непремѣнно, и петербуржцы вѣжливо, скромно удалялись изъ кабинета.

— Куда вы, господа? Останьтесь! Теперь я все понимаю и очень радъ, что вы были свидѣтелями; моя жена тайная филантропка и буквально придерживается правила: *давать шуйцей, чтобъ и десница не знала.* Не такъ ли, душенька? вѣдь это опять какой-нибудь твой филантропическій поступокъ?... Что же ты краснѣешь? Въ добромъ дѣлѣ не совѣстно признаться. Одно худо, что мнѣ не сказала, а я напечаталъ объявленіе, потревожилъ добраго человѣка...

— Ваша правда, дерзко сказалъ Иванъ Ивановичъ, — я долженъ, по чувству благороднаго человѣка, подтвердить истину: ваша супруга этими деньгами облагодѣтельствовала одно честное, бѣдное, но благородное семейство. Я былъ такъ счастливъ, что сдѣлался органомъ ея филантропическаго подвига.

— Я такъ и думалъ. Эй, шампанскаго! Ахъ, Любинька, ангелъ мой, какія ты мнѣ дѣлаешь сюрпризы!

Гости шумно выпили бокалы въ честь филантропіи вообще и Любиньки въ особенности.

Петербуржцы народъ умный.

— А второй бокалъ прошу выпить, сказалъ хорошій человѣкъ:—за здоровье новаго городничаго.

— Какъ? какого? чье? спрашивали гости.

— Вотъ моего друга, въ полномъ смыслѣ этого слова, Ивана Ивановича ...ина. Онъ давно скучаетъ безъ мѣста, и я приготовилъ ему сюрпризъ: упросилъ одного значительнаго человѣка дать ему мѣсто городничаго.

— Куда это? нерѣшительно спрашивалъ ...инъ.

— Право забылъ, названіе мудреное, а говорятъ, славный городъ! Я вотъ сегодня поѣду еще къ значительному лицу и напомню ему о моей просьбѣ.

Недѣли черезъ двѣ ...инъ уѣхалъ городничимъ въ какой-то сибирскій городокъ, гдѣ была ваканція городничаго.

Хорошій человѣкъ живетъ постарому, на широкой улицѣ въ высокомъ домѣ, все такъ же любитъ свою жену и хорошіе обѣды, такъ же куритъ чудесныя сигары, такъ же любитъ послѣ обѣда понѣжиться въ кабинетѣ, гдѣ и теперь стоитъ та же самая мебель, что была и при началѣ моего разсказа, тѣ же самыя картины; только исчезла богатая рамка съ газетнымъ объявленіемъ. Куда исчезла она и для чего исчезла она—покрыто мракомъ неизвѣстности, говорятъ современные историки.

1846 г.

ПРИКЛЮЧЕНІЯ СИНЕЙ АССИГНАЦІИ.

Мнѣ очень совѣстно разсказывать приключенія такой ничтожной вещи, какъ пятирублевая ассигнація, вещи, которая, если правду сказать, не можетъ сама ни разсуждать, ни разговаривать, ни даже писать. Всякій порядочный человѣкъ, дорожащій не только смѣхомъ, но и улыбкой, въ правѣ обидѣться, въ правѣ принять бѣдныя приключенія за средство поострить и, волею неволею, заставить его смѣяться. Подобное подозрѣніе со стороны порядочнаго человѣка для меня очень горько и я намѣренъ объясниться.

Вообще ассигнаціи у насъ теперь сдѣлались довольно рѣдки, особенно синія; а что рѣдко, то сильнѣе обращаетъ на себя наше вниманіе. Одинъ мой пріятель получилъ изъ провинціи деньги и, между ними, была синяя ассигнація, ветхая, затертая, испятнанная, съ обгорѣлымъ уголкомъ. Долго мы разсматривали ее какъ рѣдкость прошедшихъ дней; мой пріятель, большой фантазеръ, мечталъ надъ ней, дѣлалъ свои выводы и заключенія и, прощаясь, сказалъ мнѣ, что дорого бы заплатилъ, чтобъ узнать похожденія этой изодранной бумажки. Я совѣтывалъ ему положить бумажку на ночь подъ голову, что очень одобряетъ Мартинъ Задека. Чрезъ нѣсколько дней я получилъ отъ моего пріятеля рукопись подъ заглавіемъ: *Приключенія синей ассигнаціи*, и передаю эту рукопись, не измѣняя ни слова. Если въ ней найдется что хорошаго или дурнаго—рѣшительно не беру на себя: все отнесите къ моему пріятелю. Я даже сказалъ бы вамъ имя пріятеля, да не хочу его погубить: онъ человѣкъ служащій, а литература, чего-добраго, можетъ испортить ему карьеру... Какъ посмотритъ начальство: хорошо посмотритъ—благо ему; а покосится—я буду кругомъ виноватъ. Нѣтъ, лучше не скажу имени пріятеля. Пусть онъ наслаждается здоровьемъ и душевнымъ спокойствіемъ, что, по увѣренію многихъ сытыхъ философовъ, дороже денегъ.

РУКОПИСЬ.

184.-го года мѣсяца и числа, я, нижеподписавшійся, получилъ сполна оброкъ изъ моей .....ской деревни отъ старосты Максима и былъ въ самомъ пріятномъ расположеніи духа, что постоянно случается со мной при своевременномъ полученіи оброка или другихъ какихъ-либо денегъ. Иной, получая деньги, вдругъ закипитъ тройною жизнью, спѣшитъ и туда, и въ другое мѣсто и еще далѣе, торопится расширить кругъ своихъ дѣйствій, будто предчувствуетъ, что на другой день посадятъ его на овсяный супъ съ черносливомъ; я, напротивъ, люблю въ этотъ свѣтлый день философствовать, разсуждать о суетѣ мірской, о политической экономіи, кадастрѣ, балансѣ и другихъ важныхъ предметахъ, и только на завтра, благословясь, пускаю въ оборотъ мой капиталъ. Такъ было со мной и сегодня: я просидѣлъ вечеръ съ знакомыми за бутылкой портера, и, когда они ушли, преспокойно легъ спать, пересматривая французскую книгу „Голубые бѣсы“. Вдругъ входитъ ко мнѣ дама въ синемъ салопѣ, въ синей шляпкѣ; лицо этой дамы было, съ позволенія сказать, немного изношено, плащъ и шляпа немного испятнаны, но во всей фигурѣ было что-то неизъяснимо-привлекательное. Глядя на нее, я ощущалъ какое-то родственное чувство; мнѣ казалось, что я вижу старую знакомую, не то тетушку, кормившую меня пряниками, не то друга дѣтства...

Во всякомъ случаѣ, мое положеніе было странное; я человѣкъ холостой, молодой —у меня въ спальной какая-то дама, хоть пожилая... да тѣмъ хуже, пожалуй, и свои люди перестанутъ уважать, а тутъ еще...

словомъ пренепріятное положеніе! Я вспомнилъ про свой туалетъ и машинально хотѣлъ-было задуть свѣчку, но удержался отъ этой глупости и молча глядѣлъ на синюю даму. Она поклонилась мнѣ, будто знакомая и преспокойно сѣла на кресло противъ моей кровати. Чувствуя, что надобно же кончить это непріятное tête-à-tête, я началъ говорить...

— Видно, вы очень разстроены, сказала, улыбаясь, синяя дама, когда я кончилъ свой монологъ...

— Напротивъ, я сегодня получилъ оброкъ и чувствую себя очень спокойнымъ; но, признаюсь, ваше посѣщеніе въ такую пору, при такихъ обстоятельствахъ... притомъ я не имѣю честь знать васъ...

— Полно, такъ ли? неужели вы меня не встрѣчали въ свѣтѣ?

Я пристально посмотрѣлъ на даму и замолчалъ отъ ужаса: она была въ синихъ чулкахъ... Передо мной утомительно-невыносимой картиной потянулись страдательныя сцены моей жизни отъ синихъ чулковъ. Педантъ-мужчина несносенъ, но синій чулокъ страшнѣе чумы и всѣхъ немочей. Я лежалъ, словно приговоренный къ пыткѣ, ожидая на свою голову ученой диссертаціи, шитой по тюлю.

— Что же, узнали меня?

— Если не ошибаюсь, я имѣлъ удовольствіе слышать на прошлой недѣлѣ ваше разсужденіе о... Ламартинѣ...

— Ошибаетесь.

— Извините; вы говорили о невещественномъ капиталѣ и о новомъ тарифѣ.

— И еще разъ ошибаетесь; я вижу, вы меня принимаете за ученую женщину, судя по моему наряду; напротивъ, я слишкомъ далека отъ этого, хотя синіе чулки и не брезгаютъ моимъ знакомствомъ; но я ихъ не люблю; по-моему, онѣ женщины не на своемъ мѣстѣ, существа совершенно лишнія въ мірѣ. Женщина должна быть женщиной, а не профессоромъ; и для меня всякая прачка почтеннѣе синяго чулка... Нѣтъ, я человѣкъ простой, хоть и много видала въ жизни; я въ знать не лѣзу, хожу съ рукъ на руки, могу похвалиться всеобщею привязанностью, а стою не болѣе пяти рублей ассигнаціями. Правда, лѣтъ десять назадъ, люди цѣнили меня, особенно въ Москвѣ, полтиной дороже; но это время прошло невозвратно.

Признаюсь, какъ начало рѣчи синей дамы утѣшило меня, такъ конецъ рѣшительно сбилъ съ толку—такъ наглы показались мнѣ ея рѣчи...

— И все еще не узнаете меня? а давно ли хотѣли знать мои похожденія и, съ твердой волей, положили меня къ себѣ подъ изголовье? Развѣ вы шутили мною? развѣ вы не читали „Сонниковъ“ и „Оракуловъ“? развѣ вы не вѣруете въ Мартина Задеку?... Что же вы молчите?

— Извините, мадамъ, въ дѣтствѣ я читалъ когда-то „Сонникъ“; онъ былъ настольной книгой моей сестрицы; и теперь, кажется, есть у моего Ваньки въ лакейской... Что же касается Мартина Задеки...

— О, онъ великій философъ и безошибочный сердцевѣдецъ! Доказательствомъ этому я, я—пятирублевая ассигнація! Вы желали познакомиться со мной, исполнили его наставленія—и я передъ вами, олицетворенная въ образѣ, дѣйствующемъ на всѣ ваши чувства. Вы меня видите, меня слышите, вы должны обонять, если не имѣете насморка, мускусовый запахъ, полученный мной во время моихъ странствованій, наконецъ, вы можете убѣдиться, что я дѣйствую и на ваше осязаніе.

— Покорнѣйше благодарю!—я вѣрю на слово, хотя ассигнація—предметъ неодушевленный...

— Неодушевленный?!.... Мнѣ почти жаль, что я пришла къ вамъ. Ассигнація—предметъ неодушевленный! Да это вторая душа вашей земли, молодой человѣкъ! Подобныя рѣчи теперь трудно услышать на островахъ Тихаго океана.

— Боже меня сохрани не вѣрить въ могущество ассигнацій! Но, извините меня, мнѣ странно подобное явленіе, то-есть, превращеніе, или олицетвореніе простой бумажки въ такую милую даму.

— А развѣ вы не знаете силы стихійныхъ духовъ? А что говоритъ Парацельсъ? а что говоритъ Эккартсгаузенъ? а воля? сильное желаніе? а животный магнитизмъ?...

— Знаю, знаю и совершенно вѣрю вамъ.

— Ну, такъ надѣвайте халатъ, садитесь и пишите. Мнѣ время дорого.

Происхожденіе мое, какъ происхожденіе всѣхъ народовъ, покрыто мракомъ неизвѣстности; младенчество свое я помню очень смутно; кажется, я была не такого цвѣта, но люди меня окрасили по-своему; потомъ безпрестанно приводили меня въ самыя близкія и тѣсныя отношенія съ разными, болѣе или менѣе жесткими предметами, отъ которыхъ я поневолѣ принимала ихъ впечатлѣнія, только наоборотъ; наконецъ, меня подписали, занумеровали и положили въ кипу съ подобными мнѣ синенькими ассигнаціями; потомъ отвезли въ какое-то мѣсто, гдѣ казначей, человѣкъ сѣдой, въ очкахъ, пересчиталъ насъ и перещупалъ худыми, замаранными въ табакѣ пальцами; тутъ я получила первое мученіе: первое пятнышко отъ нечистыхъ пальцевъ казначея... Впослѣдствіе я привыкла

къ этому и даже гордилась своими пятнами; но первое было тяжело!...

Недолго я лежала въ сундукѣ казначея. Въ одно прекрасное утро онъ вынулъ меня, вмѣстѣ съ моими товарищами, и положилъ на столъ, покрытый краснымъ сукномъ. Утро было истинно прекрасное; солнце ярко свѣтило и обливало блескомъ всю комнату; въ комнатѣ много людей потихоньку суетилось, кланялось другъ другу и, улыбаясь, поглядывало на насъ. И точно, мы были очень хороши; кромѣ насъ, синихъ, къ которымъ очень шелъ красный цвѣтъ стола, тутъ были ассигнаціи бѣлыя, красныя и даже сѣрыя, что составляло разнообразное зрѣлище. Не только люди чиновные глядѣли на насъ ласково и страстно, но даже и солдатъ, стоявшій на часахъ у двери, часто поворачивалъ къ намъ голову, шевелилъ усами и облизывался. Скоро пришелъ въ комнату человѣкъ средняго роста, въ усахъ и въ синемъ фракѣ съ блестящими пуговицами; всѣ начали поздравлять его, называя почтеннѣйшимъ Ѳомой Ѳомичомъ. Онъ всѣмъ очень низко кланялся и просилъ къ себѣ запросто вечеркомъ откушать чаю; всѣ значительно улыбались и говорили: „непремѣнно постараемся“.

— Можете получить, сказалъ казначей, въ раздумьи глядя на насъ.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ человѣкъ въ синемъ фракѣ, потирая руки.

Казначей посмотрѣлъ въ бумагу, потомъ въ книгу, поставилъ въ ней какую-то каракулю, взялъ нѣсколько пачекъ сѣрыхъ, бѣлыхъ и красныхъ ассигнацій и насъ три синенькихъ, послѣ оставилъ двухъ моихъ товарищей, а положилъ меня одну въ придачу и отдалъ господину въ синемъ фракѣ, сказавъ: „Кажется, такъ будетъ вѣрно“.

„Это уже не у казначея въ сундукѣ“, подумала я, ложась въ атласный бумажникъ новаго хозяина. „Знай нашихъ: вотъ какой намъ пріемъ! вѣрно, я персона важная, когда одна синяя между сотнями товарищей другихъ цвѣтовъ, да и хозяинъ мой синяго цвѣта; вѣрно, казначей очень любитъ его и захотѣлъ утѣшить мной... не бойсь, не далъ насъ трехъ! Во всякомъ случаѣ, я очень рада: здѣсь, по-крайней-мѣрѣ, и мягко, и тепло, и пріятно пахнетъ...

Пріѣхавъ на квартиру, мой хозяинъ сильно ругалъ своихъ людей. „Вы“, говорилъ, „безчувственные, ничего не понимаете, дѣлать ничего не хотите по-моему, чтобъ все горѣло въ рукахъ... ходите какъ вареные, а нашъ братъ, баринъ, бѣгай изъза васъ, да хлопочи. Вотъ теперь каждый годъ плати за васъ проценты, думай за васъ, а вамъ все ничего! Назадъ полгода, я вашихъ рожъ и въ лицо не зналъ, а вотъ привелъ Богъ въ петлю, трудись да выплачивай! Смотрите же вы у меня, ужъ коли я работаю, такъ съ васъ вчетверо спрошу...“ И еще долго ругался, попрекалъ людей, а послѣ вошелъ въ спальню, заперъ дверь и вынулъ изъ кармана бумажникъ. Мы такъ и задрожали, думая, что сердитый хозяинъ всѣхъ насъ лишитъ живота; ничуть не бывало: онъ вынулъ насъ бережно, глядѣлъ на насъ такими ласковыми глазами, пересчиталъ и, сложа вмѣстѣ, горячо поцѣловалъ всѣхъ насъ безъ изъятія, повторяя: „Ай да Ѳомичъ!... молодецъ!... малина!... Людей порядочно припугнулъ: не станутъ просить ни на сапоги, ни на говядину, а то въ губернскомъ городѣ совсѣмъ избаловались... Хорошо, чортъ возьми! Тебѣ, братъ Ѳомичъ, и не снилась такая сумма. Вотъ, еслибы теперь завалиться въ Москву, да еще такъ, безъ службы... богатое величанье гаркнули бы у Ильюшки... Экъ ихъ пропасть какая!...“ И, опять поцѣловавъ насъ, хозяинъ, какъ былъ, во фракѣ и даже въ картузѣ, пошелъ плясать по комнатѣ, держа въ рукѣ бумажникъ.

Не знаю, долго ли плясалъ бы нашъ хозяинъ, еслибъ не явилось новое лицо; оно такъ дернуло дверь, что задвижка отскочила и дверь отворилась настежь. Хозяинъ торопливо сложилъ насъ въ бумажникъ, и я мелькомъ только замѣтила, что новое лицо было очень похоже на обгорѣлую головню и что шея у него была обмотана краснымъ...

— Петръ Петровичъ! закричалъ хозяинъ на встрѣчу гостю.

— Ѳома Ѳомичъ! заревѣлъ гость.—Да къ тебѣ, братъ, безъ доклада и не доберешься... такимъ бариномъ сталъ!

— Это дурачье вѣчно грубитъ! Я, братъ, для старыхъ товарищей всегда одинаковъ, ей-богу, Петя! говорилъ хозяинъ, цѣлуя гостя.

— Славная у тебя душа, Ѳомка! все тотъ же! чортъ возьми... Дай, еще разъ поцѣлую... вотъ такъ! рѣдкая душа!

— Какова ни есть, да своя, братъ, чисторусская, не бонжурная, другъ мой, Петя!

— Благородно сказано! Для меня товарищество—первое, а послѣ тамъ что хочешь... Это не даромъ и въ исторіи записано.

— А ты по-прежнему почитываешь?

— Какъ же, братъ, особливо теперь въ годовомъ отпуску, дѣлать ровно нечего. Поѣхалъ-было на родину, да тамъ тетки такая драпь, что въ силу ноги унесъ. Знаешь, братъ, пара старыхъ дѣвокъ, сплет-

ницы, трещотки... Сначала-было онѣ около меня кубаремъ заходили; я ту и другую въ ручку, и говорю: „сдѣлайте карьеру: жените меня". Онѣ обѣ за меня и ухватились, да тутъ и перессорились. Одна кричитъ: „женись на Свинкиной", а другая— „на Сивкиной". Одна кричитъ: „не слушай ее, Петя: Сивкина и сякая, и такая", а другая кричитъ еще пуще; „не слушай ее: „Свинкина вотъ такая..." Погодя, слышу: уже мои тетушки попрекаютъ другъ дружку то кускомъ хлѣба, то ворожбой, то грѣхами всякими... Плохо, подумалъ я: какія ни есть, а все тетушки; чего-добраго, станутъ доказывать другъ на дружку въ поддѣлкѣ ассигнацій, да угодятъ куда нибудь! Благо бы прежде женили. Вотъ я и сталъ то у той, то у другой цѣловать ручки...

— Экой ты селадонъ сдѣлался!

— Нельзя, братецъ: нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ! А признаться, ручки прескверныя! Въ силу уговорилъ: я, дескать, на той женюсь, которая, дескать, богаче. Вотъ начали считать все, и людей, и землю, и скотъ, и платье, и—вѣришь ли?—даже юбки!...

— Вѣрю, вѣрю: дѣло извѣстное.

— Вотъ и вышло, что у Свинкиной больше состоянія, какимъ-то лѣсомъ, семьей людей, лисьей шубой да дюжиной рубахъ голландскаго полотна. „Рѣшено" сказалъ я, „жените меня на Свинкиной". Одна тетушка запрыгала отъ радости, а другая сказала: „съ Богомъ!" Дѣло было мигомъ закончено: обручили-было, какъ ни съ того ни съ другаго, захлопнули у меня передъ носомъ дверь и прислали назадъ кольцо... Я, разумѣется, швырнулъ въ лицо лакею Свинкиныхъ кольцо его барышни и сказалъ, что съ свиньями дѣла не хочу имѣть. Тетушку-сваху тоже спровадили несовсѣмъ вѣжливо со двора; она плакала передо мной и ругала весь родъ Свинкиныхъ; а другая тетушка замѣтила: „было бы свататься на Сивкиной—все не такъ бы пошло.".. „Ну, сказалъ я, была не была, сватайте меня на Сивкиной". Другая тетушка засуетилась; опять закипѣло это дѣло, обручили меня и опять натянули носъ... Что же узнаю? Вѣдь это все работа почтенной роденьки: дескать, коли не помоему, такъ и не по ея выйдетъ; и другая потому же заварила кашу у Сивкиной. Поди съ ними! Да, вѣдь, братецъ, какихъ небылицъ не врали, да какъ правдоподобно! Чортъ ихъ знаетъ, откуда эти старыя дѣвки нахватались такихъ вещей, какихъ, кромѣ полковаго фельдшера, кажись бы, никому и знать не слѣдовало! Ну, а кому же и повѣрить про роднаго племянника, какъ не тетушкамъ? Я вижу, что плохо, давай Богъ ноги, а тетки въ слезы. „Куда ты? говорятъ, за что насъ оставляешь?... вѣрно, не умѣли угодить... Вотъ, погоди, мы тебя оженимъ..." Нѣтъ, спасибо, мое почтеніе! И вотъ, видишь, кочую съ ярмарки на ярмарку, да заѣзжаю въ губернскіе города. Только, помоему, ярмарки лучше: знаешь, братъ, привольнѣе, откровеннѣе, проще; тамъ благородный человѣкъ нараспашку... Ну, а ты, какъ? Я бы тебя не узналъ въ этомъ дурацкомъ платьѣ, словно въ Москвѣ парикмахерскій ученикъ!... да въ Приказѣ сказали: заложилъ, молъ, сегодня имѣніе Ѳома Ѳомичъ такой-то. Я и пошелъ искать; думаю: „вѣрно онъ", такъ и есть!... Ну, какъ ты?

— Да что, братъ, повезло.

— И вѣрно въ трефяхъ? Я тебѣ всегда говорилъ: „держись трефей, Ѳомка, будешь человѣкомъ".

— Въ трефяхъ, да не такъ, какъ ты думаешь; я, братецъ, женился на трефной дамѣ, то-есть на брюнеткѣ, братецъ—кровь съ молокомъ! что твоя малина! Теперь я попривыкъ немного, а на первыхъ порахъ, бывало, дурь беретъ. Вотъ какая жена! лучше Любашки—помнишь?... да это пустяки, а главное, братецъ, съ имѣніемъ...

— Доброе дѣло! замѣтилъ гость.

— Вотъ я теперь пообжился, взялъ довѣренность у жены и заложилъ сегодня имѣніе, знаешь, для разныхъ хозяйственныхъ оборотовъ.

— Понимаю, понимаю! Значитъ, ты при деньгахъ—тѣмъ лучше; а то, знаешь, мнѣ какъ-то, вѣришь-ли, совѣстно было къ тебѣ идти: вотъ, дескать, пятый годъ долженъ сто рублей... Другой бы рукою махнулъ, а я, какъ человѣкъ благородный, все думаю: можетъ-быть онъ и сердится? То денегъ не было, то адреса твоего не зналъ, а всегда, Ѳомка, помнилъ—видитъ Богъ... оно пустяки, да знаешь, по товариществу...

— Пустяки, братецъ Петя! я, пожалуй, теперь еще тебѣ дамъ...

— Спасибо, другъ мой. Я знаю всю твою душу: этакихъ, братъ, душъ мало на свѣтѣ! Вѣришь ли, камнемъ на сердцѣ лежатъ сто рублей...

— Экъ его разжалобился! Вечеромъ сквитаемся—и концы въ воду!

— Благородно сказано! Хорошо, что я зашелъ въ приказъ призрѣнія, а то, чего-добраго, и не увидѣлся бы съ тобой.

— Да за-чѣмъ тебя носило въ приказъ?

— Это мое правило: чуть въ губернскій городъ—сейчасъ въ приказъ; дашь цѣковый въ зубы сторожу—и всю подноготную узнаешь; а то гдѣ справиться о пріѣхавшихъ?

— Правда, правда. Экая голова! ты все тотъ же умница, Петя!

— А ты все та же чистая душа, Ѳомка... Дай еще тебя поцѣлую! Ты никуда не ѣдешь обѣдать?

— Нѣтъ.

— И я тоже; такъ я у тебя останусь обѣдать, а вечерокъ вмѣстѣ пожуируемъ. Идетъ?

— Въ банкъ?—Человѣкъ, взять на кухнѣ двойной обѣдъ получше, самый наилучшій, да приказать подать къ обѣду полдюжинки шампанскаго.

— Экая душа! вотъ настоящій товарищъ!

Послѣ обѣда Ѳома Ѳомичъ съ Петромъ Петровичемъ не успѣли порядочно выспаться, какъ начали собираться гости; поднялась въ комнатахъ суета; хозяинъ цѣловался съ приходившими, просилъ ихъ не церемониться, быть какъ дома и полюбить лучшаго друга—Петра Петровича. Петръ Петровичъ говорилъ, что онъ не французъ, не паркетный шаркунъ, а простой человѣкъ, но что душа у него чистая, не алтынная, хоть и далеко ему до Ѳомы Ѳомича: Ѳома Ѳомичъ, дескать, голубь кротости...

— Да полно тебѣ, Петя, вздоръ молоть! замѣтилъ Ѳома Ѳомичъ.

— Нѣтъ, дружище, это не вздоръ. Полно тебѣ купоросничать, словно уѣздная барышня; что правда, то правда — сошлюсь на весь свѣтъ. Не такъ ли, господа?

— Совершенная правда! хоромъ отвѣтили гости.

Мы лежали въ бумажникѣ, а бумажникъ въ ларчикѣ, который стоялъ въ самой отдаленной комнатѣ въ углу. Туда почти никто не заходилъ, за то мы наслушались разныхъ непонятныхъ рѣчей.

Кто-то сѣлъ у самаго ларчика, на кровати, и началъ страшно сопѣть.

— Это вы? спросилъ дрожавшій голосъ, входя въ комнату.

— Охъ, я! отвѣчалъ жирный голосъ:— ушелъ сюда отдохнуть. Тамъ такой шумъ да свѣтъ, а здѣсь и свѣчки нѣтъ.

— Вотъ еще! зачѣмъ терять золотое время? вамъ везетъ...

— То-то, почтеннѣйшій, мы, кажись, дали маху: поторопились; проводить было его еще недѣльку другую: онъ тогда игралъ очень снисходительно, а теперь, врядъ ли. А все вы виноваты: „узнаютъ, молъ, худо будетъ...“ Не умѣете жить, и меня на старость съ толку сбили.

— Полноте, пустяки!

— Нѣтъ, молодой человѣкъ, онъ теперь и глядитъ не такъ, какъ глядѣлъ проситель; да и этотъ какой-то пріятель явился, должно-быть продувной шулеръ; не даромъ онъ шептался съ сторожами сегодня утромъ...

— А! вы здѣсь, господа! да тутъ и огня нѣтъ. Что вы забрались въ мою келью? Ужь не скучаете ли?

— Помилуйте, какъ вамъ не стыдно! говорилъ дрожавшій голосъ.

— Помилуйте! подхватилъ жирный:—въ такой пріятной компаніи, да мы не знаемъ какъ благодарить васъ.

— Ужъ извините, сказалъ Ѳома Ѳомичъ;— это мнѣ говорить слѣдуетъ: я не знаю какъ благодарить васъ... Признаюсь, когда я ѣхалъ сюда, меня крѣпко пугали: говорили—извините—здѣсь и взяточники, и маклаки, и просто грабители—извините, я передаю общій голосъ...

— Знаю, знаю: это мой предшественникъ пустилъ о себѣ такую славу, замѣтилъ жирный голосъ.

— А напротивъ, я нашелъ въ васъ истинно-благороднаго человѣка, окончилъ дѣла мои очень скоро, съ самыми христіанскими издержками—словомъ, я не знаю предѣловъ моей благодарности...

— Помилуйте, отвѣчалъ жирный голосъ:— это наша обязанность; мы поставлены посредниками между попечительнымъ правительствомъ и нуждающимся человѣчествомъ. Это наша обязанность, можно сказать... Меня очень тяготитъ и то, что вы прожили здѣсь съ мѣсяцъ для необходимыхъ справокъ—я всегда это имъ говорилъ.

— Да, отвѣчалъ дрожавшій голосъ:—даже вотъ недавно, нѣсколько минутъ, они сожалѣли о васъ.

— Добрѣйшій человѣкъ! почти закричалъ Ѳома Ѳомичъ. Потомъ они начали цѣловаться и ушли играть въ карты. Немного погодя, какой-то басъ и дискантъ, забравшись въ уединеніе, сперва похвалили другъ друга, а послѣ стали ругать Ѳому Ѳомича за его чай, за ромъ, за свѣчи, что горятъ неровно, и особенно за Петра Петровича, который надѣлъ для игры зеленые очки, а это худая примѣта: дескать, душевныя движенія прикрываетъ и косвенные взгляды маскируетъ; говорили, что отъ него несетъ конюшней и что и Ѳома Ѳомичъ не далеко ушелъ; что жаль жены его: пропадетъ съ такимъ... словомъ, ужасныя рѣчи говорили; но пришелъ Ѳома Ѳомичъ—они наперехватъ заподличали передъ нимъ, такъ что и намъ, бѣднымъ бумажкамъ, было досадно и немного совѣстно. Еслибъ всѣ люди слушали совѣтовъ Мартина Задеки и, вооружась твердостью, почаще бесѣдовали не только со всѣми неодушевленными вещами, но хоть бы съ своими кошельками и бумажниками, сколькихъ бы они бѣдъ и непріятностей избавились!

Наконецъ, наше затворничество кончилось: Ѳома Ѳомичъ вынулъ насъ изъ ларчика

чика и съ бумажникомъ торжественно хлопнулъ на столъ, такъ-что мы поневолѣ вздохнули. Ѳома Ѳомичъ раскрылъ бумажникъ и довольно часто началъ выдергивать изъ него насъ, бѣдныхъ ассигнацій, приговаривая:—Я сейчасъ плачу, господа, какъ честный и благородный человѣкъ.

— Да, у тебя душа ангельская, замѣчалъ Петръ Петровичъ, прибирая къ себѣ ассигнаціи.

Быстро исчезали наши подруги изъ бумажника; мы едва успѣвали имъ кричать adieu, ma chère!... Au revoir!... говорили нѣкоторыя и, чтобъ сдержать свое слово, изрѣдка возвращались къ намъ на минутку и разсказывали разныя новости. Одна красненькая вернулась съ пятномъ и жаловалась, что была въ рукахъ у казначея; прочія, возвращаясь отъ Петра Петровича, увѣряли, что у него руки словно атласъ, и на концахъ пальцевъ кожа такая тонкая, что видно, какъ кровь переливается, а я, между прочимъ, лежа въ уголку бумажника, отъ скуки осматривала общество: всѣ сидѣли вокругъ стола, покрытаго зеленымъ сукномъ; нѣкоторые стояли возлѣ стола, другіе ходили и только по временамъ, подходя, ставили карту. На столѣ лежали кучи серебра, золота и красовалась наша братья ассигнаціи, а кругомъ изломанныя, изорванныя карты, бокалы, мѣлки, окурки сигаръ и надъ всѣмъ этимъ, словно ястребъ, возвышался Петръ Петровичъ, сверкая направо и налѣво зелеными стеклами. Въ комнатѣ только и слышно было: „атанде, убита... пше... идетъ... транспортъ“ и тому подобныя безсвязныя рѣчи. Тутъ я въ первый разъ увѣрилась, какъ трудно судить о вещахъ по слуху. Жирнымъ голосомъ, которымъ, мнѣ казалось, храпѣлъ толстый, дряблый человѣкъ, говорилъ худенькій старичокъ; дрожащимъ, напротивъ, полный, здоровый, лысый мужчина въ очкахъ, басомъ—маленькій мальчишка, словно цыпленокъ во фракѣ, а пищалъ дискантомъ огромный мужчина съ лицомъ желтымъ и обвисшими щеками. Угадывайте людей послѣ этого!...

Наконецъ солнце взошло, вечеръ кончился, гости разошлись; я осталась одна въ бумажникѣ. Ѳома Ѳомичъ положилъ бумажникъ въ карманъ и долго ходилъ по комнатѣ, свистя и ругая судьбу; послѣ позвалъ своихъ людей, началъ ихъ ругать и приказалъ укладываться, ѣхать домой. Поднялась въ квартирѣ возня, явились какіе-то голоса и требовали денегъ. Ѳома Ѳомичъ обругалъ ихъ аршинниками, жидоморами; сказалъ, что у нихъ не трактиръ, какъ, напримѣръ, въ Москвѣ бываютъ хорошіе трактиры, а простая харчевня; что за все въ тридорога деруть и не умѣютъ обращаться съ благородными людьми; что, коли онъ въ одну ночь смогъ проиграть нѣсколько десятковъ тысячъ, такъ вѣрно сможетъ имъ заплатить сто цѣлковыхъ; что изъ-за такихъ пустяковъ и хлопотать нечего; что онъ пришлетъ деньги изъ деревни, а коли не хотите, закричалъ, честно дѣло покончить, такъ, пожалуй, сейчасъ поѣду къ начальству—мнѣ здѣсь всѣ пріятели—вотъ какъ васъ всѣхъ распатронятъ да и шишъ получите... Гости поворчали и ушли. А мы скоро поѣхали въ деревню.

— Томасъ! Томасъ! cher Томасъ! ангелъ Томинька! кричала жена, обнимая и цѣлуя Ѳому Ѳомича:—ну что, здоровъ ли ты? Ахъ, какъ я по тебѣ соскучилась!

— Было изъ-за чего!

— Еще бы! Ахъ, ты какой злой! Ну, да слава Богу, что пріѣхалъ; а то я думала съ ума сойду: скука; а тутъ то пріѣдетъ сосѣдка да наговоритъ страховъ три короба, что спать боишся, то сосѣдъ пристаетъ: —„заплатите за мужа по заемному письму“; а третьяго-дня пріѣзжалъ купецъ и требуетъ двѣ тысячи за какихъ-то лошадей... въ силу ихъ успокоила, сказала, куда ты и зачѣмъ поѣхалъ; онъ рѣшился обождать; только купецъ такой грубой! Что это за купецъ?

— Должно-быть, лошадиный барышникъ. Я у него бралъ лошадей, когда на тебѣ сватался. Вѣдь надобно же было чѣмъ пустить пыль въ глаза твоей роденькѣ.

— Вотъ ты ужъ и вспылилъ! Я очень рада, что есть чѣмъ расплатиться. Ты хозяинъ и дѣлай, какъ знаешь лучше. Полно, не сердись, Бога ради, а то какъ ты закричишь—мнѣ даже дурно дѣлается. Ну, что же ты такой скучный?

— Не вѣчно же скалить зубы, Саша.

— Да хоть посмотри повеселѣе! И у меня къ тебѣ есть просьба.

— Какая?

— Только не откажи, ангелъ!

— Посмотримъ.

— Вотъ видишь, мнѣ право и совѣстно...

— Безъ предисловій.

— Ну, хорошо. Ты заложилъ имѣніе?

— Да.

— И деньги получилъ?

— Да! Что это допросъ, что ли?

— Ахъ какой ты!... Вотъ видишь, мы заплатимъ всѣ твои долги, и за лошадей, и сосѣду за коляску, и портному, и всѣмъ, кому ти задолжалъ, на мнѣ сватаясь: вѣдь еще останутся деньги?

— Что ты меня, Саша, попрекать вздумала? Будто мои долги таковы, что и не хватитъ твоего дряннаго имѣньица заплатить ихъ?...

— Боже мой, какой ты сталъ несносный! Я, вѣдь, ничего не знаю, а спрашиваю. Ну, положимъ, останутся, тогда ты мнѣ дашь, душка Томасъ, пятьдесятъ рублей?

— Это зачѣмъ?

— Хочу нянѣ купить корову: у нея много дѣтей, а ея корова издохла.

— Жирно для нея будетъ; благо, что она на барщину не ходитъ, з то еще ей коровъ покупай!

— Я думала пятьдесятъ рублей не большая сумма изъ такого капитала, какъ ты получилъ...

— Да что я получилъ, Боже мой! шишъ получилъ я!.. вышелъ въ отставку!... Теперь товарищи получаютъ жалованье, да чины, да отличія, а ты сиди въ деревнѣ, будь управляющимъ!... Еще и недовѣріе! Благородства въ васъ нѣтъ, сударыня!

— Что съ тобою, Томасъ? ты на себя непохожъ!

— Прежде было глядѣть, на кого похожъ; теперь каковъ есть—весь налицо! Да что тутъ долго тянуть канитель: ты—жена, а я—мужъ, намъ скрытничать нечего, я не іезуитъ какой, простой человѣкъ, у меня душа благородная, вся нараспашку! Вотъ, слушай: имѣніе заложено, деньги получены, да ихъ у меня нѣтъ—понимаешь?

— Какъ, нѣтъ?

— Что съ воза упало, то пропало!

— Ты потерялъ? или...

— Или? или что? что жъ не говоришь? Я самъ человѣкъ благородный, врать не стану: деньги проиграны...

— Это ужасно!... шептала жена.

— Ничего нѣтъ ужаснаго. Я заботился о тебѣ и о себѣ, коли хочешь: хотѣлъ удвоить, учетверить капиталъ—не повезло... Я не виноватъ!...

— Проигралъ!... это ужасно!

— Впрочемъ, утѣшься: не всѣ проигралъ.

— Ахъ, слава Богу! по-крайней-мѣрѣ будетъ заплатить долги.

— Пожалуй, иной долгъ и этимъ заплатишь.

И Ѳома Ѳомичъ вытряхнулъ меня изъ бумажника на столъ.

— Что же вы, сударыня, не берете? мало, что ли, вамъ? Не дурачься, Саша... Что съ воза упало, то пропало.

Жена Ѳомы Ѳомича, женщина молодая, красивая, но блѣдная, стояла у стола, придерживаясь за спинку стула рукою; странными глазами глядѣла она на мужа: слезы ли скрывали ихъ выраженіе, или въ нихъ отражались разныя движенія души такъ быстро, что, мѣняясь, теряли всякій опредѣленный характеръ.

— Что же вы не берете? спросилъ Ѳома Ѳомичъ.

Жена стояла молча, и вдругъ по лицу ея градомъ покатились слезы.

— Есть изъ чего плакать! Утѣшься, Саша! Вѣдь это я такъ немного погорячился, вѣдь я горячка, меня всѣ и въ полку горячкой звали. Вѣдь имѣніе цѣло, станемъ уплачивать проценты—и кончено!

— Я не о томъ плачу...

— О чемъ же, чортъ возьми?

— О томъ...

— О чемъ?

— О томъ, что я въ тебѣ ошиблась...

— Мое почтеніе!... Этого еще не доставало! Вотъ тебѣ и женатая жизнь!... Просто, надѣлъ себѣ петлю на шею... Дернулъ меня чортъ жениться!... Говорите безъ обиняковъ, сударыня! Какъ вы ошиблись? можетъ-быть, не я ли ошибся?...

Жена Ѳомы Ѳомича перестала плакать, выпрямилась, словно выросла на полъаршина, гордо посмотрѣла мужу въ глаза и тихо, но твердо сказала:

— Я думала найти въ васъ благороднаго человѣка, а нашла...

— Договаривайте!

— Нашла бездушнаго авантюриста и... человѣка безчестнаго.... Возьмите ваши деньги...

И взявъ меня холодною, какъ ледъ, рукою, молодая дама бросила на полъ передъ Ѳомой Ѳомичемъ и величаво вышла изъ комнаты.

Ѳома Ѳомичъ тихонько засвисталъ въ слѣдъ уходившей женѣ, потомъ принялся хохотать, приговаривая: „Горденька, моя матушка!... ни дать—ни взять королева на московской сценѣ!... выкинула штуку!... обругала мужчину!... да порядочному человѣку честь, коли его бабы ругаютъ!... Я зналъ одного штабъ-офицера, который съѣлъ на вѣку съ полдюжины щелчковъ отъ первѣйшихъ красавицъ, да еще этимъ хвасталъ, значитъ, было за что!... Вотъ, напугала, матушка!... А впрочемъ,“ прибавилъ Ѳома Ѳомичъ, переставъ смѣяться и сердито сдвигая брови: „если война, такъ война... Я тебя, матушка, сверну въ баранiй рогъ; я тебѣ покажу, что значитъ мужъ! Сила солому ломитъ. Посмотримъ! посмотримъ!...“ И Ѳома Ѳомичъ ушелъ въ свой кабинетъ, такъ прихлопнувъ за собою дверь, что стекла въ окошкахъ зазвенѣли, и паукъ, сидѣвшій спокойно въ уголку, подъ столикомъ, подлѣ паучихи, закрылъ лапками уши и сказалъ:

— Ахъ, какой грубіянъ!

— Благодарю Бога, что ты не похожъ на него, нѣжно прибавила паучиха.

— Еще бы! вѣдь мы не люди! мы такъ-себѣ, сѣренькіе пауки!... Обними меня.

другъ мой! Пусть кругомъ шумитъ буря— въ нашемъ углу миръ и тишина.

Пауки начали обниматься, а мое вниманіе развлекъ новый предметъ. Молоденькая дѣвушка, лѣтъ шестнадцати, полненькая, свѣжая блондинка, съ розовыми щечками, съ немного вздернутымъ носикомъ, съ быстрыми, сѣренькими глазками, съ веселою плутовскою улыбкою, выказывавшею рядъ бѣленькихъ ровныхъ зубовъ (это была, какъ я послѣ узнала, Лиза, горничная жены Ѳомы Ѳомича), одѣтая въ темненькое ситцевое, довольно-короткое платье, прикрытое на шеѣ кисейной косыночкой, заколотой, казалось, не безъ труда, на полной, крутой груди, словно кошечка, вбѣжала легко въ комнату и вдругъ остановилась. Выставя немного одну ногу впередъ, сложа руки крестомъ на груди, она немного наклонила головку и, казалось, затаивъ дыханіе, къ чему-то прислушивалась, потомъ подбѣжала къ двери, куда ушла барыня, постояла съ полминуты, приложила ухо къ замочной дырочкѣ и перебѣжала къ двери, въ которую ушелъ Ѳома Ѳомичъ. Постоявъ тамъ немного, Лиза отошла спокойнымъ шагомъ, говоря въ полголоса: „Ничего! прошло! а я думала, будетъ катавасія; только баринъ потузилъ немного Егорку, да и по дѣломъ: озорникъ этакой! и что ему въ моей косынкѣ?... все указываетъ пальцами; вся, говоритъ, въ дырочкахъ? И вретъ," продолжала Лиза, улыбаясь и глядя въ зеркало: „вретъ, какъ лягавая собака, даже ни одной, ни этакой дырочки!... А брови у меня темнѣютъ"... И Лиза, послюнивъ мизинецъ, начала приглаживать свои брови. „И башмаки у меня не дурны, сидятъ какъ на барынѣ, коли не лучше —право такъ... Ай!..." Лиза увидѣла меня на полу и, быстро схвативъ, подбѣжала къ окошку. „Господи! сколько тутъ денегъ!" шептала Лиза, осматривая меня со всѣхъ сторонъ: „еще у меня отродясь не было въ рукахъ столько. Кто бъ это потерялъ: барыня или баринъ? Да у барыни у самой нѣтъ денегъ, стало, онъ потерялъ. Вотъ если бы мнѣ: накупила бы и мониста, и сережекъ, и на платье, и платокъ... Я думаю, стало бы... Нѣтъ, я бы отдала ихъ Степану, да, ему бы отдала. Еще третьяго дня онъ говорилъ мнѣ: „Были бы деньги, мы бы скоро женились; я бы, говоритъ, накупилъ сапожнаго товару, нашилъ бы сапоговъ, продалъ бы, да опять купилъ бы товару, да опять продалъ бы: завелась бы деньга, отпросился бы на оброкъ въ городъ, завелъ бы мастерскую, да и тебя, Лиза, хоть бы добромъ взялъ у барыни, хоть бы выкупилъ, коли бъ она заартачилась; я свой человѣкъ, крѣпостной, а, вотъ те Христосъ, заплатилъ бы! Бѣда, нѣтъ ни алтына!" Вотъ какъ говорилъ онъ, такой добрый! Былъ въ наукѣ шесть лѣтъ и не забылъ меня. Экъ я разговорилась! Да нешто это мои деньги? Спохватятся, такъ и своихъ не узнаешь! Развѣ не подаритъ ли баринъ? Таковскій! А можетъ-быть. Не даромъ говоритъ старая Фетинья: „Ты, Лиза, своего счастья не видишь: замѣчай, какъ *онъ* глядитъ на тебя". А мнѣ что за дѣло? любилъ бы меня Степанъ... Ахъ, Степа, Степа! выпрошу я тебѣ эти деньги—заживешь ты бариномъ. Была не была, вѣдь онъ не съѣстъ меня..."

И Лиза, махнувъ рукой, вышла изъ комнаты въ дверь, куда ушелъ Ѳома Ѳомичъ. Пройдя три или четыре комнаты и небольшой темный корридоръ, она немного остановилась и, робко отворя дверь, вошла въ кабинетъ Ѳомы Ѳомича. Ѳома Ѳомичъ глядѣлъ въ потолокъ и курилъ трубку, лежа на кушеткѣ, въ красномъ халатѣ, красной ермолкѣ и красныхъ сапогахъ, шитыхъ золотомъ.

— Кого тамъ чортъ носитъ? грубо спросилъ Ѳома Ѳомичъ и сердито повернулъ къ двери голову.—А! это ты, Лиза? Это другое дѣло. Что, тебя барыня прислала—а?

— Нѣтъ-съ, я сама пришла: мнѣ нужно...

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Притворика дверь: тамъ страшно несетъ вѣтеръ, получше, на крючокъ, вотъ такъ. Ну, что ты скажешь?

— Вотъ, сударь, я нашла деньги въ той комнатѣ; не вы ли обронили?

— Деньги? какія? Покажи-ка сюда, поближе, поближе, чего ты боишься? Дура! вѣдь я тебя бить не стану. Экая дикая! Ну, вотъ эти деньги?

— Эти-съ.

— Мои, да Богъ съ ними! Когда нашла, возьми ихъ себѣ. Экія у тебя щечки свѣжія, точно малина!

Ѳома Ѳомичъ ущипнулъ Лизу за щечку.

— Полно вамъ, баринъ! шептала Лиза: —барыня услышитъ—забранитъ.

— Пускай услышитъ, пускай увидитъ! Ты, вѣдь, такая душка, что трехъ барынь стоишь.

Лиза крѣпко сжала меня въ рукѣ и мнѣ стало ничего не видно. Она меня такъ долго жала и комкала, что я даже потеряла чувство слуха, говоря языкомъ человѣческимъ, упала въ обморокъ, и когда пришла въ себя, то была уже въ саду. Лиза, растревоженная, разглаживала меня дрожавшими руками; ея лицо горѣло, изъ глазъ капали на меня горячія слезы, а кругомъ было свѣжо и пріятно, день вечерѣлъ, цвѣты и деревья цвѣли; недалеко подлѣ забора въ кусту сирени пѣлъ соловей.

Стемнѣло, соловей вдругъ пересталъ

пѣть и вылетѣлъ изъ куста, за заборомъ послышался шорохъ. Кто-то лѣзъ черезъ заборъ. Лиза запихнула меня за пазуху и скоро я услышала:

— Ты, Лиза?

— Я, Степанъ...

— Вотъ, я съ тобой, моя ненаглядная! Ну, какъ прошелъ день? не обижали ли тебя, не били ли?

— Нѣтъ, Степанъ.

— Отчего же ты такая невеселая?

— Не отъ чего мнѣ веселиться.

— И то правда. Отчего же ты плачешь? не рада мнѣ, что ли?

Лиза прислонилась къ плечу Степана и зарыдала, въ силу выговаривая:

— Видитъ Богъ, какъ я тебѣ рада... а плачу я оттого...

— Отчего?

— Сама не знаю отчего! На душѣ тяжело...

— Все перемѣнится, Лиза, погоди; легко будетъ. Вотъ я уже собралъ немного деньжонокъ, разбогатѣю—заживемъ!

— Что-то не вѣрится, Степанъ. А я тебѣ принесла денегъ—возьми ихъ. Я ихъ достала для тебя.

И Лиза подала меня Степану.

— Ба! пятирублевая! Да откуда ты взяла ее? Господа, говорятъ, и гривеничкомъ не разорятся, и платье-то шьютъ все поуже, да покороче, чтобъ меньше выходило...

— Ужъ не украла, собрала, да, собрала. Прощай, кто-то идетъ!

Лиза побѣжала, а Степанъ, прятаясь за кустомъ, долго смотрѣлъ ей въ слѣдъ, послѣ перелѣзъ черезъ заборъ и пошелъ дорогою на село, мимо сада, черезъ плотину.

На мосту, у мельницы, сидѣло нѣсколько человѣкъ; передъ ними, въ фуражкѣ, важничалъ Егорка, камердинеръ Ѳомы Ѳомича.

— Такъ онъ того?... говорилъ старикъ мельникъ.

— Еще бы! отвѣчалъ, смѣясь, Егорка, видимо уже немного подпившій.—Онъ у насъ былъ такой молодецъ въ полку, что держись... страхъ охочъ до бабъ, ему хоть хлѣба не давай!

— Вишь ты! печально замѣтилъ другой голосъ.

— А ты, дядя Пантелей, и призадумался. Видно у него хорошія дочки!...

— Что у меня за дочки! такія дрянныя, что самому смотрѣть досадно.

— Не хитри, дядя. Да коли правду сказать, вѣдь онъ и наградитъ всякую. Сами увидите, не въ челнѣ—на берегу, не сегодня—завтра...

— А что, а что?

— Да такъ, ничего, авось увидите барскую барыню—ужъ я его натуру знаю.

— Разскажите, Егоръ Ивановичъ.

— Да ужъ коли ему кто полюбится, такъ мѣсяцъ али и два никому передъ тѣмъ ровни нѣтъ, пока не прискучитъ — вотъ какъ! Увидите.

— А развѣ кто есть? Ужъ не изъ губерніи ли привезли?

— Своя, ребята!

— Своя? Кто жъ это? Шутишь, Егоръ Ивановичъ.

— Что я, парень какой, али вы дѣвки, чтобъ шутки шутить. Коли говорю, такъ правда.

— Ужъ не Лиза ли?

— Угадалъ, дядя! Посмотри, какъ она теперь заживетъ; будемъ ей кланяться, а деньгами все село забросаетъ!

— Да полно, она ли? спросилъ мельникъ.

— Я не вру, старикъ, хоть и въ походахъ бывалъ. Подождите: сами увидите.— Что такъ невеселъ, Степанъ?

— Раздумье беретъ, братцы. Есть у меня деньги, да не знаю, куда ихъ дѣть.

— Экъ призадумался! Есть лишняя деньга — ребромъ ее: и самому весело, и пріятелей угостишь. Не съ деньгами жить, а съ добрыми людьми.

— Думаю я самъ, да человѣкъ-то я непьющій, Егоръ Ивановичъ...

— Вонъ-на! А кажись на возрастѣ, да еще мастеровой: живая деньга водится, словно рыба въ прудѣ, и не пьетъ! Эхъ, братъ Степанъ, поживи больше, увидишь самъ — только и нашего что выпилъ.

— Правда, правда! Такъ идемъ, я угощаю.

И вотъ цѣлая гурьба потянулась за Степаномъ въ кабакъ. Сѣли гости на лавкѣ за столъ, сѣлъ и Степанъ, и выкинулъ меня, словно руки обжегъ, на грязный столъ, залитый виномъ, и закричалъ:—Вина, хозяинъ! бери деньги, давай вина!

— На сколько?

— На всѣ; да бери скорѣе деньги, не то я сожгу ихъ.

Гости переглянулись и начали пить. Степанъ пилъ вдвое противъ ихъ и скоро сталъ заговариваться и ругать барина. Егорка, изъ приличія, немного заступился за барина. Степанъ обругалъ Егора еще хуже; тогда Егоръ сильно заступился за барина, сослался на свидѣтелей, что, молъ, и такимъ и сякимъ называлъ его благородіе и похвалялся, Богъ знаетъ на что. Связали Степана и повели на барскій дворъ.

— Славный малый этотъ Степанъ! говорилъ хозяинъ кабака, считая выручку—и дернула его нечистая говорить такія рѣчи! Охъ-охъ! молодо—зелено! А началъ хорошо; да, кажись, ему уже не бывать у меня въ

гостяхъ. Ѳома Ѳомичъ не любитъ шутить... Охъ-охъ!..

Темно и душно было мнѣ лежать въ выручкѣ новаго хозяина, между разными монетами, покрытыми часто грязью, саломъ и Богъ знаетъ чѣмъ; притомъ насъ угнеталъ тяжелый спиртный запахъ и безпокоили разныя насѣкомыя. Выручка была заперта на замокъ, но насѣкомыя проникали въ нее черезъ узкую щелочку и обнюхивали насъ и царапали противными жесткими лапками.

Какъ судьба играетъ вещами! Давно ли я лежала въ атласномъ бумажникѣ, давно ли покоилась на груди дѣвушки и вдругъ попала въ грязный кабакъ, заключена, не знаю за что, въ непріятный сундукъ или ящикъ, называемый выручкой, гдѣ даже презрѣнные тараканы и другія насѣкомыя наносятъ мнѣ разныя неописанныя оскорбленія! Я молила судьбу о перемѣнѣ, и судьба скоро услышала мольбу: съ восходомъ солнца подъѣхалъ къ кабаку экипажъ, кто-то вошелъ въ кабакъ и началъ покупать полведра водки, самой лучшей, забористой, говоря, что ѣдетъ въ городъ судиться, такъ надо угостить кого слѣдуетъ не помоями, а чѣмъ-нибудь получше. Хозяинъ божился, что водка первый сортъ и что въ ней нѣтъ воды ни одной капли.

— Ну, ужъ это ты врешь, анаѳема! замѣтилъ гость.—Давай-ка сдачи.

Хозяинъ, ухмыляясь, открылъ выручку, взялъ меня, да старый затертый гривенникъ, да изъ чернаго народа двухъ братьевъ мѣдныхъ пятаковъ и, кланяясь, положилъ на столъ передъ гостемъ. Гость былъ толстый человѣкъ, небольшаго роста, одѣтый въ нанковый оливковаго цвѣта сюртукъ, и желтые нанковые панталоны; на головѣ онъ имѣлъ зеленый кожаный картузъ; въ рукахъ держалъ трубку съ гибкимъ чубукомъ, плетеннымъ изъ волосъ. Передъ окнами стоялъ экипажъ гостя, что-то среднее между бричкой и телѣжкой, выкрашенное ярко-зеленою краской. Въ экипажѣ были запряжены двѣ клячи, да еще бѣжали сзади два жеребенка.

Я сразу поняла, что обречена на жертву, въ видѣ сдачи толстому человѣку, и крѣпко боялась, чтобъ онъ не положилъ меня въ одинъ карманъ съ гривенникомъ и пятаками. Еще гривенникъ ничего; видно, что много жилъ на свѣтѣ, крѣпко пообтерся и потерялъ всякій отличительный характеръ не только гривенника, но даже вообще монеты; онъ былъ такой ласковый, гладенькій, что съ нимъ легко можно ужиться; но пятаки—ужасъ! они своими плебейскими, мѣдными ребрами истерзали бы меня, могли бы испятнать мою физіономію. Однако страхъ мой былъ напрасенъ: толстый человѣкъ положилъ пятаки въ карманъ своихъ панталонъ, гривенникъ — въ голубой бисерный кошелёкъ съ мѣднымъ замочкомъ, а меня—въ бумажникъ, правда, не атласный, но приличный званію ассигнаціи.

О гривенникѣ немного онъ поспорилъ съ хозяиномъ, который увѣрялъ, что гривенникъ почти новый, только пообтерся, а толстый человѣкъ говорилъ, что за него нельзя дать больше пятака серебра. Наконецъ, хозяинъ прибавилъ мѣдный грошъ, и толстякъ успокоился, говоря:

— Будь я проклятъ, если-бы я взялъ съ тебя, архиплута, и пятака придачи; да мнѣ все-равно, коли правду сказать, ѣду въ городъ по тяжбѣ, надо будетъ дать сторожу на водку—вотъ я твою дрянь и сбуду; замѣнитъ мнѣ новый; а дареному коню въ зубы не смотрятъ.

— Вы у насъ на это мастеръ! вамъ того-другаго не занимать стать! говорилъ старый мой хозяинъ, провожая новаго моего хозяина, толстаго господина, который, пыхтя, усѣлся въ экипажѣ, закурилъ трубку, ругнулъ на прощанье, въ шутку, для любезности, содержателя кабака и поѣхалъ въ городъ.

Всю дорогу толстый господинъ курилъ трубку, ворчалъ на кучера за тихую ѣзду и повременамъ потчивалъ его пинками, приговаривая: „Ворочайся, дружокъ! эка анаѳема! есть ли въ тебѣ христіанская душа? вѣдь я ѣду въ судъ, опоздаю— все пропало! Черти бъ тебя побрали“!

Наконецъ пріѣхали въ городъ. Мой толстый господинъ отправился въ какое-то присутственное мѣсто, и Богъ знаетъ, какъ умѣлъ пробраться до самаго главнаго начальника.

— Что вамъ угодно? спросилъ начальникъ такимъ голосомъ, что даже въ карманѣ и въ бумажникѣ я затрепетала.

— Я помѣщикъ N. N., отвѣчалъ мой господинъ робкимъ голосомъ—и пріѣхалъ по дѣлу, начавшемуся о вырубленіи насажденной лозы.

— А!... Господинъ секретарь, какъ-бишь это дѣло?

Тутъ начальникъ пошепталъ нѣсколько минутъ съ секретаремъ и сказалъ громко:

— Да, помню, помню! Сколько же вы, милостивый государь, вырубили лозы, или вашъ противникъ вырубилъ?

— Мой противникъ, точно такъ.

— Ну, да, я помню. Сколько же онъ вырубилъ?

— Не могу донести вамъ досконально, пять или шесть возовъ. Въ дѣлѣ все подробно описано, ибо оно не мной возведено.

— Помню, помню! Это вашего батюшку такъ обчистили?

— Никакъ нѣтъ; еще дѣдушку. Вотъ уже шестьдесятъ-пятый годъ идетъ процессъ и все у насъ съѣлъ! Дѣдушка былъ человѣкъ богатый, а я, его родной внукъ, просто нищенствую, а все изъ-за процесса, повѣрьте Богу!

— Да, сказалъ начальникъ хладнокровно: — вамъ придется понавѣдаться чрезъ мѣсяцъ или черезъ два, тогда посмотримъ.

— Помилосердствуйте! почти завопилъ проситель: — мнѣ писали, что дѣло приведено къ концу. Хоть я и ничего не получу за лозу, да имя мое останется чисто и карманъ избавится отъ издержекъ.

— Вольно было входить въ процессъ!

— Да вѣдь это дѣдушка!—Богъ ему судья! —а я получилъ его по наслѣдству.

— Какъ бы тамъ ни было, это не мое дѣло; а вы понавѣдайтесь послѣ.

— Да отчего же, позвольте узнать,

— Не безпокойте меня, оставьте меня въ покоѣ! Вотъ секретарь: онъ вамъ все объяснитъ.

Вышелъ начальникъ изъ пріемной комнаты, а мой господинъ давай упрашивать секретаря. Секретарь наладилъ одно: „Нельзя, нѣтъ времени, писцовъ мало, работы много, не успѣваютъ—и баста! На что, говорилъ онъ, обѣдъ—вещь хорошая, а если пообѣдаешь взаправду за двоихъ, такъ придется плохо; а работа не обѣдъ, такъ писецъ за двоихъ писать не станетъ, а жалованье, дескать, малое“...

Мой хозяинъ сказалъ что-то секретарю на ухо.

— Да развѣ такъ, отвѣчалъ секретарь, гораздо болѣе мягкимъ голосомъ:— все-таки вамъ придется имѣть писца для переписки всѣхъ справокъ и копій, придется пожертвовать капиталомъ... Давайте, если угодно, я распоряжусь.

— Покорнѣйше благодарю! Мнѣ очень совѣстно. Ужъ позвольте, я самъ распоряжусь по этой части.

— Какъ вамъ угодно, сухо отвѣтилъ секретарь:—я, вѣдь, тутъ ничѣмъ бы не воспользовался. Только торопитесь: сегодня четвергъ, приготовьте все къ субботѣ, а то воскресенье праздникъ, въ понедѣльникъ члены рѣдко собираются: это день отдыха. А начиная со вторника четыре дня табельныхъ и праздничныхъ: всѣ разъѣдутся и вамъ будетъ плохо.

Въ субботу утромъ мой господинъ вынулъ меня изъ бумажника и положилъ на столъ. Немного погодя, вошелъ въ комнату молодой человѣкъ лѣтъ семнадцати, худой, блѣдный, съ заплатами на локтяхъ, съ красными, лихорадочно сверкавшими глазами.

— Ну что, почтеннѣйшій Перушкинъ, кончили?

— Все кончилъ.

— Рѣшительно все?

— Рѣшительно все.

— И справки, и копіи, и копіи съ копій и прочее?

— Все, все!

— Да я васъ поцѣлую! Да вы, я вамъ скажу, пойдете далеко.

Молодой человѣкъ вздохнулъ.

— Что же, я думаю, вы это такъ, шутя переписали?

— Нельзя сказать.

— Такъ трудненько было?

— Я думаю! Сорокъ листовъ мелкаго письма! Днемъ занятъ службой; двѣ ночи напролетъ глазъ не смыкалъ надъ вашими бумагами.

— Скажите! А служба ваша много доставляетъ?

— Я служилъ сначала годъ на испытаніи, безъ жалованья, а теперь вотъ другой годъ служу на шестидесяти рубляхъ въ годъ ассигнаціями.

— А! жалованье изрядное: жить можно, даже съ удобствами.

— Помилуйте! еще бы одному можно какъ-нибудь перебиться, а у меня на рукахъ матушка да больная сестра: бьемся, какъ рыба объ ледъ...

— Да, это другая статья. Конечно, матушка, тамъ и прочее... женскій полъ, объѣдаютъ нашего брата. За то у васъ дешевизна какая! рыба ни по чемъ, почтеннѣйшій Перушкинъ—ей-богу!.. А, знаете, вы съ меня дорогонько взяли, говоря по чистой совѣсти, дорогонько: пять рублей— деньги.

— Я не спалъ двѣ ночи.

— Оно такъ; однако вамъ начальство даетъ въ мѣсяцъ пять рублей, а вы съ меня содрали за двѣ ночи... не хорошо, молодой человѣкъ; вы бы должны немного уступить...

— Если вамъ кажется дорого, пожалуйте назадъ бумаги.

— Зачѣмъ?

— Я ихъ сожгу—и концы въ воду. Ищите себѣ писца подешевле.

— Богъ съ вами! какой вы горячій! вѣрно изъ ученыхъ?

— Нѣтъ, не привелъ Богъ.

— И слава Богу! съ тѣми ничего не сдѣешь, совсѣмъ пропащій народъ, грубіяны... Я не перечу вамъ, а говорю только о дороговизнѣ цѣны; а коли вы не согласны— я не спорю. Вотъ ваши деньги.

Перушкинъ схватилъ меня, поклонился и быстро выбѣжалъ изъ комнаты.

— Милостивый государь! кричалъ вслѣдъ толстякъ:—если что-нибудь здѣсь ошибочно, вы обязаны подскоблить и переправить безъ всякой особой платы.

Цѣлый день я пролежала въ карманѣ писца Перушкина, слушая шопотъ чиновниковъ, и скрипъ, и царапанье перьевъ. Перушкинъ разъ десять выходилъ изъ канцеляріи въ сѣни, вынималъ меня, разсматривалъ и опять, бережно сложивъ и спрятавъ въ карманъ, возвращался на мѣсто, за что, подъ конецъ присутствія, былъ крѣпко распудренъ какимъ-то голосомъ, не то чтобы грубымъ или невѣжливымъ, а какимъ-то язвительнымъ голосомъ, такъ что кажется, еслибъ змѣя заговорила почеловѣчьи, у нея былъ бы такой же голосъ. Печально вышелъ изъ канцеляріи Перушкинъ; но, завернувъ за уголъ, досталъ меня изъ кармана, посмотрѣлъ, улыбнулся и почти бѣгомъ пошелъ домой.

На самомъ концѣ города, на форштатѣ, между пустырями и огородами, стоялъ мрачный деревянный домикъ, немного наклонясь на сторону. Его стѣны были желтаго цвѣта, крыша желтая же, только коегдѣ поросла мохомъ и пятнами, ярко зеленѣла и желтѣла, словно эффектно раскрашенная литографія. Окна тускнѣли какими-то особенными стеклами опаловаго цвѣта, напоминая собой очень непріятно глазныя бѣльма; двери покосились и, отворяясь, визжали, стенали и пѣли. Въ этотъ домъ прибѣжалъ Перушкинъ и, напутствуемый воплемъ двери, вошелъ въ комнату, гдѣ ожидали его старушка-мать и сестра, дѣвушка лѣтъ за двадцать, худая, блѣдная, вѣчно зябнущая и кашлявшая. Въ комнатѣ было довольно темно, день вечерѣлъ и окна не пропускали всего божьяго свѣта.

— Здравствуйте, матушка! закричалъ Перушкинъ.

— А! голубчикъ мой, Ваничка! Гдѣ ты такъ долго промаялся? Ужъ мы ждали, ждали тебя, да и ждать перестали. Похлебка простыла.

— Ничего, матушка. А что у васъ не горитъ лампадка передъ образомъ? вѣдь завтра праздникъ, къ вечернямъ уже благовѣстили.

— Эхъ, Ваня! сама я знаю, да Богъ проститъ: масло вышло, а купить не на что.

— Пустяки! купимъ!

— Ты кладъ нашелъ.

— А можетъ и нашелъ; и масла купимъ, и курицу купимъ назавтра на пирогъ, и сестрѣ теплые чулки купимъ—вотъ какъ! Возьмите, матушка, вотъ вамъ на праздникъ гостинецъ.

— Ахъ ты, Боже мой! цѣлая синяя ассигнація!

— Извѣстно, вотъ у насъ какъ!

— Ужъ не жалованье ли опять роздали?

— Нѣтъ, по два раза въ одинъ мѣсяцъ жалованья не даютъ; а это я самъ заработалъ: не поспалъ ночку, другую—вотъ и все! А теперь высплюсь.

— Смотри, Ваня, ужъ не взятка ли?

— Не обижайте меня, матушка! Я бѣднякъ, но не стану торговать душою. Да коли правду сказать, никто у меня и покупать ея не станетъ.

— Оно такъ! Я тебя знаю: ты доброе дитя, да берегись; иной разъ на сто тысячъ человѣкъ наткнешься и устоишь, а другой разъ на грошѣ сломишь шею. Бѣдный человѣкъ—какъ разъ обидятъ.

— Не обидятъ, коли правдой идешь. Станемъ, матушка, обѣдать, а то вотъ такъ сонъ и клонитъ.

— Успокойся, мой голубчикъ! А я послѣ обѣда пойду куплю масла, затеплю лампадку и встрѣчу праздникъ какъ Богъ велѣлъ.

Послѣ обѣда Перушкинъ уснулъ богатырскимъ сномъ. Сестра его улеглась, покашливая, въ другой комнаткѣ; старуха купила масла, изъ мелкихъ денегъ, оставленныхъ для домашняго обихода, а на меня долго смотрѣла и положила за образъ, затеплила лампаду и долго молилась, стоя на колѣняхъ, и тихо плакала; потомъ подошла къ сыну, перекрестила его, поцѣловала въ лобъ, сдѣлала еще передъ образомъ три поклона и пошла на свою постель. Скоро все утихло въ бѣдномъ домикѣ; легкимъ роемъ чудныя сновидѣнія толпились надъ уснувшими страдальцами, коварно дразня ихъ волшебными радостями. Все утонуло въ дрожавшемъ помумракѣ; одинъ только страдальчески-прекрасный ликъ Спасителя, озаренный свѣтиломъ лампады, кротко и сострадательно глядѣлъ изъ темнаго угла на спавшее бѣдное семейство.

Поутру старуха заварила кофе.

— Ого-го! закричалъ Перушкинъ,—да у насъ давно не было такого праздника!

— А все спасибо тебѣ, Ваня, говорила мать, цѣлуя сына.

— Полно, полно! стоитъ говорить объ этомъ! Еслибъ вы знали, что мнѣ снилось...

— А что тебѣ снилось?

— Снилось, хоть бы и на яву, что меня сдѣлали столоначальникомъ...

— И весьма можетъ быть: чѣмъ ты не столоначальникъ? Вотъ, къ моему покойнику хаживалъ столоначальникъ, такъ, бывало, смотрѣть гадко—такой мизерный! Ты такихъ десятокъ за поясъ заткнешь. А мнѣ снилось, что наша хохлатая курочка несла

не яйца, а хоромы, и въ хоромахъ все важные люди, пляшутъ, поютъ пѣсни и зажигаютъ трубки синими ассигнаціями.

— И это хорошо, матушка. Ну, а тебѣ что снилось, сестрица?

Бѣдная дѣвушка слегка покраснѣла и отвѣчала:

— Ничего.

— Вотъ ужъ быть не можетъ! Отчего же ты покраснѣла, сестрица? Вотъ и попалась! Недобрая, съ нами и сномъ подѣлиться не хочетъ.

— Полно, братецъ! Мнѣ снились такія нелѣпости...

— А напримѣръ?

— Снилось мнѣ, будто я въ шелковомъ платьѣ, вся въ цвѣтахъ, и кругомъ гости... такъ мнѣ завидуютъ... потомъ пошла въ церковь...

— Понимаю: ты была невѣста—да?

Дѣвушка молча кивнула головой; двѣ слезы побѣжали по ея блѣднымъ щекамъ.

— О чемъ же тутъ плакать? Сонъ въ руку! вотъ мы и отпразднуемъ твою свадьбу.

— Полно братецъ!

— Вотъ вздоръ! развѣ ты не хочешь замужъ?

Дѣвушка, рыдая, упала ня грудь матери и простонала:

— Перестань, братецъ! Я знаю, куда мнѣ дорога, я знаю, какіе это цвѣты!.. Она закашлялась, приложила къ губамъ платокъ, на платкѣ отпечаталось кровавое пятно. Перушкинъ сталъ на колѣни передъ сестрой и сжималъ ея холодныя руки, и плакалъ, и съ такой любовью глядѣлъ ей въ глаза, что дѣвушка улыбнулась, и сказала:— Я пошутила, полно вамъ безпокоиться; мнѣ уже лучше.

— Ну то-то же! Я зналъ, что будетъ лучше; оставь печальныя мысли. Вотъ купимъ тебѣ теплые чулки—и все какъ рукой сниметъ. У меня есть предчувствіе: станемъ работать—и все будетъ хорошо.

— Молодо—зелено! шептала старуха, глядя на сына:—подкрѣпи тебя Господи!

Къ вечеру Перушкинъ пошелъ съ сестрой гулять, а къ старухѣ явился какой-то человѣкъ преподозрительнаго вида, небритый, нечесаный, и сталъ говорить, что квартирная комиссія назначила въ домѣ старухи постой, полковую музыкантскую школу. Старуха доказывала, что у нея весь домъ изъ двухъ комнатъ и кухни; что негдѣ помѣститься музыкантамъ; что у нея дочь больная... Ничто не помогало, небритый былъ непреклоненъ. Старуха плакала, а онъ хладнокровно разсчитывалъ, гдѣ будутъ барабанить и гдѣ трубить.

Наконецъ старуха подошла къ образамъ, взяла меня дрожащими руками и отдала небритому человѣку, говоря: „Не взыщите, батюшка, чѣмъ богаты тѣмъ и рады, да постарайтесь за меня, вдову безпомощную...“ Небритый сталъ ласковѣе и обѣщалъ уладить дѣло „къ обоюдной пріятности“.

Въ ту же ночь, я перешла изъ кармана небритаго человѣка къ откупщику, и незнаю какъ очутилась на завтра, съ десяткомъ такихъ же синенькихъ, въ портфелѣ секретаря, котораго сейчасъ узнала по голосу. Голосъ его и его начальника остались у меня въ памяти съ того дня, какъ бывшій мой толстый господинъ являлся къ нимъ въ присутствіе.

Въ портфелѣ у секретаря былъ сущій раутъ, для нашего брата: здѣсь толпились и жались одна къ другой въ безпорядкѣ ассигнаціи всѣхъ цвѣтовъ и всѣхъ возрастовъ; намъ было и тѣсно, и душно, и неловко.

Вечеромъ секретарь заперъ дверь въ своемъ кабинетѣ, отперъ портфель и высыпалъ насъ на рабочій столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, забрызганнымъ чернилами; потомъ еще разъ попробовалъ дверь, точно ли она заперта, заткнулъ бумажкою замочную дырочку, опустилъ сторы и пришпилилъ ихъ по бокамъ къ окну булавками, зажегъ еще одну свѣчку и, вынувъ изъ шкапа большой тортъ, поставилъ его подлѣ насъ на столъ. Тортъ имѣлъ фигуру рога изобилія; онъ былъ сдѣланъ изъ сладкаго пряничнаго тѣста и сверху облитъ розовымъ сахаромъ, росписанъ разными узорами и украшенъ бумажными цвѣтами.

„Плохо жить съ дураками!“ ворчалъ секретарь, сердито глядя на тортъ: „говорилъ ему—средственный, а онъ прислалъ вотъ какую машину! думалъ, дуракъ, подобриться, прибавилъ на рубль пряника! а еще нѣмецъ, въ столицѣ учился. Бѣда съ дуракомъ! поди теперь, накорми эту бездонную бочку!“

Послѣ этого монолога секретарь взялъ вострый ножъ, бережно отрѣзалъ бокъ отъ торта и началъ, вздыхая и охая, выдалбливать изнутри тѣсто. Скоро тортъ представлялъ точное подобіе пустого рога; все тѣсто, вынутое изъ него, лежало высокой кучей на столѣ.

Секретарь посвисталъ въ пустой рогъ и, наливъ себѣ стаканъ вина, съѣлъ все вынутое тѣсто. Мы глядѣли на эти продѣлки, толкали другъ дружку и дѣлали различныя предположенія, недоумѣвая, что дальше будетъ; намъ не приходило въ голову, что сладкій пирогъ сдѣлается нашей тюрьмой, а вышло такъ: варваръ, съѣвъ

все тѣсто, принялся связывать насъ въ пачки розовыми ленточками, синенькія по двадцати, красныя по десяти, а бѣленькія по четыре бумажки въ пачку. Положивъ десять пачекъ въ пирогъ, секретарь опять началъ ворчать на нѣмца: „Вишь какъ угодилъ! въ прошломъ году вошло ровно десять пачекъ, а теперь еще пятокъ надо—шутка ли! а нельзя, рука руку моетъ, отъ того такія бѣленькія. Его не почтешь и онъ тебя не почтетъ при случаѣ, да еще какъ! Господи, Боже мой, трудно жить на свѣтѣ за грѣхи наши! Чтобъ *ему* подавиться этими пирогами... а впрочемъ, пусть живетъ—добрый человѣкъ *онъ*... А такая есть страшная басня про лягушекъ, какъ ихъ журавль *того*... Нѣтъ, ужъ пусть лучше *этотъ*... этого я натуру знаю; да и то подумаешь: кто не сѣетъ, тотъ и не жнетъ; кинь хлѣбъ-соль назадъ, впереди очутится —святая истина! Дай Богъ ему мафусаиловы вѣки... разумѣется, только жалко и даже прискорбно добро изъ рукъ выпускать. Ну, да мы свое наверстаемъ“.

Говоря эти слова, секретарь наполнилъ окончательно рогъ изобилія ассигнаціями и ловко заклеилъ бокъ отрѣзаннымъ кусочкомъ.

Тутъ ужъ для насъ настала кромешная тьма. Слышно было только, какъ хозяинъ вышелъ изъ кабинета, заперъ дверь на замокъ и, вынувъ ключъ изъ двери, ушелъ.

На утро въ кабинетѣ замѣтна была сильная тревога; хозяинъ шумно отворилъ дверь и началась суета; люди ходили, бѣгали, хозяинъ кричалъ, ругался, хлопоталъ о новыхъ брюкахъ и чистой манишкѣ, наконецъ спросилъ шпагу и сказалъ кому-то: „возьми это!“

И вотъ взяли насъ съ блюдомъ, завязали блюдо въ салфетку и, гордо усѣвшись на дрожкахъ, секретарь повѣсилъ салфетку съ блюдомъ на руку, и дрожки понеслись, гремя и прыгая по неровной мостовой. Не знаю, каково было ѣхать нашему хозяину, но намъ путешествіе показалось очень пріятно: мы ѣхали, покачиваясь словно въ люлькѣ, бережно сохраняемыя заботливой рукою секретаря. Наконецъ дрожки остановились; хозяинъ соскочилъ и понесъ насъ по лѣстницѣ во второй этажъ.

— Честь имѣю поздравить съ днемъ ангела, сказалъ секретарь, войдя въ комнату.

— А, спасибо, спасибо почтеннѣйшій! Что это у васъ? Вѣчно сюрпризы!

По голосу спрашивавшаго я сейчасъ узнала начальника секретаря.

— Это, прошу не побрезгать, жена собственноручно соорудила пирогъ...

— Э, къ чему это?

— Сдѣлайте божескую милость, не откажите. По нашему, по славянскому обычаю, слѣдуетъ поздравить хлѣбомъ-солью.

— Ну, ну, Богъ вамъ судья! поставьте тамъ. Вы всегда меня уговорите, право. Знаете, я вѣдь не люблю этихъ вещей... да собственно изъ уваженія къ трудамъ вашей супруги...

— Знаю, знаю.

— Ну, присядьте. Какъ ваши дѣла?

— Слава Богу, идутъ помаленьку...

— И слава Богу!.. Да скажите, пожалуйста, какъ это вы такъ скоро окончили дѣло, помните на прошлой недѣлѣ, того толстаго чурбана?

— О наслѣдствѣ и вырубленной лозѣ?

— Да, да... Я подписалъ, надѣясь на васъ, не читавши, и очень удивился, когда толстякъ пришелъ благодарить меня. Вы, кажется, говорили, его нельзя скоро отпустить?..

— Тутъ вышло, смѣю доложить, чрезвычайно казусное дѣло; справокъ была бездна, письма пропасть, и онъ все успѣлъ обработать къ присутствію, такъ что я изумился и самъ неволею долженъ былъ предложить къ подписанію, а то, чего добраго, этотъ сутяга еще бы полѣзъ куда повыше жаловаться.

— Боже избави!.. Меня одно удивляетъ, какъ онъ могъ обработать такъ скоро?

— Извините за выраженіе: далъ взятку писцу.

— Что вы! что вы! Богъ съ вами! Хотѣлъ бы я знать, кто въ моемъ вѣдомствѣ рѣшится взять взятку? скажите мнѣ...

— Говорятъ, писецъ Перушкинъ. Онъ все шепчется съ просителями и въ день рѣшенія дѣла сторожъ видѣлъ, какъ онъ выходилъ безпрестанно въ сѣни и пересчитывалъ деньги, все ассигнаціи!.. да и всѣ почти справки и копіи писаны рукой Перушкина.

— Такъ вотъ оно что! заревѣлъ начальникъ:—такъ у меня смѣютъ подъ носомъ брать взятки, а я и не подозрѣваю! Всѣхъ мѣрялъ по своей мѣркѣ!.. Мнѣ и въ голову не приходило, чтобъ молодой, благородный человѣкъ рѣшился... И что скажутъ про меня, когда узнаетъ про это высшее начальство?!.. Стыдъ, ужасъ! хоть сквозь землю провались! Спасибо вамъ, вы мой истинный другъ. Гей, человѣкъ! Что, тамъ въ передней, лежитъ листъ?

— Лежитъ.

— И расписываются?

— Расписываются.

— Хорошо. Когда придетъ канцелярист Перушкинъ, не давай ему расписываться,

а тащи его ко мнѣ, кто бы у меня ни былъ, тащи – слышишь?

— Слушаю-съ.

— Ну, ступай! Да и распушу же я его сегодня, впередъ будетъ меня бояться. Хотѣлъ бы чтобъ вы присутствовали, увидѣли бы, какъ я его распушу.

— Вы всегда говорите съ энергіей...

— А сегодня я особенно въ ударѣ намылить мальчишкѣ голову... У меня подъ носомъ смѣютъ брать взятки!.. Это ни на что не похоже... Куда же вы?

— Надобно еще поспѣшить въ одно мѣсто, заѣхать въ присутствіе, кое-что покончить, а потомъ еще въ церковь.

— Развѣ сегодня праздникъ?

— Общаго нѣтъ, но для нашихъ сердецъ чистый праздникъ, и мы отслужимъ молебенъ о благоденствіи любимаго нашего начальника... Ужъ извините! мы люди простые, что на душѣ, то и на языкѣ...

— Да это слишкомъ, право, слишкомъ! Я, вѣдь, не стою этого.

— Это ужъ мы оцѣняемъ... извините...

— Ну, такъ пріѣзжайте вечеркомъ на преферансикъ.

— За честь почту! Прошу прощенія...

— До свиданія!

— До пріятнѣйшаго свиданія!

По уходѣ секретаря, начальникъ заперъ дверь кабинета, проворно разломилъ рогъ изобилія и, нимало не удивясь, началъ насъ считать. Окончивъ счетъ, онъ сказалъ: „ого! больше прошлогодняго!“ взялъ насъ двѣ пачки въ свой бумажникъ, остальныя положилъ въ бюро, а корки пирога бросилъ въ каминъ; я попала въ бумажникъ.

Вечеромъ у начальника была куча гостей, и статскихъ и военныхъ, и мужчинъ и дамъ, и старыхъ и молодыхъ. Все это ѣло, пило, прыгало, кланялось, играло въ карты, злословило и сплетничало.

— А что, спрашивалъ секретарь начальника: – изволили распечь?

— Кого? Ага, да, Перушкина! Нѣтъ, ко мнѣ его не приводили; съ утра были съ визитами: вѣдь меня люди помнятъ.

— Еще бы!

— Да вашъ пирогъ очень хорошъ; я этакъ съѣлъ корочку—отличная корочка, такъ и разсыпается. Я его никому не дамъ, самъ съѣмъ.

— И прекрасно! На здоровье.

— Да, о чемъ бишь я говорилъ?... Да, такъ съ утра все были визиты, потомъ пріѣхала Нимфодора Петровна, потомъ Василиса Ивановна, потомъ здѣшній бригадный генералъ—такъ день прошелъ, и забылъ про Перушкина. Гей, Митька! что же я тебѣ приказалъ привесть Перушкина?

— Никакъ не могъ-съ!

— Это отчего? развѣ онъ противился?

— Никакъ нѣтъ-съ, да они не приходили.

— Ты дуракъ! о канцеляристѣ говоришь *они*... какъ же ты скажешь о высокоблагородномъ человѣкѣ? или высокородномъ?! Убирайся! Эти неучи никакой политики не знаютъ! Да и Перушкинъ хорошъ гусь: набралъ взятокъ, да и глазъ не кажетъ. Ну, теперь пусть на себя пеняетъ: хотѣлъ было я ему сегодня для именинъ намылить голову, да и баста, а теперь вижу, онъ еще и вольнодумецъ, и либералъ!.. нѣтъ, ужъ я не попущу этого, теперь мы другимъ образомъ разсчитаемся.

Гости просидѣли далеко за полночь, наговорились до-сыта о благородствѣ и добродѣтели, перекусили пирога, икры, сельдей и разныхъ соленостей, порядочно подпили мадерой и тенерифомъ, и разъѣхались, счастливые, довольные, по крайней мѣрѣ по наружному виду.

Начальникъ поднялся поздно утромъ, очень недовольный собой и всѣмъ свѣтомъ: у него немного болѣла голова и во рту было горько, за что порядочно досталось камердинеру Митькѣ. Притомъ, вчера гости пили, какъ греческія губки, ѣли какъ волки, а главное, забывали достойно хвалить и съѣдомое, и питье... а тутъ еще прислали къ подписи бумаги, десятка четыре или пять. Шутка ли, подмахнуть подъ каждой свою подпись! Пока начальникъ, проклиная экстренныя дѣла, подписывалъ бумаги, кофе совершенно простылъ и въ чашку упала большая муха; пока заварили другой кофе, пришла пора ѣхать въ должность, день былъ присутственный и со дня на день ждали ревизора: не ѣхать нельзя. И поѣхалъ начальникъ въ должность, избави Боже, какой сердитый! Мы, лежа въ бумажникѣ на груди его, съ ужасомъ слышали, какъ билось его могучее сердце о крѣпкую грудь, стучало словно молотокъ... Бѣда если важныя причины разсердятъ важнаго человѣка!

При появленіи начальника, шумно поднялись канцелярскіе чиновники. Начальникъ важно, строго и холодно кивнулъ имъ головой, сдѣлалъ шага два и остановился. Въ комнатѣ воцарилось глубокое молчаніе; только въ растворенное окно слышно было съ улицы, какъ извощикъ кричалъ на лошадь: „гу, дрянь! поворачивайся!.. Ахъ, ты...“

— Закрыть окно! энергически сказалъ начальникъ.

Десятки рукъ быстро протянулись къ окну, и оно, кажется, съ перепугу само по себѣ проворно захлопнулось.

— Г-нъ Перушкинъ, продолжалъ начальникъ:—гдѣ вы шлялись вчера, что васъ никто и въ глаза не видалъ?

— Я былъ дома... сестрѣ было очень худо... она умираетъ отъ чахотки.

— Что же вы докторъ, что ли? Вѣчныя отговорки, какъ у школьника! Ну, это мимо. А кто вамъ позволилъ марать наше мѣсто, безчестить наше званіе—а? Знаете ли вы, молокососъ, что честь должна быть дороже всего для благороднаго человѣка, а вы, какъ подъячій, деретe съ просителей взятки...

— Извините, я никогда...

— Молчать! молчаніе есть половина исправленія, а вы еще и запираетесь! Это дерзость. Что изъ васъ будетъ въ мои лѣта—страшно подумать! А кто наглымъ образомъ обобралъ толстаго господина, вотъ что возился съ лозою—а?

— Я взялъ за труды, я не спалъ двѣ ночи...

— Посмотрите, господа, и еще смѣетъ признаваться въ своей низости, будто въ добромъ дѣлѣ! Съ такимъ человѣкомъ я служить болѣе не могу. Г. правитель дѣлъ! выдать ему аттестатъ, чтобъ я его больше въ глаза не видѣлъ.

— Помилуйте! простоналъ Перушкинъ:— что я стану дѣлать? сестра умираетъ, матушка больна...

— Было прежде объ этомъ думать.

— Не погубите!..

— Самъ себя губитъ, да еще и плачетъ! Выдать ему сегодня же аттестатъ! Я родному сыну не простилъ бы подобнаго проступка. У меня смѣетъ взяточничать!

Начальникъ гордо прошелъ черезъ канцелярію и, войдя въ свою комнату, заперъ за собой дверь.

Можете представить, какъ мнѣ была тяжка эта сцена, мнѣ, знавшей, хотя случайно, но довольно вѣрно, и Перушкина, и начальника! Я готова была, еслибъ могла, возгорѣться и сжечь вмѣстѣ съ собою лицемѣра, гордаго, потому что онъ необличенъ, что онъ выше бѣднаго Перушкина, что онъ беретъ не пять рублей, а тысячи... и пропасть мыслей самыхъ мрачныхъ толпились во мнѣ, а между тѣмъ мои сосѣдки, незнавшія сокровенныхъ пружинъ этой драмы, невидѣвшія ея закулисныхъ тайнъ, шевелились отъ восторга въ бумажникѣ и пищали: „Ахъ, какая справедливость! какой характеръ! Такихъ людей побольше—и наше общество процвѣтетъ".

— Это второй Брутъ! пропищала подлѣ меня одна старая, продырявленная, истасканная до нельзя ассигнація.

— А первый кто былъ? спросила я.

— Первый? помилуйте! развѣ вы не знаете—это былъ человѣкъ съ характеромъ: его всѣ знаютъ, не стоитъ о немъ спрашивать!.. Господи! сколько я наслушалась о Брутѣ, когда лежала полгода въ кошелькѣ одного латиниста!

Такъ разсуждали мои товарищи по бумажнику. Подумаешь, точно люди!.. А начальникъ сѣлъ въ кресло, понюхалъ табаку, крякнулъ и сказалъ самъ себѣ: „Такъ ему и надо, мальчишкѣ! Примѣръ—великое дѣло. Очень кстати тутъ, въ пріемной, были какіе-то два просителя, одинъ еще, кажется, изъ военныхъ: пусть знаютъ насъ, пусть разсказываютъ. Эхъ, если бы на эту пору да прикатилъ ревизоръ!.. да все равно, онъ узнаетъ. Кто что ни говори, а счастливый я человѣкъ! На первый разъ будетъ ревизору дѣло, этакое не простое, съ толками о благородствѣ и подобномъ... Да и велъ я себя прилично, строго, навѣтливо... Ни лишняго слова, ни лишняго движенія, а между тѣмъ такъ и рѣзалъ правду, даже самъ къ себѣ въ это время чувствовалъ уваженіе..."

Въ одно пріятное утро начальникъ написалъ два письма; въ одно положилъ красненькую ассигнацію, а въ другое девять красненькихъ и насъ двѣ синихъ. Я мигомъ прочитала письмо и помню его отъ слова до слова.

„Ангельчикъ Полина! давно я не видѣлъ тебя, то именины были, то жена варила воду, а главное, служба—она у меня отнимаетъ все время. Сижу въ канцеляріи и думаю о тебѣ, о твоихъ бѣленькихъ ручкахъ, свѣтленькихъ глазкахъ, звонкомъ голоскѣ, кругломъ, полненькомъ станѣ... Такъ бы вскочилъ и поѣхалъ къ тебѣ, да нельзя: долгъ удерживаетъ. Нашему брату, важному человѣку, надобно быть осторожну: всѣ на тебя смотрятъ... дѣлать нечего, сиди, дѣла не дѣлай и отъ дѣла не бѣгай. Да Богъ съ ними! Ну, какъ ты, мой душеночекъ, прохлаждаешься? Здорова ли ты совершенно? Можно ли будетъ, этакъ, къ тебѣ понавѣдаться, разсѣяться отъ житейскихъ тревогъ? На помаду посылаю сто рублей. Эти выйдутъ—скажи, еще пришлю. Вѣдь мы друзья, а у друзей что мое, то и твое. До свиданія! Напиши съ этимъ человѣкомъ отвѣтъ, гдѣ, когда и какъ мы увидимся, все какъ слѣдуетъ подробнѣе. А до того цѣлую тысячу разъ твои ручки, глазки, носикъ и прочее...

Тебѣ извѣстный..."

Подписавъ на конвертѣ адресъ: „Милостивой государынѣ Пелагеѣ Харитоновнѣ Хвостиной“, начальникъ уже хотѣлъ было запечатать письмо, какъ вдругъ ударилъ себя по лбу и сказалъ: „Ахъ, я старый дуракъ! вѣдь оно одно и то же, а такъ будетъ красивѣе: однообразіе пріятно для глаза“. И, вынувъ насъ, синенькихъ, изъ письма, положилъ на наше мѣсто изъ другого пакета красненькую, и запечаталъ, говоря: „Вотъ такъ будетъ аккуратнѣе, милѣе: и видно, что деньги отъ порядочнаго человѣка, не собранныя какъ-нибудь, а подобранныя: есть, значитъ, изъ чего подбирать... А эти пойдутъ сюда... Да впрочемъ... именно, ей что ни пошли, все какъ въ бочку; а главное, признательности нѣтъ: воображаетъ, что я долженъ дѣлать, а пользы въ ней ровно никакой! Нѣтъ, довольно будетъ съ васъ и синей, а какъ говорится, для близиру, нужно послать... въ уѣздномъ городишкѣ сейчасъ затрубятъ!“

Начальникъ что-то переправилъ въ письмѣ, одну синенькую спряталъ въ бумажникъ, говоря „и одной будетъ довольно“, а меня положилъ въ письмо, запечаталъ и отправилъ на почту. Я ѣхала болѣе недѣли и, отъ скуки, все читала своего сосѣда письмо:

„Милостивая государыня
Анна Марковна.

„По чувству сыновняго почитанія пріятнымъ долгомъ считаю поздравить васъ, драгоцѣнная матушка, съ наступающимъ днемъ рожденія вашего и молю Творца о продленіи дней вашихъ. Имѣю честь именоваться вашимъ покорнымъ слугой и сыномъ NN...

18... года
Мѣсяца 30 дня
Городъ N. N.

„P. S. Посылаю вамъ на молебенъ пять рублей; желалъ бы послать и болѣе, но душа моя разрывается, а не могу: жена, дѣти!... надобно думать о будущемъ, что-нибудь припрятать на черный день, а служба все время съѣдаетъ и здоровье тоже. Счастливы вы, что не служите. Тяжело, хотя лестно и почетно“...

Старуха, получивъ письмо, прослезилась, поцѣловала его и меня поцѣловала и прочитала письмо своей пріятельницѣ Аграфенѣ Семеновнѣ, старушкѣ въ темномъ ситцевомъ капотѣ, съ головой, скромно повязанной чернымъ платочкомъ. Аграфена Семеновна выслушала письмо, сказала двѣ три фразы на славянскомъ языкѣ, значенія которыхъ, казалось, вовсе не понимала, но воображала, что тутъ они очень кстати, и собралась итти.

— Куда вы, Аграфена Семеновна? спрашивала заботливо хозяйка.

— Прощайте, матушка, дѣло есть, право, некогда.

— Не успѣли придти, а уже и бѣжите!

— Извините, въ другой разъ посижу, а теперь право, ей-богу, некогда.

Аграфена Семеновна ушла, но не прошло и четверти часа, какъ явился ея мужъ, гарнизонный прапорщикъ, сѣдой, приземистый старичокъ.

— Честь имѣемъ поздравить, сударыня, говорилъ прапорщикъ, неловко шаркая лѣвой ногой и подходя къ ручкѣ хозяйки.

— Съ чѣмъ, батюшка?

— Съ полученіемъ радостнаго письмеца и денегъ отъ сынка.

— А вы уже знаете?

— Помилуйте-съ, весь городъ знаетъ.

И точно, благодаря языку прапорщицы, скоро собрались сюда всѣ уѣздныя знаменитости. Пришелъ приходскій священникъ, смотритель уѣзднаго училища съ двумя учителями, рисованія и физико-математическихъ наукъ, квартальный надзиратель, даже явился секретарь земскаго суда и, въ заключеніе, пріѣхалъ самъ городничій въ мундирномъ сюртукѣ, украшенномъ разными медалями.

— Вы не повѣрите, какъ пріятно слышать такое сыновнее вниманіе! говорилъ одинъ изъ гостей.

— Итакъ, онъ помышляетъ о благихъ дѣлахъ, замѣтилъ другой.

— Этакую штуку не всякій выкинетъ, подхватилъ третій:—какъ разъ ко дню рожденія! И какъ онъ помнитъ на такомъ мѣстѣ...

— И будучи безмѣрно обремененъ важными, можно сказать, государственными дѣлами...

— Ужъ онъ у меня, сказала хозяйка:—на этотъ счетъ съ молоду не промахъ; еще въ дѣтствѣ былъ, такъ завелъ такую книжку, и всѣ именины и рожденія родныхъ и знакомыхъ записалъ! Уже прежде его, бывало, никто никого не поздравитъ; чуть станетъ разсвѣтать, а онъ ужъ въ передней и кричитъ, словно колокольчикъ: „честь имѣю поздравить съ великою радостью!“

— Видите! сказано справедливо: каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку.

— Смолоду подавалъ большія надежды!

— Вы счастливы, сударыня матушка:—такой сынъ, какого дай Богъ всякому! ей-богу, безъ лести.

— Онъ далеко пойдетъ. коли теперь въ такихъ чинахъ и на такомъ мѣстѣ...

— Дай ему Богъ: и насъ не забудетъ. Что ни говори, а мы всетаки одного го-

рода земляки. Вы тамъ ему въ письмѣ, знаете, матушка, намекните.

— Извѣстно, заговорила хозяйка:—грѣхъ забывать своихъ, а онъ у меня такой благочестивый...

Достойный человѣкъ!

Достойнѣйшій!

Я вамъ скажу, добродѣтельный человѣкъ!

— Добродѣтельнѣйшій!

— Это рѣдкость!

Это чудо въ нашъ вѣкъ!

А!...

О!...

Э!...

Хозяйка рѣшительно растерялась и, со слезами на глазахъ, кланялась и присѣдала своимъ гостямъ. Должно быть, сынокъ зналъ городъ, гдѣ жила его матушка.

На другой день хозяйка загрустила, все ходила по комнатѣ, все вздыхала, то вдругъ останавливалась, о чемъ-то думала и почти съ отчаяніемъ шептала: „какъ тутъ быть? какъ поступить?...“

Міръ и благоденствіе дому сему! протяжно сказалъ, входя въ комнату, приходскій священникъ, старикъ высокій, съ лицомъ строгимъ, но открытымъ и прямымъ.

Благословите, батюшка, отецъ Герасимъ!

Богъ благословитъ! О чемъ такъ грустите, о чемъ смущаетесь?

Мало ли есть о чемъ? И того надо, и другаго, и третьяго...

Мало ли есть чего! скажу я, только дай волю человѣку — и четвертаго, и сотаго захочетъ.

Вы меня знаете, отецъ Герасимъ, я [illegible] до старости, а никогда не была за[illegible]: а тутъ раздумье взяло! Видите, [illegible] вчера сынъ на молебенъ пять [illegible]

[illegible] тароватo! У насъ самъ [illegible] не болѣе рубля серебра [illegible], а ваше состояніе бѣдное, не[illegible] благостыня...

[illegible] батюшка, и я думала! [illegible] и грѣхъ, а таиться не [illegible] хорошо такъ гово[illegible] статься, и думать такъ [illegible] еще лукавый собла[illegible] отецъ Герасимъ: [illegible] больно жутко. Вы [illegible] отъ садика: что [illegible] да яблочки, [illegible] Пришла весна, [illegible] еще не по[illegible] нѣтъ—хоть [illegible] писать не [illegible] послѣднимъ [illegible]. Думаю: перебьюсь какъ-нибудь, взяла да и заложила заячью шубейку за цѣлковый, чтобъ отдать осенью пять рублей. Тутъ пришла буря, обнесла яблоки, и я осталась безъ всего; а время настаетъ холодное, да пора бы и выкупить. Хоть шубейка и коротенькая и притерта немножко, а все мнѣ стала дороже пятнадцати рублей, такъ жаль отдать за пять. А тутъ денегъ нѣтъ, а тутъ словно на искушеніе прислалъ сынъ деньги для святаго дѣла. Христіанская душа во мнѣ шепчетъ: „отслужи молебенъ“, а лукавый шепчетъ: „выкупи шубку. Идутъ холода—плохо тебѣ будетъ“. Да вотъ такъ мысли замучили, что хоть въ воду броситься, по пословицѣ: и кума жаль, и пива жаль.

— Этому горю можно помочь. У кого вы заложили шубку?

— Она, моя сердечная, у этого, прости Господи, жидомора, Канчукевича. Всилу далъ цѣлковый! „Вы, говоритъ, даете мнѣ на лѣто шубку отъ моли на сохраненіе“.

— Онъ человѣкъ нехорошій. Ну, да помочь можно.

— Какъ батюшка, отецъ Герасимъ? научите меня!

— Очень просто. Я васъ уважаю, какъ честную и добрую христіанку, знаю, что вы бѣдны, и отслужу молебенъ о здоровьи вашемъ и вашего сына, а пятью рублями совѣтую выкупить шубку.

— Вы добрый человѣкъ! Кто васъ не знаетъ? Хоть вы и не въ почетѣ—сами не хотите, мы всѣ знаемъ и любимъ васъ больше иного важнаго человѣка, да я васъ не послушаю: душа болитъ, какъ вспомню, что покорыствуюсь неправдой. Онъ, мой голубчикъ, удѣлилъ изъ жалованья на святое дѣло, можетъ статься, плакалъ, думая обо мнѣ, а я, старая дура, выряжусь въ шубку на эти деньги! Нѣтъ, батюшка, не хочу пятнать совѣсти, отдамъ деньги за молебенъ, а безъ шубки какъ-нибудь перебьюсь Не смущайте меня, отецъ Герасимъ!

— Я не возьму вашихъ пяти рублей.

— Не обижайте меня!

— Я васъ не хочу обижать и никого не обижаю. А денегъ не возьму,—это грѣхъ!

— Возьмете.

— Право, не возьму.

— Ну, такъ я пойду къ отцу Андрею: онъ не знаетъ моихъ обстоятельствъ и возьметъ мое приношеніе. А мнѣ все равно: отдала бы я куда слѣдуетъ...

— Если такъ, то я прошу васъ не ходить въ другой приходъ. Когда ваше рожденіе?

— Послѣзавтра.

— Такъ приходите въ церковь, помолимся Богу, и да будетъ по-вашему.

— Вотъ и давно бы такъ! Вѣрите ли, ба-

тюшка, у меня словно камень свалился съ души! Теперь и спать буду покойнѣе, и кушать аппетитнѣе.

Я, синяя ассигнація, потолкавшись между людьми, до того привыкла къ лицемѣрію и до того стала подозрительна, что противъ воли думала худое объ отцѣ Герасимѣ.

Отецъ Герасимъ отслужилъ молебенъ въ день рожденія моей хозяйки; она усердно молилась и раза два подходила къ священнику съ просьбой не забывать ея сына и почаще его почитывать. Послѣ молебна она съ такимъ спокойствіемъ, съ такой почти радостью отдала священнику меня, что можно было подумать, будто она удѣляетъ малую долю, излишекъ отъ большаго капитала, а у нея болѣе ничего не было.

Священникъ, положа меня въ карманъ, раскланялся съ моей хозяйкой; она приглашала его зайти на кусокъ пирога; онъ отговорился недосугомъ и, взявъ пономаря, пошелъ скорыми шагами. Долго шли мы, наконецъ остановились. Пономарь застучалъ въ ворота; залаяла собака; немного погодя, она перестала лаять, заворчала и умолкла.

— Стучи еще! сказалъ отецъ Герасимъ.

Пономарь снова принялся колотить; снова залаяла собака, но на этотъ разъ вторилъ ей какой-то дѣтскій голосъ, дико кричавшій: „кто тамъ? кого несетъ нелегкая?“

— Канчукевичъ дома?

— А тебѣ на что?

— Нужно, больно нужно, для его же интереса.

— А для какого, позвольте узнать, интереса? вдругъ спросилъ изъ подворотни сиплый, дрожавшій голосъ.

— А, вотъ и вы тутъ, такъ и прекрасно! Я къ вамъ принесъ кое-какіе должки по порученію моихъ духовныхъ чадъ...

— Хорошія рѣчи! прекрасныя рѣчи! говорилъ Канчукевичъ, отпирая калитку и низко кланяясь.—Милости просимъ. Времена, батюшка, нынче крутыя стали!.. бѣдному человѣку жить нельзя, съ денежки на полушку ступаешь, да и тутъ оступаешься... Бывало, встарину, разсказываютъ, вельможи водились съ открытыми столами и прочими благами... Поди только, поцѣлуй ручку милостивца и садись обѣдать, сколько душѣ угодно, только съ собой не бери; поцѣлуй кстати ту же ручку—съ плечъ кафтаномъ подаритъ!.. Было время! А теперь сунься кому къ ручкѣ, за то и кафтаномъ нашего брата не подарятъ. А что стоитъ поцѣловать ручку? - ничего, ровно ничего! а изъ ничего кафтана не сошьешь... Были времена!..

И долго еще скупой старикъ тянулъ свою Іереміаду, но священникъ просилъ его скорѣе отдать шубку. Охая, ушелъ Канчукевичъ въ другую комнату и, наконецъ, вышелъ, говоря: „Слѣдуетъ пять рублей, да я выколотилъ изъ нея моль два раза. Посудите, батюшка, время мнѣ дорого, человѣкъ я бѣдный, хоть по гривенкѣ за каждый разъ положите, всего выйдетъ двадцать копеечекъ; вѣдь хуже было бы, когда бы съѣла моль?

— Г. Канчукевичъ, сказалъ строгимъ голосомъ священникъ:—вы этого не получите. Стыдно вамъ и грѣшно грабить вдовъ и сиротъ. Я вамъ дамъ пять рублей, но болѣе вы ничего не получите, и не совѣтую вамъ даже говорить объ этомъ.

— О, Господи, ты все видишь! завопилъ Канчукевичъ. —Помогай послѣ этого бѣднымъ! Изъ послѣднихъ денегъ удѣлилъ частицу—меня же еще упрекаютъ!

— Вы взяли за три съ полтиной на четыре мѣсяца полтора рубля; вѣдь это болѣе ста на сто!

— Кто вамъ сказалъ? вздоръ! гдѣ документы? Я благородный человѣкъ, и вы меня не извольте обижать.

— Что же вы, даете шубку?

— Вотъ она, да прибавьте хоть гривну! Вѣдь сказать совѣстно, что выколачивалъ шубку я самъ, своими руками и взялъ по пятаку за разъ! только изъ христіанской любви это дѣлалъ.

— Не клеплите на христіанскую любовь; не вамъ говорить о ней! Давайте шубку!

— Хоть пятакъ прибавьте... Алешѣ на баранки.

— Алеша пусть придетъ ко мнѣ, я его покормлю баранками.

— Дѣлать нечего! Гдѣ же ваши деньги?

— Вотъ онѣ.

Отецъ Герасимъ вынулъ меня изъ кармана Передъ нимъ стоялъ худой, желтый, небритый старичокъ въ фризовомъ изорванномъ сюртукѣ, доходившемъ до пятъ. Это былъ самъ Канчукевичъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ коротенькую заячью шубку, крытую свѣтлосиней китайкой, а другую, тощую, желтую, немытую, съ огромными когтями, жадно протянулъ къ священнику. Когда я попала въ когтистыя руки Канчукевича, онъ отдалъ шубку отцу Герасиму, а самъ началъ меня разсматривать, свѣрять нумера и тому подобное.

— Возьми эту шубку, сказалъ отецъ Герасимъ пономарю,—и отошли ее хозяйкѣ, ты знаешь?

— Знаю-съ, что была сегодня въ церкви.

— Ну, да. Скажи ей, что г-нъ Канчукевичъ поздравляетъ ее со днемъ рожденія и прислалъ, молъ, назадъ шубку.

— Позвольте, позвольте! закричалъ Канчу-

кевичъ:—какъ же это будетъ? вѣдь я деньги получилъ, развѣ онѣ фальшивыя?..

— Успокойтесь, Богъ съ вами.

— Да, кажется, все на мѣстѣ, какъ слѣдуетъ; отчего же на меня такой поклепъ?

— Вамъ какое дѣло? Вы деньги получили сполна, и я воленъ говорить, что хочу, лишь бы не дурное.

— Недурное! Увѣрить бабу, что я ей прислалъ обратно заложенную вещь, такъ, за спасибо—это хуже пожара, хуже дырки въ сапогѣ! На Канчукевича еще не бывало такой напраслины.

— А вамъ что отъ этой напраслины?

— Мнѣ то что? да они меня со свѣта сгонятъ; разумные люди засмѣютъ... Ну, да я плюю на людей, хоть и на умныхъ. Старъ сталъ, ко всему присмотрѣлся; а вотъ бѣда, какъ узнаетъ эта голодная сволочь, что я въ именины для праздника подарки дѣлаю на бѣдность, такъ мнѣ житья не будетъ! Теперь держу себя на благородной дистанціи, да и то ину пору не знаешь куда спрятаться: ругаются, плачутъ, проклинаютъ и просятъ денегъ; а тогда... и подумать страшно. Да они меня разорятъ, убьютъ, съѣдятъ... Не говорите напраслины, батюшка.

— Пономарь! ступай, куда тебѣ приказано, сказалъ священникъ.

— Ступай, ступай! кричалъ уходившему пономарю Канчукевичъ: — провались хоть сквозь землю, да обо мнѣ ничего говорить не моги—слышишь? лучше обругай меня, скажи: „собака Канчукевичъ“, а добраго не моги!..

Пока разговаривалъ Канчукевичъ, я осмотрѣла комнату; она была не велика, въ первомъ этажѣ каменнаго дома со сводами, съ двумя окнами, заложенными толстыми желѣзными рѣшетками, съ двумя дверьми; однѣ, толстыя, дубовыя, вели въ сѣни, а другія, узенькія, окованныя листовымъ желѣзомъ—въ смежную комнату, изъ которой Канчукевичъ вынесъ шубку; въ комнатѣ стоялъ старый столъ и два стула, обитые когда-то кожей, которой остатки, въ родѣ ушей, торчали по сторонамъ бывшихъ подушекъ; полъ, выложенный плитой, покрытъ пескомъ и пылью; узенькая дорожка была протоптана на пыли отъ одной двери къ другой.

Когда ушелъ пономарь, Канчукевичъ съ безпокойствомъ началъ оглядываться и наконецъ спросилъ:

— Кажется, вамъ ничего болѣе ненужно?

— Ничего, грустно отвѣчалъ священникъ.

—Прощайте, г-нъ Канчукевичъ.

Выпроводивъ священника, Канчукевичъ заперъ ворота, осмотрѣлъ заборъ и погладилъ тощую собаку, которая, кажется, гораздо съ большимъ удовольствіемъ приняла бы косточку или корку хлѣба; но Канчукевичъ любилъ награждать болѣе пріятными словами, ласковыми рѣчами и взглядами, нежели чѣмъ-нибудь существеннымъ; у него была поговорка: „накорми собаку до отвалу, она и забудетъ тебя, перестанетъ нести сторожевую службу да спать уляжется, а въ полголода—ей неопасно, не умретъ, между тѣмъ весело, нетяжело, спать не хочется и хозяину хорошо“. Потомъ заперъ двери сѣней и вошелъ въ первую комнату.

Тутъ, у двери, стоялъ мальчикъ лѣтъ десяти, нечесаный, босой, оборванный; исподлобья глядѣлъ онъ на Канчукевича, магнитизируя свой носъ указательнымъ пальцемъ.

— А ты, Алешка, что дѣлаешь тутъ? зачѣмъ забрался? стянуть что хочешь—а? говори, скверное зелье! закричалъ Канчукевичъ на мальчика.—Вонъ отсюда! куда ты? куда бѣжишь?.. обрадовался, съ глазъ долой, такъ и радъ! Сиди мнѣ у воротъ, да посматривай въ подворотню: кто ходитъ по улицѣ и какъ ходитъ, и зачѣмъ ходитъ—понимаешь?

— Понимаю... да...

— Что тамъ еще?

— Дали бы мнѣ какіе-нибудь сапожишки: земля холодная, сырая... ночью былъ морозецъ, больно...

— Сапожишки! Ахъ, ты уродъ этакой! сапожишки! Да заработалъ ли ты въ свой вѣкъ на сапожишки? Ха-ха-ха! Вотъ до чего роскошь доходитъ: этакой пузырь о сапогахъ думаетъ! Скоро моя Жучка придетъ просить сапоговъ. Къ тому идетъ за грѣхи наши!.. А посмотрѣли бы на картины, какъ было въ древности; и цари, и сильные земли гуляли по свѣту безъ сапогъ... да что безъ сапогъ! безъ жилетовъ и прочаго. Какой-нибудь герой накинетъ на плечи легонькой халатъ—и правъ, и вездѣ принятъ! Много ли человѣку надобно, лишь бы благопристойность была соблюдена. За то и вѣкъ былъ, какъ пишутъ, золотой. Много, чай, было тогда золота, экономія процвѣтала, а теперь!.. Вонъ, негодяй! дамъ я тебѣ сапожишки! Да смотри, сиди у воротъ, расщипли къ вечеру всю старую рогожу, что я поднялъ вчера на улицѣ; она немного въ грязи, а добраго качества, можно набить подушку. Ступай же, а я въ окно буду на тебѣ посматривать, чуръ не зѣвать!

Мальчикъ вышелъ, отирая кулакомъ слезы, а Канчукевичъ заперъ дверь, осмотрѣлъ задвижки и рѣшетки у оконъ и вошелъ въ другую комнату. Это былъ тайникъ моего хозяина, его кабинетъ, спальня и молельня: здѣсь онъ поклонялся своему идолу—деньгамъ.

Это была комната поуже, но гораздо

длиннѣе пріемной, со сводами, съ заднимъ окномъ, закованнымъ тяжелою рѣшеткой. Почти половина комнаты была завалена разнымъ хламомъ, издававшимъ затхлый запахъ, да и вообще въ комнатѣ пахло погребомъ и гнилью; у самой кучи хлама стоялъ большой желѣзный сундукъ, запертый изнутри и снаружи; на сундукѣ лежалъ тюфякъ, набитый соломой, и подушки; онъ, какъ видно, служилъ кроватью Канчукевичу; надъ сундукомъ висѣла заржавленная сабля и старинный пистолетъ; у сундука стоялъ небольшой столикъ, на столикѣ мѣдный, кривобокій подсвѣчникъ съ сальной свѣчкой не толще карандаша. Больше въ комнатѣ ничего не было, кромѣ пыли, застилавшей весь полъ и стѣны, и паутины, которая запутала, засновала все окно между рѣшоткой и прихотливыми рядами спускалась съ потолка почти до земли. Въ этотъ тайникъ не ходила ни одна живая душа, кромѣ Канчукевича; самъ Канчукевичъ, входя или выходя изъ него, тотчасъ запиралъ дверь на замокъ. Впрочемъ, въ домѣ Канчукевича мало было народу; кромѣ него да Алеши, еще только жила какая-то старуха Аксинья, не то полоумная, не то юродивая; въ городѣ звали ее блажная Аксинья; да по двору бѣгала старая съ вытертыми боками собака Жучка.

Заперевъ двери въ тайникъ, Канчукевичъ положилъ меня на столъ и началъ потихоньку разглаживать, приговаривая: „наша, голубушка, наша! полно тебѣ гулять по бѣлу свѣту... да какая еще новенькая! Охо-хо, голубушка!“ И, разглаживая меня съ какимъ-то сладострастіемъ, отвратительный старикъ мигалъ глазами и дрожалъ и улыбался, потомъ отперъ сундукъ, долго смотрѣлъ на кучи золота, серебра и ассигнацій, которыя въ систематическомъ порядкѣ были разложены въ сундукѣ, взялъ тетрадку, записалъ въ нее мой нумеръ и бережно положилъ меня въ кучѣ синихъ ассигнацій, лежавшей въ самомъ углу сундука отъ замка направо, подлѣ пріятной горки полуимперіаловъ свѣтлыхъ, чистыхъ, въ полномъ смыслѣ щеголей.

Положивъ меня на мѣсто, Канчукевичъ пересмотрѣлъ всѣ свои сокровища, пересчиталъ, провѣрилъ по тетрадкѣ и заперъ сундукъ, говоря: „благодареніе Господу! современемъ не умремъ съ голоду“. Звонъ замочной пружины показался мнѣ похоронымъ звономъ: я предчувствовала, что нескоро вырвусь изъ рукъ кащея, что не гулять мнѣ болѣе по бѣлу свѣту, что онъ станетъ держать меня подъ замкомъ для удовольствія, порою погладитъ меня, полюбуется мною и не выпуститъ меня на волю... Прощай моя волюшка! надолго прощай! Я, можетъ-быть, заплакала бы, еслибъ имѣла хоть одну слезинку, еслибъ въ заведеніи, гдѣ меня окончательно отдѣлывали передъ выпускомъ въ свѣтъ, не высушили меня совершенно.

Однообразно, невыразимо грустно потекла моя жизнь въ сундукѣ Канчукевича; каждый день утромъ отпиралъ онъ сундукъ, пересматривалъ деньги и провѣрялъ ихъ; то же самое дѣлалъ и вечеромъ, ложась спать. Иногда, когда дѣлать было нечего Канчукевичу, онъ и днемъ уединялся въ тайникъ, отпиралъ сундукъ и, вынувъ какую-нибудь золотую монету, чистилъ ее рукавомъ, дышалъ на нее и теръ окончательно лоскуткомъ старой замшевой перчатки, потомъ, налюбовавшись блескомъ, бережно опускалъ монету въ сундукъ, крышка закрывалась, замокъ щелкалъ со звономъ, и мы опять оставались во тьмѣ, въ заключеніи.

Другихъ развлеченій мы не знали.

Такъ тянулись многіе дни, недѣли, мѣсяцы, многіе годы! Наше общество не убывало, а все пополнялось новыми членами, которые скоро свыкались съ нами и такъ же скучали единодушно, какъ и мы, древніе обитатели сундука.

Иногда однообразіе нашей жизни развлекалось говоромъ въ сосѣдней пріемной комнатѣ и плачемъ и стенаніемъ, и все это покрывалъ рѣзкій голосъ нашего хозяина: „Не могу, я самъ нищій!“ и прочее. Иногда слышно было, какъ Канчукевичъ ругалъ и тузилъ Алешу, иногда по ночамъ вдругъ вскакивалъ онъ съ сундука и вопилъ: „Кто лѣзетъ въ окно? говори, убью!“

И въ слѣдъ за этимъ щелкалъ пистолетный замокъ и звенѣла заржавленная сабля, скользя въ потьмахъ по желѣзной рѣшетиѣ окна; но за окномъ было тихо и спокойно; тогда онъ подбѣгалъ къ двери, ведущей въ пріемную, и кричалъ: „Алеша! Алеша!“

— Что тамъ?

— Ты слышишь?

— Ничего.

— Какъ ничего? слышишь, я говорю?

— Это-то слышу.

— Ну, а другаго ничего не слышишь?

— Нѣтъ.

— Кажется, кто-то ходитъ подъ окнами.

— Не ходитъ.

— А почему ты знаешь?

— Собака лаяла бы.

— И то правда, онъ умнѣе меня. Мнѣ причудилось, и я повѣрилъ.

Онъ подумалъ: „Врешь, чужой человѣкъ коли придетъ, Жучка такъ и заливается, а теперь молчитъ: спать можно. Добрый у меня сторожъ—собака! дамъ ей

завтра... вотъ сколько дамъ: цѣлый кусокъ хлѣба непремѣнно дамъ.

И старикъ засыпалъ на сундукѣ, вздрагивая и вскрикивая въ просонкахъ.

Разъ пришелъ какъ-то Канчукевичъ въ тайникъ, заперъ дверь и началъ ходить по комнатѣ, весело разговаривая самъ съ собой:

„Пусть называли меня дуракомъ", говорилъ онъ: „а я себѣ, на умѣ я зналъ, что у Аксиньи деньги; дуракъ былъ бы я брать блажную бабу къ себѣ на шею за спасибо! Баба и сама по себѣ—мое почтеніе! а то еще блажная!.. Нѣтъ, у этой блажной было кое-что, да она и сторожъ вѣрный была. А что мнѣ стоила? ровно ничего: ѣсть почитай ничего не ѣла, добрые люди одѣвали, а гдѣ достанетъ копейку—все въ одинъ узелъ... вотъ ихъ сколько набралось! Умерла —и все осталось. Это называется коммерція, это значитъ благодѣтельствовать на коммерческомъ основаніи. Одно только, что сторожа лишился; да какъ подумаешь, покойница была уже больно стара. Да и мой Алеша не ребенокъ, ему уже за двадцать лѣтъ, свернетъ хоть кого, ражій парень, я даже иногда его и самъ побаиваюсь..."

Послѣ этого монолога Канчукевичъ отперъ сундукъ и высыпалъ въ него изъ грязнаго чулка серебряныхъ денегъ рублей шестьдесятъ. Это было наслѣдство послѣ блажной бабы.

Канчукевичъ рѣже сталъ посѣщать насъ, вадыхалъ и теръ глаза, будто плакалъ. Чаще онъ сталъ садиться и ложиться на любезномъ своемъ сундукѣ и по временамъ часто стоналъ и охалъ; наконецъ онъ слегъ въ постель: его одолѣла болѣзнь; въ первый разъ Канчукевичъ позвалъ въ тайникъ Алешу и просилъ и приказывалъ ему не удивляться ничему, не смотрѣлъ ни на что: это все хламъ, дескать, и тряпки.

Тутъ мы съ удивленіемъ изъ разговоровъ Канчукевича съ Алешей узнали, что Алеша его сынъ. Скупой отецъ нарочно воспитывалъ сына нищимъ, чтобъ тотъ не зналъ цѣны деньгамъ и не промоталъ наслѣдства, которое, судя по сундуку, было огромное.

„Да! часто шепталъ въ бреду Канчукевичъ:—сорокъ лѣтъ я собиралъ; началъ съ полтинника, а теперь, слава Богу!.. но сорокъ лѣтъ—половина жизни! Этотъ молокососъ за то, что онъ мой сынъ, загребитъ все это!.. не живя сорока лѣтъ, возьметъ плоды сорокалѣтнихъ лишеній!.. Не бывать этому! пусть самъ наживетъ. Я въ его лѣта не имѣлъ ни гроша, а теперь, слава Богу!.. Да и что у меня есть, если подумаешь! ровно ничего, дрянь, не стоило сорокъ лѣтъ мучиться—ей-богу! Что у меня есть? почти ничего!.. серебра самая малость, золота еще меньше, ассигнацій сущіе пустяки!.. Вотъ еслибъ это все удвоить... нѣтъ, утроить, учетверить... нѣтъ, нѣтъ, не хочу!.. удесятерить, да потомъ удвоить и потомъ еще удесятерить, да и это удвоить—о! сколько бы вышло! какая выросла бы гора! и я бы сѣлъ на этой горѣ и люди бы мнѣ кланялись, низко кланялись бы, а я бы плевалъ на нихъ, а они еще бы ниже кланялись... Хе-хе-хе!.. мнѣ, простому человѣку, коллежскому регистратору, кланялись бы, называли бы меня человѣкомъ умнымъ, нѣтъ—умнѣйшимъ; они произвели бы меня въ человѣка добродѣтельнаго!.. Знаю я ихъ, этихъ жадныхъ людей... Охъ! плохо мнѣ! голова горитъ, въ груди горитъ, а самому холодно, челюсти такъ и стучатъ другъ о дружку, такъ и прыгаютъ... Плохо, плохо тебѣ Канчукевичъ!.. э! пустяки! пройдетъ!.. А я сижу себѣ на грудѣ золота, а золото такъ и блеститъ, что твое солнце!.. а люди плачутъ, глядя на меня...

„— О чемъ вы плачете?

„— Отъ радости! вопятъ они;—отъ сердечнаго умиленія, что видимъ въ такомъ счастіи достойнѣйшаго человѣка, добродѣтельнаго Канчукевича!..

„Врете, лицемѣры, вы плачете изъ зависти. Не даромъ я прожилъ восемьдесятъ лѣтъ; я знаю васъ, я изучилъ васъ: вы любите золото больше меня, вы все отдадите за золото—все, рѣшительно все, все безъ исключенія! Для денегъ у васъ ничего нѣтъ завѣтнаго, самого Спасителя вы продали за тридцать сребренниковъ!..

„— Кто тамъ?

„— Пріѣхалъ знаменитый вельможа.

„— А, хорошо, пусть обождетъ.

„И онъ ждетъ часъ, ждетъ два у меня въ передней, а въ передней нѣтъ ни одного стула!.. Хе-хе-хе!.. я у него выучился... ждетъ меня вельможа, а я себѣ простой человѣкъ... Онъ богатъ, знатенъ, зачѣмъ онъ унижается?! Хе-хе! я богаче его!.. и онъ стоитъ у меня въ передней!.. весело!..

„И ты придешь ко мнѣ, толстый, жирный помѣщикъ, я вспомню горькое время, когда я, бѣдный сирота, жилъ у тебя и училъ твоего глупаго сына, вспомню твои попреки за каждый кусокъ хлѣба и за нищенскую плату, которую ты давалъ мнѣ за истинно-тяжкіе труды, словно милостыню! Лучше рубить дрова, таскать бревна, чѣмъ учить избалованнаго дурака. Но никто не пожалѣлъ о несчастномъ, никто не понималъ моего труда, и сытые люди, одѣтые въ красивое платье, заклеймили меня прозвищемъ дармоѣда-учителя. Только одна она сострадала ко мнѣ!.. Господи, какъ мнѣ

стало жарко!... она одна, часто глядѣла на меня съ такимъ участіемъ своими черными глазами, и глаза ея наполнялись слезами, и грудь колебалась вздохомъ глубокимъ; тяжелымъ вздохомъ!... она понимала мою душевную болѣзнь!...

„— Что, у тебя болитъ голова? спрашивалъ меня помѣщикъ.

„— Нѣтъ.

„— Такъ желудокъ того?...

„— Нѣтъ.

„—Такъ руки, ноги, грудь, что ли болитъ?

„— Нѣтъ.

„— Отчего же ты такой блѣдный! Я думалъ, ты нездоровъ.

„Въ немъ не было души; могъ ли онъ понять душевную болѣзнь?

„И Господи, какъ я полюбилъ ее!... и она меня полюбила!... да, меня, Канчукевича, нищаго учителя!... Счастливое было время!... а я ничего не имѣлъ, за что же она меня полюбила?... она была дочь человѣка, да еще такого человѣка, гордаго, надутаго человѣка, самаго помѣщика!... Не долго я мечталъ: нашу любовь открыли и насмѣялись надъ ней... Въ цѣлой жизни я имѣлъ одну, чистую любовь, и ту осмѣяли! И выгналъ меня толстый помѣщикъ изъ дома!... вытолкали меня слуги... Она рыдала... отецъ далъ ей пощечину!... да!... ей, чистой голубицѣ!... и за что? за то, что у меня не было денегъ!... А теперь у меня много золота: я досталъ его, убивъ свою душу; я изгибался, я ползалъ, подличалъ, женился на больной, богатой старухѣ, по смерти ея обратилъ все въ капиталъ, у меня капиталъ росъ баснословно, я ѣлъ хлѣбъ съ водою, водилъ безъ саногъ сына —все для золота! и вотъ я теперь сижу на грудѣ благороднаго металла! Пожалуйте сюда, господинъ помѣщикъ! И, какъ лягушка, ползаетъ онъ вокругъ меня, заметая брюхомъ пыль...

— Жаль, говоритъ онъ:—что моя дочка зачахла, то есть умерла, а то я бы считалъ за счастіе соединить ваши любящія сердца.

„Врешь, толстый болванъ! ты бы продалъ мнѣ свою дочь за золото. Какой я женихъ?—а ты бы съ радостію сдѣлалъ то теперь, за что прежде выгналъ меня...

„Кланяйтесь мнѣ! у меня есть золото, я не скрываю вотъ оно!... Хе-хе-хе!... я самъ ему долго кланялся... Судьбу надувалъ, право надувалъ... Разъ она хотѣла меня наказать на рубль пять копѣекъ ассигнаціями, хотѣла да не удалось: я вывернулся коммерческимъ расчетомъ. Хе-хе! до-сихъ-поръ весело!... Это было давно. Одинъ графъ, богатый человѣкъ, промотался... У этихъ мотовъ чутье какъ у коршуновъ, далеко чуютъ добычу... У меня уже завелись кое-какія деньги, и вотъ графъ пріѣхалъ ко мнѣ самъ, такъ и засыпалъ французскими рѣчами... „Извините, ваше сіятельство“, сказалъ я: „мы, простые люди, съ грѣхомъ и по-русски говоримъ“. Вотъ онъ заговорилъ по-русски, дурно заговорилъ, а все таки я понялъ, что, дескать, у него въ нашемъ уѣздѣ богатое помѣстье, что онъ пріѣхалъ въ городъ по дѣламъ и, узнавъ обо мнѣ, какъ о достойномъ человѣкѣ, пріѣхалъ просить къ себѣ откушать. „Понимаю, подумалъ я, откуда вѣтеръ дуетъ, да мы не промахъ; пожалуй, обѣдъ съѣдимъ, а въ обманъ не дадимся“—и далъ слово...

— Эй, кто тамъ ходитъ? Алеша! Алеша! кто тамъ?

— Какой тамъ чортъ ему представляется? ворчалъ басомъ Алеша изъ другой комнаты.—Вотъ не даетъ соснуть. Никого тутъ нѣтъ, никто не ходитъ.

— Смотри-ка...

— Что тутъ смотри? Спалъ бы себѣ и другимъ не мѣшалъ! сказалъ Алеша—и захрапѣлъ.

— Вишь, скверное племя, совершенно покойница! Былъ малъ—боялся, выросъ—знать не хочетъ отца! Я тебѣ насолю! Ты ждешь моей смерти, тебѣ хочется погрѣть руки—не удастся! Не тебѣ меня провести, молокососъ; я судьбу проводилъ... Да, помню... была страшная грязь; графъ жилъ на другомъ концѣ города, идти пѣшкомъ нельзя; придешь по-уши въ грязи, меньше процентовъ дадутъ... взялъ извощика, заплатилъ пятиалтынный — была не была, авось заработаю тысячу другую, рискнулъ, взялъ за пятиалтынный—рискъ благородное дѣло. Пріѣзжаю, понюхалъ въ передней табаку, хвать, въ карманѣ нѣтъ платка: сюртукъ-то я надѣлъ поновѣе, а платокъ остался въ старомъ. Скверно, смекнулъ я, судьба противъ меня; ѣхать опять домой да назадъ: два пятиалтынныхъ—рубль пять копѣекъ. За что они пропадутъ у меня? а безъ платка не обойдешься!... Постой! я поступилъ на коммерческомъ основаніи: тутъ же, внизу, въ лавочкѣ купилъ за гривенникъ клѣтчатый бумажный платочекъ и явился къ графу. Послѣ обѣда я пришелъ домой, вымылъ собственноручно платокъ и назавтра продалъ его за двадцать пять копѣекъ; я въ убыткѣ остался гривну мѣди—вотъ значитъ умъ! Съѣла судьба шишъ: вмѣсто рубля съ пятакомъ получила гривну!... Хе-хе!... Молодецъ былъ Канчукевичъ! А теперь—голова трещитъ... все въ глазахъ двоится... дважды два—четыре, четырежды четыре—шестнадцать, шестью шесть—тридцать шесть...

сто, тысяча, десятки тысячъ, сотни тысячъ, мильоны, мильоны, какъ говорилъ тотъ: милы-они!... тотъ стихотворецъ... и стихи мы съ нимъ пѣли!

Нѣгдѣ въ маленькомъ лѣску,
При потокахъ рѣчки,
На долинѣ по песку,
Паслися овечки...

А если каждую овцу выкормить и продать — у! сколько будетъ!... Я продамъ, всѣ продамъ, а онъ?... Нѣтъ! Алеша! Алеша! не продавай овецъ; я самъ продамъ..."

— Да спи-себѣ! вотъ разревѣлся!

— Еще и грубить! Я разревѣлся, ты разревѣлся, онъ разревѣлся, мы разревѣлись, вы разревѣлись, они или онѣ разревѣлись!..."

Тутъ уже Канчукевичъ понесъ такую гиль, что я, привыкшая къ пустословію гостиныхъ и мистицизму лекцій многихъ шарлатановъ, рѣшительно ничего не могли понять. Старымъ скупцомъ овладѣлъ чистый, полный и неоспоримый бредъ. Мало-по-малу Канчукевичъ сталъ говорить тише и наконецъ передъ свѣтомъ утихъ совершенно, вѣроятно, уснулъ. Цѣлый день Канчукевичъ понемногу бредилъ, просыпался и опять засыпалъ. Въ другой комнатѣ ворчалъ Алеша. Къ вечеру старику, казалось, стало лучше; онъ пришелъ въ себя и позвалъ Алешу.

— Алеша, сынъ мой, сказалъ Канчукевичъ — я скоро умру — слышишь?

— Слышу.

— Что же ты ничего не говоришь?

— А что я стану говорить? Все въ волѣ Божіей.

— Правда.. Ну, ты будешь наслѣдникомъ моимъ: прошу тебя, не разоряй меня, мы люди бѣдные, береги копѣйку на черный день — слышишь?

— Слышу.

— Теперь принеси мнѣ свѣчку: стало темно, я помолюсь Богу, надѣну бѣлье... приготовлюсь къ смерти... она близка, она цѣлую ночь ходила вокругъ меня... только я какъ одѣнусь, такъ меня и похорони — слышишь?

— Слышу.

— Теперь принеси свѣчку... Зачѣмъ зажечь цѣлую свѣчку, развѣ нѣтъ огарка? Мнѣ, больному старику, цѣдую свѣчку! заработаю ли я ее?... будто огарка нѣтъ. Расточитель ты, Алеша; не будетъ изъ тебя пути... пошолъ вонъ!

Алеша ворча вышелъ.

— Вишь, ворчитъ!... Вотъ первый врагъ мой!... Имѣй дѣтей, такъ и глядятъ, чтобъ скорѣй схоронить отца да приняться за наслѣдство... Я тебя проведу!... Охъ, дѣти! выкорми ихъ, вырости, а послѣ только бойся...

Канчукевичъ всталъ, отперъ сундукъ, потомъ вынулъ изъ печки одинъ изразецъ, который довольно искусно закрывалъ глубокую дыру, вложилъ туда все золото и серебро и опять поставилъ изразецъ на мѣсто. Потомъ принялся за насъ. Канчукевичъ былъ очень страшенъ, худъ, блѣденъ, только глаза его горѣли не естественнымъ блескомъ, руки дрожали. Онъ взялъ нѣсколько пачекъ ассигнацій и привязалъ ихъ себѣ подъ-руки и подъ колѣни, остальныя завернулъ въ старый дирявый платокъ и, въ видѣ толстаго жабо, обвязалъ шею, надѣлъ старый сюртукъ, старые сапоги, посмотрѣлъ въ опустѣлый сундукъ, закрылъ и, поставя въ головахъ себя свѣчку, вытянулся на сундукѣ, сложа крестомъ руки.

„Кажется, готовъ", тихо прошепталъ Канчукевичъ: „а свѣчка горитъ! Къ чему такая роскошь? *Она* найдетъ меня и въ потьмахъ..."

Канчукевичъ съ усиліемъ повернулъ къ свѣчкѣ голову и дунулъ, но дыханіе его было слабо, легкое пламя дрогнуло, наклонилось въ сторону, и опять свѣча запылала еще ярче прежняго; больной собралъ послѣднія силы и дунулъ съ какимъ-то жалобнымъ стономъ. Это былъ его послѣдній вздохъ; пламя погасло, смрадный дымъ побѣжалъ отъ свѣтильни, которая нѣсколько секундъ еще сверкала свѣтлой искрой въ темнотѣ, и вмѣстѣ съ дымомъ улетѣла душа стараго скупца; члены его затрещали и вытянулись. Настало страшное молчаніе и тьма. Могильный холодъ разливался по жилъ покойника. Страшно стало мнѣ, особливо при мысли, что завтра или послѣзавтра, по волѣ скупца, ни за что, ни про что, схоронятъ меня въ могилу, меня, во цвѣтѣ лѣтъ, съ полными нумерами; меня зароютъ въ холодную, душную могилу, по глупой прихоти сумасшедшаго человѣка. Я готова была кричать караулъ и, по своей природѣ, не могла! Наша участь только молчать, слушать и думать, пока кто нибудь помощью сильной воли не раскроетъ уста наши. А, Боже мой! какое невыносимо-страшное, мучительное состояніе, когда и хочешь говорить, и долженъ говорить, да не можешь!

Рано утромъ вошелъ въ комнату Алеша. Я его не видала со дня своего заключенія и рѣшительно не узнала бы, еслибъ не привыкла слышать его голосъ. Вмѣсто оборваннаго мальчишки, я увидѣла парня лѣтъ за двадцать, правда, тощаго, но здороваго, съ порядочными усами, съ жили-

стыми руками, съ угрюмой физіономіей, съ глазами немного глуповатыми.

Алеша подошелъ къ старику и спросилъ:

— Спишь а? спишь?

Отвѣта не было.

— Ужъ не того-ли!!... спишь ты?

Онъ взялъ отца за руку.

— Батюшки свѣты! да онъ преставился! совсѣмъ остылъ!... А какъ страшно глядитъ!... Побѣжать къ Подметкину!

Алеша, въ ужасѣ, выбѣжалъ, не затворивъ дверь. Скоро вошла въ двери собака, обнюхала всѣ углы, подошла къ сундуку, стащила свѣчку и съѣла, потомъ опять стала на заднія лапы, а переднія положила на сундукъ, посмотрѣла пристально на покойника, полизала его руку и, усѣвшись на полу, жалобно завыла. Вѣтеръ дулъ въ растворенныя двери и шевелилъ старые лоскутья на полу; подъ потолкомъ кружилась, вилась и плясала паутика.

„Ахъ ты, проклятая, какой вой подняла!“

За этими словами полетѣла въ собаку фуражка съ козырькомъ, а вслѣдъ за фуражкой явился Подметкинъ; за Подметкинымъ стоялъ Алеша.

Подметкинъ когда-то служилъ въ какомъ-то полку, но, за поступки, неприличные званію, былъ отставленъ и поселился въ городѣ, не далеко отъ дома Канчукевича. Чѣмъ жилъ онъ и какъ жилъ—объ этомъ исторія умалчиваетъ, вмѣстѣ со многими любопытными вещами; но жилъ онъ, казалось, весело, потому-что часто, идя по улицѣ, пѣвалъ пѣсни и всегда эти пѣсни были самыя веселыя. Носилъ онъ венгерку съ самой бѣдной *цифровкой*, широкіе шаравары съ безконечными карманами и форменную фуражку съ козырькомъ. Какъ онъ познакомился и когда съ Алешей, тоже неизвѣстно, только онъ всегда говорилъ Алешѣ: „терпи казакъ—атаманъ будешь. Я знаю твоего отца: у него вотъ сколько денегъ, да человѣкъ онъ дрянь, все-равно, что свинья: пока жива, ни шерсти, ни молока, ни ѣды—ничего отъ нея нѣтъ; а зарѣжутъ- и мясо, и сало, и студень, и щетина, и колбасы—все явится. Погоди, вытянетъ лапки родитель—кутнемъ, только чуръ сейчасъ меня извѣстить; я знаю тебя: душа овечья, все растаскаютъ, надуютъ тебя, а я ужъ, мое почтеніе... я тебя проведу по такой музыкѣ, что злость весь городъ возьметъ—увидишь! Дай Богъ дожить скорѣе...“

„Дай-то, Господи! А ужъ куда мнѣ прискучила моя собачья жизнь“, обыкновенно отвѣчалъ на подобныя рѣчи Алеша.

И вотъ теперь кончилась эта жизнь! Старикъ недвижимъ, безгласенъ. Открылась широкая воля молодому человѣку, спали съ души тяжелыя цѣпи капризовъ и предразсудковъ стараго Канчукевича. Алеша, настроенный Подметкинымъ, ждалъ съ нетерпѣніемъ этой катастрофы, только и мечталъ объ этомъ съ какой-то нечеловѣческою радостью, а теперь стоялъ печально передъ трупомъ: неясная грусть или упрекъ совѣсти пробудились въ немъ—и онъ стоялъ, будто совершившій преступленіе; еще нѣсколько секундъ, и глаза его заплакали бы—о чемъ, отчего—это другое дѣло, на это трудно отвѣчать; но невольная слеза, слѣдствіе нервическаго раздраженія или чего бы то ни было, уже дрожала и сверкала подъ рѣсницами Алеши.

— О чемъ задумался? спросилъ Подметкинъ:—небойсь жаль стало? Некому будетъ выдавать тебѣ по грошу въ день на пропитаніе, некому будетъ водить тебя босикомъ въ заморозки? Опомнись, Алеша! Онъ былъ врагъ твой; а кто за врагомъ плачетъ? развѣ баба. Ну, да та вчастую плачетъ сама не зная отчего!

— Да я... нѣтъ я ничего, такъ-себѣ!

— А худо! Ты, Алеша, начинаешь жить не по-товарищески, лукавишь, братъ! Худо! Коли противъ меня кто лукавитъ, того и Богъ забудетъ.

— Э! другъ мой желанный, Подметкинъ, грѣхъ говорить такое. Чѣмъ я лукавлю?

— Говорилъ: „чуть шарахнется, сейчасъ бѣги ко мнѣ“! А ты самъ уже распорядился, и бѣлье на него надѣлъ, и совсѣмъ снарядилъ въ дорогу...

— Да это онъ самъ; заказалъ такъ и похоронить себя.

— А! самъ надѣвалъ и бѣлье и прочее?

— Самъ.

— И никого при этомъ не было?

— Никого.

— И заказалъ похоронить себя въ этомъ?

— Да.

— Умный человѣкъ! надѣлъ, что ни было худшаго, тряпка на тряпкѣ или, какъ говорится тамъ гдѣ-то, въ книгахъ, тряпка тряпку призываетъ... Да, что-то мнѣ странно, ну да посмотримъ дальше. Показывайка свое наслѣдство.

— Да я его не знаю!... Этотъ домъ, да садикъ, да собака, да платье...

— Такъ!... да паутина, да пауки, да еще чортъ знаетъ что! Ахъ ты, овечья душа! Деньги гдѣ? Плевать я хочу на твой домъ и собаку: что въ нихъ? Денегъ у тебя должна быть страшная куча: вѣдь покойникъ былъ жидъ, маклакъ, такая жила, что тянулъ съ живаго и мертваго. Гдѣ же оно, это собранное, натянутое, награбленное?

Подавай его сюда! мы съ нимъ раздѣлаемся!...

— Я самъ не знаю, развѣ поискать.

— Разумѣется! Ну, поворачивайся!

Алеша и Подметкинъ начали свои поиски: отворили сундукъ—въ сундукѣ пусто; посвистылъ Алеша надъ сундукомъ, удивился и Подметкинъ, но сказалъ, что унывать не надобно, что Блюхеръ, по словамъ нѣмцевъ, никогда не отступалъ; а подражать храброму генералу не предосудительно. Начали опять перерывать весь старый хламъ, вытряхивали и жилеты, и брюки, и картузы всѣхъ формъ и цвѣтовъ, глядѣли за подкладкой, и въ сапогахъ, вездѣ тревожили пыль, моль и паутину; воздухъ сгустился отъ пыли и принялъ характеръ, располагающій къ чиханію, а все ничего не было...

Алеша въ отчаяніи опустилъ руки.

— Неужели?! громко завопилъ Подметкинъ:—неужели?... Да нѣтъ, чортъ возьми! у него были деньги: онъ гдѣ-нибудь спряталъ ихъ. Г-нъ Канчукевичъ! слышите-ли? гдѣ ваши деньги? а? говорите же! Вотъ вашъ сынокъ со мной собирается протереть имъ глаза... всѣ промотаемъ— слышите? Нѣтъ, заправду умеръ, а то не выдержалъ бы, проклялъ бы насъ. Да что это за толстая тряпка у него на шеѣ, словно зимой хвосты у модной барыни...

— Оставь его, Подметкинъ! его воля, чтобъ не трогать и такъ похоронить, какъ одѣлся; Богъ съ нимъ...

— Нѣтъ, братъ, Алеша, овечья душа, куриныя у тебя чувства не оставлю, пока не выдергаю этого подгалстучника... Посмотри-ка, вотъ гдѣ зимуютъ раки!... Ахъ, онъ жидоморъ! хотѣлъ съ собой унесть въ могилу денежки! Нѣтъ, братъ, Алеша, теперь я его такъ не оставлю, я его до нитки разсмотрю...

И, говоря это, Потметкинъ радостно вытягивалъ изъ дряхлаго шейнаго платка пачки ассигнацій.

— Вотъ онѣ! вотъ онѣ! вишь сколько ихъ набралось!... Нѣтъ, Алеша, надобно все осмотрѣть, ужъ положись на меня: и полъ подымемъ, и печку разоримъ, и крышу снимемъ. Видна птица по полету: теперь видно, каковъ человѣкъ былъ покойникъ! Да меня, братъ, не проведетъ! А ты бы, овечья душа, такъ все и оставилъ! Говорилъ тебѣ: слушай меня! я ли не бывалъ въ передѣлкахъ—ухъ! унеси ты мое горе!

И Подметкинъ началъ разсказывать нескончаемую исторію о томъ, какъ онъ былъ въ Туретчинѣ, плѣнялъ молдаванокъ, объигрывалъ и дурачилъ молдаванъ и валаховъ—исторію, которой я не могла никакъ понять. Алеша видимо не понималъ, да судя по глазамъ Подметкина, и самъ онъ не понималъ своего разсказа. Во время моего странствованія мнѣ не разъ случалось находить такихъ рѣдкихъ говоруновъ: слова у нихъ вотъ такъ и льются, словно ручей по камешкамъ, такъ и летятъ одно за другимъ, будто пчелы изъ улья въ ясное, теплое утро; а слушаешь, слушаешь, ничего не разберешь, и спроси разсказчика, о чемъ онъ говорилъ, онъ собьется и станетъ въ-тупикъ. Явленіе странное, а дѣйствительное.

Собрались на другой день люди для похоронъ, снесли стараго Канчукевича на кладбище и вернулись къ молодому закусывать. Вообще, я замѣтила, что люди на похоронахъ ужасно много ѣдятъ: вѣрно, печаль располагаетъ ихъ къ хорошему аппетиту. Впрочемъ, на похоронахъ стараго скряги незамѣтно было большой печали: скорѣе на многихъ лицахъ выражалась радость: кто думалъ записать молодаго богатаго недоросля *къ себѣ* въ службу и потомъ этимъ пользоваться; кто разсчитывалъ женить его или его деньги, на своей племянницѣ, сестрицѣ или дочкѣ; кто смотрѣлъ на него, какъ на человѣка, у котораго можно занять на вѣчныя времена денегъ; кто видѣлъ въ Алешѣ будущаго кутилу, съ которымъ можно будетъ кутнуть, а иной, пожалуй, уже вычислилъ всѣ барыши отъ этого кутежа... И всѣ радостно изъ-подъ печальныхъ, форменныхъ физіономій глядѣли на Алешу, какъ на человѣка, подающаго большія надежды.

Всеобщее расположеніе утвердилъ и укрѣпилъ завтракъ: гости съѣли нѣсколько сотъ блиновъ, съѣли огромную кулебяку съ семгой, какая, конечно, никогда еще не являлась въ стѣнахъ дома Канчукевича, съѣли поросенка и двухъ жареныхъ гусей подъ капустой, съ несмѣтнымъ количествомъ саекъ... А выпили! одинъ Аллахъ достовѣрно можетъ опредѣлить, сколько выпили печальные гости; много штофиковъ и графинчиковъ опустѣло въ это скорбное время; Подметкинъ умѣлъ показать себя и съ торжествомъ послѣ разсказывалъ, что сантуринскаго было выпито полтора ведра, кромѣ всего другаго...

Гостей было человѣкъ пятнадцать и почти всѣхъ видѣлъ Алеша первый разъ въ жизни; однако они всѣ хвалились дружбой покойника и предлагали *такову же*, вмѣсто батюшки, сыну. Нѣкоторые подъ конецъ завтрака плакали о старомъ Канчукевичѣ, называя его человѣкомъ примѣрной добродѣтели, и цѣловали Алешу, предрекая ему жену красавицу и генеральскій

чинъ. Выше этого ихъ воображеніе не залетало.

Какой-то молодой путешественникъ, скакавши черезъ городъ N. N. на почтовыхъ, остановился въ это время противъ дома Канчукевича, и пока ямщикъ закрѣплялъ упряжь и связывалъ возжи, онъ, вѣроятно, услыша въ растворенныя окна плачъ и возгласы гостей, подошелъ къ воротамъ и спросилъ парня:

— Что здѣсь, братецъ, дѣлается?

— А ничего не дѣлается, отвѣчалъ парень.

— О чемъ же тутъ никакъ плачутъ?

— Такъ-себѣ, изъ жалости.

— Развѣ бѣда случилась?

— Умеръ, вишь, хозяинъ, и похоронили сегодня.

— А! значитъ, плачетъ семейство.

— Семейства-то всего одинъ сынъ, и тотъ на возрастѣ, такой верзило, побольше тебя будетъ.

— Такъ это плачутъ родственники?

— Какіе родственники! ихъ нѣтъ, все сторонніе люди.

— Значитъ, его всѣ любили?

— Гм! извѣстно, любили; какъ не любить такого барина.

— А! онъ былъ человѣкъ добродѣтельный, не такъ-ли!

— Извѣстное дѣло!

— Понимаю, онъ раздавалъ милостыню, утѣшалъ бѣдныхъ?

— Такъ и есть, именно такъ, особливо, бывало, передъ праздникомъ, идутъ къ нему неимущіе, слезами, бывало, обливаются.

— Прекрасно! и это теперь благодарные люди плачутъ въ его домѣ? Благодарю случай: онъ открываетъ мнѣ многое.

— Пожалуйте ѣхать, лошади не стоятъ, кричалъ ямщикъ съ повозки.

— Сейчасъ, братецъ! Такъ сегодня схоронили этого добродѣтельнаго человѣка? А какъ его звали?

— Канчукевичемъ.

Молодой человѣкъ досталъ изъ кармана записную книжку, записалъ въ ней наскоро нѣсколько строчекъ и, сѣвъ въ повозку, умчался Богъ вѣсть куда.

— Дурака меня нашелъ, смѣясь, говорилъ парень, когда ускакала повозка:—присталъ словно полицейскій какой: и кто, и какъ, и отчего, молъ, плачутъ? Стану я всякому на улицѣ все разсказывать! Что я, тетка Ѳекла, что ли? Вотъ теперь и ѣшь на здоровье; Канчукевичъ, молъ, и такой, и такой!... Ха-ха-ха!...

Впослѣдствіе, какъ-то нескоро, мнѣ случилось лежать трое сутокъ закладкой въ одной модной книгѣ; это было путешествіе по... какой-то губерніи или уѣзду— не помню, только меня поразила страница, на которой я лежала. Вотъ она, отъ слова до слова:

„Окрестности N.N. прекрасны, прелестны, даже восхитительны. Городъ высится на высокой крутизнѣ, кокетливо глядящейся въ свѣтлыя зеркальныя струи рѣчки N.N. Въ этомъ живомъ, но спокойномъ кристаллѣ текучей влаги отражаются и золотые кресты церквей, и палаты вельможъ, и опрятные домики прелестнѣйшей архитектуры, принадлежащіе среднему сословію, и мрачная зелень дуба, и трепещущіе листы осины, и свѣтлая зелень ивы, и бѣлый стволъ березы наклоняется надъ струями твоими, о волшебная N.N.! и длинными вѣтвями лобзаетъ тебя, и кудрявая яблонь отражаетъ въ тебѣ свои коралловые плоды! Нѣтъ, надобно имѣть въ груди камень вмѣсто сердца, чтобъ, подъѣзжая къ N.N., остаться равнодушнымъ, чтобы не плакать отъ восторга, глядя на него, особливо, если освѣтить душу свѣточемъ исторіи!... Бытьможетъ, здѣсь юный славянинъ или на брань точилъ свой мечъ о прибрежные утесы, или какой-нибудь Болеславъ, изнемогая отъ боли тяжкихъ ранъ, зачерпывалъ влагу дѣдовскимъ ковшомъ, украшеннымъ золотомъ и драгоцѣнными каменьями. Можетъ-быть!... Но, прочь историческія воспоминанія! Я ѣду и хочу наслаждаться настоящимъ. Вотъ я у заставы, переѣхалъ рѣку по мосту, красиво выкрашенному; застава тоже раскрашена; здѣсь не было мнѣ никакихъ препятствій: вида у меня никто не спрашивалъ, даже, кажется, никого и не было на заставѣ. Вотъ патріархальность нравовъ! вотъ простота и откровенность! Счастливъ ты, N.N.: на тебя не дохнуло еще всесокрушающее дыханіе нравственной порчи! Живи-себѣ, мужай и красуйся на радость грядущимъ поколѣніямъ. Сначала меня поразила пустота на улицахъ и вообще какое-то уныніе на встрѣчныхъ лицахъ; но вскорѣ тайна разгадана. Я нѣсколькими минутами опоздалъ на печальное народное торжество, на похороны добродѣтельнаго человѣка - Канчукевича. Его жизнь была, можно сказать, длинною цѣпью благодѣяній; не одинъ разъ сирая вдовица, или несчастный престарѣлый, или осиротѣвшій отрокъ находили въ домѣ Канчукевича и пріютъ, и ласковое слово, и возможную помощь. Наконецъ его не стало, умеръ онъ, человѣкъ добродѣтельный—и стоны и вопли оживили шумныя улицы N.N; колокола уныло гудѣли, народъ плакалъ, сотни семействъ, облагодѣтельствованныхъ покойникомъ, длинною свитою тянулись за гробомъ; они всѣ казались дѣтьми, оплакивавшими своего нѣжно-любимаго

родителя. И долго еще послѣ погребенія добрѣйшаго человѣка, когда уже его благодѣтельныя очи засыпалъ сырый песокъ могилы, рыдали добрые граждане N.N. Я самъ слышалъ эти нелицемѣрные вопли, эти возмущавшіе душу стенанія—и душа моя сжалась тихой, безмятежной грустью. Я остановился противъ дома Канчукевича, вышелъ изъ экипажа и съ благоговѣніемъ поклонился порогу великаго человѣка, который жилъ и умеръ, никѣмъ незнаемый, разливая вокругъ благодѣянія. „Не такъ ли“, подумалъ я, „растетъ скромный ландышъ въ укромномъ уголку, гдѣ-нибудь подъ корнемъ сосны или ели, разливая вокругъ ароматъ!“ На станціи, гдѣ мнѣ перемѣняли лошадей, я былъ грустенъ и спросилъ у станціоннаго писаря:

„— Что, вашъ Канчукевичъ умеръ?

„— Умеръ, ваше благородіе, отвѣчалъ онъ:—не намъ судить его.

„— Правда твоя, братецъ, правда; мы недостойны разсматривать подобныя психологическія явленія.

„— Лошади готовы, угодно ѣхать?

„— Ѣду, ѣду!

„И я поѣхалъ унылый. Колокольчикъ гудѣлъ; въ ушахъ моихъ отзывались слова писаря; „не намъ судить его“. И это сказалъ простой человѣкъ! Какая сжатая философія! Образуйте этого человѣка, вы увидите, что изъ него будетъ“.

Но я заболталась!... Гости плакали, потомъ немного побранились и разошлись, очень довольные Алешей.

Спустя нѣсколько дней послѣ похоронъ старика Канчукевича, нельзя было узнать его дома. Подметкинъ, изъ дружбы, переѣхалъ жить къ Алешѣ. Онъ обѣщалъ научить его пріятной, дружеской и благородной жизни, которой бы позавидовало всякое общество. Домъ стараго скряги измѣнился: тайникъ преобразовался въ спальню, гдѣ поставили кровати для двухъ друзей, Подметкина и Алеши; весь хламъ былъ вынесенъ на чердакъ, рѣшетки въ окнахъ сломаны, въ рамахъ перемѣнены стекла.

„Надобно жить нараспашку. Порядочный человѣкъ не долженъ быть политикомъ“, говорилъ Подметкинъ: „это пристало ученымъ бонжурамъ; а нашъ братъ раскрывай душу, и двери, и окна. Я самъ себѣ господинъ, ни у кого ничего не прошу, никому не кланяюсь и никого знать хочу: гляди на меня, каковъ я есть, кругомъ гляди. Не нравится—проваливай, не станемъ просить о продолженіи знакомства, какъ говорятъ подъячіе. Свѣтъ не клиномъ сошелся; для насъ останется добрыхъ людей дюжина другая...“

Старый желѣзный сундукъ поставили въ уголъ спальни, рядомъ съ нимъ красовался шкапикъ съ стекляными дверцами, за стекломъ пріятно блестѣли штофы разныхъ видовъ и размѣровъ, налитые жидкостями всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ, отъ чисто-бѣлаго, прозрачнаго, словно кристаллъ, до темно-кофейнаго. На другой полкѣ стояли рюмки и стаканы, солонка и на тарелкѣ нѣсколько ломтей чернаго хлѣба. Этотъ шкапикъ Подметкинъ называлъ душевной и тѣлесной аптекой и, подходя къ нему, всегда съ сердечнымъ умиленіемъ вспоминалъ полковаго коновала, отъ котораго позаимствовался нѣкоторыми медицинскими свѣдѣніями.

„Постоянно человѣкъ долженъ для бодрости духа употреблять христіанскую, то есть чистый пѣнникъ, безъ всякихъ еретическихъ примѣсей“, говаривалъ Подметкинъ: „а коли чѣмъ захворалъ—примись за настойку; только знай порядокъ: голова болитъ—перевѣдайся съ мятной, желудокъ разстроенъ—хвати трифольной или запеканки, другое что—бери рябиновку или сабуровку—какъ рукой сниметъ!“

Пріемная комната тоже преобразовалась: старые стулья вынесли вонъ, столъ тоже, а на мѣсто ихъ поставили десятокъ, хоть очень некрасивыхъ, но прочныхъ стульевъ и два ломберные стола, да во всю стѣну съ одной стороны поставили низенькій широкій диванъ безъ спинки, „на азіатскій манеръ“, говорилъ Подметкинъ. Онъ, побывавъ въ Молдавіи, сдѣлался страшнымъ партизаномъ всего азіатскаго, не только обычаевъ, даже мебели, платья и т. п. Вслѣдствіе такого пристрастія къ Востоку, былъ сдѣланъ турецкій диванъ и покрытъ косматымъ ковромъ, къ неописанному удовольствію блохъ всего околотка. О красотѣ мебели Подметкинъ не думалъ, да ему, кажется, это и въ голову не могло помѣститься. Онъ въ вещахъ видѣлъ одну пользу: поэтому очень хлопоталъ о ломберныхъ столахъ, безъ которыхъ порядочному человѣку трудно, дескать, убить золотое время; о прочности стульевъ онъ тоже очень заботился. „Стулья“, говорилъ онъ, съ видомъ знатока: „не только устроены для сидѣнья; иногда изъ нихъ можно составить на скорую руку приличную кровать, иногда стулъ можетъ служить оружіемъ при нечаянной обидѣ или при внезапномъ нападеніи. Тутъ ужъ стулъ долженъ быть стулъ, а не какая-нибудь финфирюлька; онъ долженъ поражать и защищать, оставаясь невредимымъ. Вотъ, я помню, анекдотъ случился на моихъ глазахъ, въ трактирѣ, въ Серпуховѣ; насъ играло въ карты шестеро...“

Тутъ Подметкинъ разсказывалъ одинъ извѣстный трактирный анекдотъ, который не приноситъ ни большой чести разсказчику, ни удовольствія слушателямъ; онъ передается изъ поколѣнія въ поколѣніе гулякъ, какъ легенда; его разсказывалъ еще дѣдъ и отецъ Подметкина; разсказываетъ вся братья Подметкина... вѣрно, вы его слышали, такъ мнѣ нечего говорить и наводить на васъ скуку. Одно въ этомъ анекдотѣ любопытно, что каждый разсказчикъ непремѣнно былъ самъ въ немъ дѣйствующимъ лицомъ.

Алеша очень перемѣнился: онъ одѣлся совершенно по образу и подобію Подметкина, даже немного перещеголялъ его: у Алеши была такая же фуражка съ козырькомъ въ пуху, такая же венгерка, только съ цифровкою позатѣйливѣе, такіе же шаравары, только немного пошире.

— Оно немного съ отступленіями отъ формы, сказалъ Подметкинъ, разсматривая въ первый разъ нарядъ Алеши:—немного нарушено строгое товарищество, братское житье, ну, да ты моложе меня, прихвастни немного! Живи себѣ съ Богомъ—я разрѣшаю.

Алеша былъ такъ радъ, какъ будто безъ этого разрѣшенія уже не могъ и жить на свѣтѣ.

— Ну, а фуражку-то покажи, продолжалъ Подметкинъ:—эге! вотъ ужъ непростительно! Что ты, помѣщикъ что ли? что же, дескать, купилъ новый картузъ и щеголяетъ! Во всякомъ дѣлѣ первое дѣло вывѣска! А шапка твоя вывѣска: прямо торчитъ на лбу и всякому лѣзетъ въ глаза. У нашего брата, свободнаго человѣка, и шапка должна говорить: „держи въ сторону! намъ, дескать, голова—наживное дѣло, голова послѣдняя спица въ колесницѣ, вотъ, дескать какъ мы ее холимъ да чествуемъ!“ Идешь себѣ, заломилъ фуражку на затылокъ или на ухо—такъ отъ тебя всякій и отшатнется и тебѣ всегда широкая дорога; а свой братъ, прямая душа, увидитъ—сейчасъ узнаетъ: видна птица по полету, и сразу станетъ пріятелемъ, родней, пуще брата родимаго.

— Да что же мнѣ съ ней дѣлать? она такая новенькая, хорошенькая.

— То-то, овечья душа! Въ сарафанѣ бы тебѣ ходить! Подай-ка ее сюда!

Подметкинъ взялъ фуражку въ руки, переломилъ козырекъ, послѣ долго мялъ и теребилъ ее, пока она не приняла формы лепешки, бросилъ на грязный полъ, потоптался ногами, потомъ прорѣзалъ подушку, досталъ пуху и натеръ имъ испытанную уже фуражку.

— Теперь готова! возьми, Алеша, и гуляй на здоровье: настоящая забубенная, что называется, фуражка—урви да подай!

— Какъ же ее носить, на затылокъ?

— Какъ я ношу, бери съ меня примѣръ—не проиграешь. Впрочемъ, и тутъ есть правила: когда сердитъ—надвинь ее на глаза, чтобъ изъ-подъ козырька смотрѣлъ волкомъ, когда идешь на шуры-муры—хоть я бы и не совѣтовалъ: какъ разъ оженятъ твою овечью душу, ну, да молодца не удержишь, только не плошай—тогда накрень ее, злодѣйку, на правое ухо, чтобъ изъ-подъ козырька видно было полглаза—это, братецъ, самый, того, какъ-бы его назвать... ну, самый побѣдительный... ни одна комашка противъ него не устоитъ.

— А на затылокъ и нельзя?

— Экой быстрый! погоди, не суйся въ адъ прежде родителей: мѣста всѣмъ хватитъ. Когда хорошенько пообѣдаешь или выпьешь и закусишь, или выиграешь у пріятеля что-нибудь въ картишки, тогда и спусти ее, матушку родную, фуражечку, на затылокъ: пусть, дескать, весь свѣтъ глядитъ на меня—вотъ я какой; весь открытъ, весь счастливъ, словно полный мѣсяцъ гляжу въ оба глаза! Это значитъ, понимать обхожденіе, умѣть вести себя. Потерся бы ты съ мое по бѣлу свѣту, самъ-бы себя не узналъ... какъ честный и благородный человѣкъ.

— А что же это ты говорилъ—мнѣ, дескать, и жениться нельзя?

— Такъ и есть! Ахъ ты, овечья душа, баранъ ты этакой, добродѣтельный! ужъ о бабѣ думаетъ! да я тебя заплюю, если ты мнѣ заикнешься о женитьбѣ. Видно, что привыкъ жить подъ плеткой: не успѣлъ вырваться отъ отца, лѣзетъ подъ команду бабы. Какой баба командиръ? отчего нѣтъ изъ бабы командировъ? а начальство умнѣе насъ, вѣрно бы сдѣлало, коли бы можно. Ты, братъ, теперь, Алеша, самъ себѣ баринъ, самъ господинъ: идешь куда хочешь, дѣлаешь, что хочешь, а возьмешь жену—все кончено: она засядетъ, какъ матка въ ульѣ, а ты станешь работникомъ; запищитъ тебѣ: „Алексѣй, принеси того! подай то! сбѣгай туда, да проворнѣй, не то заболѣю—вотъ ужъ дурно дѣлается...“ Ты выйдешь за дверь, а она опять пищитъ: „гдѣ ты былъ? что ты дѣлалъ? да ты меня бросаешь! да я несчастная...“ и пошла, и пошла!

— Ха-ха-ха! да ты шутишь, другъ мой, Подметкинъ! вѣдь это комедія.

— Хороша комедія! ты, братъ, ее въ сутки не уймешь: всплачешься, да будетъ поздно.

— А развѣ нельзя ее немного *того*...

— Потузить, что ли?

— Да.

— Пробовали, братъ, умные люди—еще хуже самъ себя измучишь, а ей ничего, только тебя обнесетъ, обжалуетъ, житья не будетъ.

— Ну, такъ я и не женюсь; меня никто за шею не тянетъ.

— Умныя рѣчи! Съ деньгами веселѣе проживешь безъ жены, а тамъ, коли поживешь, поизносишься, полысѣешь, посѣдѣешь, тогда женись, я самъ тебя благословлю, самъ выберу невѣсту и посаженнымъ отцомъ буду.

— Это зачѣмъ?

— Вѣрно нужно, коли я говорю; я не собака, на вѣтеръ лаять не стану. Подъ старость нужна жена: станешь хворать—будетъ кому посидѣть подлѣ тебя; ты богатъ, возьмешь бѣдную, чтобъ попрекать не вздумала.

— Бѣдную, пожалуй, да только хорошенькую; я, знаешь, смерть люблю хорошенькихъ.

— Извѣстное дѣло; любой отецъ, бѣдный человѣкъ, съ радостью отдастъ за тебя, высѣчетъ да отдастъ, свяжетъ да отдастъ, только заикнись.

— Ну, ладно, такъ я женюсь нескоро... тогда знаешь, послѣ, послѣ, послѣ...

— Я тебѣ самъ скажу, а теперь кути, Алеша! Мы съ тобой поживемъ, пусть скажутъ, что не даромъ жили, не даромъ хлѣбъ-соль ѣли, не даромъ сапоги по бѣлу свѣту топтали.

— Покажемъ себя! ай-люли! Ты куда идешь?

— О тебѣ все пойду хлопотать: я тебѣ пріискалъ отличнаго иноходца и бѣговыя дрожки.

— Браво! у насъ будетъ лошадь.

— И не одна; случится другая хорошая —другую купимъ, третья—и третью, не надо терять случая.

— А дрожки однѣ?

— Одни, бѣговыя.

— Отчего же бѣговыя?

— А что же ты обабишься, небойся, заведешь рессорныя? Овечья у тебя душа! ты долженъ быть и жить звѣрь-человѣкомъ; полетишь, словно вѣтеръ, по улицамъ, самъ правишь, а я сзади, или я правлю, а ты сзади сидишь, всѣ скажутъ: „проѣхали забубенныя головы, имъ, дескать, жизнь копейка“.

— А въ грязь больно закидаетъ на бѣговыхъ.

— Нѣтъ, братъ, Алеша, бабой ты родился! много мнѣ придется съ тобой муки, пока тебя поставлю на прямую дорогу. Грязь, а что тебѣ грязь? съѣстъ она, что ли, тебя?

— Съѣстъ не съѣстъ, да закидаетъ больно, запятнаетъ сапоги и прочее, иная барыня разсердится...

— Вонъ что! а тебѣ что за дѣло? Сердится—плюнь на нее; мы, дескать, нехороши, набиваться не станемъ; ты, значитъ, любишь мои сапоги да платье, а не меня; коли любишь, люби меня и въ грязи. А то все этакіе комплименты, все нѣжности и на письмѣ, а никто полтины не дастъ въ займы. Ужъ мнѣ сколько случалось: иной просто обругаетъ тебя на письмѣ, да такъ политично, что грубаго слова не напишетъ, придраться нельзя, да еще въ концѣ распишется „съ истиннымъ почтеніемъ вашъ покорнѣйшій слуга!!!“ Гдѣ же тутъ почтеніе, когда онъ, собака, ругается? Какой онъ слуга: умирай — не дастъ напиться! Ужъ мнѣ случалось!... а это все — такъ себѣ, комплименты. Нѣтъ правоты на свѣтѣ, нѣтъ дружества, товарищества; мало благородства! Да, Алеша, слушай меня! Кстати, дай мнѣ сотни двѣ-три: я, знаешь, коли хорошъ иноходецъ, и задатку дамъ.

— Возьми хоть и всѣ; я тебѣ давно говорилъ.

— Нѣтъ, дружище, не возьму; твои деньги пусть будетъ у тебя, а то, пожалуй, скажутъ, я тебя взялъ подъ опеку, я тебя ограбилъ; все равно, я возьму сколько мнѣ нужно, по дружбѣ, а остальныя пусть у тебя спрятаны; да считай хорошенько, деньги счетъ любятъ. Прощай.

— Прощай!

Скоро, по уходѣ Подметкина, явился къ Алешѣ старичокъ, этакъ съ виду лѣтъ шестидесяти, и началъ просить милостыни.

— Зачѣмъ же ты просишь? спросилъ Алеша.

— Ѣсть хочется, ваше благородіе.

— Работай кому нибудь, тебя и накормятъ.

— Старъ сталъ, ваше благородіе, силы нѣтъ.

— А сколько тебѣ будетъ лѣтъ?

— Не знаю, а живу давно; помню и моръ, и великую зиму; старшему сыну было бы теперь лѣтъ пятьдесятъ, да второму пятьдесятъ безъ года.

— Сорокъ девять, что ли?

— Сами считайте, вы человѣкъ грамотный.

— Погоди, возьму счеты; такъ первому было пятьдесятъ?

— Пятьдесятъ.

— Есть; второму сорокъ девять?

— Сорокъ девять.

— Есть. Третьему?

— Тутъ уже была дочка, ваше благородіе; ей бы теперь было сорокъ семь лѣтъ.

— Есть. И только? больше не было?

— Были: еще была дочка Прасковья — царство ей небесное—недавно померла, той было бы лѣтъ сорокъ пять.

— Есть. А дальше?

— Послѣ нея былъ сынъ, въ рекруты сдали и слуху нѣтъ; тому было бы лѣтъ сорокъ.

— Сорокъ, есть. Ну?

— Послѣдняя дочка сбѣжала въ третьемъ году за полкомъ, вотъ я и остался сиротой!

— А та была стара?

— Да, слава Богу, было бы ей лѣтъ безъ двухъ сорокъ.

— Тридцать восемь, есть. Погоди, сосчитаемъ. Да и старъ же ты, сѣдая собака! и не слыхивалъ такого старика: 269 лѣтъ тебѣ! третью сотню живешь.

— Вамъ лучше знать, ваше высокоблагородіе, вы человѣкъ грамотный! мы люди простые.

— Да, это вѣрно; я на счетахъ не ошибусь. Ахъ, чортъ возьми, если я и слышалъ про такаго старика...

— Помогите, ваше высокоблагородіе!

— Помогу, помогу!... а! третью сотню заживаешь! сказать кому, такъ не повѣритъ, а по счету вѣрно выходитъ. Что жъ, ты много видалъ на вѣку?

— Много, ваше высокородіе! и вашего батюшку знаю, и дѣдушку, и прадѣдушку.

— А прапрадѣдушку?

— Зналъ; а съ вашимъ пращуромъ, мы въ лошадки играли.

— Вонъ-на! давно?

— Страхъ давно!

— Что жъ онъ былъ молодецъ? хотѣлось бы мнѣ его повидать.

— Важнѣющій былъ человѣкъ, очень похожъ на ваше высокородіе, только покрупнѣе былъ.

— Покрупнѣе?

— Точно такъ; да тогда всѣ люди были очень крупны, теперь измельчали.

— Вотъ что! стало быть, правду разсказывала Аксинья, что свѣтъ доживетъ до того, что люди станутъ пахать пѣтухами и по десяти человѣкъ будутъ въ одной печкѣ рожь молотить.

— Должно быть правда, ваше высокородіе. Вы человѣкъ грамотный. Не откажите на бѣдность.

— Хорошо, хорошо! такому хрѣну не знаю что и дать, третью сотню живетъ! Ну, вотъ тебѣ сторублевая, да уходи скорѣе.

— Спасибо, ваше превосходительство!

— Вишь, какъ подралъ! словно заяцъ, а третью сотню живетъ.

Часа черезъ два пришелъ Подметкинъ и привелъ съ собой человѣка въ синемъ кафтанѣ, перетянутомъ черкесскимъ поясомъ, въ плисовыхъ шараварахъ, упрятанныхъ въ смазные сапоги; въ одной рукѣ картузъ, въ другой нагайка. Этому человѣку, судя по бородѣ, было лѣтъ подъ тридцать. Назнакомый человѣкъ, войдя въ комнату, перекрестился, потомъ сталъ неловко кланяться, а Подметкинъ заговорилъ:

— Рекомендую тебѣ, Алеша, моего искренняго пріятеля; барышникъ Фырковъ, отличный человѣкъ! Не смотри, что онъ съ бородкой и недворянинъ, а всѣ дворяне ему кланяются, офицеры ему руку жмутъ, съ нимъ хлѣбъ соль водятъ, всѣ ремонтеры ему друзья, дорогой человѣкъ! Вотъ мы съ нимъ уладили для тебя дѣльцо, я и привелъ его къ тебѣ.

— Насчетъ, то есть, иноходчика; единственно для васъ по дружбѣ уступилъ, заговорилъ барышникъ:—генералъ очень за нимъ волочился, „ночей, говоритъ, не сплю, все снится Каурый“.

— Да ты, братецъ, Фырковъ, будь какъ дома, не церемонься съ Алешей, говори ему *ты*, иначе никакого дружества не будетъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, любезный! сказалъ Алеша.

— Ну, ладно, я и самъ люблю откровенность.

— Да, да! вотъ мы много надѣлали дѣла, а ты что сдѣлалъ, Алеша?

— Я подалъ милостыню.

— Хорошо, тебѣ нужно поправить репутацію послѣ батюшки: онъ сильно тебѣ напакостилъ; до сихъ поръ въ городѣ Канчукевичъ и свинья или собака — одно и то же; ругаются твоей фамиліей!

— Э-эхъ! поправимся!

— Разумѣется; только составь себѣ репутацію, а тамъ хоть и свихнешь при случаѣ, никто не повѣритъ. Давай нищимъ, дѣлать нечего, да съ разборомъ; гдѣ соберется побольше людей, тамъ и сыпли мелочью, или выбирай бѣднаго поголосистѣе: путь благовѣститъ; да давай поменьше да почаще, напоминай о себѣ. Такъ составляются репутаціи.

— Ну, я этому далъ здѣсь безъ людей.

— Худо; было хоть на улицу выйти: проходящіе бы видѣли.

— Да еще я ему далъ... сто рублей.

— Сто рублей!... Полно, шутишь?

— Не шучу. Да ты самъ далъ бы ему двѣсти, для курьезу далъ бы; вѣдь шутка сказать, пришелъ человѣкъ, что моего дѣда, прадѣда, пращура зналъ! вотъ что! 269 лѣтъ уже по свѣту мается; я не повѣрилъ бы, коли бъ самъ не сосчиталъ.

Тутъ Алеша разсказалъ весь процессъ своего исчисленія. Подметкинъ и Фырковъ

такъ и повалились на полъ отъ смѣху.

— Ахъ, ты голова головушка! Видишь, Фырковъ, я тебѣ правду говорилъ, что у него душа овечья. Ахъ, ты баранъ этакой безрогій! тебя развѣ тотъ не надуетъ, кто не захочетъ. Благодари Бога, что попалъ ко мнѣ въ опеку, все бы у тебя мошенники вытащили: у тебя слабая душонка. Вотъ какіе онъ безъ меня штуки откалывалъ! а я ему для благодѣянія бабу отъискалъ.

— Отъискалъ?

— Не твоему плуту чета, баба, братецъ, голосистая, что твой кларнетъ; а языкъ словно трещотка, такъ и колотитъ дробь; въ двѣ минуты она разсказала, что у ней нѣтъ мужа и на рукахъ шестеро дѣтей малъ мала меньше, и что ей когда кто далъ—все разсказываетъ, такая признательная, благодарная... такой не жаль дать, не пропадаетъ задаромъ. Она придетъ, ты увидишь.

— Такъ еще и ей дать?

— Нечего дѣлать, придется хоть немного, я самъ пригласилъ.

Потомъ Подметкинъ началъ разсказывать Алешѣ про каураго иноходца поздравлялъ его съ покупкой и обнималъ, обнималъ тоже и Фыркова и разсказалъ какой то анекдотъ о томъ, какъ одна барыня помѣщица покупала у Фыркова лошадь для завода. По обыкновенію, анекдотъ былъ такъ разсказанъ, что его нельзя было понять, хотя Фырковъ и Алеша очень много смѣялись. Алеша даже кричалъ: „Перестань! перестань, не выдержу; ахъ, умру! пропаду, лопну! въ груди колетъ, животъ сводитъ! охъ, пропаду, перестань...“

— Коли животъ сводитъ, выпей померанцовки, да кстати и мы поддержимъ компанію.

Принесли водки, хлѣба, икорки и еще чего то сухаго копченнаго, и хозяинъ съ двумя пріятелями начали лечиться истинно аллопатически. Впрочемъ, они и не виноваты: гомеопатія тогда еще не была въ модѣ. Это пріятное занятіе прервала вошедшая въ комнату женщина лѣтъ подъ сорокъ, со вздернутымъ носомъ, съ пухлыми красными щеками, съ быстрыми черными глазками; въ молодости она была очень не дурна, даже и теперь еще была сносна. Она пришла и съ плачемъ начала жаловаться на свое вдовство, на семейство и на бѣдность.

— Ба! вотъ сама она; легка на поминѣ. Я только о тебѣ, матушка, разсказывалъ; ты вѣдь вдова унтерофицера? никакъ Домна?

— Домна Трифоновна, ваше высокоблагородіе, вдова безпомощная, шестеро дѣтей малышей, пискъ да визгъ, хоть бѣги изъ дому, и всѣ хлѣба просятъ. Спасибо, добрые люди не оставлютъ; ужъ какой стряпчій! кто его не знаетъ? да и тотъ разступился гривенничкомъ.

— Вѣрю, вѣрю, матушка, мы тебѣ поможемъ. Алеша не въ отца пошелъ, любитъ добрыя дѣла.

— Да, да, матушка, люблю дѣлать добро, онъ правду говоритъ.

— Ахъ, вы отцы мои родные! да я васъ и въ молитвѣ стану почитывать, и свѣчку за васъ поставлю, и всему городу разскажу, только не оставьте малышей поколѣть съ голоду.

— Эхъ мать моя, Домна Трифоновна! сказалъ Фырковъ:—вѣдь это мои пріятели, я тебѣ не попущу ихъ надуть. Вѣдь я тебя знаю: ты держишь артельное кушанье на нашемъ постояломъ дворѣ, за тобой и грѣшки есть—не правда ли?

— Э, батюшка, кто Богу не грѣшенъ?

— Правда, да у тебя и мужъ есть: отставной унтеръ.

— Какъ, мужъ есть? спросили въ одинъ голосъ Подметкинъ и Алеша.

— Какой онъ мужъ, честные господа! только что званіе мужа, и совсѣмъ никчемный, ледащій! хуже вдовы живу!

— Ха-ха-ха! Слышь, Алеша, закричалъ Подметкинъ: — да вѣдь она бой — баба! ей-богу, молодецъ; какъ вывертывается!

— Молодца! замѣтилъ Алеша.

— Да и дѣтокъ у тебя нѣтъ, продолжалъ Фырковъ.

— Вотъ это ужъ напраслина, отвѣчала Домна:—видитъ Богъ напраслина.

— Гдѣ жъ они? ихъ нѣтъ при тебѣ?

— Гдѣ они? тамъ, гдѣ мы будемъ; Богъ прибралъ; всѣхъ схоронила моихъ сердечныхъ... и сколько ихъ было! да какіе хорошенькіе!

— Ай-да баба! закричалъ Подметкинъ:— молодецъ! Вотъ бы золотая была маркитанша! Нѣтъ, Алеша, ей стоитъ дать рубль серебра — не на бѣдность, а за удаль; такихъ бабъ мало на свѣтѣ. Что, ты трубку куришь:

Курю, ваше высокоблагородіе.

— Табакъ глотаешь?

— Нюхаю.

— Браво! объ этомъ тебя не спрашиваю, а вотъ объ этомъ, что въ графинчикѣ: вѣрно, выкушаешь стаканчикъ на здоровье?...

— Ваше здоровье!

— Молодецъ! и не поморщилась! а померанцовка крѣпкая... Я тебѣ еще прибавлю рубль серебра Да приходи къ намъ завтра пораньше, я съ тобой не шутя потолкую о важномъ дѣлѣ.

Домна взяла два цѣлковыхъ и ушла, а

три пріятеля далеко за полночь просидѣли, пробуя разныя настойки и разсуждая объ удали унтерофицерши. Наконецъ Подметкинъ предложилъ, и собраніе утвердило: не щадя издержекъ, переманить къ себѣ унтеръ офицершу и ввѣрить ей управленіе домомъ, а мужъ ея можетъ смотрѣть за лошадьми и кучерами. Проектъ запитъ, пріятели поцѣловали уходившаго барышника и легли спать, совершенно счастливые.

День отъ дня измѣнялись комнаты въ домѣ Алеши: въ сѣняхъ приколотили чуть ли не полсотни оленьихъ роговъ; на нихъ вѣшали шинели приходящихъ и постоянно висѣли хлысты, арапники, своры, собачьи ошейники, длинные охотничьи сапоги, перепелочныя сѣти и т. п. Спальня тоже была похожа на арсеналъ: здѣсь по стѣнамъ красовались ружья разныхъ размѣровъ и величинъ, со стволами круглыми, граненными, витыми, даже мѣдными; горская винтовка терлась о широкій раструбчатый мушкетонъ итальянскихъ разбойниковъ, далѣе персидское ружье все въ насѣчкѣ, ложа со врѣзками изъ слоновой кости и бирюзы, замокъ и приборъ серебряный, весь въ кораллахъ, а подлѣ кухенрейторскіе пистолеты, маленькіе, простенькіе, короткіе, но изъ нихъ Подметкинъ на пари берется всадить пулю на сто шаговъ въ человѣка, нашелся бы только охотникъ попробовать; рядомъ съ коротенькими кухенрейторскими пистолетами горятъ на стѣнѣ турецкіе пистолеты, длинные, съ золоченными стволами, съ вычурными украшеніями изъ литого серебра, съ шелковыми снурками и кистями. Говорили добрые люди, что всѣ иностранные ружья и пистолеты никогда и не бывали за границей, а дѣланы по заказу Подметкина въ Тулѣ: въ Тулѣ, дескать, и отца родного поддѣлаютъ дешево, былъ бы только онъ желѣзный.

На противоположной стѣнѣ висѣли сабли, старинныя шпаги, кинжалы. Не было на Кавказѣ ни одного знаменитаго разбойника, отъ котораго не досталъ бы Подметкинъ кинжала, и все у проѣзжихъ съ Кавказа. Дорого платилъ онъ, а все доставалъ нужныя вещи. На третьей стѣнѣ висѣли дудочки, свистки, пояски съ чернью, ермолки и всякая мелочь; а на четвертой —разныя французскія литографіи, изображающія прекрасный полъ въ разныхъ положеніяхъ; литографіи были прилично раскрашены. Глядя на нихъ, часто Алеша восклицалъ въ восторгѣ: „экія канашки! дорого да мило!“

Старая собака, которая, если помните, одна оплакала покойнаго Канчукевича, была, по приказанію Подметкина, повѣшена; на ея мѣсто явилась на дворѣ цѣлая стая гончихъ и борзыхъ, а въ комнатахъ пара лягавыхъ: одинъ Алеши—Валетъ, а другая Подметкина—Ами. И Валетъ и Ами спали съ господами, жили съ ними вмѣстѣ, вездѣ сопровождали ихъ; только не ѣли за однимъ столомъ.

— Хорошій человѣкъ, истинно благородный, не крючекъ, не скряга, а прямая душа, непремѣнно долженъ быть коноводъ и сабачникъ.

— Да, я люблю и собакъ, и коней, отвѣчалъ Алеша.

— Знаю, знаю, ты добрый малый, ты все-равно, что воскъ: все изъ тебя, что хочешь, вылѣпишь; счастливъ, что попалъ на меня!

Вотъ какъ они жили.

Утромъ рано встаетъ Подметкинъ и трубитъ въ кулакъ зорю, а если Алеша не просыпается, то беретъ охотничій рогъ и трубитъ въ него сколько есть силъ, такъ что окна дрожатъ.

— Полно, Подметкинъ! перестань!

— А ты ужъ проснулся, баба этакая! на службу бы тебя, выучили бы какъ спать.

— Да на зарѣ спать хочется.

— Пустяки! надо привыкать въ бодрости; мужчина долженъ быть бодръ, а не бабиться въ постели до полудня. Вставай!

Они встаютъ, надѣваютъ халаты и отправляются смотрѣть на погоду. Иди снѣгъ, шуми буря, лей дождь — имъ все равно, непремѣнно пройдутся по двору. Придя, начинаютъ говорить, что на дворѣ сыро и холодно, идутъ къ шкапику и пьютъ по рюмочкѣ христіанской и поздравляютъ другъ друга съ настоящимъ днемъ: если четвергъ — съ четверткомъ, понедѣльникъ—съ понедѣльникомъ; вслѣдъ за этимъ имъ приносятъ завтракъ: блины, пироги, жаркое, сельдей и два графинчика водки; разумѣется, сельди приправлены перцомъ, лукомъ и уксусомъ. Пріятели пьютъ по рюмкѣ за здоровье другъ друга, потомъ, на основаніи правила: *по первой не закусываютъ*, пьютъ по второй уже просто и ѣдятъ; Алеша ѣстъ много, а Подметкинъ мало, и то соленое или острое. „Пріѣлось уже, говоритъ онъ, нора запивать“. Завтракъ обыкновенно запиваютъ они по рюмочкѣ, а иногда, для потѣхи, и по двѣ, одѣваются и выходятъ на дворъ. На дворѣ осматриваютъ собакъ, лошадей, запрягаютъ дрожки и уѣзжаютъ, куда глаза глядятъ. Къ двѣнадцати часамъ они уже бываютъ дома, гдѣ ихъ ждетъ накрытый столъ, приготовленный поваромъ, котораго Подметкинъ взялъ изъ отставныхъ солдатъ, собственно за его расторопность, живость характера и неумолкаемый языкъ. Впрочемъ, смѣтливому солдату нетрудно было проникнуть въ тай-

ны кухни нашихъ пріятелей; они ѣли весьма неприхотливо, почти одно и то же каждый день: щи или борщъ, кислый до невозможности, потомъ солянка съ огурцами и наконецъ говяжьи котлеты или *битки*, по выраженію Подметкина. Эти *битки*, непремѣнно рубились на колесѣ. Если мясо было изрублено на столѣ или на доскѣ, а не на шинѣ колеса, Подметкинъ какъ-то по запаху узнавалъ, не ѣлъ ихъ и подымалъ страшную тревогу. „Я люблю—говорилъ онъ—жить нараспашку. Этакъ, бывало, выходимъ верстъ тридцать, выбродимся, вымокнемъ, и тутъ привалъ, огни горятъ, кипятъ котлы съ кашей, а поваръ нашего ротнаго командира стучитъ ножомъ по свѣтлому колесу капитанской брички. „Ого-го!“ говорили, бывало, мы: „битки скоро будутъ!“—и черезъ минуту они, братецъ, передъ нами на сковородѣ, кипятъ и подпрыгиваютъ въ бараньемъ салѣ; а запахъ кругомъ такъ столбомъ и стоитъ. Вотъ, бывало, хватишь стаканчикъ христіанской или *ромео*, коли той нѣтъ, да какъ примешься за битки... кажется, свой собственный языкъ съ ними съѣлъ бы; да, надобно тебѣ часъ отругаться отъ злого человѣка! Вотъ я тебѣ скажу, бывали битки! „Да какъ ты, братецъ, дѣлаешь?“ бывало спросишь у повара. —„Да такъ, просто, на колесѣ; гдѣ намъ со столами возиться! а желѣзо чистое, стеръ полой, положишь мясо, мигомъ собьешь“. И что жъ? Послѣ случалось мнѣ и дорого платить за битки, подавали мнѣ ихъ и просто, и со всякими французскими хитростями—нѣтъ! все дрянь противъ походныхъ!“

Передъ обѣдомъ пріятели пили по большой рюмкѣ водки.

За обѣдомъ обыкновенно Подметкинъ ѣлъ мало, а только пилъ и жаловался на жажду; Алеша кушалъ исправно, запивалъ тоже, отчего послѣ стола его сильно тянуло ко сну. Закуря трубки, пріятели ложились на кроватяхъ побалагурить; но скоро Подметкинъ замѣчалъ, что языкъ Алеши двигается медленнѣе, и онъ начинаетъ дремать. Тогда обыкновенно Подметкинъ вскакивалъ съ постели и теребилъ Алешу, уговаривая не спать: спятъ, дескать, послѣ обѣда толстые помѣщики, трусы, ученые дураки, подъячіе и всякая сволочь, а народъ дѣятельный—онъ себя считалъ очень дѣятельнымъ человѣкомъ—долженъ презирать сонъ.

— Да какого я чорта стану дѣлать? съ отчаяніемъ кричалъ Алеша.

— Мало ли есть чего? стрѣляй, учи собаку, говори, слушай, играй въ карты. Вѣдь совѣстно сказать: такой молодецъ, а играетъ въ карты словно поповна, ни одного фокуса не знаетъ, снять порядочно не умѣетъ. Э! да ты опять спишь? Алеша, полно бабиться! встань, дружище! Нѣтъ какъ убитый! постой же...

Подметкинъ выливалъ на голову Алеши стаканъ холодной воды, или затыкалъ ему носъ маленькимъ бумажнымъ конусомъ, наполненнымъ мелкимъ табакомъ; тотъ или другой способъ но всегда удачно и скоро подымалъ съ постели Алешу; Алеша ругался, Подметкинъ хохоталъ.

— Счастливъ ты, братъ, говорилъ онъ, катаясь на кровати отъ смѣху:—что не попался въ казенное заведеніе; тамъ бы тебя выучили сердиться на товарищей! больше сердишься, больше школьничаютъ, пока не перестанешь; пересталъ—и они перестали: постарому добрые ребята, славные товарищи...

— Какъ же не сердиться, говорилъ Алеша, безпрестанно чихая или выжимая руками мокрые волосы на головѣ:—какъ же не сердиться, когда совсѣмъ можно этакъ человѣка съума свести.

— Ну, коли такъ, я возьму фуражку да и прощай! Живи себѣ какъ знаешь.

— Нѣтъ, Подметкинъ, Богъ съ тобой! Куда ты? Я, вѣдь, только пошутилъ, право пошутилъ.

— То-то, овечья душа! на товарища сердишься, а безъ товарища тебя куры заклюютъ. Миръ, такъ миръ.

Они мирились, запивали миръ тенеринфомъ или сантуринскимъ и до чаю стрѣляли въ комнатѣ изъ пистолетовъ восковыми пулями. Чай подавали *для формы*: его никто не пилъ, развѣ случались церемонные гости. Алеша и Подметкинъ пили на-бѣло, то-есть, клали въ стаканъ нѣсколько кусковъ сахару, наливали на это треть стакана простой, бѣлой, горячей воды и пили, остальное доливая кизляркой или ромомъ, который Подметкинъ всегда называлъ: *высокородный ромео!* и послѣднее слово произносилъ звучно, торжественно, какъ то своеобразно раскрывая свой широкій ротъ.

Послѣ чая, пріятели учили носить поноску своихъ лягавыхъ собакъ, или заставляли ихъ ссориться и грызться между собою, причемъ побѣдитель получалъ кусокъ колбасы и кличку молодца, до слѣдущаго вечера.

Иногда, послѣ чая, Подметкинъ входилъ съ Алешей въ спальню, запиралъ дверь, ставилъ на столъ двѣ свѣчки, къ столу два стула, садился за столъ противъ Алеши и, вынувъ изъ кармана колоду картъ, начиналъ ученую лекцію о карточной игрѣ вообще и азартной въ особенности, какъ самой благородной, открытой, веселой и пріятной, причемъ всегда раз-

сказывалъ извѣстныя вамъ приключенія, какъ кто-то, когда-то, гдѣ-то, или даже въ Москвѣ, или Кіевѣ на контрактахъ, выигралъ на одну карту огромную сумму, оправилъ карту въ золотыя рамки, а на сумму купилъ богатое имѣніе и живетъ себѣ теперь припѣвающи. Или, какъ такое же миѳическое лицо выиграло на одну карту полмилліона, женилось на графинѣ и само вышло въ люди. Сначала Алеша слушалъ разсказы со вниманіемъ, а подъ конецъ вечера сильно зѣвалъ, говоря: „а мнѣ что за дѣло до нихъ, прахомъ они разсыпься! мнѣ и безъ нихъ хорошо, я самъ по себѣ...“

Между разсказами Подметкинъ толковалъ Алешѣ разныя техническія слова записныхъ игроковъ, показывая тотчасъ примѣненія ихъ на практикѣ, объяснялъ пользу и вредъ цвѣтныхъ очковъ, увеличительныхъ очковъ, подпиленныхъ пальцевъ, пунша, подаваемаго въ трактирахъ играющимъ разнымъ лицамъ, хоть въ одно время, одного цвѣта во всѣхъ стаканахъ, но на разныхъ подносахъ—словомъ, развивалъ передъ нимъ обширный свитокъ житейской мудрости, собранный во время кочевокъ отъ Москвы до Яссъ и отъ Оренбурга до Варшавы. Потомъ, увидя, что теорія прискучаетъ птенцу, онъ переходилъ къ практикѣ и игралъ съ нимъ, только не на деньги, а на щелчки.

Щелчки быстро сыпались на лобъ бѣднаго Алеши, слезы градомъ лились изъ глазъ.

— Да возьми хоть по гривеннику за щелчокъ, только отстань!

— Нѣтъ, Алеша, и по цѣлковому не возьму; радъ что у меня рука расходилась, смерть хочется подраться хоть щелчками; а второе—я добрый товарищъ: что мнѣ играть съ тобою? даромъ брать деньги не хочу; никто не скажетъ, что я ограбилъ тебя, а съ тобою *теперь* играть въ карты все равно, что съ Валетомъ или Амишкой. Вотъ другое дѣло, коли ты попривыкнешь да насобачишься, тогда я самъ тебѣ скажу: выходи, Алеша, сразимся, развязывай кошель. Играю, играю, братъ, безпардонно, во всю душу играю, во всю ивановскую! Берегись: ѣду — не свищу, а наѣду — не спущу, и отцу родному не спущу; православно, шутка шуткой, а дѣло дѣломъ. Карты—важная вещь, съ ними не шутятъ, а щелчки—пустое; лобъ немного покраснѣетъ, приложи холодный пятакъ — какъ рукой сниметъ: ни шишки не будетъ, ничего, ни пятнышка.

Иногда, послѣ карточной лекціи, пріятели занимались ловлей сверчка, немилосердно кричавшаго въ углу у печки, причемъ поднималась страшная возня, шумъ, крикъ. Иногда Подметкинъ доставалъ гнѣздо молодыхъ мышей и травилъ ихъ въ пріемной комнатѣ молоденькими кошками; время шло, а между тѣмъ приходила пора ужинать. Оба друга отправлялись къ шкапу, пили по рюмкѣ или по двѣ настойки, какую находили приличнѣйшею, судя по погодѣ, времени года и другимъ обстоятельствамъ, и садились ужинать. Послѣ ужина торопились лечь въ постель, чтобъ не проспать завтрашняго утра — для чего? Богъ ихъ вѣдаетъ. Завтрашній день проходилъ такъ же, какъ и сегодня.

Иногда, отъ обѣда до вечера, они стрѣляли въ цѣль, въ комнатѣ, изъ пистолетовъ восковыми пулями, до тѣхъ поръ, пока отъ дыма становилось не въ мочь дышать. Подметкинъ находилъ это упражненіе необходимымъ всякому человѣку, живущему между хорошими людьми, который не желаетъ, чтобы другіе безнаказанно смѣли наступить ему на ногу. О пользѣ стрѣльбы у него была тысяча анекдотовъ, одинъ другого нелѣпѣе.

Такъ шли дни за днями; вчера очень походило на сегодня, а сегодня еще болѣе на завтра: однообразіе дней только нарушалось выѣздомъ на охоту, а вечеровъ — гостями.

Когда выѣзжали на охоту, то весь домъ съ утра или, лучше сказать, съ полночи приходилъ въ движеніе: на дворѣ визжали собаки, хлопали арапники, ругалось нѣсколько голосовъ; въ комнатахъ суетился Подметкинъ: насыпалъ заряды, по временамъ подходилъ къ шкапику, откуда возвращался покрякивая, командовалъ, дергалъ за ухо Валета, ѣлъ закуску, давалъ подачку Амишкѣ, распекалъ Алешу, который, спустя ноги съ кровати, полусонными глазами глупо глядѣлъ на своего друга и на битки, дымившіеся передъ нимъ на сковородкѣ, а другъ еще находилъ время спѣть свою любимую *охотничью арію:*

Мальбругъ въ походъ поѣхалъ,
Былъ конь подъ нимъ игрень,
Когда же онъ пріѣдетъ?
Авось-ли въ тройцынъ день.

— А развѣ у меня не каурый конь? спрашивалъ простодушно Алеша.

— Каурый, братецъ!

Тю-лю-лю, ру-лю-лю, лю-лю!

— Отчего же ты поешь *игрень?*

— Развѣ я про тебя пою? намъ съ тобой до этого далеконько. Одѣвайся-ка живѣе!

Тю-лю-лю, ру-лю-лю, лю-лю,
Ра-ра-ра-тра-ра-ра, ра, ра!
Авось-ли въ тройцынъ день!

— Эй вы! скажите живѣе закладывать таратайку!

Вотъ тройцынъ день проходитъ,
Мальбруга не видать!
Мадамъ на башню лѣзетъ!

— А зачѣмъ? спрашивалъ Алеша.

— Фу, ты, чортъ возьми, какой безтолковый! развѣ я былъ при этомъ?

— И я не былъ.

— Ну такъ что?

— Ничего.

Оба друга начинали хохотать, совершенно убѣдившись, что они не дураки, а умные люди, и говорили глупости такъ, ради шутки, для препровожденія времени, чтобъ подурачить другъ друга и посмѣяться.

Наконецъ выносили окончательно ящики съ солеными огурцами, колбасами и прочимъ, выносили бутылки и бутылочки съ разными лекарственными жидкостями и выходили сами *господа* Подметкинъ и Алеша, одѣтые со спартанской простотою и увѣшанные оружіемъ отъ головы до сапогъ, словно пираты. Всѣ выходили и выѣзжали за ворота, и въ домѣ утихало на цѣлый день, до вечера.

Здѣсь пока они охотятся, я сдѣлаю маленькое отступленіе. Нигдѣ я не видала такой дворни, какъ у Алеши; всѣ слуги— а ихъ было пропасть—смотрѣли или зломрачно, отчаянно, или такъ попріятельски, что не знаешь, кто баринъ: Алеша или какой-нибудь Павлушка или Андрюшка. Впрочемъ, надо сказать правду, что слуги въ существѣ хоть и принадлежали Алешѣ, потому что были куплены на его деньги, а по бумагамъ—что гораздо крѣпче—принадлежали Подметкину. Подметкинъ купилъ ихъ душъ десять разомъ у одной барыни, сосѣдней помѣщицы, которой нужно было новое бархатное платье къ балу предводителя, а люди въ это время ее разогорчили, и купилъ на свое имя.

— Ты, братецъ, говорилъ Подметкинъ Алешѣ, еще безъ имени овца—баранъ, а я имѣю благородный чинъ, мнѣ сподручнѣе было въ судѣ хлопотать; а тебя, чего добраго, еще какъ-нибудь толкнули бы, вотъ, дескать, недоросль безчиновный, пришлось бы просить сатисфакціи,—такъ я и купилъ на свое имя.

— Ладно, ладно, отвѣчалъ Алеша:—а какъ бы чинишко зашибить—а?

— Это на что? ты дворянинъ, зачѣмъ тебѣ?

— Ты самъ говоришь, что я овца или баранъ, не возьму въ толкъ, все равно, безъ имени...

— Да, оно, конечно, пріятно имѣть чинъ, только благородный, рыцарскій, чтобъ не пахло отъ его чернилами; а тутъ гдѣ получишь такой чинъ? запишешься въ канцелярію, разумѣется, не будешь ничего работать, а всетаки станешь оброчнымъ мужичкомъ: то тому, то другому, то третьему, сильно въ бокахъ исхудаешь, а все-таки угодишь въ регистраторы, что будетъ назвать передъ порядочнымъ человѣкомъ совѣстно. Теперь по крайней мѣрѣ *дворянинъ*: звучно, что-то въ родѣ *баронъ* или *маркизъ*. Погоди лучше, вотъ придетъ когда-нибудь въ нашъ городъ гусарскій полкъ; я тебя опредѣлю, послужи до перваго чина, и самъ съ тобой пойду въ полкъ—не для службы, мы съ ней не ладимъ—а единственно для *компанства*, для товарищества.

— Ладно, подождемъ, отвѣчалъ Алеша:— а люди на чье имя ни куплены—все равно; вѣдь что мое, то твое.

Но люди видѣли въ Подметкинѣ, своего барина и почти не слушали Алеши хотя и Подметкинъ и они всѣ жили на его счетъ. Когда Алеша, желая расположить кого изъ слугъ, давалъ ему денегъ, тотъ дѣлался почти его пріятелемъ, а другіе косились, сердились и пуще прежняго старались грубить, чтобъ вынудить и себѣ подобную благосклонность. Подметкина они болѣе слушали, но и его не любили. Иногда онъ кричалъ на нихъ, кормилъ пинками, щелчками и тому подобными мелочами; иногда собиралъ ихъ въ кружокъ, заставлялъ пѣть пѣсни, самъ подъигрывалъ на гитарѣ и поилъ водкой и цѣловалъ запѣвалу; а послѣ этого вдругъ, отъ бездѣлицы, выходилъ изъ себя и неосторожно безпокоилъ—какъ выражались они—кого-нибудь кулакомъ по уху. Вообще, Подметкинъ, человѣкъ веселый, беззаботный, сдѣлался ворчуномъ, драчуномъ и страшно взыскательнымъ, когда сталъ барином десяти крестьянъ. Его прямая душа, проповѣдывавшая равенство и товарищество, оскорблялась всѣмъ на свѣтѣ: всѣ люди у него были, по его словамъ, мошенники, носили много платья, топтали бездну сапоговъ и не имѣли къ нему никакого душевнаго расположенія. Ужъ я ли ихъ, дескать, не балую, а все ничего! изъ хама не будетъ пана! въ крови нѣтъ благородства, въ лицѣ нѣтъ откровенности, и ходятъ, чортъ знаетъ какъ, и стоятъ безъ всякой выправки, брюхо впередъ, плечи завалитъ, грудь спрячетъ—совсѣмъ не человѣкъ!

Вечеромъ поздно возвращались друзья съ охоты, усталые, измученные, иногда но-

крые, перезябшіе, и привозили несчастнаго молодого зайца, или пару утокъ, или просто ничего. Во всякомъ случаѣ, Подметкинъ сердился, кричалъ, что охота не удалась потому или потому, называлъ Алешу мокрой курицей и обѣщалъ отдѣлать своими какого-нибудь мародера, шиша или тетерю.

Подметкинъ никого изъ своихъ людей не называлъ христіанскимъ именемъ, а давалъ имъ свои прозвища: то шишъ, то тетеря, то глухарь, то дурень, то барабанная палка и тому подобное; и вообще, говоря о нихъ или съ ними, называлъ мародерами.

Впрочемъ, когда первые порывы гнѣва утихали и Подметкинъ обогрѣвался, выпивъ чего-нибудь съ дороги, принимались разсматривать добычу: зайца растягивали во всѣ стороны, мѣряли его аршиномъ и въ длину и въ толщину, и уши мѣряли, и мѣряли скоки. Послѣ этой операціи Подметкинъ увѣрялъ, что подобнаго зайца съ такими выносными скоками ему еще и видѣть не случалось, что этотъ заяцъ долженъ скакать шибче бѣса; наводили справку, какая собака первая дошла его, приводили въ комнату собаку, давали ей заячью лапку, гладили ее. Тощая борзая, поджавъ хвостъ, грызла лапку, искоса поглядывая на лягавыхъ барскихъ любимцевъ Ами и Валета, спокойно лежавшихъ на постеляхъ своихъ господъ. Алеша, въ охотничьемъ восторгѣ, цѣловалъ ее въ узкую мордочку, приговаривая: „Стрѣлка моя, душка, исполать тебѣ, нѣтъ у меня родни, ты мнѣ родная, Стрѣлочка голубушка".

Уведя собаку, приносили безменъ и вѣсили зайца. Подметкинъ самъ всегда вѣсилъ, и, странное дѣло! самый тощій заяцъ въ его рукахъ вѣсилъ безъ малаго полпуда. Безменъ очень удобный инструментъ.

Если дичь была утки, то начинался толкъ о томъ, кто убилъ какую утку, какъ она сидѣла, изъ какого ружья ее убили и какъ попалъ въ нее зарядъ. Въ случаѣ спора—а безъ спора никогда не обходилось—призывали свидѣтелей: являлся какой-нибудь долговязый *глухарь* или *барабанная палка* и, размахивая руками, свидѣтельствовалъ, часто лжесвидѣтельствовалъ сообразно видамъ господъ. Въ заключеніе тутъ же общипывали утокъ и въ вихрѣ кружившихся перьевъ и пуху разсматривали раны, опредѣляя по нимъ качество ружья и ловкость стрѣлка. Утокъ приказывали оставить на завтра, на вечеръ, и звали на нихъ пріятелей, а сами, перекусивъ, выпивъ, покормивъ Ами и Валета, засыпали сномъ невинности.

На завтра начинался день безпокойный, день тревогъ: съ темнаго утра уже осаждали домъ Алеши разные мужики и бабы, и рѣшительно нападали на пріятелей, когда они выходили по обыкновенію узнавать погоду. Подметкинъ ругался, Алеша тоже, бабы плакали и выли, мужики грубили и стращали полиціей, наконецъ вся эта ватага вваливалась въ пріемную комнату. Подметкинъ важно садился за столъ, Алеша рядомъ съ нимъ, мужики и бабы становились у дверей.

— Ну, начиналъ Подметкинъ:—такъ что же вамъ нужно, бездѣльники—а?

— Заплатите, ваше благородіе, помилосердствуйте, животы наши пропали: времена худыя, совсѣмъ насъ обидѣли! орало нѣсколько голосовъ разомъ, отчего рѣшительно трудно было понять хоть одно слово.

— Стой! оставь! кричалъ Подметкинъ:—говори кто-нибудь одинъ, а не всѣ разомъ.

— Говори ты, тетка Кулина!.. нѣтъ, говори, Семенъ... пускай Ванюха говоритъ, ворчали въ толпѣ.

— Что же вы, карбонаріи этакіе! въ кабакъ что ли пришли? смѣете ссориться въ благородномъ домѣ—а?.. Вотъ я васъ! позову сюда своихъ мародеровъ да такую задамъ вамъ таску!.. говори живо! Ну, хоть ты, старикъ, начинай!

Толпа присмирѣла. Старикъ дюжій, съ сѣдою бородой во всю грудь, медленно вышелъ изъ ряда, подошелъ къ столику и, поклонясь въ поясъ, хотѣлъ было говорить.

— Два шага назадъ! вашъ братъ всегда долженъ быть отъ насъ на благородномъ разстояніи... еще назадъ! вотъ такъ; теперь говори.

— Вчера, батюшка, ваше благородіе, ваши собаки заѣли у меня барана.

— Ну такъ что жъ?

— Такъ помилосердствуйте, заплатите; мы люди бѣдные, ваше дѣло боярское; ваша охота—намъ работа; кошкѣ смѣхъ—мышкѣ слезки.

— Ну, ну, ну! Ты, братъ, краснобай, говори живѣе: что твой баранъ былъ больно хорошъ?

— Первый баранъ на весь уѣздъ былъ.

— Полно, не на всю ли губернію?

— Да и на всю губернію, коли дѣло пошло на правду. Проѣзжіе господа, бывало, засматриваются, а вотъ заѣли собаки! лучше бъ меня было немного пощипали. Право слово...

— Ну, что же ты за него хочешь?

— Да... говорилъ мужикъ почесываясь:—я и цѣны не сложу ему; да случай, стало быть, вышелъ: грѣхъ пополамъ, дѣло хри-

стіанское, а цѣлковичковъ десятокъ надо бы пожаловать.

— За барана тридцать пять! да знаешь ли ты, сѣдой дьяволъ, что я лошадь куплю за эту цѣну?

— Вѣстимо, лошадь лошади рознь и баранъ барану; барана хоть съѣшь, а лошади не съѣшь, коли выйдетъ ледачая. Что же вы пожалуете, ваше высокоблагородіе?

— Я тебѣ дамъ рубль серебра и прогоню вонъ.

— Помилосердствуйте, гдѣ купить барана за три съ полтиной? Коли такъ, мое не пропадетъ: я пойду къ Ивану Ивановичу, къ Петру Петровичу, пусть они разсудятъ, они наши отцы-начальники.

— Ступай, ступай, братецъ, да неси цѣлковый Ивану Ивановичу, да цѣловый Петру Петровичу, вотъ будетъ семь рублей, да на бумагу выйдетъ рублика два-три— вотъ и десять, а получишь съ меня черезъ годъ или черезъ два, какъ по бумагѣ выйдетъ, и то потому что я добрый человѣкъ, получишь пяти-рублевую синюху. Бери лучше теперь да проваливай!

Старикъ почесался, поворчалъ и, взявъ пять рублей, ушелъ. Тетка Кулина хотѣла взять, по примѣру старика, тоже пять рублей за утку, которую подстрѣлилъ вчера Алеша. Подметкинъ давалъ ей пятакъ мѣди: баба сердилась, плакала, проклинала день своего рожденія, и сосѣдку, и утку, и весь свѣтъ, что очень утѣшало нашихъ друзей. Наконецъ, получила гривенникъ и удалилась. Потомъ кумъ Андрей объявилъ претензію за искусаннаго собаками поросенка, требовалъ чуть-ли не сто рублей, а порѣшилъ полтинникомъ и былъ очень счастливъ, когда ему поднесли, сверхъ уговора, чарку христіанской. За Андреемъ явился Степанъ, Митрофанъ, Денисъ, Борисъ и прочіе, всѣ съ требованіями, кто за ниву овса, вытоптанную собаками и верховыми, кто за ворота, разобранныя охотниками на дрова и т. п. Требованія этихъ добрыхъ людей были поистинѣ чудовищны; но здѣсь коса находила на камень. Подметкинъ былъ по натурѣ такой же кумъ Андрей, только одѣвалъ свою личность вмѣсто зипуна въ венгерку. Отвѣты Подметкина были въ своемъ родѣ чудовищны; притомъ на его сторонѣ было то преимущество, что мужики стояли, а онъ сидѣлъ, мужики кланялись, а онъ ругался, и потому нелѣпость запросовъ уничтожалась нелѣпостью отвѣтовъ и въ итогѣ выходили самыя тихія, скромныя, самыя обыкновенныя числа, которыя все-таки, надо правду сказать, въ сложности наносили изрядный вредъ карману Алеши и въ тысячу разъ стоили болѣе затравленнаго зайца или пары утокъ, по строгомъ розыскѣ признанныхъ даже недикими!

Въ спорахъ съ мужиками, въ уплатѣ имъ денегъ и т. п. незамѣтно проходилъ день, такъ-что друзья не успѣли порядочно пообѣдать, а еще менѣе того отдохнуть, какъ начали собираться гости.

Прежде всѣхъ пришелъ барышникъ Фырковъ, потомъ два друга изъ какого-то правленія. Говоря о себѣ, они всегда выражались: *мы правленскіе*. Эти друзья были, вѣроятно, дружны по службѣ; болѣе общаго между ними, кажется, ничего не было. Одинъ былъ высокъ, тонокъ, тощъ и наклонялся впередъ; другой низокъ, толстъ и постоянно закидалъ голову назадъ. Высокій былъ въ зеленомъ фракѣ съ узенькими фалдами, очень похожими на сложенныя ножницы; толстякъ былъ во фракѣ синяго цвѣта съ короткими фалдами, очень похожими на раздвинутые ножницы, отчего толстякъ, если на него смотрѣть сзади, немного походилъ на бабочку. Правда, и зеленый, и синій фракъ были очень истерты, и длинный и толстый другъ были въ желтыхъ нанковыхъ брюкахъ, испятнанныхъ чернилами, и въ цвѣтныхъ жилетахъ.

— Эти правленскіе—добрые малые, говорилъ Подметкинъ Алёшѣ:—ужъ я не выберу худого знакомства, а все-таки ихъ остерегайся: это, братъ, не нашъ братъ, чернильныя души; онъ тебѣ и другъ, а все-таки норовитъ какъ бы тебя опакостить— такая у нихъ натура, на этомъ живутъ. Это все равно, что вотъ змѣя кусается, а зачѣмъ ей Богъ далъ зубы? не было бы зубовъ, не укусила бы.

— Такъ чортъ съ ними, коли они кусаются!

— Э-ва! кто тебѣ говоритъ?... Они славные парни, добрыя души, игроки, плясуны, питухи, а живутъ только въ чернильномъ омутѣ—вотъ что! Я тебѣ острастку даю! просто сказать, смотри, чтобъ чайныя ложечки цѣлы были и прочее цѣнное, да и на картишки посматривай: иной разъ такой человѣкъ не дастъ козыря куда надо, а послѣ имъ же тебя поколотитъ.

— А-га! ну, теперь понялъ.

Послѣ правленскихъ явился какой-то богатый мѣщанинъ Макаръ, въ сюртукѣ, въ широкихъ шаравахъ, съ двумя часами, отъ которыхъ бисерные снурки, голубой и красный, красиво перекрещивались на высокой груди. Мѣщанинъ былъ извѣстный забіяка въ городѣ; его нѣсколько разъ хотѣли отдать въ солдаты, ловили нѣсколько разъ, но онъ всегда ускользалъ: гдѣ пробивался силою, гдѣ откупался и исчезалъ на долгое время, пока сердца *общества* не успокоивались. Онъ былъ огромнаго роста,

широкоплечій, страшный силачъ и отчаянный игрокъ на кларнетѣ; кларнетъ у него постоянно былъ спрятанъ въ неизмѣримомъ карманѣ широкихъ шараваръ. Еще пришелъ какой-то вольноотпущенный, жившій долго въ Петербургѣ камердинеромъ при баринѣ. Съ ними особенно любилъ толковать Подметкинъ про политику, про балаганы, про волокитство высшаго круга, про нѣмцевъ—не нашихъ нѣмцевъ, доморощенныхъ: этихъ Карловъ Карловичей, дескать, вездѣ много,—а про настоящихъ нѣмцевъ, заграничныхъ, у которыхъ свой нѣмецкій король. Вольноотпущенный всегда говорилъ хотя и съ чувствомъ своего достоинства, и съ сознаніемъ своего личнаго превосходства, но выражался деликатно, смягчая рѣчь разными пріятными выраженіями въ родѣ: „смѣю вамъ доложить“, „я вамъ имѣлъ честь докладывать“, „вы изволили выразиться совершенно справедливо“ и проч...

— Это, братъ, петербургская штука, говаривалъ Подметкинъ Алешѣ: — учись у него тонкому обращенію. Чертъ его знаетъ, какъ онъ то же слово, что и я скажу, скажетъ совершенно иначе!

Еще пришелъ учитель приходскаго училища, немного навеселѣ, и еще веселѣе явились вслѣдъ за нимъ какіе-то три или четыре лица, которыхъ я и описать не умѣю; Подметкинъ и самъ не зналъ ихъ хорошенько. Они были чьи-то друзья, но чьи— не извѣстно; одинъ все поправлялъ галстухъ, поддергивалъ его кверху, тянулся и держалъ себя такъ прямо, словно проглотилъ желѣзный аршинъ. Другой былъ очень похожъ на человѣка, несущаго на плечахъ тяжелый куль овса. Третій немного напоминалъ собойвы тертую половую щетку, а четвертый — странное дѣло! я до сихъ поръ не могу дать себѣ отчета въ четвертомъ; кажется его не было, а подумаешь — былъ; но рѣшительно ни на что не походилъ этотъ человѣкъ, и память отказывается удерживать его образъ.

Когда гости сошлись, подали самоваръ; явился *„кизляръ-ага*, то-есть кизлярская водка, явился самъ *высокородный ромео*. Поставили на столъ дюжину стакановъ, принесли большой подносъ, горой насыпанный блестящими кусками сахару. И по среди этого, освѣщенный двумя горѣвшими по сторонамъ свѣчками, возвышался уемистый самоваръ; онъ стоялъ, словно древній жертвенникъ, шумя, курясь, сверкая и наполняя комнату клубами легкаго бѣлаго пара.

Въ какомъ-то поэтическомъ восторгѣ подошелъ къ самовару Подметкинъ, отвернулъ обшлага венгерки и, захватя въ обѣ горсти сахару, началъ бросать въ стаканы, приговаривая звучнымъ голосомъ:

— Честные господа! пожалуйте сюда откушать моего труда. Пей воду—все будетъ вода, а вотъ съ этимъ не пропадемъ никогда; ну, душа Подметкинъ, поворачивайся! прочь съ пушнымъ товаромъ, ѣдутъ съ табакомъ!.. Кому съ татаркой, кому съ ромкомъ?

Громкій хохотъ гостей привѣтствовалъ остроумную выходку Подметкина и въ слѣдъ за этимъ мѣщанинъ Макаръ, выхватя изъ кармана кларнетъ, заигралъ колѣно какой-то плясовой пѣсни. Изумленные гости восторженно захлопали въ такъ руками, припѣвая:

Ай жги, жги, жги, говори!
Рукавички барановыя!...

— Стой! стой! стой! закричалъ Подметкинъ, подымая кверху руки, полныя сахарныхъ кусочковъ.

Кларнетъ умолкъ.

— Подойди ко мнѣ, Макаръ, исполать тебѣ! вотъ истинный другъ, вотъ, господа, душа компанія!... подойди, Макарушка, поцѣлуемся! Хорошо, больно хорошо! Не будь занятъ дѣломъ, я самъ бы пошелъ въ присядку, какъ рядовой пошелъ бы въ присядку... Ну, поцѣлуй же меня! И, не выпуская изъ рукъ сахаръ, Подметкинъ обнялъ мѣщанина и поцѣловалъ его въ обѣ красныя щеки.

— Теперь, господа, займемся дѣломъ.

Руки гостей протянулись къ стаканамъ.

— Стой! закричалъ Подметкинъ:—отставь! безъ пробы не отпущу, я не цѣловальникъ, и даромъ воды не даю, пускай тѣ продаютъ ее за деньги.

Потомъ онъ обмакнулъ палецъ въ стаканъ съ пуншемъ и поднесъ его къ свѣчкѣ: синее пламя быстро охватило палецъ. Подметкинъ хладнокровно задулъ пламя и повторилъ эту операцію со всѣми стаканами. Пуншъ во всѣхъ стаканахъ оказался равнаго достоинства: воспламенялся какъ спиртъ.

— Ну, вотъ теперь, господа, милости просимъ: сами видѣли доброту напитка, никто не станетъ попрекать другъ друга, всѣ равны, всѣ одинаковы, какъ стаканы, такъ и души—прямое товарищество! Ура!

— Ура! ура! гаркнули гости, выпивая стаканы, а Макаръ при удобномъ случаѣ надулъ кларнетъ и заигралъ приличную пѣсню.

Долго пили гости и хозяева пуншъ, потомъ сѣли за карты, потомъ Фырковъ проговорился, что у него есть двусердеч-

ная лошадь. Это изумило все собраніе. Подметкинъ божился, что про таковскую лошадь никогда и не слыхивалъ, шатаясь по бѣлу свѣту не одинъ годъ, хотя и видалъ лошадей двужильныхъ, а съ трёмя свищами самъ имѣлъ бѣгуна, который, хоть двадцать верстъ скачетъ, сталъ, прыснулъ —и свѣжъ, и не работаетъ боками.

— А эфта и не прыскаетъ, и не работаетъ боками и не потѣетъ, хоть сто верстъ поѣзжай; первый сортъ лошадь, право, ейбогу! сказалъ Фырковъ.

— Да у моего покойнаго отца была двусердечная кобыла, замѣтилъ Макаръ:—дрянь лошадь съ виду, суха, поджара, какъ этотъ кларнетъ, а въ работѣ не приведи Господи, змѣй!

Алеша накинулся на двусердечную лошадь и сталъ ее торговать. Фырковъ отнѣкивался: себѣ, дескать, надо, товаръ дорогой, рѣдкій; да ты ее не видалъ, да понравится ли? Подметкинъ напалъ на Фыркова, гости поддерживали Подметкина, и Фырковъ, наконецъ, продалъ двусердечную Алешѣ за тысячу рублей ассигнаціями, замѣтивъ, что дѣлаетъ это единственно по дружеству, а не для чего другого прочаго иного; а коли уже проговорился, потерпи за свой языкъ, а не обижай друга!

Деньги сейчасъ же были уплачены Фыркову, и я попала къ нему въ бумажникъ. Какъ слѣдуетъ запили магарычъ, и Подметкинъ предложилъ поиграть въ отчаянную.

— И я буду играть, сказалъ Алеша.

— Куда тебѣ, овечья душа, тягаться со мной!

— Какая ни есть душа, а все играть буду; что я мальчикъ какой, что ли?

— Да вѣдь тебя жалѣю; погоди, поучись.

— Поди къ чорту! Играю, слышь, играю!

— Господа! громко сказалъ Подметкинъ, —прошу быть свидѣтелями: Алеша хочетъ играть противъ меня; мы играемъ не шутя; я проиграю—сейчасъ плачу, денегъ не хватитъ—венгерку долой, а раздѣлаюсь какъ честный и благородный человѣкъ. Онъ проиграетъ—сейчасъ плати; не хватитъ чистагана—прошу цѣнить домъ, садъ, стулья, самоваръ—все, все принимаю въ цѣнѣ, какъ скажутъ благородные люди!

— Ладно, ладно! извѣстное дѣло! замѣтили гости.

— Ладно! сказалъ Алеша:—садись, была не была! Дайте новыхъ картъ! А ты куда, Фырковъ?

— Сбѣгаю маленько на фатеру да приведу тебѣ двусердечную; коли деньги получилъ, такъ и тянетъ отдать товаръ: вѣрьте совѣсти.

— Да вертайся поскорѣе! Мы ее сюда приведемъ, пусть и она съ нами кутнетъ!

— Оченно хорошо-съ; это наше дѣло!

— Только поскорѣе! И Алеша запѣлъ:

Ваше дѣло—продать,
Наше дѣло—купить.

„Нѣтъ, братъ, ужъ я не вернусь“, ворчалъ Фырковъ, выходя изъ сѣней: „тутъ не добромъ кончится, тутъ пойдетъ такое, что дай Богъ не быть свидѣтелемъ: Алеша дуракъ, а Потемкинъ плутъ и разбойникъ, онъ его ограбитъ сегодня. А! мое сорокъ одно почтеніе!“

Придя домой, Фырковъ засталъ у себя гостя въ форменномъ сюртукѣ.

— А! дорогой Фырковъ! закричалъ гость на встрѣчу Фыркову:—гдѣ такъ запропастился? Я ужъ хотѣлъ было посылать за тобой. Скука, братецъ, страшная!

— Такъ ли, ваше благородіе Осипъ Михайловичъ?

— Страшно, братецъ, соскучился. Гдѣ ты былъ?

— Торговое дѣльце обдѣлалъ.

— Вѣрно, принадулъ кого—а? признавайся.

— Нѣтъ, надуванціи большой не случилось, а съ барышкомъ сбылъ игренюю кобылу.

— Знаю, разбитую.

— Какая она разбитая! опоена немного, а кобыла знаменитая.

— Полно меня дурачить! самъ пять лѣтъ покупаю и продаю лошадей; вѣрно взялъ цѣлковыхъ сотню?

— Побольше!

— Нѣтъ? Неужли четыреста? вѣдь она тебѣ стоитъ восемьдесятъ рублей! Бога бойся!

— Поболѣе.

— Такъ пятьсотъ, что ли?

— Больше.

— Полно шутить! говори самъ цѣну, у меня языкъ не поворотится дать за нее больше.

— Да тысячу рублей Господь помогъ взять.

— Врешь, братъ; а коли не врешь, такъ тебѣ самъ чортъ помогалъ, или ты нашелъ прямого Емелю-дурака.

— Съ чортомъ мы люди простые не того, ваше благородіе; мы и посты держимъ и прочее, а помогли добрые пріятели, да покупщикъ, признательно сказать, и дураковатъ маленечко и маленько *подгулямши*.

— Да врешь ты, архиплутъ!

— Вотъ и деньги.

— Молодецъ! замѣтилъ Осипъ Михайловичъ:—за тобой магарычъ. А между прочимъ, дай мнѣ, любезный, денегъ.

— Вотъ это ужъ мнѣ не понутру, ваше благородіе: торговля наша плоха, совсѣмъ нѣтъ денегъ.

— Ахъ ты, плутъ этакой! Надуваетъ цѣлый свѣтъ, въ полкахъ половина браков-анныхъ лошадей изъ его рукъ вышла, да еще прикидывается святошей, нищимъ.

— Богъ съ вами, Осипъ Михайловичъ, мы не нищіе, за себя постоимъ; да вѣдь вашему брату денегъ давать опасновато: вы насъ посильнѣе, захотите—отдадите, захотите—будете водить до смерти.

— Что ты, съ ума сошелъ?!

— Никакъ нѣтъ. Вотъ на графѣ Финфирлюкѣ пропадаетъ моихъ шесть тысячъ; нужно было—кланялся; проигралъ въ карты деньги, а лошадей нѣтъ, казна требуетъ; далъ своихъ лошадей и взялъ росписку, а теперь съ распиской два раза меня въ зашей протолкали. Благо бы не было, а то карета не карета. четверня не четверня! безъ шампанскаго обѣдать не сядетъ, а скажи про долгъ—смѣется. „Господа!“ говоритъ своимъ гостямъ: „посмотрите на дурака: съ меня долго получить хочетъ!“— „А долгъ не карточной?“ — „Разумѣется, нѣтъ“. И гости хохочутъ вмѣстѣ съ графомъ и графъ тычетъ мнѣ въ глаза пальцами и кричитъ: „Смотрите, какъ у него вытягивается рожа“!

— Ну, вольно было выручать изъ бѣды графа Финфирлюка: онъ извѣстенъ тѣмъ, что не платитъ долговъ; а я, братецъ, другое цѣло; я, братецъ, самъ коммерческій человѣкъ, твоего поля ягода.

— Такъ-съ. Да коли правду сказать— извините, ваше благородіе, и выпилъ сегодня маленько лишняго, такъ того, что у трезваго на умѣ у пьянаго на языкѣ; извините-съ за правду, а на нашемъ полѣ растутъ ягоды не того...

— Ха-ха-ха! Это, братецъ, въ коммерціи. Тутъ, конечно, нельзя дѣйствовать чистосердечно, и отца родного поприжмешь немного, хоть не для пользы, а для удовольствія, впередъ для науки; а въ дѣлахъ пріятельскихъ честное слово благороднаго человѣка...

— Эхъ, ваше благородіе! зналъ я человѣка — извините, я маленько выпимши... эфтотъ человѣкъ все кричалъ про честь. Разъ его товарищъ наступилъ ему на ногу, онъ вызвалъ товарища, всадилъ ему пулю въ шею и самъ получилъ пулю въ плечо; годъ не владѣлъ рукой и всѣ говорили: „вотъ благородный человѣкъ: не позволилъ замарать своей чести“. У меня была сестра, молоденькая дѣвушка — извините, Осипъ Михайловичъ, только и роду было; онъ увидѣлъ ее на ярмаркѣ, соблазнилъ, увезъ въ другую губернію и бросилъ... Черезъ годъ пришла она домой съ ребеночкомъ на рукахъ, блѣдная, худая, больная... сохла, чахла, заговаривалась и черезъ мѣсяцъ умерла; ребенокъ тоже умеръ послѣ нея черезъ два дня—и никто не говорилъ объ этомъ, а всѣ помнили прострѣленное плечо и называли его честнымъ человѣкомъ. Наступи опять ему кто на ногу, онъ снова станетъ стрѣляться за честь. Да есть ли она у него?... Сгубилъ мою... Эхъ!...

Фырковъ склонился на столъ, закрылъ лицо руками, но между его грубыхъ пальцевъ пробивались и капали на столъ крупныя слезы.

— Полно, братецъ Фырковъ, былаго не воротишь, себя только испортишь; вотъ и мнѣ стало жалко, и я плачу...

— Извините, ваше благородіе, мы люди простые, неученые; выпилъ немного, вотъ и плачетъ хмель. Оно конечно, и сестры жалко: одна была, словно синь порохъ въ глазу.

Осипъ Михайловичъ былъ человѣкъ тонкій и удачно воспользовался печальной настроенностью Фыркова. Онъ самъ началъ грустить, вздыхалъ о суетѣ міра, говорилъ о своей любви къ извѣстной уѣздной барышнѣ, о своемъ безденежьи, что мѣшаетъ рѣшительно дѣйствовать, и къ концу вечера успѣлъ взять у Фыркова четыреста рублей ассигнаціями съ условіемъ: черезъ полгода заплатить пятьсотъ, и далъ ему на пятьсотъ росписку, а Фырковъ обѣщалъ при полученіи угостить его благородіе завтракомъ съ приличными винами. Впрочемъ, на это онъ не далъ росписки. Прощаясь, Осипъ Михайловичъ совѣтовалъ Фыркову немедля отправить Алешѣ игренюю кобылу, да высѣчь ее хорошенько на дорогу и дать стаканъ водки для куражу.

— Объ эфтомъ не безпокойтесь: мы ее подъеферимъ понашенски, угостимъ и перцомъ и инберцомъ: змѣй будетъ часа на два, хвостъ трубой, глаза нальются кровью — не безпокойтесь, ваше благородіе! не новички мы съ вами.

И вотъ я попала опять въ атласный бумажникъ, надушеный, раззолоченый, украшенный, вышитый по канвѣ букетомъ незабудокъ съ надписью: Souvenir.

На завтра мой новый хозяинъ умылся миндальнымъ мыломъ, напомадился помадою á la violette, завился, намазалъ усики восточною ароматною мазью, напрыскался духами, долго стоялъ передъ зеркаломъ, то вздыхалъ, то томно улыбался, то граціозно покручивалъ усъ, наконецъ, крикнулъ: „подлецъ Егорка, тарантасъ!“ сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ на обѣдъ къ своей невѣстѣ.

— Вы насъ забыли, Осипъ Михайловичъ, говорила хозяйка, пожилая дама въ розовой

наколкѣ, жеманно присѣдая, когда Осипъ Михайловичъ почтительно цѣловалъ ея руку.

— Извините, кругомъ виноватъ, дѣла!

— Хороши дѣла, два дня глазъ не казали; моя Полина совершенно загрустила.

— Сударыня, если по моей винѣ малѣйшее облако печали налетитъ на прекрасное чело Полины Александровны, я готовъ отдать за это мою жизнь, тысячу жизней!

— Вотъ она и сама. Пожури его, Полина, хорошенько; коли женихомъ дашь ему волю, такъ послѣ свадьбы и къ рукамъ не привадишь; а я пойду осмотрю кое-что по хозяйству.

Полина Александровна была какое-то полувоздушное созданіе, тоненькая, стройная, небольшаго роста, въ бѣломъ шелковомъ платьѣ, опоясанномъ свѣтлоголубымъ поясомъ, съ легкимъ газомъ, небрежно, фантастически накинутымъ на плечи и окружавшимъ ея шейку и кудрявую головку словно прозрачнымъ паромъ. Она казалась видѣніемъ на нашей матеріальной планетѣ. Лицо Полины Александровны было матовой бѣлизны. На немъ ярко горѣли черные глазки и рисовались темныя соболыи брови. Ея руки были бѣлы и полупрозрачны; длинные, античной формы пальцы, окаймленные розовыми ногтями, немного загибались кверху. Голосъ ея былъ звученъ, но ровенъ, спокоенъ и нѣжилъ и ласкалъ слухъ—словомъ, Полина Александровна была завидная невѣста, и весь уѣздъ говорилъ это, но по другимъ причинамъ: она была единственная дочь богатой помѣщицы, отличнѣйшей, примѣрной хозяйки и женщины самаго хорошаго тона въ уѣздѣ.

Не знаю, по какимъ причинамъ, но Осипъ Михайловичъ глядѣлъ на нее съ восторгомъ; его взглядъ былъ самый *упоительный*, развѣ на одинъ градусъ холоднѣе взгляда, какимъ онъ смотрѣлъ на себя въ зеркало, когда совершенно окончилъ свой туалетъ.

— Вы насъ забыли, сказала Полина Александровна, слегка покраснѣвъ.

— Я? *я васъ* забылъ! скорѣе солнце забудетъ взойти на востокѣ! скорѣе... Нѣтъ, извините, для этого нѣтъ сравненія.

— Полно, перестаньте, не обижайтесь; я сказала мою задушевную мысль: мнѣ было скучно безъ васъ.

— Вы безъ меня скучали? О, я счастливѣйшій человѣкъ! Еслибъ мнѣ какой волшебникъ предложилъ звѣзду Наполеона въ прежнемъ его величіи, или вашу кроткую звѣздочку, такъ отрадно свѣтящую мнѣ во мракѣ жизни, я бы далеко бросилъ звѣзду завоевателя съ его тронами и царствами и преклонилъ бы колѣни предъ вашей звѣздочкой...

— Ахъ, какой вы восторженный! Какъ пріятно видѣть человѣка съ такимъ пламеннымъ, бурнымъ характеромъ, если онъ кротко повинуется женщинѣ! Тутъ, въ этомъ торжествѣ кроется высокая награда за всѣ наши страданія въ жизни.

— Помилуйте! кто осмѣлится заставить страдать подобное существо? кто? Покажите мнѣ его, это чудовище! покажите! хотѣлъ бы я посмотрѣть на него.. Нѣтъ, это мечта вашего воображенія. Вамъ всѣ поклоняются, предъ вами все падаетъ въ прахъ... Еслибы вы пошли въ пустыни—и львы, и тигры, опустя гривы, глядѣли бы на васъ съ почтеніемъ и лизали бы слѣды ногъ вашихъ на горячемъ пескѣ Аравіи! Васъ всѣ любятъ! обожаютъ...

— Положимъ такъ; но вы вѣруете въ поэзію?

— Всей душой, всѣми чувствами, всѣми помыслами.

— Такъ вы помните „Смерть розы“?

— Смерть розы?... да, помню. Это, кажется, гдѣ вѣтеръ клокочетъ у ногъ розы, а она умираетъ...

— Ахъ нѣтъ! „Смерть розы“ Бенедиктова. Помните пѣсню ангела цвѣтовъ надъ розой, которая только-что распустилась? Чудная пѣсня! а какое заключеніе:

Люди добрые голубятъ,
Любятъ пышный цвѣтъ полей—
Ахъ! они-жъ тебя и сгубятъ!
Люди губятъ, все что любятъ—
Такъ ведется у людей!..

И, проговоря эти стихи, Полина Александровна тихо склонила на плечо головку, словно роскошный цвѣтокъ, истомленный нѣгой знойнаго дня.

— Да, удивительные стихи! сказалъ Осипъ Михайловичъ:—я ихъ спишу и выучу.—

Люди губятъ все, что любятъ,—
Такъ ведется у людей!

Ей-Богу, святая истина! О чемъ вы задумались?

— Такъ, можетъ-быть, и меня сгубятъ тѣ, которые любятъ...

— Полина! другъ моей души! не говори такихъ жестокихъ рѣчей: онѣ огненными каплями падаютъ мнѣ на душу и пепелятъ бѣдное сердце... сердце крѣпкое, могучее, сердце мужчины, закаленное въ бранныхъ непогодахъ, стальное сердце, но любящее тебя!

— Перестань, Жозефъ! я нехотя оскорбляю твою высоко-благородную душу... Помиримся! руку!

Осипъ Михайловичъ съ изступленіемъ прижалъ къ губамъ своимъ нѣжную ручку Полины Александровны.

— Какъ идетъ къ тебѣ, Полина, этотъ газъ!

— Право?

— Удивительно! совершенно легкое облако спустилось съ надзвѣздныхъ странъ, обвило твою шею и не хочетъ разстаться, не хочетъ улетѣть въ родное небо: ему здѣсь лучше.

— Какой фантазеръ! А знаешь, я это изобрѣла сама; я вчера прочла стихи:

Какъ мила ея головка
Въ бѣломъ облакѣ чалмы,
Словно Гурія пророка,
Словно гость нездѣшнихъ странъ.

— Вотъ я и одѣлась сегодня, ожидая тебя, Жозефъ, нарочно въ бѣлое и обвила шею воздушнымъ газомъ. Думаю, замѣтитъ-ли онъ? Онъ такой пламенный, поэтическій...

— Еще бы не замѣтить! Сейчасъ видно вліяніе поэзіи, хоть ты была бы хороша и въ костюмѣ лапландца! Правду Пушкинъ сказалъ:

А дѣвушкѣ въ шестнадцать лѣтъ
Какая шапка не пристанетъ?

И долго еще такъ разговаривали они о поэзіи и о цвѣтахъ, о симпатіи, о музыкѣ. Раза два даже Полина Александровна подносила къ глазамъ платокъ, чтобъ скрыть слезы душевнаго восторга, и Осипъ Михайловичъ дѣлалъ то же; но, странное дѣло! мнѣ казалось, они или смѣются другъ надъ другомъ, или дурачатъ другъ друга, или играютъ комедію по выученнымъ ролямъ или, наконецъ, дурачитъ самъ себя каждый особенно,— словомъ, мнѣ казалось, что горничная Лиза и Степанъ гораздо болѣе любили другъ друга, хоть и мало говорили и говорили просто, непламенно.

Пришла старуха, мать Полины Александровны, и прервала задушевный разговоръ жениха и невѣсты. Старая помѣщица была одѣта въ малиновое бархатное платье, украшенное блестками и пуговицами; на головѣ новый чепчикъ съ мильономъ бантиковъ и розъ, на пальцахъ обѣихъ рукъ безчисленное множество перстней всѣхъ видовъ, цвѣтовъ и величинъ. Она ходила жеманно, кланялась еще жеманнѣе, говорила растягивая рѣчь и какъ-будто порой изнемогала подъ тяжестью фразы; любила мѣшать французскія слова съ русскими, хоть и не говорила по французски. Странное дѣло! за что уѣздъ называлъ ее тонкой дамой? Впрочемъ, когда понаглядишься на нѣкоторые уѣзды, легко поймешь, что на нихъ можно подѣйствовать не благородной простотой, не безыскусственностію, но искаженіемъ всего человѣческаго. Дайте имъ азіатскую пышность—они поклонятся вамъ, какъ татары, падутъ ницъ передъ вами, не разсуждая, не спрашивая, изъ какихъ источниковъ вытекаетъ эта золотая рѣка? откуда ложный свѣтъ и блескъ, ослѣпляющій ихъ недальновидные глаза? Покажите имъ силу — они поклонятся и силѣ, станутъ уважать ее, какъ въ стадѣ барановъ уважаютъ собраты силача-бойца, сбивающаго всѣхъ съ ногъ своей крѣпкой головой. Барыня рядится дома въ бархатное платье—и они глядятъ на нее съ почтеніемъ, не разсуждая, пристало ли ей таскать дорогой бархатъ дома, бѣгая въ кладовую и на кухню? еще болѣе: пристало ли въ пятьдесятъ лѣтъ рядиться въ малиновый цвѣтъ? и еще болѣе: не подумаютъ о томъ, что, можетъ-быть, за удовольствіе томить и мучить ваши глаза цѣлый день краснымъ платьемъ, безразсудная лишила десять человѣкъ необходимыхъ зипуновъ или зимой теплыхъ полушубковъ! Какое кому до этого дѣло? Старая барыня въ красномъ бархатномъ платьѣ, въ дорогомъ платьѣ,— ей и честь, и почотъ, и ропотъ невольнаго удивленія!...

— Вы, я, чай, вояжировали подъ седьмымъ небомъ, сказала матушка, входя въ комнату:—моя Полина такая мечтательная, воздушная!...

— Сударыня, отвѣчалъ Осипъ Михайловичъ, очень ловко кляняясь:—зачѣмъ намъ летать на далекое небо, когда оно у насъ здѣсь? Даже Полина Александровна окружила себя облакомъ; не доставало только солнца; теперь и то явилось—и я совершенно счастливъ!...

— Ахъ, какой вы комплиментистъ!

— Пусть языкъ мой обратится въ пробку, если я говорю вамъ комплиментъ.

— Да я ужъ васъ знаю! Я вотъ это все хлопотала, хочу васъ накормить любимымъ кушаньемъ. Мой покойникъ, бывало, имъ объѣдается, и я тоже иногда люблю, знаете, пуръ ле бонъ бушъ!

— Что же это смѣю спросить?

— Бараній бокъ съ гречневою кашей— вещь препитательная и—докторъ говорилъ —очень полезная въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ.

— Ахъ, маманъ! можно ли Жозефа Михайловича угощать такимъ ужаснымъ кушаньемъ!

— Какъ это мило: Жозефъ Михайловичъ! Ужъ позвольте, и я васъ такъ стану звать. Кто что ни говори, а французы образованнѣе насъ. Простая вещь - Осипъ... изви-

ните меня, по-русски оно выходитъ неблагозвучно, словно Осипъ — человѣкъ, а Жозефъ—звучно! Отчего же мнѣ не угостить Жозефа Михайловича бокомъ съ кашей? Тебѣ все бы безе да бламанже! Поживешь, пожуируешь, увидишь, что цвѣты хороши, а плоды право вкуснѣе: сколько не нюхай, а все захочется покушать.

— Вы говорите, какъ книга.

— Кушанье готово, крикнулъ ливрейный лакей, вытянувшись, какъ солдатъ, у двери гостиной.

— Прошу покорно откушать хлѣба-соли.

Въ столовой былъ накрытъ столъ на четыре прибора; четвертое мѣсто заняла какая-то приживалка, старая дѣвушка, плоская, словно вырѣзанная изъ картона, сухая, желтая, будто высохшій лимонъ.

Осипъ Михайловичъ сидѣлъ здѣсь цѣлый день и уѣхалъ къ полночи послѣ ужина, а мнѣ судьба назначила остаться у новыхъ господъ, недумано, негадано, да еще чуть не поплатилась жизнью. Справедливо говорятъ люди: гдѣ не чаешь ночевать, проведешь двѣ ночи. Вотъ какъ это было. Вечеромъ, когда всѣ сидѣли за чаемъ, привезли изъ города съ почты новыя книги; книги, разумѣется, были для Полины Александровны, и всѣ, какъ слѣдуетъ, французскія. Между ними была одна съ портретомъ Жоржъ-Зандъ; эта удивительная женщина представлена въ странномъ костюмѣ съ сигаркою во рту. Сначала это поразило матушку Полины; Полинѣ сразу понравилось. Долго разсуждали pro и contra и наконецъ согласились, что Жоржъ-Зандъ—француженка, и еще славная писательница, и коли она куритъ, значитъ курить можно и почти должно.

— Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось попробовать! живо сказала Полина.

— Еще успѣешь; поживешь—всего испытаешь.

— Нѣтъ, маманъ, мнѣ бы сейчасъ хотѣлось.

— Экая быстрая, этакая импасіянсъ! Ужъ предупрежцаю васъ: предоброе дитя, а коли чего захочетъ—исполняй живо!

— Я могу сейчасъ удовлетворить ваше желаніе, сказалъ Осипъ Михайловичъ:—со мной, какъ нарочно, есть настоящія гватемальскія пахитосы; ихъ всѣ дамы курятъ въ высшемъ кругу.

— Ахъ, давайте, давайте! Посмотримъ, буду ли я похожа на Жоржъ-Зандъ?

Полина Александровна схватила пахитосу, раскинулась на креслѣ, взяла ее въ свой хорошенькій ротикъ и повелительно сказала: „огня“!

Быстро вскочилъ Осипъ Михайловичъ со стула, выхватилъ меня изъ кармана и поднесъ къ свѣчкѣ. Съ ужасомъ увидѣла я, что обречена сожженію, съежилась, скорчилась, но враждебный огонь схватилъ одинъ мой уголокъ, и жгучая боль разлилась по всему моему составу; уже огонь добирался до моей души — нумера, (вѣдь извѣстно, что нумеръ душа ассигнаціи), вдругъ чужая рука выхватила меня изъ рукъ Осипа Михайловича и загасила огонь, а между тѣмъ зазвучали рѣчи старой барыни:

— Что вы дѣлаете?

— Подаю огонь Полинѣ Александровнѣ.

— Помилуйте! да вѣдь это ассигнація.

— Знаю.

— Какъ же это можно?

— Для Полины Александровны я готовъ зажечь сигару, хоть моимъ сердцемъ, моей душою.

— Сердцемъ и душою вы вольны играть, какъ вздумаете, но ассигнаціи жечь для прихоти, это, извините, большое фоли! Нѣтъ, ужъ извините, я не допущу до этого, я лучше отдамъ вашу ассигнацію на богоугодное дѣло.

— Располагайте ею, какъ собственностью; вы ее спасли отъ смерти, она ваша, тѣмъ болѣе, что человѣкъ успѣлъ предупредить меня и принесъ огня.

Старая барыня сложила меня и положила въ свой ридикюль, гдѣ я улеглась между носовымъ платкомъ, связкою ключей, обрѣзками какой-то матеріи, бутылочкой съ одеколономъ и двумя пакетцами, однимъ съ краснымъ, а другимъ съ бѣлымъ порошкомъ, да еще какою-то полупрозрачною, очень мягкою и глянцовитою кожкою, очень похожею на пузырь. Впослѣдствіе я узнала, что моя хозяйка нѣсколько разъ въ день вытираетъ ею свое лицо, посыпавъ немного кожку бѣлымъ порошкомъ; красный она употребляла рѣдко, въ самомъ маломъ количествѣ.

Когда уѣхалъ Осипъ Михайловичъ, въ домѣ поднялась страшная возня. Старая барыня скинула чепчикъ и бархатное платье, и надѣла ситцевый шлафрокъ, изорванный до нельзя, а на голову какой-то платокъ, страннаго, неопредѣленнаго цвѣта. Люди ходили по комнатамъ и гасили свѣчи; барыня ругала ихъ, зачѣмъ подали много сливокъ къ чаю, зачѣмъ нарѣзали много хлѣба, зачѣмъ то, и другое, и третье было не такъ; одного обѣщала завтра отправить на конюшню, другого сейчасъ же туда отправила, кое-кого задѣла ридикюлемъ, кое-кого собственной рукой, и всѣхъ похвалялась продать Подметкину, какъ продала, дескать, уже прежде десятокъ негодяевъ. Въ домѣ поднялся крикъ, гамъ, плачъ, и старая барыня, словно опытный маэстро, поддержи-

вала этотъ хоръ, управляла имъ самовластно и переходила изъ форте въ фортиссимо. Наконецъ, кажется, она умаялась и вышла въ комнату дочери. Полина Александровна, въ легкомъ пеньюарѣ, стояла у окошка со свѣчкой въ рукахъ и ощипывала сухіе листочки съ любимаго геліотропа.

— Ухъ, мошенники! уморятъ меня! Никто слушать не хочетъ, никто не работаетъ, придется живой лечь въ могилу... А ты все возишься съ цвѣтами! Хотѣла-бы я знать, какая отъ нихъ польза? Даже удовольствія нѣтъ, такой мизерный цвѣточекъ, сѣренькій, дробненькій, ни на что не похожъ...

— Ахъ, маманъ! это геліотропъ.

— А мнѣ что за дѣло?

— Видите, онъ почти живой, онъ влюбленъ въ солнце и смотритъ на него, и поворачиваетъ за нимъ свои вѣточки. Какъ его не любить?

— Романы, матушка, романы. Когда ты поумнѣешь? все бы фантазіи, все бы вотъ этакое! а дѣла не смыслишь. Хоть бы и сегодня, одѣлась, какъ горничная, я какъ на иголкахъ сидѣла; вотъ, думаю, скажетъ человѣкъ: „безприданница“; а онъ человѣкъ не простой, служитъ въ кавалеріи и по-французски такъ и рѣжетъ, и прочее, все другое! Благо, что втюрился, ничего не видитъ, словно глухой тетеревъ!

— Ахъ маманъ! онъ меня такъ любитъ пламенно.

— Вижу, вижу, до глупости, мать моя. Сегодня, напримѣръ, вздумалъ раскурить ассигнаціей сигарку! Что ни говори, а этотъ пассажъ мнѣ не по сердцу: какой онъ будетъ хозяинъ, коли такъ транжиритъ свое добро? есть ихъ у него много—припрячь: женится, пойдутъ дѣти—вотъ какъ покатятся денежки!

— Перестаньте, маманъ, мнѣ совѣстно!

— Вотъ пустяки! отъ матери слушать совѣстно! Дѣло обыкновенное, краснѣть нечего.

— Нѣтъ, маманъ, онъ будетъ хозяинъ— я знаю.

— А почему бы это?

— Потому-что онъ все занимается оборотами, то купитъ, другое продастъ, и все съ барышомъ. Мнѣ сказала Аксютка, а она узнала отъ деньщика Жозефа, ей деньщикъ все разсказалъ...

— Вотъ это рѣчи! вотъ теперь я узнаю въ тебѣ свою родную дочь! Поцѣлуй меня, моя ненаглядная! Кто бы подумалъ, что она, такая молоденькая, все, кажется, смотритъ въ книжку да на цвѣточки, а могла узнать подноготную человѣка! Это необходимо, другъ мой. Я много чрезъ это выиграла, что узнавала чрезъ людей; отъ людей ничто не скроется; умѣй только ихъ допросить, кого ласковымъ словомъ, кого рюмочкой водки, кого, пожалуй, подарочкомъ, а иного, дѣлать нечего, при нуждѣ и полтинничкомъ или цѣлковымъ...

— Вы меня, маманъ, не учите; я люблю Жозефа за его душу чистую, поэтическую, но болѣе за основательный характеръ; онъ не промотаетъ моего и своего состоянія; а что онъ хотѣлъ зажечь ассигнаціей сигару, это пустяки: у него ихъ много, да и ассигнація была самая ничтожная.

Прошу покорно, эта дѣвчонка такъ обо мнѣ выразилась! Вотъ что значитъ быть безгласной!

— Ты ли это говоришь, дочь моя? откуда такія умныя рѣчи? а я думала она ребенокъ.

— Ошибались.

— Ошибалась, ошибалась! Ну, Богъ съ тобой, святой ангелъ хранитель и всѣ святые! Эй, Дунька! да посвѣти сюда, подлая тварь, вотъ я тебя!

Старуха ушла, ругая дѣвку, и наконецъ, прочтя множество молитвъ, перемѣшанныхъ разными посторонними возгласами, касавшимися завтрашняго обѣда, работъ и сегодняшнихъ необходимостей, улеглась въ постель.

Назавтра случился праздникъ. Пріѣхали гости. Опять старая барыня одѣлась въ богатое шелковое платье и бархатную мантилью, а на голову нацѣпила съ полпуда стекляруса, и въ ниткахъ, и въ звѣздахъ и въ кисточкахъ, опускавшихся на самыя плечи. Въ гости пріѣхала помѣщица, ближняя сосѣдка, страшная сплетница; съ нею мужъ ея, отъявленный... не знаю какъ назвать человѣка, который вѣчно улыбается, со всѣми соглашается и всему поддакиваетъ. Эта чета привезла съ собой весь свой наличный приплодъ: старшаго сына, долговязаго мальчика лѣтъ пятнадцати, дочку, дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, съ огромнымъ ртомъ и большими красными руками, еще другую дочку, поменьше и по красивѣе, еще сынка, неопрятнаго мальчишку лѣтъ пяти, у котораго безпрестанно матушка спрашивала: „Сеня, гдѣ твой носовой платокъ?“ и наконецъ годоваласго ребенка, зло и громко кричавшаго цѣлый день на рукахъ у мамки, здоровой бабы въ сарафанѣ.

Сосѣдка сплетничала, сосѣдъ поддакивалъ и изгибался передъ старухой, старшая дочь играла на фортепьяно Полинѣ Александровнѣ какую-то пѣсню, кажется: „По всей деревнѣ Катенька красавицей слыла“, ошибалась, сбивалась, путалась и опять начинала сначала. А между тѣмъ сыновья рыскали по всему дому: меньшой лазилъ по столамъ и стульямъ, оборвалъ двѣ сторы и разбилъ зеркало, за что старая барыня,

вѣрно, въ душѣ прокляла его, но, изъ приличія, сказала: „это пустяки, душенька!“ и когда мальчикъ разревѣлся, то и сама мать повторила ему: „это пустяки, тебѣ вѣдь сказали, что пустяки: не печалься, нездорово плакать“; а старшій, между тѣмъ, забрался въ спальню хозяйки и перешарилъ тамъ всѣ уголки, нашелъ ридикюль, висѣвшій тамъ на стулѣ, пересмотрѣлъ всѣ вещи, попробовалъ на языкъ порошки и бѣлый и красный, потомъ взялъ меня въ руки, оглянулся и преспокойно положилъ къ себѣ въ карманъ.

Подобный способъ пріобрѣтенія ассигнаціи мнѣ довелось увидѣть въ первый разъ въ жизни, и онъ мнѣ показался очень удобнымъ, простымъ, тихимъ и пріятнымъ. Но, Боже мой, въ какое общество попала я! Въ карманѣ у моего новаго хозяина лежала какая-то книжечка, завернутая въ бумагу, кусокъ мѣлу и перочинный ножикъ, гадкій, шероховатый, пахнувшій лукомъ.

Мы уѣхали изъ гостей довольно-рано. Сосѣдъ торопился поспѣть домой засвѣтло, чтобъ отправить сына въ городъ: онъ, видите, учился тамъ въ какомъ-то пансіонѣ и долженъ былъ явиться завтра въ классы, рискуя за неявку просидѣть безъ отпуска цѣлый мѣсяцъ. Отъ деревни, куда мы пріѣхали, городъ былъ очень близко. Матушка напоила чаемъ долговязаго сынка, накормила ужиномъ и, снабдивъ его корзиной пирожковъ и всякой всячины, отправила въ городъ. Когда мой хозяинъ явился въ пансіонъ, то уже всѣ ложились спать. Содержатель немного было наморщился, но мой недоросль сказалъ ему: „Папенька и маменька свидѣтельствуютъ вамъ почтеніе и прислали бутылку наливки“. Его лицо разгладилось и, улыбаясь, онъ отвѣчалъ:— „Къ чему это? зачѣмъ безпокоились! гдѣ же вы дѣли бутылку?“

— Отдалъ швейцару.

— Напрасно; было прямо принесть ко мнѣ; впрочемъ, я пошлю сейчасъ къ швейцару. Ложитесь спать.

— Экой чортъ! ворчалъ мой недоросль, когда ушелъ содержатель:—на него никогда не угодишь: а, скажи я: принесъ, молъ, къ вамъ, онъ сказалъ бы, зачѣмъ не оставилъ у швейцара!

На утро поднялась суматоха: кто одѣвался, кто противъ зеркала строилъ рожи, пріучаясь корчить больного, кто громко повторялъ уроки, и вотъ всѣ гурьбой ушли въ корридоръ и разсѣялись по классамъ. Я лежала въ карманѣ со вчерашними своими товарищами, мѣломъ и книжечкой. Когда усѣлись по скамьямъ, мой хозяинъ вынулъ меня изъ кармана и показывалъ своимъ сосѣдямъ. Тутъ я успѣла сдѣлать кое какія замѣчанія, пока меня сдавали съ рукъ на руки. Въ классѣ было нѣсколько скамеекъ: онѣ стояли въ четыре ряда; на первой сидѣли мальчики поменьше и, какъ кажется, поприлежнѣе, а на самой послѣдней помѣщались старички, большіе, высокіе недоросли. Здѣсь они занимались всѣмъ, кромѣ науки: одинъ рисовалъ каррикатуру, другой вязалъ цѣпочку, третій клеилъ подъ скамейкой изъ картона домикъ, четвертый съ пятымъ игралъ въ крестики на пироги будущаго обѣда, а одинъ, самый жирный, забился въ скамью, словно въ гробъ, положилъ подъ головы, вмѣсто подушки, избитую въ пухъ „Исторію“ Кайданова и спалъ богатырскимъ сномъ, не боясь свирѣпыхъ народовъ, ратующихъ на страницахъ его изголовья.

Казалось, эта скамейка была разсадникомъ будущихъ Подметкиныхъ: всѣ они глядѣли исподлобья, всѣ говорили насильственнымъ басомъ.

— Не перекинуть ли намъ направо, налѣво—а? спрашивалъ клеившій домикъ, оставя на-время свою работу.

— На синенькую, что ли? сказалъ мой хозяинъ.

— Извѣстно.

— И мы примажемся, замѣтило нѣсколько голосовъ.

— Идетъ; погодите только, пока придетъ иностранецъ, *мучитель*, вотъ мы и время скоротаемъ.

— Хорошо говорить, а картишки-то гдѣ?

— Я человѣкъ запасливый, вотъ онѣ.

И мой хозяинъ вынулъ изъ кармана маленькую книжку, завернутую въ бумагу, развернулъ бумагу, и я съ изумленіемъ увидѣла, что это была не книжка, а колода картъ; но вошелъ учитель—и всѣ присмирѣли. Нѣкоторые въ первыхъ рядахъ поздравили учителя съ новой жилеткой; онъ отвѣчалъ едва понятно по-русски, что не совѣтуетъ мѣшаться въ его туалетъ, а заниматься своимъ, но это была только фраза; самодовольный взглядъ, брошенный имъ на жилетъ, показывалъ, какъ его самого занимала обивка и какъ ему пріятно замѣчаніе и поздравленіе слушателей. Послѣ этого онъ сѣлъ на каѳедру и однообразно началъ спрягать какой-то иностранный глаголъ; казалось, въ лицѣ педагога сидѣла сама олицетворенная скука. Учитель спрягалъ да спрягалъ все далѣе, нѣкоторые изъ передовыхъ слушателей, увлеченные сноторнымъ обаяніемъ, дремали, а на послѣдней закипѣла сильная игра. Моему самолюбію было пріятно, что обо мнѣ спорили, какъ во время оно о прекрасной Еленѣ.

Наконецъ, споръ и игра сдѣлались до того живы, что обратили на себя вниманіе хладнокровнаго спрягателя глагола, а игравшіе до того занялись мною, что не замѣтили, какъ учитель всталъ съ каѳедры, подошелъ къ послѣдней скамейкѣ и быстро схватилъ меня рукою, какъ ястребъ хватаетъ въ полѣ слабаго, беззащитнаго жаворонка. Мой хозяинъ началъ-было объявлять свои права, говорилъ, что ассигнація дана ему на бумагу, карандаши и прочее.

— Но не для игры, сказалъ хладнокровно учитель, садясь опять на свое мѣсто и продолжая спрягать будущее время глагола.

Во всякомъ случаѣ противъ воды плыть трудно; поворчалъ мой бывшій хозяинъ, поворчали его товарищи, но вскорѣ ихъ ворчанье утонуло, исчезло въ однообразномъ голосѣ ментора, спрягавшаго себѣ далѣе, а я осталась въ ученомъ карманѣ.

Бывала я въ сундукѣ скупца, въ ящикѣ цѣловальника, въ разныхъ бумажникахъ и карманахъ, но нигдѣ мнѣ не случалось испытывать такой страшной, безотрадной, отчаянной темноты, какъ въ карманѣ просвѣтителя юношества. Не знаю, изъ чего сшитъ былъ этотъ карманъ, но онъ не пропускалъ ни малѣйшаго луча свѣта; мало этого, даже сторонніе рѣчи почти въ немъ были неслышны... Я думала, что умру съ тоски, лежа въ этомъ темномъ карманѣ.

Окончивъ лекцію, педагогъ вышелъ, сопровождаемый шиканьемъ, свистомъ и разными возгласами, которыхъ смысла, благодаря карману учителя, я не разобрала; онъ и самъ, казалось, не обращалъ на это никакого вниманія и шелъ ровнымъ, тихимъ шагомъ. На улицѣ кто-то остановилъ его и началъ чего-то требовать. Педагогъ отнѣкивался, спорилъ, наконецъ вошелъ въ какой-то домъ и, вздыхая, вынулъ меня на свѣтъ Божій. Это была мастерская сапожника нѣмца.

— Ну, сколько вамъ нужно за подметки?

— Два съ полтиной.

— Какъ два съ полтиной? за пару подметокъ.

— За двѣ пары: одна недавно, мѣсяца четыре, а другая еще въ прошломъ году; за двѣ выходитъ два съ полтиной.

— Будто я вамъ не заплатилъ въ прошломъ году?

Нѣмецъ обидѣлся, но взялъ меня, далъ два съ полтиной сдачи, и педагогъ вышелъ, ворча:

„Глупая сторона! однихъ сапоговъ износилъ на все жалованье, а награды, хоть-умри, не ожидай!“

— Лотхенъ! кричалъ сапожникъ своей женѣ, разумѣется, по-нѣмецки:—вѣдь я съ этого ученаго дурака получилъ деньги, неожиданно получилъ: другой годъ за подметки не платилъ; хоть и не русскій, а нехорошій онъ человѣкъ. Теперь можешь купить сынишкѣ за пятакъ сладкій пирожекъ; деньги вѣдь будто съ неба свалились.

Лотхенъ взяла меня и, напѣвая арію изъ какой-то оперы, положила въ шкатулку, сильно пахнувшую мускатнымъ орѣхомъ.

Собравъ насъ нѣсколько сотенъ, нѣмецъ положилъ въ пакетъ вмѣстѣ съ письмомъ и отправилъ по почтѣ къ еврею Шмулю, куда-то далеко. Въ письмѣ была написана благодарность Шмулю за хорошій товаръ и требованіе еще такого товара; особливо опойки очень понравились нѣмцу и ихъ легко можно сбывать за англійскіе, только духу англійскаго не имѣютъ, а для этого совѣтовалъ взять кислое яблоко, изрѣзать его ломтями и соленую селедку тоже изрубить, перемѣшать все вмѣстѣ, и обернувъ тонкою холстиной, положить на ночь въ тюкъ опойковъ: тогда они будутъ пахнуть англійскими; извинялся, что затрудняетъ его, благопріятеля Шмуля, подобною просьбой, но ему, дескать, самому, нѣмцу, невозможно сдѣлать этой операціи, сейчасъ работники увидятъ и разблаговѣстятъ: „а отъ васъ я получу опойки хорошіе и съ хорошимъ запахомъ, англійскимъ, то и объявлю всѣмъ, что получилъ чрезъ васъ прямо изъ Англіи на радзивилловскую таможню—и расходъ будетъ лучшій, и выгоды больше мнѣ и вамъ тоже; я вѣдь честный человѣкъ, чужимъ пользоваться даромъ не хочу; заплачу вамъ и за яблоки, и за селедки, и за трудъ, хоть труда тутъ и немного“.

Я пріѣхала къ Шмулю въ самый разгаръ шабаша. У Шмуля было много гостей, и свои родичи, и проѣзжіе купцы изъ Бердичева и Бродъ. Въ обширной комнатѣ богатой корчмы стоялъ длинный столъ, покрытый ковромъ, а сверху бѣлымъ полотномъ; кругомъ скамьи, тоже покрытыя коврами; на столѣ возвышались два подсвѣчника мѣдные, старинной работы, высокіе, развѣтвленные на безчисленное множество трубочекъ; въ каждую трубочку была вставлена тоненькая сальная свѣчка, извѣстная даже въ продажѣ подъ именемъ шабашковыхъ. Эти два подсвѣчника очень походили на два великолѣпныя горящія дерева; кромѣ того, на столѣ еще стояло съ десятокъ обыкновенныхъ подсвѣчниковъ со свѣчами; къ стѣнамъ во многихъ мѣстахъ были приколочены жестяные канделябры; въ

нихъ тоже горѣли шабашковыя свѣчки—словомъ, большая комната была залита свѣтомъ и имѣла характеръ самый праздничный.

Евреи долго молились, привязавъ каждый себѣ на лобъ четвереугольный кожаный ящичекъ, ковчегъ завѣта, и накинувъ на плечи легкій широкій *фелемъ*, бѣлое шерстяное покрывало, въ родѣ ризъ, обшитое синей каймой. Потомъ завопили страшно, изступленно, скинули свои молитвенныя одежды, вымыли руки и, надѣвъ шапки, сѣли за столъ на скамейки. Рохля, жена стараго Шмуля, украшенная золотомъ и жемчугомъ, сама принесла *щупака*, т. е. щуку. Эта щука была приготовлена по-еврейски: ее положили въ горшокъ, прибавили туда масла, луку, перцу и разныхъ пряностей, потомъ покрыли горшокъ крышкой, замазали тѣстомъ всѣ поры и поставили въ печь. Тутъ она варилась въ маслѣ, въ соку изъ луку и въ собственномъ своемъ соку. Евреи считаютъ щуку, изготовленную такимъ образомъ, лучшимъ произведеніемъ кухни и встрѣтили ее изъявленіемъ общаго восторга.

Тутъ я увидѣла, что попала не въ русское общество. Славянская натура выразила бы свой восторгъ шумно, громко; славяне привѣтствовали бы щуку крикомъ; напротивъ, евреи молчали, изрѣдка кто-нибудь щелкнулъ языкомъ или пальцами. Но надобно было видѣть, какъ просвѣтлѣли лица ихъ, какъ заплопали вѣки глазъ, поднялись брови и подергивались уголки рта. Восторгъ былъ неописанный: кушанье было всѣмъ понутру, и всѣ ѣли его понемногу, осторожно, наслаждаясь самымъ малымъ кусочкомъ болѣе, нежели иной простой человѣкъ объѣдаясь до смерти. За щукой слѣдовалъ рядъ кушаньевъ болѣе или менѣе оригинальныхъ: здѣсь была и морковь съ гусинымъ саломъ (цымесъ), и лапша съ перцомъ, яицами и масломъ (кугель) и разные опрѣсноки и какія-то печеныя яйца съ чеснокомъ. Въ заключеніе подали варенье: въ меду вареную свеклу съ перцемъ и корицей, и въ меду же вареную рѣдьку, тоже съ разными пряностями. Все это запивали разными настойками очень пряными и разслащенными медомъ и сахаромъ; настойки пили изъ маленькихъ рюмочекъ и то никто не наливалъ себѣ болѣе половины рюмки, а многіе едва наливали на донышко, быстро выпивали и потомъ долго съ разстановкой щелкали языкомъ. Правда, за то маленькія рюмки наливались очень часто.

Когда ужинъ—онъ же и обѣдъ—кончился и гости развеселились, хозяинъ прочиталъ благодарственную молитву и затянулъ майофисъ; гости подхватили; составился довольно-дикій хоръ, впрочемъ, имѣвшій свою гармонію. Я полагаю, не такъ въ немъ странна музыка, какъ звуки рѣчей, потому-что майофисъ—торжественная еврейская пѣсня, пѣсня духовная, и писана на языкѣ древне-еврейскомъ. Во время самаго торжественнаго возгласа пѣвшихъ вбѣжалъ въ комнату молодой еврей.

Майофисъ остановился. Молодой еврей спросилъ:

— Кто здѣсь хозяинъ Шмуль?

— Ну, я Шмуль, я самый.

— Вотъ это письмо отъ кагальнаго Лейбы Пацынскаго изъ П*, наказывалъ ѣхать къ тебѣ поскорѣе: дѣло нужное.

— Теперь праздникъ кончился, письмо взять и прочитать можно. Садись, отдохни, ты усталъ, шелъ долго, хоть въ шабашъ нужно избѣгать путешествій. Ну, коли дѣло срочное, съ молитвою можно.

— Я не шелъ... я ѣхалъ...

— Ай вей! ѣхалъ, въ шабашъ ѣхалъ!... и ты цѣлъ остался? Гибнетъ Израиль!

— Мнѣ было легче ѣхать, нежели идти, да и не поспѣлъ бы—дѣло важное.

— Оно такъ, ѣхать легче, но заупрямься твоя лошадь или пріустань, ты бы сломилъ вѣтку съ дерева подгонять ее и осквернилъ бы субботу: грѣхъ страшный тяготѣлъ надъ тобой! Ты избѣжалъ его? говори, сынъ мой, говори какъ хосету.

— Избѣжалъ. На дорогѣ мужикъ починивалъ мостъ, оступился и полетѣлъ въ рѣку; кругомъ никого не было, а я ѣхалъ по мосту, гляжу: мужикъ вынырнулъ изъ воды и схватился за сваю, но свая мокрая, скользкая, трудно держаться за нее. Вотъ онъ и кричитъ мнѣ: „возьми на мосту веревку, да брось мнѣ!“ Я было и руки протянулъ, поддался лукавому, да вспомнилъ субботу и поскакалъ прочь.

— Слава Адонаи! Ну, посмотримъ, какое здѣсь дѣло. А ты перекуси съ дороги.

Молодой еврей началъ ѣсть, а Шмуль углубился въ письмо. Чѣмъ болѣе читалъ онъ, тѣмъ болѣе лицо его прояснялось, даже улыбка явилась на тонкихъ губахъ его.

— Не оставляетъ Господь народа своего! сказалъ Шмуль, складывая письмо.

— А что? спросилъ одинъ изъ гостей, бродскій еврей Гершко.

— А то, любезный Гершко, что намъ Богъ даетъ хлѣбъ въ руки: отъ хлѣба хлѣбъ, хлѣбъ хлѣбовъ твоихъ, какъ говорится въ старыхъ книгахъ!

— Будетъ торговая операція?

— Ужъ есть, да еще какая! Въ Бѣлорусіи неурожай, пишутъ мнѣ, въ Витебскѣ пудъ ржи рубль серебра, а здѣсь—полтина мѣди, значитъ—дешевле всемеро. Отъ насъ

ходятъ байдаки къ Днѣпру вверхъ до Шклова, понимаешь? отъ Шклова до Орши будетъ верстъ сорокъ, и дорога хорошая, нѣтъ песковъ, только небольшія горки, а отъ Орши семьдесятъ-шесть верстъ до Витебска, все шоссе, вотъ оно что! У насъ хлѣбъ полтина мѣдью, да судовщики берутъ до Шклова за провозъ сорокъ копѣекъ съ пуда—вотъ девяносто копѣекъ, а продадимъ три съ полтиной!

— Славная операція! не помѣшали бы вамъ.

— Кто намъ помѣшаетъ? ну, кто? Вотъ въ письмѣ мнѣ пишутъ изъ кагала приказъ закупать вездѣ муку и доставлять на пристань, а на пристани всѣ суда уже закуплены нашимъ обществомъ: кто хочешь привози хлѣбъ, всѣ суда наши, намъ же продастъ себѣ въ убытокъ!

— А здѣшніе паны?

— Паны? гм! Видно, Гершко, что ты пріѣхалъ издалека! Какіе тутъ паны? тутъ мы паны. Тотъ панъ, кому кланяются, а паны намъ кланяются. У любого пана не найдешь ста рублей лишнихъ въ карманѣ, всѣ живутъ въ долгъ; что получитъ, расплатится—и опять сидитъ безъ гроша. Какіе это паны? Они только хвастаютъ, да важничаютъ. Графъ накормитъ сосѣда за обѣдомъ, а сосѣдъ, бѣдный человѣкъ, зоветъ графа не на простой хлѣбъ-соль, что Богъ послалъ, а хочетъ угостить его лучше графскаго, а денегъ нѣтъ! „Шмуль голубчикъ, такой-сякой, дай денегъ на шампанское...“ И запродастъ панъ Шмулю все, что ни есть, хлѣбъ на корню запродастъ и угоститъ графа, а послѣ хлѣба нѣтъ, опять до Шмуля: „дай хлѣба: люди съ голоду пухнутъ“. Какіе это паны? имъ стыдно подать дешевое вино, а не стыдно кланяться Шмулю! а Шмуль всетаки еврей, простой человѣкъ, бѣдный человѣкъ.

— Такъ; да вѣдь они помѣщики.

— Ай, Гершко! какіе они помѣщики! мы помѣщики! Спроси: знаетъ ли одинъ изъ сотни... мало, изъ тысячи, знаетъ ли своихъ мужиковъ? А я знаю, я знаю, кто хорошъ, кто худъ, кто честный человѣкъ, а кто мошенникъ, кто богатъ, кто бѣденъ—все я знаю, а ему некогда, пану некогда: онъ съ утра до ночи, съ вечера до свѣту играетъ въ карты, не то, въ самую рабочую пору, запряжетъ шестерикъ и самъ сядетъ въ карету съ семьей, а другой четверикъ везетъ постель да дѣвокъ, и ѣдетъ въ гости на недѣлю, на двѣ, на мѣсяцъ ѣдетъ; гуляетъ себѣ, а прикащикъ дѣлаетъ что хочетъ... Бѣдный работаетъ, ему нечѣмъ откупиться, богатый не работаетъ... Прилетѣла буря, прилетѣлъ градъ, прилетѣли журавли, выбили всю ниву—ее скорѣй и скосятъ, былъ бы счетъ скирдамъ, было бы чѣмъ похвастать, а пришла зима—сорокъ или пятьдесятъ человѣкъ цѣлый день молотятъ скирду; перемолотили—вышла четверть хлѣба. А стоитъ ли четверть сорока рабочихъ? Придется опять клапятся Шмулю: „дай хлѣба...“ Какіе они помѣщики? Подняла казна цѣну на водку, хотѣла имъ сдѣлать добро—стали подрывать другъ друга, пошли жалобы, доносы; гдѣ было доходу тысяча рублей, и ста не стало; намъ поклонились—мы взяли шинки и живемъ хваля Бога! Отчего же это? отъ того, что мы умѣемъ жить, а они не умѣютъ; имъ или на рубль давай десять, или все пропадай. Стала платиться дорого тонкая овечья шерсть—всѣ завели овецъ, другъ передъ другомъ хлопотали, завидовали другъ другу и развели овецъ видимо-невидимо! шерсть упала, а денегъ надобно; навезли на ярмарку шерсти видимо-невидимо, а московскіе фабриканты сговорились и даютъ за шерсть пятидесяти-рублевую десять рублей за пудъ. Паны сговорились не продавать дешево: Москвѣ надо шерсти, заплатятъ дороже, и цѣлый день держались; а назавтра глядимъ, одинъ уже спустилъ пятьсотъ пудовъ, по три цѣлковыхъ: „проигрался, говоритъ, ночью въ карты, платить нужно“! И пошли всѣ отдавать шерсть почти задаромъ. Сѣно продать, что съѣли овцы на пудъ шерсти, такъ дороже выйдетъ трехъ цѣлковыхъ! а капиталъ? а проценты? а работники? ай вей, какая глупая продажа, а состоялась! Московскіе фабриканты нажили копѣйку—умный народъ, умѣютъ вести себя, умѣютъ выдержать, не топятъ другъ друга... Наши паны были хорошіе господа на службѣ, получали изъ казны жалованье, и жили; а вышли въ отставку—ничего не знаютъ, ничему не учились такому... Нашъ братъ учится коммерціи съ малыхъ лѣтъ, ее знаетъ, а онъ ничего не знаетъ; ему стыдно посмотрѣть, какъ рожь растетъ, и сына такъ учитъ: на всякихъ языкахъ у него сынъ говоритъ, всякія звѣзды считаетъ, а прихода съ расходомъ не сведетъ; а коли примется за экономію—смѣхъ беретъ! Недавно одинъ посылалъ въ городъ продавать полову: десять мѣшковъ повезло два человѣка за двадцать верстъ; поѣхали утромъ, вернулись вечеромъ и продали полову по четыре копѣйки мѣшокъ и привезли сорокъ копѣекъ мѣдью! И весь уѣздъ кричалъ: „вотъ хозяинъ, ничто у него не пропадетъ! а не спросили, что стоитъ подвода и два работника въ самое горячее время, въ жатву? Таковы всѣ они. Нашего брата порой прижметъ за пятакъ, а тысячу спуститъ съ

рукъ! Какіе они паны! ой вей, Гершко, мы паны! восхвалимъ Господа.

Шмуль началъ читать молитву, Гершко вторилъ ему; шабашковыя свѣчи догорѣли и начали погасать, дымясь и наполняя корчму нестерпимымъ угаромъ. И всѣ улеглись; только долго еще Шмуль не спалъ въ своей конуркѣ и бойко стучалъ счетами, вѣроятно высчитывая барыши отъ хлѣбной операціи.

Отправивъ обратно молодого еврея, Шмуль далъ ему на путевыя издержки пять рублей; жребій палъ на меня, и я, волею-неволею, полѣзла въ кожаный бумажникъ, висѣвшій на груди еврея, и поѣхала. Мой новый хозяинъ былъ очень разсчетливъ: изъ дому запасся краюхой хлѣба и нѣсколькими луковицами, чѣмъ и питался во всю дорогу, а лошадь попасывалъ вездѣ, гдѣ только росла на дорогѣ травка, а поилъ, разумѣется, безплатно во всѣхъ рѣчкахъ и прудахъ. Пріѣхавъ домой, онъ пріобщилъ меня къ своему капиталу, который, правду сказать, былъ не великъ, состоялъ изъ нѣсколькихъ мелкихъ ассигнацій, небольшой кучки серебра и рублей двухъ-трехъ мѣдной монеты, но безпрестанно былъ въ оборотѣ. Видите, еврей содержалъ у какого-то пана на арендѣ шинокъ и обязался продавать водку пять рублей двадцать пять копѣекъ ассигнаціями за ведро, на законномъ основаніи, а самъ покупалъ съ завода рубль двадцать копѣекъ за ведро. Мужики, привыкшіе къ дешевой водкѣ, безпрестанно приходили и съ ужасомъ слышали, что кварта стоитъ пятиалтынный.

— Нельзя ли меньше—а?

— Нельзя.

— Уступи, сдѣлай милость! это, вѣдь, ни на что не похоже.

— Нельзя, не моя воля. Мнѣ бы выгодно продать тебѣ и за пятнадцать копѣекъ кварту, да нельзя, судить будутъ.

— Вотъ напасть! ворчалъ мужикъ:—денегъ нѣтъ, а вотъ такъ и тянетъ.

— Ну, слушай! а много у тебя денегъ?

— Пятачокъ серебра только и есть.

— Ну, ничего, какъ-нибудь сдѣлаемся: давай сюда пятачокъ, а гривенникъ я дамъ тебѣ въ займы.

— Да какъ же ты мнѣ дашь? я не здѣшняго села, человѣкъ пріѣзжій, когда я тебѣ отдамъ?

— Отдашь, право отдашь, я по глазамъ вижу, что ты за человѣкъ; ты хорошій человѣкъ. На, возьми гривенникъ, приложи свой пятачокъ и бери у меня кварту водки.

— Ну, давай, давай! говорилъ мужикъ, смѣясь:—вотъ чудесный жидъ! и денегъ самъ даетъ.

Такъ безпрестанно пускалъ въ оборотъ свой капиталъ мой хозяинъ, и водка у него расходилась быстро; въ недѣлю выходило болѣе бочки. Между тѣмъ за рѣкой, на той же дорогѣ стоялъ шинокъ панскій; въ немъ продавалъ водку свой мужикъ по той же цѣнѣ: по пятиалтынному кварту; у него не расходилось ведра въ мѣсяцъ.

— Не продаетъ ли жидъ дешевле? спрашивалъ зарѣчный панъ и даже посылалъ фискаловъ.

— Нѣтъ, отвѣчали всѣ въ одинъ голосъ.

— Ну, такъ онъ колдунъ.

И, спустя нѣсколько недѣль, панъ отдалъ свой шинокъ брату моего хозяина, почти за безцѣнокъ.

Отъ еврея, не знаю какъ, я попала въ руки отставного инвалида, который самъ теръ и продавалъ нюхательный табакъ, обыкновенный христіанскій—съ золой, а забористый съ мелкимъ стекломъ; при продажѣ онъ много мололъ всякаго вздору и называлъ свой табакъ французскимъ табачкомъ самъ-панъ-тре, чему очень смѣялись многіе уѣздные франты. Около года, если не болѣе, я ходила все по одной округѣ, перебывала въ разныхъ рукахъ и, отъ скуки, дѣлала общія замѣчанія о цѣлой странѣ, оставляя безъ вниманія лица. Когда нибудь я разскажу вамъ эти справедливыя замѣчанія: они слишкомъ обширны и слишкомъ важны, чтобъ говорить о нихъ въ легкомъ разсказѣ. Знаю, что наживу себѣ кучу враговъ, знаю пословицу, что правда глаза колетъ, а моя правда будетъ горька... возопіютъ на меня, заругаютъ. А что изъ этого? что могутъ они сдѣлать мнѣ, бѣдной мелкой ассигнаціи? Я же, благодаря судьбу, теперь убралась изъ этой стороны въ столицу и, можетъ-быть, стану кочевать по кондиторскимъ, театрамъ, циркамъ и другимъ увеселительнымъ заведеніямъ... а если бы кто-нибудь изъ нихъ и поймалъ меня, развѣ сожжетъ? да нѣтъ, не сожжетъ: тамъ денегъ мало, я что-нибудь да значу въ ихъ сторонѣ... а еслибъ и сжегъ? ну, сгорю; я ужъ пожила довольно на свѣтѣ, зла надѣлала много, а добра очень мало; такъ разскажу всѣ ихъ продѣлки, всю ихъ подноготную. Слово не воробей, вылетитъ—не поймаешь; живое слово живетъ на землѣ и не умираетъ; пусть же оно обличительно караетъ, *ихъ* нечего жалѣть,—они никого не жалѣютъ. Я разскажу и про ихъ гостепріимство, и про ихъ простосердечіе, и про ихъ страшные суды... все разскажу, погодите немного! Пускай полетитъ оно, вольное слово, и зловѣщимъ ворономъ закаркаетъ надъ грѣшною головой, ночной птицей усядется на кровлѣ неправедныхъ и страшнымъ укорительнымъ воплемъ разбу-

дитъ притѣснителя и взяточника! Этотъ вопль напомнитъ ему вопли вдовъ и сиротъ, неправедно имъ ограбленныхъ. Пусть проснется въ немъ совѣсть на пять секундъ, пусть хоть животный испугъ потрясетъ этого человѣка—и я буду счастлива... я сдѣлаю что-нибудь для человѣчества, которое меня жало, терзало, комкало, пачкало, и чуть не сожгло по своей прихоти!

Наконецъ, я опять попала въ руки Осипа Михайловича и въ силу узнала его —такъ въ короткое время онъ перемѣнился. Онъ уже годъ какъ женился, вышелъ въ отставку и жилъ въ деревнѣ Полины Александровны. И платье его очень перемѣнило, да и растолстѣлъ онъ непомѣрно, а Полина Александровна растолстѣла болѣе мужа. Она не пошла по покойной матушкѣ (матушка ея скоропостижно умерла), не ходила дома въ бархатныхъ платьяхъ, за то цѣлый день проводила въ темненькомъ, ситцевомъ халатѣ и по недѣлямъ не чесалась. Она хоть имѣла уже дитя, но не занималась имъ вовсе и, сдавъ на руки кормилицѣ, считала свои расчеты съ ребенкомъ совершенно конченными. За то она занималась съ утра до ночи хозяйствомъ,—въ этомъ наслѣдовала способности матушки,—дралась и ругалась безпрестанно съ дѣвками, черезъ день мѣняла горничныхъ, отправляя ихъ на кирпичный заводъ и въ другія тяжелыя работы, особливо, если замѣчала, что баринъ на которую нибудь пристально посматриваетъ; сама принимала и записывала пряжу, а иногда цѣлое утро проводила, пропуская сквозь дощечку куриныя яица.

Эта операція до того оригинальна, что я разскажу вамъ о ней подробно. Полина Александровна въ числѣ разныхъ поборовъ обложила своихъ крестьянокъ даньк, состоявшею изъ куръ и яицъ; живыя куры принимались на вѣсъ, а яйца брала барыня только тѣ, которыя не проходили въ мѣру; эта мѣра была—дощечка съ прорѣзанною въ ней круглой дырочкой, въ которую крупное яйцо не проходило, а чуть поменьше сейчасъ проваливалось. Посредствомъ этого инструмента барыня получала самыя крупныя яйца; и горе крестьянкѣ, у которой была курица мелкой породы и ея яйца проваливались сквозь мѣрку! ей приходилось покупать яйца! Объ этомъ хозяйственномъ улучшеніи заговорилъ весь уѣздъ, и многія хозяйки приняли его къ свѣдѣнію.

Между мужемъ и женой о поэзіи и помину не было. Я, пролежавъ у нихъ въ бумажникѣ болѣе мѣсяца, не слышала ни одного стиха, не слышала ничего тоже и о геліотропѣ, хоть частенько толковали о табакѣ и лукѣ.

— Что ты, Полина, такая невеселая? спрашивалъ мужъ у жены.

— Ахъ, Жозефъ! есть отчего быть веселой! насъ кругомъ обижаютъ: ты бы отдалъ Тришку въ солдаты.

— Помилуй, матушка! онъ мой, я его зналъ съ дѣтства, онъ отличный слуга.

— Знаю, что твой; будь мой, я бы тебя не спрашивала, сама бы отдала: такой гадкій, все съ моей Дунькой заигрываетъ.

— Эка бѣда!

— А какъ же? Вы думаете, я въ моемъ домѣ позволю завести вамъ всякіе амуры!

— Этого отдашь, другой станетъ дѣлать то же.

— Нѣтъ, не станетъ; развѣ ты не помнишь—когда ты сватался, у маменьки пропала пятирублевая ассигнація изъ ридикюля. Вотъ, сказали, вѣрно взялъ буфетчикъ Ѳедька; отдали Ѳедьку въ солдаты, и вотъ съ тѣхъ поръ какъ рукой сняло; никто ничего не крадетъ,—это значитъ острастку задать.

— Нѣтъ, ужъ какъ хочешь, а я Тришку жалѣю: онъ мнѣ нуженъ для оборотовъ.

— Ну, такъ я Дунькѣ покажу, что значитъ хорошее поведеніе.

Супругъ замолчалъ.

— Что ты дуешься, Жозефъ? Дуньки жаль?

— Пропади она! У меня въ головѣ другое дѣло: заводъ винокуренный совсѣмъ испортился, нейдетъ да и только!

— Отчего же?

— А я почему знаю? развѣ я винокуръ? Ужъ я винокура и постращалъ, и наказалъ, а все не помогло. Послалъ вчера съ вечера за ученымъ винокуромъ въ княжескую деревню; обѣщалъ пріѣхать къ обѣду. Вотъ ужъ вечеръ, а его нѣтъ!

— Винокуръ пріѣхалъ! запыхаясь, сказалъ, вбѣжавъ въ комнату, босоногій мальчикъ.

— Легокъ на поминѣ, легокъ! Иду, иду, братецъ! Просить его прямо на заводъ, а ты, Полина, приготовь намъ чаю, даже и рому нехудо подать... знаешь, человѣкъ нужный; угостишь хорошо—возьметъ дешевле.

— И со спиртомъ выпьетъ. Для всякаго мужика не припасешь рому!

— Ахъ, Полиночка, вѣдь онъ хоть мужикъ, да иностранный, да и нужный человѣкъ. Припасн же, мой арбузикъ... съ ромкомъ...

— Ступай, ступай!

Осипъ Михайловичъ засталъ на заводѣ мастера-винокура въ сѣромъ пальто и круглой шляпѣ изъ китоваго уса. Онъ былъ

изъ числа тѣхъ космополитовъ-иностранцевъ, которые сами не знаютъ своей родины и своей націи, которые говорятъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ не лучше, нежели по русски, а по русски говорятъ очень худо. Осипъ Михайловичъ вѣжливо раскланялся передъ винокуромъ; винокуръ молча приподнялъ свою шляпу и подалъ руку Осипу Михайловичу; Осипъ Михайловичъ съ чувствомъ пожалъ ее, и оба пошли ходить по заводу. Осмотрѣвъ заводъ, винокуръ объявилъ, что поправить дѣло можно, что порча заключается въ дрожжахъ и что онъ останется здѣсь на сутки и исправитъ заводъ совершенно, если дадутъ ему пятьдесятъ рублей.

— Помилуйте, почтеннѣйшій, какъ можно! за что тутъ?

— За трудъ.

— Какой тутъ трудъ?

— Поправьте сами.

— Нѣтъ, вотъ вы уже и разсердились; я только говорю, что это будетъ дорого.

— Это будетъ дешево; каждый испорченный затеръ стоитъ вамъ вдвое дороже.

— Это такъ; но, однако, знаете, стало къ вечеру холодновато, сыро; не угодно ли вамъ напиться чаю?

— Угодно.

И Осипъ Михайловичъ, и жена его сильно ухаживали за винокуромъ, въ надеждѣ сдѣлать изъ него пріятеля и исправить заводъ на пріятельскомъ основаніи, за четверть овса или за десять фунтовъ масла; но винокуръ былъ обстрѣлянъ: пилъ, много пилъ и все съ ромомъ, началъ заговариваться и не уступалъ ни гроша; пятьдесятъ рублей все сидѣли у него на языкѣ; наконецъ, рѣшительно упился и въ силу выходя изъ комнаты проговорилъ: если пятьдесятъ рублей—останусь, исправлю; нѣтъ —ѣду съ солнцемъ, прежде солнца; не стану его ждать, у меня свои лошади...

— Экой мошенникъ! говорилъ Осипъ Михайловичъ, проводя винокура:—нарѣзался, нализался, какъ сапожникъ, разорилъ меня на бутылку рому, а все стоитъ на своемъ!

— Я тебѣ говорила, замѣтила Полина Александровна:— ты никогда меня не слушаешь...

— Ничего. Правда, расходъ неожиданный, но мы поправимся; на неожиданный расходъ нужно только отъискать неожиданный источникъ дохода—вотъ и дѣло въ шляпѣ.

— Ну, такъ ищи. Мнѣ скоро нужны будутъ деньги: у генеральши въ будущемъ мѣсяцѣ балъ, а къ балу необходимо сшить по-крайней-мѣрѣ четыре платья.

— Какъ, матушка, развѣ ты намѣрена прожить тамъ четыре дня?

— Боже сохрани! да я умерла бы со скуки. Это на одинъ день: утромъ явишься въ одномъ платьѣ, къ завтраку въ другомъ, къ обѣду въ третьемъ, а вечеромъ въ четвертомъ; а если останемся на другой день, такъ еще нужно новыя четыре платья; на завтра нельзя надѣть тѣхъ, что были сегодня: осмѣютъ. Я не горничная какая, чтобъ ходить вѣчно въ одномъ платьѣ...

— И не королева, кажется, чтобъ всякій день надѣвать новое.

— Не королева, а такъ ведется, нельзя отстать отъ людей. Мнѣ, какъ на ножъ, не хочется ѣхать, а поѣду; не то скажутъ, ты меня не пускаешь.

— Поѣдемъ, коли нужно. А у меня ужъ есть на примѣтѣ и небольшой источникъ. Вотъ видишь, когда я былъ въ городѣ и зашелъ къ парикмахеру-нѣмцу купить для тебя локоны, а тутъ стоитъ баба и держитъ въ рукѣ косу, черную да преболь-шую; я спросилъ: что это? а она сказала: „косу свою принесла продать". — „Развѣ покупаютъ?" — „Покупаютъ". Тутъ вышелъ хозяинъ и сразу заплатилъ за косу два цѣлковыхъ.

— Два цѣлковыхъ!?

— Да, штука — два цѣлковыхъ. Я къ нѣмцу съ разспросомъ, онъ мнѣ и сказалъ, что покупаетъ волосы хорошаго цвѣта и доброты, что себѣ, для обихода, а что отправляетъ въ Москву. Тамъ хоть сто пудовъ купятъ.

— Ахъ, ты умница, Жозефъ! да я перестригу всѣхъ дѣвокъ и бабъ.

— Погоди, Полиночка матушка, не горячись! это дѣло нужно сдѣлать умненько. Теперь чортъ знаетъ, что завелось, особливо между столичными, да и сюда залетаетъ; всѣ бредятъ филантропіей, нищихъ хотятъ накормить, одѣть въ атласъ и пустить въ галопадъ, все такіе, знаешь, человѣколюбивые взгляды—должно быть осторожну...

— Развѣ я не барыня?

— Оно такъ, да повѣрь мнѣ, осторожность не мѣшаетъ. Напримѣръ, можно покупать волоса по вольнымъ цѣнамъ, назначить таксу хоть по гривеннику, даже по пятиалтынному за косу, а такъ стричь не совѣтую.

— Да вѣдь иная и за сто рублей не согласится обрѣзать косу.

— Это предразсудокъ; а всетаки получитъ за нее пятиалтынный, и послѣ сама станетъ смѣяться надъ своимъ предразсудкомъ.

— Хорошо, такъ я завтра же объявлю цѣну и свою волю.

Поутру объявили винокуру, что ему заплатятъ пятьдесятъ рублей; винокуръ кив-

нулъ головой и пошелъ на заводъ. Цѣлый день возился онъ на заводѣ и Осипъ Михайловичъ не отступалъ отъ него ни на шагъ; даже тамъ они вмѣстѣ и обѣдали. За обѣдомъ Осипъ Михайловичъ какъ-то не взначай замѣтилъ, что у винокура хорошая таратайка: и легка, и на небольшихъ рессорахъ, и покрыта прочнымъ лакомъ. Винокуръ отвѣчалъ, что ее дѣлали мастеровые князя по образцу петербургскому, и что коли она ему нравится, то можетъ купить, что онъ все продаетъ, что у него нѣтъ ничего завѣтнаго.

— Купить—много денегъ нужно, а мѣнять—на что хотите я промѣняю, отвѣчалъ Осипъ Михайловичъ:—хоть напримѣръ на мой походный тарантасъ. Разумѣется, я человѣкъ честный и васъ надувать не стану; не стану увѣрять, что онъ первой молодости, но прочный, добротѣжій тарантасъ; впрочемъ, я вамъ могу придачи дать, я не хочу васъ обидѣть.

— Хорошо. Мнѣ бы хотѣлось еще достать лошадь.

— Извольте, мой почтеннѣйшій, лошадку вамъ доставлю отличную, любую; выбирайте изъ конюшни, кромѣ моей верховой.

— Ну, это мы увидимъ завтра, а теперь некогда, надо кончать дѣло.

Винокуръ пошелъ лазить по котламъ и кадямъ, а Осипъ Михайловичъ ушелъ къ себѣ въ кабинетъ и позвалъ своего Тришку.

— Послушай, Тришка, говорилъ онъ:—видѣлъ ты винокура?

— Видѣлъ, ваше благородіе; такой сѣрый.

— Да, да; онъ, братецъ, величайшій негодяй, меня грабитъ, беретъ пятьдесятъ рублей ни за что, ни про что. Надо его проучить.

— Слушаю-съ.

— Замѣтилъ ты у него рессорную таратайку?

— Замѣтилъ-съ; вся тонкимъ сукномъ выбита.

— Ну вотъ, надо ее вымѣнять на нашъ старый тарантасъ.

— Да тарантасъ-то нашъ ничего нестоющій: врядъ ли промѣняетъ.

— Молчи, дуракъ! врешь, тамъ одного желѣза на два цѣлковыхъ будетъ, шины на колесахъ и гвозди и прочее тамъ все желѣзное, прочное, отличнаго желѣза.

— Желѣзо, правда, отличное.

— Онъ мѣняется, только проситъ придачи—лошадь. Смотри, ты подбейся къ нему, подсыпься мелкимъ бѣсомъ... помнишь, постаринному, обругай меня, возьми съ него взятку и выбери ему коня моего рыжаго сапатаго: все равно за него никто и десяти рублей не дастъ. Вотъ мы и будемъ въ барышахъ, и ты получишь за труды съ него же, дурака.

— Сдѣлаемъ-съ!

— Смотри же, непремѣнно выбери ему сапатаго, а не выберешь, я шутить не стану!

И точно, винокуръ выѣхалъ отъ Осипа Михайловича уже не въ своей таратайкѣ, а въ тарантасѣ, и вмѣсто пары, на тройкѣ, третья пристяжная была—рыжая. Тришка, стоя на воротахъ, значительно поклонился винокуру, винокуръ ему сдѣлалъ ручкой.

— А что? покатили? спросилъ Тришку Осипъ Михайловичъ.

— Только пыль подымается.

— А что получилъ?

— Пустяки, одинъ цѣлковый.

— И то, братецъ, деньги; на дорогѣ не валяются.

— Покорнѣйше благодаримъ, вы насъ безъ хлѣба не оставляете.

— А ты собирайся, братъ, завтра въ походъ, повезешь на ярмарку въ ** бочекъ десять водки.

— Увольте меня, ваше благородіе, ей-богу никакого толку не будетъ и вамъ только убытокъ!

— Это что значитъ?—а?

— Да власть ваша, меня всѣ уже знаютъ. Хоть божись, хоть землю ѣшь, никто не вѣритъ: „знаемъ, говорятъ, мы его: что ни продастъ—все надуетъ“.

— Ты трусишь?

— Да немного и побаиваюсь. Съ тѣхъ поръ, какъ продалъ на этой ярмаркѣ табакъ съ каменьями, говорятъ: купцы похвалялись пустить мнѣ эти каменья въ голову. За что же я пострадаю? продалъ для вашей пользы. Вамъ еще моя голова пригодится, а то разобьютъ какъ кувшинъ. Увольте меня; пошлите кого другаго: и мнѣ будетъ безопаснѣе, и вамъ полезнѣе.

— Умныя рѣчи! Кого же послать?

— Пошлите Ивана Длиннаго.

— Да онъ дураковатъ.

— Ничего, продать продастъ, и видъ у него такой важнительный, всякій ему повѣритъ.

— Хорошо. Я пойду въ погребъ, а ты пришли туда Ивана.

Когда явился въ погребъ Иванъ Длинный, Осипъ Михайловичъ сидѣлъ уже верхомъ на бочкѣ, покуривая трубку; передъ нимъ на другой бочкѣ горѣла сальная свѣчка, освѣщавшая дрожавшимъ свѣтомъ длинный, темный подвалъ, уставленный рядами бочекъ.

— А, Иванъ! здорово, любезный. Ты очень хорошій человѣкъ, я давно это замѣтилъ и хочу сдѣлать тебя счастливымъ.

Иванъ молча поклонился.

Отъ третьяго пошелъ добродѣтельный отецъ къ четвертому.

Этотъ принялъ сочинителя чрезвычайно вѣжливо, предложилъ ему стулъ и много говорилъ о его прекрасномъ слогѣ; намекалъ, что новая книга будетъ украшеніемъ литературы, обѣщалъ сильное покровительство и благодарилъ за пріятнѣйшее посѣщеніе. Но—увы! когда мы вышли за дверь, я очень хорошо слышала, какъ онъ сердитымъ голосомъ говорилъ слугѣ:

— Зачѣмъ ты пускаешь ко мнѣ всякую сволочь? Если еще когда-нибудь проберется эта рожа ко мнѣ въ кабинетъ, я сгоню тебя!

Вѣроятно, и сочинитель слышалъ эти слова, потому что вздохнулъ тяжело и сказалъ: „Зачѣмъ меня носила нелегкая къ этимъ...“ извините, тутъ онъ выразился довольно крѣпко, и мой дамскій языкъ отказывается передать вамъ его фразу — „лучше пойду по частнымъ людямъ, особенно по вельможамъ и богатому купечеству“, и онъ началъ звонить у всѣхъ дверей, гдѣ блестѣла порядочная дощечка. Въ иномъ мѣстѣ затворяли ему дверь подъ носомъ, въ другомъ подписывались, особливо, когда онъ, со слезами умиленія, разсказывалъ о родственномъ участіи въ его книгѣ всѣхъ журналистовъ, которыхъ онъ имѣлъ честь сейчасъ навѣстить. Въ одномъ домѣ студентъ не подписался на его книгу, а предложилъ участіе въ сочиненіи, съ платой ста рублей съ листа; а другой молодой человѣкъ сказалъ, что не возьметъ по сту рублей съ листа, чтобъ читать подобныя вещи, и что его до сихъ поръ морозитъ, когда вспомнитъ напутствіе своей бабушки, женщины очень добродѣтельной. Сочинитель гдѣ сердился, гдѣ и самъ шутилъ, ловко изворачивался и вернулся домой къ вечеру съ нѣсколькими новыми подписчиками и, разумѣется, съ нѣсколькими лишними рублями въ карманѣ.

Когда мы пришли домой, я увидѣла ясно, что у моего хозяина не было ни жены, ни дѣтей: его ждалъ какой-то человѣкъ, съ бородкой, въ синемъ кафтанѣ.

— Ну, какъ ваши дѣлишки? спросилъ синій кафтанъ.

— Ничего, Богъ благословляетъ. Я, словно птица небесная, кормлюсь крупицами: съ міра по ниткѣ — голому рубашка. А что ты разузналъ?

— Все, какъ слѣдуетъ, до послѣдняго мизинца; точно: въ такомъ-то заведеніи завѣдываетъ бѣльемъ новый человѣкъ, Прибыткевичъ.

Изъ разговора сочинителя съ синимъ кафтаномъ я узнала, что синій кафтанъ—нѣчто въ родѣ фактора, а самъ сочинитель, кромѣ добродѣтельныхъ книгъ, занимается еще поставкой или, лучше сказать, шитьемъ бѣлья въ какое-то заведеніе.

— Такъ этотъ Прибыткевичъ бѣднякъ? спросилъ сочинитель.

— Голь перекатная! Онъ пріѣхалъ сюда на службу, шатался и сюда и туда, нигдѣ не везетъ. Дали ему учить двухъ недорослей ариѳметикѣ; годъ возился онъ съ ними, и ничему не выучилъ, поглупѣли мальчишки пуще прежняго... поглядѣли, а и самъ учитель ничего не знаетъ. Плохо, говорятъ, убирайся! Онъ въ слезы, жить нечѣмъ; а тутъ умеръ смотритель за бѣльемъ; вотъ его и сдѣлали смотрителемъ. Ужъ будьте увѣрены, я и въ лавочкѣ развѣдалъ, и съ близкими ему людьми чай пилъ, да и самъ его видѣлъ: даже небритый, сапоги съ заплатками, должно быть, пріѣхалъ изъ западныхъ губерній; тамъ я, какъ извозничалъ, много видывалъ таковскихъ; одинъ братъ въ полку, другой въ судѣ служитъ, а третій ямщикомъ на почтовой станціи, ходитъ въ лаптяхъ, а ты его не замай, сейчасъ закричитъ: „я дворянинъ“.

— Ну, спасибо; такой человѣкъ намъ съ руки, а я думалъ, ему Богъ знаетъ чѣмъ придется поклониться; теперь мы съ нимъ раздѣлаемся вотъ этимъ; посмотримъ, что онъ скажетъ.

И, взявъ меня, положилъ въ чистый пакетъ, запечаталъ и надписалъ:

Его благородію
N. N. Прибыткевичу
отъ ...го совѣтника N.N.
(Нужное.)

— Вотъ это снеси къ нему сейчасъ же сегодня, а завтра я самъ утромъ понавѣдаюсь.

Прибыткевичъ былъ пріятно изумленъ, когда распечаталъ конвертъ и, вмѣсто письма, нашелъ мою особу; онъ долго переворачивалъ меня въ рукахъ, заглядывалъ раза три въ конвертъ, нѣтъ ли тамъ еще чего? и принялся хохотать.

„Хо-хо-хо! говорилъ онъ:—да мое мѣсто значитъ, что зовется—хлѣбное, когда на первый разъ получаю такія письма. Сейчасъ же куплю табаку двухрублеваго Жукова; долой рублевый Соколова! долой!.. Хо-хо-хо! да такъ мы заживемъ, что зовется...

Въ это время въ комнату вошелъ немного сутуловатый чиновникъ, землякъ Прибыткевича, г-нъ Лопуховскій. Онъ былъ большой любезникъ съ дамами, первый мазуристъ во всѣхъ танцклассахъ и, кажется, даже приватно училъ самъ танцо-

ванію; впрочемъ, былъ человѣкъ тонкій и очень изворотливый. Въ департаментѣ нѣкоторые называли его пройдохой, пролазомъ, шиломъ и лисой, а нѣкоторые —умнымъ малымъ и малымъ съ головой. На всѣхъ не угодишь.

Прибытковичъ разсказалъ Лопуховскому про странное письмо и про свои виды на жуковскій табакъ.

— Я бы, на вашемъ мѣстѣ, не такъ распорядился. Знаете, васъ просто судьба взяла въ опеку, васъ она жалуетъ, она вамъ дала мѣстечко, что называется золотое дно; оно, видите, не почетное, нѣчто въ родѣ оберъ-закройщика или кастелянши въ брюкахъ, да это пустяки. Правду говорятъ русскіе: къ чему честь, когда нечего ѣсть; а наполните карманъ—почести сами къ вамъ придутъ.

— Да какимъ чортомъ я его наполню?

— Э! какъ вы просты, любезнѣйшій землякъ! Зерно, посаженное въ землю, даетъ плодъ сторицею; а у васъ есть уже зерно— эта ассигнація; оно пустяки...

— Какое пустяки! Я тебѣ говорю, что у меня на табакъ денегъ нѣтъ.

— Погодите, синяя ассигнація пустяки, на вашемъ мѣстѣ; но я бы ее не истратилъ, я бы ее сберегъ; она похожа на первую селедку, которая идетъ въ морѣ къ берегамъ; кажется, селедка пустяки, а ее встрѣчаютъ съ выстрѣлами, пьютъ ея здоровье; за ней плывутъ милліоны подобныхъ ей сельдей—вотъ что! Коли человѣкъ прислалъ вамъ синюю ассигнацію, онъ въ васъ нуждается, онъ дастъ вамъ не такой пустякъ, а это была проба...

— Ужъ не отдать ли мнѣ ее?

— Боже сохрани! сдѣлайте видъ, будто и не получали, а между тѣмъ... Не говорилъ человѣкъ, когда будетъ къ вамъ самъ подрядчикъ?

— Говорилъ: понавѣдается завтра утромъ, если будетъ время.

— Вотъ видите, онъ уже начинаетъ важничать, и вамъ надобно важничать; онъ хочетъ взять на себя вашу роль: должно быть пройдоха этотъ ...скій совѣтникъ; но ему вы нужны, онъ непремѣнно завтра явится; онъ еще васъ побаивается и поведетъ себя сообразно вашему пріему.

— Что же мнѣ съ нимъ дѣлать?

— А вотъ что: когда онъ придетъ, скажите вашему человѣку, чтобъ онъ сказалъ, что баринъ одѣвается, а еще лучше, если выговоритъ, что баринъ дѣлаетъ свой туалетъ.

— Куда ему! я вамъ говорю: не выговоритъ.

— Ну, такъ просто скажетъ, что баринъ одѣвается и попроситъ обождать; продержите вы его съ четверть часа въ передней и потомъ прикажите просить; сами надѣньте порядочный халатъ, шитые спальные сапоги и хорошую ермолку...

— Хо-хо-хо! да у меня, братецъ, никакого халата нѣтъ, не только ермолки и шитыхъ сапоговъ; я по походному, чуть съ постели, сейчасъ накинулъ шинель— и правъ.

— Плохо! Впрочемъ, горю пособить можно: у меня есть двоюродный братъ, секретарь, у него припасенъ для экстренныхъ случаевъ богатѣйшій костюмъ; я достану его на завтрашнее утро; отличный шелковый халатъ съ кистями; ермолка вся зашита золотомъ, сапоги настоящіе торжковскіе и сигарочникъ серебряный, украшенный бирюзой и дорогими камнями, съ огромнымъ янтаремъ.

— Да я и сигаръ не курю.

— Какъ тамъ себѣ хотите, а для тону должны раскурить сигару, да еще подлиннѣе и потолще. Я и сигару принесу. Хочется мнѣ сдѣлать земляку услугу... Вѣдь далъ же Господь вамъ такое мѣсто! наживете домъ, право наживете.

— Если не соврешь, дамъ тебѣ въ моемъ домѣ даромъ квартиру.

— Если будете меня слушать, черезъ два года я буду вашъ жилецъ; не будь я Лопуховскій, если вру. Вы пили чай?

— Нѣтъ еще.

— Ну, такъ прикажите ставить самоваръ, а я сбѣгаю къ секретарю за костюмомъ. Пока чай будетъ готовъ, я вернусь и мы потолкуемъ о вашихъ дѣлахъ. Даетъ же Богъ счастье людямъ! Вы подъ опекой у Фортуны!... А синенькую не тратьте, спрячьте ее, какъ звѣря перваго лова: она принесетъ вамъ счастье...

— Да я тебѣ говорю, братецъ, на табакъ нѣтъ, что зовется, ни алтына.

— Я вамъ дамъ до завтра полтинникъ.

— Да я завтра не отдамъ; чѣмъ я отдамъ?

— Развѣ отдать не захотите, а ручаюсь, что отдать чѣмъ будетъ. Досвиданія!

Черезъ полчаса, не болѣе, вернулся Лопуховскій съ полнымъ костюмомъ, и земляки усѣлись за чай: Прибытковичъ хохоталъ простодушнымъ смѣхомъ, вспоминая завтрашній маскарадъ.

— Не смѣйтесь, серьезно говорилъ Лопуховскій:—здѣсь не провинція, надо жить осторожно. Будете меня слушать, будете бариномъ; нѣтъ—на себя пеняйте! Первое дѣло здѣсь декораціи; человѣкъ долженъ озадачивать эффектомъ; здѣсь половина франтовъ, львовъ, тигровъ, живутъ по пословицѣ: на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щолкъ. На первыя же деньги обзаведитесь платьемъ и разными бездѣлушками, знаете,

для письменнаго стола и прочее, въ глаза чтобы бросалось, какую-нибудь раковину, чернильницу носорогомъ или верблюдомъ, какую-нибудь этакъ сигару поставьте въ полъаршина... да ужъ я васъ научу. Лучше поголодайте сначала, а декораціи устройте: онѣ вамъ выкупятся сторицею.

— Да я тебѣ говорю, братъ Лопуховскій, на это нужно денегъ.

— Деньги будутъ, почтеннѣйшій землякъ. На сколько человѣкъ у васъ строятъ бѣлье?

— На тысячу, коли не болѣе.

— Это все-равно, что у васъ тысяча крестьянъ...

— Нѣтъ, страшно все обрѣзано...

— Фразы!... Знаемъ мы: обрѣзано! Вы слыхали пѣсню:

Дай мнѣ кормить казеннаго цыпленка,
Я съ нимъ корову прокормлю!..

Я знаю, вы никогда не служили по письменной части, такъ смотрите, показывайте мнѣ всѣ ваши счеты и отчеты, всѣ сдѣлки и контракты: я васъ наведу на путь. Признаюсь, я до этого большой охотникъ: тутъ есть пища уму, воображенію, да и впереди заманчиво... Не даетъ мнѣ Богъ подобнаго мѣста! Смотрите же вы, примите завтра вашего подрядчика такъ, чтобъ онъ почувствовалъ—не то страхъ, не то угрызеніе совѣсти, а особенное душевное волненіе.

— Ладно, я его промучу въ передней, а послѣ явлюсь въ халатѣ, съ сигаркою... Хо-хо-хо!...

— Долго держать въ передней не совѣтую, чтобы не озлобить человѣка, не нажить съ перваго дня себѣ врага. Вы еще не знаете, каковъ онъ; а продержать немного должно: это ему напомнитъ нѣкоимъ образомъ его зависимость отъ васъ, дастъ ему приличный тактъ; а когда онъ войдетъ, вы ласково извинитесь передъ нимъ въ невольной задержкѣ, и говорите съ нимъ снисходительно, даже трогательно о погодѣ и о другихъ пріятныхъ предметахъ, но о дѣлѣ—Боже сохрани васъ начинать рѣчь! да и вообще совѣтую говорить поменьше... Знаете, если человѣкъ молчитъ, Богъ его знаетъ, что онъ думаетъ; пусть лучше онъ говоритъ, самъ въ разговорѣ и выскажется, какъ-нибудь да выскажется.

— Ты, Лопуховскій, что зовется, министръ! Мнѣ бы и въ голову это не пришло.

— Пустяки, присмотрѣлся къ людямъ, приглядѣлся да, правду сказать, наслушался на родинѣ патера Бонифація. Вотъ былъ учитель!... Послушайте же, если *онъ* начнетъ говорить о дѣлѣ, тутъ вы перемѣните тонъ, станьте холоднѣе, суше, больше молчите, изрѣдка только сдѣлайте замѣчаніе, что мои, дескать, предшественники не такъ вели дѣла; что я намѣренъ сдѣлать улучшенія; что казна, дескать, много теряетъ и т. п. только это говорите не разомъ, а такъ, задумываясь, урывками, будто задушевныя мысли противъ вашего желанія сами срываются съ языка... Понимаете?

— Понимаю, понимаю!

— А завтра вечеромъ я зайду къ вамъ за костюмомъ. Вы мнѣ разскажете о послѣдствіяхъ.

Вечеромъ весело ходилъ Прибыткевичъ по комнатѣ; на столѣ кипѣлъ самоваръ и стоялъ распечатанный картузъ Жукова; но Прибыткевичъ не пилъ чаю: онъ курилъ трубку, выколачивалъ ее, опять набивалъ изъ картуза, раскуривалъ и опять ходилъ по комнатѣ, видимо кого-то поджидая. Наконецъ пришелъ Лопуховскій.

— Другъ мой! братъ Лопуховскій! будетъ тебѣ квартира въ бельэтажѣ, окнами на улицу, что зовется на славу...

— Потише, почтеннѣйшій землякъ! Я человѣкъ простой и въ бельэтажѣ жить не стану; мнѣ гдѣ-нибудь двѣ-три комнатки, пониже да потеплѣе—вотъ и все тутъ! А что ваши дѣла?

— Отлично идутъ! Былъ утромъ этотъ .....скій совѣтникъ, старая лисица! да такъ сначала сробѣлъ, глядя на меня, что ни стоитъ, ни сидитъ...

— Что же, онъ легъ?

— Хо-хо-хо!... а чуть не легъ, не зналъ куда дѣваться, а я сижу въ халатѣ да сигарку покуриваю; а послѣ начали говорить о погодѣ; онъ оправился, присѣлъ и себѣ давай пороть все такое пріятное... А послѣ, какъ заговорилъ о дѣлѣ, я какъ брякнулъ ему одну другую фразу, въ родѣ „подумаю да посмотрю“—гляжу, онъ опять корчится, словно подошва на огнѣ, схватилъ шапку да бѣжать.

— Куда вы? спросилъ я.

— Извините, отвѣчалъ онъ:—я вспомнилъ, мнѣ есть дѣло, нужно торопиться...

— А о нашемъ предметѣ вы ничего и не рѣшили окончательно?

— Я напишу, я сегодня буду имѣть честь письменно извѣстить васъ о всемъ подробно... сказалъ, да и былъ таковъ. А чрезъ три, четыре часа я получилъ отъ него пакетъ, очень утѣшительный.

— Утѣшительный?

— Еще бы! Вотъ тебѣ твой полтинникъ, вотъ видишь цѣлый картузъ Жукова, а вотъ посмотри! а? вѣдь пріятно!... что зовется. Я тебѣ говорю: пріятно!...

И Прибыткевичъ показалъ пачку ассигнацій, рублей на двѣсти.

— Изрядно, замѣтилъ Лопуховскій: — этотъ человѣкъ умѣетъ жить на свѣтѣ, а всетаки его нужно уничтожить.

— За что? за его же деньги?

— Да, коли онъ далъ сразу столько денегъ, значитъ, ему выгодно. Отчего же вамъ самимъ не можетъ быть выгодно то, что хорошо для посторонняго человѣка? А вы, какъ говорится, у самаго источника; на это не шутя мы посмотримъ.

— Пожалуй, посмотримъ; я согласенъ.

Чрезъ мѣсяцъ Прибыткевичъ взялъ на себя шитье рубахъ съ уступкой для заведенія. Подрядчикъ шилъ по десяти копѣекъ за штуку, а онъ взялъ по девяти, за что получилъ награду отъ начальства, а самъ въ тотъ же день отправился въ отдаленную часть города, гдѣ живетъ страшная нищета, гдѣ бѣдная женщина, кормя груднаго ребенка, работаетъ три дня, стегая затѣйливый халатъ для лавки гостинодворца, и получаетъ за это рубль мѣдью, гдѣ за безцѣнокъ вышиваютъ чудные узоры по газу, тюлю и батисту, украшающіе модные магазины, гдѣ просятъ работы и часто голодаютъ отъ того, что дѣлать нечего — тамъ работницы съ радостью взялись шить рубахи для Прибыткевича по шести копѣекъ серебромъ.

Эта операція удалась Прибыткевичу отлично, принесла ему много выгоды денежной, а еще болѣе выгоды во мнѣніи заведенія, гдѣ онъ служилъ, такъ-что начальникъ въ своемъ дружескомъ кругу, услыша фамилію Прибыткевича, сказалъ довольно-громко, со свойственной ему интонаціей: „я не знаю, за что нападаютъ на Прибыткевича? Онъ не картежникъ, не пьяница, не пускается въ литературу; правда, съ виду кажется глуповатъ немного, но это только съ виду, на дѣлѣ онъ отличный практическій человѣкъ“.

Съ этого дня Прибыткевичу стало очень хорошо жить на свѣтѣ. Кто что ни говори, а подобный отзывъ начальника трогателенъ и наполняетъ душу неизъяснимосладостнымъ ощущеніемъ!

Прибыткевичъ точно былъ хорошій исполнитель, какъ и всѣ люди, нелюбящіе думать и разсуждать, и потому, руководимый совѣтами Лопуховскаго, онъ постоянно успѣвалъ въ разныхъ торговыхъ оборотахъ, богатѣлъ видимо и нѣсколько разъ уже хотѣлъ завести лошадей, но Лопуховскій его удерживалъ.

— Погодите, говорилъ онъ,—еще рано: еще васъ за это могутъ удушить. Пойдутъ спросы, да разспоры, да зависть. Разумѣется, кому какое дѣло, а зависть сейчасъ привяжется...

— Тебя не поймешь; ты все мнѣ толкуешь про декораціи, а чего лучше, что зовется, какъ тройка этакихъ...

— Во всякомъ случаѣ тройка неблагопристойно: это столица, а не уѣздъ, здѣсь пара въ ходу. Впрочемъ, лошади декорація болѣе для женитьбы. Вамъ теперь нужны служебныя декораціи... Говорите болѣе о своихъ трудахъ, о потерѣ здоровья, о намѣреніи выйти въ отставку... иногда, этакъ, скажите человѣку, что вы займетесь счетами и бумагами, прикажите всѣмъ отказывать, говоря: „баринъ занятъ, придите часа черезъ два“, или „завтра утромъ“, какъ придется, а сами преспокойно лягте на диванъ, курите, да читайте книгу.

— Я до нихъ не охотникъ.

— Ну, такъ спите, только прежде двери на замокъ, чтобъ какой нахалъ не засталъ васъ надъ этимъ занятіемъ; вѣдь народа всякаго бываетъ...

— Ты думаешь, это полезно?...

— Да вотъ какъ: у насъ въ департаментѣ былъ человѣкъ, ни рыба, ни мясо, даже порядочнаго почерка не имѣлъ; опредѣлился онъ на первый окладъ, сталъ учить грамотѣ экзекуторскаго сынишку и получилъ казенную квартиру — комнатку на чердакѣ объ одномъ окнѣ. Надо случиться, что это окно выходило на дворъ и было прямо противъ оконъ спальни и кабинета начальника, разумѣется, только повыше: начальникъ жилъ въ бельэтажѣ. Иной простой человѣкъ, развѣ изрѣдка глядѣлъ бы въ окно на дворъ, какъ сторожа по двору ходятъ, да развѣ ставилъ бы на немъ чубукъ; другой пользы невозможно, повидимому, извлечь изъ него; а умный человѣкъ нашелся: онъ постоянно началъ просить себѣ въ департаментѣ на домъ работы. „Мнѣ, говоритъ, дома скучно, дѣлать нечего, а у васъ дѣла накопляются; давайте, я ихъ понемногу стану очищать“. И возметъ, бывало, бумажку въ листъ, только каждый день бралъ послѣ присутствія, и всѣ столоначальники начали говорить между собою: „вотъ дуракъ, хочетъ все казенное дѣло передѣлать!“ а громко кричали: N. N. достойный человѣкъ: трудолюбивъ, усерденъ, дѣятеленъ“.

Между тѣмъ N. N. извлекалъ изъ окна пользу: онъ, бывало, пообѣдаетъ, пойдетъ куда-нибудь къ знакомымъ напиться чаю, или такъ погуляетъ по улицамъ для освѣженія духа и въ десять часовъ приходитъ домой; беретъ казенную бумагу, переписываетъ ее въ десять минутъ, много что въ четверть часа и ложится спать; но предварительно оставитъ противъ окна столикъ, на столикъ тарелку, изъ осторожности отъ пожара, а на тарелку подсвѣч-

никъ съ горящею пятириковою свѣчкой. Хозяинъ засыпалъ, укутавъ голову отъ свѣта одѣяломъ, а свѣчка горѣла часовъ до четырехъ и наконецъ погасала, наполняя комнату порядочнымъ угаромъ. На утро у N. N. немного болѣла голова; впрочемъ, это скоро проходило. Жертвовалъ онъ въ мѣсяцъ изъ скуднаго жалованья полтину серебра на ненужныя свѣчи... Кажется, велъ себя глупо, а вышло умно: начальникъ и его супруга, нѣсколько разъ, во время тревожнаго сна, просыпаясь, замѣчали противъ себя въ окнѣ свѣтъ; это повторилось нѣсколько разъ и встревожило начальника. Онъ послалъ за экзекуторомъ и спросилъ о таинственномъ жильцѣ-полуночникѣ. Экзекуторъ *доложилъ*, что живетъ тамъ чиновникъ N. N., а огонь у него горитъ отъ того, что онъ занимается.

— Ужъ не сочинитель ли?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство; это прекрасный молодой человѣкъ и серьезно занимается перепискою служебныхъ бумагъ.

— Съ найма, что ли?

— Не могу доложить основательно, ваше превосходительство.

— Вы никогда ничего не можете доложить!

Жена начальника очень безпокоилась, не живетъ ли тамъ, подъ небесами, какой-нибудь колдунъ или составитель вредныхъ вещей. Самъ начальникъ подозрѣвалъ, не дѣлается ли тамъ что запрещенное и, уходя въ департаментъ, приказалъ экзекутору сдѣлать маленькую фальшивую тревогу, будто бы о сбѣжавшей у генеральши собачкѣ и, пользуясь этимъ предлогомъ, осмотрѣть квартиру N. N. и донести въ точности.

Въ департаментѣ онъ спросилъ объ N. N. начальника отдѣленія. Начальникъ отдѣленія отвѣчалъ, что въ непосредственныя отношенія съ мелкими писцами онъ не входитъ, но замѣтилъ, что N. N. трудолюбивъ, скроменъ, вѣжливъ и почти ничего не говоритъ.

— Ну, такъ позовите ко мнѣ его столоначальника.

Столоначальникъ сказалъ, что N. N. отличный человѣкъ и ежедневно по его, столоначальника, просьбѣ беретъ кучу бумагъ для переписки, которыя всегда на завтра возвращаетъ въ исправности.

Возвращаясь домой, начальникъ встрѣтилъ у себя въ передней экзекутора, который привѣтствовалъ его слѣдующими словами:

— По приказанію вашего превосходительства былъ сдѣланъ осмотръ въ квартирѣ N. N. подъ видомъ поиска собаки, и, кромѣ старыхъ сапоговъ, дыряваго халата, трубки съ чубукомъ и постели, другихъ вещей не отыскалось.

— И не могло отыскаться! У васъ всякое лыко въ строку. Заикнись я, вы готовы поднять весь домъ на ноги. N. N. достойнѣйшій человѣкъ, я пошутилъ, а вы изъ шутки дѣло затѣяли.

Черезъ двѣ недѣли открылась вакансія помощника столоначальника и начальникъ мимо всѣхъ посадилъ N. N. на это мѣсто. Черезъ мѣсяцъ его сдѣлали столоначальникомъ!... Вотъ какъ! Жертвовалъ въ мѣсяцъ бездѣлицу — полтинникъ на свѣчи, а пріобрѣлъ сотни рублей. Это называется умѣть сѣять.

— Хо-хо-хо! Экая голова! Какъ же ты узналъ эти продѣлки?

— Да ужъ гораздо послѣ, когда онъ былъ столоначальникомъ, пересталъ жечь свѣчи, а самъ сталъ писцовъ прижимать—не приведи Господи! Я де, говоритъ, самъ по ночамъ переписывалъ. А тутъ была у нашего сторожа дочка; она N. N. мыла манишки, а онъ, уже ставъ порядочнымъ человѣкомъ, нагрубилъ ей и взялъ другую прачку. Тогда сторожева дочка все и разблаговѣстила, да еще и не то!... ну, да бабій языкъ что твоя мельница, какъ розорвется... хуже воды ключевой: ничѣмъ не уймешь.

— Такъ ты думаешь и мнѣ нехудо, этакъ того, подъ-часъ, что зовется...

— Непремѣнно. Главное, говорите о себѣ больше, о своихъ трудахъ, о своей службѣ, да кричите по-громче на всѣхъ, кто ниже васъ, кричите зря, нужно ли, не нужно, а кричите: этимъ иногда измѣряется ревность. Господи! сколько людей взяли рѣшительно все крикомъ и наглостью и сколько, напротивъ, проиграли тѣмъ, что считали за стыдъ хвалить себя и всегда говорили тихо, думая, что скромно и тихо сказанное дѣло гораздо полезнѣе громко и надуто-произнесенной нелѣпицы! Я зналъ даже нѣкоторыхъ чудаковъ, которые о своихъ заслугахъ говорили шутя, изъ чувства неумѣстной скромности и тонкаго приличія, за что единогласно были названы дураками. Можетъ-быть, они были и умные люди, а все-таки жили на свѣтѣ какъ дураки.

Наконецъ Прибыткевичъ въ одинъ прекрасный вечеръ объявилъ Лопуховскому, что ему смерть хочется купить домъ. Лопуховскій одобрилъ эту мѣру, но не вполнѣ.

— Купить домъ—дѣло милое и пріятное, да извините меня, какъ-то странно смотрятъ на человѣка, у котораго ничего не было, ни родоваго, ни благопріобрѣтеннаго, который не получилъ наслѣдства и т. п., и вдругъ покупаетъ домъ. Тутъ явится за-

висть, а зависть изъ честнѣйшаго человѣка сдѣлаетъ чернѣйшаго.

— Что же мнѣ дѣлать съ моими деньгами?

— Погодите. Вамъ теперь должно жениться. Всѣ люди въ вашемъ положеніи, разумѣется, умные, прибѣгали къ этому единственно спасительному средству. Да, вы должны жениться и еще на купчихѣ, и еще на богатой; тогда все вы сваливаете на жену: и домъ вашъ на имя жены, и все, что имѣете—ея, вашей жены, а вы, просто, бѣдный человѣкъ, служили честно, безпорочно, а Богъ васъ наградилъ за труды ваши счастливой женитьбой.

— Хорошо такъ тебѣ разсказывать; а гдѣ я найду богатую невѣсту? а если и найду, пойдетъ ли она за меня?

— Вы разсуждаете въ половину справедливо: богатыхъ невѣстъ теперь почти нѣтъ; богатая невѣста рѣдкость, какъ бѣлый воробей. Всѣ богатыя невѣсты, коли разсмотришь поближе, богаты разсказами, тряпками, да еще спѣсью. Любой мильонеръ норовитъ принадуть зятька—это правда. За то богатые женихи еще рѣже; такъ вамъ отчаяваться нечего: вы богатый женихъ, да притомъ еще дворянинъ. За васъ пойдетъ любая купчиха; только покажите ваши ломбардные билеты батюшкѣ—сейчасъ отдастъ, хоть бы и дочка не очень желала. Теперь вы купите себѣ хорошенькую парочку, да совѣтую, для виду, занять на нее денегъ, хоть у казначея: онъ тонкій человѣкъ, смекнетъ въ чемъ дѣло и дастъ. А я между тѣмъ возьму за бокъ сваху: она намъ доставитъ цѣлую дюжину. Разумѣется, мы выберемъ съ домикомъ и съ другими приличными декораціями; дастъ Богъ, возьмемъ пятьдесятъ тысячъ, а разсказывайте на полъмильона. Пускайтесь языкомъ въ торговые обороты, а на дѣлѣ—Боже упаси! новые родные какъ разъ надуютъ. Вотъ, женясь, и стройте тогда себѣ какія угодно хоромы—все съ рукъ сойдетъ!

Прибыткевичъ занялъ у казначея денегъ для покупки лошадей, сообщивъ ему, что намѣренъ жениться на богатой купчихѣ, и послѣ свадьбы сейчасъ обѣщалъ уплатить долгъ. Пара вятокъ, съ густыми гривами до земли и толстыми широкими хвостами, куплена, запряжена въ яковлевскія дрожки, а на дрожкахъ, съ радостнымъ, свѣтлымъ лицомъ жениха, усѣлся Прибыткевичъ, гордо раскланиваясь знакомымъ пѣшеходамъ.

И точно, онъ былъ женихомъ. Сваха нашла ему невѣсту, дочь купца, торговавшаго рогожами и старымъ желѣзомъ. Невѣста была въ лѣтахъ, довольно-плотна, довольно-красна, довольно-молчалива, а главное, имѣла свой собственный деревянный двухъ-этажный домъ, съ большимъ огородомъ и нѣсколькими кустами акаціи и сирени, что называлось садомъ. У старика, отца невѣсты, кромѣ этого дома, былъ еще большой каменный домъ да нѣсколько сотъ тысячъ капитала въ оборотѣ; но на это разсчитывать было неловко, оттого что у старика было еще два сына. Впрочемъ, объявляя о помолвкѣ своей, Прибыткевичъ говорилъ, что беретъ домъ, сто тысячъ серебромъ чистыхъ денегъ, да еще, по смерти тестя, надѣется получить столько же.

Мѣсяцъ спустя послѣ свадьбы, Прибыткевичъ продалъ женинъ домъ съ садомъ и огородомъ и взялъ за него сорокъ тысячъ ассигнаціями—вотъ въ чемъ заключалось все полученное имъ приданое, если не считать глупой и грубой женки.

Лопуховскій подъ-рукой распустилъ, что Прибыткевичъ продалъ домъ за семьдесятъ тысячъ, да что тесть даетъ ему еще на постройку дома сотню. Всѣ этому вѣрили, всѣ кланялись Прибыткевичу, а онъ, между тѣмъ, купилъ мѣсто на лучшей улицѣ, договорилъ искуснаго архитектора и началъ строить великолѣпныя палаты.

„Вотъ женился человѣкъ счастливо“, говорили многіе, глядя на красивый, огромный домъ Прибыткевича.

— Да, господа, замѣчалъ старичокъ съ пряжкою за XLV лѣтъ:—справедливо сказалъ Державинъ, что счастье всегда обращаетъ свой взоръ:

На пни, на кочки, на колоды,
На тундры, на гнилыя воды,
А рѣдко, рѣдко на людей!..

Прошло два года; Прибыткевичъ жилъ въ своихъ палатахъ, не оставляя, впрочемъ, своей прежней службы, „изъ благодарности къ старому начальству“, какъ говорилъ онъ. Лопуховскаго тоже помѣстили въ домѣ Прибыткевича: безъ Лопуховскаго Прибыткевичъ не могъ жить.

Философы, отвергающіе существованіе дружбы, что вы на это скажете?

Въ одинъ пріятный вечеръ Лопуховскій пріѣхалъ изъ отдаленной части города, скучный, мрачный, озабоченный. Онъ не захотѣлъ пить чаю и, взявъ за руку Прибыткевича, увлекъ его въ кабинетъ и заперъ дверь.

— Что съ тобой? спросилъ Прибыткевичъ.

— А вотъ что. Вамъ угрожаютъ непріятности; надобно отъ нихъ избавиться; перемѣните родъ службы...

— Что ты, что ты! да вѣдь теперь-то наши дѣла приняли самый лучшій оборотъ...

— Такъ; и могутъ принять худшій. Видите, я сейчасъ былъ въ....., осматривалъ работы, пріискивалъ новыхъ работницъ, отказывалъ нерадивымъ. Вдругъ въ комнату входитъ господинъ, важной наружности, и спрашиваетъ у хозяйки: сколько у нея дѣтей, и чѣмъ боленъ меньшой сынъ, и что она платитъ за квартиру, и чѣмъ занимается... Баба и бухнула, что шьетъ она, молъ, казенное бѣлье по шести копѣекъ за штуку, да что плата мала: только не умрешь съ голоду, надѣяться не на что.

— Вотъ вамъ билетъ, сказалъ незнакомецъ:—скажите вашему частному доктору, чтобъ прописалъ на немъ рецептъ для вашего ребенка; по этому рецепту дадутъ лекарство даромъ, а на этотъ рубль серебра купите больному бѣлаго хлѣба да чего-нибудь легкаго покушать. Сами понавѣдайтесь завтра въ общество; я о васъ поговорю и работу вамъ доставлю. Пора уже прекратить... И тутъ онъ началъ такія вещи говорить о васъ, будто знаетъ васъ лично...

— Какъ? говорилъ Прибыткевичъ.

— Нѣтъ, не говорилъ имени, а разсказывалъ всѣ ваши обороты, будто ему кто шепталъ, и называлъ непріятными именами, —упоминать не слѣдуетъ. Вотъ я, видя, что онъ человѣкъ важный, вступилъ съ нимъ въ разговоръ, прикинулся самъ филантропомъ и узналъ страшныя вещи. Здѣсь завелось общество, которое хочетъ давать бѣднымъ помощь работою, хочетъ подорвать всѣ наши спекуляціи—и подорветъ: оно сильно, имѣетъ вѣсъ, и насъ какъ разъ уничтожитъ; да еще, чего-добраго, вздумаетъ обличить... Лучше убраться заранѣе.

— Это чудеса!...

— Да, члены больше все люди молодые, ходятъ и отъискиваютъ бѣдныхъ, лазятъ на чердаки, спускаются въ сырые подвалы, навѣщаютъ грязные углы, не страшась ни зловреднаго воздуха, ни заразительныхъ болѣзней, часто тамъ обитающихъ, и отъискиваютъ истинную бѣдность, справедливо и неумолимо отдѣляя ее отъ порока, помогая безусловно первой и стараясь направить на путь истины послѣднихъ.

— Что же, имъ идетъ огромное жалованье?

— Какое! смѣхъ сказать: сами еще платятъ ежегодно за право трудиться для пользы нищаго...

— Хо-хо-хо! Другъ мой Лопуховскій, полно меня дурачить! Могутъ ли быть на свѣтѣ такіе чудаки?

— А есть, я говорю не шутя, и они вамъ надѣлаютъ бѣды изъ-за нищихъ, изъ-за Богъ знаетъ какой сволочи. Вы можете потерпѣть. Лучше, по-добру-по здорову, убраться.

— Убраться? да куда же?

— Въ другое вѣдомство. Возьмите службу по другой части. Теперь ужъ вамъ полно думать о мелкихъ пользахъ. У васъ домъ, у васъ карета, у васъ порядочный чинъ; теперь пора вамъ думать о почетѣ, генеральствѣ.

— Другъ Лопуховскій, ты съ ума сошелъ! какой я буду генералъ? Посмотри на меня: похожъ ли я на генерала?

— А будете! Что же вамъ больше дѣлать на свѣтѣ? поживете и будете... Вамъ должно перемѣниться. И птицы небесныя отъ перелета жирѣютъ; иначе, кто бы ихъ заставлялъ ежегодно летать Богъ знаетъ куда?... только поведите дѣло хорошенько...

— Воля твоя, что хочешь, а на это я не согласенъ: это такая обуза!... что зовется, тутъ французскій языкъ и прочее нужно... Не хочу! я тебѣ говорю, не хочу!

— Такъ я хочу, почти закричала жена Прибыткевича, быстро входя въ кабинетъ: —я слышала все за дверью, и хочу быть генеральшей—слышишь?

— Слушаю, матушка; да вѣдь трудно.

— Пустяки, я васъ увѣряю, перебилъ Лопуховскій:—только меня слушайте...

— Правда, правда, только его слушайте: онъ умный человѣкъ.

— Ну! дѣлайте изъ меня что хотите!

Наступилъ какой-то торжественный день. Прибыткевичъ одѣлся въ свое самое новое платье, надѣлъ на себя все, что у него было отличительнаго и, подойдя къ шкатулкѣ, вынулъ меня. Долго онъ глядѣлъ на меня и мнѣ даже показалось, что его глаза наполнились слезами.

„Ну, моя голубушка, синенькая, берегъ я тебя“, сказалъ онъ: „ты мнѣ принесла счастіе... и теперь сослужи службу, ты счастливая бумажка...“

Потомъ онъ сложилъ меня и положилъ особенно въ карманъ; сѣлъ въ коляску и поѣхалъ.

Въ передней одного значительнаго человѣка стоялъ столъ, на столѣ чернильница, дюжина перьевъ и нѣсколько листовъ бумаги; немного подальше высилась порядочная куча визитныхъ карточекъ на разныхъ языкахъ, съ разными гербами и коронками; у столика стоялъ любимый камердинеръ значительнаго человѣка, извѣстный очень многимъ подъ именемъ Бориса Петровича. Разныя лица входили въ переднюю, расписывались или оставляли карточки и исчезали словно китайскія тѣни. Это было утромъ очень рано.

Прибыткевичъ вошелъ въ переднюю и поклонился Борису Петровичу съ видомъ человѣка очень знакомаго; въ это время кто-то расписался и вышелъ. Они остались одни.

— Ну что, Борисъ Петровичъ, хорошо сидитъ ваше новое платье?

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокоблагородіе, это оно на мнѣ.

— Ага! я и не узналъ; ну, ничего, хорошо, мы сдѣлаемъ и лучше современемъ, далъ бы только Богъ попасть къ вамъ!... Погодите, станьте вотъ такъ: да, немного брюки широковаты. Вы мнѣ пришлите завтра, я прикажу все отдѣлать на швальнѣ.

— Покорнѣйше благодарю. Вы распишитесь или карточку оставите?

— Распишусь, распишусь. Куда намъ карточки оставлять такимъ людямъ!... Вотъ я и подмахнулъ! А что, его сіятельство почивать еще изволятъ?

— Почиваютъ.

— Достойнѣйшій человѣкъ!... доведется ли служить или нѣтъ, но хоть поговорю съ такимъ человѣкомъ — и то мнѣ пріятно!... Прощайте, Борисъ Петровичъ!

Тутъ Прибыткевичъ сунулъ меня въ руку камердинеру, примолвя „будьте здоровы, съ праздникомъ“ и ушелъ.

Камердинеръ положилъ меня въ карманъ и еще съ полчаса постоялъ у столика. Наконецъ, послышался звонокъ и онъ вышелъ, оставя на своемъ мѣстѣ лакея съ наказомъ: „смотри ты у меня, Степка, не смѣй никого поздравлять съ праздникомъ“.

Значительный человѣкъ всталъ очень въ хорошемъ расположеніи духа и, одѣваясь, болталъ съ камердинеромъ всякую всячину.

— Ну что, тамъ ихъ много было?

— Видимо-невидимо! Какъ мухи на медъ, лѣзутъ все къ бумагѣ и расписываются...

— Ага!... больше прошлогодняго?

— Вдвое больше; и много новыхъ, а одинъ пріѣзжалъ какой-то богатый баринъ, да ужъ какъ онъ васъ любитъ и уважаетъ!...

— Кто бы это? изъ моихъ подчиненныхъ?

— Нѣтъ, незнакомый; пріѣзжалъ въ своей коляскѣ; лошади орловскіе, збруя чудесная, немного похуже нашей... да какъ вошелъ и встрѣтился съ какимъ-то незнакомымъ мнѣ человѣкомъ, и началъ про васъ говорить... ужъ онъ такъ васъ хвалилъ, такъ превозносилъ! Это, говоритъ, и такой и этакой человѣкъ; съ нимъ, говоритъ, поговоришь—на годъ поумнѣешь...

— Кто бы это такой?

— Я посмотрѣлъ на листъ, онъ расписался: „Прибыткевичъ“.

— Ахъ, да, я слышалъ эту фамилію... постой, постой, у графини... Мы съ нимъ играли въ карты, только играть онъ не мастеръ. Помню: дама самъ-пять козырей и два туза масти, и онъ остался безъ двухъ!... Мы цѣлый вечеръ хохотали!... Да, онъ смотритъ хорошимъ человѣкомъ.

Долго еще камердинеръ одѣвалъ значительнаго человѣка и пѣлъ ему про Прибыткевича. Надобно отдать справедливость: Борисъ Петровичъ отлично владѣлъ языкомъ.

Дня черезъ три Борисъ Петровичъ убиралъ что-то въ рабочемъ кабинетѣ значительнаго человѣка; въ кабинетъ вошелъ правитель дѣлъ съ бумагами.

— А что новаго? Морозъ большой?

— Большой, ваше высокопревосходительство, градусовъ двадцать будетъ и съ вѣтромъ.

— Я зналъ это; на термометръ не смотрѣлъ, лѣнь была, а голова у меня трещала; это всегда на большой морозъ... Ну, а тамъ у васъ что?

— Есть три просьбы на вакантное мѣсто старшаго чиновника для порученій. За А. проситъ графиня Б., за В. проситъ княгиня Г....

— Ну, а третья?

— Третья очень странная просьба. Просится какой-то Прибыткевичъ и пишетъ, что не имѣетъ протекціи и не ищетъ рекомендаціи, а хочетъ личными достоинствами и усердіемъ рекомендовать себя.

— Прибыткевичъ... погодите... что-то знакомое.

— Это, ваше высокопревосходительство, вѣрно тотъ самый, что имѣлъ честь играть съ вами у графини, довольно отважно замѣтилъ камердинеръ.

— Молчи, братецъ, не мѣшайся не въ свое дѣло! я самъ очень хорошо вспомнилъ, я лично знаю Прибыткевича: онъ отличный человѣкъ!..

— Кого же угодно будетъ утвердить вашему высокопревосходительству? спросилъ правитель дѣлъ.

— Разумѣется ни А., ни В.: я смерть не люблю никакихъ протекцій. Прибыткевичъ— другое дѣло: я его лично знаю, да и тоже его просьба мнѣ нравится; это показываетъ въ немъ человѣка прямого. Напишите о немъ бумагу и сейчасъ принесите мнѣ, я подпишу.

Борисъ Петровичъ сейчасъ же вышелъ изъ кабинета и послалъ курьера къ Прибыткевичу съ радостнымъ извѣстіемъ, а самъ, приложивъ ко мнѣ еще четыре синенькихъ, отослалъ насъ по почтѣ въ ...скую губернію къ своей тещѣ, крестьянкѣ Иринѣ Харитоновой, въ гостинецъ къ Рождеству Христову; писалъ ей очень учтивое письмо, извѣщалъ, что ея дочка родила сына и ходитъ въ шелковомъ салопѣ; передавалъ поклоны человѣкамъ тридцати, каждому поименно, а въ заключеніе просилъ родительскаго благословенія во вѣки нерушимаго.

Ирина Харитонова получила деньги

на праздникахъ въ самую тяжелую пору, когда староста собиралъ къ новому году барину оброкъ и грозился продать ея корову.

На пять рублей старуха сдѣлала вечеръ и напоила мертвецки старосту, десятскихъ и свою родню. Письмо въ силу прочиталъ староста и много плакалъ, Богъ его знаетъ отчего. Харитонова тоже плакала, и остальныя четыре ассигнаціи, въ томъ числѣ и меня, отдала старостѣ въ оброкъ. Потомъ нѣкоторые родные поспорили о томъ, кто ихъ нихъ больше любитъ Ирину Харитонову—и подрались. Десятскіе, разнимая ихъ, тоже передрались между собою. Наконецъ, самъ староста принялся унимать буяновъ и, потузивъ порядочно всѣхъ, кто попалъ ему подъ-руку, свалился, отъ усталости, подъ лавку.

Староста хотя былъ очень хмѣленъ, однако не потерялъ денегъ и назавтра, пріобщивъ ихъ къ собранной уже суммѣ, отвезъ въ городъ на почту и отправилъ въ Петербургъ на ваше имя. И я, бѣдная, не успѣвъ отогрѣться, опять поѣхала по мучительнымъ ухабамъ санной дороги, которую, не знаю почему, многіе патріоты называютъ самороднымъ зимнимъ шоссе. Опять суждено мнѣ было слушать звонъ колокольчиковъ, брань ямщиковъ, понуканье почтальоновъ и вздохи и жалобы на судьбу почтмейстеровъ, когда пріѣхавшая въ полночь почта вырывала ихъ изъ постели, изъ объятій супругъ и заставляла являться въ присутствіе. Наконецъ, я попала къ вамъ, выдержала вашъ осмотръ, выслушала ваши фантазіи и предположенія, и мощною властью Мартина Задеки, согласно вашему сильному желанію, явилась, олицетворенная, дать отчетъ въ моемъ странствіи. Теперь не знаю, куда судьба поведетъ меня? на горе или на радость стану жить въ столицѣ? никто не вѣдаетъ; поскитаемся, пошатаемся—увидимъ; но, во всякомъ случаѣ, я послѣ смерти своей явлюсь еще разъ къ вамъ. Вы первые пожелали знать приключенія ничтожной пятирублевой ассигнаціи, и я за это сообщу вамъ мои дальнѣйшія похожденія — помните это; и если я неожиданно явлюсь къ вамъ—не пугайтесь; это не къ лицу порядочному человѣку. До свиданія.

— Я взглянулъ—никого передо мною не было, только на столѣ лежала эта рукопись.

— Но, сударыня, мадамъ ассигнація, гдѣ вы?

— Здѣсь, у васъ подъ подушкой, отвѣчалъ мнѣ тихій голосъ.

Я поднялъ подушку: тамъ точно лежала моя ассигнація съ обгорѣлымъ уголкомъ.

Это мнѣ показалось чрезвычайно странно.

КОНЕЦЪ.

Если моему пріятелю... чуть-было не назвалъ его по имени—въ часы его фантастическихъ ясновидѣній явится опять синяя ассигнація и разскажетъ свои дальнѣйшія похожденія, и если мой пріятель—въ чемъ я не сомнѣваюсь—запишетъ ихъ и отдастъ мнѣ, то я непремѣнно постараюсь опять передать вамъ его рукопись, которая, вѣроятно, будетъ доведена *до настоящаго конца*, то-есть до смерти *героини*. Многіе любятъ это, да и основательно: въ нашемъ бренномъ мірѣ все имѣетъ свой конецъ, даже пятирублевая ассигнація.

1847 г.

ЗАБОРОВЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

При началѣ весны 18** года утромъ взошло солнце на чистое и ясное небо, очень обыкновенно, какъ оно привыкло восходить уже нѣсколько тысячъ лѣтъ. На встрѣчу ему, по заведенному порядку, поднялся на цѣломъ полушаріи нашей планеты порядочный шумъ: запѣли праздныя птицы—праздные люди при восхожденіи солнца не поютъ—застучали топоры, цѣпы, и другія орудія труженниковъ, замычали коровы и, будто соперничая съ ними, заиграли на берестяныхъ рожкахъ пастухи свои однообразныя мелодіи; проснулись, словно воскресли, и многолюдные города, и безлюдные пустыри, и малолюдныя села; въ числѣ ихъ было и сельцо Сѣренькое.

Это утро было, какъ я уже сказалъ, при началѣ весны; снѣгъ только что сошелъ съ земли и первая зелень слегка начала оттѣнять темные бока холмовъ, лежащихъ противъ солнца, и будто изумрудным пухомъ убирала тонкія вѣтки въ березовой рощѣ. Настала рабочая пора для землепашцевъ, а жители Сѣренькаго были землепашцы, такъ и неудивительно, что они навстрѣчу утреннему солнышку очень исправно засуетились и весьма ретиво привѣтствовали его нестройнымъ, разноголоснымъ концертомъ, въ которомъ среди общей сумятицы деревенскихъ звуковъ, впрочемъ, весьма похваляемыхъ во многихъ идилліяхъ—вырѣзывались, какъ соло, заунывный скрипъ воротъ, или трескъ и стукъ полуразломаннаго колеса, вслѣдъ за нимъ громкая брань какого-нибудь кума Ивана, летящая широко и размашисто вдоль улицы басовымъ речитативомъ, и вдругъ ее покрывалъ, уничтожалъ, многосложный, неистовый гамъ стада гусей, выходившихъ въ перевалку изъ боковыхъ воротъ на улицу. Впрочемъ, этотъ хоръ аматеровъ уступалъ, въ свою очередь, крику какой-то бабы, тузившей ребенка, и визгу ребенка, убѣгавшаго отъ бабы. Бѣлый пѣтухъ, взобравшись на ворота, хлопалъ противъ солнца крыльями и, что есть мочи, дралъ свое пѣтушиное горло; глядя на него, черная косматая дворняшка, съ однимъ обрѣзаннымъ ухомъ, заливалась подъ воротами звонкимъ лаемъ, да въ сторонѣ у забора громко блеяли два барана, безъ всякой видимой прйчины.

Наконецъ, шумъ и гамъ притихъ; стада ушли въ поле, мужики уѣхали на пашню, дворняшка уснула, вытянувшись противъ солнца, пѣтухъ спустился съ воротъ на землю и, въ обществѣ двухъ-трехъ пестренькихъ курочекъ, прогуливался по улицѣ, очень глубокомысленно разгребая ногами всякій соръ. Вѣрно онъ, если не читалъ, то слышалъ отъ читавшихъ новѣйшую россійскую азбуку про своего предка, нашедшаго въ сору алмазное зерно. А солнце всходило все выше надъ сельцомъ Сѣренькимъ, утро становилось все теплѣе. Въ это время за селомъ на погостѣ раздался тихій звонъ; кто услышалъ его, тотъ набожно перекрестился. Вдоль улицы проѣхала телѣга, запряженная въ одну лошадь; лошадью правилъ мужикъ въ сѣромъ армякѣ; на телѣгѣ стоялъ простой сосновый гробъ; за телѣгой бѣжалъ мальчикъ лѣтъ пяти или шести, босой, въ одной рубашенкѣ, да еще бѣжала собачка—больше никого не было. Сразу можно было догадаться, что покойникъ былъ запятнанъ страшнымъ порокомъ, который тщетно старается исправить человѣческая мудрость, у котораго, какъ у баснословной гидры, на мѣсто одной отрубленной головы, является цѣлая сотня новыхъ—порокомъ, называемымъ бѣдностью.

Мальчикъ, идя за телѣгой, горько плакалъ; собачка съ участіемъ глядѣла на него и лизала его руки.

— Погоди маленько, дядя а дядя Степанъ! погоди маленько! сказалъ мальчикъ.

— Чего тамъ опять разревѣлся? сказалъ сѣрый армякъ, лѣниво повернувъ голову назадъ.

— Погоди дядя, я что-то мамѣ скажу.

— Эва! видишь некогда.

— Да куда ты ее везешь?...

— Извѣстно, на погостъ: вѣдь она умерла. Ну, такъ и похоронимъ.

— Погоди, дядя, я ѣсть хочу. Мама, а мама! дай хлѣба.... Дядя Степанъ, погоди, мама дастъ хлѣба...

Сѣрый армякъ молчалъ.

— Погоди, дядя, куда ты везешь ее? у нея и головка болитъ, и я ѣсть хочу, погоди, не то стану плакать... дядя, погоди!..

— Ахъ, ты, пузырь! закричалъ Степанъ:— вотъ я тебя! разревѣлся, а этого не хочешь?...

— Не хочу я этого; это плетка для лошадки, а я ѣсть хочу... и ноги у меня болятъ.

— Экой пострѣлъ! ворчалъ Степанъ.— Ну, Вася, полно плакать, садись вотъ тутъ, отдохни подъ заборомъ, а я свезу твою мать на погостъ, вернусь, да и дамъ тебѣ хлѣба; а будешь бѣжать да канючить—не дамъ хлѣба, а дамъ вотъ этого...

— А мама съ тобою пріѣдетъ?

— Пріѣдетъ, пріѣдетъ. Садись, да обожди вотъ тутъ.

Мальчикъ присѣлъ подъ заборомъ, телѣга поѣхала, за нею побѣжала одна собаченка; впрочемъ, и она немного погодя остановилась, оглянулась на мальчика, поглядѣла на телѣгу, завыла и вернулась. А Степанъ одинъ повезъ гробъ на погостъ.

II.

Пользуясь прекрасной погодой, въ это утро Кондратъ Иванычъ вышелъ прогуляться, раскуривая свою голландскую трубку.

А кто такой Кондратъ Иванычъ? можетъ-быть, спроситъ кто-нибудь.

Предупреждая подобный вопросъ, спѣшу познакомить, какъ умѣю, съ Кондратомъ Ивановичемъ.

Кондратъ Иванычъ былъ добрый человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, если не болѣе; онъ служилъ весь свой вѣкъ гдѣ-то при таможнѣ и былъ живымъ укоромъ тѣмъ людямъ стариннаго вѣка, которые двусмысленно улыбаются, глядя на таможеннаго чиновника. Онъ, выйдя въ отставку, привезъ на родину, то-есть въ сельцо Сѣренькое, прекрасный аттестатъ, нѣсколько кристалловъ горнаго хрусталя, нѣсколько морскихъ раковинъ, золотые карманные часы, стрѣлу какого-то дикаго народа и табакерку съ музыкой. Вотъ все, что пріобрѣлъ добрый человѣкъ, прослужа лѣтъ тридцать при таможнѣ—въ этомъ Эльдорадо для многихъ провинціальныхъ мечтателей.

Кондратъ Иванычъ былъ неразговорчивъ, однако, подъ веселую руку, вспоминая старое житье-бытье, иногда говаривалъ: „Эхъ, господа! что было, того ужъ не будетъ. По-моему, хоть нѣтъ барыша, да слава хороша. Вотъ, напримѣръ, мы пивали глинтвейнъ, просто, королевскій...» И Кондратъ Иванычъ начиналъ разсказывать, какъ, бывало, онъ съ товарищами, пробуравивъ голову крѣпкаго англійскаго рафинаду, вливалъ туда шампанское; какъ оно, просачиваясь сквозь сахаръ, стекало въ сосудъ, наполненный ананасами; какъ это снадобье варилось, въ чемъ, сколько времени и съ какими спеціями—рецептъ длинный и сложный какого-то лукулловскаго напитка... А сосѣди молча слушали его и съ благоговѣніемъ глядѣли на человѣка, пившаго во время оно такія драгоцѣнныя сладости.

Кондратъ Иванычъ, неизвѣстно почему, считалъ себя нѣмцемъ, будучи кореннымъ русскимъ и по отцу, и по матери. Впрочемъ, если разобрать дѣло основательно, то Кондратъ Иванычъ, несмотря на видимую нелѣпость своего каприза, былъ немного правъ: Кондратъ Иванычъ былъ очень точенъ и аккуратенъ; а извѣстно, что эти добродѣтели преимущественно остаются за нѣмцами; потомъ Кондратъ Иванычъ было имя чисто нѣмецкое, до того нѣмецкое, что одинъ товарищъ по службѣ Кондрата Иваныча, настоящій нѣмецъ, былъ тоже Кондратъ Иванычъ; наконецъ, Кондратъ Иванычъ постоянно курилъ кнастеръ изъ глиняной голландской трубки, любилъ кофе, картофель и пиво, всегда носилъ узкіе нѣмецкіе брюки и, долго находясь въ близкихъ сношеніяхъ съ нѣмцами, до того навострился въ нѣмецкомъ діалектѣ, что могъ минутъ десять вести разговоръ съ самымъ отчаяннымъ германцемъ.

Кондратъ Иванычъ владѣлъ почти половиною сельца Сѣренькаго, гдѣ и доживалъ спокойно свой вѣкъ старымъ холостякомъ. У него былъ небольшой, чистенькій домикъ, небольшой садикъ, длинныя дрожки и большая сухопарая лошадь, купленная изъ брака въ кавалерійскомъ полку и, по старой привычкѣ, всегда скакавшая въ дрожкахъ, въ оглобляхъ, курцъ-галопомъ,

когда Кондратъ Иванычъ объѣзжалъ на ней свои поля съ управляющимъ.

Кажется, и самому Кондрату Иванычу нечѣмъ было управлять, а онъ еще держалъ управляющаго! Но этому онъ былъ обязанъ не глупости своей, не неразсчетливости, а скукѣ и своему доброму сердцу. Скучно было жить въ деревнѣ старику, безродному холостяку, а тутъ, какъ нарочно, явился, Богъ вѣсть откуда, безрукій бѣднякъ Ивановъ; поговорилъ съ нимъ Кондратъ Иванычъ, сжалился надъ его состояніемъ и предложилъ у себя мѣсто. Съ тѣхъ поръ уже нѣсколько лѣтъ жилъ Ивановъ у Кондрата Иваныча, тѣшилъ его разсказами про походы, безпрестанно горячился, суетился и кричалъ, чѣмъ составлялъ рѣзкую противоположность Кондрату Иванычу, всегда тихому и спокойному. Ивановъ былъ человѣкъ высокаго роста, ходощавый, стройный; онъ имѣлъ въ своей физіономіи что-то общее съ лошадью, скакавшей въ оглобляхъ курцъ-галопомъ. Онъ всегда ходилъ въ курткѣ и рейтузахъ; галстуха терпѣть не могъ и любилъ держать въ карманѣ свою единственную правую руку.

Кондратъ Иванычъ, утромъ отправивъ своего управляющаго хлопотать и горячиться на работахъ, надѣлъ бархатную шапочку, раскурилъ глиняную голландскую трубку и пошелъ гулять по селу. Глядитъ— подъ заборомъ сидитъ мальчишка, сосетъ палецъ и горько плачетъ.

— Чего ты плачешь? спросилъ Кондратъ Иванычъ.

— Ѣсть хочу; а матушку увезли— дать некому.

— Куда увезли? кто?

— Дядя Степанъ, вонъ туда увезъ.

— Куда?

— На погостъ, что ли.

— На погостъ? зачѣмъ на погостъ?

— Хоронить будутъ, сказывалъ; ужъ ея больше не будетъ, совсѣмъ умерла.

— Кто же была твоя мать?

— Моя была.

— Да кто она такая была?

— Моя мать.

— А ты кто?

— Я Вася.

— Да ты чей?

— Матушкинъ.

— Вы пришли сюда съ матушкой?

— Пришли.

— Откудова?

— А вотъ откудова... изъ города.

— Изъ какого города?

— Изъ какого города?... Изъ города.

— Да какъ его зовутъ?

— Городомъ.

Долго, можетъ быть, продолжались бы подобные разспросы Кондрата Иваныча, нимало не поясняя дѣла, еслибъ не подъѣхалъ Степанъ; онъ уже возвращался на пустой телѣгѣ, оставивъ на погостѣ свою страшную кладь, и, увидя Кондрата Иваныча подлѣ мальчика, разсказалъ, что, дня четыре назадъ, зашла къ нему какая-то проходимка, бѣдная женщина съ мальчикомъ, и просилась переночевать; на другой день уже не могла итти, расхворалась и умерла; что, умирая, она просила не оставить ея сына Васю; что она мѣщанка изъ уѣзднаго города, и тамъ у нея нѣтъ ни кола, ни двора, ни родныхъ, ни пріятелей.

— Что же, у нея что-нибудь осталось?

— Какое осталось! мы съ кумомъ Терёхой гробъ сами сколотили да міромъ и схоронили; извѣстно, была нищенка, что ли, Богъ ее вѣдаетъ.

— Но было у нея платье? деньги?...

— Богъ съ нею! намъ ея добра не надо. Осталось тряпокъ фунтовъ съ десятокъ, да денегъ грошъ и пятакъ мѣди—вотъ и все тутъ!

— Ну, хорошо, спасибо тебѣ, Степанъ; ты добрый человѣкъ. А ты, Вася, поди со мной, я накормлю тебя.

И Кондратъ Иванычъ, взявъ мальчишку за руку, торжественно возвратился домой.

III.

Послѣ обѣда сидѣлъ спокойно Кондратъ Иванычъ въ креслѣ, обитомъ голубенькимъ ситцемъ, и курилъ свою голландскую трубочку; противъ него, на полу, Вася, присѣвъ на корточки, съ невыразимымъ наслажденіемъ ѣлъ моченое яблоко; у двери стоялъ управляющій Ивановъ, вытянутый въ струнку, но безъ галстуха и немного растрепаный, упрятавъ, по обыкновенію, правую руку въ карманъ.

— Ну, что, какъ у насъ дѣлишки... того? началъ Кондратъ Иванычъ, медленно пуская въ потолокъ струю табачнаго дыма.

— Ничего-съ, все обстоитъ благополучно.

— Слава Богу! а я думалъ, что-нибудь того... Ты, братъ, этакъ немного, какъ говорятъ французы, растрепа.

— Не убережешься, дѣла пропасть, и туда побѣжишь и туда завернешь, и въ другое мѣсто махнешь... Извѣстно, служба, ваше высокоблагородіе: на походѣ пятерней расчешешься—вотъ и все тутъ! не красная дѣвка, не въ зеркало глядѣться...

— Знаю, знаю, любезнѣйшій, ты у меня трудящій человѣкъ, одно только того...

— Что, ваше высокоблагородіе?

— Вотъ послѣднее-то, послѣднее мнѣ не нравится...

Управляющій вытянулся, сколько могъ, даже вынулъ руку изъ кармана и, въ недоумѣніи, глядѣлъ на Кондрата Иваныча.

— Не пугайся, любезный, продолжалъ Кондратъ Иванычъ:—я только тебѣ замѣтилъ, къ чему величать меня высокоблагородіе? Правда, я колежскій ассессоръ, не то, что иной въ отставкѣ, а и служилъ въ этомъ чинѣ, равносильномъ майорскому рангу... Да вѣдь мы съ тобой бесѣдуемъ по-пріятельски: называй меня просто Кондратъ Иванычъ.

— Слушаю, ва... Кондратъ Иванычъ.

— Вотъ такъ, хорошо. А что ты вотъ объ этомъ думаешь?...

— То-есть объ эфтомъ?... сказалъ Ивановъ, хитро мигнувъ на Васю однимъ глазомъ.

— Да, объ этомъ мальчуганѣ; вишь какой пострѣлёнокъ!...

— Накормили человѣка—дѣло хорошее...

— Не въ томъ дѣло; вѣдь у него нѣтъ ни отца, ни матери, ни роду, ни племени.

— Слыхалъ-съ.

— Вотъ то-то и оно. Накорми его да вытолкни на улицу, такъ его и собаки загрызутъ.

— Истинно загрызутъ, Кондратъ Иванычъ...

— Да что тебѣ собаки! куры заклюютъ.

— Чего добраго, и куры заклюютъ.

— А вѣдь у него душа христіанская, что и у насъ съ тобой. Надо его до пути довести. По-моему, пусть живетъ у меня; мнѣ же скучно одному бываетъ, а Вася будетъ потѣшать меня на старости... Какъ ты думаешь?

— Доброе дѣло, ва... Кондратъ Иванычъ: будетъ за васъ человѣкъ Бога молить...

— Поживетъ, подростетъ немного, а тамъ можно его и въ науку отдать.

— Почему не отдать. Ученый человѣкъ и глядитъ не такъ...

— Правда твоя: ученіе—свѣтъ. А въ какую науку лучше бы отдать его—а? какъ ты думаешь?

— Да оно-съ всякая наука хороша. На первый разъ хотя бы вотъ къ пастуху отдать.

— Ну, нѣтъ; и пастухъ—дѣло хорошее, да мнѣ бы хотѣлось куда-нибудь повыгоднѣе... этакъ, напримѣръ... Куда бы ты думаешь?

— Въ кузнецы — тяжело: мальчикъ маленькій, куда ему!...

— Правда, куда ему!

— А вотъ развѣ въ цѣловальники...

— А это хорошо?...

— Ремесло пребезподобное!... У меня и въ городѣ есть пріятель цѣловальникъ. Ужъ я въ прошломъ году наглядѣлся, какъ гостилъ у него два дня... Дѣло вотъ такъ и кипитъ; тотъ пьетъ, тому сдачи давай, у того деньги бери... цѣлый день сумятица, словно на войнѣ какой, а пѣсень разныхъ да присловьевъ, да поговорокъ наслушаешься... правда, иной разъ и потасовка бываетъ, да гдѣ безъ этого проживешь?...

— Должно быть, весело. Да гдѣ же тутъ управиться мальчику?

— Мальчикъ-то и работаетъ. Ужъ я насмотрѣлся у своего пріятеля: мальчишка, этакъ, лѣтъ десяти, а что за преотчаянная бестія!... такъ и юлитъ между народомъ, подъ руками такъ и шныряетъ, словно гадъ какой: нальетъ тебѣ полный крючокъ вина, станешь нести ко рту, онъ мотнетъ головой, толкнетъ подъ локоть—половина вина и выплеснется назадъ въ кадку!... ты на него прикрикнешь, а онъ на тебя: „пей скорѣе—другіе идутъ!“ дѣлать нечего и пойдешь; не драться стать съ мальчуганомъ изъ-за глотка вина. А онъ какъ этакъ подтолкнетъ въ день разъ пятьдесятъ, такъ и набѣжитъ хозяину не одна бутылка вина: и хозяинъ доволенъ, и мальчику хорошо.

— Правда. Ну, такъ пусть его остается у меня; пріодѣть его да кормить хорошенько; подростетъ, пожалуй, опредѣлимъ его къ твоему пріятелю. А теперь я пойду сосну немного, усталъ, братецъ.

Кондратъ Иванычъ легъ спать, а управляющій отвелъ мальчика на кухню, надѣлъ на него синіе штаны и рубашку, подпоясалъ краснымъ снурочкомъ, нахлобучилъ на глаза старую кучерскую шапку и вывелъ на улицу, сказавъ: „гуляй, Вася, на здоровье, только не дразни собакъ; а захочешь ѣсть — бѣги сюда, здѣсь твой домъ“.

IV.

Прошло болѣе года. Вася подросъ и очень тѣшилъ своими проказами Кондрата Иваныча, который нимало не измѣнился, по-старому курилъ голландскую трубочку, носилъ узкіе брюки, любилъ побесѣдовать съ управляющимъ и ѣздилъ съ нимъ въ поле на извѣстныхъ намъ дрожкахъ.

Около полудня Кондратъ Иванычъ возвращался домой съ управляющимъ и толковалъ съ нимъ о томъ, какъ хорошо теперь поѣсть ботвиньи со льдомъ и потомъ, закрывши ставни, проспать жаркую пору

дня. И Кондратъ Иванычъ быстрѣе замахалъ кнутомъ надъ лошадью, которою всегда любилъ самъ править; а Ивановъ сидѣлъ сзади на дрожкахъ. Сухопарая лошадь, вѣроятно, сама предчувствуя спокойное стойло или, еще вѣроятнѣе, чувствуя надъ собой бичъ Кондрата Иваныча, скакала отличнымъ курцъ-галопомъ съ правой ноги по пыльной улицѣ Сѣренькаго села; дрожки неистово стучали и дребезжали, передъ ними робко разбѣгались пѣтухи, ребятишки и куры, почтительно кланялись бабы и мужики снимали шапки; за дрожками клубилась пыль, словно черная струя дыму за пароходомъ.

Спокойный и довольный собой, своими дрожками, лошадью и управляющимъ, остановился Кондратъ Иванычъ у крыльца своего домика, всталъ съ дрожекъ и началъ отдавать возжи управляющему.

— У насъ никакъ гости, ваше высокоблагородіе, сказалъ Ивановъ, почтительно приподнимая фуражку.

— Какіе гости?

— Должно быть, какіе генералы, я къ нимъ приглядѣлся, вотъ...

И управляющій значительно подмигнулъ лѣвымъ глазомъ на конюшню.

— Да и тутъ, продолжалъ Ивановъ вполголоса: — сидитъ какая райская птица. И покосилъ правымъ глазомъ на крыльцо.

Кондратъ Иванычъ взглянулъ въ конюшню: тамъ стояла распряженная дорожная четверомѣстная карета; посмотрѣлъ на крыльцо: на крыльцѣ сидитъ человѣкъ иностранной наружности, въ клеенчатомъ картузѣ съ длиннымъ козырькомъ, въ гороховой шинели и въ зеленыхъ брюкахъ съ красными клѣтками, сидитъ и преспокойно куритъ изъ дорожной трубки саксонскаго фасона.

— А! понимаю, сказалъ Кондратъ Иванычъ:—это по нашей части. Ступай себѣ, отдай лошадь, а здѣсь я ужъ переговорю.

Управляющій уѣхалъ, а Кондратъ Иванычъ началъ медленно подыматься на единственныя четыре ступени крыльца, небрежно повертывая въ рукахъ свою голландскую трубку, какъ бы желая этимъ показать, что и мы, дескать, не кто-нибудь, и не прочь отъ иностранныхъ привычекъ и обычаевъ; но незнакомецъ не обращалъ на него вниманія и съ непоколебимымъ хладнокровіемъ продолжалъ курить.

— Гутѣнъ тагъ, мѣйнъ-геръ! началъ Кондратъ Иванычъ.

Иностранецъ поглядѣлъ на него однимъ глазомъ и продолжалъ курить.

„Ужъ не англичанинъ ли?“ подумалъ Кондратъ Иванычъ и спросилъ: — Шпрѣхенъ-зи-дѣйчь?...

— Иванъ Андреичъ! отвѣчалъ иностранецъ: — полно-ка, мусье, баласничать, да похлопочи, чтобъ насъ поскорѣе накормили; вотъ какъ животъ подвело!...

— А! стало-быть, вы русскій?

— Слава тебѣ, Господи! камердинеръ его сіятельства, графа Вѣтрицкаго. А ты здѣшній садовникъ или управляющій?

— Я хозяинъ этого дома, любезнѣйшій.

Камердинеръ лѣниво поднялся и снялъ картузъ.

— Ничего, любезный, накрывайся. А съ кѣмъ ты пріѣхалъ? съ его сіятельствомъ?

— Никакъ нѣтъ; ихъ сіятельство оставшись въ Петербургѣ, а мы здѣсь съ генераломъ ѣздимъ ревизовать графскія имѣнія.

— Съ какимъ генераломъ? гдѣ генералъ?

— Съ Лукьяномъ Иванычемъ; вонъ тамъ, въ саду, онъ прогуливается.

„Господи, Боже мой! вотъ не знаешь, откуда что сложится!... у меня въ домѣ генералъ!... а, кажется, въ эту ночь мнѣ и не снилось ничего такого необыкновеннаго“, говорилъ самъ себѣ Кондратъ Иванычъ, проходя черезъ свою спальню въ садъ: „шутка сказать, генералъ! да еще изъ Петербурга, вотъ именно, что называется: мѣйнъ Готъ!... И что ему отъ меня надобно? гдѣ же онъ?... а, вотъ! изволитъ прогуливаться“.

Въ это время пріѣзжій гость точно былъ видѣнъ въ затылокъ; онъ шелъ отъ дома въ садъ по дорожкѣ, а Кондратъ Иванычъ за нимъ. Гость былъ не жиренъ, но очень и очень плотенъ; одѣтъ онъ былъ въ короткій сюртучокъ и модныя брюки, сверху было надѣто тоже короткое пальто, изъ боковыхъ его кармановъ торчали бумаги и газеты; на головѣ круглая шляпа, въ рукѣ сигара.

„Экой сдобный человѣкъ!“ шепталъ Кондратъ Иванычъ, подходя къ гостю: „сколько-то въ немъ, я думаю, сидитъ ростбифовъ да растягаевъ... Да что робѣть, онъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ...“ И довольно громко сказалъ:—Мое почтеніе вашему превосходительству!...

Гость граціозно обернулся, вынулъ лѣвой рукой изо рта сигару и пріятно улыбнулся. Тутъ Кондратъ Иванычъ замѣтилъ, что у гостя полное, круглое, немного красное лицо, маленькіе, заплывшіе сѣрые глаза и бѣлые ровные зубы.

— Какому случаю я обязанъ чести видѣть ваше превосходительство?

— Ха-ха-ха! Вы не узнали меня, Лукьяна Иваныча, вашего брата?

— Боже мой! это вы, братецъ?...

— Ха-ха-ха!... разумѣется я!... Обнимемся братецъ! да какимъ вы стали оригиналомъ! настоящій филистеръ, право...

— А вы стали какимъ толстякомъ! говорилъ Кондратъ Иванычъ, обнимая брата;— вѣдь мы пятнадцать лѣтъ не видались, не мало времени.

— Да, пятнадцать лѣтъ. Я успѣлъ жениться и овдовѣлъ въ прошломъ году... до-сихъ-поръ не могу поправиться: знаете, душевныя болѣзни хуже физическихъ...

— Правда, братецъ. А дѣточки остались?

— Какъ же, бѣдныя сироты, какъ и я грѣшный. Они здѣсь гдѣ-то бѣгаютъ. Эй вы! Эрнестина! Рудольфъ! venez-ici.

Изъ-за кустовъ смородины выбѣжали дѣвочка лѣтъ семи и такой же мальчикъ. Дѣвочка, одѣтая въ бѣлое платье, была стройна и блѣдна; мальчикъ, въ бархатной курточкѣ, былъ свѣжѣе, но смотрѣлъ немного глуповато и уже успѣлъ замарать руки и губы въ ягодахъ.

— Вотъ они, вотъ, посмотрите, братецъ, это моя дочка, а это сынъ, посмотрите: весь я, неправда ли?... Дѣлайте реверансы дядюшкѣ.

Дѣти начали присѣдать и кланяться, а Лукьянъ Иванычъ хохоталъ.

— Вотъ какъ у насъ, братецъ, рекомендую, дѣти съ обращеніемъ; крестники его сіятельства.

— Радостный для меня день! говорилъ Кондратъ Иванычъ, цѣлуя племянничковъ: одолжили вы меня, братецъ... Да какъ же вы не писали, что уже стали генераломъ...

— Ну, нѣтъ, я произведенъ нынѣшней весной въ статскіе совѣтники...

— А вашъ слуга сказалъ...

— Да это пустяки: слуги всегда любятъ производить насъ въ высокіе чины, это ужъ ихъ разсчеты.

— Во всякомъ случаѣ, я очень вамъ благодаренъ что вы навѣстили меня.

— Какъ же, какъ же! я это имѣлъ всегда въ виду... У васъ, въ гадкомъ вашемъ городишкѣ, мнѣ пришлось прожить три дня, пока соберутъ нужныя справки; вотъ я и вспомнилъ, что вы здѣсь живете недалеко, думаю: проведу у васъ лучше время и дѣти попользуются деревенскимъ воздухомъ, взялъ почтовыхъ и пріѣхалъ.

— Покорно васъ благодарю. Вотъ бы удивилась тетушка Олимпіада Марковна, еслибъ дожила до этого счастливаго дня.

— Ахъ, не говорите мнѣ о ней! я не могу вспомнить ея зеленаго платка, что былъ вѣчно намотанъ на головѣ...

— А она васъ такъ любила...

— Какой вы, братецъ, до сихъ поръ идиллическій человѣкъ! Что мнѣ въ ея любви? одна ея привычка подергивать безъ всякой причины носомъ могла превратить самую пламенную любовь въ ненависть; и теперь я почти радъ, что ея нѣтъ: она бы меня лишила аппетита; а я надѣюсь у васъ, братецъ, порядочно пообѣдать.

— Пойдемте въ комнаты, пообѣдаемъ чѣмъ Богъ послалъ.

— Экой скромникъ! знаю я васъ, таможенныхъ—преизбалованный народъ.

— Я человѣкъ простой.

— Знаю, знаю... объ одномъ прошу: ради Бога, не угощайте меня шампанскимъ; хересъ и портвейнъ—другое дѣло, а шипучее наскучило... портеръ еще можно... ну, да васъ не учить стать, вы сами жили въ свѣтѣ.

Пока въ залѣ Лукьянъ Иванычъ курилъ сигару, а его дѣти шумѣли на крыльцѣ, Кондратъ Иванычъ ушелъ въ свою маленькую спальню; тамъ его ожидалъ уже управляющій.

— Бѣда, любезный Ивановъ, кругомъ бѣда! какъ тутъ быть?! сказалъ Кондратъ Иванычъ въ раздумьи, набивая голландскую трубочку.

— Какъ прикажете, отвѣчалъ управляющій.

— Знаю, знаю я это и безъ тебя, да приказывать-то нечего, или оно есть что приказывать, да нечѣмъ; и это не такъ: есть чѣмъ и приказывать, голосу-то хватитъ, да приказывать нечѣмъ... что ли... нечистый его знаетъ, не могу сказать, что на душѣ лежитъ!... ты меня понимаешь?...

— Понимаю, то-есть вамъ говорить нечего.

— Какое нечего! совсѣмъ не то, говорить-то у меня найдется много кое-чего, да изъ этого ничего не будетъ. Тутъ нужны деньги.

Управляющій вопросительно посмотрѣлъ на Кондрата Иваныча.

— Еслибъ я сказалъ тебѣ: любезный Ивановъ, поѣзжай въ городъ, купи бутылочку другую хорошаго хересу, да еще полпуда говядины, да свѣжей рыбы, да того-другого-третьяго... что бы ты сдѣлалъ?

— Поѣхалъ бы и купилъ, только попросилъ бы записки: безъ записки что-нибудь не упомнишь.

— А деньги гдѣ?

— У насъ въ экономіи есть цѣлковыхъ три...

Кондратъ Иванычъ покачалъ головой.

— Ну, коли мало, такъ у меня есть мелочи на цѣлковый, и ее пустимъ, а вы мнѣ послѣ отдадите.

— Кондратъ Иванычъ опять покачалъ головой.

— Неужели и этого мало? спросилъ въ недоумѣніи управляющій. Нешто мы весь городъ хотимъ закупить?

— Городъ не городъ, а если я тебѣ скажу, что одна бутылочка шампанскаго стоитъ четыре цѣлковыхъ, что ты на это скажешь—а?...

Управляющій, въ свою очередь, покачалъ головой.

— Плохо, Ивановъ, а надо какъ-нибудь быть, гость-то мой родной братъ Лукьянъ Иванычъ, мы съ нимъ пятнадцать лѣтъ не видались, и человѣкъ-то онъ важный; хотя и меньшой мнѣ братъ, да привыкъ къ роскоши, въ столицѣ живетъ; какъ же мнѣ, старику, заставить его голодать у себя? оно и нехорошо, и совѣстно.

— Вѣстимо, плохое дѣло! а вы скажите ему, молъ, ваше превосходительство, любезный братецъ, не ухомъ пѣть, коли голосу нѣтъ! достатки, молъ, такіе и такіе, просимъ извиненія, чѣмъ богаты тѣмъ и рады. Тутъ и вся недолга.

— Это все слова, а на дѣлѣ выйдетъ не такъ: еще, пожалуй, братецъ и не повѣритъ, подумаетъ, что я поскупился... пожалуй, скажетъ: „вотъ, дескать, сколько лѣтъ служилъ при хорошемъ мѣстѣ, а ничего не припасъ угостить брата послѣ долгой разлуки...“ Плохо дѣло! какъ тутъ быть—а?...

— Развѣ уступить Парамону десятнику Сивку?

— А что ты думаешь? да онъ, мошенникъ, не дастъ за нея двадцати цѣлковыхъ, а кобыла добрая и самимъ безъ нея плохо, заболѣетъ рыжакъ—выѣхать не на чемъ. А что, бишь, онъ давалъ за нее?

— Да пятнадцать цѣлковыхъ..

— Ахъ, онъ жидоморъ! а дѣлать нечего, сбѣгай къ нему, коли не дастъ больше, отдай — съ уговоромъ на ней съѣздить въ городъ. Я сейчасъ напишу записку, а ты похлопочи, чтобъ ботвиньи прибавили, да тамъ еще курицу-другую пусть зажаритъ кухарка, да еще что-нибудь поскорѣе къ обѣду.

— Слушаю-съ...

— Погоди, погоди!... что тамъ у насъ есть, кромѣ полынной настойки?

— Есть въ полштофикѣ настойка на ревеню.

— Ну, эта мимо, развѣ въ случаѣ болѣзни...

— Да еще въ графинчикѣ есть налиты листья черной смородины.

— Да, да, это хорошо. А у меня въ шкапу стоитъ бутылочка засмоленаго, должно-быть донскія выморозки....

— Что прислалъ становой, когда просилъ на крестины?

— Да, да. Ну, ступай себѣ съ Богомъ, управляйся, забѣги за запиской, да и маршъ въ городъ; я ее оставлю здѣсь на столѣ, ты уже и не безпокой меня... только съѣзди поживѣе.

— Мигомъ скипитъ дѣло, ваше высокоблагородіе.

Управляющій ушелъ, Кондратъ Иванычъ написалъ записку, вздохнулъ, закурилъ трубочку и вышелъ къ своему брату, который громко хохоталъ, указывая пальцемъ на развалины стула.

— Кораблекрушеніе!... Не успѣлъ сѣсть, какъ онъ подо-мной въ дребезги!... Будь вы, братецъ, женатый да семейный человѣкъ, а я холостой, никто бы меня не переувѣрилъ, что это не стулъ, а машина, на мою погибель ради наслѣдства!...

Кондратъ Иванычъ видимо смутился, а Лукьянъ Иванычъ началъ хохотать.

V.

Лукьянъ Иванычъ былъ человѣкъ ограниченный, но принадлежалъ къ разряду людей, которымъ, что называется, везетъ.

Слово *везетъ* для всѣхъ очень понятно и выражаетъ многое. Спросите кого угодно, и каждый вамъ скажетъ: ужъ коли везетъ, такъ везетъ, а не везетъ—такъ не везетъ. Весьма уважая подобное общее мнѣніе, нельзя не согласиться, что въ немъ очень много фатализма, и разсмотрите хорошенько людей, которымъ везетъ: вы непремѣнно найдете въ ихъ натурѣ основаніе ихъ успѣха. Иному и повезетъ, да онъ неспособенъ будетъ ѣхать, а другой на томъ же экипажѣ проскачетъ такъ, что обгонитъ и умъ, и трудъ, и науку, и что вы хотите. Превосходная пословица: не родись ни богатъ, ни уменъ, а родись счастливъ, по моему мнѣнію, довольно поверхностна. Лукьянъ Иванычъ, какъ и Кондратъ Иванычъ, родился не богатъ, не уменъ, а былъ счастливъ тѣмъ, что множество людей родились еще прежде его и богаче и глупѣе.

Сначала Лукьянъ Иванычъ, какъ и всѣ бѣдные люди, усердно служилъ и мыкалъ горе, пока графъ Вѣтрицкій, отъ старости очень плохо читавшій русское письмо, не полюбилъ его за чоткій, красивый почеркъ и не взялъ къ себѣ въ домашніе секретари. Другой на мѣстѣ Лукьяна Иваныча, можетъ-быть, зачахъ бы, а онъ началъ толстѣть, и, служа подъ начальствомъ графа, сталъ управлять его дѣлами и имѣніями, а наконецъ женился на графской гувернанткѣ, которую графъ очень любилъ. Онъ жилъ въ домѣ графа на всемъ готовомъ, держалъ на его конюшнѣ по нѣсколько своихъ лошадей, которыхъ, откормивъ чужимъ овсомъ, продавалъ съ барышомъ, а себѣ за-

водилъ новыхъ; закупалъ для графскаго дома все, что нужно было закупать, уплачивалъ счеты мастеровыхъ и т. п.—словомъ, былъ вѣчно въ хлопотахъ и толстѣлъ-себѣ на здоровье.

Графъ не могъ жить безъ Лукьяна Иваныча. Графская дворня, особенно дворецкій и повара, ненавидѣли Лукьяна Иваныча, однако низко ему кланялись и подло угождали, на основаніи пословицы: плетью обуха не перешибешь.

Не одинъ разъ Ѳедька, любимый слуга молодого графа, замѣтивъ, что онъ поутру въ дурномъ расположеніи духа, рѣшался вооружить его противъ Лукьяна Иваныча, говоря: „власть вашего сіятельства, а у насъ и то не такъ, и это совсѣмъ худо, по милости Лукьяна Иваныча. Власть ваша, а правду говорю".

— Молчать, дуракъ! былъ одинъ отвѣтъ молодого графа.—У Лукьяна Иваныча больше ума въ подошвѣ, чѣмъ у тебя въ головѣ. Посмотрѣлъ бы ты, какихъ онъ мнѣ вчера сигаръ досталъ!..

И, кланяясь, Ѳедька умолкалъ.

Не одинъ чухонецъ, продавъ сѣно на графскую конюшню и получивъ сполна всѣ деньги отъ Лукьяна Иваныча, печально задумывался, когда, выѣхавъ изъ шумнаго города за выборгскую заставу, повѣрялъ, на свободѣ, у трактира свою выручку. Бѣднякъ, облокотясь на рѣшотку, долго не могъ себѣ разъяснить вопроса: какъ это случилось, что у него денегъ гораздо меньше, нежели получить слѣдовало, а добрый баринъ Лукьянъ Иванычъ три раза самъ пересчиталъ ему, растолковалъ, казалось, какъ родной, надавалъ вмѣсто крупныхъ разной мелочи и еще прибавилъ гривенникъ на водку?..

А Лукьянъ Иванычъ жилъ-себѣ помаленьку, и уже началъ торговать на имя жены каменный домъ на Литейной, да смерть жены помѣшала этому торгу. Между-тѣмъ графскія дѣла въ губерніяхъ шли очень плохо: нѣкоторымъ помѣстьямъ угрожала публичная продажа. И вотъ Лукьянъ Иванычъ, вооруженный довѣренностями и рекомендательными письмами, отправился въ графской каретѣ распутывать запутанныя дѣла. Впрочемъ, у него была и своя цѣль: пріискать гдѣ-нибудь повыгоднѣе для себя имѣніе и навѣстить брата, который *долго служилъ при таможнѣ* и былъ довольно-старъ и бездѣтенъ; вѣроятно, для этой послѣдней причины Лукьянъ Иванычъ взялъ съ собой и дѣтей. Но мы видѣли, какъ жестоко ошибся Лукьянъ Иванычъ: вмѣсто воображаемаго богача, онъ нашелъ своего брата круглымъ бѣднякомъ, правда, довольнымъ своей судьбою, да Лукьяну Иванычу не было до этого дѣла.

Лукьянъ Иванычъ прогостилъ у Кондрата Иваныча два дня и на третій уѣхалъ; но эти два дня показались для Кондрата Иваныча тремя годами; онъ безпрестанно выдерживалъ пытку. Петербургскій братецъ ѣлъ и пилъ за четверыхъ и ничѣмъ не былъ доволенъ, все ругалъ на-повалъ и надъ всѣмъ смѣялся. Добрякъ Кондратъ Иванычъ, по его словамъ, изъ кожи лѣзъ и не могъ ничѣмъ угодить дорогому гостю: то жаркое было пережарено, то сливки жидки, то мухи кусали, то дорожки въ саду были худо вычищены—словомъ, не было предмета въ хозяйствѣ и въ домѣ Кондрата Иваныча, который бы не безпокоилъ милаго братца. Лукьянъ Иванычъ не могъ скрыть своей досады, что ошибся въ разсчетѣ, и явно вымещалъ ее на братѣ, прямо говоря, что онъ не умѣетъ жить, или не можетъ жить благопристойно, потому-что не умѣлъ съ умомъ прежде пользоваться обстоятельствами.

— Ужъ это вы оставьте въ покоѣ; это, братецъ, мое дѣло, какъ я жилъ.

— Совершенно согласенъ; однако теперь вы, Кондратъ Иванычъ, могли бы имѣть на старости другія отношенія, иную обстановку, не тотъ вѣсъ, не то уваженіе въ обществѣ. А теперь вы что?

— Честный человѣкъ.

— Вы старѣе меня, а говорите какъ ребенокъ, будто изъ азбуки читаете правила; вѣрите ли, мой сынъ этого ужъ не скажетъ...

— Оставимъ, братецъ, этотъ разговоръ!

— Оставимъ; я вижу, мы съ вами никогда не сойдемся...

На третій день привели къ Кондрату Иванычу шестерку крестьянскихъ клячъ, заложили ихъ въ карету Лукьяна Иваныча, и онъ уѣхалъ. Кондрату Иванычу было и жаль брата, и онъ радовался, видя его отъѣзжавшимъ.

VI.

— Ну, слава Богу! кажется, благополучно уѣхали, сказалъ Кондратъ Иванычъ, когда карета скрылась изъ глазъ.

— Истинно, слава Богу! замѣтилъ управляющій.

— А что? говорилъ Кондратъ Иванычъ, входя къ себѣ въ комнату.

— А ничего, говорилъ управляющій, идя вслѣдъ за бариномъ:—извѣстно, дѣло пріятельское, родное, а не приведи Господи въ другой разъ выдержать такую экзекуцію...

— Ты думаешь?

— Дѣло видимое: и Лукьянъ Иванычъ, и его дѣти, и лакеишко—всѣ жили у насъ

какъ въ непріятельской землѣ, и хоть бы кто сказалъ спасибо!.. Не мое дѣло, ваше высокоблагородіе, а право жаль Сивки.

— Это правда. Братецъ любитъ посмѣяться, даже и Васю не оставилъ въ покоѣ: „стыдно, говоритъ, что пріемышъ бѣгаетъ босикомъ“.

— Извините меня, а вашъ братецъ не похожъ на васъ; онъ мнѣ такія пѣсенки подпускалъ, что Богъ съ нимъ.

— Какія?

— Да разныя, насчетъ всего: сначала все закидывалъ про деньги; много ли у васъ ихъ есть, да въ какомъ онѣ оборотѣ? Я ему правду рѣзалъ; онъ мнѣ сунулъ цѣлковый въ руку и опять сталъ разспрашивать.

— Ага!.. замѣтилъ Кондратъ Иванычъ: — что же, ты не взялъ цѣлковаго?

— Какъ не взять? взялъ, вотъ онъ! сталъ бы я у него не брать денегъ! Мы на него сколько потратились... намъ теперь и этотъ пригодится.

— Напрасно.

— Мое дѣло простое, а я скажу: не напрасно; жаль, что однимъ поплатился. А потомъ опять сталъ подъѣзжать: „скажи, молъ, что это у васъ за мальчикъ бѣгаетъ?“ Я ему говорю: Васька, такой и такой, а онъ мнѣ говоритъ: „ты не ври, скажи мнѣ всю правду, можетъ статься тутъ что неладно? вѣдь я, говоритъ, да мои дѣти наслѣдники послѣ Кондрата Иваныча...“ Вотъ онъ какой, вашъ оратецъ!

— Эге! сказалъ Кондратъ Иванычъ и крѣпко задумался.

Цѣлый день Кондратъ Иванычъ былъ задумчивъ, а вечеромъ, ложась спать, сказалъ управляющему:

— А знаешь, что, Ивановъ?

— Не могу знать.

— Я долго думалъ и какъ ни думалъ, а все выходитъ, что мой братъ человѣкъ недобрый.

— Слава тебѣ, Господи! это я зналъ, не думавши.

— И дѣти его мнѣ не по-душѣ.

— Эхъ, ваше высокоблагородіе! и мнѣ куда не по нутру пришлись они.

— Пожалуйста безъ титуловъ, мы бесѣдуемъ по пріятельски.

— Слушаю, Кондратъ Иванычъ.

— Они смѣялись надъ Васькой, а мы его воспитаемъ, да какъ будетъ хорошъ, пусть и наслѣдуетъ все, что я имѣю... Мнѣ его Богъ далъ, авось онъ станетъ любить меня.

— Добрый вы человѣкъ, Кондратъ Иванычъ!

— Поѣзжай ты въ городъ завтра, да поищи подешевле какого-нибудь грамотнаго человѣка, пусть живетъ у насъ да учитъ Ваську.

— Радъ стараться, да это дѣло-то мнѣ не по сердцу: гдѣ я найду такого грамотѣя, да еще и дешеваго? скорѣй у цыганъ тройку лошадей купить безъ порока, чѣмъ отыщешь такую фигуру.

— Поищи.

— Поѣхать поѣду, да напередъ знаю, что вернусь ни съ чѣмъ, только время проматаю понапрасну.

— Ну, тамъ, ужо что Богъ дастъ, то и будетъ, а мнѣ бы хотѣлось показать брату и то и другое, пусть больно не чванится.

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня уѣхалъ управляющій въ городъ и вернулся поздно вечеромъ.

— А что? спросилъ Кондратъ Иванычъ.

— Все благополучно! весело отвѣчалъ Ивановъ.

— Нашелъ?

— Нашелъ! Самъ Богъ, кажись, послалъ человѣка! Знать, Васька родился въ сорочкѣ...

— Гдѣ же онъ?

— Грамотѣй-то? тамъ еще остался, а вотъ только привезъ его пробу, коли понравится, завтра доставлю, такой и уговоръ былъ; вотъ извольте полюбопытствовать.

Тутъ управляющій опустилъ руку въ карманъ, вытащилъ оттуда листъ бумаги, сложенный вчетверо, и подалъ его Кондрату Иванычу. Кондратъ Иванычъ, надѣвъ очки, началъ читать:

ПРОЩАНЬЕ.

Вотъ солнце сѣло за горами,
Сребристый мѣсяцъ ужъ взошелъ,
Туманъ носился съ облаками;
Я ямщику сказалъ—пошелъ!
Ямщикъ, оправившись, сѣлъ въ козлы,
Стегнулъ два раза по конямъ,
А я припавъ въ углу кибитки,
Сталъ выпускать изъ трубки дымъ.
Прощай, Москва! прощай, царица,
Прощай, о родина моя!
И ужъ не будетъ передъ мною
Блестѣть златая голова.
Я далеко умчусь надолго,
Покину край я свой родной,
Покину все свое родное,
Далеко улечу отъ васъ!
Тутъ мошка сѣла мнѣ на щоку,
И я хотѣлъ ее согнать,
Ужъ взявшись за уши рукою,
Какъ вдругъ почувствовалъ—мокро!..
Что это? что? уже ль слеза
Такъ тихо капнула? и я,
Обтерши наскоро рукою,
Сталъ выпускать изъ трубки дымъ...
А солнце сѣло за горами,
Сребристый мѣсяцъ ужъ взошелъ,
Туманъ носился съ облаками,
Я ямщику сказалъ—постой!...

Сочинялъ Разгуляевъ.

Кондратъ Иванычъ принялъ новаго родственника радушно.

Людвика Феликсовна была въ восхищеніи.

Пшицкій погостилъ дня два и уѣхалъ, черезъ день опять пріѣхалъ, прогостилъ три дня, черезъ день еще три дня и потомъ стали наѣзщать своихъ родныхъ очень часто.

Въ одинъ прекрасный день онъ на своей таратайкѣ привезъ еще двухъ молодчиковъ, довольно плотныхъ, краснощекихъ, безъ усовъ, въ фуражкахъ съ козырьками. Пшицкій отрекомендовалъ ихъ двоюродными братьями хозяйкѣ, разсказалъ, что нечаянно встрѣтилъ ихъ гдѣ то на шоссе, разговорился, какъ почти съ сослуживцами и, узнавъ въ нихъ родичей сейчасъ же и привезъ сюда. Одинъ изъ молодыхъ людей назывался Булковичъ, а другой Споговичъ.

Людвика Феликсовна съ кузенами блаженствовала; ея взглядъ, голосъ, всѣ движенія показывали полное удовольствіе; добрые родичи разсыпались передъ нею въ любезностяхъ; она дарила ихъ чудесными взглядами; они, по родственному, цѣловали ей ручки; она, на томъ же основаніи, хлопала ихъ по губамъ своими бѣлыми пальчиками. Кондратъ Иванычъ, оставаясь въ тѣни, курилъ спокойно трубочку.

— Ты, другъ мой, иногда говорилъ Кондратъ Иванычъ женѣ своей,—рѣшилась въконецъ разорить меня: каждый день у насъ столько чужихъ людей, а ты еще выдумываешь то то, то другое кушанье, самое дорогое, нанимаешь лошадей для прогулокъ, и Богъ знаетъ, что дѣлаешь, а подумала бы, изъ чего мнѣ тянуться? какіе наши доходы? Опомнись.

— Опомнитесь *вы*, старый эгоистъ, говорила обиженнымъ голосомъ Людвика Феликсовна: — благо, что вы отжили вѣкъ, васъ ничто не занимаетъ, такъ и я должна живая зарыться въ могилу! Послушали бы вы Споговича, какъ живутъ въ Витебскѣ! какіе пикники! а здѣсь умирай съ тоски!... пріѣхали образованные люди, высшаго круга — вамъ ужъ и жаль для нихъ бутылки вина, а держите полонъ домъ пріемышей да какихъ-то уродовъ. Вы просто эгоистъ, все бы себѣ, чудовище... Вотъ для кого я всѣмъ пожертвовала!...

Людвика Феликсовна начинала плакать, Кондратъ Иванычъ въ силу ее успокоивалъ и потомъ, оставшись одинъ, долго не могъ дать себѣ отчета, чѣмъ для него пожертвовала его супруга?

Гораздо до году послѣ свадьбы Кондратъ Иванычъ былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ: его жена родила разомъ двухъ сыновей. Потомъ, не прошло году, она подарила его дочерью, чрезъ годъ еще двумя. Сосѣди поздравляли Кондрата Иваныча; Кондратъ Иванычъ благодарилъ сосѣдей и вздыхалъ, съ ужасомъ глядя на свое многочисленное семейство... А тутъ Вася Заборовъ былъ у него, какъ бѣльмо въ глазу: онъ уже выросъ, сдѣлался юношей; куда его дѣвать? что съ нимъ дѣлать?... Учитель сталъ пить непробудную чару, его и спровадили со двора, откуда пришелъ, туда и пошелъ, а Вася—другое дѣло. Содержать его при себѣ силъ не хватало у Кондрата Иваныча, а работать онъ ничего не умѣлъ. Думалъ, думалъ Кондратъ Иванычъ и, посовѣтовавшись съ управляющимъ, написалъ письмо и отправилъ Васю къ своему брату Лукьяну Иванычу въ одинъ большой городъ, гдѣ, какъ слышно, Лукьянъ Иванычъ живетъ припѣваючи.

— И ладно, Кондратъ Иванычъ, замѣтилъ управляющій:—хоть у меня не лежитъ душа къ вашему брату, какъ у собаки къ длинному полѣну, а все таки Васѣ лучше тамъ будетъ: хоть свою грамоту мальчику пустить въ ходъ, авось кусокъ хлѣба будетъ; а у насъ его у самихъ маловато; да и для васъ безопаснѣе будетъ...

— Какъ такъ?

— Да какъ, оно конечно ничего, а гдѣ есть бабы, непригоже держать безъ дѣла молодого парня. Случай неровенъ, мало что бываетъ...

— Богъ съ тобою!... любезнѣйшій!...

— Оно ничего, мое дѣло сторона, а какъ уѣдетъ, и я буду спокойнѣе; я вѣдь человѣкъ бывалый, видывалъ виды.

ЭПИЛОГЪ.

Осенью, еще нѣсколько лѣтъ спустя, въ довольно-холодную темную ночь шелъ по глухому переулку большаго города человѣкъ довольно-странной наружности; платье на немъ было что называется нѣмецкое, только страшно истаскано и разорвано, а сапоги видимо принадлежали когда-то дюжему ломовому извощику, о чемъ явно свидѣтельствовали и величина, и лошадиныя подковы, которыми они были подкованы; на головѣ у стараго человѣка была круглая шляпа, измятая, порыжѣлая и кривобокая; но замѣчательнѣе всего въ его нарядѣ было шерстяное одѣяло, когда то бѣлаго цвѣта; это одѣяло висѣло на плечахъ его, какъ тога на римскомъ сенаторѣ; иногда онъ распускалъ его за собою длиннымъ шлейфомъ по улицѣ, то, закинувъ одинъ конецъ на плечо, драпировался бу-

— То-есть Василій; хорошо, знаю двухъ Васильевъ, трехъ знамъ, всѣ молодцы: одинъ поетъ—соловья не надо; другой взялъ перо, поцарапаетъ немного и нѣтъ листа — писатель; третій въ своемъ домѣ живетъ, столъ отличный, жена красавица; всѣ богаты и нашъ будетъ богатъ. А какъ фамилія?

— Я полагаю, вамъ сообщилъ управляющій о происхожденіи этого ребенка.

— Нѣтъ, генеалогіи его не знаю, любопытно знать.

— Очень просто: я его нашелъ подъ заборомъ, пріютилъ у себя и, для его счастья, хочу научить уму-разуму. А фамилія его Богъ знаетъ какая.

— Фамилія нужна: напишетъ что нибудь сочинитель — какъ подпишется? Василій? мало!... много есть Васильевъ; нужна фамилія.

— Какъ же тутъ быть? не свою же мнѣ ему дать фамилію.

— Подумайте, ваше дѣло; я не виноватъ, умываю руки.

— Позвольте, ваше высокоблагородіе, сказалъ управляющій:—вѣдь ему нужна только кличка, какая ни есть, была бы кличка.

— Разумѣется, замѣтилъ Кондратъ Иванычъ.

Учитель кивнулъ головой.

— Такъ вы его взяли подъ заборомъ и назовите Заборовымъ.

— Какъ вы думаете? спросилъ Кондратъ Иванычъ:—вѣдь оно складно выходитъ: Василій Заборовъ!... будто въ послужномъ спискѣ читаешь. Довольно громко!

— Пожалуй, быть ему Заборовымъ, я не прочь.

— Василій Заборовъ, слушай! гордо сказалъ учитель;—волосы стричь, бороду брить, по худымъ домамъ не шататься, а не послушаешь угрозъ, послушаешь лозъ. Пошелъ гулять!

Мальчикъ выбѣжалъ изъ комнаты.

— Экъ вы красно говорите, Богъ вамъ судья! сказалъ управляющій, обдергивая воротникъ своей рубашки.

— Мудрыя ваши правила, замѣтилъ Кондратъ Иванычъ: — но я бы просилъ васъ сразу не запугать мальчишку.

— Помилуйте, это острастка; поймали дикую лошадь — плетью по лбу: она и притихла, а послѣ овса—и хорошо ей! Я добрякъ, у меня громъ на языкѣ, а въ душѣ фіялки, поневолѣ свыкнемся. Мальчикъ съ головой, чрезъ годъ будетъ самъ пропись писать, черезъ два, черезъ три года вамъ мадригалъ напишетъ, эпитафію напишетъ—на этомъ постоимъ!...

VII.

Тутъ мой разсказъ и кончается: персонажи на сценѣ, декораціи поставлены, всякій легко можетъ угадать будущую комедію; но есть у меня два три пріятеля, которымъ не нравятся подобныя окончанія, которые непремѣнно требуютъ самаго подробнаго отчета о всѣхъ *герояхъ*, даже до послѣдняго ихъ вздоха, а не то они, добрые люди, обидятся, станутъ жаловаться, что ихъ не уважаютъ и т. п. Дѣлать нечего, прибавлю для нихъ еще нѣсколько строчекъ пояснительныхъ.

Прошло нѣсколько лѣтъ; учитель училъ Васю грамотѣ и еще Богъ знаетъ чему. Вася подросъ, почти сдѣлался юношею, а Кондратъ Иванычъ немного постарѣлъ и, по влеченію всегда добраго своего сердца, сдѣлалъ маленькую глупость—женился. Эта глупость была бы еще сносна, еслибъ онъ женился на своей сосѣдкѣ, дѣвицѣ Гадаевой, очень набожной, скромной и уже въ лѣтахъ, или на вдовѣ изъ ближняго села, Безрыбкиной, большой мастерицѣ печь пироги, солить бруснику и управляться съ домочадцами, а то онъ женился на какой-то польской авантюристкѣ, завезенной и брошенной въ городѣ какимъ-то кочующимъ офицеромъ. Она была молода, стройна, развязна, и ей угрожала тюрьма. Кондратъ Иванычъ не выдержалъ, взялъ ее на поруки и женился...

Подумаешь, на что не способенъ добрый человѣкъ.

Скромный бытъ Кондрата Иваныча измѣнился: Людвика Феликсовна (такъ звали жену его) оживила весь домъ: громко говорила, хохотала, пѣла и даже заставляла учителя пѣть съ собою, чему тотъ, къ великому удивленію всего дома, не очень противился. Людвика Феликсовна ѣздила съ мужемъ по полямъ на дрожкахъ и, всегда вооружась длиннымъ хлыстомъ, стегала имъ рысака и заливалась громкимъ и визгливымъ смѣхомъ, глядя на прыжки бѣднаго животнаго, и часто по вечерамъ гуляла по сельцу Сѣренькому съ сигарой во рту.

Сначала появленіе лихой хозяйки очень радовало управляющаго: она ему напоминала очень живо нѣкоторыя страницы изъ его лагерной жизни; но скоро онъ началъ задумываться и, глядя на добраго Кондрата Иваныча, качалъ печально головой.

Недѣли двѣ, три послѣ свадьбы Кондрата Иваныча пріѣхалъ къ нему какой-то громадный мужчина, въ статскомъ платьѣ, въ усахъ, съ испаньолкой и рекомендовался племянникомъ Людвики Феликсовни, сказавъ, что его зовутъ Юзефъ Пшицкій, что онъ въ уѣздѣ какимъ то землемѣромъ, и т. п.

СИЛА КОНДРАТЬЕВЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Въ средней полосѣ Россіи есть городокъ, очень похожій на многіе городки той же полосы: также, какъ и въ другихъ, въ немъ есть каменный соборъ, вокругъ собора площадь, вокругъ площади каменныя лавки; на дверяхъ лавокъ живописно висятъ разные товары: гдѣ пара бѣлыхъ поярковыхъ сапоговъ, гдѣ длинная вязанка баранковъ, или новая бѣлая узда съ красными узлами и кисточками и т. п. Спереди лавокъ, подъ навѣсомъ, на низенькихъ столикахъ постоянно продаютъ разный печеный хлѣбъ всѣхъ цвѣтовъ, начиная отъ чернаго до такъ называемаго бѣлаго, какое-то особенное печеніе изъ гречневой муки на конопляномъ маслѣ, очень похожее на уличныя тумбочки въ миньятюрѣ, и въ большихъ толстыхъ плиткахъ, словно мраморъ желто-зеленоватаго цвѣта съ сѣрымъ отливомъ—гороховый кисель; къ этимъ всегдашнимъ туземнымъ продуктамъ во время лѣта прибавляются огурцы, а подъ осень—яблоки и мелкія, невзрачныя груши сомнительнаго вкуса.

Отъ лавокъ, прямо противъ собора, тянется главная улица; она оканчивается шлагбаумомъ и караульной будкой кончается городъ; тамъ уже стоитъ на пыльной дорогѣ одинокое какое-то дерево, далѣе дорога, опять дорога и еще какой-то кустъ, а тамъ горизонтъ, или, по выраженію поэтовъ, мѣсто, гдѣ цѣлуется небо съ землею.

Но обратимся въ городъ. Главная улица этого города... какъ бы назвать его? Какъ онъ лежитъ въ средней полосѣ Россіи, то назовемъ его Среднимъ. Итакъ, въ Среднемъ городѣ главная улица справа и слѣва обстроена очень милыми и красивыми домами въ одинъ этажъ, и каменными и деревянными, со ставнями разныхъ цвѣтовъ; на окнахъ этихъ домовъ по большей части стоятъ зеленыя герани; развѣ изрѣдка гдѣ-нибудь красуется трубка съ чубукомъ и четвертка Жукова, и еще рѣже какой-нибудь кувшинъ, или сапогъ, или бутыль свѣтло-зеленаго стекла, завязанная сѣрою бумажкой. Надъ многими домами главной улицы вы увидите хорошенькія дощечки съ красивыми надписями, свидѣтельствующими о благоустройствѣ города; еще чаще поражаютъ глаза ваши разныя вывѣски: то въ черномъ полѣ золотой сапогъ, то въ лазоревомъ—красный крендель, то безъ всякаго поля, просто, надъ воротами, на обыкновенной палкѣ торчитъ пукъ сѣна, далѣе на красной доскѣ намалевана баранья голова, безъ роговъ, въ изумительномъ фракѣ травянаго цвѣта и подъ ней банка съ піявками, или одинъ фракъ безъ головы и надъ нимъ раскрытыя зіяющія ножницы. Вспомните, что вся площадь вокругъ собора и главная улица вымощены самымъ крупнымъ булыжникомъ, и вы будете имѣть ясное понятіе о Среднемъ городѣ.

По главной улицѣ Средняго города, недалеко отъ площади, между вывѣсками фрака съ головой надъ банкой и фрака безъ головы подъ ножницами, находится домъ довольно-длинный, довольно-низкій, сѣраго цвѣта, съ краснобурою крышей; во всю длину этого дома тянется на улицу частый рядъ оконъ, почти квадратныхъ, а надъ крыльцомъ приколочена вывѣска, изображающая и бильярдъ, и самоваръ съ чайникомъ, и графинчикъ съ рюмкой, и какое-то желтое снадобье на тарелкѣ, должно быть съѣстное, судя по воткнутой въ него вилкѣ. Надобно быть очень просту или весьма мало образованну, чтобъ сразу не догадаться о присутствіи *трактирнаго за-*

веденія подъ этою краснорѣчивою вывѣской.

Во время оно, давно когда-то, очень давно, въ іюлѣ передъ вечеромъ въѣхала въ Средній городъ почтовая телѣга; усталая тройка съ громомъ хлопала по булыжникамъ своими кованными ногами; колеса тоже гремѣли и хлопали, ударяясь о камни; колокольчикъ, въ свою очередь, не дремалъ и заливался подъ дугою. Отъ этой тревоги, словно по командѣ, открывались окна по главной улицѣ, гдѣ ѣхала телѣга, и разныя физіономіи глядѣли вслѣдъ за нею, съ участіемъ разсматривая молодого человѣка въ фуражкѣ, сидѣвшаго довольно-скромно на чемоданѣ; наконецъ, телѣга повернула на дворъ трактира и скрылась въ воротахъ; окна понемногу затворялись.

Молодой путешественникъ, громко проклиная дорогу вообще и мостовую Средняго города въ особенности, объявилъ хозяину, что хочетъ отдохнуть, и спросилъ, есть ли свободная комната и будетъ ли что поужинать.

— Комната,—отвѣчалъ хозяинъ, особенно нелѣпо кланяясь:—важнительная, настоящій нумеръ, самый первый сортъ, истинно графская, и кушанья отличительныя, истинно со вкусомъ, безъ всякаго сомнѣнія, будьте покойны, на томъ живемъ.

Перенесъ ямщикъ вещи проѣзжаго въ нумеръ, сдалъ счетомъ, получилъ гривну мѣди на водку и уѣхалъ, а проѣзжій спросилъ себѣ чаю и, въ ожиданіи, началъ ходить по комнатѣ, потомъ подошелъ къ окну и долго глядѣлъ на улицу; хотѣлъ было сосчитать камни, да показалось почему-то скучно; потомъ на крышѣ противоположнаго дома явился лысый старичокъ и, снявъ съ себя нанковый сюртукъ, отчаянно махалъ имъ во всѣ стороны и кружилъ надъ головой, пугая голубей, которые наконецъ поднялись высоко и кувыркались въ синемъ воздухѣ, сверкая въ лучахъ заходившаго солнца. А чаю все не было.

— Хозяинъ!

— Что угодно?

— Что же чаю?

— Сейчасъ, сію минуту!... потерпите маленько.

— Да я ужъ съ часъ дожидаю.

— Просимъ прощенія, насчетъ уголья, маленечко отсырѣли, трещатъ, а не горятъ... Сейчасъ малый вздуетъ...

— Пожалуйста поскорѣй! у васъ умрешь со скуки...

— Если вамъ будетъ непротивно пожаловать въ *общую*, тамъ и бильярдъ имѣется и посѣтители есть, здѣшній лекарь Ксенофонтъ Иванычъ, человѣкъ, смѣю сказать, просто мое почтеніе!...

Проѣзжавшій согласился. Въ общей комнатѣ Ксенофонтъ Иванычъ давно уже кружился вокругъ бильярда, тщетно стараясь срѣзать желтаго шара въ среднюю лузу; усталый, измученный, онъ бы далеко не прочь былъ оставить кій, да какъ-то совѣстно было предъ самимъ собою сознаться въ неумѣньи, неловкости—словомъ, въ своемъ безсиліи, потому приходъ сторонняго лица очень обрадовалъ доктора; онъ съ удовольствіемъ оставилъ кій, отрекомендовался *туземнымъ врачомъ* и очень тонко, этакъ, стороной, замѣтилъ, проѣзжему, что, судя по его физіономіи, платью и прочее, онъ долженъ быть нездѣшній. Проѣзжій, съ своей стороны, тоже не теряя своего достоинства, но очень вѣжливо и прилично объявилъ, что г-нъ лекарь не ошибся, что онъ дѣйствительно нездѣшній и ѣдетъ по казенной надобности туда-то и туда-то, а можетъ-быть, и дальше, если обстоятельства и ходъ дѣла того потребуютъ. Впрочемъ, дальнѣйшее будетъ зависѣть отъ соображенія, а теперь онъ, проѣзжающій, измученный дорогой, остановился ночевать въ здѣшнемъ трактирѣ, чуть не умеръ со скуки, глядя на гоньбу голубей, и не знаетъ какъ благодарить судьбу за прекрасное знакомство, и что онъ считаетъ его, лекаря, не иначе, какъ даромъ щедраго провидѣнія.

Лекарь, какъ видно, былъ тоже тертый калачъ, и очень удовлетворительно возражалъ, что, напротивъ, онъ, лекарь, считаетъ его, проѣзжающаго, истиннымъ даромъ судьбы, и что сегодняшній вечеръ онъ особенно отмѣтитъ у себя, какъ эпоху пріятнѣйшаго знакомства.

Хозяинъ, стоя у дверей и слушая эти рѣчи, только хлопалъ глазами.

У всякаго свой вкусъ, но, признаюсь, для меня пріятно послушать, какъ два умные человѣка начнутъ говорить другъ другу для перваго знакомства разныя тонкости.

Новые знакомцы, съ нѣсколькихъ словъ достаточно понявъ одинъ другого, скоро освоились, и когда закипѣлъ самоваръ, то проѣзжій предложилъ лекарю напиться вмѣстѣ чаю, и они, сидя у раскрытаго на улицу окна, пили чай и разговаривали, или, лучше сказать, говорилъ докторъ а проѣзжій слушалъ, что и не удивительно: докторъ былъ здѣсь свой человѣкъ, онъ зналъ всѣхъ туземцевъ, со всѣми раскланивался, и чуть проходила подъ окнами какая физіономія, проѣзжавшій спрашивалъ: „кто это?“ или только вопросительно взглядывалъ на доктора—и тотъ уже читалъ цѣлую біографію проходившаго, испрашивае-

ную и пополненную провинціальнымъ досужествомъ.

Такъ выпили они по три стакана чаю; уже докторъ много сообщилъ біографій, когда мимо прошелъ сѣдой старикъ, высокаго роста; тихо, мѣрными шагами шелъ онъ по улицѣ, глядя въ землю. Старикъ былъ одѣтъ въ темно-синій кафтанъ до земли, на которомъ красиво раскидывалась на всю грудь бѣлая, какъ снѣгъ, борода; на головѣ у него была круглая шляпа съ довольно широкими полями, въ рукахъ камышевая трость, длинная, высокая, съ серебрянымъ набалдашникомъ, какія очень часто носятъ въ провинціи люди духовнаго званія.

— Мое почтеніе, Сила Кондратьичъ! сказалъ громко лекарь, когда старикъ поровнялся съ окномъ трактира.

Старикъ шелъ, глядя въ землю.

— Добрый вечеръ, Сила Кондратьичъ! закричалъ лекарь почти обиженнымъ голосомъ.

Старикъ остановился, посмотрѣлъ на окно, медленно снялъ шляпу, поклонился въ поясъ и тихо ушелъ.

— Странный человѣкъ! проворчалъ лекарь:—кланяется мнѣ будто губернатору; еслибъ не знали его, подумали бы: въ насмѣшку.

— А кто онъ?

— Это первый богачъ здѣшняго города, бывшій градской голова, Сила Кондратьичъ Кондратьевъ. Весь городъ онъ держалъ когда-то въ рукахъ, всей торговлей и прочимъ ворочалъ, какъ самъ хотѣлъ; ума у него не занимать стать, и характеру на дюжину порядочныхъ людей бы хватило— и вдругъ опустился, отказался отъ должности, ни во что не мѣшается, ходитъ, словно осужденный на смерть...

— Вѣрно были какія-нибудь причины?

— Вотъ то-то что нѣтъ. Онъ для меня просто психологическая задача!.. Были-то съ нимъ причины разныя, такія, что нашъ братъ не снесъ бы ихъ въ добромъ здоровьи, а онъ ничего, да потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ другого, началъ чудить. А человѣкъ былъ желѣзнаго характера. Это для меня психологическая задача!... Нападди на него такая меланхолія сразу послѣ *тѣхъ* случаевъ, я бы не удивился...

— А *тѣ* какіе были случаи?

— Случаи обыкновенные... съ кѣмъ они не бываютъ! да только не всякій ихъ такъ легко выдышетъ. У Силы Кондратьича была старшая дочь красавица; отецъ и мать любили ее безъ души и въ цѣломъ городѣ не находили ей достойнаго жениха. Про богатыхъ и красивыхъ невѣстъ далеко идетъ молва, такъ и про дочку Силы Кондратьича услышалъ богатый фабрикантъ, верстъ за сто изъ другого города, пріѣхалъ—и дѣло почти порѣшили, только постъ помѣшалъ; стали ждать до ооминой недѣли. А на масляной пришелъ въ Средній городъ полкъ. Офицеры всюду стояли, и у Силы Кондратьича, и у сосѣдей; весело прошелъ постъ и еще веселѣе первые три дня праздника, а на четвертый многимъ стало скучно: полкъ ушелъ на другія квартиры, многіе лишились добрыхъ знакомыхъ, а у Силы Кондратьича сбѣжала старшая дочка, сбѣжала красавица: ушла за полкомъ—и концы въ воду. Господи! какъ убивалась старуха, ея мать... А Сила Кондратьичъ—ничего.

— Молчи, говоритъ женѣ самымъ покойнымъ голосомъ:—не плачь о Марфушѣ, не стоитъ она этого; у насъ, благодареніе Богу, остались Дуня и Николка. Николка парень хоть куда, да и Дуня года черезъ два-три подростетъ, такъ будетъ лучше покойной Марфушки!

— Какая она покойная! съ ужасомъ завопила старуха.

— Извѣстно, покойная; она для меня со вчерашняго дня умерла, я по ней и панахиду отправлю. А ты, старуха, плакать не изволь. Сама виновата, что не учила дѣвку уму-разуму.

Года черезъ два послѣ этого пришла Марфуша пѣшкомъ, оборванная, избитая, блѣдная, худая, словно изувѣченная; Марфуша пришла съ ребенкомъ на рукахъ и стала на колѣняхъ на улицѣ передъ воротами отцовскаго дома. Весь городъ смотрѣлъ, что изъ этого будетъ: выбѣжала мать, зарыдала и бросилась на шею дочери; дочь повалилась ей въ ноги, ребенокъ плакалъ и тянулся къ своей матери. Вышелъ Сила Кондратьичъ и грозно спросилъ:

— Это что?...

— Голубчикъ, Сила... Гляди, наша... заговорила старуха и, за слезами, не докончила.

— Что наше?

— Наша... охъ!... Марфуша...

— Нѣтъ у меня никакой Марфуши... ты бредишь, матушка.

— Батюшка!... простонала Марфуша, стараясь обнять его колѣни.

— Богъ съ тобой, я тебя не знаю, сухо сказалъ Сила Кондратьичъ, отступя шагъ назадъ.—Убирайся, матушка, откуда пришла; здѣсь честный домъ и бродягъ не принимаютъ. Жена! ступай на дворъ, полно народъ срамить!...

И онъ почти безчувственную свою старуху ввелъ во дворъ и заперъ за собой на замокъ калитку.

— Батюшка, батюшка! завопила страшнымъ голосомъ Марфуша и сильно задергала калитку, но на дворѣ не было отвѣта на ея вопли; только звонко гремѣлъ желѣзный засовъ у двери да лаяла цѣпная собака.

Постояла еще немного у воротъ Марфуша, обернула въ рубище своего ребенка, махнула рукой и пошла вдоль улицы изъ города... Только ее и видѣли. Вотъ уже лѣтъ десять о ней и слуху нѣтъ.

— Да. Сила Кондратьичъ ужасный человѣкъ! замѣтилъ проѣзжавшій.

— Не то, что ужасный, а человѣкъ съ характеромъ. Я его видѣлъ на другой день послѣ этого приключенія, и онъ былъ такъ спокоенъ, какъ ни въ чемъ не бывало, даже выкинулъ какую-то удивительную торговую продѣлку, требовавшую большаго разсчета и соображенія. Удивительный человѣкъ!

— Ну, а другое приключеніе?

— Другого я былъ самъ очевиднымъ свидѣтелемъ. Это случилось въ прошломъ году, зимой. Былъ Сила Кондратьичъ у насъ еще головой и какъ-то сказалъ мнѣ, что у него кашель не кашель, а такъ что-то першитъ въ горлѣ, и просилъ, если можно помочь, только безъ особенныхъ лекарствъ, домашними средствами. Вотъ и я пришелъ передъ вечеромъ нарочно къ чаю, и зная, что старикъ простудился, взялъ кое-какія травки съ тѣмъ, чтобъ тутъ же за чаемъ и напоить его чѣмъ полезнымъ, пожалуй, прибавивъ, для пріятности, туда же хоть рому, хоть кизлярки. Подобное леченіе отлично дѣйствуетъ въ простудѣ на простыя, неиспорченныя натуры. Я прихожу на дворъ, а изъ двора выѣзжаетъ большая крытая кибитка, запряженная парою добрыхъ коней; гляжу: въ кибиткѣ сидитъ жена Силы Кондратьича, его дочь Дуня и сынъ—словомъ, все семейство. Старикъ принялъ меня какъ родного. Вотъ, говоритъ, удружилъ Ксенофонтъ, словно рублемъ подарилъ.

— А ваши куда?

— Поѣхали за рѣку, въ подгородную слободу, версты за три, къ помѣщику на именины, а я съ кашлемъ остался горевать.

— Пустое! вылечимъ, прикажите-ка ставить самоваръ.

— Ладно, ладно, все выпью, что вы мнѣ ни намѣшаете, только съ уговоромъ.

— Съ какимъ?

— Мои поѣхали на чашку чаю и къ ужину непремѣнно будутъ домой; такъ уговоръ лучше денегъ: сидѣть у меня, пока старуха пріѣдетъ.

— Идетъ, сказалъ я:—такъ лечить я не прочь; вѣдь у васъ кулебяка на славу.

Между тѣмъ принесли самоваръ, и мы стали лечиться.

Сидя въ теплой комнатѣ, да еще въ кафтанѣ на бѣличьемъ мѣху, Сила Кондратьичъ, по моему совѣту, выпилъ нѣсколько стакановъ горячаго чаю, покраснѣлъ, какъ въ доброй банѣ, и почувствовалъ себя легче. Нечувствительно прошелъ вечеръ, настала пора ужинать, а семья Силы Кондратьича не возвращалась. Старикъ началъ сердиться не на шутку: и лошади, дескать, измучатся, поздно пріѣдутъ, завтра въ работу не будутъ годиться, и пирогъ простоитъ, хоть за окно послѣ выбрось...

— Такъ мы сами поѣдимъ пирога.

— Нѣтъ, Ксенофонтъ Иванычъ, хоть вы меня и вылечили, да я для васъ нарушать закона не стану.

— Какого закона?

— Мы не чухонцы какіе, что ни обѣда, ни ужина не справляютъ по закону, вмѣстѣ, то-есть семейно; я на нихъ насмотрѣлся. Ѣдятъ безъ всякаго правила человѣческаго: стоитъ тамъ у нихъ, въ избенкѣ, въ углу кувшинъ сыворотки, въ другомъ кувшинѣ соленая килька ли, салакушка ли —кто ихъ вѣдаетъ, а на полкѣ лежатъ двѣ-три лепешки. Вотъ работаетъ нечесаная чухна въ полѣ, захотѣлъ ѣсть—и пошелъ молча, хотя бы тутъ жена была, хотя бы отецъ родной—слова никому не скажетъ, пошелъ молча прямо въ избенку, запустилъ пальцы въ кувшинъ, изловилъ рыбку-другую, съѣлъ съ кускомъ лепешки, прихлебнулъ изъ другого кувшина сыворотки, утерся рукавомъ и пошелъ опять на работу; а потомъ, глядишь, другой идетъ и такъ же обѣдаетъ. Развѣ это ладно? Нѣтъ, батюшка, по-нашему: хоть не жирно, не солоно, да въ честной компаніи на душу пойдетъ.

— Оно такъ, Сила Кондратьичъ; да зачѣмъ же изнурять себя, коли есть аппетитъ? можетъ статься, *ваши* тамъ останутся ужинать.

— Не можетъ быть: ни за что не останутся.

— Да почему такъ?

— Потому, наконецъ, что я не приказалъ.

— Эка важность!

— Важность, Ксенофонтъ Иванычъ, великая важность! Мы не любимъ съ бабами прохлаждаться на комплиментахъ; я люблю свою старуху, и волюшки ей не даю ни на эстолько... Попусти поводья норовистой лошади, она закуситъ удила и тебя хватитъ объ землю; самъ послѣ на себя пеняй. Вы знаете поговорку: у бабы волосъ...

— Знаю, знаю, почтеннѣйшій!...

— Ну, то-то! Вотъ я своей бабѣ и не даю разсуждать, я, стало быть, мужъ, я голова, а семья—прочіе члены; что голова задумала, то руки и дѣлай, туда ноги и ступай!... Я приказалъ женѣ пріѣхать къ ужину—она и пріѣдетъ.

— Она можетъ захворать.

— Пустяки! пріѣдетъ; я приказалъ—и пріѣдетъ, живая или мертвая.

— Вотъ еще!... такъ вамъ было бы пріятнѣе, чтобъ ваша жена умерла, нежели нарушила вашъ приказъ.

— Можетъ статься.

И Сила Кондратьичъ захохоталъ.

Ударило полночь, а семья не ѣхала. Кухарка сказала, что съ самаго вечера поднялась мятель и теперь сильно мятетъ и морозъ бойкій. Я было за фуражку: идти домой—не пускаетъ Сила Кондратьичъ. „Погоди, говоритъ, пріѣдутъ—поужинаемъ вмѣстѣ; вы, дескать, забыли уговоръ и честное слово".

Не знаю, что было на душѣ у хозяина, а я, прислушиваясь къ шуму вѣтра, который безпрестанно стучалъ и дергалъ ставнями, началъ серьезно безпокоиться объ участи жены и дѣтей Силы Кондратьича и сообщилъ ему свои основанія.

— Ничего, сказалъ онъ:—кони добрые, парень надежный, да и дорога тутъ гладкая, торная, черезъ рѣку рукой подать, близехонько. Пріѣдутъ. Да и намылю же я имъ головы!... Вотъ увидите.

Еще пождали съ полчаса—не ѣдутъ. Сила Кондратьичъ наконецъ послушался меня и хотѣлъ-было послать на встрѣчу работника, какъ на дворѣ залаяла, залилась и завыла собака и вслѣдъ за тѣмъ застучали въ ворота.

— Пріѣхали, отвѣтилъ Сила Кондратьичъ: —я вамъ говорилъ.

И онъ прикрикнулъ на кухарку: давать ужинать.

Пока, скрипя, отворялись ворота и тяжелая кибитка подъѣзжала подъ крыльцо, Сила Кондратьичъ важно началъ прохаживаться по комнатѣ, гордо подпершись боками руками; лицо его приняло самое строгое выраженіе; видно было, что онъ собирался порядкомъ пораспечь своихъ домочадцевъ. Вотъ на крыльцѣ заходили люди, вотъ, наконецъ, начали входить въ переднюю. Кухарка выбѣжала со свѣчой и страшно взвизгнула. Мы заглянули туда, и я остолбенѣлъ отъ ужаса: передняя была полна незнакомыми людьми; они держали оледенѣлый трупъ жены Силы Кондратьича... въ отворенныя двери съ крыльца другіе люди внесли такіе же трупы его сына и дочери—словомъ, старикъ въ эту ночь осиротѣлъ совершенно.

Я взглянулъ на него: стоитъ онъ, спокойный, безстрастный, только поблѣднѣлъ немного и тихо говоритъ: „Господь далъ, Господь и взялъ, будь имя Его благословенно отъ нынѣ и до вѣка!"

Привели и кучера: этотъ былъ живъ, только перемерзъ страшно, говорить не могъ, зубомъ на зубъ не попадалъ, словно въ лихорадкѣ. Я вижу, что около тѣхъ мнѣ дѣлать нечего, давай ухаживать за кучеромъ: напоилъ его теплымъ, вытеръ, укрылъ, и онъ очунялъ и разсказалъ намъ, что онъ съ хозяйкой и хозяйскими дѣтьми выѣхалъ съ вечера изъ гостей, когда уже поднялась мятель; хоть тамъ и удерживали переждать бурю, да хозяйка не согласилась, сказала: долго оставаться не приказано. Хозяйка съ дочерью и сыномъ забились въ кибитку, и какъ вѣтеръ и снѣгъ былъ прямо навстрѣчу, то приказали закрыть себя фартукомъ и плотно снаружи обстегать. Такъ проѣхали село и выѣхали на рѣку, тутъ мятель разыгралась пуще прежняго, стало темно, лошади сбились съ дороги, попали на гнилое мѣсто, которыхъ здѣсь на рѣкѣ между тростниками и плавнями видимо-не-видимо, и провалились съ кибиткой подъ ледъ; кучеръ, шедшій подлѣ кибитки, когда затрещалъ ледъ, отскочилъ въ сторону и съ ужасомъ увидѣлъ, что кибитка сразу ушла въ воду и только торчатъ оттуда лошадиныя головы; на него нашелъ безотчетный страхъ, и онъ бросился въ деревню, крича о помощи, но, пробѣжавъ нѣсколько шаговъ, попалъ въ сугробъ и насилу самъ изъ него вылѣзъ, наконецъ, долго плутая по рѣкѣ, едва дошелъ до селенія и разсказалъ о несчастіи. Человѣкъ десять мужиковъ собрались съ фонарями и поѣхали вмѣстѣ съ кучеромъ; но пока кучеръ дошелъ до села пока мужики собирались, пока отыскалъ кучеръ мѣсто, гдѣ сбился съ дороги, время все шло да шло, и мужики нашли и людей, и лошадей мертвыми, вытащили кое-какъ кибитку, вынули оттуда утопленниковъ и привезли къ Силѣ Кондратьичу.

— Такъ они тамъ не ужинали? спросилъ Сила Кондратьичъ кучера, когда тотъ окончилъ свой нерадостный разсказъ.

— Нѣтъ, батюшка, мы выѣхали еще заранѣе, отвѣчалъ кучеръ.

И Сила Кондратьичъ взглянулъ на меня почти самодовольно. Вотъ какой былъ желѣзный человѣкъ нашъ голова! На другой день онъ самъ распоряжался похоронами, на третій уже сидѣль въ думѣ и занимался дѣлами!

И этого человѣка вдругъ что-то свернуло!... признаюсь, это для меня психологическая задача. Знаете, онъ теперь бли-

зокъ къ ипохондріи, а отчего? отчего? скажите вы мнѣ...

Проѣзжій очень основательно замѣтилъ, что онъ причины этому и самъ не знаетъ.

— И я тоже, сказалъ докторъ.—Тутъ, я вамъ доложу, кроется порядочная загвоздка и психологіи, и психіатріи... Вы увидите!... какъ этакій желѣзный человѣкъ, съ такимъ характеромъ человѣкъ—и вдругъ, безъ всякой причины, такъ помѣшался! Ходитъ словно преступникъ, кланяется всякому, словно виноватъ передъ цѣлымъ міромъ, заказываетъ по всѣмъ церквамъ служить обѣдни и молебны, раздаетъ кучу денегъ нищимъ... А прежде нечего грѣха таить— Сила былъ порядочный кулакъ, любилъ продать за грошъ копѣйку; у него была совѣсть, что называется торгашеская; а извѣстно, до сихъ поръ у многихъ торгашей правила не слишкомъ рыцарскія.

Проѣзжій былъ совершенно согласенъ, что у многихъ торгашей понятія о добрѣ и худѣ совершенно противоположны понятіямъ рыцарскимъ, и что, кажется, до тѣхъ поръ люди не станутъ уважать ихъ, пока они не станутъ уважать самихъ себя, пока не перестанутъ считать за равносильные глаголы: *продать* и *надуть*.

Разговоръ въ этомъ вкусѣ продолжался до ужина; ужинали они вмѣстѣ и разстались пріятелями; докторъ ушелъ къ себѣ, а проѣзжавшій улегся спать, съ наслажденіемъ вытягивая и расправляя на довольно короткой кровати свои члены, измученные тряской дорогой. На утро онъ уѣхалъ куда-то далѣе по казенной надобности.

II.

Недѣли двѣ, а можетъ быть и три спустя, опять съ такимъ же громомъ, стукомъ и звономъ, проѣхалъ знакомый уже намъ чиновникъ по главной улицѣ Средняго города и остановился въ томъ же единственномъ трактирѣ; также это случилось передъ вечеромъ, и проѣзжавшій постарому ругнулъ мостовую и объявилъ, что остается ночевать. Тотъ же самый долговязый хозяинъ отвелъ ему прежнюю комнату и, для развлеченія, предлагалъ погулять въ общей. Кажется, что хозяинъ, поставивъ въ этой комнатѣ бильярдъ, осѣнивъ его люстрой съ огромными стеклышками и развѣшавъ по стѣнамъ картины изъ похожденій *Блуднаго сына*, считалъ ее верхомъ совершенства, нѣкоторою рѣдкостью, достойною вниманія каждаго просвѣщеннаго путешественника.

Въ общей проѣзжій нашелъ по-старому: онъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что въ его отсутствіи ничто не измѣнилось; стулья, столы, бильярдъ, картины... одного только недоставало доктора. Хозяинъ стоялъ у двери, вытянувъ голову немного впередъ.

— А что у васъ, какъ тутъ все? спросилъ проѣзжавшій.

— Ничего-съ, все по-старому.

— Вижу, вижу, братецъ; а какъ то-есть у васъ все идетъ—а?

— Ничего-съ, благодареніе Богу. Начальство все то же, и болѣзни никакой неслышно и на скотъ благополучно.

— А, хорошо, это мнѣ пріятно.

— Покорно благодаримъ.

— Не за что.

— Какъ не за что?! Благодаримъ покорно, вѣдь мы не безъизвѣстны о вашей милости.

— Ну, полно, полно братецъ, я церемоній не люблю. Разскажи-ка ты мнѣ лучше, что у васъ новаго...

— Да о чемъ прикажете?

— Эхъ, наладилъ: прикажете! да приказывать-то, любезнѣйшій, я не хочу; стану приказывать, да прикрикну, какъ у тебя и душа уйдетъ въ пятки, тутъ ты мнѣ всю подноготную разскажешь... Да это не въ моемъ характерѣ; я хочу побесѣдовать съ тобой. Ну-ка, развязывай свои мѣшки.

— Много чести, ваше благородіе, гдѣ намъ бесѣдовать съ такими персонами? Мы знаемъ свое мѣсто.

— Экой ты чудакъ! я вѣдь у васъ здѣсь почти никого не знаю, кромѣ доктора; ну, что съ нимъ?

— Ксенофонтъ Иванычъ, благодареніе Богу, ничего-съ, сегодня утромъ еще лошадку, рысачка объѣзжать изволили.

— Развѣ онъ охотникъ?

— Не приведи Господи, какой коноводъ, и барышничаютъ лошадками не безъ пользы-съ. Очень умный человѣкъ-съ.

— Нельзя ли за нимъ послать?

— Оно послать, конечно, можно, да уповательно они сюда не явятся.

— Это почему?

— Они послѣ обѣда уѣхали въ уѣздъ верстъ за тридцать, на слѣдствіе. Въ эту пору развѣ что къ мѣсту доѣзжаютъ.

— Такъ, разумѣется, посылать за нимъ нечего. А еще у васъ что новаго?...

— Четвертаго дня,—сказалъ, немного помолчавъ, хозяинъ,—дѣвица Бѣгасова сбѣжала съ господиномъ Мордасовымъ и тайно перевѣнчались.

— Я ихъ не знаю.

— Бѣгасова этакая бѣластенькая, а Мор-

дасовъ съ виду такой красивый, съ черными усами.

— Не знаю. Нѣтъ ли чего новѣе?

— Третьягодня Забѣгаева подала жалобу на Дармоѣдову за растрату имущества.

— А кто это Забѣгаева?

— Забѣгаева—родная дочь Дармоѣдовой.

— А Дармоѣдова?

— Дармоѣдова родная дочь Забѣгаевой.

— Какъ же это?

— Забѣгаева была тоже Дармоѣдовой, да теперь на прошлой недѣлѣ вышла замужъ за Забѣгаева, и правитъ на матери отцовское добро.

— А!...

— Изволите знать?

— Нѣтъ, я ихъ не знаю. Нѣтъ ли чего повеселѣй?

— У насъ не столица, ваше благородіе, гдѣ намъ веселостей набрать? Два раза въ годъ ярмарка бываетъ... развѣ вотъ вчера были судейскіе, играли въ бильярдъ да разсказывали... сколько тутъ было смѣху!...

Въ это время принесли самоваръ. Проѣзжавшій спросилъ другой стаканъ, налилъ его чаемъ, подалъ хозяину и ласково сказалъ:

— Присядь, любезный, напейся вмѣстѣ чаю да и разскажи.

— И, помилуйте, говорилъ хозяинъ:— наше дѣло постоять; мы знаемъ свое мѣсто, видали свѣта...

— Ну, вотъ и прекрасно, садись и разсказывай!

— Да статочное ли дѣло намъ сидѣть передъ вашимъ благородіемъ...

— Экой ты, братецъ, чудакъ! ты видишь, мнѣ скучно, я хоть бы съ коровой готовъ теперь потолковать до ужина; все же съ тобой лучше толковать, нежели съ коровой. Садись, пей чай и разсказывай, ты вѣдь не на службѣ.

Послѣ такихъ доводовъ хозяинъ рѣшился сѣсть на конецъ стула и началъ прихлебывать чай изъ блюдечка.

— Ну, такъ о чемъ говорили твои гости?

— Оченно смѣялись надъ Легкодуховымъ, что его имѣніе описываютъ за долги Фундуковой.

— И этихъ не знаю. Да и что тутъ веселаго?

— Я самъ не могу доложить вашему благородію, а они очень смѣялись. Фундукова, выходитъ, прабабка Легкодухову, и имѣнія никакого Легкодухову не давала, а ему какъ-то привелось платить ея долги... очень смѣялись.

— Дураки!

— Не спорю, вамъ лучше знать.

— Оно, можетъ быть, и интересно, да для васъ, а мнѣ они, эти и внуки, и бабушки, и дочки, и матушки, и тетки, и невѣстки, просто ничто. Понимаешь?

— Понимаю, то-есть ничто.

— Да, да, именно ничто, мечта, звукъ, фантазія...

Хозяинъ уставилъ на гостя оба глаза.

— Ба-ба-ба! закричалъ проѣзжавшій — у меня вѣдь тутъ еще есть знакомые, этотъ, какъ бишь его... вашъ бывшій голова?

— Сила Кондратьичъ?

— Именно, Сила Кондратьичъ; ну, что, какъ онъ? что ты о немъ ничего не разскажешь? что, онъ все скучаетъ попрежнему?

— А Богъ ихъ вѣдаетъ, тогда, послѣ вашего отъѣзда, на другой день Сила Кондратьичъ куда-то съѣхалъ.

— Какъ съѣхалъ? что же ты мнѣ не разсказываешь?

— Да это давно случилось, а вы спрашивали чего поновѣе, такъ я не посмѣлъ. А съѣхалъ онъ куда — неизвѣстно; продалъ все свое, что ни имѣлъ, все продалъ, и домъ и лавки—все продалъ, взялъ деньги, должно полагать, съ собой, да и уѣхалъ.

— Куда же онъ уѣхалъ?

— Я смекаю, затѣялъ торговать попрежнему, опять станетъ *офеней*; скучно жить одному въ городѣ.

— Какъ опять? развѣ онъ былъ разнощикомъ—офеней?

— Да еще какимъ! смѣю вамъ доложить, этакой торговой головы нѣтъ другой въ Россіи.

— А ты его хорошо знаешь?

— Еще бы, ваше благородіе! вѣдь что я не имѣю, все выслужилъ при Силѣ Кондратьичѣ: я съ нимъ лѣтъ десятокъ въ губерніяхъ за мальчика ѣздилъ. Сначала онъ самъ былъ мальчикомъ, а какъ повырось, да сбилъ копѣйку—сталъ хозяиномъ, вотъ и меня взялъ за мальчика; мы съ нимъ и ѣздили, и торговали. Веселое было время... ахъ!...

— Ну, вотъ ты и разсказывай про него.

— Да не скучновато ли будетъ вашему благородію? мы, вѣдь, извѣстно, люди простые, ѣдимъ пироги не сахарные.

— Экой ты, чурбанъ, Господи прости! я тебѣ разъ сказалъ, не съ коровой же мнѣ вечеръ промаять!... Подлей-ка, любезный, ромку въ стаканъ да разсказывай.

— Такъ-съ!... оно, конечно-съ, наше дѣло торговое; иной разъ бываетъ любопытственно, говорилъ хозяинъ, подливая въ чай рюмку: — а съ этакимъ человѣкомъ, какъ Сила Кондратьичъ, поѣздить поторговать — истинно сказать—ума набраться! Десять лѣтъ мы съ нимъ вояжировали въ телѣгѣ, сначала въ одной, а подъ конецъ,

бывало, и въ трехъ въ силу товаръ помѣщается.

— Что же вы продавали?

— Все, что ни на есть на свѣтѣ: сыръ швейцарскій-московскій и голландскій-московскій, и пармезанъ настоящій московскій, и щипцы съ лоточками, и ножи аглицкіе, въ самой Тулѣ брали, и перецъ и кардамонъ, и чай китайскій, и трубки разныя, и курительныя, и подзорныя, и всякія другія, и сукно, и коленкоръ, и сельди голландскія изъ Кинбурна, и духи французскіе фабрики Мусатова, и картины, и книги разныя.

— И книги?

— Что, вы шутить изволите? книги, кажись, плевый товаръ, никто его ни носитъ, ни кушаетъ, развѣ мыши подъ голодную руку, а товаръ превыгодный. Бывало, изберемъ у Василія Логинова въ долгъ вотъ какой большущій коробъ, только все норовимъ, чтобъ заглавія были позабористѣе да цѣны на оберткахъ повыше. Выѣхали въ губерніи да въ уѣзды и пустимъ въ прочетъ: гривна съ рубля по печатной цѣнѣ и залогъ возьмемъ; коли измаралъ или изорвалъ читатель книгу, она у него и остается, а залогъ у насъ.

— Вы, я думаю, сильно придирались къ пятнышкамъ.

— Придираться было нечего, невыгодно, скоро бы читатели осерчали и на дворъ никто бы не пустилъ, да и читатели народъ аккуратный: далъ залогъ, такъ бережетъ книгу, пуще своего дитяти родимаго. А мы, бывало, какъ пустимъ книжку въ зиму разъ десять въ прочетъ—вотъ она и окупилась; а привезли книги назадъ Логинову, онъ только двадцать копеекъ съ рубля скинетъ за провозъ, и концы въ воду; онъ не въ убыткѣ, да и мы не безъ барыша.

— Вотъ какъ!

— Точно такъ-съ, смѣю вамъ доложить, коммерческая была голова у Силы Кондратьича. Вѣрите ли, въ зиму трехъ цѣлковыхъ, бывало, не истратитъ на сѣно и овесъ, а о провизіи и говорить нечего; отъ помѣщика до помѣщика ѣдемъ, бывало, словно въ гости: и щей дадутъ, и рюмку вина поднесутъ, и лошадей вездѣ накормятъ. Да и зналъ Сила Кондратьичъ всѣ ихъ звычаи и обычаи, зналъ гдѣ зимуютъ раки.

— Что, небойсь, зналъ, гдѣ когда чьи именины и рожденіе, или гдѣ балъ или свадьба?....

— Это, ваше благородіе, дѣло немудреное, это и всякій ледащій разнощикъ вѣдаетъ, тутъ хитрости мало; другой разъ, бывало, Сила Кондратьичъ на иной балъ нарочно не ѣдетъ: „тамъ, говоритъ, нашего брата набралось теперь словно гнѣдыхъ лошадей на ярмаркѣ; мы пріѣдемъ когда особнякомъ, сами-по-себѣ, и поторгуемъ повыгоднѣе“... Бывало, пріѣдемъ въ иное барское село, Сила Кондратьичъ не лѣзетъ прямо во дворъ, а норовитъ пристать на ночь къ прикащику или писарю, да вечеркомъ и разспроситъ, здоровъ ли, молъ, баринъ Петръ Петровичъ? и какъ, молъ, идетъ хозяйство? и то, и другое; да коли пронюхаетъ, что у Петра Петровича деньги есть, прямо валитъ на дворъ—будетъ торговля: „у Петра Петровича, говоритъ, такая натура, что не любитъ лежачихъ денегъ“. А въ другомъ селѣ, у Ивана Иваныча, коли узнаетъ, что есть деньги, ни за что, бывало, не поѣдетъ: „я, говоритъ, знаю натуру Ивана Иваныча: онъ денегъ изъ рукъ не любитъ выпускать; простоишь у него день, а на рубль не купитъ, все будетъ прицѣняться да въ полцѣны давать, да колоть глаза, что на чистыя покупаетъ. За то какъ узнаетъ, бывало, Сила Кондратьичъ, что у Ивана Иваныча ни гроша за душой, на рысяхъ къ нему ѣдетъ и низко кланяется, входя въ переднюю.

— А, нечистая Сила! бывало, кричитъ ему на встрѣчу Иванъ Иванычъ:—зачѣмъ пожаловалъ, когда денегъ нѣтъ?... Кто тебя проситъ?

— У вашего высокородія денегъ куры не клюютъ, отвѣчаетъ Сила Кондратьичъ, и станетъ предлагать того, другого товарцу и по бакалейной части, и въ желѣзномъ родѣ, и изъ краснаго что-нибудь.

— Ладно, ладно; да вѣдь не шутя денегъ нѣтъ.

— Ничего, ваше высокородіе Иванъ Иванычъ, мы подождемъ, люди свои; у васъ деньги все-равно, что у насъ въ карманѣ, еще вѣрнѣе: никто не украдетъ.

Вотъ Иванъ Иванычъ и обрадуется, что деньги не теперь платить и начнетъ брать, что надо и чего ненадо—по возамъ какъ съ метлой пройдетъ — послѣ дастъ только росписку, что вотъ на такой-то ярмаркѣ получитъ съ него Силѣ Кондратьичу вотъ столько-то.

— И получали?

— Всегда вѣрно получали. Иванъ Иванычъ былъ богатый баринъ; не на одну тысячу, бывало, вывезутъ отъ него на ярмарку и холста, и шерсти, и воску, и прочаго домашняго продукта, а Сила Кондратьичъ ужь тутъ какъ тутъ, представитъ росписку писарю или управителю, писарю дастъ цѣлковый, управителя угоститъ мадерцой—и получитъ все сполна. Бывало, Иванъ Иванычъ какъ увидитъ Силу Кондратьича послѣ расплатки, ругаетъ его, ругаетъ и заклянется никогда ничего на

грошъ не брать, а глядишь, при безденежьи опять махнетъ на тысячу. Вотъ оно было какъ!

— А еще былъ у насъ одинъ знакомый баринъ, скупой прескупой, началъ говорить хозяинъ, видимо ободренный участіемъ проѣзжавшаго:—кажется, у такого взятки гладки, а Сила Кондратьичъ и его не одинъ разъ обработывалъ истинно коммерческимъ образомъ. Однажды, помнится, былъ у насъ курительный табачекъ, изъ вакштабовъ не самыхъ отличныхъ; купили-то мы его по рублю за фунтъ ассигнаціями, польстились, что картузы были чудовые, съ золотыми гербами, а подъ гербомъ надпись: *цѣна 5 рублей*. Продали мы картуза два, три, а другіе сѣли, не берутъ покупатели: кто въ силахъ заплатить 5, тотъ смекаетъ, какой табачокъ, а кто не смекаетъ въ немъ, то-есть вкусу, у того денегъ не хватаетъ, говоритъ дорого, а спустить цѣну непригоже; спусти табакъ—и другого прочаго покупать не станутъ; скажутъ: спусти, да и только! а иной товаръ, коли станешь спускать, такъ и по міру пойдешь. Вотъ Сила Кондратьичъ пріѣхалъ въ деревню къ скупому барину, окатилъ водою всѣ картузы лежалаго табаку, а ихъ было на полсотню, коли не болѣе, и пошелъ во дворъ спросить, не надо ли, молъ, товаровъ. „Ненадо", сказалъ скупой баринъ. „Просимъ прощенія", сказалъ Сила Кондратьичъ, вышелъ на дворъ да тутъ же, въ крайней избѣ, остановился кормить лошадей, вынулъ подмоченный табакъ, разложилъ его на землѣ противъ солнца, а самъ ходитъ кругомъ да охаетъ: „вотъ, говоритъ, бѣда сложилась: на 250 руб. Богъ убытку послалъ! переѣзжали, молъ, рѣку, дорогой табакъ подмочили; не то по своей цѣнѣ отдалъ бы, за полцѣны отдалъ бы". Погодя маленько, глядимъ, плютъ изъ барскаго двора за Силой Кондратьичемъ. „Какъ тамъ у тебя табакъ подмоченъ?" говоритъ ему скупой баринъ: „я, молъ, по христіанству его куплю" и началъ торговать. Бились, бились, хлопали по рукамъ словно на конной, и Сила Кондратьичъ спустилъ весь табакъ по два рубля за фунтъ. Вотъ какъ дѣльцо уладилось! вотъ какая голова была у Силы Кондратьича! За дрянь-товаръ рубль на рубль получили. Примѣрный, смѣю доложить, человѣкъ.

— И вы съ нимъ долго такъ торговали?

— Да не одинъ и не два года, можетъ статься, ѣздили бы и доселева, кабы не случился случай и не подковалъ насъ маленечко.

— Какой случай?

— Да просто оказія вышла. Вотъ, дѣло прошлое, а досель въ толкъ не возьму, какъ оно приключилось; лѣшій ли, что ли, обошелъ, или злые люди туману подпустили, а вышло куда нехорошо! Была въ одномъ уѣздѣ одна богатая барыня; мы ей всякую провизію доставляли и деньги получали исправно; получали такъ получали; ну, хорошо; вотъ она и заказала намъ привезть изъ Харькова съ крещенской ярмарки и осетра мороженаго, и рябчиковъ, и того, и другаго сотъ на пять рублей, и заказала къ такому-то числу, говоритъ: „доставить непремѣнно; я буду именинница, у меня будетъ балъ". Ладно, балъ такъ и балъ; мы съ нашимъ удовольствіемъ готовы добрымъ людямъ услужить. Ѣдемъ и спѣшимъ; гдѣ знакомые помѣщики просятъ подольше остаться, всѣмъ говоримъ: некогда, тутъ-то, молъ, затѣмъ-то пригоняемъ, и пріѣхали вовремя, какъ разъ наканунѣ именинъ. Глядимъ, а во дворѣ у богатой барыни экипажей, каретъ и кибитотъ стоитъ видимо-невидимо, гостей съѣхалось уже человѣкъ за сотню. Мы оставили товаръ у воротъ, а сами пришли въ переднюю; доложили о насъ, и высыпали гости.

— А! кричатъ:—Сила Кондратьичъ, что привезъ съ ярмарки?

— Все самое новое, самое свѣжее, особенно во вкусѣ, сказалъ Сила Кондратьичъ:—извольте полюбопытствовать, и подалъ реестръ.

— А книги есть? спросилъ баринъ въ очкахъ.

— Самыя свѣжія, московскія, отвѣчалъ Сила Кондратьичъ, и подалъ другой реестръ, уже книжный.

Не успѣлъ баринъ взглянуть на реестръ, какъ закричитъ:—Браво, господа, да у насъ въ уѣздѣ завелись сочинители!

— Гдѣ? какъ? что? закричали гости.

— Да вотъ написано: „Трактатъ объ улучшеніи торговлѣ хлѣбомъ", сочиненіе Ивана Курочкина.

— Ей-богу, не мое, сказалъ Курочкинъ и весь покраснѣлъ.

— „Открытіе секретовъ (продолжалъ баринъ въ очкахъ) для вѣрнѣйшей выварки свекловичнаго сахара", сочиненіе Петра Сапожкова.

— Помилуйте, какіе тутъ секреты? кричалъ Сапожковъ:—я и заводъ уже закрылъ —вы знаете.

— Поэма въ стихахъ (читалъ опять баринъ)—„Бѣгство Іосифа изъ дома Пентефрія", сочиненіе...

— Да это насмѣшка! закричалъ какой-то молодой баринъ, вырывая бумагу изъ рукъ барина въ очкахъ, а самъ покраснѣлъ пуще Курочкина и пошелъ въ другую комнату, за нимъ и всѣ повалили. Остались мы почитай одни съ Силой Кондратьичемъ, посмотрѣли другъ на друга, видимъ, что не-

ладно, а Богъ вѣсть, откуда бѣда сложилась. Слышно, какъ въ другой комнатѣ шумятъ господа словно пчелы, иной разъ захохочутъ — видно придетъ не въ мочь, а больше сильно сердятся, кричатъ... Вышелъ исправникъ да какъ прикрикнетъ на Силу Кондратьича:

— Гдѣ взялъ бумагу?

— Въ Харьковѣ написано въ книжной лавкѣ...

— Что ты околесную несешь! въ какомъ Харьковѣ? Вотъ я ужо разберу!...

Тутъ исправникъ сказалъ Силѣ Кондратьичу крѣпкое слово и велѣлъ идти вонъ.

— Мы вышли и хотѣли уѣхать, да насъ не пустили, а попросили во флигель, да тамъ мы просидѣли цѣлыя сутки и все къ намъ ходили то тотъ, то другой, все допрашивали: скажите правду... А что мы имъ могли сказать, коли и сами не понимали, чего они сердятся... Ужь вечеромъ пришелъ дворецкій, знакомый человѣкъ, и растолковалъ, что „вы, говоритъ, всѣхъ господъ привели въ оскорбленіе, вы на нихъ, говоритъ, пасквиль привезли: тамъ у васъ въ бумагѣ написано, что Курочкинъ хорошо хлѣбомъ торгуетъ, а онъ лѣтось продалъ его за безцѣнокъ на корню да коляску купилъ; тамъ написано, что Сапожковъ знаетъ, какъ варить сахаръ, а онъ проварился на сахарѣ, скоро ѣсть будетъ нечего. Вотъ и все тамъ такое у васъ обидное написано!...“ Мы только хлопали глазами, слушая рѣчи дворецкаго. Должно быть какой-нибудь злой человѣкъ нарочно обмѣнялъ реестръ у Силы Кондратьича, а онъ и отвѣчай! Много мы тутъ натерпѣлись безпокойствія, всилу вырвались съ именинъ... будь оно проклято, это мѣсто. Правда, вырвались-то мы чисты, да ужъ намъ не было ходу въ цѣлой округѣ, всѣ говорили, что мы ѣздимъ да развозимъ вѣдадныя гисторіи, и въ домы стали насъ пускать неохоче, а торговля-то пошла куда-какъ тише. Смекнулъ Сила Кондратьичъ, порѣшилъ къ веснѣ весь товаръ и пересталъ быть разнощикомъ.

— Теперь какъ намъ быть, хозяинъ? спросилъ я.

— А ты человѣкъ вольный, ступай на всѣ четыре стороны, коли не хочешь оставаться при мнѣ.

— Какъ, молъ, не хотѣть: я съ вами хоть въ воду полѣзу; да чѣмъ станемъ торговать?

— Спасибо, за доброе слово, сказалъ Сила Кондратьичъ:—дастъ Богъ доживемъ до настоящаго лѣта, поѣдемъ въ такую-то губернію, станемъ торговать медомъ; тамъ народъ не больно-торговый, авось пойдетъ дѣло, а ты у меня будешь прикащикомъ.

Вотъ мы и поѣхали въ такую-то губернію и помаленьку года въ три завели вотъ какую коммерцію!... вспомнить весело.

— Что же, вы посылали медъ въ Москву или въ Петербургъ? спросилъ проѣзжавшій.

— Куда намъ! это дѣло рисковое; что мы за первостатейные такіе, чтобъ по столицамъ бѣгать съ товаромъ! Сила Кондратьичъ распорядился по своему: мы покупали медъ и тамъ же продавали его на мѣстѣ.

— На мѣстѣ? тамъ же?

— Тамъ же, да еще брали барышей почитай рубль на рубль, а другой разъ, Богъ поможетъ, и больше.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Изволите видѣть, въ такой-то губерніи живетъ добрый народъ, да простъ, сердечный, маленечко, извернуться не мастеръ. Мы застали, что *сѣрый медъ* тамъ платился два цѣлковыхъ за пудъ, только бери пожалуйста, а поторгуйся али выжди случай, пожалуй, и спустятъ бывало.

— Какой это сѣрый медъ?

— Обыкновенно какъ есть, то-есть природный съ воскомъ, со всѣмъ, какъ изъ улья вывалятъ. Теперь доложу вамъ, чистый медъ, примѣрно безъ воску, въ видѣ патоки, продавался по три цѣлковыхъ, а воскъ желтый по пятнадцати цѣлковыхъ за пудъ. Вотъ мы, бывало, заплатимъ тамошнимъ обывателямъ за десять пудовъ сѣраго меду двадцать цѣлковыхъ, выцѣдимъ изъ него пудовъ восемь патоки, да вытопимъ пудъ воску, да имъ же и продадимъ цѣлковыхъ за сорокъ; воскъ на церковныя свѣчи, патоку барынямъ на варенье.

— А они развѣ этого не видѣли?

— Кто? тамошніе-то жители? какъ сталобыть не видѣли!... бывало, намъ въ глаза говорятъ: вотъ то и то, такъ и такъ, молъ; а у насъ одинъ отвѣтъ: дѣлайте сами.

— Что же они?

— А махнетъ рукой, да и пойдетъ. „Это, говоритъ, не наше дѣло; наши отцы умнѣе насъ были, да этого и сами не дѣлали и насъ не учили. Такой потѣшный народъ; самъ виноватъ, а иной разъ вотъ какъ разсердится, а все-таки заплатитъ денежки.

— А вы что?

— Смѣешься себѣ втихомолку да сколачиваешь деньгу—извѣстно, наше дѣло торговое. А въ той же губерніи развѣ дуракъ изъ гроша рубля не сдѣлаетъ. Вотъ хоть бы послѣдній годъ, какъ мы торговали медами, Сила Кондратьичъ нанялъ у одной барыни за десять цѣлковыхъ десять десятинъ земли, за селомъ версты четыре въ степи, да землю-то взялъ всю по берегу пруда. Пріѣхали мы весной пораньше, сдѣлали землянку, покрыли тростникомъ и зажили словно дома. Пришли къ намъ му-

жики и стали просить въ займы денегъ: „мы, говорятъ, что хотите заплатимъ послѣ петрова-дня, послѣ ярмарки“.

— Ладно, говоритъ Сила Кондратьичъ:— я вамъ дамъ денегъ до петрова-дня и росту не возьму, только кто хочетъ взять цѣлковый и отдать цѣлковый недѣлю послѣ петрова-дня, тотъ прежде попаши мнѣ цѣлый день мои степи, а за два цѣлковыхъ два дня.

Мужики назвали Силу Кондратьича отцомъ-благодѣтелемъ и на завтра пріѣхали пахать, и половину степи намъ живо распахали, а другую половину хозяинъ не далъ, оставилъ на траву кормить своихъ лошадокъ. Засѣяли мы нашу ниву огурцами, арбузами да дынями—и вышелъ богатѣющій баштанъ. Пололи намъ его деревенскія бабы, а мы съ Силой Кондратьичемъ да еще нашихъ два парня, такъ-себѣ, для удовольствія, для препровожденія времени все поливали ведерками то дыни, то арбузы, то огурчики, благо прудъ подъ рукой—поливать легко. Лѣто было жаркое, сухое, вездѣ баштаны выгорѣли, а у насъ Божья благодать. Рублей сотъ на пять продали мы этихъ, стало быть, земныхъ овощей, остались огурчики завалящіе, ледащіе, маленько приболѣлые, вѣстимо бракъ, что оставался отъ городскихъ покупателей. Пришли сельскія бабы и говорятъ: „Нужно бы огурчиковъ хоть вотъ этихъ похуже насолить въ зиму, да денегъ нѣтъ“.

— Эхъ вы, матушки, деревенскія сударушки! сказалъ имъ Сила Кондратьичъ: — развѣ я жидъ какой, мы съ вами и безъ денегъ сойдемся. Мы же покупаемъ съ парнями для провизіи гусей да уточекъ; мнѣ все равно, я вамъ на огурцы мѣнять стану. Для сосѣдей я готовъ на всякое снисхожденіе; послѣ помяните добрымъ словомъ.

И, батюшки! сколько намъ нанесли гусей да утокъ!... За утку мы давали шапку огурцовъ, за гуся двѣ шапки. А коли правду сказать, на деньги за шапку больше пятака никто бы не далъ. Мѣняетъ Сила Кондратьичъ гусей да утокъ, обрѣзываетъ имъ крылья, да такъ и швыряетъ съ берега въ прудъ. Къ осени и воды было не видно подъ птицами, не одна ихъ собралась сотня. Цѣлый день, бывало, плаваютъ себѣ наши гуси да утки по водѣ и полощутся и ныряютъ, а вечеркомъ пасутся, бывало, за прудомъ на барскихъ поляхъ. Сторожъ было сталъ говорить объ этомъ Силѣ Кондратьичу, да тотъ отвѣчалъ: „Эхъ ты, голова неразумная; и въ писаніи сказано: „птицы небесныя не жнутъ, не сѣютъ, а сыты бываютъ!“ вѣдь это не скотъ какой, а птицы!“ Далъ ему рюмку водки да гривенникъ—сторожъ и замолчалъ. А наши птицы къ осени вышли жирныя-прежирныя; мы ихъ посадили въ клѣтки да живьемъ и доставили въ Кіевъ; благо что везти было всего верстъ сотню.

— И выгодно продали?

— Съ рукъ на руки утку по рублю, а гуся по полтора на ассигнаціи! Вотъ какъ изворачивался Сила Кондратьичъ! Этой осенью мы поѣхали въ Середній городъ, тамъ Сила Кондратьичъ одружился на покойницѣ и началъ торговать на мѣстѣ, и меня разсчиталъ – дай Богъ здоровья—какъ слѣдуетъ, и я женился, да и обзавелся трактирнымъ заведеніемъ. Вотъ и живу здѣсь: оно покойнѣе и благоприличнѣе для моихъ лѣтъ; а все какъ вспомнишь бывалое, вотъ такъ руки и зудятъ!... жена да семья только держутъ здѣсь, а то, право, опять бы туда пустился... Уповательно и Сила Кондратьичъ вспомнилъ старину, дѣлать ему тутъ нечего, остался бобыль-бобылемъ, капиталу не занимать стать, поѣдетъ себѣ, да будетъ ворочать цѣлымъ краемъ. Вотъ изволите увидѣть!... такой человѣкъ Сила Кондратьичъ, такая ужъ коммерческая натура...

Словоохотливый хозяинъ еще было началъ разсказывать про Силу Кондратьича, но проѣзжавшій спросилъ ужинать и на завтра опять уѣхалъ. Только долго еще послѣ хозяинъ трактира вспоминалъ проѣзжавшаго и съ удивленіемъ говорилъ всѣмъ и каждому: „Вотъ былъ у меня человѣкъ, изволилъ имѣть ночлегъ въ заведеніи, вотъ, съ позволенія сказать, рѣдкостная душа, примѣрно сказать, безъ всякой амбиціи! обласкалъ меня, чаемъ изволилъ напоить и ромку прибавилъ, разговаривалъ преблагосклонно, будто съ своимъ братомъ, и при отъѣздѣ расплатился до копѣйки!...“

III.

Проѣзжавшій въ то время, когда удивилъ трактирщика въ Среднемъ городѣ своею вѣжливостью и безкорыстіемъ, былъ человѣкомъ молодымъ; потомъ онъ, по законамъ природы, все старѣлъ да старѣлъ и былъ уже сѣдымъ старичкомъ, когда я съ нимъ познакомился въ Кіевѣ. Онъ былъ кіевскій уроженецъ, давно уже вышелъ въ отставку и жилъ въ собственномъ очень миломъ домикѣ, обсаженномъ-итальянскими тополями. Отъ домика внизъ по крутой горѣ расположился террасами прекрасный небольшой садикъ, въ немъ зрѣли сочные персики и абрикосы, цвѣли цвѣты, за которыми съ отеческою заботливостью ухаживалъ самъ хозяинъ, и росло исполински-

раскидистое вѣтвистое дерево грецкаго орѣха; подъ душистою тѣнью этого дерева часто любилъ отдыхать старикъ-хозяинъ, сидя на дерновомъ диванчикѣ, вспоминая старину, и глядѣлъ на прелестную картину Днѣпра и зарѣчныхъ окрестностей, раскинутыхъ широко и далеко для глаза въ живой, свѣтлой панорамѣ. Домъ стоялъ выше сада, на самой горѣ; оттуда видъ былъ еще обширнѣе.

Пріѣхавъ осмотрѣть Кіевъ и не имѣя тамъ никого знакомаго, я очень обрадовался случаю сойтись съ этимъ почтеннымъ старичкомъ; много часовъ провели мы съ нимъ, бесѣдуя у него въ домикѣ или въ саду, подъ орѣховымъ деревомъ, а еще болѣе ходили и ѣздили по городу, посѣщали церкви, древности и разныя достопримѣчательности. Въ этомъ случаѣ мой старикъ былъ неутомимъ: съ юношескимъ жаромъ и увлеченіемъ онъ спѣшилъ показать туземныя рѣдкости, храбро спускался со мной въ подземныя пещеры и взбирался по крутымъ лѣстницамъ на верхи колоколенъ. Впрочемъ, подобное поведеніе человѣка не рѣдкость. У насъ, въ Россіи, жители провинціальныхъ городовъ особенно любятъ щеголять своими мѣстными рѣдкостями. Только не думайте, чтобъ это было что-нибудь въ родѣ *чичероне*, въ надеждѣ получить *приличное вознагражденіе*; напротивъ, добрый провинціалъ покажетъ вамъ всѣ достопримѣчательности своего города и, пожалуй, за это еще накормитъ васъ обѣдомъ.

Отчего это и для чего это—не мое дѣло разбирать подобныхъ вопросовъ; довольно только, что это часто бываетъ.

Въ день, кажется, Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ, бываетъ въ Кіевской лаврѣ великолѣпная обѣдня и послѣ подъ открытымъ небомъ на множествѣ столовъ, расположенныхъ на монастырскомъ дворѣ, угощаютъ обѣдомъ всѣхъ неимущихъ, какъ кіевскихъ, такъ и приходящихъ нарочно къ этому дню изъ окрестностей, а иногда даже очень издалека. Мы съ старичкомъ кіевлянином смотрѣли этотъ истинно патріархальный праздникъ и, возвратясь домой, я замѣтилъ доброму старику, что очень удивляюсь, видя его немного скучнымъ, и что онъ, всегда веселый, всегда довольный, теперь долженъ бы быть еще веселѣе, будучи свидѣтелемъ такого прекраснаго праздника.

— Я веселъ и спокоенъ оттого—отвѣчалъ старикъ, —что у меня совѣсть покойна. Служилъ и долго и вышелъ въ отставку въ тотъ самый домикъ, изъ котораго меня отправилъ отецъ на службу, вышелъ въ отставку, не вынеся ничего, кромѣ дружбы и признательности моихъ товарищей и подчиненныхъ... а задумался я оттого, что вспомнилъ одно удивительное приключеніе; оно случилось въ этотъ самый день давнымъ давно, еще въ моей молодости. Если хотите, я вамъ разскажу его.

Мы ушли въ садъ, сѣли на диванчикъ подъ орѣховымъ деревомъ, и старикъ разсказалъ подробности своего путешествія по казенной надобности, свои ночлеги въ Среднемъ городѣ и разговоры съ уѣзднымъ лекаремъ и средненскимъ трактирщикомъ —словомъ, все то, что вы, надѣюсь, уже прочитали въ моемъ разсказѣ.

— Въ молодости впечатлѣнія дѣйствуютъ сильнѣе, продолжалъ старикъ:—и, признаюсь, нѣсколько дней изъ головы моей не выходилъ разсказъ о Силѣ Кондратьичѣ; мнѣ все мерещилась передъ глазами его длинная, тощая фигура, съ сѣдою бородой, тихо идущая по улицѣ, словно тѣнь, и смиренно-робко отвѣчающая на поклоны встрѣчныхъ. Наконецъ, я заѣхалъ погостить сюда къ покойному моему батюшкѣ и въ семейныхъ разговорахъ и хлопотахъ уже началъ было совершенно забывать страннаго старика, исчезнувшаго такъ неожиданно изъ Средняго города. Въ такой точно праздникъ, какъ сегодня, мы отправились съ отцемъ къ обѣдни въ лавру, даже, помнится, и погода тогда была точно, какъ теперь: чисто, свѣтло, жарко. Окончилась обѣдня, стали выходить изъ церкви, глядимъ—у воротъ собралась куча народу и на монастырскій дворъ въѣзжаетъ большая русская крытая телѣга, тяжело нагруженная; тройка добрыхъ лошадей въ силу тащутъ ее шагъ за шагомъ, а сами въ поту, будто изъ воды сейчасъ вышли; изъ-подъ хомутовъ и шлеи кусками падаетъ бѣлая пѣна: видно, что тяжела телѣга; за ней идетъ, опустя внизъ голову, сложа руки крестомъ на груди, высокій, сѣдой человѣкъ, безъ шапки. Не успѣлъ я взглянуть, какъ узналъ въ немъ таинственнаго купца Средняго города, Силу Кондратьича. Телѣга остановилась прямо противъ церковныхъ дверей, на мощенномъ дворѣ; усталыя лошади лѣниво стояли, опустивъ до земли головы. Сила Кондратьичъ сказалъ что-то одному человѣку, стоявшему близь него въ толпѣ, и тотъ, снявъ шапку, отдѣлился отъ толпы и побѣжалъ въ церковь. Народъ собирался вокругъ телѣги все болѣе и болѣе, и мы съ покойнымъ отцомъ подошли поближе. Скоро изъ церкви вышло нѣсколько монаховъ съ настоятелемъ. Сила Кондратьичъ, кланяясь въ поясъ, поговорилъ съ настоятелемъ, и монахи стали вокругъ телѣги, раздвинувъ немного народъ, такъ что между народомъ и телѣгой образовалась пу-

стота. Тогда Сила Кондратьичъ взялъ въ руки изъ телѣги большой топоръ, перекрестился, подошелъ къ телѣгѣ сзади, ударилъ разъ, другой, третій... щепы полетѣли въ стороны и, треща, отвалился задокъ телѣги, вслѣдъ, словно вода, сверкая и звеня, посыпались, полились на землю серебряные рубли. Въ минуту за телѣгой выросла высокая куча цѣлковыхъ; я думаю, ихъ тамъ былъ не одинъ десятокъ тысячъ!... Народъ ахнулъ и притихъ, а Сила Кондратьичъ сказалъ настоятелю:

— Это все ваше, все принадлежитъ церкви, а я самъ великій грѣшникъ. Слушайте, добрые люди, мою исповѣдь, да простите меня, грѣшнаго, и дайте умереть въ монастырѣ; пусть я тяжкими работами заслужу прощеніе и покой душевный...

И сталъ онъ на колѣни противъ церкви и началъ исповѣдывать свою жизнь.

„Я, говоритъ, былъ круглый сирота, не зналъ ни отца, ни матери, а какъ себя помню, выросъ въ Среднемъ городѣ у тетки; тетка сама была неимущая и побиралась милостыней, и было мнѣ лѣтъ почитай четырнадцать, какъ пришли мы съ теткой вотъ сюда, ко святымъ угодникамъ, Богу помолиться. Не знаю, какъ тетка, а я, грѣшный человѣкъ, мало думалъ о душѣ своей, все только по сторонамъ поглядывалъ, гдѣ бы какъ подурачиться да поозорничать... извѣстно, добрые люди, выросъ безъ надзору, словно дикое дерево въ лѣсу во всѣ стороны пускаетъ вѣтви...

„И пошли мы съ теткой въ святыя пещеры поклониться угодникамъ Божіимъ; впереди шелъ монахъ невеличкій, худенькій старичокъ, со свѣчкою въ рукахъ—какъ теперь гляжу на него, хотя много прошло съ тѣхъ поръ времени; за монахомъ шла какая-то барыня, клала передъ угодниками земные поклоны и оставила нѣсколько серебряныхъ рублей; за барыней шла моя тетка, и я съ нею, а за нами еще тянулось много народу. Рѣдко видалъ я серебряные рубли и тутъ сначала глядѣлъ на нихъ въ оба глаза, потомъ попробовалъ тронуть одною рукою: ничего, не жжется. Я еще попробовалъ... не молился я, добрые люди, и соблазнилъ меня врагъ рода человѣческаго... Выходя изъ пещеръ, я вынесъ въ карманѣ чужой цѣлковый — каюсь въ этомъ; я укралъ цѣлковый, укралъ у церкви, укралъ подаяніе барыни—и страшно стало мнѣ, выходя изъ пещеръ, и чуть не упалъ я въ ноги монаху, когда онъ, задувая свѣчку въ церкви, пристально посмотрѣлъ на меня.

„И вотъ, добрые люди, съ чужимъ цѣлковымъ я ушелъ отъ тетки, накупилъ яблоковъ и сталъ продавать ихъ; послѣ накупилъ ленточекъ, сережекъ и всякой мелочи и съ коробкой пошелъ по селамъ: все мнѣ удавалось, и съ годами мой торгъ дѣлался лучше и лучше, сталъ я и афеней и медомъ торговалъ, и хлѣбомъ, и всѣмъ, пока не разбогатѣлъ, а тогда пріѣхалъ на родину, женился и обзавелся домомъ какъ слѣдуетъ. И зажилъ я въ гордости, думалъ только о златомъ тельцѣ, а не думалъ о душѣ своей; выучился я, торгуя, и грамотѣ, да не читалъ хорошихъ святыхъ книгъ, а читалъ да писалъ грѣшные счеты да расчеты... Теперь во всемъ каюсь! И вотъ Богъ благословилъ меня семействомъ, а я все не думалъ о грѣхѣ своемъ, не думалъ, откуда все это взялось у меня и какими путями; да какъ опозорила старшая дочь мою голову, тогда только впервые подумалъ я, ужъ не караетъ ли меня Господь за старые грѣхи? и въ ту же ночь явился мнѣ во снѣ маленькій, худенькій старичокъ монахъ, поглядѣлъ на меня строго и задулъ свѣчку, какъ въ тѣ поры, когда я, мальчикомъ, укралъ здѣсь цѣлковый!... Всяческія мысли взяли меня на другой день, да тутъ пришла жена, прибѣжала дочь въ новомъ платьѣ, принесъ сынъ счеты по подрядамъ—и земное взяло свое, и забылъ я стараго монаха. Опять Богъ наказалъ меня—и въ одну ночь я сталъ круглымъ сиротой: похоронилъ я жену и остальныхъ дѣтей въ одной могилѣ, и опять пришло мнѣ на умъ мое прегрѣшеніе, и опять ночью явился мнѣ монахъ, поглядѣлъ на меня строго и задулъ свѣчку; дымъ отъ свѣчи побѣжалъ далеко, далеко, и почудилось мнѣ, въ этомъ дымѣ полетѣли моя жена и дѣти; я протянулъ къ нимъ руки, а монахъ погрозилъ мнѣ и сказалъ тихо, да такъ, что у меня вся душа перевернулась: *воръ! святотатецъ!* Правда, добрые люди, глядите на меня, вотъ я весь тутъ, все помню—я *святотатецъ!* Плюйте на меня, братцы! ругайтесь надо мной—мнѣ легче будетъ... И съ той поры каждую ночь являлся мнѣ монахъ, задувалъ передо мной свѣчку и говорилъ: *воръ, святотатецъ!*... Ужъ чего я ни дѣлалъ: и молился, и раздавалъ милостыню, и служилъ молебны—видѣніе не оставляло меня въ покоѣ. Бывало, сонъ меня мучитъ, а боюсь закрыть глазъ; чуть забудусь—ужъ стоитъ передо мной маленькій монахъ, худой, блѣдный, кажется, и силы въ немъ нѣтъ никакой, а скажетъ слово—душа замираетъ, а глядитъ на тебя —всѣ жилы дрожатъ, волосы трещатъ на головѣ отъ ужаса, и кости мертвѣютъ; а онъ глядитъ, словно двумя стрѣлами колетъ прямо въ сердце... Каюсь, добрые люди, и врагу своему не желаю такой муки... И вотъ я вижу, что не уйти мнѣ отъ моей

вины, хоть ея и никто не знаетъ, задумалъ все свое добро отдать туда, откуда пришло оно, продалъ все, собралъ деньги въ повозку и поѣхалъ прямо въ лавру; много лѣтъ назадъ я вышелъ отсюда съ цѣлковымъ, а теперь ворочаюсь съ тысячами. Возьмите все, святые отцы, да отдайте мнѣ мой покой, позвольте мнѣ постричься въ монахи и вымолить въ тяжкихъ трудахъ себѣ прощеніе"...

— Вотъ какую, или почти такую исповѣдь я слышалъ когда-то въ сегодняшній день въ лаврѣ... И она на меня сильно подѣйствовала; жаль, что я не могу передать ее отъ слова до слова, въ тѣхъ простыхъ и сильныхъ выраженіяхъ, какъ говорилъ ее Сила Кондратьичъ, крестясь и рыдая какъ ребенокъ. Жалко мнѣ было смотрѣть на этого старика, доведеннаго мученіями совѣсти почти до изступленія... Многіе, глядя на него, плакали, многіе съ ужасомъ смотрѣли на жалкаго старика, а многіе робко озирались, будто желая узнать, не глядитъ ли и на нихъ какой обличительный глазъ. Извѣстно, толпа всегда составлена изъ людей разнохарактерныхъ!... Я во всю мою жизнь не могъ забыть этого дня и, можетъ быть, видъ каявшагося Силы Кондратьича иногда и меня спасалъ отъ какого-нибудь невольнаго грѣховнаго поползновенія во время моей службы.

— А развѣ случалось? спросилъ я.

— Кому на вѣку чего не случалось? простодушно замѣтилъ старикъ.—Жизнь—то же море: иногда случайно набѣжишь на подводный камешекъ; съумѣешь увернуться—поплывешь далѣе, а не то—тутъ тебѣ и крушеніе... Благодаря Бога, теперь я уже въ пристани... А вонъ тѣ еще идутъ, Богъ вѣдаетъ, куда и зачѣмъ...

И старикъ показалъ рукою на Днѣпръ. Тамъ по синему разливу плыло нѣсколько купеческихъ судовъ; на нихъ слышны были веселыя пѣсни; на полныхъ парусахъ, сверкая, догоралъ розовый лучъ заходившаго солнца.

1848 г

Полтавскіе вечера.

ВЕЧЕРЪ ПЕРВЫЙ.

Полтава очень хорошенькій городокъ. Мнѣ рѣдко случалось видѣть площадь красивѣе полтавской, на которой стоитъ памятникъ Петру Первому; только жаль, что эта площадь засажена высокими деревьями, и они скрываютъ отъ глазъ прекрасныя зданія, ихъ окружающія. Будь, вмѣсто деревьевъ, кустарники, тогда бы открывалась разительная общность картины, и площадь, не теряя своей южной физіономіи, была бы, кажется, еще красивѣе. Отъ площади идетъ къ собору чудная Александровская улица, обсаженная пирамидальными тополями; далѣе, за соборомъ, у крутаго берега открывается необозримый горизонтъ луговой стороны Ворсклы, пересѣкаемой прихотливыми изгибами рѣчнаго русла, зелеными равнинами, садами, рощами, селами... и все это, уходя далѣе и далѣе отъ глазъ, наконецъ сливается въ темноголубую черту съ горизонтомъ темнаго неба... иногда на этой чертѣ, при закатѣ солнца, ярко горятъ и трепещутъ, какъ искры, золотые кресты далекихъ церквей и колоколенъ. Налѣво, на горѣ, изъ темной дубовой рощи красиво возвышаются бѣлыя башни монастырей; направо стелются безконечные сады... Долго можно простоять на одномъ мѣстѣ, глядя на эту картину, и унести навсегда о ней пріятное воспоминаніе... Очень хорошенькій городокъ Полтава! Но, извините, въ этой картинѣ есть и свои темныя стороны: это— пыль и грязь. Напрасно петербуржцы, отрекаясь отъ грязи, считаютъ себя знатоками пыли: они не имѣютъ никакого понятія о провинціальной пыли вообще и о полтавской въ особенности. Въ Петербургѣ пылью называютъ каменный порошокъ безъ вкуса и запаха, которымъ услужливый вѣтеръ постоянно засыпаетъ глаза всѣмъ жителямъ въ столицѣ; напротивъ, въ Полтавѣ пыль мягкая, легкая, какая-то бархатная пыль, способная окрасить васъ въ нѣсколько минутъ будто сажей, и притомъ непроизводящая ни чиханій, ни икоты, какъ ея петербуржская сестрица; полтавская пыль, способная стоять въ воздухѣ долго безъ помощи вѣтра, словно туманъ, а съ вѣтромъ производитъ такія фантастическія облака, что часто затмѣваетъ солнце. А полтавская грязь— выше всякаго описанія; кто ея не испытывалъ, тому можно только сказать: приди и виждь!

Въ іюлѣ 184* года я пріѣхалъ въ Полтаву передъ вечеромъ, напутствуемый облаками мѣстной пыли. Хотя день былъ жаркій, душный и безвѣтренный, однако пыль, словно живая, черными тучами и клубами поднималась изъ-подъ лошадиныхъ ногъ, изъ подъ колесъ и высокими столбами летѣла за экипажемъ. Съ послѣдней станціи во всю дорогу ямщикъ ругалъ пыль, отплевывался отъ нея и желалъ дождя... Я полагаю, его желаніе было услышано: ночью загремѣлъ громъ, засверкала молнія, и полилъ дождь какъ изъ ведра.

Поутру я съ ужасомъ увидѣлъ, что улица передъ моими окнами превратилась въ какое-то озеро жидкой грязи. Вскорѣ на грязи явились экипажи; они, казалось, не ѣхали, а плыли; измученныя лошади съ трудомъ поднимали ноги, обдавая брызгами встрѣчныхъ и поперечныхъ. По ту сторону улицы, подъ заборомъ, шли и лѣпились очень странные люди: они были одѣты порядочно, во фракахъ съ свѣтлыми пуговицами и въ круглыхъ шляпахъ, но вмѣсто обыкновенной обуви имѣли на ногахъ какіе-то широкіе, глубокіе и пребезобразные ботфорты. Сначала я думалъ, что это страждущіе водяною въ ногахъ переходятъ куданибудь изъ больницы; но здоровый и красный цвѣтъ лица пѣшеходовъ явно противорѣчилъ моему предположенію. Наконецъ,

мой хозяинъ объяснилъ мнѣ, что это вовсе не больные, а тѣ изъ господъ служащихъ, которые не имѣютъ своихъ экипажей и должны отправляться по образу пѣшаго хожденія, для чего во время грязи надѣваютъ особенныя туземныя калоши, въ родѣ широкихъ сапоговъ почти до пояса, въ которыя стоитъ только вскочить и потомъ смѣло можно идти по улицѣ до мѣста, гдѣ выскочишь изъ нихъ и сухъ, и чистъ.

Изъ этого объясненія я вывелъ глубокомысленное заключеніе, что, кромѣ калошъ обыкновенныхъ, мѣховыхъ, резинковыхъ, калошъ съ машинками и иныхъ хитрыхъ изобрѣтеній девятнадцатаго вѣка, есть еще въ нашемъ любезномъ отечествѣ калоши полтавскія, никѣмъ не изслѣдованныя и неописанныя... Прямая польза отъ путешествія!

Дѣла—отъ которыхъ да избавитъ васъ Аллахъ!—продержали меня въ Полтавѣ около недѣли. Ходить по грязи не было никакой возможности, ѣздить тоже гадко; пришлось бы умереть со скуки, еслибы судьба не свела меня съ однимъ очень милымъ человѣкомъ. Каждый вечеръ у него собирались два, три добрые пріятеля, пили чай на балконѣ, выходящемъ на красивую Александровскую улицу, и говорили. Можетъ-быть, для нихъ разсказы другъ друга и не были очень интересны, но для меня они показались занимательными, и я, пріѣзжая домой, записывалъ ихъ.

На балконѣ сидѣло, кромѣ меня, четверо: хозяинъ, одинъ молодой помѣщикъ, бывшій воспитанникъ университета, еще помѣщикъ, постарше и потолще молодаго, и сѣдой отставной чиновникъ. Сперва говорили о недоимкахъ и хлѣбныхъ урожаяхъ, о машинахъ и лошадяхъ, а впослѣдствіе разговоръ принялъ направленіе анекдотическое, и послѣ двухъ-трехъ анекдотовъ, очень извѣстныхъ всѣмъ и каждому, которые вы, я думаю, читали уже не разъ или въ альманахѣ анекдотовъ, или въ прибавленіяхъ къ польскимъ бердичевскимъ календарямъ, молодой помѣщикъ разсказалъ приключеніе изъ своей будничной жизни. Въ немъ, если хотите, мало эффектовъ, мало ужасовъ, но, мнѣ казалось, довольно-вѣрно схваченъ бытъ нѣкоторыхъ людей, населяющихъ нашу обширную Русь. Передаю его, какъ записалъ со словъ разскащика.

I.

Въ нашемъ уѣздѣ живетъ отставной профессоръ, человѣкъ ученый, можетъ-быть, и очень ученый—о немъ не нашему брату, провинціалу, судить; только для насъ онъ бываетъ немного страненъ. Онъ человѣкъ не злой, непьющій, способный дать иногда хорошій совѣтъ, иногда ссудить небольшими деньгами и, несмотря на все это, стоитъ только гдѣ-нибудь въ знакомомъ обществѣ сказать имя отставнаго профессора—и всѣ начинаютъ улыбаться, всѣ лица принимаютъ выраженіе, ясно говорящее: „какъ не знать этого чудака!“ Какъ мнѣ кажется, отставной профессоръ, несмотря на свои сѣдины, имѣетъ много въ себѣ ребяческаго: цѣлый вѣкъ возясь съ книгами, онъ отсталъ отъ обыкновеннаго хода вещей будничной жизни, и притомъ, занимаясь болѣе древними классиками, онъ совершенно огречился и облатинился; ему кажется странно, отрывая глаза отъ книги, встрѣчать становыхъ, прапорщиковъ и чиновниковъ, и онъ ищетъ вокругъ себя квесторовъ, ликторовъ и трибуновъ. Въ обыкновенномъ разговорѣ онъ употребляетъ книжныя слова—не изъ упрямства, какъ старовѣры, а по привычкѣ; онъ въ жизнь свою вдвое болѣе читалъ, нежели говорилъ и слушалъ.

Порядочный невѣжда въ новой исторіи Европы вообще и въ отечественной въ особенности, онъ знаетъ въ точности міръ древній и можетъ безошибочно описать складки на плащѣ Эпаминонда и Пелопида, разскажетъ, какіе были ремешки на вооруженіи Сципіона Африканскаго, и готовъ спорить, и спорить не шутя, какимъ хлѣбомъ завтракалъ знаменитый врачъ Галенъ, когда составлялъ свою знаменитую теорію о четырехъ темпераментахъ. Это, можетъ-быть, и была причина, отчего отставной профессоръ былъ будто немного не на мѣстѣ между своими уѣздными сосѣдями, и за это, быть-можетъ, всѣ любили отставнаго профессора, даже уважали его, да еще нѣкоторые, значительно подымая кверху брови, говорили о немъ: „о! это голова!“ и при всемъ томъ всѣ находили его страннымъ и, пожалуй, были не прочь при случаѣ посмѣяться надъ нимъ.

Профессоръ, выйдя въ отставку съ порядочнымъ пенсіономъ, поселился въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, построилъ себѣ уютный домикъ, называлъ спальню жены своей гинекеемъ, свою жену—матроной, о чемъ она въ продолженіи двадцати лѣтъ своего супружества горячо спорила, говоря: „за что я терплю? за что меня произвели въ Матрены, когда при крещеніи я названа Аделаидой, когда мое романическое имя всегда было завидно моимъ подругамъ?“

— А что такое романы? говаривалъ профессоръ:—пустословіе, сказки, соблазнительныя сказки, не къ добру ведущія юноше-

ство; и давать имя романическое пристойно только гетерамъ.

— Опять понесъ дичь!

— Нѣтъ не дичь, другъ; матрона—почетъ; только надобно не такъ произносить, какъ ты.

— Хорошъ почетъ! какъ ни выговаривай, а все грубо.

— Да это имя эпическое...

— Еще этого недоставало! Вы на старости лѣтъ ужасно завираетесь!..

Послѣ подобной размолвки, бывало, отставной профессоръ сдвинетъ плечами и долго ходитъ по комнатѣ мѣрными шагами, вѣроятно, разсуждая, какъ бы хорошо имѣть ему жену гречанку, римлянку, или по крайней-мѣрѣ сабинянку.

У отставнаго профессора есть садикъ, въ которомъ цѣлое лѣто онъ почти живетъ безвыходно, самъ прививаетъ деревья, садитъ, пересаживаетъ, обрѣзаетъ вѣтви, поливаетъ цвѣты, огородные овощи и по цѣлымъ часамъ сидитъ у пчелиныхъ ульевъ съ книгою въ рукахъ. Эта книга, въ желтомъ пергаментномъ переплетѣ, старинное изданіе на латинскомъ языкѣ георгикъ Виргилія. Отсюда профессоръ почерпаетъ свои свѣдѣнія о пчелахъ и, какъ онъ выражался, свѣряетъ, сколь пчелы наши скиѳскія различествуютъ въ обычаяхъ и нравахъ отъ пчелъ римскихъ.

Зимой онъ больше проводилъ время въ кабинетѣ, читалъ въ оригиналахъ греческихъ и римскихъ классиковъ, а иногда, къ ужасу своей супруги, вдругъ являлся на кухнѣ съ книгой и самъ стряпалъ какое-нибудь гомеровское кушанье.

Въ кабинетѣ у него много книгъ въ старинныхъ переплетахъ, разбросанныхъ по столамъ, окнамъ и даже по полу; много пыли, мышеловокъ, сигарныхъ окурковъ; въ углу стоитъ, неизвѣстно для чего, старое ружье со штыкомъ, а на карнизѣ печки нѣсколько кусковъ стали, куча кремней и листъ населитренной бумаги, въ которую профессоръ высѣкаетъ огонь изъ кремня кусочкомъ стали. Несмотря на всеобщее распространеніе химическихъ спичекъ, онъ ихъ отвергаетъ, увѣряя, что высѣкать огонь изъ кремня пріятнѣе, торжественнѣе и даже здоровѣе; что этотъ процессъ доставляетъ моціонъ, особливо если попадется тупой кремень.

Прошлой зимой я какъ-то вечеромъ заѣхалъ навѣстить отставнаго профессора; онъ мой ближній сосѣдъ, притомъ, несмотря на нѣкоторыя свои странности, человѣкъ очень добрый, и я люблю его.

Профессора засталъ я въ кабинетѣ одного, въ какой-то долгополой бекешѣ на сибиркахъ, съ длинной трубкой въ рукахъ и въ красной ермолкѣ на головѣ; онъ сталъ передъ столомъ, на которомъ весело кипѣлъ пузатенькій самоваръ, молодецки пуская направо и налѣво кудрявыя облака пару. Профессоръ заботливо ухаживалъ за чайникомъ, укрывая его камчатной огромной салфеткой, словно больного. На мое привѣтствіе онъ очень ласково отвѣчалъ: „добро пожаловать!“, поставилъ къ столу трубку и началъ обнимать меня, повторяя:

— Очень долгое время, давно я не видалъ васъ! Насилу вы навѣстили моихъ пенатовъ.

— А вы, небойсь, сами меня никогда не навѣстите.

— Я? нѣтъ, все собираюсь; даже однажды совсѣмъ было выѣхалъ, да мои буцефалы, испугавшись какого-то деревенскаго цербера, изломали мою колесницу—я и остался!.. да что я говорю! дважды я къ вамъ собирался, да все что-нибудь помѣшаетъ.

— Вы собирались, а я вотъ и пріѣхалъ.

— Весьма благодаренъ, весьма! тѣмъ паче, что вы прибыли ко мнѣ въ самыя неблагопріятныя для меня календы.

— Какъ такъ?

— Да такъ; тутъ выйдетъ цѣлая аѳтоніанская хрія, если повѣствовать сообразно риторическимъ правиламъ. Во-первыхъ, моя матрона меня оставила, поѣхала верстъ за сто на богомолье, а я остался одинъ вотъ уже третій день, да еще денька три, вѣрно, проскучаю. Во-вторыхъ, вчера заѣхалъ ко мнѣ разнощикъ, знаете, съ московскимъ сыромъ, разными оловянными трубками, купоросомъ, картинами и прочими мелочами, между ними у этого Коріолана были и книги. Купилъ я у него табаку, хорошенькихъ сигаръ, нѣсколько инбирю да еще чего-то изъ мелочей, а онъ мнѣ и предлагаетъ книгу; я его послалъ къ Плутону съ книгой. А онъ—прехитрый каналья! — прикинулся простенькимъ, будто ничего ни понимаетъ, и говоритъ:

— Извините, ваше высокоблагородіе, я не плутъ, и книгу предлагаю за безцѣнокъ оттого, что случай вышелъ; а книга хорошая; не будь случая, я бы и за девять рублей не отдалъ бы: себѣ десять стоитъ.

— Ни гроша не дамъ. Вѣрно какія-нибудь сказки!..

— Я знаю, что вы неохотники до нашихъ книгъ, да я съ васъ и гроша не возьму, лишь бы продать, такой случай вышелъ.

— Стой! сказалъ я: ты заврался! говори по пунктамъ: во-первыхъ, какая книга?

— Книга хорошая, отвѣчалъ онъ:—въ четырехъ частяхъ, подъ заглавіемъ: „Американскія Степи“.

— Ну, это еще ничего; книга должна быть статистическая и географическая. Во-вторыхъ, какое съ ней было приключеніе?

— Приключенія никакого, а случай вы-

шелъ: брали ее на прочетъ какіе-то господа, да чѣмъ-то такимъ облили—Богъ ихъ прости!—что никто и въ руки не беретъ книги, ни покупаютъ ее, ни читать не берутъ. Барыни говорятъ: голова болитъ отъ этого духу, и мнѣ сулятъ за нее всякую всячину.

— Какой же у нея духъ? спросилъ я.

— Я не вѣдаю, отвѣчалъ онъ, только духъ непригожій, не то деготь, не то что другое; сами изволите потрудиться понюхать, авось узнаете.

— Потрудиться-то ничего, трудъ тутъ небольшой, да, можетъ-быть, тамъ чортъ знаетъ что такое.

— Запахъ, правда, не садовой, да ничего, мы нюхали.

— Ну, хорошо; а паче чаянія я, понюхавши, найду достойною покупки, тогда тутъ же ты долженъ объявить цѣну.

— Да я сказалъ вашей милости, что задаромъ отдамъ... Вотъ у васъ въ передней, я видѣлъ, лежитъ тулупчикъ ледащій, повытертый; вотъ вы мнѣ его дайте, для парня укрываться, а я вашей милости дамъ книгу.

— Пожалуй, неси ее сюда: посмотримъ и понюхаемъ.

— Точно, книга на видъ оказалась порядочная, но пахла чѣмъ-то сильно непріятно, очень похожимъ на ассафетиду; я полагаю, тѣмъ составомъ, которымъ намазывали себѣ тарелки древніе персы во время пиршествъ.

Подумалъ я, халатъ служилъ мнѣ долгое время и, по непреложнымъ законамъ старика Сатурна, долженъ былъ скоро отправиться на ту сторону Стикса и уничтожиться; а книга учебная—вещь, хоть немного и припахиваетъ гнилью, да нѣтъ положенія или педантическаго правила, чтобы географіи пахли резедой. Подумалъ и заключилъ съ продавцомъ мѣну: ему вручилъ халатъ, а самъ получилъ книгу „Американскія Степи“, и тотчасъ же отдалъ ее повариxѣ, дабы она предварительно просушила и провѣтрила залитые неизвѣстнымъ составомъ листы.

— Тутъ я не вижу ничего для васъ непріятнаго, если вы купили книгу выгодно.

— Помедлите немногое время и увидите, здѣсь было зло только подъ личиною, какъ выразился Кантемиръ: ядъ подъ мягкимъ хлѣбомъ... Сегодня опять новое несчастіе: утромъ явилась повариха и спрашиваетъ: что готовить къ обѣду? Этотъ вопросъ породилъ во мнѣ множество вопросовъ относительно нашей славянской кухни. Я давно уже догадываюсь, что она не въ надлежашей гармоніи съ натурой человѣка; притомъ же у меня уже нѣсколько дней будто ящерицы и драконы бѣгаютъ въ желудкѣ, видимо отъ снадобій, которыми я питаюсь, и питаюсь въ маломъ количествѣ, между-тѣмъ какъ древніе просто объѣдались лежа, объѣдались—и были здоровы! Истинно былъ золотой вѣкъ! Вотъ я и вздумалъ попировать на-манеръ древнихъ: прочитавъ кое-что о пирахъ Лукулла, выбралъ кушанье, болѣе приличествующее моему карману, самъ отправился на кухню и своеручно его приготовилъ.

— Какое же это было кушанье?

— Кушанье отличное: окорокъ въ римскомъ вкусѣ. Я приказалъ содрать съ него кожу, самъ вотъ этимъ ножемъ надѣлалъ въ немъ множество надрѣзовъ и наполнилъ ихъ сушоными финиками, лаврами, чеснокомъ и тминомъ, потомъ обмазалъ чистѣйшимъ медомъ и велѣлъ поставить въ печь.

— А еще что будетъ? сдѣлала мнѣ вопросъ повариха.

— Больше ничего, отвѣчалъ я и тутъ же замѣтилъ въ чертахъ физіономіи поварихи что-то зловѣщее, да подумалъ: она добрая баба, только не образована, и потому питаетъ отвращеніе къ древней кухнѣ.

Пришла обѣденная пора; мой желудокъ сталъ вопіять о пищѣ. Давай сюда римскій окорокъ! отрѣзываю, беру въ ротъ и—ужасаюсь...

— Вышелъ невкусенъ?

— Какое не вкусенъ! рѣшительно неудобенъ для употребленія! Медъ сгорѣлъ и сталъ горьче полыни, притомъ самъ окорокъ распространилъ отвратительный запахъ. Видите, тутъ, я полагаю, погрѣшила повариха и подложила чего-то несъѣдомаго. Въ другой разъ самъ не отойду отъ печки. Эти бабы, кромѣ щей, ничего не смыслятъ приготовить! Впрочемъ, я радъ былъ бы покушать хоть этого славянскаго кушанья, да ничего не было, кромѣ окорока въ меду, и я, волей и неволей, пообѣдалъ какъ пустынникъ: хлѣбомъ, медомъ и финиками.

Непріятный запахъ окорока напомнилъ мнѣ о купленной книгѣ, и я, утоля свой голодъ, приказалъ принести „Американскія Степи“, въ надеждѣ хоть духовно напитаться статистическими свѣдѣніями о Новомъ Свѣтѣ.

Принесли книгу. Открываю страницу, другую, третью... не вѣрю глазамъ своимъ: романъ! нелѣпая сказка подъ ученымъ заглавіемъ „Американскія Степи“. „Пропалъ мой халатъ! сказалъ я, бросая подъ столъ предательскую книгу. Вотъ она и доселѣ тамъ лежитъ, посмотрите... Выбрался черный день!.. Но правду говорили умные римляне: finis coronat opus! какъ сейчасъ и вышло. Вы пріѣхали—и я утѣшенъ. Послѣ бурна-

го дня, какъ говорили поэты, чреватаго бѣдами, мы спокойно посидимъ у самовара, попьемъ этого китайскаго зелья, и я вамъ разскажу про одну свою бѣду, да и попрошу вашего совѣта.

— О чемъ?

— Не все разомъ. Садитесь-ка, вѣдь еще вечеръ большой. Вы у меня ночуете?

— Признаться, я не располагалъ...

— Пустяки! У меня есть вамъ сообщить нѣчто, а на это потребуется времени...

За чаемъ добрый профессоръ разсказалъ мнѣ остальное свое горе, какъ къ нему въ садикъ повадились зайцы и по ночамъ дѣлаютъ страшныя опустошенія: обрываютъ кору на стволахъ плодовыхъ деревъ и даже объѣдаютъ молодые побѣги вишень и черешень; онъ рѣшительно терялся въ догадкахъ, какъ отучить этихъ непрошенныхъ гостей, которые уничтожаютъ его лѣтніе труды и заботы; пробовалъ пугать ихъ, ставя между деревьями разныя чучелы, пробовалъ угощать ихъ снопами овса, но дѣло кончилось тѣмъ, что чучелъ зайцы не боялись, а овесъ привадилъ ихъ еще болѣе, и, съѣдая овесъ, зайцы стали больше прежняго портить деревья. „Наконецъ, прибавилъ профессоръ, только сегодня я попалъ на счастливую мысль: осматривая гумно, нечаянно нашелъ я источникъ, резервуаръ этихъ гадкихъ звѣрьковъ. Какъ бы вы думали гдѣ?..

— Коли вы нашли, осматривая гумно, такъ я думаю: на гумнѣ?

— Подлинно такъ, вы отгадали. Резервуаръ этихъ враждебниковъ, этихъ возмутительныхъ зайцевъ, этихъ робкихъ и совокупно хищныхъ четвероногихъ, у меня подъ бокомъ, на моемъ гумнѣ, въ скирдѣ прекраснѣйшей пшеницы арнаутки!

— Тамъ они и живутъ?

— Нѣтъ, жить они тамъ не могутъ единственно по дикости и шаткости своего подлаго характера; но у этой скирды собираются для своихъ набѣговъ—это ихъ форумъ. Только, какъ говорятъ поэты, ночь накинетъ на свои плечи черную мантію, эти звѣри выходятъ изъ норъ и трущобъ, собираются въ полчище, какъ варвары, и текутъ на расхищеніе моего вертограда!

— Почему вы это думаете?

— Не думаю, а убѣжденъ въ этомъ, какъ въ томъ, что законы двѣнадцати таблицъ написаны первоначально на деревѣ, или что цѣлое равно своимъ частямъ. Это я сегодня замѣтилъ случайно: прошлую ночь шелъ тихій снѣжокъ и покрылъ всѣ окрестныя мѣста мягкою пеленою. На этомъ покрывалѣ отпечатываются удобно малѣйшіе слѣды даже веселаго щебетуна-воробья и крохотной мыши; и что же? на гумнѣ у меня тысячи слѣдовъ, и всѣ они болѣе или менѣе направляются къ скирдѣ пшеницы, гдѣ рѣшительно сосредоточиваются. „Ага! подумалъ я: вотъ гдѣ источникъ зла!“ и тутъ же рѣшился отмстить никакъ не дальше какъ сего числа.

— И уже отмстили?

— Нѣтъ, но скоро настанетъ минута моего тріумфа; я для этого и просилъ васъ заночевать у меня.

— Пожалуй, если это нужно, только разскажите.

— Извольте: я ихъ всѣхъ перестрѣляю.

— Вы?!!

— Я.

— Развѣ вы охотникъ? стрѣлокъ?

— Я не охотникъ и даже практически стрѣлять не умѣю, но я знаю теорію стрѣльбы, а практики здѣсь ненужно: всякій мужикъ ее знаетъ, для этого не нужно быть Архимедомъ...

— Однако...

— Рѣшительно ничего; я буду дѣйствовать слѣдующимъ образомъ: въ скирдѣ пшеницы я собственноручно приготовилъ себѣ тайное убѣжище, или пріютъ, родъ грота, закрытаго снаружи хитро и искусно соломой, такъ что, отойдя для опыта, шаговъ на десять, я самъ предавался оптическому обману и не замѣчалъ засады. Извѣстно по всѣмъ описаніямъ, что зайцы собираются около полуночи, проводя время въ разныхъ играхъ и гимнастическихъ прыжкахъ, отчего получая алчный позывъ на пищу, къ свѣту только пускаются въ свои опустошительные набѣги. Вотъ, я этакъ, въ часу одиннадцатомъ, когда вы предадитесь объятіямъ Морфея, вооружусь и засяду въ свое убѣжище, какъ Леонидъ въ Ѳермопилы, выжду хищниковъ, открою пальбу, и будь ихъ тутъ тьма-темъ, не пощажу ни одного.

— Да они разбѣгутся отъ перваго выстрѣла.

— Не разбѣгутся; по крайней мѣрѣ, разсуждая психологически, не должны разбѣжаться, ибо я не покажу ни лица, ни одного члена наружу изъ своего убѣжища, а звука они не должны бояться, иначе они каждое лѣто перемерли бы отъ страха, когда въ тучахъ сверкаетъ и гремитъ Перунъ.

Немного погодя, пофессоръ началъ собираться въ походъ, зарядилъ ружье мелкой бекасиной дробью, увѣряя, что этой дроби гораздо больше зернышекъ идетъ въ зарядъ, нежели крупной, затѣмъ она и смертоноснѣе; потомъ надѣлъ теплый халатъ, сверхъ халата тулупъ изъ калмыцкихъ барашковъ, стянувъ его длиннымъ

утиральникомъ, къ которому прицѣпилъ рогъ съ порохомъ и мѣшочекъ съ дробью.

— У меня есть шуба потеплѣе, настоящая волчья, да я ее не надѣну: у звѣрей обоняніе острое, и зайцы по духу услышатъ волчью шкуру, тогда моя охота не состоится, говорилъ профессоръ, надѣвая теплые медвѣжьи сапоги.

— А медвѣдя не испугаются зайцы? Это у васъ сапоги медвѣжьи.

— Не думаю; въ нашихъ мѣстахъ медвѣдей не имѣется, слѣдовательно, туземные зайцы медвѣжьяго духу не знаютъ.

Въ заключеніе, профессоръ упряталъ свою голову въ необъятную теплую шапку съ плисовымъ козырькомъ, на руки надѣлъ перчатки изъ козьяго пуха и ушелъ, сопя и жалѣя, что огнестрѣльное оружіе и тяжело и производитъ звукъ, и что, напримѣръ, норманны были гораздо умнѣе: стрѣляли изъ луковъ стрѣлами; что эта охота и тише, и воинственнѣе и—не знаю, почему—человѣчнѣе.

Пожелавъ профессору добраго успѣха, на который, впрочемъ, я не надѣялся, я скоро легъ въ постель, загасилъ свѣчку и сталъ дремать, мечтая о всякой всячинѣ, наполняющей нашу провинціальную жизнь. Иногда помечтать пріятно. Но судьба не дозволила мнѣ вкусить этого удовольствія: едва все стихло и я началъ забываться, какъ надъ головой моей послышался шумъ, топотъ, рокотъ... „Что бы это?“ подумалъ я, оставляя свои любимыя мечты: „ужъ не крысы ли завелись у почтеннаго моего амфитріона?“ Должно быть, крысы, и притомъ въ большомъ количествѣ: потолокъ просто трещалъ и стоналъ; я въ страшной темнотѣ раскрылъ глаза и уставилъ ихъ въ потолокъ—ни яги не видно, а надъ моей головой совершалась отчаянная возня; вдругъ среди этого стука раздался чистый металлическій звонъ колокольчика и вслѣдъ за нимъ загремѣлъ, застоналъ потолокъ, словно буря пронеслась, и все стихло; еще раза два въ совершенной тишинѣ и мракѣ прозвенѣлъ колокольчикъ, будто въ воздухѣ надъ моей головой, и наконецъ все утихло. Признаюсь, всѣ сказки, которыми въ дѣтствѣ щедро угощала меня моя няня, воскресли въ моемъ воображеніи; я вообразилъ себя на какомъ то шабашѣ нечистой силы, которую разгоняетъ звонъ заколдованнаго колокольчика, но скоро разсудокъ вошелъ въ свои права, и я почти увѣрился, что это все видѣлъ во снѣ; притомъ же дневная усталость брала свое, и я опять сталъ засыпать—опять слышу тотъ же шумъ, только ужъ не надъ головой, а подъ землею: тотъ же ропотъ, та же бѣготня, и опять въ самомъ разгарѣ этого шабаша знакомый звонокъ — и опять съ громомъ исчезла невидимая сила, настала тишина и въ тишинѣ очень внятно прозвенѣлъ нѣсколько разъ звонокъ, словно торжествуя свою побѣду. Теперь я очень явственно слышалъ его, даже мнѣ показалось, онъ звенѣлъ у меня подъ подушкой, или по крайней мѣрѣ подъ кроватью. Всѣ мои мысли перепутались; еслибъ я не зналъ, что профессоръ вовсе не занимается магіей, то подумалъ бы, что онъ меня оставилъ ночевать съ умысломъ помифистировать и испытать на мнѣ силу своихъ какихъ нибудь продѣлокъ; но хозяинъ мой былъ не такой человѣкъ, любилъ болѣе положительное и съ презрѣніемъ отзывался даже о таинствахъ египтянъ, хотя они были и древняго міра.

Безотчетно я поспѣшилъ зажечь свѣчку; въ комнатѣ никого не было, и стулья и столы—все было на своемъ мѣстѣ, вездѣ тихо... Мнѣ стало самому совѣстно своего страха, но онъ уже прошелъ. Я выкурилъ трубку табаку и взялъ книгу, лежавшую подлѣ меня на столѣ. Книга была „Кадмъ и Гармонія“, и, кажется, была въ большой гармоніи съ Морфеемъ или опіумомъ, потому что съ первой страницы на меня налегло какое то тяжелое чувство, волненіе крови утихло, и я началъ съ наслажденіемъ зѣвать; глаза мои смыкались, и потушивъ свѣчку, я сладко сталъ засыпать, и опять, и опять—повѣрите ли?—меня разбудилъ прежній шумъ и звонъ; только теперь какъ то шумъ не съ разу исчезъ отъ звонка, но продолжался довольно долго вмѣстѣ; наконецъ, бѣготня утихла, а звонокъ зазвенѣлъ прямо надъ моей головой; немного погодя, мнѣ показалось, что онъ брякаетъ у самаго моего уха за стѣной, и тотчасъ же отозвался подъ землей.

Тутъ философія меня оставила; я, какъ испуганный ребенокъ, вскочилъ съ постели и зажегъ свѣчку. Только что свѣча освѣтила комнату, мнѣ опять стало совѣстно передъ самимъ собой; я осмотрѣлъ комнату—все было по прежнему, вездѣ тихо. Я опять принялся за спасительнаго „Кадма и Гармонію“, и онъ опять началъ вступать въ права свои; только я, замѣтивъ, что свѣтъ свѣчи прогоняетъ шумъ и ночную возню, не загасилъ свѣчки и наконецъ уснулъ спокойно до самаго утра.

Утромъ я всталъ съ маленькою головною болью, можетъ быть отъ ночного безпокойства, а вѣрнѣе отъ того, что догорѣвшая свѣчка погасла дымясь и начадила на всю комнату.

Профессора я нашелъ въ кабинетѣ, кутавшаго въ салфетку чайникъ около самовара; но, кажется, у профессора болѣла

голова: онъ былъ мраченъ. На вопросъ мой объ успѣхѣ охоты почти ничего не отвѣчалъ, или, лучше сказать, забормоталъ что то престранное и перевелъ рѣчь на другой предметъ.

О, Боже мой! какъ захохоталъ, профессоръ, когда я ему разсказалъ свое ночное приключеніе.

— Такъ сильно звонило? спрашивалъ онъ, съ трудомъ переводя духъ отъ смѣха.

— Не сильно, однако очень явственно, отвѣчалъ я.

— Явственно? надъ головой?..

— И надъ головой, и подъ ногами...

— И подъ ногами? ха-ха-ха! и около самаго уха?

— Кажется, звонило и около уха... Да что же тутъ смѣшного?

— Да это глава изъ „Превращеній“ Овидія. Это васъ обстоятельства немного времени продержали въ состояніи непосвященныхъ въ египетскія таинства, когда они посѣщали пирамиды... А дѣло просто. Слушайте да не сердитесь. Вы невиноваты, что малое время были одураченнымъ. Это моя вина, mea culpa, mea culpa, mea mea maxima culpa! Это слѣдствіе моихъ враждебныхъ отношеній къ четвероногимъ тварямъ.

— Такъ это вы звонили?

— Не я, коли хотите, и я; звонило слѣдствіе отъ причины, а причиной былъ я.

— Не понимаю...

— Видите, у меня завелись крысы, начали крѣпко безпокоить мои мирныя владѣнія, даже одинъ разъ простерли свою дерзость до того, что отвѣдали полы моего халата. Какихъ я ни ставилъ мышеловокъ, какихъ ни употреблялъ средствъ — ничто не помогало; а вчера я вычиталъ изъ одной старинной книги, что какой то пустынникъ изгналъ изъ лѣса волковъ, привязавъ къ шеѣ пойманнаго волка звонокъ. Мнѣ и пришла благая мысль примѣнить этотъ поступокъ пустыннаго мужа къ домашнему обиходу. Я разставилъ вездѣ мышеловки и заказалъ всѣмъ мальчикамъ и бабамъ изловить живую крысу, не нарушая ея цѣлости и не касаясь ни до одного члена, доставить ее ко мнѣ... А то, знаете, простой народъ, то-есть плебеи, любятъ неприлично шутить съ четвероногими, любятъ слѣпить ихъ, безносить или безхвостить и тому подобное. Мои мышеловки остались втунѣ, а вчера баба-ключница принесла мнѣ живую крысу величиной съ свинаго младенца, и принесла прямо въ большомъ горшкѣ, куда означенная крыса забралась для утоленія своего голода коровьимъ масломъ. Вотъ я и нацѣпилъ на крѣпкую проволоку небольшой но доброгласный звонокъ, надѣлъ его на шею крысѣ и выпустилъ хищнаго звѣря въ ихъ сонмище, то есть въ кладовую... А мой звѣрь вотъ гдѣ очутился и всю ночь звонилъ здѣсь! Вѣдь это препоучительно!..

Я и самъ началъ смѣяться надъ собой; мнѣ было совѣстно самого себя; профессоръ это замѣтилъ и закричалъ:

— Не конфузьтесь, а радуйтесь, similis simili gaudeat!.. „Подобные подобнымъ радуются“, говорили мудрые римляне; бѣда легче, когда двое ее испытываютъ... Слушайте, дѣлать нечего, когда вы признались, такъ и я вамъ разскажу свою неудачу. И я эту ночь былъ знаменито одураченъ; должно полагать, ночь выбралась такая.

— Такъ у васъ было что нибудь на охотѣ?

— Еще бы!.. Я теперь только пришелъ въ себя! благо бы мальчишка какой былъ, а то я, слава Богу, кажется, не мальчикъ; мои ученики есть генералы и звѣзды носятъ; кажется, должно бы быть осторожну, а одураченъ.

— Разскажите, пожалуйста!

— Разскажу, разскажу... Вотъ видите, вчера, одѣвшись прилично, я принялъ всѣ предосторожности, даже отчасти смазалъ ружье мятнымъ масломъ.

— А это для чего?

— Мята гораздо болѣе подходитъ запахомъ къ различнымъ степнымъ злакамъ, нежели зловонный духъ ружья съ его сѣрными газами, слѣдовательно, способна успокоить чутье хищнаго звѣря... но не въ этомъ дѣло; вотъ я вышелъ, казалось, напутствуемый всѣми хорошими предзнаменованіями...

— А вы вѣрите въ предзнаменованія?

— Боже упаси! однако не могу не согласиться съ нѣкоторыми авгуріями. Вотъ я тихими стопами пришелъ къ своему убѣжищу и усѣлся, словно какой-нибудь хищникъ въ своихъ Ѳермопилахъ. Ночь была тихая, свѣтлая: мѣсяцъ, какъ позлащенный дискъ древняго щита, плылъ по небу; звѣздочки блистали, а нѣкоторыя, какъ перезрѣлыя яблоки, обрывались съ неба и погасали, оставляя за собою огненный слѣдъ въ родѣ свѣтлой нити. Сначала на селѣ лаяли собаки и какой-то плебеецъ ругалъ, должно полагать, равносильнаго себѣ человѣка, очень неблагопристойно; казалось, его фразы, вѣроятно, заимствованныя у бородатыхъ скотопрогонщиковъ, оскорбляли чистоту снѣга и воздуха... Наконецъ, собаки утихли, плебеецъ пересталъ ругаться... и воцарилась тишина... только морозъ видимо распространялъ свои владѣнія и прибиралъ въ свои руки всю природу... А зайцевъ все не было! порою вдругъ про-

несется по степи какой-то шорохъ — замретъ сердце, притаишь дыханіе, смотришь въ оба глаза, слушаешь, слушаешь—ничего нѣтъ, только иней сверкаетъ на морозѣ... только какая нибудь былинка, Богъ знаетъ, отчего встрепенется, заблеститъ, закачается... и опять все тихо, а зайца ни одного!.. Судя по свѣту мѣсяца, давно уже перевалило за полночь; морозъ началъ понемногу уязвлять мои оконечности; руки еще кое-какъ согрѣвалъ я дыханіемъ, а ногамъ приходилось весьма тяжко; видимо теплородъ удалялся изъ нихъ, а поддержать его гимнастическими движеніями я не смѣлъ, боясь произвести въ своемъ гротѣ тревогу... Наконецъ, уже передъ свѣтомъ, произнеся въ душѣ торжественный обѣтъ впередъ никогда не ходить на охоту, я задрыгалъ окоченѣвшими ногами, и странно зашумѣла вокругъ меня мерзлая солома, такъ что я самъ испугался произведеннаго шума, и притихъ. Шумъ продолжался. Я совершенно остался безъ движенія, а что-то шелестило вокругъ меня... „Эге! подумалъ я, бѣгутъ хищные грызуны, поѣдающіе мой вертоградъ“, протеръ глаза, взвелъ курокъ и жду. Въ полѣ по прежнему пусто, а шумъ болѣе и болѣе раздается вокругъ меня, даже послышался мнѣ какой-то сопъ... Ужъ не волки ли?.. не успѣлъ я задать себѣ этотъ вопросъ, какъ надо мной раздалось дикое мычанье или, лучше сказать, хриплый вопль, и сзади меня скирда зашевелилась словно живая... Богъ знаетъ, откуда у меня явилась сила и прыть, но я выскочилъ изъ своего убѣжища, полагаю скорѣе, нежели Архимедъ изъ ванны, когда нашелъ извѣстный законъ относительнаго вѣса... Еще быстрѣе меня появился вслѣдъ за мною изъ скирды огромный волкъ...

— Полно те?..

— Погодите!.. А за волкомъ цѣлое стадо зайцевъ: такъ и брызнули въ стороны, такъ и брызнули въ стороны, такъ и зарябили по снѣгу словно мухи. Я какъ держалъ ружье, такъ, не цѣлясь, спустилъ курокъ, выстрѣлъ грянулъ—и все покрылось дымомъ. Когда дымъ прошелъ, гляжу... на снѣгу лежатъ двое убитыхъ—зайцы не зайцы—подхожу ближе и узнаю поросятъ!.. За угломъ скирды, уставивъ сердито рыло въ снѣгъ, хрюкаетъ старуха-свинья, ихъ матрона, которую, со страха, я было принялъ за волка, и около нея жмутся, трутся ея младенцы, принятые мной весьма нелогично за зайцевъ... Повѣсилъ я, старый дуракъ, носъ глядя на свои трофеи!.. гляжу, кругомъ пусто, только въ селѣ залаяли собаки, какъ бы въ отвѣтъ на мой выстрѣлъ, да круглый мѣсяцъ, спускаясь къ землѣ, глядитъ на меня во всѣ глаза, будто хочетъ сказать: спасибо пріятель, что ты хоть къ свѣту потѣшилъ, теперь пойду спать... Спасибо хоть больше не было зрителей... Убіенные трупы я оставилъ на мѣстѣ: пусть ихъ волки скушаютъ!.. А себѣ записалъ въ книгу: не браться за дѣло, коли его не смыслишь. Вѣдь какъ я теперь разсудилъ хорошенько, такъ слѣды-то были не заячьи, а свиные... и эта бѣдная четвероногая мать пребывала себѣ спокойно, наслаждаясь семейнымъ тихимъ бытомъ, съ своими младенцами... а я, на старости лѣтъ, явился къ нимъ какъ Тамерланъ съ огнемъ и мечомъ и внесъ разореніе и смерть въ нѣдра ихъ семейства!.. Посудите сами, они, хоть звѣри домашніе, но все же чувствуютъ непріятности отъ чего либо непріятнаго—неправда ли?

Такъ кончилъ свою исповѣдь отставной профессоръ. Мы посмѣялись, позавтракали, и я уѣхалъ домой. Только на прощанье хозяинъ взялъ съ меня слово никому не разсказывать про его охоту.

— И вы, какъ видно изъ дѣла, въ точности исполняете данное слово, замѣтилъ сѣдой чиновникъ.

— Я разсказываю оттого, сказалъ помѣщикъ: — чтобы говорить что-нибудь — это разъ, и разсказываю еще потому, что профессоръ уже разблаговѣстилъ въ уѣздѣ про мой испугъ отъ крысъ—это два...

— А третье будетъ?

— Сейчасъ. А чтобъ вы, бывшій господинъ, служитель Ѳемиды, не придирались къ словамъ, чтобъ отучить васъ отъ казенной фразы, *какъ видно изъ дѣла*, вы должны разсказать что нибудь изъ вашего служебнаго быта. Вотъ это будетъ три.

— Пожалуй, я не прочь, да что вамъ разсказывать? Теперь у насъ, благодаря просвѣщенію, все чисто и гладко, все объяснено, растолковано, да и народъ сталъ какъ-то совѣстливѣе и такъ называемые казусы почти перевелись. Развѣ пошевелить для васъ старину, припомнить свои молодыя лѣта... Тогда я былъ таки свидѣтелемъ разныхъ любопытныхъ исторій.

II.

— Съ полвѣка тому назадъ—такъ началъ свой разсказъ сѣдой чиновникъ—я служилъ въ одной изъ нашихъ гражданскихъ палатъ. Я былъ очень молодъ, но какъ теперь помню предсѣдателя: онъ былъ небольшого роста, съ порядочнымъ горбикомъ на груди и съ таковымъ же на спинѣ.

— Нельзя ли безъ „таковыхъ“, почтеннѣйшій, замѣтилъ молодой помѣщикъ.

— Невозможно, любезнѣйшій! я человѣкъ стараго вѣка, учился на мѣдныя деньги и выросъ на сихъ и иныхъ таковыхъ реченіяхъ. А коли мой разсказъ не въ ладъ, я съ нимъ и назадъ.

— Нѣтъ, говорите, говорите, я вѣдь пошутилъ.

— То-то молодой народъ, пошутили, а меня, старика, и сбили съ толку... о чемъ бишь я говорилъ?!.. плоха становится память!..

— Вы говорили, что предсѣдатель былъ небольшого роста съ таковымъ же горбомъ.

— Да, да, только немного не такъ я говорилъ, а съ порядочнымъ горбомъ на груди и съ таковымъ же на спинѣ. Теперь помню!.. Лицо у него, то-есть у предсѣдателя, было угловатое, голова, соразмѣрно росту, большая, но на толстомъ, горбатомъ туловищѣ казалась какой-то шишечкой; носъ у него былъ прямой, что называется утиный, но по сторонамъ этого носа глядѣли ястребиные глаза, маленькіе, черные, такъ, бывало, и бѣгаютъ, какъ живое серебро, все будто чего ищутъ; ноги у него были кривыя... то-есть не кривыя, а такъ расходились всегда врозь, будто поссорились—словомъ, непрезентабельная была фигура господина предсѣдателя; но что это за голова была!.. у!.. настоящій дѣлецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Какихъ дѣлъ на своемъ вѣку онъ не дѣлывалъ!.. Еще въ молодости онъ разыгралъ, словно на клавикордахъ, извѣстное дѣло о похищеніи казенной теплоты, и стяжалъ себѣ прегромкую извѣстность. Въ довершеніе портрета моего бывшаго начальника я долженъ прибавить, что онъ обладалъ неописаннымъ сладкогласіемъ; голосъ его былъ, какъ почти у всѣхъ горбуньковъ, рѣзкій теноръ, но въ этой рѣзкости слышна была какая-то трогательная болѣзненность, что-то страдальческое, бравшее прямо человѣка за душу; притомъ же и форма фразъ въ его рѣчи была какая-то снисходительная; онъ безпрестанно употреблялъ уменьшительныя слова и былъ до пошлости вѣжливъ: даже своему кучеру и лакею говорилъ *вы*, особливо когда обсчитывалъ ихъ на нѣсколько копѣекъ при раздачѣ жалованья.

У предсѣдателя былъ братъ или, лучше сказать, племянникъ... Нѣтъ, позвольте, этакъ у меня и дѣло не пойдетъ на ладъ, а лучше, по примѣру прочихъ господъ повѣствователей, начну біографію моего героя сначала.

У одного бѣднаго дворянина было два сына, одинъ красавецъ, рослый парень, а другой горбунокъ. Горбунка, какъ никуда негоднаго, отдалъ отецъ въ какую-то коллегію въ писаря, и вотъ онъ служилъ и выбился наконецъ въ предсѣдатели; а красивый братъ его пошелъ въ военную службу, получилъ офицерскій чинъ и гдѣ-то, не то въ Воронежской, не то въ Харьковской губерніи, прельстилъ своимъ марсовымъ видомъ очень богатую невѣсту, прижилъ съ ней сына, объѣлся чего-то и умеръ. Его жена, оставшись вдовою, воспитала сына въ университетѣ и тоже отдала потомъ въ военную службу. Пока сынъ служилъ, на вдову напали уѣздные ябедники, надѣясь на ея безпомощность, на женское незнаніе письменнаго дѣла и тому подобное, и начали ее притѣснять со всѣхъ сторонъ: явились разные запросы, почему и какъ она владѣетъ и землей, и лѣсомъ, и рѣкой, и всѣмъ имѣніемъ?... хотя она его получила въ наслѣдство отъ своихъ родителей и это имѣніе нѣсколько сотъ лѣтъ не выходитъ изъ ея рода—словомъ, только не спрашивали и не требовали документовъ, почему она живетъ на свѣтѣ и для чего родилась на свѣтъ, и кого объ этомъ спрашивала?

— Помилуйте! неужели подобныя ябеды бывали? спросилъ молодой помѣщикъ.

— Хорошо вамъ теперь удивляться: вы живете въ такое время, когда подобныя продѣлки считаются подлостями и накликали бы на голову своихъ авторовъ только презрѣніе людей порядочныхъ; а въ наше время это считалось удальствомъ между классомъ юристовъ и называлось техническимъ терминомъ *въ мутной водѣ рыбу ловить*.

— Но правда могла, рано или поздно, открыться, и тогда что?

— Эге!... въ томъ-то и дѣло, что *рано* или *поздно*; на этотъ случай у нихъ была поговорка: „пока солнце взойдетъ, роса глаза выѣстъ“. Они такъ запутывали дѣла, что рѣшительно на ихъ вѣкъ ставало, а тамъ—хоть трава не рости...

— Но наслѣдники могли отвѣчать вдвое за грѣхи отцовъ; неужели у нихъ не было человѣческаго чувства?

— Да ихъ-то наслѣдники не отвѣчали, то-есть наслѣдники прямыхъ дѣльцовъ; это были люди, дающіе совѣты такъ называемые; они только придумывали и давали въ отвѣтъ помѣщика; народъ въ то время по большей части былъ малограмотный.

— Кто же тянулъ помѣщиковъ на подобныя дѣла?... неужели они здѣсь не могли видѣть своего разоренія?

— Какъ вы молодо судите, съ позволенія сказать! Помѣщиковъ тянуло корыстолюбіе, а иногда и зависть. У сосѣда водится хорошенькій лѣсокъ, онъ когда-нибудь и вы-

разится: „вотъ, дескать, хорошенькій лѣсокъ, не пожалѣлъ бы пяти тысячъ, чтобъ купить его, да не продаетъ Иванъ Ивановичъ...“ А тутъ какой-нибудь дѣлецъ, услыша это, и скажетъ: „дайте мнѣ тысячу—и онъ вашъ“.

— Какъ такъ? спросилъ помѣщикъ.

— Да такъ, я это знаю, въ старыхъ бумагахъ читалъ, якобы не только этотъ лѣсъ, но и мельница принадлежитъ вамъ. Погодите, пусть только уѣдетъ Иванъ Ивановичъ въ столицу на зиму; пока онъ тамъ будетъ танцовать и прохлаждаться во французскихъ гостиныхъ, мы это дѣльцо обработаемъ.

— И только тысячу рублей?!...

— Да, пожалуй, еще небольшіе расходы изъ вашей домашней провинціи: подарить кому будетъ надобно въ самыхъ нижнихъ инстанціяхъ.

— Вотъ этого-то я и боюсь; эти піявки изъ меня всю кровь высосутъ: сначала станутъ брать муку, водку, горохъ, масло, холстъ, медъ, разную живность, а послѣ начнутъ требовать веревокъ, иголокъ, дугъ, хомутовъ, и наконецъ экипажей и всего этого будетъ мало...

— Помилуйте!...

— Я говорю изъ опыта; развѣ не было подобной штуки съ сосѣдомъ Петромъ Петровичемъ?

— Петръ Петровичъ самъ виноватъ, человѣкъ онъ слишкомъ мягкосердечный: онъ воображаетъ, что по книжкѣ живетъ, что всѣ люди такіе, какъ у него въ книжкахъ написаны!... Вотъ на немъ и ѣздятъ... Живя въ свѣтѣ между людьми, надобно немного собачиться, чтобы люди видѣли достоинство, тогда все пойдетъ хорошо, станутъ васъ бояться и уважать, и любить будутъ.

— Пожалуй, я не чета Петру Петровичу, а при случаѣ умѣю прикрикнуть и тумакомъ угостить непріятеля, да все таки несогласенъ на такую мѣру; меня они ограбятъ, я буду у нихъ какъ въ татарскомъ полону, до смерти не буду знать, что мое, а что ихъ. Нѣтъ ничего хуже, какъ неопредѣленность.

— Хорошо, говоритъ бывалый *дѣлецъ*:— ужъ это я на себя беру; вы мнѣ обяжитесь отпустить двадцать пудовъ муки пшеничной, пудъ коровьяго масла, сто аршинъ холста и пять ведеръ горѣлки, я этимъ уконтентую кого слѣдуетъ.

И вотъ, договоръ сдѣланъ: за тысячу рублей, двадцать пудовъ муки, пудъ масла, сто аршинъ холста и пять ведеръ горѣлки, дѣлецъ въ тишинѣ, какъ кротъ землеройка, работаетъ ябеду, и въ самый день отъѣзда Ивана Ивановича прошеніе подается въ судъ; наряжается, бывало, на слѣдствіе мелкій чиновникъ, который только тѣмъ отличался въ то время отъ мужика, что зналъ грамотѣ, носилъ нанковый сюртукъ и не имѣлъ никакой совѣсти.

Тутъ *дѣлецъ* пускалъ въ ходъ муку, горохъ и прочіе медикименты. Чиновникъ спрашивалъ крестьянъ; крестьяне говорили спроста и съ перепугу и сами не знали что такое; чиновникъ писалъ, что зналъ. И, пріѣхавъ изъ столицы, Иванъ Ивановичъ, къ изумленію своему, видѣлъ, что его собственнымъ лѣсомъ распоряжается сосѣдъ... Онъ кричитъ, горячится: ему отвѣчаютъ, что сосѣдъ законно введенъ во владѣніе и будетъ пользоваться лѣсомъ; а если вы, дескать, имѣете на него право—ищите формою суда... Тутъ еще, бывало, чего добраго, Иванъ Ивановичъ погорячится да скажетъ гдѣ-нибудь что непристойное: съ него возьмутъ штрафъ и упутаютъ его въ уголовное дѣло—и пошло писать!... А дѣлецъ себѣ въ сторонѣ, сочиняетъ бумаги да беретъ себѣ за труды и такъ запутаетъ дѣло, что развѣ послѣ его смерти найдутъ концы... И наслѣдники часто жестоко, бывало, приплачиваютъ за своихъ батюшекъ, довѣрявшихъ дѣльцамъ.

— Да это дерзость!...

— Не спорю, теперь этого нѣтъ, теперь какъ-то пути сообщенія улучшились; всякому извѣстно, что Нерчинскъ не за горами... Притомъ же и вѣкъ тогда былъ такой, справедливо пѣли тогда въ пѣснѣ:

Всякому городу свои нравъ и права,
Всяка имѣетъ свой умъ голова.

— Гадкій былъ вашъ вѣкъ!

— Я и не сворю.... теперь другое дѣло. Но я отступилъ отъ своего разсказа.

Вотъ такъ запутали въ дѣло и вдову брата нашего предсѣдателя, въ надеждѣ сорвать что-нибудь съ богатой барыни. Барыня въ дѣлахъ ничего не смыслила; сынъ ея былъ на службѣ, и ябедники, сначала робкіе, торжествовали, сдѣлались нахальнѣе, злѣе, ободрились какъ стая собакъ ободряется, видя бѣгущаго отъ нихъ человѣка. На вдову написали страшныя небылицы, такъ-что ея имуществу угрожало конечное разореніе и она, скрѣпя сердце, вызвала сына въ отставку.

Пріѣхалъ сынъ, разсмотрѣлъ всѣ бумаги, сразу увидѣлъ, откуда вѣтеръ дуетъ, понялъ всѣ гадости, которыя подѣлали съ нимъ его добрѣйшіе сосѣди, всѣ люди благородные, и поѣхалъ хлопотать въ губернскій городъ, гдѣ былъ предсѣдателемъ палаты его дядя. Въ этой палатѣ должно бы-

ло рѣшиться окончательно самое важное его тяжебное дѣло.

Побывалъ племянникъ-истецъ у дядюшки-предсѣдателя и вернулся домой, самъ не зная что и подумать о дядюшкѣ, который принялъ его какъ роднаго сына, прослезился даже отъ радости, разспрашивалъ подробно о мелочахъ его жизни и его матери, не зналъ чѣмъ и какъ угостить, но на всѣ вопросы о дѣлѣ отвѣчалъ какъ-то неохотно, будто или онъ не зналъ его, или оно было слишкомъ неблаговидно для племянника.

— А вы извините меня, сказалъ одинъ пріятель племяннику, когда я замѣчу вамъ, что, можетъ-быть, вы вашего дядюшку не убѣдительно просили.

— Какъ не убѣдительно! я ему и записку о дѣлѣ оставилъ самую подробную и на словахъ пересказалъ все: тутъ дѣло ясное, противъ моей матушки ябеда сосѣдей, ябеда—больше ничего! Эти гуси не воображали, что я рискну бросить службу, чтобъ защитить имущество, а еще болѣе доброе имя моей матери.

— Согласенъ, что ваше дѣло правое, замѣтилъ пріятель:—что оно яснѣе дня, да не въ томъ дѣло, *убѣдительно* ли вы просили дядюшку — понимаете?... Извините меня.

— Ага!... А развѣ онъ того?...

— Того!... и очень того!...

— Вотъ что! Я и не подозрѣвалъ.

— Помилуйте! это весь городъ знаетъ. Извините меня, я говорю, что всѣ говорятъ...

— Ничего, ничего, я вамъ благодаренъ; только не думаю, чтобъ дядюшка согласился...

— Спросите у кого угодно, только не говорите, что вы его племянникъ, и малый ребенокъ скажетъ о пристрастіи его къ звонкому металлу. Еще въ прошломъ году здѣсь разсказывали на перекресткахъ анекдотъ, подъ названіемъ: *позвольте для духу!*

— Про дядюшку?

— Извините, про дядюшку. Дѣло было вотъ въ чемъ: сюда пріѣхалъ какой-то дѣлецъ и нужно ему было получить справку изъ давно рѣшеннаго дѣла; ходилъ онъ къ архиваріусу,—архиваріусъ не даетъ; наконецъ, онъ рѣшился безпокоить самого предсѣдателя, явился къ нему и объяснилъ дѣло.

— А, хорошо, очень хорошо, подите къ архиваріусу, сказалъ вашъ дядюшка.

Пошелъ проситель къ архиваріусу и опять вернулся ни съ чѣмъ.

— Ну, что? получили? спросилъ самымъ сладкимъ голосомъ дядюшка.

— Не получилъ.

— Странно, почему бы это?!

— Архиваріусъ говоритъ, что очень занятъ.

— Странно! чѣмъ это онъ занятъ?... Вы употребляете?...

И, улыбаясь, дядюшка поднесъ просителю раскрытую табакерку. Проситель, видно, былъ не промахъ и отвѣчалъ: „благодарю покорно, я не нюхаю“, а между-тѣмъ запустилъ пальцы въ жилетный своей карманъ, пошарилъ тамъ и, будто спохватясь, сказалъ: „позвольте для духу!“

— Дядюшка опять раскрылъ табакерку, а проситель, будто опуская пальцы за табакомъ, положилъ въ нее червонецъ. Табакерка вмигъ захлопнулась и предсѣдатель сказалъ самымъ сладкимъ голосомъ архиваріусу: „Марко Марковичъ! потрудитесь дать неуклонительно вотъ имъ справочку; они уже давно по ней хожденіе имѣютъ“.

И черезъ четверть часа справка была выдана!...

— Такъ вотъ каковъ мой дядюшка! Ну, благодарю васъ покорно, сказалъ племянникъ:—теперь я знаю, какъ дѣло кончить.

Въ тотъ же день вечеромъ племянникъ сидѣлъ у дядюшки, слушалъ отъ него нѣжности и никакъ не могъ навести разговора на свое дѣло. Ему хотѣлось предложить дядюшкѣ подарокъ и, въ простотѣ молодой души своей, онъ боялся этого, боялся обидѣть добраго родственника. Наконецъ, рѣшившись напропалую, онъ началъ:

— Такъ вы думаете, дядюшка, что наше дѣло непогрѣшительно?

— Одинъ Богъ непогрѣшителенъ, милѣйшій мой племянникъ. Оставимте это въ сторону и потолкуемъ о существенномъ. Такъ у васъ, вы говорите, хорошій лошадиный заводъ.

— Да, порядочный.

— И рыжія лошади есть?

— Бываютъ. А что?

— Ничего. Такъ, я вспомнилъ, что если бы имѣлъ заводъ, всегда держалъ бы рыжихъ, этакихъ золотистыхъ лошадей; страхъ люблю золотую масть.

„Счастливая мысль“, подумалъ племянникъ, и сказалъ дядюшкѣ громко:—

—Такъ и быть, дядюшка, коли вы любите рыжихъ лошадей, я вамъ пришлю въ подарокъ четверку рыжихъ...

— Помилуйте, милый мой родственникъ, къ чему это? я вѣдь только такъ сказалъ, чтобъ единственно поддержать нить разговора, а вы поняли Богъ знаетъ въ какую сторону... Творецъ вѣдь все видитъ и все знаетъ, отъ него не скроешься ни на высокихъ горахъ, ни въ подземельяхъ...

— Согласенъ, дядюшка; а всетаки вы вѣдь возьмете отъ меня эту бездѣлицу: четверку рыжихъ, этакихъ золотистыхъ.

— Золотистыхъ?!... масть-то славная... Ну, когда это для васъ бездѣлица, я, пожалуй, возьму единственно изъ родственнаго расположенія, а не для чего другаго.

— Только, дядюшка, будемъ говорить прямо, изъ того же расположенія, вы дайте слово поддержать наше дѣло; это для васъ тѣмъ будетъ легче, что дѣло рѣшительно правое...

— Святое дѣло! я его знаю, истинно святое дѣло. Неужели вы и хлопотали о немъ? Оно и безъ вашихъ хлопотъ всегда было бы рѣшено на вашу сторону, даже если бы и не въ такой степени было справедливо. Я вѣдь все же вамъ не чужой человѣкъ... А тутъ сама правда за васъ... Будьте покойны, поѣзжайте-себѣ въ деревню, катайтесь на своихъ прекрасныхъ лошадяхъ, наслаждайтесь сельскою тишиною и спокойствіемъ, которыми сподобилъ васъ всеблагій Творецъ, а мы, труженики, въ потѣ лица добывающіе хлѣбъ свой, здѣсь уже за васъ постараемся.

— Смотрите же, дядюшка! я на васъ надѣюсь... чтобы въ случаѣ...

— Что вы! что вы!... а громы небесные на что? развѣ они не разразятъ меня за всякую неправду?!... Развѣ я магометанинъ какой? Грѣхъ вамъ, сынъ моего брата, и думать обо мнѣ что-либо подобное...

Племянникъ крѣпко обнялъ дядюшку и уѣхалъ въ деревню.

Черезъ недѣлю предсѣдатель получилъ отъ племянника четверню рыжихъ.

А мѣсяца чрезъ два вызвали племянника форменною бумагой въ губернскій городъ для выслушанія рѣшенія палаты.

Племянникъ пріѣхалъ въ губернскій городъ передъ вечеромъ и сейчасъ же, переодѣвшись, явился къ дядюшкѣ.

— Дома нѣтъ, сказалъ ему въ передней лакей въ засаленномъ сюртукѣ.

— Отчего нѣтъ?

— Уѣхавши.

— Куда?

— Не знаю.

— Скоро будетъ?

— Не знаю.

— Жаль. Ну, я пойду напишу записку.

— Нельзя.

— Отчего нельзя?

— Комнаты заперты и ключъ у барина.

— Ну, скажи барину, что я пріѣхалъ изъ деревни и былъ у него—понимаешь?

— Понимаю.

— Да знаешь ли ты меня?

— Какъ не знать: вы намъ лошадей присылали.

— Да, да, тотъ самый. Ты молодецъ, какъ я вижу. Ну, что, баринъ доволенъ лошадьми?

— Какъ-же-съ, оченно-доволенъ, не нахвалится.

— Что, онъ часто на нихъ ѣздитъ?

— Нѣтъ, не ѣздитъ.

— Почему?

— Мы ихъ продали.

— Продали! давно?

— На другой день какъ получили, такъ и продали военному полковнику.

— Вотъ оно что! Ну, все-равно. Кланяйся барину и скажи, что я завтра утромъ съ нимъ увижусь въ палатѣ.

На завтра племянникъ явился въ палату; всѣ члены были на мѣстахъ, а предсѣдателя не было.

— Предсѣдатель немного нездоровъ, и въ присутствіи сегодня не будетъ, сказалъ секретарь и предложилъ выслушать рѣшеніе.

Вошелъ въ присутствіе чиновникъ и однообразнымъ голосомъ началъ читать рѣшеніе.

Сначала на открытомъ, даже немного самоувѣренномъ лицѣ племянника только выразилась скука, но чѣмъ далѣе читалъ чиновникъ бумагу, тѣмъ мрачнѣе становилось лицо племянника, и онъ вышелъ изъ присутствія рѣшительно убитый, уничтоженный.

Дѣло его, изволите видѣть, было кругомъ проиграно; его противникъ торжествовалъ.

Любопытно-бы знать, какія названія и титулы мысленно придавалъ въ то время племянникъ своему дядюшкѣ.

Придя на квартиру, племянникъ засталъ у себя уже знакомаго намъ дядюшкинаго слугу въ засаленномъ сюртукѣ.

— Тебѣ что нужно?

— Баринъ приказали кланяться и просили васъ непремѣнно къ нимъ пожаловать.

— Что я у него буду дѣлать? мнѣ некогда.

— Не могу знать, а приказали непремѣнно пожаловать.

— Твой баринъ не можетъ мнѣ приказывать.

— Не могу знать, а приказали непремѣнно пожаловать: дѣло, молъ, есть.

„Странный человѣкъ! чего ему отъ меня хочется?!“ подумалъ племянникъ. „Развѣ пойти и высказать ему въ глаза всю горькую истину? развѣ полюбоваться, какъ этотъ старый грѣшникъ будетъ передо мной хлопать глазами, извиняться и подличать...“ и сказалъ громко:

— Ступай домой, скажи своему барину, что я зайду къ нему вечеромъ.

Вечеромъ дядюшка встрѣтилъ племянника съ распростертыми объятіями. Племянникъ холодно поклонился дядѣ.

— Ну, что, любезный родственникъ, были сегодня въ присутствіи? слышали наше рѣшеніе?

— Слышалъ и благодарить не за что.

— О, горячая кровь! настоящій воинъ. Я нарочно не пошелъ въ присутствіе, чтобы вы тамъ, при мнѣ, не сказали чего вреднаго.

— Вы, кажется, не очень безпокоитесь о моихъ пользахъ.

— Кто, я? грѣшно вамъ говорить это; да я для родныхъ готовъ хоть въ огонь полѣзть, тѣмъ больше, что вы правы.

— Послушайте, дядюшка, полноте меня морочить! Если мое дѣло правое, какъ же вы рѣшили не въ мою пользу?

— А, это другое дѣло! нельзя было иначе.

— А почему, позвольте спросить?

— По двумъ причинамъ, говорилъ дядюшка тихимъ голосомъ, притворяя двери кабинета:—во-первыхъ, человѣкъ порядочный прежде всего долженъ думать о себѣ, а здѣсь всѣ знаютъ, что вы мой племянникъ и что вы мнѣ прислали четверню лошадей. Лошади—вещь не карманная и ихъ весь городъ видѣлъ. Какъ бы безпристрастно я не рѣшилъ дѣло, на меня были бы жалобы; хоть я ихъ не боюсь, а всетаки онѣ бросаютъ нѣкоторую тѣнь на человѣка. А во-вторыхъ, я вамъ скажу, какъ родственнику, войдите въ мое положеніе: вашъ противникъ далъ мнѣ за рѣшеніе пять тысячъ рублей—вѣдь это деньги.... ей-богу, деньги...

— И вы... говорилъ племянникъ, отступая шагъ назадъ и презрительно глядя на него...

— И я, перебилъ дядя, улыбаясь, – ваше правое дѣло представилъ съ такой точки, что рѣшительно преградилъ вамъ всѣ выходы. Нельзя было иначе. Сами посудите, я съ вами говорю, какъ съ сыномъ моего родного брата...

— Благодарю покорно.

— За мою родственную откровенность?

— Нѣтъ, за рѣшеніе.

— Еще пока не за что. Я вѣдь помню мое обѣщаніе и никогда не измѣню ему, какъ благородный человѣкъ. Садитесь и выслушайте. Съ вашего противника я взялъ деньги за рѣшеніе и, видитъ Богъ, свято выполнилъ свое слово: рѣшеніе вы слышали?

— Слышалъ.

— Не обижайтесь, мой дорогой родственникъ. Но я вамъ обѣщалъ, что вы выиграете. Не глядите на меня такъ странно, я вѣдь люблю васъ.

— Очень благодаренъ.

— Да, положимъ, хоть бы и не любилъ васъ, но, будучи обязанъ вамъ касательно лошадей, я по совѣсти долженъ выполнить свое обѣщаніе.

— Изъ вашихъ словъ я ничего не понимаю.

— Военный человѣкъ!... сейчасъ видно...

— Вы сами сказали, что всѣ выходы преграждены.

— Такъ, истинно такъ, но для васъ, любезнѣйшій племянникъ, я окно оставилъ! Хе-хе-хе, понимаете? коли дверь заперта, а окно свободно—полѣзай въ окно и будешь на свободѣ!... Я нарочно пропустилъ одно обстоятельство. Теперь вамъ стоитъ подать на насъ жалобу въ сенатъ, и вы выиграете.

— На васъ жалобу?

— На насъ. Что же тутъ удивительнаго? Намъ замѣтятъ, что мы не такъ поняли дѣло—ошибаться людямъ свойственно—и вы получите все. Не глядите на меня такъ странно, вотъ вамъ и жалоба; я уже прежде ее приготовилъ; вы только перепишите ее и завтра пошлите по почтѣ.

Тутъ дядя подалъ племяннику черновую жалобу. На другой день племянникъ отослалъ жалобу въ сенатъ и, спустя полгода, получилъ отъ своего противника все загребленное, и протори, и убытки.

— Вотъ какія дѣла дѣлались во время оно!... Вамъ, молодые люди, теперь это не вѣрится. А бывали когда-то и не такіе еще казусы...

ВЕЧЕРЪ ВТОРОЙ.

— Ну, теперь за вами очередь, сказалъ хозяинъ другому помѣщику, который былъ съ виду постарше и поплотнѣе перваго разсказчика.

— Съ удовольствіемъ; только извините, и я затрону старину.

— Согласны, согласны! сказали прочіе гости.

— И весьма, замѣтилъ отставной чиновникъ: – въ наше время бывали сильно интересные казусы.

Всѣ сдвинулись вокругъ разсказчика; онъ, по обыкновенію, пріосанился, кашлянулъ и началъ:

I.

— Въ моемъ разсказѣ особенно такъ-называемаго казуса нѣтъ, а просто одинъ случай...

— Случившійся? спросилъ чиновникъ.

— Пожалуй хоть и случившійся, въ городѣ Бурвянахъ. Я думаю, вы всѣ знаете Бурвяны?

— Какъ не знать! кто не бывалъ тамъ на ярмаркѣ?

— Давно, еще когда былъ живъ мой батюшка, продолжалъ разсказчикъ:— а я учился въ ... лицеѣ, мнѣ очень хотѣлось побывать въ Бурвянахъ; я воображалъ этотъ городъ какимъ-то Эльдорадо—такъ много окрестные помѣщики наговорили о его ярмарочномъ богатствѣ и веселостяхъ! И вотъ, во время каникулъ, однажды мнѣ удалось побывать съ отцомъ на этой ярмаркѣ. Съ большой дороги за нѣсколько верстъ видны были Бурвяны: на крутой горѣ очень красиво бѣлѣлъ городъ, окаймленный зелеными садами; между домами возвышались куполы церквей и колоколень и рядомъ съ ними, почти въ уровень, высились пирамидальные тополи. День былъ ясный, жаркій, іюльскій, но надъ городомъ висѣлъ какой-то туманъ въ родѣ темной тучи... Наконецъ, переѣхавъ мостъ, мы поднялись на крутую гору и очутились въ центрѣ тумана, грозившаго намъ издалека: это была страшная пыль, поднимаемая съ немощеныхъ улицъ тысячью колесъ разновидныхъ экипажей, начиная отъ кареты, запряженной шестерней дорогихъ коней, до скрипучей арбы татарина, влекомой двумя верблюдами, и въ этой страшной тучѣ пыли по всѣмъ улицамъ тянутся обозы, скачутъ лошади, спѣшатъ пѣшеходы; кругомъ крикъ, визгъ, рычанье, мычанье, разноязычный говоръ, а въ дополненіе цѣлые рои надоѣдливыхъ мухъ; эти насѣкомыя нагло облѣпляли экипажъ, лѣзли въ глаза, въ уши...

— Ваша правда, сказалъ молодой помѣщикъ:—Бурвяны, особенно во время ярмарки, отличаются изобиліемъ мухъ.

— Много собирается народу, прибавилъ чиновникъ; — народъ много истребляетъ съѣстныхъ припасовъ, болѣе или менѣе на открытомъ воздухѣ, а воздухъ въ іюлѣ и хорошая пища располагаетъ мухъ къ размноженію.

— Можетъ-быть и такъ, а все-таки мнѣ кажется насѣкомыя особенно жалуютъ Бурвяны: стоитъ только пройти по лавкамъ, гдѣ греки продаютъ кишмишь, шепталу, финики и другія сладости, и полюбоваться на тучи осъ, летающихъ надъ ящиками со сластями. Я никогда не забуду страдальческой, испуганной рожи, какую состроила чопорная дама въ лавкѣ грека, когда захотѣла полакомиться винными ягодами и тайно запустила въ ящикъ руку, а изъ ящика выдернула ее довольно явно съ крикомъ и воплемъ, облѣпленную злыми осами.

— Вашъ случай хорошъ, замѣтилъ чиновникъ:—но онъ, если не ошибаюсь, ни мало не разъясняетъ вотъ ихъ дѣло насчетъ случившагося случая.

— Ваша правда, отвѣчалъ разсказчикъ:— здѣсь дѣло не о насѣкомыхъ; впрочемъ, я и самъ виноватъ, слишкомъ подробно описываю Бурвяны, между-тѣмъ, какъ вы сами ихъ знаете лучше меня, знаете ихъ тревожную жизнь во время ярмарки, съ блестящими поѣздами вдоль улицъ волтижеровъ и уличныхъ комедіянтовъ, украшенныхъ мишурою и перьями; знаете загородныя скачки верхами и на тройкахъ, цыганскіе вечера, театры и другія шумныя и буйныя веселости, гдѣ человѣкъ кутитъ, какъ говорится нараспашку, и вѣрно удивитесь, когда я скажу, что болѣе всего поразилъ мое воображеніе одинъ очень скромный, тихій старичокъ, самый мирный житель бурныхъ Бурвяновъ.

Я на него глядѣлъ какъ на образчикъ, модель прошлаго вѣка, какъ на антикъ, который случайно сохранился въ первоначальной своей свѣжести гдѣ-нибудь подъ землею, хотя бы, напримѣръ, въ Помпеѣ. Много уже прошло времени со дня нашей встрѣчи, но я, какъ сегодня помню этого сѣдаго, лысаго человѣчка, немного сутуловатаго, вѣроятно, отъ старости, но веселаго, живаго, съ довольно свѣжей и даже румяной физіономіей; онъ всегда былъ одѣтъ въ мундиръ престраннаго покроя, очень мѣшковатый, съ краснымъ отлогимъ воротникомъ, обшитымъ золотымъ позументомъ и такими же отворотами и обшлагами. За обшлагами у него постоянно было спрятано нѣсколько зубочистокъ, оплетенныхъ бисеромъ; очень длинный жилетъ лимоннаго цвѣта, украшенный на груди пучкомъ бѣлыхъ манжетъ, былъ перекрещенъ двумя бисерными голубыми снурками; справа и слѣва изъ жилетныхъ кармановъ ниспускались толстыя золотыя цѣпочки отъ часовъ, отягченныя множествомъ печатей изъ сердолика, халцедона, яшмы и другихъ не очень дорогихъ камней; къ довершенію наряда мой старичокъ носилъ полусапожки съ желтыми отворотами, закрывавшіе его ноги до полъикры—ну, точно такіе, въ какихъ часто прохаживаются по театральной сценѣ испанскіе гранды.

— Кто бы это былъ такой?... началъ молодой помѣщикъ:—я, кажется, всѣхъ зналъ въ Бурвянахъ.

— Этотъ человѣкъ уже давно умеръ; врядъ-ли вы его знаете, отвѣчалъ разсказчикъ: – впрочемъ это не секретъ, его фамилія: Джибжій.

— Спаси насъ Господи и помилуй! Какое калмыцкое прозвище,—сказалъ отставной чиновникъ.

— Онъ былъ не калмыкъ, какъ мнѣ говорили, а какой-то выходецъ изъ Греціи; но такъ обжился между русскими, что рѣшительно узнать нельзя, какой онъ былъ націи.

— Это бываетъ, замѣтилъ молодой помѣщикъ:—недалеко сказать, у меня, весной, въ прошломъ году, принесли мнѣ молодую дикую утку; я приказалъ ее пустить между свойскихъ, и къ осени она такъ освоилась, что узнать было трудно.

— Ваше замѣчаніе не безъ основанія, сказалъ чиновникъ:—но сдѣлайте одолженіе, не перебивайте вотъ ихъ... А они будутъ продолжать—не правда ли?

— Согласенъ, отвѣчалъ разсказчикъ.—На другой день по пріѣздѣ въ Бурвяны, мой отецъ сказалъ мнѣ, что мы поѣдемъ обѣдать къ его старому знакомому, майору Джибжію, что онъ, дескать, человѣкъ неглупый, хоть немного оригиналъ, и обѣдаетъ ровно въ двѣнадцать часовъ дня. Въ одинадцать часовъ мы подъѣхали къ чистенькому одноэтажному дому, выстроенному на крутой горѣ, и вошли въ комнаты.

— А! слыхомъ слыхать!... по волѣ или по неволѣ? кричалъ старикъ Джибжій, обнимая моего отца.—А это что за малый? ужъ не сынишка ли?

— Это мой сынъ, отвѣчалъ батюшка.

— Очень радъ! только извините... этой гадости я терпѣть не могу... для меня лучше разбойника пустить въ комнату, отъявленнаго вора или картежника: ихъ знаешь и будешь беречься; а это зелье... пренесносное!...

И старикъ, схвативъ палку, на концѣ которой былъ привязанъ круглый кусокъ кожи величиной въ ладонь, быстро бѣгалъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, преслѣдуя муху, вѣроятно, залетѣвшую въ комнаты при нашемъ приходѣ.

— Извините меня, молодой человѣкъ, сказалъ Джибжій, когда убилъ муху и отдалъ ее на съѣденіе дрозду, сидѣвшему тутъ же въ углу въ большой клѣткѣ:—извините меня, я человѣкъ пожилой и нахожу, что мнѣ маскироваться прошла пора, да и рѣшительно не для чего; я смерть не люблю противныхъ мухъ и у меня въ домѣ, благодаря моему неусыпному старанію, вы можете скушать кусокъ хлѣба безъ участія этихъ насѣкомыхъ, можете уснуть спокойно и никто не нарушитъ вашего сна, хотя Бурвяны могутъ назваться нарочито мушинымъ городомъ. Видите, у меня всѣ окна затянуты кисеей, воздухъ въ комнатахъ свѣжій, могу сказать благораствореный, а муха ни одна не влетитъ со двора; если же залетитъ случайно—ей нѣтъ пощады, я вооруженъ, видите?

Тутъ Джибжій показалъ мнѣ во всѣхъ углахъ стоявшія хлопушки, то-есть палки разной длины отъ полуаршина до сажени; на концѣ каждой былъ прикрѣпленъ лоскутъ кожи. Осмотрѣвъ странные инструменты, составлявшіе, повидимому, гордость хозяина, я въ душѣ простилъ ему первое впечатлѣніе, произведенное на меня его пріемомъ, и мы перешли въ гостиную, гдѣ уже было человѣка три гостей. Здѣсь я сдѣлаю маленькое отступленіе. Первая комната, куда мы вошли и гдѣ такъ усердно хозяинъ охотился за мухой, была, въ буквальномъ смыслѣ, увѣшана часами: на каминѣ часы, на столахъ часы, на стѣнахъ, въ простѣнкахъ, надъ окнами дома, надъ дверью—вездѣ стояли и висѣли часы всѣхъ возможныхъ видовъ то въ родѣ вѣтряной мельницы, то въ родѣ башни, то въ родѣ гнѣзда на деревѣ и тому подобные; иные били, иные играли аріи, иные пѣли пѣтухомъ, кукушкой и прочая... а вообще шумъ отъ ихъ маятниковъ былъ очень похожъ на шелестъ многаго множества какихъ-то жестокрылыхъ насѣкомыхъ.

Мы перешли изъ этой комнаты, какъ я уже сказалъ, въ гостиную; здѣсь уже не было часовъ и по стѣнамъ красовались картины, нѣкоторыя за стекломъ въ золотыхъ рамахъ, довольно извѣстныя всѣмъ посѣщавшимъ когда-нибудь почтовыя станціи: тутъ были въ лицахъ повѣсть о красномъ носѣ и большомъ морозѣ, сказаніе о Савоськѣ и Парамошкѣ, нѣкоторыя продѣлки семика и масляницы и тому подобныя остроумныя произведенія суздальской живописи; но главную красоту составляли картины, должно полагать, мѣстной бурвянской школы, писанныя на холстѣ масляными красками; онѣ отличались довольно грубою кистью, яркимъ колоритомъ, невѣрнымъ рисункомъ и отсутствіемъ всякой перспективы. На одной изъ нихъ былъ намаленъ огромный дубъ ярко-зеленаго цвѣта; къ самой вершинѣ дуба привязанъ поводами казацкій конь, стоящій впрочемъ на землѣ рядомъ съ дубомъ; подъ деревомъ сидитъ казакъ-запорожецъ въ красномъ платьѣ; онъ скрестилъ ноги и задумчиво глядитъ на свои руки. Подъ картиной надпись:

Козакъ душа правдивая,
Сорочки не мае;
Коли не пье, що небудь бье,
А все не гуляе!...

На другой картинѣ была представлена рѣка свѣтло-голубаго цвѣта; за рѣкой ви-

день сѣнной покосъ на зеленомъ лугу; на берегу рѣки, на первомъ планѣ, стоитъ казакъ, оборотясь къ рѣчкѣ; онъ отчаянно раскрылъ свой усатый ротъ, изъ котораго вылетаютъ слова: *скошено!* По волнамъ рѣки какъ рыбки плаваютъ слова: *стрижено! стрижено!* и между ними изъ глубины воды торчитъ кисть чьей-то руки съ пальцами, сложенными въ родѣ ножницъ. Подъ картиною написана дѣлая легенда въ стихахъ, объясняющая картину. Стиховъ я не помню, а легенда состояла вотъ въ чемъ: ѣхалъ казакъ съ женою по берегу быстрой рѣки, а за рѣкой видѣнъ былъ сѣнокосъ.—Посмотри, милая жена, сказалъ казакъ:—какъ хорошо сѣно скошено, словно кто траву выстригъ подъ корень ножницами.

— Нечему удивляться, отвѣчала жена:—когда это сѣно не скошено, а стрижено.

— Развѣ я дуракъ, закричалъ казакъ:—гдѣ на свѣтѣ стригутъ сѣно?

И началъ ругаться. Жена заплакала, жаловалась на свою судьбу, но увѣряла, что сѣно стрижено. Тутъ завязался между супругами рукопашный бой, и казакъ, побѣдивъ свою прекрасную половину, говорилъ ей:—Ну, вотъ, видишь, до чего ты довела себя споромъ: на тебѣ лица нѣтъ! Сознайся, что поле скошено, и поѣдемъ домой, и пообѣдаемъ хорошенько, и заживемъ по-старому!...

— Хоть убей меня, отвѣчала жена,—а поле стрижено.

Тогда казакъ взялъ жену въ охапку и спросилъ:—Говори въ послѣдній разъ, скошено или стрижено? не-то я тебя брошу въ воду,

— Стрижено!... простонала жена, и казакъ бросилъ ее въ воду.

— Ну, что, скошено? спрашивалъ мужъ.

— Стрижено, стрижено!... отвѣчала утопавшая жена.

Наконецъ, она опустилась на дно.

— Скошено? спросилъ мужъ.

Жена не могла отвѣчать, но подняла изъ воды руку, сложила пальцы въ видѣ ножницъ и начала ими стричь по воздуху. Казакъ махнулъ рукой и поѣхалъ домой одинъ.

Въ этомъ родѣ было очень много картинъ; но я не стану исчислять ихъ; вы сами вѣрно съ ними знакомы.

Въ гостиной мы нашли, кромѣ картинъ, человѣкъ трехъ-четырехъ гостей. Скоро разговоръ завязался. Старичокъ-хозяинъ очень искусно вмѣшивался, не перебивая чужихъ рѣчей, но невольно заставляя себя слушать. По всему видно было, что онъ много видѣлъ на вѣку и, обладая превосходною памятью и пріятнымъ даромъ слова, былъ очень интереснымъ собесѣдникомъ. Разговаривая, онъ очень часто пилъ холодную воду, стоявшую тутъ же, на столѣ, въ большомъ граненомъ графинѣ, что, впрочемъ, неудивительно: погода была жаркая, термометръ Реомюра показывалъ въ тѣни двадцать восемь градусовъ.

Хозяинъ разсказывалъ какое-то занимательное приключеніе изъ путешествія по Россіи императрицы Екатерины Второй; вдругъ взглянулъ на часы и, не кончивъ даже фразы, началъ заводить ихъ. Въ это время въ сосѣдней комнатѣ, уставленной часами, поднялся страшный шумъ, звонъ, крикъ: всѣ часы начали бить по-своему и извѣщать хозяина, что уже двѣнадцать часовъ. Хозяинъ на рысяхъ бросился къ часамъ и началъ ихъ быстро заводить одни за другими; въ нѣсколько минутъ онъ окончилъ свою операцію и вернулся въ гостиную, утирая лобъ синенькимъ клѣтчатымъ платкомъ.

— Извините, господа, говорилъ онъ:—порядокъ—дѣло важное; мои часы тѣмъ только и держатся, что я завожу ихъ аккуратно: какъ двѣнадцать, хоть домъ гори, а я ихъ заведу. Эй, мальчикъ, обѣдать!

— Готово, отвѣчалъ мальчикъ.

— Долой воду!

Мальчикъ схватилъ подносъ съ графиномъ и стаканами и быстро вынесъ его, будто какую отраву, заражающую воздухъ.

— Теперь прошу обѣдать!

За столомъ подавали много блюдъ довольно-жирныхъ и приправленныхъ до нельзя перцомъ и разными пряностями; все возбуждало жажду, а воды не было ни капли на столѣ; въ бутылкахъ стояли мадера, портвейнъ и другія крѣпкія вина, а послабѣе въ графинахъ. Я было заикнулся попросить воды, но хозяинъ отказалъ наотрѣзъ, прибавя, что въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ, и я, волей неволей, первый разъ въ жизни долженъ былъ обѣдать безъ воды.

— И кажется, что это недурно? спросилъ чиновникъ.

— Ничего, отвѣчалъ разсказчикъ: — ко всему можно привыкнуть; а Джибиій, какъ мнѣ говорили, двадцать лѣтъ уже такъ жилъ: до двѣнадцати пилъ воду, въ двѣнадцать изгонялъ ее и пилъ чистое вино до чаю; послѣ чаю опять являлась вода и хозяинъ вина не бралъ въ ротъ до обѣда.

Послѣ обѣда подали черный кофе въ очень маленькихъ чашечкахъ. Еще поговорили съ полчаса, потомъ хозяинъ всталъ и, всѣмъ кланяясь, объявилъ, что идетъ спать. Гости очень вѣжливо взялись за шляпы и разошлись. Такая безцеремонность

хозяина сильно меня поразила, и еще болѣе поразило меня то, что ни одинъ изъ гостей этимъ не обидѣлся, тогда-какъ обидчивость сильно свирѣпствовала во время оно въ Бурвянахъ, и его окрестностяхъ, когда тамъ два задушевные друга сдѣлались смертельными врагами за то, что одинъ не сказалъ другому: *желаю здравствовать* въ то время, какъ тотъ чихнулъ.

— Что, Джибжій военный человѣкъ? спросилъ я моего отца, когда мы вышли на улицу.

— Отставной майоръ и больше ничего, отвѣчалъ батюшка.

— Такъ онъ очень богатъ?

— Имѣетъ домъ, въ которомъ живетъ— и только.

— Такъ онъ получаетъ огромный пенсіонъ?

— И этого нельзя сказать. Джибжій не раненъ, да и вышелъ давно въ отставку, когда пенсіоны были очень малы; впрочемъ, онъ получаетъ въ годъ рублей полтораста ассигнаціями.

— Довольно-странно!... изъ чего же онъ такъ прихотничаетъ и изъ какихъ видовъ бурвяновцы какъ снисходительно смотрятъ на его причуды?

— Джибжій живетъ здѣсь ужъ очень давно, не мѣшается въ чужія дѣла, никогда ни у кого ничего не проситъ, рѣдко наскучаетъ бурвяновцамъ своими посѣщеніями, а самъ очень часто ихъ угощаетъ вкусными обѣдами, поитъ хорошимъ виномъ, тѣшитъ анекдотами и разсказами про старину, и бурвяновцы очень разсудительно смотрятъ на его причуды и странности.

— Это все понятно; но какъ же, будучи бѣднымъ человѣкомъ, изъ какихъ доходовъ Джибжій такъ хорошо живетъ?

— Объ этомъ здѣсь никто не заботится. Впрочемъ, у Джибжія есть подъ городомъ табачная плантація, приносящая ему цѣлковыхъ сотню въ годъ доходу; еще, говорятъ, онъ ведетъ какую-то торговлю пухомъ, да эта торговля кажется мнѣ часто баснословною и врядъ ли не я одинъ знаю истинную причину его богатства.

— И можете разсказать?

— Пожалуй. Давно, какъ только вышелъ изъ полка въ отставку, я, будучи по дѣламъ въ Бурвянахъ, познакомился съ Джибжіемъ. Онъ тогда былъ въ Бурвянахъ человѣкъ новый, недавно вышелъ въ отставку и купилъ себѣ домикъ, въ которомъ и теперь живетъ; домикъ былъ ветхій, запущенный, дворъ и огородъ поросли крапивой, не было ни воротъ, ни забора... и при всемъ этомъ Джибжій не могъ заплатить сразу за домъ самую бездѣлицу, на половину далъ вексель и поселился въ развалинахъ. Тогда Джибжій былъ вовсе не таковъ и очень былъ похожъ на хитраго пролаза, вездѣ бывалъ, всѣмъ кланялся, всѣмъ услуживалъ и говорилъ, что, чувствуя призваніе къ письменному дѣлу, намѣренъ сдѣлаться писателемъ. Писатель въ Бурвянахъ значило не литераторъ, а юристъ или облагороженное названіе ябедника.

Я только что вышелъ изъ военной службы, и Джибжій тоже; я не имѣлъ знакомыхъ въ Бурвянахъ, и Джибжій не могъ похвастать своими связями; можетъ быть, по этой причинѣ мы съ нимъ, что называется, сошлись, и даже разъ, въ минуту откровенности, я, замѣчая весьма неглубокія познанія Джибжія въ юриспруденціи, сказалъ ему объ этомъ безъ обиняковъ и сомнѣвался въ успѣхѣ его будущихъ процессовъ.

— Плохо вы знаете Бурвяны, отвѣчалъ мнѣ Джибжій:—а коли хотите, и все человѣчество. Мы, люди военные, идемъ по разнымъ дорогамъ, намъ скрываться нечего; я не только что плохо знаю юриспруденцію, а смѣло могу сказать: вовсе ея не знаю, да это ничего. Неужели всѣ берутся за то, что они знаютъ?... Я майоръ, бывалъ въ столицахъ, знакомъ кое съ кѣмъ изъ значительныхъ людей, притомъ имѣю здравый смыслъ и знаю грамоту; при этой обстановкѣ, я загоняю всѣхъ бурвяновскихъ ябедниковъ... Вѣдь вы знаете, что на свѣтѣ дураки сидятъ какъ мухи по угламъ; я крѣпко вѣрю, что на мой пай найдется еще нечочатый уголъ!... Стоитъ только тронуть —сами объявятся.

Однако, несмотря на это, не знаю, какъ бы жилъ Джибжій отъ своихъ писарскихъ трудовъ и былъ ли бы онъ такъ спокоенъ? Богъ вѣдаетъ.

Вскорѣ, послѣ моего знакомства съ Джибжіемъ, я пилъ у него чай вечеромъ. Это было весною. Во время чаю пріѣхалъ шестернею въ каретѣ какой-то богатый помѣщикъ посовѣтоваться по очень экстренному дѣлу, и такъ спѣшилъ, что даже не велѣлъ экипажу отъѣзжать отъ крыльца. Какъ ни торопился помѣщикъ, а все просидѣлъ съ часъ, объясняя свое дѣло, и наконецъ уѣхалъ. Мы, окончивъ чай, также вышли прогуляться, пользуясь прекраснымъ вечеромъ.

— Вотъ эти богачи всегда такъ дѣлаютъ, сказалъ Джибжій, сходя съ крыльца:—пріѣдетъ, отниметъ у человѣка время и спасибо не скажетъ, а еще надѣлаетъ безпорядковъ. Вишь какую яму вырыла лошадь передъ самымъ носомъ.

Точно, передъ крыльцомъ, гдѣ стояла карета, была выбита копытомъ ямка въ четверть аршина глубиной. Ретивыя ло-

шади часто, стоя долго въ упряжи, отъ скуки роютъ копытами землю.

— Вишь какую пропасть вырыла, проклятая! говорилъ Джибжій, втыкая въ ямку свою камышевую трость:—вѣдь сюда вся трость уйдетъ.

И точно, трость, сверхъ ожиданія, легко уходила въ землю; видно было, что тамъ, подъ рыхлой землей находилась пустота. Мы начали кругомъ пробовать тростью землю, но вездѣ была земля крѣпка, словно камень, кромѣ ямки, пробитой лошадью. Джибжій еще разъ запустилъ трость почти всю въ ямку; шутя ударилъ сверху по трости рукой, и она юркнула подъ землю, даже мы слышали, какъ она тамъ стукнулась о что-то твердое. Не было никакого сомнѣнія, что подъ землею былъ погребъ.

— Такъ не кладъ ли здѣсь, сказалъ я хозяину:—вѣдь Бурвяны долго были пограничнымъ городомъ! здѣсь часто, говорятъ, жители зарывали имущество при набѣгѣ непріятеля.

— Пустяки, перебилъ Джибжій.

— Но я вамъ совѣтовалъ бы раскопать землю и посмотрѣть хоть изъ любопытства.

Джибжій долго былъ въ раздумьи, но не могъ рѣшиться послать за рабочими, чтобъ достать, какъ онъ говорилъ, свою палку, въ дорогой серебряной оправѣ, съ которою, дескать, и ходить было весело, и разставаться скучно.

Солнце уже совсѣмъ садилось, когда пришли работники и тотчасъ же принялись раскапывать землю вокругъ ямки, куда провалилась палка Джибжія. Снявъ верхній слой земли передъ крыльцомъ на довольно большое пространство, увидѣли плотный кирпичный сводъ; въ сводѣ была четыреугольная отдушина около полуаршина въ діаметрѣ, закладенная досками и засыпанная землей; доски отъ времени до того перегнили, что разсыпались отъ легкаго толчка. Надъ этою самой отдушиной лошадь сдѣлала яму, въ нее и ушла палка въ серебряной оправѣ. Пока расчищали землю надъ сводомъ и отдушину, настала совершенная ночь; принесли огня, въ фонарѣ; всѣмъ было любопытно знать, что скрывалось въ погребѣ. Я спросилъ лѣстницу и хотѣлъ спуститься въ отдушину.

— Этого я не позволю, сказалъ хозяинъ: —тамъ спертый воздухъ и врядъ ли можно дышать имъ.

— Пустое!

— Нѣтъ, не пустое; развѣ не чуете какой гнилью вѣетъ изъ этой норы? Лучше мы сдѣлаемъ опытъ: опустимъ туда горящую свѣчу.

Говоря это, Джибжій на снурочкѣ опустилъ въ погребъ фонарь со свѣчой, но свѣча тотчасъ же погасла.

— Ну, такъ бросимъ туда разомъ цѣлый снопъ горящей соломы, или выстрѣлимъ изъ пистолета, сказалъ я.

— И эта мѣра негодится, отвѣчалъ хозяинъ:—весьма можетъ быть, здѣсь хранится порохъ или что-нибудь горючее, и мнѣ право не хочется на свой счетъ полетать по воздуху. А не лучше ли оставить отдушину открытою на всю ночь: къ завтрему воздухъ очистится, и мы при свѣтѣ дня спустимся отыскивать мою палку.

Предложеніе было довольно благоразумно. Заплативъ рабочимъ, Джибжій отпустилъ ихъ домой. Я тоже побрѣлъ на свою квартиру, мучимый любопытствомъ.

Всю ночь не могъ я заснуть, и на другой день очень рано былъ уже у Джибжія. Къ удивленію, я услышалъ, что онъ еще спитъ, и рѣшился разбудить его.

— Ахъ, какой вы несносный человѣкъ! говорилъ Джибжій, нехотя потягиваясь на постели:—стоило ли изъ за пустяковъ тревожить мой сонъ?... Увѣряю васъ, что тамъ ничего нѣтъ, кромѣ моей палки, да и быть не можетъ! въ Бурвянахъ и теперь нѣтъ Крезовъ, а встарину и подавно ихъ не бывало.

Однако Джибжій довольно лѣниво поднялся съ постели, медленно одѣвался, спросилъ чаю и еще медленнѣе пилъ его, говоря: „торопиться нечего, пусть воздухъ очищается; если что есть тамъ, то тамъ и будетъ, не выскочитъ“!...

Наконецъ, опустили въ отдушину лѣстницу, и мы вошли въ погребъ. Это была довольно большая каменная ротонда со сводами; съ одной стороны ея была желѣзная низенькая дверь; справа и слѣва отъ двери темнѣли двѣ довольно просторныя и глубокія ниши; въ одной нишѣ стоялъ больной глиняный горшокъ, въ другой такіе же два горшка; но они всѣ были пусты. Отперли дверь—она вела въ корридоръ со сводомъ, вѣроятно, прежде служившій входомъ въ погребъ изъ подъ горы. Пройдя корридоромъ шаговъ десять, мы должны были вернуться: далѣе сводъ обрушился, и мусоръ и земля завалили ходъ.

— Ну, вотъ вамъ и всѣ сокровища! говорилъ, хохоча, Джибжій: — я вамъ говорилъ, что, кромѣ моей палки, мы ничего тутъ не найдемъ—не правда ли?

— Правда, отвѣчалъ я; но въ душѣ не былъ согласенъ съ хозяиномъ. Я готовъ былъ держать пари на что угодно, что Джибжій посѣтилъ раньше меня погребъ; въ этомъ меня крѣпко увѣряли три обстоятельства: первое, неестественный, натянутый смѣхъ хозяина и его шутка надъ

несбывшимся кладомъ, тогда какъ, судя по его характеру и состоянію, онъ не былъ врагъ звонкой монеты. Потомъ мнѣ показалось странною легкость, съ какой отворилась желѣзная дверь, запертая, быть можетъ, уже нѣсколько десятковъ, а чего добраго и сотъ лѣтъ; а самое главное: когда я взялъ въ руки пустой горшокъ изъ ниши, то увидѣлъ, что подъ горшкомъ во всю величину его дна былъ на гладкомъ полу его ниши кружокъ гораздо блѣднѣе цвѣтомъ остальнаго темнаго пола, вѣроятно, отъ того, что горшокъ защищалъ тутъ карнизъ отъ вліянія сырого воздуха. Я посмотрѣлъ въ другой нишѣ и нашелъ подъ обоими горшками такіе же свѣтлые кружки — значитъ, причина найдена! Отчего же рядомъ съ горшками, и въ одной и въ другой нишѣ, было по крайней мѣрѣ по десяти если не болѣе такихъ же свѣтлыхъ пятенъ? По всему было видно, что здѣсь *что-то* стояло и что *кто-то* взялъ его. Во всякомъ случаѣ, не мое дѣло было мѣшаться; я смолчалъ. Джибжій въ этотъ же день приказалъ задѣлать кирпичомъ отдушину, засыпалъ все землей попрежнему, и скоро въ городѣ Бурвянахъ забыли о старинномъ погребѣ. Только Джибжій съ этого времени началъ разживаться, какъ говорятъ, не по днямъ, а по часамъ. Онъ объявилъ всему городу, что рѣшился оставить писательство и будетъ заниматься торговлей. Накупилъ хлѣба и повезъ его куда-то на четырехъ подводахъ; а возвратясь, разсказывалъ, что взялъ барыша рубль на рубль. Потомъ снялъ на аренду огородъ, засадилъ его табакомъ; табакъ вышелъ, какъ и у всѣхъ, не лучше, ни хуже, а осенью онъ продалъ какому-то таинственному купцу втрое дороже другихъ бурвяновцевъ. Такъ видимо сталъ богатѣть отставной майоръ; передѣлалъ и выкрасилъ свой домикъ, обнесъ дворъ красивымъ заборомъ, состроилъ ворота; потомъ онъ нанялъ себѣ какого-то скитальца часоваго мастера и маляра, которые и теперь живутъ у него, исполняя его фантазіи; еще далѣе, составилъ росписаніе какъ жить, что когда ѣсть, пить, когда спать и прочая — и живетъ теперь, какъ видишь.

— И вы никогда не напоминали Джибжію о кладѣ? спросилъ я отца.

— Одинъ разъ, лѣтъ десять спустя, какъ-то я глазъ на глазъ замѣтилъ ему о кружкахъ въ нишахъ. Джибжій захохоталъ и сказалъ мнѣ: „Богъ съ вами! это вамъ такъ представилось“... и сейчасъ перемѣнилъ разговоръ. Видя, что ему это не нравится, я никогда больше не заводилъ и рѣчи о погребѣ.

Вотъ, господа, продолжалъ разсказчикъ, обратясь къ собесѣдникамъ: — вотъ какого оригинала я видѣлъ въ Бурвянахъ; онъ давно уже умеръ, но живъ до сихъ поръ въ моей памяти, между тѣмъ какъ много людей, съ которыми я познакомился гораздо позже, рѣшительно забываются.

Тутъ одинъ изъ гостей замѣтилъ, что оригинальное остается долѣе въ памяти. Другой прибавилъ, что подобные оригиналы должны быть отнесены къ допотопнымъ животнымъ, и что они теперь совершенно перевелись.

— Можетъ быть и перевелись, сказалъ старичокъ чиновникъ: — но я никакъ не считаю себя допотопнымъ человѣкомъ, а помню въ своей молодости отчаянныхъ оригиналовъ; особливо четыре брата Березы у меня изъ ума не выходятъ.

— Такъ вы знавали братьевъ Березъ? спросили разомъ гости и хозяинъ.

— И очень!...

— Разскажите намъ; вѣдь преданія о нихъ до сихъ поръ ходятъ въ сосѣдней губерніи.

II.

— Четыре брата Березы, началъ отставной чиновникъ, — были люди старинной натуры, исполины были эти четыре брата! Душа радуется, вспоминая ихъ. Самый меньшой изъ нихъ былъ двухъ аршинъ десяти вершковъ росту, а самый большой чуть не дохватывалъ до сажени; въ плечахъ они были сущіе Голіаѳы, головы словно ведерные котелки, усы до пояса. Чудныя были фигуры!

Служили они, смѣю вамъ доложить, всѣ въ одномъ мѣстѣ, взяли по одчому, по два чина, и разомъ вышли въ отставку, когда умеръ ихъ батюшка, человѣкъ богатый. Всѣ они, четыре брата Березы, любили другъ друга — не скажу братски, потому что часто, при раздѣлѣ наслѣдства, за переломленный гвоздь или старыя подметки — иные нѣжные братцы больно ругаются и даже налагаютъ другъ на друга руки; нѣтъ, они любили другъ друга истинно по пріятельски: нанести обиду одному изъ Березъ значило нанести ее всѣмъ четыремъ, и всѣ четверо за нея вступались; сдѣлать одолженіе одному Березѣ — всѣ четверо были благодарны!

Вотъ они пріѣхали по смерти отца въ имѣніе, осмотрѣли имѣніе и порѣшили, что оно хорошо какъ есть вмѣстѣ; а коли раздѣлить его на четверо, то и то пропадетъ, и другое переведется и третьяго нельзя будетъ поддержать. Они и порѣшили не дѣлить имѣнія, не дробить и не обезсиливать его, а жить всѣмъ вмѣстѣ въ отцов-

скомъ домѣ и доходы дѣлить на четыре равныя части.

И зажили они припѣвающи, на зло своимъ сосѣдямъ, что думали пощечиться около нихъ при раздѣлѣ и во время обычныхъ споровъ прикупить кое-что изъ недвижимости, или хоть изъ движимости за безцѣнокъ. Сосѣди Березъ очень любили подобнаго рода покупки.

Еще Березъ очень не жаловали сосѣди, имѣвшіе дочекъ невѣстъ. Господа Березы какъ-то были не очень падки до женитьбы, даже, казалось, чувствовали отъ нея нѣкотораго роду отвращеніе, а болѣе стремились къ лошадямъ, собакамъ, ружьямъ и, временемъ, къ напиткамъ немного охмѣляющимъ, какъ-то: къ рому, коньяку и тому подобному. Часто степенные отцы благонравныхъ невѣстъ нарекали братьевъ Березъ коноводами, псарниками и пьяницами, хоть, правду сказать, никто никогда не видалъ ни одного изъ братьевъ въ нетрезвомъ состояніи.

Узнавъ характеръ сосѣдей, Березы перестали съ ними знаться, и чтобъ показать, какъ мало они дорожили ихъ мнѣніемъ, начали нарочно выкидывать разныя продѣлки, весьма удивлявшія почтенную публику; но то бѣда, что, кутя сначала *для курьезу*, для шутки, Березы мало по малу привыкли къ подобному образу жизни и сдѣлались, что называется, кутилами. Надъ ними сбылось философское правило: „начни твоего слугу каждый день попрекать, что онъ крадетъ сахаръ, черезъ недѣлю онъ *дѣйствительно* начнетъ его красть“.

Съ Березами чрезвычайно трудно было познакомиться: они обращались со всѣми очень вѣжливо и очень холодно...

— Какъ же вы съ ними познакомились? спросилъ молодой помѣщикъ.

— Я съ ними познакомился черезъ моего дядю, и то не могу сказать, чтобъ я былъ знакомъ съ ними: я былъ молодъ и бѣденъ, они были въ лѣтахъ и богаты; но я зналъ ихъ, даже былъ у нихъ въ домѣ нѣсколько разъ съ дядей; а дядюшка, тотъ былъ знакомъ съ ними, любилъ ихъ, и даже заслужилъ нѣкотораго рода уваженіе отъ этихъ оригинальныхъ братьевъ. Впрочемъ, и дядюшка, какъ онъ выражался—царство ему небесное!—взялъ знакомство съ Березами по военному, приступомъ. Дядюшка, изволите видѣть, былъ самъ гренадерскаго роста и склада, жилъ старикъ холостякомъ, любилъ охоту, лошадей и такъ называемую пріятельскую компанію. Наслышавшись о доблестяхъ Березъ, дядюшка сильно захотѣлъ съ ними познакомиться; нѣсколько разъ въ общественныхъ собраніяхъ весьма политично заговаривалъ то съ тѣмъ, то съ другимъ изъ четырехъ братьевъ; но Березы разговаривали тоже политично и очень тонко отодвигали отъ себя его знакомство, даже ни разу не освѣдомлялись у дядюшки о его фамиліи.

Разъ какъ-то вся губернія собралась въ губернскій городъ. Пріѣхалъ со мною дядюшка, пріѣхали и четыре брата Березы. Начались обѣды, завтраки, званые вечера, какъ обыкновенно было у насъ встарину. Сталкивался дадюшка не разъ съ Березами, а все еще съ ними не познакомился, и уже было мысленно махнулъ на нихъ рукой: „Вы, дескать, сами по себѣ, и я самъ по себѣ“, какъ въ одно пріятное утро, идя въ какое-то собраніе, дядюшка почувствовалъ внутренній холодъ и зашелъ по дорогѣ въ трактиръ выпить рюмку горькой водки, что обыкновенно очень успѣшно возстановляло у дядюшки нормальную теплоту крови.

Пока половой нацѣживалъ рюмку *горькчайшей*, въ трактиръ вошли всѣ четыре Березы.

— Брррръ!... холодно! сказалъ маленькой Береза. — Эй! малый! подай графинчикъ водки!

— Такъ холодно, что можно бы выпить и пуншу, прибавилъ второй братъ.

— Умная рѣчь, продолжалъ третій:— только съ хорошимъ коньякомъ, да покрѣпче.

— Разумѣется, подтвердилъ самый старшій Береза—утромъ не стать пить какихънибудь сладостей!... Что же ты стоишь, выпяля глаза—а? тебѣ говорятъ: пуншу!... развѣ не понимаешь?

— Понимаю, ваше... ваше... отвѣчалъ оробѣвшій мальчикъ: — сколько прикажете, ваше....

— Сколько прикажете!... извѣстно, не по стакану на брата.

— По два прикажете, или дюжину?...

— Ахъ, ты выскочка трактирная!.... удивить хочешь дюжиной!... заревѣлъ старшій братъ, описывая стуломъ по воздуху разные вензеля надъ самой головой половаго. Дамъ я тебѣ дюжину!... Сейчасъ подать сто стакановъ! да хорошаго, крѣпкаго — слышишь: сто стакановъ! Чего стоишь? пошелъ, поворачивайся!...

Братья Березы, взглянувъ искоса на моего дядюшку, усѣлись за столъ среди комнаты. Половой ушелъ. Немного погодя, дверь, куда ушелъ половой, слегка отворилась, мелькнулъ носъ и бѣлый колпакъ самого хозяина; но это видѣніе исчезло быстрѣе нежели показалось. Не прошло и пяти минутъ, какъ дверь опять отворилась, только уже торжественно, распахнулись разомъ обѣ половинки и вышли, другъ за

другомъ, три служителя; каждый держалъ по огромному подносу съ двадцатью-пятью стаканами пуншу; въ заключеніе шелъ хозяинъ съ такимъ же подносомъ.

Передъ каждымъ братцомъ Березой поставили по двадцати-пяти стакановъ и ушли тѣмъ же порядкомъ, причемъ хозяинъ, очень вѣжливый нѣмецъ, приподнявъ свой колпакъ, долгомъ почелъ объявить, что это пуншъ настоящій иностранный, какой только пьютъ честные моряки въ Гамбургѣ, и пожелалъ добраго аппетита и здоровья.

— Не опоздаемъ ли въ собраніе? сказалъ одинъ изъ братьевъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ другой, глядя на свои часы: еще цѣлый часъ времени.

И они принялись пить сто стакановъ пуншу.

Дядюшка мой былъ человѣкъ обстрѣлянный, бывалъ, какъ говорится, на конѣ и подъ конемъ и видывалъ виды, а при всемъ этомъ сильно изумился, когда Березы прехладнокровно начали истреблять, стаканъ за стаканомъ, крѣпкій пуншъ. Наконецъ, всѣ сто стакановъ опустѣли, и къ большому изумленію дядюшки, почтенные братцы, ни сколько не шатаясь, встали съ мѣстъ, выпили еще по рюмкѣ *горьчайшей*, съѣли по бутерброду и вышли на улицу.

— Вотъ люди! сказалъ дядюшка, хлопнувъ себя рукой по лбу, когда ушли Березы: — вотъ друзья минувшихъ лѣтъ!... вотъ настоящіе коренные собесѣдники... предсѣдатели, что называется, компаніи... Обниму ихъ!

И дядюшка, выбѣжавъ на крыльцо, закричалъ вслѣдъ уходившимъ братьямъ:— Милостивые государи!... остановитесь!... на пару словъ, не болѣе!...

Но, или Березы ушли уже очень далеко, или не хотѣли обратить вниманія на рѣчи дядюшки, только они не остановились, даже не оглянулись и скрылись, повернувъ за уголъ улицы.

Дядюшка вернулся въ трактиръ очень озадаченный; молча взялъ свою фуражку и вышелъ задумчивый, словно обсуживая какое-нибудь важное предпріятіе.

Въ тотъ же день, въ обѣденную пору, дядюшка, такъ же все еще задумчивый, проходилъ по улицѣ мимо квартиры Березъ. Глядь въ окно: видно—въ комнатѣ стоитъ накрытый столъ на четыре персоны, какъ слѣдуетъ; и тарелки, и ножи, и ложки, есть, и вина поставлено въ разныхъ буты..ахъ изрядное количество; только кушанья еще нѣтъ.

Недолго думавши, дядюшка вошелъ прямо въ комнату, слегка кивнулъ головой четыремъ братцамъ, игравшимъ въ той комнатѣ въ карты, взялъ стулъ, пристановилъ его къ избранному для обѣда столу и преспокойно усѣлся.

Братья Березы значительно переглянулись между собой.

Не обращая вниманія на хозяевъ, дядюшка снялъ съ прибора салфетку, вынулъ изъ кармана табакерку, высыпалъ изъ нея на тарелку табакъ, смочилъ его мадерой и началъ усердно растирать и размѣшивать, взявъ со стола серебряную ложку.

— Милостивый государь!.. сказалъ одинъ Береза, подходя къ дядюшкѣ.

— Что угодно, милостивый государь? отвѣчалъ дядюшка, глядя въ тарелку.

— Что это, милостивый государь?.. спросилъ съ другой стороны другой Береза.

— Ничего, милостивые государи! продолжалъ дядюшка, растирая табакъ.

— Но кто вы, милостивый государь?

— А вы кто, милостивые государи?

— Мы, разумѣется, хозяева; развѣ не видите?

— А я гость—вы видите.

— Зачѣмъ вы пришли?

— Не за тѣмъ, чтобъ толковать съ вами. Видите зачѣмъ...

— Но вы говорите дерзости!

— И самъ не говорю, и другимъ не позволю, хоть бы ихъ было не четыре, а четыреста!..

Тутъ дядюшка собралъ въ табакерку табакъ и пошелъ къ двери, говоря: „я честный и благородный человѣкъ, моя фамилія такая-то, живу я тамъ-то, и кто хочетъ со мной разговаривать, можетъ прійти ко мнѣ, я радъ всякому: хочешь чокнуться — съ удовольствіемъ; перевѣдаться серьезно—и отъ этого не прочь.

— Стой! заревѣлъ звучнымъ голосомъ старшій Береза:—это, братцы, человѣкъ!.. не бонжуръ какой-нибудь. Мальчики! шампанскаго!.. Позвольте рекомендоваться...

— Это другія рѣчи, отвѣчалъ дядюшка, снимая картузъ:—я самъ давно искалъ этой чести...

— Какая тутъ честь!.. Мы люди простые... безъ кренделей, безъ онеровъ, нараспашку съ людьми порядочными... Да порядочныхъ людей поискать днемъ съ огнемъ... Выпьемъ за здоровье порядочныхъ людей!

— Согласенъ, отвѣчалъ дядюшка:—только не шампанскимъ; пусть его пьютъ бабы да мальчики.

— Золотое изреченіе!.. философская истина!.. закричалъ Береза.—Вонъ шампанское! Давай портвейнъ!

— Истинный человѣкъ!

— Украшеніе нашего уѣзда!

— Брильянтъ великаго могола!.. Будьте нашимъ другомъ и братомъ, кричали братья Березы, обнимая и цѣлуя дядюшку.

Съ этого дня дядюшка сдѣлался своимъ въ домѣ Березъ и часто въ пріятельскомъ кругу разсказывалъ, какъ онъ взялъ штурмомъ знакомство такихъ замѣчательныхъ людей.

Хотя недолго, да громко пожили братья Березы; вся губернія говорила о ихъ разныхъ проказахъ и удалыхъ выходкахъ; иныя изъ нихъ я уже перезабылъ, другія уже нашему брату, человѣку въ преклонныхъ лѣтахъ, и разсказывать не приходится... Оригинально пожили эти люди, и смерть имъ не просто приключилась, а сами себѣ, можно сказать, они призвали смерть.

Ѣздили всегда всѣ четыре брата Березы вмѣстѣ въ одной и преогромной четвероместной коляскѣ, запряженной шестерней ретивыхъ сѣрыхъ жеребцовъ; на запяткахъ стояли два саженные гайдука въ казацкихъ шапкахъ. Ѣздили они бойко, быстро, немного даже бѣшено, особливо съ горъ и на горы, за то привалы дѣлали большіе, выкармливали заботливо лошадей, и сами въ это время отдыхали и кушали недурно.

Въ концѣ іюля, въ жаркій полдень, ѣхали они вмѣстѣ изъ Кіева и остановились на постояломъ дворѣ. Пока выкармливали лошадей, Березы тутъ недалеко отъ дороги разостлали коверъ подъ тѣнью вѣтвистаго шелковичнаго дерева, пообѣдали, спросили подушекъ да здѣсь же, на коврѣ, и соснули часокъ-другой истиннымъ сномъ невинности.

Я думаю, вы замѣтили, милостивые государи, что лѣтомъ послѣ сна, особливо въ жаркій день, является у каждаго человѣка, болѣе или менѣе, нестерпимая жажда. Это ощущеніе испытали и братья Березы, вставъ отъ сна въ тѣни шелковицы. Пока закладывали лошадей, они пробовали потушить ее то хересомъ, то мадерой, но все безуспѣшно... Лошади готовы, братья сѣли въ коляску; хозяинъ постоялаго двора, получившій за все щедрую плату, стоя съ боку безъ шапки и кланяясь, просилъ и впредь не забывать его...

— О, Господи, говорилъ одинъ изъ Березъ:—какая жара!.. дорого далъ бы, чтобъ напиться чего-нибудь, этакого кисловатаго...

— Погодите, ваше благородіе... если вамъ будетъ не противно, я сейчасъ сбѣгаю и принесу, попробуйте...

— Что тамъ такое?

— Да вотъ я налилъ въ этомъ году бочечку вишневки... вишневка первая, еще не починали. Не знаю, хороша ли, не молода ли...

— Коли стояла четыре недѣли—можно пить.

— О, больше! вотъ уже пять недѣль какъ она налита.

— Ахъ, ты чучело гороховое! еще и молчитъ, когда люди умираютъ отъ жажды. Бѣги скорѣе, да принеси порядочный кувшинъ вишневки; мы подождемъ, закричали Березы—и хозяинъ убѣжалъ крупною рысью.

Чрезъ нѣсколько минутъ хозяинъ подалъ крайнему Березѣ глиняный кувшинъ, около полуведра вмѣстимости, наполненный до краевъ густою, красною, какъ кровь, вишневкой. Крайній Береза довольно долго, не переводя духу, тянулъ изъ кувшина, потомъ пріятно вздохнулъ и передалъ его второму. Второй, послѣ тѣхъ же пріемовъ, передалъ кувшинъ третьему, а третій, на основаніи тѣхъ же примѣровъ—четвертому. Когда четвертый отдалъ уже пустой кувшинъ хозяину, братья радостно глядѣли другъ на друга; ихъ глаза ясно говорили: „Вотъ нектаръ! вотъ какое открытіе сдѣлали мы нечаянно, мимоходомъ!..“ Ихъ сердца бились восторгомъ, какимъ, вѣроятно, не билось даже сердце Колумба, когда онъ впервые увидѣлъ Америку...

— Добрая вишневка! наконецъ сказалъ хозяину старшій Береза:—мы ее почали сегодня въ-первый разъ?

— Я еще и капли не попробовалъ; вотъ вы первые изволите ее испытывать, для васъ почалъ бочечку.

— Хорошо! такъ мы не допустимъ, чтобъ кто другой ее и трогалъ; мы ее возьмемъ всю съ собой.

— Куда же вы изволите ее поставить?

— Сюда, въ коляску.

— Врядъ ли войдетъ, говорилъ хозяинъ, сомнительно покачавъ головой.

— Развѣ велика посудина?

— Да бочечка ровно въ сорокъ ведеръ...

— Ого! да это кладъ! выпьемъ ее братцы на мѣстѣ, что ли?

— Пожалуй, выпьемъ, отвѣчали прочіе братья.

— Рѣшено! откладывай лошадей!.. Слышишь, хозяинъ: вишневка наша; сейчасъ ее выкатить сюда и поставить подъ шелковицей; уѣдемъ домой, когда кончимъ бочку.

Не знаю сколько дней, только очень недолго прожили Березы подъ шелковицей, выпили вчетверомъ сорока-ведерную бочку вишневки и уѣхали домой, здравы и невредимы, какъ имъ казалось; но болѣзнь, порожденная чудовищнымъ насиліемъ надъ натурой, быстро развилась въ этихъ желѣзныхъ организмахъ.

Вскорѣ по пріѣздѣ изъ Кіева, захворалъ одинъ изъ братьевъ и въ нѣсколько

дней злая горячка съ пятнами свела его въ могилу. Съ похоронъ брата, меньшой Береза началъ кашлять и видимо сохнуть, между тѣмъ какъ другой, средній, тоже кашляя страшно, толстѣлъ. Призванный докторъ прописалъ рецептъ и сказалъ латинскія клички ихъ болѣзней, а старшему сообщилъ по секрету, что у одного изъ братьевъ неизлечимая чахотка, а у другого водяная въ груди, тоже подающая мало надежды; что, разумѣется, бывали примѣры, и при усиліяхъ природы и нѣкоторыхъ необъясненныхъ переворотахъ организаціи иногда наука торжествовала; что онъ, докторъ, употребитъ всѣ старанія и пустить въ ходъ всѣ средства, начиная съ Іиппократа до нашихъ временъ, но, при всемъ этомъ, совѣтуетъ быть на все готову, и ожидать болѣе или менѣе трагической развязки.

Докторъ ѣздилъ часто и все длиннѣе и длиннѣе прописывалъ рецепты; больные чувствовали себя хуже и хуже, и наконецъ дошли до предсказанной трагической развязки. Осиротѣлъ Береза, и въ этомъ году, одинокій, грустно встрѣтилъ праздникъ Рождества Христова, бывало, такой веселый праздникъ еще недавно—въ прошломъ году!

Печаль старшаго Березы была похожа на мрачное оцѣпенѣніе: онъ не плакалъ, не жаловался, даже не говорилъ ни съ кѣмъ ни слова, и съ утра до ночи пилъ ромъ, коньякъ и другіе крѣпкіе спирты; вѣроятно, хотѣлъ забыться въ отчаяніи, но и въ этомъ судьба ему отказала: спирты на него, казалось, дѣйствовали не сильнѣе, какъ на насъ, грѣшныхъ, чистая ключевая вода. Вотъ какая была натура!..

Съ мѣсяцъ, а можетъ быть и болѣе, продолжалъ Береза такой уединенный образъ жизни, пока въ одно—нельзя сказать, прекрасное утро—его не разбилъ параличъ... Послѣ этого утра онъ прожилъ или, лучше сказать, пострадалъ нѣсколько мѣсяцевъ и весной умеръ... какъ теперь помню, въ самую прекрасную пору, когда поля зеленѣли, сады цвѣли и весеннія птички радостно пѣли... Грустно и поучительно было, милостивые государи, глядѣть на исполинскаго Березу, лишеннаго почти всякаго движенія, лишеннаго даже языка! Вы не повѣрите, что онъ не могъ сказать ни одного слова, и изъ его устъ, при всемъ усиліи, выходили какіе то иностранные звуки, не то татарскіе, не то будто говоритъ съ дѣтьми у Ивана Ивановича выписная гувернантка. Ничего не разберешь!.. Только за нѣсколько дней передъ смертью началъ онъ говорить русскія рѣчи; съ трудомъ, а бывало объяснитъ что-нибудь, только, будто на смѣхъ, сталъ говорить о себѣ въ женскомъ родѣ.

Бывало, и смѣхъ, и жалость беретъ, какъ поглядишь на этого человѣка: великъ, плечистъ, физіономія истинно марсовская, черные усы съ просѣдью висятъ до груди, кажется, нѣтъ ничего женскаго, а слышишь лепечетъ: „Я сегодня *обѣдала*, я *спала* хорошо!..“ и тому подобное—все въ женскомъ родѣ.

Не прошло года съ того дня, какъ Березы выпили подъ шелковицей бочку вишневки, а уже всѣ четверо лежали рядомъ на кладбищѣ!.. Пари держу, что никто изъ проѣзжавшихъ тогда мимо не предсказалъ бы имъ этого. Вотъ какихъ я зналъ во время оно оригиналовъ.

— Кому же осталось послѣ нихъ имѣніе? спросилъ кто-то изъ гостей, кажется, любившій изучать въ подробности лица въ разсказахъ...

— Имѣніе, отвѣчалъ чиновникъ,—наслѣдовалъ какой-то внучатный племянникъ Березъ, страстный охотникъ до цвѣтовъ. И теперь въ покояхъ, гдѣ совершались возліянія оригинальныхъ братцевъ, благоухаютъ резеда и фіялки; на широкихъ подоконникахъ, вмѣсто чубуковъ и бутылокъ, красиво цвѣтутъ герани и геліотропы.

Когда сѣдой чиновникъ кончилъ свой разсказъ, разговоръ принялъ психологическое направленіе: толковали и спорили объ оригиналахъ, разсказали нѣсколько извѣстныхъ анекдотовъ объ англичанахъ и кончили тѣмъ что, благодаря просвѣщенію, оригинальность исчезаетъ съ лица земли.

— А мнѣ кажется, замѣтилъ молодой помѣщикъ,—оригинальность даже во многихъ націяхъ происходитъ отъ одного источника: отъ непокорнаго самолюбія; и пока эта страсть будетъ господствовать между людьми, оригиналы не переведутся.

— А мнѣ кажется, прибавилъ помѣщикъ, постарше и потолще,—что оригиналы переведутся, когда люди сдѣлаются такъ умны, что не станутъ обращать вниманія на глупости своихъ собратій, не станутъ замѣчать ихъ странностей; тогда они сами перестанутъ ихъ дѣлать.

— Вы сказали правду: человѣкъ иногда дѣлаетъ глупости, самъ чувствуя, что это глупость, дѣлаетъ противъ своего желанія, часто рѣшительно изъ-за того, чтобъ сдѣлать вопреки общему мнѣнію. Недалеко ходить за примѣрами: я самъ, сказать по правдѣ, одинъ разъ чуть не поплатился жизнью единственно изъ упрямства... даже и не отъ упрямства, а отъ желанія сдѣлать наперекоръ. Это случилось третьяго года зимой.

III.

Въ шести верстахъ отъ моей деревни живетъ старикъ-помѣщикъ Буланый, человѣкъ очень добрый, хлѣбосолъ и любитель хорошаго чая; кромѣ этихъ качествъ, онъ еще обладалъ двумя дочками. Дочки тогда обѣ были невѣсты, недурны собой, играли пріятно на фортепьяно, и пѣли, не заставляя себя долго упрашивать, что часто случается въ провинціи, и не наскучая своимъ пѣніемъ, что, говорятъ, нерѣдко бываетъ въ столицахъ. Согласитесь, было много причинъ навѣщать Буланаго? Я это и дѣлалъ довольно часто, тѣмъ болѣе, что дорога отъ моей деревни къ деревнѣ Буланаго шла гладкою, ровной степью, была, въ буквальномъ смыслѣ, пряма какъ стрѣла, и ѣздить по ней было истинное наслажденіе.

Однажды, зимою, я поѣхалъ на обѣдъ къ Буланому и привезъ съ собой гостя, отставного майора. Послѣ обѣда Буланый объявилъ, что у него есть особенно хорошій чай и, вѣроятно, мы останемся его попробовать. Разумѣется, я не спорилъ противъ этого предложенія.

Чай былъ очень хорошъ, и когда, послѣ чая, я приказалъ подавать лошадей, хозяинъ просилъ остаться поужинать.

— Будетъ поздно, сказалъ я Буланому.

— Вотъ бѣда! поздно, такъ заночуйте у меня; перекинемъ въ козырьки, дочки попоютъ намъ. Богъ милостивъ, какъ-нибудь убьемъ вечеръ безъ скуки.

— Я въ этомъ увѣренъ, но...

— Что, но? небойсь дома жена что ли, дѣти плачутъ?

— Нѣтъ, но у меня есть дѣла; мнѣ нужно быть сегодня дома.

— Пари держу, что вретъ! какія тамъ дѣла экстренныя? пустяки.

Буланый точно выигралъ бы пари: у меня рѣшительно не было никакого дѣла, и я его выдумалъ такъ, чтобъ сказать что-нибудь. Я остался ужинать съ уговоромъ, что послѣ ужина уѣду.

— Вотъ теперь и я вамъ скажу, говорила меньшая дочь Буланаго, что вы у насъ заночуете, несмотря ни на какія дѣла.

— Отчего такъ? спросилъ я.

— Оттого, что на дворѣ поднялась страшная мятель, и темно, и холодно, и вамъ просто ѣхать невозможно.

— Пустое! поѣду. Ѣдемъ, майоръ?

— Ѣдемъ, отвѣчалъ хладнокровно майоръ.

Можетъ быть, безъ этой выходки хорошенькой барышни, я бы и остался, тѣмъ болѣе, что мнѣ ѣхать было ненужно, что ѣхать было непріятно, а остаться было и теплю, и весело; но какой-то бѣсъ упрямства заговорилъ во мнѣ, и я, несмотря на просьбы хозяевъ, сѣлъ съ майоромъ въ сани и уѣхалъ. Вѣрите ли, мнѣ даже пріятно было глядѣть на ихъ изумленныя и недовольныя лица, было пріятно слышать, какъ меня называли въ глаза храбрецомъ безъ нужды и упрямцемъ. Самолюбіе мое торжествовало, я внутренно сознавалъ себя героемъ и, оцѣняя свои донкихотскіе поступки, давалъ себѣ большое преимущество передъ мирнымъ семействомъ Буланыхъ.

Завернувшись въ медвѣжью шубу, я прилегъ въ саняхъ рядомъ съ майоромъ и съ удовольствіемъ прислушивался къ шуму бури и бойкому дребезжанью колокольчика... Но, мало-по-малу, звонъ колокольчика дѣлался тише, лѣнивѣе и вдругъ пересталъ— мы остановились.

— Что тамъ? спросилъ я кучера.

— А ничего, отвѣчалъ онъ.

— Какъ ничего?

— Ровно ничего, нѣтъ ни дороги, и неба не видно, ни земли — ничего.

— Гдѣ же дорога?

— А Богъ ее знаетъ; должно быть, гдѣ-нибудь въ сторонѣ; лошади уже давно бредутъ въ снѣгу по брюхо, а вотъ теперь уже и стали.

— Ты бы держалъ по вѣтру.

— Съ этимъ вѣтромъ не сладишь, то подеретъ въ правую щеку, то въ лѣвую, то прихлопнетъ по затылку, то бросится прямо въ глаза, прости Господи, словно собака, а снѣгомъ такъ и сыплетъ какъ изъ рукава; бѣдовый вѣтеръ!.. говорить не даетъ... плохо!

— Майоръ, а майоръ! вы спите?

— Нѣтъ.

— Слышите, мы сбились съ дороги.

— Слышу.

— Что же намъ дѣлать? ужъ не вернуться ли?

— Еще будетъ хуже. Въ деревню къ Буланому не попадемъ, а рѣшительно потеряемъ всякій путь.

— Что же намъ дѣлать?

— Не знаю, а возвращаться не приходится.

Пока я толковалъ съ кучеромъ и майоромъ, мятель все разъигрывалась сильнѣе, вѣтеръ крѣпчалъ съ каждою минутой и обдавалъ насъ цѣлыми каскадами мелкаго снѣга; и небо, и земля слились въ одинъ непроницаемый мракъ; кругомъ выли и шумѣли вихри и высоко надъ головами нашими стоналъ ураганъ... Есть пословица: „кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не молился“. Мнѣ кажется, провести зимнюю ночь въ степи въ мятель тоже чего-нибудь

да стоитъ... Въ нѣсколько минутъ наши сани и лошади почти были заметены снѣгомъ; много труда намъ стоило вывести ихъ изъ сугроба, который выросъ вокругъ насъ съ сказочною скоростью; но отдохнувшія лошади кое-какъ поплелись шагомъ собственно по своему произволу, потому что мы бросили вожжи и ими не правили; колокольчикъ опять лѣниво, порывчато зазвенѣлъ, а буря свирѣпо шумѣла вокругъ насъ, и холодъ постепенно начиналъ пробирать меня сквозь шубу. Я пожалъ пружину карманныхъ часовъ,—они ударили часъ.

— Плохо! сказалъ я майору: — теперь часъ, а мы выѣхали въ десять часовъ.

— Значитъ, три часа ѣдемъ, замѣтилъ майоръ.

— Для шести верстъ это много.

— Да, знаете, эта мятель напоминаетъ мнѣ одну мятель въ Молдавіи или, лучше сказать, въ Бессарабіи; такая же была ночь, такъ же я ѣхалъ...

— Ну?

— Ничего; я говорю, такая же была мятель—и только.

— Какъ же вы спаслись?

— Очень просто: ѣхали-ѣхали и наконецъ пріѣхали къ цыганской землянкѣ; тамъ и переждали бурю. Самъ Богъ спасъ. А другіе пострадали.

— Какъ пострадали?

— Одного замело съ лошадьми, да только весною нашли, когда снѣгъ сталъ; другой заѣхалъ въ колодецъ и сломилъ шею, третьяго съѣли волки... Много было непріятностей... А вѣдь начинаетъ пробирать—не правда ли?

— Да, становится холодно, отвѣчалъ я, и, признаюсь вамъ, горько задумался. Какая нелегкая сила унесла меня изъ теплаго дому Буланаго, гдѣ я, вмѣсто воя вѣтра, слушалъ бы пѣніе и разговоры миленькихъ дѣвушекъ, гдѣ для меня была бы мягкая постель, гдѣ, въ каминѣ, горѣлъ свѣтлый огонь... я вообразилъ всѣ лица, оставленныя мною, лица спокойныя, веселыя, *теплыя*... Тутъ я на опытѣ узналъ, что въ темнотѣ и холодѣ особенно пріятно мечтать о свѣтѣ и теплѣ. Но пока я мечталъ, вспоминая по временамъ, не безъ особеннаго участія, объ участи майорскихъ знакомыхъ въ Бессарабіи, время шло своимъ порядкомъ, а морозъ прибиралъ меня видимо къ рукамъ; лихорадочная дрожь пробѣгала съ затылка по всему тѣлу, сосредоточивалась въ груди—ощущеніе очень непріятное!.. Я отчаянно пожалъ часы, они пробили три; въ это самое время колокольчикъ страшно задребезжалъ, наши сани покачнулись на на сторону и остановились.

— Ужъ не въ колодецъ ли мы летимъ?

— Чего добраго, отвѣчалъ майоръ.

— Пріѣхали! закричалъ кучеръ.

— Куда? куда?

— Богъ его знаетъ, а куда-то пріѣхали. Вотъ, лошади наткнулись на какую-то стѣну.

Въ великой радости мы нашли, что это была скирда сѣна. Лошадей мы поставили къ сѣну, а сами въ нѣсколько минутъ сдѣлали углубленіе въ скирдѣ и залѣзли въ нее какъ въ пещеру, благословляя судьбу, избавившую насъ неожиданно отъ смерти. Сначала намъ показалось наше убѣжище и тепло, и мягко, и очень-удобно, такъ-что мы располагали спокойно соснуть до разсвѣта, но вышло не понашему: къ разсвѣту морозъ сталъ крѣпчать и наши мокрыя отъ снѣга платья, замерзая, начали насъ мучить нестерпимо, особливо досталось ногамъ; зато, я думаю, ни одинъ танцмейстеръ никогда не видывалъ на своемъ вѣку такихъ чудныхъ *па*, какіе выкидывали мы съ майоромъ, лежа на сѣнѣ.

— Кучеръ! съ тобою есть огниво? спросилъ я.

— Есть,—отвѣчалъ онъ.

— Руби огонь.

— Еще подожжете скирду, замѣтилъ майоръ.

— Я и хочу ее поджечь: по-крайней-мѣрѣ, согрѣемся.

— И заплатите нѣсколько сотъ рублей.

— Заплачу, да не умру отъ голода. Руби.

Кучеръ началъ рубить огонь; огниво застучало по кремню, искры запрыгали, а трутъ не загорался: видно, отсырѣлъ отъ погоды. Майоръ совѣтовалъ пріостановиться съ добываніемъ огня, говоря, что подобный процессъ опасенъ, и по одному достовѣрному преданію извѣстно, что при такомъ процессѣ вымерзло семь шатровъ цыганъ, а огня всетаки не достали.

Майорское предсказаніе оправдалось: трутъ рѣшительно не захотѣлъ горѣть и огня не достали; но это занятіе пріятно сократило намъ время, и мы съ радостью наконецъ замѣтили, какъ начала блѣднѣть страшная тьма ночи; немного погодя, мы услышали лай собакъ; кучеръ вылѣзъ изъ сѣна и пошелъ къ лошадямъ; немного спустя онъ явился и закричалъ:

— Господи Боже мой! знаете, господа, гдѣ мы?

— А почему намъ знать?

— Вѣдь мы дома! ей-богу, дома! вотъ, я призналъ всѣ наши строенія; вѣдь мы ночевали на гумнѣ въ той самой скирдѣ, что привезли третьяго дня, для конюшни, изъ степи.

Вышедъ, я оглянулся кругомъ и отъ души поблагодарилъ Бога за спасеніе своей жизни и за спасеніе моего состоянія:

загорись ночью трутъ—я былъ бы почти нищій: скирда сѣна стояла съ краю на гумнѣ, за нею врядъ тянулись до самой усадьбы нѣсколько сотъ скирдъ хлѣба, тамъ были амбары, конюшни и крестьянскія избы, крытыя соломой. Загорись скирда сѣна при страшномъ вѣтрѣ, дувшемъ всю ночь, я былъ бы безъ хлѣба и крова, и самъ сжегъ бы свое село.

— А послѣ что? спросили слушатели.

— А послѣ я пришелъ домой, и еслибъ вы могли представить, съ какимъ аппетитомъ напился я чаю, и какъ послѣ уснулъ... Подобныя вещи не разсказываются, ихъ надобно испытать.

— Постараемся испытать при первой же мятели, сказалъ отставной чиновникъ; а пока нѣтъ ли у васъ въ запасѣ какой-нибудь *вещи*, которая разсказывается? Поищите-ка!

— Пожалуй, отвѣчалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, къ которому относилась эта рѣчь:— я могу разсказать презанимательное приключеніе.

— То-есть, анекдотъ? замѣтилъ чиновникъ.

— Нѣтъ, не анекдотъ, а истинное происшествіе, которое и изложу въ формѣ повѣсти.

— А подъ какимъ заглавіемъ?

— Подъ заглавіемъ „Неутолимая жажда авторской славы, или деревенскій Шлегель.“

— Заглавіе довольно-непонятное, достаточно-длинное и снабжено, какъ слѣдуетъ, пояснительнымъ *или*. Для совершеннаго эффекта недостаетъ только эпиграфа.

— Ну, для эпиграфа я поставлю два стиха Крылова:

Ай, моська! знать она сильна,
Что лаетъ на слона!“

— Эпиграфъ хорошъ, замѣтилъ молодой помѣщикъ;—но, ради Бога, нельзя ли избавить насъ отъ заглавія: оно слишкомъ напоминаетъ „Алексисъ, или домикъ въ лѣсу“ и другія заглавія прошлаго столѣтія.

— Извольте, я готовъ идти за вѣкомъ и стану разсказывать какъ можно народнѣе, даже облеку свою повѣсть въ сказочную форму. Хотите?

— Слушаемъ, слушаемъ!

— Итакъ, господа, я вамъ разскажу полубыль, полусказку, старую погудку на новый ладъ, про житье-бытье пестрой птички зозули и бычка-рысачка. Извѣстно и вѣдомо каждому православному, у котораго есть глаза во лбу, да въ головѣ хоть на грошъ ассигнаціями хорошаго мозгу, что зозуля, сирѣчь кукушка, птица глупая и робкая. На что воробей, сѣрый человѣкъ и тварь вовсе недиковинная, а все лучше зозули: воробей и вишень чужихъ пощиплетъ и зерна не своего поклюетъ и припугнутъ его порой, да онъ всегда налицо и храбро чиликаетъ и глядитъ прямо въ глаза; а зозуля цѣлый день прячется въ тѣни, забьется въ самое темное захолустье и сидитъ-себѣ невидимо—отъ робости, стало-быть. А чуть запоютъ въ саду пѣвчія птички, засвищетъ соловей, защебечетъ пѣночка—окаянная зозуля не вытерпитъ и махнетъ во все дурацкое горло: „ку-ку! ку-ку!..“ и хоть сутки ее слушай, ничего больше не выслушаешь. Это, стало-быть, отъ глупости.

— Весьма можетъ быть, сказалъ отставной чиновникъ:—я помню насчетъ этого очень занимательную эпиграмму господина Сумарокова:

Кукушка, сидя на суку,
Кричитъ: ку-ку, ку-ку, ку-ку!..

— Ну, да, продолжалъ разсказчикъ.—Вотъ однажды, эта неразумная птица...

— Кушать готово, пробасилъ у двери лакей.

— Погоди! сказалъ хозяинъ.

— Нѣтъ ужъ, отвѣчалъ разсказчикъ, моя повѣсть не уйдетъ; рано ли, поздно ли, вы ее узнаете, а вашъ ужинъ простынетъ, и я пари держу, почтенные слушатели не простятъ мнѣ этого; да коли правду сказать, я и самъ всегда готовъ промѣнять самый занимательный разсказъ о зозулѣ, или другой подобной дичи, на существенную жареную дичь.

Всѣ собесѣдники отправились въ столовую, не безъ основанія замѣчая въ разсказчикѣ наклонность къ водевильнымъ остротамъ—и повѣсть была отложена до слѣдующаго вечера.

1848 г.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

БОГДАНЪ.

Сцены изъ жизни малороссійскаго гетмана

Зиновія Хмельницкаго.

(Дѣйствіе въ XVII столѣтіи).

ПРОЛОГЪ.

И душиста, и тепла,
Ночь весенняя свѣтла.
Міръ уснулъ; но духъ живой
Движетъ небомъ и землей.
Въ безпредѣльной вышинѣ
Звѣзды свѣтлыя плывутъ;
Въ недоступной глубинѣ
Корни темные ползутъ;
Въ необъятной тишинѣ
Слышно травы какъ ростутъ;
Нешелохнясь, Днѣпръ несетъ
Въ море бремя синихъ водъ.
Надъ рѣкою мѣсяцъ всталъ,
Глянулъ въ воду, задрожалъ—
И объ искренный потокъ
Свѣтлымъ золотомъ потекъ.
Поднялся туманъ съ рѣки,
Разостлался по скаламъ.
Не туманъ я вижу тамъ:
Легкіе тѣней полки,
Опершись на бунчуки,
Тихо въ воздухѣ стоятъ;
Вдоль чела чубы висятъ;
Взоры тайною полны
Замогильной стороны...
Вкругъ, душиста и тепла,
Ночь весенняя свѣтла!

Расплеснулася рѣка—
И въ вѣнкѣ изъ тростника
Вышла изъ воды дѣвица,
Хороша, но блѣднолица;
Какъ въ постели пуховой,
На волнѣ легла живой,
Грудью полною, крутою
Подымаясь надъ водою,
Косы мокрыя плететъ
И смѣется, и поетъ:

„Ночь тиха, ночь свѣтла:
Ни вѣтру, ни тучи;
Не шепчутся листья,
Люди спятъ, звѣри спятъ;
Цѣлуются травки,
Цвѣты втихомолку.
Людямъ день, наша ночь...
Вставайте, сестрицы
Мои бѣлолицы,
Гулять на лугу!“

И зашумѣли быстры волны
И стадомъ къ берегу бѣгутъ.
Русалки по Днѣпру плывутъ—
Рѣзвы, безпечны, своевольны,
Хохочутъ звонко и поютъ:

„Все уснуло мертвымъ сномъ;
Мы порѣзвимся на волѣ;
На лугу травы нарвемъ,
А цвѣтовъ найдемъ на полѣ!

„Изъ зеленыхъ тростниковъ
Мы навьемъ себѣ вѣнковъ,

Пересыплемъ ихъ цвѣтами,
Свяжемъ мѣсяца лучами.

„Путникъ, путникъ молодой!
Къ намъ сюда! Мы зацѣлуемъ
Сладострастнымъ поцѣлуемъ;
Здѣсь, подъ теплою волной,
Ты утонешь въ нѣгѣ томной,
И подъ хохотъ нашъ нескромный
Не услышишь пѣтуха.

„Ночка-ноченька тиха!
Ночка-ноченька тиха!“

ПЕРВАЯ РУСАЛКА.

Весело въ водѣ живемъ,
Некрещеныя мы дѣти!
Днемъ, играя глубиной,
Путаемъ рыбачьи сѣти,
И гуляемъ надъ водой
При лунѣ, ночной порой.

ВТОРАЯ РУСАЛКА.

Золотые стали годы!
Прибываютъ въ наши воды
Къ намъ сестрицы каждый часъ;
Все теперь на бѣломъ свѣтѣ
Некрещеныя мрутъ дѣти—
То-то весело у насъ!“ *)

На воды склоняясь, плакучая ива,
Какъ косы зеленыя, вѣтви свои
Роскошно кругомъ опустили лѣниво,
Въ струяхъ ихъ купаетъ, глядится въ струи.

А у корня этой ивы
Ландышъ нѣжный и стыдливый
Въ часъ таинственной любви
Задрожалъ—благоухаетъ,
И для нѣги раскрываетъ
Колокольчики свои.

И духи лѣсные веселой толпою,
Сверкая крылами при лунныхъ лучахъ,
Оставили рощу—летятъ надъ водою,
Усѣлись на ивовыхъ гибкихъ вѣтвяхъ;

Играя, сплетаясь вѣнками съ вѣтвями,
Межъ листьевъ трепещутъ своими крылами,
На ландышъ глядятъ, ароматъ его пьютъ,
И хоромъ торжественно пѣсню поютъ:

„Непокорный цвѣтокъ,
Расцвѣтай, расцвѣтай,
При сіяньи луны
Ароматъ разливай!

„Много было цвѣтовъ
На лугахъ, на поляхъ,
Много было въ лѣсу,
И на вольныхъ степяхъ.

„По садамъ выросталъ,
Какъ заря, красный макъ;
Для невѣсты срывалъ
Лишь цвѣточки казакъ.

„И цвѣточекъ блисталъ,
Въ ароматѣ, въ красѣ,
На роскошной груди,
Или въ темной косѣ.

„А теперь вамъ, цвѣты,
Нѣтъ житья отъ врага:
Онъ пришелъ, притопталъ
И поля, и луга.

„Для коней накосилъ
Онъ цвѣты и траву...
Поспѣшите сюда,
Братцы, братцы! ау!“

Вдоль уснувшихъ береговъ
Мчатся духи изъ лѣсовъ,
Будто въ облачко свиваясь,
Подымаются къ лунѣ,
Исчезая въ вышинѣ,
То, на землю опускаясь,
И гирляндами свиваясь,
Въ синемъ воздухѣ снуютъ,
И надъ дремлющею ивой
Пляшутъ танецъ прихотливой,
И кружатся, и поютъ:

„Тайный часъ наступилъ;
Нѣдра ландышъ раскрылъ—
И струитъ онъ оркестръ—
Съ лепестковъ ароматъ,
И подъ музыку звѣздъ
Колокольчики звенятъ!
Колокольчики звенятъ!“

ХОРЪ РУСАЛОКЪ.

Мѣсяцъ, мѣсяцъ золотой!
Раскрасавецъ водяной!
Ты намъ свѣтишь, ты насъ грѣешь.
Ты лучами насъ лелѣешь!
Ярче, ярче, посвѣти!
Наши косы мы расчешемъ,
Пошалимъ немного съ лѣшимъ...
Къ намъ красавица заведи!
Тото любо, распотѣшимъ!
Тише! полуночный духъ!
Ухъ!

Русалки сокрылись въ пучинѣ,
А духи лѣсные въ лѣсахъ—

*) Въ Малороссіи есть повѣрье, что всѣ дѣти, умершія прежде крещенія, обращаются въ русалокъ.

И травы уснули въ долинѣ,
Лишь тѣни стоятъ на скалахъ.
Вотъ, царство свое озирая,
Духъ полночи тихо летитъ,
Изъ мака вѣнкомъ помавая,
Онъ спящей землѣ говоритъ:

„Спите покойно, лѣса и долины,
Горы, и воды, и ты человѣкъ,
Неукротимый и неодолимый,
Спи, забывай и любовь, и вражду!

„Вѣтеръ улегся за темною рощей;
Спитъ въ паутинѣ, какъ въ люлькѣ, паукъ;
Полночь ударитъ—и въ воздухѣ дремлющемъ
Тотчасъ спокойно уснетъ ея звукъ.

„Ночь улетитъ, и шумливый и радостный,
День прогремитъ человѣку: „проснись,
Встань, человѣкъ! и въ заботахъ, страданіяхъ
Снова растрачивай жизнь!“

„Спите спокойно, лѣса и долины,
Горы, и воды, и ты человѣкъ,
Неукротимый, и неодолимый,
Спи, забывай и любовь, и вражду!...

(Подлетаетъ къ тѣнямъ).

„Что это? что это вижу я? тѣни людей замогильныхъ!
Кто вы, скажите? зачѣмъ вы пришли возмущать мое царство?
Все подъ рукой у меня засыпаетъ—и духи безплотные,
Чуя приходъ мой, въ благоговѣніи тихо сокрылись;
Вы же, оставивъ гробы покойные—сонъ непробудный,
Вы зачѣмъ пришли возмущать мое тихое царство?

ХОРЪ ТѢНЕЙ.

Насъ могила не покоитъ:
Безъ молитвы, безъ креста
Наши остовы зарыты,
Или брошены съ презрѣньемъ
На съѣденіе звѣрямъ;
И доселѣ наши кости
По лѣсамъ лежатъ, по дебрямъ,
И желтѣютъ по степямъ.

ТѢНЬ ПАВЛЮКА.

Я Павлюкъ, я гетманъ христіанъ-казаковъ;
Я оружье поднялъ на поганыхъ жидовъ:
Не позволилъ мнѣ жидъ въ церкви сына вѣнчать,
Я былъ бѣденъ, не могъ ему золота дать.
Кое-какъ по дворамъ я собралъ казаковъ,
И къ нему я привелъ пятьдесятъ удальцовъ,
Сабли мы на-голо: „жидъ, молчи, не ворчи,
И отъ церкви святой подавай намъ ключи!“
Жидъ намъ подалъ ключи — повалился къ ногамъ;
Мы, оставя его, поспѣшили во храмъ.
Обвѣнчался мой сынъ тамъ съ коханкой своей,
При сіяньи свѣчей и при блескѣ мечей.
На-завтра жидъ поѣхалъ къ воеводѣ.
Всегда жидъ правъ передъ казакомъ вольнымъ:
Такъ извстари ведется у поляковъ.
Не ждать же мнѣ бѣды, поджавши руки,
Не баба я. Конь есть и лѣсъ подъ бокомъ...
Прощай село—въ лѣсу да въ полѣ воля!
Ко мнѣ пристали смѣлые ребята
И назвали меня своимъ гетманомъ.
А между тѣмъ въ Варшавѣ огласили
Меня измѣнникомъ, бунтовщикомъ,
И оцѣнили даже голову мою.
Подъ Боровицей насъ поляки окружили
И, крестъ цѣлуя, предложили миръ.
Повѣрь я—и мы оружье положили,
Оставили окопы, вышли въ поле.
Тогда, забывъ и клятву, и присягу,
На беззащитныхъ насъ накинулись поляки,
И, какъ овецъ, ножами стали рѣзать...
Меня же и войсковыхъ старшинъ
Отправили въ далекую Варшаву.
При мнѣ моихъ друзей казнили;
Я вытерпѣлъ неслыханныя муки:
Съ меня живого сняли кожу
И чучело набили для потѣхи,
А тѣло бросили собакамъ! *)

ТѢНЬ МОЛОДОЙ ДѢВУШКИ.

Было мнѣ всего пятнадцать лѣтъ;
Я одна была у матери—
Мною тѣшилась родимая;
Только Богу я молилася,
Да родную цѣловала я:
Мнѣ другой заботы не было.
Пѣла пѣсни я, какъ ласточка,
И въ своемъ любимомъ садикѣ
Розы, ноготки и маковки
Поливала и лелѣяла.
Часто мнѣ твердила матушка,
Обнимая и цѣлуючи:
„За тебя боюсь я, дочь моя;
У тебя глаза небесные,
У тебя коса шелковая,
У тебя уста малиновы,
Ты, какъ цвѣтикъ молодой, свѣжа.

*) „Исторія Малой Россіи“, Бантышъ-Каменскаго, стр. 211.

Весела, какъ зорька утренняя—
А на свѣтѣ есть недобрый глазъ"...

Пѣла я, а мимо садика
Началъ молодой полякъ ходить,
Началъ на меня посматривать...
Разъ я шла съ кувшиномъ по воду;
Вдругъ кусты зашевелилися,
И, какъ звѣрь, сверкая взглядами,
Молодой полякъ схватилъ меня,
И повезъ конь въ тотъ высокій домъ,
Что стоитъ тамъ на скалѣ крутой
И глядится въ нашъ родимый Днѣпръ.
Тамъ... нѣтъ силы больше вымолвить...
Умерла съ печали матушка;
Я не вынесла несчастія,
Я стыдилася самой себя;
Я не знала, гдѣ дѣваться мнѣ...
Изъ окна на землю бросилась,
На каменья прибережные...
Охъ, какъ больно, больно было мнѣ!
Руки, ноги изломала я—
Захрустѣли мои косточки...
Долго билась на каменьяхъ я,
Такъ и душу Богу отдала.
А мой трупъ, какъ трупъ преступницы,
На распутьи за селомъ зарытъ,
Не отпѣтый, не оплаканный...

ТѢНЬ ОСТРАНИЦЫ.

Я былъ гетманъ казачій Остраница. *)
Я побѣдилъ враговъ моихъ, поляковъ,
И, заключивъ на вѣки съ ними миръ,
Поѣхалъ Богу помолиться въ Каневъ.
Въ монастырѣ, предъ царскими вратами,
Я палъ во прахъ съ моими старшинами,
И въ пламенныхъ рѣчахъ благодарилъ,
Подъ пѣснь торжественной молитвы,
Того, Кто насъ во время битвы
Рукой невидимой хранилъ.
Во глубинѣ души какой-то голосъ тайный
Судьбу грядущую Украйны
Мнѣ утѣшительно шепталъ;
Мои глаза въ слезахъ блистали,
И я въ восторгѣ трепеталъ.
Но двери вдругъ, треща на петляхъ, завизжали
И рухнули, гремя на полъ—
И въ монастырь неистовой толпою
Безчинно, въ шапкахъ, съ бранью на устахъ,
Ворвались польскіе рейтары.
Тутъ я съ своими старшинами
Былъ взятъ, былъ связанъ, опозоренъ,
И отвезенъ въ Варшаву.
Однимъ изъ насъ ломали руки, ноги,
Другихъ, обливши сѣрой и смолою,
Какъ факелы, для шутки зажигали.
Меня желѣзными когтями растерзали.
О, страшно какъ, ужасно какъ ласкали,
Впивалися въ меня съ какой любовью
Пауковидныя стальныя эти когти!
Какъ нити, жилы изъ меня тянулись
И обрывались съ тихимъ лопаньемъ и трескомъ,
И вѣтеръ холодомъ невыносимымъ вѣялъ
На обнаженныя отъ тѣла кости;
Но я терпѣлъ безъ вопля и безъ стона,
И только слалъ врагамъ проклятья.
Но вотъ ужъ свѣтъ въ моихъ глазахъ стемнѣлъ,
Въ послѣдній разъ я посмотрѣлъ на землю,
И вижу я: казнятъ позорной казнью
Передо мной мою жену,
А на горячихъ угольяхъ, какъ рыбу,
Поляки жарятъ моего ребенка...
Онъ на рѣшеткѣ раскаленной бьется,
И корчится, и въ судорогахъ предсмертныхъ
Болѣзненно киваетъ головою,
И на меня тихонько ручкой машетъ...
Я задрожалъ: взяла свое природа,
И вылетѣлъ ужасный вопль изъ груди,
И съ нимъ душа изъ тѣла улетѣла! **)

*) „Исторія Малой Россіи", стр. 214.

ТѢНЬ НАЛИВАЙКИ.

За Сулою, подъ Лубнами,
Крѣпко бились ляхи съ нами,
Окруживъ со всѣхъ сторонъ;
Тамъ костьми легли казаки,
И въ пылу кровавой драки
Я Жолкѣвскимъ взятъ въ полонъ...
И въ Варшавѣ былъ примѣрно,
Для забавы буйной черни,
Я неслыханно казненъ. ***)

Въ мѣдный чанъ меня забили,
А подъ чаномъ разложили
Тихій, медленный огонь.
Въ чанѣ жарко, душно стало:
И шумѣло, и трещало,
И какъ будто цѣловало
Пламя чанъ со всѣхъ сторонъ.

Все вокругъ меня краснѣло—
Принялъ чанъ кровавый цвѣтъ;
Въ тьмѣ разлился жаркій свѣтъ;
А на мнѣ одежда тлѣла,
Трескалось отъ жару тѣло...
Я неслыханно страдалъ:
Пламень съ воздухомъ глоталъ;
Страшно сердце въ груди билось,
Голова моя кружилась—
И безъ чувства я упалъ...

*) „Исторія Русовъ", Георгія Конисскаго, стр. 55.

**) „Исторія Малой Россіи", стр. 176.

Тѣнь умолкла. Легкій шелестъ
По деревьямъ пробѣжалъ:
Встрепенулся кленъ и берестъ,
Дубъ листами зашепталъ,
Снизу до-верху вѣтвями
Зашумѣлъ, и какъ словами
Духу полночи сказалъ:

„Лѣтъ сто назадъ, казакъ изъ ближняго селенья
Черноволосую казачку полюбилъ,
И въ день веселый обрученья
Два жолудя на память посадилъ.
Лѣта идутъ—два дуба молодые
Высоко выросли и радостно шумятъ,
Вѣтвями обнялись родные.
Тѣ дубы были: я да мой зеленый братъ.
Какъ я его любилъ, какъ онъ меня лелѣялъ!
Напрасно буйный вѣтеръ вѣялъ
И вихрь порывистый свистѣлъ;
Мы съ братомъ, сплетясь вѣтвями,
Смѣялися надъ бурей и громами,
И, злобно зашипя, вихрь далѣе летѣлъ.
А благодѣтель нашъ какъ нами любовался!
Съ женой и шумною семьей,
Въ палящій лѣтній зной,
Подъ нашу тѣнь онъ часто удалялся
На мягкой травкѣ полежать,
И молодость свою припоминать.

Но вотъ и у его дѣтей родились дѣти...
Мы много перемѣнъ увидѣли на свѣтѣ:
Мы съ братомъ выше все росли,
А благодѣтель нашъ клонился до земли.
Надъ нимъ столѣтье пролетѣло—
И молодой казакъ, любимый сынъ побѣдъ,
Сталъ немощенъ и дряхлъ и сѣдъ,
Едва влачилъ свое изношенное тѣло.
Но вдругъ война въ Украйнѣ закипѣла—
И внуки старца, и сыны
Рукой войны подкошены;
Село родимое разграблено, сгорѣло...
И благодѣтель нашъ остался сиротой,
Переживя свои два поколѣнья.
При заревѣ горящаго селенья
Онъ притащился къ намъ съ клюкой,
Онъ обнялъ насъ дрожащими руками
И залился горячими слезами.

Тогда была гроза. Вѣтръ вылъ, и тяжело
Вода въ Днѣпрѣ и билась, и стонала,
И непріятелемъ зажженное село
Въ пожарномъ заревѣ сіяло.
„А, вотъ еще ушелъ отъ нашихъ рукъ!
О, это старый волкъ! Проворнѣе, ребята,
Арканъ ему на шею—да на сукъ:
Короткая съ измѣнникомъ расплата!“
Сказалъ своимъ солдатамъ польскій панъ,
У нашего холма коня остановляя.
Сильнѣе мимо насъ промчался ураганъ,
Гремя и въ молніяхъ сверкая.
Затрепетавъ, гляжу я внизъ:
У брата на вѣтвяхъ нашъ старый другъ повисъ,
И вѣетъ съ вѣтромъ сѣдиною.
Не выдержалъ мой благородный братъ!
Я слышу: корни у него трещатъ
И—зашумѣлъ онъ въ Днѣпръ кудрявой головою.

ГОЛОСЪ ИЗЪ ПОДЪ КАМНЯ.

Я здѣсь давно; столѣтій много, много
Надъ головой моей прошло!
Я помню—разъ земля поколебалась,
И изъ ея глубокихъ нѣдръ
Я выдвинутъ могучею природой
На бѣлый свѣтъ.
Вокругъ меня шумѣли волны;
Все было небо, да вода;
Бѣжалъ по небу мѣсяцъ полный,
А вольный вѣтеръ по водѣ гулялъ;
Предъ нимъ валы неслись какъ горы;
Но вотъ они куда-то убѣжали,
И изъ воды, желта какъ голый черепъ,
На необъятное вокругъ пространство
Земля явилась и окрѣпла;
А по землѣ, какъ змѣи извиваясь,
Живыя рѣки потекли.
Съ тѣхъ поръ у ногъ моихъ широкій Днѣпръ
Бѣжитъ. Давно то было время!
Вотъ берега Днѣпра, какъ мохъ зеленый,
Лѣсъ молодой покрылъ. Еще столѣтье—
И дебрями разросся дикій лѣсъ.
Въ немъ пѣли птицы и рыкали звѣри,
И наконецъ явился человѣкъ.
Онъ страшенъ былъ. Покрытъ медвѣжьей кожей,
Онъ билъ звѣрей, и, голодомъ томимый,
Сырое мясо тутъ же пожиралъ.
Но никогда я не видалъ,
Чтобъ онъ, для шутки, для потѣхи,
Отъ скуки или отъ бездѣлья,
Себѣ подобныхъ убивалъ,
Какъ довелось увидѣть мнѣ подъ старость;
Назадъ тому два года, помню, лѣтомъ
Садилось солнце; день былъ тихій;
Въ Днѣпрѣ, рѣзвясь, играла рыба,
И птицы пѣли весело въ кустахъ.
Ко мнѣ пришла, съ младенцемъ на рукахъ,
Красавица. казачка молодая
И плакала, и, ставши на колѣни,
Молилась долго, а потомъ ребенка,
Цѣлуя, къ персямъ прижимала.
Пришелъ сюда какой-то польскій панъ
И жарко съ нею говорилъ о свадьбѣ...
И, станъ ея, обнявъ рукой,
Цѣлуя страстно, онъ на край стремнины
Привлекъ казачку—и толкнулъ въ рѣку.
Потомъ, схвативъ невиннаго ребенка,
О грудь мою ударилъ головою,
Приговоря: „Это вражье племя

Могло мою разстроить свадьбу
Съ прекрасною, богатою графиней"...
Я задрожалъ отъ ужаса; по мнѣ
Текла младенца кровь и жгла меня, какъ пламень.
И въ первый разъ я на судьбу взропталъ,
Что я нѣмой, недвижный камень!
Отъ ужаса я треснулъ пополамъ.
И вотъ мою другую половину
Поляки въ городъ увезли.

И слышалъ я—мнѣ вѣдьмы говорили,
Изъ Кіева летая въ лѣсъ на пляску—
Что, преступленія свидѣтель, этотъ камень
Украшенъ золотомъ, рѣзьбой,
И въ пышномъ городѣ поставленъ для красы,
Какъ памятникъ грядущимъ поколѣньямъ
Во славу низкаго, но сильнаго злодѣя.

„Полно"! шепчетъ духъ полночи:
„Страшны ваши рѣчи мнѣ".
Къ небу руки, къ небу очи—
И сокрылся въ вышинѣ...
Тишина съ нимъ улетѣла...
Безъ нея осиротѣлый,
Грустно Божій міръ вздохнулъ;
Вѣтеръ по землѣ пахнулъ;
Робко волны зароптали,
И мятежно побѣжали
Вдоль проснувшейся рѣки;
Головою покачали
Надъ рѣкою тростники.
Глухо, въ ярости стеная,
Изъ-за лѣсу громовая
Туча тихо поднялась,
А въ лучахъ огня и свѣта
Вышла изъ Днѣпра комета
И небу разлеглась.
Какова ихъ будетъ встрѣча?
Будетъ миръ, иль будетъ сѣча
Въ небесахъ и на землѣ?
Будетъ благо или худо?—
Но грядущее покуда
Скрыто въ безотвѣтной мглѣ!...

I.

Въ странѣ, гдѣ Днѣпръ волною голубою
Поитъ цвѣтущіе луга,
Гдѣ гордо высятся зеленой крутизною
Его лѣсистые брега;
Въ той сторонѣ, откуда недалеко
Стоитъ святой, богатый Кіевъ-градъ,
Раскинулись его сады широко,
А въ небесахъ кресты церквей горятъ;
Гдѣ, посреди цвѣтовъ и звонкихъ пѣсенъ,
Казакъ на бой отважный зрѣлъ,
И въ бой летѣлъ, прекрасенъ и чудесенъ,
Суровъ какъ рокъ, и какъ безумье смѣлъ;
Гдѣ селянинъ, идя за мирнымъ плугомъ,
О подвигахъ своихъ отцовъ поетъ;
Гдѣ чернобровая, взлелѣянная югомъ,
Красавица, какъ яркій цвѣтъ цвѣтетъ—
Тамъ есть село. Не пышно, не богато,
На рѣчкѣ Тясминѣ стоитъ оно;
Кругомъ плетнемъ обнесено,
А за плетнемъ, въ садахъ, бѣлѣютъ хаты,
И сочные висятъ плоды.
Вокругъ села чернѣетъ лѣсъ привольный,
А за селомъ могилы и кресты,
И ветхій храмъ съ убогой колокольней.

Суботовымъ зовется то село.
Была пора—оно цвѣло,
Зернистымъ колосомъ его шумѣли нивы,
Никто въ немъ бѣдности незналъ,
Казакъ судьбу благословлялъ,
И были всѣ, какъ можно быть, счастливы.
Но, врагъ покоя и труда,
Чаплицкій, гордый воевода,
Изъ Польши присланъ былъ сюда
Для угнетенія народа.
Раздался плачъ, и вопль, и стонъ
Казачьихъ дочерей и женъ;
Въ пожарахъ села запылали;
Богоотступникъ, подлый жидъ
Святыню началъ сторожить...
А ляхи пили да гуляли.

Красивое селенье полюбилъ
Корыстолюбецъ, панъ Чаплицкій;
И изъ Суботова тогда же изгнанъ былъ
Его владѣлецъ, молодой Хмельницкій.
Онъ, покидая кровъ родной,
Прощаясь съ отеческимъ порогомъ,
Въ душѣ поклялся передъ Богомъ
Отмстить, иль пасть въ борьбѣ съ судьбой.

II.

Весенній день, роскошно догорая,
Позолотилъ дремучіе лѣса;
Сквозясь огнемъ и пурпуромъ сверкая,
На западѣ небесъ горѣла полоса.
Темнѣло все; надъ тихою рѣкою
Клубится пыль—стада въ село спѣшатъ;
Поселянинъ идетъ, усталый, отдыхать,
И звѣзды свѣтлою толпою
На синемъ небѣ вышли погулять.
Склонясь косматой головою,
Лѣсистый берегъ въ Днѣпръ задумчиво глядитъ.
Чу! гдѣ-то ворота въ деревнѣ заскрипѣли;
Раздался дальній лай—и все опять молчитъ
И, какъ младенецъ въ колыбели,
Земля спокойно, безмятежно спитъ;

И, будто міра сонный шопотъ,
Чуть слышный раздается ропотъ
О берегъ плещущей волны;
Да средь небесной вышины
Плыветъ воздушною дорогой
Спокойно мѣсяцъ златорогій.

И тихо, и темно кругомъ;
Но въ темномъ лѣсѣ, за селомъ,
Гдѣ дремлетъ мирное кладбище,
Есть опустѣлое жилище.
Оно безъ оконъ, безъ дверей,
Склонившись всторону, дряхлѣетъ.
Въ жилищѣ томъ, сквозь сѣть вѣтвей,
Огонь, какъ звѣздочка, свѣтлѣетъ.
Передъ огнемъ старикъ сидитъ,
Святаго алтаря служитель.
Суровъ и важенъ старца видъ.
Предъ нимъ, какъ геній разрушитель,
Исполненъ силы и огня,
На перси голову склоня,
Стоитъ Хмельницкій. Сладко льются,
Какъ тихо-струйная рѣка,
Святыя рѣчи старика;
Какъ ропотъ буря, раздаются
Слова отваги казака.

СВЯЩЕННИКЪ.

О, Господи! я дожилъ до сѣдинъ,
И Ты привелъ меня теперь на старость
Свидѣтелемъ измѣны тяжкой быть!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Отецъ Григорій, это не измѣна!...

СВЯЩЕННИКЪ.

Но королю вѣдь крестъ ты цѣловалъ?
Ты обѣщалъ передъ престоломъ Бога
Ему служить и вѣрою и правдою?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Да, это такъ; но самъ же нашъ король,
Своею властью, данною отъ Бога,
Мнѣ разрѣшилъ несносную присягу...

СВЯЩЕННИКЪ.

Король?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Да, самъ король въ Варшавѣ.
Сегодня я оттуда лишь пріѣхалъ,
И поспѣшилъ къ тебѣ, святой отецъ.

СВЯЩЕННИКЪ.

Ну, разскажи!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Когда злодѣй Чаплицкій
Лишилъ меня отцовскаго наслѣдства,
Когда меня, какъ подлаго раба,
Изъ моего села съ насмѣшкой выгналъ.
И отнялъ у меня мою жену,
И сына моего передъ народомъ мучилъ—
Да будетъ проклято то время!—
Я перенесъ страдальческое бремя...
Я притѣснителя хотѣлъ тогда убить,
И трупъ его въ огнѣ испепелить,
И прахъ его, какъ пыль, въ степи развѣять...
Но есть на свѣтѣ совѣсть и присяга.
И саблю я опять вложилъ въ ножны.

СВЯЩЕННИКЪ.

Благословенна, сынъ мой, та минута:
Ты не порадовалъ врага Христова.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

И я поѣхалъ прямо къ королю
Просить его покрова и защиты.
Король меня съ обычной лаской принялъ,
И говорилъ со мною по-латыни
О нашей бѣдной сторонѣ.
Когда же подалъ я ему бумагу,
Гдѣ описалъ Чаплицкаго безчинства,
И покровительства его просилъ,
Нашъ Владиславъ—его мнѣ право жалко—
Прочелъ бумагу и пожалъ плечами.
„Я не могу, онъ мнѣ въ отвѣтъ сказалъ,
Я не могу судить васъ; мнѣ покою
И безъ того магнаты не даютъ.
Я королемъ имъ только по названью:
Они меня и слушать не хотятъ...
Да что, скажи, Хмельницкій, вамъ мѣшаетъ
Самимъ свои отстаивать права,
Пока у васъ не притупились сабли?
Я это и къ Барабашу писалъ...“ *)
Меня король какъ громомъ поразилъ:
И радостно, и грустно вдругъ мнѣ стало.
И я ни съ чѣмъ назадъ домой поѣхалъ...
И вотъ опять передо мною Днѣпръ,
А по Днѣпру казацкое раздолье...
Украина, моя родная мать!
Цвѣтущая, веселая Украйна!
Что будетъ далѣе съ тобой,
Когда король, законный обладатель,
Не смѣетъ судъ людямъ твоимъ творить,
Добро хвалить и зло карать не смѣетъ?..
Мы безъ отца сиротствовать должны.
И вѣришь ли, отецъ мой, я заплакалъ.
О Господи! горьки казачьи слезы:

*) Энгель: „Geschichte der Ukraina“, стр. 140.

Одна слеза въ струи Днѣпра упала
И отравила свѣтлыя струи;
И даже конь, измученный дорогой,
Не захотѣлъ напиться изъ Днѣпра...

СВЯЩЕННИКЪ.

Не радостны, мой сынъ, твои разсказы;
Не быть добру въ родимой сторонѣ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Нѣтъ, быть добру! — за это я въ отвѣтѣ.
Я подыму въ народѣ знамя правды,
Я изгоню пановъ надменныхъ Польши—
И водворится снова тишина!...

СВЯЩЕННИКЪ.

Трудна, мой сынъ, тебѣ борьба съ врагами:
Они сильны оружіемъ и златомъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

А мы любовію къ Украйнѣ
И къ вѣрѣ предковъ нашихъ православной.

СВЯЩЕННИКЪ.

Такъ, но народъ, измученный трудами,
Убитый тяжкимъ, злополучнымъ рабствомъ,
Не въ силахъ...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Кто? не въ силахъ нашъ народъ?
Видалъ ли ты, когда холодный ледъ
Свободныя струи рѣки скуетъ?—
Рѣка мертва, по ней гуляютъ даже дѣти;
Но подъ тяжелою корой
Она шумитъ и мечется волной.
И только-лишь весна повѣетъ,
Рѣка воскреснетъ—свирѣпѣетъ,
Ломаетъ ледяной оплотъ,
И вмигъ разливомъ синихъ водъ
Луга потопитъ. Такъ народъ!...
Онъ угнетенъ; но подъ золою
Огонь скрывается порою.
Благослови меня, отецъ святой!
Я самъ пойду по городамъ, селеньямъ—
И королевскимъ разрѣшеньемъ
Украину воспламеню войной....
Мнѣ слышатся побѣдны наши клики...
Трепещетъ ляхъ и клонится во прахъ...
Въ Украйнѣ миръ, и торжество въ церквяхъ...
Благослови жъ на подвигъ насъ великій!...

СВЯЩЕННИКЪ *(благословляя)*

Да укрѣпитъ тебя Господь, мой сынъ!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ *(кланяясь)*.

Аминь!

III.

У Хмельницкаго пиръ. Много, много гостей
Утощаетъ Хмельницкій въ свѣтлицѣ своей:
И съ поклономъ его молодая жена
Всѣхъ обноситъ гостей полнымъ кубкомъ вина.
Гости пьютъ и ѣдятъ, говорятъ и курятъ;
При огнѣ парчевые жупаны блестятъ.
Тутъ и сотники есть, и полковники есть,
Даже самъ Барабашъ сдѣлалъ праздничну честь.
Вся свѣтлица гостями и дымомъ полна.
Въ сѣни дверь растворила хозяйка сама,
А въ сѣняхъ музыканты толпою стоятъ,
Громко въ трубы трубятъ, въ барабаны гремятъ.
У Хмельницкаго пиръ; онъ гостямъ своимъ радъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Ну-те, хлопцы, ну, живѣе!
Веселѣе, удалѣе
Ваша пѣсня пусть звучитъ:
Быстрой ласточкой взовьется,
Колокольчикомъ зальется,
Вольной птичкой полетитъ!
Пусть весь міръ про это знаетъ,
Какъ мнѣ дорогъ праздникъ нашъ:
У Хмельницкаго гуляетъ
Мудрый гетманъ Барабашъ.

Воютъ трубы боевыя,
Бубны и тарелки бьютъ,
И казаки молодые
Пѣсню звучную поютъ:

ПѢСНЯ.

Въ поднебесьи мчатся тучи,
Выше тучъ орелъ паритъ;
Днѣпръ кипитъ волной зыбучей;
Ураганъ въ степи шумитъ.

Но какъ нашъ отрядъ летучій
Понесется на враговъ—
Вихрь въ степи и въ небѣ тучи
Отстаютъ отъ казаковъ.

Что Днѣпра сѣдаго волны
Съ ихъ ребяческой грозой,
Какъ курень, отваги полный,
Заколышется войной!

Не орелъ полетомъ быстрымъ
Разостлался надъ землей:
Передъ нами, въ полѣ чистомъ,
Загорѣлся кошевой.

Онъ прекрасенъ, какъ отвага,
Быстръ, какъ молніи полетъ;
Съ нимъ наѣздниковъ ватага
И подъ бурею поетъ:

„Гей, неситесь шибче, тучи!
Ураганъ, шуми сильнѣй!
Разыграйся, Днѣпръ могучій,
Въ непогоду веселѣй!

Хоръ гремитъ, а дворъ широкій
Весь огнями освѣщенъ—
И горитъ въ щитѣ высоко
Вензель гетмана зажженъ.
А въ свѣтлицѣ пированье,
Хохотъ и рѣчей жужжанье,
И ковшей, и чарокъ звонъ.
За столомъ между гостями
Гетманъ радостно сидитъ,
Смотритъ свѣтлыми очами,
И привѣтными словами
Съ каждымъ гостемъ говоритъ.

„Хороша, братъ, пѣсня эта“,
Онъ хозяину сказалъ:
„Хоть мои минули лѣта,
Я свое отгарцовалъ,
И, осыпанный частями
Нашимъ добрымъ королемъ,
Долженъ думать лишь о томъ,
Какъ бы миръ хранить межъ вами;
Но она теперь меня
Обдаетъ какимъ-то жаромъ:
Хоть сейчасъ бы на коня—
И махнулъ бы въ степь къ татарамъ!
Нѣтъ, Хмельницкій, нѣтъ, не даромъ
Эта пѣсня сложена!“

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Развѣ намъ, въ войнѣ крещеннымъ,
Пѣсни пѣть, какъ робкимъ женамъ,
Про цвѣты, да про поля?
Сгибнетъ родина моя,
А казакъ унылой пѣсни
Сыновьямъ не передастъ!
Пусть король ксендзамъ продастъ,
Украшенье поднебесной,
Приднѣпровскую страну,—
Нашъ потомокъ и въ плѣну,
Затая тоску лихую,
Запоетъ про старину
Пѣсню дѣда удалую!

БАРАБАШЪ.

И сто бабъ не разберетъ,
Что въ душѣ твоей, Хмельницкій!
Обобралъ его Чаплицкій—
Онъ смѣется да поетъ...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Видѣлъ я, какъ птичка пѣла
Надъ стремниною крутой,
А сама она сидѣла
На тростинкѣ на гнилой;
Громко пѣсня птички льется,
А тростинка гнется, гнется,
Такъ надъ бездной и дрожитъ,
Да пѣвунью не страшитъ.

БАРАБАШЪ.

Ну, такъ что же?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

То, вельможный:
Птичкѣ пѣть надъ бездной можно,
Птичкѣ крылья далъ Господь.
Вотъ тростинка подломилась,
И летитъ въ пучину водъ;
Птичка—въ воздухъ—закружилась,
И опять свое поетъ.
Такъ и мы поемъ покуда,
А придется ляхамъ худо!
Намъ-то нечего тужить;
Наши косы, наши грабли
Перемѣнимъ мы на сабли,
Станемъ саблями шутить
Мы съ вельможными панами:
Не хотѣли судъ творить,
Такъ мы ихъ разсудимъ сами!

БАРАБАШЪ.

Если бъ за двумя замками
Не былъ спрятанъ тотъ указъ,
Что свѣтлѣйшими руками
Нашъ король писалъ про насъ,
Я бъ подумалъ въ этотъ часъ,
Что его ты видѣлъ тайно.
Худо было бы тогда!
Кровью бъ упилась Украйна!...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Что же? это не бѣда!
Если бъ этотъ дождь кровавый

По Днѣпру взрастилъ дубравы,
Чтобъ въ дубравахъ тѣхъ казакъ
Могъ предаться мирной лѣни,
Чтобы въ ихъ густыя сѣни
Не скрывался тайный врагъ;
Чтобы всякій былъ увѣренъ,
Вставши утромъ отъ одра,
Что сегодня до вечерень
Не возьмутъ его добра,
И за честь жены любимой,
Сластолюбіемъ водимый,
Панъ не броситъ серебра
Вамъ въ лицо съ улыбкой гордой;
Чтобы христіанинъ, твердый
Въ вѣрѣ праведной отцовъ,
У родимаго порога
Могъ свободно славить Бога
Безъ запрета отъ жидовъ;
Чтобы...

БАРАБАШЪ.

Полно, кумъ любезный,
Дерзкой рѣчью, безполезной,
Шумный праздникъ возмущать!
Прикажи-ка лучше меду
Намъ почаще наливать,
Чтобы даромъ не скучать
Православному народу!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Ваша правда, пане мой;
Мудрый панъ—и мудро слово!
Хлопцы, кубокъ золотой!
Дайте меду дорогого:
Коли пить, друзья, такъ пить!“

Вотъ съ отлогими краями
Кубокъ на столѣ блеститъ;
Золотистыми струями
Медъ густой въ него бѣжитъ,
Пѣна у краевъ кипитъ
И садится жемчугами.
Разъигрался пиръ горой:
Гетманъ пьетъ—и его-мосци
Пьютъ и кланяются гости.
И средь пѣсни удалой
Бьютъ тарелки, барабаны;
Кубки, чарки и стаканы
Громко брякаютъ, звенятъ;
И гостей хмѣльныя рѣчи
Про войну, про славу Сѣчи
И про удаль говорятъ.

Но время за-полночь; и пиръ, и шумъ стихаютъ,
И музыка играетъ на-разладъ,
И гости вздоръ нескладный говорятъ.
Барабаша дрема одолѣваетъ.
Вотъ гетманъ руки на столѣ сложилъ,
На чарку мутными глазами покосился,
Усатую главу на грудь склонилъ,
Зѣвнулъ—и въ сонъ глубокій погрузился.
Шатаясь, гости съ мѣстъ встаютъ
И что-то, безъ-толку, преважное толкуютъ,
Въ сѣняхъ послѣдній кубокъ пьютъ,
Хмельницкаго благодарятъ, цѣлуютъ,
И по-домамъ своимъ бредутъ.
Хмельницкій самъ... онъ глазъ не сводитъ
Съ Барабаша, къ нему подходитъ
И за руку его беретъ,
Толкаетъ, дергаетъ, зоветъ:
„Вставай, гетманъ, насъ ждутъ постели;
Ужъ третьи пѣтухи пропѣли,
Ужъ скоро утро смѣнитъ ночь“.
А тотъ храпитъ лишь во всю мочь...
И радость быстро озаряетъ
Хмельницкаго угрюмое лицо.
Дыханье притаивъ, тихонько онъ снимаетъ
У гетмана съ руки гербовое кольцо *).

IV.

Ночь. Вся окрестность тихо спитъ,
На небѣ мѣсяцъ не блеститъ,
И только звѣздочки однѣ
Мелькаютъ въ синей вышинѣ.
Надъ рѣчкой дремлетъ темный садъ;
Изъ саду льется ароматъ.
Въ саду чуть видѣнъ панскій домъ;
И въ домѣ томъ, въ окнѣ одномъ,
Въ ночи глухой огонь блеститъ:
То воску яраго горитъ
Передъ иконою свѣча.
Сорочку опустивъ съ плеча,
На руку голову склоня,
У раствореннаго окна,
Невыразимо хороша,
Сидитъ жена Барабаша.
Сидитъ давнымъ-давно она:
„Три дня, какъ мужа невидать!
Гдѣ онъ? что съ нимъ? нельзя понять!
Зачѣмъ онъ держитъ какъ въ плѣну
Меня, законную жену?
Скучаю я, а онъ теперь,
Быть-можетъ, отворяетъ дверь,
И робкой крадется стопой
Въ свѣтлицу къ паннѣ молодой,
И вся изъ нѣги и огня,
Къ нему на грудь падетъ она!..,“
И пани вспыхнула... потомъ
Закрыла очи рукавомъ.

Невыразимо хороша
Сидитъ жена Барабаша.

*) Лѣтопись Георгія Конисскаго.

Ей жарко, душно ей одной,
Моей голубкѣ молодой,
И недовѣрчивость, и страхъ
Въ ея плѣнительныхъ очахъ,
И страстью налитая грудь
Дрожитъ и силится вздохнуть...
Она сидитъ и мужа ждетъ.
Стучится кто-то у воротъ;
Собака лаемъ залилась,
Другая къ ней отозвалась;
Поднялся на ноги весь дворъ,
И падаетъ съ воротъ запоръ;
И вотъ въѣзжаетъ, наконецъ,
На дворъ отъ гетмана гонецъ.
Коня отъ посланца берутъ,
И къ пани посланца ведутъ.
„Гдѣ мужъ мой? Что съ нимъ?“—
Ничего!
Меня прислалъ онъ для того,
Чтобъ вашу милость извѣстить,
Что Богъ его еще хранитъ.
Да приказалъ мнѣ взять отъ васъ
Послѣдній короля указъ,
Который онъ велѣлъ скрывать
И никому не объявлять;
Для вѣрности жъ моихъ рѣчей
Гетманъ прислалъ съ руки своей
Свое гербовое кольцо.—

Блѣднѣетъ гетманши лицо...
Въ кольцѣ былъ камень дорогой,
На немъ искусною рѣзьбой
Изображенъ гетмана гербъ:
Кривая шашка, словно серпъ,
И на-крестъ ей положена
Была пернатая стрѣла.
„Да, это перстень мужа, такъ
Ты правду говоришь, казакъ“.
Тутъ пани отдала указъ;
И, торопливо поклонясь,
Казакъ спѣшитъ на панскій дворъ—
И полетѣлъ во весь опоръ.

Гонецъ обратно ускакалъ,
И дворъ опять безмолвенъ сталъ,
Предавшись обаянью сна,
И водворилась тишина.
И снова дремлетъ темный садъ,
Изъ саду льется ароматъ;
И снова пани у окна
Сидитъ задумчива, блѣдна,
И слушаетъ, какъ въ далекѣ
Вторится топотъ по рѣкѣ.
Вотъ топотъ тише, тише сталъ—
То замиралъ, то оживалъ—
И вдругъ замолкъ—въ далекій мракъ
Какъ-будто утонулъ казакъ.
И лишь тогда, когда разсвѣтъ
Свой розово-огнистый цвѣтъ
Разлилъ на небѣ голубомъ
И звѣзды, трепетнымъ лучомъ
Мерцая, стали потухать
И неприметно исчезать,
Въ туманѣ забѣлѣлъ потокъ,
Дохнулъ изъ саду вѣтерокъ,
И предразсвѣтный соловей
Запѣлъ въ тѣни густыхъ вѣтвей,
Любовной нѣгою дыша,—
Вздохнувъ, жена Барабаша
Легла печально почивать
На одинокую кровать.

V.

Въ Украйнѣ смятенье неясное бродитъ;
Чего-то всѣ ждутъ и не знаютъ чего.
Въ народѣ молва разноустая ходитъ—
И слушать не знаешь кого!
Разсказывалъ гдѣ-то старикъ на базарѣ,
Что будутъ въ Украйнѣ война да пожары;
И два казака въ Чигринѣ, подъ шинкомъ
Для отдыха ставши, жиду говорили,
Что денегъ поляки Ордѣ не платили,
И крымцы хотятъ воевать съ королемъ,
Что жадныхъ татаровъ несмѣтная сила,
Какъ черная туча, всѣ степи покрыла;
Что, будто, Хмельницкимъ въ Крыму рѣшено—
Казакамъ съ Ордою идти за-одно.
Письменные люди въ народѣ кричали,
Что сами указъ королевскій читали,
Что въ немъ-де изволитъ король разрѣшать
Казакамъ оружьемъ права защищать.
Еще говорилъ бандурнстъ на дорогѣ,
Что, будто, Хмельницкій въ Никитиномъ-Рогѣ *),
И всѣ запорожцы къ нему пристаютъ,
Что многія тысячи есть тамъ народа,
Что ждутъ съ нетерпѣньемъ куда-то похода,
Оружіе чистятъ и коней куютъ;
Что самъ Барабашъ, испугавшись смятенья,
На скорую руку собралъ ополченье;
Что сѣла на лодки коронная рать
И хочетъ Хмельницкаго съ войскомъ забрать;
И что отъ заката почти до разсвѣта
Кровавая ходитъ по небу комета
И звѣзды смѣтаетъ широкимъ хвостомъ.
На кровляхъ стенаютъ зловѣщія птицы;
Надъ лѣсомъ клекочутъ орлы и орлицы...
И видѣла баба: надъ сонными Днѣпромъ
Недобрыя тѣни въ туманѣ летѣли,
Рыдали летя, какъ дитя въ колыбели;
И на колокольнѣ въ лѣсу, за селомъ,
Самъ колоколъ стонетъ во мракѣ ночномъ.

---

*) Никитинъ-Рогъ (Никополь) былъ тогда мѣстомъ Сѣчи запорожцевъ.

Тревожно со страхомъ чего-то всѣ ждутъ.
Напрасно луга зашумѣли травою,
Колышутся нивы волной золотою—
Работники мирные въ полѣ нейдутъ!
Какъ макъ, расцвѣтая, огнисто краснѣетъ,
Казацкія шапки повсюду пестрѣютъ;
Какъ утромъ колосья на нивѣ блестятъ,
Казацкія пики на солнцѣ горятъ.
Народъ собирается въ селахъ толпами,
И шепчется тихо и косо глядитъ,
И шапки не ломитъ при встрѣчѣ съ панами.
Охъ, тучи собрались—и громъ загремитъ!
Упиться Украйнѣ червленою кровью!
Господь! не оставь насъ своею любовью!
Невинныхъ твой гнѣвъ не казнитъ...

VI.

Тихо утро загорѣлось надъ землей:
Засверкали степи, вспрыснуты росой;
Красно солнышко привѣтливо взошло;
Все запѣло, зашумѣло, зацвѣло.
На раздольи, по широкимъ по степямъ
Днѣпръ-кормилецъ далъ разгулъ своимъ водамъ;
И направо, и налѣво мурава;
Межъ волнами зеленѣютъ острова;
А на тѣхъ-то на зеленыхъ островахъ
Молодой Хмельницкій съ войскомъ въ тростникахъ.
То не стая лебединая плыветъ,
По Днѣпру то ратъ казацкая идетъ;
То идетъ войной на брата кровный братъ:
Хоть не радъ онъ да идетъ, когда велятъ.
Съ казаками наказной ихъ гетманъ самъ.
Вотъ приплыли лодки близко къ островамъ;
Вмигъ раздвинулись густые тростники—
И зѣвнули пушки поперекъ рѣки.
Пламя брызнуло, отгрянулъ сильный громъ,
Надъ волною дымъ разстлался полотномъ,
И казаки, видя смертъ со всѣхъ сторонъ,
Видя гибель неизбѣжную кругомъ,
Ну отъ острова скорѣй бѣжать назадъ;
Только весла, словно крылышки, шумятъ.
Вотъ съ воды поднялся дымъ подъ облака,
Засверкала снова свѣтлая рѣка—
А на островѣ, играя съ вѣтеркомъ,
Развилося знамя бѣлое съ крестомъ.
Ставъ на берегѣ, бѣгущимъ казакамъ
Громкимъ голосомъ сказалъ Хмельницкій самъ:
„Христіанству миръ и воинамъ Христа *),
Подъ защитой чудотворнаго креста!
Разбѣгутся такъ поляки передъ нимъ,
Какъ отъ вѣтру разбѣжался этотъ дымъ.
Намъ Господь поднять оружіе велитъ:
Дѣло правое Небесный защититъ!

*) „Исторія Руссовъ“, стр. 62.

Чудо!—къ острову казаки вновь плывутъ:
Предъ Хмельницкимъ сабли острыя кладутъ,
„Будь начальникъ нашъ, второй нашъ будь отецъ!
Пропадемъ мы съ нашимъ гетманомъ вконецъ:
Передъ польскими панами онъ дрожитъ;
Кровь собратовъ проливать онъ намъ велитъ;
Здѣсь погибнетъ онъ отъ нашея руки.“
И гетмана окружили казаки;
Стали ружья на гетмана наводить;
На колѣняхъ онъ пощады сталъ просить...
Выстрѣлъ—гетмана какъ не была душа:
Днѣпръ понесъ на море трупъ Барабаша! *)
Вотъ пришелъ священникъ въ ризѣ парчевой
И поставилъ на землѣ святой налой:
Благодарственный молебенъ сталъ служить,
За побѣду Бога силъ благодарить.
Церковь имъ была—лазурный небосводъ,
А лампада—солнце по небу идетъ;
Отъ кадила вьется къ верху легкій дымъ;
Все полно благоговѣніемъ святымъ...
Съ вѣрой въ сердцѣ и съ молитвой на устахъ,
Предъ Невидимымъ упали всѣ во прахъ.
Каждый воинъ Всемогущаго молилъ,
Чтобы новаго онъ гетмана хранилъ.
Всѣ Хмельницкому присягу дали тутъ,
И къ обозу на рукахъ его несутъ...
Здѣсь сыскали чарку пѣннаго вина;
Съ приговоркой по рукамъ пошла она,
И поднялся у казаковъ пиръ горой.
Во весь день звенѣли пѣсни надъ рѣкой,
Въ вечеру зажгли по острову огни
И до свѣта веселилися они...

VII.

Вотъ годъ пролетѣлъ. Владислава не стало,
А Польшу оружье казаковъ карало.
Подъ Корсунемъ много уснуло пановъ.
Въ плѣну Калиновскій, Синявскій, Долгофъ.
И, жалуя ласкою крымцевъ своею,
Всѣхъ плѣнныхъ Хмельницкій даритъ Тугай-бею **);
И золота горы беретъ Тугай-бей
Изъ Польши за выкупъ плѣненныхъ вождей ***).
Ужъ Стародубъ, Каневъ, Черкасы, Черниговъ
И Бѣлая-Церковь свободны отъ ига.
Бѣжитъ Конецпольскій, бѣжитъ Осторогъ...

*) „Исторія Малой Россіи“, стр. 238.
**) Предводитель татарскаго войска.
***) За одного Синявскаго онъ получилъ двадцать тысячъ червонцевъ. (Нѣсецкій. „Korona Polska“).

За правое дѣло заступникъ самъ Богъ!
Подъ Львовымъ, Зборажемъ покрытые славой,
Казаки явились уже подъ Варшавой,
И выбранъ былъ ими король Казиміръ,
И далъ онъ казакамъ блистательный міръ.
Воскреснула снова казачья свобода;
Хмельницкій гетманъ, избавитель народа,
Торжественно въ Кіевъ спѣшитъ.
И крестное знамя свободно шумитъ
Отъ сѣверскихъ пущей на югъ до Лимана,
А въ Кіевѣ войско, народъ и синклитъ
Даруетъ Хмельницкому имя *Богдана* *).

VIII.

Окончены въ храмахъ святыя вечерни;
На Кіевъ спускается сумракъ вечерній;
По улицамъ длиннымъ народъ не шумитъ
И городъ стихаетъ въ покоѣ.
Блеснулъ огонекъ у Богдана въ покоѣ.
Лампада предъ образомъ скромно горитъ...
Тамъ гетманъ сидитъ одинокій, угрюмый.
Онъ весь погрузился въ тревожныя думы
И тихо съ собой говоритъ:

„Окончены кровавыя смятенья;
Окрещена въ своей крови Украйна;
Хоть дорого, но купленъ нами миръ.
Господари валахскій и молдавскій,
Султанъ турецкій, трансильванскій князь
И царь Москвы, родной, единовѣрный,
Своихъ пословъ прислали. Самъ король,
Янъ Казиміръ, свою забывши гордость,
Прислалъ ко мнѣ богатые подарки;
А православная, святая наша церковь,
Въ лицѣ своихъ избранныхъ іереевъ,
Меня *Богданомъ* нарекла...
О, Господи! за что такая милость?
Я не безгрѣшенъ, это знаетъ совѣсть.
За мною есть неправедныя думы,
И, можетъ-быть, неправыя дѣла...
Но если гласъ народа—Божій голосъ,
И если ты послалъ меня народу,
И если я Украйнѣ Богомъ данъ,
И Ты, Отецъ, ничтожнаго меня
Орудіемъ избралъ великой воли.

(Становится на колѣни)

То не оставь меня Твоимъ покровомъ:
Пусть мой народъ, въ преображеньи новомъ,
Я къ счастію прямому поведу!
Да искупится кровь и стонъ сраженій
Столѣтьями благословеній!

*) „Исторія Малой Россіи", т. I, стр. 237.

СВЯЩЕННИКЪ (*входя*).

Молись, мой сынъ!—прекрасенъ побѣдитель,
Когда свою вѣнчанную главу
Предъ Богомъ силъ смиренно преклоняетъ.
Величіе въ смиреніи такомъ.
Въ молитвѣ все!... Твердыни Іерихона
Смѣялись надъ оружіемъ людей—
И рушились отъ праведной молитвы.
Молись, мой сынъ!—въ молитвѣ сила, крѣпость,
Въ молитвѣ все...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ (*вставая*).

Не о себѣ молился,
Святой отецъ, въ минуту эту я:
Молился я о счастіи Украйны.
Ты помнишь ли, отецъ Григорій, ночь,
Какъ беззащитный, безпомощный,
Богатый только силой крѣпкой воли,
Я захотѣлъ освободить народъ—
И ты меня благословилъ на подвигъ?
Давно ли было... а теперь побѣды
Украйну опять возстановили,
И я—гетманъ свободныя Украйны,
И шлютъ пословъ ко мнѣ цари отвсюду...
Мы съ турками безпошлинно торгуемъ,
И Море Черное для насъ свободно... наше *),
И Польша гордая у насъ просила миру;
Но я еще теперь боюсь...

СВЯЩЕННИКЪ.

Чего?
Въ ту ночь, когда ты взялъ благословенье
На страшный и отважный подвигъ,
Ты не былъ такъ встревоженъ, какъ теперь,
Когда успѣхъ вѣнчалъ святое дѣло.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Нѣтъ, мой, отецъ, не вѣрю что-то я
Врагу, подавшему мнѣ руку примиренія.
Съ мечомъ прошли мы Польшу до Варшавы
И подъ Варшавой дали Польшѣ миръ;
Притомъ же самъ король, Янъ Казиміръ,
Обязанъ намъ и саномъ, и короной:
Его на сеймѣ подкрѣпили мы
И голосомъ, и звономъ острыхъ сабель;
Мы избрали его на зло вельможамъ.
Придетъ пора—не станетъ Казимира,
Оправятся разбитые поляки—
И быть войнѣ—войны не избѣжать.
Нѣтъ, надобно Украйну обезпечить:
Я безъ того спокойно не умру...

*) „Исторія Малой Россіи", т. 1, стр. 256.

СВЯЩЕННИКЪ.

Тебѣ еще султанъ прислалъ подарки,
И милости, и почесть обѣщалъ...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Османъ-Ага, посланникъ отъ султана,
Привезъ мнѣ въ даръ бунчукъ и булаву,
Приличные достоинству гетмана,
И золота привезъ для казаковъ,
Еще привезъ—лукавый обольститель —
Широкій плащъ, подбитый горностаемъ...
Ну, точно царская порфира!
И, именемъ султана, обѣщалъ
Мой родъ возвесть въ достоинство гетмановъ,
Лишь-только бы Украйна отдалась
Подъ покровительство невѣрной Порты *).
Святой отецъ, ужъ это слишкомъ много!
Не такъ я гордъ, не такъ честолюбивъ я,
Скажу прямѣй, не такъ безумъ я,
Чтобъ сталъ мечтать о власти королевской!
Столѣтія царей намъ освящаютъ,
Изъ дѣтства въ нихъ привыкли видѣть мы
Святую власть помазанниковъ Божьихъ,
Не недоступной высотѣ.
А я, простой казакъ, могу ли думать
Возвыситься и стать на степень эту!...
Я не хочу накликать снова кровь
И бѣдствія на бѣдную Украйну.
Довольно намъ примѣра Годунова,
Что царствовалъ такъ горько на Руси.

СВЯЩЕННИКЪ.

Да, это правда—и отдать народъ
Врагамъ Христа, невѣрнымъ мусульманамъ,
Грѣшно, Богданъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Грѣшно и безразсудно.
Молдавія почти раба султана,
Валахія трепещетъ передъ Портой...
Самимъ же намъ держаться невозможно:
Направо степь, налѣво степь кругомъ;
Нигдѣ преградъ природа не дала
Намъ отъ враговъ; задумали и—разомъ
Какъ воды къ намъ текутъ со всѣхъ сторонъ...
Границы наши—буквы на пескѣ:
Повѣялъ вѣтръ—и ихъ какъ небывало.
О, если бы опаясать Украйну
Широкими, глубокими морями,
Или вокругъ ея воздвигнуть горы,
Тогда бы... а теперь она— какъ ива,
Растущая сироткой у дороги:
Ее не топчетъ развѣ кто не хочетъ..

*) „Исторія Русовъ", стр. 96.

СВЯЩЕННИКЪ.

О, Господи! чудна судьба народовъ!
Когда читаешь древнія сказанья
Святыхъ мужей о доблестяхъ славянъ,
О силѣ и богатствѣ нашихъ предковъ,
Душа горитъ, глаза блестятъ слезами,
И чистая и свѣтлая молитва
Изъ сердца, будто голубь, вылетаетъ.
Нашъ Кіевъ, колыбель Христовой вѣры,
Столицей былъ славянъ многоземельныхъ,
И съ высоты холмовъ своихъ зеленыхъ
Громъ посылалъ на дряхлый Цареградъ.
Теперь же что? Враждебные народы
Славянскія поля размежевали;
И Кіевъ самъ, развѣнчанной старикъ,
Давно ль стеналъ подъ игомъ иновѣрцевъ!
Что дѣлать намъ? Спасенье гдѣ, гетманъ?
Охъ, тяжело Господь рабовъ караетъ!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Еще горитъ для насъ звѣзда спасенья:
Въ народѣ намъ единокровномъ,
Въ единовѣрной намъ Москѣ
Ростетъ, цвѣтетъ и мощно, и красиво,
Какъ древо жизни на брегахъ Ефрата,
Родныхъ царей святое поколѣнье.
Подъ скипетромъ помазанниковъ Божьихъ,
Живетъ народъ счастливо, безмятежно;
Въ церквяхъ торжественно гремятъ
Во славу Вышняго святые гимны...
Туда, отецъ, душа моя летитъ!
И если я Украйнѣ Богомъ данный,
То Богъ поможетъ въ этомъ дѣлѣ мнѣ;
Соединю разрозненныхъ судьбою
Ужь нѣсколько вѣковъ родимыхъ братьевъ.
У ногъ царя московскаго сложу
Мои гетманскіе клейноды,
И счастіе прямое укажу
Украинѣ изъ родовъ въ роды!

(Подумавъ.)

Да; я хочу, желаю и исполню
Мнѣ Богомъ данное предназначенье!
Повѣришь ли, что иногда во снѣ
Передо мной раскроется пространство
На необъятные впередъ вѣка...
И вижу я: тамъ царство безъ границы
Надвинулось на многія моря;
И западъ, и востокъ, и югъ, и сѣверъ
Въ одно слились; вездѣ языкъ славянскій,
Вездѣ святая, праведная вѣра,
И правитъ имъ одинъ великій царь...
И царство то чудесное—Россія!

СВЯЩЕННИКЪ.

Извѣстно намъ изъ книги откровеній,
Изъ Библіи, что иногда къ намъ сны
Пророчески слетаютъ съ вышины.
Іосифу одиннадцать сноповъ
Во снѣ смиренно поклонялись,
И звѣздъ одиннадцать передъ его звѣздой,
Во снѣ онъ видѣлъ, тихо померкали;
Пришла пора — и точно на яву
Одиннадцать его старѣйшихъ братьевъ
Съ повинною главой предъ нимъ упали.
Спѣши, Богданъ, окончи трудный путь!
Богъ милостивъ; незримыми стезями
Онъ свой народъ ведетъ къ прямому сча-
стью.
Отъ смутъ, отъ бѣдъ пора намъ отдохнуть.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Уже давно прошу и умоляю
Высокаго московскаго царя
Принять опять единокровныхъ братьевъ,
Принять свое родное достоянье,
Отторженное хитрыми врагами;
Но онъ—примѣръ неколебимой правды—
Такъ царственно и добръ, и честенъ,
Что, свято соблюдая съ Польшей миръ,
Великодушно отвергаетъ,
Чего такъ жадно ищутъ двѣ державы,
И только намъ, въ отвѣтъ на наши просьбы,
Съ послами шлетъ богатые подарки.
Вотъ и теперь Михайловъ и Унковскій
Намъ привезли и соболей, и денегъ,
И увѣщанія смириться передъ Польшей, (*)
Передъ державою, которая сегодня жъ—
Найдись къ тому удобный случай—
Свои войска въ Москву послать готова,
И съ ними хоть десятокъ самозванцевъ.

СВЯЩЕННИКЪ.

Сердца царей въ рукѣ самого Бога,
Писаніе святое говоритъ.
Не намъ судить поступки вѣнценосцевъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Вчера Вешнякъ, полковникъ чигиринскій,
Опять къ царю въ Москву поѣхалъ съ
просьбой.
Все описалъ царю я справедливо
И если онъ еще не согласится,
Тогда...

СВЯЩЕННИКЪ.

Тогда да будетъ воля Божья.

(*) „Исторія Малой Россіи", т. I, стр. 259.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Теперь меня сомнѣнье страшно мучитъ.
И вотъ о чемъ, отецъ мой, я молился,
И вотъ о чемъ я плакалъ, мой отецъ.

(На крыльцѣ слышенъ стукъ.)

СВЯЩЕННИКЪ *(глядя въ окно).*

Сюда идетъ какой-то панъ вельможный.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

А, знаю, это отъ посольства.
Опять притворствовать! — Прости мнѣ, Боже!
Давно ли я тепло, чистосердечно
Молился такъ и плакалъ, и открыто
Бесѣдовалъ съ тобой, отецъ Григорій—
И снова долженъ лицемѣрить.

СВЯЩЕННИКЪ.

Мнѣ кажется, мы такъ сильны теперь,
Что нечего притворствовать предъ ними,
И накликать на душу новый грѣхъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Война нужна, но самъ я не могу
Ее начать, не поступя безчестно
Въ глазахъ людей, предъ Яномъ Казимиромъ.
Съ народомъ я сведу пословъ надменныхъ:
Авось поможетъ въ этомъ мнѣ народъ.

ПОЛЯКЪ. *(входя, гордо кланяется).*

Вельможный панъ, посланникъ Казимира,
Желаетъ знать, когда, и какъ, и гдѣ
Вы примете неслыханную милость,
И письма, и подарки, и клейноды
Отъ короля, отъ Яна Казимира?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Присядьте, панъ вельможный.

ПОЛЯКЪ.

Много чести;
Благодарю. Отвѣтъ мнѣ только нуженъ;
Мнѣ велѣно съ отвѣтомъ торопиться.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Не знаю, право, что вамъ отвѣчать...
Какъ радостно слѣпцу, когда снята
Съ его очей искусно слѣпота!
Опять предъ нимъ и небо голубое,
И сѣнь зеленая лѣсовъ,
И пестрые ковры луговъ,

И солнце свѣтитъ золотое;
Но этотъ свѣтъ страдальца вновь слѣпитъ,
И онъ спѣшитъ глаза закрыть.
Меня король своей высокой лаской
Такъ поразилъ, что я теперь совсѣмъ
Его великодушьемъ уничтоженъ.
За что меня, смиреннаго слугу,
Онъ милостью и почестью даруетъ!
Да, это слишкомъ. Голова
Моя пошла, какъ говорится, кругомъ.

ПОЛЯКЪ.

Но все же тутъ отвѣта я не вижу.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Отвѣта? Да вѣдь это чисто въ волѣ
Посланника: когда захочетъ онъ,
Я радъ принять высокіе подарки.

ПОЛЯКЪ.

Посланникъ хочетъ, если можно, завтра,
Чтобъ поскорѣй въ Варшаву возвратиться.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Да, это правда: Кіевъ не Варшава!
Хоть и сегодня; я всегда готовъ.

ПОЛЯКЪ.

Но вотъ вопросъ: гдѣ вамъ, гетманъ, угодно
Принять посла?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

На это я не знаю
Какъ отвѣчать. Вы видите, моя
Тѣсна и не красива хата;
Дубовый столъ, кругомъ простыя лавки;
На нихъ боитесь даже вы присѣсть,
Чтобъ не измять кафтанъ золотошвейный...
Нѣтъ, слишкомъ много я цѣню
Расположенье Яна Казимира,
Чтобы привелъ сюда его пословъ.
У насъ, казаковъ, есть обычай:
Что цѣнимъ мы и высоко, и свято,
То драгоцѣнно украшаемъ.
Я бѣденъ, но въ углу моемъ смиренномъ—
Вы видите—Спасителя икона
Вся въ золотѣ и камняхъ дорогихъ;
И эта сабля, наша мать вторая,
Алмазами и серебромъ сіяетъ.
По мнѣ—король, земной владыка мой,
Второй отецъ: ему я всѣмъ обязанъ.
Я не хочу, я немогу, не смѣю
Его пословъ—пановъ великолѣпныхъ—
Просить въ мою простую хату;
Имъ надобно блистательный пріемъ,
И въ золотѣ, и въ серебрѣ палаты.
При томъ же такъ люблю я Казимира:
Король такъ много сдѣлалъ мнѣ добра.

ПОЛЯКЪ.

Я вѣрю; это всѣ мы знаемъ;
Но что же я скажу въ отвѣтъ?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Послу?

ПОЛЯКЪ.

Да, гетманъ.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Вы скажите... Право,
Повѣритъ ли ясневельможный панъ,
Ну, просто вотъ съ ума сошелъ на старость...

(Подумавъ.)

А развѣ... Да, прекраснѣйшая мысль!
Скажите вы, что я, когда угодно
Посланнику, сердечно радъ принять
Подарки Рѣчи Посполитой завтра,
Часу въ девятомъ утра, тамъ, на площади
Передъ святымъ соборомъ.

ПОЛЯКЪ.

Нѣтъ, гетманъ,
Какъ это можно! я навѣрно знаю,
Посланникъ нашъ никакъ не согласится
Унизить такъ себя и короля.

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Унизить? Что вы?—И преступной мысли
Такой въ умѣ моемъ нѣтъ мѣста!
Чтобъ я дерзнулъ унизить короля!
Чтобы посмѣлъ обидѣть Казимира!
Вельможный панъ, вы злобный клеветникъ!
Что можетъ быть приличнѣй силѣ, власти,
Достоинству и славѣ Казимира,
Какъ жаловать покорные народы
Своею королевской лаской
Подъ чистымъ кровомъ голубаго неба,
Лицомъ къ лицу передъ Царемъ Небеснымъ!
Кругомъ стѣна церквей, домовъ высокихъ;
Кипитъ народъ, царя благословляя,
А солнце сверху такъ и осыпаетъ
Лучами яркими чудесную картину,
Достойную величья Казимира..
Какихъ палатъ я отыщу вамъ лучше?
Нѣтъ, рѣшено.—На площади я завтра
Приму отъ васъ высокіе подарки...
Увидятъ всѣ, какъ я, неробкій воинъ,

Робѣя, приложу къ устамъ
Печать и подпись Казимира.

ПОЛЯКЪ.

Я передамъ посланнику отвѣтъ;
Но врядъ ли онъ на это согласится.
Неслыханно...

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Да, точно правда,
Для васъ неслыханная это почесть;
Но королю хочу я доказать,
Какъ я его высоко уважаю.
Неужели намѣренья благія
Насъ къ новой ссорѣ поведутъ?

ПОЛЯКЪ.

Храни насъ Богъ. Сегодня же посланникъ
Васъ обо всемъ подробно извѣститъ.
Прощайте, гетманъ!

(Уходитъ.)

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Нѣтъ, не бывать Украинѣ въ мирѣ съ Польшей!
Побѣдами и кровью тишина
Хоть куплена, на это не на долго.
Теперь поляки смяты нашей силой;
Но все-еще и горды, и надменны.
Оправятся — опять намъ будетъ худо.
Еще война, еще намъ кровь нужна!
И рухнетъ миръ не завтра—послѣ завтра;
По-моему, тѣмъ лучше, чѣмъ скорѣй.

СВЯЩЕННИКЪ.

А тамъ?

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

А тамъ—что Богъ дастъ, то и будетъ!...

IX.

Свѣжее утро прохладою вѣяло.
Весело солнце смотрѣло съ небесъ.
Лугъ разноцвѣтный волнами широкими
Переливался, какъ тихое озеро:
Утренній вѣтеръ его колыхалъ.
Скромная Оржица свѣтлыми струйками
Шла по ковру тростниковъ;
По берегамъ ея рощи зеленыя
Пышно стояли, прохладною тѣнью
Путника въ полдень палящій маня.
Тамъ, изъ-за рощи, змѣйка, извилисто
Лугомъ дорогой куда-то пошла.
Коситъ косарь на лугу, и казацкую
Пѣсню отъ скуки поетъ:

ПѢСНЯ.

Зеленая трава моя
Подъ косою гнется.
Головушка казацкая
Знай себѣ смѣется.

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей! (*)

Въ калиновомъ саду моемъ
Соловей щебечетъ;
Мнѣ молодцу, въ дому моемъ,
Все жена перечитъ.

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей!

До города до Кіева
Женушка ходила;
Головушка казацкая
Восемь дней кутила.

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей!

Сказалъ гетманъ: миритеся—
Вотъ и помирились;
Луга были не кошены—
Вотъ и покосились.

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей!

Кошу, кошу—не косится...
Далъ же Богъ работу!
Винтовочка все просится
Въ поле на охоту.

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей!

Въ Пирятинѣ мой дядюшка,
Подъ Лубнами тетка...
Косить сѣно, пахать поле,
Право, не находка!

Щебетунъ соловей,
Слушай пѣсни моей!

(Во время пѣнія верховой казакъ выѣзжаетъ изъ за рощи и приближается по дорогѣ къ косарю.)

(*) Здѣсь нарочно оставленъ малороссійскій оборотъ рѣчи.

КАЗАКЪ.

Здорово, братъ!

КОСАРЬ.

Здорово, братъ лейстровый! (*)

КАЗАКЪ.

Богъ помогай!

КОСАРЬ.

Спасибо.

КАЗАКЪ *(останавливая коня).*

Тпрру! Землякъ!
Что табаку не водится?

КОСАРЬ.

Пожалуй!

(Вынимаетъ изъ сапога рожекъ съ табакомъ и, постучавъ имъ о подошву, передаетъ казаку, а самъ становится возлѣ коня, опершись на косу.)

КАЗАКЪ. *(нюхая.)*

Ай-да табакъ!

КОСАРЬ.

Да, такъ себѣ, домашній.
Эхъ, бѣдный конь! какъ онъ усталъ, измученъ.
Куда несетъ Богъ вашу милость? А?

КАЗАКЪ.

Такъ, посланъ, братъ. А табачекъ на славу!

КОСАРЬ.

Въ Пирятинъ, вѣрно?

КАЗАКЪ.

Да, въ Пирятинъ и въ Лубны,
А можетъ-быть, заѣду и въ Полтаву.
А знатно ты поешь, землякъ, ей-Богу—
Да этакая, знаешь, пѣсня—право—
Не то печальная, не то и плясовая,
А какъ-то такъ—на половинкѣ, славно!

КОСАРЬ.

Такъ самъ-себѣ сложилъ, да и пою.
Въ дому жена, извѣстно, все ворчитъ,
Такъ выѣдешь-себѣ на волю въ поле,
Да и поешь. А вы въ Полтаву
За дѣломъ или такъ, прогулки ради?

КАЗАКЪ.

Сказалъ же я—какая тутъ прогулка!
Съ бумагами я посланъ отъ гетмана
Къ полковникамъ, чтобъ войско набирали.

КОСАРЬ.

А для чего теперь гетману войско?
У насъ вѣдь миръ.

КАЗАКЪ.

Опять война съ поляками!

КОСАРЬ.

Война? неправда! шутишь!

КАЗАКЪ.

Нѣтъ, ей-Богу,
Совсѣмъ война, какъ слѣдуетъ война!

КОСАРЬ *(бросая косу).*

Пускай траву кто хочетъ, тотъ и коситъ,
А я косить ужъ болѣе не стану;
Моя охота—сабля, да ружье.
Слѣзай-ка, братъ, слѣзай съ коня, товарищъ;
И я казакъ, ей-Богу, я казакъ!
Траву косилъ я только такъ, отъ скуки:
Пусть пропадетъ на корнѣ вся она.
Слѣзай же, братъ! твой конь усталъ въ дорогѣ,
Пусть отдохнетъ немного на лугу;
И мы съ тобою тоже перекусимъ,
Вѣдь у меня есть сало, паляница (*)
И чарка добраго вина.

КАЗАКЪ *(слѣзая съ коня).*

Пожалуй, братъ; благодарю за ласку.

Вотъ вороной разсѣдланъ, щиплетъ траву,
А наши два пріятеля подъ дубомъ
Сидятъ. Предъ ними, словно скатерть,
Поношенный жупанъ разостланъ синій,
На немъ лежатъ хлѣбъ, соль и паляница,
И сало, и стоитъ бутылка водки...

(*) Реестровый казакъ. Они пользовались большимъ уваженіемъ между хлѣбопашцами.

(*) Родъ бѣлаго хлѣба.

А между тѣмъ разсказываетъ гость,
Какъ началась онять война съ полякомъ.

КАЗАКЪ.

Вотъ видишь ли, мы такъ себѣ, конечно,
Мы не чета рейтарамъ Казимира,
И нѣтъ у насъ ни шишаковъ, ни латъ;
Не въ золотѣ казацкіе жупаны,
Но мы съ поляками, гдѣ ни сходились,
Вездѣ ихъ на-голову разбивали...
Они взмолились—мы имъ дали миръ,
И Казимиръ прислалъ дары гетману.
Гетманъ принялъ пословъ на площади: (**)
Не захотѣлъ пустить къ себѣ и въ хату!..

КОСАРЬ.

Не захотѣлъ?.. ай, молодецъ гетманъ!..
Да это стоитъ выпить чарку водки
За здравіе гетмана!..

КАЗАКЪ.

Ладно, братъ!
Я никогда не прочь отъ этой службы.
Ну, вотъ послы, какъ слѣдуетъ, съ поклономъ
Все отдали: и грамоту, и знамя,
И булаву, и тутъ же прочитали,
Какія намъ король даруетъ льготы,
Какія намъ даруетъ онъ права.
Гетманъ сказалъ: „Благодарю я Бога!
Я дожилъ дня счастливѣйшаго въ жизни".
И тихо сталъ передъ соборомъ на колѣни,
И весь народъ съ молитвой ницъ упалъ.
Все прилегло на площади мірской,
Стояли только кони, да поляки.
Вотъ, помолясь, сказалъ гетманъ посламъ:
„Благодарю, отъ имени народа,
Я короля за ласку и за милость".

КОСАРЬ.

За милость? Что же намъ король такое сдѣлалъ?

КАЗАКЪ.

Ну, ничего, да, видишь, нашъ Богданъ
Такой ужъ добрый...

КОСАРЬ.

Эхъ, напрасно!
Они, пожалуй, станутъ этимъ хвастать.
А послѣ что?

КАЗАКЪ.

Онъ дальше говорилъ—
Не помню словъ, а толкъ такой былъ рѣчи,
Что дескать я не для себя трудился,
Не для себя и кровь я проливалъ;
Скажите такъ вы Яну Казимиру,
Что для меня не нужно ничего:
Пусть будутъ счастливы мои казаки-дѣти.
„Стой!" закричалъ народъ: „ужъ это много!
Проси, гетманъ, у короля что хочешь,
А безъ того мы съ площади ни шагу!"
И вдругъ пошелъ въ народѣ шумъ и говоръ,
И площадь вся заколыхалась,
Какъ нашъ лиманъ отъ вѣтру въ непогоду.
Народъ притихъ. Тогда гетманъ сказалъ:
„Я всѣмъ доволенъ; но когда народъ
Ужъ требуетъ, пожалуй, попрошу я,
Чтобъ выдали Чаплицкаго..."

Послы гетману въ этомъ гордо отказали.
„Чаплицкаго подай!" мы закричали,
И шапки кверху начали бросать.
Послы домой—народъ гурьбой за ними,
Да и кричитъ: „Чаплицкаго долой!"
Послы вошли въ квартиру—въ тотъ же часъ
Къ нимъ въ окна грязь и камни полетѣли.
Настала ночь—всю ночь не спалъ народъ,
Какъ передъ днемъ святаго Воскресенья,
Вездѣ въ домахъ огни горѣли;
А мимо дома, жили гдѣ послы,
Мы съ пляскою и съ пѣснями ходили
И пѣли все, что вздумалось пропѣть
Въ обиду имъ, и громко въ бубны били.
На-утро слѣдъ посланниковъ простылъ,
А нашъ гетманъ, дай Богъ ему здоровье,
Универсаломъ объявилъ войну.
И вотъ меня съ бумагами послали.

КОСАРЬ.

Да и пора! Чего сидѣть намъ дома?
Съ женою ссориться, да просо сѣять!
Да, хорошо!.. Ну, выпьемъ-ка еще,
Для бодрости, такъ, знаешь, чтобъ въ дорогѣ
Не оттощать. Пирятинъ вѣдь не близко; (*)
Туда поѣдемъ вмѣстѣ мы съ тобой.
Со мною здѣсь гнѣдая есть кобыла;
Сѣдло и сбрую выпрошу у дяди,
Коли не дастъ, хоть грѣхъ, сѣдло украду;
Къ женѣ не нужно заѣзжать:
Авось соскучится, такъ присмирѣетъ.

(**) „Исторія Малой Россіи", т. I, стр. 260.

(*) Самое далекое разстояніе рѣки Оржицы отъ Пирятина около двадцати верстъ.

Солнце къ вечеру клонилось,
Тѣнь ложилась на поля...
Наши новые друзья
Обнялись, перекрестились,
На коней своихъ садились,
И пустились въ дальній путь.
Подъ казакомъ конь, какъ воронъ,
И летучъ и такъ же черенъ,
Гордо несъ крутую грудь,
А за нимъ, хвостомъ махая,
Рысью мелкою гнѣдая
Въ перезалку поплелась.
Вотъ они уже далеко
Ѣдутъ по степи широкой,
Вотъ и скрылися изъ глазъ.
Тихо все на степи плоской,
Только вѣтеръ отголоски
Пѣсни звонкой и простой
Навѣваетъ намъ порой:

„Въ Пирятинѣ мой дядюшка,
Подъ Лубнами тетка...
Пахать поле, косить сѣно,
Право, не находка!“

ОСЬМОЕ ЯНВАРЯ 1654 ГОДА.

(*Морозное утро. На площади, передъ домомъ гетмана, бьютъ литавры. Народъ собирается*).

ПЕРВЫЙ.

День добрый вамъ!

ПИСАРЬ.

Здорово. Ну, что наши?

ПЕРВЫЙ.

Все сдѣлано, какъ приказалъ гетманъ:
Народъ готовъ, слѣпцы и бандуристы
Вездѣ поютъ, какія нужно, пѣсни—
Казаки всѣ устали отъ войны
И только знай у Бога просятъ миру.

ПИСАРЬ.

Спасибо, братъ; за это самъ Богданъ
Вамъ скажетъ всѣмъ великое спасибо!
Пойдемъ къ народу.

ПЕРВЫЙ.

Ладно, я готовъ.

(*Вмѣшиваются въ толпу*)

ПЕРВЫЙ.

Ай-да морозъ! какъ говорятъ—московскій...

ВТОРОЙ.

И что за страсть у гетмана такая
Сбирать народъ до утренней зари?

ТРЕТІЙ.

Походъ, быть-можетъ.

ВТОРОЙ.

Полно, напророчишь...
И такъ уже прискучили походы,
Пора бы, право, отдохнуть.

ТРЕТІЙ.

Да сѣять хлѣбъ, а послѣ съ этимъ хлѣбомъ
Поѣхать на поклонъ въ Варшаву.

ПИСАРЬ.

Мнѣ кажется, уже прошло ихъ панство.

ПЕРВЫЙ.

А отъ чего?

ПИСАРЬ.

Да отъ того—я слышалъ—
Что нашъ гетманъ на вѣки пристаетъ
Къ единовѣрцамъ нашимъ, русскимъ.

ТРЕТІЙ.

И я слыхалъ, да не весьма-то вѣрно:
Намъ ничего гетманъ не говорилъ.

ПЕРВЫЙ.

Молчи, и намъ, какъ надо будетъ, скажутъ.

ВТОРОЙ.

Такъ вотъ зачѣмъ, ужъ скоро двѣ недѣли,
У насъ живутъ московскіе послы!

ТРЕТІЙ.

А нечего сказать, народъ хорошій.

ПЕРВЫЙ.

И православный... часто ходятъ въ церковь,
И молятся такъ долго, такъ усердно,
Что хоть и намъ не худо бъ поучиться.

ЭСАУЛЪ.

А какъ дерутся эти москали!..

Вотъ такъ и лѣзутъ въ схватку, гдѣ пожарче.
Да и народъ все крѣпкій и проворный.

ЧЕТВЕРТЫЙ.

Ужъ не чета татарамъ черномазымъ.

ВТОРОЙ.

Ну, какъ сравнить! То нехристь, а москаль
Нашъ братъ христіанинъ.

ЭСАУЛЪ.

Теперь-то
Мы съ ними всѣхъ на свѣтѣ поколотимъ.

ПЕРВЫЙ.

Когда-бъ скорѣе, дай-то Боже!

ПИСАРЬ.

Просите Бога и гетмана.

ВТОРОЙ.

Извѣстно, намъ гетманъ добра желаетъ.

ТРЕТІЙ.

Я разговоры слышалъ москалей:
Почти такіе же, какъ наши рѣчи.

ЧЕТВЕРТЫЙ.

И все поймешь?

ТРЕТІЙ.

Скорѣе, чѣмъ поляка...
Совсѣмъ какъ нашъ языкъ, молитвы какъ у насъ же.

ПЕРВЫЙ.

И лица, какъ у насъ; жаль, что бородки носятъ,
И оттого скидаются на турокъ.
А, вотъ Никита! Эй, сюда, сюда, Никита!
Съ тобою есть бандура?

ВАНДУРИСТЪ.

Какъ же, есть:
Я безъ нея не выхожу изъ хаты,

ВТОРОЙ.

Запой, Никита... нѣтъ ли новой пѣсни?
Или хоть старую повеселѣе.

ТРЕТІЙ,

Спой, какъ Ѳома съ Еремой торговали.

ВАНДУРИСТЪ.

Нѣтъ, у меня есть пѣсня поновѣй;
Спою, пожалуй, только съ уговоромъ:
Къ обѣду будетъ чарка водки?

ВСѢ.

Будетъ!

ВАНДУРИСТЪ.

Были у орла два сына.
Выросъ старшій сынъ;
Младшій рано на чужбину
Залетѣлъ одинъ.

Но лѣта не укрѣпили
Мощнаго крыла!
Онъ усталъ—и окружили
Вороны орла.

И, летая, жаднымъ крикомъ
Смерть сулятъ ему:
Знать, орлу на полѣ дикомъ
Сгибнуть одному!

Крылья есть, да мало силы;
Смутенъ онъ сидитъ;
Смотритъ вверхъ—о, Боже милый!
Старшій братъ летитъ...

Робко вороны сокрылись
Съ крикомъ въ темный лѣсъ.
Оба брата очутились
Въ синевѣ небесъ...

Братья обнялись родные—
И сильны опять,
Какъ великая Россія
Да Украйна-мать!

ПИСАРЬ.

Ай-да, Никита! Ну, спасибо!
На славу пѣсню ты сложилъ.

ПЕРВЫЙ.

Да что-то я не понялъ хорошо,
Хоть бойкія слова у этой пѣсни.

ВАНДУРИСТЪ.

Какъ не понять!—отъ грамотныхъ людей
Вчера я слышалъ, будто русскіе послы
Пріѣхали, чтобъ насъ, единовѣрцовъ,
Принять въ свою защину отъ невѣрныхъ.
Я ночь не спалъ, услышавъ эту вѣсть—

Такъ былъ я радъ неслыханному счастью,
И пѣсню въ радости сложилъ на этотъ случай.

ПЕРВЫЙ.

Когда бы это было правда,
То вашими устами медъ бы пить!

ПИСАРЬ.

Я такъ готовъ побиться объ закладъ,
Что сбудется желаніе народа;
Вѣдь гласъ народа—Божій голосъ,
Не даромъ же пословица гласитъ.

ПЕРВЫЙ.

Не даромъ же мнѣ грезились всю ночь
Огромныя пшеничныя галушки!.
Вотъ такъ и плаваютъ въ большомъ корытѣ, въ маслѣ.

ТРЕТІЙ.

Да, этотъ сонъ пророчитъ, вѣрно, счастье.

ВТОРОЙ.

Потише!—Кто-то вышелъ на крыльцо...
Опять пошелъ назадъ.

ПЕРВЫЙ.

Нашъ протопопъ, Григорій.

ТРЕТІЙ.

Старикъ почтенный. Говоритъ народъ,
Что онъ крестилъ гетмана.

ПЕРВЫЙ.

И гетманъ
Его и любитъ, и честитъ. Григорій
Встрѣчалъословъ московскихъ со крестами,
И говорилъ имъ рѣчъ. Тогда гетманъ
Еще изъ Кіева не пріѣзжалъ.

ЭСАУЛЪ.

Эй, тише!
Вотъ идутъ на крыльцо... вотъ гетманъ...

ПИСАРЬ.

А вотъ отецъ Григорій, а за нимъ
Идутъ послы: вотъ это Бутурлинъ,
Другой Алферовъ.

ЭСАУЛЪ.

Ну, а этотъ, третій?

ПИСАРЬ.

То Лопухинъ, а вотъ Виговскій,
Нашъ генеральный писарь—и другіе
Посольскіе; прозванья ихъ не помню.
Вотъ машутъ: гетманъ проситъ слова.

НАРОДЪ (*снимая шапки*).

Тише, тише!

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Къ вамъ рѣчь держу, друзья мои, казаки!
Украинцы, мои родныя дѣти,
Прошу у васъ я слова и совѣта.
И мы, и наша праведная вѣра
Отъ иноземцевъ много потерпѣли.
Пора бы намъ и отдохнуть немного,
А тутъ Господь спасенье шлетъ съ небесъ:
Московскій царь, родной, единовѣрный,
Согласенъ насъ и праведную Церковь
Навѣкъ подъ свой покровъ высокій взять.
Я, вашъ гетманъ, и войска старшины,
Какъ благодать, пріемлемъ эту милость.
Хотите ли и вы, казаки, съ нами
Присягу дать московскому царю
На подданство Россіи?

НАРОДЪ (*бросая кверху шапки*).

Волимъ! волимъ! (*)

ХМЕЛЬНИЦКІЙ.

Исполнились теперь мои желанья:
Обнимутся опять родные братья
Такъ искренно, какъ мы съ тобой, бояринъ!

(*Обнимаетъ Бутурлина*)

(*Во всѣхъ церквяхъ раздается колокольный звонъ; въ крѣпости палятъ изъ пушекъ. Протоіерей Григорій медленно сходитъ съ крыльца съ крестомъ въ рукахъ.*)

ГРИГОРІЙ.

Во имя Бога, слушайте присягу!

НАРОДЪ (*бросая шапки*).

Волимъ, волимъ, волимъ!

(*) „Исторія Малой Россіи“, т. I. стр. 153.

Мелкія отихотворенія.

1833.

КУРГАНЪ.

Въ степи сѣдой стоитъ курганъ передо мною—
И мысль моя полна неясною мечтой.
Онъ говоритъ забытой стариной,
И духъ животворитъ собою.
На немъ ростетъ полынь, всегдашій другъ степей;
Густой крапивою его чело вѣнчалось...
Украйна извстари войною раздиралась
И шумъ воинственный умолкъ недавно въ ней.
Но для чего курганъ насыпанъ величавый,
Питомецъ давній многихъ лѣтъ?
Иль нашимъ прадѣдамъ, любимцамъ бранной славы,
Служилъ онъ пристанью въ дни грозные побѣдъ?
Или подъ этою землею
Лежатъ Украины сыны,
Сраженные врага рукою,
За славу и покой отеческой страны?

Быть можетъ, въ разъѣздахъ отважныхъ, далекихъ,
Казаки летѣли въ чужой сторонѣ;
Оставивши домы и дѣвъ черноокихъ,
Искали добычи въ кровавой войнѣ.
И, гривы вздымая, питомцы Сулы
По полю отважныхъ, какъ вихри, несли
Далеко, далеко—къ роднымъ куренямъ.
На западъ клонилось свѣтило;
А шайка скакала по вольнымъ степямъ...
На степи все сумрачно было:
Безбрежна пустыня; все дико кругомъ;
Сливался съ равниной вдали небосклонъ.

Лишь, изрѣдка, коршунъ предъ ними взлетитъ
Изъ кущи ракиты вѣтвистой,
Иль змѣй, изгибаясь, въ травѣ зашипитъ,
Блестя чешуей серебристой.
Но кони стремятся—и черная пыль,
Поднявшись, садится опять на ковыль.

Покрылась пустыня вечернею мглой,
И вѣтеръ завылъ о полночи...
Предъ шайкою скачетъ казакъ удалой;
На югъ устремляетъ онъ очи,
И мчится, какъ вихорь, вдоль гладкихъ полянъ:
То ихъ предводитель, то ихъ атаманъ.

Но вотъ на курганѣ заискрился свѣтъ;
Блеститъ онъ привѣтно, какъ прежде,
Такъ въ мрачную душу порою прольетъ
Утѣху лучъ ясной надежды!
„Дружнѣе, товарищъ! дружнѣе, дружнѣй!
Повѣяло вѣтромъ знакомыхъ полей.

„Тамъ плещется Уда о берегъ родной;
Я слышу родимые звуки...
Какъ сладко забыться въ объятьяхъ драгой,
Скитавшись такъ долго въ разлукѣ!“
Казаки примчались въ отеческій станъ,
И мѣстомъ веселья былъ мрачный курганъ.

Иль, можетъ быть, когда война ярилась,
Коварный ляхъ Украйну разорялъ,
И гайдамаковъ шайка билась,
И сынъ степей средь боя возрасталъ;
Когда несчастною страною
Ордынецъ шелъ, какъ мрачный демонъ зла—
Предъ нимъ смерть жадная текла,
И кровь дымилась подъ рукою.
Въ то время смутное войны
Дрались Украины сыны
За вольность родины святую.

Они съ врагомъ пытали силъ,
И—тылъ ордынецъ обратилъ,
Забывши славу боевую.
Но на кровавыхъ тѣхъ поляхъ
Былъ не забытъ усопшій врагъ:
Христовой вѣрой пламенѣя,
Казакъ чтитъ мертваго злодѣя.
И подъ твоей, курганъ, землей
Татарскій прахъ зарытъ въ глуши степной.
Теперь же на курганѣ этомъ,
Не думая о старинѣ,
О храбрыхъ предкахъ, о войнѣ,
Въ палящій полдень, жаркимъ лѣтомъ,
Подъ темно-листнымъ *холодкомъ* *)
Пастухъ храпитъ спокойнымъ сномъ.
И часто здѣсь въ часы заката,
Когда на тверди голубой
Утонетъ солнце въ лонѣ злата
И даль сольется съ темнотой,
Чумакъ, идя въ пыли дорогой,
Съ простосердечнымъ землякомъ
Свой ужинъ раздѣливъ убогой,
Передъ раздутымъ огонькомъ
Затянетъ пѣсню на курганѣ
О Самойловичѣ-гетманѣ,
О запорожскихъ казакахъ,
И пламень дѣдовъ на глазахъ,
Какъ лучъ мгновенныя зарницы,
Блеснетъ сквозь черныя рѣсницы,
Но замираетъ въ тотъ же мигъ...
Я часто, средь степей глухихъ,
Внималъ симъ пѣснямъ заунывнымъ.
Наполненъ вдохновеньемъ дивнымъ
И дивнымъ чувствомъ обуянъ,
Глядѣлъ на сумрачный курганъ,
Подъ яснымъ кровомъ лунной ночи;
Мои горѣли чѣмъ-то очи;
И свитокъ древности сѣдой,
Я мнилъ, развернутъ предо мной.

1834.

РОМАНСЪ.

Слыхали ль вы, когда въ дубравѣ темной,
Подъ кровомъ дѣвственныхъ вѣтвей,
Склонясь на грудь подруги скромной,
Заводитъ пѣсню соловей?

Видали ль вы, когда пожаръ Авроры
Горитъ на небѣ голубомъ,
И темный лѣсъ, и степь, и горы
Румянитъ розовымъ лучомъ?

Слыхали ль вы, когда краса-дѣвица
„Люблю“, робѣя, говоритъ?
Слеза сверкаетъ на рѣсницѣ
И пурпуръ на щекахъ горитъ?

Не правда ль, тотъ огонь ярчѣй огня востока,
И голосъ тотъ пріятнѣй соловья?
Онъ духъ живитъ, онъ мысль несетъ высоко,
И краситъ дни земного бытія.

*) Холодкомъ называется степное растеніе въ видѣ куста.

1837.

I.

НЕДУГЪ.

Я недугомъ томимъ,
Но отрадно мнѣ съ нимъ,
Мнѣ пріятны недуга мученья.
Онъ ужаснѣй всего,
Но и прелесть его
На землѣ не имѣетъ сравненья.

Я недугомъ объятъ;
Вижу демоновъ, адъ,
Вижу міръ въ наготѣ подземельный,
Вижу солнце безъ дня,
Вижу свѣтъ безъ огня,
Вижу мглы океанъ безпредѣльный.

Съ черной тучей грущу,
Съ буйнымъ моремъ ропщу,
Вижу свѣтлыхъ алмазовъ рожденье;
Знаю въ нѣдрахъ земли
Какъ граниты росли,
Чую травъ и деревъ прозябенье.

На землѣ тяжело,
На землѣ несвѣтло:
Все здѣсь пахнетъ и златомъ, и кровью!
Люди ближнихъ гнетутъ,
Люди честь продаютъ
И торгуютъ святою любовью...

Полечу за эфиръ:
Какъ прекрасенъ тотъ міръ!
Какъ блестящія звѣзды роями
Въ стройномъ чинѣ плывутъ,
Кольца огненны вьютъ,
И расходятся вольно кругами...

И въ гармоніи той
Я летаю душой.
Свѣтъ невѣдомый умъ озаряетъ.
Передъ умомъ таетъ тьма,
И природа сама
Передъ нимъ тайники отворяетъ.

Звѣздъ небесныхъ свѣтлѣй,
Краше солнца лучей,

И зарницы полночной живѣе,
Ярче жгучихъ очей
Ненаглядной моей
Онъ въ душѣ непонятно свѣтлѣетъ!

Но недугъ отлетитъ:
Начинаю я жить,
Прозябать, какъ земное творенье;
Стану въ мірѣ страдать,
И, какъ радости ждать,
Мой прекрасный недугъ—вдохновенье.

II.

МОЛИТВА.

Хочу молиться; душа моя проситъ
Бесѣды отрадной съ источникомъ силъ;
Волненіе міра она не выноситъ,
Ей мало обычныхъ кадилъ,
Ей тусклымъ сіяньемъ горятъ наши свѣчи,
Безжизненны наши хвалебныя рѣчи,
И слабъ, и незвученъ нашъ клиръ.
О, дайте мнѣ волю! гдѣ степи родныя
Слились съ небосклономъ въ безбрежной дали,
Гдѣ чистые своды небесъ, голубые,
Лобзаютъ зеленыя волны земли,
Туда полечу я: въ часъ грозныя бури,
Какъ вѣтеръ взволнуетъ степной океанъ,
И тучи столпятся въ небесной лазури,
Безтрепетно стану на дикій курганъ.
Пусть небо сверкаетъ святыми огнями,
Земля, какъ преступникъ, дрожитъ подъ ногами—
Спокойствіе ляжетъ на душу мою.
И тамъ я, внимая громовъ перекаты,
Святую молитву, святому трикраты,
Языкомъ достойнымъ спою!

III.

НѢЖИНЪ-ОЗЕРО.

(малороссійское преданіе).

Въ ту ненастную годину,
(Какъ преданье говоритъ)
Какъ въ Украинѣ святыней
Торговалъ поганый жидъ;
Какъ богатые поляки,
Златолюбіемъ дыша,
Продавали съ барыша
Позволеніе на браки
И кинваломъ грустный звонъ
Для казачьихъ похоронъ,
Городъ Нѣжинъ православный
На Украйнѣ былъ силенъ.
Вѣрой чуждою, безславной
Опозоренъ не былъ онъ.

Граждане его—казаки
Вынесли изъ смертной драки
Самобытныя права...
И о Нѣжинѣ отвсюду
Шла хорошая молва.
Но одно тамъ было худо:
Былъ за городомъ пустырь,
И на немъ, пугая око,
Въ небо выбѣгалъ высоко
Уніатскій монастырь.

Вотъ настала ночь святая,
Окончаніе поста.
Всѣ молились, ожидая
Воскресенія Христа...
И пробилъ онъ, часъ урочный,
Прогремѣлъ намъ радость клиръ—
И подъ ризой полуночной
Встрепенулся Божій міръ.
Травы въ полѣ зашептали,
Волны въ морѣ заплескали,
И отгрянулъ сводъ небесъ
Звучное: „Христосъ воскресъ!“

Храмы радостью сіяютъ;
Легкимъ дымомъ ѳиміамъ
Съ пѣснопѣньемъ улетаетъ
Къ растворенным небесамъ.
Вотъ, собравшись воедино,
Отщепенцы отъ святыни
Освящаютъ монастырь,
И—прости имъ, Царь Небесный!—
Хочетъ пѣть святыя пѣсни
Ихъ отступническій клиръ...

Вдругъ—земля поколебалась...
Свѣтъ померкъ у нихъ въ очахъ;
Недопѣта пѣснь осталась
На испуганныхъ устахъ—
Провалилась въ область ада
Эта грѣшная громада,
Этотъ уніи оплотъ;
Убѣжали въ землю своды
И надъ ними снова воды
Затянули новый сводъ.
Ночь прошла и надъ востокомъ
Зарумянилась заря,
А на полѣ одинокомъ
Не видать монастыря.
И по монастырскимъ башнямъ,
Съ плескомъ, съ ропотомъ всегдашнимъ,
Волны синія бѣгутъ.
Непостижно, дивно, тайно
Тамъ шумитъ широкій прудъ:
Этотъ прудъ теперь въ Украйнѣ
Нѣжинъ-озеромъ зовутъ.

Есть молва, что въ ночь святую
Воскресенія Христа
На мгновенье тьму ночную

Гонитъ съ озера вода;
Волны примутъ цвѣтъ огнистый
И далеко, тамъ на днѣ,
Въ недоступной глубинѣ
Видѣнъ монастырь нечистый:
Въ немъ огни еще горятъ,
И какъ-будто въ отдаленьи
Подъ водою слышно пѣнье
И колокола звучатъ.

IV.

РОСА.

Въ часъ ночи безмолвной, въ часъ грозных видѣній.
Когда, засыпая, весь видимый міръ
Сольется въ неясныя, чудныя тѣни,
И дремлютъ пучины, и дремлетъ эфиръ,
И, тайной и мракомъ весь свѣтъ обвивая,
Какъ тяжкая дума, темны небеса,
Въ тотъ часъ вдохновенный, дочь свѣтлаго рая,
Низходитъ на землю роса.

Смотрите! долины подернулись паромъ;
Повѣялъ прохладой съ полей вѣтерокъ,
И вспыхнулъ небеснымъ пожаромъ,
Алтарь міросданья, далекій востокъ.
И, въ дѣвственной свѣжести, лугъ ароматной,
Унизанъ перловой росою, горитъ;
И въ каждой росинкѣ—для насъ непонятно—
Міръ божій, и небо, и солнце блеститъ.

Земля пробудилась; поклонникъ корысти:
Народъ-трудолюбецъ къ работѣ спѣшитъ;
Небесъ бриллианты онъ вмигъ запылитъ,
Луга онъ притопчетъ стопою нечистой...
Не бойтесь. Вотъ солнце, съ воздушныхъ высотъ,
Пригрѣетъ—и гостью на небо возьметъ.

Видишь, тамъ сомкнулись тучи,
Дружной стаею свились,
И на нихъ перунъ гремучій,
Огнебѣжный и летучій,
Грозно надъ землей повисъ.
То, презрѣнная толпою,
Гостья Божія—роса
Улетѣла въ небеса
И грозитъ землѣ войною.
Вотъ идетъ она, идетъ!
Подъ воздушными полками
Затрещалъ небесный сводъ;
Перекрестными огнями
Тучи молнія сѣчетъ;
Грома буйные раскаты
Прогремѣли въ небесахъ—
И, боязнію объятый,
Человѣкъ склонился въ прахъ...

V.

ПЕЧАЛЬ.

Я друженъ съ печалью, какъ съ нѣжной сестрою.
Непомню, когда я ее полюбилъ:
Ребенокъ, я сладко мечталъ подъ грозою,
Вѣтръ буйный понятно душѣ говорилъ.
Измлада, отъ самой моей колыбели,
Мнѣ грустно стенали пастушьи свирѣли;
Печаль разливалася въ пѣсняхъ родныхъ:
Рыдая, я слушалъ унылую чайку;
Мнѣ пѣли, какъ ляхи сожгли Наливайку—
И сердце пріятно болѣло отъ нихъ.
И, дѣтскія игры свои забывая,
Я съ думою свыкся въ ночной тишинѣ;
И чудная гостья тогда, не земная,
Темнѣе полночи являлась ко мнѣ...
Но годы летѣли; я, юноша смѣлый,
Взглянулъ безбоязненно въ свѣтлую даль
Тамъ въ радугахъ прелести міра горѣли..
Неясныя страсти въ душѣ закипѣли,
И презрѣлъ я старую гостью—печаль.
Я дѣву увидѣлъ, вѣнецъ міросданья,
Земной и небесной аккордъ красоты;
Предъ нею повергъ я надежды, желанья
И юности сладкія грезы, мечты.
Она, улыбаясь, мнѣ въ очи смотрѣла,
И сердце лучами улыбки прожгла.
Душа моя дивнымъ пожаромъ горѣла,
И яркою страстью вполнѣ расцвѣла.
Какъ дѣва земная прелестна была!
Я пѣсни звучалъ ей—и стихъ, непокорный
Богатству и власти, предъ ней трепеталъ.
„Люблю“ прошептала мнѣ дѣва притворно:
Но златомъ предъ нею богачъ прозвучалъ,
И я былъ осмѣянъ измѣной позорной:
Промѣнены чувства на подлый металлъ!
Страдалецъ, я къ людямъ расширилъ объятья—
Безумецъ! сочувствія ждалъ отъ людей!
Къ растерзанной груди хотѣлъ ихъ прижать я,
И обнялъ—шипящихъ, отъ зависти, змѣй.
Я въ мірѣ остался опять одинокой,
Всю горькую чашу испивъ бытія:
Мнѣ люди разрѣзали сердце глубоко,
И холодомъ опытъ обвѣялъ меня.
Со вздохомъ я призвалъ дней дѣтства подругу,
И мрачная гостья явилась ко мнѣ:
Она протянула мнѣ руку, какъ другу—
И вновь не разлучна со мной въ тишинѣ...
Она овладѣла убитой душою,
Она моя дѣва, мой другъ, властелинъ!
Я чувства дѣлю съ ней, какъ съ нѣжной сестрою,
И въ мірѣ коварномъ живу не одинъ.

VI.

СКАЛА.

На долинѣ степной,
Надъ широкой рѣкой
Одиноко скала вырастаетъ,
И природы рука
Изъ земли, изъ песка
Гордо къ небу ее подымаетъ.

Какъ сиротка, она
Безпріютна, одна
Подъ безграннымъ шатромъ небосклона;
Лѣтомъ зной ее жжетъ,
Снѣгъ зимой замететъ—
Отъ скалы не услышите стона.
Но ее ты не тронь:
Чудотворный огонь
При рожденьи міровъ въ ней закованъ.
Въ жилахъ каменныхъ онъ
До поры заключенъ
Всемогущимъ Предвѣчнаго словомъ.

То—источникъ огня,
То скала изъ кремня.
Ты ударь въ нее острою сталью—
И алмазнымъ снопомъ
Брызнутъ искры кругомъ,
Свѣтъ проглянетъ и высью, и далью.

Молчаливъ и угрюмъ,
Полонъ пламенныхъ думъ,
Сынъ любимой мечты, вдохновенья.
Онъ одинъ межъ толпой;
Проза жизни людской
Не пробудитъ его пѣснопѣнья.

Но когда уязвленъ
Въ сердце твердое онъ
Отъ удара судьбы непреклонной,
Онъ струнами звучитъ—
И блеститъ, и горитъ
Надъ толпой его стихъ среброзвонный.

VII.

МѢСЯЦЪ И ЗЕМЛЯ.

Былъ день—и земля, упоенная жаромъ,
Роскошно томилась въ объятьяхъ небесъ;
Обширное море пылало пожаромъ;
Дышалъ ароматами лѣсъ.
Но день догорѣлъ—и обычной порою
Затеплился мѣсяцъ надъ сонной землею:
Предъ нимъ задрожала земная краса—
А мѣсяцъ, открывши безстрастныя очи,
Все выше плыветъ. И подъ куполомъ ночи
Свершались небесъ чудеса...
Звучатъ сладострастно лѣса и поляны:
То пѣсни поетъ соловей;
И тонкой струею дымятся туманы
Отъ горъ—отъ земли алтарей,
Душистыя нѣдра цвѣты раскрывая,
Курятъ въ тишинѣ ѳиміамъ....
И въ знойномъ томленьи земля, изнывая,
Трепещетъ и рвется къ блестящимъ лучамъ.
А мѣсяцъ какой-то невѣдомой силой
Земные восторги впивалъ,
И вѣялъ на землю покоемъ могилы,
И блескомъ холоднымъ ее обливалъ.
Не долго она теплотою дышала
И нѣгой душистой на жаркихъ поляхъ
Цвѣты затворились, земля засверкала
Предъ мѣсяцемъ свѣтлымъ въ холодныхъ слезахъ.
О, дѣва милая! напрасно,
Полна и нѣги, и огня,
Такъ бѣшено, такъ сладострастно
Ты жмешь въ объятіяхъ меня.
Мой ангелъ юга черноокій!
Восторгъ любви твоей высокой,
И безкорыстный, и святой,
Я не пойму моей душой,
И на кипучія лобзанья,
Я, свѣта хладнаго созданье,
Отвѣчу лаской ледяной—
И взоръ твой свѣтлый, полный жизни,
Съ улыбкой горькой укоризны
Сверкнетъ печальною слезой.

VIII.

УКРАИНСКІЙ БАРДЪ.

Подъ тѣнью липы, передъ дверью
Избушки дряхлой и простой,
Играетъ бандуристъ сѣдой.
Вокругъ него, съ обычной лѣнью,
Толпа украинцевъ стоитъ.
Онъ тѣшитъ ихъ, дѣтей природы:
То имъ „мятелицу“ звучитъ,
То про гетманскіе походы
Краснорѣчиво говоритъ,
То упырей въ часъ непогоды
Поетъ ночные хороводы...
Но вотъ, какъ будто страшнымъ сномъ,
Старикъ встревоженъ; взоръ угрюмой
Блеститъ нерадостною думой...
Онъ покачалъ сѣдымъ челомъ,
Вздохнулъ—аккорды застонали,
И горькимъ голосомъ печали
Запѣлъ онъ пѣсню о быломъ:

„Тамъ, гдѣ быстрая Сула.
Лентой по степи пошла,
На полянахъ солоницы
Коней дикая станица
Безъ боязни воду пьетъ;
Гдѣ ковыль, какъ снѣгъ, бѣлѣетъ,
Пудовой арбузъ растетъ,
Золотая дыня зрѣетъ
И въ зерцало глубины
Гордо смотрятся Лубны,
Тамъ широкими степями
Мчатся вольные полки,
Мчатся наши казаки.
Степи стонутъ подъ конями:
То за родину войной
Наливайко поднялъ знамя:
Ляхамъ всюду мечъ и пламя
И постель въ землѣ сырой.

„Полководецъ Польши дерзкой,
Несговорчивый Жолкевской,
На Украину идетъ.
Знамя Рѣчи Посполитой
Вьется въ воздухѣ развито;
Къ бою войско знака ждетъ.
Ляхъ, по виду—непреклонный,
Рабъ ксензовъ и богачей,
И казакъ душею вольный,
Зря врага, самодовольный
Другъ на друга мещутъ взглядъ:
Въ немъ пылаетъ мести ядъ,

„—Полно намъ въ неволѣ жить,
Началъ гетманъ говорить:
Много мы и такъ терпѣли.
Уніаты захотѣли
Нашъ святой законъ попрать,
Всюду польскіе костелы,
Всюду езуитовъ школы
Самовластно учреждать.
Пусть дадутъ по крайней мѣрѣ
Умереть въ отцовской вѣрѣ.
Будетъ и была чиста
Наша вѣра во Христа!—

„Онъ сказалъ—и въ бой великій,
Смертоносной полетѣлъ...
Огласилось поле крикомъ,
Громъ орудій загремѣлъ...
Видно такъ судьба судила!
Богъ Украйну наказалъ:
Наливайко въ плѣнъ попалъ;
Наша слава пріуныла;
На украинскихъ степяхъ
Побѣдилъ счастливый врагъ!

„Тамъ, далеко, за границей,
Въ католической столицѣ,
Къ площади народъ спѣшитъ:
Тамъ на мѣстѣ возвышенномъ,
Въ мѣдномъ чанѣ раскаленномъ,
Плѣнника хотятъ казнить
. . . . . .
. . . . . .
Умеръ онъ за вольность края
И за вѣру пострадалъ...“

Умолкъ пѣвецъ, печали полный;
На струнахъ голосъ замиралъ;
О Наливайкѣ вздохъ невольный
Изъ устъ въ уста перелеталъ.
У черноглазой у дѣвицы
Слеза повисла на рѣсницѣ,
Старикъ поникнулъ головой,
Глаза у юноши сверкали,
И дѣти въ страхѣ трепетали
Отъ пѣсни стороны родной.

IX.

КАЗАКЪ НА ЧУЖБИНѢ.

(УКРАИНСКАЯ МЕЛОДІЯ.)

Поѣхалъ далеко казакъ на чужбину
На добромъ конѣ ворономъ.
Свою онъ Украйну на вѣки покинулъ:
Ему не вернуться въ отеческій домъ!
Напрасно казачка его молодая
И утро, и вечеръ на сѣверъ глядитъ,
Все ждетъ да пождетъ, изъ полночнаго края
Къ ней милый когда прилетитъ.
Далеко, откуда къ намъ вѣютъ мятели,
Гдѣ страшно морозы трещатъ,
Гдѣ сдвинулись дружно и сосны, и ели,
Казацкія кости лежатъ.
Казакъ и просилъ, и молилъ, умирая,
Насыпать курганъ въ головахъ:
„Пускай на курганѣ калина родная
Красуется въ яркихъ плодахъ.
Пусть вольныя птицы, садясь на калинѣ,
Порой прощебечутъ и мнѣ,
Мнѣ бѣдному, вѣсть иа холодной чужбинѣ
О милой, родной сторонѣ!“

X.

СОЛОВЕЙ.

Въ залѣ душно: блескъ и свѣчи,
Пестрая толпа гостей;
Въ залѣ хохотъ, въ залѣ рѣчи,
Въ залѣ слышенъ соловей.
То искусно свищетъ пѣсни
Предъ восторженной толпой
Иноземецъ молодой.
„Восхитительно, чудесно!“
Гости, хлопая, кричатъ—
И предъ ними снова пѣсни

Тѣ же самыя звучатъ.

А пѣвецъ земли небесный,
А свободный соловей
Этой самою порою,
Надъ уснувшею рѣкою,
Самъ, одинъ въ тиши ночей,
Для подруги только милой,
Не для славы и похвалъ,
Пѣснью звонкой, полной силы,
Садъ и рощу обдавалъ.

1838.

I.

МОЯ МЕСТЬ.

Люди братья, вы успѣли
Ваше дѣло совершить:
Вы съумѣли, какъ хотѣли,
Пламя юности убить.
Эти кудри шелковыя,
Эти очи огневыя.
Эта музыка рѣчей
Дѣвы радости моей
И любовь моя земная,
Этотъ свѣтлый отблескъ рая,
Это счастія зерно—
Всѣ другому отдано.

Часто грѣшною мечтою
Я бываю возмущенъ;
Но межъ дѣвою и мною
Исполинъ стоитъ—законъ.
Передъ нимъ благоговѣя,
Я главу клоню на грудь,
И шепчу, въ душѣ нѣмѣя:
„Чародѣйку позабудь!“
Смѣйтесь люди— ваше дѣло
Вы окончили вполнѣ:
Въ грудь разсчетливо умѣли
Влить недугъ смертельный мнѣ.

Но слушайте, братья! За страшной чертой,
За гробомъ, опять я душой безтѣлесной
Вспорхну къ небесамъ, и блестящей звѣздой
Предъ вами заискрюсь на тверди небесной.
Я буду безплотенъ, свободенъ, легокъ!
И что вашъ коварный міръ сдѣлать мнѣ
могъ?

Тогда я, безгрѣшный, ночною порой
Слечу къ ненаглядной, къ ея изголовью,
Ей кудри разсыплю безплотной рукой,
Уста поцѣлую съ нездѣшней любовью,
И, тихимъ струясь по челу вѣтеркомъ,
Навѣю ей грезы о счастьи быломъ.

Распустятся розы у ней на щекахъ,
Въ груди пробѣжитъ сладкій трепетъ,
Улыбка засвѣтитъ опять на устахъ,
Знакомый послышится лепетъ.
Когда ненаглядная вспомнитъ о мнѣ,
Я буду далеко—опять въ вышинѣ...

За зло я съумѣю людямъ отомстить:
Когда въ темнотѣ, неизвѣстной тропою,
Надъ пропастью будете вы проходить,
И пропасть готова пожрать васъ собою—
Падучей звѣздою я къ вамъ полечу,
И близкую гибель собой освѣчу.
Когда въ вышину налетятъ облака,
И глухо застонутъ тамъ громы,
И мстящая праведно неба рука
Захочетъ карать ваши домы,
Предъ громомъ сверкну я кровавой змѣей,
Скажу вамъ: бѣгите— ударъ роковой!

Когда, увлекаясь корыстной мечтой,
Вы будете плыть океаномъ
И ночь, покрывая своей темнотой,
На васъ зареветъ ураганомъ,—
Я въ вихрѣ и бурѣ предъ вами пойду,
И въ пристань спокойную васъ приведу.

Я буду хранить васъ на вашей землѣ.
Живите, терзайте другъ друга,
Всегда пресмыкаясь во прахѣ и мглѣ,
Какъ дѣти грѣха и недуга,
И думать не смѣя о той вышинѣ,
Которая станетъ родимою мнѣ...

II.

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТОКЪ.

Пиръ волшебными огнями
Разливался и горѣлъ,
Стройно звучными стихами
Хоръ пѣвцовъ веселый пѣлъ.
Мы справляли именины
Басни русскія творца,
Отъ временъ Екатерины
Къ намъ дошедшаго пѣвца.
Всѣ мы шумно пировали
На волшебномъ пирѣ томъ,
И поэта увѣнчали
Свѣжимъ лавровымъ вѣнкомъ.

Какъ онъ былъ великъ, прекрасенъ,
Въ этотъ мигъ, сѣдой пѣвецъ!
Неподкупенъ и согласенъ
Былъ восторгъ къ нему сердецъ.

Мы смотрѣли съ умиленьемъ
На поэта старика;
Жрецъ прекрасный вдохновенья,
Онъ намъ далъ благословенье:
Листъ лавровый отъ вѣнка.

Этотъ чистый даръ поэта
Я умѣю оцѣнить,
Въ треволненьяхъ, въ бурѣ свѣта,
Стану я его хранить;
А о праздникѣ народномъ,
Безкорыстномъ, благородномъ,
Позднимъ внукамъ разскажу,
И листокъ вѣнка *Крылова*
Для потомка молодаго
Какъ святыню покажу.

III.

УТѢШЕНІЕ.

Мой другъ, ты не доволенъ свѣтомъ?
Ты быть доволенъ имъ не могъ:
Узнай, смѣшалъ премудро тѣнь со свѣтомъ
Въ картинѣ нашей жизни Богъ.
Ты въ этомъ мірѣ странникъ новый,
Еще не знаешь ты людей;
Ты не носилъ еще оковы
Чужихъ капризовъ и страстей.
Цѣпями скованный приличья,
Предъ глупостью ты не молчалъ,
И подлому рабу двуличья
Руки, какъ другу, не сжималъ.
Ты не видалъ въ чести бездарность
И честь, добытую цѣною клеветы;
Но низкую неблагодарность,
Мой другъ, уже извѣдалъ ты...
Утѣшься, намъ одно осталось утѣшенье —
Оно съ земли несетъ насъ къ небесамъ —
Не ждавши отъ людей вознагражденья,
За зло добромъ платить людямъ.
И если бъ за добро всегда добромъ платили,
Оно вошло бъ въ холодный нашъ разсчетъ,
Его бы какъ товаръ цѣнили,
И даже сталъ бы добрымъ тотъ,
Кому теперь однѣ заботы
Его ничтожные разсчеты,
Кто радъ за золото и друга удушить...
Ну, было бъ что тогда на свѣтѣ,
Когда бы стали люди эти
По своему благотворить?...

IV.

МОТЫЛЕКЪ.

I.

Горитъ и красуется пышное лѣто;
Все въ зелень и въ пурпуръ, и въ злато одѣто,
Все полною жизнью роскошно цвѣтетъ.
А тамъ, посмотрите, на вѣткѣ крапивной
Уродливый червь, блѣдножелтый, лѣнивой
Съ листка на листочекъ ползетъ,
И, жадно безвкусныя листья съѣдая,
Родимой крапивы своей не бросая,
Спокойно на вѣткѣ живетъ.

2.

Но пролетѣло скоро лѣто,
И осень скучная пришла.
Природа мрачная раздѣта.
На опустѣлыя поля
Повѣялъ вѣтеръ—и мятели
По рощамъ грустно зашумѣли;
Трещатъ морозы, и сама
Къ намъ въ гости жалуетъ зима.
Все мертво въ страшную годину:
И, завернувшись въ паутину,
Примерзъ, укрывшись подъ листокъ,
Къ родимой вѣткѣ червячокъ.

3.

Вотъ весенній вѣтеръ вѣетъ,
Чистъ и ясенъ сводъ небесъ,
И душисто зеленѣетъ
Молодой кудрявый лѣсъ;
Развернулся лугъ цвѣтами,
Зажурчалъ опять ручей,
И опять между кустами,
Будто Пушкина стихами,
Хвалитъ Бога соловей.
Лучъ живительной денницы
И въ червѣ, въ его темницѣ,
Жизнь прекрасную зажегъ.
Часъ насталъ преображенья,
И изъ мрака заточенья
Вышелъ свѣтлый мотылекъ.
Цвѣтомъ радуги сверкая,
Пышно крылья развернулъ,
Встрепенулся и порхнулъ,
Въ синемъ воздухѣ играя...
Какъ оторванный цвѣтокъ,
Онъ несется надъ лугами,
Онъ кружится надъ водами
И прелестенъ, и легокъ...

V.

НОГОТОКЪ.

Солнце сокрылось за гору высокую;
Въ сумракѣ дальній востокъ;
Кто то, невѣдомый, кистью широкою
Западъ раскрасилъ, зажегъ.
Но, замирая, тѣ краски небесныя
Блѣднымъ ручьянцемъ горятъ;
По высотамъ уже мраки безвѣстные
Легкой толпою летятъ.
Съ поля оратай идетъ озабоченный;
Стадо въ деревню спѣшитъ;
И на лугу ноготокъ позолоченный
Между травой не блеститъ:
Онъ лепестки свои пышно махровыя
Вечеромъ скромно сложилъ;
Въ листья, дышащія свѣжестью новою,
Голову тихо склонилъ.
Въ мракѣ суровомъ со тьмою сливаются
Яркихъ цвѣтовъ красоты,
Въ мракѣ безжалостномъ не распускаются—
Роскошь для глаза—цвѣты.

Но когда опять возстанетъ
Солнце радость на востокъ,
Улыбаясь, вновь проглянетъ
Золотистый ноготокъ:
Онъ распуститъ цвѣтъ прелестный,
Нити злата разовьетъ,
И опять въ красѣ чудесной,
Отражая блескъ небесный,
Пышно, ярко расцвѣтетъ.

VI.

ЛИЛІЯ.

Въ зеленой дубравѣ, гдѣ гордо и смѣло
Могучія дубы растутъ,
Лилія на стеблѣ высокомъ и стройномъ
Цвѣткомъ бѣлоснѣжнымъ цвѣтетъ.
Приближься къ ней, путникъ—и нѣгой душистой
Повѣетъ тебѣ отъ короны сребристой!

Когда же надъ рощей слетаются тучи,
И вѣтеръ по рощѣ шумитъ,
И молнья сверкаетъ, и, бурю встрѣчая,
Нахмурившись дубы стоятъ,
Красавица гордая, эта лилея,
Къ землѣ приникаетъ, предъ бурей робѣя.

Ты, какъ лилія дубравы,
Другъ мой, дѣвица душа,
И нѣжна, и величава,
И горда, и хороша!
Ты плѣняешь, расцвѣтая,
Непорочностью своей!
Какъ лазурь подъ небомъ мая,
Такъ чиста лазурь живая
Голубыхъ твоихъ очей!
Но когда желаній страстныхъ,
Буря вкругъ тебя кипитъ,
И языкъ страстей опасныхъ
Предъ тобою загремитъ,—
Ты, какъ лилія долины,
Не склоняешься главой,
А властители мужчины,
Эти дубы исполины,
Смяты огненной грозой,
Упадаютъ предъ тобой...

VII.

СОНЪ.

Что ты, скажи мнѣ, мое сновидѣніе?
Что ты—добро или зло?
Случай слѣпой, иль само Провидѣніе
Въ міръ нашъ тебя привело?

Часто съ друзьями на жертву веселію
Ночь посвятивъ на пролетъ,
Чуть засыпаю—уже надъ постелію
Слышу видѣній полетъ.

Вотъ прилетѣли—достойны проклятія—
Думу тревожатъ, метутъ...
Вижу во снѣ, какъ и други и братья
Ядъ мнѣ съ улыбкой даютъ.
Страшныхъ чудовищъ и когти, и крылія
Надъ головою шумятъ...
Скрыться хочу, но напрасны усилія:
Ноги бѣжать не хотятъ.

Часто, убитый тоской безнадежною,
Я засыпаю въ слезахъ,
Чуть задремлю я—и музыкой нѣжною
Что то повѣетъ мнѣ въ снахъ.

Вижу: опять съ чудодѣйной улыбкою
Дѣва мнѣ въ очи глядитъ,
Нѣжно ласкаетъ и тѣнію зыбкою
Легче сильфиды летитъ.

Или прошепчетъ она упоительно
Чудное слово: *люблю*,
И поцѣлуемъ любви сокрушительно
Душу сжигаетъ мою.

Что ты такое, мое сновидѣніе?
Что ты несешь для меня?

Горе иль радость пророчитъ видѣніе
Мнѣ для грядущаго дня?

Кажется, чтобъ не забылись мы въ счастіи,
Сонъ намъ бѣдами грозитъ,
И, утѣшая въ годину ненастія,
Свѣтлыя грезы даритъ.

1839.

I.

ПРИЗНАНІЕ.

Порою я мраченъ, печаленъ, угрюмой,
Съ мечтой одинокой сижу,
И, скованъ какою то грустною думой,
На югъ ненаглядный гляжу.

Друзей и родимыхъ, и предковъ могилы
Покинулъ на родинѣ я;
Тамъ, полная прелести, дѣвственной силы,
Осталась коханка моя.

Глаза ея смотрятъ небесной эмалью,
И зелень одежды въ рубинахъ горитъ,
И поясомъ синимъ, какъ сизою сталью,
Красавицы станъ перевитъ.

Какъ золото, свѣтло блестящей волною
Роскошные кудри на плечи бѣгутъ;
Уста ея тихой вечерней порою
Унылую пѣсню поютъ.

И эта чудесная дѣва—не тайна;
Я высказать душу готовъ:
Красавица эта—родная Украйна!
Ей все—моя пѣснь и любовь!

Какъ дѣвы прелестной лазурныя очи,
Украйны глядятъ небеса;
Какъ поясомъ синимъ, на югъ отъ полночи
Днѣпромъ перевита краса;

Какъ шелкомъ зеленымъ, покрыта степями,
И степи въ цвѣтахъ, какъ въ рубинахъ горятъ;
И стелятся нивы, какъ кудри, волнами,
И золотомъ свѣтлымъ шумятъ.

Какъ тяжкіе вздохи печали глубокой,
Какъ матери вопли надъ гробомъ дѣтей,
Мнѣ въ душу запали далеко, далеко
Украины пѣсни моей.

II.

КУКУШКА.

(УКРАИНСКАЯ МЕЛОДІЯ.)

Уже вечеряетъ. Надъ дальнимъ закатомъ
Румяная млѣетъ заря,
И вѣютъ прохладою и ароматомъ
Степей разноцвѣтныхъ моря.

На вольномъ раздольи чернѣетъ могила;
Развѣсистый дубъ на могилѣ растетъ.
Тамъ, сидя на вѣткѣ, кукушка уныло
Тоскуетъ и стонетъ, и грустно поетъ.

Прохожій, ты слышишь ли эти напѣвы?
Небесная въ нихъ красота!
Нѣтъ, это не плачетъ, по прихоти, дѣва,—
То матери стонутъ уста:

„Раздвинься, раскройся, нѣмая могила—
„Мой сынъ, на меня посмотри!
„Забылъ ты, какъ я тебя нѣжно любила?
„Встань, матери слезы отри!

„Казакъ мой, открой соколиныя очи,
„Твой конь вороной тебя ждетъ;
„Не ѣстъ и не пьетъ онъ, и цѣлыя ночи
„Копытами землю гребетъ.

„Охъ, крѣпко уснулъ ты! вставай, мой коханой!
„Хоть разъ на меня погляди!
„Подай мнѣ хоть руку! вставай же! не рано—
„До дому меня отведи.

„Нѣтъ, ты на меня уже больше не взглянешь:
„Изъ темной могилы глаза не глядятъ;
„Ты рукъ своихъ, сынъ мой, ко мнѣ не протянешь:
„Онѣ подъ тяжелой землею лежатъ...“

Прохожій! ты понялъ ли пѣсню простую,
Но сильную пѣсню души?
Скорѣй на колѣни—молитву святую
О матери бѣдной сверши!..

III.

УКРАИНСКАЯ МЕЛОДІЯ.

Не калина ль въ темномъ лѣсѣ,
Я не красная ль была?
А теперь меня сломали,
И въ пучки перевязали:
Это доля моя!

Не трава ли зеленая
Въ чистомъ полѣ я была?
А теперь меня скосили
И на солнцѣ изсушили:
Это доля моя!

Я ль не красная дѣвица
У родной моей была?
Съ нелюбымъ меня свѣнчали,
Волю дѣвичью связали:
Это доля моя!

IV.

ГЕТМАНЪ СВИРГОВСКІЙ.

Господарь Іоаннъ,
Всей Молдавіи панъ,
Ожидаетъ гостей издалека.
Блескъ и шумъ во дворцѣ,
Господарь на крыльцѣ,
И народомъ кипитъ дворъ широкій.

На степи вьется пыль;
Смотрятъ всѣ: не они ль?
Точно войско сюда подступаетъ:
Стройно идутъ полки,
Распустивъ бунчуки,
Ихъ начальникъ къ дворцу подъѣзжаетъ.

Онъ собой некрасивъ,
Длинный усъ его сивъ,
Но, какъ юноша, гетманъ проворенъ;
Онъ приземистъ, плечистъ,
И на видъ не казистъ,
И лицомъ, какъ татаринъ, онъ черенъ,

На гетманѣ нарядъ
Не блестящъ, не богатъ,
Только сабля въ каменьяхъ сверкаетъ.
То Свирговскій гетманъ.
Господарь Іоаннъ,
Какъ родного, его обнимаетъ. *)

*) Свирговскій прибылъ на помощь Іоанну, господарю молдавскому, во время войны его съ волошскимъ воеводою Александромъ и турецкимъ султаномъ, въ 1574 году.

И, какъ были въ пыли,
Во дворецъ всѣ пошли,
И за трапезу шумную сѣли.
Пиръ поднялся; кругомъ
Ходятъ кубки съ виномъ.
Гости молча и пили, и ѣли.

Близокъ пиръ ужъ къ концу;
И у всѣхъ по лицу
Разыгралось веселье живое.
Іоаннъ тутъ встаетъ
И дукаты кладетъ
На тяжелое блюдо горою.

И къ гетману принесъ
Золотой тотъ подносъ,
И сказалъ ему, кланяясь въ поясъ:
„Изъ далекой земли
„Вы къ намъ въ помощь пришли,
„Вы устали, для насъ безпокоясь.

„Вамъ неблизко итти,
„Отдохните съ пути
„Да примите ничтожную плату;
„А враговъ побѣдимъ—
„Мы вамъ больше дадимъ:
„Сторона наша златомъ богата“.

Какъ степной ураганъ,
Потемнѣлъ нашъ гетьманъ,
А глаза, какъ огни, засверкали;
Блюдо въ руки онъ взялъ,
И сурово сказалъ:
—Противъ турковъ вы насъ приглашали.

—Изъ крещеной земли
Мы на помощь пришли
Защищать христіанскую вѣру.
Ты забылъ, Іоаннъ,
Что я вольный гетманъ
И разщедрился, право, не въ мѣру.

—Я себя не продамъ;
Это стыдъ, это срамъ,
Чтобъ казакъ нанимался изъ платы.
Денегъ мы не возьмемъ!—
И, звенящимъ дождемъ,
На полъ брызнули съ блюда дукаты.

—Если хочешь друзей
Угостить веселѣй,
Дай намъ бочку вина дорогого:
Мы вино разопьемъ,
И невѣрныхъ побьемъ;
Намъ подарка не нужно иного.—

Десять бочекъ вина
Осушили до дна
Казаки на дворѣ Іоанна;

И рубили враговъ...
Былъ обычай таковъ
Казаковъ и Свирговскаго пана.

V.

ДѢВИЦА ЗА ФОРТЕПЬЯНО.

Благоговѣю я предъ дѣвой,
Когда, полна поэзіи святой,
Она волшебною рукой
Разбудитъ спящіе напѣвы!
И звуки чудные толпою полетятъ:
То громомъ торжества октавы загремятъ,
То переходятъ въ стонъ и ропотъ злополучья,
То вдругъ сливаются въ широкія созвучья—
И тянется аккордовъ длинный рядъ,
Другъ друга жалобнѣй, сильнѣй, могучѣй...
Какъ много для меня ихъ стѣны говорятъ!
Не золотомъ, но чувствами богатъ,
Я весь сочувствую гармоніи кипучей.
А кроткое небесъ сапфирное стекло
Передо мной такъ теплится свѣтло...
Тогда мой духъ горитъ отъ вдохновеній,
Уста дрожатъ невѣдомымъ стихомъ,
И я готовъ, упавши на колѣни,
Предъ дѣвой мирру жечь, при звукахъ пѣснопѣній,
Какъ предъ цвѣтущимъ божествомъ.

Но годъ прошелъ, а много—два—
Твоя *ученая глава*
Вѣнцомъ супружества сіяетъ.
Егоръ опять на островѣ,
Женатъ не въ шутку—на яву
Живетъ себѣ да поживаетъ.
Да укрѣпитъ тебя Аллахъ,
Чтобъ ты страницы новой жизни
Безропотно, безъ укоризны
Читалъ и въ прозѣ и въ стихахъ;
Желаю—въ морѣ дней безбрежномъ
Чтобъ дни украсились твои
Покоемъ, счастьемъ безмятежнымъ,
Согрѣтые привѣтомъ нѣжнымъ
Святой супружеской любви;
Чтобъ ты супругой былъ утѣшенъ,
Чтобъ ты довольствомъ былъ богатъ,
Чтобъ на квартиру твой возвратъ
Всегда былъ поцѣлуемъ встрѣченъ;
Чтобъ каждый шагъ твой былъ отмѣченъ
Блаженствомъ, чтобъ въ кругу друзей
Ты былъ довольнѣй, веселѣй,
А дома чтобъ провелъ пріятнѣй
Рядъ зимнихъ, длинныхъ вечеровъ,
Чтобъ жегъ поменьше въ печкѣ дровъ,
Чтобъ даже чай былъ ароматнѣй—
Ну, словомъ, счастливъ будь, мой другъ,
Какъ человѣкъ и какъ супругъ,
Фундаментально—не мечтами!
А я—но это между нами—
Опять свое, опять мечтать!
Примусь на небѣ замки строить...
Одно меня лишь безпокоитъ:
Ужасно зубы, братъ, болятъ.

1840.

I.

Е. В. ГУДИМЪ.

Тебѣ, съ супругой молодою,
Я посылаю мой поклонъ;
Хоть кстати, хоть не кстати онъ,
А я пишу; со всѣхъ сторонъ
Я буду правъ; стихомъ докучнымъ,
Быть можетъ, стану и смѣшонъ,
Но ты вѣдь знаешь мой законъ,
Что лучше быть смѣшнымъ, чѣмъ скучнымъ.
Давно ли мы на острову *)
Съ тобой такъ скромно жили вмѣстѣ?
Ты ни во снѣ, ни на яву
Тогда не бредилъ о невѣстѣ;

*) На Васильевскомъ островѣ.

II.

ЮНОСТЬ.

Юность, время золотое!
Въ ожерельѣ нашихъ дней,
Это перло дорогое
Краше жемчуга морей.
Разлучилась ты со мною,
Улетѣла, другъ мой, ты.
Я сказалъ тебѣ душою
Неизбѣжное: *прости!*

А давно-ль, свѣжо и ново,
Чувство колебало грудь,
И была душа готова
Полюбить кого-нибудь?
Сердце билось въ ожиданьи,
И неясныя желанья
Жарко волновали кровь?
Что прошло, не будетъ вновь!

При мерцаніи луны,
Страстью пламенныя очи
Дѣвъ родимой стороны,
Робость первая свиданій
И восторгъ живыхъ лобзаній
Въ часъ вечерней тишины,
И зеленый сводъ черешенъ
. . . . . .
. . . . . .
Я всему сказалъ прости!

Все прошло. Воспоминанье
Чародѣйственнымъ перомъ
Иногда, въ часы мечтанья,
Чертитъ грустныя сказанья
Объ утраченномъ быломъ.

Но, спасибо, дорогая,
Юность милая моя!
О тебѣ воспоминая,
Самъ собой доволенъ я,
Что изъ жаркой этой битвы
Грѣшныхъ мыслей и страстей
Вынесъ я въ душѣ моей
Жажду истинной молитвы
И любовь въ толпѣ людей.
Хоть меня въ пути суровомъ
Не балуетъ строгій рокъ—
Ты въ вѣнкѣ моемъ терновомъ
Раззолоченный цвѣтокъ!

III.

МАЛИНОВКА.

Люблю я, малиновка, пѣсню твою:
Она не звенитъ, не сверкаетъ,
Но много мечтаній на душу мою
И сладостныхъ думъ навѣваетъ.
Давно это было. Въ родной сторонѣ,
Какъ жизнь молодая кипѣла во мнѣ,
Лелѣяла сердце надежда.
Я жилъ въ обаяньи таинственныхъ сновъ
И вѣровалъ слѣпо, невѣжда,
Въ безумную дружбу, въ святую любовь.
Я помню, весною, разсвѣтной порой,
Въ саду моя панна сидѣла со мной,
На грудь мнѣ головку склонила,
И, въ сторону кудри откинувъ рукой,
Мнѣ въ очи свой взоръ утопила.
Я таялъ въ восторгѣ, я весь трепеталъ
И страстно коханку мою цѣловалъ.
Въ лобзаньяхъ душа улетѣть бы хотѣла...
Все нѣгой дышало. Въ стыдливыхъ лучахъ
Заря на востокѣ алѣла.
Цвѣты расцвѣтали. Далеко въ кустахъ
Малиновка пѣла.
На сѣверѣ грустномъ, въ еловой тѣни,
Гдѣ мохъ, да песокъ, да каменья одни—
И здѣсь я, услышавъ малиновки пѣсню,
Забудусь на время—душою воскресну...
И вновь надо мною минувшія дни!
Мнѣ кажется: воздухъ Украины вѣетъ
Душистою нѣгой опять на меня;
Заря на востокѣ опять пламенѣетъ,
И смотритъ съ улыбкой коханка моя;
Любви поцѣлуй на устахъ ея млѣетъ...
А тамъ—надъ рѣкою—черешня цвѣтетъ,
И пѣсню малиновка тихо поетъ.

1841

I.

ПОЧТАЛЬОНЪ.

Скачетъ, форменно одѣтъ,
Вѣстникъ радостей и бѣдъ.
Сумка черная на немъ,
Киверъ съ бронзовымъ орломъ.

Сумка съ виду хоть мала—
Много въ ней добра и зла:
Часто рядомъ тамъ лежитъ
И банкротство, и кредитъ;

Клятвы ложныя друзей,
Бредъ влюбленнаго *о ней*,
Безъ разсчетовъ,—такъ, съ плеча—
Спѣсь и гордость богача,

И педанта чепуха,
Голосъ вкрадчивый грѣха,
И невинности привѣтъ...
И—чего въ той сумкѣ нѣтъ?

Будто посланный судьбой,
Безпристрастною рукой
Радость, горе, смѣхъ и стонъ,
Разсыпаетъ почтальонъ.

Онъ весь городъ обскакалъ:
Конь едва идетъ—усталъ...
Равнодушно вѣстникъ мой
Возвращается домой.

А гдѣ былъ онъ, можетъ быть,
Станутъ долго слезы лить
О потерянныхъ друзьяхъ,
О несбывшихся мечтахъ...

Или въ радости живой
Лить шампанское рѣкой...

Гдѣ-жъ волшебникъ-почтальонъ?
Дома спитъ въ чуланѣ онъ.

II.

ПѢСНЯ.

Молода еще дѣвица я была,
Наша армія въ походъ куда-то шла.
Вечерѣло. Я стояла у воротъ—
А по улицѣ все конница идетъ.
Къ воротамъ подъѣхалъ баринъ молодой,
Мнѣ сказалъ: „напой, красавица, водой!“
Онъ напился, крѣпко руку мнѣ пожалъ,
Наклонился и меня поцѣловалъ...
Онъ уѣхалъ... долго я смотрѣла вслѣдъ.
Жарко стало мнѣ, въ очахъ мутился свѣтъ,
Цѣлу ноченьку мнѣ спать было не въ мочь:
Раскрасавецъ-баринъ снился мнѣ всю ночь.

Вотъ недавно—я вдовой уже была,
Четырехъ ужъ дочекъ замужъ отдала—
Къ намъ заѣхалъ на квартиру генералъ...
Весь прострѣленный, такъ жалобно стоналъ...
Я взглянула—встрепенулася душой:
Это онъ, красавецъ, баринъ молодой;
Тотъ же голосъ, тотъ огонь въ его глазахъ,
Только много сѣдины въ его кудряхъ.
И опять я цѣлу ночку не спала,
Цѣлу ночку молодой опять была.

III.

ДВА.

1.

Ихъ было два. Одинъ, какъ Божья кара,
Неумолимъ, какъ твердый рокъ,
При воплях жертвъ, при заревѣ пожара,
Съ мечомъ вселенную протекъ.
И въ ужасѣ, поникнувъ головою,
Склонились царства передъ нимъ;
А онъ кровавою рукою
Подписывалъ законы рабства имъ.

Другой, безпечный и веселый,
Пѣлъ миръ, и дружбу, и любовь,
И, проходя съ бандурой селы,
Вездѣ имѣлъ привѣтъ и кровъ.
Его, какъ друга, всѣ встрѣчали;
Онъ пѣлъ въ кругу веселыхъ дѣвъ—
И послѣ долго повторяли,
Какъ утѣшенье въ дни печали,
Его восторженный напѣвъ.

Но часъ насталъ—и ихъ со сцены свѣта
Судьба въ могилу низвела:
И честолюбца, и поэта,
Какъ дань свою, земля взяла.
Надъ прахомъ сильнаго и гордо, и высоко
Гранитный памятникъ красиво восходилъ,
А на могилѣ одинокой
Пѣвца березку кто-то посадилъ.

2.

Пролетаютъ дни за днями,
Идутъ годы за годами,
И спѣшитъ за вѣкомъ вѣкъ—
И съ презрѣньемъ разрушаетъ
Все, что гордый созидаетъ
Для безсмертья человѣкъ.
Гдѣ же памятникъ чудесной?
Тамъ, въ пустынѣ безъизвѣстной,
Позолоченный гранитъ
Въ прахъ поверженный разбитъ;
А надъ тихою могилой,
Гдѣ поэта прахъ лежитъ,
Роща темная шумитъ
Юной свѣжестью и силой.
Тамъ весной цвѣты цвѣтутъ,
И щебечутъ вольны птицы,
И красавицы дѣвицы
Про любовь свою поютъ.

IV.

ВЪ АЛЬБОМЪ.

Порой ко мнѣ съ далекой вышины
Слетитъ фантазія цвѣтущая, живая—
Мелькнетъ и—скроется; и послѣ долго сны,
Ея волшебный образъ повторяя,
Тревожатъ міръ душевной глубины.
Вы, какъ фантазія, безпечны, прихотливы,
Явились и изчезли предо мной...
Вы будете по прежнему счастливы;
А я?—быть можетъ, я порой
(Чудакъ, взлелѣянный мечтами),
Былое вспомня въ тишинѣ,
Я стану пѣть и плакать надъ стихами
О той, которая не думаетъ о мнѣ.

1842.

МѢДНЫЙ ЗМІЙ.

Я видѣлъ сонъ: Аравіи пустыни,
Раскалены, необозримы,
Раскинулись въ моихъ глазахъ.
И, будто маніемъ волшебныя десницы,
Святыя библіи страницы
На нихъ воскресли въ чудесахъ.

Взыгралъ на пустынѣ враждебный духъ бури,
Нахмурилось небо во гнѣвѣ своемъ,
Свинцовыя тучи легли на лазури
И страшно пустыня завыла кругомъ:
Іегова то казни достойныя шлетъ
На свой малодушный народъ.

Вотъ лопнула туча, и небо дождемъ
Шумитъ въ вышинѣ недоступной;
Изъ неба, блестящимъ, широкимъ снопомъ,
Дождь змѣй разсыпается крупный.
По воздуху гады съ шипѣньемъ летятъ,
Упали—клубятся, ползутъ и свистятъ...
Смерть жадная идетъ со всѣхъ сторонъ,
Шумитъ надъ головой и вьется подъ ногами...
Я слышу вопль и муки стонъ
Между Израиля сынами!
Съ мольбой упалъ предъ Господомъ народъ
И вотъ Господь свой гнѣвъ на милость
измѣняетъ:
Онъ имъ спасеніе даетъ
И чудомъ ихъ отъ смерти избавляетъ...

Тамъ, среди нагихъ степей,
Возвышаясь надъ толпою,
Допотопной красотою
Дивно блещетъ мѣдный змѣй.
Этотъ змѣй залогъ спасенья,
Онъ, какъ символъ искупленья,
Неразгаданный стоитъ;
И, поднявъ съ мольбою вѣжды,
Оживленъ лучемъ надежды,
Весь народъ къ нему спѣшитъ.
Такъ торжественна картина:
Тамъ собрались воедино
Всѣ старѣйшины племенъ,
Многодумные левиты.
Вотъ и знаніемъ повитый
Черноокій Ааронъ;
Мудрецами окруженный,
Вотъ и онъ, въ вѣнцѣ лучей,
Весь въ молитву погруженный,
Вдохновеньемъ окрыленный,
Боговидѣцъ Моисей!..
Въ созерцательномъ покоѣ,
Какъ видѣніе святое,
Неподвиженъ онъ стоитъ;
А вокругъ него толпами,
Съ благодарными мольбами,
Какъ волна, народъ кипитъ.

Но нѣтъ, то не былъ сонъ. Еще свершилось чудо
Надъ поколѣніемъ Іуды!
Волшебникъ сѣвера, художникъ и поэтъ,
Изъ праха кистью вызвалъ ихъ на свѣтъ.
Онъ свитокъ древности, вокругъ перста святаго
Свиваемый теченіемъ вѣковъ,
Отважно развернулъ—и передъ нами вновь
Живутъ на полотнѣ сказанія былаго!..

Великъ, великъ Іегова!..

1843.

I.

ПРІЯТЕЛЮ.

Ты не люби ее, безумецъ молодой,
Такой высокою и безпредѣльной страстью!
Ты видишь ли, на пылъ души твоей святой
Въ ней нѣтъ сочувствія, нѣтъ даже въ ней участья.
Она дитя еще, тебя ей не понять;
Ей куклы нравятся и розовыя щеки,
А на челѣ твоемъ слѣды страстей глубокихъ
И опыта тяжелая печать.

Ты любишь пламенно—ей этого не надо:
Ей непонятенъ чувствъ мятежныхъ разговоръ;
Ей свѣтской болтовни пріятенъ милый вздоръ
Подъ легкіе мотивы галопада.
Такъ не люби жъ ее, безумецъ молодой,
Не жертвуй для нея души священнымъ миромъ,
Не падай передъ ней, какъ древле жрецъ съ мольбой
Колѣнопреклонясь, молился предъ кумиромъ.

II.

ЧЕРНЫЯ ОЧИ.

Очи черныя, очи страстныя,
Очи жгучія и прекрасныя!
Какъ люблю я васъ! какъ боюсь я васъ!
Знать, увидѣлъ васъ я въ недобрый часъ.

Охъ, не даромъ вы глубины темнѣй!
Вижу трауръ въ васъ по душѣ моей,
Вижу пламя въ васъ я побѣдное:
Сожжено на немъ сердце бѣдное!

Но не грустенъ я, не печаленъ я,
Утѣшительна мнѣ судьба моя:
Все, что лучшаго въ жизни Богъ далъ намъ,
Въ жертву отдалъ я огневымъ глазамъ.

II.

СТЕПЬ.

Я былъ въ степи. Кругомъ, какъ море, широко
Земля раскинулась, отъ взора убѣгая.
Все тихо, все мертво, все степь, да степь нагая,
Да небо надъ землей безбрежно-высоко.
Хоть вѣтеръ бы дохнулъ, пустыню оживляя!
И грустно стало мнѣ въ пустынной тишинѣ:
Тоска сдавила грудь... Вдругъ пѣсня надо мной...
Я радостно гляжу: въ лазурной вышинѣ
Пѣвица Божія промчалась надъ землею,
И—смолкло все опять. Но пѣсню эту я
До гроба сохраню въ душѣ моей, друзья!

1844.

I.

ПѢСНЯ.

Бѣло личко, черны очи—
Хороша я, молода!
Какъ любить бы мнѣ хотѣлось!
Какъ мнѣ хочется любить!

Ахъ, утратила я счастье!
Я была еще глупа,
А любилъ меня мой милый—
Насмѣялась я надъ нимъ...

Онъ уѣхалъ—стало жалко,
Стало сердце тосковать...
Воротись, мой раскрасавецъ,
Какъ тебя я полюблю!..

Тяжко жить на бѣломъ свѣтѣ.
Не успѣла я расцвѣсть,
А приходится завянуть:
Сердце бѣдное болитъ.

1848.

ПѢСНЯ.

„Свѣтла рѣчка подъ окномъ твоимъ шумитъ:
„Можно, дѣвица, коня мнѣ напоить?“
—Кто мѣшаетъ!.. да подальше отъ меня:
Я мала еще, боюся я коня.—

„Макъ червонный подъ твоимъ цвѣтетъ окномъ;
„Макъ притоптанъ: кто ходилъ къ тебѣ по немъ?“
—Полно, парень, злыя рѣчи говорить!
Къ сиротинкѣ бѣдной станетъ кто ходить?—

„Богъ съ тобою! До тебя мнѣ дѣла нѣтъ:
„Да скажи, зачѣмъ ты сердишься на свѣтъ?“
—Я не знаю, что-то сталося со мной:
Все мнѣ грустно; плакать хочется одной.—

НЕИЗВѢСТНЫХЪ ГОДОВЪ.

I.

Опять передо мной знакомыя поля,
И села мирныя съ цвѣтущими садами,
И рѣчки тихія, и пѣсни соловья,
И степи вольныя, покрытыя цвѣтами.

Все такъ же, какъ въ былые дни,
Безбрежно тянутся зеленыя поляны,
И степью голою несутся табуны,
И одинокіе стоятъ курганы.

Вездѣ звучитъ Украины языкъ,
И пѣсня родины такъ сладостно-уныла..
Со мной опять все то, къ чему я такъ привыкъ,
Что сердце такъ тепло издѣтства полюбило.

ВЪ АЛЬБОМЪ ЖЕНѢ.

II.

Писать женѣ въ альбомъ немного странно!
Но хочешь ты—и я пишу, мой другъ.
Во время оно, помнишь, безпрестанно
Мой взоръ искалъ тебя въ кругу подругъ.
Какъ упоительны бывали наши встрѣчи!..
И страстнымъ трепетомъ мои дрожали рѣчи...
Но вотъ теперь я, Маша, твой супругъ,
Люблю тебя почтительно, какъ друга,
И одного желаю, милый другъ,
Чтобъ ты всегда любила такъ супруга.

ТИПЫ.

ФАКТОРЪ.

ТИПЪ.

Положимъ, вы путешественникъ, ученый ли, сантиментальный ли, путешественникъ отъ нечего дѣлать или ex officio—это все равно; положимъ, что вы ѣдете по бѣлорусскому тракту и, подъѣзжая къ какому-нибудь городу, какъ человѣкъ порядочный, велите ямщику везти васъ прямо въ гостинницу *къ нѣмцу*. Каждый ямщикъ, получа подобное приказаніе, приходитъ въ необыкновенно-веселое расположеніе духа; онъ тотчасъ вскрикнетъ на лошадей, махнетъ кнутомъ, присвистнетъ, скажетъ какое-нибудь присловье—и лошади быстрѣе помчатъ васъ; и вотъ вы скоро очутились въ порядочной комнатѣ, довольно свѣтлой, довольно опрятной.

Трактирный слуга побѣжалъ хлопотать вамъ объ обѣдѣ; вы, положимъ, начали свистѣть отъ скуки, или читать надписи на картинкахъ, или, на свободѣ, стали разламывать затекшіе дорогой члены и дѣлать разныя гимнастическія тѣлодвиженія—глядите, у васъ свидѣтель: у двери стоитъ еврей и почтительно смотритъ на ваши проказы.

— Что тебѣ надобно?

— Не угодно ли вамъ чего?

— Ничего ненужно; я ѣсть хочу.

Еврей исчезаетъ и опять является, сопровождая слугу, несущаго обѣдъ. Вы обѣдаете, слуга вамъ перемѣняетъ тарелки, еврей стоитъ у двери. Вы спросили у слуги: можно ли здѣсь достать хорошихъ сигаръ?—еврей исчезаетъ и чрезъ нѣсколько минутъ приноситъ вамъ нѣсколькихъ сортовъ сигары.

— Ты здѣшній слуга?

— Нѣтъ, ваше высокородіе.

— Купецъ?

— Нѣтъ, факторъ.

Изъ вашего вопроса видно, что вы первый разъ ѣдете по западнымъ губерніямъ, иначе васъ бы не удивило появленіе фактора въ нѣмецкомъ трактирѣ бѣлорусскаго города. Вамъ, какъ путешественнику, незнающему края, совѣтую воспользоваться его услугами: факторъ вамъ все купитъ, все достанетъ, все разскажетъ; это живая газета города и его окрестностей; за нѣсколько злотыхъ факторъ будетъ слѣдовать за вами, какъ ваша тѣнь, какъ ревнивая супруга—словомъ, факторъ въ западныхъ губерніяхъ тотъ таіо острова Отаити.

Факторъ—человѣкъ необходимый, особенно если вы хотите пожить хоть немного въ городѣ или сдѣлать порядочныя покупки. Впрочемъ, я видѣлъ проѣзжающаго, который, пока перемѣняли лошадей на станціи послалъ фактора купить за пять копѣекъ листъ почтовой бумаги и долженъ былъ дать ему за труды гривенникъ. Дѣло не въ гривенникѣ, но подобныя покупки въ дорогѣ я не считаю очень выгодными.

Въ западныхъ губерніяхъ факторами бываютъ безъ исключенія евреи; это ремесло какъ-то чрезвычайно пристало къ ихъ живой, неусидчивой, праздношатающейся натурѣ.

Каждый трактиръ, гостинница, станція, постоялый дворъ имѣютъ своего фактора; иногда факторъ цѣлый вѣкъ изживаетъ при одномъ дворѣ, составляя необходимую его принадлежность, а по большей части, скопивъ деньгу, факторъ пускается въ торговлю; проторговался—опять становится факторомъ.

Первое проявленіе собственной, самостоятельной торговли фактора заключается въ небольшомъ плоскомъ ящичкѣ, наполненномъ бронзовыми ключиками, сережками, перстнями и цѣпочками. Эти товары не всякому предложитъ факторъ; завѣтный

ящичекъ раскрывается или для человѣка, который рѣшительно не дѣлаетъ никакихъ порученій и собирается уѣхать, не заплатя дани фактору, или для юнаго, неопытнаго проѣзжающаго.

Въ первомъ случаѣ успѣхъ бываетъ очень рѣдко, во второмъ почти всегда. Факторъ большой сердцевѣдецъ: онъ сразу прочитаетъ на физономіи человѣка его способность купить бронзовую цѣпочку.

Впослѣдствіе факторъ обзаводится играющею табакеркой и, бывало въ старинные годы, фортуикою и какою-то непостижимою лотереей, гдѣ по нѣсколько лѣтъ сряду постояннымъ выигрышемъ, соблазняющимъ человѣчество, бывали пара мѣдныхъ побѣленныхъ подсвѣчниковъ и ящикъ красокъ; другіе выигрыши были или карандашъ, или грифель, или палочка сюргучу—словомъ не такъ значительны; но подсвѣчники ярко блестѣли и привлекали къ себѣ глаза игравшихъ.

Впрочемъ, фортункѣ платили дань, кажется, только одни молодые офицеры, ѣдущіе ежегодно изъ Петербурга въ разные полки нашей обширной имперіи. Молодо—зелено, говоритъ пословица, а факторы—народъ проворный, сметливый и оборотливый.

Надобно удивляться находчивости и наглости факторовъ, съ какою они умѣютъ сбыть съ рукъ, что имъ не нужно, особливо если они замѣтятъ въ покупателѣ *добраго человѣка*.

Въ августѣ 18.. года, не помню, въ какомъ-то бѣлорусскомъ мѣстечкѣ, я засталъ на станціи молодого человѣка, важно сидѣвшаго съ трубкою во рту, на диванѣ; факторъ стоялъ у двери.

— Жидъ! кричалъ молодой человѣкъ.

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?

— Пока еще благородіе; не люблю я лести, ты мнѣ льстишь и норовишь надуть—знаю я васъ!

— Какъ же это можно, ваше благородіе! кто васъ можетъ надуть?

— То-то и есть, ты у меня поворачивайся!..

— Я же и поворачиваюсь: съ самаго утра верчусь передъ вашимъ благородіемъ, какъ муха въ кипяткѣ.

— Есть у васъ пиво?

— Настоящее мартовское, лучше портеру.

— Вѣрно черное—знаю я васъ...

— Боже сохрани, чтобъ было черное! у насъ красное пиво; черное пиво гривна бутылка, а это гривенникъ.

— Принеси, я не стою за деньгами—ты знаешь.

Факторъ принесъ бутылку такъ называемаго чернаго пива, налилъ въ стаканъ и, показывая противъ свѣта, сказалъ:

— Видите, ваше благородіе, какъ рубинъ-камень, красное.

— Ладно. Ну, пока я выпью пиво, сыщи-ка ты мнѣ фунтъ жуковскаго табаку—знаешь, двухрублеваго.

— Только у насъ жуковъ табакъ дорогъ: меньше трехъ рублей нельзя купить.

— Ступай; я плачу, былъ бы только настоящій, а то, я знаю васъ: чортъ знаетъ чего намѣшаете. Да скажи, чтобъ закладывали мою перекладную.

Когда повозка стояла уже у крыльца, явился факторъ и подалъ молодому человѣку картузъ табаку, завернутый въ листъ бѣлой бумаги; бумага въ одномъ мѣстѣ была немного прорвана, подъ ней виднѣлся голубо-сѣрый картузъ.

— Досталъ?

— Досталъ, ваше высокоблагородіе. Все мѣстечко обѣгалъ, въ силу досталъ настоящаго.

— Посмотримъ.

— Смотрѣть нечего,—я отвѣчаю: самый первый сортъ.

— Ахъ ты мошенникъ, жидъ этакой!.. закричалъ проѣзжій, развернувъ картузъ изъ бумаги.

— За что вы ругаетесь?

— Смотри, читай, что здѣсь написано: вотъ здѣсь, на картузѣ: *фабрики Семенова*.

— Ну такъ что жъ? хладнокровно спросилъ факторъ.

— Какъ что? я тебѣ сказалъ: принеси Жукова табаку...

— Ай, вей! а еще ваше высокоблагородіе изъ Петербурга ѣдете!.. вѣдь Семеновъ любимый приказчикъ Жукова, такъ онъ ему на самомъ лучшемъ табакѣ позволяетъ ставить свою фамилію. Спросите, кого хотите. Я думалъ, вы знаете.

— Да врешь ты, мошенникъ — я знаю васъ!..

— Какъ бы я смѣлъ васъ обманывать? развѣ я не знаю, съ кѣмъ говорю?!

— То-то же!..

Проѣзжій заплатилъ деньги за пиво и табакъ, и хотѣлъ было садиться въ повозку.

— А за фатигу? сказалъ факторъ, униженно кланяясь.

— За какую фатигу?

— Я фатиговался, бѣгалъ для вашего высокоблагородія, иогъ не слышу...

Проѣзжій бросилъ два злотыхъ и ѣхалъ, повторяя: „Знаю я васъ: надуть норовите!“

За *фатигу*, т. е. за труды, говорятъ почти всѣ фактора пообразованнѣе, побойчѣе.

Если взять во вниманіе проценты, которые факторъ получаетъ отъ купцовъ за проданный товаръ, да проценты, которые онъ наложитъ самъ на проѣзжающаго, да деньги за *фатигу*, товаръ долженъ обойтись покупателю дорого, что иногда и бываетъ; но при всемъ томъ, факторъ—вещь необходимая въ незнакомомъ городѣ, только надобно слишкомъ довѣрять имъ.

Если вы остановились въ гостинницѣ, не посылайте фактора за лошадьми на станцію: факторъ вѣчно надаетъ (разумѣется на словахъ) страшныхъ взятокъ писарямъ, старостамъ и кому ему вздумается, а безъ этого, говоритъ, не давали лошадей, въ силу выпросилъ самыхъ лучшихъ курьерскихъ, тѣхъ самыхъ, что генералъ-губернатора возятъ. И послѣ этой рѣчи, будьте увѣрены, что вы поѣдете чуть ли не шагомъ. Факторъ на станціи свой человѣкъ.

Военные, возвращаясь изъ Польши, привозятъ тысячи анекдотовъ о факторахъ-евреяхъ; къ несчастію, они болѣе идутъ къ разряду такъ называемыхъ анекдотовъ холостой компаніи и не могутъ быть помѣщены въ моемъ разсказѣ; впрочемъ, въ нихъ разыгрываются варьяціи на одну тему, что жиды—мошенники вообще, а изъ нихъ факторы—въ особенности: за деньги готовы продать отца родного.

Не защищая и не обвиняя никого, я сошлюсь на пословицу: „въ семьѣ не безъ урода“. Если поискать хорошенько, то, я полагаю, можно купить и у насъ, на Апраксиномъ, у русскаго православнаго человѣка сапоги съ подклеенными подошвами, или суконный сюртукъ, для лоску и шелковистости, смазанный конопляным масломъ. „Голь на выдумки хитра“, говоритъ другая пословица. У копѣечнаго промышленника, который, что называется, рожь на обухѣ молотитъ, трудно требовать катоновской честности; а что и еврей, и факторъ могутъ имѣть человѣческія чувства—въ это я вѣрую. Хотите фактовъ, я вамъ разскажу истинную быль.

Помѣщикъ С. спокойно сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, докуривая послѣ обѣда вторую трубку крѣпкаго турецкаго табаку. На дворѣ послышался сильный лай.

— Славная собака, Минерва, сказалъ С., подходя къ растворенному окну:—чудный голосъ! Такъ его, атакуй справа, слѣва!.. Однако, она шалитъ. Тибо, тибо, Минерва!.. говорятъ тебѣ! Ванька! бѣги скорѣе, Минерва разыгралась.

Ванька побѣжалъ на дворъ и самъ баринъ вышелъ въ переднюю; вскорѣ туда пришелъ человѣкъ, блѣдный, встревоженный, съ ящикомъ подъ мышкой и дрожавшимъ голосомъ спросилъ: не угодно ли товаровъ? Это былъ еврей, мелочной разнощикъ. За нимъ слѣдовалъ Ванька, улыбался и, показывая на разорванные брюки еврея, сказалъ:—Пошутила немного Минерва.

— Ничего, починитъ, на мои же денежки починитъ, весело замѣтилъ С. и захохоталъ, но вдругъ съ участіемъ спросилъ:—Э, братецъ, да у тебя кровь видна; не задѣла ли тебя собака, она у меня шутить не любитъ—а?

— Охъ, да, ваша правда, ваше высокоблагородіе! извините, задѣла немного... охъ!

— Ну, такъ что же ты молчишь, болванъ этакой? Покажи сюда!

Еврей поднялъ ногу, на ногѣ виднѣлась страшная рана.

С. въ душѣ былъ добрый человѣкъ, хотя воспитаніе, потомъ кочевая служба, а потомъ полудикое сосѣдство и успѣли огрубить его; часто онъ смѣялся надъ чѣмъ-нибудь потому, что всѣ смѣялись, потому что онъ сознавалъ грубостью, нарушеніемъ приличія не смѣяться въ общемъ хорѣ, а между тѣмъ душа его ныла и болѣла отъ этого смѣха. У самыхъ дикарей бываютъ свои условныя приличія.

Увидѣвъ рану, С. ругнулъ раза два еврея, подралъ ласково Минерву за ухо, приговаривая: „видишь, бестія, какихъ штукъ ты надѣлала!“ и самъ принялся перевязывать рану, несмотря на сопротивленіе еврея, безпрестанно повторявшаго: „можно ли, ваше высокородіе, ваше высокоблагородіе! на что это похоже, ваше превосходительство! ваше ли это дѣло возиться около меня, бѣднаго, вашими благородными ручками!“

— Молчи, дуракъ, не ругайся! замѣтилъ С.;—ручка у двери, ручка у чайника, а у меня рука.

— Ой! будто я васъ ругаю; мнѣ и въ голову не приплываетъ такое неподобное, ваше сіятельство! Еслибъ вы мнѣ не помогли, я думалъ бы, что вы шутите, забавляетесь, что мнѣ снится...

— А можетъ, и снится.

— А можетъ.

И еврей протиралъ глаза, щипалъ себя и повторялъ: „нѣтъ, не снится, а не вѣрится чтобъ такая знаменитая особа, такое богатое лицо перевязывало мнѣ ногу!.. Ой! да какъ же болитъ она, скверная нога!..“

С. перевязалъ ногу еврею, приказалъ пріютить его въ людской, а его пѣгую кобылу поставить на конюшню, и держалъ у себя недѣли двѣ, пока нога не зажила совершенно. Тутъ, между прочимъ, была и

своя цѣль: С., отъ скуки, раза два въ день пересматривалъ коробокъ еврея и угощалъ этимъ зрѣлищемъ своихъ гостей-сосѣдей, которые съ удовольствіемъ и удивленіемъ, достойнымъ дикарей Тихаго океана, перебирали, перещупывали и перенюхивали все: янтарное мыло, бусы, карманный компасъ, амбре, румяна, сережки, тесемочки, перочинные ножики, складныя зеркала, курительныя бумажки, измѣряющія темпераментъ и т. п. мелочи, которыми былъ набитъ коробокъ бѣднаго еврея. Если въ числѣ гостей бывали дамы, особливо мужъ съ женою, то часто, по выраженію С., на *щекотливые товары* сыпались разныя болѣе или менѣе острыя, колкія и тяжелыя замѣчанія.

Наконецъ, еврей выздоровѣлъ совершенно, и С. отпустилъ его, накупивъ рублей на двадцать всякой дряни, особливо бумажекъ для измѣренія темперамента, которыя, говорилъ, станетъ дарить всѣмъ офицерамъ, квартирующимъ въ ихъ уѣздѣ.

Еврей, на прощанье кланялся въ ноги, плакалъ, говорилъ, что вѣкъ не забудетъ С.

— Ладно, ладно. Знаю я васъ,—сказалъ С.

—. Плачетъ отъ горя, что ѣдетъ съ даровaго хлѣба-соли, замѣтилъ какой-то сосѣдъ, бывшій въ это время въ гостяхъ у С. и захохоталъ.

— А что ты думаешь, вѣдь оно можетъ быть. Чортъ возьми! мнѣ и не пришло это въ голову.

И С. захохоталъ еще сильнѣе своего сосѣда.

Еврей выѣхалъ за село, еще разъ оглянулся на господскій домъ, снялъ шапку, и поѣхалъ своей дорогой.

Лѣтомъ, спустя годъ, два, можетъ быть и три послѣ этого происшествія, въ заставу города Кіева въѣзжала карета, а за каретой повозка, нагруженная высоко и стромко; на верху поклажи сидѣла горничная въ ситцевомъ платьѣ. Карета и за нею повозка ѣхали тихимъ шагомъ, словно въ раздумьи; это, можетъ быть, происходило и отъ усталости лошадей, и отъ тяжести экипажей, а можетъ быть, они мечтали, изъ подражанія своему хозяину, который сильно призадумался, въѣзжая въ первый разъ въ жизни въ незнакомый городъ.

Гдѣ лучшая квартира? гдѣ лучше что купить и не быть надутымъ? гдѣ то? гдѣ другое, гдѣ третье?—вотъ какіе вопросы занимали мысли С., (это былъ онъ) давно уже ни о чемъ недумавшаго. Крупный потъ выступилъ на лбу добраго человѣка отъ этихъ усилій.

— Вотъ уже мы, благодаря Всевышняго, въ городѣ! Гдѣ же мы остановимся? спросила С. его жена.

— Боже мой! вскричалъ С. голосомъ отчаянія:—дай мнѣ, матушка, сообразить!.. просто голова идетъ кругомъ... Ванька! спроси, братецъ, нѣтъ ли тутъ квартиры, да смотри не заберись куда-нибудь въ домъ губернатора — надѣлаешь непріятностей!... Здѣсь городъ, спроси стороной, этакъ, повѣжливѣй, нельзя ли дескать?.. лошади, молъ, уставши... Да, нѣтъ переврешь, бездѣльникъ. Выпусти-ка меня, я самъ лучше справлюсь. И толстое лицо С. явилось, какъ въ рамкахъ, въ окнѣ кареты...

— Ваше высокоблагородіе, вамъ нужно квартиры?

— Ну, да; а ты отчего знаешь?

— Какъ же мнѣ не знать? когда люди стоятъ середи улицы и спрашиваютъ квартиры, значитъ, имъ нужна квартира. Да и васъ я знаю, ваше сіятельство, я вамъ услужу...

— Ба-ба!.. ты, кажется, бывалъ у меня съ товарами?

— Какъ же; вѣкъ не забуду! ваша собака со мной пошалила—вѣкъ не забуду вашихъ милостей.

— Ага! помню, помню. Ну, веди же меня поскорѣй, страхъ отдохнуть хочется; всѣ бока болятъ отъ дороги. Вотъ, ей-богу, для жены только поѣхалъ; какъ захотѣлось, хоть самъ вези! Ну, слава Богу! нашелъ знакомаго человѣка. Веди, братецъ, скорѣе: да смотри, не надуй по старой памяти.

Еврей какъ-то странно замоталъ головой и въ припрыжку побѣжалъ по улицѣ; за нимъ, переваливаясь, покатилась карета, за каретой повозка, и все скоро скрылось въ широкихъ воротахъ красиваго, свѣтлаго дома.

Цѣлый день бѣгалъ еврей по городу, покупая то для С., то для его жены, то для челяди и лошадей, и поздно, часу въ двѣнадцатомъ, С. сказалъ ему: — Ступай, братецъ, спать. Что ты ко мнѣ привязался, мнѣ и мои крѣпостные такъ не служатъ. Что тебѣ за труды?

— Развѣ вы ѣдете сегодня? развѣ вамъ завтра ничего и не понадобится?

— Правда, правда: безъ тебя мнѣ плохо будетъ. Приходи завтра, а ужъ я не постою.

Назавтра С., по привычкѣ, всталъ чуть-свѣтъ и вышелъ на крыльцо; на крыльцѣ лежитъ, свернувшись въ комокъ, не то человѣкъ, не то какое животное. С. толкнулъ ногой и спросилъ:—Что за чортъ?

— Это я, отвѣчалъ, вспрыгнувъ на ноги, еврей.

— Ты что тутъ дѣлаешь?

— Сплю. Здѣсь городъ большой; вы еще ничего не знаете, чтобы васъ ночью не обидѣли; здѣсь народъ деньги любитъ.

— Спасибо! я думалъ, ты домой пойдешь.

— Зачѣмъ мнѣ домой? пока вы въ городѣ—я вашъ.

И опять весь день бѣгалъ факторъ по городу, а вечеромъ улегся на крыльцѣ. Такъ прошла цѣлая недѣля: еврей не только бѣгалъ по городу, но даже въ лодкѣ съѣздилъ верстъ за 25 на межигорскую фабрику и привезъ для С. фаянсовую посуду. Настала пора ѣхать.

— Что тебѣ за труды? спросилъ фактора С.

— Ничего.

— Какъ ничего? Вѣдь ты для меня бѣгалъ, покупалъ...

— За товары, что вы купили, мнѣ заплатили купцы, а за бѣганье я ничего не возьму—это моя должность.

С. не соглашался; онъ не хотѣлъ быть обязаннымъ еврею; еврей не хотѣлъ брать деньги; наконецъ, С. насильно бросилъ ему 25 рублевую ассигнацію. Слезы полились изъ глазъ еврея, и онъ почти простоналъ: „Ваше высокородіе, не наказывайте меня! не обижайте меня!..“

— Ты сумасшедшій!

— Нѣтъ, я не сумасшедшій. Никогда я не забуду, какъ вы меня кормили, Богъ знаетъ за что, хлѣбомъ; какъ вы перевязали мнѣ рану сами, своими руками; мнѣ изъ нашихъ никто вѣрить не хотѣлъ. Я просилъ Бога, чтобъ Онъ помогъ отблагодарить васъ; Богъ услышалъ мои молитвы: мнѣ на душѣ было легко служить вамъ, а вы хотите заплатить мнѣ! Мнѣ другой и третій заплатитъ. Не платите, я не возьму ихъ, вашихъ денегъ, и вы разсердитесь... Не обижайте меня, ваше сіятельство! пускай у меня будетъ на душѣ легко!..

— Экой сумасшедшій!.. Чтобъ показать тебѣ, что не нуждаюсь, какъ благородный человѣкъ, въ твоихъ деньгахъ, я ихъ отдамъ.—Эй, старуха! возьми себѣ.

С. отдалъ ассигнацію какой-то проходящей салопницѣ и поѣхалъ въ уѣздъ разсказывать о сумасшедшемъ жидкѣ-факторѣ.

Салопница пошла въ кабакъ.

Еврей съ невыразимой улыбкой глядѣлъ въ слѣдъ уѣзжавшему экипажу.

1846 г.

Провинціалъ въ Петербургѣ.

ФИЗІОЛОГИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.

Посмотрите на Невскій проспектъ; видите тамъ человѣка, идущаго тихо, важно, съ чувствомъ своего достоинства? у него цвѣтъ лица красный, свѣжій, здоровый. Смотрите, съ какимъ участіемъ разсматриваетъ онъ вывѣски и далеко провожаетъ глазами всякаго лакея въ красной ливреѣ; подойдите смѣло къ этому человѣку съ вопросомъ: давно изволили пріѣхать?

Это провинціалъ; его легко узнать между десятками тысячъ петербуржцевъ: онъ носитъ на себѣ рѣзкіе отличительные признаки.

„Но что такое провинціалъ? спросятъ меня многіе, иные хладнокровно, а иные, можетъ быть, тономъ рѣзкимъ, громовымъ, чрезвычайно идущимъ къ нѣкоторымъ натурамъ, тономъ, какого, дай Богъ, ни мнѣ, ни вамъ никогда не слышать.

— Провинціалъ—человѣкъ, живущій въ провинціи.

„Но многіе, живущіе въ провинціи, жили прежде въ столицѣ; какіе они провинціалы?“

— Пока жили они въ столицѣ, никто ихъ не называлъ провинціалами, а когда поселились въ провинціи, прожили тамъ годъ-другой, получили признаки провинціализма, то стали провинціалами. Опять пріѣдутъ въ столицу, освоятся со свѣтомъ, потеряютъ признаки—и ихъ никто не назоветъ провинціалами, не рискуя попасть въ дураки. Человѣкъ со смысломъ даетъ эпитетъ вещи, основываясь на ея сущности.

И морякъ, и кавалеристъ, и статскій, и ученый, живя въ Петербургѣ, нечувствительно сливаются съ общей жизнью, проникаются безотчетно одной общей идеей и, сами не зная, становятся членомъ многочисленной семьи столичныхъ жителей; такъ точно тѣ же люди въ провинціи мало-помалу дѣлаются провинціалами. Впрочемъ, это вопросъ обширный; я поговорю о немъ въ другой разъ, описывая *помѣщика*.

Провинціалъ, пріѣхавшій въ столицу, торопится жить; онъ рыскаетъ безъ устали изъ одного конца города въ другой, изъ улицы въ улицы, и часто въ день осмотритъ болѣе, нежели столичный житель во всю жизнь, промаясь на свѣтѣ полстолѣтія. Онъ вѣруетъ въ непогрѣшимость газетъ и журналовъ, готовъ мерзнуть на морозѣ два часа, чтобъ увидѣть извѣстнаго литератора или какую-нибудь другую знаменитость, о которой онъ читаетъ въ газетахъ, тогда какъ истинный петербуржецъ не сдѣлаетъ для этого двухъ шаговъ и холодно скажетъ: „есть чему удивляться! Я самъ бы написалъ такъ, да нѣтъ времени: занятъ службой“.

Провинціалъ дѣлаетъ свои обзоры болѣе самъ, втихомолку, не очень разглашая объ этомъ; онъ совѣстится своего невѣдѣнія, осматриваетъ съ любопытствомъ дикаря разные удивительные предметы, и послѣ въ бесѣдѣ, громко говоритъ о нихъ, надѣясь поразить слушателей своей образованностью, говоря о румянцевскомъ музеѣ или о золотомъ самородкѣ горнаго института и тому подобномъ, и очень удивляется, если петербуржцы не замѣчаютъ его умной рѣчи и продолжаетъ говорить о голландскихъ вафляхъ, ученыхъ блохахъ и народныхъ зрѣлищахъ. Онъ, въ простотѣ души, не понимаетъ, что его собесѣдники сами никогда не видали ни музея, ни самородка.

Провинціалъ набожно подаетъ мѣдныя деньги всѣмъ салопницамъ на перекрест-

кахъ и, давая двугривенный или четвертакъ несчастной матери, собирающей уже десять лѣтъ на похороны малолѣтняго ребенка, вѣжливо извиняется, что не можетъ дать больше. Впрочемъ, эта особенность прежде всего сглаживается съ провинціала, даже прежде способности спрашивать: чья это карета? или кто это проѣхалъ?

Провинціалъ многое порицаетъ въ столицѣ; со многимъ, видимо, не соглашается. Нельзя и спорить: всякій человѣкъ самолюбивъ.

Я замѣтилъ, что одинъ мой знакомый, глубокій провинціалъ, съ изумленіемъ глядѣлъ въ милютиныхъ лавкахъ на ранеты: его, кажется, заняла кожа этихъ яблокъ, похожая на картофель.

— Вы любите эти яблоки? спросилъ я.

— Да, сказалъ онъ, подозрительно глядя на меня, — они гнилыя; такихъ я не употребляю.

— Самыя свѣжія, первый сортъ, послѣдняго привоза, подхватилъ ловкій приказчикъ:—извольте откушать.

Провинціалъ, немного сконфуженный, взялъ яблоко, будто нехотя, повертѣлъ его въ рукахъ и съѣлъ, безпрестанно повторяя: „дрянь! просто дрянь! у насъ простыя, крестьянскія яблоки гораздо вкуснѣе; того и гляди, подавишься.“ Однако не подавился.

Мѣсяца два прожилъ онъ въ Петербургѣ и всегда, кстати и не кстати, ругалъ ранеты, а уѣзжая, взялъ ихъ съ собой въ деревню цѣлый боченокъ! Чѣмъ объяснить это?

Провинціалъ всегда болѣе или менѣе подозрителенъ; онъ пріѣзжаетъ въ столицу съ убѣжденіемъ, что это хитрый городъ, что тамъ все дипломаты, что всякое слово должно толковать, какъ изреченіе Апокалипсиса, и потому онъ рѣдко приметъ ваши совѣты, думая, что вы человѣкъ себѣ на умѣ и хотите воспользоваться его неопытностью. Напротивъ, онъ довѣряетъ всякой бородѣ на улицѣ, всякому солдату, продающему изъ рукава случайный товаръ. Эти столичные мужики и солдаты очень похожи на всѣхъ провинціальныхъ мужиковъ и солдатъ. Вотъ почему провинціалъ часто является домой съ прогулки, набивъ полные карманы золотыми кольцами и часами, англійскими бритвами и фуляровыми платками, и съ изумленіемъ замѣчаетъ, на досугѣ разсматривая хладнокровно свое пріобрѣтеніе, что часы не идутъ, платокъ весь въ дырочкахъ, кольца день отъ дня темнѣютъ и видимо приближаются цвѣтомъ и блескомъ къ своему первообразу—тульскому самовару; и даже бритва безъ горячей воды шиплетъ и кусаетъ бороду, а въ горячей водѣ рѣшительно не брѣетъ. Все приходится бросить, а между тѣмъ за *все* заплачено мало чѣмъ дешевле настоящей цѣны хорошихъ товаровъ.

Мало зная обычаи столицы, провинціалъ очень остороженъ и, подозрѣвая всѣхъ въ желаніи посмѣяться на его счетъ, часто впадаетъ въ небольшіе промахи, которые, разумѣется, не имѣютъ вліянія на судьбу его, а все-таки бываютъ непріятны. Онъ вообще любитъ пестрые жилеты и яркіе галстухи; не толкуйте ему о простотѣ одежды: онъ повѣритъ лучше вкусу портного, котораго непремѣнно самъ отыщетъ, нежели совѣтамъ петербургскаго пріятеля, и, разумѣется, портной сбудетъ ему весь свой залежалый товаръ.

— Вы будете на вечерѣ у М.? спросилъ меня мой знакомый, недавно пріѣхавшій изъ провинціи.

— Буду.

— И меня пригласили.

— Поѣзжайте.

— Да, можетъ быть, поѣду, а можетъ быть и нѣтъ... и не поѣду... *самъ* еще не знаю, какъ будетъ...

Говоря эти слова, провинціалъ ходилъ по комнатѣ, покашливалъ; видимо, его мучилъ какой-то вопросъ.

— Вамъ вѣрно не хочется надѣвать фрака? спросилъ я.

— Этого-то не будетъ; мнѣ М. товарищъ; для чего я стану наряжаться? я и къ предводителю ѣзжу въ сюртукѣ; вѣдь это не именины.

— Но М. женатъ; у него званый вечеръ.

— Такъ, вы думаете, во фракѣ лучше?...

— Я думаю.

— Отчего же вы на меня такъ смотрите? вы смѣетесь. Хорошъ я буду во фракѣ! Вы хотите, чтобъ всѣ сказали: „вотъ человѣкъ обрадовался случаю напялить фракъ!“

— Вы лучше знаете ваши отношенія съ М.; при томъ вы господинъ вашимъ поступкамъ.

— Это я знаю. До свиданья.

М.—человѣкъ, лѣзущій въ знать; М. обожатель, партизанъ моды и приличій; у М. былъ званый вечеръ, блестящее общество; мой провинціалъ явился къ нему въ сюртукѣ и шароварахъ и, разумѣется, былъ принятъ хозяиномъ очень сухо; обратилъ на себя вниманіе всего общества, вытерпѣлъ какія-то непріятности и былъ очень недоволенъ петербургскимъ баломъ.

Недѣлю спустя, нѣсколько человѣкъ молодыхъ людей собралось кататься съ горъ въ Екатерингофѣ; гляжу, подходитъ ко мнѣ мой провинціалъ.

— А вы здѣсь?!

— Какъ же; вотъ Петръ Петровичъ пригласили.

— Вы же не любите петербургскихъ веселостей.

— Напротивъ, я уже привыкъ и нахожу, что здѣсь очень весело; надо только имѣть тактъ на приличія.

Провинціалъ былъ въ шубѣ.

Послѣ катанья все общество пошло въ вокзалъ, гдѣ былъ приготовленъ обѣдъ. Провинціалъ снялъ шубу и произвелъ большой эффектъ: онъ былъ во фракѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ бѣлыхъ перчаткахъ, завитой, распомаженный!

Но это исключеніе, замѣтятъ мнѣ: этотъ провинціалъ былъ дуракъ! Напротивъ, онъ умнѣе многихъ своихъ сосѣдей, пользовался у себя именемъ умнаго человѣка, а здѣсь—только перехитрилъ. У себя, дома, онъ не поѣхалъ бы кататься съ горъ во фракѣ.

Я былъ у одного молодого моего земляка Николая Ивановича; мы съ нимъ сидѣли у окна и курили сигары; Лотхенъ, или Гретхенъ, или что-то въ этомъ родѣ, бѣлокурая ревельская нѣмочка, большой другъ Николая Ивановича, забѣжавъ мимоходомъ въ квартиру, пѣла, прыгала и, по дружбѣ, шарила по ящикамъ въ бюро Николая Ивановича. Я заглядѣлся на эти шалости, думая о томъ, какъ человѣкъ скоро свыкается со всѣмъ на свѣтѣ! Хозяинъ глядѣлъ въ окно; вдругъ онъ, видимо, встревожился, побѣжалъ въ переднюю и заперъ дверь покрѣпче.

— Это зачѣмъ?

— Сейчасъ прошелъ мимо, по троттуару, мой землякъ провинціалъ, и вѣрно зайдетъ ко мнѣ.

— А вамъ не хочется, чтобъ онъ видѣлъ вашего ревельскаго друга?

— Именно. Вѣдь эти провинціалы съ своимъ взглядомъ... еще, пожалуй, напишетъ какую сплетню, потревожитъ моихъ стариковъ.

Николай Ивановичъ еще договаривалъ свою рѣчь, какъ уже зазвенѣлъ колокольчикъ! немного погодя, зазвонили сильнѣе, тамъ еще сильнѣе....

— Устанешь, пріятель, и пойдешь назадъ,— хладнокровно замѣтилъ Николай Ивановичъ, раскуривая потухшую сигару.

Но пріятель не уставалъ; позвонивъ минутъ пять, онъ началъ колотить въ дверь и дергать замокъ.

— Этотъ медвѣдь и дверь разломитъ; надобно вступить въ переговоры! И Николай Ивановичъ, подойдя къ двери, закричалъ грозно: — Какой тамъ оселъ стучитъ въ дверь?

— Я, отвѣчалъ голосъ за дверью...

— Я! этого мало: всякій дуракъ называется я! Кто ты? зачѣмъ ломишься?

— Не ругайтесь, Николай Ивановичъ, я вѣдь, человѣкъ благородный...

— А! извините? Кто же вы?

— Развѣ не узнаете меня по голосу? Я, вѣдь, N.N.

— Ахъ, Боже мой! извините меня великодушно! вы нашъ безцѣннѣйшій N. N. Какъ я радъ, что имѣю удовольствіе васъ слышать; видѣть было бы еще пріятнѣе, но—увы! судьба лишаетъ меня этого.

— Отворите-ка поскорѣе, здѣсь, на лѣстницѣ, очень холодно.

— Не могу, клянусь вамъ, не могу; дорого далъ бы за удовольствіе пожать вамъ руку, братски обнять васъ, но не могу, развѣ мысленно.

— Развѣ у васъ нѣтъ рукъ?

— Не въ томъ дѣло. Я послѣ обѣда легъ опать и отпустилъ моего Тришку въ гости; онъ заперъ дверь снаружи, взялъ ключъ и ушелъ; и вотъ я теперь сижу, словно въ крѣпости. До свиданья!

— Что же вы будете дѣлать? вѣдь это предосадно!

— Истинно такъ! Я лягу, съ досады, спать.—Прощайте! Извините меня!...

— Помилуйте, это такой случай, ворчалъ провинціалъ, удаляясь и хлопая калошами по лѣстницѣ.

Вечеромъ провинціалъ зашелъ ко мнѣ.

— Чѣмъ болѣе я смотрю на вашу столицу, тѣмъ болѣе вижу здѣсь нелѣпостей, началъ онъ сразу, входя въ комнату. Представьте, я сегодня былъ у почтеннѣйшаго Николая Ивановича; человѣкъ онъ предостойный, будетъ современемъ министромъ, если послужитъ, и что же? сидитъ себѣ подъ арестомъ, словно преступникъ: „пошелъ, говоритъ, лакей и заперъ!...“ Нѣтъ, у насъ ужъ, мое почтеніе, слуга не осмѣлился бы запереть среди бѣлаго дня своего барина; это ужъ слишкомъ по-французски.

— Да полно, такъ ли?

— Я самъ говорилъ съ Николаемъ Ивановичемъ. Чуть не плачетъ человѣкъ. Я, говоритъ, душевно васъ обнимаю, мысленно жму вамъ руку, да—и прощайте!... Я знаю, онъ дорого бы далъ за свиданье со мной; я кое-что могу сообщить ему о его домашнихъ, и о Еленѣ Марковнѣ, и о многомъ.

— Развѣ вы еще не видались!...

— Нѣтъ; я разъ шесть былъ у Николая Ивановича, да все онъ меня порядкомъ не разспрашивалъ, а я самъ не рѣшался начинать, чтобъ онъ не подумалъ Богъ знаетъ чего... а сегодня онъ одинъ, никто не мѣшалъ бы, въ волю бы наговорились. Такъ подите же!...

Послѣ этого провинціалъ цѣлый вечеръ

сильно ругалъ Петербургъ за его грубость и *лицемѣріе*. Здѣсь, говорилъ онъ, вавилонское смѣшеніе; мужики расхаживаютъ преважно по троттуарамъ и ни передъ кѣмъ шапки не ломаютъ, а сапожники ѣздятъ въ каретахъ!...

— Какъ это у васъ странно, говорила истому петербуржцу одна провинціальная барыня: — здѣсь какая-нибудь горничная или швея наряжается лучше дворянки!...

— Да вамъ что изъ этого?

— Какъ что? Къ ней, пожалуй, такъ кто-нибудь и къ ручкѣ подойдетъ!...

— Почему не такъ, если у нея ручка хорошенькая?

Барыня съ ужасомъ взглянула на петербуржца и молча отвернулась. Съ этой минуты у него стало однимъ врагомъ больше.

Отъ образа жизни провинціалъ-*помѣщикъ* дѣлается немного грубъ съ людьми, непринадлежащими къ его кастѣ; онъ не всегда рѣшится подать руку артисту или купцу; а если это и сдѣлаетъ, то съ особеннымъ видомъ снисхожденія и важности, и въ то же время кланяется почти со страхомъ чиновнику; подозрѣвая во всякомъ порядочно одѣтомъ человѣкѣ чиновника, онъ говоритъ съ нимъ очень вѣжливо; но чуть узнаетъ, что это купецъ или ремесленникъ, то будь онъ одѣтъ какъ ценди, будь онъ русскій или иностранецъ, тотчасъ перемѣняетъ тонъ, говоритъ ему *ты*, иронически называетъ его *любезный пріятель*, или *братецъ*, или *голубчикъ*, и откровенно спрашиваетъ: „да не надуешь ли ты меня!“ или— „да не врешь ли ты?“ Вѣжливый французъ-артистъ или гордый нѣмецъ-ремесленникъ сначала съ ужасомъ слушаетъ такія непривычныя для нихъ рѣчи; но какъ люди цивилизованные, скоро свыкаются съ ними и, снисходя къ грубостямъ провинціала, бываютъ очень снисходительны къ его карману.

Одинъ молодой провинціалъ былъ за городомъ на пикникѣ въ очень порядочномъ обществѣ. Пикникъ шелъ своимъ порядкомъ, какъ и всѣ пикники: пили чай, танцовали, ѣли мороженое, поужинали и начали разъѣзжаться. Тутъ приключилась провинціалу тяжкая обида Вотъ что говорилъ онъ въ Петербургѣ своимъ знакомымъ, пріѣхавъ съ пикника: „Представьте, какую со мной хотѣли сыграть штуку— это изъ рукъ вонъ! У какого-то генерала заболѣлъ кучеръ; вѣрно, пьянъ напился мошенникъ; у васъ народъ все пребалованный!... Вотъ знакомые и начали размѣщать все семейство генерала по своимъ экипажамъ. Почему и не такъ: семейство заслуженное... вдругъ подходитъ ко мнѣ Иванъ Ивановичъ и спрашиваетъ: „Вы на тройкѣ пріѣхали?“ Я говорю: „На тройкѣ“.— „Съ кѣмъ?“—„Одинъ“.—„И прекрасно! говоритъ, я вамъ дамъ попутчика“. Я думалъ, что онъ мнѣ предложитъ какого-нибудь офицера, и говорю: „Очень радъ. А кто же попутчикъ“—„Гертруда Карловна“.—„Кто эта Гертруда Карловна?“—„Гувернантка его превосходительства“.— „Нѣтъ, извините“, отвѣчалъ я уже другимъ голосомъ, потому что понялъ эти штуки: „я съ незнакомыми дѣвушками не ѣзжу, да признаюсь, и не ожидалъ отъ васъ, Иванъ Ивановичъ, такого предложенія!“ Онъ, видимо, смѣшался, посмотрѣлъ на меня въ оба глаза и что-то забормоталъ, а я скорѣе за шубу да на сани, и давай уходить! Къ вамъ обращаюсь, господа! Ну, не дерзость ли это: предложить молодому человѣку ѣхать съ незнакомой дѣвушкой? Онъ, дескать, провинціалъ—посмѣемся! Нѣтъ, я, благодаря Бога, не почтальонъ. Да и что за удовольствіе ѣхать съ какой-нибудь гувернанткой? Кто она? что она? Я думаю, и самъ ея *господинъ* не знаетъ; а я дорожу своимъ именемъ; я человѣкъ молодой и мнѣ нужно сдѣлать карьеру!...

Гертруда Карловна молодая дѣвушка, очень недурная и хорошо образованная. Послѣ этого, я въ свою очередь обращаюсь къ вамъ, добрые петербуржцы— мужскаго пола отъ 10 до 70-тн лѣтъ включительно— не стоитъ ли этого человѣка назвать провинціаломъ?

Почти всѣ провинціалы рѣшительно не признаютъ себя провинціалами; они, наперекоръ здравому смыслу, говорятъ: „какіе мы провинціалы?!“ и очень сердятся, если кто станетъ имъ въ этомъ противорѣчить. Я зналъ въ провинціи двухъ дамъ задушевныхъ пріятельницъ; одна изъ нихъ уѣхала въ столицу и, на бѣду, въ письмѣ къ другой неосторожно написала: *что новаго у васъ, въ провинціи?* Эта фраза разорвала навѣки крѣпкую связь многолѣтней дружбы между друзьями. Провинціалка возила письмо своей пріятельницы, по всѣмъ сосѣдямъ и, съ ужасомъ показывая его, патетически *восклицала*: „Посмотрите! видите? вотъ насмѣшка! Могла ли я ожидать этого отъ нея? а я ее, въ простотѣ души, считала другомъ! И по-дѣломъ мнѣ: не будь слишкомъ добра и довѣрчива!“

— Ваша правда; вы очень добры, замѣчали сосѣди:—а насчетъ вашей пріятельницы можно сказать: сколько волка не корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ. Пусть насъ обижаетъ; Богъ заплатитъ.

— Заплатитъ, заплатитъ! кричала добрая провинціалка, и дѣтямъ ея заплатитъ; дастъ Богъ, поживемъ—увидимъ!... а я ее знать не хочу!... И точно, провинціалка

перестала отвѣчать на письма своей пріятельницы, и, гдѣ могла, чернила ее, сколько силъ хватало!...

Провинціалы любятъ писать при *оказіи*. Иной даже говоритъ въ оправданіе: „Извини, любезный другъ, два года собирался писать къ тебѣ, да, видитъ Богъ, не было оказіи", а оба друга жили въ городахъ, черезъ которые ходила почта! Еще разсказываютъ объ одномъ человѣкѣ, который началъ свое письмо словами: „Спѣшу не пропустить оказіи и пишу къ тебѣ, любезный другъ" и проч., а письмо отправилъ по почтѣ. Вѣрно, для него и почта была въ обширномъ смыслѣ—оказія.

Иной въ деревнѣ заплатитъ за собаку сто рублей серебромъ, проиграетъ въ карты двѣсти, а жалѣетъ гривенника за письмо на почту. „Подожду, говоритъ онъ, авось, будетъ оказія". Благодаря этому направленію, пріѣзжій провинціалъ привозитъ въ Петербургъ кучу писемъ и посылокъ, съ аккуратностью трезваго почтальона развозитъ ихъ по адресу, звонитъ у подъѣздовъ, ругается съ дворниками и, усталый, измученный, выводитъ заключеніе, что Петербургъ очень великъ, извозчики очень дороги, дворники очень грубы, даже часто забываютъ, *съ кѣмъ* говорятъ; а прочіе люди чрезвычайно странны, рѣдко бываютъ дома и вовсе неохочи знакомиться съ подателями писемъ, хоть будь это землякъ!

Одинъ мелкій чиновникъ пріѣхалъ изъ провинціи въ Петербургъ искать себѣ мѣсто, привезъ мнѣ, какъ водится, письмо отъ моего знакомаго и исчезъ. Чрезъ нѣсколько дней онъ явился ко мнѣ.

— Какъ идутъ дѣла ваши!

— Плохо!

— Нашли мѣсто?

— Нѣтъ, пока обѣщаютъ.

— И то хорошо.

— Спасибо и за это; а тутъ такая скука безъ дѣла, что хоть въ Неву броситься!

— Вы читали бы.

— Охъ! пробовалъ и читать, вчера цѣлый день читалъ съ утра до вечера, да я вамъ скажу: сильно прискучило, все одно и то же!

— Что же вы читали?

— Свои бумаги.

— Какія?

— Указъ объ отставкѣ да аттестатъ, но болѣе указъ объ отставкѣ: это занимательнѣе.

И этотъ человѣкъ не глупъ по-своему; онъ у себя, въ провинціи, занималъ порядочное мѣсто, выслужилъ чинъ титулярнаго совѣтника и считался человѣкомъ дѣловымъ. Виноватъ ли онъ, что ему во всю жизнь читать было некогда? а если бы и захотѣлось читать и нашлось время, то гдѣ достать книгъ? Въ уѣздныхъ городахъ библіотекъ нѣтъ, книги считаются роскошью, а бѣдному чиновнику не до роскоши! Скучно—читай послужной списокъ... между тѣмъ здѣсь, въ Петербургѣ, подобное явленіе необъятно-нелѣпо, дико до невѣроятія, а правда.

Первый день по пріѣздѣ въ Петербургъ провинціалъ бываетъ совершенно оглушенъ, уничтоженъ шумомъ, движеньемъ и громадностью города; на другой день шумъ ему прискучаетъ; провинціалъ развозитъ письма, разочаровывается, находитъ многіе обычаи и самый порядокъ жизни совершенно чуждыми себѣ; ему дѣлается скучно; въ эти минуту пишутся незабвенныя письма, исполненныя жалобъ и проклятій на столицу, письма, разогрѣвающія и питающія въ провинціалахъ самолюбіе, письма, изъ которыхъ можно имѣть о Петербургѣ такое понятіе, какъ о великолѣпномъ балѣ отъ человѣка, который угорѣлъ при входѣ въ переднюю и пролежалъ въ дальнемъ кабинетѣ цѣлый вечеръ.

Вотъ, для образца, записка, писанная однимъ молодымъ провинціаломъ къ двумъ землякамъ, жившимъ вмѣстѣ; она написана, не то на третій, не то на четвертый день по пріѣздѣ въ Петербургъ:

„Бѣда, господа! скучаю!... Не желаетъ ли кто куда-нибудь поѣхать: или въ театръ, или... или куда угодно—мнѣ все равно, или хоть ко мнѣ бы кто заѣхалъ? Я думаю, у васъ половина разбрелась; не знаю, дома ли вы? не поѣхалъ ли кто куда?... не дайте утонуть въ скукѣ!..."

NN

Не знаю, скоро ли утѣшился авторъ этой записки, но большая часть молодыхъ провинціаловъ, особливо имѣющихъ деньги, легко избавляется отъ подобнаго состоянія: они *куда-нибудь* ѣдутъ, начинаютъ лечиться вафлями, растегаями и тому подобными снадобьями, и съ сожалѣніемъ оставляютъ столицу, привозя съ собой на родину, какъ побѣдные трофеи надъ цивилизаціей, какую-нибудь легкую простуду или сильную любовь къ оперѣ вообще и извѣстной примадонѣ въ особенности, машинки для надѣванья перчатокъ, гильотины для сигаръ, спиртовыя лампы, ручныя пожарныя трубы и фразу: *у насъ, въ Петербургѣ*. Чѣмъ умнѣе провинціалъ, тѣмъ скорѣе перестаетъ онъ повторять эту фразу; но—увы! многіе говорятъ ее до гроба!...

Если провинціалъ живалъ прежде въ Петербургѣ и, спустя много лѣтъ, опять навѣститъ его—странныя чувства волнуютъ провинціала: онъ радостно въѣзжаетъ въ заставу, онъ видитъ городъ, гдѣ про-

велъ свою молодость, лучшую часть жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ грусть тѣснится въ его душу, грусть о быломъ, невозвратимомъ! „И что такое я?“ думаетъ провинціалъ, если онъ одержимъ хоть немного честолюбіемъ: „у меня и тысяча душъ, и лошади добрыя, и кареты выписныя, да что я?— поручикъ въ отставкѣ!... а мои товарищи теперь генералы, давно уже генералы, и въ крестахъ, и въ звѣздахъ, и въ почетѣ... Глупо я убилъ свою жизнь!... Дѣтей куча, жена старуха... Чортъ знаетъ, какъ глупо! Человѣкъ никогда недоволенъ ничѣмъ.

Вотъ, провинціалъ въ Петербургѣ встрѣчаетъ на улицѣ человѣка въ форменномъ фракѣ, со звѣздой на груди.

— Стой, Ѳедя! кричитъ провинціалъ:— узнаешь ли меня?

— Извините, не имѣю чести, отвѣчаетъ смущенный звѣздоносецъ.

— Помилуй, да я бы тебя и въ водѣ узналъ! Помнишь стараго товарища, Ваську Подождаева?

— Ахъ, да! извините, теперь немного припоминаю. Я такъ занятъ, знаете.... столица, извините, за особенное удовольствіе поставлю имѣть честь сказать вамъ мое истинное почтеніе.

И онъ ловко скользнулъ въ толпу.

— Гриша! здорово! закричалъ опять провинціалъ, протягивая руку другому мимоидущему генералу.

— Неужели Вася Подождаевъ?

— Ну, вотъ и видать человѣка, сейчасъ узналъ, хоть и превосходительный; а Ѳедя сталъ подъячимъ и совсѣмъ испортился... просто дрянь!... просто дрянь!... Ну, какъ живешь?

— Слава Богу.

— Заѣзжай ко мнѣ, пожалуйста, поговоримъ о старинѣ...

— Хорошо, я не прочь отъ старыхъ товарищей, куда же?

— Я, братецъ, провинціалъ, стараюсь жить поаккуратнѣе: пріѣзжай ко мнѣ въ гостинницу Вальпарайзо, въ 1149 линіи Васильевскаго острова, въ четвертомъ этажѣ, ходъ со двора. А ты гдѣ живешь?

Генералъ далъ свой адресъ, обѣщалъ побывать и сказалъ, что онъ всегда дома. Несмотря на это, провинціалъ, двадцать разъ въ разныя времена дня и ночи навѣщалъ его превосходительство и никогда не заставалъ дома; генералъ тоже не былъ у него. „И этотъ не лучше Ѳеди“ подумалъ провинціалъ. А по-моему, самъ виноватъ: остановись онъ у Демута, въ бельэтажѣ—да пригласи къ обѣду, генералъ вѣрно пріѣхалъ бы. Человѣку, занятому важной службой, не приходится ѣздить въ 1149 линію и лазить на четвертый этажъ, толковать о старинѣ.

Нашъ провинціалъ навѣстилъ трактиры и кондиторскія; тамъ все незнакомыя лица, и прислуга, и посѣтители новые; пошелъ онъ искать извѣстныхъ красавицъ своего времени, и тѣхъ нѣтъ; никто не знаетъ, гдѣ онѣ? что съ ними? нашелъ одну—гадкую старуху!... Грустно стало Васѣ, перезаложилъ поскорѣе имѣніе и уѣхалъ въ провинцію, говоря всѣмъ своимъ сосѣдямъ: „измѣнился городъ, совершенно измѣнился, а была когда-то столица!“

ХВАСТУНЪ.

ФИЗІОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Въ обществѣ часто встрѣчаются люди, которыхъ почти всегда несправедливо смѣшиваютъ со лгунами: это—хвастуны, хотя хвастунъ недѣлимое совершенно другаго рода и часто не имѣетъ ничего общаго со лгуномъ. Черный лгунъ, умышленно марающій доброе имя своего ближняго самыми нелѣпыми разсказами, развѣ хвастунъ? И, напротивъ, добрая душа, хвастающая въ трескучій морозъ новымъ сюртукомъ, лихо облегающимъ стройную талію, хвастающая въ ущербъ собственному своему здоровью —развѣ лгунъ? Наши предки славяне постоянно отличались твердостью характера: свято сохраняли договоры, горой стояли за правду и, не утаю правды, любили прихвастнуть. „Кто противъ Бога и великаго Новагорода?“ говорили они въ древности, говорили не шутя; а теперь, глядя на Новгородъ, считаешь эту фразу чистою шуткой. Прислушайтесь къ нашей старинѣ, разберите сказки временъ Владиміра, приглядитесь къ богатырямъ, которые не мечомъ, а осью телѣжною истребляютъ рать могучую: махнетъ богатырь направо—улица, налѣво—переулокъ. Сѣлъ обѣдать, богатырь, непремѣнно съѣдаетъ быка или барана, выпиваетъ чанъ зелена вина да, пожалуй, еще разобьетъ и чанъ объ землю: здѣсь видно преимущество физической силы, и этой силою сначала хвастаетъ славянинъ. Завелись у него деньги, сталъ онъ торговать, разбогатѣлъ—и уже забыта сила, уже онъ *хвастаетъ* деньгами (а все-таки хвастаетъ), уже похваляется богатый торговецъ купить весь міръ, пожалуй, съ луною и звѣздами. Такъ хвастали предки наши; посмотримъ, далеко ли мы отстали отъ нихъ?

Прошли вѣка, *непобѣдимый* Новгородъ развалился, разсыпался, погрязъ въ болотахъ; его стѣны растрескались, обвалились; по нимъ преспокойно прогуливается коза; на площади бабы продаютъ гнилыя яблоки; два мужика тузятъ другъ друга, по случаю какого-то торговаго недоразумѣнія, третій стоитъ, препокойно заложивъ руки за поясъ, и кричитъ: *знай нашихъ!*... Мужикъ, прибившій противника, изъ одного села съ зрителемъ, и зритель хвастаетъ удачей земляка.

По Гороховой улицѣ, въ столичномъ городѣ Петербургѣ, идетъ безъ шапки мальчикъ лѣтъ пятнадцати; судя по пестрядинному халату, по изорваннымъ сапогамъ и совершенному отсутствію жилета, галстуха и прочаго, вы узнаете въ немъ *халатника*, т. е. мастероваго, который учится ремеслу по контракту на хозяйской одеждѣ. Глядя на нетвердую походку халатника и мутные глаза его, вы съ ужасомъ убѣдитесь, что несчастный пьянъ. Онъ идетъ, толкая встрѣчныхъ, ругается направо и налѣво и запѣваетъ какую-то нестройную пѣсню. Вы полны негодованія, у васъ въ головѣ созидается цѣлое разсужденіе о порчѣ нравовъ столицы вообще и рабочаго класса въ особенности; но успокойтесь,— мальчикъ только *хвастаетъ*. Онъ относилъ къ *давальцу* пару сапогъ; *давалецъ*—добрый человѣкъ: онъ далъ ему выпить стаканъ чернаго пива, самаго безгрѣшнаго, которымъ можно поить безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій голубей и канареекъ; халатнику лежала дорога по троттуару, мимо мастерской мѣдника, здѣсь были знакомые мальчишки—какъ не прихвастнуть?!

Чего добраго, и сторонніе люди подумаютъ, что онъ большой, взрослый человѣкъ, коли ходитъ пьянъ по улицамъ, да и деньги, значитъ, у него есть; на что-нп-

будь, дескать, нарѣзался—и мальчикъ, хвастая, корчитъ пьянаго.

Вотъ изъ-за угла, словно изъ земли, выросъ будочникъ; сѣрая рука его быстро вытянулась и схватила за шею халатника, и вслѣдъ загремѣли рѣчи:—Ахъ ты, шемотанъ этакой, волдырь! пойдемъ-ка со мной!

— Пустите, дядюшка, пищитъ мальчикъ совершенно трезвымъ голосомъ:—я бѣгу къ хозяину, забранится...

— Дамъ я тебѣ, забранится... пьянствовать на улицахъ... да безпорядки... а нашъ братъ за все-про все въ отвѣтѣ... пошелъ!

— Да ей-богу, дядюшка, я не пьянъ, еще и не ѣлъ сегодня... и пить мнѣ не на что... я хозяйскій человѣкъ, вишь ты, ни одного кармана нѣтъ... и положить ничего некуда!...

Будочникъ видитъ, что мальчикъ точно не пьянъ и что даже у него кармановъ нѣтъ; онъ деретъ его за ухо и пускаетъ, приговаривая: „не шемотаться по улицамъ, коли не пьянъ; не тебѣ, дураку, чай пить въ компаніи; голъ, какъ соколъ, а безпорядки чинишь... Вишь какъ подралъ!... Охъ-охъ! а ты отвѣчай!

Халатникъ, зажавъ ухо ладонью, убѣгаетъ бойкимъ, ровнымъ шагомъ, очень похожимъ на крупную рысь. Два извощика и саечникъ смѣются.

— Что смѣетесь? замѣчаетъ будочникъ, самодовольно и гордо поглядывая кругомъ: на себѣ честь положилъ, а то бы ему вотъ какъ досталось!... и онъ начинаетъ хвастать передъ извощиками.

Хвастуны тѣлесной силой, такъ сказать, хвастуны-богатыри теперь почти перевелись на Руси; ихъ можно отыскать только между низшими слоями общества. Хвастунъ-богатырь почти всегда неграмотенъ или грамотенъ на столько, чтобъ съ грѣхомъ пополамъ прочесть Бову-Королевича. Бова-Королевичъ для нихъ идеалъ. Хвастуны этого рода являются на коинныхъ ярмаркахъ, борются съ лошадьми, поднимаютъ тяжелыя гири и кули, а иногда, въ порывѣ самозабвенія, берутся остановить экипажъ или мельницу, хотя послѣдняя попытка почти никогда имъ даромъ не проходитъ.

Первое мѣсто между многочисленными болѣе образованными хвастунами Россійской имперіи безспорно должны занять хвастуны-охотники. Въ этомъ случаѣ, кажется, болѣе виновата судьба, нежели люди. Тутъ дѣйствуетъ, если хотите, какая-то непонятная сила охоты. Самый основательный, самый солидный человѣкъ, сдѣлавшись охотникомъ, начинаетъ хвастать. Есть практическая аксіома: чѣмъ кто въ чемъ-либо слабѣе, тѣмъ болѣе онъ хвастаетъ. Но здѣсь выходитъ явное противорѣчіе этому общему закону хвастуновъ: здѣсь, чѣмъ искуснѣе, чѣмъ страстнѣе становится въ своемъ занятіи человѣкъ, тѣмъ болѣе хвастаетъ. Ни знаменитая порода, ни высокій чинъ, ни важное мѣсто, ни почтенныя лѣта, ни положеніе въ обществѣ—никто не сдержитъ охотника, если ему представится случай прихвастнуть. Почтенный отецъ семейства, сѣдой дѣдушка и безбородый внучекъ хвастаютъ, словно въ запуски.

Я знаю одного скупаго старика, который давно когда то выигралъ процессъ, разорившій въ конецъ вдову съ пятью-дѣтьми малъ-мала меньше. Этотъ скупецъ, по движенію ли благодарности къ судьбѣ за выигрышъ, или по тайному отголоску совѣсти, только рѣшился пожертвовать въ пользу бѣдныхъ рубль серебра! Рубль серебра для скупца—сумма огромная; и вотъ начали спрашивать старика: „Правда ли, что вы даете бѣднымъ рубль серебра?“

— Совершенная правда, вотъ онъ! и старикъ вынималъ изъ жилетнаго кармана цѣлковый.—Я рѣшился, говорилъ онъ:—изъ своей бѣдной благостыни пожертвовать лепту; пусть не говорятъ обо мнѣ, что я безчувственный; только дамъ съ условіемъ: когда просижу вечерокъ между охотниками и не услышу ни одного хвастливаго слова.

— Ну, смотрите, господа! говорили охотники:—надобно поддѣть его. Ужъ мы себя выдержимъ!

Старикъ улыбался и пряталъ въ карманъ цѣлковый.

Въ уѣздѣ, гдѣ живетъ скупой старикъ, не перечесть охотниковъ; почти каждый день старику случается бывать съ ними вмѣстѣ; но вотъ уже пятнадцать лѣтъ носитъ онъ въ карманѣ цѣлковый!

Послѣ хвастуновъ-охотниковъ съ горестью должно упомянуть о хвастунахъ литературныхъ. Литературный хвастунъ всегда очень много пишетъ, всегда страшно занятъ литературой, хоть никто не имѣетъ удовольствія читать этихъ трудовъ; онъ, по-большей-части, изволите видѣть, пишетъ безъ подписи, пишетъ критики; надобно, дескать, ввести въ литературу порядочный вкусъ, надобно поучить уму-разуму писателей. Вотъ онъ, литературный хвастунъ, преимущественно этимъ и занимается. Литературному хвастуну вообще не нравится ходъ и направленіе литературы; онъ хлопочетъ объ улучшеніи. Хочетъ исправить и то, и другое, и третье, и жалуется, что силъ не хватаетъ, и кричитъ, не замѣчая, что рѣшительно играетъ роль мухи, которая такъ наивно говоритъ: *мы пахали*!

Давно когда-то мнѣ случилось быть здѣсь, въ Петербургѣ, на вечерѣ у одного чиновнаго человѣка; разумѣется, общество было не литературное; но одинъ человѣкъ важно усѣлся на диванѣ и цѣлый вечеръ толковалъ о литературѣ; сначала онъ ругалъ литераторовъ, недавно обруганныхъ въ журналѣ; видя, что слушатели сочувствуютъ ему, онъ перешелъ къ противному и началъ ругать хваленыхъ литераторовъ; два-три сомнѣнія было-родились изъ скромныхъ устъ чиновниковъ, но громовое слово *идея* заставило замолчать ихъ. Маленькій ораторъ ругалъ писателей за идеи.

Идея—конекъ литературныхъ хвастуновъ: на немъ они выѣзжаютъ здраво и невредимо изъ отчаянныхъ несообразностей.

Обругавши совершенно всѣхъ писателей за идеи, ораторъ принялся разбирать ихъ грамотность и кончилъ тѣмъ, что нѣтъ въ Россіи грамотнаго писателя; что всѣ пишутъ съ ошибками, какъ лавочники, и если бы не *онъ* исправлялъ ихъ, плохо бы пришлось авторамъ! Разумѣется, послѣднее онъ сказалъ тихо, съ скромностью, словно повѣрилъ обществу великую тайну и просилъ не разглашать ее.

Безмолвно, съ благоговѣніемъ поклонились слушатели, когда ораторъ, взявъ шляпу, оставилъ изумленное общество; съ минуту продолжалось молчаніе, а потомъ пошли толки, которые кончились тѣмъ, что ораторъ правъ, что онъ умный человѣкъ, что господа писатели — печатные лгуны, врущіе за деньги всякія сказки; что они только наомѣхаются надъ всѣми да важничаютъ; а разспроси объ нихъ порядочнаго человѣка, такъ выходитъ вотъ оно что... выходитъ просто дрянь, грамотѣ не знаютъ; служить нигдѣ не въ мочь, вотъ и пустились въ сочинители—легкій хлѣбъ!...

— Я давно это знаю, замѣтилъ важный человѣкъ:—и рѣшительно не читаю ничего...

— И я тоже, ваше превосходительство, подхватилъ хозяинъ дома.

— Да оно, какъ подумаешь, только трата времени, и больше ничего, прибавили нѣкоторые.

— Правда, правда! подхватилъ хоръ гостей.

— Да кто этотъ человѣкъ? спросилъ кто-то.

— Который отдѣлалъ сочинителей?

— Положимъ, да.

— О, это, я вамъ скажу, голова того!...

— Чья?

— То-есть, отличная голова! столица ума!... грамота ему далась, нечего сказать; ну, да и служитъ по такой части...

— Гдѣ же онъ служитъ?

— Корректоромъ казенной типографіи—понимаете?!

— Хоть корректоръ и долженъ знать грамотѣ, но этотъ, кажется, былъ хвастунъ—не правда ли?

Литературные хвастуны, ругая литературу и литераторовъ, имѣютъ необыкновенную охоту знакомиться съ литераторами и быть въ литературныхъ обществахъ, гдѣ они часто подличаютъ и пресмыкаются предъ литераторами. Въ *своей компаніи* литературный хвастунъ всегда отзывается объ извѣстномъ литераторѣ какъ о задушевномъ другѣ.

— Я N. N. говорю: „да перестань, братецъ, дурачиться: опять ты написалъ дичь“. —Знаю, самъ знаю, отвѣтилъ мнѣ N. N., да вѣдь не всѣ смотрятъ на вещи твоими глазами; большинство публики это любитъ, вотъ и пишешь“.—„Счастливъ ты, другъ мой, сказалъ я N. N., что у меня нѣтъ времени. Журналисты заѣли: А. прислалъ антропологію; пишетъ: „ради Бога, разбери поскорѣе“; В.—космосотомію проситъ отдѣлать на всѣ стороны; В. говоритъ: „разругай, да еще политично, геодезію“—куча работы, пообѣдать некогда!... а то бы я, извини служба службой, а дружба дружбой—разругалъ бы. Ну, да живи-себѣ на здоровье...

Подобныя рѣчи всегда изобличаютъ литературнаго хвастуна.

Достойно замѣчанія, что почти всѣ офицеры, пріѣхавшіе съ Кавказа, были задушевные друзья или съ Марлинскимъ, или съ Лермонтовымъ, а чаще и съ обоими, говорили и тому и другому покойнику *ты*, давали имъ денегъ, давали совѣты житейской мудрости, а часто и литературные, и присутствовали, хоть издали, при трагической кончинѣ, какъ они выражаются.

Въ корридорѣ складываетъ печку печникъ-ярославецъ, русскій человѣкъ, съ бородкой, въ сѣромъ армякѣ; двѣ дамы, вѣроятно, встрѣтились и, недалеко отъ печки стоя, разговариваютъ; одна изъ нихъ молода и недурна. По корридору идетъ *молодецъ*; замѣтя дамъ, онъ перемѣняетъ походку, шевелитъ плечами, охорашивается, пробуетъ слегка что-то напѣвать. Дамы не обращаютъ на него вниманія; молодецъ громко спрашиваетъ печника:

— Давно здѣсь работаешь?

— Со вчерашняго дня.

— Хорошо. А по какой методѣ складываешь печку?

— Ась?

— Спрашиваю, по какой методѣ складываешь?

— Какъ, то-есть?...

— Фу! какой безтолковый! по какой методѣ, тебя спрашиваю.

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Дуракъ, братецъ!...

И *молодецъ* пошелъ далѣе, искоса взглянувъ на дамъ.

Въ этомъ случаѣ *молодецъ* нарочно ввернулъ слово *метода*, чтобъ прихвастнуть, *озадачить* дамъ ученымъ словомъ: мы, дескать, не кто-нибудь, съ мужиками и говорить не умѣемъ, все больше на французскихъ рѣчахъ разговариваемъ, простой человѣкъ насъ и не пойметъ... куда ему, дураку!

Не удивляйтесь: у насъ подобныя явленія не рѣдки; мы часто простодушно хвастаемъ незнаніемъ русской рѣчи или обычаевъ. Я слышалъ, какъ одинъ неглупый, повидимому, человѣкъ, пріѣхавшій изъ Петербурга въ провинцію, осматривая сельское училище, спросилъ крестьянскаго мальчика: „въ которомъ часу вы дѣлаете вашъ туалетъ?“

Вѣрно вамъ случалось когда-нибудь сидѣть на станціи и ждать лошадей; замѣтьте, если тутъ другіе проѣзжіе, особенно дамы, они говорятъ между собою по-русски... но звенитъ колокольчикъ, у крыльца останавливается тройка, въ комнату вваливается какой-нибудь гарнизонный поручикъ, или черкесъ, и проѣзжіе на встрѣчу ему заговорятъ непремѣнно по-французски: это, изволите видѣть, чтобъ задать тону. Причина одна—прихвастнуть хочется!

Есть люди, любящіе прихвастнуть своимъ знакомствомъ. Иной мелкій чиновникъ никакъ не скажетъ: я былъ у N. N., а непремѣнно: я былъ у статскаго совѣтника N. N., или у его превосходительства N. N.; въ послѣднемъ случаѣ онъ титулъ *произноситъ* торжественнѣе, будто и самъ при *семъ случаѣ* производится въ генералы; даже нѣкоторые, для важности, своихъ знакомыхъ коллежскихъ совѣтниковъ производятъ въ статскіе, рѣшительно безъ всякой видимой причины. Иной бѣднякъ готовъ заложить послѣдній вицмундиръ для того, чтобы имѣть честь угостить у себя его сіятельство или превосходительство, или, наконецъ, хоть статскаго совѣтника, чтобъ потомъ разблаговѣстить объ этомъ по всѣмъ знакомымъ.

Въ провинціи мнѣ случилось слушать разсказъ одного молодаго, уже отставнаго человѣка, который, вводя въ свой разсказъ рѣчи постороннихъ людей, безпрестанно титуловалъ себя *ваше высокоблагородіе*.

— Боже мой, замѣтила съ душевнымъ умиленіемъ одна дама,—какой молодой, а ужъ штабъ-офицеръ!

— То-есть, изволите видѣть, подхватилъ разсказчикъ:—это было въ Польшѣ; тамъ уже всегда такъ: на службѣ—капитанъ, въ отставку—майоръ; вотъ они и говорятъ: ваше высокоблагородіе; оно почти и справедливо.

Дама, вѣроятно, имѣла на разсказчика свои виды, начала собирать справки; вышло наружу, что *отставной майоръ* служилъ поручикомъ, а въ отставку вышелъ штабсъ-капитаномъ, что, для краткости, онъ откинулъ штабъ и титуловался капитаномъ; а когда свыкся съ капитанскимъ чиномъ, то разсудилъ, что онъ въ отставкѣ; а капитанъ, выходя въ отставку, можетъ получить майорскій чинъ; онъ и началъ понемногу пріучать себя и своихъ ближнихъ къ майорскому званію. Желательно знать, до какого чина дохвастаетъ этотъ человѣкъ, если поживетъ лѣтъ пятьдесятъ на свѣтѣ?

Послѣ подобныхъ, можно поставить хвастуновъ-аристократомановъ... Извините за длинное, тяжелое слово; а безъ него нельзя обойтись. Эти люди воображаютъ себя аристократами, хвастаютъ своими знакомствами съ аристократами, очень уважаютъ древніе роды и съ благоговѣніемъ *произносятъ* фамиліи, записанныя въ бархатную книгу; они зябнутъ на всѣхъ гуляньяхъ, гдѣ бываетъ высшее общество, и зѣваютъ на всѣхъ филантропическихъ концертахъ, часто въ ущербъ своему завтрашнему обѣду...

Вотъ на троттуарѣ стоитъ человѣкъ основательной наружности, съ усами; подлѣ него тощій и блѣдный, и промежъ нихъ рисуется средній человѣкъ, въ обширномъ смыслѣ этого слова, то-есть, и по росту, и по уму, и по состоянію, и по обществу. Онъ громко разсказываетъ своимъ слушателямъ про какіе-то вечера у какого-то посланника...

— И ты тамъ каждый вечеръ бываешь? спросилъ человѣкъ съ усами.

— Грѣшно было бы пропустить.

— Истинно, замѣтилъ блѣдный человѣкъ: —вотъ, смѣю спросить, я думаю, тамъ богатый преферансъ?!

— Фи! Какъ это можно!

— Что же они тамъ дѣлаютъ? любопытно бы знать!

— Умные люди сойдутся—свои современные вопросы: кто за свекловицу, кто противъ, кто за Роберта Пиля, кто противъ Роберта Пиля!... да такъ и рѣжутъ противъ!... а что Магметъ-Али достается!... иногда вчужѣ о немъ пожалѣешь. А тутъ, на кушеткѣ, какая-нибудь дама: вы съ ней начнете пятить козери, а тамъ Тамбурини поетъ чудную арію... Словно на седьмомъ

небѣ.... О, виравиза!... и средній зафальшивилъ итальянскую арію...

— А потомъ пройдутся по хересамъ, да и маршъ по домамъ, прибавилъ человѣкъ съ усами.

— Какъ можно! развѣ это въ ресторацiи?... тутъ, mon cher, пища для души!... одна какая-нибудь козери тебя на цѣлый вѣкъ просвѣтитъ... О міа брачіа!... тра-ла-ла-ла!... пимъ! пумъ!.. Это удивительно хорошо выходитъ?...

— Да какъ ты попалъ туда? признайся старому однокашнику.

— Очень просто: маркизъ дю-Кло, родной племянникъ Метерниха, мнѣ задушевный другъ; вотъ я и говорю ему: „какъ хочешъ, Поль, а представь меня посланнику; люблю, братецъ, хорошее общество“; а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „я давно хочу, mon cher, тебѣ намылить голову, зачѣмъ ты не бываешь въ нашемъ кругу. Ѣдемъ сегодня?“ —„Ѣдемъ!“ Вотъ мы и поѣхали; и теперь я тамъ свой... О-го-го-го-го... о-о-о-о... До свиданія, господа.

Неужели вы не согласитесь, что средній человѣкъ нахальный хвастунъ?

Впрочемъ, у насъ почти каждый чиновникъ, болѣе или менѣе, помѣшанъ на высшемъ обществѣ; но это своего рода болѣзнь; а мы разсматриваемъ собственно хвастуновъ, то-есть, людей, которые не выходятъ изъ общественнаго уровня здороваго народонаселенія.

Есть еще хвастуны на знакомство со всѣми знаменитостями, какого бы рода эти знаменитости ни были, лишь бы о нихъ говорили: будь это извѣстный пѣвецъ, музыкантъ, искусникъ, красавица, обжора, шарлатанъ, богачъ, великанъ, фокусникъ — ему все-равно, говорили бы о человѣкѣ, и хвастунъ вотрется къ нему хоть въ переднюю, а послѣ хвастаетъ. Такой человѣкъ немного похожъ на мѣдный грошъ, полежавшій въ кошелькѣ съ серебряными деньгами. Эти недѣлимыя всегда толпятся около знаменитостей дня, если такъ можно выразиться. Теперь, когда пора оперы немного прошла, вы не услышите: „я вчера обѣдалъ у Рубини“, или „когда я былъ у Гарсіи, меня звалъ Тамбурини“ и т. п. Теперь и Рубини, и Гарсіи нѣтъ; теперь не въ модѣ болтать объ оперѣ; теперь хвастуны на знакомства съ знаменитостями осаждаютъ цирки; они жмутъ руки Гверру и Лежару, кивaютъ фамильярно наѣзднику, раскланиваются, какъ свои, съ прислужниками, иногда подаютъ голосъ, что такая-то лошадь похудѣла и нехудо бы ей прибавить овса, и стараются сказать слова два-три наѣзднице, въ родѣ: *вы устали?* или: *вамъ жарко!* воспользуясь временемъ, когда она поправляетъ башмакъ или подымаетъ хлыстикъ, а потомъ... а потомъ спросите у нихъ, о чемъ они говорили?...

Вредные хвастуны для общества, это —хвастуны-*волокиты*, русскіе донъ-Жуаны, разумѣется, на словахъ.

Кто ихъ не видалъ на вѣку? кто не смѣялся и, наконецъ, не убѣгалъ отъ нихъ? и кто -надо правду сказать—во дни самой ранней юности втайнѣ не завидовалъ этимъ побѣдителямъ сердецъ?

Хвастуны-донъ-Жуаны бываютъ, болѣе или менѣе, безобразны, больны, блѣдны, истощены, безсильны. Почти всѣ горбуны очень любятъ прихвастнуть своими любовными похожденіями.

Обращаюсь къ давнопрошедшему времени. Кто не помнитъ въ одномъ департаментѣ чиновника бойкаго на рѣчахъ, но блѣднаго, худаго, вѣчно страдавшаго флюсомъ, вѣчно подвязаннаго чернымъ платкомъ, вѣчно хваставшаго своими интригами?... Помните ли, друзья мои, тѣ невыносимо-скучные длинные вечера, когда, бывало, передъ наградами, начальникъ прикажетъ ходить послѣ обѣда, и бѣдные чиновники, разойдясь въ пять часовъ, соберутся къ семи, уже пообѣдавъ, кто съ Гавани, кто съ Песковъ, кто съ Петербургской Стороны, усталые, измученные, соберутся и сядутъ вокругъ длинныхъ столовъ. Свѣчи тускло горятъ; начальникъ *не пріѣхалъ по причинѣ мятели*; работать нечего, хоть домой иди... а если вдругъ кто пріѣдетъ?.,. Этотъ вопросъ всѣхъ удерживаетъ, и труженики сидятъ, зѣваютъ, коротаютъ время; но вотъ идетъ *онъ*, подвязанный чернымъ платкомъ, пожимаетъ направо и налѣво руки, странно семенитъ ногами и уже въ дверяхъ начинаетъ свое похожденіе: какъ шла розовая шляпка, какъ онъ *ей* сказалъ: „куда? *позвольте освѣдомиться*“; какъ отвѣчала она сердито: „идемъ своей дорогой“, но, подойдя къ фонарю, осмотрѣла его и перемѣнила тонъ и проч. Молодые люди окружаютъ *его*, немного погодя и старики осторожно вмѣшиваются въ толпу, является смѣхъ, шутки... а между тѣмъ догорятъ казенныя свѣчи, домой пора—и вечеръ какъ не бывалъ! скучнѣйшій вечеръ! спасибо *ему*! Вѣрно вы помните его, нашего донъ-Жуана?... даже помните, какъ онъ, на самомъ интересномъ мѣстѣ разсказа, гдѣ дѣло доходитъ до какой-нибудь пріятной развязки, вдругъ вскрикнетъ, схватится за щеку и, немного погодя, скажетъ: „ноютъ, проклятые!“ а потомъ опять продолжаетъ разсказывать, забывая зубную боль.

Впрочемъ, *онъ*, если вы его помните, былъ представителемъ хвастуновъ-донъ-

Жуановъ самаго безгрѣшнаго вида; онъ всегда прикрывалъ свои похожденія покрываломъ Изиды; у него въ разсказахъ никогда вы не услышите, бывало, не только фамиліи или собственно имени, даже имени дома, гдѣ происходило происшествіе, а иногда и улицы не хотѣлъ говорить. *Онъ* хвасталъ дѣлами, а не лицами, и дурная сторона *его* была только та, что многіе юноши, наслушавшись соблазнительныхъ разсказовъ, могли слишкомъ удариться въ уличный романтизмъ и навлечь на свою голову кучу непріятностей.

Другой видъ хвастуна-донъ-Жуана хвастаетъ именами, старается, выказывая себя, чернить доброе имя честныхъ женщинъ, сѣетъ раздоръ, несогласія въ семействахъ; бываетъ причиной поединковъ, на которыхъ иногда и самъ слагаетъ свою безразсудную голову. Эти хвастуны хвастаютъ по большей части тихо, съ разстановкой, будто повѣряя тайну, иногда глядятъ на кончикъ своего сапога, иногда на часовой ключикъ, а болѣе устремляютъ глаза въ потолокъ.

Еще бывали, въ прежнее время, хвастунишки въ этомъ родѣ изъ кочующихъ армейскихъ офицеровъ, которые выпрашивали у всѣхъ знакомыхъ барышень отъ 12 до 50 лѣтъ разные сувениры: кошельки, бисерные снурочки и тому подобную дрянь, собирали ихъ, берегли и укладывали въ походный ларчикъ, снабдивъ надписями въ родѣ: *Анета бѣсенокъ*, *Лиза ангелъ*, *Маша душка* и прочее. И, подъ веселый часъ откровенности, выкладывали на столъ эту галантерейщину, торжественно *восклицая*: „вотъ онѣ! всѣ тутъ, господа, любую возьмите—она здѣсь!... вотъ что!...“ и, разумѣется, товарищи хоромъ кричали: *Экая бестія! собой не казистъ, а поди, сравнись съ нимъ!*

А иногда, подъ старость, какой нибудь сѣдой майоръ, скучая одинъ въ пустой хатѣ, глядѣлъ на свои сувениры, припоминалъ и ручки, которыя дѣлали сувениры, и глазки, которые, давая ихъ, глядѣли на него когда-то такъ привѣтно—и радостно дѣлалось майору, что онъ былъ такой молодецъ, и грустно отъ того, что *былъ*... а то простая крестьянская дѣвка такъ неловко сказала: „стыдно тебѣ, *дѣдушка!*“ *Дѣдушка!* Какъ должно быть страшно это слово старому холостяку!

Посмотритъ на себя: онъ точно дѣдушка!

Оглянется кругомъ—и кругомъ все пусто: его прошедшее лежитъ за нимъ, словно безотрадная русская снѣговая равнина; кое-гдѣ мелькаютъ назади, въ полусвѣтѣ, могильные кресты то родныхъ, то товарищей по школѣ, то служебныхъ товарищей, а онъ одинъ, рѣшительно одинъ; въ прошедшемъ нѣтъ у него ни одной радости, въ будущемъ—ни одной опредѣленной надежды. Кругомъ пусто, только вдалекѣ, играя, носится черная стая галокъ; темнымъ облачкомъ рѣютъ онѣ въ вышинѣ между черными тучами, то съ радостнымъ крикомъ спускаются по землѣ и быстро несутся надъ пустою равниной... но вотъ и онѣ скрылись за горизонтъ—быть бурѣ!... вотъ повѣваетъ холодный вѣтерокъ съ запада, а онъ одинъ! Ему завидны галки: онѣ дружно встрѣтятъ мятель, прижавшись другъ къ дружкѣ; а кто прижмется къ нему, одинокому? Жалкій старикъ!

Если вы увидите въ обществѣ нѣсколько человѣкъ юношей, изысканно, хоть и не всегда въ тактъ одѣтыхъ, если они ругаютъ современныя художества и смѣло берутся исправить ошибки Рафаэля, въ такомъ случаѣ бѣгите подальше отъ этихъ юношей: это хвастуны-художники. Эти добрыя дѣти готовы серьезно сказать вамъ: „да что сдѣлалъ Брюловъ? или Бруни? я лучше ихъ сдѣлаю!... имъ повезло—вотъ и все тутъ!“ убѣгите поскорѣе, а то вамъ станетъ совѣстно за хвастуновъ-художниковъ.

Въ одной изъ провинцій нашего обширнаго царства были у меня два знакомые, А. и Б. Какъ-то мы обѣдали вмѣстѣ съ ними у значительнаго лица въ уѣздѣ; значительное лицо было одинаково какъ съ А., такъ и съ Б., съ В. и со всѣми буквами уѣзднаго алфавита, очень изрядно накормило ихъ, и буквы разъѣхались; но нѣсколько дней спустя, я слышалъ разговоръ:

— Вы были въ воскресенье у значительнаго лица? спрашивалъ кто-то.

— Дя, имѣлъ эту честь, и можно сказать, получилъ неизъяснимое удовольствіе, отвѣчалъ А.:—его превосходительство рѣшительно очаровалъ меня.

— Вотъ какъ!

— Да!... Вы не повѣрите, какъ этотъ человѣкъ умѣетъ жить... Впрочемъ, я не знаю, за что онъ меня такъ любитъ: вѣрите ли, принялъ какъ роднаго, обласкалъ... „пожалуйте, говоритъ, сюда“; самъ стулъ подалъ мнѣ—вѣрите ли?...

— Почему же? его превосходительство знаетъ кого какъ принять: вы сами старый штабъ-офицеръ и не безъ вѣса въ уѣздѣ, и то и другое.

— Ахъ, почтеннѣйшій! положимъ, оно такъ, да все-таки онъ генералъ: этакое вниманіе лестно! А за обѣдомъ рѣшительно закормилъ...

— Закормилъ?

— Ужъ будьте увѣрены, тамъ кухня не какой-нибудь чета: какъ пошли трюфели, да фрикасе, да фрикадельки, языкъ проглотишь!... а его превосходительство все упрашиваетъ: „вотъ этого, сосѣдъ, да того!... да покушайте, говоритъ, безъ чиновъ, подружески“.

— Подружески! Счастье вамъ, вездѣ вамъ везетъ!... А напитки были хорошіе?

— Еще бы!... все засмоленое, да заморское; одна рюмочка дастъ на годъ здоровья, то вино словно слеза—свѣтлое, другое темное, что твоя кровь, а третье пахнетъ, будто въ цвѣтникѣ гулнешь, когда пьешь...

А къ другой комнатѣ чей-то голосъ кого-то спрашивалъ: Такъ вы изволили быть въ воскресенье у значительнаго лица?

— Носила нелегкая, отвѣчалъ Б.

— Какъ такъ?...

— Да такъ, не будь сосѣдское дѣло, да я бы и пяти минутъ не остался: хозяинъ, съ позволенія сказать, невѣжа: ни принять, ни занять, ни посадить не умѣетъ...

— Своимъ генеральствомъ занятъ.

— Да смотрѣть я не хочу на его чинъ; я и самъ не далекъ отъ генерала: служилъ, такъ давно высшимъ былъ бы; съ людьми и поважнѣе дружбу водилъ; нѣтъ, онъ породо мною не величался чиномъ, а просто—не имѣетъ тону, манеры, жить не умѣетъ, мало жилъ съ людьми хорошаго общества... Вотъ что!

— По крайней мѣрѣ, столъ былъ приличный.

— Дрянь, братецъ!... ничего ѣсть нельзя! все такое грубое, мужицкое... должно быть у него какая-нибудь Матрена кухарка варитъ... а вино ужасъ!...

— Скажите!...

— Такая мерзость, что и въ ротъ взять нельзя... Судацкое кислое вино смѣшано то съ ромомъ, то съ сахаромъ, то съ померанцами: вотъ и вина; отравиться можно человѣку порядочному!...

Вамъ странно, что А. и Б. въ одинъ и тотъ же день были у одного и того же человѣка, сидѣли за однимъ столомъ—и говорятъ такъ различно? Они оба хвастаютъ!... оба идутъ къ одной цѣли, только различными путями... А. хвастаетъ ласками и угощеніемъ генеральскимъ, думая, пусть другіе скажутъ: „Да, видно А. славный человѣкъ, когда его превосходительство такъ за нимъ ухаживаетъ“. Б. ругаетъ и пріемъ, и столъ генеральскій, думая: пусть другіе скажутъ: „Да, видно Б. на вѣку пожилъ съ людьми и видѣлъ свѣтъ, когда его превосходительство, человѣкъ ласковый, ему кажется мужикомъ, и вкусный генеральскій столъ онъ ѣсть не можетъ...“

Ни А., ни Б. не миѳы, не созданія мечты: это люди дѣйствительные; вѣрно, вы найдете между вашими знакомыми подобныхъ, хвастающихъ всеобщею любовью и необыкновенно ласковыми пріемами? (особливо, къ этому склонны дамы). Хотите вѣдѣть Б., пойдите въ любую кондиторскую, кафе-ресторанъ, и если увидите господина, который ворчитъ, что ножи не остры, трюфели не душисты, бѣлье не тонко, хлѣбъ невыпеченъ и капризничаетъ и мѣняетъ кушанья, поздравьте себя: это Б.; держите пари, что у него дома бѣлье втрое толще, ножи въ руки взять совѣстно, и не только нѣтъ трюфелей, но и худо выпеченнаго хлѣба часто не бываетъ.

Если человѣкъ знаетъ, что будетъ въ обществѣ, гдѣ соберутся люди запросто провести время, и нарядится въ щегольское платье, то можно смѣло подозрѣвать его въ желаніи прихвастнуть.

Если человѣкъ явится на балъ или въ какое торжественное собраніе, гдѣ всѣ люди одѣты нарядно, въ простомъ неопрятномъ платьѣ, и если этотъ человѣкъ въ такомъ отношеніи, что его не посмѣютъ или не захотятъ попросить выдти, то этотъ человѣкъ рѣшительно хвастунъ; онъ хвастаетъ своей нравственной силой, и нарушаетъ принятыя приличія, чтобы на себя обратить вниманіе.

Такихъ хвастуновъ можно легко отыскать между пожилыми капиталистами, богатыми дядюшками-холостяками, между непризнанными артистами и поэтами, а первыхъ, т. е. хвастуновъ-щеголей такъ много, что не знаешь, въ которую сторону и показать!... Я полагаю, что изъ ста дорогихъ бархатныхъ жилетовъ, такъ заманчиво разложенныхъ на окнѣ любаго магазина, развѣ десять будутъ куплены для носки, а девяносто, обтянувъ грудь человѣка, не перестанутъ показываться на томъ же Невскомъ, почти съ тою же цѣлью, только, разумѣется, съ меньшею пользою для своихъ хозяевъ.

Хвастуновъ нарядами слишкомъ много: они или отъявленные вѣковѣчные старички, или молодежь самая юная. Не даромъ сложили въ прошломъ столѣтіи въ народѣ присказку, что будто новопроизведенный прапорщикъ надѣлъ полную форму и въ мятель гулялъ по улицѣ, а денщика заставилъ глядѣть на себя изъ калитки.— Ну, что? спрашивалъ онъ денщика, возвращаясь домой.

— Ничего, ваше благородіе!

— Хорошо?

— Хорошо, ваше благородіе!

— Шпоры звенятъ?

— Звенятъ, ваше благородіе!

— Эполеты блестятъ?
— Блестятъ, ваше благородіе.
— Барышни смотрятъ!
— Глазъ не отведутъ отъ вашего благородія!
— Ничего, братецъ, пусть ихъ страдаютъ!...

Согласитесь, что при такомъ направленіи ума и сердца, человѣкъ легко рѣшится ѣсть цѣлый мѣсяцъ хлѣбъ съ водой и терпѣть всякія лишенія, лишь бы при удобномъ случаѣ блеснуть своей оболочкой и заставить пострадать жестокую. И подѣломъ!—не будь жестока къ хорошему человѣку!

Скупцы вообще народъ скрытный и подозрительный, но страсть похвастать иногда измѣняетъ даже основной ихъ характеръ. Въ ...омъ уѣздѣ недавно еще жилъ, а можетъ быть и теперь живетъ помѣщикъ старыхъ временъ, у котораго въ гостиной на всѣхъ окнахъ лежитъ по серебряной монетѣ, на карнизѣ печки постоянно блеститъ вычищенный червонецъ или полуимперіалъ, на столѣ живописно красуются двѣ-три ассигнаціи, а въ углу комнаты стоятъ три головы сахару. Этотъ помѣщикъ очень скупъ, но онъ любитъ похвастать своимъ достаткомъ; пріѣзжайте къ нему, и онъ сейчасъ станетъ извиняться, что вы его застали въ такомъ безпорядкѣ, что у него въ гостиной *валяется* сахаръ, потому что недавно пріѣхалъ съ ярмарки, гдѣ запасается сахаромъ всегда *пудами*... Слово *пудами* помѣщикъ говоритъ съ особеннымъ выраженіемъ и, по врожденной скупости и подозрительности, безпрестанно посматриваетъ на мѣсто, гдѣ положены деньги, особливо, если гость подходитъ къ какой нибудь монетѣ...

Но, несмотря на почти всеобщую страсть хвастать состояніемъ и богатствомъ, страсть, ведущую къ разоренію, есть люди, которые готовы сознаться въ своей бѣдности или выдумать на себя карманную невзгоду, лишь бы прихвастнуть наградой. Такъ говорятъ, одинъ молодой хвастунъ продавалъ всѣмъ за пятьсотъ рублей отличный брильянтовый перстень, полученный въ награду, перстень, стоющій полторы тысячи.

— Зачѣмъ вы его отдаете такъ дешево?
— *Денегъ нѣтъ!* а перстень я, пожалуй, еще получу!... мнѣ на это везетъ!

Впрочемъ, эта продажа производилась на словахъ, и въ обществѣ, гдѣ бывали хорошенькія дамы. Перстня, полученнаго въ награду, никто не видѣлъ, да и самъ продававшій никогда его не получалъ; и если кто хотѣлъ дать на перстень задатокъ, то продавецъ не бралъ, обѣщая привезть перстень и тогда получить деньги сполна.

Бываютъ иногда между хвастунами хвастуны универсальные, хвастуны въ обширномъ смыслѣ этого слова, хвастающіе всѣмъ безъ изъятія. Говорятъ ли объ охотѣ, универсальный хвастунъ кричитъ: „вотъ я когда-то сдѣлалъ выстрѣлъ, такъ выстрѣлъ!...“ заговорятъ ли о литературѣ, опять онъ кричитъ: „я написалъ бы романъ, такъ былъ бы романъ, а то чортъ знаетъ что пишутъ! „заговорятъ о Наполеонѣ, *онъ* кричитъ: „*я* далъ сюжетъ, такъ будетъ картина!...“ и такъ рѣшительно обо всемъ!... Явленіе странное, но болѣе болѣзненное. Подобный человѣкъ немного помѣшанъ на своемъ *я*, слѣдовательно подлежитъ разсмотрѣнію медицины и, нѣкоторымъ образомъ, выходитъ изъ круга нашего очерка.

И Боже мой! сколько еще разныхъ видовъ частныхъ хвастуновъ: бываютъ хвастуны семейнымъ счастьемъ, здоровьемъ, способностью много выпить, женой, собаками, друзьями, прической, выговоромъ буквы р, цвѣтомъ носа, блескомъ сапога. словомъ, нѣтъ предмета, которымъ бы человѣкъ не способенъ былъ прихвастнуть, безсознательно, безъ всякой причины, не видя въ томъ для себя никакой пользы, между тѣмъ, какъ вредъ заключается всегда. Всякій хвастунъ выказывается какою нибудь стороной выше уровня своего общества, а люди, извѣстное дѣло, никогда не простятъ тому, кто хочетъ быть ихъ выше; тутъ является самый простой, насущный, повседневный вопросъ: *почему онъ, а не я?* и, рано ли, поздно ли, хвастунъ горько поплатится за свое пустое торжество, не говоря уже о собственномъ душевномъ наказаніи, о страшной пыткѣ самолюбія при разоблаченіи хвастливыхъ выходокъ человѣка. Но хвастуны объ этомъ не думаютъ, дѣйствуя, рѣшительно, по какому-то необъяснимому вдохновенію. Богъ имъ судья!...

1846 г.

ОЧЕРКИ.

Петербургская Сторона.

ОЧЕРКЪ.

— Учись, другъ мой, часто мнѣ говаривала покойница бабушка, когда я былъ еще ребенкомъ;—учись, выростешь, да будешь уменъ, поѣдешь въ Петербургъ на службу, станешь носить шитый мундиръ, заживешь въ золотыхъ палатахъ на самой Петербургской Сторонѣ, на самой Дворянской улицѣ. Ты вѣдь дворянинъ.

Не знаю почему, а моя бабушка, никогда не бывъ въ Петербургѣ, имѣла высокое понятіе о Петербургской Сторонѣ, можетъ-быть отъ того, что у нашего деревенскаго священника былъ сынъ, служившій въ Петербургѣ.

Вамъ это странно? Погодите. Часто священникъ, обѣдая по праздникамъ въ нашемъ домѣ, разсказывалъ о своемъ сынѣ, какъ онъ живетъ въ столицѣ, какъ нерѣдко имѣетъ счастіе говорить съ генералами. При всемъ уваженіи къ священнику, бабушка, слушая разсказы его о сынѣ, кажется, не всему безусловно вѣрила и почти всегда говаривала: „дай-то Богъ мнѣ до смерти увидѣть, отецъ Петръ, вашего Ивана Петровича“.

Желаніе старухи сбылось.

Въ одно прекрасное лѣто Иванъ Петровичъ пріѣхалъ въ отпускъ къ своему батюшкѣ, отцу Петру, и *въ одинъ прекрасный день* явился къ намъ въ гости, въ какомъ-то невиданномъ въ нашихъ краяхъ мундирѣ, при шпагѣ, съ треуголкою подъ мышкой.

Мы съ бабушкой разсматривали пріѣзжаго петербуржца, какъ рѣдкаго звѣря; наконецъ она не вытерпѣла, подсѣла къ нему и закидала его разными современными вопросами о столицѣ, о скороходахъ и проч... Я уже забылъ эти вопросы, но недавно, перечитывая путешествіе Дюмонъ-Дюрвиля, нашелъ что-то очень-похожее на нихъ въ простодушныхъ вопросахъ, дѣланныхъ заѣзжимъ европейцамъ царицей Океанійскихъ острововъ.

— Эдукованный человѣкъ, сказала бабушка, когда ушелъ Иванъ Петровичъ:—много свѣта видѣлъ, да кажется привираетъ немного поповичъ; я, говоритъ, живу на самой Петербургской Сторонѣ да еще въ Большой Дворянской улицѣ! Что онъ за большой дворянинъ такой? А впрочемъ, прибавила она, вздохнувъ отъ глубины души:—чѣмъ не легкая не шутитъ? Теперь свѣтъ вотъ какъ пошелъ!

И старуха быстро начала вертѣть однимъ указательнымъ пальцемъ около другаго.

Это было очень давно. Впрочемъ, и до-сихъ поръ есть еще въ отдаленныхъ провинціяхъ люди, думающіе, что если Петербургъ хорошъ, то въ Петербургѣ Петербургская Сторона должна быть верхъ совершенства; если дворяне высшее сословіе въ государствѣ, то какова же Дворянская улица, да еще въ столицѣ?

Бабушка и чиновникъ Иванъ Петровичъ во время оно представили моему дѣтскому воображенію Петербургскую Сторону какимъ-то эльдорадо, стороной волшебной, фантастической. Часто, бывало, читая въ *Тысячѣ и Одной Ночи* описаніе небывалаго замка, состроеннаго по всѣмъ правиламъ восточной фантазіи, я воображалъ его въ столицѣ на Петербургской Сторонѣ, непремѣнно въ Большой Дворянской улицѣ, гдѣ всякій житель казался мнѣ такимъ большимъ дворяниномъ, что и сказать нельзя, то выѣзжающимъ съ визитомъ къ сосѣду въ золотой каретѣ, въ полномъ генеральскомъ мундирѣ, то на охоту, окруженнымъ сотней егерей и доѣзжачихъ, на лихихъ коняхъ,

при звукѣ трубъ и роговъ. И Богъ-знаетъ чего не рисовала мнѣ моя дѣтская фантазія!..

И вотъ прошло много лѣтъ. Давно уже любознательная бабушка лежитъ на деревенскомъ кладбищѣ. Молодыя березки, посаженныя на ея могилѣ, уже разрослись большими деревьями. Священникъ, отецъ Петръ, тоже умеръ. Не знаю, живъ ли Иванъ Петровичъ? до сихъ ли поръ обитаетъ онъ въ Дворянской улицѣ? или переѣхалъ на Литейную, обзавелся лысиной, каретой, связями и важностію?.. а мнѣ между тѣмъ довелось пожить въ Петербургѣ, довелось увидѣть и Петербургскую Сторону, и Дворянскую улицу.

Сравнивъ существенность съ моей прежней мечтой, сравнивъ видѣнное со слышаннымъ отъ бабушки и чиновника, я на опытѣ извѣдалъ справедливость пословицы покойнаго отца Петра: *видѣніе паче слуха*, и народной поговорки: *славны бубны за горами*!.. Безотчетно вспомнилъ страницу исторіи Кайданова, гдѣ весьма краснорѣчиво описанъ Александръ-Македонскій и—каюсь — почти было-усомнился въ величіи, мудрости и храбрости *означеннаго героя*, даже готовъ былъ отъ души признать его миѳомъ.

Если у васъ много денегъ, если вы живете въ центрѣ города, катаетесь по паркетной мостовой Невскаго-Проспекта и Морскихъ улицъ, если ваши глаза привыкли къ яркому свѣту газа и блеску роскошныхъ магазиновъ, и вы, по врожденной человѣку способности, станете иногда жаловаться на судьбу, станете отыскивать причины для своихъ капризовъ, для своихъ мнимыхъ несчастій, то совѣтую вамъ прогуляться на Петербургскую Сторону, эту самую бѣдную часть нашей столицы; посмотрите на длинные ряды узкихъ улицъ (изъ которыхъ даже многія не вымощены), обставленныхъ деревянными домами... чѣмъ далѣе отъ Большаго-проспекта, тѣмъ тише, мрачнѣе, бѣднѣе.. Вспомните, что въ нихъ живутъ десятки тысячъ бѣдныхъ, но честныхъ тружениковъ, часто веселыхъ и счастливыхъ по своему и, вѣрьте, вамъ станетъ совѣстно вашихъ жалобъ на судьбу. Послѣ страшной тьмы узкаго, грязнаго переулка, едва освѣщаемаго въ одномъ концѣ тусклымъ фонаремъ, вы оцѣните почти солнечный свѣтъ газа; послѣ неровной мостовой, толкающей васъ безпрестанно подъ бока, вы спокойно вздохнете, когда коляска ваша плавно покатится по торцовой мостовой; послѣ вида на мелочную лавочку съ разбитыми стеклами, ваши глаза пріятно отдохнутъ на зеркальныхъ окнахъ магазиновъ, установленныхъ изысканными предметами роскоши.

У всякаго свой вкусъ; но, мнѣ кажется, иногда очень полезно прогуляться по Петербургской Сторонѣ.

Петербургская Сторона прежде была лучшая часть города; здѣсь былъ дворецъ Петра Великаго (который и до-сихъ-поръ сохраняется на берегу Невы, какъ драгоцѣнная рѣдкость); здѣсь жили люди именитые, какъ видно изъ названія Дворянскихъ улицъ; но въ послѣдствіи многіе дворцы выстроились на другой противоположной сторонѣ, и городъ, торгуя съ Москвой и центральными губерніями Россіи, началъ расширяться къ московской заставѣ, а Петербургская Сторона, отрѣзанная отъ центра города рѣкой, лежащая на сѣверъ къ безплоднымъ финскимъ горамъ и болотамъ, начала упадать и сдѣлалась убѣжищемъ бѣдности. Какой-нибудь бѣднякъ чиновникъ, откладывая по нѣскольку рублей отъ своего жалованья, собираетъ небольшой капиталъ, покупаетъ почти за безцѣнокъ кусокъ болота на Петербургской Сторонѣ, мало-помалу выстроиваетъ на немъ изъ дешеваго матеріала деревянный домикъ и, дослужившись до пенсіона и сѣдыхъ волосъ, переѣзжаетъ въ свой домъ доживать вѣку—почти такъ выстроилась большая часть теперешней Петербургской Стороны. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только пойти по улицамъ и прочитать надписи на воротахъ домовъ. Здѣсь на желтыхъ дощечкахъ красуются всѣ чины, отъ коллежскаго регистратора до статскаго совѣтника. Большинство домовъ остается за титулярными совѣтниками и чиновниками 8-го класса; домовъ статскихъ совѣтниковъ мало, дѣйствительныхъ статскихъ и далѣе очень мало; есть домы отставныхъ канцеляристовъ, унтеръ-офицеровъ, отставныхъ камеръ-музыкантовъ, истопниковъ, придворныхъ лакеевъ, даже придворныхъ араповъ. Домовъ купеческихъ не много и то болѣе на сторонѣ, прилежащей къ Васильевскому острову, около Николы Морскаго; здѣсь лѣтомъ живетъ много биржевыхъ дрягилей и купцовъ псковскихъ и ржевскихъ, торгующихъ пенькой и льномъ.

Одинъ знакомый мнѣ старикъ разсказывалъ, что когда-то давно, во время его молодости, лѣтъ пятьдесятъ назадъ, онъ искалъ на Петербургской Сторонѣ квартиру, прочелъ на воротахъ довольно опрятнаго домика надпись: *домъ отставнаго арапа NN.*, и постучалъ въ ворота.

(NB. Тогда колокольчиковъ у воротъ домовъ Петербургской Стороны не было, да и теперь не вездѣ есть эта роскошь.)

На стукъ моего знакомаго вышелъ изъ калитки сѣдой старичекъ въ бѣломъ халатѣ и такомъ же колпакѣ, что, при необы-

чайной бѣлизнѣ лица, дѣлало его очень похожимъ на альбиноса.

— Что вамъ угодно? спросилъ бѣлый старичекъ.

— Мнѣ нужно видѣть хозяина дома, отвѣчалъ мой знакомый.

— Я самъ хозяинъ, къ вашимъ услугамъ; и альбиносъ приподнялъ колпакъ...

— Вы... хозяинъ?!...

— Точно такъ.

— Такъ вы... вы господинъ арапъ?

— Точно такъ.

— Извините меня, я думалъ... я привыкъ...

— Ничего. Что вамъ угодно?...

— Я ищу квартиры; у васъ, кажется, есть.

— Прошу покорно.

Бѣлый арапъ повелъ моего знакомаго смотрѣть квартиру; но квартира менѣе занимала моего знакомаго, нежели мысль: отчего арапъ такъ побѣлѣлъ? Положимъ, отъ старости голова побѣлѣла: такъ рожа должна бы остаться черна, какъ сапогъ, а то и рожа бѣлая? Думалъ, думалъ мой знакомый, ходя изъ комнаты въ другую, наконецъ, кое какъ обиняками, тонко и вѣжливо далъ замѣтить альбиносу свое удивленіе, отчего дескать у него такая бѣлая рожа.

— Это не васъ первыхъ удивляетъ, спокойно замѣтилъ старичекъ:—я сталъ арапомъ собственно по благоволенію начальства.

— Начальства?

— Точно такъ. Вотъ изволите видѣть: я служилъ просто истопникомъ, а какъ пришло время выходить въ отставку, жена и говоритъ мнѣ: „Григорій Ивановичъ, просись, чтобы тебя отставили арапомъ: вѣдь арапамъ пенсіону вдвое больше“. Шутка! подумалъ я, и пошелъ къ начальнику, попросилъ какъ слѣдуетъ, представилъ резоны, жена, дескать, дѣти... Вотъ онъ—спасибо, былъ добрый человѣкъ—представилъ меня арапомъ и отставили меня съ арапскимъ пенсіономъ, а лицо-то у меня какое Богъ создалъ, милостивый государь!... Послѣ меня еще человѣка три вышло въ отставку тоже арапами.

— И всѣ бѣлые?

— Точно такъ.

— Гдѣ же они?

— Живутъ здѣсь, неподалеку.

Бѣдные, по большей части неудобные домы небогатыхъ домохозяевъ почти всегда занимаются жильцами, живущими весьма не широко.

Положимъ жилъ-былъ человѣкъ, занимавшій мѣсто не важное по своему значенію, не важное по жалованью, но такъ называемое теплое мѣсто, благословенное свыше, доставляющее своему обладателю разныя блага, необходимыя для жизни, и жилъ чиновникъ на этомъ мѣстѣ долго, женился, обзавелся многочисленнымъ семействомъ; но жилъ безразсудно, что называется безъ пути, не оглядываясь на прошедшее, не думая о будущемъ, водилъ дружбу съ знатью, давалъ великолѣпные вечера и обѣды, игралъ по большой въ преферансъ и проч. и вдругъ нечаянно объѣлся и умеръ.—На его мѣсто не замедлилъ явиться другой, который очень обязательно попросилъ съѣхать съ казенной квартиры семейство своего предшественника. Правительство, всегда попечительное, назначило женѣ и дѣтямъ умершаго, сообразно его жалованью, пенсіонъ; но пенсіонъ оказался ничтожнымъ для людей, привыкшихъ жить въ роскоши; ни мать, ни дѣти никогда не заботились узнать что-нибудь полезное, выучиться какому-нибудь рукодѣлію, а въ городѣ жить дорого, и вотъ онѣ, взваливъ свои пожитки, остатки прежней роскоши, на ломовыхъ извозчиковъ, бредутъ печальною толпой на Петербургскую Сторону.

Бѣдный чиновникъ-мечтатель, бросившій свой родной городъ и пріѣхавшій, что называется, наобумъ искать въ столицѣ счастья, оглядывается съ ужасомъ на свое положеніе и удаляется на Петербургскую сторону—тамъ для него есть квартира по его карману, тамъ ему все напоминаетъ его родной провинціальный городокъ.

И освистанный актеръ, и непризнанный поэтъ, и оскорбленная чѣмъ-нибудь на бѣломъ свѣтѣ дѣвушка—всѣ убѣгаютъ на Петербургскую Сторону, разселяются по мезонинахъ и въ тишинѣ предаются своимъ фантазіямъ.

На Петербургской вы найдете и несчастнаго купца-банкрота по глупости или по излишней довѣрчивости къ людямъ.

(NB. Банкроты, такъ называемые, злостные, не живутъ на Петербургской Сторонѣ. Они любятъ шумъ и блескъ).

Найдете заштатнаго чиновника; найдете юнаго чиновника, незахотѣвшаго учиться, который теперь живетъ на четырехъ стахъ рубляхъ жалованья; найдете бѣднаго, но благороднаго родителя-провинціала, привезшаго кучу сыновей для опредѣленія въ учебныя казенныя заведенія. Его можно легко замѣтить по важной осанкѣ, по здоровому красному лицу, по военному мундиру безъ эполетъ, треугольной шляпѣ съ перомъ и по тремъ четыремъ недорослямъ въ нанковыхъ сюртукахъ и фуражкахъ, чинно идущимъ за нимъ. Любопытно видѣть, какъ это существо, полное сознанія

своего достоинства, вѣжливо, любезно, почти робко даетъ дорогу каждому встрѣчному на тротуарѣ; сразу замѣтно и желаніе показать передъ сыновьями примѣръ тонкости свѣтскаго обращенія, и боязнь не обидѣть какъ-нибудь невзначай лицо можетъ быть ему нужное современемъ.

На Петербургской вы найдете мастеровъ безъ подмастерьевъ и работниковъ, горничныхъ безъ барынь и барынь безъ горничныхъ, сады безъ деревьевъ и деревья безъ саду, растущія такъ себѣ, Богъ знаетъ какъ и для чего; есть даже рѣчка Карповка, въ которой иногда не бываетъ воды и есть переулки, постоянно покрытые лужами; въ этихъ переулкахъ плаваютъ утки, растутъ и цвѣтутъ болотныя травы и разныя водоросли.

На Петербургской вы можете отыскать людей, убившихъ весь свой вѣкъ и состояніе на тяжбы; впрочемъ, они рѣдко показываются на свѣтъ Божій и когда прочее народонаселеніе движется, суетится, топчетъ грязь по улицамъ и переулкамъ или крашеные полы на домашнихъ вечерахъ, эти несчастные сидятъ дома надъ бумагами, выводя въ тишинѣ невинные крючки.

На улицахъ ихъ не встрѣтишь: они не гуляютъ; они преданы своей мысли, своей цѣли. Самое лучшее средство ловить этихъ людей утромъ часу въ девятомъ у Мытнаго перевоза; сюда они собираются, чтобъ переѣхать въ сенатъ, обремененные связками и свертками бумагъ. Одинъ мой знакомый разсказывалъ, что въ старые годы онъ часто видалъ тамъ одного худого, чахлаго старичка, который съ видимымъ усиліемъ приносилъ подъ мышкой тяжелое, толстое березовое полѣно, тщательно завернутое въ клѣтчатый бумажный платокъ. Садясь въ лодку, онъ бережно клалъ его къ себѣ на колѣни, любовно глядѣлъ на него и укутывалъ заботливо, словно мать ребенка.

— Берегите, берегите его, Иванъ Ивановичъ, часто, смѣясь, говорили старичку молодые чиновники: - не равно простудится ваше полѣно, станетъ кашлять, спать не дастъ.

— Полноте смѣяться, отвѣчалъ старичекъ:—оно мнѣ и такъ не даетъ спать.

— Да отчего же?

— Развѣ я вамъ не разсказывалъ?

— Нѣтъ, право нѣтъ!...

— Ой разсказывалъ!...

— Нѣтъ, намъ не разсказывали; можетъ быть, Петру Петровичу разсказывали, а намъ нѣтъ.

— А можетъ быть! Петру Петровичу точно я разсказывалъ. Это дѣло любопытное, отъ этого полѣна зависитъ все мое состояніе; оно, изволите видѣть, милостивые государи, не простое полѣно, оно мое сердечное, образцовое... Въ 17... году я ставилъ подрядъ на дрова... И старикъ въ тысячный разъ разсказывалъ своимъ обычнымъ слушателямъ, какъ онъ ставилъ куда-то дрова по подряду, какъ ему не заплатили вполнѣ всѣхъ денегъ, потому будто бы дрова были короче, нежели положено по условію, какъ онъ съ премьеръ—майоромъ А. и провинціальнымъ секретаремъ Б., призвавши ихъ въ свидѣтели, взялъ собственными руками изъ кучи своихъ дровъ полѣно, такъ безъ разбору, зря, спряталъ его, завелъ дѣло... и проч... и теперь для доказательства, въ случаѣ потребуетъ надобность, постоянно отправляясь въ сенатъ, беретъ свое полѣно; высчитывалъ, сколько носовыхъ платковъ износило это полѣно и т. п., словомъ, говорилъ, пока лодка не приваливала къ другому берегу и его слушатели не разбѣгались по разнымъ направленіямъ; тогда и онъ, вздохнувъ, давалъ мѣдную монету лодочнику, бралъ полѣно подъ мышку и отправлялся въ сенатъ.

На Петербургской вы найдете несчастныхъ аферистовъ, совершенно уничтоженныхъ аферами, не знающихъ за что ухватиться и собирающихъ въ тишинѣ всевозможные способы какъ бы вывернуться, выбиться или выползть изъ своего труднаго положенія.

(NB. Чуть аферистъ начнетъ оживать—сейчасъ же бросаетъ Петербургскую Сторону; для нихъ тамъ нездоровъ климатъ и неспособно мѣстоположеніе).

Впрочемъ, я говорю о большинствѣ населенія Петербургской Стороны; собственно о колоритѣ ея. Ее перерѣзываетъ чистый, прекрасный Каменноостровскій проспектъ, на которомъ стоитъ красивое зданіе Александровскаго Лицея и годъ отъ году выстроиваются прекрасные домики частныхъ людей Сторона ея, прилежащая къ Тучкову мосту, украшена кадетскими корпусами и другими огромными каменными зданіями. Здѣсь уже исчезаетъ патріархальная жизнь Петербургской Стороны, здѣсь часто вы увидите и карету, и генеральскіе эполеты, и щегольскія парныя дрожки доктора или экономa, часто услышите стройный хоръ полковой музыки, нерѣдко, мимоходомъ, замѣтите на окнахъ богатыя занавѣси, въ комнатахъ изящную бронзу и порядочные картины; здѣсь пьютъ шампанское, ѣдятъ трюфели и курятъ сигары, хотя больше домашняго приготовленія, однако всегда положенныя въ иностранный ящикъ съ краснымъ бандеролемъ; здѣсь толкуютъ объ оперѣ, хоть часто и

не безъ грѣха, читаютъ журналы, судятъ о французскомъ спектаклѣ, правда, часто по наслышкѣ... Словомъ, здѣсь Петербургская Сторона просвѣтилась.

Лѣтомъ вся вообще Петербургская Сторона оживаетъ вмѣстѣ съ природой. Дачеманія, болѣзнь довольно люто свирѣпствующая между петербуржцами, гонитъ всѣхъ изъ города; люди, по словамъ одного поэта,

И скачутъ, и ползутъ,
И ѣдутъ, и плывутъ,

вонъ изъ Петербурга, кто побогаче подальше, а бѣдняки—на Петербургскую Сторону; она, говорятъ, та же деревня, воздухъ на ней чистый, дома больше деревяные, садовъ много, къ островамъ близко, а главное —недалеко отъ города; всего иному три, иному только пять верстъ ходить на должности.

Вслѣдствіе такого разсужденія, всѣ домы и домики, всѣ мезонины и чердаки занимаются дачниками: мелочные лавочники закупаютъ припасовъ втрое противъ обыкновеннаго; Клавикордная улица, ведущая къ крестовскому перевозу, гремитъ отъ дрожекъ и заселяется безчисленнымъ множествомъ всякихъ торговцевъ и промышленниковъ; каждый вечеръ улицы и переулки оживляются гуляющими, толпами разноцвѣтныхъ дамъ и кавалеровъ... Идите по не очень ровному и немного шаткому досчатому тротуару, и вы увидите въ подвальныхъ этажахъ, почти у ногъ своихъ, разныя трогательныя семейныя картины: то мужа, играющаго на скрипкѣ въ то время, какъ жена кормитъ кашей грудного ребенка, то строгаго отца, дерущаго за уши сына, то семейство за чаемъ, то семейство, встрѣчающее или провожающее гостя, то лицо, безсмысленно смотрящее на улицу; въ среднемъ этажѣ часто играетъ фортепьяно и шаркаютъ чьи-то ноги въ кадрилѣ или галопадѣ. Если на бѣду сторы спущены, вы можете, отъ нечего дѣлать, задуматься: кто тамъ танцуетъ? молодая ли пансіонерка, думающая, что вся жизнь человѣка есть одинъ непрерывный веселый танецъ? или старая дѣва, пишущая хитрые вензеля ногами вокругъ человѣка, котораго она хочетъ во что бы ни стало очаровать и сдѣлать своимъ мужемъ? или толстая барыня, мать огромнаго семейства, прыгающая до поту, такъ, съ дуру? или шаркаетъ молодой человѣкъ въ кадрилѣ предъ гадкой, разрумяненной старухой, женой своего начальника? можетъ быть, это первый опытъ его... какъ бы назвать?... ну, положимъ, его умѣнья жить въ свѣтѣ, съ которымъ онъ пойдетъ очень далеко, и вы современемъ встрѣтитесь съ нимъ – уже съ человѣкомъ важнымъ и значительнымъ... А если вы не любите мечтать передъ опущенными сторами - идите далѣе; вы можете услышать на мезонинѣ тихіе звуки гитары и пѣсню:

Ты не повѣришь, ты не повѣришь,
Ты не повѣришь, какъ ты мила!..

Иногда высоко на чердакѣ чихнетъ кто нибудь очень громко, а съ улицы ему скажутъ: желаю здравствовать.

Вездѣ жизнь!

За то какъ замираетъ Петербургская Сторона на зиму! Съ появленіемъ первыхъ желтыхъ листьевъ на деревьяхъ, дачники, словно перелетныя птицы, перебираются въ центръ города; народонаселеніе уменьшается, сторона, видимо, пустѣетъ, становится день ото дня тише, мрачнѣе, улицы покрываются грязью... И что это за улицы!... Кто проѣжалъ Петербургскую Сторону отъ Троицкаго моста на острова по Каменноостровскому проспекту, тотъ и не подозрѣваетъ существованія подобныхъ улицъ. Сверните съ этого проспекта или съ Большаго хоть на право, хоть на лѣво, и вы откроете бездну улицъ разной ширины, длины и разнаго достоинства, улицъ съ самыми разнообразными названіями, увидите нѣсколько улицъ Гребенскихъ, Дворянскихъ, Разночинныхъ, Зеленныхъ, Теряеву, Подрѣзову, Плуталову, Одностороннюю, Бармалѣеву, Гулярную; тамъ есть даже Дунькинъ переулокъ и множество другихъ съ престранными кличками, есть даже улица съ именемъ и отчествомъ: *Андрей Петровичъ*! Иныя изъ нихъ вымощены камнемъ превосходно, другія тонутъ въ грязи и извощикъ осенью и весной ни за какія деньги не поѣдетъ по нимъ; по нѣкоторымъ будто для потѣхи разбросаны булыжники, которые, будучи втоптаны въ грязь и перемѣшаны съ ней, даютъ пренепріятные толчки экипажамъ; еще нѣкоторыя выстланы поперекъ досками и ѣзда по нимъ очень потѣшна—ѣдешь будто по клавикордамъ.

На Большомъ проспектѣ Петербургской Стороны часу въ пятомъ утра весной, очень дружно разговоривали два пріятеля, вышедшіе изъ одного дома, въ которомъ еще горѣли огни, хотя на дворѣ было уже довольно свѣтло.

Пріятели были молодые люди, опрятно одѣтые во фраки съ какими то свѣтлыми пуговицами.

— Ну, прощайте! говорилъ одинъ другому.

— Нѣтъ, не хочу, не хочу... А вѣдь мы

славно покутили? а? Хозяинъ предобрый человѣкъ и шампанскаго было вволю.

— Ой ли? а вы думаете это шампанское?

— А вы какъ думаете?

— Я думаю—такъ себѣ.

— Да и я почти то же... право!... а замѣтили вы, какъ на меня посматривала эта брюнеточка? а?...

— Замѣтилъ... А мнѣ все кажется, что это было просто шабли мусо...

— Да, да, именно шабли. Знаете, мнѣ чрезвычайно пріятно, что я такъ нечаянно познакомился съ такимъ прекраснымъ человѣкомъ.

— И мнѣ также... Прощайте!

— Нѣтъ, погодите, куда вы? не хочу!...

— Чего вы не хотите?

— Не хочу „прощайте“, лучше „до свиданія“! неправда ли лучше „до свиданія“? а? лучше „до свиданія“? а?

— Лучше; ну, до свиданія!

— Значитъ, вы меня навѣстите? а? навѣстите?

— Навѣщу, до свиданія!

— Погодите, куда вы?... до свиданія!!... а куда вы ко мнѣ придете?...

— Къ вамъ на домъ, въ вашъ домъ.

— Въ мой домъ?... хорошо, а гдѣ же мой домъ? а? гдѣ онъ, мой домъ, гдѣ?

— Въ улицу... извините, забылъ, такая мудреная улица, а у меня плохая память. Забылъ улицу, виноватъ, простите, забылъ.

— То то забыли; въ Полозовой улицѣ. Понимаете? а? теперь до свиданія! приходите же! придете?

— Приду, до свиданія!

— До свиданія! А куда вы ко мнѣ придете?

— Въ вашъ домъ въ Подрѣзову улицу.

— Такъ и есть! опять забыли. У васъ гадкая память. Трудно было бы вамъ, еслибъ васъ теперь опять въ школу — а?... трудно?

— Трудновато.

— Да, трудновато. Погодите, вотъ теперь не забудете моей улицы: слышите: Полозова, Полозова, Полозова. Смотрите.

Одинъ пріятель пополъзъ по проспекту на четверенькахъ.

— Теперь не забудете?

— Нѣтъ, не забуду...

Пріятели разошлись въ разныя стороны. Я думалъ, что ползающій пріятель мистифировалъ другаго, пошелъ нарочно искать и нашелъ Полозову улицу; но сколько ни разспрашивалъ у жителей, отъ чего такое странное названіе у этой улицы? всѣ, будто сговорясь, отвѣчали: „А такъ, обыкновенно названіе такое; какой же ей быть, коли не Полозовой?“

На счетъ улицы Андрея Петровича, или Андрей Петровой я былъ немного счастливѣе.

Говорятъ, въ этой улицѣ жила когда то счастливая чета, словно взятая живьемъ изъ романовъ Лафонтена. Мужъ, Андрей Петровичъ, такъ любилъ жену, что и представить себѣ невозможно, а жена, Аксинья Ивановна, такъ любила мужа, что и вообразить невозможно (такъ выражалась раскащица Андрея Петровой улицы); вдругъ ни съ того ни съ другаго мужъ померъ, а жена осталась и тоже выкинула штуку: съѣхала съ ума съ печали, и вообразила, что она не Аксинья Ивановна, а Андрей Петровичъ, что Андрей Петровичъ не умеръ, а только обратился въ нее, Аксинью, а въ существѣ остался Андреемъ Петровичемъ.

На свою прежнюю кличку она не откликалась, а когда ей говорили: „Андрей Петровичъ!“ она всегда отвѣчала: *Ась?* и ходила въ мужскомъ платьѣ.

Народъ сходился смотрѣть на новаго Андрея Петровича и прозвалъ улицу Андрея Петрова.

(NB. Это одна изъ улицъ, куда извощики ни весной, ни осенью не везутъ, боясь грязи).

Еще замѣчательна на Петербургской Сторонѣ одна изъ Зеленныхъ улицъ; она широка, обсажена большими деревьями и имѣетъ ворота при выѣздѣ, такъ что цѣлую улицу можно запереть на замокъ, будто одинъ дворъ.

А прочія, несмотря на свое разное названіе, носятъ одинъ родственный отпечатокъ: вездѣ одинаковые или почти одинаковые домики съ мезонинами и безъ мезониновъ, палисадники въ два куста сирени или желтой акаціи, вездѣ молочныя лавочки № 1 и въ лавкѣ бороды, продающія чай и шелкъ не на золотники и лоты, а на четвертаки, пятаки и другую монету, принимая ихъ за вѣсъ, чему туземцы ни мало не удивляются.

Жители Петербургской Стороны обыкновенно обѣдаютъ дома; такъ называемой трактирной жизни здѣсь нѣтъ. Всякій женатый человѣкъ держитъ кухарку, которая кормитъ его, закупая припасы на Сытномъ рынкѣ, вѣроятно, названномъ такъ потому, что на немъ, кромѣ говядины, мучнаго товара и зелени, ничего другаго не отыщете.

— А медъ, а грибы, а прочее? кричитъ обитатель Петербургской Стороны.

— Медомъ и грибами можно быть сыту. Что же прочее?

— Напримѣръ: стекло, ведра, всякая деревянная посуда, гвозди — это все есть на Сытномъ рынкѣ.

Объ этомъ я спрашивалъ извѣстнаго корнеслова и онъ вотъ что отвѣчалъ мнѣ:

„Я зналъ одного храбраго человѣка, который, выпивъ рюмку водки, съѣлъ самую рюмку т. е. стекло, иначе, говоря риторическимъ слогомъ, выпивъ содержимое, съѣдалъ содержащее и оставался невредимъ. У меня была лошадь, которая имѣла привычку грызть ведра и всякую деревянную посуду. Итакъ, одни только гвозди кажутся матеріаломъ, немного не съѣдомымъ. Ну, да нѣтъ правила безъ исключенія!“

Такъ точно и я считаю исключеніемъ немногихъ холостяковъ, держащихъ на Петербургской Сторонѣ кухарокъ, слѣдовательно, имѣющихъ у себя дома свой столъ; а вообще холостяки нанимаютъ у женатыхъ комнату съ прислугой и столомъ за 30 руб., а иногда и за 25 руб. ассигнаціями въ мѣсяцъ. Вамъ дадутъ за эту цѣну низенькую комнатку въ 1-мъ этажѣ, съ ходомъ черезъ кухню, или на мезонинѣ, куда вы подымаетесь по крутой, темной, деревянной лѣстницѣ со скрипомъ. Утромъ дѣвка или баба принесетъ вамъ воды умыться, поставитъ самоваръ, иногда почиститъ сапоги, иногда вымететъ комнату, и почти всегда въ урочное время поставитъ передъ вами щи, еще что нибудь, и еще что нибудь.

Но по большей части жильцы обѣдаютъ вмѣстѣ съ хозяевами, свыкаются съ ними и составляютъ одно мирное семейство. Обѣдъ вообще состоитъ изъ трехъ кушаньевъ. Комната обыкновенно бываетъ оклеена обоями фіолетоваго или буро зеленаго цвѣта съ разными сценами изъ миѳологіи.

(NB. Это самые дешевые обои; ихъ покупаютъ домохозяева въ лавочкѣ на Садовой, недалеко отъ Щукина Двора, платятъ по $2^1/_2$, иногда и по 2 копейки серебромъ за кусокъ и украшаютъ ими комнаты своихъ жильцовъ.)

Иногда еще въ щеляхъ подъ обоями бываютъ своего рода неприхотливые жильцы; иногда отъ оконъ сильно дуетъ; иногда, стѣны ли промерзаютъ или отъ какой другой тайной причины, бываетъ просто холодно въ комнатѣ; но это случайности, правда, частыя, а все таки случайности.

Жители Петербургской Стороны рѣдко принимаютъ къ себѣ жильцовъ съ чаемъ. „Чай дѣло дорогое“, обыкновенно говорятъ отдающіе квартиру: „къ вамъ пожалуютъ, милостивый государь, гости; гости чай любятъ, а взять съ васъ дорого не приходится, да вы и не дадите. Да и вамъ: то нальемъ несладко, то сладко, возникнутъ неудовольствія!... Боже мой! а у меня такая натура, что мнѣ это ножъ вострый въ сердце; я люблю обходиться съ благородными людьми дружественно. А вотъ, вамъ самоваръ поставитъ Авдотья на мой счетъ, и за уголья ничего не положу, хоть нонече, правду сказать, уголья стали дороги, рѣдкостны... Да съ, вотъ вамъ комната; ею останетесь довольны, добрая комната... Не на улицу окнами, я не стану скрывать, за то прямо на солнце: для цвѣтовъ очень полезно, да и птичка, если у васъ есть, станетъ пѣть цѣлый день. Пожалуй, и нахлѣбникомъ я васъ возьму; обѣдъ пристойный, безъ этихъ французскихъ бульоновъ, бефе, да всякихъ артишоковъ, а пристойный штабъ-офицерскій обѣдъ, смѣю сказать; я самъ люблю пообѣдать; у меня, что я ѣмъ, то и нахлѣбникамъ, а чай уже свой имѣйте: и для васъ выгоднѣе, и для меня спокойнѣе.

Недалеко отъ корпусовъ живутъ унтеръ-офицерши, держащія коровъ, и пускаютъ къ себѣ жильцовъ, или такъ называемыхъ нахлѣбниковъ рублей за пятнадцать или за семнадцать съ полтиной на ассигнаціи въ мѣсяцъ. Здѣсь даютъ человѣку мѣсто для кровати въ общей комнатѣ съ хозяевами и кормятъ его ежедневно обѣдомъ и ужиномъ большею частію молочнымъ.—Подобныя квартиры почти всегда занимаютъ юноши.

Люди пожилые, съ просѣдью, съ цвѣтомъ лица красноватымъ, презираютъ молочную пищу, говорятъ, что они давно вышли изъ пеленокъ, и платя гдѣ нибудь за уголъ рубль серебромъ, обѣдаютъ постоянно у мелочнаго лавочника, за гривенникъ въ день. Странно, что ни одинъ лавочникъ не возьмется кормить васъ обѣдомъ помѣсячно, и всегда на подобное предложеніе отвѣчаетъ:

— Статочное ли дѣло, у насъ не *растеряція*— гдѣ у насъ обѣдъ! мы и сами обѣдаемъ что Богъ послалъ.

А приходите къ нему каждый день, и онъ съ удовольствіемъ дастъ покушать своихъ щей или пирога и студню съ хрѣномъ и квасомъ, и возьметъ за обѣдъ гривенникъ.

Люди, недавно переѣхавшіе на Петербургскую съ той стороны или изъ провинціи, пока еще не опознаются на мѣстѣ и не поймутъ нравовъ жителей, берутъ обѣды у единственнаго какого то кухмистера и платятъ по рублю ассигнаціями за обѣдъ изъ четырехъ кушаньевъ. Кушаньевъ, правда, дается четыре, какъ ни считай, хоть съ супа до пирожнаго, хоть съ пирожнаго до супа включительно; но человѣкъ не больной, съѣвшій всѣ четыре кушанья, если не заболѣетъ, то, по какому то странному закону природы, получаетъ позывъ на ѣду и начинаетъ думать: какъ бы мнѣ,

или гдѣ бы мнѣ сегодня еще разъ пообѣдать?

Проѣзжая по одной изъ довольно большихъ улицъ Петербургской Стороны, вы увидите на углу этой улицы и перпендикулярнаго къ ней переулка, большой шестъ съ прибитой къ нему доской темно сине зеленовато сѣраго цвѣта; на доскѣ большими желтыми буквами написано: *Кухмистеръ... овъ пріуготовляетъ*—и болѣе ничего. Величина ли доски не позволила окончить надпись, или старикъ Сатурнъ, пролетая надъ Петербургской Стороной, задѣлъ косой за эту вывѣску и отбилъ любопытное поясненіе: что *пріуготовляетъ кухмистеръ?* во всякомъ случаѣ, вещь или снадобье, которое пріуготовляетъ... овъ, остается загадкой для публики. Впрочемъ, человѣкъ, одаренный способностью мышленія и соображенія, особливо голодный, можетъ легко сообразить, что хотя кухмистеру и не запрещено *пріуготовлять* пикъ, ваксу, фейерверкъ и что нибудь подобное, однако всего ближе ему *пріуготовлять* кушанье. На этомъ основаніи, догадливый читатель можетъ своротить съ улицы въ узкій переулокъ и болѣе помощію обонянія, нежели зрѣнія отыскать жилище кухмистера. Это жилище—деревянный бревенчатый домикъ въ два этажа. Хозяинъ, то есть, кухмистеръ, встрѣтитъ васъ въ пріемной комнатѣ въ два окна на дворъ; надъ окнами висятъ клѣтки; въ клѣткахъ чиликаетъ чижикъ и поетъ дѣтскій жаворонокъ; между окнами стоитъ столъ, накрытый скатертью не въ первой чистотѣ; подлѣ стола два стула, обтянутые кожей: противъ—кожаный диванъ; надъ нимъ зеркало. Здѣсь кухмистеръ принимаетъ своихъ посѣтителей, увѣряетъ ихъ, что на Петербургской Сторонѣ только и можно кушать именно у него, что онъ за поясъ заткнетъ французовъ, что французы только хвастаютъ, а русскій ихъ всегда осилитъ и очень ловко приводитъ въ примѣръ этому войну 12 года. Языкъ и выраженія кухмистера тихи, гибки, убѣдительны, какъ человѣка, который хочетъ понавѣдаться о здоровьѣ вашего кармана.—Получая плату на обѣдъ за мѣсяцъ впередъ, кухмистеръ уже выражается рѣзче, какъ русскій человѣкъ, у котораго нѣкоторымъ образомъ вы въ рукахъ. Если человѣкъ, получающій обѣдъ, поймаетъ въ супѣ таракана и представитъ его кухмистеру съ замѣчаніемъ, что дескать это лишнее, я за это и денегъ не платилъ, тогда кухмистеръ отвѣчаетъ:

— Это такъ себѣ.

— Какъ такъ себѣ? просто гадость!

— Что вы? какъ гадость! благодаря Бога, мы за гадость денегъ не беремъ!

— Это тараканъ!

— Какой тараканъ! таракана мы бы увидѣли и сами, это просто побѣгушечка...

Если еще продолжаютъ спорить, то кухмистеръ начинаетъ грубить, замѣчаетъ, что онъ невиненъ, если на кухнѣ завелись тараканы, и для всякаго не намѣренъ перемѣнять квартиры. „А впрочемъ: коли случится что такое въ кушаньѣ, то, пожалуй, пришлите—я перемѣню“, прибавилъ онъ подъ-конецъ немного мягче.

— На что оно вамъ?

— Въ хозяйствѣ сдастся; вотъ на печкѣ, въ другой комнатѣ, сидитъ слѣпой старикъ, мой отецъ—все съѣстъ, только подавай.

При концѣ мѣсяца, кухмистеръ даетъ кушанья лучше, порціи больше; иногда изумляетъ неожиданно курицей или вычурнымъ пирожнымъ или майонезомъ изъ дичи, который онъ называетъ галантиромъ. — Сейчасъ видно, что кухмистеру хочется завербовать васъ на другой мѣсяцъ.

На Петербургской Сторонѣ, какъ въ бѣдной части города, нѣтъ ни театровъ, ни фокусниковъ, ни звѣринцевъ, словомъ, никакихъ удовольствій, способствующихъ убить праздное время за деньги; да и вообще замѣчаютъ, что жители Петербургской Стороны не охотники до сценическихъ представленій и даже рѣдко посѣщаютъ Александринскій театръ. Мнѣ кажется, это обвиненіе несправедливо, а вѣрнѣе, что простынетъ хоть какая горячая охота отъ путешествія съ Петербургской Стороны въ Александринскій театръ по осенней сырости и слякоти или зимней вьюгѣ и морозу; но что петербуржцы въ свободные часы, какъ и всѣ люди, любятъ посмѣяться и поплакать отъ чужаго горя, этому служитъ доказательствомъ жажда, съ какою, говорятъ, они старались во время оно достать билетъ на представленія въ домашнемъ театрѣ — куда пускали и за деньги—какого то стараго весельчака, который устроилъ было театръ на Петербургской Сторонѣ.

Жилъ былъ, говорятъ, нѣкогда въ Петербургѣ на Петербургской Сторонѣ старикъ съ состояніемъ и чинами, старикъ превеселаго характера и предоброй души. Его Богъ не благословилъ законными дѣтьми, за то старикъ держалъ у себя полонъ домъ воспитанницъ, любилъ ихъ, какъ родныхъ, любовался ими и не могъ на нихъ насмотрѣться.

Какъ то въ день имянинъ старика воспитанницы ему сдѣлали *сюрпризъ*, одѣлись не то пастушками, не то богинями, словомъ, драпировались какъ то въ родѣ женщинъ на картинкахъ древней греческой миѳологіи, надѣли на голову вѣнки, въ руки взяли подносъ и поднесли на немъ

въ подарокъ именинницу своей работы кошелекъ... При этомъ хоромъ запѣли стихи, написанные по случаю именинъ какимъ то старымъ учителемъ:

Твое къ тебѣ обратно притекаетъ,
Пріими къ душѣ пылая пылъ сердецъ!
Отъ Пинда даръ къ тебѣ здѣсь привлекаетъ
Сонмъ дѣвъ, прими ихъ трудъ ты какъ отецъ!
Хоть богинями одѣты,
Любимъ мы тебя, какъ дѣти;
Намъ подобныхъ сыщешь гдѣ ты?...

Старику очень понравились и кошелекъ, и пѣсня, и костюмировка воспитанницъ; эта новость пріятно расшевелила его засыпавшія чувства; онъ расцѣловалъ богинь и тутъ же далъ себѣ слово устроить театръ. Театръ былъ устроенъ очень недалеко отъ Малаго проспекта и улицы, ведущей къ Крестовскому перевозу. Для этого очистили обширный мучной амбаръ, возвысили сцену, сдѣлали углубленіе для оркестра, изъ дешевыхъ обоевъ состроили декораціи, занавѣсъ былъ изъ бѣлаго холста, подымался и опускался какъ стора; на немъ была изображена огромная одинокая лира; вокругъ лиры не было ни обычныхъ облаковъ, ни лаврового вѣнка, ни даже цвѣточной гирлянды. Въ театрѣ были поставлены простыя бѣлыя, длинныя скамьи изъ досокъ, мѣста на скамейкахъ не были раздѣлены ни чѣмъ. Но на нихъ были написаны нумера, такъ что каждый посѣтитель садился на нумеръ; нумеровъ было до ста; прямо противъ сцены красовалась ложа учредителя театра, обклеенная дешевыми обоями; надъ партеромъ висѣла деревянная звѣзда; въ нее ставили обыкновенно шесть свѣчекъ; это называлось люстрой. Кромѣ этого въ оркестрѣ четыре свѣчки. Оркестръ состоялъ изъ двухъ скрипокъ и баса; иногда баса замѣняла флейта или кларнетъ. Музыканты были аматеры. На сценѣ, кромѣ воспитанницъ учредителя, играли знакомые чиновники и старый учитель, говорятъ, неподражаемый комикъ. Этотъ театръ, разумѣется, сначала былъ домашнимъ, но впослѣдствіи, говорятъ, можно было получать билеты и за деньги.

Даромъ ли, за деньги ли, но театръ всегда былъ полонъ, громкія рукоплесканія и *браво* явно говорили за удовольствіе зрителей. Онъ оживлялъ однообразіе Петербургской стороны; объ немъ говорили, спорили и когда, со смертію учредителя, закрылись представленія, то всѣ не въ шутку загрустили. Вскорѣ послѣ этого подоспѣло наводненіе; объ немъ говорили въ свою очередь; оно сдѣлалось современною новостію и театръ былъ позабытъ, какъ и все на свѣтѣ. Мнѣ кажется, что на Петербургской могъ бы существовать театръ не дорогой, чисто народный; для него бы нашлись своя публика и свои пьесы, сообразныя съ потребностью, вкусомъ и мѣстными отношеніями жителей. Иногда на Петербургской сторонѣ полковые музыканты и кантонисты представляютъ у себя въ казармахъ разные водевили. Какъ они играютъ, объ этомъ судить не наше дѣло, но всегда всѣ мѣста въ этихъ театрахъ бываютъ заняты и много публики печально возвращается домой, немогши достать билетовъ. Обыкновенно здѣсь за первыя мѣста платятъ 80 коп. сер., а за послѣднія гривенникъ. Кухарка, обсчитывающая господина, лакей-пройдоха и т. п., являясь на сценѣ, находятъ здѣсь живое сочувствіе.

Почти рядомъ съ театромъ какой-то аферистъ выстроилъ во время оно на Петербургской Сторонѣ на Маломъ проспектѣ деревянный гостиный дворъ—и до сихъ поръ стоитъ это зданіе съ колонадой вокругъ, почернѣлое, ветхое, снутри разобранное, но снаружи сохраняющее еще всѣ наружныя формы. Очень грустное чувство наводитъ это зданіе, стоящее, лучше сказать, разрушающееся посреди маленькихъ домиковъ и грязныхъ улицъ; все въ немъ мертво, черно; окна и двери страшно темнѣютъ, словно глазныя ямы на мертвомъ черепѣ. Ни жизни, ни звука въ этихъ развалинахъ, только иногда, проходя мимо вечеромъ, услышишь осторожный трескъ, потомъ сопъ и гдѣ-нибудь покажется изъ двери оборванная дѣвчонка, украдкой тянущая полугнилую доску или бревно, да иногда изъ-подъ фундамента залаетъ на проходящаго какая-то собака.

Собственныхъ лошадей и экипажей на Петербургской очень мало, и то почти только по Большому проспекту, къ Тучкову мосту, и въ окрестностяхъ кадетскихъ корпусовъ. Петербуржцы болѣе ѣздятъ на извощикахъ, а еще болѣе любятъ ходить пѣшкомъ; отъ этого извощиковъ очень мало на Петербургской Сторонѣ: весной, осенью и зимой часу въ 9-мъ вечера вы не найдете рѣшительно ни одного извощика, развѣ на Большомъ проспектѣ, да и то не всегда; еще зимой стоятъ нѣсколько санокъ въ Малой-Дворянской, у домика Петра Великаго, откуда они перевозятъ черезъ Неву на ту сторону къ Гагаринской пристани и къ Мраморному дворцу.

Трактировъ и кафе-ресторановъ, гдѣ бы можно было пообѣдать или позавтракать, на Петербургской рѣшительно не имѣется; правда, на Большомъ проспектѣ,

у Сытнаго рынка, и въ Большой-Дворянской есть нѣсколько вывѣсокъ съ надписью, *въ ходъ взавѣдніе*, но въ нихъ только пьютъ чай извощики и простой народъ. Одно изъ этихъ *завѣдній*, стоящее почти у самаго Самсоновскаго моста, называется *Мысъ Доброй Надежды;* здѣсь когда-то, очень давно, бывало, кутятъ выпускные студенты Медицинской Академіи.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, вдругъ нежиданно на углу Малаго проспекта и улицы, ведущей къ Крестовскому перевозу, появилась вывѣска съ надписью *Кондитерская*; она красовалась, привлекала вниманіе проѣзжавшихъ и проходившихъ по воскресеньямъ на Крестовскій островъ, и, простоявъ нѣсколько мѣсяцевъ, внезапно скрылась, исчезла. Содержалъ эту кондитерскую какой-то хромой великанъ наполеоновской службы; хвалилъ своимъ посѣтителямъ Наполеона, со слезами на глазахъ показывалъ портретъ, висѣвшій за стекломъ въ углу кондитерской, и очень мало продавалъ своихъ издѣлій.

Я думаю, многіе помнятъ этотъ удивительный портретъ, просто сказать, лубочной гравировки картину, на которой былъ представленъ Наполеонъ во весь ростъ, вершка въ полтора величиной, въ узкихъ брюкахъ, съ руками какъ-то нелѣпо заложенными въ брюки. Въ жаркій лѣтній день послѣ обѣда, гуляя по Петербургской Сторонѣ, я зашелъ въ эту кондитерскую и спросилъ порцію мороженаго. „Слушаю-съ“ сказалъ мальчикъ, стоявшій у прилавка, и опрометью бросился изъ комнаты.

Прошло минутъ десять; *я* успѣлъ препорядочно разсмотрѣть картину, изображающую Наполеона, изумился храбрости, съ какою были придѣланы руки къ брюкамъ, а мальчишку все не было; наконецъ, дверь отворилась, вошла довольно пожилая женщина въ чепчикѣ и уставила на меня вопрошающіе глаза.

— Скоро ли будетъ мороженое?

Женщина молча вышла.

Немного погодя, дверь полуотворилась; изъ-за нея высунулась лысая голова хозяина кондитерской, пожилаго человѣка. Я опять спросилъ мороженаго. Голова исчезла, а явился мальчикъ и объявилъ, что мороженое не заморозилось и будетъ не раньше, какъ черезъ два часа. Я спросилъ лимонаду. Мальчикъ побѣжалъ очень скоро и пропалъ; опять вышла прежняя женщина и сказала мнѣ, что лимонадъ вышелъ.

— Дайте хоть оршаду!

Женщина ушла и явилась сначала лысая голова хозяина, а за ней туловище, одѣтое въ сѣрый нанковый сюртукъ. Хозяинъ, прихрамывая, подошелъ ко мнѣ и заговорилъ какими-то странными звуками въ родѣ тѣхъ, какъ уличные мальчишки дразнятъ въ подворотню собакъ.

— Что такое?

— Оршеадъ кисъ-кисъ, оршеадъ скисъ и проч... Всилу я догадался, что оршадъ скисъ, и хозяинъ на пренепонятномъ русскомъ нарѣчіи предложилъ мнѣ выпить чашку шеколаду или стаканъ воды съ сахаромъ.

Такъ дебютируя, новая кондитерская не могла долго существовать, что и случилось; но къ удивленію всѣхъ, вывѣска, исчезнувъ съ Малаго проспекта, какъ добрый нырокъ, вдругъ явилась на Большомъ. Здѣсь подъ тою же вывѣскою также ничего нельзя было отыскать, также за дверью висѣла гравюра, также на гравюрѣ рисовался въ мундирѣ Наполеонъ, съ руками запущенными въ брюки, и хромой, лысый хозяинъ по старому мало продавалъ и много разсказывалъ про Наполеона.

Кромѣ обыкновенныхъ церковныхъ праздниковъ и торжественныхъ дней, большинство публики на Петербургской Сторонѣ, состоящее изъ чиновниковъ, служащихъ въ сенатѣ, въ губернскихъ мѣстахъ и т. п., имѣетъ свой праздникъ, продолжающійся нѣсколько дней, растягивающійся или укорачивающійся, смотря по силѣ мороза; этотъ праздникъ—*рѣкоставъ*.

Если осенью утромъ вы увидите на первой линіи Васильевскаго острова необыкновенныя толпы людей прилично одѣтыхъ, которые, смѣясь и весело разговаривая, тянутся отъ Исакіевскаго перевоза къ Тучкову мосту, неся подъ мышками портфели и бумаги, то можете быть увѣрены, что праздникъ начался, и что ледъ на Невѣ если не сталъ, то рѣшительно не позволяетъ переправиться на ту сторону... Иногда этотъ праздникъ продолжается цѣлую недѣлю и болѣе. Въ это время начинаются у жителей Петербургской Стороны визиты, вечеринки, дружескій преферанчикъ, танцы и разныя удовольствія, словно на святкахъ, несмотря на дороговизну жизненныхъ припасовъ.

Жизненные припасы, особливо говядина, въ это время возвышаются въ цѣнѣ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, до постройки постояннаго Тучкова моста, на Петербургской во время рѣкостава бывала дешева дичь, потому что деревенскіе жители, привозя дичь, не могли переправить ее на ту сторону и должны были сбывать на Петербургской, а Петербургская Сторона не любитъ набивать цѣны; но теперь и этого

не случается — островъ закупаетъ все и платитъ хорошо.

Не говоря о торжественныхъ случаяхъ, напримѣръ свадьбахъ, именинахъ значительныхъ лицъ и т. п., гдѣ бываетъ музыка, вообще жители Петербургской Стороны на своихъ вечерахъ пляшутъ подъ фортепьяно; здѣсь не играетъ, какъ напримѣръ, въ Коломнѣ, нанятый за три цѣлковыхъ на всю ночь франтъ-нѣмецъ, а по большей части какая-нибудь старая *дѣвица* по родству, по знакомству, по пріязни, по различнымъ отношеніямъ, иногда просто за старое платье, за фунтъ кофе или за полтинникъ; она играетъ роль среднюю между мужчиной и женщиной; ей *дѣвицы* шепчутъ всякія тайны и *кавалеры* говорятъ что-то въ полголоса, а она, то погрозитъ пальцемъ на розовое платьице, то сдѣлаетъ гримасу вицъ-мундиру, то поглядитъ на синій фракъ и значительно сведетъ съ него глаза на хозяйскую дочку и заиграетъ галопадъ: все закружится, запляшетъ, и синій фракъ галопируетъ съ хозяйской дочкой...

Но чаще всего обходятся танцовальные вечера даже и безъ дешевой музыкантши, а играетъ хозяйка или хозяйская дочь, или сестра, очередуясь съ какой-нибудь родственницей, или пріятельницей: въ такомъ случаѣ, послѣ каждой кадрили, дѣвушки спѣшатъ благодарить игравшую; кто ей дѣлаетъ реверансъ, кто жметъ руки, кто, ни съ того ни съ другаго, цѣлуетъ ее прекрѣпко—это дѣлаютъ по большей части дѣвушки, танцовавшія *съ кавалеромъ по душѣ*. Кавалеры тоже благодарятъ музыкантшу; нѣкоторые острятъ при этомъ случаѣ, а нѣкоторые очень простодушно говорятъ:

— Извините, сударыня, мы васъ совсѣмъ замучили.

— Напротивъ, мнѣ очень пріятно, отвѣчаетъ *она* еще простодушнѣе.

Въ домахъ, гдѣ нѣтъ фортепьянъ, а есть дѣвушка, часто пляшутъ подъ скрипку. Въ такихъ домахъ никогда не переводится знакомство съ скрипачемъ. Еще иногда пляшутъ подъ гитару; но это больше случается на холостыхъ вечеринкахъ. Тамъ часто слышится удалая пѣсня, отчаянные аккорды гитары и присвисточка и звонъ стакана; но Богъ съ ними! этихъ вечеровъ мы не станемъ описывать.

Послѣдняя степень танцевъ бываетъ просто *подъ языкъ*. Я не шутя говорю это. Человѣкъ—странное животное, ему когда весело, онъ запляшетъ и подъ языкъ; еще, пожалуй, самъ станетъ и плясать, и напѣвать для себя танецъ.

О подобномъ вечерѣ на Петербургской Сторонѣ вотъ что разсказывалъ мнѣ одинъ знакомый туземецъ:

— Сошлись какъ-то мы въ Дмитріевъ день на именины къ нашему добрѣйшему Дмитрію Дмитріевичу... Вѣдь вы его знаете?

— Нѣтъ.

— Очень жаль: всѣ знаютъ Дмитрія Дмитріевича; онъ добрый малый, старый холостякъ и большой охотникъ до фонтановъ. Вотъ пришли мы къ нему на именины посидѣть вечеромъ; пришло насъ человѣка четыре, да пришелъ его добрый старинный пріятель и кумъ, даже другъ, можно сказать, полицейскій офицеръ съ женою. Дмитрій Дмитріевичъ крестилъ всѣхъ дѣтей у этого офицера, такъ вотъ къ куму и привелъ, знаете, по родству, офицеръ свою жену и трехъ дочерей, крестницъ Дмитрія Дмитріевича, дѣвушекъ уже взрослыхъ. Хотя Дмитрій Дмитріевичъ живетъ холостякомъ, ну, да онъ человѣкъ пожилой, притомъ же кумъ,—не грѣхъ его навѣстить дѣвицамъ въ торжественный день. Жена офицера принесла куму въ подарокъ чайную чашку съ золотой надписью: *въ знакъ любви!* Кумъ былъ очень радъ, поставилъ чашку на комодъ въ гостиной и всѣмъ ее показывалъ; всѣ осматривали чашку, читали надпись и поздравляли именинника съ подаркомъ, а сосѣдъ Иванъ Ивановичъ, поставивъ ее на ладонь, легонько пощелкалъ по ободочку указательнымъ пальцемъ и, прислушавшись къ звону, сказалъ, что подарокъ цѣнный, крѣпкій и навѣрное проживетъ лѣтъ сотню, если его не разобьютъ. Всѣ очень смѣялись этому. Иванъ Ивановичъ большой весельчакъ и душа компаніи.—Хозяинъ тутъ же приказалъ подавать чай. Послѣ чаю выпили по рюмкѣ мадеры, не какой-нибудь мадеры, а отличной, буцовской, вотъ съ угла Большого проспекта. Выпивши, мы принялись за карты, а дамы за пастилу.

„Дмитрій Дмитріевичъ любитъ, чтобъ у него было весело, а тутъ видитъ, что дамы съѣли всю пастилу, да имъ уже и дѣлать больше нечего; видимо, норовятъ уйти домой, уже и перчатки старуха натягиваетъ. „Куда вы, кума?“ говоритъ онъ: „да я васъ не пущу! да у меня есть пирогъ съ угремъ и визигой“. Кума отговариваться, кумъ упрашивать, подняли такой шумъ и крикъ, что я уже не могу хорошенько доложить вамъ, кто изъ нихъ первый въ этомъ содомѣ заговорилъ о танцахъ; слышу, что Дмитрій Дмитріевичъ проситъ Ивана Ивановича поиграть на скрипкѣ. Послали къ Ивану Ивановичу за скрипкой; но скоро пришелъ посланный безъ скрипки. Кухарка, говоритъ, Ивана

Ивановича ушла куда-то въ гости, заперла квартиру и ключъ унесла. Послали еще къ кому-то за скрипкой и тамъ не достали... а офицерскія дочки давай дуться: — „мы бы, говорятъ, сегодня у Дмитрія Осиповича цѣлый вечеръ танцевали“. Тутъ Иванъ Ивановичъ показалъ себя; составилъ четыре пары, уставилъ ихъ, какъ слѣдуетъ въ кадриль, и давай напѣвать кадриль, знаете, изъ тирольскихъ пѣсенъ. Всѣ много смѣялись, говорили: „вотъ смѣшно! ужасъ какъ смѣшно“, а все-таки плясали. Дмитрій Дмитріевичъ былъ въ восторгѣ, что кума и ея три дочери прыгали по гостиной. Въ 6-й фигурѣ, Иванъ Ивановичъ изобрѣлъ новую какую-то фигуру, безпрестанно напѣвая:

Ужъ кутить, такъ кутить,
Я женюсь, такъ и быть.

Дмитрій Дмитріевичъ не плясалъ, а слыша часто, что Иванъ Ивановичъ, толкая дамъ то въ ту, то въ другую сторону, кричалъ: *шенъ, крестъ, шенъ, крестъ!*—въ восторгѣ подпѣвалъ на тотъ же голосъ:

Кума шенъ, кума крестъ,
Кума шенъ, кума крестъ.

И вдругъ, не теряя такта, завопилъ страшнымъ голосомъ на тотъ же мотивъ:

Кума, дальше отъ комода!
Кума, чашку разобьешь!

„Оканчивая послѣдній стихъ, онъ сильно потянулъ куму за обѣ руки отъ комода, но уже было поздно: кума растанцовалась, забыла о тѣснотѣ комнаты, о комодѣ и, выдѣлывая какіе-то па, все пятилась къ комоду, пока не столкнула съ него спиной чашки.

„Кадриль кончился печально. Хозяинъ принялъ *разбитіе чашки* на комодѣ за дурной знакъ, немного даже прихворнулъ, но черезъ недѣлю оправился; только и осталось, что между пріятелями и теперь называютъ Дмитрія Дмитріевича: *Ахъ, ты, кумашенъ этакой!..*“

Описывая разсказъ моего знакомаго о Дмитріѣ Дмитріевичѣ, охотникѣ до фонтановъ, я вспомнилъ, что точно видѣлъ на Петербургской Сторонѣ небольшой садъ, съ разными дѣтскими бесѣдочками изъ хмѣля и другихъ вьющихся растеній; почти передъ каждой бесѣдкой этого сада да и такъ, просто на перекресткахъ дорожекъ, были фонтаны или лучше сказать пародіи на фонтаны, потому что они брызгали не выше полуаршина отъ земли, иной струей въ ниточку, а иной въ снурокъ, какимъ обыкновенно обвязываютъ сахарныя головы. Эти гидравлическія игрушки были устроены самимъ хозяиномъ дома, безъ помощи ученыхъ механиковъ, просто по русской смѣтливости. Хозяинъ, какой-то кажется, титулярный совѣтникъ, чуть ли не по счетной части, насмотрѣлся въ Петергофѣ на фонтаны и, имѣя маленькій домъ и садикъ, захотѣлъ непремѣнно обзавестись фонтанами у себя дома; но для этого потребовалась вода, да еще стоящая выше уровня сада. Провесть воду издалека рѣшительно было невозможно для бѣднаго домохозяина; оставалось одно: устроить огромный резервуаръ, вырыть колодецъ и накачивать изъ колодца воду; но это требовало издержекъ единовременныхъ на устройство колодца и машины и всегдашнихъ на работника для накачиванія воды, а фонтановъ очень хотѣлось титулярному совѣтнику. Вотъ онъ и пустился на хитрости: съ своего дома, съ конюшенъ и со всѣхъ сараевъ свелъ водосточныя трубы въ одну огромную бочку, которая служила резервуаромъ; отъ бочки провелъ жестяныя трубочки по всему саду, и фонтаны были готовы. При обычныхъ дождяхъ въ Петербургѣ, на скудость которыхъ намъ грѣшно на Бога жаловаться, фонтаны титулярнаго совѣтника брызжутъ себѣ по маленьку зелененькой водицей —и хозяинъ доволенъ, и гости не насмотрятся на хитрую выдумку.

Кстати, говоря о фонтанахъ собственнаго произведенія, нельзя не упомянуть о множествѣ прекрасныхъ рукодѣлій, дѣлаемыхъ на Петербургской Сторонѣ. Здѣсь бѣдные чиновники въ свободное отъ службы время часто занимаются разными полезными предметами: кто клеитъ изъ картона прекрасныя вещи, кто раскрашиваетъ эстампы, кто лѣпитъ изъ воску разныя фигуры, кто разводитъ цвѣты, и эти, повидимому, бездѣльныя занятія при казенномъ жалованьи даютъ средства недостаточнымъ чиновникамъ существовать безбѣдно.

На Петербургской есть чиновникъ, имѣющій у себя превосходную коллекцію кактусовъ, едва ли не единственную въ Петербургѣ; онъ занимается этимъ предметомъ съ любовью, покупаетъ дорого рѣдкіе виды привозныхъ кактусовъ, самъ выписываетъ изъ-за-границы и, разводя у себя на Петербургской Сторонѣ, продаетъ ихъ почти за безцѣнокъ.

У насъ до сихъ поръ по какому-то нелѣпому предразсудку, часто по ложному стыду, чиновные люди считаютъ за униженіе открыто продавать что-нибудь своей работы и никогда въ томъ не признаются; между тѣмъ, понуждаемые бѣдностію, втихомолку продаютъ свои издѣлія за безцѣнокъ въ магазины, гдѣ вы заплатите за

нихъ вдесятеро. Не лучше ли заплатить за нихъ дешевле изъ первыхъ рукъ и для публики, и для продавателя? Кажется бы такъ, а попробуйте, не будучи коротко знакомы чиновнику, сказать ему: „переплетите мнѣ, Иванъ Ивановичъ, книгу, я вамъ заплачу, что будетъ стоить". Увидите, какъ обидится Иванъ Ивановичъ, какъ онъ будетъ готовъ или нагрубить вамъ, или на васъ пожаловаться за оскорбленіе.—И вы заплатите вашему переплетчику, положимъ, 5 рублей за книгу, которую для того же переплетчика переплететъ тотъ же Иванъ Ивановичъ за рубль мѣди. Вотъ почему переплетчикъ ходитъ зимой въ бекешѣ съ пятисотнымъ бобромъ на воротникѣ, а Иванъ Ивановичъ бѣгаетъ въ холодной шинелишкѣ, купленной за 50 рублей на Апраксиномъ дворѣ.

Часто мнѣ приходитъ въ голову, отъ чего люди совѣстятся продавать плоды своихъ трудовъ? и отъ чего не краснѣя продаютъ труды своего ближняго?

Подходя очень и своими строеніями, и нравами жителей къ провинціальнымъ городамъ, Петербургская Сторона не лишена общей провинціальной заразы: *сплетней*; на Петербургской это болѣзнь эпидемическая. Исключеній, разумѣется, наберется довольно, но все-таки это исключенія.

(NB. Я говорю о жителяхъ вообще и о женщинахъ въ особенности.)

Узелъ, гдѣ завязываются всѣ сплетни, резервуаръ, куда онѣ стекаются и откуда расходятся, есть мелочныя лавочки; сюда собираются кухарки съ новостями и рыночными и домашними; сюда заходитъ вдова-салопница купить на копѣйку сахару и оставить на сотню желчи на своихъ сосѣдокъ; сюда приходитъ заспанный лакей, и, продавъ на гривну бумаги, украденной у барина, разсказываетъ всю его подноготную; смѣтливая борода-хозяинъ продаетъ, покупаетъ, вѣситъ и привѣшиваетъ и не проронитъ ни одного слова—это ему нужно для соображенія по торговлѣ; онъ всегда знаетъ кому нужно дать въ долгъ и даже знаетъ, на сколько кому можно вѣрить.

Но съ перваго взгляда кажется всего удивительнѣе, что на Петербургской сторѣ всего вы узнаете—разумѣется, если захотите—всѣ семейныя тайны, всѣ отношенія, всѣ сердечныя печали и радости обитателей великолѣпныхъ палатъ той стороны. Это отъ весьма простой причины: камердинеры и другіе приближенные служители имѣютъ на Петербургской Сторонѣ или свои домики, или своихъ пріятелей; имѣютъ здѣсь связи, знакомства, посѣщаютъ общества, въ которыхъ важничаютъ важностью своихъ господъ, словно грачи въ павлиньихъ перьяхъ, и чтобъ заинтересовать, изумить бѣдняковъ, часто потѣшаютъ ихъ разсказами изъ жизни другой сферы, гдѣ ѣдятъ на золотѣ и фарфорѣ, постоянно одѣваются въ бархатъ и блонды, дышатъ ароматнымъ воздухомъ; но и тамъ все люди какъ люди, чаще плачутъ, нежели смѣются.

Съ удовольствіемъ, съ жадностію выслушиваютъ жители Петербургской Стороны тайны салоновъ и спѣшатъ передать ихъ своимъ ближнимъ и пріятелямъ, чтобъ удивить въ свою очередь ближнихъ и пріятелей.

Слуги вельможъ, иногда очень осторожные на той сторонѣ, считаютъ себя на Петербургской какъ бы за-границей, на другой землѣ, въ другой части свѣта и смѣло даютъ волю языку, часто даже для эффекта, на половину привирая къ истиннымъ фактамъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, причина сплетней на Петербургской вообще и сплетней о высшемъ кругѣ въ особенности.

Петербургская Сторона граничитъ съ одной стороны съ Крестовскимъ островомъ; ея набережная, противоположная Крестовскому, уставлена порядочными домиками, то-есть, дачами, окаймлена садами, гдѣ часто лѣтомъ бываютъ разныя неприхотливыя увеселенія; то горятъ бумажные китайскіе фонари, то играетъ музыка и тому подобное. Но описаніе этого края я отложу до другого времени; онъ составляетъ что-то общее съ Крестовскимъ и потому, я надѣюсь, мы съ нимъ еще встрѣтимся, уже говоря о Крестовскомъ. О Крестовскомъ можно поразсказать многое, была бы охота слушать.

19 сентября, 1844 г.

ІЕРУСАЛИМЪ.

Одно лѣто провелъ я въ Петербургѣ—и никогда не забуду этого лѣта. Мои знакомые разъѣхались: кто за границу, кто въ Гельсингфорсъ, кто въ Ревель; самые тяжелые на подъемъ выѣхали на дачи. Скука смертная. А между тѣмъ лѣтнее солнце немилосердно раскалило мощеныя камнемъ улицы и тротуары. Нестерпимо душно, подумаетъ человѣкъ, хоть бы вѣтерокъ дохнулъ. И вотъ онъ—легокъ на поминѣ—летитъ прямо вамъ въ глаза и засыпаетъ ихъ самою тонкою, рѣзкою каменною пылью. Поневолѣ попросишь дождя. Странное существо человѣкъ: ему ничѣмъ не угодишь! Пошелъ дождикъ; немного стало веселѣе; три березки въ саду моего сосѣда перемѣнили прежній сѣроперѣгій цвѣтъ на блѣднозеленый; разныя незнакомыя лица начали выносить на дождикъ разные горшки съ цвѣтами; на улицахъ появились зонтики, мокрыя бороды, мокрыя дрожки, слегка подобранныя платья, вывороченные плащи, шляпы, покрытыя носовыми платками; подъ воротами составились небольшія общества. Городъ пріятно перемѣнился.

Вы сидите у окна часъ, другой, все та же панорама: все идетъ дождикъ; однообразными косыми нитями снуетъ онъ передъ вашими глазами, однообразно шумитъ вода съ кровельнаго жолоба, а тутъ, на бѣду, прямо противъ васъ, черезъ улицу, какой-то мастеровой, въ красной рубахѣ, взобравшись на крышу пятаго этажа, заколачиваетъ гвоздь и тянетъ не приведи Господи какую заунывную пѣсню. Пора бы и перестать, думаете вы. Какъ бы не такъ; мастеровой, пожалуй, перестанетъ, когда пойдетъ обѣдать, а дождь въ Петербургѣ скоро не унимается... Туча, кажется, прошла, вздохнешь свободнѣе, а отъ Коломны подымается другая еще сильнѣе прежней. Эта пройдетъ, отъ Васильевскаго острова пожалуетъ третья, за ней четвертая и такъ далѣе, одна за другую впрыскиваетъ добрый Петербургъ—черезъ часъ по ложкѣ, какъ говоритъ одинъ аллопатъ. И дождь скученъ!

Поѣхалъ къ одному знакомому на дачу—тамъ тотъ же городъ: стриженыя деревья, люди, разодѣтые какъ на балъ, чай съ дурными сливками и, въ заключеніе, французская кадриль подъ фортепьяно. На другой дачѣ все народонаселеніе играло въ преферансъ.

— Вы, кажется, не играете, сказалъ мнѣ хозяинъ.

— Не играю.

— Такъ гуляйте, будьте какъ дома; у насъ сущая деревня, безъ церемоніи...

Я ушелъ въ рощу и отъ нечего дѣлать выстрѣлилъ по воробью. Минутъ черезъ пять прибѣжалъ хозяинъ, блѣдный, встревоженный, съ пиковымъ тузомъ въ рукахъ.

— Ахъ, батюшка, что вы надѣлали! кричалъ онъ издали, задыхаясь:—здѣсь дача его сіятельства, вотъ смежная съ нашей, а у нихъ мамзель, англичанка, такая нѣжная, дверью хлопнешь, уже въ обморокѣ, а вы стрѣляете! Тутъ мой знакомый сдѣлалъ рожу, на которой весьма легко можно было прочитать: и невѣжа, и грубіянъ, и нелегкая тебя носитъ, и ты меня разсоришь съ его сіятельствомъ.

Я извинился передъ хозяиномъ и уѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ не посѣщать дачи человѣка безъ церемоніи.

Подѣломъ, думалъ я: какъ искать удовольствія на дачѣ у людей съ чинами и орденами, у которыхъ и житье на дачѣ есть своего рода служба... Они и дачу выбираютъ не по мѣстоположенію, а по сосѣдству съ чѣмъ-нибудь полезнымъ, если не въ настоящемъ, то въ будущемъ.

Завтра поѣду къ своему старому лицейскому товарищу. Кстати же онъ меня извѣстилъ великолѣпнымъ письмомъ о сво-

емъ переѣздѣ на дачу и прислалъ адресъ. Правда онъ и въ лицеѣ считался просто добрымъ малымъ; съ нимъ пороху не выдумаешь, а все таки проведешь время: человѣкъ рожденъ для общества.

На карточкѣ моего лицейскаго товарища значилось: *На Петербургской Сторонѣ въ Разношерстной улицѣ, домъ купца жены Иванова.*

Извощикъ никакъ не соглашался везть меня въ Разношерстную улицу, а предлагалъ доставить на Большой проспектъ. „Отъ Большого проспекта, дескать, рукой подать,—пройтись пріятно, баринъ.“

— Отчего же ты не хочешь свезти въ Разношерстную?

— Тамъ для нашего брата не ладно, отвѣчалъ извощикъ почесываясь.

— Почему?

— Грязновато маленько; другой разъ лошадь станетъ, другой разъ дрожки оставишь, а для вашего благородія широкій путь: деревяныя панели на удивленіе.

— Хороша должна быть дача! Пошелъ!

Не стану описывать моего путешествія изъ улицы въ улицу по троттуарамъ, сдѣланнымъ *на удивленіе*, ни удивленія, съ какимъ посмотрѣли на меня три утки, плававшія на улицѣ передъ домомъ *купца жены Иванова*, ни радости моего стараго товарища, который, въ халатѣ и пестрой шапочкѣ, встрѣтилъ меня въ воротахъ, привелъ въ свою квартиру, состоявшую изъ комнаты съ однимъ окномъ на мезонинѣ, состроенномъ, должно полагать, изъ старой барки. Вѣтеръ свободно входилъ въ щели, гулялъ по комнатѣ и шевелилъ на стѣнахъ старыя бумажныя обои.

— Не великолѣпна твоя квартира.

— Чѣмъ же она худа для дачи? Впрочемъ, если что не такъ, можно потерпѣть лѣто для чистаго воздуха. Тутъ мой товарищъ чихнулъ—и я чихнулъ—вѣроятно отъ чистаго воздуха.

На другой день у меня болѣла голова.

Если вы любите природу, чистую, дѣвственную природу, какъ она вышла изъ рукъ Великаго Мастера, не искаженную приторнымъ искусствомъ человѣка—вамъ не понравится Петербургъ лѣтомъ.

Если вы проводили весну на плодоносныхъ равнинахъ Украйны, если вамъ полюбились пестрые ковры степей, когда съ востока тихо подымается солнце и утренній вѣтерокъ, свѣвая легкій паръ благовоній, пронесется по степи, и заволнуется она въ разноцвѣтныхъ отливахъ, и засверкаетъ росистая милліонами алмазовъ... а надъ нею высоко поютъ, звенятъ, заливаются степные жаворонки—и если въ эту минуту, тихо, безсознательно подгибались ваши колѣни, слеза навертывалась на рѣсницы, и вы безмолвно молились Богу... тогда... тогда вамъ не полюбится петербургское лѣто.

Если вы скакали по этой степи на рѣзвомъ бѣгунѣ, такъ, безъ цѣли, безъ намѣренія, отъ разгула воли, и вѣтеръ дулъ вамъ въ лицо, шумѣлъ за ушами, а ретивый конь, вытянувъ шею, распустя гриву, фыркая и раздувая широкія ноздри, летѣлъ все шибче и шибче, по сторонамъ мелькали кусты ракиты, сливаясь въ желтыя струйки, воздухъ болѣзненно-пріятно спирался въ груди вашей и волоса на головѣ поднимались отъ какого-то поэтическаго восторга; или если вы проводили теплую украинскую ночь въ саду, подъ тѣнью цвѣтущихъ черешень, сквозь вѣтви которыхъ виднѣлось вдали темно-синее небо, двѣ-три звѣздочки, да прокрадывался золотистый лучъ луны... Кругомъ льется полный нѣги запахъ каприфолій и ночныхъ фіялокъ... Вездѣ тихо... тихо... только надъ вами поетъ соловей свои неподражаемыя пѣсни, да порой шевельнетъ крылышкомъ, тронетъ вѣтку и осыпетъ васъ бѣлыми душистыми лепестками черешневыхъ цвѣтовъ... Если вы сочувствовали этой ночи, если въ груди вашей толпились неизвѣданныя, необъясненныя спокойно-сладостныя чувствованія—тогда вы будете скучать лѣтомъ въ Петербургѣ.

О, милая моя родина, прекрасная Украйна! Я вспомнилъ тебя, и мнѣ стало скучно, душно въ пыльномъ городѣ...

— Человѣкъ!

— Чего изволите?

— Подай мнѣ ружье и позови лягавую собаку.

— Слушаю-съ.

— Если меня кто будетъ спрашивать, скажи—уѣхалъ на охоту.

— Слушаю-съ. Когда прикажете дожидать васъ?

— Разумѣется, не сегодня.

— Завтра?

— Ни завтра, ни послѣзавтра.

— Слушаю-съ. Стало быть за послѣзавтра.

— Можетъ быть черезъ недѣлю, черезъ двѣ... какъ придется.

— Какъ придется? Слушаю-съ.

Долго смотрѣлъ мнѣ въ слѣдъ мой человѣкъ, стоя на крыльцѣ: его брови были подняты отъ удивленія, правая рука за жилетомъ, лѣвая нога впередъ, какъ на портретѣ Колотрони.

Часа черезъ два я уже плылъ въ большой крытой лодкѣ въ Шлиссельбургъ, а оттуда въ Ладогу Рыжая борода за рубль или за два серебромъ взялась доставить меня въ Ладогу очень скоро. Въ лодкѣ бы-

ло порядочное общество: два офицера, два чиновника и старуха помѣщица съ племянницею, недавно выпущенною изъ какого-то института. У насъ завязался общій разговоръ, точно въ Петербургѣ: офицеры говорили о парадахъ, чиновники о наградахъ, помѣщица совѣтовала намъ пить побольше чаю, потому что въ ладожскомъ каналѣ не позволятъ ставить самоваръ, а институтка со слезами вспоминала объ институтѣ и безпрестанно спрашивала:

— Не знаете ли вы m-elle A?

— Не знаю.

— A m-elle Б. не встрѣчали?

— Нѣтъ.

— A m-elle B. не знаете?

— Кажется видѣлъ гдѣ-то.

— Ахъ, какъ я рада! Неправда, ли она прелесть?

— Да!

— Вѣрно вы слышали, какъ она отвѣчала изъ исторіи на послѣднемъ экзаменѣ?

— Не помню.

— Вспомните! Вѣрно вы объ этомъ слышали въ городѣ. Она такая блондинка! А вы знакомы съ m-r Дорошевскій?

— Кто это?

— Нашъ учитель чистописанія. Вы развѣ не у него учились писать?

— Кажется не у него.

— Быть не можетъ, онъ весь свѣтъ училъ писать...

Въ подобныхъ разговорахъ мы пріѣхали въ Шлиссельбургъ или въ Шлюшинъ, по выраженію лодочника. Здѣсь нашъ лодочникъ побранился мимоѣздомъ со встрѣчными лодочниками, принялъ нѣсколькихъ пассажировъ изъ *простого званія*, усадилъ ихъ на палубу, и наша лодка, оставя красивую Неву съ ея живописными берегами, потянулась по длинному, узкому Ладожскому каналу, прорытому между лѣсистыхъ болотъ.

— Вотъ здѣсь ужъ, батюшки, попоститесь безъ чаю, сказала помѣщица.

Вечерѣло. Два офицера и чиновникъ сѣли играть въ преферансъ, другой чиновникъ кормилъ институтку мятными лепешками, помѣщица варила на конфоркѣ кофей и радовалась, что на зло всѣмъ приказаніямъ водяного начальства, она будетъ пить горячее въ каналѣ. Лодка шла тихо; изрѣдка лодочникъ покрикивалъ: „правѣй, лѣвѣй!“ да посылалъ какое-нибудь крупное слово дровяной баркѣ. И вдругъ ровный чистый теноръ протяжно запѣлъ на палубѣ.

Офицеръ, собиравшій взятку, на минуту остановился; институтка перестала сосать лепешку.

— Кто-то поетъ? глубокомысленно замѣтилъ чиновникъ.

— Какой-нибудь мужикъ, отвѣчала помѣщица, мѣшая ложечкой въ кофейникѣ.

Я вышелъ на палубу.

Около мачты сидѣлъ человѣкъ изъ *простого званія* и ѣлъ какую-то зелень; далѣе сидѣлъ старикъ и пѣлъ вечернюю молитву. Онъ былъ одѣтъ въ простой сѣрый кафтанъ, возлѣ лежала котомка и палка, къ палкѣ былъ приколоченъ маленькими гвоздями какой-то сухой листокъ. Заходящее солнце послѣдними лучами освѣщало окрестныя пустынныя мѣста, золотило верхушки темныхъ елей, сверкало въ струйкахъ канала, горѣло на рыжей бородѣ нашего лодочника и наводило кроткій свѣтъ на спокойныя черты лица старика, на его сѣдую бороду и длинныя пряди бѣлыхъ волосъ, разсыпанныхъ по плечамъ.

Пѣсни старика, дышавшія благоговѣніемъ, кротостію и преданностію Всемогущему, сильно отозвались въ глубинѣ души моей. Его физіономія такъ рѣзко отличалась отъ физіономій крестьянъ, ѣвшихъ спокойно зелень, что я рѣшился непремѣнно съ нимъ познакомиться.

Предчувствіе меня не обмануло: подъ сѣрымъ кафтаномъ старика я нашелъ человѣка умнаго, видѣвшаго свѣтъ, много читавшаго, образованнаго... но лучше я вамъ передамъ, сколько могу, его разсказъ его же словами:

— И я когда-то былъ молодъ, говорилъ мнѣ старикъ:—былъ богатъ, вѣровалъ въ дружбу, въ любовь, въ постоянство земнаго счастія—и былъ гордъ, какъ человѣкъ, пока удары судьбы не смирили меня... Къ чему вамъ знать мои житейскія отношенія? Родные и близкіе оклеветали меня, друзья ограбили, сильные не узнали меня въ несчастіи и—Боже прости имъ!—насмѣялись надо мной... Но *она*—вы поймете меня, если когда любили—она взяла меня за руку и съ ангельскою улыбкою сказала мнѣ: „не грусти! я люблю тебя и въ несчастіи!“ И я забылъ всѣ потери и, гордо поднявъ голову, улыбался навстрѣчу людямъ... Безумецъ!.. Сколько разъ я видѣлъ розу въ полномъ цвѣтѣ утромъ, а вечеромъ вѣтеръ разносилъ уже ея поблекшіе листья... Я отлучился изъ Петербурга на полгода, и она вышла замужъ за моего роднаго брата, единственнаго человѣка, которому я еще вѣрилъ на свѣтѣ. Вы счастливы, если не испытали сильныхъ страстей. Жалкое существо человѣкъ, обуреваемый страстью!.. Когда я услышалъ мое несчастіе, всѣ силы меня оставили, какая-то мертвящая тишь налегла на сердце, и вдругъ эта тишина превратилась въ бурю, быстро заволновалась горячая кровь; темная жажда звѣрскаго мщенія наполняла

мою душу, и въ тѣлѣ разлилась исполинская сила; внутренній жаръ сожигалъ меня. Я чувствовалъ, какъ трещала отъ него голова и волоса сохли, бѣлѣли. Тысячи плановъ безъ начала и конца роились въ головѣ моей. Я не зналъ на что рѣшиться. Былъ праздникъ. Братъ мой съ женою пошелъ въ церковь. Я видѣлъ это и кинулся въ слѣдъ за ними. И теперь не знаю, зачѣмъ я это сдѣлалъ; но что-то недоброе таилось въ душѣ моей... Вхожу. Церковь полна народа, толпа притаила дыханіе. При трепетномъ блескѣ свѣчей таинственно смотрятъ образа изъ облаковъ куреній. Слова святаго Евангелія звучатъ подъ сводами церкви. Чудное творилось со мною въ эту минуту: каждое слово Богочеловѣка цѣлительнымъ бальзамомъ падало на раны моего сердца, успокоивало душу; казалось, для меня было написано святое Евангеліе... и я плакалъ слезами раскаянія, слушая: *любите враговъ вашихъ, добро творите ненавидящимъ васъ*. Изъ церкви я пошелъ совершенно другимъ человѣкомъ: я понялъ, что кромѣ земныхъ благъ есть еще высокія радости, не здѣшія, недоступныя для утопающихъ въ чувственности—и рѣшился посвятить себя Богу. На другой день, я былъ далеко за Петербургомъ, прошелъ пѣшкомъ всю Россію, жилъ во многихъ монастыряхъ, посѣтилъ Грецію, Іерусалимъ, былъ въ пустынѣ заіорданской, гдѣ спасалась Марія египетская. Я хотѣлъ было кончить жизнь въ скалахъ изсохшаго русла Кедрона, освященнаго жизнію св. Саввы и другихъ отшельниковъ; но видно я былъ слишкомъ недостоинъ сложить тамъ свои кости: безотчетная тоска по родинѣ налегла на сердце. Напрасно я проводилъ ночи въ молитвахъ. подъ знойнымъ небомъ Іудеи, въ пустынныхъ скалахъ; чуть закрывалъ глаза—и сновидѣнія несли меня на далекій сѣверъ: стелятся передо мною, стелятся поляны, по нимъ несется тройка, колокольчикъ заливается, изъ кибитки мнѣ кланяется братъ, ямщикъ поетъ пѣсню... Проснешься: темно въ пещерѣ, луна высоко плыветъ надъ Элеонской горою, освящая вдали скалы и туманную равнину Мертваго моря... Молишься, а въ ушахъ еще отдается заунывный напѣвъ пѣсни ямщика—и молитва отлетаетъ отъ мірскихъ помысловъ... воскресаютъ давно-забытыя картины дѣтства—и тамъ слышится этотъ напѣвъ. Намъ съ братомъ пѣвала эту пѣсню старушка-няня, когда мы были малы... очень малы... Меня мучило, что я покинулъ брата, не простясь съ нимъ... Я оставилъ святыя мѣста и, вотъ съ этимъ посохомъ изъ сіонской пальмы, пришелъ въ Петербургъ, и, вѣрите ли, съ трудомъ узнавалъ улицы, такъ измѣнился этотъ городъ въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. Я былъ въ городѣ, какъ чужой. Братъ мой давно умеръ. Я отслужилъ на его могилѣ панахиду и оставилъ городъ на всегда. Теперь посѣщу монастыри сѣверные, дастъ Богъ, доберусь на Соловки... можетъ-быть тамъ и успокоюсь... Старикъ набожно перекрестился.

— Я вамъ завидую, сказалъ я: вы видѣли прекрасную Палестину, Іерусалимъ, поклонялись гробу Спасителя.

— Послѣднее—согласенъ; но Іерусалимъ и Палестину вѣрно вы знаете изъ описаній Ламартина... Нѣтъ, страшно проклятіе Бога! Пустъ Іерусалимъ и печальна сторона его, несмотря на то, что люди трехъ религій стекаются туда на поклоненіе: христіане—гробу Господню, іудеи—развалинамъ храма Соломонова, а магометане—камню, съ котораго, будто бы, улетѣлъ пророкъ ихъ на седьмое небо. Чѣмъ болѣе мы приближались къ Іерусалиму, тѣмъ страна дѣлалась безплоднѣе: вездѣ голые краснова-тые камни, песокъ, кое-гдѣ уродливая маслина, почти безъ листьевъ, индѣ колючій кустъ алоэ: все безжизненно, уныло, въ какой-то мертвящей, торжественной неподвижности свидѣтельствуетъ о гнѣвѣ Божіемъ, простертомъ надъ мѣстомъ страданія и смерти Спасителя. „Такъ вотъ библейская земля, кипящая медомъ и млекомъ! Гдѣ же, великолѣпный Сіонъ, твои тѣнистые лѣса, многоводные потоки, обширные виноградники, ароматныя рощи, которыхъ бальзамъ цѣнился вдвое дороже золота? Гдѣ твоя слава, которою гордилась ты передъ народами? Умолкли пѣсни дѣвъ твоихъ, изсякли потоки, изсохли виноградники и пальмовыя рощи... даже вольныя птицы облетаютъ тебя, земля запустѣнія...“ Такъ думалъ я, проѣзжая каменистымъ ущельемъ—и вдругъ очутился почти передъ Вифлеемскими воротами, украшенными двумя зубчатыми готическими башнями. Былъ полдень. Іерусалимъ, раскинутый на двухъ горахъ, окруженный четыреугольною стѣною, лежалъ въ знойномъ красно-фіолетовомъ туманѣ; небо было чисто, безъ облачка, безъ пятнышка... ни малѣйшаго вѣтра. Молча остановился нашъ караванъ передъ чуднымъ городомъ. Внутри города то же уныніе, та же пустота; вездѣ обломки, развалины; пруды Соломона сухи; домы жителей, небольшіе, четыреугольные, безъ оконъ на улицу, съ плоскими кровлями—точно груды камней, складенныхъ для постройки. Поучительна исторія Іерусалима! Я мысленно перенесся въ давно минувшія библейскія времена, когда царь-поэтъ, вдохновенный Давидъ, укрѣпивъ свою власть завоеваніями, положилъ основаніе славѣ и величію Іерусалима, выстроилъ ве-

ликолѣпный дворецъ изъ драгоцѣннаго дерева, присланнаго тирскимъ царемъ Хирамомъ, перенесъ въ новую столицу ковчегъ, при громѣ музыки и восклицаніяхъ народа, и самъ, полонъ священнаго восторга, скакалъ передъ ковчегомъ. Вскорѣ царь открылся пророку Наѳану, что ему совѣстно жить въ кедровомъ домѣ, когда кивотъ стоитъ подъ кожанымъ кровомъ. „Тебѣ не пристало строить храмъ Богу кротости и любви", отвѣчалъ Наѳанъ: „ты много пролилъ крови, а твое желаніе исполнится въ мирное царствованіе твоего сына". Давидъ съ вѣрою началъ приготовленія къ постройкѣ, купилъ гору Моріагъ, гдѣ на гумнѣ Орны, внявъ молитвамъ царя, остановился ангелъ истребитель, съ мечомъ уже простертымъ на Іерусалимъ, назначилъ это мѣсто для сооруженія храма, и, умирая, оставилъ на украшенія и сосуды храма 100,000 талантовъ золота, болѣе милліона талантовъ серебра и множество драгоцѣнныхъ камней. Наконецъ мудрый Соломонъ, выписавъ изъ Тира художниковъ и дерево, въ четвертое лѣто своего царствованія приступилъ къ постройкѣ. 30,000 іудеевъ и 150,000 иноплеменниковъ въ семь лѣтъ съ половиною окончили зданіе. Храмъ будто выросъ, съ такимъ благоговѣніемъ складывали его; даже не слышно было обычнаго стука молотковъ: всѣ камни обдѣлывали въ Ливанѣ, а металлическія работы производились на Іорданѣ. 22 тысячи воловъ и 120,000 овецъ было принесено въ жертву при освященіи храма и народъ пировалъ семь дней. Великолѣпенъ уже былъ Іерусалимъ при Соломонѣ. Этотъ царь украсилъ его многими зданіями, возсѣдалъ на престолѣ изъ золота и слоновой кости и употреблялъ золотую посуду; флотъ его посѣщалъ, какъ полагаютъ, Восточную Индію. Но въ послѣдствіи іудеи начали забывать истиннаго Бога, ударились въ идолопоклонство, въ развратъ. Напрасно гремѣли пророки противъ всеобщаго растлѣнія нравовъ, вотще Іеремія предрекалъ плачевную будущность Іерусалиму. „Увы!" говорилъ онъ: „въ какомъ одиночествѣ сидитъ матерь градовъ! многолюдная осталась вдовою; владычица сдѣлалась данницею. Дороги Сіона скучаютъ, не видя идущихъ на праздникъ, всѣ ворота ея пусты, священники воздыхаютъ, дѣвицы печальны, дѣти идутъ въ плѣнъ впереди враговъ, князи идутъ безъ силъ впереди гонящаго... Враги смотрятъ на него и радуются разоренію его". Подобными словами плакалъ Іеремія о близкомъ разореніи Іерусалима, о плѣненіи своего народа, и терпѣлъ за это отъ народа, вельможъ и даже царей... При жизни его сбылось пророчество: пришелъ Навуходоносоръ, разорилъ, сжегъ Іерусалимъ и полонилъ народъ іудейскій. Царь Седекія бѣжалъ постыдно и, пойманый, былъ свидѣтелемъ казни своихъ сыновей, потомъ лишенъ зрѣнія и заключенъ въ тюрьму въ Вавилонѣ. Народъ Божій покаялся въ плѣну и, черезъ 70 лѣтъ рабства, опять былъ возвращенъ въ Іерусалимъ Киромъ. Храмъ возобновленъ вторично; опять іудеи стали сильны и крѣпки подъ защитою Бога. Они даже дерзнули отказать въ помощи Александру Македонскому, осаждавшему Тиръ. И когда этотъ завоеватель, разоривъ Тиръ и Газу, сталъ съ войскомъ подъ стѣнами Іерусалима, первосвященникъ Адуй принесъ Богу жертву, надѣлъ ефоръ и ризы гіацинтоваго цвѣта, украсилъ грудь наперсникомъ, на которомъ сверкали 12 драгоцѣнныхъ камней съ именами 12 колѣнъ Израиля, на голову возложилъ кидаръ, родъ митры, гдѣ на золотой доскѣ было вырѣзано имя Іеговы, и въ сопровожденіи священниковъ и народа, въ бѣлыхъ одеждахъ, вышелъ на встрѣчу Александру. Гордый завоеватель смирился передъ первосвященникомъ, благоговѣйно поклонился имени Іеговы, блиставшему на челѣ его, принесъ жертву въ храмѣ іерусалимскомъ и даровалъ евреямъ многія привиллегіи. Между тѣмъ время великаго искупленія приближалось, и видимо дряхлѣло царство іудейское. Двѣ секты фарисеевъ и саддукеевъ безпрестанно волновали народъ. Первые были строгіе *буквальные* исполнители закона, а послѣдніе отличались вольнодумствомъ; даже священники ихъ секты украшали во время служенія свои головы лавровыми вѣнками по примѣру сирійскихъ жрецовъ Венеры. Фарисеи были обожаемы народомъ, напротивъ вельможи и цари поддерживали саддукеевъ. Сначала іудеи только просили покровительства Рима; далѣе мы видимъ, какъ цари іудейскіе, Гирканъ съ фарисеями и Аристовулъ, окруженный саддукеями, спорятъ передъ Помпеемъ, какъ передъ судіею своимъ, о правахъ на престолъ, и ликторы заставляютъ ихъ замолчать въ спорѣ. Помпей, а послѣ Красъ — входятъ въ храмъ іерусалимскій; послѣдній даже беретъ изъ храма священные сосуды. Іудея терпитъ; внутренніе раздоры потрясаютъ ее; она накликаетъ на себя иноплеменниковъ, которымъ платитъ постыдныя дани. Въ это время восходитъ на престолъ Иродъ, внукъ языческаго жреца храма Аполлонова. Иродъ распинаетъ царя іудейскаго Антигона и женится на Маріамнѣ, послѣдней отрасли изъ династіи Маккавеевъ. Стараясь угождать римлянамъ, онъ разорялъ страну, тратилъ деньги на пиршества и игры въ честь Рима и даже подарилъ бальзамовыя рощи Антонію, который отдалъ ихъ

египетской царицѣ Клеопатрѣ. Народъ роптalъ, что благовонія, назначенныя для жертвенныхъ куреній Богу, дымятся на роскошныхъ пиршествахъ, услаждая чувства сластолюбивой языческой царицы. Иродъ трепеталъ за свою корону: казнилъ, по пустому подозрѣнію, жену свою и двухъ сыновей своихъ и опозорилъ свое царствованіе избіеніемъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ, когда родился Спаситель. Послѣ смерти Ирода, Іудея сдѣлалась римскою провинціею. Іерусалимъ бѣдствуетъ подъ игомъ римлянъ. Спаситель міра проповѣдуетъ слово спасенія: съ горы Елеонской возвѣщаетъ ученикамъ странныя знаменія, долженствующія предшествовать разоренію храма, и плачетъ о бѣдствіяхъ Іерусалима. Ослѣпленный народъ предаетъ мученіямъ и позорной казни своего Искупителя и всякая благодать убѣгаетъ Іерусалима, какъ мѣста, отмѣченнаго невинною смертію Богочеловѣка. Презрѣніе римлянъ къ религіи малодушныхъ іудеевъ увеличивалось болѣе и болѣе. Слабоумный Калигула, возмечтавъ, что онъ богъ, приказалъ поставить въ іерусалимскомъ храмѣ свою статую. Іудеи, до того нетерпѣвшія изображеній человѣческихъ, что отворачивались отъ монетъ съ портретомъ римскихъ кесарей, отправили въ Римъ пословъ упросить Калигулу, чтобъ избавилъ ихъ храмъ отъ своей статуи. Послы возвратились ни съ чѣмъ, вытерпѣвъ разныя униженія при развратномъ дворѣ юродиваго Калигулы; а онъ, пожалѣвъ о глупомъ народѣ, который не понимаетъ его божественности, приказалъ разорить Іерусалимъ. Гибель висѣла надъ городомъ—смерть Калигулы остановила ее на время. Но самъ Іерусалимъ быстро стремился къ своему паденію: его раздирали междоусобія; евреи сражались другъ съ другомъ въ оградѣ храма, земля обагрялась кровью мучениковъ. Между-тѣмъ Римъ готовилъ неспокойному городу тяжкую кару. Титъ собиралъ въ Александріи легіоны, и, слыша о безпорядкахъ Іерусалима, не спѣшилъ походомъ, выжидая, что іудеи, ослабивъ сами себя, подготовятъ для него побѣду... Страшныя знаменія наполняли народъ мрачными опасеніями: преддверіе храма колебалось, тяжелыя мѣдныя врата храма, которыя съ трудомъ могли отворить двадцать человѣкъ, растворились въ полночь сами собою; по улицамъ Іерусалима ходилъ левитъ, опоясанный власяницею, покрывъ главу пепломъ, предвѣщалъ погибель Іерусалиму. Наконецъ, въ 70 году по Р. Х. Титъ осадилъ Іерусалимъ, когда во время Пасхи стеклось въ него множество народу изо всей Іудеи. Римскіе военачальники вырубили іерусалимскіе лѣса и сады, выжгли и опустошили всѣ окрестности. Кипарисы и пальмы, доставлявшіе прежде прохладную тѣнь іудеямъ, были употреблены на стѣнобитныя машины, которыя съ трехъ сторонъ сильно громили городъ „Глухой шумъ“, говорятъ современные историки: „отъ ударовъ въ стѣну сливался со свистомъ стрѣлъ и камней; мрачными тучами подымались пыль и песокъ, такъ что солнечные лучи едва пробивались сквозь нихъ, и въ этихъ черныхъ облакахъ сверкали, подобно молніямъ, фитили и зажженныя стрѣлы евреевъ, хотѣвшихъ сжечь стѣнобитныя машины“. Евреи, усиленные множествомъ богомольцевъ, храбро отражали приступы, но необходимость кормить пришельцевъ скоро была причиною ужаснаго голода. „Матери ѣли дѣтей своихъ“, говоритъ іудейскій историкъ Іосифъ Флавій. Городъ изнемогалъ и послѣ пятимѣсячной осады былъ взятъ, разграбленъ, выженъ, и Титъ приказалъ проѣхать плугомъ по развалинамъ его. Такъ исполнились слова Спасителя... Самъ Титъ, проѣздомъ къ Антонію въ Египетъ, еще разъ посѣтилъ развалины разореннаго имъ Іерусалима, плакалъ, глядя на кучи золы и камней, и предалъ проклятію народъ іудейскій, доведшій великолѣпный городъ до такого запустѣнія. Въ послѣдствіи Адріанъ приказалъ выстроить городъ на мѣстѣ Іерусалима и назвалъ его Элій Капитолійскій; на развалинахъ Соломонова храма воздвигъ храмъ Юпитеру, и на воротахъ Эліи приказалъ поставить изображеніе свиньи, ненавистной для іудеевъ. Евреямъ запрещенъ былъ даже входъ въ городъ. Они, собираясь на Масличной горѣ, глядѣли на родной городъ, заселенный греками и сиріянами, и горько плакали о несчастіяхъ, которыхъ были сами причиною. Іисусъ Христосъ предсказалъ—и совершилось разореніе Іерусалима. Отцы церкви непрестанно указывали на разсѣяніе іудеевъ, какъ на живое доказательство истины Его ученія и Его предсказаній. Императоръ Юліанъ, хотя мало уважалъ іудейскую религію, однако, понимая какъ важно для язычниковъ опроверженіе этого пророчества, пожелалъ возобновить Іерусалимъ и храмъ его, чтобъ этимъ нанести рѣшительный ударъ христіанству. Императоръ повелѣлъ воздвигнуть храмъ іудейскій противъ самой церкви Воскресенія, и ввѣрить управленіе Іерусалима іудеямъ, которые начальствовали надъ христіанами. Радостно узнали евреи вѣсть о возстановленіи храма. Мужчины, женщины, дѣти, въ праздничныхъ одеждахъ, толпами стекались съ востока и запада въ св. градъ. „Огромныя кучи матеріяловъ громоздятся, какъ горы“, говоритъ св. Григорій: „съ величайшимъ тщаніемъ расчищаютъ мѣсто, гдѣ

былъ построенъ храмъ. Одни раскапываютъ землю серебряными лопатами и заступами, другіе переносятъ въ богатыхъ корзинахъ цементъ и плиты; женщины и дѣти, одѣтыя въ шелковыя матеріи, носятъ щебень и соръ: всѣ поютъ гимны признательности Богу, который освободилъ ихъ нѣкогда изъ египетскаго и вавилонскаго плѣна и теперь снимаетъ съ нихъ поношеніе..." Между тѣмъ, вечеромъ этого шумнаго дня, подымается сильный вѣтеръ и съ трескомъ разбрасываетъ камни и цементъ. Съ усиліями вырытый фундаментъ опять засыпается пескомъ; земля колеблется, производя страшный гулъ; портикъ, подъ которымъ нѣсколько тысячъ евреевъ искали спасенія, обрушивается и погребаетъ ихъ подъ своими развалинами. Другіе бѣгутъ подъ кровъ церкви; волны пламени преслѣдуютъ ихъ, какъ бы для того чтобъ поглотить. Атмосфера дышетъ пламенемъ; безпрестанно гремитъ громъ, блещутъ молніи, поражая людей, раздробляя камни, и сплавляя желѣзные и серебряные инструменты, которыми былъ наполненъ фундаментъ. Какой страшный видъ представляло это обширное поле, усѣянное трупами и кучами обломковъ!.. Но ревность Іудеевъ не охлаждается; на другой день они опять приступаютъ къ работѣ. Ужасное землетрясеніе возобновляется; земля разверзается, извергаетъ огненные вихри, которые опять разбрасываютъ камни фундамента. Сколько разъ человѣческая рука пытается воздвигнуть свое слабое зданіе, столько же разъ рука Божія разрушаетъ его. Древній библейскій Іерусалимъ палъ со всѣми ветхозавѣтными интересами, и развалины чуднаго города опять сосредоточиваютъ на себѣ вниманіе новаго христіанскаго міра. Обновленные, возрожденные народы свято чтутъ его, какъ мѣсто страданій и смерти Искупителя!.. Язычники, чтобъ отвлечь христіанъ отъ поклоненія святымъ мѣстамъ, поставили на Голгофѣ идолъ Венеры, Юпитера—надъ скалою гроба, Адониса—въ Виѳліемѣ и своими языческими признаками сохранили память истиннаго Бога!.. Императрица Елена, въ преклонныхъ лѣтахъ, сама пріѣхала въ Палестину, свергла идоловъ, стоявшихъ со временъ Адріана, отыскала животворящій крестъ, открыла утесъ гроба Господня, гдѣ нашла терновый вѣнецъ и гвозди, и основала надъ нимъ великолѣпный храмъ Воскресенія. Храмъ существуетъ до сихъ поръ, хотя Іерусалимъ, до покоренія его Солнманомъ (въ 1716 году), много разъ переходилъ изъ рукъ въ руки побѣдителей... Когда-то цѣлыя полчища шли съ запада, чтобъ умереть у святаго гроба, владыки вѣнчали себя терновымъ вѣнцомъ, и оставляя полныя благъ земныхъ свои владѣнія, гордились титломъ королей іерусалимскихъ. И теперь пол-міра ежедневно въ теплыхъ молитвахъ обращается къ тебѣ, чудный городъ, къ святому гробу, заключенному въ твоихъ пустынныхъ стѣнахъ... Я былъ въ храмѣ Воскресенія, видѣлъ скалу Голгофы, треснувшую въ страшную минуту, когда завѣса церковная разодралась и солнце померкло, видѣлъ пещеру гроба, даже самый камень, на которомъ, по обычаю іудеевъ, лежало мертвое тѣло Спасителя... И долго лежалъ я во прахѣ на мѣстѣ, гдѣ Богочеловѣкъ смертію попралъ смерть и далъ источникъ жизни цѣлому міру. Подобныя минуты невыразимы. Душа моя ликовала въ тихомъ морѣ нездѣшнихъ радостей, теплыя слезы струились изъ глазъ... Если смертный можетъ понимать радости и блаженство рая, то я предвкушалъ ихъ у св. гроба...

Старикъ задумчиво склонилъ голову и казалось внутренно молился. На небѣ давно была ночь свѣтлая, сѣверная, звѣзды блѣдно трепетали на перламутровомъ небѣ, направо и налѣво темными конусами и фестонами рисовался еловый лѣсъ... Вода канала съ ропотомъ обѣгала вокругъ лодки и причудливою змѣйкою вилась за кормою...

Я сошелъ въ лодку.

Дамы давно уже ушли спать въ свою каюту. Офицеры и чиновникъ доигрывали послѣдній ремизъ.

— Мы думали, что вы до свѣта просидите съ этимъ бродягой, сказалъ мнѣ на встрѣчу одинъ офицеръ.—Вотъ, я полагаю, пустилъ онъ вамъ турусы на колесахъ.

— Долженъ быть продувная штука, прибавилъ другой.

— И охота вамъ тратить золотое время съ такими людьми, важно замѣтилъ чиновникъ.

Поѣздка мнѣ была очень пріятна. Объ ней я разскажу когда-нибудь на досугѣ. Я нашелъ умныхъ, добрыхъ людей, нашелъ истинно-русское гостепріимство, красоты вовсе незнакомой мнѣ природы, и возвратился въ Петербургъ, утѣшенный на много дней пріятными воспоминаніями. А тутъ и сентябрь на дворѣ. Румянцовская площадь загромождена экипажами, корридоры и галлереи Академіи Художествъ кипятъ народомъ; вездѣ лорнетки, французскія фразы и запахъ пачули. Академія задала пиръ изящному, открыла городу свою выставку. Много людей идетъ смотрѣть изящныя произведенія, еще больше—убить время, а самое большее число посѣтителей для того, чтобъ сказать: *я былъ на выставкѣ*. А я

люблю ходить и слушать сужденія объ одной и той же вещи и человѣка въ перчаткахъ, цвѣта свѣжаго масла, и человѣка въ синемъ кафтанѣ, сличать ихъ и послѣ... но къ чему вамъ знать это?.. Я забавляюсь, какъ умѣю Играютъ же нѣкоторые для забавы въ дураки!

Я прошелъ нѣсколько комнатъ выставки въ полномъ удовольствіи: сверхъ моего ожиданія люди въ этотъ день были особенно тароваты на сужденія; рѣзко, громко, важно дѣлали приговоры и воздуху, и землѣ, и деревьямъ, и злакамъ земнымъ, и волнамъ морскимъ, и птицамъ летающимъ по воздуху—словомъ, всему свѣту Божьему и даже богамъ древняго язычества. Я слушалъ втихомолку, удивляясь мудрости нашего православнаго народа!... И вдругъ передо мною Іерусалимъ—стоитъ, затопленный знойнымъ воздухомъ Палестины, со своими стѣнами, съ башнями, съ безмолвіемъ улицъ... Недавній разсказъ стараго паломника воскресъ въ моей памяти. Я, будто очарованный, долго стоялъ передъ картиной и молитва затеплилась въ душѣ моей. Шумя шла мимо меня праздная толпа; ея рѣчи, какъ мухи, безсмысленно жужжали мимо ушей моихъ. Чистое, сердечное спасибо творцу картины, Воробьеву, сорвалось съ языка, когда я долженъ былъ ее оставить.

1846 г.

ТЕАТРАЛЬНЫЯ ВПЕЧАТЛѢНІЯ.

I.

ЛУБНЫ.

Вѣроятно, всякому образованному человѣку извѣстно, что Лубны уѣздный городъ Полтавской губерніи, что они стоятъ на рѣкѣ Сулѣ, воспѣтой въ *Пѣсни о Полку Игоря*, и что въ Лубнахъ находится казенная аптека. „Но это еще не важная заслуга для города", говоритъ майоръ Ивановъ. Почетное титло „уѣзднаго города" такъ давно придано Лубнамъ, что теперь совершенно уже потеряло прелесть новизны, и никого не занимаетъ; „Пѣснѣ о Полку Игоря" окрестные жители не вѣрятъ, называя ее миѳомъ, и даже винный приставъ находитъ въ ней тонкую насмѣшку, которую прямо принимаетъ на свой счетъ. Лубенцы, пользуясь прекраснымъ климатомъ, почти никогда не имѣютъ надобности въ аптекѣ. Выходитъ—майоръ правъ!

Кромѣ этого, Лубны могутъ похвалиться своимъ мѣстоположеніемъ, своими поэтическими преданіями и ярмаркою, бывающею 6-го августа, въ день Преображенія.

Городъ Лубны стоитъ на высокой горѣ; зеленые сады и между ними веселые бѣлые домики обывателей лѣпятся по крутому скату до Сулы, которая течетъ у самой подошвы горы, отражая въ свѣтлыхъ струяхъ пеструю картину города. Съ горы видъ на окрестности очарователенъ: вправо тянутся лѣсистые крутые берега Сулы; влѣво, на высокой горѣ, покрытой тѣнистою дубовою рощею, высятся стройныя бѣлыя башни и горятъ золотые кресты монастыря; у ногъ вашихъ широко разстилаются зеленые луга, по которымъ прихотливо вьется Сула, то разбѣгается на нѣсколько рукавовъ, сверкающихъ то тамъ, то сямъ между островками, то, сливаясь въ широкую ленту, огибаетъ лѣсистый холмъ; между тѣмъ развѣсистыя плакучія ивы, наклонясь къ ея быстринѣ, будто прислушиваются къ неумолкаемому ропоту живой воды; далѣе видно урочище Солоницы; далѣе—необозримая равнина, сливающаяся съ небомъ...

Въ городѣ было пыльно, и особенно меня мучили два существа: жидъ, торгующій фейерверками, и одинъ мой знакомый. Жидъ какъ тѣнь преслѣдовалъ меня: не успѣешьвы йти изъ комнаты—онъ уже тутъ, кланяется и предлагаетъ свои товары.

— Да я полчаса назадъ накупилъ у тебя этой дряни.

Помилуйте, отвѣчалъ жидъ:—я первый разъ еще васъ вижу; это вы вѣрно купили у Лейбы, а я Борохъ, у меня самые настоящіе огни, а у Лейбы дрянь. У Лейбы порохъ съ углемъ, а у меня есть всякій составъ: и антимонія, и прочее, оно ужасъ какъ горитъ!

— Говорятъ тебѣ—я купилъ уже, мнѣ не нужно твоихъ фейерверковъ.

— Что жъ вамъ сдѣлается, если вы у меня купите? Ну?

Чтобъ отвязаться, купишь что-нибудь изъ его фейерверковъ, и пойдешь далѣе. Что жъ бы вы думали? На первомъ порогѣ въ другую улицу, передъ вами какъ изъ земли выростаетъ свѣтлозеленый халатъ, старый клеенчатый картузъ и рыжая борода, словомъ, всѣ признаки моего мучителя: онъ уже передо мною и кланяется, и держитъ въ рукахъ маленькое бумажное колесо, и говоритъ скороговоркою:

— Купите, ваше высокоблагородіе, это колесо, это удивительное колесо; это совсѣмъ не того сорта, что вы у меня купили, это съ камфорою; это я для васъ нарочно сдѣлалъ!

— Когда же ты успѣлъ?

— Ай-вей! какъ это можно! у меня для

этакихъ высокородныхъ особъ завсегда есть составъ съ мѣдными опилками, съ камфарою и съ прочимъ!

— Вѣрю, вѣрю! Чѣмъ это колесо лучше?

— Чѣмъ лучше? Ай, здѣсь, видите, сначала бѣлый огонь, а послѣ синій огонь!

— Да и въ другомъ синій огонь.

— Это правда; только здѣсь синій съ хорошенькими красненькими искорками, какъ брилльянты. Чрезвычайно хорошо!

— А послѣ?

— А послѣ—зеленый огонь, какъ молоденькая травка.

— А потомъ?

— А потомъ—красный огонь, какъ кровь, и выстрѣлъ.

— А послѣ выстрѣла?

— Ничего—будетъ оченъ весело! Ну?

Не успѣешь отвязаться отъ жида, а на выручку ему готовъ мой знакомый; уцѣпится за руку и начнетъ въ сотый разъ разсказывать, какъ вчера проѣзжалъ черезъ городъ губернаторъ, что онъ говорилъ, что изволилъ скушать, и тому подобное... Нестерпимый человѣкъ!

Убѣгая отъ несноснаго тріумвирата: пыли, жида и честолюбиваго знакомаго, я вышелъ изъ тѣсныхъ улицъ и сѣлъ на крутомъ берегу Сулы, въ тѣни вишневаго дерева. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, какъ сѣрая змѣйка, извивалась и бѣжала въ косомъ направленіи съ горы до самой воды узенькая тропинка; за рѣкою развертывалась передо мною пестрая панорама, о которой я уже говорилъ. Два или три холма у Солоницы, можетъ быть покоившіе въ себѣ прахъ защитниковъ православія, невольно припомнили мнѣ одно изъ кровавыхъ событій исторіи моей родины. Минувшее начало воскресать въ моемъ воображеніи. Я представлялъ себѣ горсть бѣдныхъ, угнетенныхъ казаковъ и вождя ихъ, безстрашнаго Наливайку, рѣшившихся умереть за вѣру отцовъ своихъ. Вотъ, закованный въ золоченыя латы, идетъ Жолкевскій, и за нимъ многочисленная рать поляковъ, сильная количествомъ и оружіемъ. Тѣснятъ поляки защитниковъ вѣры къ водамъ Солоницы, окружаютъ ихъ со всѣхъ сторонъ, и поборникъ православія—храбрый Наливайко падаетъ на грудахъ тѣлъ своихъ товарищей. Я слышу радостные крики войска Жолкевскаго и тяжелое бряцаніе оковъ, надѣтыхъ на полуживаго плѣнника. Торжествуетъ Варшава—и въ тяжкихъ мукахъ умираетъ за святое дѣло церкви на кострѣ Наливайко... Замеръ въ воздухѣ послѣдній стонъ страдальца. Дунулъ вѣтеръ и развѣялъ прахъ его; только легкое облако дыма понесло къ небу молитвы и жалобы мученика!... Протяжный стонъ разсѣялъ мои мечты—въ монастырѣ благовѣстили; торжественный гулъ разстилался по окрестностямъ, заходящее солнце ярко горѣло на золотыхъ крестахъ монастыря.

— Добрый вечеръ, сказалъ мнѣ старичокъ, съ трудомъ поднимавшійся по тропинкѣ на крутую гору.

Не знаю, почему мнѣ казалось, что этотъ старикъ много знаетъ про былое время. Можетъ, его длинные сѣдые усы и старинный казацкій нарядъ расположили меня къ этой мысли—и я рѣшился заговорить со старикомъ и разспросить его.

— Здравствуй, казакъ, отвѣчалъ я на привѣтствіе незнакомца:—высока гора; тебѣ тяжело всходить.

— Да; на *похилое* дерево и козы скачутъ.

— Не все же быть и молоду.

— Правда; кто прожилъ восемь десятковъ съ половиною, тому пора уже и на покой.

— Восемь десятковъ? Да ты, старинушка, вѣрно знаешь много кое-чего, помнишь и царицу Екатерину?

— Какъ не помнить? Помню, какъ и Сѣчь бралъ Текелій, и большую зиму помню: мало чего я не помню! И старикъ задумался, опершись на свою длинную палку; можетъ быть много лѣтъ и много радостей и печалей, уже давно забытыхъ, прошло въ нѣсколько мгновеній передъ старикомъ: наконецъ, онъ будто опомнился, приподнялъ на лысой своей головѣ шапку и сказалъ:—прощайте, пане!

— Куда ты спѣшишь?

— Хорошо, что вы панъ—вы гуляете, вамъ нѣтъ другой работы, а я иду къ слесарю: надобно отдать въ починку ножъ, а то завтра дома нечѣмъ будетъ хлѣба отрѣзать.

— И я не гуляю; я вотъ смотрю на мѣсто, гдѣ поймали Наливайку—да не знаю хорошенько, гдѣ оно?

— Говорятъ старики—вонъ тамъ, у Солоницы, возлѣ кургана.

— И ты знаешь это мѣсто?

— Да мало ли есть тутъ такихъ мѣстъ! Вотъ хоть бы здѣсь, гдѣ мы стоимъ, штукою взяли наши пана Вишневецкаго!

— Штукою?

— Да, штукою; если бы мнѣ не нужно было застать засвѣтло слесаря, я, пожалуй, разсказалъ бы вамъ.

Кое какъ я уговорилъ старика, и онъ мнѣ разсказалъ происшествіе, котораго я нигдѣ не читывалъ, ни въ исторіи Малороссіи, ни въ рукописяхъ.

— Вотъ видите, говорилъ онъ; наши были въ Крыму, а панъ Вишневецкій захотѣлъ прогуляться: пришелъ сюда съ войскомъ, вырѣзалъ стариковъ и засѣлъ въ крѣпости, вотъ тамъ, повыше за валомъ.

Кто ушелъ—побѣжалъ по селамъ и разсказалъ бѣду. Скоро собралось изъ деревень казацкое войско, и пошло на приступъ—не беретъ; валы высокіе, народу мало, пушекъ нѣтъ, а изъ крѣпости не то стрѣляютъ, а просто окачиваютъ кипяткомъ. Хоть казакъ храбрый человѣкъ, да противъ кипятка не поспоритъ: въ кипяткѣ бабья натура. Собралась рада и положили не ходить на приступъ, а обложить городъ и не выпускать ни одного поляка изъ крѣпости—пусть помрутъ съ голода. Стояли недѣли двѣ, три, а Вишневецкій и не думаетъ сдаваться; у него было много запаса, и вода была въ крѣпостномъ колодцѣ; ѣстъ себѣ, пьетъ себѣ да стрѣляетъ съ крѣпости... Худо дѣло! а тутъ казаки слышутъ: идетъ на помощь Вишневецкому войско. Вотъ вышелъ казакъ Никита и говоритъ: „я вамъ передамъ пана Вишневецкаго: выпущу воду изъ колодца; безъ воды не долго проживетъ.“—Вышелъ и другой казакъ Ивашко: „и я“ говоритъ: „пойду съ Никитою“. Начальство согласилось; оба молодца передъ вечеромъ причастились святыхъ таинъ и простились съ товарищами, а ночью взяли съ собою два заступа да мѣшокъ сухарей, тихо переплыли Сулу и врылись въ гору, такъ и ушли въ землю, словно кроты. На завтра съ той стороны только увидѣли въ обрывѣ горы нору; дня черезъ три изъ норы побѣжала въ рѣку вода, а черезъ день сдался Вишневецкій: казаки подрылись подъ колодецъ и выпустили воду, да и сами не вернулись: знать ихъ залило въ норѣ водою!

Возвращаясь домой, я встрѣтилъ моего знакомаго и передалъ ему разсказъ старика.

— Да, отвѣчалъ знакомецъ: —въ простомъ народѣ много ходитъ подобныхъ бредней. А мнѣ вотъ что удивительно, отчего онъ былъ въ сѣрыхъ брюкахъ!

— Вишневецкій!

— Какой Вишневецкій? кто занимается этимъ вздоромъ! Губернаторъ былъ въ сѣрыхъ брюкахъ, а между тѣмъ въ вицъ-мундирѣ. Мнѣ кажется, не по формѣ?

Изъ отвѣта моего знакомаго вы можете видѣть, какъ его занимаютъ преданія и поэтическіе разсказы стороны, въ которой онъ живетъ, а мой знакомый представитель почти всего тамошняго общества. Что же способно расшевелить это общество?—Это послѣдняя изъ сказанныхъ мною достопримѣчательностей Лубенъ—ярмарка.

Во время ярмарки Лубны оживляются; пріѣзжіе купцы, начиная отъ грека, торгующаго турецкимъ табакомъ, до Marchande de Modes, раскладываютъ свои товары; евреи съ узелками и коробочками подъ мышкою снуютъ по площади; шарлатаны наклеиваютъ на домахъ разноцвѣтныя объявленія; комедіянты въ красныхъ курткахъ ѣздятъ на тощихъ лошадяхъ по улицамъ, оглашая воздухъ нелѣпыми трубными звуками; пріѣзжіе актеры играютъ водевили: въ домѣ благороднаго собранія гремитъ музыка... Весело, очень весело!

Еще за мѣсяцъ, а нѣкоторые и болѣе, начинаютъ мечтать и собираться къ ярмаркѣ; только и слышишь вопросы: будете ли вы на ярмаркѣ? будете ли вы 6-го августа въ Лубнахъ? Въ меня тоже пускали такими вопросами, и я всегда храбро отвѣчалъ: „буду, непремѣнно буду“ и точно—по сказанному какъ по писанному—явился въ Лубны, прямо къ гостиному двору, который называютъ здѣсь *лавками*. Въ лавкахъ была толпа народу, особливо премиленькихъ дамъ; по обыкновенію всѣ ходили, кланялись при встрѣчѣ съ знакомыми, говорили и ничего не покупали. Здѣсь такое уже *заведеніе*! И если бы не хлопанье пробокъ, вылетавшее по временамъ изъ магазина Дюлу, сильно говорившее въ пользу торговли, то можно бы подумать, что гуляешь на выставкѣ *отечественныхъ произведеній*.

Многіе пріѣзжіе изъ столицы вмѣняютъ себѣ въ непремѣнную обязанность смотрѣть въ провинціи на все съ дурной стороны, и особенно если дѣло идетъ о театрѣ; тотчасъ начинается сравненіе: и сцена, дескать, Большого театра обширнѣе, и декораціи красивѣе, и хоры полнѣе, и то не такъ, и это худо, между тѣмъ, какъ нѣкая способность нашего духа, именуемая разсудкомъ, сейчасъ же докажетъ обладающему ею, что сравнивать театръ въ Лубнахъ съ петербургскими вовсе не остроумно.—Петербургскій театръ имѣетъ свои способы къ существованію, а иной провинціальный — свои, или лучше почти никакихъ. Этого одного уже достаточно, чтобы между ними было различіе; о другихъ причинахъ можно умолчать.

Кочующая труппа г. Млатковскаго пріѣзжаетъ въ Лубны увеселять публику; публика хохочетъ, остается довольною—и кончено; Млатковскій достигаетъ своей цѣли и за то спасибо.

Я, можетъ быть, не увижу здѣсь Каратыгиныхъ, Брянскаго, Сосницкаго; а все найду пріятное развлеченіе. Съ такими мыслями я пошелъ въ театръ. Беру афишку: о ужасъ! играютъ старинную французскую повѣсть *Молодая Сибирячка*, передѣланную Н. А. Полевымъ въ русскую драму: *Парашу Сибирячку*.—Эта передѣлка, при извѣстныхъ условіяхъ, имѣла успѣхъ въ Петербургѣ, а здѣсь? Но такъ и быть, иду! Театръ биткомъ набитъ зри-

теляли, какъ въ столицѣ при первыхъ дебютахъ Тальони; нигдѣ пустого мѣста. Оркестръ игралъ какую-то дикую штуку въ восточномъ вкусѣ. Музыку нестройнѣе этой трудно себѣ вообразить. Флейты и кларнеты пищатъ невыразимо; но всего несноснѣе какая-то особеннаго устройства труба съ клапанами: она приноситъ ту выгоду, что подъ ея громовые вопли всѣ инструменты могутъ фальшивить сколько душѣ угодно, но за то, если сама труба ошибется и махнетъ не ту ноту (а это часто случается), то вся гармонія разлетается и дикій, нескладный вой пронесется по театру.

Г-нъ Млатковскій взялъ на выучку какихъ-то мальчиковъ и заставилъ ихъ играть въ Лубнахъ, такъ знаете, для практики: здѣсь сойдетъ съ рукъ!... Такое неуваженіе къ лубенской публикѣ непростительно г-ну Млатковскому, тѣмъ болѣе, что публика такъ щедро платитъ за билеты; дѣло другое, если бы нельзя достать нигдѣ музыкантовъ, а то, говорятъ, пріѣзжала въ Лубны музыка помѣщика В. И. Марковича, съ которою можно играть даже оперы; если это правда, то г. Млатковскій не любитъ и вполовину публики такъ, какъ она его любитъ.

Оркестръ кое-какъ угомонился и поднялся занавѣсъ. Со сцены такъ и понесло дичью; и направо, и налѣво дичь!... Сущая пустыня!... Послѣ показались какіе-то полудикіе люди и начали перекликаться такими дикими голосами, что многимъ дамамъ сдѣлалось дурно; еще явился пустынникъ, идущій изъ Кіева въ Москву самою прямою дорогою—черезъ Сибирь; явилась Параша и, какъ дитя знатныхъ родителей, хотя и воспитанное въ пустынѣ, стала передъ честною компаніею въ 3-ю позицію по всѣмъ правиламъ танцовальнаго искусства и начала говорить, что тамъ было надобно... А между тѣмъ скука овладѣвала зрителями... Подъ конецъ только потѣшила публику какая-то тѣнь, Богъ ее знаетъ какая, и въ афишкѣ не было о ней ни слова, а исправно потѣшила; славная тѣнь, дай ей Богъ здоровья!,.. Дѣло вотъ въ чемъ: въ отсутствіи Параши, ея родители на сценѣ очень жалобно разговариваютъ, больной отецъ, лежа на постели, а матушка, сидя возлѣ него на той же постели. Сама же постель стояла у кулисъ; но какъ ни папенька, ни маменька Параши не знали что имъ говорить въ такія горестныя минуты, то какой-то добрый человѣкъ (подозрѣніе сильно падаетъ на пустынника) взялся имъ подсказывать. Подсказывать, конечно, дѣло доброе, на это согласятся всѣ школьники; но на все есть своя манера: подсказыватель поставилъ у себя въ боку свѣчку и его лицо, спрятанное за одною половинкою кулисъ, отразилось на другой половинкѣ надъ постелью больного. Тѣнь спокойна—всѣ молчатъ; тѣнь зашевелила губами, закачала огромнымъ носомъ—и вслѣдъ за этимъ говоритъ мужъ; опять тѣнь шевелитъ губами — отвѣчаетъ жена: словомъ, тѣнь играла роль какого-то духа, нашептывающаго рѣчи мужу и женѣ. Послѣ этого, я могу себѣ представить, какъ нечистая сила вмѣшивается въ дѣла людей.

Послѣ театра въ Лубнахъ бываетъ собраніе. Какъ радостно звучитъ это слово для многихъ! — Тутъ тѣшится, танцуетъ беззаботная, рѣзвая молодость,

Которой ничего не жаль,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ пестра, необозрима!...

Тутъ осторожная любовь въ полчаса, молча, разыграетъ цѣлый романъ—передъ глазами строгой тетушки. Тутъ... бываетъ очень весело!... На этотъ разъ собраніе было полно хорошенькихъ дамъ; многія вполнѣ заслуживали названія красавицъ: надобно знать, что въ общности классъ дамъ здѣсь гораздо образованнѣе мужчинъ, и потому я былъ награжденъ собраніемъ за скуку театра. На другой день давали на театрѣ нѣсколько довольно милыхъ водевилей, и я не узналъ труппы Млатковскаго; многіе актеры играли такъ, что хоть бы и на столичной сценѣ—вотъ что значитъ брать пьесы по силамъ!—Одинъ оркестръ удержалъ свою вчерашнюю физіономію; не будь это, водевили шли бы очень хорошо. Въ труппѣ Млатковскаго есть люди съ талантомъ, въ особенности Селенкъ, Бобровъ и Зелинскій: послѣднему немного мѣшаетъ выговоръ, отзывающійся польскимъ нарѣчіемъ, а Бобровъ самъ себѣ иногда портитъ неумѣстными фарсами.

Послѣ театра опять было собраніе и, увы! я не вѣрилъ глазамъ своимъ: всего пріѣхали пять дамъ и семь кавалеровъ. Какой-то весельчакъ вздумалъ пошутить и при разъѣздѣ изъ театра кричалъ: „кто безъ меня смѣлъ открыть собраніе? вотъ я васъ!...“ и робкіе провинціалы, избѣгая непріятностей, засѣли дома.

На третій день оставаться на ярмаркѣ скучно. Я сѣлъ въ коляску—прощайте Лубны! благодарю васъ за нѣсколько минутъ веселья, за нѣсколько свѣтлыхъ, живыхъ ощущеній, за ваше радушіе, за вашу красоту и красоту вашихъ обитательницъ!... Грустно бываетъ человѣку послѣ шумнаго

веселья; въ душѣ бываетъ какая-то пустота... И, убаюканный однообразнымъ качаніемъ экипажа и звономъ колокольчика, я задремалъ... Въ ушахъ у меня отзывались мотивы послѣднихъ кадрилей; передъ глазами легкими тѣнями носились мои хорошенькія землячки...

8 августа 1840 года.

II.

Провинціальные театры.

Какъ тяжело бываетъ человѣку данное слово. Я, уѣзжая въ Малороссію, обѣщалъ вамъ писать о провинціальныхъ театрахъ; оно, кажется, ничего, а какихъ мученій стоило мнѣ это обѣщаніе!... Пріѣзжаю въ Лубны. гдѣ во время ярмарки играла труппа г. Млатковскаго, спѣшу въ театръ, читаю аффишку: *Русскій человѣкъ добро помнитъ. Н. Полевого.*

Завтра?—*Параша Сибирячка. Н. Полевого.*

Прочитавъ, я ужаснулся,
Хладъ по членамъ пробѣжалъ!...

Вы знаете, что я не признаю въ г. Полевомъ творчества и потому, живя въ Петербургѣ, всегда избѣгалъ драматическихъ передѣлокъ онаго Полевого и могу похвалиться, не видѣлъ ни одной его піесы, даже *Черезполосныхъ владѣній*, въ которыхъ, говорятъ, было что то самобытное, и которые, не доживя до втораго представленія, почили съ миромъ на сценѣ Александринскаго театра.

Одинъ мой знакомый, имѣющій — съ позволенія сказать—претензію на остроту, говоритъ, будто мрачная Лета, отъ внезапнаго наводненія, на это время вышла изъ береговъ и покрыла своею сонною волною всѣ черезполосныя владѣнія, такъ что зрители увидѣли одну только водяную плоскость. Справедливы или нѣтъ слова моего знакомаго — не знаю, а дѣло въ томъ, что я, увидѣвъ на аффишкѣ *вышепоименованныя* піесы, не на шутку испугался... Обречь себя два вечера сряду нестерпимой скукѣ—право, больше пожертвованіе, но дѣлать нечего: *взялся за гужъ, не говори —не дюжъ*, гласитъ пословица; дано слово и пишу.

Давно еще г. Булгаринъ замѣтилъ, что Полевой пишетъ полосами—что въ ходу. Эта истина, неподлежащая никакому сомнѣнію, пришла мнѣ на мысль, когда я смотрѣлъ піесу *Русскій человѣкъ добро помнитъ*. Да—подумалъ я—Булгаринъ понялъ Полевого и въ трехъ словахъ оцѣнилъ всѣ его литературныя достоинства. Кукольникъ вывелъ на сцену *Русь*, какъ она есть, написалъ „Руку Всевышняго“ и многія другія піесы въ этомъ родѣ; Полевой убѣдился, что это хорошо и—у него появились патріотическія штуки. Нашъ ветеранъ писатель Скобелевъ заговорилъ въ „Кремневѣ“ чистосердечнымъ языкомъ воина; его рѣчь, выходящая изъ глубины души, откликнулась въ сердцахъ русскихъ—и Полевой, не теряя времени, воспламеняется воинскимъ жаромъ, надѣваетъ бумажный шишакъ и латы, фабритъ поддѣльные усы, со слезами вспоминаетъ бивуаки, на которыхъ никогда и во снѣ не бывалъ, и поетъ пѣсни саблямъ и штыкамъ, которые видѣлъ—только на парадѣ.

Изъ этихъ двухъ элементовъ составлена піеса *Русскій человѣкъ добро помнитъ*. Съ перваго монолога до послѣдняго слышишь или рѣчи à la Кукольникъ, или *таковыя же* à la Скобелевъ, хотя и тѣ и другія очень далеки отъ своего первообраза — таковъ законъ природы: подражаніе всегда останется подражаніемъ и ему до оригинала

..... Какъ до звѣзды
Небесной далеко!

Впрочемъ, само по себѣ двойственное подражаніе довольно оригинально, довольно потѣшно, и даже немного поучительно...

Въ этой піесѣ игралъ Бобровъ очень отчетливо (Гура Филатьевича Окунькова), даже дѣлалъ мало фарсовъ, а фарсы весьма вредятъ ему. Соленикъ (Сидоръ Безстрашный) изъ своей роли сдѣлалъ все, что могъ —а онъ можетъ сдѣлать много—и только. Всѣ прочіе приходили, говорили, махали руками и выходили. Нѣтъ, виноватъ, господинъ Карабановъ (Иванъ Ивановичъ Свѣтловскій) который всю свою роль не игралъ, не говорилъ, а *произносилъ*.

Послѣ этого, публика отдохнула за водевилемъ—*Моя жена выходить замужъ*, который сошелъ очень хорошо; въ особенности были хороши Зелинскій (Бонимонъ), Бобровъ (Герней) и Соленикъ (Любимъ).

За водевилемъ слѣдовала старинная пародія на Малороссію: *Казакъ стихотворецъ*. Оцѣнку этой такъ называемой оперы давно уже сдѣлалъ покойный И. П. Котляревскій въ своей „Наталкѣ Полтавкѣ“; но все „Казакъ стихотворецъ“ повеселилъ зрителей: здѣсь малороссіяне слушаютъ, какъ Прудыусъ, тысяцкій временъ Петра Великаго, поетъ:

Мучитъ Маруся
Душу мою:
Ѣмъ я безъ вкуса,
Вовсе не пью!...

видятъ Марусю въ русскомъ сарафанѣ и т. п. и хохочутъ отъ души на всѣ эти продѣлки. Здѣсь Зелинскій (Прудыусъ и Соленикъ (Грыцко) были превосходны; они создали свои роли, заговорили въ нихъ языкомъ чисто малороссійскимъ—и были приняты публикою съ восторгомъ; за то г-нъ Ленскій (Климовскій) уморилъ всѣхъ; въ буквальномъ смыслѣ *представилъ комедію*. У Ленскаго удивительное дарованіе!... У него вездѣ метаморфозы; это второй Овидій на превращенія. Вообразите себѣ какое то смѣшное существо, въ пріемахъ котораго отзывается провинціальная удаль, существо черезъ чуръ веселое и довольное собой, какъ новопроизведенный молодой прапорщикъ; представте себѣ, что это существо ходитъ въ припрыжку, стоитъ въ самыхъ изысканныхъ позахъ, потираетъ руки съ какою-то странною ужимкою, будто человѣкъ, который хочетъ съ морозу выпить рюмку водки, что оно въ бѣлыхъ шароварахъ и черномъ короткомъ полукафтанѣ, весьма пригодномъ для пляски, имѣетъ на ногахъ лакированные сапоги, а на рукахъ бѣлыя лайковыя перчатки — и вы приблизительно будете имѣть понятіе о Ленскомъ въ роли Климовскаго, народнаго поэта всѣхъ Малороссіи (въ началѣ XVIII столѣтія) человѣка съ душою глубокою и прекрасною!... Какъ послѣ этого не сказать, что нашъ вѣкъ идетъ быстрыми шагами къ преобразованію?...

Рѣчей г. Ленскаго я не понялъ, хотя и знаю по малороссійски; на руссій языкъ онѣ тоже не походили, а какъ будто впадали въ сербское нарѣчіе; между тѣмъ Ленскій говорилъ вовсе не по-сербски, это была какая то славянская микстура, доступная разумѣнію одного только Ленскаго. Какъ громко не говорилъ онъ, какъ ни махалъ руками, какіе не строилъ глазки, будто актриса въ мужскомъ платьѣ, ничто не помогало; зрители молча зѣвали, одна Маруся (Протасова)—

Проказница! прости ей Боже!—

улыбалась на его рѣчи и начала было говорить тоже на какомъ то пестромъ языкѣ, но, видя, что публика очень холодна къ этому нововведенію, вскорѣ оправилась и сыграла очень мило свою роль.

Вообще можно бы посовѣтовать г. Ленскому меньше франтить на сценѣ, не браться за роли свыше своихъ силъ, и оставить на долю женщинъ кокетничать съ партеромъ: имъ это иногда удается. А г. Млатковскаго попросить — ради публики — увольнить „Казака стихотворца“ въ безсрочный отпускъ, хоть для Малороссіи: пора ему отдохнуть на *лаврахъ*; онъ устарѣлъ, голубчикъ, прошло его время, право прошло!... Давайте намъ піесы Котляревскаго, комедіи Основьяненка, нашего народнаго писателя — и мы вамъ скажемъ душевное *спасибо*!

На другой день давали *Парашу Сибирячку* Н. Полевого.

Я прежде еще читалъ прекрасную французскую повѣсть графа Местра: „Молодая Сибирячка“; теперь увидѣлъ ея передѣлку. Придерживаясь золотаго правила—aut bene, aut nihil, я ничего не скажу о передѣлкѣ.

На дретій день публика отдохнула: давали *Льва Гурыча Синичкина*. Піеса была разыграна препорядочно, хлопанью и хохоту конца не было. Да какъ и не играть ее хорошо, когда на сценѣ провинціальнаго театра представляли провинціальный театръ! Все было естественно, живо близко къ истинѣ, лучше сказать— сама истина. Зелинскій сыгралъ Синичкина неподражаемо; смѣю васъ увѣрить, что петербургскимъ артистамъ не сыграть такъ этой роли, потому что Зелинскій самъ

Синичкинъ, настоящій, живой Синичкинъ; даже нольскій выговоръ Зелинскаго здѣсь былъ ему къ лицу. Кромѣ Зелинскаго, хорошо выполнили свои роли Протасова 1-я (Раиса Минишна Сурмилова) и Соленикъ (князь Вѣтринскій), актеръ весьма замѣчательный; на немъ почти держится комедія въ труппѣ Млатковскаго. Выполняя часто совершенно противоположныя роли, онъ вездѣ оригиналенъ, вездѣ хорошъ безъ натяжекъ, игра его благородна и естественна. Вообще, у Млатковскаго водевили идутъ очень хорошо—и давать бы ихъ! — Нѣтъ, даютъ драмы, ищутъ сильныхъ ощущеній, громоздятся на подмостки, на ходули и — падаютъ!...

С. Убѣжище.
15 августа 1840 г.

III.

Опера въ Лубнахъ.

Человѣкъ любитъ общество; почему? часто самъ не объяснитъ, а любитъ безсознательно; оно ему необходимо, какъ хлѣбъ насущный, какъ воздухъ. Вотъ причина, отчего ярмарки въ провинціи составляютъ величайшій современный интересъ для окрестныхъ жителей. Мало того, что на ярмаркахъ можно кое-что необходимое продать дешево и много кое-чего ненужнаго накупить дорого... на ярмаркѣ бываетъ публика. Здѣсь барыня можетъ показать свою новую шляпку и заставить плакать отъ зависти свою сосѣдку, задушевнаго друга; сюда стремятся ремонтеры, народъ молодой и, по-вѣроятности, богатый; сюда вывозятъ уѣздныя барышни свои наряды, свои мечты, маленькія причуды, капризы и фантазіи, взрощенныя въ тишинѣ деревенскаго сада, въ уединенной комнатѣ, которая такъ часто въ часы безсонныхъ ночей оглашалась глубокими вздохами *о немъ*, объ идеалѣ, ни мало не похожемъ на облизаннаго засѣдателя или растрепаннаго усача становаго, единственныхъ сосѣдей; сюда матушка, вмѣстѣ съ дочерьми, вывозитъ свои надежды и чепчики, старики-помѣщики—свои уродливые фраки, домашнюю скуку, картузы и слугъ въ короткихъ брюкахъ, свидѣтельствующихъ объ экономіи барина.

Словомъ, все стремится на ярмарку, болѣе или менѣе счастливое будущимъ. Тамъ общество, тамъ можно обнять пріятеля, котораго давно не видѣлъ, можно отвернуться очень эфектно отъ *врага*, можно стороной узнать что нибудь, или распустить необходимую ложь; тамъ бываютъ собранія, танцы, балаганы, театръ; туда пріѣзжаетъ ловкій французъ съ *настоящимъ* клико, съ трюфельными колбасами изъ Страсбурга, съ парижскими сардинками, съ гаванскими сигарами... И всѣ спѣшатъ на ярмарку: и молодая дѣвушка, жаждущая веселья, танцевъ, любви, жизни, и старикъ, смотрящій въ гробъ—и ему надобно, и онъ торопится. Поѣзжайте, дядюшка! — совѣстно умереть, непокушавъ колбасы съ трюфлями. Въ августѣ этого года я былъ свидѣтелемъ подобной суматохи. 6-го августа въ городѣ Лубнахъ была ярмарка. Всѣ окрестности взволновались; городокъ оживился; квартиры вздорожали до смѣшной крайности: за гадкую лачугу платили дороже, нежели въ Петербургѣ платятъ за прекрасный нумеръ въ лучшей гостинницѣ; по улицѣ, въ облакѣ пыли, мелькали разновидные картузы и гремѣли восклицанія:

— А!
— У!
— Вы ли?...
— Мое почтеніе!
— Ей-богу, я!
— Покорно благодарю.
— Когда?
— Вотъ, какъ видите!
— Давно ли?
— Сейчасъ только!
— Съ утра, батюшка!

МЕЛКІЯ СТАТЬИ.

Ловля перепелокъ въ Крыму.

Охота за перепелками доставляетъ много удовольствія и даже составляетъ довольно значительный доходъ въ южной и во многихъ частяхъ средней полосы Россіи. Предметъ этотъ очень разнообразенъ и занимателенъ, и потому въ одномъ изъ слѣдующихъ нумеровъ нашего журнала мы займемся имъ въ обширномъ объемѣ, показавъ естественную исторію перепелокъ и различные способы охоты за ними; а теперь спѣшимъ сдѣлать объясненіе приложенной здѣсь картинки.

Къ осени перепелки становятся очень жирны, и, должно полагать, по этой причинѣ неохотно подымаются. боясь, что во время тяжелаго ихъ лета могутъ легко попасть въ когти ястреба; особливо онѣ близко подпускаютъ къ себѣ животныхъ, такъ что часто лошадь переступаетъ перепелку, которая ни за что не рѣшается оставить своего мѣста и, прильнувъ къ землѣ, робко слѣдитъ за движеніями четвероногаго, и только тогда выпархиваетъ, когда видитъ прямо надъ собой копыто, готовое раздавить ее. Пользуясь этимъ свойствомъ перепелокъ, крымскіе татары изобрѣли особенную сѣть, которою ловятъ перепелокъ въ неимовѣрномъ количествѣ.

Сѣть вывязывается изъ сученыхъ нитокъ, въ видѣ конуса, аршина два съ половиной въ вышину, и въ основаніи привязывается къ желѣзному обручу, вершковъ двѣнадцати; въ серединѣ сѣти прикрѣпляется другой легкій деревянный обручъ, сообразный діаметру сѣти въ томъ мѣстѣ; вершина связывается веревочкой и — сѣть готова.

Осенью, когда посѣщаютъ Крымъ многочисленныя стада перепелокъ, летящихъ далѣе на югъ, за море, татары отправляются верхомъ на поля за перепелками, держа въ правой рукѣ описанную выше сѣть, собранную въ руку посредствомъ веревочки. Увидя перепелку, что очень-легко, при обозрѣніи кругомъ поля съ лошади, татаринъ подъѣзжаетъ къ ней, сразу останавливаетъ лѣвой рукой лошадь, и въ то же мгновеніе выпускаетъ изъ правой сѣть, вершина которой постоянно привязана у него къ большому пальцу; желѣзный обручъ, по своей тяжести, быстро опускается внизъ и накрываетъ сѣтью перепелку, а испуганная птица, вспорхнувъ кверху, попадаетъ въ вершину конуса сѣтки, то-есть — прямо въ руки охотника. Охотникъ вынимаетъ ее, прячетъ въ мѣшокъ и, подобравъ сѣть, по прежнему ѣдетъ далѣе. Этимъ способомъ ловитъ иногда въ день одинъ человѣкъ по сто и болѣе перепелокъ.

1844 г.

Особый способъ охоты за медвѣдями.

Статья эта была прислана въ редакцію „Иллюстраціи“ при слѣдующемъ письмѣ на имя редактора:

„Нашъ вѣкъ очень уменъ. Объ этомъ никто не споритъ. Люди нашего вѣка полагаютъ, что охотникъ человѣкъ самый пустой, грубіянъ, невѣжа, неспособный ни читать, ни думать, что охота подвигаетъ назадъ просвѣщеніе и обращаетъ человѣка въ первобытное, дикое состояніе. Имѣя удовольствіе принадлежать къ людямъ XIX вѣка, я, впрочемъ, не нахожу охоту занятіемъ слишкомъ богопротивнымъ или унижающимъ человѣчество. Мнѣ гораздо пріятнѣе встрѣтить юношу-охотника, нежели юношу—ростовщика; пріятнѣе иногда слышать его молодую, живую рѣчь объ удачномъ выстрѣлѣ, нежели исполненный эгоизма разсказъ о спекуляціи, могущей обогатить разсказчика и пустить по-міру двухъ, трехъ довѣрчивыхъ его ближнихъ. Всему своя пора, свое время. Разумѣется, предосудительно, и вредно, и грѣшно человѣку тратить всю свою жизнь на эту забаву; но какое же излишество полезно? Безъ хлѣба человѣкъ жить не можетъ, и сколько людей умерло, объѣвшись хлѣба!...

„По-моему, охота принадлежитъ къ лучшимъ удовольствіямъ деревенской жизни и гораздо полезнѣе и безгрѣшнѣе *отдохновенія* за картами, сутокъ по трое сряду. Сверхъ того, у насъ, въ Россіи, гдѣ климатъ и почва часто очень неблагодарны и рѣшительно препятствуютъ всякому успѣху земледѣлія, сотни тысячъ людей существуютъ охотой; безъ нея имъ угрожала бы голодная и холодная смерть. По этимъ причинамъ, я очень благодаренъ вамъ, милостивый государь, что вы, отведя теплое мѣсто для охоты въ столбцахъ вашей разнообразной „Иллюстраціи“, даете мнѣ возможность подѣлиться съ публикой нѣкоторыми охотничьими статьями, которыя я собралъ когда-то отъ знакомыхъ мнѣ охотниковъ; одну изъ нихъ къ вамъ теперь же посылаю.

„Я получалъ статьи изъ разныхъ концовъ Россіи, отъ разныхъ лицъ. Можетъ-быть, онѣ не будутъ такъ занимательны, какъ охоты африканскія и американскія за львами, тиграми и носорогами, описаніе которыхъ часто печатаютъ иностранные журналы; можетъ-быть, по литературному достоинству, онѣ не станутъ въ ряду статей извѣстныхъ литераторовъ, но по мѣстному интересу, потому что онѣ писаны о предметахъ къ намъ близкихъ и извѣстныхъ, надѣюсь, будутъ пріятны и небезполезны для нашихъ охотниковъ, къ которымъ, иногда въ часы досуга, любитъ причислять себя и вашъ покорный слуга

Е. Гребенка“.

Пермской губерніи Чердынскій уѣздъ, занимая собою огромное пространство, почти весь покрытъ лѣсомъ, котораго въ немъ считается до шести милліоновъ десятинъ. Южный край этого уѣзда болѣе населенъ, и жители съ успѣхомъ занимаются хлѣбопашествомъ; сѣвернаго же края обитатели, живя на тощей, песчано-глинистой почвѣ и въ суровомъ климатѣ, не благопріятствующемъ земледѣлію, занимаются рубкою и сплавомъ дровъ на саловаренные Соликамскіе заводы и строютъ суда; но многіе изъ нихъ, изъ роду въ родъ, цѣлыми семействами, и даже цѣлыми деревнями, живутъ одною только охотою за звѣрями. Лучшіе и отважнѣйшіе охотники, съ нѣкоторою гордостью называя себя, довольно правильно, лѣсниками, живутъ по рѣкѣ Вишерѣ,

вытекающей изъ отроговъ Уральскаго хребта и впадающей въ рѣку Каму. Какъ только настаетъ зима, вишерскій лѣсникъ уже счастливъ; онъ съ неизъяснимымъ удовольствіемъ отправляется скитаться по лѣсамъ и тундрамъ до самой весны, при наступленіи которой выплываетъ на плоту по разнымъ рѣкамъ и рѣчкамъ въ свою родную Вишеру, съ добычей звѣриныхъ шкуръ и мяса; потомъ цѣлое, впрочемъ весьма короткое, лѣто онъ предоставляетъ себѣ полное право лѣниться; ему только и заботы купить себѣ въ городѣ Чердыни хлѣба, да наварить овсяной браги *), и, самое главное, отгонять отъ себя комаровъ и москитовъ, недающихъ тамъ лѣтомъ, ни днемъ ни ночью, покоя. Вглядываясь въ бѣдный домашній бытъ вишерскихъ охотниковъ и вообще въ образъ ихъ жизни, повидимому чуждой всякихъ удобствъ и удовольствій, и зная, какую при неудачной охотѣ они во всемъ терпятъ нужду, подумаешь, что они самые жалкіе люди; но охотники о себѣ другихъ понятій: они полагаютъ, что счастливѣе ихъ нѣтъ людей, и этому можно вѣрить, зная ихъ страсть къ охотѣ. Нѣсколько разъ я слышалъ ихъ разговоры: „Ему жизнь-то *Сибирь*“, говорятъ они о счастливцахъ: „какъ зима, такъ онъ и пошелъ въ лѣсъ до самой весны, куда глаза глядятъ; ходитъ себѣ—ни кого не видитъ, никто ему слова не скажетъ, хоть себѣ что хочешь, то и дѣлай; а я оставался на цѣлую зиму въ избѣ... будь она проклята!... а собака-то у него за версту звѣря чуетъ, да и женку взялъ не то что я; шутка! двухъ угламовъ **) въ домъ привела! Кормильцы подъ старость, глядишь, ужъ и есть готовые. А мою дуру знать и въ дѣвкахъ никто не любилъ“. Конечно, такое грубое понятіе о счастьи супружества несходно съ нашимъ; но нисколько не предосудительнѣе утонченныхъ понятій нѣкоторыхъ людей, которые часто разными, иногда не совсѣмъ чистыми способами добиваются женитьбы собственно только на имѣніи невѣсты, не думая совсѣмъ объ ея качествахъ, объ ея *связяхъ*, въ томъ предположеніи, что на деньги все достанешь. Полудикій вишерскій лѣсникъ и записной столичный левъ часто въ этомъ случаѣ, кажется, равно, только разными путями, стремятся къ матеріальнымъ выгодамъ жизни; да притомъ, первому платоническая любовь едва ли можетъ придти когда въ голову, а послѣдній только и бредитъ любовью; но... Впрочемъ, охота за невѣстами не мое дѣло... Итакъ, обращаюсь къ своему предмету—охотѣ за медвѣдями.

Вишерскій лѣсникъ, запасшись порохомъ и свинцомъ, вытянутымъ въ проволоку, толщиною въ калиберъ его винтовки, въ которую пуля входитъ не болѣе горошины, и взявъ поясъ, топоръ и еще особаго рода инструментъ, называемый распоркою, съ собакою простой русской породы, пріученной отыскивать звѣрей, углубляется въ море лѣсовъ, какъ Чердынскаго уѣзда, такъ и смежныхъ, архангельскихъ, вологодскихъ и кочевья березовскихъ остяковъ, съ которыми во время зимы часто сходятся за тысячу верстъ отъ рѣки Вишеры. Въ тѣхъ мѣстахъ знать совершенно пути невозможно, а потому каждый вишерецъ имѣетъ у себя ручной компасъ, называемый тамъ матка; по ней направляется путешествіе и отыскиваются не возвратномъ пути примѣтныя у рѣчекъ мѣста, гдѣ складывался уловъ *). Бѣлокъ, куницъ, соболей и проч. бьютъ вишерцы изъ винтовокъ и притомъ такъ искусно, что почти всегда въ голову, чтобы не испортить шкуры. Наконецъ, доходитъ дѣло до медвѣдя. Какой бы величины медвѣдь ни былъ, все таки его нельзя убить пулькою не болѣе горошины; топоръ и ножъ тоже къ этому негодятся: слѣдовательно, тутъ идетъ въ дѣло одна распорка, и медвѣдь, не смотря на его ужасныя когти, зубы и силу, есть непремѣнная, самая лакомая и притомъ вѣрнѣйшая добыча вишерскаго лѣсника, такъ худо вооруженнаго; и вотъ какъ это дѣлается: когда отыскана берлога—охотникъ толстымъ ремнемъ крѣпко увиваетъ правую руку отъ пальцевъ до плеча, потомъ беретъ въ нее желѣзную распорку, длиною не больше четверти, которая, при сжатіи ея рукояти, раздвигаетъ въ двѣ противоположныя стороны обоюдо-острые клинки; затѣмъ дразнитъ медвѣдя, такъ чтобы онъ пошелъ на драку. За этимъ дѣло никогда не станетъ. Медвѣдь идетъ къ охотнику прямо, а охотникъ къ нему бокомъ и потчуетъ его своей правой рукой; звѣрь съ яростью схватываетъ ее въ пасть, но тутъ вдругъ охотникъ пожимаетъ ручку распорки, распорка раздвигается, поворачивается кругомъ, и медвѣдь падаетъ съ перерѣзаннымъ горломъ, а охотникъ отскакиваетъ прочь. Кажется, не трудно... но какое при этомъ должно быть присутствіе духа и хладнокровіе? Какая разительная смѣлость, стать съ глазу на глазъ противъ

*) *Брага*—напитокъ, выдѣлываемый изъ овсяной муки съ хмѣлемъ; онъ нѣсколько пьянъ и притомъ питателенъ.

**) *Угланъ*—мальчикъ, и говорится большею частью къ незаконнорожденнымъ; впрочемъ, это слово тамъ часто относится почти ко всякому мальчику.

*) *Уловъ*—добыча охоты.

свирѣпаго звѣря, не ожидая ни откуда ни какой помощи, когда каждый невѣрный шагъ или неловкое, несвоевременное движеніе ведутъ за собою мучительнѣйшую смерть? По-моему, это героизмъ. Вишерцы имѣютъ повѣрье, что самый опасный для охотника медвѣдь сороковой, и если онъ будетъ убитъ благополучно, то уже чернаго звѣря **) бояться нечего. Недавно на Вишерѣ жила, а можетъ-быть, и теперь еще живетъ, замѣчательная крестьянка, давно перебившая завѣтное число—сорокъ медвѣдей. Она большею частью охотой содержитъ себя и своего мужа, который, не бывши тамошнимъ уроженцемъ и охотникомъ, женился на вишерской Діанѣ, какъ многіе изъ насъ, не по влеченію сердца, а по разсчетамъ, такъ, ради щей; за то, какъ часто случается со всѣми ему подобными, онъ болѣе покорнѣйшій рабъ, нежели мужъ неустрашимой супруги—и это истина, которую подтвердитъ каждый, бывшій въ томъ краѣ.

1845 г.

**) Чернымъ звѣремъ вишерцы называютъ собственно только одного медвѣдя.

О ЗАВОДѢ ИНОХОДЦЕВЪ ВЪ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Кто не знаетъ иноходцевъ, этихъ выродковъ изъ лошадинаго рода, какъ называютъ ихъ многіе, подымающихъ во время бѣга, на-перекоръ природѣ лошадей, разомъ обѣ ноги съ одной стороны, то-есть правую переднюю и правую заднюю и потомъ обѣ съ лѣвой стороны, отъ-чего бѣгъ ихъ бываетъ переваристъ и страненъ по своей оригинальности для непривычнаго глаза.

Люди строгіе въ правилахъ верховой ѣзды презираютъ иноходцевъ; но наши степные наѣздники, вѣчно-живущіе на конѣ, которые для своего пропитанія должны бываютъ часто по нѣсколькимъ недѣлямъ, что называется, не слѣзать съ лошади, очень уважаютъ эту породу, или пріѣздку, если хотите. И точно, привыкши къ иноходцу —а привыкнуть къ нему очень легко—не налюбуешься его спокойному шагу и бѣгу, сидишь въ сѣдлѣ, какъ въ люлькѣ, какъ въ лодочкѣ, подымаемой тихою зыбью. Часто мнѣ случалось видѣть татарина, который, прорыскавъ весь день въ степи на охотѣ, измученный, усталый возвращался домой вечеромъ, и спокойно дремалъ на своемъ иноходцѣ. Спать на немъ покойно и безопасно, потому-что иноходцы вообще отличаются вѣрнымъ шагомъ и твердою поступью. Вотъ почему эти лошади очень уважаются почти всѣми кочующими племенами, по этой же причинѣ и русскій баринъ-охотникъ, живущій въ деревнѣ, не въ первой порѣ молодости, иногда такъ дорого платитъ за иноходца.

Тутъ не худо замѣтить, что есть маленькая разница между иноходцемъ упряжнымъ, пріѣзженномъ въ какомъ-нибудь экипажѣ, и верховымъ, идущимъ, разваломъ: послѣдній тоже поднимаетъ обѣ ноги съ одной стороны, только неразомъ, а послѣдовательно, отчего эти лошади на бѣгу будто перекатываются, а упряжныя, ступая вдругъ обѣими ногами то правой, то лѣвой стороны, переваливаются.

Я никогда не видалъ черкесскихъ лошадей, ни породы шелоха, ни трама, первенствующихъ на Кавказѣ, да и говорятъ, будто теперь онѣ перевелись совершенно; но мнѣ случалось видѣть нѣсколько кавказскихъ лошадей породы гатукай *), третьей по своей цѣнности между горцами, то-есть первой послѣ шелоха и трама; всѣ онѣ были караковыя и всѣ иноходцы. Неужели это игра случая? Я началъ подозрѣвать: не вся ли порода эта иноходцы? Но мнѣ всегда отвѣчали люди опытные, знатоки: „Помилуйте, это дикая пріѣздка“, и довольно обстоятельно разсказывали способъ, которымъ татары и черкесы выѣзжаютъ иноходцевъ, какъ они имъ спутываютъ ремнями ноги, тревожатъ ихъ и прочее. Я вѣрилъ, что это была пріѣздка—какъ можно невѣрить знатокамъ? Но въ душѣ соглашался съ ними не совершенно.

*) Порода гатукай отличается слѣдующимъ клеймомъ А.

Вѣдь всѣ убѣждены, что первая созданная лошадь была ни рысакъ, ни скакунъ, ни возовикъ, а была просто лошадь; но люди, подчинивъ лошадей своему владычеству, умѣли подмѣтить въ нѣкоторыхъ недѣлимыхъ особенныя свойства, произшедшія отъ разныхъ постороннихъ причинъ, развили эти свойства, мало-по-малу обратили ихъ въ породу и явились лошади скаковыя, возовыя, рысистыя и т. д. Положимъ, иноходецъ выродокъ; отчего же этотъ выродокъ неможетъ дать приплода, похожаго на себя? Русская пословица говоритъ: яблоко отъ яблони недалеко откатывается; французская еще ближе: Les bon chiens chassent de race; а пословицы— аксіомы, истины, увѣковѣченныя народомъ.

Всѣмъ извѣстно, что покойный графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесменскій пріобрѣлъ въ 1775 году высшей крови арабскаго жеребца Сметанку, отъ соединенія котораго съ крупной датской кобылой произошелъ первый рысистый жеребецъ Полканъ 1-й. Съ него начинается порода рысистыхъ лошадей, которую умѣлъ превосходно вести и поддерживать покойный графъ, какъ великій знатокъ этого дѣла, и Россія пріобрѣла отличный заводъ быстрыхъ, рѣзвыхъ и красивыхъ рысаковъ.

Но оставимъ этихъ гордыхъ, аристократическихъ бѣгуновъ, и обратимся къ нашимъ смиреннымъ иноходцамъ. Въ началѣ текущаго девятнадцатаго столѣтія, именно, лѣтъ тридцать назадъ, точно такимъ же образомъ, случайно возникъ въ Таврической губерніи въ Верхне-Днѣпровскомъ уѣздѣ заводъ иноходцевъ, который и теперь еще существуетъ въ деревнѣ Бехтерахъ, у тамошняго помѣщика, надворнаго совѣтника Николая Дмитріевича Куликовскаго.

Лѣтъ тридцать назадъ, какъ я уже сказалъ, Николай Дмитріевичъ Куликовскій купилъ въ Одессѣ, у дюка де-Ришелье, выводнаго арабскаго жеребца караковой масти, не могу сказать вѣрно, за десять или двѣнадцать тысячъ. Отъ случки этого жеребца съ обыкновенными закавказскими кобылами выходили лошади красивыя, сильныя и необыкновенной быстроты. Г. Куликовскій, для пробы, купилъ у мѣстныхъ татаръ нѣсколько кобылъ, отличавшихся крѣпостью ногъ и отчаянной иноходью, и случилъ ихъ съ арабскимъ жеребцомъ. Хотя жеребецъ былъ вовсе не иноходецъ, однако жеребята отъ татарскихъ кобылъ вышли иноходцы! Случая впослѣдствіе этихъ жеребцовъ-иноходцевъ съ такими же кобылами, г. Куликовскій достигъ, что у него теперь цѣлый заводъ иноходцевъ; около тридцати матокъ и нѣсколько жеребцовъ. Людямъ, увѣряющимъ, будто иноходь есть пріѣздка, я совѣтую посмотрѣть заводъ г. Куликовскаго: они увидятъ, что маленькіе жеребята въ этомъ заводѣ бѣгаютъ по степи за своими матерями не иначе, какъ иноходью. Кто же ихъ выучилъ? кто пріѣздилъ этихъ жеребятъ?

Лошади въ заводѣ г. Куликовскаго вообще темныхъ мастей: вороныя, караковыя и рѣдко гнѣдыя; немногія изъ нихъ статны и красивы, а большею частію вислозадыя съ неправильными, толстыми, но чрезвычайно крѣпкими, сильными ногами, и большими, горбоносыми головами.

Эти иноходцы, будучи взяты въ упряжь, сначала очень смирны и немного лѣнивы; но, мало-по-малу привыкая къ ѣздѣ, дѣлаются горячи, быстры, бѣгутъ рѣзво иноходью, и, если съ ними дурно обращаются, становятся очень капризны. Но величайшая добродѣтель этихъ лошадей состоитъ въ томъ, что онѣ чрезвычайно-тихо и осторожно спускаются съ горъ. Вѣроятно, онѣ, подымая разомъ обѣ ноги съ одной стороны, и тѣмъ оставляя половину своего тѣла, обремененную всею тяжестію экипажа, безъ всякой опоры, сами чувствуютъ шаткость своего положенія и становятся осторожны.

Одинъ кавалерійскій офицеръ разсказывалъ мнѣ, что его несъ иноходецъ Куликовскаго восемь верстъ; никакія усилія не могли остановить бѣшеное животное; но, прибѣжавъ на край крутой горы, иноходецъ самъ вдругъ остановился и тихо, шагъ-за-шагомъ, спустилъ экипажъ.

Всѣ писатели, сколько мнѣ извѣстно, и русскіе, и иностранные, вообще увѣряютъ, и кажется крѣпко сами убѣждены, что иноходь есть аллюръ случайный. Какъ же и чѣмъ послѣ этого объяснить заводъ иноходцевъ Н. Д. Куликовскаго?

Кто бывалъ въ степяхъ, тотъ вѣрно знаетъ, что волки очень любятъ мясо молодыхъ жеребятъ, что они часто слѣдятъ за табунами, залегаютъ въ камышахъ, выжидаютъ и рѣжутъ жеребятъ, которые, рѣзвясь, отбѣгаютъ подалѣе отъ матерей своихъ; но говорятъ, не было примѣра, чтобы въ заводѣ иноходцевъ Куликовскаго волки съѣли или испортили хотя одного жеребенка. Иноходцы очень осторожны и злы. Жеребецъ, ходя весною въ косякѣ съ матками, зорко осматриваетъ окрестности, по временамъ обѣгаетъ большое пространство вокругъ своего косяка и, при малѣйшемъ подозрѣніи, тревожно ржетъ; по звуку его голоса, какъ по звуку трубы, всѣ жеребята сбѣгаются въ кучу; кобылы составляютъ около нихъ кругъ, становясь къ центру головами; жеребецъ гордо кружитъ около ко-

сяка, оглашая далекую степь звонкимъ ржаніемъ; голова у него поднята, уши на сторожѣ, глаза горятъ, ноздри расширены, грива щетинится, хвостъ трубою. Какъ тогда красивъ и страшенъ этотъ свободный питомецъ степи! Волкъ ни за что не посмѣетъ приблизиться къ нему. Но иногда, мучимые голодомъ, нѣсколько волковъ, собравшись вмѣстѣ, рѣшаются напасть на косякъ; тогда начинается настоящее сраженіе: кобылы храбро выдерживаютъ атаку непріятелей, принимая ихъ дружнымъ, быстрымъ ляганьемъ; между тѣмъ жеребецъ рыщетъ кругомъ, ободряя косякъ громкимъ ржаніемъ и поражая волковъ сильными, разрушительными ударами своихъ копытъ. Волки убѣгаютъ отъ такого пріема, нерѣдко оставляя на мѣстѣ двухъ-трехъ своихъ товарищей, а иноходцы, проводивъ глазами далеко непріятелей, спокойно расходятся и начинаютъ пастись.

Въ „Journal des Haras, janvier, 1844“ помѣщена статья: „Les chevaux des steppes“, взятая изъ путешествія доктора Коля по степямъ полуденной Россіи; въ этой статьѣ описано подобное сраженіе лошадей съ волками. Ужъ не видѣлъ ли г. Коль иноходцевъ Куликовскаго? Чего добраго, можетъ-быть, французы скоро извѣстятъ насъ и объ этой рѣдкости нашего отечества!

1844 г.

КРУЧЕНАЯ ОВЦА.

Разсказъ.

Статья эта была прислана въ редакцію „Иллюстраціи“ при слѣдующемъ письмѣ:

„Читая въ „Иллюстраціи“ любопытныя статьи К. Луганскаго о повѣрьяхъ и предразсудкахъ нашего народа и не менѣе любопытныя замѣчанія и поясненія на эти статьи, я вспомнилъ о разсказѣ, который я когда-то списалъ со словъ одного старика, крестьянина, человѣка временъ екатерининскихъ, и спѣшу переслать его вамъ. Если слогъ простаго человѣка вамъ понравится и вы найдете разсказъ не лишнимъ для поясненія нѣкоторыхъ продѣлокъ знахарей, то можете его напечатать въ вашемъ журналѣ. Этотъ разсказъ списанъ мной почти слово-въ-слово съ рѣчей крестьянина, въ деревнѣ Свидовкѣ, лежащей на берегу Днѣпра, въ Кіевской губерніи.

Е. Гребенка.“

Зимою въ нашу деревню пришла какая-то военная команда. Тогда не то было что теперь. Мы боялись солдатъ, какъ непріятелей; бывало, солдатъ все село перевернетъ по своему. Крѣпко трухнулъ мой покойный отецъ, пошелъ къ вахмистру, разсказалъ все, какъ слѣдовало, что и дочь у него на возрастѣ и хата холодная, и достатки небольшіе, и предложилъ приношеніе. Вахмистръ приношеніе взялъ и сказалъ: „Будь спокоенъ!“ Мы были спокойны два дня, а на третій влѣзъ-таки москаль въ хату да и засѣлъ. Господи прости, какъ говорится, и ладономъ не выкуришь!... Отецъ къ вахмистру; вахмистръ говоритъ:

— Дѣлать нечего! не наша воля: сила солому ломитъ. Ты добрый человѣкъ и приношеніе твое было хорошее, я тебя помню (онъ, спасибо, всегда, всегда помнилъ покойника), а дѣлать нечего, терпи.

Пришелъ нашъ отецъ домой, отправилъ старшую дочку къ теткѣ, въ другое село, и мы зажили съ постояльцемъ. Насъ было четверо: отецъ, мать, я, мальчикъ лѣтъ десяти, да сестра, пятилѣтній ребенокъ. У печки стояла широкая кровать — ее занялъ постоялецъ; отецъ съ матерью перекочевали на печку, а мы съ сестрой зябли на лавкѣ у дверей. Сначала мы, дѣти, очень боялись постояльца, его ружья, которое стояло подъ образами, а еще больше усовъ, особливо когда, бывало, намажетъ ихъ воскомъ съ сажей, а послѣ привыкли и даже были рады, отъ того-что ни одинъ мясоѣдъ не ѣли такъ вкусно, какъ этотъ.

Каждый день, бывало, то жареный гусь, то курица, то баранина, то разныя сладости. Отецъ, узнавъ, что постоялецъ не дѣлаетъ никакого зла, когда сытъ по горло, кормилъ его будто на сало. Прошелъ мясоѣдъ и насталъ Постъ. Наше село не на Днѣпрѣ стоитъ, село не рыбное; начали ѣсть, что Богъ послалъ, то рѣдьку, то капусту. Завоевалъ постоялецъ: съ утра до ночи, бывало, словно громъ гремитъ, что день, то все хуже—хоть изъ хаты бѣги! А тутъ случилась еще бѣда; захромала овца у насъ въ стадѣ. Отецъ принесъ овцу.

— Я хочу, пусть обогрѣется, говоритъ:— хромать перестанетъ.

Загремѣлъ постоялецъ на овцу:—Я, говоритъ, съ овцами компанію не вожу; я пойду къ начальнику, да онъ васъ въ живѣ не оставитъ!

Уже-было и фуражку надѣлъ, чуть-чуть не ушолъ, да покойникъ догадался, далъ ему что-то, онъ и притихъ, и остался въ хатѣ. Осталась и овца, да какая была веселая. Извѣстно, не человѣкъ, ничего не понимаетъ; ей все равно, что я, что постоялецъ! И на завтра была она весела, почти хромать перестала, такъ что, полечивъ, хотѣли было ее опять въ хлѣвъ пустить, а на послѣ-завтра и бѣда случилась: ни съ того, ни съ другаго скрутилась овца, стала совсѣмъ крученая; это такъ овечья болѣзнь называется: уставитъ овца лобъ въ землю и крутится на одномъ мѣстѣ. Такъ крутится и наша: ни ѣстъ, ни пьетъ, все кружится на одномъ мѣстѣ, наклонивъ лѣвое ухо къ землѣ, словно чего прислушивается; пришли два-три человѣка сосѣдей, посмотрѣли на овцу и рѣшили, что собаки будутъ скоро очень рады. Когда ушли гости, постоялецъ сталъ уговаривать моего отца, чтобы онъ зарѣзалъ больную овцу и мясо ему отдалъ.

— Я, говоритъ, съѣмъ это мясо; оно мясо хорошее, жирное, зарѣжь только поскорѣе, пока не исхудала.

— А постъ? сказалъ отецъ.

— Не твое дѣло мѣшаться въ мою душу, закричалъ постоялецъ, и ругнулъ отца порядочно.

Подумалъ отецъ: „все равно, собаки съѣдятъ, пусть его жретъ, авось будетъ но мягче“. И зарѣзалъ овцу, а постоялецъ давай ѣсть, словно въ мясоѣдъ, и съѣлъ въ недѣлю всю отъ головы до хвоста.

Мы встали рано, до свѣта, зажгли огонь; отецъ, сидя у печки, чинилъ тулупъ; мать на печкѣ пряла; постоялецъ спалъ; какъ вотъ застучалъ кто-то въ окошко и сталъ кликать нашего постояльца:

— Иванъ! Ивановъ!...

— Какой тамъ чортъ? закричалъ постоялецъ.

— Небось не узналъ ефрейтора! Вставай, на ученье выходи!

— Радъ стараться, закричалъ постоялецъ, да какъ схватится съ постели и пошелъ кружиться на одномъ мѣстѣ середи хаты.

— Скорѣе! кричитъ ефрейторъ.

— Сейчасъ! кричитъ постоялецъ и все вертится на одномъ мѣстѣ.

Отецъ пересталъ шить, мать уронила веретено—да смотрятъ на постояльца, а онъ все кружится на одномъ мѣстѣ, наклонивъ голову къ землѣ. Мы, дѣти, такъ и помираемъ со смѣху, на него глядя.

Ефрейторъ вошелъ въ хату, началъ было ругать постояльца, да послѣ сказалъ: „вотъ оно что!“ и притихъ. Подошелъ къ постояльцу, перекрестилъ его — не унимается. Далъ ему въ руки ружье—и съ ружьемъ кружится. Тутъ ефрейторъ и накинулся на моего отца: Отъ чего, дескать, не берегъ казеннаго человѣка? отъ чего онъ кружится? Что онъ ѣлъ? что онъ пилъ? что дѣлалъ? Отецъ отвѣчалъ, что постоялецъ ничего не дѣлалъ, лежалъ съ утра до ночи, пилъ онъ все, что попадалось подъ руку и ѣлъ баранину, вотъ по такому и такому случаю. Тогда ефрейторъ просто сказалъ, что моему отцу на землѣ и мѣста нѣтъ, зачѣмъ, дескать, отравили казеннаго человѣка: овца *скрутилась* и человѣкъ *скрутился*; и началъ вязать отца, чтобъ представить начальству. Да матушка догадалась, упала въ ноги ефрейтору и стала просить, говоря, что ничего не пожалѣетъ. Ефрейторъ былъ добрая душа и человѣкъ не простой: зналъ кое-что; взялся отшептать и живо отшепталъ, какъ рукой сняло; только приказалъ кормить постояльца свѣжею бараниной. Еще зарѣзали двухъ овецъ для постояльца, да и ефрейтору заплатили три карбованца. Ну, да Богъ съ ними! благо, что больнаго вылечили: не пришлось идти къ начальству!

Какъ-то весной, уже послѣ Свѣтлаго Христова Воскресенья, вошелъ къ намъ въ хату офицеръ, сталъ на порогъ, уперъ руки въ бока и началъ ругать моего покойнаго отца: „Ты, говоритъ, и дуракъ, и прочее...“ Отецъ за каждое слово поклонъ и молчитъ.

— Ты знаешь, дуракъ, за что я тебя ругаю? спросилъ офицеръ, наругавшись вволю.

— Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю.

— За то, что ты дуракъ, что позволилъ себя одурачить. Тутъ офицеръ разсказалъ, что его солдаты поссорились и разсказали другъ на друга, какъ Ивановъ захотѣлъ мяса и положилъ овцѣ въ ухо шелку, отъ чего она кружилась и какъ, съѣвши мясо,

сговорился съ ефрейторомъ и самъ кружился... все разсказалъ, (спасибо ему, добрый человѣкъ!) позвалъ сюда ефрейтора и постояльца, приказалъ ему кружиться и долго смѣялся, а послѣ сказалъ:

— Я смерть не люблю взятокъ. Разумѣется, что съѣдено, то пропало; баранина не въ моемъ судѣ. Зачѣмъ поплатится, за то, что дуракъ, а три цѣлковыхъ отдай непремѣнно, сейчасъ подавай!

— Отдамъ, ваше благородіе, только теперь нѣтъ: пропиты на праздникахъ.

— Ну, ужъ какъ ты хочешь, гдѣ знаешь достань—я взятокъ не люблю!

Этакой былъ случай съ моимъ покойникомъ! Хорошо, что на честнаго человѣка офицера дѣло вышло; все разсказалъ, хоть и выругалъ, да и деньги велѣлъ отдать намъ. Правда, отецъ денегъ не получилъ ни полушки, да все-таки велѣлъ отдать, и за то спасибо! Добрый былъ человѣкъ!

1845 г.

Сто сорокъ пять.

Дворяне .....ской губерніи, ...скаго уѣзда избрали изъ среди себя судью— 0,000,000.

— Я намѣренъ, говорилъ новоизбранный, входя въ первый разъ въ уѣздный судъ:— да, я намѣренъ обращать самое строгое вниманіе на грамматику, ибо многіе господа служащіе такъ пишутъ... И судья, иронически улыбаясь, обвелъ глазами всѣхъ канцеляристовъ.

— Ваша фамилія? продолжалъ онъ, указывая на одного изъ нихъ.

— Гриценковъ.

— Ну, напримѣръ, господинъ Гриценковъ, покажите, какую бумагу вы пишете?

— Дѣло о нашествіи мертваго тѣла и о нахожденіи при ономъ ста сорока пяти рублей денегъ, утаенныхъ якобы земскимъ засѣдателемъ Охрѣменковыхъ и о прочемъ.

— Посмотримъ! Такъ и есть; на первой страницѣ грамматикальная ошибка! Вы до сихъ поръ не понимаете тонкостей русскаго языка. Возможно ли писать сорокъ пять? Послушайте, играли ли вы когда въ карты? не въ дурачки, а въ игры благородныя—въ вистъ, бостонъ?

— Нѣтъ, не игралъ.

— То-то и есть! Замѣтьте же: люди значительные, то-есть, люди съ вѣсомъ, съ образованіемъ, всегда говорятъ: *дама самъ-пятъ козырей, самъ-шестъ бубенъ*, а отнюдь не самъ-пять, самъ-шесть. Слѣдовательно, и писать должно сторокъ пятъ: это яснѣе дня. Надѣюсь, впередъ такихъ ошибокъ не будетъ. Тутъ судья поворотился и вошелъ въ присутствіе; низко поклонились ему уѣздные засѣдатели, и онъ, садясь за красное сукно, спросилъ у одного изъ нихъ съ большимъ участіемъ:

— Каковы ваши собаки?

Съ этого времени въ .....скомъ уѣздномъ судѣ пишутъ пятъ, шёстъ, сёмъ, и такъ далѣе, на основаніи прежнихъ примѣровъ.

1834 г.

АНЕКДОТЪ.

Это было очень давно, еще за старыхъ гетмановъ, когда Украйну тѣснили и южные, и западные сосѣди, а къ сѣвернымъ она еще не пристала.

Лѣтомъ, часу въ первомъ ночи, ѣхалъ изъ города Л. мѣщанинъ. Дорога шла черезъ дубовую рощу; ночь была теплая, лунная; кобылка, запряженная въ оглобли, рысцой тащила повозку; мѣщанинъ, вытянувшись во всю длину повозки, лежалъ лицомъ къ небу и отъ нечего дѣлать считалъ звѣзды. Вдругъ кобылка остановилась.

— Ну! закричалъ мѣщанинъ.

Кобыла ни съ мѣста.

— Ну, ну! буланая! Какой тамъ чортъ! сказалъ мѣщанинъ, лѣниво приподымаясь.

— Не чортъ, а христіанская душа, отвѣчалъ грубымъ голосомъ мужикъ, стоявшій передъ кобылой. Одной рукой онъ держалъ ее подъ уздцы, а въ другой имѣлъ страшно-толстую дубину.

— Прочь съ дороги! закричалъ мѣщанинъ.

— Этого-то и не будетъ; а не хочешь ли отдать деньги?.. Безъ этого я тебя не отпущу.

— У меня нѣтъ денегъ, отвѣчалъ мѣщанинъ, дрожа и оглядываясь во всѣ стороны.

Кругомъ было пусто.

— Мнѣ немного надобно, давай два талера — и Богъ съ тобой; не то... не побоюсь грѣха.

Мужикъ поднялъ дубинку и значительно посмотрѣлъ на нее.

— Вотъ всѣ мои деньги, говорилъ мѣщанинъ, выворачивая карманы:—вотъ турецкій золотой въ два дуката, только и есть; возьми его, да отпусти душу на покаяніе...

— Какъ бы не такъ! на что мнѣ твои деньги? чтобъ прожгли мои, карманы, да и домъ мой извели? Богъ съ нимн! не хочу я ихъ! чужимъ добромъ не разживешься. Дай мнѣ два талера: съ меня ихъ требуетъ старшій; внести къ сроку надобно; не отдамъ—бѣда будетъ, въ тюрьму упрячутъ. Вотъ что. Дай мнѣ два талера; я нхъ завтра же и отдамъ старшему, а лишніе мнѣ зачѣмъ? я не разбойникъ какой; нужда заставила: взять негдѣ!

— Ей-богу, нѣтъ двухъ талеровъ.

— Размѣняй.

— И размѣнять негдѣ; кто мнѣ въ лѣсу размѣняетъ?

— Поѣзжай въ городъ, къ свѣту доѣдешь и размѣняешь.

Мѣщанинъ съ радостью повернулъ оглобли.

— Э! сказалъ мужикъ: — какой ты вострый! вы народъ грамотный какъ разъ проведешь, уѣдешь въ городъ и не дашь денегъ.

— Нѣтъ... какъ можно... отвѣчалъ мѣщанинъ смущеннымъ голосомъ.

— Вотъ видишь, ты уже заминаешься... придется не отпустить тебя, хоть и не хочется.

— Помилуй, добрый человѣкъ! завопилъ мѣщанинъ.

— Что же, ты мнѣ дашь два талера?

— Дамъ, ей-богу дамъ!

— И меня не выдашь?

— Не выдамъ, видитъ Богъ, не выдамъ.

— Ну, такъ я поѣду съ тобой въ городъ, тамъ ты при мнѣ размѣняешь золотой и дашь мнѣ два талера, тамъ я и отдамъ ихъ въ казну. Подвинься-ка немного.

Мѣщанинъ подвинулся, мужикъ сѣлъ на повозку, и они вмѣстѣ отправились въ городъ мѣнять деньги.

1845 г.

МАЛОРОССІЙСКІЙ ОТДѢЛЪ.

ПОЛТАВА.

Поэма А. С. ПУШКИНА.

Вольный переводъ на малороссійскій языкъ.

(ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕРГѢЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПУШКИНУ).

ПѢСНЬ ПЕРВАЯ.

Багатый дуже Кочубей:
Іого ланамъ конця немае,
Іого отара скризь гуляе
Въ зеленимъ лузи безъ людей;
А лугъ ажъ стогне пидъ воламы,
Пидъ киньмы гарными й вивцямы.
Багацько у іого добра,
Отласу, хутра и срибла,
На видноци и пидъ замкамы.
Та пышный Кочубей не тымъ,
Не довгогривимы конями
Не батькивскимы хуторамы,
Не злотомъ, бачите, якимъ
Іого що годъ даруе Крымъ—
Дочкою гарною своею
Ты забогативъ Кочубею!
Тай правды ничого ховать,
Нигде нема Маруси ривни,
Вона мовъ квитка та дубривна,
Що тилько стала росцвитать,
Тополя буцимъ на могыли,
Гинкый, та гнучій станъ премылый;
Якъ шумъ биліе вся вона;
Кругомъ дивоцького чола,
Мовъ хмары, косы бованіють,
Якъ макивочка—ритъ красніе,
Очици—якъ зиркы блыщять.
Вродлывая, ни втять, ни взять!
Та не одною липотою
Маруся звисна стала всимъ;
А больше розумомъ своимъ,
Вицлывимъ серцемъ и цнотою.
За те моторныхъ женыхивъ
Сваты товчутся у порога,
Та щось винця, мовъ кайданивъ,
Лякается моя небога;
Всимъ молодимъ—гарбузъ якъ тутъ,
Ажь ось сваты гетьмана йдуть.

Старый винъ, спитканый війною,
Годамы, працею, смутою:
Щожъ? духъ Мазепы закыпивъ,
И—знову гетьманъ полюбывъ!
Хочь винъ до пелеха сидого
Изъ парубикы молодого
Не перескочивъ—пережывъ.
Не сарна пидъ байракъ втикае
Орла почувшы на снипи;
По синямъ панна похожае,
И жде що скажуть: такъ, чы ни.

Ось выйшла маты, и зъ слезами,
Приголублывимы словами,
За руку взявшы каже ій:
„Брыдкый, мерзеный, глянь, поганець!
Чы можна? ни, паскудный ланець,
Гриха ты не збудуешъ, злый!
Тоби бъ, якъ то ведется викомъ,
Хрещеныцинымъ батькомъ бутъ...
Іого чорты у пекли ждуть—
Винъ хоче буть ій чоловикомъ!“
Маруся задрыжала, зъ рукъ
Зпустылась хустка шовковая,
Поблидшы, нибы нежывая,
Упала дивка на рундукъ,
Хочь одыйша вона, да знова
Зомкнула очи; ни пивъ слова
Не каже. Батько, маты тутъ
Биля ій усе возылысь;
Хрестылысь, плакалы, молылысь.

Воны того сердешни ждуть,
Щобъ ій на сердци лехше стало,
Щобъ дытятко хочь закуняло,
Не тутъ було. Два цилыхъ дня
Все мовчкы хлыпала вона,
Ничого ни пыла, ни ила,
Опричъ людей соби ходыла;
Тынялась утинка, якъ гычь
Одъ витру гнется при дорози:
Було смутнесенько небози,
Все рюмала. На третю ничь
Лыха годынонька настала:
Ій свитлыця запустковала.

Нихто не знавъ, колы вона,
Пидъ ничку, сплыснула зъ двора;
И тильки мовъ козацкій гоминъ
Ту ничь въ саду рыбалка чувъ,
Та вранци слидъ на лузи бувъ,
Що по роси скакалы кони.

Не тилькы парубоцькій чорный,
Закручованный усъ моторый
Чаруе молодихъ дивчатъ,
А деколы й старого взглядъ,
Що дывыця, мовъ сычь зъ пидъ стрихи.
Давно забувшы жарты й смихи,
Знаходыть не дивчыну—кладъ.

Не знаю якъ робылось тее;
А швыдко и до Кочубея
Такая звисточка дойшла,
Що, позабувшы Вога й соромъ,
Іого дочка въ гетьманскій хоромъ
Якъ полюбовныця ввійшла.
Що тутъ робыть? и батько й маты
Соромляются выйты зъ хаты,
Не слухають, що каже людъ.
Да якъ хрещенихъ обмануть?
Тогди усимъ, бачь, стало явно,
Чого збентежыла такъ марно
Вона веселость литъ своихъ;
Чого тыхенько все здыхала
И на залыцанья молодихъ
Забаскалычывшысь мовчала;
Чого въ бесѣди за столомъ
Вона все слухала гетьмана,
Колы горилка шумовала
И чарка повнылась выномъ;
Чого все письни ти спивала,
Що винъ колысь компонувавъ,
Колы іого нихто не знавъ,
Колы іого ще доля спала;
Чого, мовъ парубокъ, вона
Любыла військо и коня,
И гукъ, и галасъ барабана,
Якъ тильки въ чистый степъ зъ двора
Блысне бунчукъ и булава
Ясновельможного гетьмана.

Ниврoку, мае Кочубей
Худибчыну; мовъ и въ людей
Въ іого пріятеливъ багато:
Іому ничого, сыдя въ хати,
Въ Полтави смутокъ заплодыть;
Винъ здужа гетьману злодію,
Сриблохвилевастому змію,
У сердде нижъ загородыть,
Винъ здужа, здужа.... да не тее
Лежить на думци Кочубея.

За билого царя Петра...
(Колысь давно робылось дуже)
Винъ бувъ розумный, гарный, дужый,
Шмыгнявъ—въ шатро изъ пидъ шатра—
За трыдевять земель въ чужыни:
Дывывсь на дывовыжи тамъ,
И те заводывъ въ Московщыни,
Що льготою було людямъ.
Попавсь небижчыкъ въ анацію,
Якъ шведъ крутывъ, бачь, веремію,
Въ Москву славъ висько видусиль,
Покы невывчивсь воюваты
Петро—тай давъ поганцямъ знаты,
Оддяковавъ за хлибъ за силь.
Вершлягъ хочь шклянку розбывае,
Та штуку зъ крыци выганае.

Карлъ постягавшы нимцивъ сылу,
Ышовъ війною на Москву,
Змитавшы москаливъ дружины,
Якъ выхорь пылъ жене зъ долыны
И на облози гне траву.

Тогди Украйна мурмотала,
Мовъ литомъ бжилъ на сонци рій.
Вона до себе Карла ждала,
Щобъ волю давъ скорише ій.
Кругомъ гетьмана обзывався
Негарный гвалтъ: „пора! пора!“
А все, здавалось, оставався
Мазепа вирнымъ до Петра.
Буцимъ не чуючы ничого,
Гетьманъ ни на що не дывывсь,
Цуравсь умысне одъ усіого,
Зъ бенкетамы, то що, водывсь.

„Щожъ гетьманъ!“ парубкы губалы:
„Чого винъ жде, старый Іовтухъ?
Годы та праця зопсовалы
У іого атаманьскій духъ.
Чого жиночою рукою
Ище винъ носыть булаву?
Теперъ ушкварыть бы війною
На ту ненависну Москву!
Колы бъ старый нашъ Дорошенко
И Самойловичъ молодый,
Або Палій и Гордіенко
И зъ козакамы сталы въ стрій,
Тогди въ снигу, въ лыхій годыни

Въ Москви не дохлы бъ козаки,
И скризь по селахъ Украины
Рушалы сотни и повкы".

Хто зыйде въ ричку, якъ покрые
Изъ верху крыга ричку ту?
Хто зъ васъ, пидлызы, темноту
Лукавого? хто врозуміе
Ехидковату простоту?
Чимъ сердце у кого поганше,
Тимъ зъ выду винъ бувае краще.
Плохенькый буцимъ ягненя,
Мазепа зъ дидусемъ товкую
О старосвицкихъ, гарныхъ дняхъ,
И зъ безталаннымъ самъ жалкуе,
Зъ бурлакамы соби мыркуе
Про волю, се то те плете,
Дивчатамъ меле про кохання,
И зъ молодымъ про залыцання,
Зъ дурнымъ розумну ричь веде.

Давно у пазуси пидъ бокомъ
Мазепа гадыну зогривъ;
Та Кочубей орлячимъ окомъ
Ту злисть гадючу прослидывъ.

„Я соромъ свій и соромъ жинкы
Незакохаю межъ людей".
Скрегоча каже Кочубей
„Я не займу твои будынкы,
Тюрьму Марусеньки моей;
Ты не зпечешся на пожари,
Втечешь и шабельной ты кары—
Тоби се трохы. Ни, въ Москви,
Якъ вьюнъ вьючысь въ клищахъ московськихъ,
Въ гарячій плывучы крови,
Изкорчывшысь одъ мукъ бисовськихъ,
Ты проклянешь той день и часъ,
Колы дочку хрестывъ у насъ.
И бесѣду, де повну чашу
Тоби я зъ чести налывавъ,
И ничь, якъ голубьятко наше
Старый шульпика заклювавъ!"

Колысь то времячко бувало
Воны братецьки, мовъ, жылы;
У купи илы хлибъ чы мало,
Або й вареную пылы.
Колысь и на поли скакалы
Ихъ кони поручъ на невиръ;
Дня не було щобъ не виталы
Воны одынъ другого двиръ.
Бакакаючы зъ Кочубеемъ,
Тогди гетьманъ не постеригсь.
Бачь закыдавъ на те, на сее,
Та въ дурни ни-видсиль пострыгсь.
Теперъ одно суддя кохае,
Бажа умысне одного;
Дочку одъ лыха одвалае
И ворога свого зволае,
Або издохне одъ іого.

Винъ злисть у сердци затаившы,
Прикынувсь буцимъ забувавъ
Свою биду; и дочку гирше·
Передъ народомъ кепковавъ.
Але, промежъ ридни шукавъ
Соби товарищивъ вирнишыхъ.
И жинци нышкомъ росказавъ,
Що на гетьмана винъ доносыть.
(Мабуть самый нечыстый просыть
Жинокъ до дила вербовать!)
Ни исты не дае, ни спать,
Все шепче жинка Кочубею,
Домовыкомъ за нимъ лита,
Щобъ лысты славъ винъ до Петра,
Гарчыть съ докукою своею:
„Мабуть не зробышъ? забожысь!"
—Ну, добре тильки видступысь!—
И винъ клеиется передъ нею.

Помырковалы, погадалы,
Зробылы все, якъ добре зналы,
Зкомпоновалы лыстъ Петру,
Лыстъ на гетьмана препоганый;
И Искра, Кочубей и пани,
Що зналы, все мостылы тутъ.
Та хто жъ яснійшому цареви,
Московському государеви,
Папиръ сей вирно донесе?
Вродылось на биду усе:

Бувъ найкращый межъ козаками
Одынъ ще молодый козакъ;
И сей зъ другимы парубкамы
Гарбузъ изхрумавъ неборакъ.
Марусеньку кохавъ винъ дуже,
Про іого все було байдуже,
Але про мылую гадавъ
И въ думкахъ ничелькы не спавъ.
Блукавъ що дня, або край ричкы,
Або ховався у поричкы,
Щобъ подывыться якъ вона
Зъ господы куды небудь йшла.
Колы жъ межъ людомъ про Марусю
Негарный поговиръ литавъ,
Неперемигъ свою винъ душу,
Про еи мовчкы жалковавъ,
А все кохать не престававъ
Имья пресучого гетьмана,
Мовъ жыдъ, якесь имья Гамана,
Кусавши чорный усъ, ворчавъ.

Хто мисяцемъ, та по зори
Закатно скаче на кони?
Чій кинь, мовъ крымскый хиртъ пиджарый,
Степомъ такъ швыдко, прудко парыть?

Козакъ въ Московщину летыть;
Козакъ ни исть, ни пье, ни спыть
Ни въ чистимъ поли, ни въ дуброви,
Ни на дубу, ни на пороми.

Якъ скло, шаблюка такъ блыщить,
Капшукъ у пазуси бряжчить;
Не спотыкавшись кинь порсклывый
Бижыть, пуска по витру грыву.

Забавка шабля молодцю,
Дукативъ треба жь, бачъ, гонцю,
Коня соби въ подмогу мае,
Та шапци грошей не закладае.

Раднишый винъ за ей дать
Коня, дукаты и булатъ;
Ін бъ оддавъ хиба бъ якъ куля
Іого зъ коня навзничь зыпхнула.

Чого жъ за шапку винъ крепыть?
Бо въ шапци тій папиръ лежить,
Папиръ на лютого гетьмана
Царю отъ Кочубея пана.

Гетьманъ хуртовыны не чуе,
По своему усе мудруе.
Якійсь то старець, то чернець,
Що вечиръ лизуть у дворець
И тамъ всю ничь, мовъ розбышакы,
Або у вивчара собакы,
До свита билого гарчять.
Недобре щось воиы товкують,
Землею ридною торгують,
Торгують Богомъ и царемъ
Зъ невирнымъ шведськимъ королемъ.
Поганьци, найметы гетьмана
Видъ ричкы Ворсклы до Лымана
Пускають межъ народъ ману;
Заворушылысь запорожци,
Загомонилы черноморци,
Гудуть станыци на Дону:
Въ Очакови, земли турецьки,
Зибралась, щось не побратецьки,
Песиголовцивъ череда;
Въ Москви король воюе шведськый,
Гогоче крымськая орда.

Якъ же псяюха винъ злякався,
Колы надъ нимъ ушкварывъ гримъ,
Колы іому зъ Москвы прыслався
Папиръ зъ доносомъ тимъ самимъ,
Що на іого видсиль послалы.
Боярство изъ Москвы пысало
Ласкавый до іого прывитъ,
Такимъ сякимъ іого витало,
Во вовка за ягнятко мало.
Такый и бувъ и буде свитъ!
Самъ царь Петро, вельможный, билый,
Муштруючи велыки сылы
Насупротывъ нимецькихъ вискъ,
Въ смути не розибравъ доноса,
И нахвалявсь утерты носа
И выбыть зъ невмгамонныхъ вискъ.

Облывшись теплимы слезами
(Хочь мабуть теръ по пидъ очамы)
Мазепа лыстъ къ царю пысавъ,
И такъ іому слебезовавъ:
„То бачыть свитъ и Господь знае,
Що я гетьманомъ двадцать литъ.
Цареве все, що я ни маю!
И я—теперъ никчемный дидъ—
Ковервовавъ бы ще про зраду?
Глянь що не вымудруе зло!
На що мини бентежить славу?
Хыба жъ не я то Станиславу
Видказъ одризавъ на голо?
Хиба жъ не я поклонивъ хана
И цареградського султана
И чуть и бачыть ни хотивъ?
Нежалуючы праци й крови
Изъ однои къ царю любови,
Що разъ по переду повкивъ
Крышывъ паскудныхъ ворогивъ.
Хиба жъ не я?... та що й казаты!
Теперъ же іонъ іого я маты,
На мене навелы туманъ!
Чого я не чувавъ изъ роду!
Мабуть изъ пальця смокчуть воду
И Кочубей, и Искра панъ!
Я зъ нымы жывъ якъ изъ братамы!
И зъ прыкыдлывимы сліозами
Бажае смерти ихъ гетьманъ!

Чого ты хочешь, песькый сыну?
Чого есы ты забажавъ?
Ты кочубейскую дытыну
Хиба давно якъ обнимавъ?

Маруся, бидная Маруся!—
Охъ, страшно, вымовыть боюся—
Колы бъ пизнала те, кого
Вона до сердця прыхыляе!
Про те вся Украина знае,
Одна не знаешь ты того...

ПѢСНЬ ВТОРАЯ.

Мазепа дуже щось смутный;
Стоить Маруся биля іого.
Винъ не балакае ничого,
Звычайво кажуть: самъ не свій.
Хочь що вона іого пытае,
Винъ, буцимъ то, не дочувае.
Мовчанка ій надопекла,
Ій дуже, дуже жалко стало,
Небога щыдро зарыдала,
И такъ казаты почала:

„Чогось ты не зъ добра сумуешъ,
Одъ мене утикаешъ ты:
Мабуть погане щось мудруешъ
Мабуть... не любышъ сироты!
Охъ, серденько недобре чуе,
И день, и ничку болыть;
Не знаю, що воно вищуе,
А щось мене не веселыть.
Дарма що въ ту... ты знаешь... ничку,
Якъ, погасывшы въ хати свичку,
Божився викъ мене любыть;
Тогди... якъ стала я твоею,
Якъ розриднылася зъ риднею,
Ты мусывъ, безъ мене не жыть;
Теперъ зовсимъ не тее дило...
Мабуть тоби я надоила;
Ты день-денычку въ сторони,
Зознався зъ Дульскою якоюсь...
Ну, одчого жъ, скажы мини,
Николы ты передо мною
Про Дульску слова не сказавъ?

МАЗЕПА.

Воно! я й перше угадавъ!
Отце ты серденько ревныва.
Зъ якого бъ, навиженный, дыва
Я за дивчатамы гасавъ?
Хыба жъ отцій сидій чупрыни
Дотепно кланятся дивчыни?
Не знаешъ добре ты мене!
Минется одъ дивчатъ охота,
Якъ въ голови сыдыть робота,
Та всяка думка шыю гне...
А ты изъ дила злыдни робышъ...

МАРУСЯ.

Ты околесыцю городышъ!
Не хочу, вспражкы роскажы.

МАЗЕПА.

Ну, слухай, сердце! годи, годи!
Да що почуешъ то мовчы:
Давно мы заварылы дило,
Теперъ воно кыпыть у насъ;
Годына гарная наспила,
Прокалатае швыдко часъ.
Давно безъ батьковськои славы
Мы, яхъ волы, въ ярми жылы,
У подданстви або Варшавы,
Або велыкои Москвы.
Возытся годи зъ москалямы,
Украйни царствомъ буть пора:
Я съ моимы козакамы
Шпурну на моцного Петра!
Москаль жахнется передъ намы
И може буду я царемъ...
Зъ собою за одно я маю
И Карла зъ польскимъ королемъ.
Княгиня Дульская оттая,
Та старець той, та іезуитъ
Одъ ихъ до мене лысты носять.
Ну, е за що мене журыть?
Оттакъ жинкы що дня голосять,
А розпытай—сама не зна,
Чого сталыться нависна!

МАРУСЯ.

Ты будешъ царь на Украини!
Якъ гарно на сидій чупрыни
Засяе золотый винець!

МАЗЕПА.

Та почекай, ще не кинець!
Богъ висть про те, що дали буде!

МАРУСЯ.

Тебе вси поважають люде,
На смерть за тебе кожный радъ—
Ты кращый будешъ царь отъ мыру!
Тебе жде царство...

МАЗЕПА.

А якъ катъ?

МАРУСЯ.

Пиду зъ тобою пидъ сокыру.

МАЗЕПА.

Марусе, рыбонько моя,
Марусе, ты мене кохаешъ?

МАРУСЯ.

Хто, я?

МАЗЕПА.

Эге!

МАРУСЯ.

Хыба не знаешь!

МАЗЕПА.

Дорожчый хто тоби, чы я,
Чы батько?

МАРУСЯ.

Годи сердце мыле!

МАЗЕПА.

Що, якъ бы люде присудылы,
Щобъ кого небудь зъ насъ убылы,
А ты бъ обомъ була суддя,
Кого бъ пустыла ты на муку?
За кимъ бы вспражкы потягла,
За батькомъ, чы за мною руку?

МАРУСЯ.

Геть утамуйся, глянь на себе,
Якый страшный ты и блидый!
И въ пекло я пиду за тебе.

МАЗЕПА.

Не забувай що кажешъ ты!"

Давно вже сонечко зайшло
За гору, генъ по той бикъ ричкы.
Ущухнувъ гоминъ. Давъ Богъ ничку.
На двори тыхо все було.
Зиркы въ гори мыгають, сяють;
Вода якъ чисте скло стоить;
Изъ хмары мисяць выплывае:
Усе мовъ золото блыщыть.
Билоцеркивка, садъ гетьманьскій,
Будынокъ старосвицькій, паньскый
И ричка повная воды.
Ни що нигде не зашастуе,
Осыка лыстомъ не жартуе;
Въ будынци жъ е за те смуты:
Тамъ шепчутъ тыхимы ричамы,
Тамъ у свитлыци за замкамы,
Въ зализахъ Кочубей сыдыть
И въ небо сумно винъ глядыть.

Уранци смерть. Не ма винъ страху,
Бо смертъ для праведныхъ покій.
Та мовчкы якъ ыты на плаху!
Мовъ у ризныцяхъ вилъ на бій,
Ыты на смерть за праве дило,
За те, що мае ворогъ власть,
Весты прыятеля въ напасть,
Несты на муку, честь и тило!
Якъ винъ скалытымеця смило,
Махне, и жаба цыцькы дасть!...

И здумавъ Кочубей Полтаву,
Семью веселу, й козакивъ,
И писни дочкы, й першу славу,
Бесѣду зимнихъ вечоривъ,
И те село, де винъ родывся,
Будынокъ батьковскій, старый,
Де винъ добро любыть зучывся,
Де писля праци мавъ покій.
Теперя треба все оставыть!
За що? про що?

А клямка стукъ;
Забрязкотило щось замкамы.
„Отце мабуть изновъ для мукъ
Иде Мазепа зъ наймытамы".
Разъ, лусь замокъ: холодный питъ;
Удругый разъ: сыпнуло жаромъ.
„Ни, може то зъ христовымъ даромъ
Иде до мене чесный пипъ".
Ось двери скрыпъ: сусиль до іого,
Мисць панотця, въ хрестомъ, святого,
Худенькый, у очу дрибный,
Полыгачъ бисивъ, Орлыкъ злый.
На зустричъ Кочубей мовляе:
„Мене ты знову мучыть маешь!"

ОРЛЫКЪ.

Не все казавъ, ты ще кажы.

КОЧУБЕЙ.

Изгинь маро, геть, причъ бижы,
Покынь мене!

ОРЛЫКЪ.

Однее дило
Намъ заразъ треба показать.

КОЧУБЕЙ.

Що показать? и такъ насылу
Я самъ на себе набрехать
Зумивъ, що вы мини казалы—
Чого жъ вы знову забажалы?

ОРЛЫКЪ.

Мы знаемо изъ давнихъ литъ
У тебе е клады зарыти.
Теперъ ты оставляешъ свитъ—
Скажы жъ, твои де гроши скрыти?

КОЧУБЕЙ.

Такъ! мавъ и не одынъ я кладъ,
Та вы зумилы одибрать;
Одынъ—якъ кровъ мою смокталы—
Навикъ одъ мене одтягалы:
Той кладъ бувъ честь, другый була
Дочка—одъ васъ же не втекла...
За-знаю я ту ничь прокляту,
Якъ осоромылы вы хату...
А третій кладъ въ души сыдыть;
Винъ мусыть зъ Богомъ говорыть...
То вичне безголовье кату.

ОРЛЫКЪ.

Покинь не вись що городыть!
Старый та дурень. Глянь на небо;

Оттамъ ты будешь завтра жыть.
Кажы де гроши, те намъ треба.
Чого жъ замовчавъ?

КОЧУБЕЙ.

Наймытъ злый!
Робы що хочъ, та згынь швыдчій.
Дай хочь лягты у домовыну,
Навикы очи дай закрыть,
Тогди беры мою дытыну,
Иды и зъ нею скарбъ личыть,
Бижить кривавыми рукамы
Ламать комори и зъ лехамы,
Берить и золото, и срибло;
Дочка вамъ схованкы покаже,
Де, якъ лежыть мое добро—
Вона все зна, и вамъ роскаже.

ОРЛЫКЪ.

Сховавъ де гроши, покажы?
Не хочешъ? гроши де, скажы?
Ты швыдко заспиваешъ, враже!
Кажы, де зхоронывъ ты кладъ?
Мовчышъ? Га? що? а ну лышъ катъ!

И катъ прышовъ...

Лыха годына!...
А дежъ Мазепа, песькый сынъ,
Де винъ поганая лычына?
Балака про себе одынъ,
На лижку сыдячы Маруси.
Мовъ гадъ его кусае душу,
А въ голови нечысте все
Невись якъ розумомъ мутуе:
„Хочъ такъ, хочъ сякъ, а треба се—
Хай ворогъ до чортивъ мандруе!
Та якъ Марусенька знесе,
Колы про смерть отця почуе?
А бильше ничого вылять,
Въ мишку не заховаешь шыла...
Мини тебе хочь жалко, мыла,
Биды не можно одволать.
Уранци завтра въ Украини
Вси, видъ старого до дытыны,
Про смерть судди загомонять.
Зробыть хто хоче певне дило
И незатопыты душу й тило,
До себе жинкы не маны,
Бо зъ роду, зъ вику не чувалы,
Щобъ колы небудь у ярми,
Хочъ бы возылы, хочъ оралы,
Укупи вилъ и козеня!“
А мисяць блысь изъ за викна.
Мазепа гулькъ: Маруся спала.
„Якъ тыхо, гарно спыть вона,
Бо ще про лыхо не пизнала;
А завтра!“ и паскудный гадъ
Видъ еи очи выдвертае,
Встае, зъ свитльыци выповзае
И шамотыть у темный садъ.

Давно вже сонечко зайшло
За гору, генъ по той бикъ ричкы;
Ущухнувъ гоминъ; давъ Богъ ничку;
На дворы тыхо все було.
Мазепа выбывся изъ моци,
Въ души жъ Мазепы щось страшне,
Зла думка думку злу женэ;
Іому здаетсь—зиркы ночи,
Мовъ Бога праведного очи,
На іого карою глядять,
Й тополи, ростучы у рядъ,
Тыняючыся головамы,
Про іого де що шепотять
Недовидомимы ричамы.
И литня ничь іому душна,
Буцимъ пидземная турма.

По малу небо занималось
И край іого почервонивъ;
Все ворушилось, все рушалось,
И лисъ степъ заблыскотивъ;
Уже й пташкы защебеталы,
Годына вранишня настала,
Хрещеный людъ загомонивъ.
Маруся ранкомъ ще куняла.
Кризь сонъ вона не розыбрала,
А чула—не одна була:
Ей за ногу щось будыло,
Вона очыци видвела
И зновъ зажмурыашысь закрыла,
Во свитъ зовсимъ ихъ засновавъ.
Зъ просонокъ дивка потягнулась,
До-долу зъ неи кылымъ знавъ.
„Се ты, Мазепо?“ и жахнулась:
Другу ій мову хтось казавъ.
Розкрыла кари оченята—
Здается, передъ нею маты!
„Хто се такый?“

МАТЫ.

Мовчы, мовчы!

Не экампуты насъ: я въ ночи
Сюды прошылась, нибы муха,
Тебе щобъ тильки ублагать,
Щобъ у гетьмана одволать
Смерть батькови. Ой, доню, слухай!
Зрятуй іого!

МАРУСЯ.

Що? батько... якъ?
Якая смерть?

МАТЫ.

Хыба не чула?
Хыба жъ се лисъ, або байракъ?

Ты, бачу, насъ зовсимъ забула!
Ще межъ народомъ ты жывешь,
А не денебудь середъ степу...
Катують батька—ты зовешъ
До себе гаспыда Мазепу!
Бижы мерщій, молы іого,
Щобъ одпустывъ отця твого.
Очумайсь дочко, пизно буде!
Зырны, збираются вже люде!
Тебе послуха гетьманъ злый;
Для іого соромъ ты забула,
Рыдню и Бога, и покій
Навикъ згубыла...

МАРУСЯ.

Що я чула?
Лыха годынонька моя!
Катують батька... гетьманъ... маты
Передо мною тута въ хати...
Чы зъ глуаду зсунулася я?
Мана се, чы що?

МАТЫ.

Госпидь зъ намы
Се не мана—передъ очамы
Твоимы матинка твоя.
Чы вжежъ сіого ты не чувала,
Що якъ видъ насъ помандровала,
На звирость ворогамъ якъ знавъ,
Царю твій батько на гетьмана
Про де що певне отписавъ?
Що въ мукахъ катержныхъ бидашный
Сказавъ, що зъ дуру, врагъ зна на що,
Винъ несенытныцю брехавъ.
Гетьману царь его оддавъ,
Й передъ громадою людскою
И старшиною військовою,
Іому гетьманъ—боюсь казать—
Зыбрався... голову одтять!

МАРУСЯ.

О, мылый Боже! мамо, душко!
Якъ порятую батька я...

И дивка блыснула въ подушкы,
Зовсимъ, мовляють, якъ мерцвя.

Спысы блыщять. Шапкы рябіють.
Бьють тулумбасы. Сердюкы
По полю скачуть; скризь повкы
Ривняются. Людъ гомоніе;
А шляхъ, мовъ той гадючый хвистъ,
Знай крутится, та все хвылюе.
На видшыбъ у степу помистъ,
По іому ходячы, жартуе
Зъ народомъ катъ, жде бидныхъ винъ.
Усе змишалось въ гвалтъ одынъ:
Жиночый крыкъ и людськый гоминъ.
Якъ ось гукнулы: „панъ гетьманъ!“
Ущухло поле. Тилки кони
Закопотилы тамъ то тамъ.
Въ середыни межъ сердюкамы,
Вельможный гетьманъ зъ старшынамы
Скакавъ на чорному кони.
А генъ, по Кіевскій дорози,
Тряслыся бендюги. Въ тревози
Туды вси очи навелы.
То горопашныхъ ихъ везлы:
Тамъ Искра й Кочубей сыдилы;
Чужи одъ мыру, одъ земли,
Въ останній разъ на свитъ глядилы.
Ось поиздъ ставъ и заревилы
Попы соборомъ одходну;
Зъ кадыльныць наче смертію віе,
Усе запложуе суму;
Мовъ хмара, дымъ кругомъ сывіе.
Тыхенько молыться весь людъ.
Несчасныхъ вже на смерть ведуть...
Зыйшлы—и прихылывсь на плаху,
Перехристывшысь, Кочубей.
Якъ варомъ облыли людей.
Сокыра свыснула зъ розмаху—
И заскакала голова.
Все поле ойкнуло видъ жаху.
Друга за нею жъ скаче зъ плахы.
Покривавылася трава...
И катъ поганою рукою
Обыдви за чубы піймавъ.
И, ихъ пиднявшы надъ собою,
Въ останнѣ людямъ показавъ.

Капутъ бидахамъ. Народъ Божый
Балакаючы йде назадъ.
Про урожай, про дощъ погожый,
Про сусидокъ бабы ворчять.
По троху ридчало все поле.
Ажъ ось дви жинкы черезъ шляхъ
Побиглы шпарко. У очахъ
У ихъ було велыке горе.
„Вы опизнылысь!“ хтось сказавъ
И въ поле пальцемъ показавъ.
Помистъ дощаный тамъ ламалы,
Молывся въ чорныхъ рызахъ попъ,
И вже на бендюгы стягалы
Два козакы зализный грибъ.

Одынъ по переду старшынъ
Гетьманъ скакавъ соби до дому,
Словечка не казавъ никому,
Про себе мырковавъ одынъ.
Не добрій буть тоби годыни!
Іому въ нутру хтось шепотывъ—
И чорный кинь въ поту и въ пини
На взаводы въ двирецъ влетывъ.
„Маруся де?“ гетьманъ пытае.
Ни те, ни се іому ворчать.
Винъ у свитлицю—тамъ не мае;
Бижыть Мазепа прудко въ садъ,
Марусю кличе и гукае;

Якъ лысъ по стежкамъ покотывъ;
Все вышатырывъ, обходывъ,
Шарнувъ у теренъ, зазырае
Въ кущи, край сажалкы—немае!
Клене гетьманъ свій ридъ и плидъ,
Марусынъ захолонувъ слидъ,
Скризь кони по шляхамъ заржалы:
Гонци Мазепы поскакалы
Туды-й-сюды, куды хто знавъ,
Куды хто на швыдку попавъ.
Нихто ни бачывъ, ни чувавъ,
Колы вона зъ двора выльнула.
Мазепа мовчкы скреготавъ.
Вся двирня зъ ляку шыю гнула.
Гетьманъ въ свитльщю зачынывсь,
Не спавъ цилисенькои ночи,
Іого зорылы страшно очи,
Винъ дуже побывався, томывсь.
Вернулысь вранци изъ погони;
Ели живи булы ихъ кони,
Вся зброя, сидла, нагайкы,
Мовлявъ, пидпругы й уздечкы,
Було все пиною облыте,
У кровъ помазане, побыте.
А про Марусю не прывизъ
Ни хто ни яку, кажуть звись.
Буцимъ еи зъ земли не стало,
Покынула мовъ дивка мыръ.
Безъ неи маты пропадала,
Зъ бидою горе коштувала
Въ чужыни, що зовуть—Сибиръ.

ПѢСНЬ ТРЕТІЯ.

Щобъ краще одурыть Петра
Прыкынувсь хырявимъ Мазепа.
Вси знахори, хто изъ шатра,
Зъ Нимещыны хто, зъ лису, зъ степу,
Вси панькалы биля іого.
Винъ дывыть у домовыну:
На іого груды и на спыну
Набгалы врагъ знае чого,
Коржамы тимья облипылы,
У хати ладаномъ кадылы.
Цураючысь видъ у сіого,
Бажавъ винъ тильки одного,
Щобъ такъ умерты якъ хрещеный.
Архіерея винъ зове;
Й по голови іого мезерній
Святее мыро скризь плыве.

Московщына все шведа ждала
Чы швыдко въ гости прычвала,
И мовчкы висько зобирала,
Щобъ певно прочухрать зъ двора.
Тогди пизналы злу лычыну:
Дременувъ Карлъ на Украину;
Мазепа мытью зъ лижка вставъ.
Той, що пьять разъ вмиравъ учора
И еле ворушывсь, канавъ,
Теперь—іому не мае горя—
Винъ ставъ Петрови ворогъ злый,
Не ма винъ страху за плечима;
Блескотючы кругомъ очыма,
Обзырюе козацкый стрій.

Скрызь сяя вистка полетила.
Украина заклекотила:
„Мазепа москалю зминывъ;
Винъ ставъ теперъ полыгачъ вражый“.
Не гарная зыйшла зоря—
Зоря кривава.

Хто роскаже
Всю злисть правдывую царя?
Гетьмана увесь людъ кепкуе,
Іого облыччя катъ шматуе,
А душу у церквахъ кленуть:
На ради кожный коверзуе
Гетьмана иншого добуть.
Видъ ричкы, кажуть, Енысея
Увесь ридъ Искры й Кочубея
Назадъ якъ мога прывезлы.
До дому ихъ Петро вертае,
Срибломъ и злотомъ обсыпая.
Видтиль, зъ тыеи жъ пакъ земли,
И Палія притеребылы...
Винъ не любывъ, крый Боже мылый!
Якъ не любывъ Мазепы винъ,
Якъ дуже на іого сварывся.
На шыбеныци не одынъ
Моторный парень опынывся:
Изгынувъ Чечель мовъ блоха,
Да и вельможного, бачь, пана,
Изъ Запорожжя отамана
Щось доля не була плоха.

Коханець війсковои славы,
Синекаптанковатый шведъ
Надвынувъ на степы Полтавы;
Петро туды жъ повивъ передъ.
Насупротывъ воны посталы,
Якъ треба військо вгамовалы,
Все пидь мушкетомъ, ни белмесъ.
И бачить Карлъ зовсимъ не тее,
Тутъ не рушенье виськовее,
Не нарскихъ бачыть неотесъ;
Тутъ висько все було одбирне
Въ строю и пишее и кинне,
Штыкивъ блескучихъ цилый лисъ.
И винъ сказавъ: „ось завтва вранци
Я вамъ, москалыкы, поганци,
Цыбулькы пиднесу пидъ нисъ“.

Ничъ свитъ обкутала собою.
Москаль и шведъ уже хропе.
Генъ пидъ палаткою одною
Щось то шушука, то гуде.

МАЗЕПА.

Послухай, Орлыкъ, ни, я бачу,
Що тута добре обмылывсь!
Зробывъ безъ глузду, на удачу:
Изъ Карломъ рано подружывсь.
Винъ хлопець нибыто проворный,
До ризаныны геть моторный,
Регочется проты гарматъ;
Та не іому, мини здается,
Петра посмыкать доведется:
Петро ему не пани-братъ.
Карлъ прындыться, да упыруе,
На долю все свою кладе,
Про Нарву тилки и толкуе.
Не знаю, якъ намъ припаде,
Соромлюсь, та що робыты!
Здуривъ и я, на стари лита
Кругомъ себе опырклевавъ.

ОРЛЫКЪ.

А я бъ не такъ оце казавъ;
Пидождемо кинця мы дилу.
Якъ поскубемъ цареву сылу,
Дамо замирря москалю.

МАЗЕПА.

Ни, пизно вже теперъ царю
Зо мною, братику, мырытся.
Не те въ души моій сыдыть.
Давно мій духъ на іого злытся
И серце ные и кипыть.
Въ ночи—Азовъ якъ воевалы—
Зъ паремъ у ставци мы гулялы.
Зъ іого бояръ тутъ де хто бувъ.
Я не до шмыгы щось белькнувъ:
Злякалысь гости, обомлилы—
Чарь зъ серця чарку упустывъ
И за отціи усы били
Мене, чы чуешь!—ухопывъ.
Замовчавъ я, зыгнувшы спыну,
У грудяхъ злость мою здавывъ;
Еи, мовъ маты ту дытыну,
До сіого часу доносывъ.
Теперъ нехай соби литае,
Еи не треба хоронить!
Я знаю, якъ Петро бажае,
Щобъ зновъ мене за усъ водыть.
Та ще побачымъ хто зволае,
Кому тикать. Колыбъ зоря!..“

Сказавъ, и очи зачыняе
Израдчыкъ билого царя.

Давъ Госпидь свитъ, наставъ день билый;
Блыснула на трави роса.
Ревуть гарматы; дымъ пресывный
Геть, геть пишовъ пидъ небеса.
Повкы ряды свои зымкнулы;
Стрильци шатырять по терну;
Черкаютъ ядра, свыщуть кули;
Зъ штыкивъ збудовано стину.
Извыкшы зъ малку побываты,
Знай лизуть шведы на гарматы;
Мовъ выхорь конныця летыть;
Пихота швендяе за нею.
Все поле якъ огнемъ горыть;
Нечуть ничого за ризнею:
Скризь гвалтъ, зыкъ, галасъ, скризь гремить.
Ажъ ось—куды намъ лучше стало!
То тамъ, то тамъ втикае врагъ:
У суточкы давъ Розенъ драла,
Издавсь сердега Шлипенбахъ.
Синекаптанныкивъ здавылы;
Багацько склызло ихъ значкивъ.
Самъ Богъ давъ москлеви сылы,
И ихъ царя и праве дило
Святый зъ небесъ благословывъ.

Межъ виськомъ моцно щось гукае—
Почулы ричь царя Петра:
„За дило, зъ Богомъ!“ Изъ шатра
Винъ самъ зъ боярствомъ выхожае,
Мовъ матка зъ роемъ вылитае.
Цареви пидвелы коня.
Винъ сивъ. Кинь огыремъ гарцюе,
Стрыба, на взаводы басуе,
Кача въ середыну огня.
Уже обиды. Сонце гріе.
Ущухла трохи гуркотня.
Не де козакъ зачервоніе...
Нема ни дыму ни огня.
Агу! все поле заревило:
Скризь обызвалося „ура!“
Повкы побачылы Петра.

За нымъ бояре копотилы,
Чоло Москвы, одынъ въ одынъ:
И Шереметьевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Репнынъ
. . . . . .
Генъ передъ шведамы своимы
Карлъ изъ носылокъ выглядавъ;
Винъ лупавъ, мовъ сова, очыма,
И щось пыльненько сумовавъ.
Не залюбивъ небижчыкъ кули,
Іого що вранци пидоцькнулы...
Рукою мовчкы винъ кывнувъ
И на Петра повкы пужнувъ.

Зыйшлося військо зновъ на поли;
Трещять, бряжчять шаблюкы голи,
Гримъ изъ гарматъ заклекотивъ,
Зъ гвынтивокъ кули засвыстилы,
Заржалы кони, захропилы.
Уручъ схопылыся повкы,
Москаль и шведъ и козакы.

Якъ дрова народъ такъ крышылы,
Шпыгалы пидъ бокы штыкы,
Межъ людомъ ядра заскакалы,
Видъ крови людськон шкварчалы;
Кругомъ ревило та гуло!
Прямее пекло тамъ було!

Усе старостно виськовее
Якъ мога на поле глядыть.
Хто бьется дуже, хто не тее,
Хто драла давъ, а хто стоить,
Кому послать пидмогу треба,
Кому ыты куды пора,
Про те балакають межъ себе.
Биля московськаго царя
Стоить дидъ, дуже, дуже сывый;
Коныченько хвылясто-грывый
Іого до виська не несе.
Пидъ рукы два іого держало;
На билый свитъ дывывсь винъ мало;
Для іого повмирало все.
Палій! Сибирь тебе зсушыла!
Уже на жакъ твій козакы
Не позбираются въ повкы!
Захляла молодецька сыла.
Чого жъ винъ такъ замызковавъ?
Чого винъ ставъ темнишый ночи?
Чого такъ страшно свитять очи?—
Оце Мазепу винъ пизнавъ.
То ворогъ! Серце заболило,
Свій рикъ, свое немоцне тило
Мабуть у перше винъ проклявъ.

По середыни сердюкивъ
Та денеякихъ козакивъ,
Мазепа ходячы сумуе.
Иззаду выстрилъ. Винъ зырнувъ:
То Войнаровськый такъ лыгнувъ;
Въ іого рукахъ мушкетъ дымуе,
А недалечко молодый
Козакъ въ пылу, въ крови валявся;
Почувшы волю, кинь порскый
Геть степомъ выбрыкомъ побрався.
Козакъ на гетьмана скакавъ,
Іого убыть козакъ бажавъ.
До іого гетьманъ пидъижжае,
Чогось у іого ще пытае,
Та пизно вже пытать теперъ:
Козакъ кочить, козакъ умеръ!
Изъ любощъ загубывъ винъ душу,
Зъ любкивъ и голову поклавъ,
Во мья коханее Маруси
Вмираючы ище шептавъ.

Настала гарная годына:
Пьятамы шведчынъ накывавъ,
Москаль у трышыя погнавъ;
Дала до лясу нимцивъ сыла,
За ными конныця пира,
Шаткуе на-здогинци коле.
Виды крови червоніе поле,
А мертвихъ скризь лежить гора.

Петро на радощахъ гуляе.
Винъ шведивъ плинкыхъ самъ витае,
Витае и бояръ своихъ,
И чарку повну налывае,
Мовлявъ: „за спекторивъ моихъ!“
Та де жъ той Карлъ, що въ гости ждалы,
Кого, мовъ щипку обчухралы?
Чому до гурту винъ нейде?
Не ма бо тутъ іого нигде:
Король, у купи и Мазепа,
Далеко парють середъ степу;
И вавку Карлъ свою забувъ;
Якъ мога день и ничъ чухрае,
Насилу челядь въ нымъ зъижжае.
Такъ зъ пидъ Полтавы винъ дмухнувъ!

У Карла зъ боку гетьманъ скаче,
Кругомъ очыма обзыра;
Гулькъ—хуторъ у степу побачывъ;
Ушкварывъ прудко край двора,
Щось буцимъ-то іого злякало.
Безъ народу стоявъ той двиръ,
Де перше вешталось чымало;
Знай витромъ хвирткою качало,
И садъ ставъ, сказано, пустыръ.
Пизнавъ будынокъ ты, гадюко,
Де заплодывъ и смерть, и муку?
Хочь перше й весело було,
Де ты гулявъ, неразъ, поганый,
Де чарку пывъ въ беседи гарній,
Ховаючы свое жало;
Покы до того не влестывся,
Що зло компоновать пустывся:
Дытыну у ночи укравъ
Одъ батька ридного... пизнавъ?

Скризь хмары небо застылаютъ.
Ночна доба. Биля Днипра
На берези соби куняють
Невирни ворогы Петра.
Забувшы вийско и Полтаву,
И москаливъ велыку славу,
На спорыши Карлъ гарно спавъ.
Та сонъ Мазепу облитае,
Покій видъ іого утикае;
Іому все жарко, винъ стогнавъ,
Ажъ чуе, хтось іого позвавъ...
Зырнувъ... изъ ляку затрусывся:
До іого блызько хтось схылывся.
Обшарпана, худа, блидна,
Дивоцьку косу роспустыла,
Очыма, нибы звирь, свитыла,
Нагнувшысь передъ нимъ, вона.
„Що се таке? се ты Маруся?“

Маруся.

Мовчы, почуютъ насъ, боюся!
Тыхенько шепоты теперъ:
И маты й батько мій умеръ!

Мазепа.

Та що ты мелешь, Богъ съ тобою!

Маруся.

Послухай, що воны зо мною
Хотилы заразъ изробыть!
Якъ мусылы мене дурыть!
Куды втикать въ такую пору?
Куды диваться зъ поговору?
Якъ ричь скаженыхъ зуныныть?
Вона мини теперъ казала.
Що батька вже мого нема...
Іого я голову держала,
Да то не людська голова,
А вовча... Бачышъ, якъ дурыла
Вона Марусю—чуешь ты—
Щобъ не гадала, й не хотила
Зъ тобою, серденько, втекты!
Чи можна?"
Гетьманъ мовчкы слуха,
Що дриботыть іому вона.
И зновъ, не перевившы духу,
Вона казаты почала:
„Я знаю празныкъ... тыскъ народу...
И мерцвякы... якого зброду!...
Туды я зъ матерью ышла.
Та де жъ ты бувъ? зъ тобою ризно
Нужуся далеби що я!
Ходимъ до дому; глянь якъ низно...
Скрутылась голова моя!
Тебе я мала за другого...
Ты, старцюга, якый страшный!
Ни, гарный бувъ Мазепа мій,
А ты, такъ здавсь на чорта злого.
Въ іого очу якъ жаръ любовъ,
А ричи видъ огню жарчиши;
Видъ снигу усъ іого билишый,
А твій помазаный у кровъ".

И зъ реготомъ завызкотила—
И мовъ лыхый еи злызавъ.
Мазепыне трусылось тило,
Іого цыганьскій питъ проньмавъ.
Мовъ смертью на іого сопнуло,
За шкуру снигомъ мовъ сыпнуло,
И волосъ шапку пидсувавъ.

Исклызла ничъ и небо сяе.
Ось швыдко сонечко блысне.
Шведъ не хропе. Доба другая
Изнову на коня жене.
Потраву козакы варылы,
А генъ, на березі Днипра,
Драбанты коныкивъ поилы.
Прокынувсь Карлъ. „Ого, пора!
Вставай Мазепо. Вже свитае".
А винъ давно, давно не спыть.
Туга ввесь духъ іого зпирае
И серце теплее крушыть.
Винъ мовчкы чорного сидлае;
За королемъ покопотивъ—
И очи гетьмана блыщалы
Колы воны перескакалы
Конець украинскихъ степивъ.

Уже сто литъ перевернулось,
Якъ се робылось на земли.
Давно и племья те мынулось:
Сыны шукать батькивъ пишлы.
Рушенья вискового славы,
И ризаныны, и побидъ,
Якъ дымъ пропавъ червоный слидъ.
И тилько ты, сподарь Полтавы,
Межъ людомъ моцнои державы—
За те вси дякують тоби—
Втявъ гарну памьятку соби.
Де витрякивъ окилъ крылатый
Бендеры мовъ обгородывъ,
Де бродятъ буйволы рогати
Межъ дуже давнишнихъ гробкивъ,
Тамъ выдно цеглы ворохъ цилый;
Та цегла мохомъ поросла.
И кажуть, що отъ видтиля
Король, до дуру дуже смилый,
Всю челядь пидъ мушкетъ зыбравъ;
Въ останнѣ зъ туркомъ жартовавъ.
А про Мазепу ни пивъ слова
Ни одъ кого и тамъ не чуть,
Его заклекотила путь;
И тильки, бачъ, що годъ то знову
Въ церквахъ анаѳему кленуть.
Да е святая та могыла
Де Искра й Кочубей лежить:
Ихъ церьковъ зъ мыромъ схоронила.
Цвите въ Деканьци цилый рядъ
Дубивъ; воны пидъ часъ шумлять
Унукамъ якъ дидывъ згубилы,
Бо прыятели ихъ садылы
Тогди на памьятку у садъ.
А де жъ дочка?—нихто не знае;
Не чуть про неи ни словця.
Нихто не зна іи конця.
Хыба въ сели якъ старець грае
На кобзи, всячыну брынчыть,
Про еи писню засиивае:
Кругомъ козацство ажъ кышыть;
Слезки въ очахъ дивчачихъ сяють,
Чубамы парубкы кывають,
И дидъ насупывшись сыдыть,
Згадавшы стародавній свитъ.

1835 г.

МАЛОРОССІЙСКІЯ ПРИКАЗКИ *).

I.

ЦАПЪ.

„Мабуть нема уже на свити правды!
Мабуть вона уже за море утекла!
Чымъ я одъ Муцыка поганшый справди?
А пани те щеня учора прывезла,
Сегодня вже ему и дзвонык почепылы,
Да якъ моторно винъ бряжчить,
Якъ Муцыкъ, бублычкомъ задравши хвистъ, бижыть,
Да гавкае на мыръ, що сылы!“
Такъ невиженный Цапъ на ввесь окилъ гукавъ.
Хазяинъ ричъ таку почувшн,
(А по-цапыному винъ де-ще розмышлявъ)
Ему дзвинокъ на шыю намотавъ.
Здуривъ скаженый Цапъ, рижкы назадъ загнувшы,
Махнувъ боридкою, замекавъ, заскакавъ
И геть-то честію такою запышнывся,
Да швыдко ставъ ій и не радъ:
Бо тилько Цапъ стрыбне у паньскій садъ,
На шыи дзвинъ дзень, дзень! народъ заворушывся
И гостя въ тры-шыя въ кошару мусять гнать.
Прыйшлось бидеси пропадать.
Пройшло ему те времья, що, бувало,
Махнувъ де здумавшы, куды бъ то ни попало,
Поивъ, пообгрызавъ - и слидъ пропавъ,
А выбига и долынки, и горы,
Де бувъ—то пожывысь; никто того не знавъ.
Эге, я правду вамъ казавъ:
Нащо було Паньку прохатыця въ прокуроры!

II.

ЛЕБЕДЬ И ГУСЫ.

На стави пышно Лебедь плывъ.
А Гусы сирiи край его порыналы.
„Хиба отцей билякъ васъ въ глузду звивъ?“
Одынъ Гусакъ загомонивъ:
„Чого вы, братця, такъ баньки повытрещалы?
„Мы попеласти вси, а винъ одынъ межъ насъ
Свое пендючыть пирья биле!
„Колы бъ вы тилько захотилы,
„Щобъ разомъ стало-быть, вся беседа взялась,
„Мы бъ паныча сего якъ-разъ перемастылы“.
И завелась на стани геркотня,
Гусыне дило закипило:
Таскають грязь и глей зо-дна.
Да мажуть Лебедя, щобъ пирья посирило.
Обмазалы кругомъ—и галасъ трохи стыхъ;
А Лебедь плысь на дно—и выпурнувъ якъ снигъ.

*) Долгомъ поставляю извѣстить почтеннѣйшихъ читателей, что содержаніе нѣкоторыхъ приказокъ взято мною изъ басенъ Крылова и другихъ въ семъ родѣ писателей, и что въ орѳографіи я слѣдовалъ способу, принятому нашимъ извѣстнымъ поэтомъ Гулакомъ-Артемовскимъ.

III.

ЯЧМИНЬ.

СЫНЪ.

Скажы мени, будь ласкавъ, тату,
Чого ячминь нашъ такъ поривсь,
Що колоскивъ прямыхъ я бачу тутъ богато,
А де-яки зовсимъ схылылыся унызъ,
Мовъ мы, неграмотни, передъ великымъ паномъ,
Мовъ передъ судовымъ на стійци козакы?

БАТЬКО.

Отти прямыи колоскы
Зовсимъ пустисиньки, ростуть на ныви даромъ;
Котри жъ поклякнулы—то Божа благодать:
Ихъ гне зерно, воны насъ мусять годувать.

СЫНЪ.

Того жъ то голову до неба зволыть драть
Нашъ пысарь волосный, Онысько Харчовытый!
Ажъ винъ, бачу...

БАТЬКО.

Мовчы! почують—будешь бытый.

IV.

ЗОЗУЛЯ ДА СНИГЫРЪ.

На дуби сыдючы, Зозуля куковала:
„Що за годы теперъ, зовсимъ неможна жыть!
Одколы якъ тепло вже стало,
А гусени нема, червы зовсимъ такъ мало.
Прыйшлось изъ голоду хочъ у кулакъ трубыть“.
—„На що вамъ такъ квилыть, мій Боже милый?
Снигыръ зозулю перебывъ:
„Колы бъ я мавъ вашъ станъ и сылы,
Отцю я погань бы не ивъ,
Щобъ сей да той мене, колы бъ я не доскочывъ
Соби що-дня шматокъ мьясця.
Отъ кобецъ—меншый васъ, а исты якъ захоче:
Летыть—и душыть горобця.
За те винъ зъ голоду николы не нудывся.
—„Дурный! дурный! а въ школи вчився!“
Зозуля Снигыру въ одвитъ:
„Замисто горобця я зъимъ жукивъ десятокъ,
Да гусени, червы десяткивъ тры въ надатокъ,
И все-таки наимсь; за те спытай ввесь свитъ,
Яка Зозуленька? Вси скажуть: птыця славна.
Жыве собѣ, якъ панна,
Гуляе у садку, ничого не пэуе,
По гилечкахъ намыстечко куе,
Да скилько литъ кому прожыть вищуе:
Нехай же здумаю... да що тоби й казать!
Хочь злыдни въ пирьи обидрать,
Ввесь птычый ридъ зарепетуе:
„Зозуля мьясо жре, Зозуля хищный птахъ!
Троха чы не бажа вона орла изъисты!“
Прощай тогди мое жыття въ садахъ!
Прыйшлось бы утикать хочь за море безъ висты,
Такъ лучче жъ тута жыть—да зводыть червячкивъ“.

—

Хто хоче полюбить суддю грошо-заплюда,
Про его розпытай панивъ,
А не пытай у простого народа.

V.

ВЕДМЕЖЫЙ СУДЪ.

Лысычка подала у судъ таку бумагу:
Що бачыла вона, якъ попеластый винъ
На панській выныци пывъ, якъ мошенныкъ, брагу,
Ивъ сино, и овесъ, и силь.
Суддею бувъ Ведмидь, вовкы булы пидсудкы.
Давай воны его по-своему судыть
Трохы не цилы суткы.
„Якъ можна грихъ такый зробыть!
Воно було бъ зовсимъ не дыво,
Колы бъ винъ ивъ соби мъясыво“,
Ведмидь сердыто ставъ ревить.
—„Ато винъ сино ивъ!“ вовкы завылы.
Вилъ щось почавъ бувъ говорыть,
Да судди ричъ его зъ-почынку перебылы,
Бо винъ сытенькый бувъ—и такъ опредылы
И приказалы запысать:
„Понеже вилъ прызнався попеластый,
Що винъ ивъ сино, силь, овесъ и всяки сласти,
Такъ за таки грихы его четвертовать
И мясо розидрать суддямъ на ривни части,
Лысычци жъ ратыци оддать“.

VI.

ПШЕНЫЦЯ.

Я бачывъ, якъ пшеныцю мылы:
То що найкращее зерно
У воду тильки плысь, якъ разъ пишло на дно,
Полово жъ, нависна, плыве соби по хвыли.

Прывивъ мене Господь побачыть и панивъ:
Мовъ простый чоловикъ тамъ иншый панъ сыдивъ,
Други, задравшы нисъ, роспрындывшись, ходылы.
И здумавъ заразъ я, якъ тильки поглядивъ,
Що бачывъ, якъ пшеныцю мылы.

VII.

СОНЦЕ ДА ХМАРЫ.

Ось Сонечко зыйшло, и свитыть намъ и гріе,
И Божый мыръ, якъ макивка, цвите;
На неби чыстому генъ Хмара бованіе.
Та Хмара надулась и ричъ таку гуде:
„Що вже мени се Сонце надоило!
Чого воно такъ землю веселыть?
Хочь я насуплыся, воно таки блищыть.
Я полечу ему назустричъ смило,
Я здужаю его собою затемныть“.
Дывлюсь—и Хмарамы пивнеба замостыло,
На Сонечко мовъ ниччю налягло.
А Сонце выще пидплыло
И Хмары ти позолотыло.

VIII.

ГОРОБЦИ ДА ВЫШНЯ.

Глянь, глянь, летять, да ихъ летыть чымало,
Куды отце летять зъ осели Горобци?
Дывлюсь, у садъ побралысь молодци.
На Вышеньци ихъ геть-то насидало,
И бенкетъ заразъ пиднялы;
Цвиринькають, джеркочуть-знай на Вышни,
Изъранку самого до пизнеи поры.
Я простый чоловикъ, то-й взявъ соби на мысли,
Що Вышеньци моій предобре у саду,
Що ій превесело, бо икъ край неи йду,
Або и такъ колы зырну у садъ изъ хаты,
Все зволять горобци по гилечкахъ скакаты.
Ось тыждень якъ не бувъ, дывлюсь—катъ его ма!
На Вышеньци гостей нема.
Чого-лышень воны литаты перестали?
Якъ розыбравъ, бодай и не казать!
Охъ! поты жевжыки вчащалы,
Покы вси ягоды на Вышни обдзюбалы—
Теперь до бидноі николы не летять.

IX.

БУДЯКЪ ДА КОНОПЛЫНОЧКА.

„Чого ты такъ мене, паскудо, въ боки пхаешъ?“
На Коноплыночку въ степу Будякъ гукавъ.
—„Да якъ росты мени? и самъ здоровъ ты знаешъ,
Що землю у мене съ-пидъ коренця забравъ“.

Бува и чоловикъ сему колючци пара:
Людей товче, да й жде, щобъ хто его кохавъ!
Я бачывъ самъ такыхъ, и може бъ показавъ,
Да цуръ ему! боюсь: розсержу комысара.

X.

ВЕРША ДА БОЛОТО.

Рыбалонька, мытець усе въ води ловыты,
Бажаючы поймать зъюнивъ,
Въ Болото Вершу засторчывъ.
Довгенько щось вона тамъ мусыла сыдиты,
Языкъ жиночый е, да ничого робыты,
(А зъ роду мабуть-то що не плоха була)
Такъ лаяты болото почала:
„Отце поганая багнюка!
Глянь, пузыритця якъ, зъ-нечевья клекотыть.
Тутъ певнее нищо ни ходыть, й ни сыдыть,
Одна черва, мовлявъ, кишыть,
Да де-колы повзе по кушыру гадюка,
Уже колы бъ тутъ воленька мени!..
Таке жъ брыдке, таке мерзене,
Поржавило, видъ жабуру зелене,
Не хочетця паскудытца въ багни
А тобъ...“

Що жъ ій Болото одвичало?
„Де ты сама, добродійко?“ спытало.
А Верша гомоныть на дни.

XI.

МАКИВКА.

У лузи Макивка весною зацвила,
Промежъ другихъ квитокъ, якъ жаромъ червонила;
До ей разъ-у-разъ лита бджола,
Бабокъ, метелыкивъ надъ нею грае сыла.
Пройшовъ день, два, и зъ неи цвитъ опавъ,
И макивка осыротила;
Бджола на иншій квитци сила,
Ту погань-метеливъ, мовъ бы лыхый забравъ.

—

Дивчино серденько! жартуй, поки е времья.
Жартуй, да не глузуй изъ бидныхъ парубкивъ;
А то мыне весна твоихъ годивъ,
Покине и тебе ціаволове племья

XII.

РОЖА ДА ХМИЛЬ.

Охриме, дядечку! будь ласкавъ, схаменысь:
Ты чоловикъ и съ хлибомъ, и зъ волами,
И грошыки у тобе зевелысь—
Якый тебе лыхый изнисъ
И побратавъ зъ панамы?
Покинь ихъ, хай имъ цуръ! изъ нымы не водысь.
Ато, колы къ тоби ни заверну у хату—
Ты зъ благородыемъ сыдышъ за панибрата,
И чарка катержна гуляе по столи.
Чы то въ село лыхый примчыть якого
Панычыка, мовляють, судового—
Та сарана жыве на твоему добри.
Або и возный самъ, червоный нибы квитка,
Денькивъ по пьятеро кружляе у тебе;
А коней-каличи повнисинька повитка
Твое синце скубе.
Тымъ часомъ хлибъ давно у поли половіе;
Его и птыця бъе, и витеръ марно сіе;
А дядько мій гуля!
Зъ письменнымы по чарци да по чарци,
Останній шагъ вытрушуе шынкарци.
Ривнятьця зъ нымы намъ самъ Богъ не позволя:
То сказано—паны, щобъ день-у-день гулялы,
А мы, неграмотни, щобъ хлиба зароблялы.
Охриме! не зробысь смиховыщемъ села,
Покынь, кажу, панивъ, водытьця зъ нымы годи!
Ось слухай. У мене недавно на городи
Червона Рожа зацвила,
И треба жъ, на биду, край неи Хмиль пустывся!
Испершу гарно страхъ зъ сусидкою винъ жывъ.
Дывлюсь, ажъ прыятель за гильку зачепывся,
А трохи згодомъ глядь—всю Рожу обповывъ.
И бидная вона змарнила,
Поблидла, дали пожовтила;
А проклятущій Хмиль якъ рута зеленивъ.

XIII.

МОГЫЛЫНЫ РОДЫНЫ.

Ось чутка степомъ полетила,
(На що-то грихъ не пидведе).
Що у степу якась могыла
Дытыну швыдко прыведе.
Про дыво сее якъ почулы,
То люде заразъ въ степъ махнулы,
Старый и молодый къ могыли знай иде.
Крый Боже, народу якого тамъ зобралось!
Якъ объ Илли въ Ромни;
Буцимъ тамъ мисто почыналось.
Де ни взялысь миняйлы й шынкари
И пиднялы мижъ себе галасъ;
Чумакъ изъ силлю ставъ, изъ дигтемъ дегтяри,
И красты бублыкы шатнулы школяри;
Сластены шкварылысь, сидухы цокотилы;
Про Лазаря старци пидъ кобзу голосылы;
„Холодный квасъ!“ москаль мижъ народомъ гукавъ.
Зъ нечевъя, а базаръ въ степу якъ треба ставъ.
Хрещеный людъ хоча гуляе,
Да на могылу все разъ-по-разъ позырае,
Чы швыдко вродытця те чадо степове.
Бокамы сывыми колыше,
И зъ лыха на ввесь степъ реве.
Народъ дывуетця да исть, да пъе горилку.
Вже панській стадныкъ Опанасъ,
Покынувшы товаръ, що пасъ,
Зъ кышени вытягнувъ сопилку,
Да якъ утне московського бычка!
Пидкивкы заразъ забряжчалы,
Въ кружку дивчата танцевалы;
Москаль покынувъ глекъ да садыть гоцака.

Ажъ ось—лулусь щось пидъ ногамы!
Загоготивъ якыйсь пидземный гласъ.
Базаръ утыхъ, бабы замовклы пидъ возамы,
Изъ ляку упустывъ сопилку Опанасъ,
И люде христючысь баньки повытрещалы.
Могыла триснула, и те дытя, що ждалы,
На Божый свитъ сусиль—якъ пыть дало!

Да що жъ за чадо те було,
Що стилько гомону мижъ намы наробыло?
„Мабуть, пидсудокъ?“—Ни!—„Такъ левъ?“
—Ни!—„Такъ мишокъ
Зъ дукатамы?“—Ни, ни! - „Такъ папорти цвитокъ?“
—Але-жъ!—„Такъ, зъ намы хрестна сыла,
Мабуть, вона полубиса вродыла?“
— Не втявъ!—„Такъ выпыла козацького коня?“
— Ни, просто прывела руденьке мышеня.

XIV.

ЧОВЕНЪ.

Заграло, запинилось сынее море
И буйныи витры по морю шумлять,
И хвыля гуляе, мовъ чорніи горы
Одна за другою бижить,
Якъ темная ничка насупылысь хмары.
Въ тихъ хмарахъ, мовъ голосъ небеснои кары,
За громомъ громы гуркотять.

Играе и пинится сынее море.
Хтось човенъ на море пустывъ,
Бурхнувъ винъ по хвыли, ныряе на воли,
Отъ берега геть покотывъ;
Качаетця, бидный, одынъ безъ весельця.
Охъ, жаль мини човна, охъ, жаль мого сердця!
Чого винъ пидъ бурю поплывъ!

Ущухнуло море и хвыли вляглыся;
Пустуютъ по пини мавкы,
Упъять забилилы, упьять простягльыся
По морю кругомъ байдакы;
Де жъ човенъ дивався, де плавле мій мылый?
Мабутъ винъ не плавле, бо онде по хвыли
Биліютъ изъ его трискы.

Якъ човнови море, для мене свитъ билый,
Из-малку здавався страшнымъ;
Да якъ заховатця? не можна жъ викъ цилый
Пробуты зъ собою однымъ.
Прощай мій покою, пускаюсь у море!
И може недоля и лютее горе
Погаютця зъ човномъ моимъ.

XV.

ШКОЛЯРЪ ДЕНЫСЪ.

Мыряне, слухайте, щось маю вамъ сказать:
Отъ сихъ Риздвяныхъ святъ, на самои Меланкы,
Дурный школяръ Денысъ, запригшы шкапу въ санкы,
Изъ школы поспишавъ до батька ночовать,
Що бъ завтра по закону
Якъ слидуе пашнею засивать.
Пизнавши шкапа шляхъ до дому,
Смыкнула равъ, другый—н хлопця понесла.
Хоть здержавъ винъ еи, да злисть его взяла;
Хотивъ бы проучыть, да быть еи боявся,
А треба жъ и себе чимъ-небудь показать—
Такъ по оглоблямъ ну малахаемъ шмагать.

Якъ тильки панъ изъ паномъ зазмагався,
Дывысь у мужыкивъ чупрыны вже трещять.

XVI.

СОНЦЕ ДА ВИТЕРЪ.

Изъ Витромъ Сонечко розгуторило мову
Про сылу, бачите, хто зъ нихъ моцнишый бувъ.
Звычайно за словцемъ балакалы по слову,
А дали Витеръ такъ на закладъ навернувъ:
„Чы бачышъ, иде генъ соби козакъ по полю?
Якъ цупко винъ напьявъ на плечи кобенякъ!
Хто зъ плечъ зырве его до долу,
Хай буде той уже моцакъ“.
—„Иносе, дмы соби!“ такъ Сонечко сказало;
И Витеръ шпарко полетивъ.
На двори дуже сумно стало,
По небу хмары скризь погнало,
А Витеръ по земли, крый Боже, заревивъ,
Налигъ на козака, зъ его одежу цупыть.
Зигнувся на кони козакъ,
До себе горне кобенякъ,
Та знай нагайкою по ребрахъ шкапу лупыть.
Хуртовына назадъ бидаху пре,
За полы смыкае, видлогу зъ плечъ гыруе,
Ажъ шляхъ курыть, трава въ степу хвылюе,
А все одежи не здере.
Дувъ, дувъ, ажъ потомъ ввесь облывся,
Изъ моци выбився, сердешный на бикъ плысь.
Ось разгулялося, и Сонце зъ хмары блысь,

Мовъ Божый мыръ изнову народывся.
Козакъ перехрыстывся,
Кобылку заразъ зупынывъ,
Бо страхъ горюшну заморывъ,
Поплявся стежкою, ходою, потыхеньку.
А сонце гріе все, да гріе помаленьку,
Угрило Божый свитъ; почувъ тепло козакъ,
Дай скынувъ кобенякъ.

XVII.

ГАЙ ДА СОКЫРЫ.

По Гаю темному туга велыка ходыть,
Сокыры й топоры затіялы войну,
Гай хочутъ сплюндровать и пущи вси пошкодыть;
Война ся навела на дерево суму;
Дубы задумалысь, осыки затрямтилы,
И кленъ гнучкый и вязъ изъ лыха въ нызъ нагнувсь.
Ажъ ось Сокыры вже въ гаю забрязкотилы,
И дубъ найстаршый усмихнувсь.
„Не бійтесь!“ винъ гукнувъ: „того я и жахався,
Якъ зъ топорыщамы си нависни прыйдуть,
Ажъ деревъянный ридъ зализа отцурався!
Безъ дерева воны сами насъ да не втнуть,
Отъ-то було бъ... але—нехай ему абыщо,
Якъ бы зъ Сокырамы прыйшлы и топорыща,
Тогди-то бувъ бы намъ капутъ“.
И справди, скилько тутъ Сокыры ни бряжчалы,
Ни дубчика, ни лышкы не втялы,
И тильки де-не-де що кору попысалы,
Да и до дому въ тимъ пошлы.

XVIII.

ВИЛЪ.

„Мабуть, на неби звисно стало
(Про себе Вилъ въ кошари гомонивъ)
Про те, що ввесь мій викъ я все за двохъ робывъ,
Да й вытерпивъ такы чымало—
Що въ плузи сылковавсь, копыци волочывъ,
Изъ ранку у ярми до пивъ-ночи ходывъ,
Ище що-дня бувавъ и бытый!
Хазяина не разъ я проклынавъ—
Теперъ зовсимъ не той хазаинъ ставъ:
У мене вдовиль исты й пыты,
Несуть мени и солы, и крупивъ,
Овса и высивокъ; наистысь тремъбы стало“.

Ажъ тутъ хазаинъ шасть у хливъ,
И, взявшы за рогы Вола, пидъ нижъ повивъ,
Бо сказано—его годовано на сало.

Ты зъ-малку такъ любывъ мене, якъ пугу песъ...
Чого жъ такъ лящисся теперъ до мене, Иване?
Чы знаешъ, що якъ ты чоломкатыця идешъ,
Чогось мене морозыть стане.

XIX.

ГРИШНЫКЪ.

Въ далекій сторони, въ якій, про те не знаю,
Мабуть въ Нимещыни, а може и въ Китаи,
Хтось разомъ оженывсь на трехъ жинкахъ.
Загомонивъ народъ, почувшы грихъ великый,
Жинкы голосять такъ, що страхъ:
„Глянь, що се коять чоловикы!
Якъ имъ по тры насъ можна брать,
Такъ хай позволять намъ держать ихъ хочь по пъять“.
Гвалтують, сказано, на-вспряжкы цокотухы.
Ось сяя висточка и до царя дойшла,
А царь бувъ, мабуть, не макуха,
Розлютовався винъ и злисть его взяла.
„О! почекайте-лышь, не буде въ васъ охоты
За-живота чортамъ служыть!“
Царь гризно загукавъ и люльку ставъ палыть,
И въ люльку пхавъ огонь и люлька гасла въ роти,
А дали схаменувсь, за радою послався.
Якъ слидуе въ празничному наряди
Предъ очи царьскіи совитъ вельможный ставъ.
Царь двичи кашлянувъ, рукою усъ розгладывъ
И ричь таку премудрую сказавъ:
„Пребеззаконія на свити завелыся,
А гирше що въ моій земли!
Мени до устъ сегодня донеслы—
Одынъ палывода (и царь перехрыстывся)
На трехъ жинкахъ женывся.
Щобъ царству цилому за его не терпить
Биды одъ праведного неба,
Его вамъ осудыты треба,
И смерть страшну ему зробыть.
Хай царству усему въ науку
Винъ вытерпыть такую муку,
Щобъ зъ ляку бильшъ нихто въ такый не вскочывъ грихъ.

Крый Боже, щобъ надъ нымъ хто зъ васъ
змылосердывся!
Щобъ луснувъ я, щобъ я до вечера ска-
зывся,
Колы не поведу на шыбеныцю всихъ!"
Якъ ричъ таку суддя дослухавъ,
Нызенько поклонывсь, потыльщю почу-
хавъ,
И ну съ пидсудкамы про дило мызковать.
Надъ нымъ морочылысь трохи не тыж-
день цилый,
И такъ межъ-себе прысудылы,
Щобъ Гришныку тому всихъ трехъ жи-
нокъ отдать.
Народъ сміявсь и вси булы въ забо-
тахъ,
Що раду перевиша царь.
Ажъ завтра дывлячся, а та погана тварь,
Той Гришныкъ самъ себе повисывъ на во-
ротяхъ.

XX.

ВОРОНА И ЯГНЯ.

Орлу схотилось попоисты;
Пиднявсь у гору птычый царь
И вгледивъ виттиля, що край ставка овчаръ
Овучи праты мусывъ систы,
Отара жъ попаскы попхалась навманя.
Орлу се понутру; зложывшы моцни крыла,
Опукою съ горы—ажъ витромъ зашумило—
Орелъ ушкварывъ на Ягня,
Пиднявъ его и геть потеребывъ за гору.

И треба жъ, що на сю пору
Пыло биля ставка дурне Вороненя.
Страхъ полюбылосе ему цареве дило,
И думае: „чому жъ сего я не зроблю?
Да не Ягня, а барана вхоплю".

Дывлюсь—воно у-гору полетило,
Да й пуць на шыю барану,
И, кихти вплутавшы ему у вовну
билу,
Смыкнулося несты, да ба! вага не въ сылу:
Баранъ веженькый и Орлу,
Воно вже стямылось, мерщій бы полетило,
Такъ изъ шерсты не выплутае нигъ.
Дурне моталося, покы овчаръ прыбигъ
И, гарненько ему обскубшы крыла,
На играшку дытыни давъ.

Мабуть, Господь такъ свитъ со-
здавъ,
Що меншый тамъ не втне, де бильшый
геть-то зможе.
Що дядькови пройшло, ты не робы, не-
боже,
Щобъ крылець хто не обчухравъ!

XXI.

ЗЛЫЙ КИНЬ.

Учора мій сусидъ купывъ соби Коня,
Изъ табуна, татарського, презлого,
Такого жвавого, такого вже баского...
Дывлюсь: сусидъ и вся его симья
Уздечки ненапнуть на его.
Сусидъ сусидивъ клыкать ставъ
И могорычъ пообищавъ,
Щобъ тильки помоглы ему Коня упорать.
Народъ зыйшовсь та гукъ такый
пиднявъ,
Мовъ цилыну пять плугивъ орють.
А Кинь жахается, да рже,
На дыбкы спыныться да грывою мотае,
То пиде бокаса, то бьетця и кусае.
Котрый смилышый бувъ, то вже
Одъ Коныка тикае.
Прыйшлось сусидови, мовлявъ, хоть сядь
дай плачъ,
Ажъ дываятця, ыде Петро Деркачъ—
Розумный чоловикъ и въ коняхъ сылу
знае—
Ыде и здалеку чупрыною кывае.
Прыйшовъ—и ввесь базаръ никчемный ро-
зыгнавъ
И смило до коня побрався потыхесеньку,
Все свыстючы, повагомъ, помаленьку,
Все гладывъ, подывлюсь—уже и зануздавъ.

Паны! чы чулы, якъ Деркачъ коня пой-
мавъ?

XXII.

МИРОШНЫКЪ.

На ричечци якійсь маленькій
Стоявъ соби млынокъ, и въ нимъ Мирош-
ныкъ жывъ.
Хочь невелычкый млынъ, да, знаешь, че-
пурненькый;
Разъ-по-разъ, день-у-день крутывсь и гур-
котивъ,
И хлиба выстачавъ хазяину чымало.
Колы ни забредешь къ Мирошныку, бы-
вало,
У его е и хлибъ, и силь, и сало,

Чы то въ скоромный день—изъ масломъ
буханци,
Книшы, вареныкы и всяки лагомынкы;
У пьятныцю—просилъ, зъ олiею блынци,
Пампушкы зъ часныкомъ, гречаныкы,
стовпци.
Обидать винъ було не сяде безъ горилкы,
А въ празныкъ пиднесе и чарку калганискы.
Мирошныкъ паномъ дило жывъ.

И треба жъ, на бiду, позаторишню весну
Его лыхый понисъ чогось за Десну.
Хочь не багацько проходывъ,
Зате богато бачывъ свита:
Побачивъ винъ, якъ Сеймъ мовъ бишеный
шумивъ,
И якъ Десна ревла несамовыта.
Мабуть, ворочавшы не пятьдесятъ млынивъ.
Вернувсь Мирошныкъ нашъ додому,
До церквы прямо почухравъ,
Да Богу молытця святому,
Щобъ винъ акаеысты его не въ гнивъ
прынявъ
И ричечку его зробывъ Десною.
Або хоча якъ Сеймъ, такою—
Й тогди бъ то вже я панувавъ!“
Молебни день-у-день Спасытелеви правыть,
У ставныкы свичкы по десять хунтивъ
ставыть,
Все молытця, ни исть, ни пъе, ни
спыть...
„Земляче! Богъ съ тобою!
На тебе десь туманъ у Лытви навелы.
Хиба забувъ ты, що великою водою
Ворочаютъ великыи млыны?
Ихъ нимци будувать умiють,
А вже не зляпае нашъ братъ;
Воны сами товчуть, и вiють,
И мелють борошно, и сiють,
Здаетця, що сами й идять.
А млынъ хочъ чепурный у тебе,
Та не для быстрыны“.—„Балакайте про
себе!“
Мирошныкъ заворчавъ и рукавомъ махнувъ.
Его молытвы Богъ почувъ:
По небу витерокъ дмухнувъ—
Якъ воронъ, небо почорнило;
Шварнула блыскавка—гримъ грюкнувъ и
загувъ;
Изъ хмаръ, якъ зъ локотивъ, водою зашумило,
Маленько ричечка, що сакъ тыхенько йшла,
Заклекотила, заревла
И черезъ греблю покотыла.
Якъ на осыци лыстъ, тремтыть млынокъ
одъ швыли.
Вода напре, дывысь, то выскочить гвиздокъ,
То паля триснула, то заставку розбыло,
А дали я знесло млынокъ.
Схопывсь Мирошныкъ, да пизненько:
Що покы йшла вода маленька,
Що-дня винъ хлиба мавъ шматокъ.

Литъ зъ десять бувъ у насъ суддею Глыва.
Да, знаешь, захотивъ на лакомый кусокъ,
Въ Полтаву перейшовъ: тамъ, кажуть, е
пожыва,
Велыка тамъ вода, хочь е й багато млыва...
Глядить, добродiю, чы вашъ мицный млынокъ?

XXIII.

ВОВКЪ И ОГОНЬ.

У лиси хтось росклавъ Огонь.
Було то въ-осены вже пизно;
Великый холодъ бувъ, вытры шумилы ризно,
И была ожеледь, и снигъ пышовъ лыбонь;
Такъ, мабуть, чоловикъ биля богаття грився,
Та идучы й покынувъ такъ его.
Ажъ ось не знаю я того,
Якъ сирый Вовкъ тутъ опынывся.
Обмерзъ, забовтався; мабуть, тры дни не
ивъ;
Дрижить, якъ мокрый хиртъ, зубамы знай
цокоче.
Звирюка до огню пидскочывъ,
Пидскочывъ, озырнувсь, мовъ торопленый
сивъ,
Во зъ-роду въ перше винъ Огонь узривъ.
Сыдыть и самъ соби радiе,
Що смухъ его Огонь, мовъ литомъ сонце,
грiе.
И ставъ винъ обтавать, ажъ пара зъ шерсти йде.
Изъ леду бурульки, що знай кругомъ бряжчалы,
Винъ до Огню то рыло пидведе,
То лапу коло жару сушыть,
То биля поломъя кудлатый хвистъ обтрусыть.
Уже Огонь не ставъ его лякать.
Звирюка думае: „чого его боятця?
Зо мною винъ якъ панибратъ“.
Ось ничка утекла, мовъ стало розсвитать,
Мовъ почало на свитъ благословлятьця.
„Пора“, вовкъ думае, „у лозы удырать!“
Ну що въ соби ыты? ни, треба попращатьця:
Скаженный захотивъ Огонь поцилувать,
И тилько що простягъ свое въ багаття рыло,
А поломъя его до-щенту обсмалыло.

Мій батько такъ казавъ: „Съ панамы добре жить,
Водытыця зъ нымы хай тоби Господь поможе,
Изъ нымы можна исты й пыть,
А цилувать ихъ—крый насъ Боже!

XXIV.

УТЯТА ДА СТЕПЪ.

Мынулыся гречаныя жныва;
Семенъ натягъ кожухъ на плечи;
Тепло пройшло, дитвора лизе къ печи.
Замерзло поле скризь, рилля, стерня, трава
Снижечкомъ биленькимъ прыпала.
Бидашный Степъ ставъ сумовать;
Пташки, що въ литку такъ спивалы
У ирій вже поодлиталы,
И тилько край ставка оставсь табунъ Утятъ.
Чы крыжни то булы, чы то булы чирята,
Про те намъ байдуже, а сыла тилько въ тимъ,
Що Степъ ище не бувъ пустый зовсимъ;
Дывлюсь було, знялысь зъ воды Утята,
Закахкають и ну Степомъ кружлять,
И выдно все таки, що сее не пустыня,
Ажъ ось уже й воны летять.
„Куды васъ врагъ несе до гаспыдьского сына!“
Почавъ Утятамъ Степъ казать.
„Хыба вы хочете мене покынуть?
А я жъ васъ латомъ годовавъ,
И просо, и овесъ, и гречку выстачавъ;
Безъ васъ хыба мени зъ нудьгы сказытця?“
—„У литку на тоби усякый хлибъ стоявъ;
На себе глянь теперь, якый ты сывый ставъ:
Останній колосовъ холодный снигъ сховавъ;
И ничимъ намъ биля тебе жывытця,
А голодъ за що намъ терпить?“
Сказалы Утята, и ну швыдчій летить.

Чы знаете вы сывого Кондрата?
Женывсь на дивци винъ, та й мусыть ще крычать,
Що жинка щось его глядыть недуже хаты.
Мабуть що упада ій диду одвичать,
Якъ сывому Степу одризалы Утята.

XXV.

РЫБАЛКА.

Хто знае Оржицю? а нуте, обзывайтесь!
Уси мовчять. Гай-гай, яки шолопаи!
Вона въ Сулу тече, у нашій сторони.
(Вы, братця, все таки домивкы не цурайтесь.)
На ричци тій жылы батькы мои,
И панства чортивъ тысякъ: Васыль, Иванъ, Мыкола,
Народъ пысьменный страхъ,
Бувавъ у всякыхъ школахъ,
Одынъ балакае на сотни языкахъ;
Арабску цыхвиру, мовлявъ, законъ турецькый,
Все тямлютъ, джеркотять, якъ гусы, понимецькій.
Подумаешъ, чого-то чоловикъ не зна!
Да не объ тимъ, бачь, ричь. Усю торишню зиму
Рыбалка ятеромъ ловывъ въ тій ричци рыбу:
Рыбалка байдуже, ажъ ось прійшла весна,
Прыгрило сонечко и зъ поля снигъ погнало;
У ричку снигъ побигъ, и Оржиця заграла,
И ятиръ граючы водою занесла.
„Уже жъ вона мени оттутъ сыдыть въ печинкахъ,
Ся ричка катержна!“ Рыбалка ставъ казать.
„Куць выгравъ, куць програвъ, ось слухай лышень, жинко:
Пиду я до Сулы скажену позывать!“
И розны де-яки казавъ сердега речи,
Изъ злосты, якъ москаль, усячину гукавъ;
А дали почепывъ соби саква на плечи,
У люльку ихнувъ огню, ципокъ урукы взявъ
И ричку позывать до ричкы почвалавъ.
Чы довго винъ ышовъ, чы ни, того не знаю;
Про те николы самъ Рыбалка не казавъ;
А тилько винъ дойшовъ, якъ слидуе, до краю.
Сула шумыть, гуляе по степамъ.
Рыбалка дывыться и очи протырае:
Не вирыть самъ своимъ очамъ,
Бо по Сули—чорты бъ ихъ мучывъ матирь—
Плывуть хливци, стижкы, дижкы, усякый крамъ,
И бидного его ныряе ятиръ!
Здыхнувъ Рыбалочка, да и назадъ поплывсь
А що, земляче, пожывысь?

Ось слухайте, паны, бувайте вы здорови!
Эге, Орхименко дурный:
Пишовъ прохать у повитовый,
Що обидравъ его нашъ пысарь волосный.

XXVI.

СОЛОВЕЙ.

„Хто не вгадае? я?
Отце городять небылыцю!
Щобъ не пизнявъ я Соловья,
Щобъ не пизнавъ сю гарну птыцю;
Якъ тилько окомъ наведу,
То и вгадаю, де спивака“—
Такъ дядькови казавъ небижъ, Грыцко Пидсака.
„Ходимо, я тебе до лису поведу,
Усякои тамъ птыци е багато.
Та буде соромъ, пане-брате,
Колы бъ ты Соловья изъ разу не пизнавъ“—
Грыцькови дядько одвичавъ.
И ось воны дойшлы до гаю;
По гаеви усякый птахъ литае,
Щебече хто, хто свыще, хто гуде,
Аж округы луна выде.

НЕВИЖЪ.

Ось-ось де Соловей! Якый червоногрудый!
А дивтся якъ, мабуть великый панъ!
Уже-то не зъ проста въ его такый жупанъ.

ДЯДЬКО.

Та годи, годи, Грыцьку, буде
Ту погань Снигыря хвалыть!
Ся птыця не спива, а якъ усе щебече,
Вона въ гурти якъ небудь засвыстыть;
А бильше голову похнюпывшы межъ плечи,
Насупывшысь сыдыть.

НЕВИЖЪ.

Такъ цытьте-лышень, ось я заразъ угадаю:
Я сучый сынъ, колы отце не винъ!
Увесь мовъ золотый, а крыльця чорни мае.

ДЯДЬКО.

Та будешь, Грыцку, сучый сынъ:
Се просто иволга зоветця;
Вона изъ саду въ садъ лита,
То вышни гарно объида,
То оббыва горохъ, а въ спивы не вдаетця.

НЕВИЖЪ.

Такъ ось! колы побачывъ спивака.
Яка малевана, та штучна птыця!
Вертытця, джеркотыть, по дереву скака—
Отъ се-то Соловей.

ДЯТЬКО.

Се нависна сыныця!

И довго такъ небижъ дурненькый
Межъ птыцямы знаходывъ Соловья;
А Соловей соби сиренькый
Надъ нымъ спивавъ, сховавшысь межъ гилля.

1833 г.

Мелкія стихотворенія.

I.

ВАРЕНА.

Disparaisser, on vous l'ordonne,
Rotis, pompeux, fins entremets!
I. B. Radet.

Геть галушкы, зъ стола печене,
Занимайте божый хлибъ и силь,
И сало зъ яйцамы пряжене.
Варену, хлопче, пры на стилъ!
Хай чарка забрязка, хай весело буде!
Нехай погуляютъ хрещеныи люде!

Изъ насъ тыхенько кожный исть,
Якъ тилько що обидъ почнетця,
А якъ хлыснуть по пьять, по шисть,
Де въ Бога речъ та наберетця:
Регочутця дуже, мовъ бжолы гудуть,
Выгадують шшукы и всячину гнуть.

Хто баляндрасы точыть дивци,
Хло лае подушне й мырське;
Тамъ Опанасъ Грыцьковій жинци
На ухо шепче щось таке,
А та червоніе, мовъ повная рожа,
И каже тыхенько: „на що се похоже!“

Маруся дивка страхъ плоха,
Зовсимъ мовъ панна, хочь за книжкы,
Соромьязлыва вже така...
Щожъ? выпыла изъ медомъ тришкы:
Не та стала дивка—до хлопцивъ цокоче;
Якъ ясочкы граютъ Марусыни очи.

На еи дивытця Андрій,
Та позырае все въ виконце,
И думае, колы бъ швыдчій
За гору заховалось сонце.
Въ викно винъ погляне, на дивку моргне:
Вона усмихнетця, плечыма здвыне.

Исы соби до очкура,
А въ гори ижа не порадыть.
И тилько що хыба зъ добра
На жывоти тоби завадыть.
А выпьешъ пивкварты—завина пройшла,
И знову весела твоя голова.

Я маю думку вже таку,
Що краше жыть було бъ на свити,
Якъ бы обидать на-швыдку,
А потимъ до пивночи пыты,
Давайте жъ варену! хай весело буде!
Нехай погуляють хрещеныи люде!

1834 г.

II.

ДЯДЬКО НА ДЗВОНЫЦИ.

Излизъ мій дядько на дзвоныцю,
Та знай гука: „Отце комедія яка!
„Вси люде на земли мовъ ти перепельщи:
„Здаетця бильшый зъ ныхъ не бильше пьятака.
„Гай, гай! яки жъ воны дрибненьки!
„Такъ ось колы я ихъ, якъ треба, розыбравъ!“
А мымо йдучи хтось на дядька показавъ,
Та, далеби, мене спытавъ:
„Що то таке, чы щуръ, чы горобець маленькій?“

1840 г.

III.

ХЛОПЦИ.

Учора я дывывсь якъ хлопци
Гулялы на толоци:
Здаетця, крамъ тамъ продававъ одынъ,
Други въ опукы, то що гралы,
То въ дучку булку заганялы,
А дали здумалы скакаты черезъ тынъ.
Хлопьята тамъ булы и прости и писменни,
И кожный зъ ныхъ по своему скакавъ:
Одынъ летивъ якъ навиженый,
Знай вызвирывсь на тынъ, та биля его й ставъ;
А иншый голову, мовъ той москаль, задравши,
Пряменько вытягнувсь, та й скочывъ черезъ тынъ,
Та якъ же вдарывся объ землю, вражный сынъ,
Колошу розыдравшы.
А выборного хлопченя
Такъ скаче высоко, такъ здорово литае!
Воно мале зовсимъ, одъ чого жъ такъ скакае?
Соби подумавъ я,
Тай прыдывлятьця ставъ: ажъ сее бисеня
Якъ хоче скочыть, то ажъ въ землю прысидае,
Тай прысне разомъ видтиля!

Якъ ни круты, а правда нигде диты:
Колы бъ, якъ выборного диты,
И други вмилы прысидать,
То може бъ и воны зумилы такъ скакать.

1840 г.

IV.

УКРАИНСКА МЕЛОДІЯ.

„Ни, мамо, неможна нелюба любыть!
Несчасная доля изъ нелюбомъ жыть.
Охъ, тяжко, охъ, важко зъ нимъ ричъ розмовляты!
Хай лучче я буду ввесь викъ дивоваты!“

— Хыба же ты не бачышъ яка я стара?
Мыни въ домовыну лягаты пора.
Якъ очи закрыю, що буде зъ тобою?
Останесся, доню, одна, сыротою!

— А въ свити яке життя сыроти?
И горе, и нужду терпитымешъ ты.
Я, дочку пустывши, мовлявъ, напоталу,
Стогнать пидъ землею якъ горльця стану.—
„О, мамо, голубко, не плачъ, не рыдай.
Готуй рушныки и хустки вышивай.
Нехай за нелюбомъ я счастья утрачу;
Ты будешъ весела, одна я заплачу!“

Генъ тамъ, на могили, хрестъ Божый стоить,
Пидъ нимъ рано й вечоръ матуся квилить:
„О, Боже мій мылый! що я наробыла!
Дочку, якъ схотила, изъ свита згубыла!“

1840 г.

V.

НАДПИСЬ КЪ РИСУНКУ К. С. А. Г-НОЙ

Заквитчалася дивчина; стала край викна.
Давъ Богъ призныкъ. Людямъ признык, а вона одна
Изъ маленькимъ братомъ Йвасемъ, прибрана, въ квиткахъ,
Дивитця моя небога, на широкій шляхъ.
Батько вмеръ давно у неи, матери нема,
Тильки въ хати братъ маленькій, да вона сама,
Бильшъ ни племени, ни роду—все чужи кругомъ!
Тильки не объ тимъ сумуе дивка пидъ викномъ:
Тута, край викна, прошався, циловався *винъ*,
Чернобрывый козаченько, якъ ихавъ на Динъ;
Обищався вернутыся—вже пивъ року е́,
Якъ сумуе дивчинонька, серденько мое!...
„Де мій милы? Що винъ робить? де винъ забарывсь?
„Може съ иншою якою уже одружывсь!“
Дума дивка; серцю важко, слёзы на очахъ.
И пустый простягсь далеко передъ нею шляхъ...

1844 г.

V.

М А Р У С Я.

„Я знаю, Марусе, дивочу натуру!“
Такъ маты старая казала дочци:
„И я дивовала, була молодою—
„Тогди парубки все булы молодци—
„На грыщи спивала, на досвяткахъ пряла,
„На улыци часомъ до свита гуляла...

„А, бувало, стане скушно,
„Сердце ные да болить,
„Въ грудяхъ важко; плачешь, плачешь...
„Божій свитъ не веселить!...
„У садку пташки щебечуть,
„По степу цвитуть квитки:
„Якъ послухаешъ, якъ глянешъ—
„Плачешъ бо-зна одъ чого!...

„И знати не знала чого я бажала!
„И все було, доню, я такъ сумовала,
„Поки твій отець мене кохаты не ставъ,
„Поки зъ моимъ любымъ насъ пипъ не звинчавъ...
„Кынь лыхомъ объ землю, та будь веселенька!“
И думае дочка, схилившись до неньки:
„Чомъ доси мене ще нихто не кохавъ?“

1843 г.

ПРОЗА.

Такъ соби до землякивъ.

Уже я такъ думаю що нема й на свити кращого мисця якъ Полтавска губернія. Господы Боже мій милостывый, що за губернія! И степы, и лисы, и сады, и баранкы, и щукы, и караси, и вышни, и черешни, и усяки напытки, и волы, и добри кони, и добри люде – усе е, усего багацько! А тихъ, мовлявъ, дивчатъ та молодыць... не протывъ ночи згадуючи! о бодай ихъ! доси въ думкы не йдуть. Одну зпысавъ покійничокъ Котляревскій „Наталку Полтавку“, та увесь свитъ звеселывъ; уси—и наши, и москали, и нимци, и туркы—не нахвалютця: *спасибо*, говорють, *хоть хахолъ, а выкинулъ штукъ знатную!* що жъ бы було, якъ бы всихъ зпысать!.. Та годи зъ нимы! у мене така кумедна натура; якъ тилькы заговоривъ про дивчатъ, то и до завтрего неперестанъ бы. А я таки свое: до вику не забуду, якъ я живъ у Полтавській губерніи, недалеко видъ Пырятына. Може вамъ колы переиздомъ траплялось буватъ у Пырятыни? Городъ путящій: усякы тамъ е крамари и бублейныци, е и церковь Божа, якъ слидъ, зъ дзвоныцею, и пошта е, и поштари ходять, мовъ ти москали зъ чорнымы комирамы, и письма роздаютъ чесно, не розпечатувавши. Гарный городъ! А краще усего у ему бублыкы: ни въ Прилуци, ни въ Лубняхъ, ни въ самому Нижени нема такихъ бублыкивъ. Зъ Кіева произжающи купуютъ, да не нахвалютця. Отъ що! Живъ я соби недалеко отъ сего лепського города у сели. Кожный тоби день було що небудь тамъ веселить сердце. Ждешь було весны якъ бозна чого. Отъ писля Стритення и стане подувать генъ видтиля зъ Запорожжя тепленькій витерець; сонечко, выбравшись у гору, уже геть припикае, а сиромы волыки, стоя биля тыну, знай выгриваютъ свои боки. Не забаромъ снижокъ понявся водою; скризь вода; степъ сыніе якъ море, а по нему одъ сонця якъ жаръ граютъ искры. Де наберется у Господа тіеи птыци: скризь летятъ гусы, журавли, лебеди; мовъ яке летюче військо кудысь поспишае. Жайворинки щебечуть пидъ небесами, ластовкы вьютця, бугай гуде у болоти, а биля ёго знай, разъ у разъ, свыстыть овчарыкъ. Усе жыве, усе дыше! Дали, трохи просохне, стануть палыть степы: выйде чоловикъ у поле, выкреше огню, положить ёго у соломьяный вихоть, розмаха гарненько, да й кине на доливку; затрещить кругомъ сухый комышъ— и пишло пожарыще гулять степомъ: геть покотыть и дымъ и поломья; гуля, якъ той запорожецъ. А въ ночи—батечкы мои! якъ воно горыть хороше, прехороше! Кругомъ гоготыть та сяе, мовъ орда пидступа, та розыклала огныща. И страшно, и весело!.. Черезъ тыждень и не пизнаешь паленого степу—якъ рута зеленіе. Тилькы то тамъ, то тамъ сыніе сонъ та жовтіе горыцвитъ; по

садахъ цвитуть голубеньки пролискы; и вышеньки, и черешеньки, и груши, и яблуни обынутця пахучимъ биленькимъ цвитомъ. Тамъ, що ранокъ, куе зозуля, цилисенькій день высвыстуе иволга; *покынь сани, возьмы визъ*, що вечиръ спива соловейко, а на выгони дивчата затынають веснянки, ажъ округи луна иде.

Такъ тоби легко дыхать, такъ весело... Прыйдешъ у хату, шапку объ землю, а самъ мерщій на колина передъ образамы молысся и плачешъ, плачешь и молысся! За що то Богъ святый такъ любыть свое созданіе? Чи достойни жъ мы сего!..

А якъ настане косовыця, та выйдуть наши хлопци у степъ! Попереду отаманъ; заломыть брыль на бакиръ, шаркне по коси разивъ зо два лопаткою—и пишовъ косыть! за нимъ другый, третій, уси вытягнутця, мовъ стричка, по степу; идуть мовчкы тилькы косы блискають, тилькы травыця да криточкы, лягають передъ нымы. У долыни недалечко пидпидёмка перепелыця, а одъ покосивъ такъ и пахне материнкою та чебрецемъ; пидъ ногами, мовъ розсыпане добре намысто, червоніють полуныци. Ось уже вечоріе. Кашоваръ, почепывши на выла свытку, зыйшовъ на могылу та знай маха, щобъ ышлы вечерять. Биля куреня уже стоять ваганкы повнисеньки галушокъ зъ саломъ, або колы въ пистъ то зъ таранею. Прыйшлы хлопци, выпылы по корячку, силы, идять соби галушкы настромлюючи на спычкы. И пишлы розказувать: Семенъ каже пидкосывъ деркача, Мыкита божитьця, що накрывъ було шапкою на яйцяхъ перепелыци, та якось то выскочыла, Хтодонтъ трохи не наступывъ на зайця. Смихъ, реготъ, гудуть якъ ти бджолы! А святый вечиръ сходыть на землю, и ничъ маты засвачуе зирочкы на сынёму неби.

Або у жныва. Жарко о полудни, сонечко зъ горы такъ и облывае тебе тепломъ; пишовъ бы куды такъ и ноги не несуть. Овечята лежять соби у холодку; волы тожъ полягалы биля ставка; кони, зибравшысь до купы, стоять понурывши головы, тилькы хвостамы обганяють оводивъ. Шпакы—годи вже гулять по степу хмарою—силы одпочивать биля рички; такъ и вкрылы прездоровенну тополю, ажъ гилля чорніе. Нащо дыке утя сторожка птыця, да и те забылось соби межъ сытнягъ, завернуло пидъ крыльце головку, тай куняе на озерци; кача его вода мовъ той цурупалокъ. Усе одпочива. Пидешь соби у садъ, ляжешъ доли догорычерева пидъ грушею, и рука тоби лежыть, и нога лежыть, и голова лежыть, увесь лежышъ, хоть не спышъ, а очи закрыешъ. Такъ и умеръ бы лежучы. Тыхо, тыхо, травыця не шелестыть, тилькы колы не колы задзыжчить летячи мымо тебе роботяща бджола. Создавъ же Господь таку трудящу тварь!.. Лупнешъ очима въ гору, надъ тобою межъ темнымъ гиллямъ, якъ золоти капелькы, высять спили груши; дрыгнешъ нехотя ногою объ дерево—такъ на тебе мовъ той дощь и брызнуть груши. Отъ, не встаючы, полапцемъ намацаешъ котру биля себе тай исы. Та що то за груши пахучи та солодки! якъ визьмешъ у ротъ, такъ и ростають, изъисы ажъ губы злыпаютця, ажъ у грудяхъ полегшае, таке спиле, та свиже, та гарне! Щобъ я трычи нимцемъ ставъ, колы отъ тутъ у Петербурси й нюхавъ таки груши!...

Уберуть добри люде зъ поля хлибъ. Обтрусять у саду зимныци! Уже уранци то й водыця у корыти, де напувають товаръ зашерхае, по токахъ цилисенькій день лопотять ципы. Зовсимъ осинь! у поли пусто, тилькы гавы литають; укрыють ныву поклюють чи не поклюють зернятъ, и полетилы дальше, да такъ сумно крячуть. Поихать бы у степъ розбыть тугу. Гей цюцю, Стрилка! сюды! Давай, хлопче, коня. Отъ и выихавъ у степъ на бурому; коныкъ винъ крипкенькый; сиделечко на ему справне, козацьке; биля боку бижыть Стрилка. Ажъ гулькъ пидъ перекоты-полемъ зайчыкъ зобгався мовъ рукавычка, ушкы прыщулывъ, духъ-прытаивъ, и окомъ не здвыне, а пыльно дывыться. Тутъ такъ у тебе пидъ сердцемъ и техне... Спугнувъ зайця нагайкою—„а тю его!“ Зыркъ, Стрилка зосталась ззаду, обнюхуе дурна якыйсь кущикъ... „А тю его, Стрилка!“ вона сердешна туды сюды, блысь очицямы, якъ уздрила, якъ уляже! и пишла, пишла моя ластивочка!... Стриже сиренькый степомъ, тильки хвостикомъ кывае, а вона зъ нымъ такъ и уляга, такъ здаетця отъ-отъ ухопыть; а ты летышъ за нею на бурому: чи стерня, чи рилля, чи толока, ничего не бачишъ, тильки витеръ свыстыть мимо ушей, ажъ духъ тоби захвачуе... То-то весело! У село вертаеся уже повагомъ, а заець, мовъ порося годоване, телипаетця увьязаный у торокахъ (бо не було зайця щобъ утикъ одъ Стрилки). „Глянь, глянь, Кулыно! якій заець! Ходы сюды, Присько! отце кумедія!“ балакають у сели на улыци дивчата. „Та що тоби зайця! видъ него и лысыця николы не втикае!“ каже Вивдя, тай зарегочутьця вражи диты. А ты мовъ недочуваешъ, идешъ соби ходою, тилькы люлечьку потягуешъ. А що на души—не пытай!... Мовъ тебе комысаромъ выбралы!... Пидъизжаешъ до дому, а тутъ исты ажъ за живитъ бере... Мерщій убигъ у хату—нагайку на колочокъ, а самъ за стилъ, исы соби добрый борщъ зъ уткою; каша пшо-

няна такъ и розсыпаетця; печене порося ажъ прысмагло, та ще що небудь; выпьешъ зъ пивкварты тернивкы абощо; тай видпочивай добродію. Самъ соби панъ и знать никого не хочешъ!

Зимою було, якъ доживешъ риздвяныхъ святъ, тутъ тоби и одна, и друга кутя, тутъ тоби и новый годъ, тутъ водохрище! „Гуляй душа безъ кунтуша, лыха прыкупывшы!“ мовлялы запорожци! Ни, я вамъ кажу, що нема на свити кращого мисця, якъ Полтавська губернія! Якъ згадаешъ про неи, тилькы здвынешъ плечима, цмокнешъ, тай замовчишъ!... Отъ же послухайте! Жывъ я тамъ довго, веселывсь дуже, а скучавъ, чи вы повирыте сему? скучавъ часомъ ище дужче! Бувало, зимою якъ пидниметця заверюха—батечки мои! свита божого не выдно!... замуруе тоби викна, засыпле снигомъ двери, хоть не выходь, та сутокъ трое, четверо гуля, а дали хоть стыхне, то все тоби не легше; снигъ завалыть по стелу уси шляхи, ни выйты, ни выихать, сыдышъ соби, то спышъ, то исы—нема другои роботы, бозна якъ обрадовався бъ, колы бъ хто прыихавъ. Та ни, хиба кому души не треба, або исты ничого, щобъ кынувъ хату. Було загавкають собаки, завалують якъ на вовка—прохукаешь викно, глянешъ на двиръ, ажъ лизе якась рогожана халабуда, здоровенный коняка насылу тырыть ii по снигу, а въ халабуди москаль сыдыть; борода ему забузована снигомъ, патлы тожъ, а шыя гола. Якъ глянуть на его собакы – мовъ у котли закыпять. Носыть же, подумаешь, чоловика нечиста сыла: десь у его своеи хаты нема!... „Хлопче, а зовы лыщъ сюды москаля, здаетця воно купець чи що!“

Увійде москаль у хату, мотне патламы, перехрыстится та й пыта: *не завгодно лы товару*. „А щожъ тамъ у тебе е?“ Тутъ винъ тоби й тыче у рукы бумагу пысану чысто по московськiй, такъ що нашъ братъ простый чоловикъ то де чого й не разбере; воны уси на одынъ шталтъ, ось якъ воны починаютця:

Рѣестъ купца Ивана Иванова.

Узюмъ.
Картини разніе.
Узори по канве.
Апойки хлебавскія.
Чай лясинъ-цветочнай.
Купаросъ жѣлезнай.
Андре, ладилаванъ.
Шоточки зубніе.
Трупки всякія.
Ладиколонъ,
Шоточки для зубофъ.
Подсвѣшники и шипцы обликѣ.
Книги московскія.

Та оттакъ цилый листъ зпыше. Що тилько е на свити, усе у его у діяволовій халабуди е! Було читаешъ-читаешъ, розбираешъ-розбираешъ, що тамъ до чого прыходытця, та якъ дойшовъ до *Книги московжія*, той гукнешъ: „а давай ихъ сюды!“ Прынесе тоби коробку книжокъ и велыкихъ и маленькихъ и жовтихъ и чернихъ, выбирай яку хочъ. Дасы москалеви рубливъ пъять грошей, мирокъ зо дви овса, та печеного хлиба, та масла, та меду, та ще чого, а соби оставышъ пивъ-десятка книжокъ. Прыйшовъ вечиръ, стало скушно отъ и визьмешъ книжку, прочытавъ лысточокъ—ни не бере! другый—ще гирше; третій — ажъ у голови закрутытця: таки ничогисенько не розберешь. Щось такъ чудне, матеры его лыхо! почне зъ одного, примиромъ одъ воздухивъ, одъ планеты, а переведе на шыло, або на гвиздокъ; думаешъ и такъ и сякъ, и зъ того боку зайдешъ, и зъ другого—шкода! не второпаешъ ничого! мовъ тоби що небудь росказуе отъ той цесарець, що въ козубеньци ликарство носыть. Визмешъ другу - тежъ, третю, четверту, пьяту— усе тежъ! А здаетця знаешъ московську мову, и изъ крамарями, изъ щетынныкамы и зъ животынныками балакаешъ якъ слидъ, и торгуесся, и гроши розщитаешъ, а дойшло дило до книжкы—якъ одризано. Уже було позову Демида, винъ чоловикъ грамотный, поклычу и Куця, тай прочитаю имъ лысткивъ зо два: „а що, хлопци, понялы?“—„ни, добродію, хоть бы тоби слово!“—а воны и выросты по ярмаркахъ!—Ничого робыть, положишъ на полыцю новеньки книжечки: хай полежять, поки порозумнишаю —тай станешъ у сто десятый разъ чытать Котляревськаго „Энея“, або повисти Грыцка Основьяненка — и читаешъ, и сміесся, и плачешъ...

Усе отце я згадавъ колысъ—здаетця позавчора—тай задумався. Добре що мене привела доля у столыцю, що й поскучать николы, що не знаешъ гораздъ колы середа, колы пьятныця, колы свято, колы будень, крутысся, якъ той медведыкъ у млыни: не самъ винъ крутытця—вода его крутыть. Щожъ то роблять землякы отсимы довгимы темными зимнимы вечорамы? Давай зыбью имъ книжку. Позбиравъ що було у мене пысано по нашому, и свое и добрыхъ людей, що спасыби имъ напрысылалы, однисъ у друкарню—отъ вамъ и книжка! Чытайте, хлопци, колы уподобаете, а ни—якъ зволите, усе таки папиръ у хазяйстви здаетьця, колы часомъ кабаку завернете, або люльку запалыте—и то добре.

7 января, 1841 г.
С. П. Б.

До зобаченнѧ.

Отъ, слава тоби Господы, и кинець книжци! Читайте ін, панове добродійство, колы уподобаете, а ни, такъ мовчить—и безъ васъ мене вылають, собакы, не за книжку, ни, воны книжкы не поймуть. а за те що я чоловикъ: така у ихъ поведенція. На улыци, де я жыву, чортивъ тыскъ, мовлявъ, тіеи собачни, тилки выйдешъ зъ хаты, заразъ изъ за-прычикла на тебе: *гавъ! гавъ!* а тамъ зъ пидъ воритъ, а тамъ зъ за комори, та усе: *гавъ* та *гавъ!* Оттака стане голова! Махнешъ рукою та й пидешъ далшъ. Часомъ у рукахъ и ципокъ е, може бъ де котру заидлывишу зачепывъ бы чи по морди, чи по боку, звисно якъ бы тамъ прышлось краще, такъ не таки! Муштровани, бодай ихъ; гавкають у захысти, а очей не покажуть!.. Далеби!

Хотивъ було я вамъ, панове, пустыть свою книжку зимою, та якъ однисъ у друкарню, якъ сталы москали друкарювать, такъ я вамъ кажу, и смихъ, и горе! Чы вы повирыте, що надъ однимъ лысткомъ та бьютьця тыждень або й билше. Ты напышешъ *гилля*, а винъ выдруковуе *гѣллъ*; это стало быть, каже, красывѣй.—„Та мовчы, будь ласкавъ, москалю, та робы те, що тоби кажуть, за що гроши берешъ“. Отъ винъ якъ почуе гроши, заразъ и схаменется, Щожъ? трохы зъ годомъ зновъ уже перевертуе по своему!.. Бывсь, бывсь я зъ нимы, а тутъ уже й на весну повернуло, швыдко и теплого Олексія.... У васъ, землякы, уже геть тепло; якъ де, то часомъ и вербы роспускаються; швыдко и ластовкы прилетять, троха чы не разомъ зъ моею книжкою—отъ одъ того я ін и назвавъ „Ластовкою“. Нехай летыть до васъ, нехай соби щебече по хуторямъ: писля зимы и ін весело слухать!... Полюбите же, землякы, нашу „Ластивочку“, чытайте ін швыдче, бо не-заборомъ може прылетять соловьи, тогди хто стане слухать ластовку!?

Прощайте, панове! Дай вамъ Господь мылосердый усякого щастья: колы хто не женатый—добру жинку, та ще й не сердыту, колу у кого у кишени не благополушно—повнисиньку шапку грошей, колы хто охочый по судамъ тягаться—задырлываго сусида; а усимъ вамъ щобъ, добре пылось и илось, щобъ у вашихъ садахъ було що году багацько и слывъ, и вышень, и терну, за для разныхъ налывокъ, щобъ степы ваши багато родылы жыта и пшеныци и всякои, якъ той казавъ, пашныци, щобъ выннныци давалы вамъ изъ кожного пуда видро пиннои горилки, щобъ ваши кони добре куповалы ремонтырщыкы, щобъ ваша шерсть дорого платылась по ярмаркамъ, а сахаръ щобъ бувъ дешевшый, щобъ... то усёго и до завтрёго не переговорышъ! А тутъ николы. Прощавайте, землякы! може и я швыдко до васъ навидаюсь. До зобаченнѧ!

1841 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОГО ТОМА.

СТР.

Романы, повѣсти и разсказы.

1844.

Игрокъ. Разсказъ. . . . . 3— 4
Калифъ на часъ. Разсказъ. . . . . 37— 38
Странная перепелка. Разсказъ. . . . . 53— 54
Злой человѣкъ. Разсказъ. . . . . 71 - 72
Быль не быль и не сказка. Разсказъ. 87— 88
Пиита. Повѣсть. . . . . 107—108
Иванъ Ивановичъ. Повѣсть. . . . . 151—152

1845.

Чужая голова—темный лѣсъ. Романъ. 185—186
Лѣсничій. Повѣсть . . . . . 197—198

1846.

Черта изъ частной жизни Боченочка. Разсказъ. . . . . 241—242
Разсказъ. . . . . 249—250
Газетное объявленіе. Разсказъ. . . . . 257—258

1847.

Приключеніе синей ассигнаціи. . . . . 281—282
Заборовъ. Повѣсть. . . . . 409—410

1848.

Сила. Кондратьевъ. Повѣсть . . . . . 435—436
Полтавскіе вечера
Вечеръ первый . . . . . 463—464
Вечеръ второй . . . . . 487—488

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ПОЭМА.

1842.

Богданъ. Сцены изъ жизни малороссійскаго гетмана Зиновія Хмельницкаго 521—522

МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

1833.

Курганъ . . . . . 565—566

СТР.

1834.

Романсъ. . . . . 567—568

1837.

Недугъ . . . . . 567—568
Молитва . . . . . 569—570
Нѣжинъ-озеро. Малороссійское преданіе 569 - 570
Роса. . . . . 571—572
Печаль. . . . . 571—572
Скала . . . . . 573—574
Мѣсяцъ и земля . . . . . 573—574
Украинскій бардъ . . . . . 573—574
Казакъ на чужбинѣ. Украинская мелодія. . . . . 575—576
Соловей . . . . . 575—576

1838.

Моя месть . . . . . 577 - 578
Лавровый листокъ . . . . . 577 - 578
Утѣшеніе. . . . . 579—580
Мотылекъ . . . . . 579 - 580
Ноготокъ . . . . . 581—582
Лилія . . . . . 581—582
Сонъ. . . . . 581—582

1839.

Признаніе . . . . . 583—584
Кукушка. . . . . 583 - 584
Украинская мелодія. . . . . 585—586
Гетманъ Свирговскій . . . . . 585—586
Дѣвица за фортепьяно 587 588

1840.

Е. В. Гудимѣ . . . . . 587—588
Юность . . . . . 587—588
Малиновка . . . . . 589 - 590

1841.

Почтальонъ 589--590
Пѣсня *(Молода еще дѣвица я была...)* . 591—592
Два . . . . . 591—592
Въ альбомъ . . . . . 591—592

1842.

Мѣдный змій . . . . . 593—594

1843.

Пріятелю . . . . . 593—594
Черныя очи . . . . . 595—596

1844.

Пѣсня *(Бѣло личко, черны очи...)* . . 595—596
Степь . . . . . 595—596

1848.

Пѣсня *(Свѣтла рѣчка подъ окномъ твоимъ шумитъ..)* . . . . . 595—596

?

Опять передо мной знакомыя поля. . 597—598
Въ альбомъ женѣ . . . . . 597—598

ТИПЫ.

1845.

Факторъ. Типъ. . . . . 605—606

1846.

Провинціалъ въ Петербургѣ. Физіологическая замѣтка . . . . . 615—616
Хвастунъ. Физіологическій очеркъ . . 627—628

ОЧЕРКИ.

1844.

Петербургская Сторона. Очеркъ . . . 649—650

1846.

Іерусалимъ. . . . . 665—666

Театральныя впечатлѣнія.

1840.

Лубны . . . . . 697—698
Провинціальные театры . . . . . 705—706

1845.

Опера въ Лубнахъ . . . . . 709—710

МЕЛКІЯ СТАТЬИ.

1834—1846.

Ловля перепелокъ въ Крыму . . . . . 721—722
Особый способъ охоты за медвѣдями 723 724
О заводѣ иноходцевъ въ Таврической губерніи . . . . . 727—728
Крученая овца. Разсказъ . . . . . 731—732

Сто сорокъ пять . . . . . 735—736
Анекдотъ . . . . . 737—738

МАЛОРОССІЙСКІЙ ОТДѢЛЪ.

ПОЭМА.

1835.

Полтава . . . . . 745—746

МАЛОРОССІЙСКІЯ ПРИКАЗКИ.

1833.

Цапъ . . . . . 769—770
Лебедь и Гусы . . . . . 769—770
Ячминь . . . . . 771—772
Зозуля та Снигыръ . . . . . 771—772
Ведмежный судъ . . . . . 771—772
Пшеныця . . . . . 773—774
Сонце да Хмары . . . . . 773—774
Горобци да Вышня. . . . . 773—774
Вудякъ да Коноплыночка . . . . . 773—774
Верша да Болото. . . . . 773—774
Макивка . . . . . 775—776
Рожа да Хмель . . . . . 775—776
Могылыны родыны . . . . . 775—776
Човенъ . . . . . 777—778
Школяръ Денысъ . . . . . 777—778
Сонце да Витеръ . . . . . 777—778
Гай да Сокыры . . . . . 779—780
Вилъ . . . . . 779—780
Гришнякъ . . . . . 779—780
Ворона и Ягня . . . . . 781—782
Злый кинь . . . . . 781—782
Мирошнякъ . . . . . 781—782
Вовкъ и огонь . . . . . 783—784
Утята да Степъ . . . . . 785—786
Рыбалка . . . . . 785—786
Соловей . . . . . 787—788

МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

1834.

Варена . . . . . 789—790

1840.

Дядько на давоныци . . . . . 789—790
Хлопци . . . . . 791—792
Украинска мелодія . . . . . 791—792

1844.

Надпись къ рисунку К. С. А. Г—ной . 791—792
Маруся . . . . . 791—792

ПРОЗА.

1840.

Такъ соби до землякивъ . . . . . 797—798
До зобачення . . . . . 803—804